РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА



Юрий Слепухин

СЛАДОСТНО И ПОЧЕТНО

НИЧЕГО КРОМЕ НАДЕЖДЫ

«АЗБУКА»

Сладостно и почетно. Ничего кроме надежды

Юрий Григорьевич Слепухин

Аннотация
Слепухин Ю. Сладостно и почетно. Ничего кроме надежды. романы
Сладостно и почетно
Часть первая
Глава 1
Глава 2
Глава 3
Глава 4
Глава 5
Глава 6
Глава 7
Глава 8
Часть вторая
Глава 1
Глава 2
Глава 3
Глава 4
Глава 5
Глава 6
Глава 7

Глава 8
Часть третья
Глава 1
Глава 2
Глава 3
Глава 4
Глава 5
Глава 6
Глава 7
Глава 8
Ничего кроме надежды
Часть первая
Глава 1
Глава 2
Глава 3
Глава 4
Глава 5
Глава 6
Глава 7
Глава 8
Глава 9
Глава 10
Часть вторая
Глава 1
Глава 2
Глава 3

Глава 4
Глава 5
Глава 6
Глава 7
Глава 8
Глава 9
Глава 10
Часть третья
Глава 1
Глава 2
Глава 3
Глава 4
Глава 5
Глава 6
Глава 7
Глава 8
Глава 9
Глава 10
Глава 11
О Юрии Григорьевиче Слепухине – на добрую память!

Аннотация

Романы «Сладостно и почетно» и «Ничего кроме надежды» завершают масштабную тетралогию Юрия Слепухина о Второй мировой войне, которую многие называют «Войной и миром» XX столетия. Как и в предыдущих романах («Перекресток» и «Тьма в полдень»), в их основе лежит опыт лично пережитого. Действие в романе «Сладостно и почетно» разворачивается в Германии. В центре повествования – «заговор генералов» 1944 года, покушение на Гитлера и попытка государственного переворота. И хотя война показана почти исключительно глазами немцев, немалую часть сюжета занимает описание судеб «восточных рабочих», насильно вывезенных из СССР. Среди них и героиня «Перекрестка» Людмила Земцева, случайное знакомство которой с одним из заговорщиков – офицером вермахта – перерастает в большое, сильное чувство. В романе «Ничего кроме надежды» рассказывается о последнем этапе войны и крушении Третьего рейха; впервые в советской литературе описывается жизнь

«остарбайтеров» (к которым принадлежала и семья Слепухиных) в немецких трудовых лагерях. В романе неожиданным образом сходятся судьбы героев, которых война провела по пути от романтических ожиданий до осознания беспощадной действительности, разрушившей все, кроме надежды.

Слепухин Ю.
Сладостно и почетно. Ничего кроме надежды. романы

© Ю. Г. Слепухин (наследники), 2026
© Оформление
ООО «Издательство АЗБУКА», 2026
Издательство Азбука®

* * *

РУССКАЯ
ЛИТЕРАТУРА



Юрий Слепухин

Сладостно и почетно
•
Ничего кроме надежды



АЗБУКА
Санкт-Петербург

Сладостно и почетно

Часть первая
Глава 1

Огневые позиции были оборудованы кое-как, наспех, немцы либо не ждали танкового удара на этом направлении, либо у них просто не оставалось уже ни времени, ни сил рыть орудийные окопы полного профиля, долбить кирками эту на полметра вглубь прокаленную лютым морозом землю; пушка стояла почти открыто, лишь для маскировки обвалованная как попало накиданными комьями грязного снега, она металась в перекрестье прицела, и низко летящий дым то и дело скрывал ее, но потом она снова появлялась в поле зрения — с каждым разом ближе. Вот сейчас… сейчас… Механик-водитель газовал по-славянски, на всю железку, их кидало вверх-вниз, тут под снегом были, видать, в августе еще понарытые окопчики, стрелковые ячейки, а может, и просто воронки — небольшие, от снарядов…

С двухсот примерно метров — уже были хорошо различимы у орудия фигурки в серо-зеленом — лейтенант наконец выстрелил, ударил осколочным, и хорошо ударил: пушка завалилась

набок и серо-зеленых не стало. А потом громыхнуло под броневым днищем, заскрежетало железо, с хрустом разламываясь и сминаясь, танк со всего размаха ухнул куда-то вниз — но тут же выровнялся, попер дальше, утробно взревев двигателем на перегазовке.

Здесь дым был еще чернее и гуще: видно, загорелись аэродромные склады ГСМ; лейтенант припал к обрезиненному окуляру перископа, ничего не увидел и обеими руками толкнул вверх тяжелую броневую крышку командирского люка. По пояс высунувшись из башни, он сначала глянул налево, инстинктивно отворачивая лицо от косо секущего снега вперемешку с чадной масляной копотью (ну, точно, накрылись у фрицев горюче-смазочные); «сто шестая» обогнала их чуть не впритирку, лихо ныряя и раскачивая стволом пушки, и из-за сдвоенного рева обеих машин он не сразу услышал другой звук, менее привычный уху танкиста.

Звук сносило ветром, но он нарастал стремительно, словно разбухая. Лейтенант только успел повернуть голову, как прямо по курсу и наперерез выбежал из дыма большой трехмоторный самолет — он был совсем близко или показался ближе, чем в действительности, и не летел, а именно бе-

жал — в снежной пыли от винтов, уже оторвав от земли хвостовой костыль. Это был транспортный «юнкерс» с неуклюжим коробчатым фюзеляжем, похожим на вагон, весь в больших буквах и цифрах, а посередке — огромный черный крест, окантованный белыми углами. Самолет мог, конечно, и только что приземлиться, но вряд ли: даже при такой видимости летчики не могли бы не увидеть сверху, что тут творится. Следовательно, «юнкерс» шел на взлет.

Все это лейтенант сообразил в долю секунды, соскальзывая на свое сиденье. Уже схватившись за маховичок поворота башни, он крикнул вниз, в чадную грохочущую темень боевого отсека:

— Правее, правее забирай! — И для пущей верности привычно пнул водителя в соответствующее направлению маневра плечо.

Машина крутнулась, резко тормознув правой гусеницей. Лейтенант, в азарте прикусив губу, яростно вертел маховичок ручного привода, ведя стволом длинной восьмидесятипятимиллиметровки вслед за удаляющимся уже самолетом.

— Термитный! — крикнул он заряжающему, прижавшись к налобнику прицела, и взял еще чуть правее, делая поправку на упреждение. Уже нажимая педаль спуска, он каким-то шестым

чувством предугадал ошибку, промах; казенник пушки отлетел назад с чудовищным грохотом (люк так и оставался незакрытым) и снова пошел вперед — уже плавно, бесшумно; лязгнула вывалившаяся в мешок гильза, едко завоняло сгоревшим пироксилином. Лейтенант, горестно матюгнувшись, выглянул из люка и успел еще увидеть исчезающую в буране огромную крылатую тень.

Носилки Эриха Дорнбергера стояли на полу у самой переборки. Гофрированный дюраль гудел и резонировал, как огромная мембрана, а иногда что-то начинало звенеть тонко, по-комариному — непонятным образом все это было слышно даже сквозь рев моторов. Наверное, разболтавшаяся заклепка; удивительно, что эти старые колымаги еще летают. Дюраль был покрыт инеем, тонким слоем чистого и нежного снега, непорочная его белизна казалась здесь чем-то кощунственным, не укладывалась в сознании. В кабине пахло металлом и бензином, но еще сильнее был этот страшный запах, к которому он так и не смог привыкнуть там, внизу, — запах гниющих ран в неделями не менявшихся повязках, запах больного немытого человеческого тела. Запах не просто войны — запах проигранной войны, запах ката-

строфы, распада, гибели…

Итак, мы все же летим, сказал он себе с тем же отрешенным безразличием, с каким только что думал об ослабшей в своем гнезде заклепке, о живучести и выносливости старых Ю–52. Значит, этому все же удалось взлететь, произошло чудо — ненужное, непрошеное. По крайней мере, для него. Он не ждал и не надеялся. Ему лучше было бы умереть там, внизу, и гораздо раньше — в августе, в сентябре; блаженны умершие вовремя.

Данте был, в сущности, человеком без фантазии, сейчас это совершенно очевидно, даже если учитывать поправку на семьсот лет так называемого «прогресса». Капитан Дорнбергер закрыл глаза и снова увидел заснеженные развалины станции и жалких лачуг, бывших когда-то поселком Гумрак, длинные ряды примерзших к рельсам товарных вагонов, набитых ранеными, больными, обмороженными и сошедшими с ума, штабели трупов, которые уже не успевали хоронить, переполненные ампутированными конечностями выгребные ямы; «юнкерс» резко качнуло, но он снова выпрямился и продолжал лететь, монотонно подвывая перегруженными моторами. Неужели так и не собьют? — подумал капитан.

Судя по времени, они уже должны были быть у западной оконечности «воздушного моста», по которому еще осуществлялась транспортная связь с районом окружения. Самолеты садились на ближайших прифронтовых аэродромах, выгружали раненых и сразу же, едва успев заправиться и погрузить продовольствие и боеприпасы для 6-й армии, вылетали обратно. С каждым днем самолетов оставалось все меньше, а летать приходилось дальше и дальше — сначала с Котельнического и Чернышковского аэродромов, потом из Зимовников, из Тацинской, из Миллерова…

Капитан пошевелился, пытаясь выпростать руку, чтобы посмотреть на часы; но сил не хватило, санитары при погрузке слишком плотно укутали его поверх шинели каким-то обрывком брезента. Сердце затрепыхалось, он почувствовал, как на лбу выступает холодная испарина, стало подташнивать. Вдобавок попытка шевельнуться разбередила раненую ногу — та ожила, стала опять наливаться тупой пульсирующей болью. Проклятое полено, подумал он, стискивая зубы, хоть бы его поскорее откромсали… Скажем прямо, остаться инвалидом в данной ситуации — не худший из вариантов. Непонятно только,

зачем и кому понадобилось эвакуировать его из «котла» — какого-то вшивого армейского капитана, командира (бывшего) саперной роты (давно уже не существующей). Высшие чины, сплошь и рядом, безуспешно ждали эвакуации — начиная уже с конца ноября на этот счет были введены строжайшие правила. Несколько дней назад какой-то рехнувшийся полковник из штаба 11-го армейского корпуса ухитрился спрятаться на улетавшем самолете; его, естественно, расстреляли на месте, едва самолет приземлился и незадачливый заяц был обнаружен. Командир корпуса, правда, требовал по радио, чтобы для расстрела его вернули в расположение части — дабы другим было неповадно; но это сочли излишним, доставка в «котел» каждого килограмма груза обходилась слишком дорого…

Лежащий рядом заворочался, толкая его носилки, долго кашлял сухим надрывным кашлем, потом выругался хрипло и обессиленно.

— Сколько мы уже летим? — спросил капитан, не поворачивая головы.

— Почти час, — отозвался сосед. — В Шахты, надо полагать. Ближе не осталось ни одного аэродрома.

— Тогда скоро посадка, — сказал Дорнбергер,

вспомнив карту. До Шахтинского аэродрома от Гумрака около трехсот километров, час полета.

Но этот час прошел, а потом и другой, а они все еще были в воздухе. Простуженный сосед капитана Дорнбергера тоже выразил недоумение: похоже, что их решили доставить прямо за Днепр, это уж было прямое расточительство — транспортный самолет, один из тех немногих, от безотказной работы которых зависела боеспособность остатков окруженной армии, сейчас без толку сжигал драгоценный бензин над собственной территорией. Кто-то среди эвакуируемых был, вероятно, очень уж важной шишкой, хотя по-настоящему важные смылись уже давно, еще в конце ноября.

«Юнкерс» пошел на снижение в четырнадцать с минутами. Он еще катился, раскачиваясь и подпрыгивая на неровностях посадочной полосы, когда из двери пилотской кабины высунулся один из членов экипажа и крикнул, подражая интонациям кондукторов берлинского трамвая:

— Остановка «Запорожье», кому выходить, пожалуйста!

В Гумраке носилки с капитаном Дорнбергером засунули в фюзеляж одними из последних, поэтому здесь при выгрузке он оказался среди первых.

Следом вынесли его простуженного соседа — капитан успел увидеть алый лацкан и толстое серебряное плетение генеральского погона. Я был прав, подумал он, и наверняка он здесь не один. Пока военнопленные из команды аэродромного обслуживания несли его к стоящему поодаль госпитальному автобусу, он повернул голову и увидел рядом два штабных лимузина в облупленном зимнем камуфляже — простуженного генерала понесли к одному из них, туда же направился в сопровождении медсестры еще один из прилетевших. Узнав начальника инженерной службы армии полковника Зелле, Дорнбергер еще раз подивился, как это ему — капитану — довелось попасть в число пассажиров столь явного спецрейса.

С погрузкой в автобус задерживались: возможно, там не хватило мест или шла какая-то проверка. Носилки капитана спустили на снег рядом с другими, он с усилием высвободил руку из меховой рукавицы, потрогал снег — мокрый, талый. Здесь было не по-январски тепло, вероятно один-два градуса выше нуля. Над аэродромом уже опускались синеватые сумерки. Дорнбергер посмотрел на часы, было всего три. Он подумал, что в России вообще темнеет удивительно рано,

но тут же сообразил — время-то берлинское, без поправки на два часовых пояса. На самом деле, значит, уже пять — что ж, это ближе к истине. Прошли на посадку еще два «юнкерса», почти один за другим. С темнеющего неба легко падала какая-то тончайшая изморось — мелкий дождь или талый снег, было совсем тепло. А там, на востоке, над Гумраком, над Воропоновом, над Городищем, над мертвыми руинами Сталинграда, неподвижно стыл прокаленный двадцатиградусными морозами воздух, и стужа казалась еще страшнее от висящего низко над степным горизонтом алого ледяного солнца. Это лишь в последнюю ночь погода резко изменилась — подул сильный юго-западный ветер, потеплело, пошел снег; утром началась метель, оказавшаяся для него спасительной. Еще накануне — при хорошей видимости — их самолету не удалось бы ускользнуть. А видимость оставалась отличной весь последний месяц, сотрудники штаба то и дело подходили к барометру, стучали по стеклу, надеясь, что стрелка сдвинется влево хоть на миллиметр, предвещая оттепель; но стрелка стояла как примерзшая, оттепелей не было, природа в таких случаях особенно беспощадна к людям. Капитан вспомнил, как один офицер из группы

армий «Север» рассказывал о небывалых прошлогодних морозах под Ленинградом, — страшно представить, во что обошелся этот каприз погоды жителям блокированного города. А теперь пришла наша очередь; мир устроен куда более справедливо, чем принято думать. И это уже не назовешь капризом, здесь скорее усматриваешь жестокую закономерность: сам климат этой оскверненной нами страны вымораживает нас, как русские крестьянки морозят поселившихся в избе тараканов…

На него опять накатила обморочная слабость, вернулось притупившееся было на время чувство мучительного голода, но сознание оставалось удивительно ясным, даже обострилось. Словно выходя из отупения последних недель, капитан Дорнбергер начинал медленно осознавать то, во что еще не верилось ни в воздухе, ни там, на земле, когда он впервые узнал, что назначен к эвакуации. Он вдруг поверил, что действительно спасся, вырвался, унес ноги. Там, в «котле», он не хотел этого (отчасти потому, что давно приучил себя не хотеть недостижимого) и ничего не предпринимал для собственного спасения. Хотя предпринимать было практически нечего, некоторые все же пытались. Он — нет. Отнюдь

не во имя каких-либо высоких идеалов и даже не потому, что прекрасно отдавал себе отчет в бессмысленности всяких попыток самоспасения. Просто ему давно уже было наплевать. По сути дела, не оставалось ради чего жить. И странно, какой нерассуждающей животной радостью медленно входила сейчас в него несмелая мысль о том, что это еще не все, что ему еще суждено пожить какое-то время — даже под этим равнодушным небом, даже на этой страшной земле… Холодная капля щекотно скатилась по виску, он поднял руку, чтобы обтереть мокрое от талого снега лицо, и понял, что это не снег и не дождь, у него просто текли слезы.

Подошел еще один автобус, раненых стали грузить. Немолодая медсестра с серым от усталости лицом, обходя ряды носилок, задержалась возле Дорнбергера и, наклонившись, вложила ему в губы какую-то круглую лепешечку.

— Возьмите в рот, — сказала она заученно, — сосите до растворения или медленно разжуйте, это тонизирует…

Он не сразу ощутил вкус, но тут же гортань стиснуло голодной судорогой, он стал жадно сосать, это оказалась шоко-кола.

— …Спокойно, спокойно, — продолжала сестра

усталым голосом, видимо повторяя то, что уже говорила сотне других раненых, — с вами все в порядке, сейчас вы пройдете санитарную обработку и перевязку, получите горячую пищу, на родину вас отправят ближайшим поездом, завтра или послезавтра…

— Скажите, сестра, — с трудом выговорил капитан, — какое сегодня число?

— Сегодня девятнадцатое, — ответила та, уже отходя к следующему, и уточнила, словно не будучи уверенной, что они там, в «котле», сохранили еще способность вести счет месяцев: — Девятнадцатое января тысяча девятьсот сорок третьего года…

Тем временем к уже разгруженному «юнкерсу» подошел фельдфебель аэродромной охраны и спросил командира корабля, лейтенанта Фрелиха. Командир, только что вышедший из кабины, глянул на него вопросительно.

— Господина лейтенанта просят безотлагательно явиться к коменданту аэродрома! — вытянувшись, доложил фельдфебель. — С вашего позволения, я провожу.

— К коменданту, меня? — Фрелих недоуменно пожал плечами и окликнул второго пилота: — Хорст, я схожу узнаю, а ты тут поторопи с

заправкой, и пусть Клаус не забудет проверить давление в левой масломагистрали. Я быстро!

В помещении комендатуры его встретил штурмфюрер в серо-зеленой полевой форме войск СС.

— Это вы, что ли, здешний комендант? — спросил летчик.

— Комендант вышел, — ответил эсэсовец и добавил негромко, будничным тоном: — Вы арестованы, попрошу сдать оружие.

— Что-что? — Летчик улыбнулся. — Вроде бы еще не первое апреля, а? Так мне коменданта дожидаться здесь, что ли? На черта я ему сдался, не понимаю. Еле на ногах держусь — второй рейс без отдыха, а оттуда сегодня выскочили буквально у ивана из-под гусениц — один уже выехал прямо на взлетную полосу, еще бы минута, и…

— Сдайте оружие, Фрелих, — повторил штурмфюрер.

Только теперь до лейтенанта наконец дошло. Он умолк, словно поперхнувшись, рука его поползла к кобуре — но сзади уже навалились, пригнули, заламывая локти; он стал вырываться, почувствовал на запястьях холодок металла, негромкий отчетливый щелчок. Штурмфюрер, подойдя вплотную, наискось — от правого плеча

к поясу — раздернул молнию лётного комбинезона и сорвал с мундира Фрелиха Железный крест.

— Ты, дерьмовая тыловая вошь, — выдавил сквозь зубы лейтенант. — Интересно, чем ты занимался в то время, когда мы возили десанты на Крит! Крамолу искал у баб под юбками?

— В машину его, — тем же будничным тоном бросил штурмфюрер, направляясь к двери.

Нет, Фрелих действительно ничего не понимал. С кем-нибудь спутали? Фамилия обычная, лейтенантов с такой фамилией наверняка наберется в люфтваффе не одна сотня; вполне возможно, кто-то там чего-то натворил, а прихватили сгоряча его… тем более даже не в районе дислокации эскадрильи, это уж явно показывает, что здесь ошибка. Если бы речь шла о нем, то там бы и взяли, на месте. Ерунда какая-то, думал лейтенант, сидя на заднем сиденье между двух каменно зажавших его плечами гефеповцев[1], лишь бы поскорее на допрос, уж следователь темнить не станет…

Так оно и получилось. Фрелиха привезли, тщательно обыскали, отобрали все, что положено отбирать у арестованного, и в одном мундире

---

[1] Notes: 1

«Гефепо» — сокр. от «Geheime Feldpolizei» *(нем.)* — тайная полевая полиция, военное гестапо.

— уже без ремня и погонов — заперли в одиночке. А через полчаса, не успел он еще и освоиться на новом месте, его вызвали на допрос.

— Вы, конечно, удивлены, — сказал следователь, — и считаете случившееся недоразумением? Верно, Фрелих. Я тоже склонен думать, что это не более чем недоразумение.

— Черт побери! — воскликнул сразу повеселевший лейтенант. — А я и не сомневался ни на минуту!

— Позвольте мне кончить. Я ознакомился с вашим послужным списком, Фрелих, и я не верю, что такой заслуженный боевой офицер может быть предателем или пораженцем. Поэтому то, что вы вели пораженческие разговоры, следует считать…

— Пораженческие разговоры? Какие пораженческие разговоры?!

— Не перебивайте, пожалуйста. Здесь полагается слушать молча, а отвечать только на вопросы. И не задавать их! Уяснили?

— Так точно, уяснил.

— Вот и хорошо. Итак, мне хотелось бы верить, что вы вели пораженческую пропаганду не по собственному умыслу, а находясь под чьим-то влиянием. Это вещи разные. Повторить под-

сказанное, не дав себе труда задуматься над смыслом, — это проступок серьезный, в некоторых случаях даже весьма серьезный, но не более. А вот самому измышлять и распространять пораженческие слухи — это уже совсем другое. Это уже измена, Фрелих, измена и нарушение присяги. Улавливаете разницу?

— Так точно. Но я не совсем…

— Не совсем понимаете, догадываюсь. Хорошо! Как говорится, карты на стол. Неделю назад, то есть двенадцатого января, вы провели вечер в офицерском казино авиабазы — припоминаете?

— Двенадцатого? — Фрелих задумался. — Да, пожалуй… Двенадцатого, если не путаю, день у меня был свободный, без вылетов.

— Прекрасно. А теперь вспомните, о чем говорилось за вашим столом. И что, в частности, говорили вы сами.

— А черт его знает о чем! Знай я, что через неделю мне зададут этот вопрос, то сидел бы и записывал. А так я пил. Обо всем, наверное, говорили.

— Например, о положении в «котле»?

— Да уж наверняка! Если мы летаем туда, то уж, наверное, и обсуждаем то, что там видим, верно?

— Вы говорили, что положение Шестой армии

безнадежно, поскольку авиация не в силах ее снабжать?

— Может, и говорил. Не помню уже. Говорил, наверное.

— И после этого вы спрашиваете меня, «какие пораженческие разговоры»?

— Так вы это считаете пораженчеством? Ничего себе! — Фрелих рассмеялся. — О том, что мы не можем обеспечить снабжение, знает любой дурак. Паулюсу требуется как минимум шестьсот тонн продовольствия, горючего и боеприпасов в сутки; это триста самолетовылетов, поскольку больше двух тонн наши тарахтелки взять на борт не могут, хоть лопни. А можем мы обеспечить триста рейсов в сутки? Да на сегодняшний день весь наш Четвертый флот не располагает и сотней исправных машин! И после каждого вылета их остается меньше и меньше — степь вокруг Гумрака усыпана обломками наших «юнкерсов»!

— Так вы, Фрелих, считаете, что эти печальные факты и цифры следует доводить до всеобщего сведения?

— До чьего сведения?! — крикнул лейтенант, теряя терпение. — Мы что, по-вашему, русских об этом информируем? Я говорил со своими товарищами по эскадрилье, которые не хуже меня

знают обстановку!

— Не прикидывайтесь наивным младенцем, Фрелих. Есть вещи, о которых можно знать, но о которых нельзя говорить вслух. Тем более в армии. Пораженческая пропаганда, да будет вам известно, — это не только распространение ложных слухов; это в первую очередь использование действительных фактов для подрыва боевого духа нации. Для создания психологического климата неверия в победу, понимаете? Это и есть то, что вам инкриминируется. Скажу откровенно, Фрелих: положение ваше крайне серьезно. И единственное, чем вы можете себе помочь, — это ваша готовность помочь нам, откровенно ответив на все интересующие нас вопросы. А интересует нас вот что: кто из офицеров эскадрильи заводил с вами разговоры на эту тему, поддерживал их или сообщал вам цифровые данные вроде тех, что вы только что сообщили мне? Этот мой вопрос вам ясен?

— Да уж куда яснее! Но только что’ я могу ответить? — Фрелих непринужденно пожал плечами. — Цифры эти известны каждому, включая нашего аэродромного кобеля, специально «разговоров на эту тему» никто со мной не заводил, а ведут их все.

— Конкретнее, прошу вас. Мне нужны имена.

— Э, вот это нет! У вас, как я понимаю, есть там свои шпики, раз уже успели насвистеть, с кем и о чем я трепался за выпивкой. Вот пусть они и делают свое дело. А я, уважаемый, никаких имен называть не намерен; и не потому, что там что-то тайное, какая, к черту, тайна, если это у всех на языке; но вот, предположим, назвал я кого-то — капитан Шмидт, лейтенант Майер, — а вы потом этих Шмидта, или Майера, или Мюллера возьмете на цугундер, а на допросе скажете — против вас, мол, имеется показание некоего Фрелиха, — как я после этого буду перед ними выглядеть?

Следователь улыбнулся, покачал головой:

— Вот уж о чем я бы на вашем месте не беспокоился. Вы, Фрелих, достаточно плохо выглядите уже сейчас. Вы попали в чертовски скверную историю. Дело в том, что командование с некоторых пор недовольно настроениями личного состава Четвертого воздушного флота — настроениями, скажем прямо, упаднических и пораженческими. Отчасти это может объясняться естественными причинами: ведь именно вашим эскадрильям приходится осуществлять связь с «котлом», и это, вероятно, в конечном счете не может не оказывать известного демора-

лизующего влияния. Но не исключено и влияние вражеской пропаганды. Я буду с вами предельно откровенен, Фрелих. Моему начальству более по душе вторая версия, и поэтому источник этой вражеской пропаганды нам приказано найти и обезвредить, причем найти быстро. Понимаете? Я искренне желаю вам добра, вы молоды — двадцать восемь лет, все еще впереди; не осложняйте же своего положения, помогите нам, и я помогу вам выбраться из этой истории с наименьшим ущербом…

— Это, значит, заложить товарищей вы называете «выбраться с наименьшим ущербом»?

— Послушайте, Фрелих. Вы все-таки, я вижу, до сих пор не поняли главного. Учреждение, в котором вы находитесь, называется военной контрразведкой. Мы работаем в особых условиях, подчас не дающих нам возможность придерживаться обычных норм процессуального права. Вы меня понимаете? Иногда приходится применять методы, которые официально считаются давно вышедшими из употребления. Негласно — но приходится, что же делать. Мне не хотелось бы…

— Да пошли вы к свиньям собачьим с вашими проповедями, — сказал лейтенант. — Закурить есть? У меня ведь отобрали.

Следователь молча положил перед ним сигареты и зажигалку.

— Словом, подумайте, — сказал он, вставая из-за стола. — В вашем распоряжении пятнадцать минут. Если захотите говорить, снимите трубку и попросите вызвать меня.

Он придвинул на край стола телефонный аппарат без диска и вышел. Лейтенант закурил, обвел комнату взглядом — окон не было, потолок низкий, давящий. Да, гнусное помещеньице, вот уж влип так влип. А ведь это конец, подумал он, жадно затягиваясь, отсюда уже не выберешься. Глупо, черт. Хотя не все ли равно? Там ведь тоже не сегодня завтра. И так чудо, что еще жив! Летающих на Ю–52 называют смертниками, вполне заслуженно называют. Тихоходные, практически безоружные, эти машины всегда нуждались в сильном эскорте, а теперь какие же, к черту, истребители… Он выкурил подряд две сигареты, потянулся было за третьей, но дверь отворилась, и вошел давешний штурмфюрер. А с ним еще двое — борцовского вида, в расстегнутых рубахах и черных бриджах.

— А, старые знакомые, — сказал лейтенант. — Опять вошка приползла?

Штурмфюрер сделал знак, один из его подруч-

ных подошел к лейтенанту, поднял со стула, взяв за отвороты кителя, и без размаха ударил в лицо. Лейтенант отлетел к стене, чудом удержавшись на ногах; когда в голове прояснилось, он оттолкнулся плечом и сделал шаг вперед, постоял шатаясь, выплюнул наполняющую рот кровь. Левый глаз быстро затекал опухолью и уже почти не видел, он повернул голову, правым зрячим глядя на штурмфюрера.

— Неспортивно, вошка, — прохрипел он, чувствуя, как острые обломки зубов колют язык. — Одного — втроем? Ты бы еще наручники велел надеть, а то вдруг сдачи дам. Кстати, крестик мой где? Надень уж, покрасуйся, самому ведь не заработать!

Штурмфюрер медленно улыбнулся.

— При аресте, Фрелих, вы задали мне один вопрос, — сказал он любезным тоном. — Что-то связанное с Критом, если не ошибаюсь. Не напомните, о чем шла речь?

— Охотно! Я спросил, чем вы все занимаетесь — ты и тебе подобное кошачье дерьмо, — пока солдаты умирают за Великую Германию!

Штурмфюрер понимающе покивал.

— Ну что ж. Не менее охотно я удовлетворю ваше любопытство. — Он обернулся к своим под-

ручным. — Вы слышали, что спросил господин Фрелих? Продемонстрируйте этому герою, в чем состоит наша служба…

Тремя месяцами позже, в конце апреля, Эрих Дорнбергер находился в военном санатории для выздоравливающих в одном из небольших городков Тюрингии. Ногу ему сохранили, хотя восстановить функцию коленного сустава полностью не удалось и ходил он с палкой. Ходить врачи ему предписали как можно больше, чтобы разработать, как они выражались, поврежденное колено; но хождение, даже с палкой, утомляло его, и отведенное для терренкура время он обычно просиживал где-нибудь вне пределов визуальной досягаемости медперсонала. Апрель в Тюрингии был в этом году сухой и теплый, южные склоны пригорков уже ярко зеленели свежей травой, и можно было, подстелив халат, лежать на земле без риска простуды. Он всегда брал с собой две книги из санаторной библиотеки: «Фауста» и последний, изданный перед самой войной роман Фаллады. Выбор оказался совершенно случайным — Дорнбергер вообще не был любителем изящной словесности. Чтение всегда было для него лишь способом получения информации, и именно плотность информационного

потока определяла в его глазах ценность книги или статьи, а следовательно, и удовольствие, которое мог доставить данный материал.

Читать романы он, пожалуй, впервые начал на военной службе — в первый год, во Франции, когда было много свободного времени. В одном из городков на пути к Арроманшу бомбой разворотило стену дома, где помещалась какая-то библиотека; Дорнбергер, тогда еще лейтенант, велел денщику прихватить в мешок дюжину томов — книги валялись по всей улице, перемалываемые обратно в целлюлозу колесами и гусеницами 6-й танковой дивизии. Этой своей военной добычей он и пользовался потом для практики в языке, но без особых результатов и уж, во всяком случае, безо всякого удовольствия. Французским он владел достаточно для того, чтобы читать без словаря статьи в выпусках трудов Коллеж де Франс, и то лишь посвященные одной узкоспециальной области; там был четкий, насыщенный точной терминологией язык, по сути дела международный. Такое, скажем, словосочетание, как «спонтанная эмиссия электронов» — оно понятно любому олуху, будь то соотечественник Гана или Ферми, Жолио-Кюри или Резерфорда. А в романе с трудом одолеваешь страницу за страницей

сложнейших запутанных предложений, чтобы в конечном счете узнать, кто с кем переспал. Возможно, его денщик подобрал с тротуара не лучшие образцы французской беллетристики, но, так или иначе, добыча не произвела переворота в эстетических представлениях лейтенанта Дорнбергера. На том же примерно уровне оставались они и теперь, когда он дослужился до капитана.

Поэтому Гёте и Фалладу он, уходя на предписанную прогулку, прихватывал с собой главным образом потому, что два этих томика удобно размещались в карманах халата и могли служить изголовьем. Обычно так они и использовались. Впрочем, финал «Фауста» Дорнбергеру нравился — не самый конец со святыми отшельниками и блаженными младенцами, а та сцена перед дворцом, где слепец упивается стуком лопат, принимая это за начало осуществления своих мелиоративных проектов. А на самом деле это лемуры роют ему могилу.

Вот и сегодня капитан почитал про лемуров, потом еще раз попытался одолеть сцену апофеоза, но опять безуспешно. «Патер серафикус», «патер экстатикус» — нет, его мозг определенно не рассчитан на такой кумулятивный удар мистики.

Литература, подумал он, засовывая книгу под

голову, сокровищница человеческого духа! Грош всему этому цена, если одухотворенное человечество со своими фаустами и гамлетами в конечном счете докатилось до двух мировых войн.

Впрочем, пока еще не «в конечном». Пока еще не остановлен часовой механизм, еще исправно постукивает; лучше не заглядывать в будущее, пытаясь предугадать, до каких еще триумфов прогресса успеет он достучаться, пока все это не…

Вчера утром, бреясь, капитан поймал себя на том, что внимательно разглядывает в зеркале свою физиономию: может, с ним и впрямь не все в порядке? Если человек впервые в тридцать пять лет (и пройдя то, что довелось пройти ему хотя бы за последние полгода) начинает замечать несовершенство окружающего мира — тут все же налицо какая-то отсталость.

Многие его сверстники начали испытывать тревогу куда раньше — лет пятнадцать назад, а уж десять-то и подавно. Он считал это пустой тратой умственной энергии. В какой-то степени, вероятно, он и не мог тогда думать иначе; тут ведь все зависит от масштаба восприятия, а мир слишком уж привычно воспринимался им на субатомарном уровне — какие тут могут быть социальные проблемы, какая политика?

Он был совершенно уверен, что можно прожить жизнь, не имея ко всему этому ровно никакого отношения.

Интересно, что даже в армии, добровольно и сознательно перечеркнув все, что составляло смысл его жизни до осени тридцать девятого года, Эрих Дорнбергер долго еще не видел и не понимал характера этой войны. Что война вообще занятие варварское и недостойное цивилизованного человека, это он понимал; понимал и то, что мир был бы намного лучше, научись люди решать свои проблемы без применения оружия. Но мало ли чего нам хотелось бы! Оперировать следует реальными данностями: тем, что есть, а не тем, что могло бы быть. К тому же вопрос о причинах каждой войны всегда настолько запутан, что простому смертному тут и думать нечего разобраться, кто прав и кто виноват. Что говорить, Англия и Франция в свое время тоже вели себя не лучшим образом. Версаль, бесчеловечные репарации, а колониальный вопрос? Предать анафеме кайзеровский империализм, чтобы самим тут же прибрать к рукам германские колонии в Африке, — это, скажем прямо, тоже не очень-то согласовывается с высокими принципами морали…

И потом, надо сказать, лейтенанту Дорнбергеру просто повезло в начале войны. Служил он в инженерных войсках, в боях во Франции не участвовал (да и какие там были бои!), а потом год проскучал на побережье Ла-Манша — днем присматривал за своими саперами, устанавливающими на пляжах минные поля и проволочные заграждения, а по вечерам читал трофейные романы. Осенью сорок первого его часть перебросили в Северную Африку, но и там было примерно то же: мины противотанковые, мины противопехотные, спирали Бруно и прочая ерунда, уже надоевшая ему до смерти. Словом, за два с половиной года в армии понятие «война» для лейтенанта, потом обер-лейтенанта, а потом и капитана Дорнбергера превратилось почти в синоним понятия «скука». А в июле сорок второго он получил очередной приказ, снова забрался в грузовой отсек очередного Ю–52 и — через Крит, Салоники, Бухарест — отбыл на Восточный фронт.

Там — и только там — началось его прозрение.

Все, что он увидел в России, — начиная с того по-африкански знойного и пыльного дня, когда они ожидали переправы через Дон в нескольких километрах выше Ростова, а пикировщики

Рихтхофена громили горящий город, накануне оставленный советскими войсками, и кончая последней ночью в промерзшем до космического холода, едва освещенном коптящими плошками подвале на станции Гумрак, где живых было уже не отличить от мертвых, а здоровых — от умирающих, — все, что он видел и пережил за эти шесть месяцев, не просто открыло ему глаза, оно вывернуло его наизнанку, сделало другим человеком. Раньше он обладал завидной способностью уходить от всего, что грозило усложнить жизнь, причем уход этот всегда осуществлялся как-то сам по себе, не приводя к нравственным конфликтам. От неприглядных реалий общественно-политической жизни Германии тридцатых годов проще всего было отгородиться наукой — и кто мог бы упрекнуть молодого физика за то, что он не покидал стен лаборатории, вместо того чтобы бегать по митингам и драться с коричневорубашечным хулиганьем Рема? Но потом стены зашатались. Интересовавшее его (как и многих других) направление теоретического поиска внезапно привело целую отрасль науки на край такой бездны, что у самых бесстрашных шевельнулись волосы, — словно сам Ад глянул на них из бездонных глубин искусственно разъятой,

расщепленной материи…

И тогда ученый предпочел стать солдатом. Говоря иными словами, доктор Дорнбергер умыл руки. Благо началась война, страна послушно становилась под ружье, миллионы людей оставляли свои привычные дела; и если филологи превращались в панцергренадеров, почему бы физику не сделаться сапером? Проще простого: научись точно исполнять приказы — и никаких тебе моральных проблем…

Да, только в России открылась ему вся безнравственность его прежней жизненной позиции. Безнравственность, конечно, если судить по самым высоким, бескомпромиссным критериям, — но других, половинчатых критериев уже не было, время компромиссов истекло, кончилось. Как некую бесспорную, совершенно реальную данность ощущал он теперь свою личную долю ответственности за апокалиптический кошмар войны, развязанной при молчаливом попустительстве таких, каким был недавно и он сам.

То, чем он всегда втайне гордился, — умение не видеть, не обращать внимания, быть «выше всего этого» — теперь это саднило, как память о совершенном когда-то предательстве. Он не знал еще, как от этого избавиться, как искупить, но

одно было ему совершенно ясно: как-то искупать придется. Нельзя побывать в преисподней — и продолжать жить бездумно и благополучно, как жил прежде…

Дорнбергер подремал с полчаса, пока его не разбудило переместившееся из-за ели солнце, потом посмотрел на часы и осторожно поднялся, поморщившись от привычной боли в колене. Ходить и в самом деле надо, подумал он. От хромоты, видно, уже не избавиться, но хоть бы болеть перестало, будь оно проклято… Хромая, он вышел на главную аллею и еще издали увидел дежурную сестру своего отделения, которая шла навстречу с каким-то штатским. Сестра, тоже увидев его, помахала рукой.

— Господин капитан, к вам посетитель! — крикнула она и, сказав что-то штатскому, повернула обратно к главному корпусу санатория. Ее спутник продолжал идти навстречу Дорнбергеру.

— Черт возьми, вот уж не ожидал! — сказал капитан, когда тот подошел ближе. — Господин Розе, вы-то каким образом здесь оказались?

Розе, круглый немолодой человечек с добродушной физиономией, украшенной старомодным пенсне, весь просиял и раскрыл объятия:

— Каким же еще образом я мог здесь оказаться,

скажите на милость, самым обычным: сел да приехал… Здравствуйте, мой дорогой, бесконечно рад видеть вас живым и даже относительно здоровым — насколько можно судить по первому впечатлению, а также по заверениям милой дамы, которая была так любезна, что согласилась пойти вас разыскивать, что, по ее словам, не так просто, ибо вы почему-то всегда прячетесь…

Они полуобнялись, долго трясли друг другу руки. Пауль Розе, руководитель крупного научного издательства в Берлине, был одним из немногих людей, общение с которыми не удручало Эриха Дорнбергера.

— Так вы приехали сюда нарочно, чтобы меня повидать? — спросил он.

— А собственно, почему это вас так удивляет, милейший мой доктор? — воскликнул Розе, растягивая слова с мягким певучим акцентом уроженца Вены. — Я ведь, ежели изволите помнить, всегда был этаким коммивояжером! Если бы я ждал, пока кто-либо из вашего брата соизволит приехать ко мне, то нам попросту нечего было бы печатать, ха-ха-ха…

— Помню, как же. У вас всегда был чертовский нюх на новости: чуть только начинает что-то удаваться, только-только забрезжит этакий лучик

— редактор Розе уже тут как тут. Вы, наверное, знаете легенду, которая в связи с этим ходила среди нашей ассистентской молодежи? Приехал, дескать, однажды некий издатель в Лейпциг повидать Гейзенберга, того на месте не оказалось, пришлось ждать, и бедняга решил заглянуть к Ауэрбаху — пропустить пока кружку-другую. Ну а в погребке к нему, как водится, подсел один очень давний тамошний завсегдатай и по традиции предложил сделку…

— Неужели опять насчет души?

— Именно! Короче говоря, из погребка издатель вышел, обогащенный даром этакой магической экспресс-информации: стоит лишь в полночь загадать имя, пукнуть погромче — и тут же узнаешь во всех деталях, какой проблемой занимается данное лицо, насколько успешно продвигается работа, далеко ли до завершения — словом, все решительно. Случай этот, говорят, имел место накануне последнего предвоенного Рождества.

— В тридцать восьмом, стало быть.

— Так точно, в тридцать восьмом. Итак, вернувшись в Берлин, издатель решил проверить качество купленного товара: заперся у себя в кабинете, выждал, пока начали бить часы, поднатужился — ну, думает, хотя бы… профессор

Отто Ган! — и произвел залп. И что же вы думаете? Лейпцигский приятель тут же вкрадчиво этак шепчет ему на ухо: «Сукин сын только что расколол атом урана, только не знает, как об этом написать, ты бы помог ему…»

Розе долго не мог успокоиться, заливаясь визгливым смехом.

— Верно, верно, — проговорил он наконец, утирая глаза платочком. — Написать я и впрямь помог, только все было гораздо пристойнее, без этого… раблезианства. В тот вечер Ган мне позвонил, попросил приехать. Они ведь со Штрассманом сами перепугались — решили посоветоваться, стоит ли вообще публиковать. Декабрьский номер «Естествознания» был уже в наборе, но я схватил черновик и помчался в типографию… там работала ночная смена. Пришлось выбросить один материал, но что поделаешь — новость того стоила!

Дорнбергер помолчал, резиновым набалдашником палки вдавливая в песке симметрично расположенные по вершинам треугольника лунки.

— Да, — сказал он наконец. — Пожалуй, лучше было бы не публиковать… вообще. Нет, я даже не о той статье Гана и Штрассмана. Тогда ведь

— почти одновременно — опубликовали свои работы и другие… Фриш с Мейтнер, потом Дросте, Флюгге… Что ж, подошло время, и никто не мог заглянуть в будущее. Если бы немного осторожности…

— О, это ничего бы не изменило, поверьте.

— Да, вероятно. Пойдемте, дорогой Розе, присядем, у меня что-то разболелась нога…

Они дошли до скамейки, сели. Дорнбергер глянул вправо и влево — аллея была пустынна.

— Раз уж мы коснулись этой темы, — сказал он, улыбаясь несколько натянуто, — проинформируйте меня в самых общих чертах… что у вас там сейчас происходит.

— А ничего не происходит! — весело отозвался Розе. — Вернее, происходит то же, что и всегда, — грызня, соперничество, взаимопоедание мелкими порциями. Во главе проекта теперь Эзау, Дибнера из института благополучно выжили — бедняга обижен, но зато вся его энергия направлена теперь на создание действующего реактора. Больше всего боится, как бы его не опередил Гейзенберг. Ну а Гейзенберг занимается той же алхимией у себя в Лейпциге…

— Ваш приятель из погребка ему не помогает?

— Нет, судя по отсутствию результатов. Дёп-

пель — вы знали Дёппелей, мужа и жену, они работают с Гейзенбергом? — так он там чуть не сгорел. У них воспламенился порошок металлического урана, а Дёппель — он, говорят, вообще не в ладах с химией — пытался залить это водой, обычной водой…

— Со страху, наверное. Кстати, о тяжелой воде — это правда, что англичане взорвали завод в Веморке?

Розе повернул голову и уставился на него испытующе:

— А кто вам об этом говорил? У вас тут есть кто-нибудь из… ваших коллег?

— Нет, нет. Один офицер из Норвегии, не имеющий никакого отношения. Просто зашел разговор о норвежских партизанах, и он сказал, что недавно они провели вместе с английскими коммандос какую-то чрезвычайно дерзкую, как он выразился, операцию — причем не на побережье, а в самом сердце страны, на Хардангерском плато. Трахнули там, говорит, какой-то важнейший секретный завод. Ну, я и подумал, что Хардангер — это, скорее всего, Рьюкан. А еще точнее — Веморк. Что еще можно там найти столь важное и секретное, чтобы посылать коммандос?

— Да, вы угадали. В Веморке они уничтожили

установки высокой концентрации плюс весь запас готового продукта — я слышал, не менее четырехсот килограммов. Все пошло к черту. Завод сейчас спешно восстанавливают, послали туда от нас доктора Беркеи, но это не так скоро делается. В лучшем случае вода пойдет из последней ступени только через полгода.

— Так, так… — Дорнбергер опять помолчал, чертя палкой. — На чем же Дибнер и компания думают теперь запускать свои реакторы — на чистом нордическом энтузиазме?

— В значительной степени. Но и без тяжелой воды не обойтись, поэтому ваш друг Хартек вместе с Эзау отправились в Италию выяснять тамошние производственные возможности. В Мерано есть небольшой гидроэлектролизный завод, но производительность ничтожная — несколько десятков кило в месяц.

— А почему, собственно, не обойтись… Если предположить, что Боте тогда допустил ошибку при измерениях длины диффузии в графите… — Дорнбергер пожал плечами. — Я, впрочем, не в курсе. Два года назад я уже торчал во Франции и, признаться, не очень интересовался… Если, скажем, графит был загрязнен микропримесями, это вполне могло изменить ядерные константы.

Вы не допускаете такой возможности?

— Ну, вряд ли Боте не принял этого в расчет.

— Он мог принять, но графит все же мог быть загрязненным. И тогда это совершенно исказило результат опыта. Правда, если тот графит, каким пользовались в Гейдельберге, оказался недостаточно чистым, то более чистого на практике попросту не получить. На данном уровне химической технологии. Но суть в том, что в теории нейтроны можно замедлять не только тяжелой водой…

— Послушайте, доктор, — сказал Розе после паузы, — вы никогда не думали над возможностью вернуться в лабораторию?

Дорнбергер, не отвечая, палкой нарисовал на песке довольно точную окружность и вписал в нее квадрат. Потом, невнятно хмыкнув, изобразил внутри знак вопроса.

— Если вас интересует, допускаю ли я такую возможность, то ответ будет отрицательным. При данных обстоятельствах, я имею в виду.

— Я тоже имел в виду именно их, — кивнул Розе. — Но, может быть, мы видим их в несколько… разном свете?

— Не представляю, в каком еще свете можно увидеть происходящее в Германии. Я, дорогой

Розе, не доктор Геббельс.

— Ну хорошо, позвольте уж мне, как говорится, выложить на стол все карты.

— Валяйте, валяйте. Я ведь с первой минуты понял, что вы приехали не просто так.

— Вот тут вы немного дали маху! Дело в том, что желание вас повидать возникло у меня еще до того, как мне поручили это сделать. Как только я узнал, что вы ранены и находитесь в лазарете…

— Простите, от кого?

— От вашей фрау супруги, от кого же еще!

— Ах вот что. — Дорнбергер опять издал хмыкающий звук. — Где же вам посчастливилось ее увидеть, мою… фрау супругу?

— Она сейчас в Берлине — по крайней мере, была две недели назад. И собиралась ехать к вам, у нее какое-то неотложное дело. Вы уже виделись?

— Нет. Однако продолжайте, вы начинаете меня интриговать. Кто «поручил» вам говорить со мной?

— Имена пока несущественны. Мы знакомы уже десяток лет, доктор Дорнбергер, и я не принял бы этого поручения, будь у меня хоть малейшее сомнение в том, что наши взгляды полностью совпадают. Скажите, вас ничто не удивило в том факте, что именно вы — в данном случае простой

капитан вермахта — оказались в одном из последних списков на эвакуацию из «котла»?

— Еще бы, черт побери! И единственное объяснение, которое могло прийти мне в голову, — это моя фамилия. Возможно, болваны приняли меня за родственника того бригаденфюрера, что развлекается фейерверками на Узедоме.

— Не заблуждайтесь на сей счет, дорогой доктор. Болваны, о которых вы говорите, очень точно осведомлены — кто чей родственник. Странно, что вам не пришло в голову другое. Вы ведь работали с Хартеком в Гамбурге? Вы занимались проблемой разделения изотопов? Этим все и объясняется.

— Вот как. — Дорнбергер недоверчиво глянул на собеседника. — Вы что, всерьез это?

— Да помилуйте, сейчас несколько крупнейших лабораторий возятся с гексафторидом урана, и у них ничего не получается! Бедняга Менцель на каждой аудиенции выклянчивает у Геринга отозвать из армии всех, кого только можно подключить к этой работе.

— Ну вот и пусть ищут… кого можно подключить. Если бы я хотел работать, мне достаточно было в свое время подписать контракт с вооруженцами, и меня до конца войны не коснулась

бы никакая самая тотальная мобилизация…

Безлюдная до сих пор аллея начала оживать: подходило время обеда и больные направлялись к главному корпусу санатория. Дорнбергер достал часы, вопросительно глянул на своего гостя:

— Как вы насчет заправки? Нет? В таком случае я тоже пас. Как ни странно, с аппетитом у меня неважно… хотя в Сталинграде я думал, что если выживу, то до конца дней своих буду жрать, как Гарпагон.

Розе улыбнулся:

— Вы, конечно, имели в виду Гаргантюа…

— Кого? А, да, вероятно. Ну, словом, того самого обжору. Так у них, говорите, не ладится с разделением изотопов?

— Не так громко, пожалуйста. — Розе понизил голос, к их скамейке приближалась группа больных, и тут же заговорил другим тоном: — Фрау Рената, кстати, выглядит, по обыкновению, прелестно.

— А что ей сделается, — сказал Дорнбергер. — Такие всегда прелестно выглядят. Но что она торчит в Берлине — это странно. Кошки ее породы наделены особо изощренным инстинктом самосохранения.

Розе, видимо почувствовав себя неловко, про-

бормотал что-то и полез за платком.

— Да бросьте, Пауль. — Дорнбергер усмехнулся. — Ее вы знаете тот же десяток лет, что и меня. Так что могли, я думаю, составить некоторое представление. Ладно, хватит конспирации, мы снова в преступном одиночестве. Что, собственно, вы мне хотели сказать?

Розе, кончив полировать стеклышки пенсне, прищемил зажимом переносицу и, сняв шляпу, промокнул лоб — скамья стояла на солнце, и припекало уже совсем по-летнему.

— Послушайте, Эрих, — сказал он негромко, — я прекрасно знаю, почему вы отказались от работы в Проекте, и, в общем, разделяю ваши чувства. Хотя, может быть, посоветовал бы избрать другой путь. В конце концов, согласитесь, не все же из ваших коллег, оставшиеся в лабораториях, мечтают осчастливить вождей «тысячелетней империи» урановым оружием. Дибнер — может быть, Менцель — может быть…

— Не «может быть», а совершенно точно.

— Ну хорошо, ну ладно! Эти двое плюс еще дюжина бездарностей из той железной когорты, что уже десять лет спасает «германскую физику» от тлетворного влияния Эйнштейна. Но ведь, согласитесь, они пороха не выдумают, а уж урановой

взрывчатки и подавно, ведущая роль в исследованиях принадлежит все же людям совсем иных взглядов…

— Да плевать мне на их взгляды! — снова прервал Дорнбергер. — У вашего тезки профессора Хартека взгляды вполне правильные, я проработал с ним достаточно долго, чтобы это утверждать. При мне он наотрез отказался взять в лабораторию ассистента из коричневых, хотя это грозило неприятностями. А теперь давайте вспомним, с чего вообще начался наш проект «U». Он, дорогой Розе, начался с письма в военное министерство, которое два высокопорядочных человека — профессор Пауль Хартек и доктор Вильгельм Грот — состряпали ровно четыре года назад, в апреле тридцать девятого. Суть его была выражена в таких примерно словах: «Мы решились обратить ваше внимание на последние открытия в области физики атомного ядра, ибо считаем, что они открывают путь к созданию взрывчатого вещества принципиально нового типа и колоссальной разрушительной силы; страна, которая первой сумеет овладеть на практике достижениями ядерной физики, приобретет абсолютное военное превосходство над всеми другими» — да, да, ни больше ни меньше! Ци-

тирую по памяти, но за смысл ручаюсь. Я тогда спросил: «Профессор, вы вообще понимаете, что делаете?» А он меня начал успокаивать — это, мол, блеф чистой воды, мы-то с вами прекрасно знаем, что до военного применения ядерной энергии дело дойдет не раньше чем лет через тридцать; нам еще вообще неясно, как можно инициировать неуправляемую цепную реакцию и возможна ли теоретически управляемая, ну и так далее. Так на кой же черт, говорю, вам тогда связываться с военными? Он мне ответил контрвопросом: представляю ли я себе возможную стоимость исследований в этой области и кто, кроме военных, сможет нас финансировать — особенно если начнется война?

— Ну, в этих рассуждениях была своя логика, — сказал Розе.

— Логика была, согласен, — кивнул Дорнбергер. — Не было другого: чувства ответственности. Впрочем, не было и простого умения предвидеть! Хартек тогда считал, что практическое применение станет возможным лет через тридцать — потому, дескать, что даже теории еще нет; этот разговор, напоминаю, имел место весной, а уже в конце того же года Гейзенберг рассчитал стабилизацию цепной реакции и доказал возможность

построить работоспособный урановый реактор. Если он до сих пор еще не построен, то это лишь потому, что нет тяжелой воды, а устранять резонансное поглощение нейтронов при помощи менее дефицитного замедлителя мы пока не умеем. Пока! И сам же Хартек мечется теперь как угорелый кот — ищет, с чем бы еще таким перемешать этот чертов уран, чтобы реакция наконец пошла… Мне в моей жизни, Розе, мало чем можно гордиться, но одним я горжусь — тем, что не подписал тогда этого письма. Он предложил мне и Гроту, тот согласился. И еще горжусь тем, что осенью того же тридцать девятого года вообще бросил к черту науку и надел мундир. Да, да, не смотрите на меня такими глазами!

Он помолчал, потом спросил с подозрением:

— Вас это что, специально послали уговорить меня вернуться к исследовательской работе?

— Не совсем так. Дело в том, что вам это все равно предложат в управлении офицерского резерва. Но именно предложат, а не прикажут, так что выбор будет за вами. Мне поручено попытаться убедить вас не отказываться.

— Черт возьми, почему именно меня?

Розе добродушно рассмеялся, обмахиваясь шляпой:

— Давайте-ка перебазируемся в не столь людное место… сюда опять кто-то идет.

Они поднялись и медленно пошли по аллее.

— Почему именно вас? — переспросил Розе. — Да потому, что именно вы и есть самый подходящий человек. В том, что вы только что говорили о наших ученых мужах, много справедливого. Это действительно люди, в чем-то начисто лишенные чувства реальности… Хартек человек несомненно честный, но письмо он написал, а сейчас действительно ушел в работу с головой, проблема его захватила, и он уже не способен думать о моральной стороне дела. Лишь бы получилось! Вот, скажем, поставил эксперимент с сухим льдом — неудачно. А если бы вышло удачно? Цэ-о-два — это вам не дейтерий-два-о, этого добра навалом даже у нас. Значит, реактор мог бы и впрямь заработать… со всеми вытекающими отсюда последствиями. О них — об этих возможных последствиях — профессор Хартек уже не думает. Так же, как не думал профессор Гейзенберг, когда решил проблему стабилизации. Вы когда об этом упомянули, я сразу вспомнил, что мне рассказывал доктор Багге — он в тот день был в Лейпциге. Иду, говорит, по коридору, вдруг Вернер выскакивает из своего кабинета, весь

перемазанный мелом и буквально сияющий от счастья, хватает меня за рукав, затаскивает к себе и вопит, показывая на доску: «Смотрите, я наконец это сделал!!» Экая, подумаешь, радость…

— А я вам о чем толкую? — буркнул Дорнбергер. — Свернем сюда, здесь хорошее место… прячусь тут от своих целителей и врачевателей. Это самое я и имел в виду и поэтому-то и ушел — чтобы самому не превратиться в такого же безответственного маньяка…

— Я понимаю, ваше отличие от других в том и состоит, что вы человек абсолютно трезвый. Перебирая мысленно знакомых мне ваших коллег, я просто не нахожу ни одного, к кому можно было бы обратиться с таким предложением…

— Польщен и еще больше заинтригован. Сядем здесь, Пауль, тут нас ни одна собака не подслушает. Итак, кому и для чего понадобилось вернуть меня в урановый проект?

— Это понадобилось людям, которые хотят спасти Германию.

— Любопытно. Спасти Германию — ни больше ни меньше. А от чего, кстати, они хотят ее спасти?

— По-моему, это понятно.

— Мне — нет. От чего можно сегодня пытать-

ся спасти Германию? От военного поражения? Бесполезно, война уже проиграна. Или от национал-социализма? А вот об этом, дорогой Розе, нам следовало подумать лет десять назад. Или даже не десять, а двадцать — когда эти чумные крысы впервые выползли в Мюнхене из своей клоаки. Вот когда надо было спасать от них Германию!

— Согласен, — терпеливо сказал Розе. — Но исправлять ошибки никогда не поздно.

— Вы думаете? Есть на сей счет и другая теория, однако вернемся к практике. Предположим, я соглашаюсь. Что это даст вашим… спасителям Германии?

— Ну… чем больше честных людей будет участвовать в Проекте, тем лучше.

— Мы только что согласились на том, что честных людей там хватает.

— Я имею в виду — честных и способных к действию. Просто «не любить» нацистов не такая большая заслуга, куда труднее предпринять что-то для того, чтобы помешать им окончательно погубить страну. Вы считаете — поздно, а мне кажется, сейчас-то и наступает самое благоприятное время. Сталинградская катастрофа открыла глаза даже тем, кто еще год назад молился на фюрера. Кстати, именно в том же самом Мюн-

хене — самом «коричневом» городе Германии — недавно имели место беспорядки в университете, студенты разбросали листовки с открытым призывом к сопротивлению. Но надо быть реалистом, Эрих, легкой победы здесь быть не может, это борьба не на жизнь, а на смерть. Борьба, в которой допустимы все средства. Вы согласны — в принципе?

Дорнбергер пожал плечами.

— Не знаю, — сказал он наконец. — «Все» — это уж, пожалуй, слишком… Уточните, какое средство вы имеете в виду в данном случае. Применительно к урановому проекту.

— Хорошо, я уточню. Люди, о которых мы говорим, наладили контакт с дипломатическими представителями союзников в Швейцарии; сейчас очень важно, чтобы там знали о существовании у нас активной оппозиции режиму, особенно в военных и промышленных кругах. Но вы сами понимаете, насколько сложны подобные переговоры… и с каким недоверием партнеры принюхиваются друг к другу. Особенно, конечно, недоверчива та сторона; хотя бы потому, что она менее заинтересована. Это ведь мы, немцы, лихорадочно пытаемся спастись… а для них победа — лишь вопрос времени. Поэтому нам прихо-

дится подкреплять слова чем-то конкретным… В частности, Эрих, наших партнеров явно интересует положение дел в германском урановом проекте. Если бы мы могли хотя бы время от времени снабжать их достоверной информацией…

— Я понимаю, — сказал Дорнбергер. — Только мне все-таки неясно, при чем тут я. Вы с ними в контакте? Вот и снабжайте, если находите это правильным.

— Помилуйте, я не имею никакого отношения к Проекту, меня туда на пушечный выстрел не подпустят, да и вообще я не физик! По образованию — да, но я никогда не занимался научной работой, я всю жизнь редактор, моих знаний хватает лишь на то, чтобы разбираться в материалах, которые мне приносят!

— Ну, ну, не прибедняйтесь, разбираетесь вы в них совсем неплохо. И вы только что с большим знанием дела информировали меня, где что происходит и кто чем занимается. Я, например, не знал, что ставились опыты с сухим льдом. А вы это знаете. Вот и в добрый час!

— Да что там я знаю? Какие-то обрывки сплетен! Только лишь потому, что кое-кто из коллег еще собирается по субботам у меня дома…

— Вот и прекрасно! Подпаивайте их не скупясь,

виски пусть присылают из Женевы, и слушайте повнимательнее. Вас, кстати, еще не разбомбили?

— Что? — Розе запнулся и глянул на него непонимающе. — А, нет. Покамест бог миловал. У нас в Тельтове упало, правда, несколько тяжелых бомб, я также видел разрушенные дома в Целендорфе и в Далеме — у самого института. Но в целом, можно сказать, юго-запад еще сравнительно благополучен. Фрау Рената сказала мне, что ездила в Груневальд взять кое-какие вещи и там тоже все пока цело…

— Она разве не дома живет?

— Насколько я понял, нет. У какой-то подруги в Бабельсберге, поближе к студии, надо полагать. Эрих, послушайте. Я не жду ответа сейчас, но решить вам надо. Хартек помнит вашу работу по разделению изотопов ксенона — с ним говорили, он охотно возьмет вас в свою группу…

— Я в его группу не пойду, и не надо меня уговаривать, это бесполезно.

— Почему, Эрих? Почему? Ведь я только что объяснил вам, насколько это важно!

— Да вы что, Розе, — тихо сказал Дорнбергер, — вы и в самом деле ничего до сих пор не поняли? Ладно бы они — вся эта обезумевшая орава — ведь

эти проклятые фанатики «научного поиска» вообще уже не соображают, что делают, для них не существует больше ни моральной стороны дела, ни политической, ничего, кроме самой проблемы в чистом виде, будь она проклята. Но вы-то, черт побери! Вы-то должны понимать, какое чудовище мы не сегодня завтра пустим на волю из своих лабораторий! Да не именно мы, немцы, мы уже ни черта не успеем — и слава богу, хоть в этом не будет нашей вины, — но ведь это все равно сделают другие — рано или поздно сделают, если не Чедвик, то Капица, если не Капица, то Ферми — не все ли равно кто! Оглянитесь вокруг, редактор Розе, раскройте глаза, посмотрите — во что превратилось человечество! И это ему вы хотите дать в руки энергию ядерного распада?

— Да, да, я понимаю ваши опасения, — терпеливо сказал Розе. — Но, Эрих, новый источник энергии всегда пугает современников. То, что вы говорите сейчас, в свое время говорилось и по поводу электричества, и даже по поводу пара…

— Да при чем тут пар и электричество, черт побери! Я все же не неграмотный монах, усмотревший дьявола в тележке Дени Папена! Логичнее вспомнить Бертольда Шварца, если уж вам нужны исторические аналогии; уран прежде все-

го станет орудием смерти, и только после этого — может быть! — мы научимся использовать его как источник энергии. Говорю «может быть», потому что вовсе не уверен, что человечество до этого доживет. Поэтому я и не намерен работать ни с Хартеком, ни с кем другим из этой обезумевшей оравы. Да, Гитлеру они урановую бомбу не подарят, просто не успеют, — но что из того? Представьте себе, что успели англичане или американцы. Попытайтесь! Или слишком страшно? Вот то-то и оно. Если Черчилль не задумываясь посылает на тыловые города по тысяче тяжелых бомбардировщиков — какие соображения помешают ему применить потом урановую взрывчатку? Мораль? Гуманность? Ха! Поезжайте в Кёльн — там увидите, что такое «гуманность» в английском понимании…

— Ковентри тоже был тыловым городом, Эрих.

— Ну, знаете, это логика каннибальская: соседнее племя сожрало двоих наших, так мы теперь сожрем у них сотню! Словом, договоримся: если вы считаете нужным свести меня с этими вашими «спасителями Германии», я готов встретиться и побеседовать. Но как на шпиона пусть на меня не рассчитывают, это вы им скажите сразу…

Глава 2

Жизнь Людмилы Земцевой переломилась страшно и непоправимо в августе сорок первого года. Именно в августе, не в июне. Сам факт начала войны не столько испугал, сколько ошеломил вчерашних школьников, накануне отпраздновавших свои аттестаты; о том, как развернутся события ближайших месяцев, они не только не догадывались — они и вообразить себе не могли ничего подобного. Людмила потом часто вспоминала, как вечером двадцать второго к ней прибежал Володя Глушко — принялся доказывать, что уж завтра-то в Германии начнется; немецкий пролетариат, сказал он, просто не может теперь не обернуть оружие против Гитлера и его преступной клики…

Город, где прошло их детство, — старый, зимою снежный, а летом весь в зеленой шумящей тени акаций и каштанов, не очень крупный областной город на Правобережной Украине — уже через месяц оказался под непосредственной угрозой. В конце июля комсомольцев допризывного возраста мобилизовали на оборонные работы. Людмила и почти все ее бывшие одноклассники

отправились копать противотанковые рвы — на всякий случай, как объяснили в райкоме.

Случай этот представился двумя неделями позже: танковый корпус Кемпфа, нанося удар в направлении Кривой Рог — Запорожье, прорвал нашу оборону под Куприяновкой. Войска 26-й армии начали отходить к Днепру, и вместе с ними, мешаясь с обозами, артиллерией и пехотными колоннами, потянулись по занавешенным черной пылью шляхам бесконечные толпы беженцев. Какой уж тут противотанковый ров!

Вернувшись домой, Людмила застала мать укладывающей чемоданчик. «Как хорошо, что ты успела, — сказала Галина Николаевна, — а я уже написала тебе письмо. Дело в том, что эти умники решили вдруг эвакуировать лабораторию — мы целую неделю демонтировали установки, вчера наконец отправили оба вагона. Я лечу сегодня ночью — там ведь надо все подготовить заранее, пока эшелон будет в пути…»

Людмила ничего не поняла сразу, до нее как-то не дошло, она стала расспрашивать. Оказалось, что эвакуируется не только лаборатория доктора Земцевой, эвакуируется весь Институт токов высокой частоты, и не куда-нибудь, а в Среднюю Азию. Впрочем, самолетом сегодня вылетают

лишь несколько ведущих сотрудников, чья работа связана с оборонными темами. Их семьи, а также все остальные работники института должны ехать следующим эшелоном — об этом позаботится замдиректора. Все это Галина Николаевна разъяснила дочери спокойно и терпеливо, как положено разговаривать с детьми; при этом она рылась в книжном шкафу, отбирая то, что необходимо было взять с собой. Она заставила Людмилу еще раз записать телефон зама, повторив, что тот все устроит и все организует и беспокоиться решительно не о чем, — скорее всего, добавила она, эта нелепая эвакуация вообще не более чем проявление перестраховки. Людмила вспомнила увиденное за этот день и подумала, что мысль о «перестраховке» никому, кроме мамы, пожалуй, и на ум не могла бы прийти.

Через полчаса — Галина Николаевна едва успела объяснить дочери, где что лежит, и еще раз наказать ей не распускаться и держать себя в руках (что особенно необходимо в такое трудное время) — на улице знакомо просигналил институтский «газик», и Людмила осталась одна. Той памятной для нее ночью город бомбили — впервые с начала войны. И на следующий день тоже, еще сильнее. Бомбили свирепо и прицельно, с

пикировщиков, особенно пострадали вокзал и сортировочная станция, так что ни о каких эшелонах теперь не могло быть и речи. К тому же Людмила узнала от одной маминой сотрудницы, что замдиректора, которому было поручено «все организовать», после второй бомбежки бежал за Днепр, нагрузив своей мебелью последнюю институтскую полуторку. Через неделю пришли немцы.

Вместе со школьной подругой, переселившейся к ней из разбомбленного дома в центре, они прожили до холодов — вернее, не прожили, а просуществовали, потому что это уже не было жизнью в привычном для них понимании. Они никуда не выходили, ни с кем не общались, читали старые романы из огромной земцевской библиотеки и старались не думать о том, что будет, когда кончатся запасенные Галиной Николаевной (как ни странно!) мука и картофель. Особнячок, построенный еще Людмилиным дедом, стоял в запущенном саду на зеленой и тихой улочке, здесь была уже почти окраина города и немцы появлялись редко. У Земцевых останавливались переночевать всего два раза — солдаты, к счастью, попались в обоих случаях немолодые и смирные. Они мылись в саду у водопроводного

крана, гремели котелками на кухне и укладывались спать, попиликав на губных гармошках.

Так что ничего страшного вроде и не происходило, но все равно — это уже была не жизнь, а нечто бредовое и нереальное. Людмила и ее подруга принадлежали к поколению, не умеющему сомневаться; они слепо верили всему, во что им предложено было верить, а слепая вера боится резких ударов. Вера их сверстников, остававшихся по нашу сторону фронта, не подвергалась столь жестокому испытанию на прочность; испытания, выпавшие на их долю, были совсем иного рода. А для молодежи, попавшей в оккупацию в первые же месяцы войны, слишком внезапно рухнуло многое из казавшегося незыблемым, вечным, как небо и земля…

В октябре кончились продукты, а тут еще явился однажды полицай из местных — спросил, почему девушки не зарегистрировались до сих пор на бирже труда, и пригрозил суровой карой за уклонение от общественно полезной деятельности. Пришлось идти регистрироваться. Тане повезло — ее отправили на уборку развалин в центре, а Людмила имела неосторожность показать при начальнице хорошее знание немецкого. Ей тут же предложили стать переводчицей, она

отказалась, и обозленная отказом начальница проштемпелевала ее «кеннкарту» жирной буквой «R» — это означало работу на территории рейха. В Германию ее отправили первым же эшелоном.

Она находилась тогда в состоянии какого-то душевного окоченения. Мир вокруг нее продолжал рушиться, не оставалось даже соломинки, чтобы ухватиться; единственным, пожалуй, во что она еще не потеряла веру, была привязанность к ней оставшейся дома Тани, они дружили давно, и это — хоть это! — уцелело, но все равно их разлучили. А все остальное было кошмаром, немцы взяли Киев и овладели Украиной до самого Донбасса, стояли у ворот Москвы, Ленинграда; кошмаром были пересыльные лагеря, унизительные медосмотры, ругань охранников и надзирательниц. Даже воспоминания о доме были мучительны. Людмила осуждала мать не за то, что та уехала: она понимала, что не эвакуироваться Галина Николаевна не могла. Но хоть бы заплакала тогда, прощаясь, хоть так проявила бы страх за судьбу дочери, оставляемой в прифронтовом уже городе! Нет, ее и тогда больше беспокоило — не забыть бы нужный справочник…

Чуть просветлело, когда в одном из лагерей девушки узнали о начале нашего контрнаступ-

ления под Москвой. Забрезжила робкая надежда — а вдруг что-то переменится еще в лучшую сторону… Впрочем, для них — полонянок, угнанных в неволю точно так же, как триста лет назад угоняли их соотечественниц на невольничьи рынки Кафы и Карасубазара, — для них пока мало что могло измениться. Группа Людмилиных землячек редела: часть отобрали в Оппельне, часть — в Бреслау, остальных повезли дальше. Хмурым январским деньком поезд остановился на большой товарной станции с множеством забитых составами путей, девушкам велели выходить, построили в колонну. «Ты не видела, что за город?» — спросила Людмила у Наталки Демченко. «Да Дрезден якись, хай ему», — ответила та.

Их долго вели по улице унылого фабричного предместья, с серого неба сыпался снежок пополам с дождем, ноги промокли. Людмила пыталась вспомнить все, что знала о Дрездене, но вспомнилось не много — знаменитая картинная галерея, одна из лучших в Европе, король Август Саксонский… Еще река Эльба. «Но спят усачи-гренадеры в долине, где Эльба шумит…» «Под снегом холодным России» — это понятно, а почему в долине Эльбы? Разве Наполеон и здесь побывал? А впрочем, конечно. По всей Европе и

даже «под знойным песком пирамид». Совсем как эти. Неужели у этих может кончиться иначе?

Девушек привели в помещение со стеклянным потолком, вроде пустого цеха. К счастью, здесь было относительно тепло. Выдали бумажные тюфяки с соломенной трухой, велели идти в баню, вещи сдать на санобработку, процедура была уже привычной. Вечером дали по миске брюквенного супа с кусочком хлеба в ладонь. Утром, в этом же зале — после того, как тюфяки были убраны и пол тщательно подметен, — состоялся очередной «аукцион».

Людмила, впрочем, не знала, действительно ли это было аукционом и покупали ли немцы своих рабынь или те распределялись как-то иначе. Может быть, по ордерам? За столом с бумагами сидел обычно чиновник, с ним и имели дело покупатели — после того, как отобрали себе нужный «товар», оптом или в розницу. Иногда брали целыми группами, иногда поодиночке. Это тоже было уже привычным делом; Людмила только всякий раз удивлялась, как это они еще не додумались выставлять рабынь нагишом.

Ею самой никто не прельстился и на этот раз. «Аукцион» закончился, и чиновник за столом уже собирал бумаги, когда переводчица подошла

к нему и, говоря что-то, указала на Людмилу — та сразу заметила это, ей стало не по себе. Чиновник тоже посмотрел, поманил пальцем.

— Скажи-ка, — спросил он, когда она подошла к столу, — у тебя тут на карточке помечено «хорошо владеет немецким» — ты, случайно, не из фольксдойче?

— Нет, разумеется, — сказала Людмила, — меня бы тогда не забрали.

— Но ты действительно владеешь языком?

— Как слышите. «Хорошо» — это преувеличение.

— Могу предложить место переводчицы, — сказал чиновник, продолжая складывать бумаги в портфель. — В лагере при небольшом промышленном предприятии, там тоже работают девушки с Украины.

— Мне уже предлагали место переводчицы, но эта работа мне не по душе.

— Скажи на милость. Ладно, дело твое, не хочешь — не надо. Одевайся и возьми свои вещи, пойдешь со мной…

Людмила попрощалась с девушками, взяла свой чемоданчик и натянула пальто, севшее от многократного прожаривания в дезкамерах. Вдобавок оно еще выглядело жеваным и омерзи-

тельно пахло какой-то химией — чиновник, когда они вышли на улицу, явно старался держаться от нее подальше. В трамвае он знаком велел ей остаться на площадке, а сам прошел в полупустой вагон и сел там, взяв у кондукторши билеты и пальцем указав через плечо — для той, мол, вон оно торчит, восточное чучело… Людмиле было немного страшно — кто знает, куда ее теперь отвезут? Может быть, стоило согласиться… Все-таки была бы среди своих, а с другой стороны — если работать переводчицей здесь, то чего же ради она отказалась от этого там, дома…

Трамвай привез их в другой район города — здесь были высокие красивые дома старинной постройки, много деревьев. На одной из остановок чиновник вышел на площадку, свистнул Людмиле, как собачонке, и дал знак следовать за ним. Они вошли в подъезд мрачного серого дома — здесь помещалось какое-то учреждение, чиновник вел Людмилу коридорами, мимо дверей, за которыми стрекотали пишущие машинки, слышались телефонные звонки и голоса. Потом она ждала одна в коридоре, чиновник ушел и велел ей не отлучаться. За высокими окнами уже смеркалось, когда он наконец вернулся и снова поманил ее за собой.

Высокий худощавый старик в роговых очках поднялся со стула, опираясь на трость, когда Людмила вошла в комнату вместе со своим конвоиром.

— Ну, вот это она и есть, эта особа, — сказал чиновник и подтолкнул ее вперед — Не знаю, что и посоветовать, господин профессор, решайте сами. Если надумаете взять, зайдете потом ко мне, и мы все оформим.

С этими словами он скрылся за дверью. Людмила стояла, оцепенев от внезапно нахлынувшего страха; старик церемонно указал ей на стул.

— Садитесь, пожалуйста. Рад познакомиться, фрейлейн… — он справился по бумажке, которую держал в руке, — фрейлейн Зем-цоф — я правильно произнес? Меня зовут Иоахим Штольниц, и я имею сделать вам некоторое предложение. Вы хорошо понимаете меня, фрейлейн?

— Да, я хорошо вас понимаю. — Людмила кивнула, глядя на немца настороженно. Он говорил очень ясно, не спеша, с четкой артикуляцией.

— Сядьте же, прошу вас, нам надо поговорить. — Немец повторил свой приглашающий жест. Когда Людмила опустилась на стул, он тоже сел, сложив пальцы на набалдашнике трости. — Фрейлейн, я хотел бы предложить вам работу в

моем доме в качестве — ну, помощницы, назовем это так. Нас двое, жена тоже немолода, ей уже трудно. Разумеется, мы не хотели бы принимать помощь от человека подневольного, поэтому обдумайте сами. Если вы предпочитаете работать в другом месте… скажем, на заводе или в крестьянском хозяйстве, вы вольны отказаться. Но я обещаю вам, что у нас вы будете как член семьи. Работы не так много — ну, я не знаю, прибрать, сходить за покупками, постирать — впрочем, у нас есть эта, знаете, — он покрутил пальцем, будто что-то размешивая, — такая машина. А готовит жена сама, этого она никому не доверит. Хотя что сейчас можно готовить? Да, если вас интересует, кто я такой, то могу сказать: я преподаватель, вернее, бывший, читал курс истории искусств, специальность — итальянское Возрождение. Ну и у меня есть еще несколько книжек на ту же тему. Вот так, фрейлейн. А о себе вы расскажете позже — если захотите. И если, конечно, вообще согласитесь принять мое предложение…

Людмила понимала каждое слово, но общий смысл все еще как-то не доходил до ее сознания, может быть, просто потому, что у нее кружилась голова от голода и усталости. Утром им выдали по кружке ужасного суррогатного кофе и по

куску хлеба с маргарином, и это было все; после «аукциона», вероятно, оставшихся должны были накормить обедом, но забравший ее чиновник об этом и не подумал. Она все-таки постаралась сосредоточиться — немцу, вероятно, надо дать ответ? Она не знала, что о нем и думать, выглядел он приличным человеком и говорил с ней, казалось бы, искренне, но… Мало ли кем он может оказаться? Все-таки немец. Но тут же ей вспомнился врач в одном из лагерей — на медосмотре он отозвал ее и, делая вид, будто занимается обмерами головы, сказал о провале немецкого наступления на Москву. Он ведь тоже был немец, и даже довольно молодой, но явно из антифашистов. Он еще сказал ей тогда: «В Германии есть люди, которые вам помогут…»

У меня нет оснований верить этому старику, подумала она, но нет оснований и не верить, в таких случаях, наверное, лучше избирать доверие. В конце концов, рискует она только собой. А жить, никому не доверяя, вообще не стоит…

— Вы хорошо меня понимаете? — опять спросил немец и добавил, словно прочитав ее мысли, еще один вопрос: — Вы вообще верите в мою искренность?

— Да, господин профессор, — ответила она. —

Хорошо, я согласна работать у вас в доме…

Профессор Штольниц не обманул ее доверия. За полтора года, прожитых в этой семье, она и в самом деле стала чувствовать себя почти родственницей. Фрау Ильзе, правда, казалась ей слишком уж расчетливой и экономной; Людмила признавала, что основания к этому у фрау были: Штольницы жили очень небогато, почти бедно, хотя и в просторной квартире, обставленной старой дорогой мебелью. Все это было остатками прежнего благополучия, сейчас профессор не преподавал и книги его не переиздавались, так что было даже не совсем понятно, на какие средства они вообще существуют. Но все-таки — охать и всплескивать руками по поводу толщины картофельных очисток! Если не считать этого, фрау Ильзе была женщина добрая, хотя и недалекая. Людмила относилась к ней покровительственно.

О сыне, служившем в Африканском корпусе, фрау Ильзе говорила часто и с умилением, профессор же — никогда; можно было предположить, что отец с сыном не очень-то ладят. На фотографиях Эгон выглядел красивым, но несимпатичным — этакая надменная «белокурая бестия». Людмила побаивалась его приезда. Ему должны были дать отпуск еще прошлой

осенью, но англичане остановили Роммеля под Эль-Аламейном и сами перешли в наступление; отпуска тогда были отменены, и Эгон приехал только весной. Оба предположения подтвердились: и то, что не ладит с отцом, и то, что бестия. В последний день они с профессором совсем перессорились — Людмила случайно услышала часть разговора — речь шла о безнадежном положении на фронтах, и профессор сказал, что «нордическая верность» тех, кто продолжает слепо исполнять приказы, теперь уже оборачивается соучастием в преступлении…

Эгон вернулся в свою часть в начале апреля, а десятого мая на мысе Бон была подписана капитуляция войск Оси в Северной Африке; с тех пор о нем не было ни слуху ни духу.

Что касается политических симпатий профессора, то он с самого начала не скрывал их от Людмилы, хотя первое время и не высказывал открыто, — они проявлялись скорее в поступках. В тот первый день, например, когда они вышли вместе из трудового управления, он отобрал у нее чемоданчик и понес сам. Она пыталась протестовать — ей действительно было неудобно: все-таки он (немец или не немец) был намного старше, но профессор ответил ей полушутливо-

полувсерьез, что мужчина, идя с дамой, тоже не любит афишировать свой возраст. До Остра-аллее, где жили Штольницы, оказалось довольно далеко, они шли около получаса, хотя можно было воспользоваться трамваем. Лишь позже Людмила поняла, почему профессор предпочел пешую прогулку: иностранцам, оказывается, разрешалось ездить только на задней площадке, и Штольниц должен был бы или поступить подобно тому чиновнику — спокойно усесться внутри, оставив ее за дверью, — или же самому остаться там вместе с нею, что поставило бы в неловкое положение саму Людмилу.

Уже одним этим он сразу дал ей понять, что не разделяет официально насаждаемого в Германии презрения ко всем иностранцам и не намерен соблюдать никаких предписаний в этом смысле. То, что Людмила с первого же дня питалась вместе с «хозяевами», тоже, конечно, было особого рода демонстрацией; интересно, сажали ли они раньше за свой стол прислугу-немку. Скорее всего, нет; ведь обычная прислуга была в их глазах существом иного, так сказать, социального уровня, с нею просто не о чем было бы говорить. В Людмиле же они видели жертву временных обстоятельств.

А месяца через три профессор однажды заговорил с нею более откровенно.

— Люди порой склонны отчаиваться, — сказал он, — вспомните тот сонет Шекспира — «Зову я смерть…» — шестьдесят шестой, если мне не изменяет память. Вполне оправданное чувство, но отчаяние и мудрость несовместимы, с возрастом это начинаешь понимать… Дело в том, что зло всегда на поверхности, оно больше бросается в глаза, а к урокам прошлого мы глухи и слепы. Ведь еще не было случая, чтобы политической системе, сознательно избравшей путь зла, было дано бесчинствовать безнаказанно. Ей дозволяется лишь проявить себя на протяжении какого-то ограниченного срока, бесконечно малого в масштабах истории, а затем неминуемо приходит возмездие. И оно оказывается тем более страшным, чем страшнее были преступления, тут уж берет слово сама Справедливость…

Это было сказано настолько недвусмысленно, что Людмила даже испугалась — а вдруг провокация? Хотя, если здраво рассудить, чего бы ради профессору ее провоцировать, да и не похож он на провокатора…

Скоро ее опасения окончательно рассеялись. Штольниц, вероятно, не был активным анти-

фашистом, и его оппозиционность проявлялась лишь в разговорах да еще в том, что он постоянно слушал Лондон — каждый вечер из его кабинета доносился приглушенный тяжелыми портьерами бой позывных — бум-бум-бум-бум; слыша это, фрау Ильзе бросала на Людмилу многозначительный взгляд, словно призывая ее разделить негодование, и скорбно поджимала губы (за слушание вражеских передач можно было угодить в концлагерь). Но так или иначе, к нацистскому режиму профессор испытывал несомненное отвращение.

Однажды, не утерпев, Людмила решила вызвать его на бо'льшую откровенность. Он часто расспрашивал ее о жизни в Советском Союзе, интересовался любой мелочью, школами, системой образования. Воспользовавшись одним из таких разговоров, она как бы вскользь заметила, что в начале войны все ждали восстания немецкого пролетариата. Услышав это, профессор рассмеялся:

— Что ты, дочь моя! Восстание — у нас? Мы для этого слишком законопослушны. С немцем можно делать что угодно, если ты облечен властью. Перед властью — любой властью, заметь, даже перед ее атрибутами! — немец испытывает некий

священный трепет. В этом наша всегдашняя трагедия — мы всегда послушны, всегда повинуемся слепо и беспрекословно — приказ есть приказ! — без тени сомнения, без малейшего протеста хотя бы где-то в душе, про себя, втайне…

— Я понимаю, — сказала Людмила. — Но так можно повиноваться, если власть — старая; ну, привычная, понимаете? Кайзер, например, в ту войну — естественно, его все слушались. Но Гитлер… он ведь не сразу стал привычной властью, я хочу сказать — был какой-то момент, когда и атрибутов у него не было…

— Да-да. — Профессор закивал. — Я понял твою мысль! Ты хочешь спросить — как могло случиться, что его допустили к власти? О! — Он поднял палец. — Вопрос весьма существенный. Как говорится — in media res. Кто только себе его не задавал, дочь моя, но ответить на него не так просто. Видишь ли, юридически Гитлер — не узурпатор; как это ни печально признавать, канцлером он стал вполне законно, опираясь на результаты выборов. Таким образом, в глазах любого немца он сразу стал носителем законной власти, полученной им от Гинденбурга. Это первое. Второе: ему удалось очень быстро покончить с безработицей. Тот очевидный с самого

начала факт, что безработица ликвидировалась путем тотальной милитаризации нашей экономики, никого не интересовал. О будущей — и уже становившейся неизбежной! — войне никто тогда не думал, все были рады тому, что не надо больше ходить штемпелеваться на бирже труда. Понимаешь? Это что касается рабочих, то есть большинства нации. Ну а люди образованные… — Профессор пожал плечами, усмехнулся. — Мы, должен тебе признаться, долгое время просто не принимали его всерьез. Спохватились, когда было поздно. А многие и тогда продолжали сохранять олимпийское спокойствие… делали вид, что происходящее их не касается. Я помню один разговор… Есть у меня знакомый физик — молодой еще человек, сын моего фронтового товарища. Мы вместе были на Западном фронте — в ту войну, естественно! — он там погиб, и я потом принимал участие в судьбе его сына. Умный парень и, говорят, даже талантливый в своей области. Так вот, когда наци нас оседлали — а он незадолго перед тем окончил университет и женился, — я, помню, навестил его в Берлине. Сидим ужинаем, были еще какие-то гости — театральная публика, насколько помнится, жена его вечно крутилась в среде всяких режиссеров,

актеров. Я спросил — как проявляет себя в столице новая власть? — и сразу почувствовал себя этаким провинциалом, не умеющим себя вести за столом и не знающим, о чем можно и о чем нельзя говорить в хорошем обществе. В самом деле — тут споры о Пабсте, о Рейнгардте, а этот неотесанный саксонец вдруг во всеуслышание интересуется черт знает чем. Словом, наступило этакое неловкое молчание, кто-то что-то промямлил, но саксонцы, знаешь ли, публика упрямая — и я обратился уже прямо к хозяину дома. А Эрих вообще интересов своей супруги не разделял и в этой компании держался особняком, я не уверен, что он хоть раз в жизни был в театре. Так вот, когда я его спросил, как обстоят дела в научных кругах, он мне ответил буквально следующее: «Да я, признаться, не в курсе, какое мне дело до этой коричневой швали». Как это тебе нравится? А ведь она, эта самая шваль, уже тогда травила Эйнштейна, начала изгонять профессоров-евреев из учебных заведений — словом, проявила себя во всей, можно сказать, своей первозданной красе. Но вот что любопытно! Меня тогда, должен откровенно признаться, ответ Эриха нисколько не возмутил. Правда, сам я — как и многие мои коллеги-гуманитарии — принимал

происходившее ближе к сердцу, многое нас уже начинало тревожить всерьез… но это так, скорее в абстрактном плане. А позиция Эриха мне тогда чем-то даже понравилась — этаким, понимаешь ли, гордым «Noli tangere»…

— Господин профессор, — сказала Людмила, — мы в наших средних школах древние языки не изучаем, поэтому со мной все ваши цитаты пропадают зря.

— Да, да, извини! Идиотская старая привычка — в далекие времена моей молодости самый тупой студиозус обожал щеголять латинскими словечками. Снобизм чистой воды, но въелось на всю жизнь. Это я вспомнил фразу Архимеда, которую он якобы сказал римскому солдату, пришедшему его убить: «Не тронь мои чертежи…»

Разговор этот состоялся в самое трудное время — ранней осенью сорок второго года, когда только началась битва за Сталинград и уже трудно было надеяться на что-то хорошее. То, что профессор именно в такой момент счел возможным говорить с нею так откровенно и недвусмысленно, убедило ее, что Штольницу можно довериться во всем. И когда, полугодом позже, одна знакомая девушка — Зойка Мирошниченко из Бюлау — пожаловалась, что злыдни-хозяева совсем ее

довели и ей теперь остается одно: поджечь дом и наложить на себя руки, — она не колеблясь рассказала об этом профессору, спросив, не может ли он через свои связи в трудовом управлении устроить Зойке перевод на другое место работы. Профессор ответил, что таких связей у него больше нет, но почему бы не устроить девушке побег в Чехословакию? Людмила даже обиделась в первый момент, восприняв его слова как неуместную шутку, но оказалось, что говорил он вполне серьезно. И действительно, не прошло и месяца, как беглянку переправили в Бад-Шандау и там спрятали на барже, которая отправлялась вверх по Эльбе. Позже от Зойки пришла условная открытка с видом какого-то городка в Богемии…

То, что немец, в чьем доме Людмила работала прислугой, оказался человеком настолько порядочным, было для нее неправдоподобной удачей. Но это же и делало ее положение каким-то странным, двусмысленным. Будь он нацистом, в этом была бы определенная логика, а так — вроде бы рабыня, привезена сюда насильно, как полонянка, но ведь рабам положено ненавидеть своих господ, а за что ей ненавидеть Штольницев? Если только за то, что они — немцы, то чем тогда она

отличается от любого хайота[2] который ненавидит ее только за то, что она — русская…

Она даже не решалась рассказывать о своей жизни знакомым девушкам из эшелона, с которыми продолжала изредка видеться. Те и без того удивлялись, что она выглядит не умученной и так хорошо одета (фрау Ильзе пожертвовала талонами на текстиль и купила ей пальто в фешенебельном магазине на Прагерштрассе — из ужасной синтетической дерюги, но зато самого модного покроя). Когда ее расспрашивали о хозяевах, Людмила сдержанно говорила, что относятся неплохо, грех жаловаться. Да ей просто не поверили бы, скажи она кому-нибудь, что у нее своя отдельная комната, что обедает она вместе со Штольницами и свободно пользуется профессорской роскошной библиотекой…

Почти все, попавшие, подобно ей, в прислуги, жаловались на тяжелый труд, скверные условия, грубость хозяев. Положение тех, кого распределили по заводам, было еще тяжелее; Людмила время от времени посещала некоторые рабочие лагеря, по воскресеньям (если лагерь не находился на территории завода) туда иногда пускали

---

[2] Notes: 2

Сокр. от «Hitler Junge» *(нем.)* — член организации «Гитлеровская молодежь».

посетителей. Где-то было чуть получше, где-то — похуже. Всюду действовали одни и те же правила, но кое-что зависело и от местных властей — в частности, от переводчиков. Эти в большинстве своем были из «фольксдойчей» с Украины и всячески старались выслужиться, делом оправдать свою новообретенную принадлежность к расе господ, но попадались и среди них порядочные люди, пытавшиеся в меру возможностей облегчить для полонянок условия лагерного быта. Что же касается условий труда, то они были, судя по рассказам, одинаково тяжелы на всех дрезденских предприятиях. В этом смысле «Заксенверк» или «Эрнеманн» мало чем отличались от «Униферзелле», от «Хилле АГ», от фабрик парашютного шелка в Пирне или шинного корда в Хейденау: рабочий день продолжался десять часов, мастера постоянно подгоняли, едва замешкаешься, чуть ли не палкой. Плохой была техника безопасности, многие девушки уже покалечились, одна даже потеряла пальцы (правда, ее — нет худа без добра! — отправили, кажется, домой).

Слушая обо всем этом, Людмила не могла не испытывать чувства невольной вины — как будто она сама, каким-то неблаговидным путем, оттягала у судьбы выигрышный билет…

Глава 3

«Эссен, 16 мая 1943

Dear Эрик,

перед отъездом из Б. я опять встретила на Кудам вообрази кого этого милого толстого г-на Розе и он сказал что ты прекрасно выглядишь и почти совсем не хромаешь. Но не беда даже если бы и хромал т. к. я считаю что легкая хромота идет мужчине как и шрамы. В общем у меня с души свалилась такая тяжесть я ведь хотела побывать у тебя но ты не представляешь что у нас тут делается кто же меня пустит. А в Э. я приехала по просьбе Клары Н. из сценарного отд. тут у нее тетка или что-то в этом роде и надо было отвезти пса он там в Б. нервничал из-за сирен совсем облысел. Эрик my dear! Г-н Розе сказал что тебя скоро выпишут и тогда ты получишь отпуск поэтому приезжай обязательно сюда у меня крайне важный вопрос. Здесь много места огромный дом никаких беженцев напротив бегут все кто может. Конечно понятно

з-ды Кр. и т. п. вообще масса всего такого. Дура нашла куда отправить своего Шнукки впрочем тетка намерена уехать с ним в деревню если и тут пойдут дожди. Пока спокойно. Не выброси конверт на нем адрес: р-н Штадтгартен это от вокзала (Эссен-Гл.) под мост сразу налево. Тебе всякий покажет здесь недалеко итальянское консульство. Darling хотя ты меня никогда не понимал мне иногда так тебя не хватает. Жду!

Вся-вся твоя – Рената Дорн».

Он получил это послание накануне выписки, когда уже был заказан билет до Берлина; пришлось опять звонить в Эрфурт в железнодорожные кассы, но сделать ничего не удалось, кассирша свирепо облаяла его и заявила, что знать ничего не знает, заказ принят и зарегистрирован и порядок есть порядок. Поэтому на следующий день он уехал берлинским поездом, рассчитывая на пересадку в Магдебурге.

Пересадка оказалась тоже не таким простым делом, как было когда-то. Вообще, Германия вся стала за это время какой-то не такой. Доктор Дорнбергер не был в стране уже три с половиной

года — если не считать двух коротких отпусков, один из которых он провел у дальних родственников в Нижнерейнской области, у самой границы с Голландией. Перемены на железной дороге особенно бросались в глаза — расписания превратились в фикцию, вместо изысканно вежливых довоенных проводников по вагонам метались бестолковые злобные мегеры, явно видящие в каждом пассажире личного врага. Когда Дорнбергер, предъявляя билет, спросил проводницу, не сможет ли она подсказать ему какой-нибудь наиболее согласованный по времени поезд из Магдебурга на Рур, та прямо задохнулась от ярости. «Глаза у вас есть? — взвизгнула она. — Читать умеете? Вот сами и увидите!» Уже перейдя к двери соседнего купе, она выразила вслух свое мнение о разных бездельниках, которые едут до Берлина, а интересуются поездами в Рур. «Это вообще надо бы еще проверить, что за птица», — добавила она многозначительно. Капитан собрался было прикрикнуть на нее строевым голосом, но вовремя сообразил, что такую не перекричишь.

Огромное здание магдебургского вокзала было наполовину разрушено, двери в зал ожидания зашиты свежим тесом, а кассы размещались в собранном прямо на перроне новеньком щито-

вом бараке. Барак осаждала толпа военных, в которой преобладали пиратские бороды и белые шелковые шарфы подводников; здесь, видимо, пересаживались многие едущие из Киля и Бремерхафена. Дорнбергер потоптался рядом, даже не пробуя помериться силой с отъевшимися на спецпайке «волками Атлантики», и поковылял к щиту с расписанием. Он долго искал подходящий поезд, наконец нашел — через Хальберштадт, Гослар и Падерборн — и только тогда увидел наклеенное внизу щита объявление: «Расписание недействительно, о времени прибытия и отправления поездов справляться у дежурного по вокзалу». Дежурный, как выяснилось, помещался в том же неприступном бараке.

Купив бутылку безалкогольного пива, Дорнбергер присел на стоявшую у киоска пустую багажную тележку и достал из портфеля пакет с полученным в дорогу сухим пайком. Вечно с этой дурой какие-то истории, подумал он устало, без аппетита жуя черствый бутерброд, сидела бы в своем Берлине — так нет же, за каким-то чертом помчалась в Рур. Теперь изволь тащиться следом. Да и «крайне важный вопрос» — наверняка какая-то очередная собачья чушь. Однажды, когда он еще работал в Гамбурге, ему прямо в

лабораторию принесли телеграмму: «Бросай все приезжай немедленно». Он кинулся к машине как был, в халате; первой мыслью было, что тестя все-таки посадили. Старик упорно продолжал вести дела еврейских фирм, подлежащих ариизации, — может быть, даже не столько из симпатии к владельцам, сколько потому, что те не скупились на гонорары. Но защищать их интересы становилось все опаснее: покупатель сплошь и рядом оказывался подставным лицом, а если за ним стоял какой-нибудь партийный бонза, то добиваться справедливой оценки означало играть с огнем… Да, старик вполне мог доиграться. Доиграться могла и сама Рената, с ее неразборчивостью в знакомствах и идиотской манерой болтать что попало и с кем попало. Словом, за три часа бешеной гонки до Берлина он проиграл в уме десяток вариантов один другого страшнее. А что оказалось? Ей нужен был совет — покупать или не покупать какие-то перья цапли или страуса, которые другая дура привезла со съемок за границей и теперь срочно продает. Можно держать пари, что и теперь что-нибудь в том же духе. Зачем, собственно, ему туда ехать, какое ему теперь, собственно, вообще дело до этой идиотки?

А впрочем, может, это и к лучшему, что он не

сразу едет в Берлин. В Берлине не избежать встречи с Розе, а тот опять примется за свое. Тут им действительно не понять друг друга: шпионаж есть шпионаж, какими бы высокими мотивами он ни прикрывался. Тем более — в этой области… Надо бы поподробнее расспросить Розе о той поездке Гейзенберга к Бору. Гейзенберг, похоже, хотел предложить «папе Нильсу» заключить нечто вроде джентльменского соглашения между физиками воюющих стран: добровольно отказаться на время войны от всех работ, связанных с ядерным делением. И похоже, «папа Нильс» уклонился от разговора. Хотя встреча имела место в оккупированном Копенгагене, вряд ли Бор мог подозревать Гейзенберга в провокации — скорее всего, просто понимал, что время джентльменских соглашений уже кончилось.

Узнав, что у нас работают с ураном, союзники не могли не форсировать аналогичных работ у себя. Это естественно. В последний свой отпуск он говорил с одним коллегой и поинтересовался — есть ли заслуживающие внимания публикации в английских и американских журналах (Институт кайзера Вильгельма получал их через Женеву). Оказалось, что уже два года в специальной периодике нет ни строчки по поводу урана

— это значит, что тема взята под контроль правительствами, стала секретной, военной. Какие уж тут, к черту, «джентльменские соглашения». А передача информации в таких условиях?

— Привет, капитуся! — окликнул Дорнбергера молодой женский голос. Вздрогнув, он обернулся — перед ним стояло чумазое существо, которое он на первый взгляд принял бы за мальчишку, если бы не слишком явно обрисовывающий фигуру тесный и латаный комбинезон. На груди и на бедрах комбинезон был особенно засален, — похоже, об него вытирала руки целая бригада смазчиков.

— Спокойно, спокойно, капитан, честь можете не отдавать, — снисходительно объявила девчонка с генеральскими интонациями в голосе и села рядом. — Закурить есть?

Дорнбергер, посмеиваясь, достал из портфеля нераспечатанную пачку «Юно».

— Почему «Юно» круглые? — задала девчонка рекламный вопрос и, подмигнув, тут же ответила на него не менее общеизвестной непристойностью. — Покорнейше благодарю, майор. Далеко ли изволите держать путь?

— К победе, уважаемая, куда же еще.

— Наконец-то истинно германский ответ! А то, знаете, кругом одни пораженцы. Я вот к чему — с

поездами сейчас сами знаете как; если до вечера уехать не удастся, так у меня жилье тут рядом. Мать работает в ночную, сестренок-братишек нет, все тип-топ. А?

— Сколько тебе лет? — полюбопытствовал Дорнбергер.

— Мне-то? Шестнадцать, а чего? Я знаете какая развратная, — объявила она с гордостью. — Мне известны сто способов!

— Неужто целых сто? Скажи на милость, а я и не подозревал, что их столько. Привык как-то обходиться одним. Ты что же, здесь работаешь?

— Надо ведь помогать героям фронта, — объяснила она, закинув ногу на ногу и отводя от губ сигарету жестом Марики Рёкк, играющей даму из высшего света. — Пошлют к Хейнкелю или на «Крупп-Грузон», там и вовсе сдохнешь! Через два года я смогу в зенитчицы, — у тех жизнь шикарная, а пока тут на сцепке… Ну так как — организуем это дело? Помоюсь после работы, переоденусь, и — зиг хайль!

— Да нет, боюсь, ты меня найдешь дилетантом. Мы лучше давай вот что сделаем — я дам деньги и запишу номер поезда, а ты мне организуй билет, хорошо? Ты ведь знаешь, к кому тут обратиться.

— Знать-то я знаю! А сигареты еще есть?

— Нет, только талоны.

— Сойдет, можно талонами. Эту пачку я забираю, и гоните еще на две.

— Помилуй, это же просто грабеж!

— Да вам чего, собственно, требуется — ехать или сидеть тут на заднице и курить свои сигареты?! Ну и сидите на здоровье!!

— Хорошо, хорошо, только визжать не надо… — Дорнбергер отделил требуемое количество талонов и отдал девчонке вместе с вырванным из записной книжки листком, где написал номер поезда и станцию назначения. Когда та удалилась, насвистывая модный шлягер и узывно виляя тощими бедрами, он подумал, что разумнее было бы талоны не отдавать. Скорее всего, паршивка и не пойдет ни за каким билетом, а сейчас будет рассказывать о доверчивом простофиле.

Ну и черт с ними со всеми, решил он, имея в виду обеих сразу. Билет в Берлин у него есть, дождется следующего поезда и уедет, а в Эссен можно дать телеграмму. Пусть-ка изложит свой «крайне важный вопрос» в письменном виде. Он достал письмо, перечитал, украдкой понюхал и фыркнул с неодобрением. От запятых отказалась, поскольку все равно не умеет ими пользоваться, но чтобы бумага была не надушена — это нико-

гда. И эти английские словечки, это идиотское написание имени без конечного «ха» — Эрик вместо Эрих, — вероятно, кажущееся ей таким изысканным! «Вечная женственность», пропади она пропадом…

Он доел бутерброды, допил согревшееся и ставшее от этого еще более мерзким эрзац-пиво и собрался было снова идти к бараку, чтобы узнать насчет ближайшего берлинского поезда, как вдруг услышал голос развратной сцепщицы.

— Эгей, группенфюрер! Алли-алло! — визжала она, высовываясь из окна багажного отделения. — Шпарьте сюда, быстро! Ну, билет я организовала, — сообщила она, когда он подошел, — но только кассирше тоже чего-то надо дать. Я ей не стала говорить, что у вас есть табачные талоны, а как насчет этого?

Она состроила гримаску и потерла большим пальцем об указательный. Дорнбергер кивнул, полез за бумажником.

— Хватит с нее пяти марок, — объявила сцепщица. — Нечего их баловать, все равно половину билетов разворовывают! Знаете, сколько надо отвалить, чтобы устроиться на железной дороге в кассу? Зато и живут они — как бог во Франции, вот чтоб меня завтра разбомбило! Я сама знаю

одну кассиршу, которая курит только американские сигареты, трофейные, и окурки кидает на землю — вот так запросто, а картошку каждый день жарит на сливочном масле… Ну ладно! Проездные документы у вас в порядке? А то, может, вы вообще шпион, я почем знаю, верно? Давайте сюда, и пошли. К самой кассе не подходите — подождете меня вон там…

Не прошло и десяти минут, как она вернула ему бумаги вместе с билетом до Эссена.

— Поезд будет через два часа, — сказала она, — жаль, уже не успеем. А то я бы вас уговорила!

— Ты, милая моя, когда-нибудь доиграешься.

— Ну и доиграюсь, — отозвалась она беспечно, — подумаешь! Все равно скоро конец. Тут ведь бомбят каждый день — это сегодня вам повезло, что тихо. А так… — Она махнула рукой. — Ясно, кругом сплошь военные заводы, один «Юнкерс» чего стоит! Целый город. Я знаю, у меня там мать в кузнечно-прессовом. Штампует какую-то фигню для пикировщиков. Ю–87, «штука» — слыхали? Ладно, капитан, счастливого пути. А я еще почему хотела сделать вам удовольствие — вид у вас очень уж невеселый…

Поезд ушел из Магдебурга почти по расписанию, но уже через полчаса остановился на

каком-то разъезде и ждал бесконечно долго, пропуская товарные составы. Потом объявили воздушную тревогу. Было уже темно, в купе едва тлела под потолком маленькая синяя лампочка, попутчики — в основном тоже отпускники — храпели, привалившись кто в угол дивана, кто на плечо соседу. Вагон был итальянский, с прикрепленными к исцарапанным лакированным панелям видами Лигурийской Ривьеры; над головой у спящего напротив летчика было в качестве дополнительного украшения отбито по трафарету белой краской: «Il Duce ha sempre raggione» — «Дуче всегда прав», — не столько понял, сколько догадался Дорнбергер по аналогии со знакомыми латинскими корнями. Почему эти нынешние подонки с таким упорством твердят о собственной непогрешимости? Черт побери, были же и раньше ничем не ограниченные в своих действиях властители, была абсолютная монархия, но ведь вот ни Старому Фрицу, ни «королю-солнцу» и в голову не могло прийти украсить Берлин или Париж подобными изречениями, хотя скромностью не отличался ни тот ни другой…

Дорнбергеру вспомнилась теоретическая конференция в Риме в начале тридцать седьмого года

— они ездили туда с Бонхоффером, Суэссом и еще одним молодым радиохимиком из Гейдельберга. Их познакомили с профессором Ферми — легендарный автор теории бета-распада оказался темпераментным человечком с живыми черными глазами на оливковом тонкогубом лице, у него была еще странная особенность: сидя он был нормального роста, а стоя — ниже других. После закрытия конференции ее участников повезли на два дня в Альпы, где «дотторе Энрико» (даром что коротышка) показал себя совсем неплохим горнолыжником… Двумя годами позже Ферми, уже нобелевский лауреат, эмигрировал в Соединенные Штаты.

Из Италии тогда уехало еще несколько его сотрудников — Сегре, Разетти… Интересно, что в Германии такого не было. Отсюда уехали только те, кого вынудили это сделать. Да и то в большинстве иностранцы, как Лиза Мейтнер — австриячка или тогдашний директор берлинского института датчанин Питер Дебай. По сути дела, остались все, причем независимо от своих политических убеждений.

Надо полагать, такая профессия. Писатели, например, те разбежались. Хотя опять-таки — большинству пришлось это сделать. Вилли Грот

сказал однажды о Томасе Манне, которого обожал и мог перечитывать без конца, что нацисты его наверняка бросили бы в кацет, и не только за грехи брата. А почему, казалось бы? Если они так заботятся о престиже «арийской расы», то должны были бы гордиться, что Германия дала миру писателей такого масштаба. Сам Дорнбергер не читал «Волшебной горы», но покойный тесть, мнению которого он вполне доверял, советовал непременно прочитать.

Да, интересно, как им сейчас работается в Америке… Соединенные Штаты, похоже, стали мировым центром физики — шутка ли, с такими именами, как Эйнштейн, Ферми, Сциллард… Розе слышал от кого-то, что старика Бора последнее время усиленно уговаривают бежать из Дании; если «папа Нильс» действительно исчезнет, можно не сомневаться, что и он рано или поздно окажется там же. Америка, страна радужных надежд…

А вот Гейзенберг не захотел, хотя ему перед самой войной предлагали кафедру в Колумбийском университете. При всей своей отключенности от жизни он несомненно понимал, что война неизбежна, и все же вернулся, не захотел остаться в Штатах. По каким мотивам? Не хотелось бы ду-

мать, что здесь сыграла роль близость к сильным мира сего (в частности, семейное знакомство с Гиммлером); Гейзенберг мог не сомневаться, что его положение в Америке тоже было бы достаточно высоким. И уж во всяком случае, куда более прочным…

Ну, Гейзенберг ладно — это хоть человек, относящийся к режиму вполне лояльно, пусть не столько из симпатии, сколько из осторожности. Так или иначе, конфликтов с властью у него не было. А что удержало от эмиграции неистового Макса фон Лауэ, открыто конфликтующего где только можно? Говорят, послушание у немцев в крови; может, все дело в этом? Послушание не самого прямого и примитивного вида, а лежащее где-то глубже. Макс до сих пор не боится во всеуслышание называть Эйнштейна величайшим физиком современности — значит не настолько уж он «послушен». Однако уехать, порвать со своей страной…

Да, не так это просто. В Сталинграде все понимали преступную бессмыслицу происходящего, но продолжали драться. Сам он тоже понимал, но ведь ему и в голову не могло прийти — взять, скажем, и сдаться в плен. Если бы сдалась армия, дело иное; Паулюсу следовало сдать армию еще

в ноябре, когда окружение стало фактом. Сдать армию — и застрелиться. Но Паулюс не сделал ни того ни другого — армия продолжала драться, и каждому солдату оставалось только умереть рядом с товарищами. Или выжить, если повезет, но тоже вместе с другими. Какое, собственно, право было бы у него пытаться спасти свою жизнь, когда рядом гибли тысячи таких же, как он?

Он постепенно задремал, потом несколько раз просыпался, возвращаясь к своим мыслям, и снова они начинали путаться. Поезд то шел, то стоял. Когда Дорнбергер проснулся в очередной раз, было раннее хмурое утро, он вышел в коридор, оттянул вниз тяжелую оконную раму. С грохотом колес ворвался прохладный сырой ветер, пахнущий дождем, паровозным дымом, химической гарью. Машинист, видимо, пытался наверстать ночное опоздание — вагон мотало на гремящих стрелках, мелькали цветные огни сигналов, рельсы стремительно змеились, то сбегаясь вместе, то снова упруго расслаиваясь на две, три, четыре колеи. Обвешанная людьми пригородная «сороконожка» некоторое время бежала рядом, медленно отставая, пока ее не заслонил эшелон с укутанными в брезент крупногабаритными грузами. Пошли мелькать встречные и попутные,

маневрирующие и стоящие на запасных путях составы — пассажирские и товарные вагоны всех цветов и всех видов, маркированные железными дорогами всех европейских государств, цистерны, ковши шлаковозов, гондолы с углем, щебнем, рудой, платформы с зачехленными и незачехленными танками, зенитными пушками, разрисованными под пятнистых ящеров штурмовыми орудиями. А дальше, насколько было видно, разноцветно дымили бесчисленные трубы, громоздились доменные печи, окутанные облаками пара решетчатые башни градирен, газгольдеры, батареи кауперов и коксовых печей, тускло отсвечивали стеклянные крыши цехов, похожие на гигантские теплицы, мелькали спицами колеса шахтных подъемников, тянулись километры и километры трубопроводов, линий высокого напряжения, портальных кранов, подвесных канатных дорог с бегущими вереницами вагонеток. Это уже был Рур — кузница германской войны, исполинский комбинат смерти, раскинувшийся на тысячу квадратных километров от Дортмунда до Дуйсбурга.

Наслышанный об участившихся в последнее время бомбежках этих мест, Дорнбергер вглядывался в суровый индустриальный ландшафт,

но видимых разрушений пока не было — лишь кое-где четкая геометрия металлоконструкций уступала место хаотичной путанице искореженного огнем железа да раза два промелькнули разрушенные станционные постройки. Если не считать этого, единственным зримым напоминанием о вражеской авиации оказались стоявшие в тупике на станции Бохум платформы, груженные дюралевым ломом. На одной громоздилась носовая часть обгорелого фюзеляжа «летающей крепости», на другой торчал огромный киль стабилизатора и лежало крыло с американским опознавательным знаком. Обломки английского, судя по черной и камуфляжно-зеленой окраске, тяжелого бомбардировщика помещались на третьей платформе.

А вот западнее Ваттеншайда картина стала меняться. Здесь уже было больше развалин, местами еще не разобранных, окна станционных зданий были наспех заделаны картоном или затянуты полупрозрачным игелитом. К обычным для этих мест запахам каменноугольного дыма и газа все ощутимее примешивался едкий чад пожарища — горелых тряпок, бумаги, дерева.

Пожарище и было первым, что встретило выходящих в Эссене пассажиров магдебургского

поезда, — рядом с вокзалом догорал огромный краснокирпичный корпус Дома техники. Когда Дорнбергер, пройдя проверку документов, спустился вниз и вышел на привокзальную площадь, его прежде всего удивило безразличие прохожих — люди, не обращая никакого внимания на скопление красных машин и суету пожарных, проходили мимо, деловито переступали через раздутые водой брандспойты, стараясь не замочить ноги в лужах. Возле отеля «Хандельсхоф» Дорнбергеру посчастливилось поймать такси — сидевшая за рулем немолодая женщина нехотя ответила, что бомбили прошлой ночью и еще дважды перед этим, но больших разрушений в городе нет. Действительно, южная часть Эссена, по которой они сейчас проезжали, выглядела довольно благополучной.

Сделав очередной поворот, таксистка сказала, что это вот и есть нужная ему улица, и переспросила номер дома. Дорнбергер попросил остановить, ему вдруг захотелось пройтись пешком. Честно говоря, он не спешил увидеться со своей — как чопорно выразился тогда Розе — «фрау супругой».

Супругами они не были уже давно, разрыв произошел еще до войны, не разрыв даже, а так,

просто постепенный отход друг от друга. В какой-то момент это стало фактом, но возиться с разводом не хотелось — ему было все равно, женат он формально или не женат, а она боялась за свою карьеру. На разводы в «третьей империи» смотрели неодобрительно, поощрялись они лишь в тех случаях, когда кто-то из супругов оказывался расово неполноценным или политически неблагонадежным. Разъехавшись, Дорнбергеры не то чтобы остались друзьями (он все-таки не мог ей простить того, что — как выяснилось много позже — она в первый год замужества ухитрилась переспать с двумя из его приятелей), но хорошие отношения сохранили. Иногда, соскучившись в одиночестве, он проводил с нею ночь-другую. Иногда она занимала у него деньги. С осени тридцать девятого года они виделись всего дважды.

Улица была широкой, безлюдной и довольно мрачной, с чопорно отстоящими друг от друга особняками в тяжеловесном стиле конца века. В то время, вероятно, этот район стремительно выраставшей крупповской столицы облюбовала солидная публика — коммерции советники, высокопоставленное чиновничество, адвокаты с хорошей практикой. Сейчас особняки обветшали

и почернели от полувековой копоти, за чугунным литьем оград беспорядочно разрослись лишенные ухода вязы и липы, но самодовольный бюргерский «дух места» все еще угадывался за рустованными фасадами, за тусклым зеркальным стеклом высоких окон, за резным дубом дверей, с которых давно исчезли конфискованные еще в Первую мировую войну латунные дощечки с пышными титулами. Из каждого парадного, казалось, мог в любую минуту появиться плотный господин с туго подкрученными кайзеровскими усами, в подпирающем щеки высоком крахмальном воротничке…

Такого же типа был и дом номер 18. Дорнбергер прошел мимо запущенного газона, долго звонил; отворила ему прислуга, потом появилась и сама Рената в чем-то домашнем.

— Боже мой, это ты! — закричала она. — А я не ждала так скоро, Розе сказал, что тебя выпишут не раньше конца мая! Но тем лучше, я так рада, сейчас оденусь, а ты пока посиди здесь, можешь вот почитать…

Она чмокнула его в щеку, сунула в руку какой-то журнал и исчезла, оставив одного в холодной комнате с довольно запущенной обстановкой. Прислуга тоже ушла, даже не показав, где можно

раздеться. Он нацепил фуражку на пустой рожок стенного бра, откуда была вывинчена лампочка, и, не снимая плаща, присел на пыльный диван. Журнал оказался последним номером «Дойче фильм» с ее ярким портретом на обложке: «Рената Дорн в новой музыкальной комедии УФА „Императорский вальс“».

Он долго смотрел, пытаясь вспомнить — чем могла когда-то околдовать его эта женщина. Загадочная штука — красота, внешняя привлекательность… Это первое, на что обращалось внимание (и уже не видишь ничего другого), но это же и первое, что очень скоро перестаешь замечать. И потом, в один прекрасный день, спрашиваешь себя: «А что, собственно, в ней такого было?»

Дорнбергер покачал головой, так и не найдя ответа на свой вопрос, отложил журнал, закурил. Пачку тех же «Юно» ему удалось вчера спасти от магдебургской хищницы. Все это хорошо, но кто будет доставать ему билет здесь, в этом чертовом Эссене?

— А вот и я! — весело объявила Рената, распахнув дверь. — Ты прямо с поезда? Еще не завтракал? Сейчас что-нибудь организуем, подожди…

Ждать пришлось долго, но она все же появилась — принесла кофейник, походную плитку на сухом спирту, хлеб, консервы.

— У этой бестолковой дуры ничего не допросишься, — тараторила она, суетливо накрывая на стол, — хорошо еще, я всегда вожу с собой всякие штуки… у меня даже был электрический кипятильник, такой, что погружают, знаешь, но его пережгли, а новый не достать ни за какие деньги. Да и что толку — во всех отелях розетки отключены. Хорошо хоть есть пока этот спирт. Кофе, к сожалению, не настоящий. Ничего?

— Настоящего я уже и вкуса не помню, — отозвался он. — Впрочем, в «котле» однажды выдали немного — на Рождество.

— Да, расскажи, как там было! Мы ведь по телефону так толком и не смогли… Ты не обиделся, что я не приехала? Но я действительно не могла, поверь!

— Да зачем было приезжать. Ранение оказалось нетяжелым, ты же сама видишь.

— Но хромота останется? А ну-ка, пройдись!

Он встал, прошелся. Рената, задумчиво прикусив палец, смотрела на него оценивающим взглядом, потом кивнула.

— Ничего страшного. Тебе нужна красивая

трость — строгая, без всяких финтифлюшек, черного дерева. Я скажу реквизиторам, они достанут. Нет, но все-таки — это действительно было так ужасно?

— Ну, болело первое время.

— Да нет, я спрашиваю — там, в «котле»!

— А-а, там… — Дорнбергер пожал плечами. — Там, Ренхен, было скверно. Дай я открою, у тебя не получится.

— Да, я вечно с ними мучаюсь. Это, кажется, ливер — у меня еще была банка сардин, представляешь, но пришлось отдать сапожнику. Он обещал поставить настоящий приводной ремень. А ты думаешь, это действительно будет прочно?

— На подошву? Вероятно. Приводные ремни делались из хорошей кожи. Как ты вообще живешь, расскажи, Я вижу, снялась в новом фильме?

— Да, к сожалению. Такое дерьмо, кошмар, сценарий прошел только из-за того, что на главную роль прочили саму Паулу.

— Какую Паулу?

— Ну, Паула Вессели — последняя фаворитка Колченогого. Этакая богемская телка, можешь себе представить… просто поразительно, до чего нашего козлика влечет к славянкам. Помнишь тот скандал с Лидой Бааровой? Ну что ты, такая

была кошмарная история… садись, милый, я тебе наливаю. Сама я уже завтракала — совсем рано, не спала всю ночь, боялась. Вообрази, вчера «томми» опять прилетали, то есть буквально ночи не проходит — сбросили совсем недалеко, у вокзала. Я так напугалась!

— Да, я видел. Там еще горит. Кстати, у тебя нет знакомств на железной дороге? Мне нужен будет билет до Берлина.

— Надо подумать… Ты когда едешь?

— Хотелось бы поскорее. Что у тебя за «важный вопрос»?

— У меня — важный вопрос? Ах да! Я и забыла. Понимаешь, я собираюсь продать дом, ну и хотела спросить, не будешь ли ты против.

— А при чем тут я? Дом твой, продавай на здоровье.

— Что значит «мой», все-таки папа подарил его нам на свадьбу, и вообще… мы там жили вдвоем… Ты, кстати, не забыл, что твои книги еще там?

— Их я могу забрать в любой день. Или свалю пока в гараже, если не будет куда перевезти. Машину так и не реквизировали?

— Нет, забрали только покрышки. Американские авто почему-то не реквизируют — кажется, из-за того, что нет запасных частей.

— Еще и из-за горючего, они ведь неэкономны. Знаешь, сколько жрет наша? Тридцать пять литров на сто километров, мне одной заправки едва хватало до Гамбурга… восемь цилиндров, еще бы, а рабочий объем — шесть и две десятых.

— А ты не хочешь ее забрать?

— Блестящая мысль. Особенно если вспомнить, что нет резины.

— Ну, на черном рынке можно достать, наверное. Розе сказал, что ты теперь будешь служить в Берлине…

— Да что он знает, твой Розе. Попытайся продать машину вместе с домом. А еще проще — дай объявление: «Меняю „паккард“ в хорошем состоянии, модель „Родстер–734“, на дамский велосипед или кило шпига». В обоих случаях ты в выигрыше. А что, дом действительно хотят купить? Не понимаю, каким нужно быть идиотом — покупать сегодня дом в пригороде Берлина.

— Представь себе, покупают! Это для каких-то махинаций, мне объясняли, только я не очень поняла. Если разбомбят, им даже выгоднее, там что-то с возмещением ущерба…

— В Груневальде, впрочем, могут и не разбомбить, это не Сименсштадт. А где ты собираешься жить? — квартира отца ведь сгорела, ты писала.

— Да, там целый квартал сожгли в одну ночь. Но мне не нужна квартира — я, видишь ли… — Она замялась, явно не решаясь что-то сказать. — Эрик, только это строго между нами, ладно? Понимаешь… дело в том, что я решила удрать.

— Давно пора. Я и у Розе тогда спросил — какого черта она там торчит под бомбами. Поезжай в Тюрингию, вот где спокойно.

— Какая Тюрингия, я хочу в Лиссабон.

Чашка Дорнбергера зависла над столом.

— Куда? — переспросил он недоверчиво.

— Пока в Лиссабон, а там видно будет. Не смотри на меня так, будто я сошла с ума! Это совершенно реальный план. Сейчас у нас начинают снимать фильм о летчиках легиона «Кондор» — ну, те, что воевали в Испании, помнишь? Называется «Они атаковали первыми», у меня там совсем маленькая роль — молодая вдова испанского офицера, он был замучен красными, а она потом влюбляется в немецкого пилота. Павильонные съемки уже идут, а в июле вся группа выезжает на натурные. Естественно, в Испанию. Понимаешь?

— С трудом. Итак, ты едешь туда, а там пытаешься перейти португальскую границу. Каким образом ты думаешь это осуществить? Ты знаешь, как во время войны охраняются границы

нейтральных стран?

— Ну, Испания ведь тоже нейтральна, и перебраться из одной нейтральной страны в другую…

— Не говори глупостей, Испания не нейтральна. Испания — это наш невоюющий союзник, она полностью под нашим политическим контролем, и наш посол в Мадриде имеет больше реальной власти, чем генералиссимус Франко.

— Ну, не знаю, — недовольным тоном отозвалась Рената. — Ты вот всегда так! Что б я ни сказала, у тебя сразу тысяча возражений. А я разговаривала с братом Лизелотты Кнапп — помнишь, такая пикантная блондинка с длинным носом? — он моряк и недавно вернулся. Их лодка была повреждена у берегов Португалии, они там высадились. Ну, конечно, их сразу интернировали, а он потом бежал из лагеря и очень легко перебрался в Испанию. Говорит, там контрабандисты и все такое, а охрана больше для порядка. Разумеется, будь мы вместе…

— То что было бы? — спросил Дорнбергер, не дождавшись продолжения.

— Нет, я просто подумала! Собственно, Эрик, а почему бы тебе… ну, я хочу сказать, ты тоже мог бы уехать…

— Дезертировать, что ли? Я, как тебе известно, нахожусь на военной службе.

— Бог мой, ну и что? Не станешь же ты меня уверять, что жаждешь пасть за фюрера и Великую Германию!

— Только не надо путать. Фюрер — это одно, а Германия — нечто совсем иное. Ты лучше скажи, что заставляет эмигрировать тебя…

Произнеся вслух это слово — «эмигрировать», — Эрих вдруг вспомнил свои ночные размышления. Можно подумать, он уже тогда предчувствовал, о чем пойдет речь. В самом деле, удивительные случаются совпадения.

— Что заставляет, что заставляет! — воскликнула Рената. — Да боже мой, все решительно! Я боюсь бомбежек, боюсь всяких повинностей и мобилизаций, мне все это надоело, понимаешь — надоело! Я уже не помню, когда я могла зайти в магазин и просто купить пару туфель, или шелковые чулки, или мех, или наконец просто съесть или выпить то, чего хочется! Я вчера полгорода обегала в поисках проклятых резинок для пояса, я не могу так больше!! Мне уже тридцать, Эрик, еще несколько лет — и я не получу ни одной приличной роли, я не Марлен Дитрих, чтобы до старости играть молодых героинь, пойми ты…

Она красиво разрыдалась, это всегда получалось у нее эффектно, режиссеры часто заставляли ее плакать в крупном плане. Сейчас, впрочем, она, возможно, и не играла. Остаться без резинок — это, конечно, серьезно, подумал Дорнбергер. Но что делать, каучук всегда был стратегическим сырьем, какие уж тут подвязки.

— Я тебя понимаю, Ренхен, — сказал он, подавив улыбку. — Это все неприятно, согласен. Но послушай, ты ведь не одна в таком положении. Вернее, можно сказать, что твое положение еще намного лучше, чем у других. Ты относительно свободна, тебе не надо ходить на работу или хотя бы думать о детях. Миллионы немецких женщин испытывают те же трудности и те же лишения, но плюс к этому они еще и простаивают по десять часов у станка, а дома у них дети, которых нужно и одеть, и накормить, и успокоить, когда начинают выть сирены…

— Да что мне до них! — закричала Рената. — Эти твои «миллионы немецких женщин» еще три года назад визжали от восторга, когда фюрер появлялся на трибуне! Вот пусть теперь и получают то, чего хотели!

— Ну, не все ведь визжали, — возразил он, — и далеко не все хотели войны. Не надо так думать о

своем народе, это несправедливо и… высокомерно. Может быть, мы с самого начала понимали немного больше, чем простые люди. Во всяком случае, должны были понимать. А сделали мы что-нибудь? Ничего мы не сделали и не собирались делать, поэтому не надо теперь валить вину на других. Я ничего дурного не хочу сказать о твоем покойном отце, но разве не такие, как он, допустили Гитлера к власти?

— Не смей трогать папу! — завопила Рената. — Кто он тебе был — Гинденбург, Тиссен?!

— Ренхен, учись спорить спокойно. Твой отец был депутатом рейхстага…

— В тридцать третьем он сразу потерял мандат, ты это прекрасно знаешь!

— Знаю. Потому и потерял, что ни он, ни другие деятели Веймарской республики не сумели остановить Гитлера. Да и не пытались, если уж говорить всерьез…

Он допил остывшую кофейную эрзац-бурду, налил себе еще. Рената потрогала кофейник и зажгла под ним еще одну таблетку спирта.

— Бери побольше сахару, мне тут достали. У тебя нет сигареты? Мерси…

— Так что, видишь, — продолжал он, протягивая ей зажигалку, — даже такие люди в чем-то

тогда ошиблись. Что касается женщин… которые, как ты говоришь, визжали от восторга… то их мужьям до того же тридцать третьего года случалось стоять в очередях за пособием по безработице. Не так это все просто. А эмигрировать…

Он не договорил и пожал плечами, задумчиво вертя зажигалку в пальцах.

— Ты помнишь профессора Ферми? Когда мы перед войной ездили в Рим, а потом нас всех повезли в Кортина-д'Ампеццо, он еще учил тебя мазать лыжи, — помнишь? Я потом тебе говорил, он получил Нобелевскую премию и прямо из Стокгольма махнул в Нью-Йорк. Так вот, я почему-то вспомнил сегодня в поезде. Все-таки не могу понять…

— Чего ты не можешь понять? — спросила Рената. — Что человеку опротивела страна, из которой сделали казарму? Что ему наконец захотелось пожить в нормальных условиях?

— Нормальных, — повторил Эрих. — Гм… не знаю, такими ли уж «нормальными» могут показаться итальянцу Соединенные Штаты. А насчет того, что опротивела страна, то это ведь тоже не самая достойная позиция — взять и уехать. Страна опротиветь не может; своя страна, я хочу сказать. Опротиветь могут порядки. Но если они

тебе настолько противны, что ты не можешь больше с ними мириться, то делай что-то, пытайся как-то их изменить…

— Красивые слова все это. Что мог сделать твой римский профессор — свергнуть Муссолини?

— Ну зачем же так радикально. Видишь ли, он мог продолжать читать римским студентам хорошие лекции, а это не так мало… потому что сейчас их вместо него читает какой-нибудь болван-чернорубашечник.

— Ну и что? — Рената пожала плечами.

— То, что ты дура! — взорвался Дорнбергер. — А если бы от нас уехали Боте, Гейзенберг, Лауэ? Если бы их места заняли «партайгеноссе» вроде Штарка или Ленарда? Тебе это тоже было бы все равно? А вот мне, представь себе, нет!

— Ах, тебе — нет! — Рената театрально захохотала, закидывая голову. — Но почему же ты, когда решил напялить мундир, не подумал — какой «партайгеноссе» займет твое место в лаборатории?

— Это совсем другое. Я оттуда ушел, чтобы не заниматься работой, которая… ну, которой не хотел заниматься. Право такого выбора есть у каждого. Но тот, кто эмигрирует, он ведь волей-неволей делает выбор между родиной и…

— Ну, ну? Договаривай! Скажи уж прямо, что считаешь всякого эмигранта предателем — как и утверждает Колченогий. Боже мой, послушал бы тебя папа! У нас в семье всегда с таким уважением говорили об эмигрантах… он гордился своими друзьями, которые уехали!

— Что помешало уехать ему?

— Ну, если откровенно — слишком любил свою работу…

— Плюс деньги, положение…

— Да! И деньги, и положение! Я его понимаю, сама люблю комфорт и обеспеченную жизнь; тем более я преклоняюсь перед людьми, которые уезжали, сумев отказаться от всего этого. И объявлять их предателями, как это делаешь ты…

— Я далек от мысли объявлять их предателями, — терпеливо возразил Дорнбергер. — Не надо приписывать мне то, чего я не говорил. Очень хорошо, что существует немецкая политическая эмиграция; она в известной степени реабилитирует Германию в глазах мира; если бы не братья Манн, Фейхтвангер, Цвейг — ну, не знаю, кто там еще, Брехт, — нас, немцев, отождествляли бы с нацизмом без оговорок. Я только говорю, что сам я так поступить не мог бы. Эти люди избрали такой путь борьбы — очень хорошо! Но есть и

другие пути, поэтому не надо считать тот единственным и обязательным для всех. Для меня он неприемлем.

— Ладно, мой милый, я не собираюсь тебя уговаривать. Оставайся в своей обожаемой Германии, раз уж ты такой патриот! Отечество — лучше не придумать.

— Да нет, — он усмехнулся, — есть куда лучшие. Я, например, в детстве мечтал о Новой Зеландии… с тех пор, как прочитал биографию Резерфорда. Мягкий климат, всегда тепло, никаких хищников… райская земля! Но видишь ли, Ренхен, отечество не выбирают, вот в чем загвоздка…

В Берлин они вернулись вместе. Рената прямо с Потсдамского вокзала отправилась на студию, а Эрих поехал в Груневальд — упаковать книги.

С тяжелым сердцем отпер он входную дверь. В комнатах, несмотря на теплый день, было холодно, пахло пылью и нежильем, голые стены со скупо развешанными кубистическими полотнами наводили уныние. Дом, построенный в двадцатые годы архитектором Мендельсоном и им же декорированный в модном тогда стиле баухаус (стеклянные столы, бройеровские кресла из хромированных труб и осветительная арматура, похожая на реквизит фильмов Ланга),

считался когда-то образцом современного жилища; попадая сюда впервые, гости Ренаты шумно восхищались функциональностью решения интерьеров, самому же Эриху казалось, что все это слишком смахивает на приемную зубного врача. Но тогда хоть здесь была жизнь…

Он поднялся наверх, постоял у двери спальной, нерешительно повернул ручку. Низкая квадратная кровать была застлана пожелтевшими газетами, из стоящей в углу высокой майоликовой вазы свесилось какое-то экзотическое растение, давно мертвое и неприятно похожее на издохшего осьминога. А в остальном все было так же, тускло отсвечивали пыльные зеркала, на светло-серой стене белел в узкой хромированной рамке продолговатый лист ватмана с небрежно очерченным одной линией контуром обнаженной женщины. Эрих попытался вспомнить имя известного когда-то художника (подпись выглядела неразборчивым иероглифом), но не вспомнил. Интерлюдия в Эссене была, конечно, ни к чему, подумал он, отводя взгляд от рисунка. Следовало уехать сразу, ну или хотя бы на другой день…

Все было по-прежнему и в его комнате. Он скользнул взглядом по стеллажу с книгами —

а стоит ли, собственно, с ними возиться? — и прошел к окну. За пыльным стеклом лежали в солнечной дымке отлогие, поросшие соснами холмы Груневальда, ему вдруг стало жаль этой тишины, этих холмов и этого дома, который давно стал для него чужим. Странно, подумал он, никогда не замечал за собой такой глупой чувствительности.

Спустившись в котельную, он отыскал несколько пустых картонных коробок из-под «перзиля», потом вернулся к себе и стал не глядя укладывать книги и комплекты журналов, папки и истрепанные тетради лабораторных дневников, все вперемешку. Если доведется когда-нибудь разбирать все это, работа будет иметь больший смысл… Но вообще сомнительно, чтобы кто-то — книги или он сам — уцелел к тому времени.

Когда полки опустели, он сел у окна в трубчатое кресло и вытянул больную ногу. Возня с книгами утомила его, он теперь вообще быстро уставал — начинало колотиться сердце, не хватало воздуха. В гараж мне этого сегодня уже не перетащить, подумал он, придется приехать сюда еще раз. Да, после «котла» здоровье уже не то. Ну и черт с ним, зачем ему теперь здоровье.

Закурив, он посмотрел в окно и подумал, что, ес-

ли бы не те сосны, отсюда была бы видна красная черепичная крыша виллы, где живет Планк. Или жил, по крайней мере: великого старца, возможно, эвакуировали уже в более безопасное место — в порядке охраны национального культурного достояния. Как эдакую драгоценную мумию. Восемьдесят пять лет, страшно подумать. Многих ли из нас хватит на половину этого срока?

Да, им — старикам — повезло. Прожить долгую и целиком отданную любимому делу жизнь… У них, надо полагать, тоже были свои проблемы, но никому из них не пришлось усомниться в нравственной стороне того, чем они занимались. Мы, вероятно, первое поколение усомнившихся — и ужаснувшихся. Первое, но не последнее. Потому что этого уже не остановить.

Что из того, что открытие опоздало на десяток лет и эта война закончится без применения уранового оружия? Она тоже не последняя. А рядом с ужаснувшимися (иной скажет — трусами?) всегда найдутся фанатики «бесстрашной научной мысли», для которых никогда не встанет вопрос: допустимо или недопустимо…

Машинально он протянул руку к стоящему рядом большому консольному радиокомбайну и нажал кнопку. К его удивлению, шкала тускло за-

светилась — дом, оказывается, не был отключен от сети. Когда прогрелись лампы, казенно-бодрый голос забарабанил было о несгибаемом германском духе, но Эрих щелкнул переключателем и раскрыл дверцу фонотеки. Второй концерт Брамса стоял слева, как и тогда, и даже все шесть пластинок оказались на месте — Рената, к счастью, не добралась до этого альбома, иначе половина была бы перебита. Впрочем, она, кажется, вообще Брамса не любит.

Да, ничего не удалось, все пошло прахом. Вот и это тоже. Не главное, конечно, но когда не остается и этого… Должно же у человека что-то быть — или любимая работа, или сознание выполненного долга, или — пусть хотя бы как последнее убежище — что-то личное. А впрочем, нет, и это ничего бы не изменило.

Он сидел в этой пустой комнате, пахнущей пылью и одиночеством, среди коробок с упакованным и никому не нужным итогом жизни, и слушал нечеловечески прекрасную музыку из иного мира. Мира, где у людей еще что-то было, где люди во что-то верили и на что-то надеялись. До чего мы слепы и недальновидны — именно недальновидны, и это при всей пытливости человеческого разума! Впрочем, что говорить о

неумении провидеть будущее, если мы даже не способны осмыслить прошлое, всем видимое, доступное для самого детального исследования! Ведь даже сейчас нам так и не понять до конца — что все же случилось в эпоху «торжества разума», чем этот блистательный и гордый своими триумфами девятнадцатый век подготовил и, сам того не заметив, сделал неизбежной тотальную катастрофу двадцатого…

Глава 4

Полковник Хеннинг фон Тресков, начальник оперативного отдела штаба группы армий «Центр», угодил под пули в самом, казалось бы, безопасном от партизан месте — на полпути между Оршей и Смоленском. Последняя деревенька, правда, несколько зловеще называлась Красное, и сидевший за рулем адъютант пошутил по этому поводу, что местный гебитскомиссар явно нерадив: как правило, «золотые фазаны» из Восточного министерства проявляют особую бдительность по части топонимики захваченных территорий. Полковник буркнул в ответ, что данный населенный пункт переименовать не так просто. Тут, конечно, по логике само напрашива-

ется «Браунау» — но нельзя, кощунство, фюрер может обидеться…

Ехали они без сопровождения охраны, дело было днем, а окрестные леса постоянно прочесывались, и вообще в этих краях последнее время было спокойно — насколько, конечно, может быть вообще спокойно в России. Когда из молодого березняка слева от шоссе ударили выстрелы (по звуку Тресков сразу узнал старую русскую винтовку образца 1891), лейтенант Шлабрендорф пригнулся к рулю и до упора вдавил педаль газа. Утробно взревев форсированным двигателем, открытый «мерседес» ринулся вперед, отбросив седоков на спинки сидений. Сзади, уже слабее, хлопнуло вслед еще несколько выстрелов.

— Наше счастье, что у них не было автоматов, — заметил полковник, когда машина перелетела невысокий бугор, на мгновение словно оторвав колеса от земли, и понеслась вниз. — Странно, однако, что они вообще здесь. Вот вам и Красное.

— Где же им еще быть, — резонно возразил лейтенант. Сбросив газ, он достал из кармана платок и, сняв очки в тонкой золотой оправе, принялся методично протирать стекла, придерживая руль коленом.

— Нет, я хочу сказать, что последнее время не

было сообщений. К тому же — зона усиленной охраны.

— О, русские умеют просачиваться…

Некоторое время оба молчали. Полковник сидел неподвижно, глядя прямо перед собой, его темное от загара лицо с глубоко посаженными глазами и упрямо сжатым тонкогубым ртом было мрачно, почти скорбно.

— Возможно, случайно забредший отряд, — сказал он негромко, словно думая вслух. — Как, вы говорили, в советской печати принято называть партизан — «народные мстители»?

— Народные мстители, — подтвердил адъютант. — Если мне правильно переводят.

— Что ж, будем справедливы, им есть за что мстить. Но признайтесь, Фабиан, когда они открыли огонь, у вас не мелькнула мысль, что судьба склонна к мрачным шуткам?

— Мне было не до философствования — слишком испугался. Я штатский человек, Хеннинг, воинские доспехи не сделали меня воином.

— Ну, если вы думаете, что профессиональный солдат не подвержен чувству страха, то могу вас разуверить. Я тоже испугался, но мысль об иронии судьбы меня все же посетила. Было бы, согласитесь, чертовски забавно… если бы эти

русские мстители ухлопали своих германских коллег.

— Нам было бы поделом, господин полковник. За некачественную работу.

Хеннинг фон Тресков помолчал, глядя на бегущий навстречу разбитый и потрескавшийся асфальт Минского шоссе. Машину сильно качало, и укрепленное на пробке радиатора кольцо с вписанной в него трехлучевой звездой все время перемещалось вверх-вниз, словно прицел в руках неумелого наводчика.

— Когда приедем, распорядитесь проверить передние амортизаторы, — сказал полковник. — На редкость бестолковый парень этот мой новый водитель… Уж о таких-то вещах мог бы позаботиться сам. Да, Фабиан, сработали мы с вами некачественно — что правда, то правда.

— Правда и то, что нас подвела английская техника. Этот коварный Альбион…

Англичане и в самом деле крепко их подвели со своей прославленной техникой. Мощную взрывчатку какого-то нового типа (она была похожа на липкую замазку) и полагающиеся к ней бесшумные кислотные детонаторы прислал помощник Канариса Ганс Остер; абверовец, который доставил в Смоленск этот подарок, всячески

расхваливал британское изделие: удобно, надежно, безопасно в обращении… Самое забавное, что так оно, вероятно, и есть. Тресков, не очень доверяя не имеющему навыка Шлабрендорфу, лично проверил и взрывчатку, и взрыватели, истратив несколько штук из ограниченного запаса. Каждый срабатывал ровно через тридцать минут — хоть часы проверяй. А в нужный момент произошла осечка. Да какая!

Гитлер прибыл в Смоленск утром тринадцатого марта, после совещания пообедал и сразу же отправился обратно. Фон Тресков, поехавший на аэродром вместе с другими штабными, в последний момент попросил полковника Брандта из свиты фюрера прихватить в Растенбург посылочку для генерал-лейтенанта Штиффа — две бутылки коньяка, у старого камрада семейная дата, ему будет приятно… Брандт заверил, что передаст непременно, сунул пакет в портфель и пошел к трапу.

Самолет должен был взорваться над границей генерал-губернаторства, но он уже миновал Варшаву, а полет продолжался нормально. Потом в штаб поступило сообщение, что фюрер благополучно прибыл в «Волчье логово». Обычно невозмутимый фон Тресков ворвался к своему

адъютанту с серым лицом:

— Шлабрендорф, это дерьмо не сработало! Сейчас в Растенбург вылетает курьер фельдсвязи — я позвоню на аэродром, чтобы задержали, отправляйтесь в ставку и найдите Брандта. Заберите у него пакет — придумайте что-нибудь: или что вас прислал Штифф, или что произошла ошибка — словом, что хотите, но только быстрее; может быть, вы еще успеете…

Опасность заключалась не в том, что посылка попадет к самому Штиффу — тот был в курсе; Брандт мог на досуге развернуть невостребованный пакет, чтобы полюбопытствовать, какой марки коньячком балуют себя штабники на Восточном фронте. К счастью, Шлабрендорф успел вовремя и Брандт, не выразив удивления, передал ему посылку. До этого момента Шлабрендорф держался, а потом нервы не выдержали. Очутившись наконец в двухместном купе поезда Растенбург — Берлин, он, уже не соображая, какой опасности подвергает себя и других пассажиров, запер дверь и вскрыл пакет с бомбой. Вытащив и разобрав взрыватель, он не поверил своим глазам: запал, оказывается, сработал, ударник был спущен — а взрыва не произошло. Как потом объяснил ему один химик, детонирующее вещество по какой-то

неясной причине разложилось, перестало быть активным…

— Альбион Альбионом, — сказал полковник, — но все это, ей-богу, начинает припахивать мистикой. У нас отказывает взрыватель многократно проверенного типа, через несколько дней граф Герсдорф пытается рвануть себя вместе с фюрером на смотре в цейхгаузе — а тот покидает помещение на две минуты раньше…

— Ну, там он мог что-то почуять, — заметил Шлабрендорф. — У мерзавца, надо отдать ему справедливость, и впрямь есть шестое чувство. Чует опасность издалека, как кобель — землетрясение. Это вполне объяснимо в свете парапсихологии — представьте себе душевное состояние человека с набитыми взрывчаткой карманами, который через минуту должен будет нажать кнопку. Его мозг, несомненно, что-то излучает… А излучение может подействовать на особо восприимчивую к таким штукам натуру. Вам приходилось бывать в толпе, охваченной какой-то одной сильной эмоцией — скажем, страхом или восторгом? Это ведь заразительно. Так что бедняга-граф явно излучал… и тем самым спугнул птичку. Вот случай с нашим взрывателем для меня действительно необъясним ни с

какой стороны.

— Вам же сказали, имела место самопроизвольная деактивация фульмината.

— Да, но почему? Мало, что ли, вы их перепробовали. У вас был хоть один случай отказа?

— Химия, — буркнул полковник, — чертовски загадочная штука, Фабиан. Всегда ее опасался. Кстати — тот ваш химик, удалось его вытащить?

— Какой химик, простите?

— Вы зимой просили Ольбрихта помочь вытащить из-под Сталинграда какого-то химика.

— Ах тот! Да, его оттуда эвакуировали. Только он не химик, а физик.

— Вот как. А вы, помнится, говорили, что он занимался изотопами?

— Да, Хеннинг, но это физика.

— Какая же, к черту, физика, если я отлично помню, как нам в академии морочили голову этими изотопами на лекциях по химии!

— Значит, то были другие изотопы, химические. Но что капитан Дорнбергер — физик, это совершенно точно. Я хорошо его знаю, он зять моего бывшего принципала, доктора Герстенмайера.

— Герстенмайер, — повторил полковник. — Что-то мне эта фамилия напоминает…

— Он был довольно известный берлинский адвокат, специалист по коммерческому праву. В его конторе я начинал практику еще в конце двадцатых годов. Он тогда баллотировался в рейхстаг от Народной партии.

— В конце двадцатых? Я в то время пытался поправить свои дела биржевым маклерством; возможно, на этой почве мы с ним и встречались. Если он занимался коммерческим правом, то вполне возможно. А где он сейчас?

— О, он умер в начале войны. Так вот, Дорнбергер женат на его дочери, там мы познакомились.

— Ах так. Значит, вы ходатайствовали просто за приятеля. — Фраза прозвучала не как вопрос, скорее как констатация, и не слишком одобрительная.

— Не совсем так, признаться. Дело в том, что об этом меня попросил Остер. Не знаю, почему он сам не счел удобным обратиться к Ольбрихту.

— Он что, связан с абвером, этот ваш физик?

— Его хотели связать. Похоже, ничего не получилось.

— И здесь осечка. Зря, значит, вытаскивали…

— Не скажите. Просто подход, очевидно, оказался ошибочным… Дорнбергер — это, знаете… личность весьма любопытная. Мог сделать

блистательную карьеру в науке, мне говорили специалисты.

— Но хоть человек-то порядочный?

— Временами — до глупости. Это ведь тоже поддается использованию. Я думаю, на Бендлерштрассе им будут довольны.

— Хитрецы, — буркнул Тресков. — Фабиан, остановите-ка машину, разомнем ноги… Вы так гоните, что мы явимся как раз к обеду, а я уже с трудом выношу эти торжественные трапезы с генерал-фельдмаршалом во главе стола… Бог меня прости, офицеру не к лицу такие высказывания о прямом начальнике — но до чего мне становится неприятна эта двуличная лиса…

Адъютант дипломатично промолчал. Выключив зажигание, он осторожно свел машину с асфальта и затормозил на широкой обочине. Стало очень тихо, запахло пылью и луговыми травами. Шоссе проходило здесь по более открытому месту, лес остался позади; справа, за полотном железной дороги, пологими волнами уходила к югу холмистая равнина — луга, березовые перелески. День был солнечный, но ветреный, с бегущими облачками, и окраска холмов все время менялась: они то сумрачно темнели, то снова загорались яркой зеленью.

— Красивая земля, — задумчиво сказал Тресков, стоя на краю кювета. — Чертовски неухоженная, но красивая. Есть в ней какая-то… первозданность.

Шлабрендорф, тоже завороженный зрелищем непривычно бескрайнего простора, молча кивнул. Потом он повернул голову, долго смотрел вдоль шоссе.

— Хеннинг, вы, вероятно, в курсе — мои познания в военной истории довольно фрагментарны, — это ведь и есть дорога Наполеона?

— Она самая. Туда и обратно.

— А… Бо-ро-дино — где-то в этих краях? Впрочем, нет, это должно быть ближе к Москве…

— Да, это восточнее. Намного восточнее. В позапрошлом году я там был, в районе Можайска. Русскую оборону там взламывали панцергренадеры Руофа. Масса их полегло. А памятник восемьсот двенадцатого года я даже сфотографировал.

— Теперь, надо полагать, построят еще один. Я слышал, у русских тоже были огромные потери, — добавил Шлабрендорф.

— Потери в обороне всегда меньше потерь в наступлении. Но главное, русские хоть знают, за что гибнут…

Полковник помолчал, потом сказал неожиданно:

— А Толстой все-таки прав.

— Толстой? — переспросил Шлабрендорф с удивлением. — В чем именно он прав?

— Я просто вспомнил его рассуждения о насморке Наполеона. Как вы считаете, Фабиан, этот наш детонатор — мог он изменить историю Германии?

— Еще как изменил бы.

— Тогда вот вам и ответ, почему не сработал: просто не пришло время.

— Хеннинг, вы и впрямь мистиком становитесь. Как будто начитались не Толстого, а Сведенборга.

— Я не шучу, Фабиан. Мне представляется все более справедливой мысль, что ход истории вообще зависит от нас лишь в самой ничтожной степени. Если то или иное историческое событие должно произойти — оно произойдет, кто бы и какими бы средствами ни пытался этому воспрепятствовать. Если, наоборот, время для какого-то перелома еще не настало, то вы ничем не приблизите этого момента — как бы ни старались. В такой ситуации все ваши усилия кончаются неизменным провалом, причем зача-

стую самым нелепым. Вроде самопроизвольной деактивации.

— Не знаю, насколько справедлива теория исторического предопределения, но ее опасность бесспорна.

— Опасность?

— Да, потому что она оправдывает бездействие. Точнее, она его предписывает. В самом деле — какой смысл что-то делать, если конечный результат от тебя не зависит…

Тресков покачал головой:

— Фабиан, вы чего-то недопонимаете. Вы ведь католик? Тогда совсем странно. Скажите-ка, разве крестьянин, засевая свое поле, уверен в урожае? Тогда ведь, по-вашему, тоже надо сказать — какой смысл сеять, если конечный результат зависит от града или засухи… Нет, человек обязан действовать. Обязан, независимо от того, увенчаются его действия успехом или не увенчаются. Шансы тут ровно один к одному — всегда либо «да», либо «нет». Смысл истории раскрывается только в ретроспективе, современнику он не виден. Человек действует наугад; когда его действие совпадает с требованием исторического момента, оно дает результат. Когда не совпадает — результат нулевой. Но не действовать вообще… — Он не

договорил и пожал плечами.

— Выходит, истории угодно было сохранить Германии фюрера, — иронически сказал Шлабрендорф. — Знать бы только, с какой целью.

— Вот этого мы, боюсь, уже не узнаем. Потомкам будет виднее. Впрочем, кое-какие догадки у меня есть.

— Поделитесь, если не секрет.

— Какие же у меня от вас секреты. Видите ли, я часто думал — откуда он вообще взялся, этот чертов национал-социализм. Нет, я все знаю: страх перед революцией, финансовая поддержка со стороны промышленной олигархии и все такое. Но это, понимаете, на поверхности — а вот глубинный смысл? Должен же быть в истории какой-то смысл, вам не кажется? Иначе тогда надо действительно верить в случайность. Либо случайность, либо смысл — вот об этом Толстой и писал. Так вот, по поводу нацизма! Я, знаете ли, в конце концов пришел к выводу, что это попросту своего рода нагноение, духовный нарыв человечества. Или если не человечества, то уж, во всяком случае, нашей европейской цивилизации. Как вам такая гипотеза?

— Ну… что-то в ней есть, — согласился Шлабрендорф.

— Уверяю вас. Ведь что такое нарыв? Чертовски болезненная и неприятная штука, но — полезная. Полезная по конечным результатам, понимаете, поскольку выводит из организма накопившуюся дрянь. Но этот нарыв, чтобы организм окончательно очистился и выздоровел, должен созреть. А пока не созрел, ничего вы с ним не сделаете. Будет только хуже. Вам известно, что генерал Хаммерштейн собирался арестовать фюрера еще в сентябре тридцать девятого года?

— Помилуйте, Хеннинг. — Лейтенант фон Шлабрендорф улыбнулся. — Я ведь сам рассказывал вам про встречу с Форбсом в отеле «Адлон». Именно об этом дурацком замысле я и должен был тогда проинформировать сэра Джорджа.

— Да, замысел был дурацкий. И не только потому, что строился на вздорном плане заманить фюрера в Кёльн: почему, спрашивается, он должен был принять это предложение? Но дело не в этом. Предположим, Хаммерштейну удалось задуманное. Представляете, каким ореолом мученика это окружило бы память о Гитлере? В памяти народа он остался бы святым! Его запомнили бы как человека, который покончил с инфляцией и разрухой, дал работу миллионам немцев, раздвинул границы, наконец, достиг молниеносной

победы в Польше… Да что говорить о тридцать девятом годе! Если начистоту, Фабиан, я склонен думать, что большинство нашего народа и сейчас — даже сейчас, после Сталинграда! — верит фюреру и в конечном счете готово простить ему даже этот катастрофический Восточный поход. Если бы тогда, в марте, бомба сработала — смогли бы вы выступить перед страной и открыто сказать: «Это сделал я»? Нет, исключим страх перед гестапо; предположим, режим рухнул мгновенно и весь государственный аппарат распался, с этой стороны вам уже ничто не грозит. Признались бы вы в таком случае? Я, например, скажу честно: нет, не рискнул бы…

Разговаривая, они медленно шли по пыльной обочине, удаляясь от машины. Впереди, слева от шоссе, громоздилась за кюветом огромная ржавая глыба русского пятибашенного Т–35. Снаружи «сухопутный дредноут» выглядел целым, вооружение было снято, люки распахнуты настежь. Из решетки вентиляторных жалюзи позади кормовых башен пророс бурьян — семена, видно, занесло туда вместе с пылью. Дойдя до брошенного танка, Тресков остановился и указал на него Шлабрендорфу:

— Стоит тут с августа сорок первого. Клюге

тогда командовал еще Четвертой армией; мы ехали вместе, он увидел и приказал своему адъютанту сфотографировать. А потом говорит мне: «Вот символ большевистской России — колосс на глиняных ногах, неповоротливый гигант, оказавшийся не в состоянии себя защитить…» Я бы на его месте давно уже распорядился разрезать это и увезти. Как-никак полсотни тонн стали. А то ведь теперь этот «символ» начинает выглядеть весьма двусмысленно.

— Едва ли Клюге помнит, что говорил когда-то по этому поводу, — заметил Шлабрендорф. — Честно говоря, удивляюсь вашему терпению — работать с таким человеком…

— Игра стоит свеч. Все-таки — иметь на нашей стороне лишнего генерал-фельдмаршала… Беда, однако, в том, что Клюге — помимо всего прочего — еще и чертовски неустойчивый тип. Бывают такие женщины, знаете, которых легко сбить с толку. Вот и он тоже. Пока находится под одним влиянием — он такой, сменится влияние — и он тут же станет иным. Отсюда непредсказуемость поступков. Я чувствую себя при нем в роли часовщика: все время приходится подкручивать пружину. Вот стоило съездить в отпуск, приезжаю — сразу чувствую, что уже что-то не то, уже

его кто-то успел обработать. Не исключено, что так и провиляет хвостом до самого конца…

Полковник повернул обратно к машине, Шлабрендорф еще раз задумчиво оглядел грозную заржавленную громаду мертвого танка и пошел следом.

— Я вот еще что хочу сказать, — продолжал Тресков. — Мы тогда, в марте, не учли одной очень важной детали. Сталинград многих отрезвил, это так, но у многих он породил и бешеную жажду реванша. Вспомните, какое было ликование, когда русских выбили обратно из Харькова. А когда Геббельс в Спортпаласте кричал: «Встань, Германия, отомсти за мертвых на Волге!» — вы же слышали этот исступленный рев толпы, эту нескончаемую бурю аплодисментов — поверьте, Фабиан, все это было искренне…

— Мы как раз говорили о заразительности эмоций.

— Нет, нет, не надо упрощать! Сейчас миллионы немцев ждут обещанного летнего наступления: страна привыкла к тому, что летом мы побеждаем. Теперь представьте себе, что именно весной — в марте — фюрер становится жертвой покушения. Как бы это выглядело? Снова «кинжал в спину» — как в восемнадцатом? В глазах рядо-

вого немца мы были бы людьми, укравшими у Германии победу…

— В глазах дураков и фанатиков мы всегда будем предателями, даже если нам удастся устранить фюрера лишь накануне краха.

— Да, но с каждым новым поражением число фанатиков и дураков сокращается.

— Увы, Хеннинг, дураки бесчисленны… Хотя в принципе я согласен: покушаться на Верховного главнокомандующего в момент подготовки крупной наступательной операции — это неосторожно.

— Это политически самоубийственно. Трудно даже понять, как это никому тогда не пришло в голову. Вот теперь, если он в конце концов решится запустить «Цитадель» — и опять проиграет…

— Вообще, странно, что мы так с этим тянем, — заметил Шлабрендорф. — Оперативный приказ поступил еще в апреле, сейчас середина июня… Правда, там было сказано «как только позволят условия погоды», но дороги давно высохли.

— Мы попросту боимся. Вы же знаете, насколько неустойчиво положение в Италии; пока там как-то не определится, начинать здесь опасно. А с другой стороны, каждый день промедления позволяет русским еще больше укрепиться, на-

копить еще больше сил. Они сейчас буквально накачивают Курский выступ своими войсками, а глубина обороны — это фантастика: по данным воздушной разведки, там не меньше пятнадцати километров сплошной фортификации… Земляной, правда, но мы-то уже знаем, как они умеют ею пользоваться! Хейнрици при мне спорил по этому поводу с командующим, доказывал, что успеха между Орлом и Белгородом нам не добиться. Кончилось тем, что Клюге довольно грубо его оборвал.

— А сам Клюге, значит, уверен в успехе?

— Черт его знает, в чем он уверен…

Тресков постоял у машины, пощелкал пальцами по зачехленному штабному флажку на правом крыле и раскрыл дверцу. «Мерседес» накренился под его тяжестью, потом осел и на левую сторону — когда Шлабрендорф устроился за рулем.

— Черт его знает, — задумчиво повторил полковник. — Я же говорю — человек с двойным дном… Вчера вызывает меня и дает набросок телеграммы в Генштаб… на имя Цейтцлера, с пометкой «доложить фюреру». Вот, говорит, не откажите в любезности составить текст по этим тезисам, потом дадите мне на подпись, но отправлять пока не будем. Телеграмма как раз

по этому поводу, насчет «Цитадели». Ну, он там разбирает возможности, которые предоставляет сейчас противнику наше бездействие, затем сравнивает преимущества наступления и обороны — и приходит к заключению, что, поскольку столкновение с главными силами противника неизбежно, лучшим решением будет действовать по плану «Цитадель». При этом, конечно, куча оговорок — операция возможна только при наличии таких-то и таких-то предпосылок и так далее. Я все это прочитал тут же при нем, кое-что мы уточнили, а потом — я уже собрался уходить — он меня задержал и говорит полушутливым тоном: «Вижу, полковник, наши мнения в данном случае расходятся». Я ответил, что уже имел честь доложить свои соображения касательно плана «Цитадель» и что оперативный отдел не располагает какими-либо новыми данными, которые заставили бы меня думать иначе. И вот тут он мне сказал любопытную вещь. Улыбнулся этой своей полуулыбочкой, поиграл моноклем и говорит этак вскользь: «Но согласитесь, мой милый полковник, надо же когда-то кончать со всем этим…»

— С чем именно? — спросил Шлабрендорф, забыв руку на ключе зажигания.

Тресков пожал плечами:

— Как вы понимаете, этого вопроса я ему задать не мог.

Шлабрендорф усмехнулся, запустил двигатель и медленно тронул машину с места.

— Да, Клюге есть Клюге, — пробормотал он через минуту. — А что, если он действительно верит в возможность покончить с русскими этим летом?

— Фабиан, можете думать про фельдмаршала что угодно, но не считайте его болваном, способным поверить в возможность «покончить с русскими». Клюге — образованный офицер, и он прекрасно знает военную историю Европы… не в пример вам, кстати, весьма смутно представляющему себе даже путь Великой армии.

— Я шпак, — скромно возразил Шлабрендорф. — И в юности зубрил римское право, а не вашу военную историю.

— Давно могли бы пополнить образование у себя в абвере. Так вот, слушайте: у русских есть свой — национальный, я бы сказал, — метод ведения войны, и придерживаются они его с неукоснительным постоянством. Всякий раз, когда Россия оказывается втянутой в большую европейскую войну, война застает их врасплох,

неподготовленными, растерянными, плохо вооруженными. Это всегда период кризиса, когда, казалось бы, еще один толчок, и страна рухнет. Но из этого кризиса, Фабиан, русские всегда каким-то чудом выкарабкиваются. Они начинают медленно накапливать силы, равновесие постепенно восстанавливается, и в конце концов они вдруг оказываются несокрушимо сильными. Это всегда так. Я повторяю: всегда! Так было в семнадцатом веке с поляками, в восемнадцатом — со шведами, в девятнадцатом — с французами… ну а в двадцатом — с нами, оба раза. Да, да, я имею в виду и ту войну, не удивляйтесь! Там позже вступили в игру совершенно иные факторы, но к концу шестнадцатого года наш Восточный фронт трещал уже по всем швам. Короче говоря, русские всегда начинают с поражений, но кончают победой. Заметьте, я не случайно сказал: в больших войнах! Малые локальные конфликты, вроде Севастополя или Порт-Артура, не в счет. Тут тоже есть определенная закономерность: русским, чтобы воевать хорошо, надо воевать всерьез. В большой войне на карту ставится жизнь нации, и нация всегда это понимает…

Проезжая мимо старого танка, Тресков повернул голову, проводил взглядом угрюмую громаду

мертвого ржавого железа.

— Н-да, скоро они все свое получат обратно, — проговорил он, словно думая вслух. — Если мы не удержимся под Орлом…

— Так телеграмму Клюге еще не отправил?

— Пока — нет. Специально интересовался утром на узле связи. Выжидает чего-то…

Танк скрылся из вида, шоссе опять пошло под уклон. Навстречу показалась идущая со стороны Смоленска колонна грузовых машин. Шлабрендорф вопросительно глянул на Трескова:

— Может быть, стоит предупредить?

— Не надо. Там, скорее всего, какая-то незначительная банда, вряд ли они рискнут напасть на большую колонну. Если предупредить этих, я буду обязан сообщить о случившемся и в штабе. А какой смысл? Сожгут еще одну деревню, а партизаны все равно останутся…

— Послушайте, Хеннинг, — сказал Шлабрендорф, когда колонна осталась позади. — Мы с вами знакомы уже четыре года, и два года я служу под вашим началом…

— Неизвестно еще, кто под чьим, — буркнул Тресков. — Вы знаете, что такое «корнак»? В Индии так называют человека, который управляет слоном. Сидит у него на шее и бамбуковой тро-

сточкой похлопывает по хоботу то справа, то слева… показывает, куда поворачивать.

— Вы льстите мне, господин полковник. — Шлабрендорф улыбнулся. — Может быть, вначале я и пытался раз-другой… похлопать вас по хоботу, как вы это называете…

— Интересно, черт побери, как это можно назвать иначе! Самая пикантная деталь, что пришли вы ко мне в звании унтер-офицера. И сразу сели на шею.

— Но очень скоро убедился, что это совершенно излишне, — вы и сами безошибочно находили верное направление. Позвольте, однако, закончить фразу, на которой вы меня перебили.

— Прошу прощения, господин лейтенант!

— Я вот о чем хотел спросить. Когда мы с вами познакомились накануне войны, вы сразу показали себя убежденным антинацистом. И меня заинтересовало — а почему, собственно, вы думаете так, а не иначе? Чем нацистский режим не устраивает лично вас? Политикой, насколько я понимаю, вы в то время не особенно интересовались, но если не политика, то что же еще? Как полководец Гитлер тогда еще себя не проявил, обвинять его в плохом руководстве войной было рано. Заметьте, кстати, что большинство

сегодняшних оппозиционеров в среде высшего командования стали ими только потому, что разочаровались в Гитлере как в полководце. Окажись Восточный поход таким же успешным, как французская кампания, они и не помышляли бы ни о каком сопротивлении…

— К чему обобщать? Людвиг Бек стал противником режима задолго до войны, и не он один.

— Согласитесь, таких было не много.

— Вы знаете, — заговорил Тресков после паузы, — я и сам иногда задавал себе этот вопрос — почему… Хочу только внести уточнение: летом тридцать девятого года, когда мы познакомились… или, если уж быть совсем точными, когда вы получили от своего Остера задание со мной познакомиться…

— Хеннинг, — укоризненно сказал Шлабрендорф.

— Ну ладно, ладно, слон не такое уж глупое животное. Так вот, тогда я еще не был «убежденным антинацистом». Вы однажды сказали, что население Германии можно разделить на три категории: нацисты, ненацисты и антинацисты, причем самая отвратительная — вторая. В то время я принадлежал именно к ней. Нацисты мне не нравились, это был худший сорт город-

ской черни, в сравнении с которой рабочие у меня в имении были аристократами. Но в то же время мне, как военному, не мог не импонировать взятый Гитлером курс на создание сильной, боеспособной армии. Версальский договор оставил Германию практически безоружной, мы все считали это положение ненормальным и несправедливым. Я вам скажу честно — первые три-четыре года у меня не было к режиму особо серьезных претензий… Тем более что со штурмовиками они расправились сами, «ночь длинных ножей» мы по наивности восприняли как признак оздоровления общей обстановки. А вот после разбоя в Австрии, после отставки Бека — вот тут я задумался. А потом началась подготовка к нападению на Польшу — это уже было безумие, потому что означало мировую войну, а любой грамотный военный знал, что войны против Англии, Франции и Соединенных Штатов — даже имея в тылу нейтральную Россию — нам никогда не выиграть. Тут уже стало ясно, что фюрер ведет страну к гибели.

— Как ни странно, он действительно был уверен в невмешательстве Англии. Адмирал пытался уверить его в обратном, но мнение Риббентропа оказалось более весомым.

— Мы всегда предпочитаем верить тому, что нас больше устраивает… Ну а что касается личных мотивов — пожалуй, активным антинацистом меня сделал тот пресловутый приказ о комиссарах. В сорок первом, вы помните. Как бы вам это объяснить… Вы понимаете, я тогда почувствовал себя лично обесчещенным. Армия, в которой могут издаваться подобные приказы, это уже не армия в моем понимании. Гельмут Штифф побывал в Польше в конце тридцать девятого года, и, когда мы встретились, он сказал: «Мне стыдно быть немцем, этого позора нам не смыть во веки веков…» Черт побери, Тресковы двести лет поставляли Пруссии солдат, но палачей и преступников среди моих предков не было! А вот теперь мне приказом Верховного главнокомандующего предписывалось совершать тягчайшее из военных преступлений: казнить без суда взятых в плен офицеров противника…

Тресков помолчал, потом заговорил снова:

— В восемнадцатом году я пришел с фронта безмозглым фенрихом, повоевать мне довелось всего несколько месяцев, и я был весь в обиде на судьбу, а еще больше — на политиканов, которые сговорились за спиной у фронтовиков и изменили любимому кайзеру. Когда начались бои со

«спартаковцами», меня не надо было уговаривать — я тут же схватился за винтовку… Если я чего-то по-настоящему стыжусь в своей биографии, то это именно тех дней, когда я — мальчишка, сопляк — стрелял в своих соотечественников. И из-за чего, спрашивается, стрелял? Потому что мне сказали, что красные хотят ограбить дворянство, забрать землю у помещиков… Уже много позже я спросил себя: а чем, собственно, мне это грозило? Дворянину и раньше случалось терять землю, он мог разориться и продать поместье, мог проиграть его, мог в какой-нибудь междоусобице сделать ошибочный выбор и подпасть под конфискацию… Это превратности судьбы — сегодня так, завтра этак, но честь от этого не страдала, мало ли было благородных людей без гроша в кармане. Красные, победи они тогда, возможно, сделали бы меня нищим, а приказ о комиссарах лишал чести каждого немецкого офицера, который принял бы его к исполнению. Вот почему я еще в сорок первом году дал себе клятву убить мерзавца, обесчестившего германскую армию…

Увидев вдали шлагбаум и бараки контрольного поста, полковник замолчал, словно фельджандармы могли услышать его на таком расстоянии.

— Да, — сказал он немного погодя, — давно нам

не удавалось побыть вдали от любопытных ушей. Жаль, что нельзя злоупотреблять такой возможностью — будет выглядеть подозрительно. Кстати, я давно хотел спросить, каким образом вы ухитряетесь записывать потом наши беседы для своего абверовского начальства. Должна быть чертовски натренированная память, э, Фабиан?

— Не жалуюсь, — скромно отозвался Шлабрендорф. — Впрочем, их ведь интересует самое существенное, так сказать, квинтэссенция, это упрощает задачу…

Глава 5

Летом, на самые жаркие месяцы — июль, август, — Штольницы обычно снимали флигель у знакомого крестьянина в окрестностях Шандау, маленького курортного городка тридцатью километрами выше по течению Эльбы. Очутившись на лоне природы, фрау Ильзе с огромной энергией приступала к заготовке фруктов и овощей на зиму; они с Людмилой целыми днями что-то кипятили, пастеризовали, раскладывали по банкам. Профессор же воспринимал дачный сезон как неизбежное зло — работать ему здесь не работалось, книг не хватало; сколько бы он

их ни привез с собой, всякий раз выяснялось, что именно самой-то нужной под рукою и нет. А главное, здесь не было радио.

Хозяин за дополнительную плату охотно предоставлял в пользование свой аппарат, но это был VE–301, так называемый «народный приемник», бравший только Берлин, Прагу, Вену и еще несколько местных радиостанций. Профессор тосковал — дома у него стоял в кабинете огромный четырнадцатиламповый «Блаупункт-Олимпия», который свободно принимал и Лондон, и Стокгольм, и Касабланку. Конечно, использовать все возможности роскошного супергетеродина было рискованно — на лицевой панели давно уже красовалась яркая оранжевая карточка, напоминавшая о том, что «слушание иностранных передатчиков есть преступление против национальной безопасности нашего народа и по приказу фюрера карается тюрьмой». Монтер, прикрепивший карточку в сентябре тридцать девятого года, под расписку ознакомил супругов Штольниц с соответствующим правительственным постановлением; постановление профессор помнил, к виду оранжевой карточки привык, но против национальной безопасности преступал ежевечерне. И впадал в уныние, лишаясь этой

возможности хотя бы на время.

Сочувствуя ему, Людмила спросила однажды, почему было не отправить приемник на лето в Шандау — крестьянин ведь все равно перевозит их вещи лошадьми, — но профессор испугался самой мысли. А если при перевозке повредится какая-нибудь лампа? Это была бы катастрофа, дочь моя, просто катастрофа — попробуй сейчас достать новую радиолампу!

Каждый вечер, когда наступало время передач из Лондона, профессор слонялся из угла в угол, не находя себе места. Иногда он думал, что информационный голод может быть не менее мучительным, чем иные разновидности этого ощущения. А уж что он более унизителен, это точно. Тебе хочется знать, что происходит в мире, но ты этого знать не можешь, потому что какой-то бонза там в Берлине решил своими тупыми свинячьими мозгами, что тебе этого знать не следует…

Профессор, подобно человеку, то и дело трогающему языком больной зуб, подходил к «народному приемнику», включал его и с полминуты, морщась от омерзения, вслушивался в оптимистичный голос диктора. Больше чем на полминуты терпения не хватало. Ах, негодяи! —

понаштамповали этих пластмассовых коробок, навязывали их всем чуть ли не принудительно и теперь при всяком удобном случае не упускают напомнить, что Германия — это единственная в Европе страна, где радиоприемник имеется в каждой крестьянской семье, не говоря уж о населении городов. А голоса дикторов! Бог мой, откуда, из какой клоаки понабрали они этих подонков, ежедневно проституирующих перед миллионами слушателей… Даже авторы передач и те менее омерзительны, те хоть творят не на виду, каждый прячется в своей зловонной норе — диктор же выступает с подмостков, он играет, да еще с каким вдохновением! Прислушаться только, как умиленно размягчается его голос, как он медоточит, рассказывая о посещении детской больницы супругой рейхсминистра, и сколько в нем появляется гнева и ироничного презрения, едва речь заходит о ничтожной кучке пораженцев и внутренних врагов Великой Германии…

Промаявшись так несколько дней, профессор начинал изобретать предлог, чтобы улизнуть в Дрезден хотя бы на одну ночь. Предлог должен был выглядеть достаточно солидным, так как фрау Ильзе этих путешествий не одобряла по трем причинам: во-первых, большие города бомбят

и никто не может поручиться, что этого в любой день не произойдет с Дрезденом; во-вторых, крайне нежелательно нарушать режим питания, особенно в таком возрасте; в-третьих, лишние расходы сейчас совершенно ни к чему. Два последних аргумента профессор игнорировал, а по поводу первого возражал обычно, что судьба есть судьба, вероятность же воздушной атаки на Дрезден совершенно смехотворна: культурная ценность «немецкой Флоренции» известна всему миру, уже одно это является лучшей гарантией от всяких бомбежек. «Рейхсмаршала Геринга, разумеется, подобное соображение не остановило бы, — добавлял профессор, — но наши противники, Ильзхен, люди несколько иного склада».

Фрау Ильзе в конце концов уступала, но с условием, что Людмила поедет вместе с профессором и позаботится о нормальном ужине и завтраке. Обоих это устраивало как нельзя больше: для Людмилы поездка означала возможность повидаться в лагере с землячками, а профессор любил поговорить и очень ценил присутствие хорошего слушателя. Людмилу он относил к хорошим.

Ездили они обычно пароходом — от Дрездена до Шандау он тащился почти четыре часа, а обратный путь вниз по течению пробегал резвее,

часа за два. Даже так это оказывалось вдвое дольше, чем пригородным поездом, но спешить было некуда, дни стояли на редкость погожие, а долина Эльбы в этой части «саксонской Швейцарии» отличалась особой живописностью. Сразу за Проссеном река изгибалась к югу, пароходик проплывал мимо старинной крепости Кёнигштейн, а затем русло круто поворачивало обратно, образуя глубокую подкову Бастейской излучины; за каждым поворотом открывался новый вид, один красивее другого. Людмила, впрочем, уже как-то не воспринимала все это — здешние места, как и сам Дрезден, были перенасыщены красотой.

Дом на Остра-аллее находился почти в центре Старого города, буквально нашпигованного достопримечательностями и сокровищами искусства. Цвингер с картинной галереей, дворец-замок саксонских курфюрстов и королей, Брюлева терраса, собрание скульптур в Альбертинуме, старейшие церкви города Фрауэнкирхе и Кройцкирхе, множество памятников и статуй, бронза, мрамор, ренессанс и барокко — все это было скучено на пятачке размером не более одного квадратного километра. Людмила за каких-нибудь двадцать минут могла не спеша пройти от Театральной площади до ратуши на Фридрих-

сринге или от моста Каролы до Герцогингартена, рядом с которым жили Штольницы. Она никогда не призналась бы в этом профессору, но ей начинало казаться, что переизбыток красоты дает иногда обратный эффект.

Сегодня они тоже решили отправиться водным путем. Пассажиров на пароходике «Мейсен» было почему-то больше обычного, и уединиться не удалось; профессор, собиравшийся всласть обсудить положение на Восточном фронте, сидел теперь молча, иногда сердито пофыркивая, и время от времени принимался выстукивать на палубе раздраженную дробь концом трости. Дома ему тоже не всегда удавалось отвести душу, днем Людмила обычно бывала занята, а что касается застольных разговоров, то тут фрау Ильзе была непоколебима: серьезные темы, считала она, за едой обсуждать не принято. Она, разумеется, не стала бы вмешиваться и прерывать, но молчаливое неодобрение жены отравляло профессору все удовольствие. В такие минуты его посещала иногда крамольная мысль, что хорошо бы его спутница жизни была женщиной более широких взглядов и не так твердо знала, что принято и что не принято…

Людмила тоже сидела молча. Пароход только

что прошел Ратен, впереди наплывал, медленно вырастая, скалистый массив Бастей — исполинские песчаниковые столбы, воткнутые сверху в поросшую густым лесом крутизну правого берега. Людмила смотрела на багряно озаренные предвечерним солнцем вершины утесов и вспоминала степь. Как ей не хватало здесь этого ковыльного, овеянного ветром простора! — здесь, где вообще нет далей, где все кажется близким… Это, вероятно, самообман, вершины некоторых гор тоже видны очень издалека, но все равно — горный ландшафт смотрится совсем иначе, простора в нем нет. В степи Людмила бывала не так часто, всего раза два-три, чаще она видела степь из окна вагона; да и то, много ли довелось ей поездить в сознательном возрасте? Один раз в Крым, потом на Кавказ, а в последнее предвоенное лето — в Ленинград. По-настоящему же она бывала в степи, только когда гостила у няни, Трофимовны, и потом летом сорок первого — на окопах. А впечатление осталось настолько яркое и сильное, как будто она всю жизнь прожила на степном хуторе… Как же должны были ощущать степь ее предки, вообще не знавшие ничего другого! Может быть, от них и перешла к ней, горожанке, эта необъяснимая тяга к диким просторам?

— Да, да, — пробормотал сидящий рядом профессор, — любопытно, что мы сегодня узнаем… чрезвычайно любопытно. Там явно что-то происходит. Ты заметила вообще, как изменился тон, гм… ну, ты сама понимаешь, я имею в виду весь этот оркестр.

— Изменился? — рассеянно переспросила Людмила.

— Разумеется! Переходит, я бы сказал, в иной ключ. Нет, понимаешь ли, былого мажора. Вместо недавнего… гм… брио фуриозо — иначе не определишь — все чаще слышится этакое лангвидо состенуто…

— Господин профессор, — негромко, укоризненно сказала Людмила, указывая глазами на соседей. Она не очень точно поняла смысл музыкальной терминологии, но ехидный тон Штольница был достаточно выразителен.

— Ладно, ладно, — отмахнулся тот и еще энергичнее застучал тростью. Через минуту он опять не выдержал и, не оборачиваясь к Людмиле, объявил: — Кстати об Италии! Там, по-моему, тоже совершенно разучились играть. Невыносимо фальшивят, дочь моя. Не удивлюсь, если не сегодня завтра появится новый дирижер…

Это уж было слишком. Людмила встала, ото-

шла к борту и облокотилась на поручни. Внизу, разбрасывая пену и брызги, с завораживающей размеренностью одна за другой уходили под воду широкие лопасти гребного колеса, нескончаемой чередой выбегали из-под белого кожуха и скрывались в кипящей воде.

В Пирне большинство пассажиров сошло на берег, палуба наконец опустела. Людмила, вернувшись на свое место, строго сказала:

— Вы стали совершенно невозможны, господин профессор. Кончится тем, что я нажалуюсь фрау Ильзе и она вообще никуда не будет вас отпускать… без своего присмотра.

— Вы обе взяли себе слишком много воли, вот что я тебе скажу.

— Если бы дать волю вам, вас бы вообще давно уже посадили. Затевать такие разговоры при посторонних! Вы думаете, никому не понятны ваши намеки?

— Помилуй, я же видел, кто сидит рядом. Это деревенская публика, они вообще не прислушиваются к чужим разговорам. А хотя бы и прислушались? Если ты думаешь, дочь моя, что простой саксонский мужик разбирается в итальянских музыкальных терминах, то ты слишком высокого мнения о нашей Германии, да, да! То,

что они ездят на велосипедах и проводят у себя в коровниках электричество, еще ни о чем не говорит.

— Я знаю, но…

— Это еще не культура. Это лишь внешние — самые поверхностные — приметы цивилизации. Никогда не путай этих двух понятий! В Индии, скажем, половина населения не только не умеет пользоваться электричеством, но и не видела простого водопровода. Но какая там высокая духовная культура! И обратный пример — те же американцы…

— Да знаю я, — повторила Людмила, — но вы не учитываете другого. Среди этих людей всегда может оказаться кто-то, кто вас поймет. И если этот «кто-то» решит донести, то вы пропали. К чему так рисковать — можно ведь поговорить дома…

— Ничего, ничего. — Профессор успокаивающе похлопал ее по руке. — К жизни, дочь моя, следует относиться с бо'льшим доверием.

— При чем тут доверие к жизни! Вот наткнетесь на гестаповского шпика, тогда узнаете.

— Ну, этих прохвостов видно издалека, — снисходительно возразил профессор. Он достал часы, отщелкнул крышку. — Однако сегодня мы скорее обычного… вон уже и Пильниц виден. Насколько

все же приятнее плыть по реке, не правда ли, нежели целый час давиться в переполненном вагоне… Нравятся тебе эти места?

— Да, очень красиво. — Людмила помолчала, провожая взглядом обгоняющий их по левому берегу пригородный поезд. — Господин профессор, я давно хотела спросить… Есть одно стихотворение, кажется Гёте, я его знаю в русском переводе — это про Наполеона…

— Подскажи начало, я вспомню.

— Но я ведь не читала оригинала. Это такое фантастическое стихотворение, там описывается, как в полночь к острову Святой Елены пристает корабль без команды, и Наполеон встает из гроба и поднимается на палубу, и корабль несет его во Францию…

— А! Какой же это Гёте, дочь моя, опомнись. Это Цедлиц, Йозеф Кристиан Цедлиц. Австриец. Баллада, которую ты имеешь в виду, называется «Корабль привидений».

— Правда? По-русски это переведено как «Воздушный корабль». Так вот, там есть строчка, где говорится о солдатах Наполеона, которые спят в долине Эльбы; разве здесь происходили тогда сражения?

— Помилуй, а битва под Дрезденом в тысяча

восемьсот тринадцатом?

— Ах да, — неуверенно сказала Людмила. — Но я почему-то считала, что она происходила где-то под Лейпцигом…

Профессор так и подскочил:

— Да ты что, извести меня сегодня решила! — Он даже тростью пристукнул от негодования. — То она путает Гёте с каким-то второразрядным сочинителем, то она валит в одну кучу два совершенно разных события: лейпцигскую Битву народов, позволившую окончательно изгнать французов из Германии, — и битву под Дрезденом, которая, во-первых, произошла двумя месяцами раньше, а во-вторых, закончилась — в отличие от другой! — победой Наполеона…

— Я ведь не историк, — сказала Людмила, сдерживая улыбку.

— Ты вообще никто! Воображаю, чем ты занималась на уроках. — Он посмотрел на нее уничтожающе, потом смягчился. — В твоем возрасте, впрочем, все люди суть невежды. Ты еще выделяешься в лучшую сторону — кое-какие знания у тебя есть, это я признаю.

— Попробовали бы не признать! Я вот знаю немецкую поэзию, хотя и в переводах и могу спутать авторов, а вы, господин профессор, русской

поэзии не знаете.

— Да, да, — согласился он рассеянно. — Что ты сказала? Поэзии? Видишь ли, дочь моя, ваша поэзия не имеет всемирного звучания. В отличие от прозы. Я сам не очень хорошо понимаю, чем это объясняется; следовало бы поговорить с толковым литературоведом-славистом. Но это, увы, так. Насколько колоссальное влияние оказала на мировую литературу русская проза девятнадцатого века, настолько незамеченной прошла поэзия.

— Вы думаете? — задумчиво переспросила Людмила.

— Да, я думаю! Я, видишь ли, вообще имею привычку сперва подумать, а потом сказать. Вас, конечно, это удивляет — и тебя, и Ильзе. Та тоже — если я подхожу к барометру и говорю: «Давление сильно упало, будет дождь» — так она непременно спросит: «Ты думаешь?»

— Ну, это ведь просто так говорится. Я хотела сказать — насчет поэзии, вы уверены, что незамеченной?

— Я ее влияния не замечал. Мне известна речь Достоевского, посвященная Пушкину; он, боюсь, все же преувеличивает его общечеловеческое значение. Заметим, что эта ошибка часто до-

пускается литературоведами по поводу многих других авторов. Тут, понимаешь ли, существует такая загадочная закономерность: это самое «общечеловеческое значение», как ни странно, далеко не всегда соответствует степени популярности данного автора у него на родине. Иногда соответствие налицо — тот же Достоевский, скажем, или Шекспир, или Данте. Зато Байрона, насколько мне известно, в Англии не очень любят и даже не очень знают; между тем ему в свое время подражали сотни поэтов в Германии, в России. А вот Пушкин как раз случай обратный: здесь его не знает никто, кроме славистов, для русских же он — кумир…

Людмила была рада, что профессора удалось отвлечь от более актуальной темы. Сейчас рядом с ними никого не было, но он имел привычку говорить довольно громко, их могли и услышать снизу, и кто-то мог подойти и остановиться за рубкой — а голоса над водой разносятся далеко, она имела возможность в этом убедиться. Штольниц действительно становился неосторожен. Между тем именно теперь, когда Германия начала терпеть военные неудачи, власти должны были особо пристально следить за настроениями в тылу и вылавливать всякого рода «пораженцев».

Я ведь тоже не лучше профессора, подумала вдруг Людмила, вспомнив о своем дневнике. Да, с этой детской забавой пора кончать. Дневник она вела еще дома, но те тетрадки там и остались, а по пути сюда, в Перемышльском пересыльном лагере, один поляк подарил ей толстую чистую книжечку, найденную, видимо, где-то в развалинах. Книжечка была такой соблазнительной, что Людмила не удержалась — стала записывать сначала маршрут своих мытарств по Германии, потом кое-какие наблюдения. Дневник удавалось прятать, да немцы и не обращали внимания на такие вещи — не снисходили. Многие девчата в эшелоне и в пересыльном лагере писали письма домой. Писали, просто чтобы излить душу, не рассчитывая на получение их родными. Немцы не возражали, иной даже и пальцем потычет поощрительно: «Шрайбен, йа, йа, гут шрайбен!»

В Дрездене, где у нее была своя отдельная комната, Людмила стала писать уже всерьез — и совершенно откровенно. Это было глупо. «Сожгу, — твердо решила Людмила. — Как только приедем домой, достану и сожгу».

«Мейсен» прошел уже под висячим мостом и приближался к мосту Альберта — первому из четырех, соединяющих Старый город с Новым

на правом берегу. Миновали и этот; за мостом Каролы монотонный плеск гребных лопастей оборвался, пароход бесшумно сносило влево, к дебаркадерам у Брюлевой террасы.

— Кстати, о Наполеоновских войнах и о твоих земляках, — сказал профессор, указывая тростью, — это построил русский губернатор города, князь Репнин, в тысяча восемьсот четырнадцатом…

— Террасу?

— Боже милосердный, нет, разумеется, террасу построил канцлер Брюль, и на сотню лет раньше. Я говорю о лестнице!

— А, — сказала Людмила. Лестница, спускающаяся от террасы к Хофкирхе, была широкая, красивая, украшена по углам четырьмя бронзовыми группами. Молодец князь Репнин, подумала Людмила, интересно — тот ли это, что отказался надеть машкеру. В смысле — прямой ли потомок. «И пал, жезлом пронзенный, Репнин, правдивый князь…» — Вы прямо домой? — спросила она. — Фрау Ильзе просила меня кое-что купить, я тогда зайду, пока не закрылись магазины…

— Ну, раз просила, — отозвался профессор недовольным тоном. — У Ильзе просто мания таскаться по лавкам самой или посылать других.

Как будто сейчас можно и в самом деле что-то купить!

У памятника королю Альберту перед зданием Ландтага они расстались, Людмила свернула за угол в узкую Аугустусштрассе, а профессор, постукивая тростью, направился к проходу между замком и Хофкирхе. У Георгиевских ворот он оглянулся — девушка неторопливо брела по тротуару, разглядывая на ходу громадный керамический фриз «Шествие князей» на противоположной стороне улицы. Интересно все-таки, подумал он, как она в конечном счете все это воспринимает — город, его историю… да и тех, кто в нем живет сегодня. Включая его самого с Ильзе. Ну, на них-то, надо надеяться, ей особенно обижаться не за что… разве что постольку, поскольку они тоже немцы — такие же, как и те, что вломились к ней в дом, разрушили ее жизнь, разлучили с близкими. Да, не так все просто. Людхен хорошая собеседница, но слушает она больше, нежели говорит; объясняется это, скорее всего, ограниченностью словарного запаса, вполне достаточного для обычного повседневного общения, но не для серьезных разговоров на отвлеченные темы. А что, если дело тут в простой вежливости? Девочка отмалчивается потому, что

слишком хорошо воспитана, чтобы не высказывать вслух того, что о нас думает. О нас — немцах вообще…

Он снова поймал себя на том, что представляет ее своей выросшей дочерью, Мари, временами почти их путает — как если бы они были ровесницами, сестрами-близнецами. Но Мари ведь гораздо старше, сейчас она была бы уже тридцатилетней женщиной… да, тридцать один год был бы ей сейчас. Ровно тридцать один. А иногда ему казалось, что Людхен чем-то похожа на Анну — на ту, оставшуюся в невообразимых далях юности, — не чертами лица, нет, чем-то неуловимым в глазах, в улыбке. Вот с нею они и в самом деле ровесницы — эта в тысяча девятьсот сорок третьем и та в тысяча девятьсот десятом. В десятом они поженились, через два года он стал отцом, еще через два ушел на войну. А еще четырьмя годами позже потерял разом обеих.

Да, как ни странно, именно он — их, а не они — его. Хотя логичнее было бы обратное. Он прошел все — Марну, Сомму, Верден — и уцелел, а их скосил грипп. Инфлюэнца, как тогда говорили. Та самая инфлюэнца, чудовищная пандемия которой в последний год войны прошлась по Европе не хуже средневековой «черной смерти». Он ле-

жал в лазарете после третьего ранения; когда ему сообщили — было такое чувство, будто погасла вселенная и не стало ни света, ни воздуха. Исчез единственный маячок, все те четыре адских года мерцавший ему сквозь мрак, безумие и отчаяние. Он попытался покончить с собой, а спустя пять месяцев — перед выпиской и демобилизацией — сделал предложение сиделке, которая его выхаживала. По степени обдуманности это, вероятно, мало чем отличалось от дурацкой и неумелой попытки наложить на себя руки, но позднее жизнь подтвердила правильность странного решения — единственно правильного, наверное, в тот момент.

Да, Ильзе стала ему хорошей женой. Того, что давала Анна, дать не могла (да и не пыталась — не каждая ведь подходит на роль Эгерии), но она подарила ему другое: покой и упорядоченность, без которых, наверное, он не смог бы вернуться к нормальной жизни. Не умея вдохновить, как умела ее предшественница, Ильзе терпеливо и незаметно устраняла вокруг него все, что могло помешать или отвлечь. И произошло чудо: за неполных пять лет он дописал лучшую, пожалуй, свою работу — начатую еще до войны монографию о Доменико Гирландайо.

Он никогда не забывал, кому был этим обязан. И никогда не переставал вспоминать Анну, хотя могилу первой жены и дочери (они умерли во Фридрихштадтской больнице и были похоронены там же рядом, на старом католическом кладбище) посещал раз в год, в День поминовения. Ильзе бывала там чаще, а его поначалу то и дело упрекала в черствости; ей было не понять — память его не нуждалась в том, чтобы оживлять ее прикосновением к надгробному камню. То, что давно истлело под этим камнем, было уже настолько не связано для него с образами жены и дочери, что сама мысль об отождествлении казалась кощунством. Он помнил их живыми, и живыми они для него оставались, Анна постоянно присутствовала где-то рядом. Может быть, и не совсем уже такая, какою была в действительности; она постепенно превратилась в некий идеализированный образ, воплощение юности и всего того, что так сразу и непоправимо рухнуло в августе четырнадцатого — не для него только, для всего его поколения… Ее утонченность, безупречный художественный вкус, удивительное понимание музыки — все это, вопреки очевидности, мало-помалу начинало представляться ему исчезающими ныне качествами, свойственными

лишь людям иной, погибшей эпохи. Он знал, что это не так, в его кругу не было недостатка в мужчинах и женщинах глубокой культуры, да ведь и сама Ильзе (несмотря на всю ее трезвую померанскую практичность) могла подчас очень тонко понимать и чувствовать некоторые вещи; и все же Анна оставалась Анной, ни в ком не повторенной и ни с кем не сравнимой. Лишь изредка — вспышкой, отблеском далекой зарницы — просверкивало вдруг в ком-нибудь мгновенное, едва уловимое сходство-напоминание. Так случилось и в тот день прошлой зимой, когда он пришел в трудовое управление по поводу своей заявки на «восточную помощницу».

Заявка эта стоила им немалых сомнений. Осенью сорок первого года Ильзе получила официальное уведомление, что, как мать офицера-фронтовика, имеет право на использование в своем домашнем хозяйстве иностранной рабочей силы в количестве одной единицы женского пола. Первой их реакцией было, естественно, возмущение, но позже пришла другая мысль: что можно воспользоваться случаем и попытаться помочь хотя бы одной из тех несчастных, которых все чаще привозят в Дрезден, словно невольниц в Средние века. «Давай попробуем, — решила

наконец Ильзе, — как бы ей ни показалось у нас, все-таки это будет для нее лучше, согласись, чем попасть к какому-нибудь Гешке…» Мысль о зловредном блокляйтере убедила профессора, и он в тот же день позвонил приятелю, имеющему полезные связи в трудовом управлении. Через месяц ему сообщили, что с последней партией украинских работниц доставлена девушка, вроде бы неплохо говорящая по-немецки; если господин профессор не передумал, то пусть зайдет, посмотрит.

Вид девушки с Украины ошеломил его в первый же момент какой-то кричащей несочетаемостью отдельных деталей ее облика, их несоответствия целому. Одетая в нечто неописуемое, она держалась с достоинством, почти с вызовом — явно напускным и не очень ей удающимся, так была испугана и подавлена (хотя старалась этого не показать). Среди украинок, которых ему случалось видеть раньше, было немало хорошеньких, но к этой слово «хорошенькая» не подходило — ее лицо поражало даже в этом рубище, оно сразу напомнило ему один портрет во флорентийской Уффици. Особенно когда она, слушая его, машинальным жестом стянула с головы безобразную косынку. Волосы ее были уложе-

ны небрежным венцом из кос, почти как у той, только мона Лукреция была рыжеватой светлой шатенкой, а эта — темноволосой, и как только он отметил про себя это различие, ему сразу же просверкнуло: она походит не только на ту, что четыреста лет назад позировала перед маэстро Бронзино. Непонятно даже, чем походит — цветом ли волос (Анна, родом из Южной Франконии, тоже была почти брюнеткой) или тем главным, неуловимым — в выражении глаз, в складке губ… Некоторые при первом знакомстве находили Анну чуть высокомерной, хотя он-то знал, что это скорее от застенчивости, высокомерия в ней не было. Сходство мелькнуло и исчезло, но и позже он снова поймал себя на том, что почти любуется прекрасным лицом иностранки — как любовался когда-то Анной, как мог бы любоваться лицом Мари, которая, наверное, выросла бы похожей на мать…

Боже мой, подумал Штольниц, идя через площадь к арке картинной галереи, будь это иное время, иная эпоха — что мешало бы ей остаться здесь после войны? Мать, вероятнее всего, так и не найдется, пропала где-нибудь в эвакуации, других родственников у девочки, кажется, не осталось… Здесь — когда будет покончено с этим

нынешним свинушником — он мог бы дать ей великолепное образование, предложить любой из лучших университетов Европы. И была бы у него дочь, которой можно гордиться, — не то что пустоголовый поганец Эгон.

Профессор прошел под аркой, мимо запертого входа в галерею (картины, говорят, хранятся где-то в совершенно безобразных условиях, чуть ли не в шахте!), пересек пустынный, наискось разлинеенный длинными предзакатными тенями парадный двор Цвингера и, выйдя через Коронные ворота, свернул направо, привычно избегая смотреть вдаль — чтобы не увидеть безобразно замыкающего перспективу Остра-аллее псевдотурецкого купола и труб-минаретов сигаретной фабрики. Впрочем, переходя улицу перед своим домом, все-таки не удержался, глянул — как трогают языком больной зуб. Неизвестно зачем, просто так. Чтобы еще раз удостовериться, что ноет.

Когда Людмила вернулась после безрезультатного хождения по магазинам (нужного фрау Ильзе вязального крючка не нашлось ни в одном), профессор уже сидел в кабинете у приемника — подрывал национальную безопасность. Людмила занялась приготовлением ужина. К столу

Штольниц вышел с очень довольным видом, потирая руки.

— Ну, что я тебе говорил? Этот идиот-дуче, кажется, свое уже отыграл… — Он сел, развернул салфетку. — Корреспонденты нейтральных газет в Риме сообщают о весьма серьезных разногласиях в фашистском руководстве, с одной стороны, и между королем и Муссолини — с другой… Благодарю, мне хватит! Да, а в финском парламенте, можешь себе представить, депутаты уже открыто требуют заключить сепаратный мир. Ты понимаешь, что это значит? Дело идет к концу, да, да…

Людмила чуть было не спросила: «Вы думаете?» — но вовремя удержалась.

Профессор вообще обладал склонностью к неоправданной (как обычно оказывалось позднее) восторженности в оценках некоторых английских сообщений, но на сей раз энтузиазм его был, пожалуй, и в самом деле оправдан. С летним наступлением этого года гитлеровское командование связывало какие-то особые надежды — об этом можно было догадаться хотя бы по тону радио и газет, которые с первого же дня битвы под Курском заговорили о коренном переломе в ходе войны. А еще раньше сколько было заверений и обещаний — начиная с весны,

с мартовской речи Геббельса в Спортпаласте! И чем же все это кончилось? Такой новостью надо поделиться с девочками, подумала Людмила.

— Я, наверное, схожу сегодня в лагерь, — сказала она.

— А в будний день тебя пустят? Сходи завтра с утра, в Шандау тогда вернемся послеобеденным поездом.

— Их почти каждое воскресенье заставляют работать, по крайней мере до обеда. Лучше уж попытаюсь сегодня, может быть пустят…

Подав профессору его «кофе» — жуткую ячменно-желудевую бурду, но зато в золоченой чашечке столетнего мейсенского фарфора, — Людмила принесла из кабинета блокнот и маленькую, размером с ручные часики, плоскую серебряную коробочку с печатью.

— Не забудь только надеть этот свой идиотский знак, — сказал Штольниц, развинтив вечное перо. — В какой лагерь писать?

— «Миктен», — подсказала Людмила. — «Миктен-II», так это именуется официально. Тире и римская двойка.

— «Отпускное… свидетельство… — бурчал профессор, покрывая листок острой готической фрактурой. — Настоящим удостоверяю… что

занятая в моем домашнем хозяйстве… восточная работница такая-то… отпущена мною до…» Надолго тебе?

— Часов до девяти, наверное, позже все равно выгонят.

— «До двадцати одного часа… на предмет посещения двоюродной сестры… в рабочем лагере «Миктен-II». Бог мой, и это — двадцатое столетие! Имя сестрички указывать не надо?

— Нет, до сих пор ни разу не спрашивали…

Подписав свидетельство, Штольниц развинтил плоскую коробочку, выколупнул оттуда серебряный кружок с припаянной в центре петелькой и, подышав на оборотную сторону, оттиснул печать рядом с подписью.

— Держи, восточная работница. — Он вырвал листок, помахал им, просушивая чернила, и протянул Людмиле. — Но ты уверена, что эти визиты в лагерь не опасны?

— Нет, конечно. А даже если бы?

— И это верно. В случае чего пусть звонят сюда — мало ли, вдруг какой-нибудь усердный болван найдет, что написано не по форме.

— Что вы, господин профессор, с такой печатью и таким грифом! Я, кстати, давно хотела спросить: у нас личные печати бывали только у врачей, а

вы — зачем вам такая?

— Помилуй, как это «зачем»! Мне в свое время приходилось составлять очень важные документы — экспертизные акты, свидетельства аутентичности и тому подобное, простой подписи в таких случаях недостаточно. Особенно если бумаги посылаются за границу. Да, а теперь вот приходится подписывать подобную пакость. Что делать, tempora mutantur — прости, я хочу сказать — времена меняются…

— Это даже я поняла, — улыбнулась Людмила, складывая листок.

Среди дрезденских «остарбайтеров» лагерь «Миктен-II» слыл одним из немногих, где условия были относительно сносными. Было два типа рабочих лагерей: заводские, расположенные, как правило, на территории самого предприятия, где люди жили в бараках прямо рядом с цехами и месяцами не выходили «на волю», и — в меньшем числе — так называемые резервные, по мере надобности направлявшие рабочую силу то на один, то на другой объект. Заводские лагери мало чем отличались от концентрационных, жизнь в резервных была несколько свободнее.

«Миктен-II» был резервным лагерем. Людей оттуда посылали работать то туда, то сюда, иногда

большими командами, иногда по два-три человека. Поскольку конвоирование таких мелких групп до места работы и обратно было практически неосуществимо (конвоиров не напасешься), большинство миктенцев ходило на работу и с работы без надзора. Вечером, по дороге в лагерь, это давало возможность подработать на стороне: отвезти тяжелую кладь на ручной тележке, ссыпать в подвал уголь, вымыть тротуар перед домом. Жительницы Дрездена охотно пользовались услугами случайных помощников — редко в какой семье оставался трудоспособный мужчина, а расплачивались обычно хлебом или талонами на хлеб. Так что и с питанием в резервных лагерях было получше.

Охранялся «Миктен-II» стариками-полицейскими, вероятно польстившимися на эту работу ради приработка к пенсии или, скорее всего, в расчете на дополнительный паек от лагерной кухни. Обряженные в ярко-зеленую допотопную униформу времен Саксонского королевства, ветераны ревностно несли службу, усугубляя обычную немецкую пунктуальность мелочной стариковской въедливостью и тщетными потугами доказать, что и они еще на что-то годны.

Сегодня, как нарочно, на проходной дежурил

один из самых въедливых. Иные впускали посетителей беспрепятственно, требуя пропуск лишь на выходе, этот же остановил Людмилу грозным «хальт!» и стал проявлять служебное рвение. Сперва он оглядел ее с головы до ног на предмет обнаружения чего-либо противоречащего правилам, но ничего такого не обнаружил — правила Людмила и сама знала не хуже его. Идя в лагерь, она всегда одевалась так, как положено быть одетой «восточной работнице»: обувь хоть и старая, но хорошо вычищенная, казенные бумажные чулки, казенное же синюшно-серое бесформенное платье с пришитым на груди квадратом опознавательного знака «OST» и головная косынка того же арестантского цвета. Все это обмундирование фрау Штольниц получила для своей прислуги еще прошлой весной, хотела употребить на тряпки, но Людмила вовремя сообразила, что делать этого нельзя: ведь только в таком виде могла она общаться с соотечественницами.

Не обнаружив нарушений, вредный старичок сердито потребовал пропуск и вздел на нос никелированные очки с треснувшим стеклышком. Документ явно произвел впечатление — на то он и был рассчитан, не зря Штольниц пользовался

для этих оказий найденным в письменном столе старым служебным блокнотом, где вверху каждого листка были пропечатаны все его былые должности и звания — «советник магистрата, руководитель кафедры истории искусств Академии художеств, doctor honoris causa Болонского университета». То, что досточтимый доктор давно уже вылетел и с кафедры, и из магистрата, было известно в Дрездене сравнительно узкому кругу лиц; простые шупо[3], во всяком случае, наверняка об этом не знали. Не знал и ветеран — вдумчиво прочитав все напечатанное и написанное на листке бумаги отличного довоенного качества, он покивал с уважительной миной и вернул его Людмиле.

— Как звать твою родственницу?

— Демченко, — назвала она первую пришедшую на ум фамилию. — Это в седьмой комнате, господин обервахмейстер.

— Ну хорошо, ступай, — разрешил тот, польщенный неожиданным повышением в чинах. — Но не задерживайся здесь! Ты живешь на Остра-аллее?

— Так точно, недалеко от Цвингера.

---

[3] Notes: 3
Полицейские; сокр. от «Schutzpolizei» *(нем.)* — охранная полиция.

— О да, Цвингер! — Вредный старичок поднял палец с многозначительным видом. — Теперь ты понимаешь свое счастье? Из диких степей Востока тебя привезли в этот прекрасный культурный город совершенно бесплатно, мало того — тебя поселили рядом с чудом, на которое до войны люди приезжали посмотреть из многих стран Европы, а также Америки, затрачивая на такую поездку большие деньги! Но я хочу сказать вот что: отсюда до Остра-аллее не так далеко, однако ты должна выйти заранее, дабы не опоздать. Здесь написано, что твой господин отпустил тебя до девяти часов, это означает, что без пяти девять ты уже должна быть дома! Тебя строго накажут, если ты будешь обнаружена на улице позже указанного срока.

— Я вернусь вовремя, господин обервахмейстер, — заверила Людмила.

В старом кирпичном здании, реквизированном под лагерь, раньше размещалась, вероятно, какая-то небольшая фабричка — со складскими помещениями внизу и производственными на втором этаже, где с потолка, подпертого железными колоннами, еще свисали кронштейны трансмиссионных валов. Между колоннами устроили перегородки из прессованного картона,

поделив зал на отдельные комнаты, или, на лагерном жаргоне, «штубы» — несколько мужских, несколько женских, две семейные. В седьмой штубе жило трое девушек из Людмилиного эшелона.

Когда она вошла, лагерницы только что кончили ужинать — возле двери стояло пустое ведро из-под баланды, и дежурная штубовая складывала в него коричневые эмалированные миски, чтобы нести мыть вниз, на кухню.

— Глянь, кто пришел, девчата! — крикнула рыжая Наталка. — Люська собственной персоной — явилась не запылилась. Чего это тебя давно не было?

— Не отпускали, — ответила Людмила. — Здравствуйте, девочки. Ну, как вы тут?

— А ничего! Живем — хлеб жуем. Когда дадут. Опоздала ты вот, а то повечеряла бы с нами — забыла небось, какая она на вкус, лагерная гемюза?

— Ну да, забыла, — вмешалась Аня Левчук. — Ты думаешь, в прислугах нашу сестру варениками кормят со сметаной? Я вон прошлый год у немки всю зиму проишачила, спасибо. Лучше уж в лагере гемюза да триста грамм хлеба, чем ихние объедки.

— Не, у Люськи хозяева вроде ничего, — возразила Наталка.

— А! Все они «ничего», пока вожжа под хвост не попадет. Моя, бывало, тоже поначалу все — «Анни, Анни»… А жадная, гад, ну не поверите — за корку готова удавиться. Слышь, Люсь, а твой профессор — он по какой части?

— Профессор кислых щей, — подсказал кто-то.

— Историк, — поправила Людмила. — А что?

— Да нет, ничего. Я думала, может, врач.

— Ты что-нибудь хотела спросить? А у вас здесь разве нет врача?

— Не, это я так. Врач! Какой тут врач? Медпункт, считается, есть — приходит там раз в месяц один полудурок, у него аспирину не допросишься… Ну, пошли к нам, посидим.

«К нам» означало дальний угол комнаты, где три двухъярусные койки, занавешенные бумажной мешковиной, образовали что-то вроде отдельного купе. Там жили Людмилины землячки и еще одна девушка из Умани, которая тоже ехала с ними в одном эшелоне. Они были старожилами седьмой штубы — остальные ее обитательницы, всего человек двадцать, постоянно менялись. Поэтому вести за общим столом слишком откровенные разговоры (о лондонских

передачах, например) Людмила обычно избегала. Мало ли кто может оказаться!

Быть осторожной приходилось, впрочем, даже с землячками — не потому, что Людмила считала их способными донести, а просто на всякий случай. Пересказывая содержание английских сводок, она никогда не говорила, что узнала об этом от профессора: могут ведь и не подумав кому-то сболтнуть — вот, мол, какой у Люськи хозяин, Англию слушает… Из этих же соображений она умолчала о своем и профессора участии в побеге Зойки Мирошниченко. В лагере про побег знали — в апреле приходили какие-то в штатском и всё допытывались, не видал ли кто Зойку. Когда девчата рассказали об этом Людмиле, она разыграла удивление и испуг: надо же такому случиться, куда, в самом деле, могла эта Зойка подеваться…

Сейчас она рассказала о нашем наступлении на Орел и Белгород, но новость никого не поразила: оказалось, что об этом уже все знают, хотя лишь в самых общих чертах.

— Ну вот, а я-то думала вас порадовать! Нарочно из-за этого и прибежала.

— Не, мы еще третьего дня слыхали, на работе один поляк сказал.

— Где вы сейчас работаете?

— А нас теперь каждый день в Фридрихштадт гоняют, на сортировочную. «Рангир-банхоф» называется. Там и военнопленные работают — наши с поляками.

— И наши есть?

— Есть. Мы им тут хлеба насобирали, табаку… Охрана у них, конечно, построже, чем у поляков, но девчата уже сориентировались — одна начнет часовому зубы заговаривать, а другие кидают через проволоку. Работаем вроде рядом, а у пленных свой участок колючкой отгорожен.

— Откуда же вы берете табак? — удивилась Людмила.

— Да ну какой табак, отходы — так, вроде пыли. Девчата со второй штубы на сигаретной фабрике работают, они и выносят потихоньку. Слышь, Люсь, — Аня понизила голос, — я почему спросила насчет твоего профессора, не врач ли. Ты ведь вроде говорила, что он ничего, не вредный?

— Нет, он хороший человек.

— Ну да, я почему и вспомнила — может, думаю, врач, так можно было бы спросить…

— О чем спросить?

— Может, лекарств каких достал бы для пленных хлопцев.

— Ну откуда же… У них есть домашняя аптечка, обычная — йод, пластырь, всякие капли — от сердца, от желудка… А какие именно лекарства нужны?

— Да они напишут! Они только узнать просили — есть ли, мол, такая возможность. Они думали, может, у нас в медпункте врач свой, из советских, в некоторых лагерях и точно свои врачи. А у нас видишь как с этим. Марийка вон на той неделе руку ошпарила на кухне, так этот паразит даже мази никакой не дал. «Никс шлим», говорит, — и так, мол, заживет.

Людмила задумалась. У Штольницев есть знакомый врач, иногда приходит к профессору играть в шахматы; профессор говорил, что он лечит всю нацистскую верхушку Дрездена, берет огромные гонорары, а на эти деньги помогает семьям политзаключенных. Насчет гонораров можно было поверить — Людмила раза два заходила к доктору Фетшеру на Христианштрассе за какими-то рецептами для фрау Ильзе и не могла не обратить внимание на великолепное оборудование кабинета; но действительно ли он помогает антифашистам, или просто профессору захотелось представить ей своего приятеля в более выгодном свете? Хотя, казалось бы, чего

ради…

— Аня, — сказала она, — вы когда снова увидите этих хлопцев?

— Да как получится. Может, и завтра, а может, нет, там ведь куда погонят. Получится опять так, что будем работать рядом, значит и подойти можно будет. А чего?

— Аня, ты вот что сделай. Пусть они напишут список — самое необходимое, и сколько чего надо, понимаешь? Если среди них есть врач — ну или хотя бы фельдшер, — пусть названия медикаментов напишет по-латыни, как на рецептах, понимаешь? Иначе можно перепутать, я ведь не все лекарства знаю, как они называются по-немецки…

— Ты все-таки через немцев хочешь попробовать?

— Через кого же еще, других возможностей у меня нет. Вы на работу каким путем ходите?

— А вот на штрассу выйдем и прямиком топаем до самой Эльбы. Ну а на той стороне как трамвайные пути перейдем, так после вниз, под мост. После там сразу товарная станция и будет, по леву руку.

— И с работы возвращаетесь тем же путем? Тогда вот что, Аня, — завтра я не смогу, мне утром

надо вернуться к хозяйке, а дня через три постараюсь вырваться. Я вас буду ждать на перекрестке — ты какие трамвайные пути имеешь в виду, на Хамбургерштрассе?

— Да там других нема. Вот так трамвай, а нас поперек ведут — улица вроде Флигельвек называется, увидишь — вниз так идет, под горку, и под железнодорожный мост. Там еще на углу два дома, приметные такие — трехэтажные, с красного кирпича, а балконы деревянные, балочки такие вырезные…

— Хорошо, найду. По-моему, я знаю это место. Значит, встретимся там, и ты мне тогда передашь список, если уже успеете достать. Сегодня суббота? Да, давай в среду — это будет двадцать восьмого…

Из лагеря Людмила ушла в половине девятого и домой вернулась вовремя; профессор, услышав ее, выглянул из кабинета и объявил, что новости становятся все более интересными, поэтому ни в какой Шандау он завтра не едет — пусть она возвращается одна и скажет, что ему пришлось остаться здесь до понедельника.

— Посмотрим, как фрау Ильзе к этому отнесется, — зловеще сказала Людмила.

— А это уж как ей будет угодно, — отозвался

профессор, впадая в лихость. — Впрочем, ты можешь сказать, что меня вызвали на консультацию или еще куда-нибудь.

— Господин профессор! Вы толкаете меня на ложь?

— Вздор, какая там ложь. Немного хитрости, дочь моя, в данном случае вполне оправданной.

— Тогда договоримся: я навру фрау Ильзе насчет вас, а вы в среду скажете, чтобы я вечером съездила в Дрезден и что-нибудь вам привезла.

— Тебе в среду вечером надо быть здесь?

— Да, или в четверг. Но лучше в среду.

— Бога ради! Скажу, что забыл нужную книгу, и поезжай на здоровье. У тебя поклонник в этом лагере?

— Что вы, какие поклонники, я там вообще ни с кем не знакома в мужском секторе. Господин профессор, вы не знаете — доктор Фетшер сейчас в Дрездене?

— Надо полагать, если не забрали на фронт. Впрочем, Райнера не заберут, об этом уже наверняка позаботились высокопоставленные пациенты. А что тебе от него надо?

— Посоветоваться, у меня что-то… вроде фурункула.

— Фурункул! — воскликнул Штольниц. — Это

скверная штука, Людхен, очень скверная! Я помню, как меня донимали фурункулы в шестнадцатом году, в окопах… кажется, это так и называлось — «окопный фурункулез». Ты непременно покажись Райнеру, непременно. Я позвоню сегодня же, и утром можешь к нему сходить.

— Нет, утром я не пойду, я обещала фрау Ильзе вернуться утренним поездом, там много дела. А вот в среду или в четверг, если вы сможете договориться…

— Разумеется, я с ним договорюсь. Да, так вот — относительно Восточного фронта! Сейчас передавали статью одного английского корреспондента, который там побывал, под Курском. Фантастика, дочь моя, такого я даже не мог себе представить! То есть мы там так оскандалились с этим пресловутым летним наступлением, такой получился конфуз — просто неслыханно. Генерал-фельдмаршал Клюге на своем северном участке вообще ничего не смог сделать — целую неделю штурмовал русские позиции, положил не менее шести дивизий, но так и не сдвинулся с места. С юга на Курск наступали войска Манштейна — им удалось сперва потеснить русских километров на сорок, но потом выдохлись и они. К двенадцатому — а сражение, заметь, началось

пятого — всего неделя прошла! — к двенадцатому июля мы уже совершенно обессилели. И тогда ударили русские, одновременно на юг и на север, причем сразу перешли от обороны к наступлению — а это, дочь моя, совсем не просто сделать, о нет! Я сам когда-то воевал и хорошо себе представляю, что это значит — поднять в наступление войска, которые до этого целую неделю отбивали атаку за атакой… Знакомы тебе те места?

— Какие места?

— Между Орлом и Белгородом, неужели трудно сообразить!

— Между Орлом и Белгородом… — Людмила задумалась. — Я однажды там проезжала поездом из Москвы… Да, конечно, после Орла был Харьков.

— Какой там рельеф, не помнишь?

— Степь, но довольно холмистая. И еще… такие большие овраги. А лесов, кажется, нет…

Она замолчала, припоминая, потом вдруг опустила голову и закрыла лицо ладонями. Профессор посмотрел на нее удивленно:

— Людхен, ты что… — Он не договорил, встал и, пройдясь по комнате, остановился рядом и осторожно положил руку ей на голову. — Ну, ну, не надо, — сказал он ворчливо. — Прости меня,

старого осла. Успокойся, дочь моя, поплачь и успокойся. Теперь уже недолго… дотерпим как-нибудь…

Утром он проводил Людмилу на пригородный поезд и на вокзале услышал в сводке последних известий короткое сообщение из Рима: дуче Муссолини ушел в отставку по состоянию здоровья. Профессор пустился домой чуть ли не бегом и до обеда не отходил от приемника. Вести были самые противоречивые — Стокгольм сообщал об аресте диктатора, более осторожное швейцарское радио высказывало предположение, что он вынужден был подать в отставку из-за разногласий с Виктором-Эммануилом, Рим вообще не передавал ничего, кроме бельканто.

— Распелись, — заметил профессор, подмигнув бюсту Минервы на книжном шкафу.

Следовало бы, конечно, поработать, раз уж остался в городе, но Штольниц почувствовал вдруг полнейшее безразличие к проблеме влияния итальянских школ на Луку Кранаха Старшего. Интересно другое: если Италия заключит сепаратный мир, догадаются ли союзники высадить десант на северном побережье Адриатики? Оттуда ведь до австрийской Каринтии рукой подать! Но тогда уже и в Лигурии, чтобы встречным ма-

невром отсечь Пьемонт и Ломбардию…

Снова засунув рукопись в ящик письменного стола, профессор достал большой атлас и раскрыл на карте Апеннинского полуострова. Да, разумеется, лучшего варианта и быть не может — одновременно удары по двум направлениям: здесь на Южную Австрию, а там через Савойю на Верхний Рейн. Оккупационные войска во Франции вряд ли смогут оказать серьезное сопротивление, юг Австрии не укреплен — из района Удине можно ударить прямо на Клагенфурт…

Профессор уже прорвал фронт и вышел на оперативный простор, когда в прихожей звякнул колокольчик. Пришлось идти открывать. На лестничной площадке было темновато — она обычно освещалась сквозь большой разноцветный витраж, но год назад какой-то ретивый дурак из «Люфтшутцбунда» приказал испакостить его синей краской; профессор увидел только, что перед дверью стоит офицер с большим портфелем и в надетой набекрень фуражке — но не Эгон. Сын был коренастее, шире в плечах.

— Хайль’тлер! — рявкнул незнакомец, вскидывая правую руку.

— Да, да, — уныло согласился профессор, — хайль. Чему, простите, обязан…

— Профессор доктор Карл Иоахим фон Штольниц? — спросил офицер суровым голосом. — Год рождения восемьдесят третий, служили в Саксонском карабинерном, за Марну имеете «э-ка-один»?[4]

— Вы совершенно правы, — подтвердил профессор уже с опаской; по нынешним временам информированность посетителя ничего хорошего не предвещала.

— Господин фон Штольниц, у меня для вас прекрасная новость. Поздравляю! Приказом имперского уполномоченного по тотальной мобилизации вы подлежите немедленному призыву в действующую армию. Прыгать с парашютом приходилось?

— Но позвольте! — возопил профессор, не сразу обретя дар речи. — Тут явное недоразумение, меня давно…

— Никакого недоразумения! Фюреру нужны солдаты! На фронте полно калек! А вы вон каким молодцом, дядя Иоахим!

Офицер рассмеялся и сгреб профессора за плечи, вталкивая в прихожую.

— Эрих! — Тот наконец узнал гостя. — Ах, него-

---

[4] Notes: 4
«EK-I» *(сокр. нем.)* — Железный крест I класса.

дяй, чуть меня до инфаркта не довел. Откуда ты взялся? Как я тебе рад, мой мальчик, только шутки у тебя… Ну, с приездом! Сколько же это мы не виделись — два года?

— Скоро три, я заезжал к вам из Франции… — Дорнбергер повесил на вешалку пояс с кобурой, расстегнул китель. — Тетушка не обидится, если сниму? Убийственно жарко.

— Раздевайся, здесь никого нет — они в Шандау, это вот я только вырвался на денек. Почему ты не написал? Мог и не застать.

— Да так… потом объясню. Письмо из лазарета вы получили?

— Разумеется, и сразу ответили.

— Да? Значит, пропало… — Он вошел в кабинет следом за профессором, улыбнулся, увидев раскрытый атлас. — Новости вы, я вижу, уже слышали.

— Новости просто великолепные, Эрих, через каких-нибудь две недели союзные войска могут быть у южных границ Австрии…

— Вы все такой же оптимист, дядя Иоахим.

— Да, но если Италия выйдет из войны…

— То мы ее тут же оккупируем, всю от Альто-Адидже до Калабрии, и сделаем это очень быстро. Чтобы захватить «свободную зону» Франции, нам

не понадобилось и суток. Так что ждать союзные войска у наших границ пока преждевременно. Что с Эгоном?

— Он, к сожалению, в Сицилии. Была надежда, что его тоже взяли в плен в Тунисе, но… — Профессор помолчал, побарабанил пальцами. — Кстати, я с ним больше не переписываюсь. Ильзе пишет. А мне ему сказать нечего. Мне нечего сказать своему сыну, понимаешь! Непостижимо — почему, за какие мои грехи у нас в семье вырос человек с интеллектом унтер-офицера сверхсрочной службы? Я не могу этого понять, Эрих, ведь ему было уже четырнадцать лет, когда эти питекантропы пришли к власти, — и он сразу принял все, принял безоговорочно, он уже в старших классах гимназии стал убежденным наци. Он ведь и в армию пошел нарочно, чтобы поломать «гнилую семейную традицию», как он это называл. Да-да, окончил гимназию и пошел в юнкерское училище! Ландскнехт — после четырех поколений гуманитариев… Я ведь тебе тогда о многом не рассказывал, было стыдно. Этой весной он… приезжал в отпуск. На двенадцать дней. Страшно признаться, но я испытал почти облегчение, когда он уехал…

— Не исключено, что здесь все гораздо слож-

нее, — после паузы сказал Эрих. — Думаю, он и сам уже все понял, только не хочет признать, что был не прав. Самолюбие мешает, или бывает своего рода самозащита, когда в чем-то боишься признаться даже самому себе. Как тетушка Ильзе себя чувствует?

— Неплохо для своего возраста. Теперь ей полегче: у нас живет одна девушка из «восточных работниц», с Украины.

Дорнбергер поднял брови:

— Говоря откровенно, дядя Иоахим, роль рабовладельца вам не очень-то к лицу.

— Не неси вздора. Для нас она — член семьи, хотя и помогает Ильзе по хозяйству… Ты со мной пообедаешь?

— Спасибо, не откажусь.

— Вот и прекрасно, я как раз собирался. Кстати, мы так и не поняли из письма — каким образом тебе удалось оттуда выбраться?

— О, это настоящий детектив. Дело в том, что меня снова пытались запихнуть в науку, от чего я не без труда отбрыкался. Благо к строевой службе я уже, как видите, не годен.

— Да, ты ведь хромаешь, я заметил.

— И еще как! Особенно перед врачами. С этим роскошным увечьем, дядя Иоахим, мне до конца

войны обеспечено уютное теплое местечко штабной крысы.

— И при каком же ты теперь штабе, если не секрет?

— О! Я теперь в верхах. При главном командовании сухопутных войск — ни больше ни меньше. Штаб армии резерва, если уж разглашать военные тайны до конца.

— М-да… Не знаю, не знаю. Честно говоря, мне не совсем понятно, что такого ужасного может быть в работе физика. Чтобы предпочесть армию? — Он пожал плечами. — Все-таки наука…

— Благодарите Господа Бога, что он сохранил у вас столь идиллические представления о науке. Имя Фрица Габера вам не знакомо? Был такой ученый муж, химик, в тринадцатом году открыл способ получения азота из воздуха, а затем вооружил нас газами… Сперва хлором, а позже и другими, куда более изысканными составами. Я иногда думаю, сколько убитых из общего числа потерянных Германией в ту войну можно записать на личный счет господина доктора Габера. Мой отец, в частности, мог бы жить и сегодня — если бы не искусственная селитра, позволившая кайзеру начать войну… Вот так-то. А теперь я, с вашего позволения, проследую в ванную.

За столом засиделись долго — пока не прикончили привезенную гостем бутылку «йоханнисбергера». Профессор все расспрашивал о настроениях в берлинских штабных сферах, но Эрих на эту тему не распространялся. Не поддержал он и разговора о положении на фронтах, сказав лишь, что положение скверное всюду, а на Востоке особенно.

— Ты здесь по службе или специально заехал навестить? — спросил Штольниц.

— Командировка в штаб округа, завтра еду обратно.

— Переночуешь, разумеется, у нас?

— Ну зачем же. Я превосходно устроился в «Ганза-Отеле», рядом с вокзалом. Есть, видите ли, одно обстоятельство… Я даже колебался, стоит ли вообще сюда заходить. Дело в том, что… ну, среди моих новых сослуживцев много людей, настроенных довольно критически. В армии же, вы сами понимаете, это не поощряется. Поэтому меня не удивит, если в один прекрасный день выяснится, что я и сам числюсь в неблагонадежных… Все-таки постоянное общение — кто там будет разбираться, случайно я оказался в компании этих господ или пришел к ним как единомышленник…

— Что за вздор, помилуй, — удивленно сказал профессор. — Ты хочешь сказать, что это может затронуть и меня?

— А почему бы и нет.

— Но с какой стати? Предположим, ты действительно оказался в чем-то замешан, но при чем здесь я? Если бы ты завязал знакомство со мной, уже будучи… гм… «неблагонадежным», как ты это называешь… это могло бы дать повод к подозрениям, согласен. Но я-то ведь тебя знаю с детства!

— Все так, но лишняя осторожность… Не знаю, впрочем, может быть, вы и правы; во всяком случае, счел долгом предупредить.

— А, вздор. — Профессор посмотрел на часы. — Ты не хочешь послушать Лондон?

— Не имею ни малейшего желания. Мало мне наших радиопроституток — еще слушать заморских. Что нового они скажут?

— Да хотя бы — что в действительности произошло в Риме.

— По-моему, и так совершенно ясно, что там произошло. Детали несущественны, а что касается общей обстановки, то мы о ней осведомлены довольно точно.

— Ну, у меня ведь нет доступа к вашим источникам информации. Да и потом, надо же время

от времени отдохнуть душой…

— Это что, уж не британское ли радио ниспосылает отдохновение вашей душе?

— Да, после всей этой лжи услышать наконец что-то правдивое…

— Правдивость, положим, относительная. Они говорят правду, когда это им выгодно, а в других случаях врут не хуже нашего Колченогого… разве что не так грубо. Прошлым летом, когда Роммель пёр на Александрию, лондонские обозреватели тоже не очень-то правдиво освещали обстановку в Ливии.

— Ну, во время войны, согласись, не всякую информацию можно делать всеобщим достоянием.

— Вот и Геббельс так считает. В чем же тогда разница между этими и теми? Да нет, дядя Иоахим, для меня все-таки враг есть враг.

— Извини, я и впрямь перестаю тебя понимать, — сказал Штольниц. — Чего доброго, ты скоро заговоришь, как мой Эгон. Неужели армия так влияет?

— Нет, я не заговорю, как Эгон. — Дорнбергер покачал головой. — Эгон, вы сказали, одобряет режим; я его не одобряю. Но армия, если угодно, действительно повлияла на меня в одном смысле: я видел, как рядом со мной умирали мои

товарищи — не нацисты, нет, а обычные немцы, как мы с вами, — и я теперь не могу, например, назвать «великолепными новостями» известие о нашем очередном поражении…

— Погоди, погоди, — прервал Штольниц. — Это, милый мой, становится серьезнее, чем я думал. Давай уж выясним вопрос до конца! Прежде всего хочу тебе напомнить, что «великолепной» я назвал новость о падении Муссолини — то есть о поражении не военном, а политическом. Когда разразилась сталинградская катастрофа — я, поверь, не злорадствовал; да, я считал и продолжаю считать, что в конечном счете это к лучшему, ибо приближает конец нацизма, но радости не испытывал. Потому что я, представь себе, тоже немец и тоже был солдатом. Но, Эрих, будем рассуждать логично: чего, собственно, ты желаешь сегодня для Германии — победы или поражения? Сам я решительно желаю поражения, потому что победа Германии в этой войне означала бы поистине «закат Европы» — да такой окончательный и беспросветный, что не мог бы присниться никакому Шпенглеру! Наш фюрер — это тебе не «старый добрый кайзер», который в случае своей победы ограничился бы колониями да контрибуциями…

— Разницу между Гитлером и Вильгельмом я

и сам вижу и полностью разделяю ваше представление о том, чем была бы для Европы победа Гитлера. Но вот представления о том, чем будет для Германии победа наших противников, у вас нет. Поэтому вы так легко и объявляете себя решительным сторонником поражения. А поражение между тем вообще покончит с Германией как с единым самостоятельным государством: нас просто разорвут на куски. Этого, как вы понимаете, я своей стране желать не могу.

— Но позволь! Что же для тебя в конечном счете важнее — тысячелетнее наследие всей нашей — общеевропейской! — христианской культуры или… или эта насквозь прогнившая германская государственность, которая уже семьдесят лет — со времен Бисмарка — делает все возможное, чтобы мы, немцы, были пугалом и посмешищем для всего мира? Что мы дали человечеству за это время — мы, подданные «второй» и «третьей империй»? Весь наш вклад в мировую культуру был сделан раньше, а потом? Крупповские пушки? Лучшая в мире химия? Иприт, аматол, а между делом — невыцветающие красители? Ты болван, Эрих, если можешь беспокоиться о судьбах нашего «единого самостоятельного государства» — сегодня, когда мы докатились до самого

чудовищного духовного обнищания, до какого не докатывалась ни одна нация! Ты, может быть, этого и не замечаешь, для тебя искусство всегда было terra incognita, — но поинтересуйся хотя бы! В немцах погашен дух творчества, мы разучились писать книги, сочинять музыку, даже строить дома — да-да, и строить! Выйдешь отсюда — не поленись, зайди в Цвингер, это отсюда пять минут — вон, посмотри, Коронные ворота видны из того окна. Зайди во двор и постой посередке, между фонтанами, постой и не спеша, внимательно оглядись вокруг — увидишь, что мы умели создавать двести лет назад, а ведь Пёппельман даже не был звездой первой величины, никто никогда и не считал его этаким немецким Бернини, — просто талантливый архитектор с хорошим вкусом, его ученики и последователи были ничуть не хуже — Кнёффель, скажем, или Шварце, который достроил колокольню Хофкирхе, — так вот, говорю я, посмотри повнимательнее, черт тебя побери, и сравни его работу с нынешним мегалитическим убожеством, что громоздят все эти тросты, крейсы и шпееры! Я тебе сейчас покажу мартовский номер «Баукунст» — он у меня в кабинете, я нарочно сохранил! — сейчас увидишь, они не постеснялись опубликовать проекты этих

монструозных — не знаю даже, как назвать, — пирамид, братских могил высотою в полтораста метров, мавзолеев — словом, усыпальниц «павших героев» — это нечто… невообразимое, Эрих, дурно становится от одной мысли, что все это и впрямь могло быть сооружено…

— Нет, это немыслимо, — сказал Дорнбергер, вскакивая из-за стола. — Да что мы, проклятье, на разных языках, что ли, разговариваем?! Что мне до архитектуры, если перед нами стоит вопрос — быть или не быть Германии! Вы меня спросили, чего я желаю — победы или поражения; так вот: я одинаково боюсь как того, так и другого, потому что наша победа была бы торжеством нацизма, а поражение станет нашей национальной гибелью…

— Очень логично! В высшей степени! У тебя есть третий вариант?

— Да, есть: покончить с нацизмом раньше, чем это сделают армии противника! Вам хорошо рассуждать о желательности поражения, сидя здесь и любуясь видом на Цвингер, а я был в России, и я теперь знаю одно — да смилуется над нами Бог, когда русские окажутся на немецкой земле. Они, господин профессор, сначала сровняют с землей все эти ваши шедевры архитектуры, а

потом начнут истреблять нас, как собак, и будут правы! Я под Сталинградом видел вымерший лагерь русских военнопленных, — только один, на Украине их сотни! — мерзлые трупы были сложены, как дрова, в поленницы выше человеческого роста! Вы думаете, это нам простят? Да они просто не имеют права простить такое, если есть на свете справедливость! Нас уже после той войны считали варварами и гуннами — за применение газов, за репрессии против гражданского населения в Бельгии, я уж не знаю, за что еще; кажется, сожгли какую-то библиотеку и разрушили какой-то собор. А кем нас считают теперь? Если ваши хваленые англичане уже рассчитываются с нами за Ковентри своими террористическими налетами, за один раз убивая больше детей и женщин, чем погибло от наших бомб во всей Англии, — попытайтесь представить себе, какова будет окончательная расплата!

Выкрикнув последние слова, он быстро отошел к окну и остановился спиной к комнате, держа руки в карманах бриджей. Профессор сидел опустив голову, катал по скатерти хлебный шарик.

— О, у меня нет иллюзий на этот счет, — сказал он наконец, — платить придется не только нам, но и нашим внукам. Ты сам признал, что это спра-

ведливо. И дело даже не в возмездии… Я как-то никогда не мог ассоциировать идею возмездия с идеей справедливости, хотя формально они ассоциируются. Предпочитаю говорить о справедливости и искуплении — вот эти два понятия действительно близки. По-настоящему близки! А без искупления нам уже не обойтись. Если отдельному человеку сплошь и рядом приходится искупать свою вину… иной раз даже невольную… то можно ли допустить возможность того, что неискупленной окажется такая страшная — и отнюдь не «невольная»! — вина целой нации…

— Не знаю, — отозвался Эрих. — Вас заносит в метафизику — всеобщая вина, искупление… А я просто физик, безо всяких «мета», и этим все сказано. Пусть в глазах остального мира виноваты мы, все немцы без исключения, но среди нас есть ведь главные виновники — мы-то знаем их поименно! — и вот с ними народ должен рассчитаться сам, не перекладывая этой задачи ни на русских, ни на англичан. А теперь поставим точку на этом разговоре и будем считать, что он носил чисто теоретический характер… — Эрих вернулся к столу, разлил остатки вина. — Прозит! Жаль, что не могу навестить тетушку Ильзе, но вы передайте ей поклон и скажите, что в следую-

щий раз непременно увидимся.

— Благодарю. Приезжай, она будет рада, а заодно познакомишься с Люси.

— С кем познакомлюсь?

— Ну я же тебе говорил — наша домашняя помощница.

— А-а.

— Ее мать, кстати, твоя коллега.

— Скажите на милость. Мировое поголовье физиков, я вижу, растет в угрожающей прогрессии. И что же, фрау доктор теперь тоже в Германии? Прачкой, прислугой?

— Нет, они расстались в самом начале войны. Мать эвакуировалась по срочному приказу, самолетом, а семьи должны были ехать поездом, но не успели. Я не знаю подробностей — Люси не любит говорить на эту тему.

— Мать эвакуировалась самолетом? — переспросил Эрих, забыв опустить на стол пустой бокал. — Любопытно… Девушка, говорите, с Украины — а точнее? Не из Харькова?

— Харьков… Нет, она называла другой город… гм… забыл. И даже показывала на карте — Харьков восточнее Днепра, если не ошибаюсь, а этот здесь, по эту сторону. А в чем дело?

— Нет, ничего! — не сразу, словно спохватив-

шись, отозвался Эрих. — Просто она должна была заниматься чем-то чертовски важным, если ее эвакуировали по воздуху. Да еще, говорите, в самом начале войны? Любопытно. Я охотно познакомлюсь с вашей помощницей — в следующий приезд.

— Тебе много приходится ездить?

— Да, почти все время…

Глава 6

Профессор вернулся в Бад-Шандау лишь во вторник, а на следующее утро объявил, что должен опять ехать в город: забыл нужную для работы книгу. Супруги препирались до самого обеда, пока наконец фрау Ильзе не сказала, что если так уж необходим этот Буркхардт, то пусть его привезет Люси.

— Пусть привезет, — согласился профессор и украдкой подмигнул Людмиле. — Поезжай тогда сегодня же, пятичасовым. И если второго тома на месте не окажется, то ты тогда позвонишь господину Хрдличке — его телефон найдешь в старой книжке — и спросишь, не у него ли он. Помнится, я ему однажды одалживал, именно второй том. В таком случае ты сходишь к нему.

Это на Бюргервизе, по соседству с тем домом, где живет фрейлейн Палукка — ты однажды относила ей записочку, помнишь?

— Да, я помню, где это. Но, господин профессор, если мне придется звонить, а потом еще идти за книгой туда, я могу не успеть на утренний поезд.

— Не важно! Приедешь, когда сможешь, но без Буркхардта не возвращайся, — строго сказал профессор.

— Ах, как это все некстати, — опять принялась за свое фрау Ильзе, — каким ты стал рассеянным, Ахим, у меня завтра, как нарочно, столько дел, а девочке теперь приходится уезжать на целые сутки…

— Пожалуйста! Ты предпочитаешь, чтобы ехал я?

— Нет, нет, мы ведь уже решили…

— Будем надеяться, что второй том на месте, — примирительно сказала Людмила, — во всяком случае, я постараюсь вернуться как можно раньше.

Пригородный поезд опоздал почти на полчаса, и Людмила едва успела вовремя добраться до перекрестка Флюгельвег и Хамбургерштрассе, где должна была встретить рабочую команду из «Миктена». Увидев приближающуюся со стороны

товарной станции нестройную колонну, во главе которой ковылял, занося ногу, знакомый инвалид в ярко-зеленом полицейском мундире, она подошла к краю тротуара, высматривая в рядах Аню Левчук. Та тоже увидела Людмилу, помахала рукой и выбралась из шеренги. Случайно оглянувшийся в этот момент полицейский крикнул ей что-то, жестом приказывая вернуться в строй.

— Да ладно тебе, разорался! — бросила через плечо Аня. — Черт старый, только и смотрит, к кому причепиться… Ком гляйхь, айн момент! Здорово, Люсь, вот хорошо, что пришла, — она сунула Людмиле в руку плотно сложенный бумажный квадратик, — я уж с понедельника таскаю с собой, боялась — потеряется. В общем, хлопцы тут записали все, чего им надо, а ты уж сама посмотришь, как там. Всего-то, наверное, не достать, ну тогда хоть часть. А после как — в лагерь придешь?

— У меня нет пропуска, — сказала Людмила, только сейчас вспомнив об этом упущении. — Если я что-нибудь достану уже сегодня, утром подойду сюда. Когда вы здесь проходите?

— Около семи, наверное. Побудка у нас в полшестого, пока кафе попьем, то-другое, ну и идти тут с полчаса… Ну да, точно — на станции там

часы висят, так мы по тем часам ровно в семь начинаем вкалывать. Ладно, жди тогда завтра тут, я с краю буду идти. Ну, пока!

Аня побежала догонять своих, громыхая деревянными подошвами. Подошел трамвай в сторону центра; Людмила поднялась на площадку, пытаясь сообразить — куда идет этот девятнадцатый маршрут. Потом вспомнила: в Штризен, ну конечно, через Фюрстенплац… Сойдя у Главного почтамта — следующая остановка была Альтмаркт, туда нельзя (уже скоро полгода, как ей приснился тот сон, а все равно нельзя), — она из первого же автомата позвонила доктору Фетшеру.

Тот сам взял трубку — сестра-секретарша, которая обычно отвечала на звонки, вероятно, уже ушла. Фетшер сказал, что в курсе дела, Ахим ему говорил, и может принять ее в любой день — хоть сегодня, если она может.

— Спасибо, господин доктор, — обрадованно ответила Людмила, — через полчаса я буду у вас…

Заходить на Остра-аллее уже не было смысла, она достала из кармана бумажный квадратик и развернула его под синей лампочкой, слабо освещавшей телефонную кабину. Список, нацарапанный неочиненным карандашом на об-

рывке желтой упаковочной бумаги, был невелик — всего семь наименований. По-латыни, как она и просила. Людмила подумала вдруг, что никогда еще не было для нее ничего более важного, чем вот это: сумеет она или не сумеет достать немного лекарств для пленных. Впервые за всю жизнь — а ведь в январе ей уже исполнилось двадцать! — получила она наконец возможность сделать что-то настоящее, оказаться кому-то нужной, умеющей принести пользу. И то лишь благодаря случайности: не приди она тогда в лагерь, не случись рядом Ани Левчук…

— А! — воскликнул доктор Фетшер, приветствуя ее с экспансивностью южанина. — Молодая дама с фурункулом! Какое несчастье! Но ничего, главное — не терять надежды на благополучный исход. Между нами говоря, от фурункулов еще никто не умирал. Весьма неприятная штука, согласен, — особенно если мешает сидеть! — но излечимая…

— Господин доктор… — попыталась объяснить Людмила.

— Не спорь, не спорь. Мы с этим справимся в два счета! Скорее всего, тут дело в нехватке витаминов — да-да, летом, как ни странно, но я говорю о нехватке более глубокой, более постоянной

— война, что ты хочешь!

— Да нет же, господин доктор, у меня нет никаких фурункулов.

— Как это — нет фурункулов? — Вопрос опешившего доктора прозвучал почти разочарованно. — А что же тогда у тебя?

— Вообще ничего, я пришла совсем по другому делу…

— Ах так! Но Ахим — он, значит, не в курсе?

— Пока — нет. До разговора с вами я не стала ему ничего говорить, потом вы сами скажете, стоит ли.

— Людхен, я уже заинтригован! Хорошо, сейчас все объяснишь толком. Проходи, проходи… Устраивайся вот здесь и чувствуй себя как дома. Ты ведь не сегодня возвращаешься в Шандау?

— Нет, вероятно, завтра.

— Отлично, тогда у нас есть время посидеть. И даже выпить чаю! Ты, надеюсь, не откажешься от чашки чая, особенно если это настоящий английский «липтон». Итак, что же привело тебя ко мне?

— Господин доктор… — У Людмилы вдруг перехватило дыхание. — Понимаете… меня попросили достать некоторые лекарства. Для одного лагеря. Ну а вы — единственный врач,

кого я здесь знаю, и поэтому… я позволила себе…

Она умолкла, увидев вдруг всю опасную нелепость этой затеи — явиться с подобной просьбой к совершенно незнакомому человеку. В самом деле, что она знает про Фетшера? Да, с профессором они приятели, кое о чем это говорит, и профессор обмолвился однажды, что Райнер кому-то помогает (или помогал). Но достаточно ли этого, чтобы… Хорошо еще, если он просто выставит ее за дверь!

— Так вот, стало быть, что тебе понадобилось. — Доктор снял очки, легонько похлопал ими по подлокотнику кресла, снова надел. — Какие именно лекарства, для какого лагеря?

— Ну, это… один рабочий лагерь, кажется. Я точно не знаю. А список у меня здесь. — Людмила достала бумажку из кармана жакета, положила на полированную поверхность журнального столика и быстро спрятала руки — чтобы не видно было, как они дрожат.

Фетшер долго изучал список, поджав тонкие губы.

— Да, все это можно достать, — сказал он наконец. — Кроме, конечно, перманганата калия. Видно, что человек, который это писал, совершенно не в курсе. Ни в одной аптеке Германии тебе

сейчас не отпустят ни грамма перманганата — он нужен военной промышленности. Так же, кстати, как и перекись водорода; простая, казалось бы, штука, но попробуй найди. Однако, Людхен, это медикаменты не для рабочего лагеря. Ты уверена, что речь идет не о шталаге?

— Почему вы думаете? — испуганно спросила Людмила.

— Видишь ли, люди эти явно лишены какой бы то ни было медицинской помощи… если им требуются такие простые лекарства. В рабочих лагерях положение все-таки несколько иное — уж что-что, а йодоформ там имеется.

— Я не знаю, господин доктор… — Людмила помолчала. — Но это имеет для вас значение — какой лагерь?

— Это имеет очень большое значение. И для меня, и для тебя — коль скоро ты взяла на себя роль посредницы. Если ты передашь немного сульфидина своей знакомой из рабочего лагеря, тебе никто ничего не скажет, по если тебя поймают при попытке переправить тот же самый сульфидин в лагерь военнопленных — будет очень плохо. И тебе, и тому, от кого ты его получила.

— Если я скажу от кого.

— Ах, Людхен, Людхен, какой ты еще ребенок.

Если они захотят узнать — ты скажешь все. Впрочем, даже в этом худшем из вариантов я все-таки смогу выкрутиться. Во-первых, я мог и не знать истинного назначения медикаментов — ты ведь мне сказала, что это для рабочего лагеря? — прекрасно, я тебе поверил. А во-вторых, мои пациенты позаботятся о том, чтобы я мог продолжать их пользовать. Понимаешь? Но вот о тебе не позаботится никто. Ни Штольниц, который не смог бы при всем желании, ни я. Хотя я смог бы. Смог бы, но не сделаю этого. Потому что, Людхен, попытаться помочь тебе в этом случае означало бы лишиться возможности помогать многим другим. Я имею в виду не тех пациентов, кого принимаю здесь. Понимаешь? Тут, к сожалению, простая арифметика — и она не в твою пользу.

— Я понимаю вас очень хорошо, господин доктор. Но… почему вы считаете, что это так опасно? Им уже передавали — хлеб, например…

— Хлеб! Это совершенно другое дело. Сунуть пленному кусок хлеба можно ведь просто из жалости, повинуясь внезапному чувству сострадания. Любой охранник посмотрит на это сквозь пальцы, если только он не какой-нибудь совершенно уж озверевший фанатик. А передача лекарств предполагает наличие некоей органи-

зации, сговора; вот этого власти боятся больше всего, и вот почему они так строго за этим следят. Поэтому взвесь все очень тщательно, Людхен. Я хочу, чтобы ты полностью представляла себе, насколько опасно то, что намерена сделать.

— Я понимаю, — медленно повторила Людмила. — Но ведь все равно надо…

Надо, потому что никто другой этого не сделает. Ей подумалось вдруг, что она и сама не сумеет сейчас ответить на вопрос: найдись вдруг этот «другой», освободи ее от необходимости рисковать — испытала бы она облегчение, радость? С одной стороны — да, конечно, кому же охота подвергать себя такой опасности, а риск, вероятно, и в самом деле нешуточный, доктор прав, она еще полчаса назад не представляла себе, насколько это опасно. И в то же время то, что она впервые ощутила там, в телефонной кабине, прочитав список, — это сознание своей полезности, способности кому-то помочь, — неужели от этого можно отказаться вот так, самой, добровольно…

— И потом, — сказала она, пытаясь улыбнуться, — к чему предполагать обязательно худшее? До сих пор никто еще ни разу не заметил, что они что-то передают.

— Будем надеяться! — Фетшер развел рука-

ми. — Когда ты хочешь забрать медикаменты?

— Может быть, кое-что вы могли бы дать мне уже сегодня?

— Я могу дать тебе все — кроме, как уже сказал, перманганата. Но не много, большого запаса я у себя не держу. Скажем, по пять упаковок — для начала. Если сойдет благополучно, позже мы сможем повторить операцию, а пока ограничимся этим. Сейчас принесу, можешь пока полистать свежий «Сигнал» — там репортаж из-под Орла… Кстати! Послушай только, что они теперь пишут. — Вернувшись уже от дверей, он взял журнал и раскрыл его, отыскивая нужное место. — Вот, пожалуйста: «…таким образом, лишь теперь… мы можем во всем объеме оценить стратегический замысел этой операции. Между Орлом и Белгородом развернулась величайшая в истории войн битва на истощение, в ходе которой гибнут последние людские и технические ресурсы Красной армии. Неслыханные потери противника, теряющего по 300–350 танков за сутки боев, не смогут быть восполнены никакой „помощью“ из-за океана, особенно если учесть катастрофическое состояние советской военной промышленности, дезорганизованной вынужденным перемещением за Урал, безуспешно

пытающейся возместить рабским трудом женщин и малолетних детей острейшую нехватку квалифицированных кадров…» — ну и так далее в том же духе. Идиоты! Можно подумать, у нас нет нехватки кадров. Но ты улавливаешь, как они теперь все это повернули? Месяц назад Фриче пророчествовал, что русская оборона рухнет как карточный домик. А теперь, когда этого не случилось, оказывается, что дело вовсе не в том, продвинулись мы или не продвинулись, а в потерях противника… На, почитай, я сейчас принесу.

Людмила полистала журнал — снимки были невыразительны, не давали, в общем, никакого представления о характере и масштабах битвы. Несколько сфотографированных с воздуха горящих танков — не понять, наших или немецких; проселочная дорога в истоптанных хлебах, телеграфные вкривь и вкось столбы с висящими проводами, дымы по горизонту, бредет кучка навьюченных снаряжением пехотинцев; залп каких-то «небельверферов» — Людмила и вовсе не поняла, что это за штука: вроде таких ребристых бочонков на колесах. Да, год назад фотокорреспонденты «Сигнала» умели находить более впечатляющие сюжеты. Выдыхается, видно, и министерство пропаганды.

…Действительно ли это так опасно, или Фетшер решил ее припугнуть? Девчонок надо предупредить на всякий случай. Да, но если кто-то из них попадется… Доктор прав, ему-то, с его связями, спокойнее, а вот Штольницы? Имеет она право подвергать опасности ничего не подозревающих стариков? Вроде бы — нет. А оставить без помощи наших ребят в лагере?

Вернулся Фетшер, бросил ей на колени коричневый бумажный мешок с рекламой универмага «ДЕФАКА».

— Держи свое добро! Дома разложишь все это на пять порций — так, чтобы в каждом пакете было по одной упаковке каждого лекарства. Уяснила? Берешь один сульфидин, один гардан, один пронтозил — словом, по списку. Так будет удобнее передавать, да и надежнее. Йодоформ — увидишь — в стеклянных трубочках, они тонкие и легко бьются, поэтому упакуй тщательнее и каждый пакет плотно обвяжи шпагатом. Такие штуки иногда приходится перебрасывать через высокую ограду. Есть у тебя куда положить?

— Да, в сумку. — Людмила поднялась. — Огромное вам спасибо, господин доктор, я пойду тогда.

— Сиди, я обещал угостить тебя чаем. Настоящим английским! В России ведь, кажется, тоже

предпочитают чай? Сиди, сейчас подадут. А мы вот не можем без кофе, как и немцы.

— Как и немцы? — Людмила посмотрела на него непонимающе.

— Я имею в виду нас, австрияков, — пояснил Фетшер. — Разница, скажем прямо, не столь уж велика, но все же.

— А я и не знала, господин доктор, что вы австриец.

— Венец, уважаемая, коренной венец. Но в Дрездене торчу уже давно, еще в двадцать пятом году получил здесь доцентуру — в Высшей технической школе, по кафедре социальной гигиены. После тридцать третьего подумывал было удрать обратно в Вену… но вовремя сообразил, что рано или поздно они ведь и туда доберутся. Не мог же этот пакостник оставить свою любимую родину за пределами «тысячелетнего рейха».

— В самом деле, он ведь тоже…

— Увы!

Дверь бесшумно приоткрылась, пропустив в кабинет горничную в белом передничке, с подносом в руках.

— Поставьте сюда, Ирма, и на сегодня вы свободны, — сказал Фетшер. — Вы, помнится, говорили, что у вас собрание?

— Да, господин доктор, это по линии «Веры и красоты».

— Даже так! Тогда бегите, а то опоздаете.

Ирма сделала книксен и исчезла так же неслышно.

— Активистка, — подмигнул Фетшер, указывая большим пальцем на закрывшуюся за горничной дверь. — За фюрера готова в огонь и воду… причем, заметь, совершенно бескорыстно, лично ей «новый порядок» не дал решительно ничего. Если не считать траурных извещений о двух братьях. О, Германия! Разлей чай, Людхен, это полагается делать даме. Нет, мне без сахара, а себе клади, и побольше. В твоем возрасте это еще полезно. Бери также печенье, не заставляй себя упрашивать.

— Да-да, спасибо… Я хотела спросить — вы сказали, что хотели уехать в Австрию, но поняли, что все равно будет аншлюс, так что не имеет смысла. Но в другую страну?

— Помилуй, чего это ради я бы поехал в другую страну. Вообще эмигрировать, что ли? Ну, это полнейший вздор.

— Однако многие эмигрировали тогда из Германии. И из Австрии тоже — потом. Цвейг, Фейхтвангер…

— Евреи тот и другой, это во-первых. Идиоты

они были бы, если бы остались. Евреям ничего другого и не оставалось, как эмигрировать. Во-вторых, ты говоришь о литераторах, то есть о людях, которые занимались политикой; я же политикой не занимаюсь и не интересуюсь, мое дело лечить людей. При любой политической системе, при любом строе люди болеют одними и теми же болезнями, и при любом правительстве их от этих болезней надо лечить. Согласна?

— Да, но… Можно сказать и так: люди болеют также в любой стране, — Людмила говорила медленно, подбирая слова, — и их можно и надо лечить в Германии, во Франции…

— Стоп, стоп! Во Франции, кстати говоря, мне бы никого лечить не позволили — врачи-иностранцы, с иностранным дипломом, я хочу сказать, права практиковать там не имеют. Но даже если бы позволили. В принципе, можно добиться: пройти так называемую «нострификацию» — чертовски трудно, но в принципе возможно. А зачем? Почему я должен ехать лечить больных французов и оставить без лечения больных немцев? В этом нет логики, согласись.

— Логика есть. Я думаю, это вопрос — как это? — согласия с режимом, наверное.

— Ну, милая моя! Воображаю, что было бы,

если бы из Германии уехали все несогласные с режимом. Да начать хотя бы с того, что вот сегодня никто не помог бы тебе достать немного лекарств для твоих соотечественников. К кому бы ты с этим обратилась, а? И если бы в свое время эмигрировал Штольниц — а ведь как они его уговаривали, и Кокошка, и Грундиг! — если бы Штольниц уехал, то ты сейчас работала бы в доме какого-нибудь «партайгеноссе», а это, знаешь ли, было бы совсем не то, что обметать Иоахимовы фолианты изящной метелочкой из перьев да помогать фрау Ильзе консервировать шпинат… Так что возблагодари судьбу, что еще остался в этой стране кто-то из несогласных. Как чай?

— Очень хороший, спасибо. Я такой пила только до войны.

— Да, из трофейных фондов, вероятно. Или получен через Швейцарию — черт их знает, у этой публики совершенно фантастические каналы снабжения… Что это ты все посматриваешь на часы?

— Уже довольно поздно, господин доктор, а завтра мне надо встать очень рано…

— Катись в таком случае, что же делать. Я сейчас тоже еду домой. Подвезти тебя?

— Спасибо, но лучше не надо.

— Да, наверное. Ну что ж! Будьте очень осторожны с передачей медикаментов и постарайтесь, чтобы в любом случае я остался в стороне.

— Я все объясню, господин доктор, они поймут.

— Иначе, сама понимаешь, просто некому будет вам помогать — в будущем, если на сей раз все сойдет благополучно…

Возвращаясь домой, Людмила не рискнула воспользоваться трамваем — шла пешком, выбирая улочки поглуше. В такой поздний час — без «восточного знака», без документов, с запасом лекарств в сумке — ей не хватает только нарваться на какую-нибудь проверку… Вечер был душный, безветренный, небо с южной стороны часто озарялось зарницами, и отдаленно погромыхивало — в горах, наверное, собиралась гроза. Будь это другой уголок Германии, подумала Людмила, всякий решил бы, что там бомбят. Так же выглядели издали ночные бомбежки в августе сорок первого года, когда она с подругами была на окопах под Куприяновкой…

Она миновала длинную громаду рынка Маркт-халле, вышла на призрачно освещенную синими фонарями Постплац. Если бы там — тогда, два года назад, — кто-нибудь сказал ей, как сложится ее судьба в ближайшие месяцы, куда ее занесет

из родных мест… Никакая самая необузданная фантазия не могла бы такого придумать, а теперь это подлинная реальность, и лишь изредка — вот как сейчас — пронзит вдруг странное ощущение, почти уверенность, что все это снится, все это не на самом деле…

Утром ее разбудил шум дождя. Было уже почти девять: будильник, поставленный на шесть, то ли не прозвонил, то ли давно вызвонился до конца. Она вскочила, кинулась одеваться — но что толку теперь спешить? — и остановилась у открытого окна, в отчаянии прикусив кулак. За окном ветер трепал мокрую листву платанов, веял в лицо свежей дождевой влагой, в Герцогин-гартене звонко гомонили дрозды — радовались долгожданной прохладе. Что же теперь делать — идти на сортировочную станцию и самой попытаться разыскать, где работают миктенцы? Но ведь станция наверняка охраняется, там и ограда какая-то должна быть, проволока колючая или забор… Или дождаться конца рабочего дня? А вдруг их завтра пошлют на другую работу и они уже не смогут передать пленным эти пакеты, вдруг именно сегодня последний день, когда еще можно это сделать…

Торопливо одеваясь, Людмила уже прикиды-

вала в уме, что сказать, если вдруг остановят. Например, что договорилась с каким-то железнодорожником — ну хотя бы об обмене, сейчас ведь вся Германия что-то меняет, газеты полны объявлений: велосипед на детскую коляску, эмалированный таз на чемодан, щенка эрдельтерьера на двух кроликов… Да, а почему бы и нет? Договорились, и он сказал: «Приходи на сортировочную, я там работаю». Соврать-то можно что угодно, лишь бы не заметили акцента, не догадались, что иностранка…

Туфли ее совершенно промокли, пока она добежала до трамвайной остановки у Якобикирхе. Старый плащ фрау Ильзе тоже был далеко не водонепроницаем, единственным его достоинством оказались сейчас большие внутренние карманы, где отлично поместились пакеты с лекарствами. Как назло, долго не было трамвая — прошел 21-й, прошли один за другим 18-й и 22-й, а нужный ей 19-й так и не появлялся. Идти пешком? Далеко, пока туда доберешься — не меньше часа…

Позже, вспоминая то утро, Людмила все чаще думала, что действовала тогда словно в каком-то помрачении рассудка. Бывают, наверное, случаи, когда только так и можно — не то чтобы по-настоящему в помрачении, а просто отклю-

чив какую-то часть сознания. Ту, прежде всего, что контролирует ощущение опасности, чувство страха. Солдат на фронте, к примеру, да ведь если бы он все время четко и ясно представлял себе, что может случиться с ним завтра, или через час, или через минуту, — никто, пожалуй, не смог бы вообще воевать, каждый был бы парализован этим сознанием, этим страхом.

Выскочив из трамвая на углу Вальтерштрассе, она пробежала под дождем короткий квартал влево, мимо угрюмых краснокирпичных зданий каких-то железнодорожных «амтов» и «фервальтунгов», зловеще украшенных призывами к бдительности и напоминанием о том, что колеса должны крутиться для победы. Почему в такие минуты обращаешь внимание на мелочи (может быть, именно для того, чтобы не думать о главном?) — эти плакаты, например, или то, что часы у входа на мост, переброшенный через пути, не висят на кронштейне, как это обычно делается, а укреплены стоймя на верхушке бетонного столба. И стрелки уже показывают без пяти десять. На мосту она сообразила, что он наверняка должен охраняться, и вообще неизвестно, разрешено ли по нему ходить… Но часового не было видно, возможно, он ходил вдоль туда и сюда и сейчас

находился на том, дальнем конце, занавешенном дождевым туманом; мост казался бесконечно длинным, внизу все было тесно заставлено лоснящимися мокрыми крышами вагонов, лишь кое-где блестели рельсы свободного пути; сколько же здесь этих путей, и не сосчитать — тридцать, а то и сорок, — и всюду вагоны, цистерны, платформы с углем, гравием, чем-то громоздким под брезентами. С пешеходной дорожки моста через равные промежутки шли вниз лестницы, первая — прямо на открытый перрон с надписью «Дрезден — Фридрихштадт». Как знать, по какой безопаснее? На перроне могут проверить, но если пробираться между составами — еще скорее обратят внимание… Ладно, тут все равно ведь не угадаешь! Хуже то, что отсюда, с моста, не разглядеть, где работают лагерники. Во всяком случае, это должно быть где-то в той стороне, направо — если их водят по Флюгельвег…

Она прошла по мосту еще дальше и спустилась вниз третьей по счету лестницей на утоптанную, жирно пропитанную смесью угольной пыли и мазута землю межпутейного пространства. Справа стоял французский, судя по надписям на вагонах, зеленый товарный состав, слева медленно катились пустые платформы, лязгая буферами

и громыхая на стыках рельсов. Дождавшись последней, Людмила пересекла еще два ряда путей — соседний, на ее счастье, тоже оказался свободным — и увидела далеко впереди кучку людей в лагерной одежде.

Иногда, видно, самый безрассудный способ действия и впрямь оказывается самым успешным. Ее так никто и не спросил, кто она такая и что делает на запретной территории; полицейских не было видно, а железнодорожники не обращали на нее ни малейшего внимания. Даже тот, под чьим надзором женщины в промокших до нитки лагерных платьях подбивали под шпалы балласт, ничего не сказал, когда Людмила подошла к одной из них. Оказалось, что работницы эти из другого лагеря — миктенские, сказали Людмиле, разгружают вагоны вон там, дальше. Это оказалось совсем рядом. Аня Левчук, увидев ее, сделала большие глаза:

— Неужто достала?! Вот здорово, как раз и хлопцы еще тут, зараз передадим…

Оглянувшись, она поманила Людмилу за угол пакгауза, где высокими штабелями громоздились какие-то железные бочки.

— Ну спасибочки тебе, — возбужденно шептала Аня, засовывая пакеты за пазуху, — а я еще с

девчатами поспорила… тут одна все зудела — ничего, мол, Люська не принесет, очень ей надо себя подставлять…

Обратно она шла с чувством огромного облегчения, какое бывает после долго откладывавшегося визита к зубному врачу или трудного экзамена. Теперь ей все было нипочем: если и остановят, бояться уже нечего. Соврать она что-нибудь соврет, а уличающего ничего при ней нет — пусть обыскивают на здоровье. Мельком, правда, подумалось, что дело-то еще не сделано, кто-нибудь из девочек может попасться при передаче, и тогда начнут выпытывать — через кого да откуда… Но и от этой тревожной мысли удалось отмахнуться.

Она даже успела на двенадцатичасовой поезд. И только уже за Штреленом, когда по левую руку показались высокие черепичные крыши конюшен ипподрома, ей вдруг вспомнилось, что второй том «Культуры Ренессанса в Италии» Якоба Буркхардта так и остался лежать в прихожей на подзеркальнике, еще с вечера заботливо упакованный в оберточную бумагу. Пришлось выйти в Рейке, дождаться встречного поезда из Пирны и — конспирации ради — ехать обратно за книгой. Не явишься же к профессору с пустыми руками после вчерашнего переполоха!

Глава 7

Отбрыкаться от возвращения к исследовательской работе Эриху удалось с гораздо большей затратой энергии, чем можно было предполагать. В управлении кадров офицерского резерва, куда он явился после отпуска, его рапорт о желании остаться в армии произвел эффект, обратный рассчитанному. Кадровики пришли в смятение, явно не понимая — рехнулся ли хромой капитан там, в «котле», или просто набивает себе цену. Так или иначе, его постарались возможно быстрее спровадить по месту назначения.

— Лично я вполне разделяю ваши истинно германские чувства, — сказал ему старый однорукий майор, — но сделать, увы, ничего не могу. В вашем личном деле уже есть запись: отозван из действующей армии в распоряжение управления вооружения сухопутных войск. Так что, капитан, извольте получить предписание и отправляйтесь. Приказ есть приказ!

На Харденбергштрассе, где окопались вооруженцы, его тоже приняли сначала за сумасшедшего, а потом за очень ловкого, несомненно что-то замыслившего проныру. Попутно оказа-

лось, что здесь никто и понятия не имеет, для чего он отозван из действующей армии и что теперь вообще с ним делать. В самом деле, распоряжение об отзыве было подписано в январе, а за эти полгода многое изменилось — группа ядерных исследований была изъята из ведения управления вооружения и передана Имперскому исследовательскому совету, и разобраться, кто же кому теперь подчинен и какого рода это подчинение — прямое, косвенное или непосредственное, — стало практически невозможно. Лаборатория доктора Дибнера, например, числилась за испытательным полигоном в Готтове и с этой стороны оставалась как бы в ведении (и на бюджете) вооруженцев, но в то же время она входила в ядерную группу, а отсюда следовало, что лаборатория представляет собой одно из подразделений в структуре Имперского совета — согласовывает с ним планы работ и перед ним же отчитывается. Услышав имя Дибнера, Эрих облегченно вздохнул — уж с этим-то деятелем они договорятся; когда он спросил, где его разыскать, ему ответили, что контора господина доктора переехала отсюда в здание Национального бюро стандартов. Эрих ушел из управления, вообще уже ничего не соображая. Разыскать Дибнера ему

удалось лишь на другой день.

— Рад вас видеть, коллега Дорнбергер, — сказал тот и сановным жестом указал на кресло у своего массивного письменного стола. — Наконец-то вы снова с нами. Но что там за сложности с вашим назначением?

— Никаких сложностей, коллега Дибнер, — ответил Эрих, выковыривая сигарету из протянутой начальством коробки, — если не считать чудовищной неразберихи на Харденбергштрассе… Меня там полдня гоняли от понтия к пилату, пока наконец не выяснилось, что я им вообще ни на черта не нужен… Благодарю вас. «Аттика» — скажите на милость! Давненько я не общался с людьми, которые курят такую роскошь; сразу проникаешься трепетом, чувствуя себя в предгорьях Олимпа. Причем незаслуженно!

— Олимп от нас далеко. — Дибнер позволил себе слегка улыбнуться, но лицо его — в меру округлое, аккуратно украшенное массивными роговыми очками и особым, значительным выражением слегка поджатых губ — оставалось настороженно-внимательным, словно начальник лаборатории опасался немедленной пакости со стороны посетителя. — Что касается неразберихи, то это, увы, наша давнишняя беда.

Бесконечные реорганизации, перетасовки, никак не можем выработать четкую структуру. Рейхсмаршал поручил профессору Озенбергу заняться этим делом, но я сомневаюсь… Озенберг будет прежде всего отстаивать интересы люфтваффе. Впрочем, оставим дрязги администраторам. Где вам хотелось бы работать? Нашей лаборатории в Киле нужен опытный руководитель, но если вы предпочитаете вернуться в Гамбург…

— Между нами говоря, я предпочитаю вернуться в армию.

— Простите, не понял. Что значит — вернуться в армию? Как вы себе это представляете?

— Помилуйте, нет ничего проще! Приходишь в кадры, дают тебе предписание, и — марш-марш к новому месту службы.

— Да, но… Вас же отозвали как нужного специалиста, другие безуспешно добиваются этого уже третий год! Мы ведь тоже не всесильны, хотя делаем все возможное, чтобы сохранить германской науке самые ценные умы…

— Польщен и тронут вашей заботливостью… — Дорнбергер поклонился, прикрыв даже глаза от избытка признательности, — но, боюсь, на сей раз вы отозвали явно не того, кого стоило. Как ученый я уже ни к черту не годен: у меня после

Сталинграда башка не варит. — Он поднял кулак и постучал себе по темени, показывая, как там пусто. — Поэтому переиграем это дело: я возвращаюсь в армию, армия же взамен отфутболивает вам какого-нибудь другого экс-доктора, предварительно подштопав и подвергнув санобработке. Не все ли им равно!

— У вас своеобразное чувство юмора, доктор Дорнбергер… но давайте говорить серьезно. Вы должны представлять себе, каким громадным комплексом нерешенных проблем является наш урановый проект; одна из важнейших — проблема разделения изотопов. Вы успешно работали в этой области еще до войны, и ваш опыт может сегодня очень пригодиться.

— Чепуха, какой там у меня опыт. Пятилетней давности? Я работал с ксеноном, а теперь у них шестифтористый уран — да я и не представляю себе, как подступиться к этой ядовитой дряни! Послушайте, коллега, я тоже предпочитаю, чтобы разговор шел всерьез. Какой смысл привлекать к исследовательской работе человека, который сам признаёт, что уже к ней не способен? Ну хорошо, приму я ваше предложение, поеду в Киль или в Гамбург и буду сидеть там и ни черта не делать. Устраивает вас такой вариант? Ведь кончится

это тем, что рано или поздно меня объявят саботажником и пинком в зад выкинут обратно на фронт. У вас тут, оказывается, уже и самого Хартека обвиняли в саботаже, а ведь как, бедняга, старается!

— Словом, — сказал Дибнер со скорбным видом человека, не обманувшегося в ожидании пакости, — вы просто не желаете. Любопытно было бы, однако, разобраться в мотивах вашего нежелания работать над новым видом оружия, доктор Дорнбергер.

Сказав это, он еще значительнее поджал губы и блеснул стеклами очков. Ладно, пора кончать балаган, решил Эрих.

— Охотно изложу их вам, доктор Дибнер. Прежде всего ваша работа бесперспективна в рамках нужд этой войны. Это стало ясным уже год назад, когда проекту отказали в приоритете «Д-Е»; вы скажете, что высший в рейхе приоритет не так легко получить, однако ракетчикам Брауна его дали.

— Некоторые отдельные работы по проекту тоже имеют «Д-Е», — возразил Дибнер. — Хотя бы ультрацентрифуга.

— Отдельные — может быть. В целом же уран никого больше не интересует. И раз уж вы наста-

иваете на откровенности, то я считаю, что проект «U» превратился для многих наших коллег в удобное убежище, где можно пересидеть войну без особых потрясений, если не считать таковыми грызню и склоки.

— Прекрасно, — ледяным тоном сказал Дибнер и встал из-за стола. — Я доложу о вашем отказе государственному советнику Эзау.

Эрих похромал к выходу, посмеиваясь в душе над опрометчивой угрозой. Профессор Абрахам Эзау, недавно поставленный Герингом во главе группы ядерных исследований, орал на каждом совещании, что вообще не верит ни в какое «урановое оружие»; проект, которым ему пришлось руководить по прихоти рейхсмаршала, интересовал Эзау лишь немногими побочными разработками — как, например, поиски новых, не содержащих радия светомасс, в которых остро нуждается авиационная промышленность (нечем покрывать стрелки приборов). Поэтому едва ли государственный советник разделит возмущение Дибнера, скорее всего будет только рад — хоть одним дипломированным бездельником меньше на его шее…

Так оно, вероятно, и случилось. Через два дня Эриху доставили с нарочным официальное уве-

домление, отпечатанное на бланке Имперского исследовательского совета (группа исследований по ядерной физике), согласно которому доктор Э. Дорнбергер, в звании капитана, откомандировывался в распоряжение управления кадров офицерского резерва за невозможностью в данный момент использовать его на гражданской работе. Давешний однорукий майор, прочитав бумагу, сказал удовлетворенно:

— Вот теперь другое дело, порядок есть порядок, — и велел ждать нового назначения, не отлучаясь из Берлина.

Вызвали его неожиданно скоро — утром следующего дня. Эрих опять доложился однорукому, тот грозно оглядел его с нескрываемым уже отвращением:

— Опять вы морочите нам головы, капитан! Что вы мне вчера принесли? Что это за мерзость, я вас спрашиваю! — Он угрожающе потряс письмом Эзау и почти швырнул его через стол. — Я недоглядел, а вы и рады! Куда вы от нас были направлены? В управление вооружения сухопутных войск. А кто вас теперь направляет обратно к нам? Какой-то «исследовательский совет», о котором я никогда в жизни не слышал и слышать не желаю!

— Позвольте, — попытался объяснить Эрих, но однорукий закричал еще громче:

— Не позволю! Неслыханная наглость, капитан! Извольте выполнять приказы, а не заниматься импровизациями!

— Слушаюсь, господин майор! Осмелюсь, однако, доложить, что в Совет я был отослан из управления, потому что…

— Это не отражено документально! Извольте забрать свою бумажку и марш в управление — пусть они сами напишут нам, что направляют вас обратно в офицерский резерв!

На это ушел еще один день; однорукий наконец угомонился. Эрих снял комнату у вдовы в тихом квартале Вильмерсдорфа, неподалеку от Фербеллинерплац, перевез из Груневальда немного книг, пластинки и радиокомбайн. Дело в том, что Розе, с которым он виделся во время отпуска еще дважды, намекнул ему на возможность службы в самом Берлине. Если и в самом деле оставят здесь, хорошо иметь свой угол. Жить в Груневальде не хотелось, хотя дом так и не был продан — то ли покупатель передумал, то ли сама Рената. От нее он не имел больше никаких известий, кроме одного письма из Мадрида — она сообщала, что ест много апельсинов и готовится осуществить

задуманное, хотя он был прав: это сложнее, чем представлялось. Прошла неделя, кадровики из резерва не давали о себе знать, словно забыли. А потом к нему пришел гость, которого он меньше всего ожидал увидеть.

В первый момент Эрих даже не узнал его, только что-то неуловимо знакомое увиделось ему в облике этого лейтенанта; лишь когда тот представился, он сразу все вспомнил — тридцатый год в Берлине, знакомство с Ренатой Герстенмайер и ее отцом, советником юстиции, потом вся эта дурацкая скоропалительная свадьба. У Герстенмайера работал тогда молодой асессор, только что окончивший университет, занятный парень, который знал всех решительно. О какой бы мало-мальски заметной личности того времени при нем не упомянули, асессор Шлабрендорф скромно замечал: «Да, мне доводилось с ним встречаться». Эрих сначала думал, что парень просто врет, но позже выяснилось — нет, не врет, ну разве что привирает в деталях. Он действительно лично знал многих ведущих юристов, преподавателей Берлинского и других университетов — Макса Флейшмана из Галле, Рудольфа Сменда, Эдуарда Шпрангера; был знаком со многими государственными деятелями Веймарской

республики — вице-канцлером Папеном, секретарем прусского министерства внутренних дел Гербертом фон Бисмарком и целой кучей других, чьи имена просто не остались у Эриха в памяти — за ненадобностью. Среди знакомых асессора были политики в самом широком диапазоне — от социал-демократа Никиша до консерватора Эвальда фон Клейста, были церковные деятели — протестанты Бонхоффер и Нимёллер, католики Брюнинг и Гутенберг, были дипломаты Мумм и фон Халем… Словом, каких только знакомых у него не было. Вскоре после захвата власти Гитлером Шлабрендорф однажды приехал к ним в Груневальд поздно ночью и спросил, нельзя ли укрыться на денек-другой — его, мол, ищут штурмовики. Прожив сутки, он исчез и только год спустя дал о себе знать из какого-то городка в Померании, где работал адвокатом. Штурмовики, видно, искали не так уж усердно. Последняя их встреча имела место в Берлине летом тридцать девятого, за месяц до войны; Шлабрендорф, элегантный и очень преуспевающего вида, сказал, что только что вернулся из Англии. За завтраком в «Адлоне» Эрих в шутку спросил, не виделся ли он там с Чемберленом. «Это фигура неинтересная, — небрежно ответил Шлабрендорф, — а

вот сэр Уинстон мне понравился, я имею в виду Черчилля. Мы ездили к нему в Чартуэлл с лордом Ллойдом…» Все это вспомнилось сейчас, как только Дорнбергер узнал гостя.

— Черт побери, Шлабрендорф, — воскликнул он, сердечно пожимая ему руку, — вот уж чего не предполагал, так это увидеть вас в столь низких чинах! При ваших-то знакомствах…

— Зачем? — Лейтенант пожал плечами с таким видом, будто вчера лишь отказался от внеочередного производства в генералы. — Мы ведь с вами, дорогой Дорнбергер, мало заинтересованы в военной карьере, не так ли?.. Я рад видеть вас, право, хотя наше знакомство не назовешь тесным… в смысле непрерывности контактов, я хочу сказать… но воспоминания самые приятные. Мы ведь ни разу не виделись с тех пор? Ну, я имею в виду тогда, летом…

Войдя в комнату, тесно заставленную старой мебелью с изобилием резного дерева и потертого плюша, Шлабрендорф огляделся с прежним, так хорошо знакомым Эриху добродушно-ироничным выражением породистого лица.

— Как мило, — сказал он, непринужденно усаживаясь в кресло у столика с семейным аль-

бомом, — этакий добрый старый fin de siecle...[5] Мне по контрасту вспомнилась сейчас ваша груневальдская вилла. Да, много воды утекло с тех пор... а крови, пожалуй, еще больше.

— Больше, — согласился Эрих. — Я, знаете ли, побывал в России — под Сталинградом.

— Подумайте, — посочувствовал гость. — А я ведь сейчас тоже на Восточном — нет-нет, это не в порядке хвастовства. Я скромно паразитирую при штабе.

— Рад за вас. Впрочем, в «котле» штабы были в таком же положении, как и все другие. Разве что снабжались на первых порах чуть получше — кое-что ухитрялись зажать для себя, но подыхали в конечном счете все одинаково. А вы там в каких местах, если не секрет?

— Помилуйте, Дорнбергер, секреты — от вас? В данный момент я в Смоленске, прилетел оттуда позавчера. Кстати, вчера был в Бамберге и привез вам привет от старого фронтового товарища.

— Из Бамберга? — удивился Эрих.

— Да, он там сейчас в отпуске после ранения — тоже лежал в лазарете. Вы ведь служили во Франции в Шестой танковой дивизии? Я имею в

---

[5] Notes: 5
Стиль «конца века» *(фр.)*.

виду май сорокового года. Так вот, там был такой ротмистр, Клаус граф фон Штауффенберг…

— А-а, Штауффенберг! Наш один-бэ[6], как же, я его очень хорошо помню… А вот что он меня помнит — это странно. Мы ведь и встречались с ним не так уж часто, потом его очень скоро забрали наверх…

— Вы же, однако, его запомнили.

— Да просто он выделялся среди других офицеров, понимаете, этакая белая ворона — кадровик, из старой военной семьи…

— Семья — простите, что перебил, — не такая уж у него «военная». Штауффенберги обычно бывали государственными деятелями или князьями церкви.

— Вот как? Может быть. Сам он не говорил о своих предках, вот я и решил. Аристократ, думаю, к тому же генштабист, наверняка это наследственное. Словом, считал его военным до мозга костей, а потом нам случилось поговорить откровенно раз-другой, и он меня удивил. Во-первых, нес какую-то невероятно наивную чепуху насчет наших будущих взаимоотношений с Францией — сотрудничество, братское взаимопонимание,

---

[6] Notes: 6

Начальник отдела службы тыла (здесь и далее вся немецкая военная терминология относится к описываемому периоду).

словом «Обнимитесь, миллионы»… И это в то время, когда все вокруг ревели от восторга: наконец-то расквитались за Версаль, трахнули эту галльскую шлюху; что за диковина, думаю, шиллерианец в чине ротмистра… Да, и еще стихи! Стихи он обожал, читал мне этого… как же его… Стефан Георге — вот! Шпарил наизусть целыми страницами — у меня волосы дыбом вставали. Тем более что понимать я решительно ничего не понимал.

— Да, символистов трудно воспринимать, — согласился Шлабрендорф, — особенно на слух. А Георге особенно, он поэт сложный.

— Но наш ротмистр был от него без ума. Такие люди, по правде сказать, всегда вызывали во мне двойственное чувство — с одной стороны, я понимаю их превосходство и даже отчасти завидую; тут невольно начинаешь смотреть как бы снизу вверх. Но в то же время нет-нет да и поймаешь себя на мысли — черт побери, на какой вздор тратят умственную энергию… Так он, говорите, тоже был ранен?

— Да, этой весной, в Тунисе. Его машину расстреляли с бреющего полета, и он уцелел просто чудом. Впрочем, не совсем «уцелел» — пришлось ампутировать руку, удалить глаз.

— Ах ты дьявольщина, — сказал Эрих. — Совсем, значит, искалечили. Жаль, красивый был парень. Ну что ж… для него война кончена.

— Нет, почему же, подполковник намерен вернуться к штабной работе. Передавая вам привет, он добавил, что будет рад опять послужить вместе.

— Вместе? — изумился Эрих. — Откуда он знает, где я буду служить, — эти идиоты из кадров наверняка постараются сунуть меня куда-нибудь подальше. По-моему, у них против меня вот такой зуб! Один старый болван все допытывался, почему я отказался работать у вооруженцев…

— Вы не обидитесь, если этот же вопрос задаст вам еще один болван, помоложе?

— Послушайте, Шлабрендорф, ей-богу, меня уже тошнит от этой темы!

— Ну хорошо, хорошо. Кстати, о ваших разговорах с Розе я информирован довольно подробно, поэтому…

— О моих разговорах с Розе? — Эрих озадаченно уставился на своего гостя. — Черт побери, так вы… из тех его «спасителей», что ли?

— Помилуйте, о каких спасителях вы говорите? Спаситель у нас только один… Помните, когда вы меня прятали у себя на вилле — в тот год на

улицах часто можно было услышать одну песню, там была бессмертная строфа: «Немца каждого спросите — христианин ты иль нет? „Адольф Гитлер наш Спаситель!“ — вы услышите в ответ…» Вот так-то. Это вам, мой милый, не Стефан Георге. Любопытно все же, собирает кто-нибудь такие перлы? Согласитесь, будет невосстановимая потеря для потомства, если все это без следа погрузится в темную воду Леты… Как-никак целый фрагмент нашей истории, а? Так вот, по поводу того, что вы сказали господину Розе, — нет-нет, я нисколько не ставлю под сомнение правильность вашей реакции на… на то предложение, которое он вам сделал. И естественно, далек от мысли уговаривать или переубеждать. Я просто хочу уяснить одну вещь — для себя…

Шлабрендорф задумался, снял очки в тонкой золотой оправе и стал протирать стекла. В комнате повеяло лавандой явно нейтрального происхождения.

— Одеколон покупаете в Стокгольме? — поинтересовался Эрих.

— Что? А, нет, давно там не был. Мне привезли, но могу поделиться, это настоящий «Аткинсон».

— Спасибо, я после бритья растираюсь спиртом. А вы не боитесь, что гестапо унюхает и задума-

ется?

— Ну что вы, Дорнбергер, у них есть более серьезные поводы задумываться. Так я хотел спросить…

— Ладно уж, спрашивайте, если невтерпеж.

— Скажите, те работы… в которых вам было предложено участвовать — их, вы думаете, ведут и по ту сторону фронта?

— Несомненно.

— И вы считаете, они могут вестись там с известным опережением — сравнивая с состоянием этих работ в Германии?

— Нет, этого я не думаю. Хотя в принципе… — Эрих подумал, пожал плечами. — В принципе — не исключено, но маловероятно. В Америке, скажем, практически нет урана — ну, это такое… можно назвать это исходным сырьем. У нас очищенный уран есть, и в довольно большом количестве, но нам катастрофически не хватает многого другого. Словом, это можно назвать состоянием неустойчивого равновесия возможностей.

— Я понимаю… И вы боитесь, что любая поступающая от нас информация нарушит равновесие не в нашу пользу. Что ж, логика в этом есть… Но послушайте, Дорнбергер, хотим мы этого или не

хотим — судьба нацистского режима решается сейчас силой оружия; может быть, не так уж и не правы те, кто желал бы способствовать появлению более мощного оружия у… другой стороны?

— Шлабрендорф, вы просто не в курсе. Сейчас уже речь идет не о судьбе нацистского режима, речь идет о судьбе человечества. Работы, о которых мы говорим, следует вообще прекратить, забыть о них, строжайше воспретить любое приближение к этой теме.

— Вот как. Они действительно столь опасны?

— «Опасны»! — Эрих усмехнулся. — Это, знаете ли, неподходящее к данному случаю определение. Опасно давать спички ребенку, опасно перебегать улицу на красный свет. Это другая категория опасности.

— Понимаю, — задумчиво повторил Шлабрендорф.

— Ничего вы не понимаете. Поэтому просто поверьте мне на слово — уж я-то знаю, что говорю. Мне, согласитесь, было бы куда приятнее сидеть в лаборатории, чем таскаться по свету, завоевывая для этих параноиков их «жизненное пространство»… То Франция, то Африка, то Россия — да будь я проклят. Мне еще не хватает какого-нибудь уютного местечка за полярным

кругом! Кстати, теперь я догадываюсь, куда меня отправит тот однорукий: скорее всего, в Нарвик.

— Нет, в Нарвик вас не отправят, — меланхолично возразил Шлабрендорф. — Я же сказал, вы будете служить вместе с подполковником Штауффенбергом здесь, в Берлине.

— Вы-то почем знаете? — недоверчиво спросил Эрих…

— А вот теперь вам придется поверить мне…

Всезнающий лейтенант оказался прав: на следующий день Эрих получил назначение в штаб командующего армией резерва при Главном командовании сухопутных войск. Его принял начальник общевойскового управления генерал Ольбрихт; тоже ворона — решил после разговора Эрих, подразумевая белую. Уж генералов-то он за это время повидал всяких — от чопорных пруссаков с моноклем, каких хорошо пародирует на экране фон Штрогейм, до демагогов вроде Роммеля или Штудента, любящих показать себя этаким простым фронтовым камрадом. Ольбрихт выглядел интеллектуалом — Эрих опять вспомнил ротмистра Штауффенберга с его стихами и шиллерианским прекраснодушием. Кстати, и служить он собирается здесь же — не слишком ли много белых ворон в одном месте, тут что-то

явно неспроста…

О том, что с ним вообще все «неспроста», Эрих впервые подумал после визита Шлабрендорфа. Собственно, об этом можно было догадаться и после первого же разговора с Розе, но тогда фактов было маловато — ну, допустим, организовали ему эвакуацию, чтобы засунуть обратно в «Проект»; этого еще недостаточно, чтобы говорить о каком-то широко задуманном плане. Но теперь факты стали подозрительно точно укладываться один к другому, позволяя уже видеть некие общие очертания. Розе, выходит, знаком или имеет общих знакомых со Шлабрендорфом; оба они каким-то образом связаны с Ольбрихтом, а тот, надо думать, знает Штауффенберга. Естественно, он просто не может его не знать, коль скоро Штауффенберг служил в ОКХ[7]. Теперь вся эта компания прибирает к рукам и его самого. Маловероятно, конечно, чтобы Штауффенберг действительно помнил его еще по временам французской кампании, — ерунда, не такое уж близкое было знакомство. Стихи ему читал, верно, но он их, наверное, читает кому попало при каждом удобном случае. Нет, Штауффенбергу про

[7] Notes: 7

Сокр. от «Oberkommando des Heeres» *(нем.)* — Главное командование сухопутных войск.

него напомнили. Подсказали. Но с какой целью?

В честности Розе сомневаться невозможно. Шлабрендорф — личность крайне загадочная, в свое время действительно боролся (или пытался бороться) против наци, хотя это дела давние, с тех пор могло произойти что угодно. Но тогда что же он — провокатор? Тоже не верится. Да и Розе человек проницательный, едва ли он стал бы иметь дело с подозрительной личностью. А что какое-то общее дело их связывает, это уже видно невооруженным глазом. Ладно, поживем — увидим, решил Эрих.

Несколько дней он входил в круг своих несложных обязанностей, присматривался к сослуживцам. Работа оказалась пустяковой — обычная канцелярщина, с какой справился бы любой писарь из унтер-офицеров, это еще больше укрепило догадку, что направили его сюда не просто так. А сослуживцы были разные, как и всюду. Удивляла царившая в управлении либеральная атмосфера — офицеры открыто обсуждали содержание вражеских радиопередач, довольно свободно обменивались политическими анекдотами. Эриху, привыкшему к всеобщей взаимной подозрительности на низших уровнях армейской иерархии, это казалось почти невероятным.

В полевых войсках, например, анекдоты про Геббельса позволяли себе вслух рассказывать только самые отпетые штрафники, кому уже нечего было терять — дальше передовой все равно не пошлют, всякий же, у кого было хоть малейшее преимущество перед другими — более безопасная или выгодная должность или хотя бы перспектива близкого отпуска, — обычно боялся быть заподозренным в неподобающем образе мыслей.

Здесь было иначе. Некоторые сотрудники доходили до того, что высказывали пораженческий скепсис по поводу операции «Цитадель», подготовка к которой заканчивалась в эти дни. Эрих объяснял это тем, что публика здесь собралась в основном титулованная, с обширными семейными связями в высших военных кругах, — попросту рассчитывают на безнаказанность.

Непосредственным начальником Эриха был майор Бернардис, из генштабистов, понравившийся ему сдержанностью и немногословием. Когда они обменялись однажды фронтовыми впечатлениями, Эрих вдобавок обнаружил в майоре единомышленника; правда, «единомышленниками» здесь были многие, но у других крамольные настроения изливались в болтовне. Бернардис был человеком иного склада.

Эрих чувствовал, что к нему тоже присматриваются, изучают. Однажды Бернардис спросил, не слишком ли беспокоит его поврежденная нога.

— Дело в том, что мы думаем поручить вам работу, связанную с командировками, — объяснил он. — Но, конечно, если вам это пока трудно, можно найти другого человека.

Эрих заверил, что с ногой сжился и почти ее не замечает, так что вполне может ездить в командировки — если не на велосипеде.

— Не шутите так при начальстве, — сказал Бернардис, — подавать идеи иногда опасно. Тем более что ваша не так уж плоха.

Командировки оказались тоже какими-то странными, как и вся его работа в управлении. Первая была в Зальцбург, в штаб 18-го военного округа — там надо было уточнить данные в последней сводке, касающейся обучения призывников.

Попутно Эриху следовало разыскать некоего полковника Армстера и вручить ему пакет — не прошитый и опечатанный сургучом, как обычно, а просто заклеенный. Причем Бернардис особо подчеркнул, что пакет может быть вручен только Армстеру, и никому больше, ни при каких обстоятельствах. Все это чертовски смахивало на

конспирацию, но Эрих не понимал одного: если ему уже доверяют быть такого рода спецкурьером, то почему не скажут прямо и открыто, во что втянули.

Ладно, решил он, наверное, так полагается, им виднее. Сам он не имел опыта в такого рода делах и судить не мог. После Зальцбурга ему пришлось съездить в Мюнхен, где размещался штаб 7-го округа, и опять задание было с двойным дном: официальная цель командировки наверху, а под этим — указание встретиться с таким-то лицом (на сей раз им оказался майор, барон фон Леонрод) и спросить, нет ли новостей для генерала Ольбрихта. Майор принял посланца крайне любезно, угостил мерзким коньяком и попросил передать его превосходительству, что нового ничего нет и все идет согласно договоренности.

За хлопотами и поездками незаметно бежало время. Начался июль, на Востоке наконец-то запустили дважды откладывавшуюся «Цитадель»: уже к исходу вторых суток наступления телетайпы на узле связи ОКХ пошли выдавать такую информацию, что оперативный отдел Генштаба стало трясти. Там, говорят, все потеряли сон — начиная от Хойзингера и кончая последним порученцем, — работали круглосуточно, не при-

бегая к первитину. В общевойсковом управлении атмосфера была спокойнее, происходящее между Орлом и Белгородом их прямо не касалось, но все понимали, что наступил самый критический момент войны. Капитан же Дорнбергер продолжал ездить то в один военный округ, то в другой. В конце месяца его послали в штаб 4-го военного округа, в Дрезден.

Эрих действительно колебался, стоит ли навестить стариков Штольницев — это ведь и в самом деле могло их скомпрометировать, учитывая его нынешнюю почти наверняка крамольную деятельность. Но, навестив, он об этом не пожалел. И правильно сделал, что намекнул на особые обстоятельства. Может, следовало быть со стариком более откровенным? Хотя ничего больше он, пожалуй, и не смог бы сказать при любой степени откровенности, поскольку сам ничего толком не знает. Возвращаясь в Берлин, Эрих вспомнил вдруг о заинтриговавшей его «восточной помощнице» Штольницев, — любопытно, с ней непременно надо будет познакомиться…

У русских, насколько ему приходилось слышать, эвакуация почти всюду проводилась поспешно и неорганизованно — если речь не шла о действительно важных для обороны

объектах; в тех случаях все делалось как надо. Следовательно, если мать этой девицы вывезли заблаговременно, да еще самолетом (черт побери, это в сорок первом году, когда у русских практически вообще не было авиации!), то она, значит, действительно занималась чем-то очень и очень серьезным…

«Нет, я и впрямь становлюсь маньяком», — спохватился он вдруг. Да мало ли чем «серьезным» может заниматься физик во время войны! Почему он вообще решил… Только оттого, что она работала на Украине? — но ведь не в Харькове же! Хотя и этого нельзя утверждать с уверенностью. Жила в другом городе, по эту сторону Днепра, а работать могла в Харькове, работал же он в Гамбурге, живя в Берлине!

Не утерпев, Эрих достал из портфеля небольшой атлас, который всегда возил с собой, и проверил расстояния. Да, вполне возможно — от Харькова до Днепра по прямой приблизительно двести километров, даже меньше, чем от Гамбурга до Берлина. Надо будет непременно заехать к Штольницам еще разок…

Однажды в начале августа — вскоре после того, как в ходе «выравнивания фронта» был сдан Орел, — Эрих, подходя к зданию ОКХ, увидел

вышедших из подъезда генерала Ольбрихта и какого-то высокого, атлетически сложенного офицера с черной повязкой на глазу; когда они садились в машину, Эрих успел заметить, что правая рука незнакомца висит безжизненно. «Уж не мой ли это ротмистр?» — подумал он, сразу вспомнив разговор со Шлабрендорфом — тот ведь говорил, что Штауффенберг потерял руку и глаз. Встретив в вестибюле майора Бернардиса, он поинтересовался, кто это вышел сейчас с генералом. «Подполковник граф Штауффенберг, — ответил майор. — Будет служить у нас, приезжал представиться…»

Они вместе поднялись на второй этаж, где помещалось общевойсковое управление; Бернардис пригласил Эриха зайти и достал из сейфа тонкую папку со штампом секретности второй степени и надписью «План Валькирия».

— Ознакомьтесь с этим материалом, капитан, — сказал он. — Вам придется в дальнейшем курировать подготовку некоторых предусмотренных планом мероприятий, поэтому лучше иметь общее представление.

Эрих просидел над «Валькирией» до вечера — чтение оказалось захватывающим. Когда машинистки, работающие с ним в одной комнате,

прекратили трескотню и стали зачехлять свою технику, он понес папку Бернардису.

— Прочитали? — спросил тот.

— Так точно, но не все понял.

— Что же вам неясно?

— Боюсь, очень многое. Почему вообще штаб армии резерва занимается такой чисто полицейской проблемой, как возможность вспышки беспорядков среди иностранных рабочих?

— А кому, вы думаете, пришлось бы их подавлять?

— Полиции, надо полагать. Не армии же, черт побери!

— Это если говорить о каком-то локальном инциденте. С бунтом в лагере полиция справится, вы правы, но в случае повсеместного восстания ей не обойтись без помощи армейских частей.

Эрих пожал плечами. Сама мысль о том, что голодные и замордованные иностранцы, сидящие за колючей проволокой, смогут поднять «повсеместное восстание», выглядела совершеннейшим вздором.

— Я вижу, капитан, мои слова вас не убеждают, — заметил Бернардис.

— Никак нет, господин майор. Здесь есть один любопытный момент, касающийся Берлина: по

сигналу «Валькирия» в столицу вводятся моторизованные части, чтобы взять под охрану ряд министерств, управление имперской безопасности, казармы СС, радиостанцию… Позвольте, я найду.

— Не трудитесь, я хорошо знаю диспозицию. Что же вас здесь смущает?

— Вы всерьез верите, что бунтовщики поперлись бы захватывать радиостанцию или министерство пропаганды?

— Мало ли что им взбредет в голову, этим иностранцам.

— Сомнительно. Вот я и спрашиваю себя: что, собственно, предусматривает этот раздел плана — взять под охрану или блокировать?

— Это, по-вашему, столь существенная разница?

— Еще бы, черт побери! Вы не хуже меня понимаете, что во втором варианте это просто план военного переворота.

— У вас на редкость богатая фантазия. Да, чуть не забыл — подполковник Штауффенберг просил передать вам привет.

— Благодарю. Когда он приступает к исполнению обязанностей?

— О, еще не скоро. Не раньше чем через два

месяца, ему надо долечиться. Что ж, капитан, поскольку «Валькирия» вызывает у вас столь серьезное… недоумение, вы можете подать рапорт о переводе на более спокойную службу.

— Простите, господин майор, вы меня не так поняли. Я лишь хотел получить общее представление — как вы сами мне рекомендовали.

— Значит, принципиальных возражений против плана у вас нет?

— Никаких.

— Тем лучше. Не стесняйтесь обращаться, если возникнут дополнительные вопросы.

«Если возникнут», — подумал Эрих, спускаясь по лестнице. Черт побери, да это все один сплошной огромный вопрос. На что рассчитывается план — на террористический акт в самом центре, убийство или арест? Это уже, впрочем, детали, — так или иначе, все это может сработать лишь в том случае, если фюрер будет устранен. Или выведен из игры хотя бы на время. Тогда это не лишено смысла. Во всяком случае, иного варианта сейчас просто не придумать. Ладно, пусть будет «Валькирия».

Двумя неделями позже ему пришлось ехать в 8-й военный округ, чтобы согласовать сроки поставки прессованного сена, а также встретиться с

двумя гражданскими лицами, адвокатами Лукашеком и Кашным. Покончив с делами в Бреслау, Эрих решил позволить себе вернуться в Берлин не кратчайшим путем через Лигниц и Губен, а заехать по пути к Штольницам.

Как и в прошлый приезд, он остановился в гостинице «Ганза» на Силезской площади, у вокзала Дрезден-Нойштадт. Звонить по телефону не стал: если они еще не вернулись из своего Шандау, завтра съездит туда, два свободных дня у него все равно есть. Еще из Бреслау он сообщил Бернардису, что немного задержится.

Вечерело, погода была отличная, еще полетнему теплая, но уже с особой предосенней свежестью воздуха. На остановке трамвая Эрих увидел «шестерку», но решил не садиться, пошел не спеша пешком — по Антонштрассе, мостом Мариенбрюкке, потом по набережной левого берега. Выйдя на Остра-аллее, он постоял, посмотрел издали на золотую корону, поблескивающую над воротами Цвингера, но ближе подходить не стал, пожал плечами и направился к дому Штольницев. Если уж идти любоваться шедеврами, как советовал старик, то вместе с ним — пусть заодно прочитает лекцию, так будет понятнее…

Он позвонил, почти уверенный, что в квартире

не отзовутся: вряд ли они так рано вернулись в город. Но почти сразу за дверью послышались быстрые легкие шаги — явно не старика и не тетушки Ильзе. «Смотри-ка, кажется, на ловца и зверь…» — успел подумать Эрих. Дверь распахнулась, предъявив ему молодую особу чрезвычайно строгого, почти надменного вида.

— Кого вам угодно? — спросила она с едва заметным акцентом.

— А все равно, — сказал Эрих. — Можно и вас, если нет никого постарше. Но вообще-то, я рассчитывал на встречу с господином профессором.

— Господина профессора нет дома.

— Осечка номер один. А мадам все еще на природе?

— Фрау Ильзе находится в Шандау.

— Это самое я и имел в виду. Вы меня пропустите?

— Не знаю, должна ли я вас пропустить; профессор не сказал, когда вернется.

— Но тогда тем более! На лестнице, что ли, мне его ждать?

С этими словами он решительно шагнул в переднюю, полагая, что вряд ли строгая хранительница очага станет силой вышибать его обратно. Та и впрямь отступила, с ног до головы

окинув пришельца совсем уже высокомерным взглядом.

— О, я ведь и не представился! — сказал он и не глядя нацепил фуражку на оленьи рога. — Меня зовут Дорнбергер — Эрих Дорнбергер, к вашим услугам. Профессор не называл вам этой громкой фамилии?

— Не припоминаю, господин Бергер.

— Дорнбергер, если вы не против.

— Прошу прощения, — сказала она с ледяной вежливостью. — Мне показалось, это двойное имя — Эрих Дорн.

— Ничего себе имя — Дорн! У нас, немцев, вообще нет такого имени. Хотя бывают самые дикие — Бальдур, например.

— Буду знать. Пройдите, пожалуйста, в кабинет и подождите профессора там.

— Я лучше подожду в вашем обществе. И не злитесь! Что я вам такого сделал?

— Вы мне ровно ничего не сделали, но я занята — в кухне.

— Прекрасно, идемте в кухню!

Девушка посмотрела на него как на сумасшедшего и, пожав плечами, направилась вглубь квартиры. Эрих пошел за ней.

— А вас, кстати, я знаю заочно, — продолжал

он, — профессор информировал меня о вашем существовании, когда я приезжал месяц назад.

— Ах вот что, — отозвалась она, не оборачиваясь. — Так вы тот самый…

— Выходит, вы обо мне все-таки слышали! Тот самый, да. А я сейчас вспомню, как вас зовут, минутку… Люси?

— Не совсем, но можно и так. Если хотите смотреть, как чистят картофель, садитесь и смотрите.

— Дайте ножик и мне, я умею не хуже вас. В армии, конечно, мне это делать не приходится, но до войны я некоторое время жил один. Питался обычно в ресторане, но иногда не было времени вырваться из лаборатории, на такие случаи мы там держали запас картофеля. Если не оказывалось ассистента, я сам чистил и жарил в масле. Это меня один бельгиец научил, вы не представляете, как вкусно…

— Представляю. Если хотите поработать — пожалуйста…

Она дала ему ножик, понаблюдала за его работой и критически покачала головой:

— Ваше счастье, что этого не видит фрау Ильзе. Оставьте, я сделаю сама.

— Она же все равно не видит!

Некоторое время они работали молча. В откры-

тое окно тянуло запахами бензина и свежеполитой зелени из Герцогингартена, совсем уже низкое солнце лежало на кафельной облицовке алыми отблесками, где-то у соседей на другом этаже радио горланило марш с гиканьем и присвистами.

— Жаль закрывать окно, — сказал Эрих, — но за такую музыку надо убивать без суда и следствия. И тех, кто пишет, и тех, кто слушает.

— Слушать приходится всем.

— О «приходится» я не говорю. Но ведь кто-то же специально включил радио, нашел, да еще сделал погромче.

— Это опять Гешке, со второго этажа, — сказала Людмила, прислушавшись. — Он, знаете, такой… совсем коричневый.

— Тогда понятно. А марш наверняка Шумана.

— Шумана? — переспросила она удивленно.

— Не того, конечно. Сейчас есть еще один — доктор Шуман, совершенно бездарный физик, но марши сочиняет в больших количествах. У каждого барона, как говорится, своя фантазия.

— Он родственник?

— А черт его знает! Говорит — да. Кстати, Иоахим сказал, что ваша мать тоже занимается физикой?

— Да.

— Значит, мы с ней коллеги… Так-так. Она, случайно, не работала перед войной в Физико-техническом институте в Харькове?

— Нет. — Людмила глянула на него настороженно. — А что?

— Я подумал, у нас могли найтись общие знакомые.

— По Харькову?

— Да, там до войны работал один наш… Хоутерманс его звали. Вернее, зовут — он жив и здоров, насколько мне известно, Арденне забрал его к себе в Лихтерфельде. Фриц Хоутерманс — не слышали?

— Нет, никогда. Может быть, мама и знала… Хотя, если он был в Харькове, — мама ведь там никогда не работала.

— Ну, нет так нет. Что я хотел спросить — вы украинка?

— Наполовину, отец был русский. Оставьте наконец эту картофелину, от нее уже ничего не осталось.

— Виноват… В украинцах есть романская кровь?

— Понятия не имею. Думаю, что есть всякая — как у всех. А что?

— Вы похожи на итальянку.

— Прошу вас, оставьте при себе ваши антропологические наблюдения. И если хотите чистить картофель, то лучше смотрите, что у вас получается. Или уходите отсюда!

— Нет-нет, я буду внимателен…

Глава 8

Обычно Штольницы возвращались в город в последних числах августа — старая привычка, связанная когда-то со сроком начала семестра в академии. В этом году они, однако, задержались, и лишь после десятого сентября фрау Ильзе сказала, что хорошо бы съездить привести в порядок квартиру.

Людмила поехала вечерним поездом — одна, так как профессору на сей раз не удалось найти достаточно убедительного предлога (запас их иссяк за лето). Дрезден встретил ее зноем, платаны на Остра-аллее уже начали желтеть, в квартире было так душно, что ни о какой уборке, пока не проветрится, не могло быть и речи. Она пораскрывала настежь все окна, переоделась в свое «выходное» арестантское платье и отправилась в «Миктен», надеясь узнать что-нибудь

о землячках.

В лагере их не было уже с месяц: в начале августа все обитательницы седьмой штубы внезапно исчезли. Впервые узнав об этом, Людмила страшно перепугалась — первой ее мыслью было, что немцы задним числом узнали о переданных в шталаг медикаментах, но дело было не в этом. Девчат просто запродали оптом на кондитерскую фабрику «Телль», а поскольку работа шла по сменному графику, то там же — в фабричном лагере — их и поселили. «Миктен» они теперь навещали лишь иногда по воскресеньям, а туда к ним было не попасть: фабрика выпускала какой-то особый шоколад для люфтваффе, и охрана там была как на военном заводе.

Теперь у Людмилы не оставалось в лагере никого из знакомых. Она заглянула в одну комнату, в другую, нашла двух хлопцев, которых иногда встречала в седьмой, но и они ничего толком не знали о девчатах с «Телля». Видели одну — жаловалась на строгости, а так ничего особого не сказала. В цеху, говорит, иногда чего-нибудь съесть удастся, а чтобы вынести — это и не думай…

— На сортировочной станции кто-нибудь из вас еще работает? — спросила Людмила.

— Не, туда давно не гоняли. Мы тут в ратхаузе крепления ставили в подвале, а теперь на площади котлован копаем — под пожарный водоем, что ли.

— На какой площади?

— В центре которая, ну не доходя ратхауза. Там памятник посередке — баба с флагом. Новости слыхала?

— С фронта? Нет, в газетах ведь почти ничего не пишут — «тяжелые оборонительные бои», а где именно…

— Ясно, хвастать-то им теперь нечем! Наши уже Мариуполь освободили, Брянск, Сумы, Донбасс от них весь очистили…

Вернувшись домой, Людмила долго сидела у приемника, пытаясь поймать Москву, но так и не поймала. Профессор тоже несколько раз безуспешно пытался настроиться на московскую волну, но и у него ничего не получалось — то ли ему неверно указали длину, то ли время было не то. Людмила перевела стрелку на Берлин, прослушала сводку ОКВ[8] и пошла спать.

Утром, едва она успела приняться за работу, раздался телефонный звонок. Она сняла трубку,

---

[8] Notes: 8

Сокр. от «Oberkommando der Wehrmacht» *(нем.)* — Верховное главнокомандование вооруженных сил.

ожидая услышать фрау Ильзе (та постоянно забывала что-то сказать и потом звонила вслед), но услышала — и мгновенно узнала — резковатый, чуть насмешливый в интонациях мужской голос, говоривший с жестким нездешним произношением, совершенно непохожим на мягкую, шелестящую речь саксонцев. Господи, опять этот нелепый хромой офицер!

— Фрейлейн Люси? — переспросил он явно обрадованно, когда она ответила. — Скажите на милость, что за фантастическое везение. Вы опять здесь! А старики?

— Еще не приехали. Господина профессора я увижу завтра. Что-нибудь ему передать?

— Профессору? Можно, а почему бы и нет. Я вот сейчас подъеду, и мы с вами это обсудим.

— Куда подъедете? — спросила она после короткой паузы.

— На Остра-аллее, куда же я еще могу подъехать! Или у вас есть вторая квартира, конспиративная?

— Конспиративной квартиры у меня нет, но подъезжать вам совершенно незачем. Я ведь сказала: ни фрау Ильзе, ни господина профессора нет дома.

— Ах вот что! Принять меня в их отсутствие

вы, значит, считаете не совсем приличным, я понимаю.

— При чем тут приличия? Я занята!

— Опять картофель? — спросил он сочувственно. — Но вы ведь прошлый раз убедились, что вдвоем быстрее. Или я так уж много напортил?

— Нет, сегодня не картофель, я убираю квартиру. Я действительно занята, господин Дорнбергер.

— А, наконец-то запомнили? Я все ждал, когда вы снова назовете меня Бергером. Теперь послушайте, я вам изложу свою теорию относительно уборки жилых помещений вообще: нет никакого смысла стирать пыль, если немедленно начинает осаждаться другая. Согласитесь, это попросту танталов труд…

— Сизифов, простите.

— Что?

— Напрасный труд обычно называют сизифовым. Тантал, с вашего позволения, это совсем другое.

— Вы еще молоды со мной спорить, поэтому я игнорирую вашу смехотворную поправку. Вернемся к главному! Как бы ни назвать работу, которой вы сейчас заняты, она так или иначе бессмысленна, поэтому плюньте на нее и прихо-

дите через полчаса к мостику возле Кронентор. Смотрите, какая сказочная погода! Я вам покажу архитектурные сокровища Дрездена.

— Господин Дорнбергер, я знаю их куда лучше, чем вы.

— Прекрасно! — закричал он. — Вот вы мне их и покажете, знаниями надо делиться, иначе к чему они вообще?

Нет, да это просто наглец какой-то, подумала Людмила растерянно. Что он себе вообразил? Повесить трубку — так ведь не отвяжется, опять будет звонить…

— Люси! — жалобно воззвал наглец. — Куда вы пропали? Алло!

— Пожалуйста, не кричите, я здесь. Что вам от меня надо?

— Решительно ничего, помилуйте! Почему опять такой сердитый тон? Я просто хочу, воспользовавшись хорошей погодой, а также наличием свободного времени, совершить с вами небольшую прогулку по этому прекрасному городу. Здорово сооружена фраза?

— Как в плохом учебнике.

— Да, это для доходчивости, иначе вы опять поймете меня как-нибудь превратно.

— Я очень хорошо вас понимаю, не беспокой-

тесь.

— Итак, через полчаса?

— Ладно, — сказала Людмила. — Только не через полчаса, а через час. У Кронентор, вы сказали?

— Там меньше риска разминуться, но если вы предпочитаете другое место…

— О, мне совершенно все равно, — сказала Людмила и повесила трубку.

Пора наконец его одернуть, подумала она, это уже переходит границы. Жаль, что знакомый профессора — в сущности, воспитанник — оказался таким… Ей, правда, и самой было пока не очень ясно — каким, но что ничего хорошего в этом Дорнбергере нет и быть не может, она уже видела.

Лишние полчаса Людмила себе выговорила просто так, чтобы он не счел ее согласие слишком уж поспешным, но теперь об этом пожалела: скорее бы увидеть его, сказать все, что она думает о его поведении, и распрощаться. Кстати, насчет «танталова труда»…

Подумав и пожав плечами, она решила все же себя проверить, пошла в кабинет и отыскала в одном из шкафов толстый том «Греческой мифологии» Преллера. Ну, правильно — сизифов,

разумеется, а никакой не танталов! Да он еще и невежда вдобавок, сам не знает и другим морочит голову.

К театру напротив Коронных ворот Цвингера Людмила подошла точно как договорились, минута в минуту. Наглец и невежда был уже на месте, хорошо еще хватило совести не опоздать, — стоял на середине мостика, облокотившись на перила, и любовался своим отражением в неподвижной воде. Господи, было бы чем любоваться. Она едва успела перейти улицу, как он поднял голову и оглянулся — словно услышал ее шаги, и захромал навстречу с такой обезоруживающей улыбкой, что у Людмилы сразу пропала вся злость. Может быть, и не стоит его ругать, подумала она, ну что, собственно…

— Спасибо, — сказал он, — я думал, вы не придете…

— Почему?

— Не знаю, вы так сердито со мной говорили… Даже не столько сердито, как холодно. Я уже потом подумал, что, наверное, сказал что-то не так или вы вообще как-то не так меня поняли. Понимаете, я… У меня идиотская особенность: чем менее уверенно себя чувствую, тем самоувереннее начинаю себя вести. Правда, в студенческие

годы это помогало: я мог прийти на экзамен, ничего не зная, и добиться приличной оценки просто за счет наглости, заморочив голову бедняге-профессору.

— Любопытно, — сказала Людмила. — Не так уж, выходит, блестяще вы учились. А профессор изобразил вас чуть ли не светилом физики.

— Ну, какое я светило. Правда, физику… знаю в какой-то степени. Насчет экзаменов — это мне вспомнилось по поводу других предметов, не профилирующих. К ним я относился неуважительно. Ну, языки, например. Словом, я уже потом сообразил, что мог произвести на вас отвратительное впечатление. Но это совсем наоборот. То есть я хочу сказать — это не самоуверенность, а именно неуверенность.

— В чем?

— Ну, понимаете, может ведь быть и так, что вам не очень-то приятно со мной разговаривать. Хотя бы из-за этого. — Он поддел большим пальцем и немного оттянул борт кителя с продетой под пуговицу черно-бело-красной орденской ленточкой. — Сейчас, например, мне следовало бы переодеться, но здесь просто не во что. В Берлине есть, но ведь это надо таскать с собой чемодан. А я обычно езжу налегке — с одним портфелем…

— При чем тут мундир? — Людмила пожала плечами.

— Все-таки — офицер вражеской армии, а форма это как-то подчеркивает. Слишком уж зримо — скажем так.

— Нет, это ничего не значит, — возразила Людмила. — Два года назад — да, конечно, я воспринимала именно так. Еще дома. Помню, когда первый раз к нам пришли немецкие солдаты, просто переночевать, их прислали — как это называется, на постой? — тогда мне вид немецкого мундира был… Хотя они ничего такого не делали. Но просто сам вид, понимаете?

— Понимаю.

— Да, эти каски и… этот орел со свастикой — ужасно. Но я потом поняла, что не все немцы — фашисты…

— Фашисты? — переспросил он удивленно. — У нас, по-моему, их вообще нет. Наци, хотите вы сказать?

— Ну да, это одно и то же.

— Разве? Я всегда думал, что это разные вещи, фашизм — это там, у Муссолини. Хотя, конечно, идеи в чем-то близки. Но простите, я вас перебил!

— Да, я просто хотела сказать, что позже на-

училась различать таких немцев от других, но ведь мундир носят все, не так ли? Поэтому он сам по себе ничего не означает, а к этой… — она почти коснулась пальцем эмблемы вермахта, вытканной над правым карманом его кителя, — к этой птичке я настолько привыкла, что… Есть вещи самые неприятные, вы понимаете, которые если видишь очень часто, то постепенно как-то перестаешь их замечать.

Дорнбергер, слушавший Людмилу очень внимательно, продолжал молча смотреть на нее еще с полминуты после того, как она умолкла.

— Ну что ж! — воскликнул он, словно вдруг спохватившись. — Тем лучше, будем осуществлять нашу программу…

Они прошли под аркой ворот, остановились. Перед ними в торжественном и безлюдном великолепии лежал парадный двор Цвингера — расчерченная дорожками стриженая зелень, фонтаны, барочная лепнина павильонов.

— Старик Иоахим гнал меня именно сюда, — сказал Дорнбергер, оглядываясь. — Стань, говорит, посередине, оглянись — и ты поймешь все убожество нашего времени. Не совсем, правда, понимаю, зачем для этого приходить в Цвингер… Итак! Если вы рассчитываете затащить меня ту-

да, — он указал на внутренний фасад картинной галереи, — то я окажу стойкое сопротивление. Вечером мне уезжать, и единственный день…

— Я никак не могла бы вас затащить, — перебила она, — потому что галерея давно закрыта.

— Какое счастье. Представляете — в такую погоду ходить на цыпочках по всем этим залам и шепотом обмениваться благоговейными замечаниями: «Какой колорит!», «Ах, обратите внимание на композицию!».

— Не знаю, — сказала Людмила сухо. — Мне было интересно. Я еще успела в прошлом году, в мае… профессор меня провел как родственницу, посетителей уже не пускали, но он поговорил с главным куратором. Картины еще были на месте. Вы уезжаете сегодня?

— Сегодня вечером.

— На фронт?

— Э нет, теперь мы прочно окопались в тылу. На фронте я свое уже отбарабанил.

— Профессор говорил, вы были в Сталинграде.

— Так точно, имел удовольствие.

— И на Украине тоже?

— Нет, прямо из Африки. Так куда мы пойдем?

— Я не знаю… Можно было бы просто погулять, но если вам трудно — с ногой…

— Трудновато, конечно, но я утешаю себя тем, что без ноги было бы еще труднее. Нет, с ней я уже освоился. Это как раз одна из тех неприятных вещей, о которых вы только что говорили: привыкнешь и перестаешь замечать. Хожу я охотно, во всяком случае, мне это необходимо — указание врачей.

— Тогда идемте. Нет, вон туда — направо, через Павильон курантов…

Они вышли на Зофиенштрассе и свернули налево, к набережной.

— Из этой конторы я вам звонил, — сказал Дорнбергер, указывая на Ташенбергский дворец. — Здесь помещается штаб округа. Дело, с которым меня прислали, оказалось сущим пустяком — мне хватило четверти часа, и я тут же подумал о вас… Красивое здание. Напоминает один римский палаццо — стоял прямо напротив моего отеля. Я однажды был в Риме, еще до войны. Сейчас просто не верится.

— Вы до войны много путешествовали?

— Я? Ну что вы, когда мне было путешествовать. Я окончил университет в тридцатом году, сразу женился… И восемь лет работал как проклятый. В Рим меня пригласили на конференцию — сам бы я никогда не выбрался. Кто объездил весь свет,

так это старик.

— Да, он рассказывал… Ваша жена тоже сейчас в Берлине?

— Кто, жена? — Он присвистнул совершенно по-мальчишески. — Если я вам скажу, где сейчас эта дура, вы сядете на тротуар. Она уже давно в Лиссабоне! Смылась этим летом. В мае — я еще долечивался — вдруг получаю от нее письмо: приезжай срочно, надо поговорить. Вообще-то, мы расстались еще до войны, но эпизодически общаемся. Хорошо, надо так надо; приезжаю, — и что вы думаете? — она начинает уговаривать меня уехать из Германии. Я, естественно, отказался, так она решила драпануть в единственном числе. Да нет, неплохая, в сущности, женщина, только глупа как амеба…

Свернув за угол замка, по направлению к Георгиевским воротам, они прошли под изящной галереей, переброшенной от замка к церкви на уровне второго этажа. Дорнбергер остановился, закинул голову.

— Это что, курфюрсты этим путем ходили спасать душу? — спросил он. — Я вижу, их светлости не очень-то себя утруждали.

— Особенно удобно зимой, правда? Снег или дождь — все равно, можно не одеваться. Господин

Дорнбергер…

— Да?

— Вы сказали — ваша жена уговаривала вас уехать из Германии… У вас действительно была такая возможность?

— Сомневаюсь, — отозвался он, продолжая стоять с запрокинутой головой и оглядывая статуи нижнего яруса. — Не знаю, впрочем, возможно, она могла бы меня вызвать… под каким-нибудь предлогом. Официально они ведь выехали в Испанию на съемки. Смотрите, а вон тот, с посохом, — выразительная фигура, верно?

— Отсюда плохо видно, надо издали — в бинокль. А вы поэтому и отказались, что это было трудно осуществить?

— Нет, я вообще не уехал бы. Ну, пошли! Ага, вот и Георгентор. Отсюда, если не ошибаюсь, можно выйти прямо на Альтмаркт?

— Да, по Шлоссштрассе…

— Видите, город я помню довольно прилично. И мне особенно запомнился именно Альтмаркт. Знаете почему? Я иногда приезжал сюда на лето, к старикам, когда учился в старших классах гимназии; ну, у меня здесь завелись, естественно, местные знакомства — такие же сопляки, нам тогда было лет по четырнадцать-пятнадцать.

Так вот, на Альтмаркт мы ходили предаваться разгулу — там на углу Иоганнштрассе было такое кафе, а внизу табачная лавка, я даже помню ее название — «Хасифа», мне оно представлялось очень турецким, можно было вообразить себе роскошную одалиску, возлежащую с кальяном. В этой «Хасифе» нам иногда тайком продавали сигареты, — вообще-то, не полагалось по возрасту. Мы запасались куревом, поднимались на второй этаж в кафе, сидели и дымили, как взрослые…

— По-моему, эта лавка и сейчас там. Рядом с москательной торговлей? Да, я видела, я там часто проезжаю трамваем.

— Неужели осталась? А давайте сходим, — предложил Дорнбергер, схватив ее за руку. — Интересно, знаете, побывать в местах своего детства.

— Лучше в другой раз, хорошо? Не обижайтесь, но… Мне бы не хотелось туда сейчас. Идемте посидим на террасе: хотя вам и рекомендуют ходить, лучше, наверное, делать это с перерывами. Да и я тоже немного устала…

Она вдруг сообразила, что говорить «в другой раз» не следовало — получается, что она рассчитывает на такие прогулки и в дальнейшем, а вот отказать ему в посещении Альтмаркта — это,

напротив, могло обидеть, но тут уж она ничего не могла с собой поделать. Он, однако, если и обиделся, то ничем этого не проявил. Они обогнули церковь, направились к лестнице; Людмила предложила считать ступени, загадав про себя, что хорошо бы получился чет. Поднявшись наверх, она вопросительно глянула на Дорнбергера.

— Сорок две, — сказал он.

— Странно, у меня получилось сорок одна. Вы загадали?

— Да, на нечет.

— Странно, — повторила она. — Я загадала на чет и насчитала нечет, а вы наоборот. Какие-то мы оба невезучие. Красивая лестница, правда?

— Красивая, — согласился Дорнбергер, переводя взгляд с одной бронзовой группы на другую. — Только этих аллегорий я не понимаю.

— Чего же тут не понимать? Это четыре времени суток: здесь «Утро» и «День» — пробуждение, труд, поэтому у него заступ, — а вон там внизу «Вечер» и «Ночь». Вон, сидит и спит, видите? А вообще, эту лестницу приказал построить русский губернатор Дрездена. До него сюда публику не пускали, это было — как сказать? — частное владение.

— Русский губернатор Дрездена, — повторил

он, смакуя слова. — Что ж, сейчас это уже звучит не так фантастично, как год назад. Сядем, вы хотели отдохнуть…

На террасе тоже было немноголюдно, они нашли свободную скамью. Слепящей солнечной рябью сверкала Эльба, желтые игрушечные трамваи бежали по Мариенбрюкке, справа уходил под средний пролет моста Каролы маленький белый пароход со сложенной назад трубой.

— Вы, наверное, проголодались? — спросил Дорнбергер.

Людмила молча мотнула головой, не отрывая глаз от реки.

— Позже пойдем куда-нибудь пообедаем, у меня есть талоны.

— Нет, — сказала она, — пойти мы никуда не можем, у меня карточек нет. И вообще, зачем рисковать? Если меня поймают без знака «ост», у вас тоже могут быть неприятности.

— Простите, не понял, — сказал он озадаченно. — Какой риск, какие неприятности? И о каком знаке вы говорите?

Людмила посмотрела на него, усмехнулась и раскрыла сумочку.

— Вот о таком. — Пошарив внутри, она вынула и показала ему прямоугольный, размером в ла-

донь, ярко-синий лоскут с широкой белой каймой и белыми крупными буквами «OST» посредине. — Господин капитан никогда этого не видел?

— Ах вот что… Нет, почему же, я видел, разумеется, но… Мне казалось, я думал, что это носят в лагерях, — честно говоря, не очень интересовался…

— Нет, это носят не только в лагерях. Это должны носить все абсолютно, и я в том числе, и если меня застанут без этой штуки на улице, могут отправить в настоящий лагерь — уже не трудовой, а то, что у вас называют «кацет».

— За то, что вы выйдете на улицу без этой штуки? — спросил он недоверчиво.

— Да, нас специально предупреждали. Другое дело, что следят за этим не очень строго… И если хозяева не настаивают, большинство наших девушек, занятых в домашнем хозяйстве, нарушают правило. Но это опасно. Я всегда ношу эту штуку с собой — и иголку с ниткой тоже; если вдруг что-нибудь случится — какая-нибудь облава, проверка, — я всегда могу забежать хотя бы в туалет и быстро пришить. Иначе…

— Черт побери, — сказал он растерянно. — Я не знал, Люси… честное слово, понятия не имел! Ну хорошо, а… если это носить — что практически…

— Практически это значит, что сегодня меня уже десять раз остановили бы и спросили, что я делаю на улице в рабочее время и не в воскресенье, и есть ли у меня письменное разрешение хозяина находиться вне дома, и как я вообще оказалась в компании немецкого офицера. Вас, кстати, спросили бы о том же относительно меня. Почему это капитан германского вермахта… Ладно, не будем об этом говорить. Это я просто в связи с вашим приглашением пойти пообедать! — Людмила спрятала бело-синий лоскут обратно в сумочку и улыбнулась немного натянуто. — А поесть мы можем у нас. Вернемся, и я быстро что-нибудь приготовлю из консервов. Хорошо?

— Да, да… Поверьте, я и предположить не мог! Ну хорошо, а вот просто люди здесь, в Дрездене, — обычные люди, с которыми вам приходится сталкиваться… Понимаете, такие вот идиотские правила — это идет сверху, что тут можно сказать, они там настолько уже обезумели, что к их поступкам вообще нельзя подходить с обычными человеческими мерками. Меня интересует, как к вам относятся рядовые немцы, все вот эти… — он полуобернулся и широким жестом обвел площадь с трамваем, сворачивающим к мосту, с прохожими, велосипедистами, — простые дрез-

денцы, — относятся ли они к вам враждебно? К вам и — я беру шире — вообще к вашим соотечественницам?

Людмила помолчала.

— Трудно сказать, — отозвалась она наконец. — Конечно, таких, как Штольницы, мало, я думаю. Мне приходилось говорить с девушками, хозяева которых относятся к ним очень плохо. К другим — так себе. Лично я — на улице, в магазинах — с особой враждебностью, пожалуй, не сталкивалась. С неприязнью — да, часто. Особенно раньше: я хуже говорила по-немецки и у меня был акцент, и когда стоишь в очереди — знаете, там все такие раздраженные, я, в общем, могу понять — положение этих женщин действительно тяжелое, — так вот, я хочу сказать, что в очередях на меня иногда ворчали, ругали даже. О, я не обращала внимания, но все-таки… А один раз выгнали из трамвая, — правда, это был мальчишка, хайот; профессор потом сказал, что это не показательно…

Дорнбергер хмыкнул с сомнением, покачал головой:

— Как сказать! Пожалуй, они-то сегодня как раз показательны… куда больше, чем сам профессор.

— Не знаю, — сказала Людмила задумчиво. —

Такое можно рассматривать и как болезнь — вы согласны? Как временное отклонение от нормы.

— Да, уж отклонились мы — дальше некуда. Я почему спросил об отношении рядовых немцев… Понимаете, все это невероятно трагично. Я даже не о войне сейчас, не о количестве убитых и тому подобных вещах. Я думаю о том, что… пройдет много лет, двадцать, тридцать, и все равно останется ненависть одного народа к другому — ненависть, недоверие, мстительные чувства. Это самое страшное.

— Да, я понимаю вас… Это, наверное, действительно останется надолго. Себя я не имею в виду: даже если бы здесь я каждый день встречалась на улицах с такими, как тот гитлерюнге, все равно мне при слове «немцы» будут вспоминаться профессор или фрау Ильзе. Может быть, такие мальчишки более показательны теперь, вы правы, но это, как бы это сказать, — это показательно скорее для времени, понимаете? Это больше показывает время, сегодняшнюю эпоху, чем настоящий характер народа. Я, лично я, — она для убедительности приложила руку к груди, словно опасаясь, что он не поймет, — думаю так. Но таких, как я, очень мало. Вернее, в таком положении, как я. Та девушка, что работала в рыбной

лавке, — это одна моя знакомая, к ней очень плохо относились, — у нее, конечно, останутся совсем другие воспоминания о немцах. А вы думаете, профессор типичен для сегодняшней Германии?

Дорнбергер пожал плечами:

— Как может один человек быть типичным для целого народа? Штольниц, мне кажется, типичен для определенного, очень узкого круга немецкого общества. Я говорю «мне кажется», потому что сам я никогда к этому кругу не принадлежал, я с ним только соприкасался. Для этого круга Штольниц типичен. А насколько сам круг типичен для немецкого общества в целом… В общем, конечно, нет. Такие люди, как Штольниц или мой покойный тесть доктор Герстенмайер… Разумеется, у них мало общего с баварским крестьянином или шахтером из Рура…

— Но ведь это все же один народ…

— «Один народ, один рейх, один фюрер». — Дорнбергер усмехнулся. — Не очень я верю в такую штуку, как «один народ» — в смысле единства духа. У каждой общественной группы свои потребности и свои идеалы… или их отсутствие. Во всяком случае, та группа, о которой мы сейчас говорили, — интеллектуалы старой школы типа Иоахима фон Штольница, — она становится с

каждым годом малочисленнее и, следовательно, менее типичной. Нацистов этот тип людей не устраивает больше всего, поэтому они заранее предприняли все меры, чтобы он не восстанавливался. Расчет на физиологию: состарятся, перемрут, и дело с концом. А чтобы их потомство выросло иным, об этом позаботятся. Вам приходилось встречаться с Эгоном?

— Да, к сожалению. Он приезжал в отпуск этой весной.

— Ну вот вам и пример.

Людмила оглянулась — вокруг никого не было, старичок дремал на отдаленной скамейке, пригревшись на солнце, но ей было не по себе.

— Мы с вами ужасно осмелели, — сказала она негромко, — сидим лицом к парапету и говорим такие вещи. Сзади может кто-то подойти, и мы не заметим, а он все услышит…

— И угодим мы с вами в то самое, недавно упомянутое вами место, именуемое в просторечии «кацет». Здесь, например, неподалеку есть такой Хонштейн, своего рода достопримечательность — один из первых в Германии.

— Что же тут веселого?

— Да ничего, конечно, но только гестаповские ищейки не шныряют по улицам, прислушиваясь

к случайным разговорам. Их труд лучше организован.

— А вы еще не проголодались?

— В общем, да, но жаль хорошей погоды, просто не хочется в такой день сидеть под крышей.

— Давайте тогда сделаем так — пройдемся еще немного, я вам покажу одну симпатичную вещь, и поедем домой. Трамваем, если у вас устанет нога.

— Слушаюсь!

Пройдя дальше по террасе, они спустились боковой лестницей в узенький переулочек, выходящий к церкви Фрауэнкирхе.

— Я вот не знаю, какая красивее, — сказала Людмила, остановившись у памятника Лютеру. — Хофкирхе легче и изящнее, но эта такая величественная. Профессор говорит — их вообще нельзя сравнивать, это все равно что сравнить Россини и Генделя…

— Каменный купол производит, правда, странное впечатление. Обычно они бронзовые, а?

— Нет, ну этот зато очень своеобразный, что вы… Я где-то читала, что когда Дрезден осаждали пруссаки — не помню точно, в тысяча семьсот каком-то, — то здесь спряталось много людей, а пушечные ядра отскакивали от купола

без всякого ущерба…

— Вы это и собирались мне показать?

— Нет, нет, идемте. Я знаете о чем хочу спросить… Вы тогда сказали, что не уехали бы отсюда, даже если бы была такая возможность, я правильно вас поняла?

— Совершенно правильно.

— Но… вы ведь говорите все время как человек… ну, не согласный с тем, что происходит в Германии. Думаю, что и в этом случае я поняла вас правильно.

— Совершенно правильно, — повторил Дорнбергер. — Сегодня, пожалуй, труднее встретить человека согласного.

— Но почему в таком случае вы не уехали вместе с женой?

— А почему я должен был уехать? Разве все несогласные уезжают? Ваш профессор тоже не согласен, насколько мне известно.

— У него нет возможности. И потом… это другое дело — старые люди, им трудно было бы расстаться с родиной.

— Как будто молодым легче. Вы что, со своей расстались легко и весело? Вот уж никогда не считал патриотизм возрастным чувством.

Людмила беспомощно промолчала — не могла

же она сказать ему, что родина родине рознь и нельзя проводить параллель между страной свободной и страной, порабощенной фашистами.

— Патриотизм может проявляться по-разному, — сказала она немного погодя.

Выйдя на Морицштрассе, они шли сначала по левой стороне, но солнце здесь так припекало, что пришлось перейти на теневую. Там, на террасе, зной умерялся веявшей от реки прохладой, но улицы были раскалены.

— Какая глубокая мысль, — с уважением сказал Дорнбергер, — надо будет непременно записать. Слушайте, а мороженого в Дрездене можно поесть без карточек?

— Не знаю, — обиженно отозвалась Людмила. — Был какой-то итальянец, но его, говорят, закрыли: покупал яйца на черном рынке.

— Бедняга. То-то я не вижу флагов! Как раз сегодня обратил внимание: ни одного флажка.

— Каких еще флагов?

— Тех, что вывешивают мороженщики. Вывешивали, точнее сказать. До войны каждый лавочник, который продавал мороженое, вывешивал у двери цветной флажок — розовый, фисташковый, всех цветов. Летом они пестрели по всем улицам. А сегодня смотрю — чего-то не

хватает… Воображаю, черт побери, какие грандиозные пломбиры лопает сейчас в Лиссабоне моя экс! Пожалуй, Люси, вы правы — мне тоже следовало уехать. Что за проклятая страна, мороженого и того не организовать.

— Господин капитан! — воскликнула Людмила, остановившись посреди тротуара. — Если вы обнаружили, что я глупа и со мной нельзя говорить всерьез, то не стоит продолжать эту никому не нужную прогулку. Прощайте!

Она быстро пошла — едва удерживаясь, чтобы не побежать, — назад, к трамвайной остановке; они только что миновали перекресток на Иоганнштрассе, и Людмила увидела трамвай, идущий от Пирнаишерплац. Ее тут же схватили за локоть, и довольно крепко.

— Ну перестаньте, — сказал Дорнбергер, с силой поворачивая ее к себе. — Что мне, и пошутить уже нельзя? Если это показалось вам обидным — смиренно прошу прощения. Мне в голову не могло прийти счесть вас глупой, напротив, вы мне представляетесь умной девушкой — для своего возраста. Просто меня рассмешило, когда вы так торжественно изрекли банальную мысль: «Патриотизм может проявляться по-разному». Ведь это же все равно что сказать: «День

существенно отличается от ночи по количеству солнечного света». Ну, всё! Помиримся, и не вздумайте больше убегать — все равно догоню. Вы мне пообещали кормежку, а я таких случаев не упускаю. И вообще, девушке хмуриться не к лицу, она должна всегда радовать глаз — как цветок майским утром.

Людмила пожала плечами и продолжила путь вместе с ним. Нет, все-таки он ужасно нелепый. И наверное, если копнуть, в нем найдешь массу мелкобуржуазных предрассудков. Но что делать! — бытие и впрямь определяет сознание. Чего можно ждать от офицера фашистской армии?

— Так поясните, прошу, вашу мысль насчет различных проявлений патриотизма, — сказал он, легкомысленно обмахиваясь фуражкой.

— Я просто хотела сказать, что отказ от эмиграции — это еще не самый действенный способ выразить любовь к отечеству.

— Конечно, есть куда более действенные. Это я понимаю.

— Но тогда, очевидно, надо быть последовательным, согласитесь.

— То есть действовать самому? — поинтересовался он.

Людмила молча пожала плечами, давая понять, что тут и спрашивать нечего.

— Вообще-то, логично, — согласился он. — Но это уж вы, прошу прощения, слишком многого от меня хотите.

— Я от вас вообще ничего не хочу, — сказала она выразительно. — Это вы попросили меня пояснить мысль!

— Да, верно, верно…

Господи, да чего с него взять, подумала она снова. Профессор говорил ведь, что он чуть ли не со студенческих лет отличался полным равнодушием к политике — типичный ученый обыватель. Понятно, почему не уехал и не собирается уезжать. Так спокойнее! Тем более что фронт ему больше и в самом деле не грозит…

На этой мысли она споткнулась. Теперь-то не грозит, это верно, но ведь он уже был на фронте с самого начала войны — и в Африке, и под Сталинградом. Обыватель, пожалуй, постарался бы этого избежать. А может быть, он просто оголтелый шовинист? Она искоса глянула на него с подозрением, но по лицу было не понять, шовинист или не шовинист. Лицо как лицо, не слишком арийское, нос мог быть и покороче. И хорошо, что волосы темные, а то была бы еще одна белокурая

бестия. Нет, Эгона он не напоминает нисколько — тот красив, но на редкость несимпатичен, этот же, скорее, наоборот… Дорнбергер, словно почувствовав на щеке ее взгляд, тоже покосился, почти не поворачивая головы, и вдруг подмигнул самым непозволительным образом.

— Не надо смотреть на меня с таким отвращением, — сказал он.

— Я не смотрю на вас с отвращением. Это просто любопытство.

— Правда? Я польщен, Люси, даже если это любопытство не очень благожелательное. Да и с чего ему быть благожелательным, верно?

— Действительно, с чего бы. Ну, вот мы и пришли. Туда, пожалуйста, за угол.

— Что это за здание?

— Это ратуша, я вам тут хотела показать пьяного осла.

— Пьяного кого? — изумленно переспросил Дорнбергер.

— Осла, это такая статуя. Вы не помните? У входа в погребок — Дионис на пьяном осле; собственно, они оба пьяны, но ослик более явно…

Когда подошли к спуску в «Ратскеллер», Дорнбергер вспомнил — да, конечно, бывал и здесь и этих забулдыг помнит, они ведь некоторым

образом местная знаменитость, даже какие-то стишки сложены в их честь. Оба действительно были уже хороши, но у Диониса опьянение выражалось главным образом в том, что он невесть с чего взгромоздился на лежащего осла, явно не собираясь никуда ехать, поскольку осел лежал и тоже никуда не собирался. Уши у осла были упрямо прижаты, губы распущены в блаженной пьяной ухмылке — он откровенно посмеивался над своим седоком.

— Ужасно симпатичный, — сказала Людмила, погладив осла по своенравно поджатой передней ноге. — Я никогда не видела такой выразительной скульптуры животного! Вам нравится?

— Да, зверь приятный, — согласился Дорнбергер. — Но его хозяин недвусмысленно приглашает выпить — согласитесь, что жест, каким он поднимает чашу, тоже достаточно выразителен. Зайдемте, Люси, здесь нас обслужат и не спросят никаких карточек, вот увидите.

— Нет, нет, я же сказала. Сейчас мы едем домой, и я за полчаса приготовлю обед… Идемте. Я вижу, ослик не произвел на вас впечатления — жаль, мне он так нравится.

— Я ведь, знаете ли, плохой ценитель, — извиняющимся тоном сказал Дорнбергер. — Искусство

для меня всегда было чем-то… не знаю даже, как определить. В общем, мне всегда казалось, что в нем слишком много шарлатанства. Жена одно время увлекалась современной живописью, вечно бегала по выставкам — это было еще до нацистов, художники выставлялись свободно, — и дома у нас постоянно толклись всякие знатоки. Так вот, я волей-неволей — когда бывал дома — слушал их споры, и мне стало ясно, что в искусстве можно заниматься чем угодно. Можно просто морочить всем голову, и всегда найдутся критики, чтобы объявить тебя великим мастером. Правда, другие станут утверждать, что ты бездарное ничтожество, но это никого не смутит, а успех будет обеспечен. Я, конечно, не сравниваю с этим вашего осла — эта штука хорошо сделана. А кто ее соорудил?

— Я не помню сейчас — профессор называл мне фамилию; он вообще много работал в Дрездене, вон те львы со щитами — это тоже его. Наверное, любил зверей. Вы зверей любите?

— Теоретически, — подумав, сказал Дорнбергер. — Держать самому не приходилось. У жены, правда, что-то было — кошка, если не ошибаюсь. Или собака.

— Но как можно спутать кошку с собакой? —

Людмила рассмеялась. — Разве что с очень маленькой…

— Нет, просто это было давно. У вас дома была, наверное, собака?

— Нет. — Людмила покачала головой. — Мама была против, считала это… не знаю, негигиеничным, что ли… — Она не договорила, замолчала.

Подошел трамвай, они доехали до Пирнаишерплац, пересели на другой. Людмила продолжала молчать. Уже на Остра-аллее, подходя к дому, Дорнбергер спросил:

— Вы чем-то обижены, Люси?

— Нет, нет, что вы. — Она улыбнулась немного через силу. — Простите и не обращайте внимания, это я просто так… Знаете, о чем я хотела спросить — профессор говорил, что вам приходится много ездить, — вы сейчас не бываете на Украине?

— Нет, моя служба связана с поездками внутри рейха. А что, Люси?

— Да нет, я просто подумала: если бы вы ездили, может быть, смогли бы завезти письмо…

— В ваш город?

— Да, у меня там осталась подруга, — я писала несколько раз, никакого ответа. Или с ней что-то случилось, или письма не пропускают.

— Последнее тоже вероятно. — Дорнбергер помолчал, потом сказал: — Приготовьте письмо, я попытаюсь найти оказию. Если от нас кто-нибудь будет ехать в группу армий «Юг», можно попросить заехать и передать. Приготовьте письмо сегодня же — вы не забыли о своем обещании относительно обеда?

— Нет, сейчас все будет сделано.

— Прекрасно, потом я должен буду вас покинуть, вы напишете письмо, а вечером я за ним заеду — по дороге на вокзал. Поезд у меня в двадцать два с минутами, так что времени будет достаточно. Я, конечно, постараюсь заехать не в самую последнюю минуту.

— Огромное вам спасибо, господин Дорнбергер.

— Не за что пока, я не гарантирую, что это получится. Только давайте договоримся: во-первых, не надо называть меня так официально. Меня зовут Эрих. Я ведь называю вас по имени — не так ли? Во-вторых, на всякий случай не пишите в письме ничего недозволенного. Я, естественно, постараюсь найти человека порядочного, но мало ли что…

— Я понимаю! Я просто сообщу, где я и что со мной.

— Да, без подробностей. В следующий свой приезд я, наверное, уже смогу вам что-то сообщить.

В лифте, глядя на медленно оплывающие вниз узорные решетки ограждения, она спросила, когда примерно рассчитывает он снова быть в Дрездене. Трудно сказать, ответил он, но, возможно, где-нибудь в пределах полутора-двух месяцев. Целых два месяца! Людмила подумала, что они будут для нее очень долгими, и не только из-за ожидания известий о Тане.

— Может быть, вы сумеете придумать себе какую-нибудь внеочередную командировку пораньше, — сказала она небрежным тоном, когда лифт остановился.

Часть вторая
Глава 1

После нападения Гитлера на Советский Союз ни одно событие Второй мировой войны не изменяло ее хода так круто и необратимо, как это сделала Курская битва.

Вермахту случалось терпеть поражения и раньше. Был катастрофический провал наступления на Москву, были серьезные неудачи под Ленинградом и на Кавказе; был, наконец, Сталинград. Но, даже потеряв на Волге четверть миллиона своих солдат, с подорванными тотальной мобилизацией производительными возможностями тыла и заметно пошатнувшейся моралью, Германия к началу рокового для нее лета 1943 года все еще удерживала инициативу боевых действий на Восточном фронте.

Последним проявлением этой инициативы суждено было стать операции «Цитадель».

Ни на один из своих прежних оперативных планов не возлагал Гитлер таких надежд — и никогда так не страшился неудачи. Он понимал: эта надежда — уже последняя, еще одного шанса

судьба ему не подарит.

Как это нередко бывает с самыми оголтелыми авантюристами, Гитлеру была свойственна тщательно скрываемая нерешительность. Втайне его пугал размах собственных замыслов. Кидаясь очертя голову в неизвестное, он подчас делал это просто для того, чтобы заглушить в себе шепоток страха, и при этом заглушал голос рассудка. Все его планы, если разобраться, по сути дела, недодуманы в чем-то самом главном, и эта всегдашняя недодуманность целого наряду с мелочно-дотошной разработкой деталей производит странное впечатление чего-то двоящегося, расщепленного.

Мышление Гитлера действительно было расщеплено, как бы разорвано противодействующими психическими доминантами: маниакальной устремленностью к некой вынесенной далеко вперед цели и подсознательным пониманием ее конечной недостижимости. Тайная неуверенность и страх всегда мешали ему трезво, во всех возможных вариантах, продумать заранее последствия того или иного шага — как говорят шахматисты, на несколько ходов вперед. Вот этого-то умения у него никогда и не было — не случайно он презирал шахматы, считая их ковар-

ной иудейской игрой.

Принципиально отвергнув расчет как главный элемент стратегии, заменив его мистической интуицией в сочетании со ставкой на «тевтонскую ярость», Гитлер не мог в то же время не понимать, насколько ненадежен подобный метод ведения современной механизированной войны. Отсюда — его неизменные колебания перед каждым очередным ударом, всегда предшествующий этому период сомнений, оттяжек, внезапных переносов дня «Д» с одной намеченной даты на другую. Назначенное на 26 августа нападение на Польшу было отложено в последний момент, когда войска уже двигались к границе; Гитлер долго не решался начать Западный поход, более десяти раз откладывал вторжение во Францию: менялась и переносилась дата агрессии против Советского Союза; откладывались и сроки операции «Цитадель».

Ее откладывали под разными предлогами — неготовность техники, распутица, неблагоприятные прогнозы синоптиков, — но все это были лишь предлоги. Истинная причина лежала глубже: фюрер опять боялся, и на этот раз более, чем когда-либо. Слишком многое было поставлено на эту последнюю карту, и он это понимал — даже

не рассудком, а тем своим безошибочным звериным чутьем, которым так гордился, видя в нем особый, осеняющий лишь избранных дар свыше, и которое действительно не раз предупреждало его об опасностях, — он уже всем своим нутром чуял приближение самого кризисного момента войны. Он прекрасно понимал, что именно теперь и именно там — на этой холмистой, до последнего овражка изученной им по аэрофотоснимкам равнине между Орлом и Белгородом — будет окончательно решен вопрос, быть или не быть его «тысячелетней империи»…

И это понимал не только Гитлер. Весь мир затаил дыхание, когда утром пятого июля шестнадцать ударных дивизий двинулись на Курск с юга и севера, начав самое массовое и самое жестокое из всех сухопутных сражений Второй мировой войны. Поэтому, когда неделей позже окончательно определился его исход, когда уже неоспоримым фактом стал катастрофический провал немецкого оперативного замысла — случилось именно то, чего втайне так боялся Гитлер: под ударами сейсмических волн, рожденных в эпицентре Курской дуги, глубокие трещины пошли по всему фундаменту фашистской «новой Европы».

Раньше и сильнее, чем где-либо, это почувствовалось на родине фашизма, в Италии. Двенадцатого июля немецкие войска вынуждены были перейти к обороне под Орлом и Белгородом, а уже через две недели в Риме пал режим Муссолини. Диктатор был арестован по приказу короля. Хотя новый глава правительства, маршал Бадольо, и заявил официально о том, что Италия продолжает вести войну на стороне Германии, все понимали, что это лишь пустые слова. Союзник номер один выбыл из игры.

Почти одновременно с этим на другом конце Европы открыто взбунтовались финны — куда более надежные, казалось бы, товарищи по оружию: сейм единодушно одобрил и направил президенту меморандум с требованием выхода Финляндии из войны. Грозные подземные толчки были зарегистрированы чуткими перьями дипломатов-разведчиков в Женеве, Стокгольме и Лиссабоне: стало известно, что румыны и венгры зондируют возможности сепаратного мира. Еще недавно казавшийся монолитным как скала блок гитлеровских сателлитов превращался в шаткий фанерный балаган.

Для заговорщиков в ОКХ события, столь стремительно развернувшиеся после провала «Цита-

дели», отнюдь не были неожиданностью. Но, как это нередко случается, радикальное изменение обстановки застало врасплох даже тех, кто его предвидел.

Именно теперь, когда Германия оказалась перед фактом уже неминуемого военного поражения, когда стала очевидной вся преступная бессмысленность жертв и лишений, — именно теперь настало время открыто выступить против руководства, приведшего страну на край гибели. От слов надо было перейти к действию — но действовать было некому, не было исполнителя. Ни один из заговорщиков не принадлежал к ближайшему окружению Гитлера и не имел доступа в ставку, рассчитывать приходилось лишь на какие-то случайные оказии — вроде того мартовского совещания в Смоленске, когда Тресков предпринял неудачную попытку взорвать самолет Верховного главнокомандующего.

Мало того. Заговорщики имели, в общем, весьма расплывчатое представление о том, что же, собственно, предстоит им сделать после устранения фюрера. Кое-кому устранение-то и представлялось главной задачей, чуть ли не целью заговора: пришибить это исчадие, эту каналью, этого наглого, зарвавшегося ефрейтора,

а все остальное уладится само собой. Должны же наконец, черт побери, взять верх исконные немецкие добродетели — здравый смысл, умеренность, уважение к порядку. Не исключено, что примерно так и представлял себе это в марте тот же Тресков, подсовывая адъютанту фюрера посылочку с английской «замазкой». Если бы спустя тридцать минут в штаб поступило сообщение о гибели самолета, он должен был известить об этом коллег в Берлине — передать им эстафету. На этом его миссия кончалась. Что конкретно должны были делать в таком случае люди Ольбрихта, он уже не знал — отчасти по конспиративному правилу «ограниченной осведомленности», а отчасти и потому, что это плохо представлял себе и сам Ольбрихт. В принципе, должна была быть задействована «Валькирия», а дальше уж — как получится…

С тех пор прошло полгода, но планы заговорщиков не стали за это время ни более четкими, ни лучше разработанными. Можно подумать, что и на них лежал отпечаток той же фатальной недодуманности, что отличала вообще все стратегические разработки гитлеровского командования. А в сущности, почему бы и нет? Безумие заразительно, и фюрер вполне мог при-

вить сотрудникам Генштаба свою одержимость «интуицией», презрение к трезвому расчету.

Так или иначе, но осенью сорок третьего года — в самый благоприятный момент, когда партийное руководство Германии еще не оправилось после орловско-белгородской катастрофы и последовавшего за нею крушения альянса с Италией, — заговорщики не предприняли ничего, чтобы попытаться достичь своих целей. Если учесть размах заговора хотя бы в высших военных кругах, это бездействие может показаться странным — но оно легко объяснимо. Во-первых, у заговорщиков не было четко сформулированной конечной цели, то есть программы действий. Во-вторых, среди них не было пока человека, способного действовать и организовать действия других. Иными словами, заговор еще не имел руководителя.

Подполковник службы Генерального штаба Клаус граф Шенк фон Штауффенберг закончил курс лечения только в середине сентября. Собственно, не совсем даже закончил; для протезирования левой руки требовалась еще одна операция, но он от нее отказался. «О протезах будем думать после победы, — сказал он своему хирургу, — сейчас есть заботы поважнее». На-

вестив семью в Бамберге, он приехал в Берлин и первого октября приступил к исполнению обязанностей на новом месте службы — в общевойсковом управлении Главного командования сухопутных войск.

Среди представленных ему на Бендлерштрассе сослуживцев оказался и тот физик, о котором недавно говорил Фабиан. Физика подполковник помнил еще по Франции. По правде сказать, тот не показался ему тогда особенно интересным человеком: не нацист, конечно, и вел себя вполне порядочно, но было в нем что-то такое… какая-то ограниченность, что ли. Да, именно — ограниченность интересов. Жалея таких людей, Штауффенберг втайне относился к ним несколько свысока. Ничего не мог с собой поделать — они были ему просто неинтересны. И именно к ним он всегда вменял себе в обязанность быть вдвойне внимательным, это было своего рода покаяние: относиться свысока к кому бы то ни было граф считал признаком душевного плебейства.

Сейчас он поздоровался с капитаном Дорнбергером особенно сердечно и без усилия над собой. Ему в самом деле приятно было вспомнить идиллические времена службы в 6-й танковой — Франция, сороковой год, когда война казалась

чуть ли не джентльменским видом спорта. Каким он был тогда болваном, сколько вздора бродило у него в голове, стыдно вспомнить… А Дорнбергер, тогда еще лейтенант, не разбирался в поэзии, это верно, зато во многом другом разбирался совсем не плохо и мысли высказывал весьма здравые — при всей своей «ограниченности». Так что не исключено, что Фабиан действительно знал, кого рекомендовать.

Ольбрихт, когда Штауффенберг поинтересовался его мнением о новом сотруднике, тоже отозвался положительно. Бернардис, сказал он, уже вводит капитана в курс дела, и успешно. Разговор шел без опасений, из штаба Ольбрихт привез подполковника в пустующую квартиру одного приятеля в районе Ванзее, надежно гарантированную от прослушивания (здесь даже не было телефона).

— Дорнбергера к нам направил абвер, — сказал генерал, — я поначалу опасался даже, что это их человек. Потом оказалось — нет, не имеет никакого отношения. Мне, признаться, это более по душе. Но почему они тогда о нем хлопотали, не могу понять. Вы думаете, так просто было вытащить его из-под Сталинграда?

— Да, его собирались использовать по другой

линии, насколько мне известно. Все это хорошо, вам удалось собрать неплохую группу, но — только прошу, поймите меня правильно! — это еще не организация. Пока это лишь… — Штауффенберг приподнял с подлокотника искалеченную левую руку и пошевелил пальцами (их было всего три), словно пытаясь нащупать в воздухе нечто неопределенное. — Я даже затрудняюсь определить, это скорее движение, что ли. Движение единомышленников… приблизительно знающих, чего они хотят. Или даже нет! Это просто сообщество людей, объединенных только отрицанием.

— Это уже не так мало.

— Для действия? Этого абсолютно недостаточно, экселенц, — возразил подполковник почтительным, но твердым тоном. — Смею вас уверить! Для того чтобы действовать, надо прежде всего четко видеть конечную цель. А мы пока знаем лишь, против чего готовы подняться; но — во имя чего?

— Странный вопрос, граф.

— Вы можете на него ответить?

— Разумеется: во имя блага Германии.

— Простите, не понял. Какую Германию вы имеете в виду — образца тысяча девятьсот девят-

надцатого? Или тысяча восемьсот семидесятого? Да и потом, что значит «благо Германии»? Адольф Шикльгрубер, например, совершенно непоколебимо уверен, что высшее благо Германии выражено формулой: «Один народ, одна империя, один вождь»…

— Что же вы предлагаете?

— К сожалению, пока ничего. Пока я могу лишь констатировать прискорбный факт отсутствия четкой положительной программы у людей, готовых совершить государственный переворот. Да еще во время войны! Большая ответственность, господин генерал.

— Неужели вы думаете, подполковник, — негромко спросил Ольбрихт, — что я ежечасно не ощущаю ее тяжести? Отсутствие программы — это плохо, согласен. Но что делать, мы не политическая партия! Армия всегда вне политики, это не ее дело… Хотя бывают случаи, когда армии приходится исправлять то, что натворили политиканы. Наша страна оказалась теперь именно в такой ситуации, и поэтому я сознательно иду на нарушение присяги, на государственную измену — не будем бояться слов. Сейчас нам приходится действовать… а с программой или без нее — это уже деталь. Программами пусть

потом занимаются штатские, — добавил Ольбрихт с примирительной улыбкой. — Рюмочку «кюммеля»?

Не дожидаясь ответа, он встал, подошел к буфету, раскрыл скрипучие дверцы. За высокими окнами уже смеркалось, но света не было — воздушную тревогу объявили час назад. Ольбрихт расставил на курительном столике бутылку, рюмки, ящичек с сигарами.

— Теща до сих пор не может примириться с нашей манерой пить, — заметил Штауффенберг. — Считает ее варварской.

— В каком смысле?

— Пить, ничем не закусывая. В России, говорит, так делают только безнадежные алкоголики.

— Любопытно. В самом деле, ваша супруга, кажется, отчасти русская?

— Ровно наполовину — тесть женился в России, когда был на дипломатической службе. Еще до первой войны.

— Да, да… Добрые старые времена, когда нашим дипломатам разрешали жениться на иностранках. — Ольбрихт вздохнул. — Барон фон Лерхенфельд, если не ошибаюсь? Я по долгу службы, как вы понимаете, ознакомился с вашим досье. Кстати, подполковник… графиня, надеюсь,

в курсе?

— О, лишь в самых общих чертах. Итак, возвращаясь к нашим баранам! Я надеюсь быть правильно понятым; не мне брать на себя роль ментора — ни по возрасту, ни по стажу участия я на нее не гожусь, — но иногда человеку со стороны кое-что бывает виднее. Экселенц, я не случайно заговорил о программе: ее наличие — это необходимая предпосылка к действию, я имею в виду серьезное действие, а не какой-нибудь путч…

— Минутку! — Ольбрихт прислушался, протянул руку к приемничку, настроенному на волну службы оповещения ПВО, и усилил звук. Бесстрастный женский голос говорил монотонно, без интонаций: «…северной полосе воздушного пространства рейха, угрожаемые районы Штральзунд, Анклам, Штеттин…»

— На сей раз мимо. — Ольбрихт прикрутил звук до едва слышного бормотания и обернулся к Штауффенбергу. — Значит, вы считаете…

— Да, я считаю, что нельзя действовать, пока нет программы, но и не действовать уже нельзя: у нас просто нет времени! Войну надо кончать немедленно, завтра будет поздно. Одно дело — предложить русским мир сейчас, когда мы

еще стоим на Днепре, удерживаем Кубань и Белоруссию…

— Кубань можете уже не считать, — перебил Ольбрихт, — ставкой принято решение эвакуировать Кубанский плацдарм до наступления холодов.

— Тем хуже! Однако Белоруссия и бо'льшая часть Украины пока у нас; в таком положении русские, может быть, еще стали бы с нами разговаривать — при условии, разумеется, что мы уберем Гитлера. Но вот когда они силой вышибут нас из своих границ — тогда уже ничто их не остановит до самого Берлина. Какой смысл вести переговоры с разгромленным противником? Его проще добить, загнав в угол, и русские это сделают. Кстати, с помощью англо-американцев! Потому что теперь можно не сомневаться: вторжение во Францию будет осуществлено в кратчайший срок.

— Не ранее лета, — заметил Ольбрихт, снова наполняя рюмки. — Десантную операцию такого масштаба нельзя провести даже весной — из-за частых бурь в Ла-Манше. Мы хорошо изучили этот вопрос, когда готовили «Морской лев».

— Прекрасно, — допустим, они высадятся в мае. А русские к тому времени будут уже в Польше,

у ворот Восточной Пруссии. Поймите же, экселенц! — как только первый вражеский солдат ступит на немецкую землю, переворот станет невозможен; поэтому с Гитлером надо кончать раньше. Это, кстати, само по себе не проблема — устранить одного определенного человека…

— Видите ли, граф… — Ольбрихт усмехнулся, — если этот человек занимает пост Верховного главнокомандующего, задача несколько усложняется.

— Не настолько, как может показаться на первый взгляд. Устройте мне возможность бывать в ставке — ну, хотя бы с докладами, — и я решу эту задачу в течение месяца. Но что будет потом? Вы говорите — программами пусть занимаются штатские. Согласен, если иметь в виду политические программы: нам просто не успеть с выработкой политической платформы нашего движения, тут уж ничего не поделаешь. Но вот программа действия, или назовем это диспозицией, — без нее не обойтись в любом случае. Допустим, фюрера уже нет, власть в наших руках, — что происходит в это время на Восточном фронте? А в Италии? Войска продолжают сражаться или по приказу складывают оружие? Кто конкретно отдаст такой приказ — новый

главнокомандующий? И подчинятся ли ему командующие группами армий? А положение в тылу? Во всех военных округах одновременно надо будет изолировать и обезоружить силы безопасности и СС…

— Именно это и позволит сделать «Валькирия», если будет проведена точно по плану.

— Если! — Штауффенберг дернул плечом. — Поймите, в этом деле не должно быть никаких «если». Государственный переворот во время войны — вещь слишком опасная, чтобы мы могли рисковать хотя бы минимальной возможностью хаоса и междоусобицы. Вспомните семнадцатый год в России — у нас все это может быть гораздо страшнее. Ко мне в Мюнхен приезжал летом старик Юкскюлль; я ему сразу сказал — да, готов действовать в любую минуту, пока еще можно что-то сделать, но что произойдет потом? Когда майоры и полковники выполнят свою часть задачи, что станут делать фельдмаршалы? Будет ли прекращен огонь на всех фронтах? На это мой уважаемый дядюшка сказал, что перемирие на Западе будет заключено немедленно, что же касается Востока, то на сей счет мнения пока расходятся. Вы понимаете, чем нам грозит это «расхождение мнений»?

— Понимаю, — сказал Ольбрихт. — Понимаю и разделяю вашу тревогу. Но, дорогой подполковник, есть одно весьма существенное обстоятельство: правое крыло заговора — то есть именно та фракция, которая хочет перемирия на Западе и продолжения войны на Востоке, — это крыло состоит из людей преимущественно невоенных; Гёрделер, Попитц… Кое-кто из генералов разделяет их взгляды, что поделаешь. Но поймите, в решающую минуту действовать будут не они. Действовать будем мы с вами, и от нас в конечном счете будет зависеть конечный результат. Я даже предпочитаю не делиться ни с кем своими соображениями; пусть думают, что мы тоже готовы продолжать войну с русскими, обеспечив тылы на Западе. Мы, когда настанет час, просто поставим этих людей перед фактом…

Они поговорили еще немного, потом Ольбрихт посмотрел на часы и сказал, что ему пора. Когда вышли, было уже совсем темно, по небу в просвете между домами медленно шарили, скрещиваясь и расходясь, бледные лучи далеких прожекторов. Нерешительно, словно пристреливаясь, открыли огонь зенитные батареи где-то за Тегелем или Рейникендсдорфом, и среди прожекторных лучей замерцали редкие искры разрывов.

— Похоже, теперь наша очередь, — заметил Штауффенберг.

— Не думаю. Это скорее какие-то заблудившиеся — на обратном пути многие отстают, сбиваются с курса… Кстати, вы обратили внимание, какие были названы места?

— Штральзунд, если не ошибаюсь.

— Да, и Анклам тоже. Не странная ли цель для рейда стратегической авиации?

— Вы думаете…

— Ну естественно! Они бомбят ракетные полигоны на Узедоме, но это место запрещено даже упоминать в сводках.

— Выходит, там еще есть что бомбить.

— Что-нибудь всегда найдется… Вам на Тицианштрассе? — спросил Ольбрихт, отпирая дверцу своего служебного «опель-адмирала». — Садитесь, граф, это по пути.

— Благодарю, я лучше пешком, здесь близко.

— Что ж, вечерний моцион — штука полезная. Но как это вам посчастливилось найти квартиру в таком районе? В Берлине с этим сейчас, знаете ли, проблема…

— Это квартира брата, я решил пока пожить у него. Фактически только ночую: днем на службе, а по воскресеньям уезжаю в Бамберг навестить

своих.

— Да, у вас ведь большое семейство, я слышал.

— По теперешним временам — большое. Четверо, старшему уже девять, а младшей три…

По теперешним временам даже многовато, подумал он, провожая взглядом синие габаритные огни генеральской машины. А Нина хочет еще пятого. Впрочем, может быть, она и права чисто по-женски, интуитивно. Нам-то труднее пренебречь доводами разума, а женщины пренебрегают и оказываются правы гораздо чаще, чем можно было бы предположить. На худой конец, если Бамберг начнут всерьез тревожить с воздуха, можно отправить их пожить в Лёйтлингене, там в случае чего крестьяне помогут…

Подполковник Штауффенберг поймал вдруг себя на том, что думает о семье как-то отстраненно — не то чтобы как о посторонних, нет, но… Так, как можно думать о чем-то уже заведомо утраченном. Этого не было никогда раньше — ни в тридцать девятом, когда его дивизия уходила в Польшу, ни весной сорокового, ни даже в конце прошлого года, когда он получил назначение в штаб Африканского корпуса. Всякий солдат, прощаясь с близкими, не может не подумать — не в последний ли раз они видятся; но обычно эта

мысль тут же уходит, человеку со здоровой психикой свойственно быть оптимистом. Всегда есть надежда: ведь кто-то же возвращается с самой кровопролитной войны…

А у него сейчас надежды не оставалось. Это было даже не то смутное предчувствие, что появляется иногда у тех, кому не суждено вернуться из следующего боя; Клаус Штауффенберг попросту знал, что жить ему осталось каких-нибудь полгода, от силы — год. Свой собственный смертный приговор он только что скрепил несколькими словами, сказанными генералу Ольбрихту: «Я решу эту задачу»; а может быть, это случилось раньше, когда граф Юкскюлль-Гиллебанд навестил племянника в мюнхенском лазарете и прямо спросил его — согласен ли он, Клаус, помочь избавить наконец Германию от сумасшедшего диктатора. Трудно сказать, тут все так перепуталось и переплелось, одно вытекало из другого. Может быть даже, все началось с той верховой прогулки в Виннице, летом прошлого года…

Подполковник не спеша шел по темной и безлюдной Клейстштрассе, было довольно холодно — впору уже носить шинель, но он упрямо продолжал ходить в одном мундире. Отчасти это была уступка обстоятельствам (для однорукого

каждая лишняя пуговица — проблема, хотя он уже порядком освоился со своим увечьем: однажды, собираясь с женой в гости, ухитрился даже завязать без ее помощи галстук-бабочку к смокингу), а отчасти, напротив, оставшаяся еще в юности привычка закалять себя разного рода неудобствами, особенно холодом. Сколько он себя помнил, его всегда окружали заманчивые возможности, от которых приходилось отказываться ради «становления характера». Старшие братья были менее требовательны к себе — даже в выборе жизненного пути. Каждый избрал то, к чему лежало сердце: Бертольд — юриспруденцию, Александр — историю. А он, мечтавший стать архитектором, заставил себя пойти в юнкерское училище. И даже не потому, что этого требовали семейные традиции: отец был достаточно либерален и не стал бы принуждать. Нет, решение принял он сам, принял именно потому, что был слаб здоровьем и любил искусство. Всякое искусство — живопись и музыку, поэзию и архитектуру. Поэтому и стал профессиональным солдатом: он, Клаус Филипп Мария граф Шенк фон Штауффенберг, отпрыск семисотлетнего рода, потомок крестоносцев и праправнук великого Гнейзенау, считал недостойным выбирать в

жизни путь наименьшего сопротивления…

В Кладове, за озером, протяжно взвыла сирена. Ей тут же, словно дожидались, стали отвечать другие, со всех сторон — из Шлахтензее, Тельтова, Целендорфа. Хором, разноголосо, они тянули самый отрадный для уха берлинцев сигнал: долгие гудки отбоя. Прожектора погасли один за другим, вдоль улицы зажглись редкие синие фонари.

Поежившись от холода, подполковник ускорил шаг. Тогда, в Виннице, приехав в ставку, он встретил Гельмута, однокашника по Дрезденскому пехотному училищу; там они были неразлучны — они двое и еще племянник фельдмаршала, сумасброд Манфред, который бросил потом армию, став профессиональным автогонщиком. А Гельмут, оказалось, все так же любит лошадей, они стали выезжать вдвоем, когда выдавался свободный часок. То свежее августовское утро было великолепным, все золотое и зеленое, они ехали по старой почтовой дороге, обсаженной гигантскими дубами, — Гельмут объяснил, что эти дороги прокладывал еще Потемкин, знаменитый фаворит любвеобильной Фикхен Ангальт-Цербстской. Сначала поговорили о лошадях, сравнивали липиццанеров с русскими орловцами, потом разговор как-то сам собой перескользнул на другое.

Была середина августа, Лист подходил к предгорьям Кавказа, а Паулюс уже вел бои между Доном и Волгой; все это на первый взгляд выглядело блестяще, в Берлине не умолкали фанфары, но блестяще это выглядело лишь для дураков. Он спросил майора — неужели в ставке никто не видит, что на Кавказе нет никакой «победы», а есть всего лишь огромная западня, мешок, куда слепо вползают панцерные дивизии группы «А», и неужели недостаточно просто взглянуть на карту и увидеть конфигурацию линии фронта, чтобы понять всю бессмыслицу, обреченность этого безумного рывка к Волге? Ни на Кавказе, ни в излучине Дона нам не удалось навязать русским ни одного серьезного сражения; похоже на то, что Харьков и Керчь были последними оперативными просчетами противника, он ведь тоже чему-то учится, приобретает опыт. Да, русские отходят, но теперь они отходят почти без потерь, мы просто сжимаем пружину — и да помилует нас Бог, когда она дойдет до пределов сжатия и ударит обратно… А что мы будем делать на той же Волге, если начнутся морозы? На что можно рассчитывать, растянув коммуникации через всю враждебную нам Украину, где приходится охранять от партизан каждый километр желез-

нодорожного полотна?

Всех этих вопросов, конечно, можно было и не задавать, это была чистой воды риторика, но он просто не мог уже сдержаться, ему надо было выговориться, выкрикнуть вслух все, что накопилось на душе. Благо Гельмут был старым приятелем; «был», потому что вскоре его убили партизаны. Да, в то утро он Гельмута и спросил — неужели среди них, офицеров ставки, не найдется никого, кто в конце концов потерял бы терпение, ведь достаточно пистолета с полной обоймой…

И вот этот вопрос был уже не просто риторичен — он был оскорбителен. Гельмут тогда ничего не ответил, только глянул искоса и отвел глаза. Воспоминание об этом коротком взгляде до сих пор заставляло Штауффенберга стискивать зубы, как от внезапного приступа зубной боли. Может быть, именно оттуда и потянулась ниточка: задав другому такой вопрос, нельзя самому оставаться в стороне.

Увы, все в мире закономерно. И за все приходится платить, так или иначе, но за все — за любую ошибку. Его решение стать военным, несомненно, оказалось ошибкой; и дело было не только в мальчишеском желании испытать себя трудностями, закалить характер; дело было

еще и в ошибочном понимании своего долга — шел двадцать седьмой год, над Германией лежала мрачная тень Версаля, и фанен-юнкеру Штауффенбергу казалось, что именно на военном поприще он сможет приносить стране наибольшую пользу…

В их семье, правда, никогда не мечтали о реванше. Монархические настроения родителей не сделали их слепыми поклонниками последнего кайзера (отец, кажется, вообще не признавал никакой иной династии, кроме Вюртембергской), и поражение Германии в Первой мировой войне воспринималось ими как заслуженная кара за непомерные амбиции Вильгельма. Но страна, лишенная армии, — это уж было слишком. Как умело использовал Гитлер подобные настроения, как ловко заставил служить себе даже тех, кто вообще не принимал его всерьез!

Что ж, и он тоже служил Гитлеру, от этого факта никуда не денешься. Правда, начал служить еще в рейхсвере, но потом рейхсвер превратили в вермахт, была оккупирована Рейнская область, присоединена Австрия — он продолжал служить, ни в чем особенно не сомневаясь, успешно делал карьеру, радовался повышениям в чинах. Военную академию кончил в тридцать восьмом году,

когда дело уже открыто шло к новой мировой войне…

И теперь он просто обязан. Потому что, если он этого не сделает, ему через несколько лет стыдно будет смотреть в глаза своим детям, которые тогда уже будут знать обо всем: о лагерях уничтожения, о казнях заложников, о миллионах уморенных голодом русских военнопленных — и рано или поздно ему зададут простой вопрос: «Отец, ты — католик и дворянин — знал обо всем этом и продолжал служить такой власти?»

Что он сможет ответить? Сошлется на присягу? «Клянусь пред Господом Богом сей священной присягой безоговорочно повиноваться фюреру Германской империи и народа Адольфу Гитлеру…» Нет, за свои ошибки надо платить, какою бы ни оказалась цена.

Смерти он не боялся. Как солдат приучил себя о ней не думать, но как человек верующий не мог, естественно, не возвращаться к этому вопросу — испытывал скорее любопытство, отчасти, пожалуй, вольнодумное. Трудно было представить себе, чтобы там все оказалось соответствующим той упрощенной и приспособленной для всеобщего понимания схематичной картине, которую уже столько веков рисует пастве христианская

церковь; все-таки, вероятно, это не совсем так, но проверить будет интересно.

Сейчас, думая о неизбежной смерти (неизбежна-то она, положим, для каждого; у него дело осложнялось заведомой ограниченностью остающегося в его распоряжении срока), он не ощущал ничего, кроме печали. Жизнь сама по себе не такая уж высокая ценность, но в ней может быть немало хорошего, и у него тоже было, — в сущности, его жизнь начиналась счастливо, насколько это возможно. И можно было бы еще пожить, это ведь далеко не старость — тридцать шесть лет; неделю назад они с Ниной отпраздновали десятилетие своего брака. Да, можно было бы, стань он тогда архитектором, как и хотел. Сейчас, конечно, он тоже был бы на фронте; но если бы повезло остаться в живых, можно было бы ни о чем не беспокоиться. Тогда, если бы сын спросил его когда-нибудь: «Как же ты мог», он ответил бы со спокойной совестью, что «мог», как и все остальные немцы, — по принуждению, по мобилизации. «А в мирное время, сын, — сказал бы он, — я строил дома и мне дела не было до этих поганцев».

Нет, тоже не получается. Какая уж тут, к черту, «спокойная совесть»! «Ты хочешь сказать, — пе-

респросил бы его сын, — что тебе действительно не было дела до того, что тогда творилось в Германии? И ты спокойно строил свои дома, пока они гнали людей в газовые камеры?»

Нет, не получается, повторил подполковник. И не получилось бы в любом случае. У нас у всех есть теперь только один-единственный способ оправдаться перед собственным потомством — и перед человечеством…

Глава 2

Таксы вызывали в нем умиление. Злобностью и коварством порода эта походила на людей, и вот странно: к людям он теплых чувств не испытывал, а такс любил за сходство с людьми — и любил нежно. И еще адмиралу нравились рыбы — аквариумные, тепловодные. Они напоминали о южных морях, о дальних голубых дорогах, о низких широтах, «где свирепая буря, как божья метла, океанскую пыль метет», — о всем том, что он любил в молодости и чего ему порой так не хватало теперь, когда он уже давно расстался с флотом.

Сегодня он решил позволить себе день отдыха. В конце концов, он это заслужил. У русских есть

хорошая поговорка о том, что работа не может скрыться в лесу, подобно волку. Но подождать она может, и ничего с нею не сделается.

Тем более что ей фактически и ждать-то не придется — не будет ни перерыва, ни остановки. Адмирал Вильгельм Канарис не разделял широко распространенного заблуждения иных руководителей, считающих свое постоянное присутствие залогом и непременным условием нормального функционирования возглавляемого аппарата. Бывает, конечно, и так, но тогда это плохой аппарат и никуда не годный руководитель. Начальник управления разведки и контрразведки ОКВ, не страдая излишней скромностью, относил себя к очень хорошим руководителям.

И аппарат, которым он руководил вот уже девятый год, был отличным, усовершенствованным и высокоэффективным аппаратом. Такой организацией можно гордиться, и Канарис ею гордился. Другое дело, что в настоящих условиях этот великолепно отлаженный механизм сплошь и рядом оказывается работающим вхолостую; стоило ли, например, прилагать столько усилий для сбора сведений о советском военно-промышленном потенциале, если эти сведения были выброшены в корзину как пораженческие и дез-

ориентирующие. Фюрер хочет получать только те разведданные, которые подтверждали бы его мнение о противнике. Прекрасно! Но к чему тогда вообще разведка? Хоть бы этого болвана поскорее пристукнули…

Словом, сегодня он отдыхал. По правде говоря, рассуждения о том, что у хорошего начальника подчиненные умеют работать и в его отсутствие, служили адмиралу самоутешением. Попыткой, так сказать, сохранить хорошую мину в плохой игре. А печальная правда заключалась в том, что его дни как руководителя разведки были сочтены, и он это знал. Он мог бы взять отпуск по болезни, мог бы улететь в Турцию или Швейцарию, и ничего бы не изменилось — его аппарат продолжал бы крутиться вхолостую, делая вид, что работает. Всю настоящую работу давно уже перехватила служба безопасности СС — ведомство Кальтенбруннера. Абвер был фактически не у дел, поэтому Канарис и мог позволить себе день отдыха. Просмотрев за завтраком самую неотложную почту и ознакомившись со сводкой донесений, он распорядился не тревожить без крайней нужды и с таксой на руках, в халате, проследовал в оранжерею — к своим цветам и рыбам.

Рыбы импонировали адмиралу не только экзотичностью, но — в неменьшей степени — еще и тем, что были молчаливы и непроницаемы. Бесстрастны, как азиаты; поди разбери, что у них на уме. Он постоял у аквариума с золотисто-зелеными макроподами, покормил их, крупный самец по имени Мандарин последнее время стал заметно ярче, наряднее, — вероятно, приближался брачный сезон. Адмирал постучал по стеклу, пытаясь привлечь внимание любимца, но тот не прореагировал. «Знает себе цену, — сказал Канарис, обращаясь к таксе, — смотри, Зепп, и учись». Зепп ткнул носом в стекло, недовольно визгнул и отвернулся. В соседнем аквариуме таращил глаза огромный — дюймов десяти — пламенно-золотой вуалехвост, подарок японского атташе, доставленный из Токио сложным воздушно-морским путем — через Сингапур и Анкару. Анкара! Одно это слово вызвало сразу целую цепочку неприятных ассоциаций; Канарис нахмурился и прошествовал мимо вуалехвоста, не удостоив его вниманием.

Хорошо бы мерзавцы основательно влипли со своим «Цицероном». Его они и близко подпускать не хотят, это уже ясно; стыд и позор! — он, руководитель разведки, узнает о подобном деле

случайно, только благодаря тому, что имеет своих людей в окружении этого болвана Риббентропа… Самое, впрочем, смешное — это даже не то, что они не доверяют ему: мерзавцы не доверяют друг другу — Кальтенбруннер открыто, по-разбойничьи перехватывает курьеров, доставляющих из Анкары очередную порцию «Цицероновой» стряпни, просматривает материалы сам и только после этого разрешает передать их по назначению, в МИД. Риббентроп натурально бесится, но сделать ничего не может. Если его, Канариса, человек говорит правду, то дело дошло до того, что Кальтенбруннер строжайше приказал своему человеку в Анкаре вообще не знакомить фон Папена — посла! — с поступающей от «Цицерона» информацией. Как говорится, дальше некуда; хотя именно этот приказ Риббентроп наверняка одобрил в душе — из своих сотрудников рейхсминистр больше всех ненавидит старика Папена…

А влипнуть они могут, и весьма основательно. Что-то в этом деле явно не так. Вдруг такой поток информации — ценнейшей, секретнейшей! — из рук какого-то повара, или лакея, или кто он там такой… Дело, конечно, не в том, что лакей: лакеи и горничные всегда были отличными информантами, уж это-то знает любой начинающий

разведчик. Время от времени — почему бы и нет; но ведь этот «Цицерон», судя по регулярности поступления материала, чуть ли не каждый вечер фотографирует сверхсекретные документы под самым, можно сказать, носом его превосходительства. Что-то здесь не так. Первое, что приходит на ум: это — естественно — предположение игры, но ведь дезинформация обычно подсовывается более изящно. Хотя, с другой стороны… расчет может быть именно на это: никому и в голову не придет, что ее могут подать так грубо.

Да, обычно это делается тоньше. Скажем, недавняя британская проделка с «письмом генерала Ная» по поводу Сицилии. Теперь-то уже ясно, что это был классический случай ruse de guerre[9]. Сицилия действительно была главным объектом союзников, ни о какой высадке в Греции они и не помышляли! И как тонко все это было сделано — письмо Ная Александеру, письмо Маунтбаттена Каннингхэму, личные бумаги «майора Мартина», труп которого был аккуратно подброшен к испанскому берегу в Кадисском заливе. Именно место и дало потом первый повод усомниться — когда стало известно, что как раз там, близ

[9] Notes: 9
Военной хитрости *(фр.)*.

Уэльвы, приливные течения отличаются особенным постоянством и любой выброшенный в море предмет (скажем, с борта подводной лодки) через день-другой неминуемо окажется на виду у береговой охраны. Но сомнение появилось позже, значительно позже, а сначала с гидрологами даже не посоветовались — прежде всего кинулись проверять подлинность документов, и экспертиза установила, что они несомненно подлинны. Вот уж действительно наивность! Если британская секретная служба решила провести операцию такого значения, то неужели она не позаботилась бы о том, чтобы Луис Маунтбаттен и Арчибалд Най собственноручно подписали то, что им следовало подписать…

Да, тут мы, прямо сказать, дали маху. Но что делать, ошибался и великий Николаи, да и нет худа без добра, — в конце концов, этот промах может сработать в его пользу: он, мол, прекрасно все понял, старика Канариса не так легко провести, но решил подыграть британским коллегам. И дурацкое заключение экспертизы — вот оно, налицо, как формальный оправдательный документ перед тем же Гиммлером; разумеется, дурацкое, кто же спорит, но, как видите, сработало, Сицилия оказалась не столь уж неприступной. Подсчи-

тайте-ка, джентльмены, сколькими тысячами жизней вы теперь обязаны «старому Греку»!

Да, но Анкара, Анкара… Форин-офис всегда славился обилием титулованных ослов, однако посол Нэтчбулл-Хьюгессен к этой разновидности британской дипломатической фауны вроде бы не относится. Мог, конечно, и поглупеть, но не до такой же степени! Будучи и трижды ослом, можно все-таки соблюдать какие-то элементарные правила осторожности, а если лакей действительно имеет доступ к сверхсекретной документации, то это даже не ослиность, а прямая измена. Но сэр Хью, разумеется, не изменник — следовательно, либо он и впрямь какой-то феноменальный суперосел, осел экстра-класса, либо через прохвоста «Цицерона» контрразведка его величества подкидывает нам еще одну аппетитную наживку. Так что оно, пожалуй, и к лучшему, что ему не надо ломать себе голову еще и над этим, пускай-ка попробуют решить сей британский ребус те двое — Риббентроп с Кальтенбруннером — в трогательном, так сказать, сотрудничестве и единомыслии, хе-хе-хе…

Посмеиваясь, Канарис потрепал Зеппа по длинным шелковистым ушам и спустил на пол. Такса поковыляла к подставке аквариума и при-

нялась вдумчиво ее обнюхивать. «Ты что это, мерзавец!» — прикрикнул адмирал с притворной строгостью. Зепп, не поведя ухом, сделал свое дело и поплелся дальше — обнюхивать другие подставки.

И что-то было еще неприятное, связанное с Анкарой… В конце концов, «Цицерон» — это мелочь, эпизод, из каких складываются будни разведки. То, другое, гораздо серьезнее. Что же это… А, да! Папен, вся эта его заговорщицкая камарилья. Не вся, положим: Гёрделер, Попитц — с ними не может быть никаких неожиданностей. Но вот умники из Крейзау… Идеалисты, черт побери. Самая страшная публика — ведь поведение идеалиста не регулируется теми факторами, при помощи которых можно безошибочно регулировать поведение нормального человека. В сущности, таких факторов два: страх и алчность. Разновидностей и вариантов много, но все сводится именно к этому — к страху что-то потерять и к желанию что-то приобрести. Умело оперируя этими двумя рычагами, можно любого нормального человека превратить в послушную марионетку (которая, что особенно любопытно, даже не будет сознавать свое марионеточное положение!). Любого нормального — но только не идеалиста, насто-

ящего и убежденного. Бывают, разумеется, и не настоящие, речь не о них. Мы сейчас говорим о таких законченных психопатах, как Мольтке, Йорк фон Вартенбург, безумный поп Гаральд Пёльхау, да мало ли их там. Вот эти люди опасны, по-настоящему опасны своей активностью и своей неуправляемостью.

Да и сам Штауффенберг, к сожалению, из этой же породы. Что взялся лично устранить фюрера — прекрасно; это как раз та готовность (и способность!) действовать, которой не хватает другим. Качество весьма похвальное. Но ведь подполковник тоже неуправляем, вот в чем беда, у него свои взгляды, нелепые и опасные: чего стоит хотя бы сумасшедшая идея привлечь к борьбе с режимом левые силы, блокироваться с социал-демократами, чуть ли не с коммунистами…

Плохо, что все эти мечтатели слепы к потенциальной опасности своих действий, что они не способны экстраполировать. Тот же Мольтке с его раздачей земель! На первый взгляд кажется — дескать, что тут такого: решил подарить крестьянам часть наследственного поместья, это его право, тем более что побуждения тут самые благородные, самые что ни на есть евангельские: есть у тебя лишняя рубашка — отдай ближне-

му. Но ведь беда-то в том, что этот «ближний» графа фон Мольтке, этот силезский заскорузлый мужик, получив такой подарок, отнюдь не проникнется возвышенной графской философией и не станет ни лучше, ни возвышеннее. Этот сукин сын «ближний» подумает просто: ага, отдает землю — значит, боится, значит, сам понимает, что права-то у него липовые. Какой же отсюда вывод? А такой, что если другие помещики свою землю даром раздавать не желают, то надо у них эту землю отнять силой, а заодно и головы неплохо бы поотрывать, чтобы не жадничали…

Нет ничего хуже таких вот прекраснодушных мечтателей; неспособные понять, насколько опасны попытки реализовать несогласованный с реальной жизнью идеал, эти безумцы не задумываясь отдадут послегитлеровскую Германию в руки коммунистов. И не потому, что сами разделяют коммунистическую идеологию, — трудно представить себе людей более от нее далеких, чем христианский социалист Мольтке или Штауффенберг, воспитанный на элитарной философии. Нет, они отдадут страну красным просто потому, что не понимают всей опасности игры с огнем.

Обойдя еще раз обширную оранжерею и уже без интереса поглядывая на рыб, адмирал напра-

вился обратно в кабинет. Зепп ковылял следом, по пути присоединилось еще три таксы — черная, две рыжих. В кабинете он взял флейту, таксы лежали и сидели рядом, посматривали, повиливали хвостами. Он негромко наигрывал какую-то простенькую народную мелодию, это обычно помогало отвлечься от неприятных мыслей. Играя, адмирал косился на висящий над камином большой портрет своего псевдопредка — Константина Канариса, героя греческого восстания. Он никому не говорил прямо, что это его дед, но, когда спрашивали, отрицал таким тоном, что собеседник окончательно убеждался в родстве, а заодно и в скромности адмирала.

Все это, конечно, вздор. Лестно иметь знаменитых предков, но сейчас это уже ничего не дает. Сейчас куда важнее ум — не отвлеченный, способный лишь философствовать, а ум живой, конкретный, аналитический. Если он, руководитель абвера, сумел почти девять лет удержаться на этом посту, то только благодаря своим умственным способностям. Родословная, господа аристократы, тут не поможет.

Знать бы наверняка, поможет ли теперь ум. Что его карьера «первого разведчика» рейха идет к концу, адмирал видел уже давно. Странно, в

сущности, что он до сих пор еще формально не отстранен; после ареста весной его ближайших сотрудников он ждал этого со дня на день. Остера, правда, скоро отпустили, но Донаньи и другие сидят по сей день и уж наверняка выложили на допросах все, что знали. А знали они если не все, то много. Очень много! Вполне достаточно, чтобы отправить своего шефа на виселицу.

Надо полагать, впрочем, что до такой крайности дело не дойдет. Вешают рядовых разведчиков — «шпионов», как их всегда называют в лагере противника, — а тех, кто покрупнее, обычно приберегают для себя. Такой товар, скажем прямо, на улице не валяется. Что же тогда сказать о руководителе разведки целого государства? Союзникам он понадобится как уникальный источник информации, и именно это — его ценность для союзников — может послужить ему надежной гарантией безопасности от всяких кальтенбруннеров. Не так-то просто его взять, господа, — голой задницей ежа не удавишь, а Канарис вам не Рем. Если даже всесильный Гейдрих…

Опустив флейту, адмирал сидел задумавшись, носком мягкой домашней туфли машинально почесывая пузо одной из такс. Та лежала, раскинув уши, блаженно зажмурившись. Рейнгард

Тристан Гейдрих, имперский протектор Богемии и Моравии, второй человек в СС после рейхсфюрера, ненавидел его, Канариса, лютой ненавистью — он знал, что в одном из сейфов абвера лежит досье с аккуратно подшитым результатом генеалогических исследований, предпринятых по приказу адмирала и установивших его, Гейдриха, полусемитское происхождение. Он и в самом деле был наполовину евреем, этот белокурый гигант и красавец, которого можно было бы выставить в дрезденском Музее гигиены как эталонный образец представителя арийской расы. Точнее, не совсем наполовину, а несколько меньше: полуевреем был его папа, музыкант Бруно Зюсс.

Но это уже деталь — пятьдесят процентов, или двадцать пять, или хотя бы десять. Важно, что кровь СС-обергруппенфюрера не была расово полноценной, документальное подтверждение этого прискорбного (хотя и несколько анекдотического) факта руководитель абвера хранил в своем личном сейфе, как сказочное яйцо в сундуке, и Гейдрих прекрасно знал — был своевременно предупрежден, — что досье будет немедленно передано куда следует, если, не дай бог, с адмиралом случится что-нибудь нежелательное. Знал он и то, что фюрер никогда не простит ему — не обма-

на насчет происхождения, нет, этот вопрос уже мало что значит на столь высоком партийном уровне; куда уж дальше: рейхслейтер Ганс Франк, генерал-губернатор Польши — самый настоящий еврей, и никого это не шокирует. Нет, Гейдрих знал, что ему не простят неосторожности, не простят огласки, а огласка была бы, и еще какая, досье ведь было бы передано не доктору Геббельсу, а крупнейшим газетам нейтральных стран.

Да, у Гейдриха хватило благоразумия отступить. Но скрыть свою ненависть к нему, Канарису, он уже не сумел — это и погубило протектора Богемии и Моравии. Канарис тоже оказался достаточно благоразумен, чтобы обезопасить себя раз и навсегда. Люди, не умеющие скрывать ненависть, тоже опасны (как и идеалисты) своей неуправляемостью, своей неподвластностью трезвым доводам рассудка. Сегодня такой человек ведет себя разумно, а завтра, глядишь, и взорвался. К чему рисковать? Можно ведь было предвидеть и такую ситуацию, когда яйцо в сейфе потеряет свою убойную силу.

А устранить протектора оказалось не так уж сложно, достаточно было подкинуть по соответствующим каналам соответствующую мысль, а уж в Лондоне за исполнителями дело не стало.

Операция получилась безукоризненно изящная — все концы в воду, и никаких следов. Чехам, правда, она обошлась довольно дорого — куча заложников, Лидице, — но разве не ненавидел Гейдриха весь протекторат, разве не желал ему смерти любой житель Праги? А за исполнение желаний всегда приходится платить, господа, тут уж ничего не попишешь…

И вот теперь приходится иметь дело с Кальтенбруннером. Такой же мясник, в сущности, как и покойный бедняга Рейнгард, но похитрее, посдержаннее в выражении своих чувств. А что перегрызет горло при первой возможности, в этом можно не сомневаться.

Черт возьми, почему-то все его личные недруги — огромного роста, как нарочно. Адмирал отпихнул таксу, встал и, запахивая халат, подошел к зеркальной двери. В долгополом одеянии он выглядел несколько выше, но все равно… М-да, скажем прямо — не Зигфрид, нет, куда ему до этих нордических сверхчеловеков. Только и утешения что сознавать — насколько они глупее. Это любопытная закономерность, но крупные исторические деятели чаще были из малорослых; естественно, если учесть психологический фактор — «комплекс», как говорят фрейдисты. Такой

вот недомерок с юности будет мечтать о каком-то способе взять реванш у судьбы, обделившей его атлетическими данными. Дурак, конечно, так ничего и не придумает, но если у недомерка есть на плечах хорошая голова, то уж за такого можете не волноваться — он свое возьмет!

Адмирал, выпятив щуплую грудь, подмигнул своему отражению. В пятьдесят шесть лет чувствовал себя еще молодым, полным энергии и замыслов. Перед всеми этими мерзавцами у него солидное преимущество: они прикованы к своим местам на обреченной галере, его же ничто здесь не удерживает, он может и сбежать. Иные скажут — как крыса? А хотя бы и так. Тонуть вместе с этим дырявым «кораблем дураков» он не намерен, лучше быть живой крысой, нежели дохлым героем. Да и то сказать — какой тут, к черту, «героизм»...

Но здесь все следует очень хорошо обдумать, ничего не упустить из виду. Сбежать с корабля — это еще полдела; не менее важно, чтобы на берегу тебя тут же не прихлопнули лопатой. А ведь сгоряча могут! Как ни странно, у него есть враги не только здесь, но и на той стороне; прежде всего — одиозное реноме: шутка ли — глава абвера, этой дьявольской организации, при одном

упоминании о которой обыватель начинает со смаком представлять себе всякие ужасы. То, что разведка и контрразведка существуют испокон века в любом цивилизованном и даже не очень цивилизованном государстве, этого обыватель предпочитает не знать. И что методы работы всех подобных организаций до смешного сходны, поскольку все разведки и контрразведки волей-неволей учатся друг у друга, тщательно анализируя чужие промахи и успехи, — об этом обыватель тоже не думает. Словом, тут могут быть серьезные недоразумения.

Поэтому бегство — или, выражаясь языком сводок ОКВ, стратегическое выравнивание фронта — должно быть осуществлено без паники и суеты, на заранее подготовленные позиции. Вообще-то, они у него подготовлены, и уже давно; но, увы, в наше время сведения устаревают слишком быстро — выдыхаются, теряют силу и ценность. Поэтому тут крайне опасно полагаться на старые заслуги, и на благодарность за прошлое рассчитывать не приходится…

Он подошел к окну и долго смотрел на серое осеннее небо. Стало зябко, хотя в комнате была обычная температура — девятнадцать градусов. Уроженец Вестфалии, он от далеких предков-

южан унаследовал любовь к зною, но только под открытым небом, сильно натопленных помещений адмирал не любил. Солнце, горячий ветер — это дело другое. Ему опять вспомнилась Испания, он часто о ней вспоминал. Какое было счастливое время! Точнее, не «время», а «времена» — в его жизни было два испанских периода: в начале Первой мировой войны, когда он бежал из Чили после потопления «Дрездена», и вот совсем недавно — каких-нибудь шесть лет назад…

Тогда, в пятнадцатом году, он только начинал свою карьеру разведчика, делал первые шаги — организовал несколько диверсий на английских кораблях, нащупывал связи с вождями алжирских племен, была идея поднять там восстание против французов. Об этом тоже приятно вспомнить (кому не приятно вспоминать молодость!), но настоящее пришло позже, когда он вернулся в Испанию в тридцать шестом году — чтобы взять в свои руки руководство немецкой помощью мятежникам. Генерал Фаупель, глава военной миссии, торчал в Бургосе для представительства, а работать приходилось Канарису. Франко, надо сказать, все же показал себя неблагодарной свиньей, хотя на красивые слова и не скупится. Но даже слова не совсем те: послушать его теперь,

так выходит, что Гражданскую войну выиграл он со своим марокканским сбродом.

Испанскую войну выиграли немцы. Немцы, и никто другой, вырвали полуостров из рук красных, и во многом благодаря ему, Вильгельму Канарису. Тогда ведь и в Германии далеко не все одобряли интервенцию: Бек и Фрич были решительно против, сам Гитлер, по обыкновению, колебался; в тех условиях один решительный демарш со стороны Англии и Франции мог бы спасти Испанскую республику, заставив Германию выйти из игры. Достаточно было малейшего повода — скажем, нарушения секретности вокруг легиона «Кондор». А за секретность отвечал абвер — отвечал и сумел ее обеспечить. Да, были случаи, когда приходилось расстреливать слишком болтливых летчиков, но что поделаешь — на войне как на войне…

Устало шаркая, он поплелся обратно к дивану. Попугай в огромной клетке, когда он проходил мимо, вдруг ни с того ни с сего проорал хрипло и картаво: «Хайль’тлер!» «Чтоб ты сдох, — злобно огрызнулся адмирал, — вспомнил, идиот…»

А все-таки старость, старость, никуда от этого не деться. И ощущаешь ее приближение все чаще. Хорошо еще, что не постоянно. Труднее всего

смириться с сознанием, что ты уже не нужен. Он опустился на диван, закрыл глаза и увидел выгоревшее добела испанское небо, перекрученные стволы олив и серую от пыли листву, каменистые дороги спаленного зноем Кастильского плато. Он помнил Испанию наизусть, как помнят землю своего детства, он объездил и облетал ее вдоль и поперек, всю — от Бильбао до Альхесираса, от суровой Мериды до апельсиновых садов Валенсии, ему даже географические ее имена звучат музыкой — Каталунья, Андалусиа, Сьерра-де-Гуадаррама… Да, тогда он был нужен и поэтому — всесилен; приятно было сознавать себя проконсулом великой империи (она — смешно вспомнить! — и впрямь казалась ему великой), приятно было чувствовать — почти физически ощущать — всю тяжесть огромной ответственности и огромной власти. И всего приятнее было то, что очень немногие догадывались о его истинной роли в испанских событиях; ведь и в самом деле, что может быть лучше — держать все в руках, самому оставаясь в тени эдакой «серой эминенцией», разъезжать по дорогам чужой страны в маленьком дешевом автомобиле, пить отдающее бурдюком вино в продымленных деревенских остериях…

И этого в его жизни больше не будет. Что ж, всему свое время — время сеять и время пожинать колосья, время собирать камни и время их бросать. Плохо только, что события начинают ускользать из-под контроля. Не внешние события — ход войны, положение на разных фронтах — это его никогда особенно не занимало: тайный ход истории, взаимодействие ее скрытых пружин — вот что важно. Скажем, этот разговор. Еще не так давно адмирал был уверен в своей способности контролировать действия всех участников, но неудачное покушение тринадцатого марта оказалось, пожалуй, последней прямой акцией абвера. Трескова еще можно было контролировать, со Штауффенбергом этого не будет. Ему на шею корнака не посадишь…

Приходится признать, что именно меньшинство — «крейзаусцы», либералы, единомышленники Штауффенберга, — именно они становятся, пожалуй, наиболее активным ядром всего предприятия. А если так, то они и захотят взять в свои руки судьбу страны — потом, если затея удастся. Но это совсем нежелательно, помилуй бог. Дело даже не в том, что они заключат мир на Востоке, чего так панически боятся Гёпнер и компания; этот вариант все равно остается единственно

возможным, предложение сепаратного мира на Западе без разговоров отвергнут сами же англичане и американцы — на кой им черт осложнения со Сталиным еще и по этому поводу! Германии придется сложить оружие одновременно и на Западе, и на Востоке, тут уж ничего не поделаешь. А вот что потом? Если результаты переворота будут сведены к тому, что коричневый «социализм» сменится красным, — ни Рузвельт, ни тем более Черчилль нас за это не поблагодарят.

И ведь спросят прежде всего с него, с адмирала. Будем смотреть на вещи трезво: имея в своем распоряжении огромный аппарат военной разведки, с самого начала внедрив в ядро заговора своих людей, он должен был обеспечить развитие событий в желательном для Запада направлении. А этого не случилось — процесс становится неуправляемым. Так с кого же спрос? Ведь не с Гиммлера, черт побери…

Да, если посмотреть трезво, то его «заранее подготовленные позиции» могут оказаться и не такими уж подготовленными. Надо что-то думать, и думать срочно, не откладывая в долгий ящик.

А что, если воспользоваться этой вот историей… Мерзавцы не подпускают его к делу «Цицерона»,

но это еще не значит, что он послушно останется в сторонке. Плохо вы еще знаете Канариса, обергруппенфюрер. И вы тоже, уважаемый господин рейхсминистр.

Он взял флейту, стал негромко наигрывать из Моцарта. Опять вспомнилось приятное: в Венской опере, когда он работал в Австрии после аншлюса, пела прелестная Папагена — даже не прима, а какая-то молоденькая, из запасного состава труппы. В третьем акте она бывала совершенно очаровательна, эдакий бесенок в перьях… поистине — венская кровь, никто с ними не сравнится, ну разве что испанки. Ей сначала покровительствовал Лахузен, он-то и обратил его внимание на свою протеже. Отличный работник старина Эрвин, а каких великолепных сотрудников перетащил с собой из Вены — по сути дела, основное ядро абвера-II. Да, жаль. Какой аппарат гибнет… Или все же удастся что-то сохранить? Может быть. Но только надо очень хорошо все продумать, очень точно. Тут крайне важно не промахнуться, на кого выходить с этим делом. На англичан? Можно, конечно, проинформировать самого сэра Хью. Такая возможность есть — через Софию, Стамбул… Но нет. Любая ситуация должна использоваться с максимальной отдачей.

Возможен более выгодный вариант.

Когда адмиралу надо было что-то продумать, и продумать хорошо, он не спешил. Прошло еще два дня после того, как мысль об использовании истории с «Цицероном» пришла ему в голову; он как бы невзначай спросил своего адъютанта, полковника Енке:

— Кстати, что там слышно у Риббентропа — лавина сенсаций из Анкары еще не иссякла?

— Напротив, курьер чуть ли не ежедневно привозит по двадцать-тридцать снимков.

— И в первую очередь они, конечно, попадают на стол Кальтенбруннера… А что, подлинность документов сомнений уже не вызывает?

— Риббентроп в них не верит, но эксперты СД ручаются за подлинность.

— А Папен?

— Посол фон Папен убежден, что документы подлинны.

— Поэтому-то Риббентроп и не верит. Какой давности бумаги?

— Не более недельной, а иногда совершенно свежие. Протце слышал, что есть фотография телеграммы из Форин-офиса, полученной за два дня до того, как она оказалась в Берлине.

— Подумайте, — с одобрением сказал Кана-

рис, — оперативно же он действует, этот… как его — Катон?

— Цицерон.

— Ах, верно! Цицерон, гений красноречия. А вы не находите, дорогой Вилли, что кличка несколько двусмысленна? Красноречию подчас сопутствует склонность ко лжи… ну вот, скажем, как — зачем далеко ходить за примерами — у нашего обаятельного колченогого козлика. В общем, могу сказать одно: слава богу, что не нам приходится заниматься этой историей и не нам придется отвечать за последствия. Давайте-ка, Вилли, перейдем к более серьезным делам. Вот я о чем вас хотел спросить… — Он не договорил, задумался.

Полковник выжидающе смотрел на своего шефа.

— Вот что, Виллем! Придется вам заглянуть в картотеки. И не просто заглянуть, а покопаться долго и основательно — требуется кандидатура человека, которого можно было бы послать в Цюрих…

— К доктору Гизевиусу?

— Да. Простите, я думал о другом; нет, не к Гизевиусу. К Доновану.

— То есть минуя…

— В том-то и дело. Нельзя, чтобы это хотя бы косвенно затронуло тамошнюю резидентуру — за нею постоянно следят люди Кальтенбруннера. Мы вообще должны исходить из того, что все наши уже находятся под наблюдением. Отсюда вывод: это должен быть человек совершенно новый. Человек, имя которого никому и в голову не придет связать с абвером. Это вообще должно быть никому не известное, не вызывающее никаких ассоциаций имя. При этом у него должен найтись правдоподобный повод съездить в Швейцарию, официально испросив визу. Скажем, профессиональный — гастроли, я уж не знаю…

— Актер какой-нибудь? — задумчиво спросил Енке. — Ненадежная публика… и за ними тоже следят. Я хочу сказать — за теми, кто ездит за границу. Да и мало сейчас таких. Гастроли в Швейцарии… не знаю, можно, конечно, узнать, но…

— Нет, нет, это я просто так, в качестве примера. Разумеется, не актер! Не хватает только послать к американцам какого-нибудь… эстрадного шута. Нам нужен человек солидный, уважаемый, с репутацией… Ну и естественно, убежденный противник режима. Вступая в контакт с агентурой противника, он должен знать, что делает это для блага Германии.

— Понимаю… Может быть, поискать в деловых кругах? Этим людям приходится бывать в Швейцарии, среди них много единомышленников того же Гёрделера…

— Виллем, я же сказал: мне нужен человек, ни в чем не замешанный. Не вызывающий подозрений, понимаете? Наши промышленники ездят свободно, согласен, но с каким хвостом! Их все время подозревают в валютных махинациях, а уж если говорить о «единомышленниках Гёрделера», то к каждому из них прикомандирован целый штат агентов СД.

Полковник помолчал, усмехнулся:

— Вы действительно задали мне задачу… Но я поищу, экселенц, кто-нибудь да найдется. Только это потребует времени.

— Дорогой Вилли, сколько угодно! — Адмирал успокаивающим жестом приподнял ладони над бумагами. — Дело совершенно не к спеху, я просто подбираю кандидатуру на всякий случай, заблаговременно. Скажем, дней десять вы вполне можете потратить на поиски…

Полковнику Енке удалось решить проблему скорее. Не прошло и недели, как он во время утреннего доклада сам упомянул о полученном от шефа задании.

— Экселенц, — сказал он, — вы поручали мне подобрать кандидатуру для Цюриха, так вот…

— Для Цюриха? А, да. Помню, помню, как же. Вы хотите сказать, что уже нашли?

— Думаю, что да. Вы, вероятно, помните — год назад Остер просил отозвать с Восточного фронта одного ученого…

— Совершенно верно — доктора Дорнбергера! — Канарис любил иногда щегольнуть памятью. — Запомнилось по ассоциации: однофамилец того шарлатана в Пенемюнде. Но, простите меня, Вилли, кандидатура не из удачных: этот Дорнбергер имел какое-то отношение к урану.

— Вы мне не дали договорить.

— Да, да, прошу прощения. Пожалуйста, продолжайте, я вас слушаю!

— Так вот: Дорнбергер связан с одним довольно известным дрезденским искусствоведом. Нет, это не та известность, которая могла бы нам повредить. Может быть, вы даже слышали — Иоахим фон Штольниц, список трудов я достал. До тридцать шестого года занимался преподавательской работой в Дрездене и Лейпциге, потом был уволен…

— Не по расовым соображениям?

— Помилуйте, его фамилия фон Штольниц!

— А, черт их там знает, Гейдриха ведь тоже звали не Гольденбойм.

— Нет, нет, это действительно саксонский род, не из старых, но в этом смысле вполне чистый. Профессора выгнали из Дрезденской художественной академии за то, что он говорил студентам об итальянских истоках немецкого Ренессанса. Перешел читать в Лейпциг, но и там долго не удержался.

— Ну понятно. Неосторожный человек — ему надо было говорить, что Джотто учился у Дюрера. Вы сказали — список трудов; его продолжают печатать?

— В том-то и дело, что нет. Последние публикации относятся примерно к тем же годам — тридцать шестому, тридцать седьмому. Кое-что, правда, выходило потом за границей, но мало: Штольниц вел переговоры с некоторыми издателями по поводу своей новой работы о Кранахе, но безуспешно. Вся беда в том, что Руст еще до войны упомянул его в одной из своих речей — назвал «культурбольшевиком». Такие вещи запоминаются.

— Еще бы! Так вы думаете…

— Да, он подходит по ряду признаков: мало-

известен — в том смысле, что не представляет интереса для СД, — несомненный противник режима, имеет повод просить визу в Швейцарию…

— Цель?

— Да хотя бы знакомство с коллекциями — музейными, частными, мало ли их там.

— Логично, — согласился Канарис. — Но ваш профессор политически не скомпрометирован?

— Во всяком случае, у нас это не отражено.

— Никаких подписей, участия в протестах, встреч с иностранными журналистами?

— Насколько известно, никаких.

— Это хорошо… — Канарис побарабанил пальцами по столу, подвигал бумаги. — Но с другой стороны, что, если он просто трус, вся его «оппозиционность» объясняется личной обидой и не идет дальше брюзжания по гостиным? Скажем, не отняли бы у него кафедру, продолжали бы печатать…

— Трудно сказать. Люди, знающие профессора, отзывались о нем как о человеке в высшей степени принципиальном.

— Насколько близок к нему этот Дорнбергер?

— Штольниц был на фронте с его отцом, тот погиб на Марне, и он принимал участие в судьбе мальчика.

— Усыновил, что ли?

— Не совсем, просто помогал им с матерью, оплачивал учебу…

— Понятно. Ну что ж, спасибо, Вилли… Спасибо. Не исключено, что вы и в самом деле нашли. Меня интересует, однако, насколько реальна возможность… политически активировать этого вашего искусствоведа. Может, он в этом плане вообще никуда не годится. Хорошо бы попытаться выяснить это через самого Дорнбергера… но только очень осторожно! У него должно сложиться впечатление, что речь идет о возможности использовать профессора по линии гражданского сектора внутри самого заговора. Понимаете? Ни о чем другом!

— Экселенц, если вы считаете нужным давать мне указания такого рода…

— Ну, ну, не обижайтесь, мой дорогой Виллем, я просто становлюсь нудным и въедливым стариком. Да, и вот еще что: уточните, на чем именно специализировался профессор, и выясните конкретно, в каких музеях или частных собраниях Швейцарии находятся полотна, которые могут его интересовать…

Этот разговор в кабинете начальника абвера на Тирпицуфер состоялся в пятницу, а на другой

день в нескольких кварталах оттуда, на Бендлерштрассе, майор Бернардис вызвал к себе капитана Дорнбергера. Когда тот вошел, майор радушным жестом указал на стул.

— Это не по службе, капитан, — сказал он. — Присаживайтесь, я просто захотел отвлечься — голова уже как котел, на неделю меня определенно не хватает. Хоть начинай глотать первитин. Не пробовали?

— На фронте случалось, еще бы.

— И как?

Дорнбергер пожал плечами:

— Допинг есть допинг. Какое-то время ничего, а потом появляется привычка. Лучше себя пересиливать.

— А еще лучше — не переутомляться. Полезны также небольшие встряски. Сегодня, капитан, мы с вами едем ужинать.

— Ужинать? — удивленно переспросил Дорнбергер. — К кому?

— Ни к кому, просто в какой-нибудь хороший ресторан. Мне, знаете ли, захотелось кутнуть по-настоящему — этак, черт побери, по-венски!

— Боюсь, господина майора ждет разочарование. Вы уверены, что в Берлине остались места, где можно еще кутнуть по-венски?

— Ха! Не будьте наивной барышней, Дорнбергер. Итак?

— Да я, честно говоря, не очень настроен…

— Послушайте, капитан! Вы что, не знаете, что неприлично отказываться, когда вас приглашает старший по званию? Что за канальская распущенность; сакрамент! Извольте в двадцать ноль-ноль быть на углу Линден и Фридрихштрассе, где Малый театр. Форма одежды парадная, настроение бодрое, готовность номер один! А теперь вы свободны, я тут еще немного поработаю…

Вечером Эриху действительно пришлось лишний раз убедиться в своей наивности. К месту встречи майор подкатил на такси, приоткрыл дверцу, высунулся, поманил рукой. Эрих сел, машина рванула к Бранденбургским воротам, понеслась дальше через темный Тиргартен. Где-то за площадью Зофи-Шарлотты они вышли на незнакомой улице, все было затемнено, лишь над закругленной вверху небольшой дверью едва тлела синяя лампочка в узорчатом кованом фонаре. Бернардис позвонил, дверь открылась не сразу.

— Так вот, молодой человек, — сказал майор, когда они вошли в зал, — начинайте познавать жизнь во всем ее многообразии… Приветствую

вас, Людвиг! Как видите, способствую процветанию фирмы — вот, привел еще одного клиента, не смотрите на скромные погоны, это лицо весьма значительное, да, да, вы не пожалеете, если господин доктор станет вашим завсегдатаем…

Похожий на дипломата обер-кельнер, немолодой, но вполне призывного возраста по нормам сорок третьего года, провел их к столику, на скользкой от крахмала скатерти стали как по волшебству возникать тарелки, тарелочки, бокалы и фужеры всех форм и размеров, массивное столовое серебро — кельнерши ухитрялись расставлять и раскладывать все это, оставаясь где-то сзади, вне поля зрения. Не спеша подошел величественный сомелье[10] с серебряной цепью поверх смокинга.

— У господ будут какие-нибудь специальные пожелания? — негромко, доверительно осведомился он с большим достоинством. — Или предоставите это мне, в зависимости от выбора кушаний?

— Именно! — Бернардис поднял палец. — Полностью на ваше усмотрение, уважаемый. Преступно было бы пытаться заказывать вина

---

[10] Notes: 10
Sommelier *(фр.)* — *здесь*: лицо, ведающее винным погребом.

самим, пренебрегая опытом и знаниями такого специалиста.

— Господа останутся довольны, — заверил сомелье и слегка поклонился, прикрывая глаза.

Эрих чувствовал себя по-дурацки. Не то чтобы подобный антураж был ему в такую уж новинку: Рената любила проводить время в компании, иногда ей удавалось вытащить и его, и если ужинали не дома, то, как правило, у Хиллера, или в «Адлоне», или в «Тёпфере» на Доротеенштрассе — других мест, попроще, эта любительница красивой жизни не признавала. Но то было давно, в мирное время; в конце концов, нравилось людям бросать деньги на ветер — их дело. А сейчас это выглядело кощунством. Эрих был не настолько уж наивен, чтобы не догадываться, в какой роскоши живут партийные бонзы или магнаты промышленности, ему кое-что рассказывали те, кому случалось попадать на разного рода закрытые приемы; но чтобы вот так, открыто, на глазах у посторонних… Он обвел взглядом зал — небольшой, интимно полуосвещенный шелковыми абажурами настольных ламп, пропитанный запахами кофе, французских духов и дорогих сигар, — трудно было поверить, что одна только стена отделяет все это от другого, настоящего

Берлина — с его развалинами, терпеливыми очередями у дверей лавок, с изможденными людьми, живущими и работающими на последнем пределе сил. «Хорошо бы сюда парочку английских фугасок», — подумалось ему вдруг.

Эрих жалел уже, что принял приглашение Бернардиса, но отказаться и впрямь было неудобно — все-таки старший сослуживец. Он без удовольствия ел то, что появлялось у него на тарелке, почти не разбирая вкуса, хотя вообще не был равнодушен к хорошей еде. Здесь еда была великолепна, но он больше налегал на вина — тоже соответствующего качества, к мясу им подали «Кло-де-Вужо» особенно удачного, как заметил сомелье, года, а к рыбе — великолепное шабли, какого ему не приходилось пробовать и в мирные времена. От выпитого его раздражение по поводу окружающего бесстыдства еще больше усилилось.

— Интересно все-таки, какая сволочь составляет постоянную клиентуру этого бардака, — сказал он Бернардису. — Вот кого можно к стенке без суда и следствия…

— Ну зачем же, — благодушно отозвался майор. — Я тоже бываю здесь довольно регулярно. Не часто, конечно… но раз в месяц могу себе поз-

волить. Есть тут, конечно, и шиберы. Но где их нет? Прозит, коллега… Знаете, что самое забавное? Я всякий раз, когда здесь расплачиваюсь, не могу не испытывать изумления — как в наше время можно еще получать вполне реальные и ощутимые ценности — икру, скажем, великолепное вино, выдержанные сыры — за этот вот пипифакс… — Он выгреб из кармана кителя пригоршню марок, посмотрел на них, пожал плечами и сунул обратно. — Это мне действительно непонятно. Это ведь не деньги, это фикция! Рейхсмарка давно уже не имеет золотого обеспечения, реально она стоит не больше бумаги, на которой напечатана. И между тем, как видите, на нее можно еще что-то купить… Истинная загадка.

— Надо спросить у какого-нибудь финансиста.

— Все равно не пойму. Это уже из области мистики. Прозит!

— Прозит!

В этом ресторане не танцевали, оркестра не было, лишь в дальнем углу пианист в черных очках негромко, словно импровизируя, перебирал клавиши.

— Не надоели вам командировки? — спросил Бернардис.

Эрих молча пожал плечами.

— Да, я понимаю, служба есть служба. Надоела она или не надоела, а тянуть лямку приходится. Когда вы последний раз были в Дрездене?

— В Дрездене? — Эрих удивленно глянул на Бернардиса, заподозрив майора в способности читать мысли. — Шестнадцатого сентября, а что?

— Просто вспомнил. Приятный город, я всегда старался задержаться там по пути из Вены хотя бы на день. Отличное в Дрездене есть местечко — «Медвежий шинок» на Вебергассе, возле Старого рынка… Кстати, Дорнбергер. Мне сейчас пришло в голову — этот ваш дрезденский родственник…

— Родственник?

— Ну, словом, тот профессор, о котором вы мне рассказывали. Не родственник, да, я спутал. Я вот что сейчас подумал… Может быть, он смог бы — ну, отчасти разгрузить вас. Вы меня понимаете. Не в сфере контактов с военными, естественно. Но ведь вам приходится иметь дело и с гражданскими лицами? Вы говорили, насколько помнится, что образ мыслей вашего друга вполне соответствует…

— Вполне — я бы не сказал.

— Однако у него есть все основания… ну, скажем, не восторгаться ситуацией.

— Верно! — Эрих кивнул, поднять голову уда-

лось не сразу, она уже заметно отяжелела. — Но он считает, что нечего лезть в это дело. Без нас наведут порядок.

— Кто же, интересно?

— Господин майор, вы сегодня несообразительны, прошу прощения. Прозит! Так вам, говорите, тоже нравится Дрезден. Я в него влюблен. Потрясающий город. Вы вот упомянули медведей; а как насчет осла?

— Осла? Какого, простите, осла?

— Есть там такая статуя — пьяный осел, — сказал Эрих мечтательно и торжественно, — у ратуши, где вход в погребок.

— Ах это. Вы имеете в виду Диониса на осле? — Бернардис подлил ему коньяку. — Все-таки это не статуя, мне думается, скорее уж скульптура. Да, я ее помню, еще бы.

— А вот как вы считаете, удобно было пригласить туда даму? Я имею в виду погребок.

— Но почему же нет? Я бывал там — многие приходили с дамами. Так, значит, профессор возлагает надежды на… внешние факторы?

— Так точно. И знаете почему? Он просто не представляет себе, как это будет выглядеть… когда «внешние факторы» возьмут верх. Ну, его можно понять. Кабинетный ученый, что вы хо-

тите, да еще живет в городе, где за всю войну не упало ни одной бомбы. Съездил хотя бы в Гамбург, а? Вы не были в Гамбурге после июля? Сорок тысяч погибло за одну неделю; знаете, такие потери даже на фронте — чтобы за неделю боев почти три дивизии полного состава! — а ведь там был не фронт, майор, там был мирный тыловой город — женщины, дети, старики… Шесть налетов, понимаете? И сорок тысяч сгоревших заживо: доблестная британская авиация работает в основном фосфором. Так вот, не испытав этого на себе — или хотя бы не увидев своими глазами, — конечно, можно говорить и о внешних факторах. Так пьяный осел вам тоже понравился?

— Я, Дорнбергер, не очень его разглядывал, признаюсь. Но вещь выразительная.

— Именно! Именно выразительная. Она так и сказала.

— Кто, простите?

— Ну вот… дама, которую я хотел пригласить. Точнее, которую я пригласил — увы, безуспешно. Вам, майор, никогда не приходило в голову, сколько лет нас будут ненавидеть после этой войны?

— Кого — «нас»?

— Немцев! Точнее, всех вместе — немцев, ав-

стрийцев… Вы ведь австриец? Какое это теперь имеет значение. Вы родились австрийцем, я — немцем, но теперь мы с вами подданные великогерманского рейха. И его солдаты, а этим все сказано. Вот чего не понимает Иоахим, он думает — помогут, освободят… Вздор, нас просто сотрут в порошок. А ему не понять, он ничего не пережил, все слишком благополучно. Сын, правда, на фронте, но это у всех. Пока жив-здоров. Вот случись что-нибудь с этим поганцем Эгоном — боже сохрани, конечно, — вот тогда он, возможно, увидел бы ситуацию в ином свете…

— Эгон — это сын профессора? — спросил очень внимательно слушающий Бернардис.

— Так точно, лейтенант Эгон фон Штольниц, кретин, каких мало, отец с ним разругался в пух и прах, но сын есть сын… Знаете, эдакий правоверный молодой болван, зиг-хайль…

— Да, да, это теперь во многих семьях, что делать, — сочувственно сказал майор. — Где он, на Восточном?

— Нет, в Италии. Так что, боюсь, на помощь профессора рассчитывать не приходится. Человек стопроцентно порядочный, тут никаких сомнений! Но — как бы вам объяснить…

— Я понимаю, не надо ничего объяснять.

— Нет, вы послушайте! Я хотел сказать: у каждого из нас было что-то, заставившее пересмотреть жизнь. Верно? У меня, например, Сталинград. И у каждого было что-то свое. А у него что было?

— Да, я все понял, коллега, — повторил Бернардис.

Глава 3

Видимо, это оказалось не так просто — придумать себе командировку. Прошел октябрь, в ноябре затянули долгие моросящие дожди; Людмила вдруг начала чувствовать, что погода действует на нее как никогда раньше. До сих пор настроение обычно не зависело от того, что делается за окном: дождь ли, снег, солнце — какая разница. А теперь, стоило утром поднять черную маскировочную штору и увидеть оловянного цвета небо, мокрые черепичные крыши и голые деревья внизу, как сердце сжималось тоской уже на весь день. Она старалась этого не проявлять, но притворство никого не обманывало — фрау Ильзе уже несколько раз спрашивала озабоченно, не больна ли. Ссылаться приходилось на головную боль. Не скажешь ведь, что она просто ждет не дождется приезда капитана Дорнбергера!

Людмила старалась убедить себя в том, что нетерпение объясняется лишь желанием поскорее узнать что-то о Тане: она была уверена, что он сумеет передать письмо. И в то же время ей самой было ясно, что ждет она не только весточки с Украины.

Чем-то ее все больше и больше заинтересовывал этот нелепый человек. Хотя, казалось бы, что вообще может в нем заинтересовать? Если трезво разобраться — личность вовсе неинтересная, отрицательная по всем статьям. Об ограниченности его интересов говорил еще профессор, да оно и видно: «танталов труд», надо же! Конечно, само по себе это не преступление — плохо знать греческую мифологию, однако, что ни говори, такое вопиющее невежество…

Да нет, дело не в этом. И не в том даже, что он немец — хотя это не такая безделица, все-таки офицер вражеской армии, на этот факт тоже не закроешь глаза. Тут, кстати, нет никакого расизма, никто не собирается сравнивать — этот народ лучше, а тот хуже; пожив в чужой стране, прежде всего начинаешь понимать, что нет ни лучших, ни худших, есть просто очень разные. А когда идет война, то это ощущение разности обостряется до предела — должно обостряться,

во всяком случае. Теоретически. На практике же особого ощущения «разности» с Эрихом у нее почему-то нет.

Есть, скорее, ощущение какой-то общности. Причем совершенно необъяснимого происхождения, поскольку ничего об этом человеке она толком не знает. Точнее, не знает ничего хорошего, зато плохого — сколько угодно. Он безобразно невежествен; он аполитичен, а следовательно, беспринципен; вроде бы осуждает фашистский режим, но служит ему верой и правдой. А эта возмутительная история с женой? Был женат на честной, идейной антифашистке (сам ведь признался, что она уговаривала его эмигрировать!), но бросил ее, отправил за границу одну, не захотел расстаться с обожаемым фатерландом. И теперь еще цинично говорит «моя экс», жалуется на ее глупость. Зачем, спрашивается, женился, если амеба?

Все это Людмила понимала, но думала о Дорнбергере все чаще и чаще, и мысли о нем становились все более неподвластны доводам рассудка. Она тщательно избегала мысленно называть его Эрихом, хотя имя нравилось ей куда больше, чем громыхающая, будто сложенная из булыжников фамилия; да какая разница — как ни называй…

Шестнадцатое сентября, тот незабываемый день, осталось у нее в памяти как яркий, радостный, солнечный праздник, и только потому, что вместе ходили по улицам, о чем-то разговаривали — странно, но ей даже не очень запомнилось о чем. Вспоминалось, конечно, но отрывками. То, что он сказал о своей жене (и что ее так возмутило) или потом — о собаках. Ну, естественно, о письме домой. Но многое выпало из памяти, просто не задержалось там, потому что, наверное, важнее было другое — сам факт присутствия, несмелый процесс взаимного узнавания…

Когда он спросил о собаках, она подумала, что заплачет, и в трамвае они, кажется, вообще не разговаривали — да, конечно, было много народу, она не любит говорить по-немецки в присутствии посторонних: могут заметить акцент, обратить внимание — иностранка, а почему без опознавательного знака? А потом, дома… она начала готовить обед, а он вышел, сказал, что скоро вернется, и принес вина — где-то «организовал», по его выражению. Вино было приятное, легкое, бутылка как-то незаметно опустела; за столом сидели долго, Эрих ушел только вечером, у нее едва оставалось время написать письмо Тане. Еще дописывала, когда он за ним вернулся

— уже готовый к отъезду, с пистолетной кобурой на поясе и большим набитым портфелем. Может быть, следовало проводить его на вокзал?

Вообще-то, конечно, мог бы за это время и позвонить. Она однажды под каким-то предлогом поинтересовалась у профессора, действует ли сейчас междугородная телефонная связь, — сказал, что в принципе действует, хотя дозвониться не так просто. Ну, если бы захотел, то дозвонился. Странно, в самом деле. Она, кажется, ясно дала ему понять, что охотно встретилась бы снова (а вот этого говорить не стоило, еще истолкует как-нибудь не так), — значит простая вежливость требует… Хотя при чем тут правила вежливости. Но зачем было проводить с нею целый день, если она настолько ему безразлична, что даже не возникает мысли воспользоваться телефоном! Или действительно обиделся, что не проводила?

А тут еще эта погода. Единственным утешением было то, что дела у немцев шли все хуже и хуже, был освобожден Киев — профессор услышал об этом по английскому радио, а через два дня сообщение появилось и в сводке ОКВ. О потере столицы Украины было упомянуто вскользь, между сообщениями об успехах подводного флота на атлантических коммуникациях и о неудачах

союзников в Италии. Англо-американцы там и в самом деле не торопились — еще в начале сентября высадили большой десант под Салерно и за это время сумели продвинуться к северу на какую-нибудь сотню километров, не добравшись и до Гаэты; недавно радиокомментатор Фриче с торжеством объявил, что они вообще прекратили наступательные операции, убедившись в несокрушимости германской обороны. Нет на ту оборону наших хлопцев, подумала Людмила, слушая обзор.

В Киеве она была лишь однажды, в седьмом классе: мама ездила на совещание, это было во время весенних каникул, и она взяла ее с собой. В памяти осталось не так много: запомнилась часть Крещатика, потом какой-то дом на горке — очень необычный, весь в лепных изображениях морских чудищ, и еще один, наподобие средневекового замка, с арками и зубчатыми башенками. Все было такое сказочное, причудливое и потому веселое, к тому же в конце марта стояла солнечная, теплая погода, Крещатик поразил ее провинциальное воображение великолепием многоэтажных домов и огромных зеркальных витрин…

А теперь она увидела его в кино, правда мель-

ком. Показывали очередной выпуск «вохеншау» — Людмила регулярно смотрела военную хронику с тех пор, как немцы начали отступать из-под Курска. Ей нужно, необходимо было своими глазами увидеть, как это выглядит теперь, когда наши армии одерживают победу за победой. Хотя смотреть было подчас тяжело. Однажды показывали, как перед оставлением Харькова специальные команды минируют центр города: закладывают авиабомбы в вырубленные в фундаментах домов ниши, тянут провода, готовят здания к поджогу. И потом все это взрывалось, горело, рушилось; немцы обожают показывать такие вещи. Теперь они демонстрировали новые оборонительные позиции перед Киевом. Голос ведущего торопливо читал обычный бодрый текст — о стойкости и железной воле германского солдата, о неприступности нового рубежа обороны, о том, что здесь — на Днепре — будут остановлены рвущиеся в Европу монголо-большевистские орды. На экране оборона выглядела внушительно, да такой она, наверное, и была в действительности — блиндажи, бесконечные ряды колючей проволоки и минные поля, орудийные окопы, из которых, хищно припав к земле, по-змеиному тянулись длинные стволы противо-

танковых пушек… Увидев хорошо знакомый по открыткам и фотографиям памятник, Людмила от неожиданности не сразу даже сообразила, что это: какая-то притрушенная снежком площадь, скопление немецких машин, медленно продвигающаяся колонна тяжелых танков, а над всей этой рычащей железной сутолокой — всадник на пляшущем коне, рванув поводья, грозящим жестом откинул булаву. Людмила ахнула — пан гетман! Значит, это Киев? Видимо, она не расслышала названия города в дикторской скороговорке, да и не прислушивалась особенно к тексту. Киев! Она жадно смотрела, вся подавшись вперед, едва не привстав с кресла, а на экране мелькали какие-то незнакомые улицы, обложенные мешками с песком зенитные четырехствольные пушки на перекрестках, указатели с излюбленными немцами сокращениями, состоящими из одних согласных, — и вдруг камера крупным планом показала доску с надписью «Kreschtschatik-Strasse». Вероятно, это был действительно Крещатик, судя по ширине, но, боже, что от него осталось! Руины, руины, насколько хватал глаз, пустые фасады, почерневшие обломки стен…

Этот выпуск хроники Людмила видела две недели назад, а теперь Киев был освобожден.

Наши, значит, форсировали Днепр, не такой уж он оказался неодолимой преградой. Что делается южнее, в секторе Днепропетровск — Запорожье, понять было трудно, сводки ОКВ неопределенно говорили о тяжелых оборонительных боях, по лондонским сообщениям тоже трудно было представить себе ясную картину.

Они с профессором несколько раз пытались поймать Москву, но безуспешно. Ловить приходилось наугад, не зная ни времени передач, ни длины волн, — скорее всего, просто не попадали на нужную.

Людмилина реакция на новости с Восточного фронта была сложной. Прежде всего, новости эти были такими долгожданными, что — как всегда случается, когда ждешь слишком долго, — они не воспринимались уже во всей их полноте. И была еще одна сторона: теперь, когда немцев действительно начали гнать с Украины, Людмила еще более обостренно — каждым нервом — стала ощущать всю противоестественность своего пребывания здесь, на чужбине. Казалось бы, неволя должна переноситься легче, когда наконец-то забрезжил свет в непроглядном доселе мраке, появилась надежда на освобождение; Людмила же чувствовала, что именно теперь ее неволя

становится еще тяжелее.

Объяснить этого она не могла. Может быть, все дело в том, что тогда, в сорок первом, обрушившаяся на страну беда была слишком громадной и всеобщей и на ее фоне участь угнанных на чужбину была еще не самым страшным, иным пришлось хуже. Здесь ли, дома ли — всюду была та же неволя.

А теперь там возрождается жизнь — покалеченная, на развалинах, жизнь нечеловечески тяжелая, это можно себе представить, бегущий вермахт действительно оставляет после себя «зону пустыни», — но все-таки жизнь без чужого ярма на шее. И думать об этом, оставаясь в рабстве, было все тяжелее.

То случайное обстоятельство, что здесь ей встретились редкие по своей порядочности люди, что клетка, в которой ее заперли, оказалась золоченой, нисколько ведь не смягчало для Людмилы самого главного: факта пребывания в рабстве. Иногда даже думалось, что в чем-то ей было бы проще, не будь этой «позолоты». Тяжелее, но — проще. Тогда она могла бы ненавидеть Германию огульно и безоговорочно, как ненавидят другие. Ненависть — чувство страшное, губительное для самого ненавидящего, но бывают, наверное,

положения, когда она может придать силы.

Людмиле часто вспоминалась Зоя Мирошниченко, которой профессор помог тайно перебраться на территорию протектората, к чехам. Однажды — Зойка еще бедовала у своего злыдня — они договорились встретиться в воскресенье, Людмила долго ждала ее на Шлагетерплац, и, когда Зойка наконец подъехала на трамвае, они решили прогуляться — та тоже не носила свой «ост». Обогнув Альбертинум, поднялись в сад на набережной, и возле портика Академии Людмила сказала что-то вроде: «Красиво, правда?» — ей действительно нравилось это здание; профессор, правда, считал его не лучшей постройкой Липсиуса, находил перегруженным и эклектичным: «Тут, дочь моя, уже так называемый „французский стиль“, явное начало декаданса, распад традиций — разве можно сравнить с работами Земпера?» Будучи профаном, Людмила ничего не сравнивала, и Академия ей казалась нарядной и изящной со своим необычным прозрачным куполом в острых застекленных ребрах. Зойка глянула на нее удивленно: «Тю, да ты что, сказилась? Нашла чем любоваться, хоть бы их геть усих поразбомбило, паразитов, с ихними красотами…»

Людмила тогда не нашла что сказать, промолчала, хотя сказать можно было много. И все это было бы разумно и правильно, но по-своему Зойка тоже была права: наверное, и самой Людмиле не пришло бы в голову любоваться архитектурой немецкого города, если бы хозяйка-немка лупила ее по щекам за малейшую оплошность, как лупили Зойку.

Но ее не лупят, ей не за что ненавидеть тех конкретных немцев, с которыми приходится общаться. О самих Штольницах нечего и говорить, но соседи по дому, которые косо посматривают на нее, встречая в лифте, или даже женщины в очередях, не упускавшие случая сорвать на ней дурное настроение, — за что их ненавидеть? Ненависти заслуживает система в целом, режим, правительство, которое натравливает свой народ на другие; а народ, как и всякий другой, состоит из разных людей — от очень плохих до очень хороших, и есть в нем, разумеется, прямые преступники, чьими руками режим творит свои черные дела и без чьего согласия и поддержки он бы вообще ничего не смог сделать. Но большинство этого народа, хотя и вынуждено соучаствовать в преступлениях своего правительства, само страдает от них в неменьшей

степени. Людмила понимала все это, и от этого понимания ей становилось только труднее. Насколько проще было бы жить, не испытывая к Германии ничего, кроме ненависти!

Двадцатого ноября радио сообщило о тяжелом воздушном налете на Берлин. Его не бомбили с августа, и новость была воспринята как начало новой фазы воздушного террора. Людмила, услышав об этом, первым делом испугалась — за Дорнбергера, он ведь там служит. Это, конечно, тоже было не к лицу комсомолке: бомбили-то ведь гитлеровскую столицу, да и военных заводов там немало. Следовательно, чем больше будет разрушений в Берлине, тем лучше. Но Людмила не могла радоваться, этому противилось сердце. Какая-то не до конца объяснимая раздвоенность мыслей и чувств, душевный разлад — вот что мучило ее больше и больше.

Она все ждала, что Дорнбергер позвонит профессору или хотя бы пришлет открытку, чтобы сообщить, что с ним все в порядке. Но прошла неделя, известий из Берлина не было; ей уже представлялось самое плохое, а потом она вдруг сообразила, что беспокоиться еще рано — почта теперь идет долго, много писем вообще теряется (еще бы, столько почтовых вагонов попадает

под бомбежки!), телефонная же сеть в Берлине наверняка повреждена во время налета…

Но он все-таки позвонил. Людмила была в городе, а когда вернулась, профессор встретил ее с таким довольным видом, что она сразу поняла — случилось что-то хорошее. И сразу подумала о Дорнбергере.

— Звонил Эрих, — объявил профессор, — и очень кстати, потому что я уже начинал тревожиться, честно говоря. Хотя почему бы? — он и раньше не баловал нас известиями о себе, а террористические налеты становятся, увы, слишком обыденной деталью нашего быта…

— Он в Берлине? — спросила она как можно безразличнее.

— Нет, он здесь, но заехать не сможет — мало времени. А тебя хочет увидеть, потому что у него какие-то новости. Не для телефона, как он сказал. В четыре часа он будет на Веттинском вокзале, второй перрон — у выхода. Просил только не опоздать, у него в это время поезд…

Еще бы она опоздала! Уже в половине четвертого Людмила пришла на вокзал; второй перрон оказался пустым, прождать на месте целых полчаса казалось невыносимым, она снова спустилась вниз, вышла на Кённерицштрассе. Когда снова

посмотрела на часы, прошло лишь пять минут. Было уже совсем по-зимнему холодно, северо-западный ветер хлестал в лицо ледяной изморосью — то ли тающим снегом, то ли замерзающим на лету дождем. Людмила пошла к Веттинерплац, так, по крайней мере, ветер дул в спину, опять посмотрела на часы, обошла вокруг Якобикирхе — мрачноватого псевдороманского сооружения с тяжелыми арками и громоздким коническим навершием колокольни, напоминающим «шатры» русских церквей шестнадцатого века. Когда она вернулась на вокзал, у второго перрона уже стоял поезд, было шумно и многолюдно, Дорнбергера она увидела сразу. На секунду ей даже стало нехорошо, так заколотилось сердце. Он тоже увидел ее и радостно улыбнулся — такой же открытой обезоруживающей улыбкой, как в тот день, на мостике у входа в Цвингер.

— Добрый день, — сказала она негромко. — Я рада вас видеть… Эрих. Почему вы не писали, мы все так беспокоились…

— Беспокоились? — переспросил он, не выпуская ее руки. — По какому поводу, Люси?

— Но ведь был налет…

— А, налет! — Он улыбнулся еще шире, словно ему напомнили о чем-то радостном. — Ерунда, я

в ту ночь был в Цоссене. Да и вообще, если беспокоиться из-за каждого налета… Я тоже рад вас видеть — к сожалению, сегодня только транзитом, — он кивнул в сторону поезда, — а то можно было бы побыть вместе. Погода, правда, не для прогулок… Вам холодно?

— Нет, нет, — заверила она, хотя у нее уже зуб на зуб не попадал — не столько, впрочем, от холода, сколько от волнения. Почему он ничего не говорит о своей новости? — Профессор сказал мне, что у вас есть для меня…

— Некоторые сведения, так точно. По телефону я не стал… Отойдем в сторону, хорошо? Дело вот в чем, Люси: я нашел способ переслать ваше письмо. Этот офицер заехал туда, но найти вашу подругу ему не удалось. Хорошо, что он не стал сразу наводить справки через полицию; пошел по адресу, дом оказался занятым под какое-то военное учреждение, а на вопрос относительно прежних жильцов ему сказали, что их то ли забрало гестапо, то ли…

— Гестапо? — едва слышно переспросила Людмила, не веря своим ушам. — Вы говорите, ее забрало гестапо?

— Они точно не знали, понимаете? Тогда он решил осторожно выяснить через служащих

гражданской администрации, у него там нашелся один знакомый. Словом, ему сказали, что ваша подруга работала в тамошнем комиссариате. А в начале июля — там в это время партизанами был убит областной комиссар, — в начале июля она была арестована, но тут же исчезла. Вероятнее всего, бежала.

— Нет, я… я не могу поверить! Чтобы она — работала в комиссариате? И потом — как это, исчезла?

— Бежала, вероятно, — повторил Эрих. — А работать могла и по заданию группы Сопротивления. Иначе почему гестапо ею заинтересовалось? И почему арест совпал с убийством комиссара?

— Боже мой, но… Эрих, вы совершенно уверены, что ваш друг ничего не перепутал?

— Венцель чрезвычайно пунктуальный человек. Он, кстати, предвидел такой вопрос. Чтобы у вас не оставалось сомнений, он сфотографировал дом. Вот, посмотрите…

Расстегнув плащ, он достал из нагрудного кармана конверт и подал Людмиле. Конверт, уже заметно потертый, был тот самый, в который она вложила тогда письмо Тане. Письмо находилось внутри, а с ним и фотография — небольшая, квадратная, ярко и резко напечатанная. Да, знакомый

Эриха действительно оказался пунктуальным человеком.

Она не сразу услышала вопрос, не сразу его поняла, потом кивнула, не отрывая глаз от прекрасно сделанного снимка.

— Да, — сказала она непослушными губами, — это наш дом…

На снимке он выглядел каким-то не таким, как помнился. Может быть, потому, что исчез забор и кустов вокруг казалось меньше, наверное, их тоже поломали, а оставшиеся были совсем голыми, — конечно, это ведь снято недавно, уже осенью. И такой маленький… Боже мой, но Таня…

— Люси, — сказал Эрих, положив руки ей на плечи. — Не надо так, ведь еще ничего не известно. Венцель не мог расспрашивать слишком подробно и настойчиво, но, если бы она была в гестапо, ему бы сказали. Я уверен, ваша подруга бежала и сейчас находится в безопасности. Через месяц там будут русские, мы оставляем все Западное Приднепровье… Будьте же благоразумны, во время войны люди получают и более тяжелые известия о своих близких…

Продолжая говорить, он слегка тряхнул ее за плечи, как это делают, желая подбодрить, а по-

том привлек к себе — и она качнулась к нему как-то безвольно, без мыслей, повинуясь внезапно овладевшему ею порыву — отдаться под защиту, ощутить наконец что-то надежное, способное уцелеть и спасти в этом продолжающем распадаться безумном мире, — и уже испытывая блаженное, никогда ранее не испытанное ощущение покоя и укрытости, исходящее от его рук, которые продолжали держать ее плечи крепко и бережно.

Это не продлилось и секунды. Уже почти коснувшись щекой серо-зеленого офицерского плаща, мокрого и лакированно-блестящего, и ощутив химический запах какой-то искусственной кожи или резины, она вдруг опомнилась и отступила на шаг, схватившись за его рукав, словно боясь потерять равновесие.

— Простите, — пробормотала она, — я совсем…

— Да, да, успокойтесь. — Он еще раз сжал ее плечо тем же товарищеским жестом и убрал руки. — Сожалею, что пока не смог порадовать вас доброй вестью, но…

— Все равно огромное вам спасибо… Эрих. Я понимаю, что это было непросто сделать. Спасибо. Но расскажите о себе хоть немного, если есть время. Вы сейчас в Берлин?

— Нет, сегодня я в другую сторону — в Хемниц и дальше. О себе мне рассказывать нечего — служба есть служба, в Берлине мерзко и становится хуже с каждым днем.

— Последний налет был очень сильный?

— Я в ту ночь в Берлине не был — накануне меня послали в Цоссен, заработался допоздна и решил там ночевать. Но, судя по данным ПВО, налет был средний. Четыреста самолетов, десять сбили в заградительной зоне. Однако не будем говорить о войне! Люси, я часто вспоминаю нашу прогулку по городу. Необычное какое-то впечатление оставил у меня тот день. И знаете, о чем я хотел вас попросить? Мне было бы приятно иметь вашу фотографию. У вас найдется одна для меня?

— Откуда же… — Людмила пожала плечами. — Только на удостоверении личности, ее нельзя, и потом… это фотография отвратительная, нас снимали в лагере… Вообще, я хочу сказать — наверное, это все не надо.

— Чего не надо, Люси?

— Ну, вот… фотография, и вообще.

Эрих помолчал. По свободному пути медленно полз маневрирующий состав, он то останавливался, громыхая и лязгая буферами, то снова трогался. Снизу, из зала ожидания, унылой

вереницей шли один за другим громоздко навьюченные оружием и снаряжением солдаты, лица у них были какие-то серые, одинаковые, до неразличимости стертые усталостью и равнодушием.

— Вам вообще не хотелось бы меня видеть? — спросил Эрих.

— Нет, почему, но просто…

— Если вы скажете, Люси, я могу не приезжать.

— Вы, наверное, меня не поняли. Я совершенно не имею права говорить вам — приезжать или не приезжать. Я также должна сказать, что ждала вашего приезда. Или хотя бы телефонного звонка.

— Вам не терпелось узнать, что с письмом?

— Да, еще бы! Но не только это. Я… мне это трудно объяснить, но я здесь никого не знаю, кроме фрау Ильзе и господина профессора. Естественно, каждое новое знакомство…

Эрих, помедлив, ласково коснулся ее локтя:

— Спасибо, Люси. Мне с вами тоже очень както… хорошо. Поэтому я спросил о карточке, и если это вас насторожило, то зря. Конечно, я могу обойтись, тем более что есть другой вариант: Иоахим, когда в первый раз рассказывал мне о вас, сказал, что вы похожи на один итальянский портрет — ну, из тех старых, что по его части.

Я могу уточнить это и достать репродукцию, даже цветную.

— Стоит ли, — сказала Людмила, улыбаясь. — Не так уж я на нее похожа.

— Вам известно, о какой картине идет речь?

— Да, мне показывали, в альбоме. Я боюсь, Эрих, вы чего-то не понимаете, нам действительно лучше было бы не…

Она не договорила — громкоговоритель на перроне зашипел, свистнул и простуженным голосом объявил об отправлении специального поезда номер такой-то.

— Смотрите-ка, — сказал Эрих, — имперская железная дорога проявляет признаки жизни. Ну что ж, Люси… мне пора! Воина, как говорится, призывает священный долг. Будьте здоровы и не унывайте.

— Счастливого пути, Эрих… — Ей очень хотелось подать ему руку, но не отважилась и добавила упавшим голосом: — Приезжайте, если будет возможность…

Он, видимо, тоже ждал, что она протянет руку; помедлив, полушутливым жестом приложил к козырьку два пальца, щелкнул каблуками и поклонился. И, не оглядываясь, торопливо похромал к вагону.

Людмила медлила уйти — словно надеялась, что поезд вдруг возьмет и вернется. Глядя вслед, она дошла до конца перрона, потом повернула обратно и, пройдя платформу до другого конца, долго стояла на открытой ее части, где уже не было над головой закопченного стеклянного свода. Ветер немного утих, но похолодало еще больше, небо прояснилось, и бледный водянистый свет сочился сквозь редеющие облака, заставляя неярко блестеть мокрые черепичные крыши Фридрихштадта. Справа, на альтштадтской стороне, проглянувшее вдруг блеклое солнце вызолотило на темном фоне отогнанных к юго-востоку туч один из шпилей королевского замка, видимый отсюда в просвет между кирпичными фасадами Кённерицштрассе. Поднятое над уровнем улиц железнодорожное полотно, идущее к мосту через Эльбу и дальше к вокзалу Дрезден-Нойштадт, делило эту часть города на два совершенно непохожих района: по правую руку — дворцы, театры, музеи, нарядные витрины на Ринге и Прагерштрассе, а по левую — унылые улицы рабочего предместья, чистые, тщательно выметенные, но такие безрадостные…

Людмила опять подумала о странной прихоти судьбы, поместившей ее в исключительные до

неправдоподобия обстоятельства, о необъяснимом нагромождении случайностей: то, что эшелон оказался направлен именно сюда, в Дрезден, и что какой-то чиновник, взяв ее «кенн-карту» (а ведь сколько их проходило тогда через его руки!), обратил внимание на пометку «владеет немецким» и вспомнил о заявлении некоего профессора, искавшего прислугу со знанием языка, и то, наконец, что в доме Штольница появился однажды некто Эрих Дорнбергер… Знать бы только — для чего все это, какой в этом смысл? Наверное, ей проще было бы разделить участь других девушек — работать на какой-нибудь фабрике там, на окраине, и жить в лагерном бараке, а не в роскошной профессорской квартире рядом с Цвингером… В свете того, что она только что узнала о Тане, ей трудно было думать об исключительности своего теперешнего положения, не испытывая чувства невольной вины перед… она и сама не могла бы сказать, перед кем. Перед всеми, очевидно, чья судьба оказалась не столь милостивой.

Но что все-таки произошло там, дома? Если Таня действительно была арестована, да еще в связи с убийством фашистского комиссара… да нет, этого не может быть, «пунктуальный»

немец наверняка что-то напутал. Хотя, с другой стороны, фотография — дом он сфотографировал, значит действительно был там, узнавал, зачем бы ему тогда придумывать…

И все же не верится. Чтобы Таня пошла к ним работать? Невозможно себе представить. Разве что, как предположил Эрих, по заданию — это дело другое, это уже на нее похоже. Вполне возможно, что там после ее отъезда и в самом деле возникло какое-то подполье… Тогда, кстати, понятно, почему не было писем: Таня на всякий случай боялась ее скомпрометировать перепиской…

Немолодая особа в форменном кепи железнодорожницы уже несколько минут поглядывала на Людмилу с подозрением. Подойдя наконец, она осведомилась — какого, собственно, черта уважаемая фрейлейн здесь торчит; если провожала кого, так поезд давно ушел, а свидания назначать тут не положено. Испуганно пробормотав извинение, Людмила заторопилась к указателю «Выход в город и к бомбоубежищам». Не хватает ей только проверки!

Спустившись вниз, она вышла на привокзальную улицу, постояла в нерешительности. Домой идти не хотелось: профессор и фрау Ильзе знали,

что она писала подруге, теперь начнут расспрашивать. А что она может сказать? Врать им не хочется, а сказать правду — старики могут перепугаться. Если подругу забрало гестапо (пусть даже она потом бежала, это дела не меняет), то нити могут дотянуться и сюда… В общем-то, конечно! Эта мысль пришла ей в голову только сейчас, но показалась не такой уж вздорной. Там могут вспомнить, кто еще жил в этом доме, а на бирже труда все ее данные записаны, конечно, с немецкой аккуратностью — когда выбыла, куда прибыла…

Людмила вдруг подумала, что счастливы фаталисты, спокойно принимающие любой поворот судьбы — «будь что будет». Этого, конечно, просто так перенять нельзя. Это или чувствуешь, или не чувствуешь. Раньше ей такое отношение к жизни представлялось слабостью, трусостью, попыткой прикрыть принципом собственную никчемность; но это было давно, в те невообразимо далекие времена, когда ее собственная жизнь была совершенно благополучной, когда казалось, что такой она и останется навсегда.

С тех пор многое изменилось и вокруг нее, и в ней самой. Еще осенью позапрошлого года, вскоре после катастрофы, как-то придя в себя

и осознав всю безысходность своего нового положения, она впервые ощутила однажды, как привлекательна сама идея рока, неумолимого и глухого фатума. Дело ведь не в том, чтобы опустить руки и вообще не пытаться ничего изменить в своей судьбе; такой крайний фатализм если и встречается, то, наверное, лишь где-нибудь на Востоке, где у людей вообще иное отношение к жизни. А разумный фаталист может быть активным человеком, просто он всегда в глубине души готов к тому, что усилия могут остаться тщетными. Теперь Людмила понимала фатализм скорее как признание того, что не все в жизни зависит от наших намерений и действий, а еще точнее — как готовность принять любой вариант судьбы.

Наверное, это было не очень похвально и очень неверно идеологически, уж комсомолке-то подобное мировоззрение вовсе не к лицу. Но это и не было мировоззрением, она вовсе не была убеждена в том, что именно так — и только так — следует видеть и воспринимать мир. Просто с некоторых пор она не могла воспринимать его иначе.

И вот сейчас, когда ей пришла в голову мысль о том, что гестапо может дотянуться до нее в

поисках Тани, мысль эта не вызвала страха. Она только подумала, не повредит ли это Штольницам, но тут же успокоила себя: едва ли, уж они-то и вовсе здесь ни при чем.

Может быть, следует их предупредить? Да, рассказать придется — тем более что и Эрих может случайно обмолвиться, она ведь не предупредила его, что это следует держать в тайне. А как отнесся ко всей этой истории он сам?

Постояв еще на перекрестке, где идущие к Окружной больнице трамваи ныряют под путепровод железной дороги, Людмила тоже свернула налево. В самом деле, как отнесся Эрих? Она вдруг только сейчас сообразила, что он, офицер вермахта, предполагает участие ее подруги в подпольной антифашистской организации на оккупированной этим вермахтом территории и говорит об этом как о чем-то само собой разумеющемся. Совершенно спокойно. Так, как мог бы сказать ее же, Танин, товарищ по подполью.

Ведь, казалось бы, человек вдруг узнает, что подруга его знакомой была схвачена гестапо; тут первой реакцией будет недоумение, испуг, всякие мысли по поводу этой знакомой: а вдруг она и сама замешана, кто знает, и как теперь это знакомство может отразиться на его собственном

положении… Короче говоря, безразлично он к этому отнестись не может. А Эрих отнесся — не безразлично, нет, тут другое — скорее спокойно и даже с оттенком сочувствия: «Не беспокойтесь, я уверен — ваша подруга в безопасности…»

Но ведь так мог отнестись к подобной новости только тот, кто сам участвует в подпольной борьбе или по меньшей мере ее одобряет. Впрочем, то, что Эрих не может не одобрять, ясно из его высказываний; а почему бы, собственно, не предположить, что он и участвует? Это объяснило бы многое…

Темнело, на сигаретной фабрике кончилась смена, и молчаливая толпа женщин затопила тротуары Фридрихштрассе; лица работниц казались такими же стертыми и неразличимыми, как лица тех солдат на перроне. Занятая своими мыслями, Людмила дошла до больницы и сообразила посмотреть на часы лишь у ворот католического кладбища, куда иногда ездила с фрау Ильзе убирать могилу первой жены профессора. Пора было возвращаться, надо еще помочь с ужином… Она повернула обратно, постояв минуту на трамвайной остановке; пытаться сесть в трамвай было бессмысленно: кроме «Ясмацци», в этой части города было еще несколько промышленных

предприятий, и смены менялись всюду почти одновременно.

В самом деле, почему Эрих не может быть подпольщиком? За последнее время Людмила как бы невзначай и постепенно выведала у профессора почти все его биографические данные. Отец Эриха — с ним Штольниц дружил еще студентом, а потом они вместе попали на фронт, — отец был из бедной семьи мелкого ремесленника или мастерового. Штольниц и сам — даром что «фон» — вышел не из богатых кругов, а Рудольф Дорнбергер вообще был беден как церковная мышь; оба они, учась в Лейпциге, зарабатывали на жизнь репетиторством. Так что в смысле социального происхождения у Эриха все в порядке, — кстати, это вполне объясняет и его разрыв с женой. Та, как выяснилось, дочь знаменитого берлинского адвоката. Об остальном легко догадаться: они были слишком разными людьми, она не могла разделять взглядов мужа, тянула его в буржуазность. Чему же тут удивляться!

Тогда понятен и его отказ поехать с ней в эмиграцию. Она, возможно, просто бежала от трудностей военного времени, от бомбежек и всего прочего; с точки зрения подпольщика-антифашиста, такой отъезд не назовешь иначе

как обыкновенным дезертирством. Эта дама, положим, и здесь принесла бы не много пользы, подумала Людмила снисходительно. И тут же ей стало стыдно: а ты-то сама приносишь?

Да, она тоже не приносит, если не считать единственного случая. Таня, которую она всегда считала взбалмошной и недостаточно серьезной, в конце концов нашла возможность что-то делать. Конечно, там — дома, среди своих — это проще, а здесь, в ее условиях… Опять-таки, будь она в лагере, в каком-то коллективе, все было бы иначе. Но вот так, одной? Ведь даже связь с «Миктеном-II» — и та оборвалась.

Если бы Эрих мог ей довериться! Но об этом нечего и думать, да он бы и перестал быть в ее глазах серьезным подпольщиком, если бы вздумал откровенничать с кем попало. Ведь она для него именно «кто попало», это совершенно естественно, он о ней ровно ничего не знает. Может быть, со временем… В конце концов, даже этот сегодняшний разговор о Тане тоже мог быть какой-то проверкой?

Людмила чувствовала, что уже окончательно запуталась — кто кому не доверяет, кто кого должен проверять… Важно было другое: догадка относительно подпольной деятельности Эриха

казалась все более правдоподобной, потому что в противном случае — окажись она ошибочной — ошибочным оказалось бы все ее представление об этом загадочном человеке. В самом деле, середины тут быть не могло: либо Эрих Дорнбергер подпольщик, либо он болтун и приспособленец. Однако на приспособленца он не похож. А с другой стороны, мало ли людей вовсе не похожи на то, чем они в действительности являются…

Снова пройдя под мостами путепроводов, Людмила по короткой косой Максштрассе вышла на Остра-аллее. Когда подходила к дому, из подъезда показался профессор, выглядел он как-то странно, она даже не сразу узнала его в слабом свете синего фонаря — криво нахлобученная шляпа, болтающийся шарф. Увидев ее, профессор остановился.

— А, это ты, Людхен, — сказал он негромко, и голос его был тоже каким-то неузнаваемым, словно надтреснутым. — Хорошо, что вернулась, я тебя попрошу — посиди там с Ильзе, я сейчас… Знаешь, я схожу за Райнером, хорошо бы он ее посмотрел — ну, дал бы там что-нибудь… Только вот адрес — где же он у меня записан, не помню… один момент…

Он суетливо полез по карманам в поисках

записной книжки. Людмила смотрела на него, ничего еще не понимая, но очень испугавшись — даже не за фрау Ильзе, а за него самого, настолько необычным было его состояние. Сказал «схожу за Райнером», а сам ищет адрес — что он, забыл вдруг, где тот принимает?

— Господин профессор, — сказала она как можно спокойнее, — это же на Христианштрассе. Но что с фрау Ильзе? И почему вы не вызвали доктора по телефону?

— По телефону, да-да, конечно, — забормотал профессор, — я просто не сообразил. Ильзе стало плохо, понимаешь… Это естественно, еще бы, единственный сын… Дело в том, Людхен, что… тут пришло, с вечерней почтой, мне надо было вскрыть самому — не подумал, просто в голову не могло… Словом, Эгон убит. Да, вот так. Пал на поле чести, за фюрера и Великую Германию. Ну ничего, ничего, ты только не…

— Господи, — сказала Людмила шепотом. — Как я вам сочувствую… Я… я понимаю, слова мало что значат — но я от всего сердца…

— Да, да. Спасибо, Людхен, спасибо. Слова — да, конечно, но ведь ничего другого не остается — не правда ли? Ты поднимись к ней, я приведу Райнера, только вот адрес…

Он опять стал обшаривать карманы этими странными слепыми движениями — Людмила, не выдержав, схватила его за руку, чтобы остановить.

— Нет, вам лучше побыть с фрау Ильзе, — быстро заговорила она, — я сама съезжу за доктором Фетшером. Ступайте же, я сказала — я все сделаю!

Глава 4

Который уже раз постигало это его, кого только не довелось ему терять: родителей, жену, дочь, брата, сестер… Казалось бы, пора если не свыкнуться — с этим не свыкнешься, — то хотя бы смириться; но целой жизни не хватило на выработку такого смирения. Есть, видно, в смерти что-то настолько непостижимое, что при всей ее обыденности (а заведомо неизбежное не может не стать обыденным) она всякий раз сокрушает по-новому. Сокрушает в точном и прямом смысле этого слова: крушит, оставляя душу в развалинах, как дом после землетрясения.

Всякий раз — по-новому. И бесцельно задаваться вопросом, когда сильнее боль, кого труднее терять: отца или жену, сестру или сына. Это все-

гда по-разному и всегда страшно, ибо всякий раз частично умираешь ты сам, хоронишь частицу самого себя. В девятнадцатом году, после смерти Анны, он думал, что уже ничего более страшного с ним теперь случиться не может. А оказалось — смогло.

Оказалось, что — вопреки всякой логике — едва ли не самой тяжкой может стать потеря человека родного по крови, но чуждого по духу: близкого, с которым давно уже не было ни подлинной близости, ни настоящего понимания. Может быть, даже и впрямь легче потерять любящего и любимого, потому что тогда хоть остается память о счастье общения, и память эта пребудет с тобою до конца дней; а ему, любимому, легче было умирать, потому что любовь согревает душу до последнего мига, и хорошо, если душа уносит с собой это тепло — как напутствие, как последний подарок нашей неласковой земли. А несчастный Эгон, отвергнутый им сын, какое воспоминание мог он унести с собою туда, в бездонное непостижимое Нечто?

Профессор Штольниц всегда считал, что во всем учении церкви нет догмата более трудного для понимания, чем идея первородного греха — этой вечной эстафеты неискупимой вины, принимае-

мой на себя каждым новым поколением. А если представить ее иначе: не как ретроспективную ответственность потомков за проступки предков, а наоборот — как ответственность каждого из нас за дела тех, кому мы даем жизнь, проецируя самих себя в необозримые дали будущего? Может быть, именно поэтому ни один вид разочарования не приносит столько горя, как разочарование в своих детях.

Потому что это в значительной степени и разочарование в себе самом, в своей способности передать другому полученное тобой от других, страшное сознание, что на тебе оборвалась одна из цепочек постепенного накопления положительного опыта человечества. Что из того, что этих цепочек миллиарды — столько, сколько живет на Земле людей? Твоя уже оборвана, и оборвалась она именно на тебе. Значит, что-то ты упустил, чего-то не сумел…

По ночам он иногда приходил в комнату сына — включал настольную лампу и ходил из угла в угол, вспоминал, думал. Пытался понять. В комнате все оставалось как было при Эгоне, Ильзе убирала здесь сама — только стирала пыль, не трогая с места ни одной вещи. На письменном столе так и лежали сувениры, привезенные им

из Африки в последний приезд, — потертый сафьяновый мешочек марокканской работы, осколок снаряда, под Бир-Хакеймом упавший на излете в машину Эгона, и серебряный badge[11] с берета английского танкиста — стилизованный лавровый венок вокруг сжатого кулака в рыцарской железной перчатке. Внизу на значке были буквы RAC[12], а вверху — изображение старинного, ромбиком, танка; подразумевался, вероятно, «Марк-I» — один из тех громыхающих и дымящих монстров, что осенью шестнадцатого года разутюжили на Сомме позиции саксонских карабинеров и обратили в бегство баварскую пехоту принца Рупрехта. Солдату Иоахиму фон Штольницу, чудом уцелевшему при отражении этой первой в истории танковой атаки, было тогда за тридцать; лейтенант вермахта Эгон фон Штольниц пошел на войну двадцати лет от роду. Надо ли удивляться, что и ему заморочили голову демагогические причитания о «народе без пространства». Хотя (даже учитывая заразительность всякого массового безумия) трудно

---

[11] Notes: 11

Кокарда, опознавательный знак воинской части *(англ.)*.

[12] Notes: 12

Сокр. от «Royal Armoured Corps» *(англ.)* — Королевский бронетанковый корпус.

объяснить, почему давняя культурная традиция семьи потомственных гуманитариев не защитила юношу от воздействия примитивнейшей, рассчитанной на болванов пропаганды, не помешала ему стать поклонником невежественного демагога…

Как знать, впрочем, был ли он таким уж убежденным поклонником? Трагедия подобных Эгону в том ведь и состоит, что от своих они оторвались, а к тем по-настоящему не примкнули, и не потому, что не захотели: сами-то они, пожалуй, пошли бы на все безоговорочно и безоглядно, лишь бы удостоиться чести быть принятыми в орден, сопричисленными к человеческому отребью, ставшему хозяевами новой Германии. Нет, само отребье их не принимает, не удостаивает чести, в глазах отребья они остаются чужаками, в лучшем случае попутчиками, подозреваемыми в корыстном желании примазаться к дележу награбленного. Попутчиков презирают, но терпят из политических соображений (как доказательство «общенациональной сплоченности»), а изредка — не слишком часто, чтобы не вообразили себе чего не положено, — снисходительно похлопывают по плечу и швыряют должность, звание, литературную или научную премию…

Да, натура у Эгона оказалась слишком слабой, поэтому его и заворожила фальшивая, показная мощь нацистского движения. Такое случилось со многими. А отличить истинную силу от фальшивой не сумел, в молодости это не так легко. Разве его одного одурачили негодяи своей трескучей фразеологией, своей истинно плебейской наглостью, которую многие поначалу принимали за лишнее доказательство их правоты?

Сейчас, оглядываясь на прошлое, профессор понимал, что недооценивал значения краха своей академической карьеры. Тогда это воспринималось скорее юмористически — слишком уж идиотскими были выдвинутые против него обвинения. Расстаться со студентами было жаль, хотя и их среда уже начала подгнивать, иные позволяли себе являться на лекции в форме штурмовых отрядов, задавали провокационные вопросы; первое время он утешался тем, что немногие избранные из числа любимых его учеников продолжали приходить к нему, по воскресеньям в кабинете бывало тесно. Правда, эти «лекции на дому» пришлось прекратить — слушателей становилось все меньше и меньше; уже много позже он узнал, что их по одному вызывали в ректорат на «собеседования», настойчиво давали

понять, что неприятности обеспечены не только им, но и в первую очередь самому профессору. Ребята, в сущности, берегли его, а он-то счел их отступниками. И это было, пожалуй, самым для него неприятным, другие последствия опалы казались вздором: денежные затруднения, утрата общественного статуса — какие пустяки! Вот тут-то он и ошибался. Это было пустяками для него, даже для Ильзе — такой вообще практичной, и не потому, что она сама не придавала значения этим вещам, а просто авторитет мужа был для нее решающим, и если муж считал, что ничего страшного не произошло, то, значит, так же следовало считать и ей. А Эгон, к сожалению, так не считал. И для него это пустяками не было.

Да, самый страшный удар негодяи нанесли ему через сына. Уж с этой-то стороны он беды не ждал, любовь и уважение мальчика казались ему чем-то само собой разумеющимся: ведь сам он любил Эгона без памяти, отдавая ему все, чего не смог — не успел — дать дочери.

И даже потом, когда отношения между ними стали портиться, он не понял, в чем дело, не подумал связать это со своими служебными неприятностями; объяснял все возрастом, сложностями подростковой психики, дурным

влиянием гимназических приятелей, чем угодно. Друзья, которым он жаловался на утрату контакта с сыном, кивали понимающе и сочувственно, успокаивали: «Дорогой мой, это теперь в каждой второй семье!» Один лишь Фетшер оказался достаточно проницательным: однажды намекнул, что с мальчиком следует поговорить всерьез — тот, мол, слишком болезненно воспринимает некоторые вещи. «Какие именно?» — не поняв, переспросил профессор. «Ну хотя бы то, что ты отказался от услуг шофера и вообще думаешь продать автомобиль», — ответил Райнер.

Последовать бы тогда его совету! А он, дурак, вместо этого обиделся. Сначала, не поверив и сгоряча, — на беднягу Райнера, а потом, уже поверив, — на сына. Паршивец этакий, свиненок, не хватает еще перед ним оправдываться! Если парень в семнадцать лет не понимает, что бывает бедность, которой можно гордиться, то с ним и говорить бесполезно. «Бедность», впрочем, была еще весьма относительной — разве что кончились роскошные заграничные вояжи.

А потом время было упущено. Диагноз оказался правильным: сын действительно не смог простить отцу собственного разочарования. Сейчас, вспоминая все это, профессор испытывал не

обиду, а боль и жалость. Боль была естественна, а жалость — не по адресу, но тут уж он ничего не мог с собой поделать. Если бы ему рассказали нечто подобное о чужом сыне, он осудил бы его безоговорочно. Осуждать своего он не мог. Теперь — уже не мог. Хотя и понимал, насколько несправедливо, глупо и, наверное, смешно подобное проявление родительской слабости.

Дело в том, что детство Эгона пришлось на самые благополучные для семьи времена. К середине двадцатых годов имя Иоахима фон Штольница приобрело вес и звучание в научных кругах, а в двадцать девятом вышла его знаменитая монография о Гирландайо, немедленно переизданная в Австрии, переведенная в Италии и Франции; как из рога изобилия посыпались издательские договоры, приглашения на конгрессы, просьбы приехать прочитать хотя бы несколько лекций. Он даже успел побывать в Америке — незадолго до начала кризиса; туда ездил один, а в Италию обычно с женой и сыном. Вот Эгона, наверное, брать с собою не следовало. Но кто же мог предвидеть?

Сам он довольно равнодушно относился к мишурной стороне своего успеха. Его радовало, что не напрасным оказался многолетний труд, с

началом которого были для него связаны самые светлые воспоминания. Приятно было и пришедшее наконец материальное благополучие — возможность путешествовать, не стеснять в расходах жену, покупать книги и даже картины. Прочие атрибуты славы поначалу льстили, потом начали тяготить — все эти торжественные акты, приемы, необходимость выслушивать и самому произносить шаблонные спичи на банкетах, неискренняя почтительность незнакомых и неинтересных ему людей…

А сын упивался именно этим. В двенадцать-тринадцать лет мальчик уже привык к спальным вагонам Кука, к номерам люкс во французских и итальянских отелях, к подобострастию швейцаров, официантов, горничных; привык настолько, что весь этот блестящий антураж стал восприниматься им как нечто принадлежащее ему по праву и навсегда.

Тем более что отцовская слава, в лучах которой Эгон чувствовал себя так комфортно, не менее ярко ощущалась и дома; странно было бы, если бы такой город искусств, как Дрезден, не поспешил увенчать лаврами своего земляка, увенчанного в Риме и Флоренции. Штольницу была предложена доцентура, а позднее и руководство кафедрой в

Академии изобразительных искусств, членство в художественном совете при городском архитектурном управлении, почетный пост нештатного консультанта дирекции картинной галереи. В тридцать втором году его избрали членом магистрата. Незнакомые люди часто обращались к Эгону на улице, прося непременно передать привет глубокоуважаемому господину профессору; было особенно приятно, если при этом случался рядом кто-нибудь из одноклассников. Гимназия короля Георга, в которой учился Эгон, была расположена довольно далеко — возле Вальдпарка в Блазевице, ездить приходилось трамваем, поэтому иногда — под предлогом крайней загруженности занятиями — ему удавалось уговорить мать, и тогда к окончанию последнего урока темно-синяя отцовская «ланчия» ждала у подъезда.

Сладкая жизнь, увы, длилась не так долго. В начале тридцать третьего года профессор и еще несколько членов магистрата потребовали расследовать инцидент в одном из локалей Фридрихштадта, где полиция открыла огонь по участникам антинацистского рабочего митинга. Никакого расследования, естественно, проведено не было, а новый, назначенный на место доктора Кюльца обербургомистр Цёрнер заявил, что

дрезденскую магистратуру следует очистить от либеральной мерзости, и очистить энергично — если понадобится, то и железной метлой. Профессор понял намек и ушел сам, а двое из менее сообразительных полугодом позже оказались «на перевоспитании» в Хонштейне.

Ему хорошо запомнилась первая серьезная размолвка с сыном. Эгон в тот день вернулся из гимназии мрачный и в то же время какой-то взвинченный, а за ужином грубо и вызывающе спросил у отца — зачем, собственно, тому понадобилось лезть в историю со стрельбой в «Кеглерхейме» — без него, что ли, не разобрались бы?

— К тому же, — добавил он, — еще неизвестно, кто там начал. Эти красные тоже хороши. Да и вообще! Ты кто — профсоюзный функционер, чтобы тебя волновали драки между рабочими и полицией?

— Я член городского самоуправления, — ответил профессор, — и поэтому меня должно волновать все, что происходит в городе. Кроме того, я еще и порядочный человек, а порядочные люди не остаются в стороне, когда у них на глазах совершается беззаконие.

— Благодарю. — Эгон издевательски поклонил-

ся. — Последнюю твою фразу следует понимать в том смысле, что я к порядочным людям не отношусь?

— Сейчас, во всяком случае, ты рассуждаешь как негодяй! — взорвался профессор.

Эгон — ему уже было четырнадцать — аккуратно сложил салфетку, встал и, светским тоном поблагодарив мать, вышел из столовой.

Потом они, конечно, помирились. Сын извинился за неподобающий тон, отец не сделал того же только из педагогических соображений; сам он мучительно раскаивался — все-таки с мальчиком надо было проявить больше терпения и терпимости. Может быть, действительно чего-то еще не понимает? Кроме того, стороною стало известно, что в тот день у него в гимназии была драка с одноклассником, сыном видного «партайгеноссе». Одноклассник объявил, что кое-кому следовало бы поменьше драть нос и кичиться высокоинтеллектуальным родителем, поскольку теперь стало известно, что означенный родитель снюхался с красными и регулярно получает чеки от жидомасонского синедриона. Эгон потребовал объяснений и, получив самые исчерпывающие, ответил кулаком; педель их тут же растащил, поэтому дело обошлось без синяков, но скандал

получился громкий. Конечно, знай он тогда все это, слова сына были бы восприняты им совсем иначе.

А сейчас, вспоминая тот случай, профессор во всем винил уже только себя. Наверное, это и был какой-то переломный момент, мальчик действительно был на распутье, он еще любил отца — иначе пропустил бы слова одноклассника мимо ушей, — но он сам, отец, оттолкнул его своим высокомерием, обидел, унизил перед матерью. Видимо, тогда все и началось: утрата любви, утрата доверия. Любил ли его мальчик на самом деле, профессор не знал, но сейчас ему хотелось думать, что любил, что Эгон мог бы вырасти настоящим сыном-другом, разделяющим убеждения отца, просто вмешались обстоятельства…

Он иногда спрашивал себя, было ли бы ему легче, будь эти обстоятельства чем-то безликим и непостижимым — таинственным роком, силами судьбы? Возможно, было бы легче. Больше было бы теперь оснований оправдываться: в самом деле, с мойрами особенно не повоюешь.

Но что толку в пустых «если бы»! Обстоятельства, отнявшие у него сына, были ему хорошо известны и знакомы, у них были конкретные имена, лица, они маршировали по улицам его

города, оскверняя топотом своих сапог мостовые, помнящие шаги Шиллера и Вагнера, и во всю глотку орали свои чудовищные песни о том, как завтра им будет принадлежать весь мир, пусть трухлявые кости этого мира уже заранее трясутся от страха. Сам Эгон, правда, коричневой рубахи так и не надел (неизвестно, по какой причине — может быть, просто не дали), но уже в выпускном классе дружил с несколькими штурмовиками и вызывающе появлялся с ними в общественных местах. Тот его давний обидчик оказался хитрой бестией — об этом профессору тоже стало известно стороной, — на другой же день после драки при всем классе торжественно попросил у Эгона прощения и предложил руку дружбы. «Ты повел себя как германец, — сказал он, — родовая честь — превыше всего. Даже если отец поступает неправильно, сын не должен позволять посторонним обсуждать это в своем присутствии». И они — о позор! — действительно стали друзьями, Эгон все чаще бывал у сына «партайгеноссе», тот жил на широкую ногу — в реквизированной вилле известного фабриканта-еврея. Вместе они потом и поступили курсантами в пехотное училище.

А он, отец, терпел все это, сносил без протеста. Даже не пытался бороться за душу своего сына,

которую растлевали у него на глазах. Он просто недопонимал всей опасности, всей необратимости происходившего с Эгоном, это казалось наваждением — ну ничего, мало ли фортелей выкидывают юнцы в этом возрасте, перебесится — поумнеет. А что, если и Эгон тоже наблюдал за ним? Если он ждал, спрашивал себя — вмешается отец или не вмешается, предпримет хоть что-нибудь для того, чтобы вернуть сына, или предоставит тому уплывать по течению все дальше и дальше?

Глупо сказать, но в то время ему представлялась оскорбительной сама мысль, что за душу Эгона надо драться — и с кем? С этими невежественными негодяями, с дорвавшимися до власти громилами, с чернью, которая возомнила себя элитой? Это было так же немыслимо, как немыслимо было для дворянина старых времен драться на поединке с простолюдином. Одна мысль об этом унижала его, ставила на одну доску с ними, заставляла признать наличие каких-то равноценных или по крайней мере взаимосравнимых качеств — в них и в нем самом. Нет, такой ценой он возвращать сына не желал! Если ему еще надо доказывать, что он, отец, лучше его новых друзей, тех, живущих в реквизированных особняках, —

то пусть остается с ними. С ними Эгон и остался.

Профессор ходил по комнате, стараясь ступать как можно тише, как будто жена, спящая в другом конце квартиры, могла услышать его осторожные шаги. Ходил, трогал корешки книг, поправлял предметы на стенах — фотографию, теннисную ракетку, рапиру с отломанной пуговкой на конце (собирался, верно, заточить). Вещи и книги молчали, да и что они могли сказать о своем исчезнувшем хозяине? Он — отец — сам не знал теперь, что сказать о собственном сыне. Он словно находился в неосязаемом присутствии незнакомца, но незнакомца странного, неясно напоминающего кого-то, — незнакомца, в котором временами проглядывали вдруг на секунду — зыбко, едва уловимо — черты другого, любимого когда-то и давно забытого. Оба они никак не могли совместиться в памяти — сожженный африканскими ветрами ландскнехт, привезший из далекой пустыни этот зловещий memento mori, хищно зазубренный кусок вражеского железа, — и тот белокурый мальчик, которого он однажды, держа за руку, впервые провел по гулким, прохладным, царственно-безлюдным залам Уффици. Что случилось, каким образом тот превратился в этого? Словно подменыш в

сказке, жертва и одновременно орудие каких-то зловредных кобольдов…

Потом он так же тихо возвращался в спальню и часами лежал без сна. Его удивляло, что жена может спать, его теперь часто удивляла эта женщина, тоже ставшая вдруг какой-то немного другой, не всегда узнаваемой. Смерть сына была для нее, понятно, огромным горем, но потеря не повергла ее в отчаяние. Вряд ли ей было знакомо это ощущение предельной опустошенности, бессмысленности всего, которое испытывал сам профессор. Она — и в этом было непривычное — оказалась куда сильнее его.

Странно, думал он, неужели религия и в наше время действительно может… Может, очевидно. Жену, во всяком случае, ее вера наделяла силой, которой не было у него самого: силой перенести горе, не отчаявшись; у него теперь постоянно звучало в душе заклинание призраков из «Ричарда III»: «Despair and die» — «Отчайся и умри». Потому что ему отныне ничего не оставалось, кроме отчаяния, у него не было даже последнего утешения побежденных: уверенности в собственной правоте, пусть и не сумевшей себя отстоять…

Действительно, чем было ему гордиться? Тем, что в век всеобщего негодяйства сам не стал

негодяем? Но негодяи отняли у него сына — отнимали долго и постепенно, умертвили духовно, прежде чем уничтожить физически, а он стоял в стороне, брезгливо отвергая саму идею борьбы. Фетшер однажды дал понять, что в Дрездене есть какие-то «группы Сопротивления», явно проверяя, не изъявит ли господин профессор желания вскарабкаться на старости лет куда-нибудь на баррикаду; господин профессор не только не выразил подобного желания, но и довольно иронично поздравил своего «молодого друга» (Райнер и в самом деле моложе на двенадцать лет, родился в 95-м) со столь юношеской склонностью к романтике Тугендбунда и карбонарских вент.

Может быть, еще и потому Эгон его отверг, что увидел его слабость, — и отвратил лицо, как сын Ноя, узревший отцовскую наготу. Да и только ли в слабости можно его винить? Не было ли в его жизни другого, куда более страшного и глубокого заблуждения? Однажды он объяснял Эгону смысл гётевского «В начале было Деяние»; но чем, каким «деянием» мог он дать пример собственному сыну? Чем — в глазах сына — была вся его деятельность, сведенная к любованию мертвой красотой прошлого, к жреческому служению иде-

алам, которые, за четыре века утвердив, казалось бы, свою незыблемость, рушились теперь один за другим, как сметаемые бурей ярмарочные балаганы…

Да, у Эгона несомненно должны были найтись какие-то более серьезные причины принять нацизм, нежели просто обида на отца, который своей строптивостью лишил его привычного привилегированного места в обществе. Едва ли это был и обычный мальчишеский бунт, вздорное желание самоутвердиться как угодно, лишь бы наперекор старшим. Нет, тут угадывалось нечто большее, это был по-своему осознанный разрыв со всем тем, что для старших составляло суть миропонимания. И наивно теперь спрашивать, как могли не уберечь, не защитить его «гуманистические традиции семьи»; да ведь именно против этих традиций он и восстал! Восстание против всей системы взглядов — вот что это было, если уж называть вещи своими именами.

Но почему, почему? Что-то заставило же подростка увидеть вдруг мир совсем по-другому, под иным углом, в ином освещении, не так, как видит отец, как видели деды и прадеды…

И вот на этом мысль спотыкалась, здесь возникало — промелькивало — мгновенное, неулови-

мое сомнение. Деды и прадеды — да; наверное, да, мир их праху. Что же касается отца… Вспомни, говорил он себе, постарайся вспомнить все: девятнадцатый год, свой второй брак после попытки самоубийства и те чувства, с какими ты — полукалека физически и духовно — решился зачать еще одного ребенка, словно пытаясь взять реванш у судьбы… А позже — та исступленная работа над Гирландайо; не было ли в ней некоего насилия над собой, попытки заглушить отчаяние, страх перед тем, что уже так отчетливо угадывалось, слышалось ему в громах катастрофы, поглотившей его прежний, довоенный мир? Ведь именно там, в траншеях Северной Франции, на Сомме и под Верденом, впервые посетила его кощунственная догадка относительно того, что был все же, пожалуй, какой-то тайный изъян в благостных упованиях всех светочей гуманизма и Просвещения — всех, при всем разнообразии оттенков их мысли, — от Эразма до Мирандолы, от Макиавелли до Гоббса, от Ульриха фон Гуттена до Руссо и Вольтера; и что некий неосязаемый «фактор Х» все эти четыреста лет подтачивал изнутри так стройно и величественно воздвигавшийся храм веры в обожествленного Человека, в его изначальную доброту, в беспредельные

возможности его разума, освобожденного от невежества и суеверий…

Работа над Гирландайо спасала от подобных — не мыслей, нет, он не давал им стать мыслью, этим зародышам сомнения, — работа позволяла не думать о том, над чем задумываться было нельзя. В этом было насилие над собой, но была и отрада: истомившийся в пустыне путник не бросается к воде с такой жадностью, с какой погружался тогда Штольниц в цельность, гармонию и непорочную ясность Кватроченто. Лишь бы забыть, отдалиться, не видеть безумия, необъяснимо овладевающего человечеством — свободным от предрассудков, накормленным и просвещенным, во всеоружии научных знаний, над стройной системой которых потрудилось так много светлых умов, начиная с Бэкона Веруламского…

К чему играть словами? В эмбриональном или каком ином состоянии, но сомнения были, они уже поселились в его мозгу; просто он не давал им воли. Возможно, этим все и объясняется. Когда женщина на сносях, ее душевное состояние может, говорят, предопределить некоторые черты характера будущего младенца. А если мужчина в момент зачатия тоже передает потомству нечто

большее, нежели просто обусловленный законами наследственности хромосомный набор? Если именно в уме сына проросло и дало горькие плоды то, что так старательно заглушал в себе отец?

Выходит, Эгона погубил он сам. Отчасти невольно — завещав ему свой душевный разлад, отчасти прямо и непосредственно — позволив коричневым кобольдам завладеть неокрепшим умом подростка, не сумев защитить его и отстоять. Поэтому единственное, что ему теперь остается, — это посчитаться за сына.

Вот за что так страшно наказала его судьба: за бездействие, за пассивность перед лицом активного Зла. Бывают положения, когда честный человек не действовать не может, не имеет права. Все что-то делают; Эрих явно примкнул к армейской оппозиции, не случайно он тогда — в первый свой приезд, в день отставки Муссолини, — намекал на грозящее ему подозрение в «неблагонадежности». Фетшер давно говорит, что в офицерской среде идет брожение, хотя и относится к этому скептически. «Еще пара пинков в зад на Восточном фронте, — сказал он однажды, — и, глядишь, сам Кейтель запишется в борцы против режима…» Что же касается самого Райнера, то он много лет связан с подпольщи-

ками — трудно даже сказать какими, возможно и с коммунистами. Да, к нему он и придет. Райнер, надо полагать, не преминет напомнить ему насчет Тугендбунда и будет прав — поделом старому дураку…

Придя наконец к решению, профессор на следующий же день позвонил Фетшеру, но неудачно. Ему ответили, что доктор в Берлине, на каком-то медицинском съезде, а оттуда поедет в Штутгарт и едва ли успеет вернуться до Рождества. Сгоряча Штольниц решил было ехать в Берлин, но вовремя опомнился. Не так-то просто сейчас путешествовать, да и оставлять надолго жену ему не хотелось. Тем более в эти дни.

Он боялся приближения Рождества, боялся связанных с ним воспоминаний. Елка, например; обычно она стояла в гостиной, когда-то — в детстве — большая, под потолок, а потом это было маленькое символическое деревце высотою в полметра, его ставили на рояль и почти ничем не убирали, только свечами и серебряной канителью. Сейчас профессор не знал, как быть. Ему казалось, что, если он принесет елку, она окажется для Ильзе лишним жестоким напоминанием; но и не принести, нарушить многолетнюю семейную традицию — тоже жестоко, это как бы

подчеркнет непоправимость случившегося…

Жена, можно подумать, угадала его замешательство. Утром в сочельник она сказала, что сходит вместе с Людхен к их обычному поставщику, чтобы выбрать деревце, — на него лучше не полагаться, иначе опять пришлет что-нибудь не то, как в прошлый раз. Проблема оказалась проще, чем он предполагал.

Елочку принесли, убрали; вечером он, по обыкновению, прослушал с женой рождественскую службу во Фрауэнкирхе (еще одна ежегодная уступка условностям, как и посещение кладбища первого ноября). Перед тем как сесть за стол, обменялись подарками — профессор получил пакетик ротбартовских лезвий, шерстяные носки и флакон настоящего «4711», — каким образом исхитрилась Ильзе добыть всю эту роскошь, оставалось только гадать. Сам он смог подарить дамам лишь по куску приличного мыла, а Людмиле преподнес вдобавок «Люди и ландшафты России» — издание старое, еще до первой войны, но солидное и богато иллюстрированное.

В общем, праздник прошел лучше, чем можно было ожидать. Эрих смог приехать лишь на следующий день, но Рождество пришлось в этом году на субботу, и он пробыл с ними до понедель-

ника. Не столько с ними, правда, сколько с Люси. Похоже, что молодые люди заинтересовались друг другом серьезнее, чем вначале казалось; профессор уже жалел, что невольно их познакомил. У него сжималось сердце, когда он видел, как старательно они избегали встретиться взглядом, сидя за праздничным столом. Несчастное поколение, думал он, у всех одинаково страшная судьба — и у заблудших, и у тех, кто сумел найти выход…

Что ж, каждый идет своим путем. Теперь выход был и у него, возможно запоздалый, но рассчитаться с проклятыми кобольдами он еще успеет. Вот приедет после праздников Райнер, и они подумают вместе. Важно осознать необходимость действовать, прийти к решению, а уж найти modus operandi[13] — дело второстепенное, какая-нибудь возможность представится.

Возможность представилась еще скорее, чем можно было предположить, и даже до возвращения доктора Фетшера. В конце декабря к профессору приехал вдруг давнишний знакомый по Лейпцигу. Они посидели, поговорили, профессор расспрашивал об университетских делах,

---

[13] Notes: 13
Способ действия *(лат.)*.

о судьбе коллег. Дела были мрачны, некоторые судьбы — еще мрачнее; потом гость назвал одно имя, которое поначалу даже не вызвало у профессора никаких воспоминаний. Собственно, этот господин и посоветовал мне поехать сюда, сказал гость, он тоже знает вас как человека, которому небезразлична судьба Отечества. Профессор молча наклонил голову, то ли соглашаясь, то ли благодаря за лестное мнение. Тогда гость спросил, понизив голос, можно ли здесь поговорить без помех, не рискуя быть подслушанным. Да, разумеется, сказал профессор с огромным облегчением. Разумеется, можно!

— Вас что-нибудь смущает?

— Только одно — поймите меня правильно, но… Дилетантство может подвести в любом деле, тем более в таком… ответственном. У меня нет ни опыта, ни подготовки, следовательно, я — типичный дилетант, и я проявил бы безответственность, если бы не опасался — не за себя, за успех поручения. Ведь это уже конспирация в международном масштабе, не так ли?

— Не стоит преувеличивать, коллега, — заверил гость. — Конспирация — да, конечно, всякая нелегальная деятельность есть деятельность конспиративная. Но что касается опыта, то он

вам, в сущности, и не потребуется. Ваша миссия будет предельно проста, и никаких контактов вам устанавливать не придется. Этот человек сам вас разыщет. Вручите ему свою визитную карточку, и дело будет сделано.

— Визитную карточку?

— Да, скорее всего. Перед отъездом вы закажете себе визитные карточки, передадите нам несколько штук и затем получите их обратно. Одна будет мечена, вам ее укажут, в ней и будет содержаться сообщение.

— Черт побери! Каким образом?

— О, это сложно объяснять, я и сам не очень разбираюсь — какая-то особая микрофотография. Так что, как видите, все очень просто: у кого могут вызвать подозрение визитные карточки?

— Ну, если вы считаете, что я смогу…

— Сможете, коллега. Безусловно, какой-то риск в этом есть; вы рискуете уже тем, что принимаете меня у себя. Я думаю, вы и сами прекрасно все поняли, когда я спросил — можно ли нам поговорить. Тут уж приходится выбирать между личной безопасностью и совсем иными ценностями. С известным риском сопряжена и поездка в Швейцарию, — вы человек взрослый, и я не хочу говорить с вами как с младенцем. Но риск

минимальный.

— Я опасаюсь не за себя лично, — повторил профессор. — И еще один вопрос: почему именно мне решили поручить это дело?

— Дорогой коллега, — сказал гость. — Неужели вы всерьез думаете, что в Германии после одиннадцати лет поголовного растления осталось так уж много честных людей? Увы, их единицы, и большинство живет под постоянным надзором. Вы вот говорили о докторе Фетшере; да, я его знаю, это человек мужественный и честный. Но представьте себе на минуту, что доктор Фетшер подает прошение о выдаче ему паспорта для выезда в Швейцарию. Да его немедленно посадили бы за решетку! Или еще хуже — выдали бы паспорт и послали следом свиту гестаповских филеров. Вы меня понимаете? У вас, коллега, положение в некотором роде уникальное — положение антифашиста, ничем себя не скомпрометировавшего в глазах властей. Нет, я знаю о ваших давнишних неприятностях, это все известно, но для гестапо это не повод, чтобы взять человека под контроль. Это был повод для рейхсминистра Руста, чтобы облить помоями еще одного честного немецкого ученого, а гестапо до таких вещей не снисходит. Поэтому вы в их картотеках не фигурируете.

— Да, да, понимаю, — пробормотал профессор. — Хотя не уверен, что человек, «ничем себя не скомпрометировавший», достоин права именоваться антифашистом.

— Мы и хотим дать вам это право, коллега Штольниц…

Глава 5

Сколько Эрих Дорнбергер себя помнил, у него вечно была идиотская склонность влюбляться в кого не следует. Это притом, что в принципе он считал любовь состоянием патологическим, мешающим жить и работать, и — соответственно этому — старался не влюбляться. Обычно это удавалось, однокурсницы ехидно звали его «брат Иосиф», — правда, чтобы прославиться целомудрием, тогда достаточно было не менять возлюбленных каждую неделю: молодежь в Веймарской республике усердно брала реванш за филистерскую добродетель отцов. Все словно предчувствовали, что скоро этому веселью придет конец.

Зато уж если он влюблялся, то так бурно и бестолково, что окружающие только диву давались. В выпускном классе гимназии его угораздило

воспылать страстью к жене директора, жившего в том же здании. Директор был на тридцать лет старше ее и ревнив, как мавр, а к ученикам относился с какой-то необъяснимой ненавистью — истинный «учитель Гнус»; ученик же Дорнбергер не только не пытался скрывать свои чувства, но и проявлял их самым диким образом. Однажды он увидел ее в окне парикмахерского салона и полчаса проторчал у дверей — только для того, чтобы проводить до гимназии. Нагруженный ее покупками, он прошел с нею через весь городок, не замечая взглядов из дверей лавок, — пытался объяснить устройство и принцип действия интерферометра Майкельсона. Все были уверены, что аттестата ему после этого не видать; но, как ни странно, свирепый директор спасовал перед наглостью и ничего не предпринял. Скорее всего, ему просто не терпелось поскорее сплавить юного негодяя в Гейдельберг.

А в Гейдельберге было еще два не менее нелепых «романа» — на втором курсе он потерял голову из-за невесты приятеля, но на этот раз ничем себя не выдал, а на четвертом — почти женился на кельнерше. Выход из alma mater ознаменовался знакомством с дочкой советника Герстенмайера, и уж там-то все рекорды глупости

были побиты. Расставшись наконец с Ренатой, он дал себе слово — в жизни не посмотреть больше ни на одну женщину.

И действительно, долго не смотрел. Конец его семейного счастья совпал с эпохой крупных открытий в области физики ядра, для исследователей начиналось время «бури и натиска» — какие тут, к черту, женщины. А потом пришла война. Кто бы мог думать, что именно в разгар войны, в самый страшный ее момент, ему доведется опять испытать то самое чувство.

Впрочем, это было вовсе не «то самое». Ничего похожего! Того, что Эрих чувствовал теперь, ему не приходилось испытать еще ни разу за всю его нескладную жизнь.

Началось это обычно: он обратил внимание на внешность. Внешность всегда играла для него первостепенную роль, в его отношении к женщине вообще было нечто турецкое: женщина, считал он, призвана украшать жизнь мужчины, не более того. И еще для него много значило чужое одобрение. Гейдельбергская кельнерша была весьма популярна в студенческой среде, и раньше чем Эрих ее увидел, он слышал яркие фрагменты эро-эпической поэмы, коллективно сложенной в ее честь благодарными филологами. В Берлине,

еще до знакомства, приятели прожужжали ему уши о Ренхен Герстенмайер. А старик Штольниц с таким энтузиазмом говорил о своей «восточной помощнице»!

Правда, он превозносил ее душевные качества, но упомянул вскользь и о внешности, сказав, что она похожа на один старый итальянский портрет. Эрих зарегистрировал это в уме как-то подсознательно, ему в тот день было не до девушек с Востока: там, на Востоке, оперативное поражение все явственнее перерастало в катастрофу. Позднее, уже в Берлине, он опять вспомнил о «восточной помощнице», ученая мама которой, возможно, работала с Фрицем Хоутермансом, и подумал бегло, что неплохо бы съездить, взглянуть — что это за диво. А заодно выяснить насчет ученой мамы.

Приехав потом и взглянув, он с первого взгляда не нашел ничего особенного — хорошенькая, да, хотя Рената в ее возрасте была, пожалуй, интереснее. Пикантнее, во всяком случае.

Но это было лишь в первый буквально момент, пока она не заговорила с ним строгим, почти надменным тоном, со своим очаровательным акцентом, который — как ему потом стало казаться — придает какую-то неповторимую интонацион-

ную окраску каждому произнесенному ею слову. Да, старик был прав: внешность у нее оказалась редкая, внешность не в узко понятом смысле, как фигура или черты лица, — голос, манера говорить и держаться — это ведь все тоже относится к внешнему облику.

О внутреннем он тогда еще не думал. Но подумал очень скоро, повнимательнее присмотревшись к ее глазам. Глаза тоже были удивительные, и чем больше он на нее смотрел, тем более удивительными они ему казались. Наверное, просто потому, что ничего похожего он до сих пор еще не видел.

Ничего похожего не видел, ничего похожего не чувствовал. Новизна, неиспытанность переживаний — вот, пожалуй, что стало для него главным и что очень скоро заставило его все чаще думать о возможности лишний раз побывать в Дрездене. Он еще ничего о ней не знал — если не считать того, что узнал от Штольница, — но уже видел, что она вся какая-то совершенно другая, ни на кого не похожая — существо из иного мира.

В том-то и дело, что из иного. Иногда, пытаясь избавиться от наваждения, он напоминал себе именно об этом. Не может быть ничего глупее, чем ему — немцу — заинтересоваться девушкой

из страны, где слово «немец» стало худшим из ругательств. Как она может к нему относиться? Да если она только заметит, догадается — страшно себе представить… В том-то и дело: ему уже было страшно представить себе, что он потеряет возможность видеть ее хотя бы изредка, слышать ее голос, превращающий обыденную речь — в музыку. Бред, истинный бред…

А таких глаз он действительно не видел ни у кого. Дело не в том, красивы они были или некрасивы, ответить на этот вопрос он не сумел бы — это не имело никакого значения. Просто он впервые понял смысл избитого выражения «глаза — зеркало души»; как человек, привычный к точным формулировкам, он, правда, находил эту не очень верной — зеркало отражает нечто внешнее, глаза же показывают внутреннюю сущность. Но эти глаза действительно говорили о многом. Когда видишь такие глаза, вопрос о форме губ или носа как-то не приходит на ум.

Раньше он, вероятно, посмеялся бы, если бы ему сказали, что молодая женщина может быть привлекательна своей внутренней сущностью. За пять лет брака он так и не понял, в чем заключалась внутренняя сущность Ренаты — разве что в страсти к развлечениям? Маловато, если

вдуматься. Вероятно, поэтому у него никогда не возникало желания заглянуть ей в глаза.

А глаза этой русской сразу поразили его своим выражением, как только он увидел ее не в темноватой прихожей, а уже в кухне, залитой вечерним солнцем. Что это было за выражение — он не понял, не расшифровал, оно тем и привлекало, что его хотелось понять. Будь он посмелее, он сказал бы: «Повернитесь к окну и не двигайтесь, я хочу рассмотреть получше». Но быть смелым с женщинами он вообще не умел — ни теперь, ни раньше; его хватало лишь на то, чтобы иногда напускать на себя дурацкую развязность — это была своего рода самозащита.

После той первой их встречи в августе он решил было, что встречаться больше не будет. Насчет матери выяснил, та действительно не имела никакого отношения к работам харьковской группы — вообще не занималась ядром, ее специальностью были токи высокой частоты. Это, кстати, объясняло столь экстренный характер эвакуации: высокочастотники наверняка работали над проблемами закалки броневых сталей. Ну а раз мама интереса не представляет, сказал он себе, то и дочка — тем менее. Дурак, это он просто пытался втереть самому себе очки.

Именно дочка-то и представляла собой главный интерес; строго говоря, какое ему было дело до всего остального. О Харькове он спросил просто из любопытства; даже если бы выяснилось, что ее мать там работала, не мог же он всерьез рассчитывать узнать что-то о ее работе! И из намерения больше не встречаться тоже ничего не получилось, потому что не прошло и месяца, как он однажды, сидя над графиком переподготовки резервистов 2-го класса, вдруг явственно услышал голос с мягким славянским акцентом и надменной интонацией: «Не припоминаю, господин Бергер»; оглушенный, он посидел немного, потом решительно встал и похромал к майору Бернардису, придумывая на ходу какой-нибудь предлог для поездки в штаб BO-IV.

Он еще и после этого пробовал заниматься самоочковтирательством: убеждал себя, что интерес к Люси у него чисто абстрактный. Обыкновенная любознательность пытливого от природы человека, встретившегося с новым и не совсем понятным явлением. И ничего больше!

Бернардису он тогда, так и не придумав ничего более правдоподобного, сказал, что ему надо непременно съездить в Дрезден — навестить друга покойного отца. Майор поинтересовался,

что за друг, и он охарактеризовал Штольница как представителя демократической научной общественности Саксонии и, естественно, убежденного противника нацистов. «С такими людьми надо поддерживать связь», — одобрил Бернардис и действительно через неделю устроил ему командировку.

После второй встречи с «не совсем понятным явлением», после того удивительного дня, что они провели вместе, обманывать себя было уже бессмысленно. Просто поговорив с нею утром по телефону, он понял, что в его жизни произошло что-то необычайно важное. Он звонил из штаба, расположенного на Ташенберге, рядом с тем местом, где они договорились встретиться через час, и это оставшееся время надо было куда-то деть; пройдя пешком по мосту Августа, он полюбовался пустым цоколем, где до войны, ему помнилось, стояла золоченая конная статуя какого-то курфюрста — теперь то ли спрятанная, то ли переплавленная по приказу Шпеера. Потом побывал у Японского дворца, через сад вышел к Мариенбрюкке, одолел так же пешком и его, но все равно вернулся к Цвингеру слишком рано. Потоптавшись на мостике, хотел было войти в ворота, но подумал, что вдруг она придет раньше

— не увидит его и уйдет; заглянув вниз через перила, он увидел в стоячей воде отражение своей фуражки и обозвал себя кретином: надо было приехать в штатском, а не щеголять перед нею в этой проклятой униформе. Неужели ей не омерзительно его видеть?

А потом он увидел ее переходящей улицу от театра — и еще больше испугался и в то же время обрадовался, это было тоже странное, никогда не испытанное им чувство, — вообще, все связанное с нею было новым, ни на что не похожим. Впрочем, еще бы не испугаться: она направлялась к нему с таким видом, будто собиралась за что-то отчитать, и весьма строго, но уже в следующий момент он понял, что отчитывать не будут, потому что она вдруг стала совсем другой, сразу, каким-то непонятным образом — она не то чтобы улыбнулась, нет, улыбки не было, просто лицо ее вдруг осветилось изнутри…

Этот удивительный внутренний свет озарял ее весь тот день; был, правда, момент, когда она вдруг погасла и замолчала — после того, как он спросил, были ли у нее дома собаки, — конечно, этот бестактный вопрос не мог не вызвать воспоминаний. Вечером он уезжал из Дрездена почти уверенный, что она тоже будет ждать следующей

встречи. И не только из-за письма подруге.

С письмом этим, кстати, дело едва не обернулось крупной неприятностью. Он не сказал Люси всего, чтобы она не слишком беспокоилась, но подруга ее, похоже, была там замешана очень серьезно; упомянув о том, что ее арест совпал с убийством местного комиссара, он не сказал главного: террорист, совершивший убийство, жил именно по тому самому адресу, который Люси своей рукой надписала на конверте. Просто счастье, что у Венцеля хватило осторожности умолчать о письме. Когда его спросили, зачем ему прежние жильцы, он сказал просто, что когда-то останавливался в этом доме, еще в самом начале войны, и теперь вот, снова оказавшись здесь проездом, решил зайти навестить хозяев — они, мол, показались ему людьми радушными…

А может быть, стоило рассказать ей все без утайки, чтобы увидеть, как она отреагирует? Дело в том, что ее реакция на новость оказалась несколько странной — она, естественно, испугалась за подругу, но сам факт, что та занималась подпольной деятельностью, похоже, ее не поразил. Как знать — не была ли сама Люси гораздо больше в курсе тамошних дел, чем делает вид? Естественно, до своего отъезда, но ведь забрали

ее, кажется, уже глубокой осенью — значит месяца три она прожила в оккупированном городе. Вполне достаточно, чтобы войти в контакт с какой-нибудь подпольной группой.

В тот день, уже сидя в вагоне, пока поезд набирал ход и, громыхая на стрелках, все быстрее перебегал с пути на путь — мимо депо, угольных складов и пакгаузов фридрихштадтского узла, — он подумал с удивлением, что это короткое свидание было всего третьим по счету; да, в самом деле: в августе они познакомились, потом — в сентябрьский его приезд — ходили по городу, в октябре он побывать в Дрездене не смог. А между тем ему казалось, что они знакомы очень давно. Что ж, четыре месяца — это не так мало, за четыре месяца постоянного общения можно очень хорошо узнать человека. У них, правда, общение постоянным не назовешь, но зато в таких случаях начинает, видимо, действовать принцип относительности: сегодня, например, они не провели вместе и часа, а ему казалось, что именно это последнее, самое короткое свидание сделало ее необъяснимо близкой. Необъяснимо — потому что именно сегодня он понял, как мало ее знает.

Просьба о фотографии была, конечно, мальчишеством; можно себе представить, каким

дураком он остался в ее глазах. Да ему и не нужны были вещественные напоминания — с некоторых пор он постоянно как бы ощущал рядом ее присутствие, даже когда мысли заняты были совсем другим. Чаще всего, кстати, так оно и бывало. Вернувшись тогда из поездки в Хемниц и Иену, он нашел дома телеграмму от Штольница — с известием, которое буквально его оглушило. Не потому, что он питал к Эгону теплые чувства, просто ему вспомнился тот разговор в ресторане, когда Бернардис спросил о причинах политической пассивности профессора, а он сказал, что тот на многое смотрел бы иначе, случись что-нибудь, скажем, с Эгоном. Вот оно и случилось. Бывают же такие мрачные совпадения!

Общая обстановка тоже не располагала к лирическим раздумьям. Катастрофа на Востоке становилась все более тотальной, никакой «неприступной обороны» по Днепру создать не удалось, и теперь уже было совершенно ясно, что к весне вся Правобережная Украина будет потеряна. А на Западе (явно испугавшись опоздать к дележке пирога) наконец-то зашевелились кунктаторы в англо-американском военном руководстве. Возможно, Сталин потерял терпение и в Тегеране крепко стукнул по столу кулаком;

так или иначе, на Каирской и Тегеранской конференциях были несомненно приняты какие-то важные решения, связанные с подготовкой вторжения в Северную Францию. Начиная с августа численность американских войск в Англии непрерывно возрастала за счет прибывающих из-за океана и со Средиземноморского театра; если верить разведке, примерно каждые две недели на островах становилось одной американской дивизией больше — можно было легко подсчитать, сколько их там будет к весне…

То, что над безоблачным до сих пор Западом начинают собираться тучи, очень скоро почувствовали работники штаба армии резерва. С каждым днем становилось все труднее удовлетворять требования Восточного фронта, не нарушая строжайших запретов касательно войск, дислоцированных во Франции, Бельгии и Голландии. Впрочем, запреты все равно нарушались — мясорубка на Востоке работала безостановочно. Сроки обучения допризывников и переподготовки резервистов были сокращены до абсурда, полуинвалиды и едва обученные стрелять мальчишки заменяли опытных солдат, отправляемых в Россию откуда только было возможно. Это был чистой воды блеф: хотя чис-

ленность войск, подчиненных командованию «Запад», в основном сохранялась примерно на одном уровне, их боеспособность катастрофически падала. Дело доходило до анекдотов — на острове Валхерен, например, обосновалась целая «язвенная дивизия» из солдат, страдающих хроническими желудочными заболеваниями (их согнали вместе, дабы удобнее было организовать диетическое довольствие, по приказу начальника военно-санитарной службы ОКХ).

Но это все были трудности «легального», так сказать, характера. Помимо них, каждый заговорщик испытывал еще и постоянно возрастающее напряжение политической ситуации; время словно ускоряло свой бег, с каждой промелькнувшей неделей ощутимо сокращались сроки, когда еще можно было — и стоило — пытаться что-то сделать. Фактически оставалось несколько месяцев до начала лета, когда метеорологические условия позволят армии вторжения пересечь Канал. Все понимали, что переворот надо осуществить раньше.

Эрих иногда спрашивал себя — смог ли бы он в случае необходимости заменить, скажем, того же Штауффенберга? Нет, скорее всего, не смог бы. Он поражался энергии, душевной силе и нечелове-

ческой работоспособности подполковника; сам он, Дорнбергер, отвечал за очень ограниченный, очень узкий сектор проблем, связанный с подготовкой переворота, и то эта ответственность и работа, которую приходилось выполнять, полностью поглощали его силы. А если бы пришлось держать в своих руках все нити заговора, как приходится Штауффенбергу? Хотя тот и не считался формально руководителем и к активной деятельности приступил сравнительно недавно — немного позже хотя бы Ольбрихта, — получилось так, что очень скоро его авторитет стал для всех неоспоримым; исповедуемый Штауффенбергом принцип элитарности был прежде всего воплощен в нем самом — огромная сила убеждения сочеталась у него с личным обаянием, ему все подчинялись, и подчинялись охотно, не чувствуя себя подавляемыми. Пожалуй, впервые в жизни Эрих воочию и вблизи наблюдал, как человек превращается в вождя. Вождя не номинального — эту роль мог с успехом сыграть Людвиг Бек, — а фактического, способного организовать и направить в нужную сторону всю эту огромную хаотическую массу порой совпадающих, порой противоречащих друг другу порывов и устремлений, именуемых заговором. Организовать,

направить и суммировать — вот что было главной задачей; сделать так, чтобы вся эта энергия в нужный момент ударила в одну точку подобно энергии кумулятивного заряда. Иногда Эриху казалось, что этого никогда не случится. Общаясь же со Штауффенбергом, он начинал верить, что этот человек сможет все.

Они работали в разных отделах, но встречаться приходилось чуть ли не каждый день, и за какие-нибудь два месяца их отношения стали почти дружескими. Стремясь к тому, чтобы между заговорщиками установился дух товарищества, Штауффенберг всячески поощрял внеслужебные контакты. Однажды в субботу утром, встретившись с Эрихом, он поинтересовался его планами на воскресенье. «Могли бы вместе съездить в Бамберг, — предложил он, — буду рад познакомить вас со своим многочисленным и весьма шумным семейством». Эрих был не прочь познакомиться с графиней Штауффенберг — от кого-то он слышал, что она тоже русская, — но принять приглашение не решился, представив себе толпу аристократических тетушек и бабушек. Еще не так поклонишься, не ту вилку схватишь. Он отказался, сославшись на занятость.

— Но у меня, пожалуй, будет просьба к вашей

супруге, — сказал он. — Вас не затруднит посоветоваться с нею по несколько необычному вопросу?

— Уверен, она будет рада помочь вам в любом вопросе.

— Видите ли, Штауффенберг, у меня есть одна приятельница, девушка из России. И вот я ломаю себе голову насчет рождественского подарка. У нас не те отношения, чтобы я мог преподнести ей, скажем, что-нибудь из… ну, я не знаю — туалета, что ли! Но и коробку конфет — тоже не то, конфеты можно подарить кому угодно.

— Да, и попробуй еще достань! Понимаю вашу проблему, Дорнбергер, но мне действительно придется спросить у Нины. Сам я подсказывать не берусь — тут, знаете, мы с вами можем попасть впросак. А женщина сумеет посоветовать, тем более соотечественнице. Простите, я только не понял — в каком смысле «из России»? Она дочь эмигранта или…

— Не эмигранта, нет. Ее привезли сюда как «восточную работницу», по трудовой мобилизации. Попала она, правда, в приличные условия — работает домашней помощницей в очень порядочной семье, но все равно. Она дочь физика, превосходно владеет немецким.

— Подумайте. Хорошо хоть не послали на военный завод. И ей тоже приходится носить этот бело-синий опознавательный знак?

— Не носит, хотя обязана.

— Печально. — Штауффенберг покачал головой. — Я завтра же поговорю с женой, непременно…

В сущности, Эрих тоже мог бы уезжать на воскресенье из этого осточертевшего Берлина — но куда? Слишком частые поездки в Дрезден могут привлечь внимание, он и так уже неосторожен со своими визитами и телефонными звонками. Конечно, Штольницы знают его с детских лет, но в случае чего это не помешает гестаповцам обвинить стариков в «контактах с государственным преступником». А уж Люси — тем более. Не хватает только, чтобы припомнили и эту ее подружку-партизанку!

Тогда на вокзале он не переспросил, что хотела она сказать своей незаконченной фразой: «Нам лучше было бы не…» — смысл был понятен и так. Разумеется, лучше бы не. Вообще — не. Но человеческие судьбы далеко не всегда устраиваются так, как было бы лучше. То, что происходило с ним сейчас, было несусветной глупостью, и глупостью опасной, ему следовало бы как от чумы

бежать от Штольницев с их «восточной помощницей». Это он понимал очень хорошо. Но еще лучше понимал он другое: что теперь уже никуда от нее не убежит.

В понедельник — это было уже двадцатого — Штауффенберг вошел в комнату, где Эрих работал в непривычном одиночестве: штабные дамы, изводившие его болтовней и треском машинок, сегодня с утра бегали по лавкам в надежде получить продукты по выданным к празднику дополнительным талонам. Рождественская добавка была в этом году неожиданно щедрой: каждый берлинец старше восемнадцати лет получал 500 граммов муки, 250 — сахара, 200 — мяса или колбасы, по 125 — фасоли, сливочного масла и кондитерских изделий, полбутылки спиртного, 62,5 грамма сыра и 50 граммов кофе в зернах. Неудивительно, что столичные учреждения наполовину опустели.

— Итак, Дорнбергер, — весело сказал подполковник, — жена все-таки сумела отыскать кое-что для вашей приятельницы! — Он положил перед ним небольшую книжечку с тусклым золотым обрезом, в красном тисненом переплете прошлого века. — Это один русский поэт, современник Гёльдерлина и, кажется, в чем-то с ним схожий…

— О, Пушкин, — сказал Эрих, решив проявить эрудицию.

— Нет, жена говорит — второй после него: Лермонтов. Вы читаете по-русски хоть немного?

— Увы… — Эрих осторожно раскрыл книжечку — единственным, что ему удалось понять на титульном листе, был год издания — 1862, да три напечатанных по-немецки слова: «Лейпциг, Вольфганг Герхард». — Я вижу, это издано у нас?

— Ну, лейпцигские печатники издавна работают на зарубежный рынок.

— Я не знаю, как мне благодарить вашу супругу, Штауффенберг… Это действительно королевский подарок!

— Пустяки. Нина будет рада, что вам понравилось. И надеюсь, это должно понравиться вашей знакомой. Только позвольте один совет…

— Да?

— Воздержитесь от дарственной надписи. Даже если не указывать имени — почерк все равно останется ваш, вы можете невольно подвести девушку…

Уехать из Берлина в сочельник не удалось — как раз двадцать четвертого ему выпало дежурить, вечерние дежурства устанавливались по графику, и просить кого-то о подмене в праздник

было неудобно. Поэтому в Дрезден он выехал только днем двадцать пятого, прямо с вокзала отправился на Остра-аллее и поспел к обеду — пакет со всякими вкусными вещами, организованный Бернардисом через обер-кельнера в том же шарлоттенбургском притоне, оказался весьма кстати. Что-то помешало ему сразу вручить Люси подарок — он и сам толком не понял, было ли это внезапно возникшее чувство неловкости перед стариками, как будто в присутствии людей, недавно перенесших горе, не пристало обмениваться праздничными подарками, или просто ему хотелось сделать это наедине.

Профессор и фрау Ильзе держались хорошо, но выдержка стоила им немалых усилий, и это было заметно. Поддерживая нарочито непринужденный застольный разговор о новостях и погоде, Эрих подумал, что надо бы вытащить Люси пройтись — хоть ненадолго дать отдохнуть от этой гнетущей обстановки, он только не знал, не будет ли это бестактно по отношению к старикам. Штольниц, словно прочитав его мысли, посмотрел вдруг в окно и заметил, что «белое Рождество» — со снегом — случается в Дрездене не каждый год и почему бы молодежи не воспользоваться такой оказией для прогулки?

Они и на этот раз пошли тем же путем — через Цвингер, весь белый и заснеженный, в безмолвном великолепии сиреневых сумерек напоминающий сейчас роскошную декорацию к какой-нибудь «Спящей красавице». У Павильона курантов им послышалось пение органа, отдаленное и торжественное, — в Хофкирхе уже шла вечерняя служба. Людмила молча тронула Эриха за рукав.

— Послушаем, — сказала она. — Правда, это только запись… профессор говорил, здесь был какой-то знаменитый орган, ему двести лет. Тоже увезли и спрятали, как и картины из галереи… Но все равно красиво, правда?

— Красиво, — согласился Эрих, постояв и послушав. — Но странно, я бы сказал.

— Что странно?

— Да вот это! Странно и как-то… некогерентно: это — и война. У вас укладывается в сознании?

Незнакомого слова Людмила не поняла, но спросить о значении почему-то постеснялась. Вообще, он прав, подумала она, действительно не укладывается — серебряные трубы пели о мире, о надзвездном покое, а на Земле в эту самую минуту сотни тысяч людей умирали от ран в госпиталях, падали с неба с обломками самолетов,

гибли в снегах и джунглях, заживо горели на палубах торпедированных танкеров.

— И все-таки, наверное, правильно, что есть еще это, — сказала она. — Иначе, наверное, совсем бы… было плохо. Идемте, у меня ноги замерзли.

Когда они пришли на Альтмаркт, уже стемнело.

— Вы летом хотели сюда прийти, помните? — сказала Людмила негромко.

— Мне просто вспомнилось детство. — Он огляделся, все было таким же — и статуя Германии-воительницы в центре площади, и «Львиная аптека» на углу, и знакомые вывески — «Реннер», «ДЕФАКА», — и привычно темнеющий над крышами силуэт колокольни Кройцкирхе. — Да, ничего не изменилось. Только вот бассейна не было.

— Его выкопали этим летом — для пожарных целей, говорят. Эрих… меня до сих пор мучает совесть, я так виновата перед вами… Помните, вы тогда хотели здесь побывать, а я отказалась. А ведь это иногда очень важно — увидеть вновь какое-то место…

— Ну что вы, Люси, это пустяк. Не так уж я сюда рвался — подумаешь, родные пенаты.

— Все равно я не должна была отказать. Я тогда

дала себе слово, что если мы еще когда-нибудь будем с вами гулять по городу, то прежде всего побываем здесь.

— Спасибо, Люси. — Он улыбнулся, все еще не совсем ее понимая.

— И я также должна объяснить, — продолжала она, — почему не сделала этого в тот раз. Дело в том, что… это ужасно глупо, я понимаю, но все равно — наверное, лучше рассказать, иначе все останется внутри, и… Так вот, дело в том, что я боялась бывать на этой площади. Где угодно, только не на Альтмаркт. Я видела сон этой зимой — в феврале, когда был сталинградский траур, — вы помните эту музыку?

— Я тогда лежал в лазарете, у нас радио не включали.

— Это было ужасно — похоронная музыка трое суток подряд, и всюду эти черные драпировки, приспущенные флаги… Я думаю, на меня подействовало все это, особенно музыка. Мы, конечно, тоже не включали, но на втором этаже живет наш блоклейтер, он вообще обожает слушать громкую музыку, особенно марши, а уж тогда у него все три дня приемник работал на полную мощность — можете себе представить. Я просто думала, что сойду с ума. Вот тогда мне это и приснилось…

Она говорила негромко, спокойным вроде бы голосом, но что-то такое было в ее интонации, что Эриху стало вдруг не по себе.

— Так, может, не стоит и рассказывать, — сказал он нарочито беспечным тоном. — Мало ли что может присниться!

— Нет, я думаю — будет лучше, если расскажу. Понимаете, у нас в моем городе, дома, есть в центре одна большая площадь, больше этой, и там было такое большое, во весь квартал, здание новой архитектуры — ну, знаете, в стиле Гропиуса. Такое серое, сплошной бетон и стекло. Его разрушили в августе сорок первого года, когда город бомбили ваши «штукас»[14], — совсем разрушили, и эти развалины были какими-то необычными: дом не просто развалился, местами его как-то перекосило, будто стены начали падать и задержались в падении, и все этажи провисли такими огромными изогнутыми пластами…

— Ну понятно, — сказал Эрих, — железобетонная конструкция. Перекрытия разрушились, но остались висеть на арматурных связях.

— Да, наверное. Почему я это рассказываю — меня тогда поразил вид этих развалин, я их

---

[14] Notes: 14
Сокр. от «Sturzkampfflugzeug» *(нем.)* — пикировщики.

увидела сразу, на второй или третий день, там еще горело — они выглядели необычайно мрачными, жуткими какими-то… И вот этой зимой, в феврале, мне вдруг снится та площадь — именно такая, какой я ее видела после бомбежки, — дым, какие-то странные развалины, — но в то же время это еще и Альтмаркт. Ну, знаете, как это бывает во сне, когда всё вперемешку… Да, это точно была та площадь и одновременно эта, мне хорошо запомнился памятник посредине, и еще там был фонарный столб вроде этого, только весь какой-то изогнутый…

Она указала на светильник у трамвайной остановки — второй такой же возвышался на углу Шрайбергассе, прямо через площадь; увенчанные каждый целой гроздью ламп, они были похожи на огромные канделябры. Помолчав немного, словно ей было трудно говорить, она продолжала негромко, тем же спокойным, почти невыразительным голосом, от которого ему опять стало не по себе:

— …Я хорошо помню, что никак не могла определить, понять, что это за площадь и где я нахожусь, и это само по себе было как-то непередаваемо тяжело, как бывает только во сне, но не это главное. Понимаете… там — на этой площади

— происходило что-то… совершенно ужасное, кошмарное — я не могла ни разглядеть, ни понять — что именно там делают; у меня только было отчетливое чувство, что если я разгляжу, пойму, то просто сойду с ума…

— Ну, сны — это вообще… — Эрих пожал плечами. — Сновидение, я где-то читал, как правило, отражает хаотичную, неупорядоченную работу определенных мозговых центров… А она, в свою очередь, зависит от степени возбужденности нервной системы. Ну и еще настрой, вероятно. Вы тогда долго слушали траурную музыку — естественно, что и сны были соответствующие.

— Я все это понимаю, — сказала она. — Просто дурной сон — на это я тоже никогда не обращала внимания, старалась не обращать. Я бы и на этот не обратила, но он каким-то образом остался во мне, понимаете? Словно зацепился там. Через несколько дней фрау Ильзе попросила меня съездить в магазин Роха, ей надо было что-то купить, и когда я вышла из трамвая на этой остановке — я сразу все вспомнила, весь этот сон, хотя самое странное — вспоминать конкретно было нечего, я, в общем, ничего толком не видела в деталях — так, что-то общее и к тому же путаное и непонятное, как всегда во сне. Но было ощу-

щение какого-то непередаваемого ужаса того, что делалось на этой площади… Там… нет, это не расскажешь — и потом, действительно, я толком не видела — вроде какие-то мертвые люди, но очень много, вы понимаете, невероятно много… В общем, я с трудом заставила себя дойти вон туда — я даже не помню сейчас, что мне поручали купить, какую-то краску, что ли, но ее не было, и я потом долго еще боялась, что меня опять пошлют к Роху. Вы не поверите, Эрих, но мне даже слышать слово «Альтмаркт» было жутковато. Долго после этого. Это случилось в феврале, да? А вы приезжали в сентябре — ну, в тот раз, когда мы ходили смотреть пьяного осла, — так вот, вы тогда сказали: «Сходим на Альтмаркт» — и я просто не смогла, понимаете, это было выше моих сил…

— Но послушайте, Люси, — сказал он уже встревоженно, — зачем же тогда…

— Сейчас? Нет, сейчас уже ничего, я уже никакого страха не испытываю. Наверное, это действительно надо было как-то в себе… преодолеть, да? И наверное, я все-таки хорошо сделала, что рассказала вам — хотя это ужасно эгоистично, Эрих, я понимаю, заставить вас выслушивать…

— Помилуйте, какой же тут эгоизм. Я рад, если смог помочь вам… хотя бы в такой пассивной

форме.

— Да, как ни странно! Профессор, помню, однажды рассказывал об одном венском враче, психиатре. У него был такой метод лечения психозов — это он сам придумал, создал целую теорию: заставлял пациента рассказывать о себе все решительно — вспоминать и говорить все, что ни приходит в голову. Даже сны! И пациент, рассказывая, как бы освобождался от того, что его мучило.

— Да, это довольно известный метод. А вы рассказывали о своем сне старикам?

— Нет, зачем же — фрау Ильзе такая впечатлительная… Вам я рассказала первому.

— Спасибо, Люси. Мне лестно, что вы сделали меня своим — как это говорится — конфидентом. Обещайте и впредь не таить от меня свои трудности. Между прочим…

Решившись наконец, он полез в карман пальто и достал пакет с красной книжечкой. Канделяброобразные светильники по обеим сторонам площади уже зажглись, синие фонари давали не так уж много света, но все же площадь была освещена. Разорвав бумагу, он скомкал ее и сунул в карман, а книгу протянул Людмиле:

— Вот, возьмите… Это я вам к Рождеству…

— Что это… Лермонтов? Боже мой, откуда? Как вы достали?

— Собственно, не я, — признался он. — Это жена одного сослуживца — она русская наполовину, и я… Ну, вы понимаете, Люси, если быть честным до конца — я просто не знал, что вам подарить. Я знал, чего нельзя, а вот что можно? Поэтому я его и попросил — посоветоваться. А она достала эту книгу. Думаю, просто взяла из своей личной библиотеки.

— Боже мой, — повторила Людмила, листая повернутый к свету томик, — Эрих, вы не могли мне сделать лучшего подарка, я просто не знаю, как вас благодарить, — вы не представляете, что это такое — два года не прочитать ни строчки на своем языке…

— Но вам действительно нравится этот автор или книга приятна просто тем, что напечатана по-русски?

— Ну что вы, это один из трех моих самых любимых поэтов! Такое прелестное издание… никогда не знала, что его издавали в Германии… Спасибо, Эрих, я так вам благодарна! Но только почему вы ничего здесь не надписали? У вас не принято надписывать, когда даришь книгу?

— Принято, но… Мне лучше этого не делать.

— Лучше не делать? — спросила она удивленно. — Но почему?

— Потому что нельзя. Поверьте, что, если бы можно было, я бы надписал. Сейчас я только могу устно — ну, что полагается говорить в таких случаях? Пожелать вам если не счастья — что толку желать заведомо несбыточного, вы согласны? — то хотя бы немного благополучия в этом неблагополучном мире.

— Спасибо, Эрих…

— Вижу, пожелание вам не понравилось. Слишком прозаично?

— Нет, дело не в том… Благополучие, кстати, может быть вовсе не прозаичным — все зависит от того, что понимать под этим словом. Мне хочется верить, что мы понимаем его одинаково. Просто я сейчас подумала… Вы вообще не верите, что человек может быть счастлив, да? Я тоже не верю. Или, может быть, я просто вкладываю в это слово слишком много. Спасибо за чудесный подарок и за пожелания, я вам так благодарна, Эрих, Мне грустно, что я не могу вам подарить ничего, но одно пожелание у меня для вас тоже есть.

— Выкладывайте его! А дарить мне ничего и не надо, наше знакомство — это уже подарок.

— Спасибо, Эрих. Пожелать я вам хочу самого

главного: чтобы поскорее кончилась война и чтобы мы с вами это увидели.

— Вместе? — Он улыбнулся немного натянуто. — Вы, однако, многого хотите от жизни, Люси. А ведь только что сказали, что не верите в счастье.

— Поэтому и не верю, наверное. Эрих, я ведь еще не поблагодарила вас за то, что вы на этот раз приехали в штатском.

— Праздник! Сегодня можно. — Он коснулся ее локтя, и они медленно пошли наискось через площадь — мимо памятника, огибая пожарный водоем, в котором мертво чернело тусклое зеркало воды. — Но вообще, я придумал, как решить эту проблему: привезу и оставлю все у стариков, и тогда я всегда смогу быть с вами в человеческом виде.

— По большим праздникам — Рождество, Пасха…

— Нет, почему же, можно и в обычные дни — во внеслужебное время.

— Эрих…

— Слушаю вас.

— Вам не опасно со мной встречаться?

— Ну, знаете, это еще неизвестно — кому опаснее…

— Не надо шутить, я ведь всерьез спросила.

— А я тоже отвечаю очень всерьез, поверьте.

Она помолчала, обдумывая услышанное.

— Я иногда не понимаю вас, Эрих, — сказала она наконец, словно думая вслух. — Глупо, конечно… Понимать вас я и не могу, это было бы — самонадеянно, да? — сказать, что я могу вас понять. В некотором смысле ни один человек не может до конца понять другого. Даже своего соотечественника и даже совсем близкого. Но есть люди, у которых все раскрыто. Вот как книга. Может быть, ты и не знаешь этого языка, но хотя бы… видишь текст. А в вас ничего не видно. Нет, я не хочу сказать, что это недостаток или… Но просто мне было бы намного легче с вами, если бы я умела больше разобраться.

— Конечно, Люси. Мне бы тоже хотелось, чтобы мы оба стали вдруг совершенно понятны друг другу и чтобы ни у кого из нас не осталось ни одной «закрытой страницы». К сожалению, это невозможно. Да и ни к чему. Единственное, что вам следует обо мне знать, — это что я вас люблю.

Людмила продолжала смотреть в сторону, словно не расслышала или не поняла его слов.

— Я знаю, — отозвалась она наконец. — Когда

любят, это чувствуют. — Фраза получилась странная, не очень даже ясная по смыслу; и об этом, подумалось ей с горечью, приходится на чужом языке… — Спасибо за искренность, Эрих, я тоже, видите, не скрываю от вас ничего. Хотя, наверное, надо было бы… и мне, и вам.

Он взял ее руку и, не снимая перчатки, прижал к своей щеке, низко опустив голову.

— Прости, любимая, — сказал он глухо. — Твой упрек справедлив, я ведь понимаю, что этим разговором не облегчил тебе жизнь. Но молчать дальше я просто не мог, есть вещи, против которых бесполезно…

— Да, наверное… — Она стояла, тесно прижавшись к нему, не пытаясь высвободить руку. — Наверное, это действительно теперь все равно, Эрих… Молчать или не молчать — какая разница? Разница — это чувствовать или не чувствовать, наше чувство действительно не облегчит жизни ни мне, ни вам. Но раз оно есть — что изменится, если мы продолжали бы молчать, притворяться перед самими собой…

Глава 6

К началу сорок четвертого года рейхсфюрер СС и шеф германской полиции Генрих Гиммлер не только знал о существовании широко разветвленного заговора, но и располагал поименным списком главных его участников, руководителей как военного, так и гражданского секторов. Он был детально осведомлен о намерениях заговорщиков, о тактических разногласиях между отдельными группами, о тех немногих пунктах, по которым им удалось достичь согласия. Для него давно уже не было секретом, что наиболее радикальные представители военного сектора планируют начать переворот убийством главы государства. Еще в апреле прошлого года, когда были арестованы абверовцы Бонхёфер и Донаньи, стало известно о неудачной попытке покушения на фюрера, предпринятой незадолго перед тем в Смоленске.

Гиммлер играл с заговорщиками, словно кот с мышами. Так, во всяком случае, нравилось ему думать о самом себе: как о ловком, умном хищнике, который выпустит когти в самый последний момент. А мыши были глупы и суетливы, они

копошились, что-то делали, не понимая, что все это лишь мышиная возня, не более. Перед Новым годом по невыясненной причине взлетел на воздух солидный запас взрывчатки, которую мыши натаскали и припрятали не где-нибудь, а в Растенбурге — на территории «Волчьего логова», под одной из пулеметных вышек внутренней зоны. Взрыв в таком месте — это действительно было происшествие, но Гитлера даже не поставили в известность, Раттенхубер получил строжайшее указание держать язык за зубами.

Впрочем, чтобы мыши от такой безнаказанности не обнаглели вконец, пришлось посадить для острастки нескольких сотрудников МИДа, которые повадились кучковаться в доме зловредной старухи Ганны Зольф — вдовы бывшего посла в Токио. А неделей позже, в подвал на Принц-Альбрехтштрассе был со всем респектом препровожден англизированный выродок, его сиятельство Гельмут Джеймс граф фон Мольтке — эксперт по военному праву при ОКВ и глава «мозгового центра» заговорщиков.

Взяли его не потому, что он был радикальнее и опаснее других; скорее наоборот. Голова этого аристократишки была настолько забита христианскими бреднями, что он даже не одобрял

плана убить Адольфа, — нечестивец, считал граф, должен предстать перед всенародным судом. Рейхсфюреру СС только этого и не хватало сейчас для полного счастья: перспективы «всенародных судов» после переворота. Поэтому-то Мольтке и изолировали, чтобы не дурил головы людям более решительным. А тем была предоставлена свобода действий.

Игра доставляла особое удовольствие еще и потому, что была беспроигрышной. Если случится так, что Адольф что-то унюхает и в свойственной ему непринужденной манере спросит, каким же это образом он, «верный Генрих», ухитрился прос… пать заговор, — что ж, можно представить тщательно подготовленные досье на каждого из заговорщиков и сказать, что считал целесообразным выждать время и обезглавить конспирацию одним ударом, когда она окончательно созреет, молчал же о ней потому, что не хотел обременять лишними заботами вождя, и без того несущего на своих плечах сверхчеловеческое бремя руководства войной…

Но, скорее всего, Адольф так и будет пребывать в неведении. Ведь от него, Гиммлера, зависит, что может и чего не может узнать Гитлер. Следовательно, мышам будет позволено резвиться

до конца — победного или нет, это уж как решит Провидение. Если им удастся задуманное — именно он, Гиммлер, войдет в историю как человек, избавивший Германию от нацизма; потому что он перед любым трибуналом сумеет документально доказать, что с самого начала знал обо всем, однако не только не предпринял против заговорщиков никаких мер, но и сдерживал рвение своих сотрудников (можно привести пример со взрывом на территории «Волчьего логова»).

Это был бы, разумеется, лучший вариант, куда менее опасный, чем его единственная альтернатива — военный разгром. Третьего, увы, не дано. Или успех заговора и переворот — тогда еще, может быть, как-то удастся выйти сухим из воды, — или разгром и безоговорочная капитуляция, конец всему. Адольфу, естественно, конец в любом случае, слишком уж одиозная фигура, — а в чем, собственно, могут обвинить его, Гиммлера? Он являлся исполнителем, не более. И он всегда был противником эксцессов! Почем знать, как обернулась бы судьба немецких евреев, если бы не его сдерживающее влияние на таких фанатиков, как Эйхман или Юлиус Штрейхер; да, им удалось настоять на «окончательном решении» — но сколько богатых, по-настояще-

му богатых евреев благополучно перебралось в Швейцарию с помощью придуманной им, Гиммлером, системы выкупов и залогов? Плутократическая пресса на Западе еще до войны не раз подымала вой по этому поводу: варварство, мол, торговля людьми. Помилуйте, что же здесь варварского, если человеку дают возможность спасти жизнь? К тому же все делалось на строго добровольных началах; в каждом случае, если разобраться, это была честная коммерческая сделка.

Если разобраться! Беда в том, что еще вопрос — будет ли вообще кто-то в чем-то разбираться, когда Германия станет побежденной и оккупированной страной. Скорее всего, нет. А вот если мыши окажутся достаточно проворны, чтобы свалить власть до окончательного военного разгрома, — тут будет время спокойно все обсудить и потолковать. Может быть, поторговаться. А что? Проигравшему всегда приходится платить, а уж для него-то это не проблема, только бы грызуны успели сгрызть Адольфа…

Бывали моменты, когда Гиммлер даже подумывал — не войти ли с заговорщиками в прямой контакт, предложить партнерство в игре. Непрямые контакты осуществлялись уже давно,

главным образом по линии тайных переговоров с западными союзниками в Берне и Стокгольме, где люди Гиммлера исподтишка подыгрывали людям Адама Тротт цу Зольца — «министра внешних сношений» заговорщиков. Но иногда Гиммлеру хотелось просто пригласить к себе Бека или Гёрделера на эдакий прямой мужской разговор, и всякий раз его останавливало два соображения. Во-первых, было ясно, что вожди заговора ни на какую сделку с ним не пойдут. Во-вторых, он со все большей определенностью — и сожалением — приходил к мысли, что вряд ли им удастся осуществить желанный «мирный вариант».

Не те люди, не та хватка. У Гёрделера обширные связи в мире финансов, но нет контроля над армией — единственной реальной силой, которая способна осуществить государственный переворот в стране, ведущей войну. Бек мог бы взять армию в руки, но он стар и нерешителен. Следовательно, от его имени действовать будут люди из штаба Ольбрихта — путаники, мягкотелые интеллигенты, не имеющие представления о деле, на которое замахнулись. Они думают, что главное — это убрать Адольфа, а там, дескать, Германия сама очистится от скверны. Как бы

не так! Тут понадобится такое кровопускание, что пресловутая «ночь длинных ножей» будет в сравнении с этим вспоминаться как невинная детская забава…

Эти люди не понимают главного: в борьбе приходится действовать оружием противника. И если высокородный граф Шенк фон Штауффенберг всерьез решил помериться силами с таким режимом, как наш, то ему прежде всего надо выползти из своего аристократизма, как змея выползает из старой шкуры; надо забыть все, что он прочитал в книгах, и стать таким же насильником и убийцей, как те, от кого он решил освободить Германию. Потому что мы всегда были насильниками, насилие мы сделали своим основным законом, опорой всей нашей власти, и власть эту сможет вырвать из наших рук только другое насилие, которое окажется сильнее нашего.

А Штауффенберг, когда ему однажды предложили заранее наметить, кого из сторонников режима придется «обезвредить» в первую очередь, как только совершится переворот, — Штауффенберг этим разумным предложением был оскорблен до глубины души: «Как! Вы хотите, чтобы мы начали проскрипционными списками! Но чем тогда мы

лучше всей этой банды?»

В том-то их и беда: смертельно боятся, как бы не уподобиться «банде». А между тем это — и только это — могло бы принести им успех. Эти глупцы хотят идти против дубины с дуэльной рапирой. Не все, конечно, там ведь тоже хватает всяких, один граф Хельдорф чего стоит — подлец и жулик, каких мало, даром что полицей-президент. Но Хельдорф в их кругу погоды не делает, его там только терпят; что ни говори, а если взять самую активную часть заговора — кружок молодых военных, — тон там задает именно Штауффенберг. Он-то их и погубит.

Рейхсфюрер СС наслаждался своей игрой, но разум все чаще подсказывал ему, что она, в сущности, бесперспективна; как ни желателен был бы успех заговора, шансы на него практически равны нулю.

Эта же мысль с пугающей настойчивостью приходила в голову и самому Штауффенбергу. Еще недавно, осенью, состояние дел представлялось куда более обнадеживающим. Число единомышленников превзошло самые оптимистичные подсчеты, в их руках было много ключевых постов на фронтах и в армии резерва, дислоцированной внутри страны. Гражданское

крыло заговора сумело проникнуть в важнейшие подразделения государственного аппарата — министерство иностранных дел, руководство экономикой. Казалось, все было подготовлено к тому, чтобы осуществить захват власти быстро и эффективно, не допустив ни анархии, ни междоусобицы.

Но потом стали появляться тревожные признаки. Прежде всего весьма обманчивым оказалось единомыслие участников: в чем-то они были согласны между собой, в чем-то нет, многие вообще колебались, явно не зная, на чью сторону становиться, выступать ли за полное прекращение войны на всех фронтах или следовать курсу Попитца и Гизевиуса, проповедующих перемирие на Западе и продолжение «оборонительной войны» на Востоке.

Это были разногласия более общего плана, касающиеся, так сказать, стратегии заговора. Но оказалось, что не так просто договориться между собой даже по вопросам политической тактики. Гёрделер, например, к которому Штауффенберг питал уважение (хотя и не разделял его консервативных взглядов), высказался вдруг против политических убийств вообще, включая и планируемое убийство фюрера. Когда его спрашивали,

каким же иным способом можно устранить Гитлера с поста главы государства, Гёрделер говорил, что этого он не знает, но заповедь «не убий» помнит хорошо и преступить ее не намерен.

Строго говоря, персональными намерениями доктора Карла Гёрделера можно было спокойно пренебречь — тем более что к военному крылу заговора бывший лейпцигский обер-бургомистр не имел прямого отношения, оно ему не подчинялось и выполняло указания Штауффенберга. Но сам факт был показателен: организатор заговора, более того — многолетний глава и «духовный отец сопротивления», теперь, когда надо приступать к действию, вдруг вообще отказывается действовать, переходит чуть ли не на позиции непротивления злу, начинает осуждать любой вид насилия! Конечно, можно сказать, что Гёрделер в данном случае просто согласился с мыслью, которую не раз высказывали участники «кружка Крейзау», и в первую очередь сам Мольтке, но крейзаусцы были теоретиками, их рассуждения носили характер отвлеченного морализирования и никем не воспринимались как руководство к действию. Гёрделер же слыл человеком дела. И вдруг такое!

Это не могло не усугубить разброда, и без того

уже заметно подрывавшего силы заговорщиков, в добавление к чисто техническим неудачам. А неудачи продолжали преследовать их с постоянством фурий. Шесть кило гексита, полученного от Канариса через полковника Лорингхофена и с огромным риском доставленного на территорию ставки в Растенбурге, взорвалось по неизвестной причине; в ноябре был в последний момент отменен смотр новых образцов обмундирования, при котором должен был подорвать себя очередной смертник — капитан Аксель фон Бусше-Хюннефельд; а сразу после Рождества Штауффенберг был вызван в ставку с докладом — прилетел в Растенбург с бомбой в портфеле, но узнал, что совещание не состоится.

Год тысяча девятьсот сорок четвертый начался для заговорщиков зловеще: арестами. Были схвачены бывший бургомистр Берлина доктор Фритц Эльзас, ответственный работник МИДа советник Рихард Кюнцер, банкир и дипломат Альбрехт граф фон Бернсторф, крупный промышленник Баллестрем с женой, урожденной Зольф, еще несколько человек. Никто из арестованных не играл в заговоре активной роли, но через них следствие могло нащупать более важные связи. Так, видимо, и случилось, потому что несколь-

кими днями позже всех как громом поразило известие об аресте Гельмута фон Мольтке. Гестапо явно уже подбиралось к центральному руководству.

Дальнейших арестов, однако, не последовало. Это было необъяснимо, поскольку люди Мюллера не могли не знать поименно тех, кто постоянно бывал в Крейзау и явно находился в дружеских отношениях с хозяином поместья. Арестовать Мольтке и оставить на свободе Йорка, Штельцера, Хефтена, Тротта и других — сама нелепость ситуации заставляла предполагать ее нарочитость, — но что за этим скрывалось?

Обстановка в ОКХ, уже и без того напряженная до предела, еще более взвинчивалась новостями, поступающими с Восточного фронта. Войска группы армий «Юг» продолжали отходить от Днепра, окончательно утеряв инициативу и катастрофически теряя боеспособность вообще. Их надо было спешно усиливать резервами, но за счет чего? Ослабление центрального участка было недопустимо, поскольку следующий удар русские несомненно готовились нанести именно по центру; снимать дивизии с итальянского фронта или с побережья Ла-Манша — тоже не выход, да и Гитлер категорически запретил это

делать. Число американских солдат в Англии уже перевалило за миллион, а транспорты с войсками продолжали идти конвой за конвоем, несмотря на зимние шторма в Северной Атлантике и круглосуточные атаки редеровских «подводных волков». В Лондоне было официально объявлено о назначении американского генерала Дуайта Эйзенхауэра Верховным главнокомандующим Союзных экспедиционных сил в Европе.

Усиление воздушной войны ознаменовалось новыми налетами на Берлин. В ночь с пятнадцатого на шестнадцатое февраля британская авиация подвергла город невиданной по интенсивности бомбежке, за сорок минут сбросив на Сименсштадт и юго-западные кварталы более двух с половиной тысяч тонн фугасных и зажигательных бомб. Услышав, что в Далеме сгорел химический институт Общества кайзера Вильгельма — тот самый, где в тридцать восьмом году Ган поставил свой знаменитый опыт по расщеплению атома, — Эрих позвонил редактору Розе. Тот подтвердил новость.

— Да, да, сгорел, — сокрушенно сказал он, — сгорел дотла, я сам видел. Всё к свиньям собачьим, дорогой доктор, дом Планка в Груневальде тоже капут — хорошо хоть старика вовремя увезли в

деревню… Кстати, вы ведь, если не ошибаюсь, жили неподалеку? — съездили бы, узнали…

— А, что там узнавать! — ответил Эрих.

Но на другой день он все же последовал совету, сам не зная зачем. Нормального движения пригородных поездов юго-западных линий еще не было, Бернардис дал служебную машину — ее пришлось оставить на автобане Афус, дальше проезд был закрыт. Груневальд, всегда такой тихий и ухоженный, чадил пожарищами, на тротуарах хрустело под ногами стекло, мокрый февральский снег смешался с пеплом и клочьями горелой бумаги. Улицы здесь были застроены неплотно, двухэтажные особняки стояли далеко один от другого, разделенные лужайками стриженых газонов; сейчас все это выглядело брошенным, безлюдным, некоторые виллы были полностью разрушены, превращены в кучи битого кирпича, от других остались закопченные пустые коробки стен. Относительно уцелевшие стояли без крыш, чернея дырами оконных проемов.

В числе таких оказался и дом Ренаты — стекла в нем вылетели вместе с рамами, из расщепленной парадной двери торчал протаранивший ее чугунный фонарный столб. Можно было попы-

таться войти через заднюю террасу, из сада, но Эрих заходить не стал, смотрел с противоположного тротуара, присев на низкую ограду тесаного камня. Странная фантазия пришла ему вдруг в голову: если бы Рената не уехала, он мог бы попросить ее оформить Люси как свою домашнюю помощницу и поселить в этом доме. Здесь она была бы в безопасности — конечно, если не принимать во внимание таких вот казусов. Ну, на эти случаи можно оборудовать подвал. Бомбы, в конце концов, еще не самое страшное. Есть опасности и похуже.

С прошлой осени — с того момента, когда Люси перестала быть для него просто знакомой, — он не раз думал: как хорошо, что она живет в таком городе, как Дрезден, и у таких ни в чем не замешанных людей, как Штольницы; единственная возможная опасность, да и то косвенная, исходила от него самого. А теперь это мнимое «благополучие» полетело к черту — старый умник не нашел ничего лучше, как самому ввязаться в конспирацию!

Эрих уже на Новый год почувствовал, что дело неладно. В Дрезден он приехал второго января, не предупредив Штольницев по телефону, и не застал дома ни Люси, ни фрау Ильзе — они были

в Шандау. А старик вел себя как-то странно, то ли о чем-то умалчивал, то ли колебался — сказать или не сказать. Эрих сначала подумал, не связано ли это с Люси — может быть, Штольницы что-то заметили и не одобряют (уж не потому ли отправили ее сейчас из дома?), — но потом убедился, что нет, не связано. Старик сам заговорил вдруг о своей Людхен и довольно церемонно выразился в том смысле, что ему доставляет глубокое удовлетворение видеть, что он, Эрих, разделяет, судя по всему, его высокое мнение о душевных качествах этой незаурядной девушки. «Если со мной или с Ильзе что-нибудь случится, — сказал он, — ты должен позаботиться о ней, как о своей родной сестре». Эрих тогда изумился торжественному, чуть ли не завещательному тону этой декларации; случиться, конечно, может в принципе что угодно и с кем угодно, сказал он, однако теоретическая вероятность любой случайности куда ниже для проживающего в Дрездене кабинетного ученого, нежели для военнослужащего в Берлине. «Почем знать», — загадочно ответил Штольниц.

Загадка разрешилась через две недели, когда профессор позвонил ему в Берлин и сказал, что едет ненадолго в Швейцарию поработать в одном из тамошних музеев; не привезти ли ему

оттуда что-нибудь необременительное — табаку, скажем, или хороших лезвий? В первый момент Эрих удивился — Иоахим никогда не был склонен к розыгрышам; но тут же, когда он понял, что никакой это не розыгрыш и вздорный старик действительно собрался в Швейцарию, ему стало по-настоящему страшно. «Послушайте, дядя Иоахим, — сказал он, — нам лучше увидеться, пока вы не уехали!» В ответ он услышал, что билет уже куплен — на завтрашний венский поезд — и увидятся они теперь уже после возвращения. Эрих понял, что настаивать бесполезно: дядя Иоахим, когда на него накатывало, делался упрям, как истинный саксонский мужик. Добрались, значит, и до него…

Эриху сразу вспомнился — по прямой ассоциации — давнишний разговор с Бернардисом в шарлоттенбургском ресторанчике, когда он сказал, что профессор может изменить свою точку зрения на необходимость активного участия в событиях только в том случае, если эти события затронут его каким-то более непосредственным образом. Он еще тогда добавил: «Ну вот, если бы, скажем, с Эгоном что-нибудь случилось». Об этом разговоре ему пришлось вспомнить еще в ноябре, когда оправдалась первая часть высказанного

им тогда мрачного предположения. Все вышло как по писаному: Эгон погиб, а профессор счел своим долгом включиться — но во что? Во что, хотелось бы знать, он включился? И может ли он сам, старый несчастный дурень, вразумительно ответить себе на этот вопрос?

Швейцария, черт побери! Он понял бы любой другой вариант: начни сейчас старик сколачивать подпольную группу, чтобы отметить годовщину казни мюнхенских студентов выпуском какого-нибудь нового «Письма белой розы», — даже такое, при всей нелепости, было бы понятнее. Но Швейцария! Это действительно не укладывалось в сознании. Швейцария — это уже самый высокий уровень даже не политики, а политиканства, закулисных махинаций, где теряют смысл такие первичные понятия, как честь, родина, победа или поражение, — там вступают в игру совершенно иные категории. Когда этим занимаются дипломаты — что ж, это их профессия, их оружие; но кому — и зачем — понадобилось отправить в гадючье гнездо старого искусствоведа? Практически осуществить такое мог только абвер. Но почему именно теперь…

Эриху не захотелось додумывать этой мысли, в ней было что-то тревожащее, таилась скрытая

заноза. Но, как всякая навязчивая мысль такого рода, она возвращалась все чаще и чаще. Так ли уж «случайно» зашел у них тогда разговор о профессоре Штольнице? Начал его Бернардис, не ради ли этого разговора и был затеян экстравагантный ужин… Не исключено! О том, что Бернардис связан с абвером, он уже давно знал, а логика подсказывала остальное. Почему-то их не устраивала политическая пассивность Штольница…

Да, но, как бы там ни было, случившееся катастрофически осложняет положение Люси. Ничего себе — «безопасность»! Взять одно знакомство с ним, уже само по себе в высшей степени компрометирующее, потом эта история с подругой там, дома, и наконец, в довершение всего, еще и сам профессор. Да ведь, черт побери, в случае чего любой следователь задумается — не слишком ли много «случайностей» вокруг девушки, приехавшей в Германию из Советского Союза — да еще с таким отличным знанием языка…

Интересно, сказал ли ей Иоахим, что решил на старости лет поиграть в рыцаря плаща и кинжала? Наверняка нет. А ведь строго говоря — должен бы. Точно так же, как и он сам, строго говоря, не имеет права скрывать от нее своего

участия в подпольной деятельности, или уж тогда (поскольку о таких вещах не рассказывают) надо было сразу отойти в сторону, прекратить знакомство, как только понял, во что оно угрожает перерасти. Надо было, надо было… Того, что надо было сделать, он не сделал. Так что же делать теперь?

Эрих уже не раз задавал себе этот вопрос — и, коль скоро ответа на него все равно не было, тут же переключал мысли на другое. Нет смысла ломать голову: часто бывает так, что безвыходная на первый взгляд ситуация со временем разрешается как-то сама по себе…

Но сейчас, сидя здесь, на камнях чужой ограды, и вдыхая пахнущий гарью и предвесенней сыростью воздух разбомбленного Груневальда, он вдруг с беспощадной ясностью понял, что само по себе это не разрешится — как не разрешились, если вспомнить, и многие другие ситуации, каждая из которых становилась для него лишним поворотом безысходного лабиринта. Может быть именно полагаясь вот так на волю случая, на это «само по себе», он и запутывал свою жизнь все больше и больше.

Глянув через улицу на ободранный взрывной волной дом своей бывшей жены, он невесело

усмехнулся. Вот разве что это! Единственная проблема, которая действительно разрешилась сама по себе, без каких бы то ни было усилий с его стороны. А все остальное…

Насчет остального нечего и волноваться, подумал он с той же безнадежной уверенностью. Всё к свиньям собачьим, как сказал вчера Розе, всё капут. С «Валькирией» тоже ничего хорошего не будет, тут лучше заранее избавиться от иллюзий. Интересно, понимают ли это другие — хотя бы тот же Штауффенберг? Понимают, вероятно, не он же один такой трезвый и проницательный. Почему им не дано хотя бы этого: веры в успех дела, за которое придется платить жизнью?

Любопытное все же явление этот заговор, каждый видит в нем какую-то свою цель. Для одних это возможность сохранить (хотя бы в потрепанном виде) военную мощь рейха, приберечь ее для будущего реванша. Для других — шанс обелить себя перед потомками. Ну а для третьих — это просто наиболее благопристойная форма самоубийства, сдобренная для самоутешения граном надежды на то, что вдруг все-таки удастся, свершится чудо — и из дерьма, крови и грязи воссияет новая, преображенная Германия. Глупо, но ничего другого не остается. А как все же быть с Люси?

Вечером он позвонил по телефону, оставленному ему в свое время Шлабрендорфом, и спросил, часто ли бывает в Берлине господин лейтенант. Женский голос ответил, что господин лейтенант сейчас здесь, и попросил не класть трубку. Через минуту ответил сам Шлабрендорф — сердечно приветствовал старого приятеля и поинтересовался, чем может быть полезен. Договорились встретиться утром в Тиргартене, у памятника Лессингу.

Утро было пасмурное, в морозном тумане, сквозь который чернели старые тиргартенские дубы в необлетевшей ржавой листве. Шлабрендорф оказался точен — подошел минута в минуту со стороны Леннештрассе, ухитряясь выглядеть, по обыкновению, щегольски даже в шинели с перекошенным ремнем и криво сидящей фуражке, тулья которой была примята по правилам фронтового шика.

— Послушайте, Фабиан, — сказал Эрих, когда они вышли на Зигес-аллее и медленно двинулись направо, в сторону рейхстага. — Я понимаю, что вы сами этим не занимаетесь, но у вас наверняка есть люди, имеющие отношение к такого рода делам: мне нужен хороший комплект фальшивых документов.

— Для вас? — спросил Шлабрендорф, не выразив удивления.

— Нет, для одной русской девушки.

Шлабрендорф бросил на него меланхоличный взгляд:

— Вот это уже, мой дорогой, в высшей степени неразумно.

— Да уж куда неразумнее. Можете вы их достать?

Шлабрендорф пожал плечами. Осмотрев так же меланхолично статую курфюрста Иоганна Георга, он повернул голову и, словно сравнивая, глянул на маркграфа Оттона Ленивого по ту сторону аллеи.

— Не совсем понимаю, за кого может выдать себя здесь русская девушка. За немку?

— Вот и я не знаю. По-немецки она говорит вполне свободно, но акцент все равно слышен. Могут обратить внимание, если что-то заподозрят.

— Да, акцент — это опасно, — согласился Шлабрендорф. — Собственно, что ей надо — перестать быть русской или только сменить личность? Последнее, вероятно, проще.

— Не знаю, — сказал Дорнбергер. — Это, безусловно, проще, но что это ей даст? Дело в том,

что ей нельзя оставаться там, где она находится сейчас. А куда она сможет деться с удостоверением «восточной работницы», хотя бы и на другое имя? Сразу спросят, откуда она взялась. Их ведь сюда привозят организованно, сам по себе никто не приезжает.

— Ну, это не проблема. В принципе, можно сунуть ее в любой лагерь, где есть наши люди, и оформить все так, будто она находится там с сорок первого года. Но лагерь, вы сами понимаете… — Шлабрендорф помолчал, потом спросил: — Акцент у нее русский?

— Не французский же, черт побери!

— Это я понимаю, но у выходца из Советского Союза акцент может быть украинский, белорусский, кавказский какой-нибудь, даже среднеазиатский.

— А, вы об этом. Тогда, скорее всего, украинский — она родом с Украины.

— С Украины… Там ведь, если не ошибаюсь, было много наших колоний? Что ж, ее можно сделать немкой, родившейся за границей. «Народной немкой», как это сейчас называется. В самом деле — дочь колонистов, а? Отсюда и акцент. Я подумаю — точнее, сам думать не буду, все равно это не по моей части, вы совершенно

правильно изволили заметить; но я попрошу подумать человека, который в этих делах съел собаку. Дня через три, вероятно, сможем предложить вам что-нибудь конкретное.

— Спасибо, Фабиан, вы меня весьма обяжете.

— Не стоит благодарности, мой дорогой. Мне, однако, хотелось бы побольше знать об этой загадочной русской девице, чья судьба так вас заботит.

— Это не то, что вы думаете. Да, кстати… Я хотел еще спросить вот о чем — это уже непосредственно по вашей части. Как вы считаете, кто может сейчас послать в Швейцарию человека с каким-нибудь тайным поручением?

Шлабрендорф усмехнулся:

— Наивный вопрос, Дорнбергер. Да кто угодно может, начиная с Генриха Птицелова. Борман, впрочем, исключается… хотя почем знать? А кроме него, кто угодно. Птицелов все же наиболее вероятен.

— Нет, Гиммлер тоже исключается. Абвер, следовательно, мог это сделать?

— Помилуйте, почему же нет. Абвер преимущественно этим и занимался, пока был жив.

— А теперь что, помер?

— Вы разве не слышали? Вчера фюрер ликви-

дировал абвер как самостоятельную службу и подчинил бренные останки Кальтенбруннеру.

— Вот это новость. А куда же Канариса?

— О, его сделали… кажется, инспектором чего-то там, я не помню. Следующим шагом будет отставка, если не хуже. Надеюсь, у него хватит ума воспользоваться любезно предоставленной отсрочкой и переселиться в более теплые края. Я бы на его месте — и с его возможностями! — так бы и сделал… Представляете, Дорнбергер, купить виллу где-нибудь на берегу Босфора, разводить розы, писать воспоминания… Когда, говорите, этот человек ездил в Цюрих?

— Месяц назад, и пробыл там около недели.

— Скорее всего, кто-то из людей адмирала, — подумав, сказал Шлабрендорф. — По той линии, во всяком случае. Дело в том, что Тротт в последнее время своих людей в Швейцарию не посылал, насколько мне известно.

— Да никогда этот человек не имел никакого отношения к абверу!

— Все мы когда-то не имели, — со вздохом заметил Шлабрендорф, останавливаясь у статуи Фридриха Великого. — Идемте назад, Дорнбергер. Вы сейчас куда, к себе на Бендлер? Я провожу вас, если еще не наскучил своим присутствием.

— Вы, Фабиан, можете что угодно, только не наскучить. Между прочим, что это у вас с фуражкой? Можно подумать, вы не наш брат штабник, а командир роты панцергренадеров… только что прибывший из-под Черкасс[15].

— Те, что были под Черкассами, уже не прибудут. А на ваш исполненный яда вопрос я отвечу вашими же словами: это не то, что вы думаете. Кого из берлинских дам пленишь сегодня фронтовым видом? Котируется как раз обратное: прочная должность в тылу, где-нибудь поближе к интендантским складам… Увы, Дорнбергер, примятая фуражка — это лишь то, что энтомологи называют «мимикрией устрашения», — знаете, когда беззащитный мотылек прикидывается страшным хищником. Просто, видите ли, я давно заметил, что комендантские патрули избегают придираться к фронтовикам. Что это я хотел спросить… ах да! Человек, о котором вы сказали, — это, случайно, не тот ли искусствовед из Дрездена, как бишь его…

— А вы-то откуда знаете? — изумленно спросил Эрих.

---

[15] Notes: 15

Битвой под Черкассами немцы называли Корсунь-Шевченковское сражение (январь — февраль 1944), в ходе которого была окружена и полностью уничтожена крупная немецкая группировка.

— О, мне рассказывали что-то… в общих чертах. Не помню уже кто и по какому поводу. У него еще, кажется, недавно погиб сын? Да, да, припоминаю… Знаете, Дорнбергер, о чем я больше всего сожалею? Что не обладаю литературным даром. Нет, это вовсе не значит, что меня самого манит перспектива, которую мы только что желали для бедняги-адмирала: удалиться на покой в мирной стране с приятным климатом и засесть за мемуары… Ну хотя бы потому, что моих мемуаров никто бы не напечатал, а сам я, скорее всего, скончался бы от не оставляющего следов яда где-то на середине первой главы. Нет, мемуары — бог с ними, я не столь честолюбив. А вот написать бы роман… Какие сюжеты, мой дорогой, сколько закулисных драм, какие невообразимые переплетения злодейства и самопожертвования, слепого доверия — и безжалостного, ни с чем не считающегося расчета… Вам, боюсь, просто не представить себе ничего подобного, а расскажи я парочку реальных, взятых из жизни эпизодов — не поверите ведь, сочтете за выдумку. Право, вы удивительный человек, Дорнбергер, вот уж не думал, что немец, имеющий счастье жить в середине двадцатого столетия, может оставаться столь гомерически наивным…

Глава 7

После Рождества они не виделись два месяца, лишь в конце февраля Эрих снова оказался в Дрездене, но зайти не смог, а только позвонил и назначил свидание в Нойштадте.

Трамвай долго вез ее по бесконечной Кёнигсбрюккерштрассе, места были незнакомые — профессор в свое время специально ее предупреждал, что в этой части города лучше без нужды не появляться, ибо здесь располагаются казармы, арсенал и иные небезопасные для гражданских лиц военные учреждения. Время она, конечно, из-за этого не рассчитала, приехала позже условленного, но Эрих опоздал еще больше. Она успела выучить наизусть и даже почти понять длинное и невразумительное название организации, разместившейся в доме № 125, возле которого надо было ждать: «Heeresstandortverwaltung des Wehrkreises-IV»[16]. Ей было очень тревожно, и, увидев наконец Эриха, она поняла, что тревожилась не зря — у него явно были неприятности, так он потемнел и осунулся лицом.

---

[16] Notes: 16
Управление расквартирования войск 4-го военного округа *(нем.)*.

Где-то возле площади Альберта они зашли в кондитерскую — Людмила на этот раз не протестовала, — маленькую, тихую и совершенно безлюдную, где хозяйка подала им пахнущий травою чай и два несъедобного вида пирожных, украшенных ядовито-анилиновыми розочками. Людмила не притронулась ни к тому, ни к другому, чаю она охотно выпила бы, чтобы согреться, но руки так дрожали, что она боялась поднять чашку. Эрих опорожнил свою одним глотком, словно у него пересохло во рту, и сказал, что им нельзя продолжать встречаться.

Людмила посидела секунду с закрытыми глазами, потом сказала как можно спокойнее, что не намерена, естественно, оспаривать его решение; но можно хотя бы узнать, чем оно вызвано? Соображениями безопасности, ответил он. Далее — из тех же соображений ей следует покинуть дом Штольницев. Не обязательно сразу, но в ближайшее время. Документы и маршрут следования она получит вполне надежные. Кстати, сказал он, достать фотографию ей все же придется — репродукцию «Лукреции Панчатики» на удостоверение личности не прилепишь. Она ответила, что никаких фото доставать не будет и никакие документы ей не нужны, поскольк-

ку покидать Штольницев она не намерена; не думает ли он, спросила она, что только мужчинам понятен смысл слова «дезертирство»? Силы небесные, воскликнул он вполголоса, почему ему всю его проклятую жизнь приходится иметь дело с безмозглыми ду… — да она что, не понимает, что старика Штольница могут теперь схватить в любую минуту, как и его самого? Или она в самом деле ни о чем до сих пор не догадалась?!

Любопытно, был ли последний вопрос чисто риторическим, или Эрих тогда действительно не знал — догадывается она или не догадывается. Разумеется, ей задолго до того дня уже было все совершенно ясно — и относительно Эриха (с осени), и относительно профессора (со времени его поездки в Швейцарию). То есть она, понятно, не знает деталей, но что оба участвуют в какой-то подпольной деятельности, видно невооруженным глазом. Она ему так и ответила и добавила еще, что если ничем не может им помочь, то ведь и вреда от нее нет, едва ли они могут рассматривать ее присутствие как источник дополнительной опасности. Как сказать, возразил Эрих, присутствие советской девушки в доме человека, обвиненного в антигосударственной деятельности, едва ли послужит ему

смягчающим обстоятельством. А отсутствие? — спросила она. После того, что она прожила здесь два года, как будет воспринято ее отсутствие, ее внезапное исчезновение? Да ведь профессора в таком случае прежде всего спросят, куда он девал свою русскую, где и почему она прячется…

Ей не запомнилось продолжение этого долгого и бессвязного разговора, когда он убеждал ее уехать, а она доказывала, что никому и ничем не поможет своим бегством, что предпочитает остаться в Дрездене, что для нее лучше жить здесь и подвергаться вместе с ними общей опасности, чем скитаться где-то одной, под чужим именем… Из кондитерской пришлось уйти — хозяйка несколько раз появлялась из задней комнаты и посматривала на них все более подозрительным взглядом; они долго ходили по выметенным февральским ветром улицам, оказались возле цирка Сарразани — Эрих предложил зайти и погреться, но представления не было, потом перешли на Альтштадтскую сторону по мосту Каролы. Ранние сумерки застигли их на Брюлевой террасе, они сели на ту же угловую скамью, но Эльба разительно не походила на ту сверкающую реку, что искрилась и играла перед ними солнечным сентябрьским днем, теперь она струилась тускло

и медленно, от тяжелой, словно загустевшей воды веяло мертвенным холодом. Ну почему ты не хочешь понять, что это — последнее, что я могу еще для тебя сделать, любимая, сказал он, а она ничего не могла ни возразить, ни ответить, только плакала — она никогда не думала, что способна так плакать — словно стремясь выплакаться сразу за все прошлое и будущее, когда уже не останется слез…

В тот день она поняла, что потеряет и его. Уже поздно вечером, провожая Эриха на шумном, галдящем, затолпленном солдатами и эвакуированными вокзале Дрезден-Нойштадт, она сказала ему, чтобы он спокойно занимался своим делом и не думал о ней — главное, чтобы не тревожился понапрасну, а фото на документы она сделает — хорошо, пусть ей приготовят эти бумаги, она ими воспользуется, если он решит, что так надо. Главное, чтобы заботы о ней не отвлекали его от дела. Она не знала, что это такое, его «дело», ей почему-то думалось, что Эрих должен находиться в контакте с комитетом «Свободная Германия», созданным в Москве пленными офицерами Шестой армии, об этом комитете профессор слышал по английскому радио. А может быть, он связан с какой-нибудь антифашистской организацией

здесь, в самой Германии; какое это имеет значение? Он — немец — делал то же, что делали сейчас миллионы и миллионы людей других национальностей: боролся против фашизма. Это и было тем главным, что определяло все ее отношение к нему, оправдывало ее чувство, которому она в иных обстоятельствах не нашла бы, наверное, никакого оправдания…

Они впервые поцеловались в тот вечер там, на вокзале, где шумели и бегали дети эвакуированных, группа пьяных отпускников нестройно тянула «Denn wir fa-a-ahren gegen Engelland», плакали женщины и с нестерпимой тоской кричали о разлуке паровозы. И она тоже плакала, продолжала плакать — чтобы выплакаться до конца, — целовала его и плакала, а он говорил ей что-то, отогревал ее пальцы (было холодно, к вечеру началась метель и ветер с гулом врывался под стеклянный шатер вокзала, вдоль перрона мело сухим снегом, пахнущим лизолом и паровозным дымом) и целовал губы, руки, глаза. Позже она вспомнила: дурная примета. А откуда было взяться добрым? Уже у вагона она сказала то, что говорили, наверное, и все другие женщины вокруг них; сказала, что будет ждать, сколько бы ни пришлось, лишь бы он вернулся, лишь

бы увидеться вновь… Но что будет тогда, потом, если они и в самом деле увидятся, этого она не знала, в отличие от тех, других женщин. Те-то знали, во имя чего ждать, молиться, надеяться; а она — нет.

А потом поезд ушел, скрылся во мраке и метели, словно подхваченный вьюжным ветром. И потянулись дни и бессонные ночи ожидания. Профессор побывал в Берлине в начале апреля (он теперь много ездил, чаще в Лейпциг, но случалось и по другим городам), виделся там с Эрихом и передал ему фотографии для документов, а ей привез коротенькую записку без даты, подписи и обращения по имени, просто — «Здравствуй, любимая». Тон записки был бодрый, Эрих уверял, что скоро все изменится к лучшему; действительно ли он в это верил или просто хотел ее подбодрить, но Людмила повеселела. Кстати, новости с фронта и впрямь были отличными, на южном участке наши войска вышли к румынской границе между Яссами и Кишиневом, и теперь, судя по всему, на всей Украине не оставалось уже ни одного оккупированного немцами села. Ее родной город был освобожден уже давно, она часто думала, дожила ли до освобождения Таня и вернулся ли уже из эвакуации мамин институт.

— Я не совсем понимаю, — сказала однажды фрау Ильзе, — почему бы тебе не выйти за Эриха — я имею в виду, потом, когда все это кончится…

Людмила не ответила, промолчала. Что она могла ответить? Она тоже не совсем понимала — почему. Она просто знала, что это невозможно, но объяснить эту невозможность было трудно. В самом деле — почему? Не бывало, что ли, браков между иностранцами, и браков счастливых? Бывало, конечно, и очень много, но в прошлом, а сейчас этого себе не представить. Она не могла себе представить ни Эриха, переселившегося в Советский Союз, ни себя, живущую после войны здесь, в Германии. Поэтому-то и была для нее такой трудной и беспросветной эта разлука, заполненная ожиданием несбыточного.

Прошло три месяца. В конце мая рано утром явился незнакомый пожилой солдат и, ничего не объясняя, сказал профессору, что фрейлейн надлежит быть сегодня в Мейсене на пароходной пристани ровно в четырнадцать ноль-ноль. Услышав о странном приглашении (или приказе?), фрау Ильзе перепугалась и объявила, чтобы Людмила не вздумала ехать. Это гестапо, сказала она, на пристани ее непременно схватят.

— Ну что вы, — сказала Людмила, — я совер-

шенно уверена, что это Эрих, просто он не мог известить иначе…

И это действительно оказался он — в штатском, с тростью, придававшей ему какой-то непривычно легкомысленный вид; почему-то, объяснил он, вдруг наступило обострение с ногой и стало трудно ходить без палки.

Они провели вместе меньше трех часов: минут сорок в ожидании парохода и два часа на палубе, где негде было поговорить без риска быть услышанным. Поэтому они почти и не разговаривали и даже не смотрели друг на друга, он держал ее руку, и этого было достаточно — просто ощущать присутствие. Как больной, которому дали морфий, Людмила испытывала блаженное, почти бездумное состояние покоя, хотя и не забывала ни на миг, что это лишь на время и боль снова вернется, не может не вернуться. День был теплый и пасмурный, с утра собирался дождь, мимо парохода медленно проплывали влажно-зеленые береговые луга. Кое-где трава была уже скошена. «Вот и лето подходит», — подумала Людмила со сжавшимся от непонятной тревоги сердцем.

— У тебя есть какие-нибудь новости? — спросила она тихо, не глядя на Эриха.

— Новости? Нет, пожалуй. Я просто хотел тебя

увидеть. Понимаю, это не очень осторожно, но…

— Я рада, что ты приехал, но, может быть, действительно не стоило?

— Наверное, — согласился он. — А одна новость и в самом деле есть, я вспомнил — мне переслали письмо от моей экс.

— Вот как.

— Да, вообрази. Пишет, что решила ехать в Бразилию, уже получила визу и теперь хлопочет о билете на пароход. В Лиссабоне, насколько я понял, с этим проблема. Впрочем, Рената и ее решит… Удивительно, откуда у такой бестолковой, в сущности, особы умение устраивать свои дела. Бразилия, подумать только… Представляешь, вдруг бы нам с тобой тоже взять и удрать в Рио-де-Жанейро.

— Ты мог бы?

— Нет, разумеется, я просто пошутил.

Подходящая тема для шуток, подумала Людмила, но представить все-таки попыталась. Нет, не получается. Они вдвоем на берегу океана, под синим небом, среди пальм и белых небоскребов, — это было так же невообразимо, как и Эрих в Советском Союзе, как и она сама в послевоенной Германии…

— Прости, — сказал он. — Пожалуйста, прости

меня, любимая. Я действительно осёл, некоторые вещи до меня доходят секундой позже, чем следовало бы…

Вокруг них стало тем временем посвободнее: начало моросить и часть пассажиров спряталась под навес. Впереди, растушеванные дождем, уже проступали западные окраины Радебойля.

— А эти мои бумаги, — спросила Людмила, — как они, уже готовы?

— Да, но их лучше не держать дома. Тебе их вручат, когда — и если — возникнет необходимость.

— Вручат, ты сказал?

— Ну или я сам. — Он улыбнулся и сжал ее руку. — Я сам или кто-нибудь от меня, это несущественно.

— Надеюсь, этого никогда не случится.

— Я тоже надеюсь, но меры предосторожности лишними не бывают.

— Скажи, — помолчав, спросила Людмила, — ты любишь дождь летом?

— Не очень, но это, во всяком случае, приятнее, чем дождь осенью.

— Я очень люблю… Мне вдруг сейчас вспомнилось — в то последнее лето, перед войной, я ездила в… другой город и вернулась домой в конце августа, перед самой школой. Я нарочно не

послала телеграммы, хотела приехать сама, как взрослая, чтобы не встречали, — мне ведь тогда было шестнадцать лет, и мне казалось, что никто из старших не принимает меня всерьез. И я вот сейчас вспомнила — шел такой мелкий дождик с солнцем, знаешь, как бывает летом, а у нас на улице, где я жила, тротуары сделаны из красного кирпича, и под дождем и солнцем они были такие яркие, как лакированные. И зелень тоже — там у нас всюду растет акация — тоже была яркая-яркая… Как странно, правда, что мы никогда не замечаем счастья, я хочу сказать — бывают такие мгновения, что потом вспомнишь и подумаешь: «Какое это было счастье!» — а в тот момент ничего особенного не замечала… Ты когда-нибудь думал о том, что будет с нами после войны?

— Лучше не загадывать так далеко вперед, — не сразу ответил он. — Послушай, я, наверное, сойду раньше, где-нибудь в Кемнице.

— В Кемнице, по-моему, пароход не причаливает. Ты можешь сойти в Котте, там и железнодорожная станция рядом с пристанью — не придется далеко идти. Мне, наверное, нельзя будет проводить тебя сегодня вечером?

— Лучше не надо. — Он нагнулся и тронул губами ее пальцы. — Подожди еще немного, скоро

все кончится.

— Война?

— Ну… возможно, и война. Если, как говорится, удача будет нам сопутствовать.

Она чуть было не спросила — а если нет? Но удержалась, вовремя спохватившись. Кто же спрашивает такое? Если нет, то вот тогда действительно «все кончится»; она подумала об этом спокойно, уже без страха — усталости было больше.

— Ты часто видишься с профессором? — спросила она, помолчав.

— Нет, после его приезда в прошлом месяце — ни разу.

— У вас что-то… разладилось, да?

— Как тебе сказать… — Эрих пожал плечами. — Мы с ним тогда поспорили… по поводу его швейцарского путешествия. Но дело не в этом. Мне действительно… трудно с ним встречаться с некоторых пор.

— Но почему, Эрих? — спросила она с недоумением.

— Я объясню тебе когда-нибудь. Не сейчас, прости. Это… трудно объяснить, да ты и не поняла бы… — Он помолчал, концом трости чертя на палубе геометрические фигуры, потом спросил: —

Скажи, ты не знаешь… Они, конечно, получили письмо от командира части, где служил Эгон; было там написано, при каких обстоятельствах он погиб?

— По-моему, его убили итальянские партизаны — бросили в машину гранату или взорвали миной, я точно не знаю…

— Вот как… — Эрих опять помолчал. — Ты не говори, что я спрашивал, хорошо?

— Хорошо… Но только, знаешь, они могут обидеться, если ты их не навестишь.

— Не обидятся. Иоахим понимает, почему я этого не делаю… пока. Разумеется, я побываю у них, как только станет возможно. Вы едете в Шандау в этом году?

— Да, фрау Ильзе собирается…

— Это хорошо, тебе надо пожить в деревне.

— Я плохо выгляжу?

— Боюсь, что да. Хуже, чем зимой, во всяком случае. Как у вас с питанием?

— Как и у всех — плохо, но не голодаем. Есть даже еще кое-какие витамины из прошлогодних запасов. Консервированный шпинат, например. — Людмила поежилась. — Если бы ты знал, какая это гадость! Но фрау Ильзе заставляет есть, говорит — полезно.

— Да, в шпинате много железа, — рассеянно согласился Эрих. — Меня в детстве тоже заставляли. Слушай, если я смогу приехать, я дам туда телеграмму — ну, что-нибудь вроде: «Встречайте тогда-то». Ты тогда вернешься в город и будешь ждать моего звонка.

— Хорошо. — Людмила подняла голову, глядя, как наплывает навстречу мост переброшенной через Эльбу автострады. — Эта дорога идет прямо в Берлин?

— Да… Три часа — и там. Я до войны пару раз приезжал сюда машиной.

— У тебя есть машина? Своя?

— Да, и совсем неплохая. Двухместный «паккард», открытый такой, знаешь, с опускающимся верхом. Подарок тестя! Тесть у меня был богат до непристойности.

— Но почему тогда ты все время ездишь поездом? Это ведь так неудобно… да и опасно, наверное.

— Помилуй, а бензин? Кто же мне даст бензин на такие поездки? У нас генералы трясутся над каждым литром, а ты хочешь, чтобы капитану позволили раскатывать в свое удовольствие. Горючее, моя милая, — это сейчас проблема номер один — у нас ведь нет нефти, кроме румынской,

которую мы не сегодня завтра потеряем, а установки гидросинтеза не покрывают и половины потребности… Сейчас, кстати, за них взялись всерьез — бомбят чуть ли не каждый день. Ты слышала о налетах на Лёйну? Это уже подготовка вторжения.

— Ты думаешь?

— Я, к сожалению, знаю. Лёйна — это бензин, там сосредоточены крупнейшие заводы по гидрированию бурого угля. Еще несколько таких бомбежек, и наши танки и истребители останутся с пустыми баками…

Поскорее бы уж, подумала Людмила.

— А на юг по этому автобану можно уехать в Чехословакию? — помолчав, спросила она.

— Нет, он за Хемницем поворачивает на запад — на Иену и Веймар. В Тюрингию. Ты там не бывала?

— Нет. А что?

— Просто вспомнилось — я там лежал в лазарете прошлой весной. Странно себе представить, что год назад я еще не знал о твоем существовании. Ты уже была, а я этого не знал… И сейчас вот, когда ты рассказывала про кирпичный тротуар под дождем, я тоже подумал — ты ведь сказала, что это было последнее предвоенное лето? Соро-

ковой год?

— Да, сороковой, август сорокового года.

— Я так и понял. И тоже вспомнил, что сам я тогда был во Франции, мы-то воевали уже. И тоже ничего о тебе не знал, как и ты обо мне.

— К счастью, наверное.

— К счастью?

— Ну, я хочу сказать, что… Наверное, это было бы трудно для нас обоих — заранее знать, что будет.

— Не надо так, Люси. — Он погладил ее руку. — Мы еще и сейчас не знаем, как все обернется. Вдруг будет так хорошо, что мы потом пожалеем, что не знали раньше. А то бы радовались заранее.

— Эрих, я так устала, — сказала она совсем тихо.

— Я знаю. Но потерпи еще немного, теперь уже недолго… Лишь бы Иоахим не выкинул какого-нибудь нового курбета.

— Курбета? — не поняла она. — Ты считаешь, профессор выкидывает курбеты?

— Он иногда недостаточно осторожен… Что, кажется, подходим?

Людмила повернула голову — по правому борту приближался плавучий дебаркадер, пароход

выруливал к нему, сбавив ход.

— Да, это уже Котта, — сказала она. — А станция совсем рядом, вон посмотри. Сядешь на поезд, и следующая остановка будет Фридрихштадт. Может быть, сойдем вместе?

— Не надо рисковать, сойдешь лучше у террасы. Может быть, это и глупые предосторожности, но у меня неспокойно на сердце, когда мы вместе.

— А у меня наоборот, милый…

Они прошли к сходням, где уже столпилась довольно большая группа пассажиров, одетых не по сезону тепло, с туго набитыми рюкзаками и картонными упаковочными коробками вместо чемоданов, — женщины, дети, старики. Последнее время на улицах Дрездена можно было все чаще видеть беженцев из разбомбленных городов.

— Пропустим этих бедняг, — сказал Эрих. — Какое счастье, что ты живешь здесь. Я недавно был в Руре, это нечто неописуемое — Эссена не узнать, километры и километры сплошных руин… Итак, мы договорились? Поезжай спокойно в Шандау, и пусть тебе не снятся дурные сны, а при первой возможности я появлюсь — загляну хотя бы проездом.

— Тебе сейчас приходится ездить так же мно-

го?

— Еще больше. И дальше! Знаешь, где я был на той неделе? Сен-Жермен, это такой городок под Парижем. Вроде Версаля.

— Подумать только. А в другую сторону тебе ездить не приходилось?

— Был однажды. На центральном участке, у Клюге.

— Как там?

— Тихо и зловеще. Боюсь, эта тишина ничего хорошего нам не предвещает.

«Нам, — подумала Людмила. — Кому „нам“?» Он прижал ее к себе — с пристани уже поторапливали — и, отстранив, посмотрел в глаза. Она постаралась улыбнуться. Она еще видела его, когда он шел по сходням, а потом пристань и люди на ней стали дрожать и радужно расплываться в ее глазах, сходни убрали, и пароходик стал отваливать, хлопотливо взбивая воду лопастями колес. Через несколько минут он уже выбрался на фарватер, приближаясь к Флюгельвегскому мосту, с правого берега — из Юбигау — несло дымом, химическим чадом, вдоль реки тянулись стапели, краны, заводские трубы. Короткий праздник кончился.

Это было двадцать шестого мая, в пятницу.

Десятью днями позже, во вторник, шестого июня, Людмилу разбудил отчаянный стук в дверь ее комнаты, она вскочила с колотящимся от испуга сердцем, ничего спросонья не соображая.

— Что такое? — крикнула она, не попадая в рукав. — Кто там — это вы, господин профессор? Что случилось?

— Судный день, дочь моя! — ликующе послышалось из-за двери. — Настал Судный день! В Нормандии высаживаются десанты союзников!

Именно тогда, под конец, в последние шесть недель существования «заговора 20 июля» — и жизни большинства его участников, — наиболее полно проявились все внутренние противоречия, все несходство мотивов, побуждений и просто человеческих качеств, определивших поведение действующих лиц драмы в финальном ее акте: трусливая нерешительность, измена, мужество отчаяния и рыцарская верность долгу; все то, что, неразделимо переплетясь одно с другим, поныне мешает нам составить цельное представление об этом трагическом эпизоде немецкой истории.

Июнь, переломный месяц последнего военного лета, был для вермахта месяцем сплошных неудач. Отступление в Италии, явная неспособ-

ность армий фон Рундштедта оказать действенное сопротивление высадившимся на севере Франции Союзным экспедиционным силам, окончательное военное поражение Финляндии и, наконец, катастрофический разгром группы армий «Центр» в Белоруссии — все это складывалось в картину совершенно безнадежную. Война была проиграна, и единственным, что могло бы еще спасти Германию от бесславной капитуляции, был теперь государственный переворот — замена гитлеровского правительства каким-то другим, пусть временным режимом, способным трезво оценить обстановку.

Возникновение нового театра военных действий на Западе оказалось как нельзя более на руку тем из заговорщиков, которые поддерживали идею Гёрделера и Гизевиуса — договориться с англо-американцами и продолжать «оборонительную войну» с русскими. Отныне план этот становился вполне осуществимым: достаточно было открыть фронт перед танками Эйзенхауэра.

Здесь, правда, имелось одно существенное препятствие. Такой приказ мог отдать только главнокомандующий войсками Запада, а фон Рундштедт не имел к заговору никакого отно-

шения; другой фельдмаршал — Роммель, «герой пустыни», — был посвящен в замыслы заговорщиков, одобрял их и имел в своем прямом подчинении две армии, расположенные на побережье Ла-Манша, но было сомнительно, отважится ли он действовать без санкции главнокомандующего: при всей своей личной храбрости, Роммель оставался солдатом до мозга костей, и страх перед нарушением субординации мог парализовать его в самый ответственный момент.

Это препятствие устранил случай. В конце июня фон Рундштедт был вызван на совещание в Оберзальцберг, и его оценка обстановки на Западе пришлась фюреру не по душе, как слишком «пораженческая»; в довершение беды обычно невозмутимый и корректный фельдмаршал потерял терпение при телефонном разговоре с Кейтелем. В ответ на риторический вопрос: «Так что же делать?» — он крикнул: «Кончать войну, вот что вам надо делать, идиоты!» — и швырнул трубку. Через неделю он получил приказ сдать командование прибывшему с Восточного фронта фельдмаршалу Гюнтеру фон Клюге.

Клюге был участником заговора. Нерешительным и не очень надежным, как неоднократно предостерегал хорошо знавший его Хеннинг фон

Тресков, но все же участником. С его прибытием в Сен-Жермен замыкалась цепь ключевых постов в командовании Западного фронта, находившихся под контролем заговорщиков — Роммеля, Штюльпнагеля, Блюментритта, Шпейделя, Бойнебург-Ленгсфельда, Цезаря фон Хофаккера и других.

Группировавшиеся вокруг Штауффенберга сторонники немедленного (после устранения фюрера) прекращения боевых действий на всех фронтах, и прежде всего на Восточном, тоже понимали, что настало время действовать. Поскольку тайные переговоры с представителями англо-американского командования велись уже давно, Штауффенберг потребовал начать переговоры — или хотя бы предварительный зондаж — с советской стороной; Фритц Дитлоф фон Шуленбург, племянник бывшего посла в Москве, согласился перейти фронт для этой цели, подготовка и обеспечение операции были поручены Трескову. Тресков — к этому времени уже генерал-майор — выполнил поручение со свойственной ему обстоятельностью, выбрав место для перехода линии фронта на участке 28-й егерской дивизии, где начальником оперативного отдела штаба был участник заговора майор Кун. Обстоятельства,

однако, помешали Шуленбургу выполнить задуманное, да и в любом случае начинать теперь переговоры с советским командованием было уже поздно.

Последними мерами по демократизации заговора, которые успели принять единомышленники Йорка и Штауффенберга, были попытки установить контакт с представителями компартии. В конце июня, на явочной квартире в одном из восточных пригородов Берлина, участники заговора Юлиус Лебер и профессор Адольф Рейхвейн, оба социал-демократы, встретились с членами подпольного оперативного руководства КПГ Антоном Зефковом и Францем Якобом и договорились встретиться еще раз, теперь уже с участием самого Штауффенберга. Второй встречи, однако, не состоялось — все участники первой были арестованы за три дня до намеченной даты.

Генерал Ольбрихт тем временем лихорадочно и безуспешно искал человека, который смог — и согласился бы — взять на себя само покушение. Раньше в таких кандидатурах недостатка не было, теперь же, как назло, под рукой не оказывалось ни одной; никто из офицеров, готовых совершить террористический акт, не имел до-

ступа в ставку. В непосредственном окружении Гитлера находился, правда, участник заговора генерал-лейтенант Хойзингер, но он и слышать не хотел о том, чтобы самому поднять руку на верховного.

«Случай» сработал и тут: первого июля Штауффенберг был произведен в полковники и утвержден в должности начальника штаба при командующем армией резерва. Это означало свободный доступ в ставку — на совещаниях по обстановке он теперь обязан был присутствовать по долгу службы. Десять дней спустя полковник Штауффенберг вылетел в Оберзальцберг, имея в портфеле бомбу с кислотным взрывателем замедленного действия.

Эрих в эти дни находился во Франции. Ему снова пришлось побывать в сен-жерменском штабе главнокомандующего, оттуда его послали в Руан, к генералу Марксу, а затем в Ла-Рош-Гюйон, где держал свой штаб фельдмаршал Роммель. Прождав там целый день, он наконец увиделся со Шпейделем, тот принял его крайне настороженно и, лишь удостоверившись, что хромой капитан действительно является доверенным лицом подполковника фон Хофаккера, сказал, что имел с фельдмаршалом разговор на интересую-

щую тему и что фельдмаршал готов действовать, «если, — уточнил Шпейдель, — ход событий в Берлине даст основание к таким действиям».

Хоть одна ободряющая новость! Теперь можно было вернуться в Париж не совсем с пустыми руками, правда предстояло еще навестить штаб одной из танковых дивизий в районе Фалеза, но тут выяснилось, что, пока он дожидался Шпейделя, у него конфисковали машину, предоставленную в его распоряжение Хофаккером. Эрих пошел ругаться с начальником транспорта, но добился лишь того, что был сам обруган и выставлен за дверь — звание у начальника транспорта, как и следовало ожидать, оказалось на два порядка выше. Вероятно, он так и застрял бы в этом гостеприимном и живописном городке, если бы не писарь того же транспортного отдела, подсказавший более разумный план действий: оставшийся неиспользованным ордер на бензин можно обменять у шеф-повара офицерской кантины на полкило сливочного масла, или три коробки сардин, или бутылку кальвадоса, а он, писарь, знает одного парня из роты технического обслуживания, который в обмен на означенные кальвадос, масло или консервы устроит господина капитана на первую же аварийную машину,

идущую в нужном господину капитану направлении; за всю эту полезную информацию писарь не требовал для себя ничего, кроме десятка сигарет.

Действительно, еще до полуночи походная мастерская РТО доставила Эриха в Мезидон — оттуда уже до Фалеза было рукой подать. Ехавшие с ним ремонтники были явно навеселе, то и дело повторяли, что все дерьмо и всему капут; мысль была не нова и справедлива, но Эрих еще никогда не слышал, чтобы нижние чины так свободно высказывали ее в присутствии офицера, хотя бы чужого. Заинтересованный, он стал расспрашивать о местной обстановке, и его заверили, что драться против «томми» и «ами» уже не имеет никакого смысла — слишком велико техническое превосходство, слишком у них всего много, мы тут дрожим над каждой каплей бензина, а там его хоть залейся, американцы проложили трубы по дну Ла-Манша и гонят горючее прямо из Англии — только подставляй канистры. А самолеты, сказал кто-то, это вот сейчас хорошо — едем ночью, они в это время спят, себя не утруждают, им это ни к чему, зато днем тут носа не высунешь — так и вьются, словно комары. Нет, кончать надо это дерьмо, сказал другой, теперь нас зажали в такие клещи — эти отсюда, а в России что

делается? Иваны там, говорят, так долбанули по центральному участку, что за неделю фронт аж до польской границы сократился — гибко эдак, эластично, по всем правилам фюреровой стратегии, зиг-хайль…

До штаба дивизии Эрих добрался, когда уже светало. Там оказалось, что нужный ему офицер накануне уехал в ставку командующего. Прокляв все и вся, Эрих завалился спать, не обращая внимания на начавшуюся на рассвете бомбежку. Проспав около четырех часов, он позавтракал, познакомился с последними донесениями — хорошего было мало, канадцы уже вели уличные бои на окраинах Кана — и, удачно пристроившись на попутную машину какого-то интенданта, выехал обратно в Париж. Вчерашние попутчики не преувеличивали: шоссе было исковыряно мелкими воронками, старые вязы вдоль обочин посечены осколками и пулеметными очередями, в кюветах тут и там дымились искореженные каркасы машин. Прикрепленные к каждому телеграфному столбу белые таблички с красным силуэтом пикирующего самолета и предупреждением: «ACHTUNG — JABOS»[17] — вы-

[17] Notes: 17
«Берегись атаки с бреющего полета» *(нем.)*.

глядели насмешкой: как будто об американских «мустангах» можно было бы забыть без этого напоминания. На протяжении двух десятков километров от Фалеза до Аржантана машину трижды обстреляли с воздуха — правда, мимолетом и без особого усердия. Скорее для порядка.

В Ле-Мерлеро Эрих распрощался с полуживым от страха интендантом, дальше им было не по пути. Здесь еще ходили поезда — во всяком случае, теоретически. Проторчав на вокзале около трех часов, Эрих очутился наконец в вагоне парижского поезда, но радоваться было рано: выбитые стекла и вкось простроченный крупнокалиберными дырками потолок купе не предвещали спокойного путешествия. Неспокойным оно и оказалось: поезд бомбили на перегоне Лэгль — Вернейль, обстреляли из бортовых пушек на перегоне Вернейль — Нонанкур, еще раз бомбили и обстреливали между Нонанкуром и Дрё. Проводник уже прошел вдоль вагона, объявляя Монфор, как вдруг пассажиры повалились друг на друга от резкого торможения, словно кто-то дернул стоп-кран, Уже стемнело, и в воздухе было тихо; через несколько минут тот же проводник вернулся и сказал, что поезд простоит неизвестно сколько, так как впереди поврежден путь.

Эрих плюнул, выбрался из вагона и заковылял к шоссе, которое шло рядом с железной дорогой. Здесь, размахивая пистолетом, он остановил первую попавшуюся машину и час спустя благополучно въехал через Порт-де-Версай в ночной, затемненный и затаившийся Париж.

Подполковник Цезарь фон Хофаккер, двоюродный брат Штауффенберга и один из главных руководителей заговора в штабе Западного фронта, позвонил ему утром в отель, когда Эрих еще спал.

— Простите за раннее беспокойство, капитан, — сказал он, — но мой порученец доложил, что вы вернулись и звонили ночью. Признаться, я уже начинал тревожиться: вы так задержались…

— Транспорт подвел. Дело в том, что машину вашу забрали, пришлось добираться на попутных.

— Ну что за мерзавцы! Это уже третья. Вы хоть потребовали расписку? А то ведь скажут, что вы ее продали французам — такие случаи, увы, тоже бывают. Но бог с ней, с машиной. Удалось вам повидать тетушку?

— Так точно, господин подполковник. К сожалению, второе свидание не состоялось — кузины моей не было на месте.

— Да, она здесь, я ее вчера видел. Но что го-

ворит тетушка — они все же соглашаются на операцию?

— Да, если на консилиуме подтвердят диагноз.

— Прекрасно! Капитан, я сегодня выезжаю в Берлин — если у вас нет здесь больше никаких дел, могу предложить место в своем купе. По пути расскажете более подробно, у меня тоже есть новость. Согласны? Тогда оформляйте бумаги и встретимся в пятнадцать тридцать на Гар-де-л'Эст…

Хофаккер, один из ближайших сотрудников военного губернатора Франции генерала Штюльпнагеля, путешествовал с комфортом почти мирного времени. Купе оказалось двухместным, и можно было разговаривать без помех и опасений. Подполковник подробно расспросил о встрече в Ла-Рош-Гюйоне; оказывается, сам он виделся с Роммелем позавчера, тот сказал, что Западный фронт продержится максимум три недели, а от ответа на прямой вопрос — согласен ли идти вместе с заговорщиками — уклонился, пообещав ответить позже.

— Я, впрочем, уже тогда понял, что он согласится, — добавил Хофаккер. — А моя новость касается миссии Йона в Мадриде. Доктор виделся с представителями Эйзенхауэра — тот, в прин-

ципе, готов начать переговоры о перемирии, но с одним непременным условием: Германия должна будет сложить оружие на всех фронтах.

— Ну что ж, — сказал Эрих, — это существенно укрепляет позиции вашего кузена — он всегда считал «западное решение» нереальным.

— Клаус считает его прежде всего безнравственным, — заметил Хофаккер.

— Какая может быть нравственность в политике…

— Вы правы, если говорить о нынешнем положении вещей. Но надо стремиться к тому, чтобы политика стала нравственной — хотя бы в отдаленном будущем.

— Ну разве что в отдаленном. А пока мы готовы ввести в состав нового кабинета такую высоконравственную личность, как граф Хельдорф.

— Во-первых, капитан, кандидатура Хельдорфа отнюдь не утверждена, а во-вторых, есть еще и соображения тактики.

— Вот об этом я и говорю…

Экспресс Париж — Берлин, до войны пробегавший свой маршрут за восемнадцать часов, теперь потратил на это немногим более суток — скорость по нынешним временам почти неправдоподобная. И ни одной бомбежки в пути! В шестом часу

пополудни Эрих вышел на перрон Потсдамского вокзала, огляделся, принюхался — гарью не пахло и здесь, воздух представлял собой обычную смесь вокзальных запахов летнего Берлина — горячий асфальт, пыль, выхлопные газы, паровозный дым плюс нечто дезинфицирующее. Тщетно подождав трамвая, он решил размять ноги и пешком направился в сторону Ландверканала.

Первым, кого он встретил на Бендлерштрассе, был сам Штауффенберг.

— Эрих! — воскликнул тот. — Уже вернулись? Как нельзя более кстати. Моего кузена не видели?

— Мы приехали вместе, но подполковник захотел побывать дома — помыться и переодеться. Сказал, что потом приедет сюда.

— Что с Роммелем?

— Шпейдель меня заверил, что Роммель поддержит. А американцы отвергли идею сепаратного перемирия, — впрочем, подполковник расскажет об этом сам.

— А я что говорил! Я всегда доказывал, что никогда они на это не пойдут. Воображаю, как будут разочарованы старые господа! Цезарь, значит, получил известия от Йона?

— Так он мне сказал. А какие новости здесь?

— Вчера я летал в ставку, — сказал Штауффенберг. — И как видите, опять ничего не получилось. На этот раз не было Гиммлера — а мы ведь решили, что надо сразу всех троих. Геринг был, а тот мерзавец так и не появился.

— Черт побери!

— Что делать. Право, я начинаю чувствовать себя персонажем из фарса — таскаюсь туда и сюда с этой штукой в портфеле, и все без толку. Скоро берлинские мальчишки будут свистеть мне вслед: вон, смотрите, опять граф бомбу повез! Ладно, очередное совещание назначено на эту субботу, попытаемся еще раз. Эрих, я вам бесконечно благодарен; но, боюсь, вас ожидает еще одна поездка — только теперь на Восток.

— Что ж, если надо. Опять к Трескову?

— Боже сохрани, там полный разгром. Вас я попросил бы посетить южный участок — но об этом завтра, а сейчас доложитесь Бернардису и поезжайте домой отдыхать…

Отдыха, однако, не получилось. Квартирная хозяйка встретила Эриха известием, что его несколько раз спрашивал какой-то господин, оставил свой телефон и просил безотлагательно позвонить. Номер оказался знакомый — редактора Розе.

— Мой дорогой доктор! — обрадованно закричал тот, когда Эрих дозвонился. — Уже вернулись? Послушайте, умоляю приехать ко мне — сам навестить вас не могу, сижу с ангиной. Глупее не придумаешь — ангина в июле, скорее всего бункерная…

— Какая? — не понял Эрих.

— Ну, это теперь так называют — «бункерная ангина», там, в этих убежищах, такие иногда дикие сквозняки от принудительной вентиляции. Так вы приедете? Жду вас в любой час, у меня крайне интересные новости…

Делать было нечего. Эрих кое-как помылся, с сожалением вспоминая обилие горячей воды в парижском отеле, выпил принесенную хозяйкой чашку мерзкого эрзац-бульона и потащился в Тельтов.

Розе, с компрессом на горле, принял его в своем тесном кабинетике, беспорядочно заваленном книгами и связками старых журналов, папок, корректурных оттисков. В углу за книжным шкафом громоздилась пирамида чемоданов — имущество разбомбленных родственников жены, как объяснил хозяин.

— Весьма странные люди, между нами говоря, — добавил он, понижая голос. — В прошлом

году их выбомбили из Гамбурга, потом зимой — из Ганновера; так они не нашли ничего лучшего, как явиться в Берлин. С огромным трудом нашли квартиру. И что вы думаете? На прошлой неделе та же история: дом сгорел к свиньям собачьим. И налет-то был ерундовый, какая-то сотня машин… Устраивайтесь, дорогой доктор, где вам удобнее… Понимаю, что прямо с дороги, но что делать… Да уберите вы эти папки! — бросьте их куда-нибудь и садитесь. Итак, слушайте: я располагаю совершенно неправдоподобной информацией, за достоверность которой мне, однако, поручился не кто иной, как сам Гейзенберг.

— Так, — сказал Эрих уже заинтересованно.

— Я видел Вернера на прошлой неделе, и он показался мне крайне обеспокоенным… или угнетенным какой-то мыслью. На мой вопрос он сначала сказал, что нет, ничего, это он просто устал, но потом все же признался, что находится в чрезвычайном затруднении: на днях его посетил один из адъютантов Геринга и сказал, что рейхсмаршал хочет знать — допускает ли он, доктор Гейзенберг, что американцы уже производят урановое оружие? Дело в том, что якобы на неких тайных переговорах, имевших место в Лиссабоне,

нам предложили капитулировать в шестинедельный срок. Если по истечении этого срока вермахт будет продолжать боевые действия, американцы сбросят на Дрезден урановую бомбу.

— Куда? — не сразу переспросил Эрих. — На Дрезден?

Розе развел руками — за что, мол, купил, за то и продаю.

— Я поначалу тоже удивился, — сказал он, — а потом подумал, что логика в этом есть. Первый случай применения уранового оружия — если допустить, что оно действительно уже создано, — будет несомненно носить демонстрационный, устрашающий характер. Здесь, следовательно, важен правильный выбор цели. Ну подумайте сами — какой смысл бросить новую бомбу, скажем, на Гамбург? Там уже и без того все разрушено старым добрым способом. А сокрушить одним ударом город совершенно неповрежденный, целенький, да еще знаменитый своими архитектурными красотами, — вот это будет эффект! Дрезден, боюсь, единственный сегодня город, отвечающий этим требованиям. Второго такого в Германии уже просто не найти.

— Не знаю, — отозвался Эрих. — Тактическое применение урановой бомбы на решающем

участке фронта гораздо более вероятно. Я не высокого мнения о гуманности наших противников, но все же допустить, что они в целях рекламы могут атомизировать тыловой город…

— Хотелось бы и мне так думать, — вздохнул Розе. — Беда в том, что мир сошел с ума, а безумие заразительно, из какой бы страны оно ни начало распространяться. Впрочем, все это, разумеется, совершенно недостоверно. Мы не знаем, в конце концов, не блефуют ли американцы в Лиссабоне, не разыграл ли Геринг Гейзенберга…

— И не разыгрывает ли Гейзенберг Пауля Розе.

— Нет, нет, он говорил совершенно серьезно, можете мне поверить. Но вообразите его положение!

— Так что же он все-таки ответил Герингу?

— Ну что он мог ответить? Ответил уклончиво, не сказав ни да ни нет. Сказал, что считает наличие у американцев такого оружия крайне маловероятным, но не абсолютно невозможным.

— Чепуха, — сказал Эрих. — Он просто перестраховывается! Гейзенберг — да вы и сами знаете — осторожен до трусости. Это ведь и впрямь огромная ответственность — заверить правительство в том, что противник не располагает новым оружием. Лично я уверен, что не

располагает. Я не допускаю мысли, чтобы они там настолько продвинулись в этой области. Найти принципиальное решение — может быть; но создать боеспособное оружие, наладить производство? Нет, не могу поверить.

— Вы забываете, кто там сейчас работает.

— Нисколько не забываю. Я ведь сказал, что теоретическое решение проблемы вполне вероятно; но этого мало, согласитесь, формулы в бомбовый отсек не погрузишь, а чтобы воплотить идею в металле, нужно совсем другое. Ни Ферми, ни Сциллард не станут ее воплощать, они не производственники, а где найти таких производственников? Это ведь надо построить заводы, разработать технологию, создать совершенно новую отрасль промышленности…

— Дай бог, — вздохнул Розе. Пошарив в бумагах, он протянул Эриху листок с машинописным текстом. — Но теперь почитайте вот это. Это перевод заметки, напечатанной в «Стокгольме тиднинген» неделю назад… Читайте, читайте вслух…

— «В Соединенных Штатах, — начал читать Эрих, — проводятся исследования с новым типом бомбы. Материалом служит уран, и, когда высвобождаются связанные в этом элементе силы, может быть получено взрывное действие ни с

чем не сравнимой мощи. Одна 5-килограммовая бомба делает воронку глубиною в 1 км и радиусом в 40 км. В окружности 150 км все крепкие постройки превращаются в развалины…» Что за собачий бред! И это вы находите достойным внимания? Я не понимаю вас, Пауль. Пусть шведские домохозяйки щекочут себе нервы подобными «сенсациями» — там, мне говорили, вообще обожают читать про ужасы войны, благо Швеции она уже не грозит. Но вы-то должны видеть, что это типичная утка невежественного писаки! Он, видите ли, уже не только измерил воронку, но и бомбу взвесил…

— Да, да, — закивал Розе, — невежество тут налицо, согласен, и дешевая сенсационность тоже, все верно. Но вообще…

— Что «вообще»?

— Вы знаете, я звонил Арденне. Так вот, он тоже обратил внимание на эту заметку и не склонен считать ее полным вздором. Почему-то про нас такой сенсации не состряпают, а? То, что американцы над бомбой работают, не может вызывать сомнений, вопрос лишь — как далеко они нас опередили. Тем более тут еще эта история с ультиматумом… Может, и совпадение, конечно. Словом, я сам не очень верю, но… чем черт не

шутит. У вас ведь есть в Дрездене близкие? Хотя бы та девушка, чьи бумаги вы мне дали на сохранение. Посоветуйте им уехать на время.

— За пределы ста пятидесяти километров? — Эрих невесело усмехнулся. — Кстати, эти бумаги я, пожалуй, у вас сегодня заберу.

— Пожалуйста, они тут в сейфе, сейчас достанем.

— Или погодите… Нет, пока не надо, пусть еще полежат.

Он задумался, держа в руке листок с переводом. Розе раскрыл тумбу письменного стола, достал глиняную бутылку голландского «болса», два стаканчика.

— Давайте-ка… Я этим лечусь, хорошо помогает.

— Что? Да-да, спасибо. Пауль, скажите мне вот что… Есть у вас какой-нибудь знакомый коммунист?

— Найдем, коли надо. А что это вам вдруг коммунисты понадобились?

— Есть одно дело… Вы бы нас познакомили, если можно? Или даже… пожалуй, мне самому и не обязательно. Вам, наверное, удобнее будет договориться, сейчас я все объясню…

Глава 8

Условную телеграмму принесли в субботу пятнадцатого, уже поздно вечером.

— Это мне, — сказала Людмила, прочитав текст: «Встречайте воскресенье одиннадцать». — Можно я завтра уеду, фрау Ильзе?

— Поезжай, разумеется. — Та пожала плечами. — Я только удивляюсь, почему бы Эриху не навестить нас здесь и что это вообще за игра в конспирацию — скоро он потребует, чтобы ты надевала синие очки и привязывала длинную рыжую бороду…

Утром профессор, молчаливый и озабоченный, отвез ее на станцию в хозяйском шарабане.

— В отличие от Ильзе, я понимаю, что это не игра, — сказал он, когда они стояли на платформе, ожидая пригородного поезда, — поэтому будь осторожна, обещай мне.

— Я буду осторожна, — пообещала Людмила, не спросив, чего ей следует остерегаться.

— И постарайся не задерживаться, если сможешь. Скажи Эриху, что у меня все в порядке, пусть он ни о чем не беспокоится.

Подошел поезд. Вдоль платформы пропыхтел

маленький паровоз, украшенный выцветшим лозунгом «Колеса должны вращаться для победы», побежали, замедляя ход, обшарпанные зеленые вагоны-«сороконожки», с наружной дверью из каждого купе. Профессор помог Людмиле подняться в пустое отделение, подал ей сумку, захлопнул дверь. Людмила, потянув за оконный ремень, опустила раму и высунулась наружу.

— Скажите фрау Ильзе, что творог я вынесла на ледник! — крикнула она, когда поезд уже тронулся.

Железная дорога бежала по берегу Эльбы, следуя ее прихотливым излучинам среди зеленых холмов; утреннее солнце заглядывало в вагон то справа, то слева. Вниз по течению медленно плыла баржа, навстречу так же неторопливо прошел пароход «Лейпциг», потом пробежала белая моторная лодка, вспарывая сверкающую речную гладь. Людмила смотрела на мирный солнечный ландшафт и думала о том, что, наверное, никогда сам не любил тот, кто первым придумал выражение «несчастная любовь». А глупцы подхватили и повторяют — «счастливая любовь», «несчастная любовь», как будто это не одно и то же, как будто в настоящей любви можно разделить радость и горе…

Всякая настоящая любовь — счастье, сколько бы горя она ни принесла. Счастье может длиться, и тогда человек счастлив всю жизнь, или оно может оказаться коротким, может оборваться внезапно, и тогда человек остается несчастным. Таким несчастным, что жизнь ему в тягость. Но при чем тут сама любовь? Разве ее вина, что отпущенный срок оказался мал?

Прошлый раз она сказала Эриху, что хорошо, что никто из них не знал заранее друг о друге — предвидеть все это было бы тяжелее. Значит, и сама она в тот день тоже чего-то еще не понимала, чего-то главного, — не понимала, что это уже и есть счастье: просто любить. Сегодня, сейчас, сию минуту, ничего больше не требуя от судьбы, не зная — и не желая знать! — что будет завтра.

А ведь, наверное, если взглянуть со стороны, их любовь относится к разряду самых несчастных. Еще бы! Любовь без будущего, явно и заведомо обреченная. Будущего у них не было, они оба прекрасно это понимали, недаром они никогда, словно сговорившись, не начинали разговора о том, что будет после войны. Эта тема была для них неприкосновенной, запретной. Они не могли даже мечтать, как испокон веку мечтают все влюбленные, потому что — о чем? О неизбежной

разлуке?

Занятая своими мыслями, Людмила не заметила, как проехала половину пути. У Пирны железнодорожное полотно ушло от реки, начались заводские пригороды — Зедлиц, Хейденау, с дымящими трубами фабрик и жилыми кварталами унылых одинаковых домов красного кирпича. За Добрицем опять заводов стало поменьше, садов — побольше, промелькнуло зеленое поле ипподрома, станция Дрезден-Рейк, снова улицы, уже шире и наряднее, с невыцветающими довоенными рекламами по брандмауэрам: «Байер», «Хлородонт», «Шоколад „Телль“», «Почему „Юно“ — круглые?», «Лучшие сигареты — „Мокри“», яркая зелень тополей и платанов, розарии за коваными решетками вилл, перрон станции Дрезден-Штрелен, косо выбегающие из-под мостов трамваи и, наконец, гулкий и пахнущий паровозным дымом полусумрак — после солнца — под закопченными стеклянными сводами вокзала Дрезден-Главный.

Она сошла с трамвая на Постплац, и Эрих догнал ее уже за театром, у садовой ограды.

— Здравствуй, любимая, — сказал он негромко, поравнявшись с ней, и замедлил шаг. — Я пойду вперед, подожду тебя на лестнице. Или поедем

куда-нибудь, не заходя домой? Я достал машину, до вечера.

— Зайдем, — отозвалась она, не оборачиваясь. — Мне все равно надо взять почту, ступай…

Он ушел вперед. Людмила нарочно помедлила еще у портала Оранжереи, делая вид, будто разглядывает статую Флоры в нише, потом попыталась прочитать какое-то свеженаклеенное объявление, но не поняла ни слова — так билось сердце, перехватывая дыхание. Увидев, что Эрих скрылся в подъезде, она тоже пошла к дому — сначала не спеша, потом быстрее, потом чуть ли не бегом. Они поцеловались в лифте, благо лампочку в кабине опять кто-то вывинтил, потом в прихожей — тоже полутемной, где поскрипывал под ногами старый паркет и пахло земляникой, которая рассыпалась из ее сумки. Любимая, повторял он, о любимая, а она опять почти не разбирала его слов — так колотилось сердце, — их и не надо было разбирать, понимать, воспринимать рассудком, они входили прямо в сердце, поэтому-то оно и рвалось. Я так тебя ждала, любимый, так ждала — полтора месяца, нет, больше — пятьдесят дней, ровно семь недель и два дня — позавчера исполнилось семь недель, я считала, Эрих, любимый мой, я ведь так ждала…

— Пусти меня, — прошептала она наконец, пытаясь дотянуться до выключателя, — пусти, милый, я… я не могу больше, мне кажется, я сейчас умру, ну пусти же!

Свет наконец зажегся. Людмила, пряча глаза, присела на корточки, начала подбирать рассыпанные по полу ягоды.

— Помоги мне собрать это, — сказала она так же шепотом, словно кто-то мог услышать их в пустой квартире. — И надо съесть, фрау Ильзе сказала, чтобы съели сразу… иначе испортятся — эта жара… Какой у тебя усталый вид, милый, я боюсь спросить, как ты там живешь, все равно не скажешь правды, но выглядишь ты…

— Просто я не спал по-настоящему. Уже три ночи, понимаешь, и ничего нельзя сделать. Снотворное принимать — бессмысленно, я так наглотался первитина, что теперь ничто не помогает…

— Много работы?

— Да, и… ездить приходится все время, вчера только вернулся из Румынии, до этого был во Франции. А ты сама представляешь, какой сейчас всюду транспорт. В Румынию, правда, летал самолетом, туда и обратно, пристроился к курьеру фельдсвязи…

— Это ведь, наверное, опасно сейчас — летать?

— Здесь-то еще ничего, а на Западе ни одного нашего самолета вообще не увидишь — у союзников полное господство в воздухе… Но, бога ради, не будем об этом. Подставляй, куда высыпать… Ну что, все?

— Вон еще там, сзади. Ты опять на один день?

— Разумеется, и так едва вырвался. Зато я достал здесь машину, до самого вечера.

— Ты ведь говорил, что бензин…

— Это неофициально. — Он поднялся с усилием, опираясь на край вешалки.

Людмила испуганно ахнула:

— Господи, Эрих, — зачем же ты нагибался, ну что я за дура! Тебе больно?

— Нет, нет, нисколько. Не обращай внимания, это я так, по привычке. О чем мы говорили? Ах да. Так я хочу сказать, что у нас легче организовать бочку бензина на черном рынке, чем получить один литр законным путем. Дай все-таки я на тебя посмотрю. Ты выглядишь совсем хорошо — я же говорил, надо жить в деревне. Впрочем, эта проклятая лампочка едва тлеет, выйдем на свет — я хочу тебя видеть.

— Можно посидеть в кабинете, там я недавно убирала, а в столовой и гостиной пыльно и все в

чехлах. Побудь здесь, я сейчас — только сполосну ягоды…

Сев на диван, он долго смотрел на бюст Минервы над книжными шкафами, потом откинул голову на спинку и закрыл глаза. Он не знал, правильно ли сделал, что приехал. Это, очевидно, последний его приезд — ну разве что произойдет какое-нибудь чудо, какое-нибудь исключительное — на грани чуда — стечение обстоятельств. Но маловероятно. Пока что обстоятельства складываются против: срыв за срывом, неудача за неудачей. Вчера, в субботу, провалилась вторая в течение одной недели попытка Штауффенберга — на этот раз в «Волчьем логове». Он вылетел в Растенбург утром, совещание было назначено на 13 часов; в 11:00 Ольбрихт в Берлине запустил «Валькирию». Поднятые по тревоге подразделения были уже на марше, когда в 13:30 Штауффенберг позвонил из «логова», чтобы дать отбой — совещание оказалось таким коротким, что он не успел поставить взрыватель…

А сегодня утром в штабе округа Эриху доверительно сообщили, что на Западном фронте убит Роммель. Как бы ни относиться к «герою пустыни», он был решителен, смел, солдаты действительно души в нем не чаяли; недаром за-

говорщики в Париже прилагали столько усилий, чтобы заручиться его поддержкой. Теперь эта важнейшая фигура сошла с доски, а кто оставался — трус Клюге? Не пользующийся никакой популярностью у немцев и ненавидимый французами Штюльпнагель? Какое уж тут «чудо»…

Людмила, помыв землянику, вернулась с тарелкой в кабинет и, увидев Эриха с закрытыми глазами, осторожно подошла на цыпочках.

— Я не сплю, садись сюда, — сказал он, не открывая глаз, и протянул руку.

— А я подумала… — Она поставила тарелку, села рядом, прижавшись к нему. — Может быть, ты поспишь? Отдохни, а потом мы съездим куда-нибудь, если хочешь…

— Нет, что ты, я не сплю днем. Посмотри на меня. Я до сих пор вижу, как ты на меня посмотрела тогда, — я ждал на мостике, помнишь?

— Да, — шепнула она, приложив щеку к его ладони. — Я очень хорошо помню, как ты ждал… Ты там стоял и смотрел в воду, а когда поднял голову и оглянулся, у тебя лицо стало вдруг совсем… мальчишеское, наверное, я не знаю, как точно определить…

— Мальчишеское? Это потому, наверное, что я в тот момент увидел, как ты на меня посмотрела.

Я не знаю… это, наверное, звучит как-то… хвастливо, что ли, но мне тогда показалось, что ты вся словно осветилась изнутри.

— Почему хвастливо?

— Ну… получается ведь, будто я допускаю, что ты так обрадовалась, увидев меня.

— Но я действительно обрадовалась… Скажи, о чем ты сейчас подумал?

— А что?

— Я просто увидела в твоих глазах, что тебе — грустно? Нет, другое — тяжело, печально, не знаю, как сказать, — здесь, наверное, много синонимов, да?

— Много, — кивнул он, прижимая к губам ее пальцы. «Скорбно», например; хорошо, что она не знает этого слова. Скорбно. Наверное, лучше было не приезжать — для нее, во всяком случае. Ждала, конечно, но все-таки — уже семь недель, а теперь все заново и острее… Хотя приехать все равно было необходимо.

— Пока я не забыл, любимая, — сказал он. — Есть одно дело — давай уж с ним покончим сейчас, чтобы потом не думать. Хорошо?

— Да, только ты ешь землянику, ее действительно нельзя оставлять, а мне одной не съесть.

— Спасибо. Спасибо, очень вкусно… Послушай,

помнишь, я говорил тебе относительно документов — на всякий случай?

— Да, помню. Фотографии подошли по размеру?

— Вполне. Так вот, Люси… — Он поднял с полу портфель, расстегнул пряжки и достал плотный конверт. — Я привез эти бумаги. Здесь их не оставляй — возьми в Шандау, а там спрячешь где-нибудь. Надежно, но чтобы можно было достать в любой момент. Ты меня поняла?

Она кивнула, глядя на него настороженно.

— Эрих, что-нибудь… случилось?

— Пока нет. Значит, так — в этом пакете находится полный комплект документов на имя Гертруды Юргенс, «народной немки» родом с Южной Украины. Здесь все — удостоверение личности, эвакуационный лист с отметками эвакопунктов в Лемберге и Бреслау, продовольственные карточки, деньги. Здесь же найдешь направление в беженский лагерь в Аугсбурге — это в Баварии, недалеко от Мюнхена, — оно служит пропуском и дает право купить железнодорожный билет. Денег тебе должно хватить до конца войны — здесь три тысячи марок.

— Но…

— Погоди! Как я говорил, это сделано в порядке

предосторожности, — может быть, тебе вообще не придется воспользоваться этими бумагами. Все выяснится в ближайшие дни.

— Но как же я узнаю, Эрих? — спросила она упавшим голосом. Ей все еще казалось, что это не всерьез — чьи-то чужие документы, пропуск в Баварию… Зачем ей Бавария, если он сам говорил, что война скоро кончится?

— Узнаешь, — сказал он. — Узнаешь по радио, из газет и сама поймешь, как действовать дальше. Больше я тебе ничего сказать не могу, но это все очень серьезно, поэтому, если ты поймешь, что надо бежать, делай это немедленно. Слышишь? Штольницам ты в этом случае ничем не поможешь, твое присутствие может лишь помешать… Да, вот что еще! Из Дрездена лучше уехать не по железной дороге, мало ли что — случайно может встретиться кто-то, кто тебя видел здесь как «восточную работницу», — вероятность минимальная, но к чему рисковать…

— Ты считаешь, лучше пароходом?

— Нет, ни в коем случае, там тоже могут проверять. Лучше всего воспользоваться попутной машиной. Помнишь, тот мост у Кадица? Ты еще спрашивала, куда ведет автобан. Выйдешь на него и останавливай любую машину в западном

направлении, беженцы часто так делают, и их охотно подвозят. Это никого не удивит. Тебя довезут до какого-нибудь города — Хемниц, Иена, чем дальше, тем лучше, а там купишь билет до Аугсбурга. Если в лагере спросят, чем приехала, так и скажешь: сначала попутными машинами, потом поездом.

— А военные грузовики тоже можно останавливать?

— Почему же нет? — Эрих пожал плечами. — Не каждый остановится, понятно, формально это не разрешается, но обычно на запрет смотрят сквозь пальцы. Беженцы вызывают сочувствие… особенно девушка. Одеться тебе надо будет както… Ну, ты видела, как одеты эвакуированные. Попроси Штольница раздобыть старый рюкзак, лыжные брюки, это самое удобное…

— Боже мой, — проговорила она, — я действительно ничего не понимаю — просто не могу поверить — откуда это все вдруг…

— Все из-за меня. Я это знаю, любимая, это меня и мучает — я просто не должен был, не имел права…

— Мы однажды говорили уже об этом — помнишь, на Рождество? Нельзя так подходить, милый, это ни от кого не зависит. Это или случи-

лось, или не случилось. Я ведь тоже — по другим причинам, правда, но все равно — «не должна была», «не имела права»… Какое это теперь имеет значение? — Она положила голову ему на грудь, помолчала, потом снизу вверх заглянула в лицо. — Я просто не могу свыкнуться с мыслью, что… все это вдруг может… кончиться, понимаешь…

Он молча погладил ее по волосам, прижал к себе.

— Скажи, а ты не мог бы уехать со мной — ну, если придется?

— Нет, это невозможно.

— Я понимаю… Ты не думай, что я… навязываюсь, или как это говорится — хочу как-то тебя связать. Просто я подумала… Бавария — это ведь у самой границы? А профессор говорил, что Западный фронт скоро уже развалится…

— Послушай, Люси! — перебил он нетерпеливо. — В отличие от профессора Штольница, я не знаю, когда развалится Западный фронт, но зато я хорошо знаю другое: если война будет продолжаться, Восточный фронт продержится дольше других, потому что все наши силы будут брошены именно туда. И рано или поздно он придет на немецкую землю — оттуда, через Польшу, через

Силезию, до которой от Дрездена рукой подать. А я видел, что приходится переживать населению прифронтовой зоны, поэтому и отправляю тебя на Запад. Только имей в виду, Люси, — тебе ни в коем случае нельзя оставаться в городе — ни в Аугсбурге, ни в каком другом. Понимаешь? Просись сразу в деревню, беженцев охотно направляют в крестьянские хозяйства, там тоже не хватает рабочих рук. Ты хоть немного знакома с крестьянской работой?

— Нет, откуда же. Хотя я иногда помогала немного там, в Шандау… Но коров доить не умею.

— Доить — работа мужская, тебя никто и не заставил бы доить коров. В общем, не важно, в лагере ты скажешь, что росла в деревне и хочешь работать в сельском хозяйстве… Ну и теперь вот еще что — это очень важно, поэтому запомни все… — Осторожно отстранив ее, он достал что-то из бумажника. — Вот смотри. Это ты тоже возьмешь с собой…

Людмила с недоумением взяла оторванный уголок почтовой открытки — верхний левый, где пишется адрес отправителя. Адрес был ей незнаком — какой-то Плотцке в Ганновере.

— Что это, Эрих?

— Просто условный знак. Ты должна всегда иметь его при себе, понимаешь? Если кто-нибудь когда-нибудь покажет тебе открытку, от которой оторван этот уголок — это легко проверить, приложишь и увидишь сразу, совпадают ли края отрыва, — этому человеку ты сможешь довериться во всем.

— Но кто будет этот человек? — воскликнула она удивленно.

— Не знаю, Люси, но что это будет друг — можешь не сомневаться. Только ни в коем случае не потеряй этот уголок.

— Нет, я спрячу… Эрих, я совсем забыла — ты завтракал?

— Да, да, не беспокойся.

— А то я могла бы сварить кофе, и у меня есть с собой бутерброды.

— Нет, спасибо. Так мы съездим куда-нибудь?

— Куда?

— За город, тут приятные окрестности. А можно и просто в Пустошь. Ты ведь любишь сосны? Вот и отлично, поедем дышать сосновым воздухом.

— А машина твоя где?

— Здесь рядом, на Ташенберге. У штаба. Я схожу, подгоню сюда, а ты пока собирайся, спустишься минут через пятнадцать…

Они выехали на Шлоссплац через Георгиевские ворота и обогнули террасу, сворачивая перед мостом направо. Людмила глянула со сжавшимся сердцем: лестница в сорок две ступени, «их» угловая скамья там, наверху, под подстриженными липами. И солнце сегодня такое же, как в тот день — шестнадцатого сентября, только еще более жаркое. Еще бы — середина июля, вершина лета. А ведь сегодня тоже шестнадцатое — какое совпадение — день в день, ровно десять месяцев…

Машина была военная — пестро размалеванная под лягушку железная коробка с откинутым брезентовым верхом и скошенной лобовой стенкой, на которой — перед ветровым стеклом — было укреплено запасное колесо; ее всю насквозь прохлестывало встречным ветром, глаза могут стать красными и от этого, хорошо, он ничего не заметит. Слезы, впрочем, сразу высыхали, она уже чувствовала, как стянуло нижние веки. Не хватило и на год, ровно десять месяцев — и все. И конец. Это был конец, она знала это, знала с того момента, когда он заговорил о бумагах. Непонятно, как хватило сил — слушать, что-то понимать, отвечать на вопросы…

— Поедем через Антонштадт? — громко спросил Эрих. — Или прямо по набережной, а там

через Лошвиц?

Людмила, придерживая волосы, кивнула, показала рукой — прямо. Эта дорога была длиннее — но куда спешить? Некуда. Некуда спешить, нечего ждать. Вот разве что того сообщения по радио, о котором он говорил; так ведь, наверное, ничего хорошего в нем не будет, и он сам это знает, прекрасно знает, иначе к чему бумаги? Как он сказал — Гертруда Юргенс? Господи помилуй, только этого ей не хватало — стать «фольксдойче»…

Пересекли Саксонскую площадь, проехали вдоль длинного, усаженного островерхими башенками здания егерских казарм. Нелепая машина — Эрих сказал, что солдаты называют такие «корытами» — «Kubelwagen», — бежала быстро, но прыгала на каждой неровности дороги и была ужасно шумной, вся лязгала и громыхала; хорошо еще мотор выл где-то сзади. Разговаривать поэтому было трудно, приходилось перекрикиваться — или молчать. Людмила вдруг подумала, что так лучше, и это испугало ее: что же ей — нечего сказать ему в их последний день вместе? А выходит — нечего. Нечего, потому что все уже сказано, можно лишь повторять — люблю, люблю, не хочу, чтобы ты уезжал, хочу быть вместе с

тобой, — но что толку, первое уже известно, второе невыполнимо. Остается молчать, чтобы не выть в голос, как воют на проводах деревенские бабы, и даже не плакать слишком уж открыто — пока он здесь. Молчать, вот единственное, что ей остается, самое последнее, это когда уже действительно конец — вот как теперь. В июле сорок первого, — ровно три года назад! — когда Таня провожала своего Сергея, какой крик стоял над забитой красными вагонами товарной станцией, как они кричали, те женщины, как голосили, но, наверное, им было легче: горе-то было одно, общее у всех, и потом, у каждой была надежда — даже тогда, даже тем страшным летом каждая надеялась, что снова увидит своего… А когда нет надежды, остается молчать: «дальнейшее — молчание»…

Все-таки они действительно ехали быстро, набережная Гинденбурга окончилась, машина прогромыхала по улицам Блазевица, с высоты висячего моста справа и слева распахнулась внизу сверкающая гладь реки. Впереди высился Лошвицкий холм — сады уступами, один выше другого, белые стены, красная черепица крыш, ползущая в небе кабинка подвесной дороги. Потом Вайссер-Хирш, тонущие в зелени виллы

и пансионаты, лабиринт крутых извилистых переулков — машина то сердито подвывала, карабкаясь вверх, то облегченно катилась под уклон с примолкшим двигателем, весело позвякивая и погромыхивая. И город кончился сразу, как обрезанный.

— Не могу понять, почему это называется Пустошью, — сказала Людмила, когда они въехали в неширокую просеку между громадными стволами сосен. — Всегда считала, что пустошь — это где растет вереск. Такое ровное открытое место.

— Когда-то, наверное, так оно и было… Потом вырос лес, а название осталось. Хорошо здесь, правда?

— Очень… Тихо так. Хотя, конечно, это не совсем лес, слишком он аккуратный и прибранный. Впечатление такое, что здесь каждый день ходят с граблями и метлой. Лес все-таки должен быть более диким…

— Это ведь, в сущности, нечто вроде пригородного парка. У нас есть и дикие леса — например, Гарц. Брокен — слышала такое место?

— Это где ведьмы?

— Совершенно верно — в прошлом. А сейчас там делают «оружие возмездия».

— На Брокене?

— Рядом. Нордхаузен, Блейхероде… все под землей — заводы, лаборатории, туда перебрались наши ракетчики… после того, как их выбомбили с Узедома.

— Профессор слышал одну передачу из Лондона, они говорят, что «фау» оказались совсем не такими страшными — их сбивают совершенно легко…

— Да, это «фау-один». Конечно, почему не сбивать — обычный беспилотный самолет с гироскопической стабилизацией курса, скорость не выше, чем у «спитфайра», защиты никакой нет. Браун сейчас лезет из кожи, готовит в серию свой «агрегат-четыре» — это будет пострашнее. Хотя тоже, конечно… Ну что, выйдем?

Свернув с просеки, он выключил двигатель. Людмила открыла дверцу, выбралась наружу — ее сразу охватила знойная тишина, безветрие, запахи смолы и хвои. Где-то стучал дятел — Эрих подошел и остановился рядом, запрокинув голову.

— Не вижу, — сказал он. — Дятлы обычно облюбовывают одно место и постоянно прилетают туда расклевывать шишки. Никогда не видела? Под таким деревом всегда валяется шелуха. Находит удобную развилку, вставляет туда шишку,

как в тиски, и работает. У нас в Груневальде дятел стучал перед окном спальни, я его иногда видел…

Людмила помолчала, потом спросила:

— Скажи, а твоя жена… она тоже физик?

Эрих удивленно глянул на нее и рассмеялся.

— Рената — физик? Да она не знает таблицы умножения! С чего это тебе пришло в голову?

— Не знаю… просто подумала. Это было бы естественно.

— Ничего естественного в этом не было бы, а что касается Ренаты, то она снимается в кино. Снималась, во всяком случае; не уверен, получится ли это у нее в Бразилии.

— Ах, так она киноактриса…

— Я нарочно не употребил этого слова. Актриса, мне кажется, это уже всерьез — ну, там, Гарбо, Дитрих, не знаю. Хотя некоторым она нравилась, в «Императорском вальсе» ей дали главную роль. Ты этого фильма не видела?

— Пожалуй, нет.

— Ничего не потеряла. Да, представляю себе Ренату-физика! Я, впрочем, вообще не знаю выдающихся физиков-женщин, если не считать Марии Кюри и нашей Мейтнер.

— Мейтнер? Не слышала…

— Ну что ты. Она сейчас в первой десятке теоретиков. Хотя долгое время ее тоже не принимали всерьез. Году в двадцать третьем или двадцать четвертом, точно не помню, она прочитала в Берлине свою первую лекцию на тему радиоактивности в космических процессах. Знаешь, как об этом сообщили берлинские газеты? «Фрейлейн доктор Мейтнер выступила перед берлинскими студентами с чрезвычайно интересной лекцией „Значение радиоактивности для косметических процессов“…»

— Косметических?

— В том-то и дело! Репортер решил, что фрейлейн доктор ни о каких других говорить не может…

Они отошли уже довольно далеко от просеки, где остался их лягушачий «кюбельваген». Эрих бросил на землю пиджак, она села, он лег рядом, положив голову на ее колени.

— Не тяжело? — спросил он, глянув снизу вверх.

— Нет, милый… — Она осторожно коснулась его лба; что у него было по-настоящему красивым, так это лоб — высокий, объемистый. Она провела пальцами, нащупала небольшой рубец. — Что это у тебя здесь — ты был ранен?

— Нет, это с детства. Я уж сейчас и не помню — камнем, вероятно. Тебе действительно не тяжело?

— Нет-нет, что ты…

— А у меня есть для тебя маленький подарок.

— Правда?

— Правда. Дай-ка мой бумажник — он где-то там, во внутреннем кармане… Нашла? Мерси. А теперь закрой глаза и не подглядывай…

Она добросовестно зажмурилась. Послышался хрусткий шелест целлофана, потом что-то легкое и пушистое щекотно коснулось ее носа — Людмила, засмеявшись, машинально отдернула голову и в ту же секунду словно задохнулась этим запахом — странным, горьковатым, полузабытым и бесконечно родным. Вся мгновенно оцепенев, она раскрыла глаза и осторожно взяла из руки Эриха сплющенную серебристую веточку.

— Боже мой, откуда? — шепнула она. — Где ты это достал?

— Я же тебе говорил, был в Румынии. Это севернее Ясс, мы там ждали на полевом аэродроме — он весь зарос этой штукой. А я помню еще по сорок второму году — на Дону ее тоже было много. Для меня теперь этот абсентовый запах навсегда связан с югом России, вот я и подумал, что тебе

будет приятно…

Румынская полынь ничем не отличалась от украинской, ее можно было бы сорвать и там, дома, где-нибудь за Татарской балкой. Привядшая, словно покрытая седой пыльцой, она так горько и пронзительно пахла степью, ветром, курганами, что у Людмилы перехватило дыхание.

— Я угадал? — весело спросил Эрих.

Она молча покивала, прижимая к лицу седую веточку, хотела что-то сказать и не смогла. Она опять крепко зажмурилась, слезы жгли ей глаза — ну что я за ничтожество, подумалось ей с отчаянием, ему сегодня только этого не хватает — любоваться, как я реву…

Не выдержав, она закрыла лицо ладонями, еще ниже опустив голову, вся содрогаясь от подавляемых рыданий. Эрих сидел рядом — молча, не пытаясь успокоить ее или утешить. Какие тут могут быть утешения, подумал он, мне бы раньше догадаться, что этот «подарок» доставит ей больше горя, чем радости…

В лесу было очень тихо, по невидимому отсюда шоссе отдаленно проревел грузовик. Где-то вдали звонко и печально куковала кукушка.

— Прости меня, милый, — проговорила наконец Людмила, отвернувшись и утирая глаза. — Про-

сти, тебе и без меня… трудно…

— Ну что ты, — отозвался он негромко. — Это я должен просить прощения… Получилось действительно не очень кстати.

— Нет, нет, ты мне доставил такую радость, — возразила она, всхлипнув. — Конечно, это и тяжело — так вдруг вспомнилось… Но все равно этот запах — это ведь как весточка из дому… Пройдемся немного?

Он встал и, протянув руку, помог подняться ей. Некоторое время шли молча.

— Эрих, послушай, — сказала она наконец, решившись. — Я не хотела об этом говорить — наверное, не имею права, но… и не сказать тоже не могу.

— О чем?

— О твоих делах там. Я понимаю, ты не можешь ничего об этом рассказать, да это и не важно — знаю я подробности или не знаю. Я знаю главное. Ты сам сказал мне об этом, дал понять — тем, что привез бумаги, и потом, насчет сообщения по радио, из которого мы всё узнаем… — Голос у нее прервался, она помолчала несколько секунд и, овладев собой, продолжала: — Я догадываюсь, что вы — ты и твои товарищи, не важно, кто они, мне это знать не надо, — вы что-то готовите. Что-

то важное, не правда ли, от чего вообще может кончиться война, — об этом ты тоже мне говорил прошлый раз. Я ошибаюсь? Скажи мне только одно — да или нет.

— Нет, ты не ошибаешься.

— Хорошо. Я думаю, что не ошибаюсь и в том, что это должно произойти в ближайшее время. На это можешь не отвечать. Но вот что меня поражает и… пугает, понимаешь, просто пугает — я тебе утром сказала, у тебя в глазах что-то такое…

— Помню, помню, — весело перебил он, — мы еще говорили о синонимах.

— Да. И вот я хочу — должна — спросить: ты сам веришь, что это у вас получится?

Эрих неопределенно хмыкнул. Подобрав с земли шишку, он подкинул ее на ладони и, широко размахнувшись, швырнул, как бросают гранату. Шишка ударилась о сосновый ствол далеко впереди.

— Получится. — Он подмигнул совсем по-мальчишески.

— Я ведь серьезно спрашиваю, — сказала она с укоризной.

— А я так же серьезно отвечаю. Я мог попасть в сосну, а мог и не попасть, — у нас может получиться, а может и не получиться. В любом

действии есть примерно равные шансы на успех и неуспех, а соотношение их, естественно, варьируется в известных пределах.

— Но как можно, Эрих! Если ты не уверен совершенно, как же ты тогда можешь, ведь… Есть ведь другие способы — ну, я не знаю, — ты только что был там на Востоке — мог бы перейти фронт…

— Перейти фронт?

— Ну да, а почему нет, ты ведь антифашист, Эрих, там есть этот комитет — ну, ты знаешь — Паулюс, Зейдлиц…

— Прости, — перебил он, — твой пример, боюсь, не слишком удачен. Ни Зейдлиц, ни Паулюс не были перебежчиками, их взяли в плен. Они до конца выполнили свой долг — не будем сейчас разбирать, правильным ли было их понимание долга, это вопрос другой. Если бы меня не вытащили из-под Сталинграда, если бы я там уцелел и оказался в числе тех девяноста тысяч — да, возможно, я тоже примкнул бы к «Свободной Германии». Я готов подписаться под всеми их призывами — покончить с нацизмом, покончить с войной, спасти страну от разгрома. Но пойми, они к этому призывают, а мы — имею в виду себя и моих товарищей, — мы это делаем, во всяком случае пытаемся сделать! Ты видишь разницу?

— Прекрасно вижу, но…

— Какие тут могут быть «но»? Пойми, Люси, что переходить из категории делающих в категорию призывающих я не намерен!

— Но, может быть, они тоже что-то делают?

— Где — в Москве? Вполне возможно! Но я хочу, чтобы судьба Германии решалась здесь — здесь, понимаешь! — а не в Москве или Вашингтоне!

— Почему ты на меня кричишь, Эрих, я ведь только…

— Люси, ради Господа Бога и всех святых, прекратим этот разговор. Не надо мне сейчас говорить: «подумай», «взвесь шансы» — я сделал это задолго до нашего знакомства…

Они вернулись к машине. Оставленный в тени, сейчас «кюбельваген» жарился на самом солнцепеке, край дверцы, когда Людмила взялась за него, обжег руку. Эрих запустил мотор и передвинул машину в тень.

— Смотри-ка, уже третий час, — сказал он. — Как ты насчет того, чтобы пообедать?

— Можно было бы, но ужасно не хочется возвращаться в город — воображаю, как сейчас душно в квартире. И там все так неприбрано, пыльно…

— У меня другое предложение. Тут где-то, в этих краях, — туда, в сторону Клотцше, — есть

гостиница с ресторанчиком. Я помню, перед войной мы иногда бывали там со Штольницами — хозяйка его хорошо знала и меня тоже должна помнить. Съездим туда. Если она жива еще, обед нам обеспечен, и безо всяких карточек.

— Поедем, это ты хорошо придумал.

— Найти бы только дорогу…

Порядочно поколесив по просекам, они в конце концов выбрались на асфальтированное шоссе, где встречный велосипедист объяснил, как ехать дальше. У маленького гастхофа — низкого, словно вросшего в землю от старости, с высокой черепичной крышей — Эрих остановил машину и сказал, что пойдет выяснять ситуацию.

Оставшись одна, Людмила почувствовала, что выдержки хватит ненадолго. Она сидела в накаленной солнцем железной коробке, смотрела на белые стены в черном переплете фахверка, на вывеску с коваными завитушками, смотрела на безлюдное шоссе, на лес и высокие облака над соснами и с леденящей ясностью понимала, что очень скоро все это станет для нее одним из самых дорогих и самых мучительных воспоминаний…

— Ну как? — спросила она весело, когда Эрих вернулся. — Фрау хозяйка еще жива?

— О, вполне, и сразу меня вспомнила! Я догово-

рился, что обед будет через час. Она предложила подождать у нее, но, может быть, лучше погуляем это время?

— Ну конечно, кто же в такой день сидит под крышей. Поехали снова в лес, там так хорошо…

Они загнали машину в какую-то просеку и снова ходили взад и вперед, разговаривая о разных пустяках. Говорить о главном было уже нельзя, поэтому говорили первое, что приходило на ум, перескакивая с одного на другое, иногда даже смеялись. А тени на траве удлинялись неумолимо и безостановочно, и время текло, как тонкий сухой песок сквозь пальцы.

Потом вернулись в гостиницу. Хозяйка накрыла стол в саду, в беседке из дикого винограда, они были единственными посетителями, и вокруг стояла бездонная тишина, только пчелы жужжали за изгородью из подстриженной бирючины. Людмила ела через силу, заставляла себя изображать удовольствие, даже похвалила что-то и оживленно сказала, что надо будет спросить у фрау Марты рецепт и непременно записать — если, конечно, даст, а то ведь многие хозяйки весьма ревниво оберегают свои кулинарные секреты… Тут же ей подумалось, что она явно переиграла, можно себе представить, как это вы-

глядит, — просто идиотка какая-то, нашла время интересоваться кухонными рецептами. А слез не было, слезы уже иссякли, их даже не приходилось сдерживать, глаза оставались неомраченно сухими. Ей только очень хотелось пить, все больше и больше, вино было отличное — легкое, с каким-то горьковатым (полынным?) букетом, и она пила не стесняясь, не отставая от Эриха. Он попросил принести еще, и хозяйка поставила на стол еще одну запотевшую длинногорлую бутылку.

— Ох и печет нынче, — сказала она, утирая лицо передником. — По такой жаре одно удовольствие в погреб сходить, так и сидела бы там. Нет, горожанам летом не позавидуешь. А уж у вас там, в Берлине, господин доктор, и вовсе небось не продохнуть…

— Вы, фрау Марта, на редкость точно подметили одну из характернейших особенностей имперской столицы. Дышать там не так просто.

— Да бывала я у вас, знаю. Нынче и едете?

— Так точно, ночным.

— Ночным! Так у вас времени вон еще сколько. А чего ж тогда по жаре возвращаться в Дрезден? Дождались бы холодка, тут и отдохнуть есть где.

— Нет уж, увольте, в погреб мы не согласны, хоть там и прохладно.

— Шутник вы, господин доктор, как можно! Вон угловая комната стоит свободная, там тоже холодок. Ставни я с утра не раскрывала, а окошки все настежь, ее ветерком и протянуло. Отдохнули бы, право, а то вон я смотрю — вид у молодой дамы такой, что вот-вот сомлеет.

— Это мы, фрау Марта, слишком увлеклись вашим превосходным вином. Но вообще, конечно, день сегодня тяжелый. А что касается вашего приглашения, то дама тогда пусть и решает — млеть, понятно, ей совсем ни к чему и нежелательно.

— Да уж чего хорошего. Так вы подумайте, а будильник я вам поставлю, ежели опасаетесь насчет того, чтобы поспеть к поезду…

Хозяйка ушла. Эрих молча наполнил оба стакана и выпил свой не отрываясь, как пьют воду, когда мучит жажда. Людмила не поднимала глаз от клетчатого рисунка скатерти; было очень тихо, только шмель угрожающе гудел над глиняной мисочкой с остатками меда.

— Итак, к какому решению склоняется молодая дама? — осведомился Эрих тем же дурашливым тоном, за который она готова была сейчас его убить. Она подняла стакан и, отпив глоток, приложила к щеке холодное влажное стекло.

— Ты действительно считаешь, что я сама

должна… решить этот вопрос? — спросила она очень тихо, сдерживая дрожь в голосе, и посмотрела ему в глаза прямо, почти с ненавистью. Она не понимала, что с ней сейчас творится, где ее всегдашняя сдержанность, вечная боязнь быть не так понятой, порожденная этой боязнью привычка таить свои переживания; она не понимала, что заставляет ее сейчас так обнажаться, вместо того чтобы подхватить мячик, свести все к легкой, ни к чему не обязывающей игре в забавное недоразумение. — Как все просто, не правда ли? Особенно для тебя, поскольку решаешь не ты. Как удобно, мой милый! Но если я все-таки скажу «да»?

— Если скажешь «да»? — переспросил Эрих, глядя на нее также в упор. — При иных обстоятельствах ты бы уже давно это сказала — и не по твоей воле, а по моей, слышишь? Я — я сам! — заставил бы тебя это сказать — заставил бы, принудил, убедил, называй как угодно. Ты просто поняла бы, что тебе не остается ничего другого, потому что ни одной женщине — когда ее любят так, как я тебя полюбил! — ни одной женщине ничего другого не остается, как сказать «да». Но я говорю про иные обстоятельства, не про те, в которых находимся мы с тобой! Ты что же, — он еще больше понизил голос, до яростного шепо-

та, — ты так ничего и не поняла? Ты до сих пор не понимаешь, что мы — возможно — видимся сегодня последний раз в жизни? Да, я сейчас не могу ничего решать — не имею права! — потому что дело не во мне теперь, дело в тебе, дело в том, что для тебя, кроме этого «сейчас», есть еще и «потом», и уже надолго, на всю жизнь…

— Не надо об этом, любимый мой. — Она положила ладонь на его стиснутый кулак и закрыла глаза. — Не надо, прошу тебя. Ты тоже ведь не все понимаешь. Для меня… погоди, я только… нет-нет, ничего… Для меня, пойми — ну постарайся же понять, любимый, — для меня нет «потом». Есть только вот это «сейчас», где мы с тобой, и ничего больше. Ни войны, ни… ничего. Ты говоришь — надолго, на всю жизнь, но я всю свою жизнь, какой бы долгой она ни была, я бы всю эту жизнь презирала и ненавидела себя, если бы сейчас — сегодня, вот здесь с тобой — стала бы взвешивать, как будет потом…

Часть третья
Глава 1

Необычно жарким выдалось это воскресенье и в Берлине, даже в районе Ванзее, рядом с озерами, вечер не принес прохлады. В комнате было душно, несмотря на распахнутые настежь окна и раскрытую на балкон дверь.

— Будем, господа, заканчивать, — сказал Тротт, обмахиваясь сложенной газетой. — Семейный совет слишком уж затянулся, а всем нам завтра работать…

Присутствующие посмеялись — из восьми человек, собравшихся сегодня в квартире Бертольда Штауффенберга, четверых и в самом деле связывали родственные узы: Клаус был родным братом хозяина, Цезарь фон Хофаккер — двоюродным, Петер Йорк фон Вартенбург — племянником. Кроме них и Адама фон Тротт цу Зольца, в комнате находились еще Мерц фон Квирнгейм, новый (вместо переведенного к Фромму Штауффенберга) начальник штаба у Ольбрихта, полковник Ганзен из абвера и Фритц Дитлоф фон Шуленбург, так и не сумевший перебраться через линию

фронта на Востоке.

— Надеюсь, — сказал полковник Штауффенберг, — что наш совет заслуживает того, чтобы его называли «семейным» в смысле не только кровного родства, но и нашего братства по духу.

— Которое отнюдь не мешает нам спорить до хрипоты по самому пустячному поводу, — заметил Квирнгейм.

Штауффенберг рассмеялся:

— Мой дорогой Мерц! Если вы думаете, что у родных братьев дело обходится без драк, спросите Бертольда, он вам на этот счет может кое-что рассказать. Однако Адам прав; с вашего позволения, я попытаюсь подвести итог тому, что здесь говорилось. Вопрос первый: сроки. Все согласны, что откладывать действие нельзя. До сих пор мы позволяли себе медлить, выжидая стечения благоприятных обстоятельств; одиннадцатого в Берхтесгадене я мог взорвать бомбу, но не сделал этого из-за отсутствия Гиммлера. Очевидно, это было ошибкой. Вчера, правда, выбора у меня не было — я просто не успел, Гитлер неожиданно вышел и уже не возвращался, совещание окончилось без него. На следующем совещании я взорву бомбу в любом случае — независимо от числа и состава присутствующих, лишь бы Гитлер на-

ходился в пределах досягаемости. Действовать немедленно нас вынуждает военная обстановка, которая характеризуется сегодня бесспорной уже и совершенно очевидной неспособностью вермахта сдерживать противника не только на Востоке, но и на Западе… Кстати, забыл сказать: известие о гибели Роммеля не подтвердилось. Убиты его адъютант и водитель, фельдмаршала доставили в лазарет в очень тяжелом состоянии, однако он жив…

— Но из игры выбыл, — заметил Йорк.

— Да, к сожалению; поддержка Роммеля очень нам помогла бы. Итак, простой взгляд на карту фронтов убеждает нас, что государственный переворот — единственное, что еще может спасти Германию от тотальной катастрофы, — должен быть осуществлен в ближайшие дни. Иначе он вообще потеряет смысл. Теперь вопрос второй: шансы на успех. Считаю их вполне реальными относительно первой фазы переворота, то есть самого момента захвата власти; здесь все настолько продумано, что осечки быть просто не должно. Меня беспокоит другое: сумеем ли мы эту власть удержать. Господа, мы должны быть предельно трезвы в оценках и прогнозах. Главное, из чего следует исходить, — это тот печальный факт, что

мы изолированы от немецкого народа и не можем рассчитывать на его поддержку — а может быть, даже и одобрение. Не будем бояться назвать вещи своими именами: то, что мы намерены совершить, — это не революция, а типичный дворцовый переворот, и именно так он будет воспринят. Даже в случае успеха! Как только наши имена станут известны — а известны они станут в любом случае, — нас прежде всего воспримут как сборище заядлых реакционеров, поскольку движение наше объединяет в основном представителей самых непопулярных в народе групп немецкого общества, а именно, — Штауффенберг поднял три пальца изуродованной руки и стал загибать их по одному, — крупного чиновничества, высшей финансовой буржуазии и, наконец, офицерской касты. Вот в этом и заключается самая неблагополучная сторона дела, и именно здесь — я убежден! — именно здесь перед новым правительством встанут основные трудности. Предвидя их, мы попытались — правда, слишком поздно — создать нечто вроде единого общенационального фронта, включая коммунистов. Как бы мы с вами ни относились к марксизму, нельзя закрывать глаза на тот очевидный факт, что в течение последних десяти лет коммунисты были

самыми последовательными и непримиримыми противниками режима. Они к тому же тесно связаны с народом…

— Еще теснее — с Москвой…

— Не надо играть словами! Их связь с Москвой естественна и в данном случае совершенно оправданна: и у нас с вами, и у Москвы, и у Лондона с Вашингтоном цель одна общая, и эта цель есть уничтожение национал-социализма как государственной системы.

— Цель Москвы, Клаус, может быть несколько шире: уничтожение Германии как государства.

— Вот в это я не верю, — возразил Штауффенберг. — Именно не верю — это вопрос интуитивного доверия, поскольку ничем более точным здесь оперировать не приходится.

— Доверия Сталину?

— Да, если угодно! Нам с вами, разумеется, ближе и понятнее — и симпатичнее — люди типа Рузвельта и Черчилля. Однако ни от того, ни от другого мы ни разу не услышали ничего подобного сказанному Сталиным: я имею в виду его слова о том, что гитлеры приходят и уходят, а Германия остается.

— Пропаганда…

— Разумеется, пропаганда! Но именно поэтому

слова Сталина и заслуживают внимания. Если он решился на такое высказывание, значит оно соответствует его целям. Оно мне представляется тем более знаменательным, что было сделано в то же самое время, когда советская печать продолжала кампанию разжигания ненависти к немцам как к противнику — все эти статьи Эренбурга, стихи «Убей немца» и прочее. Если в подобных материалах не всегда четко разграничиваются понятия «немец» и «фашист», то Сталин своими словами как бы заверяет, что война ведется против германского нацизма, но не против германской нации. Заметьте, кстати, что в советской печати ни разу не появлялось призывов к послевоенному расчленению Германии, как того требуют некоторые английские и американские газеты. Однако не будем отвлекаться! Я говорил о попытке наладить сотрудничество с коммунистическим подпольем — она, как вы знаете, сорвалась, гестапо нас опередило, и при этом мы потеряли двух соратников — Лебера и Рейхвейна. Предпринимать дальнейшие шаги в этом направлении уже поздно, следовательно внутри страны мы остаемся в том же качестве изолированно действующей силы. Что касается внешних связей, то они хорошо налажены на Западе и совершенно

отсутствуют на Востоке — этого нам уже тоже не изменить. Остается одно: немедленно после переворота мы начинаем переговоры с советским и англо-американским командованием, это пока должны быть переговоры военных с военными, не на правительственном уровне. Итак: устранение фюрера в ближайшие дни, немедленное прекращение огня на всех фронтах и затем Адам отправляется в Лондон, а вы, Фриц, — в Москву. Надеюсь, там еще помнят вашего дядюшку…

После своего перевода в штаб армии резерва Штауффенберг значительно реже виделся с Дорнбергером, разве что иногда случайно в кантине. Именно там они встретились вечером во вторник восемнадцатого: зайдя поужинать, полковник огляделся в поисках более свободного столика и увидел Дорнбергера сидящим в углу под пальмой.

— Вы чертовски меланхолично выглядите рядом с этим растением, Эрих, — сказал он, подойдя. Во внеслужебной обстановке Штауффенберг не поощрял формальное титулование между коллегами по заговору и демонстративно обращался к ним по фамилии или даже просто по имени — к тем, кого знал ближе. — Еще не обслужены? Я тогда присоединюсь, с вашего позволения.

— Садитесь, Клаус.

— У вас неприятности какие-нибудь?

— Те же, что и у всех. Вы, кстати, тоже выглядите не блестяще, я бы сказал. Впрочем, вас спасает энергия.

— Этим и держимся…

Молоденькая кельнерша — кантину ОКХ обслуживали девушки из вспомогательных армейских частей — немедленно подошла принять заказ, увидев, что к хромому капитану подсел сам начальник штаба, да еще к тому же и граф.

— Есть что-нибудь новое? — спросил Эрих, когда она удалилась.

— Фромм просил подготовить на послезавтра доклад о ходе формирования новых народно-гренадерских дивизий.

— Доклад для совещания в ставке?

— Так точно. Ее, кстати, переводят в Цоссен — русские уже в ста километрах от Растенбурга. Но фюрер пока там.

— Значит, в четверг, — задумчиво произнес Эрих, чертя вилкой на скатерти геометрические фигуры.

— Да, двадцатого. Вылетаем прямо с утра.

— А скажите, Клаус… Спрашивать об этом не ко времени, я понимаю, но все же… Насколько вы

верите в успех?

— У меня нет ни тени сомнения, — не задумываясь ответил Штауффенберг. — Хотя, возможно, мы имеем в виду несколько разные вещи. Что вы подразумеваете под успехом?

— Насколько я знаю, под этим словом всегда подразумевалось достижение поставленной цели. Наша цель будет достигнута, если послезавтра некий господин перестанет исполнять все свои функции.

— Вот этого я вам гарантировать не могу, хотя и постараюсь сделать все от меня зависящее. Тут, видите ли, может вмешаться слишком много случайных и непредсказуемых факторов… Вы же знаете, как это бывает. Но вы назвали одну цель: на самом деле их две. Так вот, вторая — главная! — будет нами достигнута в любом случае.

— Клаус, вы начинаете говорить загадками. Что это еще за вторая, главная?

— Моральный пример, Эрих.

— Вот как… Любопытная постановка вопроса. — Эрих усмехнулся. — Я-то всегда считал, что главная наша цель — покончить с войной. Каждый ее лишний месяц, как вам известно, обходится сейчас Германии в двести тысяч жизней. Если война продлится еще год, мы потеряем

еще — ни много ни мало — два миллиона. А вы, значит, мыслите отвлеченными категориями морали…

— Нет, почему же. И чисто военными тоже; в конце концов, это моя профессия! Но ведь не в них суть, согласитесь… Я Дитриху говорю: помилуй, кто же ходит с такой карты в твоем положении, ты посмотри, что у тебя на руках! Но вы его знаете: иногда бывает упрям как мул — продулся, естественно, капитальнейшим образом…

Кельнерша поставила перед ними две порции гуляша по-венгерски, тарелку с четырьмя тонкими ломтиками хлеба, две бутылки светлого безалкогольного пива и отошла, пожелав господам приятного аппетита.

— Нет, Клаус, вы неисправимы, — заметил Эрих, принимаясь за еду. — Продолжайте, впрочем, я все же хочу понять вашу мысль.

— Она предельно проста, Эрих. Вы не можете не согласиться, что наша цивилизация зашла в тупик. Мы все попросту одичаем, если после этой войны не сумеем вернуться к пониманию каких-то… хотя бы основных, элементарных нравственных принципов, которые давно осмеяны и отброшены за непригодностью. Я думаю, вы согласитесь и с тем, что пора начать о них

напоминать, и лучше не на словах, а делом. Почему эти принципы в свое время утратили для нас привлекательность и стали объектом осмеяния — вопрос другой. Тут вина наша общая. Когда в четырнадцатом году преподаватели во всех немецких гимназиях твердили ученикам, что «Dulce et decorum est pro Patria mori»,[18] — это была гнусность, потому что высокими словами гнали юношей на бессмысленную и потому преступную, не имеющую никакого оправдания бойню. Неудивительно, что наше с вами поколение в веймарские времена почти поголовно переболело нигилизмом, решив сгоряча, что само понятие Отечества — равно как и многие другие — не заключает в себе ничего, кроме высокопарной лжи и лицемерия… Нынешние господа, не прибегая уже к латинским цитатам, снова сумели сыграть на чувстве патриотизма, снова — и еще гнуснее — использовали его в своих низких целях; попытайтесь себе представить, как это скажется на морали следующего поколения немцев. Эрих, я не люблю громких слов, но попробуем мыслить перспективно — речь идет о духовном здоровье нации, это серьезнее, чем

[18] Notes: 18

«Сладостно и почетно умереть за Отечество» *(лат.)* — Гораций, Оды (III, 2).

цифры потерь…

— За каждой единицей этих цифр стоит чья-то личная трагедия, — сказал Эрих. — Что может быть серьезнее этого, я не знаю.

— А я знаю: трагедия целого народа, которому грозит обесчеловечиванье. Вот что серьезнее всех личных трагедий, сколько бы их ни было. Поэтому и надо начать возвращать определенным словам и понятиям их подлинный, чистый смысл… мы-то ведь понимаем, что Отечество и в самом деле не пустой звук и что когда человек сознательно и свободно отдает за него жизнь, то это действительно сладостно и почетно…

К ним подсел какой-то майор, заговорил с полковником о делах. Эрих молча попрощался и пошел к выходу. Не знаю, насколько это сладостно, подумал он. И уж наверное, далеко не всегда почетно; нам, скорее всего, дожидаться посмертных почестей придется долго. В чем Клаус прав, так это в том, что человеку иной раз просто не остается ничего другого — чтобы остаться человеком…

Проходя мимо комнаты Бернардиса, он заглянул и спросил, нет ли на сегодня еще работы.

— На сегодня — все, — ответил тот, — вы свободны как ветер, можете лететь домой и до

завтрашнего утра забыть о службе.

— Черта с два о ней забудешь. Я посижу еще у себя, надо кое-что закончить.

Это «кое-что» было письмо, которое он не дописал вчера вечером. Его трудно было начать, сейчас писалось легче — главное было уже сказано. В комнате было тихо, машинистки давно ушли, но по всем этажам огромного здания продолжалась незатихающая ночная жизнь: хлопали двери, слышались телефонные звонки, гудел лифт, кто-то проходил по коридору. Подписавшись и поставив дату, Эрих, не перечитывая, вложил письмо в конверт, заклеил, надписал адрес и задумался, подперев голову кулаком и глядя на подсунутую под настольное стекло цветную открытку с репродукцией «Лукреции Панчатики» кисти маэстро Аньоло Бронзино. Посидев так, он придвинул телефонный аппарат и набрал номер редактора Розе.

Через час он был в Тельтове. Знакомый кабинетик показался ему еще более тесным и захламленным, чемоданов в углу заметно прибавилось.

— Еще родственники? — спросил Эрих, взглянув на исцарапанный, с продавленной крышкой кофр, затиснутый между письменным столом

и шкафом.

— Нет, вдова одного нашего корректора. Бедняга погиб еще под Москвой, а их вот на прошлой неделе… Хорошо хоть была в это время на работе. Ужинать будете?

— Нет, спасибо, поел на службе. Вот если у вас еще остался тот «болс»…

— Сделайте одолжение. — Розе, оживившись, полез в тумбу стола. — Этим добром меня снабжают более или менее регулярно… пока. Сколько еще времени сможет продержаться Западный фронт?

— Несколько дней назад Роммель говорил о трех неделях. Сделайте поправку на общеизвестную любовь фельдмаршала к сильным выражениям, и вы получите оптимальный срок — месяца два. Так что запасайтесь, Пауль, пока есть время. Ваше счастье, что там нет русских: те не топтались бы седьмую неделю вокруг Кана… Прозит!

— Прозит. Я сейчас слушал Лондон: вчера через Москву провели шестьдесят тысяч наших пленных, взятых в Белоруссии.

— Вот как… — Эрих усмехнулся, допил рюмку одним глотком. — У Сталина чисто восточная слабость к пышным зрелищам. Говорят, каждый

свой крупный успех на фронте он отмечает тем, что приказывает устраивать над Кремлем колоссальный фейерверк.

— В Белоруссии действительно такой разгром, как утверждает Лондон?

— Что утверждает Лондон, я не знаю, но группа «Центр» разгромлена полностью. Двадцати восьми дивизий как не бывало. Пауль, у меня к вам еще одна просьба.

— Сколько угодно, — отозвался Розе, подливая ему из глиняной бутылки.

— Есть у вас какой-нибудь приятель — совершенно надежный, но в то же время застрахованный от ареста в случае нашего провала?

— Кого теперь можно считать застрахованным? Впрочем… — Он долго думал, потом кивнул: — Есть, пожалуй. Один священник.

— Он сейчас в Берлине? Тогда вот что… — Эрих достал из кармана кителя запечатанный конверт и протянул Розе. — Отдайте ему завтра это письмо. В пятницу утром, не раньше, он должен бросить его в почтовый ящик. У него есть телефон?

— Есть, сейчас найду. — Розе стал листать справочную книгу, нашел и продиктовал номер. — Вы будете ему звонить?

— Да, вечером двадцатого. А если звонка не будет, в пятницу пусть отправляет. Пауль, это очень важно — прошу вас, запишите, чтобы ничего не спутать.

Розе взял листок, четко написал на нем: «Опустить утром в пятницу 21.7.44, если не последует другого распоряжения» — и скрепкой прикрепил листок к конверту.

— Так будет надежнее. А почему это, собственно, господин доктор не желает доверить отправку этого письма мне самому?

— Да потому, что до пятницы господин редактор может вместе с другими «спасителями Германии» оказаться там, откуда писем не отправляют.

— Ну меня-то за что? Я ведь не из активных, скорее попутчик.

— Классифицировать нас будут потом, сперва посадят. Налейте-ка еще, Пауль…

Они молча выпили, потом Розе ухмыльнулся, поскреб лысину.

— Вообще-то, вы правы. Помните, как я вас вербовал прошлой весной?

— Кстати, вы ведь тогда так и не назвали человека, который поручил вам со мной говорить.

— Неужто не назвал? Скажите на милость, за-

памятовал, значит. Это был некто Шлабрендорф, юрист…

Глава 2

Переоборудованный для нужд фельдсвязи бомбардировщик «Хейнкель–111» приземлился на аэродроме Растенбург в одиннадцатом часу утра. Умолкли двигатели, солдаты аэродромной команды сунули под колеса колодки, в днище фюзеляжа, позади остекления штурманской кабины, открылся люк, высунулась алюминиевая лесенка, по ней, осторожно нащупывая каждую ступеньку, стали спускаться ноги в сверкающих твердыми голенищами сапогах и генеральских — с двойным алым лампасом — бриджах. За генералом из самолета вышли еще два офицера.

Один из прибывших, полковник с неподвижно висящим протезом правой руки и черной повязкой на глазу, поблагодарил спрыгнувшего следом летчика за благополучный полет и попросил держать машину в готовности к обратному вылету после полудня.

— Нет-нет, спасибо, ефрейтор, это не тяжело, — сказал он водителю, который хотел поднести к автомобилю его портфель. Точно такой же —

большой, новый, желтой добротной кожи — был и у прилетевшего с ним лейтенанта.

Открытый военный «мерседес» описал дугу по летному полю и, миновав аэродромный КПП, помчался по прямой бетонированной дороге, проложенной через старый сосновый лес. Через несколько минут они подкатили к западному караулу внешней зоны ограждения «Волчьего логова».

Во внутренней зоне их встретил комендант. Он сам вписал прибывших в книгу — генерал-майор Штифф, полковник граф фон Штауффенберг, обер-лейтенант фон Хефтен, пометил дату и точное время: 20.7.44, 10 час. 32 мин.

— Вас, полковник, генерал-фельдмаршал Кейтель просил быть у него в двенадцать ноль-ноль, — сказал он, обращаясь к Штауффенбергу. — А пока, если господа желают позавтракать, мой адъютант проводит вас в казино…

Следом за ротмистром фон Мёллендорфом они направились к казино. Штауффенберг поглядывал по сторонам — он уже не первый раз посещал ставку, но привыкнуть к виду внутренней зоны было трудно. Тишина, нарушаемая лишь лаем собак на псарне, безлюдье, мощные циклопические стены бункеров, варварски размалеванные

огромными зигзагами и змеистыми полосами камуфляжа по грубой шероховатой поверхности неоштукатуренного бетона, — все это напоминало декорацию к фантастическому фильму ужасов и выглядело угнетающе мрачно даже таким солнечным июльским утром; да, можно себе представить, подумал Штауффенберг, как это смотрится в ненастную погоду или зимой, когда воет метель… Говорят, Гитлер сам принимал участие в проектировании своего «логова» — что ж, тут виден своего рода извращенный артистизм, утонченность с обратным знаком, — пожалуй, только болезненная фантазия несостоявшегося художника могла подсказать облик этой нацистской валгаллы. Глухие стены, валуноподобно округленные по углам и верхнему краю, вздымались на высоту десятка метров — примерно три этажа; и еще, говорят, не менее пяти подземных ярусов в каждом бункере. Штауффенберг приподнял в руке портфель, словно взвешивая неощутимую тяжесть огромной разрушительной энергии, запрессованной в килограммовый брусок гексита. Увидеть бы, как это рванет — там, внизу, под многометровой толщей монолитного железобетона, замешенного на стальной стружке…

За завтраком в полупустом зале казино полковник был непринужденно весел, добродушно подшучивал над своим адъютантом, посочувствовал фон Мёллендорфу, который стал жаловаться на собачью тоску в этой мазурской глуши, и рассказал несколько столичных анекдотов. В половине двенадцатого он поднялся, сказав, что опаздывать к «старому господину» не годится, а ему, перед тем как идти к Кейтелю, надо еще повидать генералов Буле и Фельгибеля. Хефтен остался допивать кофе с ротмистром.

Фельгибель, начальник узла связи ставки, был участником заговора. Зайдя к нему, Штауффенберг еще раз уточнил детали: немедленно после взрыва надо сообщить Ольбрихту, что дело сделано, и затем блокировать все каналы связи — хотя бы на три-четыре часа ставка должна быть полностью отрезана от внешнего мира. Фельгибель заверил, что блокада будет полной; неизвестно, как долго удастся ее удержать, но он сделает все возможное.

Ровно в полдень адъютант Кейтеля фон Фрейенд пригласил Штауффенберга в кабинет начальника штаба ОКВ. Тот встретил полковника с обычной своей суховатой любезностью, поинтересовался некоторыми цифровыми данными

доклада, записал их себе в настольный блокнот.

— Кое-что здесь следует еще дополнительно уточнить, господин генерал-фельдмаршал, — сказал Штауффенберг. — Мне обещали позвонить из Берлина перед самым совещанием, утром этих данных еще не было.

— Хорошо, но только учтите, что времени у вас осталось уже совсем мало — совещание начнется раньше, — сказал Кейтель. — Сегодня прибывает дуче, поэтому к четырнадцати часам фюрер хочет быть свободным от текущих дел. Собственно, нам уже пора…

Он посмотрел на часы и стал неторопливо выбираться из-за стола. Штауффенберг почтительно отступил к двери, пропуская фельдмаршала.

…Черт побери, это уже осложнение: из точно разработанного графика действий выпадает целых сорок минут, и сейчас им с Вернером необходимо остаться наедине, чтобы установить взрыватель… Выйдя следом за Кейтелем из бункера ОКВ, Штауффенберг оглянулся, щурясь от солнца, и, к своему облегчению, увидел Хефтена с его портфелем, быстрым шагом идущего со стороны казино.

— Господин генерал-фельдмаршал, прошу позволения отлучиться на пять минут, — сказал

он. — Мне необходимо освежиться, переменить сорочку — мы ведь прямо с аэродрома, а сегодня такая жара — я думал, успею до начала совещания…

— Ну хорошо, ступайте, только поскорее, — с оттенком досады кивнул Кейтель.

Его адъютант проводил полковника и Хефтена в свою комнату и вышел.

Запершись, они вытащили бомбу из портфеля Штауффенберга, развернули обертку из плотной крафт-бумаги, Хефтен достал плоскогубцы.

— Погодите, Вернер, — сказал полковник. — Я, пожалуй, возьму с собой и тот — все-таки надежнее будет…

Из портфеля Хефтена вынули второй заряд, развернули, проверили. Когда начали засовывать обе бомбы в портфель Штауффенберга, оказалось, что они там не помещаются.

Тем временем к ожидавшему снаружи майору Фрейенду подошел дежурный телефонист и доложил, что полковника Штауффенберга просят позвонить на узел связи.

— Вы знаете, где моя комната? Полковник находится там, подите и скажите это ему, — велел майор.

Телефонист постучал в дверь майорской комна-

ты, оттуда не сразу спросили: «В чем дело?», потом замок щелкнул и коренастый обер-лейтенант с расстроенным лицом распахнул дверь. Телефонист, вытянувшись, отрапортовал поручение, он успел заметить внутри комнаты раскрытый портфель на койке и кучу оберточной бумаги.

— Спасибо, я позвоню, — сказал полковник, вытаскивая что-то из портфеля, — вы свободны.

— Так что будем делать? — спросил Хефтен, заперев дверь за солдатом.

— Черт с ним, пойду с одной. В конце концов, это уже перестраховка — в такой железобетонной пещере достаточно взорвать ручную гранату, чтобы там не осталось ничего живого… — Он посмотрел на ручные часы. — Быстрее, уже двенадцать двадцать семь. Ломайте капсюль!

Обер-лейтенант открыл заглушку на торцевой стенке уже вложенной в портфель бомбы и, взявшись плоскогубцами за поблескивающий в отверстии латунный стержень, сдавил его резким нажатием. Внутри хрустнуло стекло.

Когда они вышли наружу, Кейтель, не дождавшись, ушел уже далеко вперед. Фон Фрейенд сделал нетерпеливый жест — скорее, скорее!

— Бога ради, господин полковник, фюрер уже на месте, мы опаздываем…

— Да, да, идем. — Штауффенберг обернулся к Хефтену. — Никуда не отлучайтесь от машины: совещание будет коротким, и мы немедленно вылетаем обратно…

Хефтен козырнул и скрылся за углом, Штауффенберг с Фрейендом быстро пошли по бетонированной дорожке Когда майор миновал поворот к бункеру Гитлера, Штауффенберг удивленно спросил:

— А что, разве сегодня не там?

— Нет, фюрер распорядился провести совещание в картографическом бараке. В бункере что-то не ладится с вентиляцией…

Штауффенберг озабоченно нахмурился — еще одно отклонение от плана, на этот раз более серьезное: мощность заряда была рассчитана на убойное действие взрывной волны в замкнутом пространстве с особо прочными стенами. А вторая бомба осталась у Вернера…

Когда они вошли в барак, совещание уже началось. Здесь Штауффенберг еще не бывал — помещение было просторным, середину занимал огромный, метров шести в длину, дубовый стол, справа от входной двери находился столик дежурного, в дальнем левом углу — большой консольный радиоаппарат. Вокруг стола, где были

разложены карты, расположились участники совещания. Гитлер стоял спиной к входной двери, низко пригнувшись к карте, словно обнюхивая ее: он был близорук, но очков упрямо не носил, считая это несовместимым с достоинством вождя нации. Йодль и Кейтель стояли слева от него, Хойзингер и генерал люфтваффе Кортен — справа, напротив входа, по другую сторону стола, Штауффенберг увидел начальника исторического отдела ОКВ генерала Шерфа, представителя военно-морского командования вице-адмирала Фосса с двумя незнакомыми флотскими офицерами, генерала войск СС Германа Фегелейна — «родственника» фюрера, женатого на сестре Евы Браун; всего здесь было человек двадцать пять. Хойзингер своим неприятным вкрадчивым голосом докладывал обстановку на Восточном фронте, водя указкой по карте центрального участка.

Осторожно протиснувшись между Кортеном и помощником Хойзингера полковником Брандтом, Штауффенберг поставил портфель под стол, потом подошел к Кейтелю и шепотом попросил разрешения отлучиться на узел связи — ему должны передать из Берлина последние данные для доклада, и пока есть время… Кейтель кивнул,

и полковник выскользнул из зала.

В гардеробе он взял фуражку и пояс с пистолетной кобурой, неторопливо привел в порядок мундир и вышел наружу, в знойное безветрие июльского полдня, густо настоянное на запахах разогретой смолы и хвои. Он шел обычным быстрым шагом делового человека, то и дело поглядывая на ручные часы; узел связи, однако, миновал и направился прямо к стоянке автомашин, где ждал «мерседес», привезший его с Растенбургского аэродрома.

А в картографическом бараке Хойзингер продолжал свой доклад. Следя за его объяснениями, Гитлер переходил от карты к карте, перемещаясь вдоль стола по часовой стрелке. Он уже давно отошел от того места, где стоял принесенный полковником портфель. Помощник Хойзингера споткнулся о портфель, досадливо поморщился и ногой задвинул его дальше под массивную дубовую крышку стола. В 12:42, когда начальник оперативного отдела произносил заключительные фразы своего доклада, в портфеле сработал взрыватель. Кислота из раздавленной ампулы переела калиброванную медную проволочку предохранителя, и от взорвавшегося капсюля детонировал гекситовый заряд бомбы английского

производства.

Штауффенберг был уже в машине, когда грохот взрыва расколол тишину внутренней зоны. Полковник и сидящий рядом Хефтен оглянулись и увидели тучу дыма, медленно расползающуюся между стволами сосен. Дело было сделано. Штауффенберг наклонился вперед и тронул водителя за плечо.

— На аэродром, — сказал он спокойным голосом. — А вы, Вернер, демонтируйте пока запасное устройство…

Двумя часами позже, когда «хейнкель» Штауффенберга находился в воздухе между Растенбургом и Берлином, штаб заговорщиков на Бендлерштрассе все еще бездействовал, ожидая условленного сигнала от Фельгибеля. Но сигнала не было, из ставки вообще не поступало никаких известий. В Берлине не знали, что Фельгибель растерялся, встретившись с непредвиденным вариантом: по договоренности со Штауффенбергом он должен был немедленно сообщить Ольбрихту, удалось ли взорвать бомбу или не удалось, все считали, что это и будет означать успех или неудачу, никто не предполагал третьей возможности — что бомба взорвется, но Гитлер останется жив, А случилось именно это.

Фельгибель услышал взрыв, сидя в своем служебном кабинете. Услышал, облегченно пробормотал: «Ну слава богу, наконец-то с мерзавцем покончено...» — и уже протянул руку к аппарату УВЧ-связи, чтобы передать в Берлин условное сообщение. Но что-то его остановило — то ли интуиция, то ли просто свойственная добросовестному службисту привычка все проверять самому, особенно когда речь идет о вещах серьезных. А тут уж куда серьезнее — одним телефонным звонком привести в действие механизм государственного переворота!

Когда он вышел из помещения узла связи, на территории ставки царила паника. Выла сирена, лаяли собаки, охранники и офицеры всех рангов и родов войск бежали с разных сторон к окутанному дымом картографическому бараку, из окон которого слышались крики. Подбежав ближе вместе с другими, Фельгибель увидел, что в проеме сорванной с петель двери показался из дыма — кто бы вы думали? Генерал не поверил своим глазам, но верить приходилось: непрезентабельный на вид, с трясущейся головой и обгорелыми волосами, мерзавец был явно жив и даже, судя по первому впечатлению, не особенно тяжело ранен, хотя и шатался как пьяный, а левую руку

нес перед собой, придерживая правой, такой же трясущейся. Мундир на Гитлере был в пятнах копоти и каком-то мусоре, правая штанина брюк изорвана в клочья.

— Что это?! — хрипло и излишне громко, как говорят глухие, спросил он, обводя всех безумным взглядом. — Что это было?!

Единственным, пожалуй, кто мог здесь ответить сейчас на этот вопрос, был генерал Фельгибель. Остальные ничего не понимали. Как выяснилось позднее, никому в первый момент и в голову не пришло объяснить взрыв покушением, произведенным кем-то из участников совещания. Пока прибежавший лейб-медик, профессор Морелль, оказывал фюреру первую помощь, столпившиеся вокруг высказывали самые разные предположения.

Кто-то сказал, что сработала мина замедленного действия, заложенная когда-то еще строителями. Другие возражали, что мина — вздор, ее давно обнаружили бы; взорвалась бомба, небольшая авиабомба, сброшенная с советского легкого бомбардировщика, — эти деревянные бипланы, в просторечии именуемые на фронте «русс-фанер», обладают поистине невероятной способностью прокрадываться сквозь самые плотные системы

ПВО, поскольку летят низко, а локаторы их не засекают… Кто-то предложил совсем уже фантастическую версию, согласно которой сюда угодила ракета, сошедшая с курса во время испытаний на одном из полигонов на территории генерал-губернаторства.

Лишь тремя часами позже, когда присланные Гиммлером криминалисты стали просеивать мусор в исковерканном бараке и нашли кусочки латуни и мельчайшие обрывки светло-желтой кожи, кто-то наконец вспомнил о портфеле, оставленном под столом одноруким полковником. Пока же Штауффенберг был вне всяких подозрений, это позволило ему вместе с Хефтеном не только покинуть территорию ставки, но и спустя полчаса беспрепятственно улететь с аэродрома Растенбург.

Гитлеру между тем оказали первую помощь. От носилок он отказался и медленно похромал к своему бункеру, опираясь на руку врача. Проходя мимо начальника связи, он встретился с ним глазами и вдруг закричал, тряся вытянутой рукой:

— Ни одна душа в Германии не должна узнать, что здесь произошло! Вы слышите меня, Фельгибель? Ни одна живая душа!

— Так точно, мой фюрер, — машинально ото-

звался генерал, все еще не опомнившийся от потрясения.

И, вернувшись к себе, он, не сообразив (или уже не считая нужным) поставить в известность заговорщиков о непредвиденном повороте событий, блокировал все каналы связи, на несколько часов отрезав ставку от внешнего мира.

А в Берлине ждали, не понимая причин молчания. Не было связи и с «хейнкелем», на котором летел Штауффенберг: когда бомбардировщик переоборудовали, рацию с него сняли вместе с пулеметами, штурманским прицелом и бомбодержателями.

В ставку удалось дозвониться лишь около пятнадцати часов. Там подтвердили — да, было покушение, но подробностей никто не знал.

Подробности, впрочем, заговорщиков уже не интересовали. Важно было одно: бомбу Штауффенберг взорвал, следовательно фюрера больше нет. Возможность того, что он мог уцелеть при взрыве, все еще никому не приходила в голову.

Итак, настало время задействовать «Валькирию». Формально отдать условный приказ мог лишь командующий армией резерва генерал-полковник Фридрих Фромм; прошлый раз, в субботу, пятнадцатого, это сделал Ольбрихт, так

как Фромма на месте не было, но сегодня он находился при исполнении обязанностей. Обойти его было бы прямым нарушением всех правил, но и доверять командующему заговорщики не могли: Фромм, хотя и догадывался о заговоре, был труслив и двуличен и ждать от него решительных действий не приходилось. Поэтому Ольбрихт, нарушая субординацию, решил и на этот раз взять ответственность на себя.

Около 15:30 в части берлинского гарнизона начал поступать приказ поднять войска по боевой тревоге. Начальник гарнизона генерал Корцфлейш получил распоряжение немедленно прибыть на Бендлерштрассе, военному коменданту столицы фон Хазе дали телефонное указание быть готовым к боевым действиям; все это делалось без ведома Фромма — приказы подписывал Мерц фон Квирнгейм.

В 16:10 Ольбрихт вызвал его к себе.

— Звонил Хефтен, — сообщил он, — они только что приземлились в Рангсдорфе, скоро будут здесь. Клаус просит всемерно ускорить стягивание войск к центру города — давайте-ка проверим, чем конкретно мы можем располагать… — Ольбрихт положил перед собой лист с машинописным текстом. — Итак, унтер-офи-

церское училище — Потсдам, курсы усовершенствования танковых войск — Гросс-Глинике, танковые училища — Вюнсдорф и Крампниц, оружейно-техническое училище сухопутных войск…

— Это и пиротехническое уже подняты по боевой тревоге, — сказал полковник, — как и гарнизон Шпандау. Да, и пехотное в Дёберице тоже.

— Только эти три плюс Шпандау? А остальные?

— Приказы отправлены всем.

— Отправлены, — проворчал Ольбрихт. — Приказы, мой дорогой, должны быть еще получены — и выполнены, вот что главное… Скажите Бернардису, чтобы подобрал двух-трех офицеров понадежнее, и пусть-ка он едет с ними. — Он постучал пальцем по списку. — Надо всюду проследить, чтобы не было никаких осечек…

Бернардис с Дорнбергером и лейтенантом фон Оппеном отправились поднимать войска. Сам подполковник поехал в казармы охранного батальона «Великая Германия», Оппена послал в Вюнсдорф, а Эриха — в расположенные возле Потсдама Крампниц и Гросс-Глинике. Эрих забрался в коляску мотоцикла, и мощный «цюндапп» с ревом помчался по набережной

Ландверканала.

А Ольбрихт тем временем пошел к Фромму — надо было наконец выяснить позицию человека, от чьего имени вот уже почти час во все части берлинского гарнизона рассылался приказ боевой тревоги. Фромм в своем роскошном кабинете пребывал — или делал вид, что пребывает, — в полном неведении; когда Ольбрихт сказал ему, что, согласно только что поступившим сведениям, в ставке произошло что-то весьма серьезное (говорят даже, что фюрер пал жертвой покушения) и ввиду возможных беспорядков следует незамедлительно принять некоторые меры, предусмотренные планом «Валькирия», Фромм возразил, что торопиться не надо. Лично ему ставка ничего не сообщала, и совершенно неизвестно, что там в действительности произошло. Покушение — но каким образом? Трудно допустить, что преступникам удалось проникнуть в святая святых — внутреннюю зону «Вольфшанце», да и кто, скажите на милость, мог бы дерзнуть на столь чудовищное злодеяние?

Генерал-полковник прекрасно знал, кто мог дерзнуть. Не будучи ни дураком, ни слепым, он был достаточно осведомлен о тайной (а впрочем, не такой уж и тайной) деятельности некоторых

сотрудников своего штаба, и прежде всего — самого Ольбрихта, начальника общевойскового управления. Догадывался он и о том, что войска, поднятые по сигналу «Валькирия», ворвутся в Берлин вовсе не для охраны правительственных кварталов от толп взбунтовавшихся иностранцев. С первых же слов Ольбрихта он понял, что начинается военный переворот, путч.

И ему надо было спешно, тут же на месте решить, что делать, на чью сторону становиться — подтолкнуть пошатнувшийся режим или попытаться его спасти. В его возможностях было и то и другое: подчиненная ему армия резерва численностью около двух миллионов человек, дислоцированная по военным округам внутри рейха, представляла собой вполне реальную силу, способную изменить положение в ту или иную сторону. Следовательно, от него — Фридриха Фромма — зависело сейчас все.

Бремя громадной ответственности, свалившееся внезапно на этого хитрого и трусливого карьериста, оказалось для него непосильным. Ничего не ответив Ольбрихту и ничего не решив для себя, он стал звонить в ставку. Его долго не соединяли, наконец Кейтель ответил. Фромм жестом пригласил Ольбрихта взять отводную

трубку.

— Господин генерал-фельдмаршал, что, собственно, происходит в ставке? — спросил он осторожно. — Здесь в Берлине ходят самые дикие слухи…

— А что должно происходить? — спросил в свою очередь Кейтель, явно боясь сболтнуть лишнее и желая выведать степень осведомленности собеседника. — Все в полном порядке.

— Мне даже сообщили, будто бы фюрер… пал жертвой какого-то покушения?

— Что за чепуха! — негодующе воскликнул фельдмаршал. Но тут же, забыв, вероятно, свои же только что произнесенные слова о «полном порядке» в главной квартире, продолжал: — Покушение действительно имело место, но, к счастью, не удалось. Фюрер жив и лишь незначительно ранен. Между прочим, где ваш начальник штаба, полковник граф Штауффенберг?

— Штауффенберг сегодня еще ко мне не являлся, господин генерал-фельдмаршал. Он должен был быть у вас, насколько мне известно.

Кейтель пробурчал что-то невнятное, и линия разъединилась.

— Вот видите, — сказал Фромм Ольбрихту, кладя трубку, — ваша информация неточна.

Провидение еще раз сохранило нам бесценную жизнь фюрера, так что успокойтесь, никакой «Валькирии» не потребуется.

Ольбрихт пожал плечами, сказал: «Ну, тем лучше» — и вышел из кабинета командующего. Он был совершенно обескуражен; Кейтель, разумеется, мог и солгать, но все же… Говорил он, похоже, без паники в голосе, вдруг там и в самом деле не удалось? Но ведь Хефтен только что звонил с аэродрома и сказал, что дело сделано!

— Ничего не понимаю, — сказал он Квирнгейму. — Фромм при мне говорил с Кейтелем, и тот утверждает, что эта скотина жива…

— Да врет он, по обыкновению, — отмахнулся Мерц. — Ежедневно общаясь со своим хозяином, этот лакейтель попросту разучился говорить правду. Может, он скажет, что и покушения вообще никакого не было?

— Нет, факта покушения он не отрицает. Но фюрер, по его словам, «лишь незначительно ранен».

— Ну что за вздор! Не из пистолета же Клаус в него стрелял. Можете вы себе представить, чтобы кто-то мог уцелеть в комнате, где взорвался килограмм гексита?

— Кейтель, однако, жив.

— Его в тот момент могло там просто не быть! А если старику, пардон, понадобилось выйти в туалет?

— Ладно, не будем гадать. Граф должен вот-вот подъехать, тогда все узнаем из первых рук. Продолжайте пока рассылать приказы округам…

Медленно, со сбоями, раскручивался и набирал ход тяжелый механизм путча. Около семнадцати часов, когда Штауффенберг с Хефтеном приехали наконец в штаб, почти все подразделения, поднятые по тревоге, были уже на марше. Тыловые командования армейских корпусов получили условный сигнал и тоже начинали действовать согласно плану «Валькирия». Продолжать скрывать происходящее от Фромма было уже бессмысленно, и Ольбрихт опять пошел к командующему — на этот раз вместе со Штауффенбергом и Квиргеймом.

— Выходит, фюрер все-таки убит, — сказал он, — граф это подтвердил, он только что оттуда.

— Что значит «граф подтвердил»? Вы ведь сами слышали мой разговор с генерал-фельдмаршалом! Что за вздорные и возмутительные слухи вы тут распускаете, Штауффенберг?

— Экселенц, это не слухи. Я сам пронес в конференц-зал бомбу с установленным мною

взрывателем и слышал, как она взорвалась. Могу даже назвать точное время, когда это произошло: двенадцать часов сорок две минуты, я посмотрел на часы…

— Что?! Вы… вы… — Фромм начал угрожающе багроветь лицом, — вы мне осмеливаетесь говорить все это — и таким спокойным тоном! Вы преступник, граф Штауффенберг, изменник и государственный преступник!

— Экселенц, вам следует трезво оценивать обстановку. Фюрер убит, и…

— Да я не желаю вас слушать!! Ольбрихт, вызовите караул и немедленно арестуйте этого человека, чье имя я не желаю больше произносить!

— Опомнитесь, Фромм, — сказал Ольбрихт. — Совершен государственный переворот, центр Берлина занимают сейчас войска, поднятые по сигналу «Валькирия»…

— Какая еще, к черту, «Валькирия»! — заревел Фромм, вскакивая из-за стола. — Кто посмел — без моего ведома?!

— Приказ отдал полковник фон Квирнгейм по моему личному указанию.

Фромму стало страшно. Только теперь он понял, что избранная им позиция трусливого

невмешательства завела его слишком далеко, оказалась ловушкой. Колеблясь и выжидая, он против своего желания позволил втянуть себя в это безумное предприятие, — кто же теперь поверит, что подчиненные ему войска поддержали путчистов без его ведома и согласия? А все эти негодяи, эти авантюристы, забывшие о присяге, — мало того что сами лезут в петлю, так они еще тянут за собой и других! Не помня себя от ярости, командующий бросился на Ольбрихта с кулаками. Общими усилиями его утихомирили и заперли в соседней комнате, где уже сидел начальник гарнизона генерал Корцфлейш, который по вызову прибыл, но сотрудничать с путчистами отказался. Вскоре туда же препроводили еще одного задержанного — офицера СД, который явился с ордером на арест Штауффенберга.

Эрих тем временем успел побывать в двух танковых училищах. Убедившись, что приказ получен и выполняется, он из Крампница позвонил в ОКХ, чтобы узнать, вернулся ли Бернардис и не будет ли каких-либо других заданий.

— Нет, капитан, ваше начальство еще не вернулось, — сказал Мерц, — но задание для вас есть. Нам только что сообщили о захвате радиостанции Кёнигс-Вустерхаузен, поезжайте туда — и

чтобы передатчик был в рабочем состоянии.

— Помилуйте, я же не связист! Что я понимаю в передатчиках?

— А кто из нас понимает? Я вообще не отличу рубильника от трансформатора, вы все-таки ближе ко всей этой чертовщине. Связистов у меня под рукой нет ни одного, поэтому найдите их сами — арестуйте, если надо! Словом, поезжайте и разберитесь там на месте.

— Слушаюсь, — отозвался Эрих без воодушевления. — А что у вас? Клаус вернулся уже?

— Да, он здесь. Говорит, все прошло гладко, — ясно, Кейтель врет просто по привычке, чего ждать от этого прохвоста…

— Кейтель? Не понимаю. О чем вы, Мерц?

— Ну, он же уверял Фромма, будто Гитлер жив.

— Разве Фромм разговаривал с Кейтелем? Когда, уже после взрыва?

— Да, он звонил в ставку вскоре после того, как вы с Бернардисом уехали. Прошу вас, быстрее на радиостанцию — время не терпит…

Эрих, ничего не понимая, вышел из караульного помещения и остановился возле мотоцикла. Солдат за рулем запустил двигатель, покрутил рукоятку газа, вопросительно глядя на капитана.

— Теперь в Кёнигс-Вустерхаузен, — сказал

Эрих, снова забираясь в коляску.

— Господину капитану предпочтительно через центр или в объезд?

— Давайте по Кольцу, скорее доедем.

Через несколько минут Потсдам и Михендорф остались позади. Мотоцикл покружил по развязке «клеверного листа» и, взревев, пошел заглатывать бетонированные километры автобана Магдебург — Франкфурт, образующего здесь южную ветвь Берлинского кольца. Эрих прикрыл глаза, они слезились от горячего ветра, который хлестал в лицо, пробиваясь под неплотно прилегающие защитные очки. Что все-таки произошло в ставке? Соврать Кейтель способен, но почему он вообще жив? Ведь не мог же начальник штаба ОКВ не присутствовать на совещании по обстановке; и если уцелел он, то мог уцелеть и Гитлер — хотя совершенно непонятно, каким образом. Взрыв был произведен, а мощность заряда рассчитывалась с трехкратным запасом…

Еще полчаса бешеной гонки сквозь ревущий тугой ветер, и впереди справа выросли тонкие мачты, стал прорисовываться паутинный чертеж антенн. На узкой дороге к воротам радиостанции, перегородив ее, стояла легкая бронемашина, унтер-офицер и двое солдат в полевом снаряжении,

в касках и со штурмовыми автоматическими винтовками, подошли к мотоциклу. Эрих предъявил свое удостоверение особоуполномоченного штаба командующего армии резерва, и его пропустили. На станции все оказалось в полном порядке — эсэсовская охрана, обезоруженная, сидела в запертом помещении склада, технический персонал был на месте, и передатчик работал как ни в чем не бывало, излучая в эфир штраусовские вальсы.

Командир танковой роты, занявшей станцию, понятия не имел о том, что происходит, и, похоже, совершенно этим не интересовался. Полученный приказ он выполнил, а остальное его не касалось. Эриха он заверил, что будет неотлучно находиться у микрофонов и проследит, чтобы дикторы не вздумали зачитать какое-либо сообщение, не визированное штабом ОКХ. «Разумная предосторожность, — сказал он одобрительно, — за этими штатскими, знаете ли, нужен глаз да глаз, иначе эта публика такого натворит…» Канал прямой связи с Радиоцентром, позволяющий вести передачу непосредственно из студии на Мазурен-аллее, был по требованию Эриха заблокирован в первую очередь.

Обратный путь — немногим более тридцати

километров — занял почти час, так как ехать пришлось через сильно пострадавшие от последних бомбежек Бритц и Нойкёльн; было уже около семи вечера, когда Эрих вернулся на Бендлерштрассе. Там он узнал, что несколько минут назад радиостанция «Дойчландсзендер» передала первое официальное сообщение о неудавшейся попытке покушения на фюрера.

Разыскав Квирнгейма, Эрих доложил, что радио Вустерхаузен находится под контролем, и поинтересовался, готов ли уже текст передачи.

— Какой передачи? — не понял Мерц.

— Надо же обратиться к народу! — сказал Эрих. — Эти мерзавцы упорно повторяют свою ложь, будто фюрер жив и здоров, ее следует решительно опровергнуть от имени новых властей. Зачем давать пищу для догадок, плодить слухи? Уж здесь-то, в Берлине, надо просто засыпать улицы листовками с сообщением о перевороте, один и тот же текст по радио и в печать — это же проще простого, найти типографию с запасом бумаги — или бумагу конфисковать в другом месте, — и за пару часов все будет сделано…

— Что вы, — возразил Мерц, — это уж вовсе ни к чему. Листовки, обращения по радио — это, знаете ли, апелляция к чувствам толпы… весьма

опасная штука. Мало ли кто и как этим воспользуется! Нет, нет, гражданских к этим делам подпускать рано.

— Вы не соображаете, что говорите, — невежливо возразил полковнику капитан. — Что мы сможем сделать, если страна нас не поддержит? И на кой черт было тогда захватывать радиостанцию, если мы не собираемся обратиться к народу?

— Хотя бы для того, чтобы не обратились наши противники.

— Они, как видите, уже это сделали!

— Помилуйте, зачем же нам следовать примеру лжецов и демагогов? Доктор Геббельс, согласитесь, не лучший пример для подражания.

Так и не сумев переубедить Мерца, Эрих пошел разыскивать Штауффенберга. К тому было не пробиться, но в приемной он увидел Хефтена, который наспех закусывал, присев к телефонному столику. Обер-лейтенант приглашающе махнул рукой и велел вестовому принести еще бутылку вина и бутербродов.

— Разделите со мной трапезу, — сказал он. — Я только сейчас вспомнил, что последний раз ел еще там, когда завтракали с фон Мёллендорфом. Довольно скудно, кстати сказать, — сотрудников

главной квартиры могли бы кормить и лучше.

— Не волнуйтесь, кого надо — кормят. — Эрих сел, морщась, потер колено — нога разболелась после езды в тесной коляске мотоцикла. — Вернер, расскажите наконец толком, что там произошло. Каким образом остался жив Кейтель?

— А черт его знает. Может, он заговоренный! Я сам удивляюсь. — Хефтен налил ему вина, придвинул тарелку с бутербродами. — Видели бы вы этот взрыв — можно было подумать, что туда долбанул снаряд «стопятидесятки»…

— Не понял. — Стакан Эриха повис над столом. — Вы хотите сказать, что взрыв в бункере был виден снаружи?

— Какой бункер, совещание проходило в картографическом бараке. Обычное щитовое сооружение, только снаружи прикрытое таким бетонным козырьком — ну, это от осколков, если стреляют зенитки.

— Ах вот оно что… — Эрих выпил вина, стал медленно жевать. — Значит, бомба была взорвана не в бункере, вы говорите. Ну тогда понятно, почему уцелел Кейтель… да и Гитлер тоже, я думаю. Ясно. Значит, опять…

Он не договорил. Что тут было договаривать? Ясно, что, если бомба взорвалась в щитовом ба-

раке, эффект взрыва оказался ничтожным, уж он-то, как сапер, хорошо это понимал. Снаряд был без осколочной рубашки — от нее решили отказаться, чтобы вес и габариты не вызывали подозрений. Расчет был на то, что в замкнутом пространстве все живое погибнет от ударной компрессии. В бараке же взрывная волна просто вышибла окна, тем дело и кончилось.

— Вы ведь не видели его мертвым? — спросил он.

Хефтен отрицательно мотнул головой.

— Мы уже сидели в машине, когда эта штука сработала. Проверять было некогда, мы и так едва успели проскочить на аэродром — пятью минутами позже все дороги уже оказались перекрыты. Да и не все ли равно? Считается, что он погиб, и мы действуем, исходя из этого факта. А жив он или мертв на самом деле, для нас уже значения не имеет.

— Для нас — может быть. Но это имеет огромное значение для командующих фронтами и армейскими группами. Для Клюге, для Манштейна, для Кессельринга это сейчас вопрос номер один. Они не поддержат нас, пока не поверят, что фюрер действительно убит.

— Штюльпнагель уже поддерживает: только

что звонили из Парижа, там арестовано все руководство гестапо и разоружаются войска СС.

— Слава богу, хоть одна хорошая новость. Но мы все-таки намерены опровергнуть официальную версию событий?

— Да, текст телеграммы составлен, сейчас ее начнут рассылать в военные округа, Клаузинг уже пошел на узел связи…

Помещения штаба армии резерва все больше напоминали разворошенный муравейник, мелькали даже никому не знакомые лица в штатском, — такого в этих стенах давно не видали; генерал танковых войск Гёпнер, только что прибывший сюда в парадном мундире при всех регалиях, даже остановился и негодующе смерил взглядом прошмыгнувшую мимо личность в клетчатом спортивном пиджачке. Двери в кабинет Штауффенберга не закрывались ни на минуту; полковник, успевший переодеться в тужурку Африканского корпуса со споротой эмблемой вермахта, увидел в дверях Эриха и приветственным жестом поднял изуродованную трехпалую руку, плечом прижимая к уху трубку телефона.

— Кто распорядился?! — крикнул он, продолжая разговор. — Полковник Глеземер? Вздор,

этого не может быть! Полковник полчаса назад получил приказ сосредоточить танки на участке между колонной Победы и Вильгельмштрассе… Да, да, приказ командующего армией резерва. Что? Нет, Фромм больше не командует. Я говорю: армией резерва командует генерал Ольбрихт! У меня всё. И прошу помнить: если танки не будут немедленно выведены на указанную позицию, вы ответите за невыполнение боевого приказа.

Он отдал трубку телефонисту, распорядился соединить с командиром охранного батальона майором Ремером и подозвал Эриха:

— Капитан, возьмите мою машину и поезжайте в Тиргартен, выясните, что там происходит. Ведь это вы отправляли Второе танковое из Крампница? А теперь оно вообще неизвестно где! Поезжайте и попытайтесь выяснить, разыщите самого Глеземера или хотя бы его помощника — с ума они там, что ли, все посходили…

Эрих поехал в Тиргартен. Не увидев перед рейхстагом никаких танков, он велел водителю выехать через Бранденбургские ворота на Парижерплац, потом развернуться и ехать в сторону Шарлоттенбурга. Бронемашины с опознавательными знаками Второго танкового училища им удалось догнать уже за Гроссер-Штерн, почти у

вокзала, но повернуть назад командир подразделения отказался наотрез, ссылаясь на приказ начальника училища. На вопрос, где сейчас Глеземер, командир ответил, что полковник поехал в штаб ОКХ. Ничего не понимая, Эрих вернулся туда же.

— Полковник Глеземер здесь? — спросил он Штауффенберга.

— Не видел. Но где его танки? По диспозиции они уже должны блокировать Вильгельмштрассе!

— Он их вообще вывел из центра — все машины уходят в направлении Шпандау, я сам видел их на марше и говорил с командиром. Он сказал мне, что Глеземер поехал сюда. Может быть, он у Ольбрихта?

— Не думаю, Ольбрихт сейчас с Беком и Вицлебеном…

— Значит, фельдмаршал все-таки приехал?

— Да, но в подавленном настроении и вообще… Ничего, я дал Ремеру указание немедленно захватить Радиоцентр и арестовать Геббельса. Это многое изменит, вот увидите… — Он обернулся к телефонисту. — Соедините меня с инженерным училищем, и поживее!

Что за нелепость, подумал Эрих, выходя из

кабинета. Прошло почти восемь часов после покушения, и только сейчас спохватились, что надо арестовать Геббельса, самого опасного в данный момент человека. Поздно, поздно…

Еще недавно он был почти уверен в успехе переворота. Не верил вчера, не верил сегодня утром, когда Вернер позвонил с аэродрома и сказал, что они вылетают в ставку. А после их возвращения — поверил. Поверил в невозможное, в совершившееся вопреки всему чудо. Ведь тогда — выезжая в Крампниц — он еще не знал о телефонном разговоре Фромма с Кейтелем.

А теперь вера ушла сразу, как вода из треснувшего сосуда. Заговор был рассчитан на молниеносный эффект — своего рода политический блицкриг, — а этого не получилось. Не вышло! Долгие месяцы подготовки, ежедневный смертельный риск, страшная участь тех, кто, сорвавшись на каком-нибудь пустяке, бесследно исчезал в подвалах гестапо, — все оказалось напрасным. Непонятно, необъяснимо — люди, посвятившие жизнь искусству войны, изощренные знатоки тактики, годами отрабатывавшие умение переиграть противника, навязать ему свою волю, сейчас вели себя как растерявшиеся новобранцы в первом бою. И даже Штауффен-

берг, с его огромной энергией убеждения, был теперь, похоже, бессилен что-либо сделать.

В коридоре к Эриху подошел лейтенант Йорк фон Вартенбург.

— Вы не находите, что все это начинает выглядеть как-то странно, — сказал он, закуривая. — Я, конечно, не специалист по государственным переворотам, но, по-моему, что-то мы делаем не так. Положим, кто из нас специалист… А вы-то, доктор, и вовсе зря ввязались — сидели бы лучше над своими молекулами.

— Что я больше всего люблю, Петер, так это получить хороший и своевременный совет. Слышали? Новый главнокомандующий все же приехал.

— Если вы имеете в виду Вицлебена, то он уже удалился.

— А ваш дядюшка говорит, что они с Беком сидят у Ольбрихта.

— Нет, уехал. Только что — я видел, Ольбрихт его провожал. И фельдмаршал сказал еще такую фразу: «Словом, пока не вижу необходимости; если что-либо изменится, вы знаете, где меня найти». Боюсь, старики начинают терять голову. Эрих, а вот по совести: вы сами допускали — в принципе — возможность успеха?

— Естественно. Примерно один шанс к двум.

— Вот как? Я, пожалуй, вообще не допускал. Понимаете, у меня с самого начала было ощущение… как бы это поточнее сказать… ну, если угодно — безнравственности всей этой затеи.

— Безнравственности? — переспросил Эрих.

— Вернее — недопустимости. Ведь если разобраться, наш заговор — это не что иное, как попытка уйти от ответственности… Нет, я сейчас не о персональной ответственности каждого из нас, я имею в виду коллективную ответственность всего народа. Перед историей, перед собственной совестью…

— Народ вы оставьте, он в наших забавах не участвует. Говорите уж тогда об ответственности определенных кругов, определенного сословия.

— Как вам угодно, Эрих, можно сформулировать и так. Сословие ведь тоже часть народа, не правда ли? Так вот — теперь, когда война проиграна, нам вдруг захотелось, passez-moi le mot[19], выскочить чистенькими и благоуханными из дерьма… в котором сидели десять лет, не особенно этим возмущаясь.

— Ну, это кто как.

---

[19] Notes: 19
Извините за выражение *(фр.)*.

— Я не о возмущении шепотом. А многие ли протестовали вслух? Это ведь только теперь все становятся такими убежденными противниками диктатуры… Вот и представьте себе: затея наша удалась, Шикльгрубера убили, дюжину-другую его главных помощников расстреляли или попрятали по тюрьмам, а остальные — да помилуйте, остальные вообще ни в чем не виноваты, они лишь выполняли приказы! Сплошная идиллия, верно? Нет, доктор, так просто это не делается, Германии еще придется платить по счету сполна и без скидок.

— Я вижу, вы там вокруг Мольтке все помешались на философии. Вполне возможно, что в плане высшей исторической справедливости все это верно — то, что вы говорите. Я никогда об этом не думал. Я не привык мыслить отвлеченными категориями, моя специальность — физика, без всяких «мета», и я отказываюсь понимать, почему немецкие женщины и дети должны искупать вину эсэсовцев, которые убивали женщин и детей в других странах…

— Да просто потому, что каждый народ заслуживает своего правительства, — сказал Йорк. — Вы говорите: никогда не думали. А задуматься стоит, доктор. Хотя бы над тем, почему именно

мы, немцы, так охотно надели эсэсовскую форму и ринулись в эти «другие страны», объявив их своим жизненным пространством.

— А что, никто, кроме нас, не вел захватнических войн? И не совершал зверств на захваченных землях? Смелое утверждение, Йорк!

— Этого я не утверждаю. Но факт остается фактом: никто никогда не умел подчинить мораль долгу с такой легкостью, как это умеем мы. Скажи лишь немцу: «Сделай это, это твой долг!» — и он сделает что угодно, не задумываясь и без колебаний. Вспомните Хагена!

— Обер-лейтенанта фон Хагена? А что он еще натворил?

— Да нет, нет. — Йорк улыбнулся своей широкой мальчишеской улыбкой, показывая редкие зубы, крупные и неровные. — Я имею в виду того, из «Нибелунгов». Наш национальный герой Хаген фон Тронье, вернейший из верных, олицетворение германской верности — и в то же время подлый предатель, гнусно, изменнически убивший Зигфрида. Вспомните, как он выспрашивает Кримгильду про уязвимое место на теле ее мужа, просит нашить крестик — чтобы не сводить глаз, охранять — и именно в этот пришитый ею крест, подкравшись сзади,

всаживает копье. А ведь это идеальный рыцарь по отношению к своему сюзерену. Знаете, я не уверен, что подобного героя можно найти в эпосе какого-нибудь другого народа, — интересно было бы спросить у филологов. Зато у нас Хаген любим и воспет! Да, убийство вероломное, бесчестное, но ведь не почему-либо, а из чувства феодального долга, из верности королю Гунтеру — критерий сомнительный, но издавна понятный немцу; вот, кстати, откуда девиз на эсэсовских кинжалах: «Моя честь — верность». Нет, Эрих, тут все очень закономерно… и очень, к сожалению, по-германски. Мы теперь слишком многое склонны списывать на национал-социализм, более того — на личные качества Гитлера и людей из его ближайшего окружения. Все, мол, дело в них, это они растлили Германию…

— По-вашему, не растлили?

— Растлили, разумеется, какую-то часть — самых слабых, самых неустойчивых, но дело ведь не только в этом, неужели вы всерьез допускаете возможность того, что кучка негодяев за каких-то пять-шесть лет сумела изменить характер целой нации? Не логичнее ли предположить другое: что Гитлер разглядел в нашем национальном характере какие-то черты, позволившие ему

осуществить задуманное, и что страна именно потому и пошла за ним, что его действия во многом опирались на эти очень проницательно угаданные им особенности национального характера… Мне больно это говорить, Эрих, я ведь тоже немец, но можно ли закрывать глаза на очевидное? Мы сегодня ужасаемся казням заложников в Лидице, в России, в этом французском городке недавно, как же его — Орадур, кажется. Вот, дескать, что творят эти палачи из СС! Но помилуйте, солдаты Клюка и Эммиха расстреливали заложников в Бельгии еще в августе четырнадцатого года, когда никаких СС не было и в помине. И капитан нашей подлодки, отдавший приказ торпедировать «Лузитанию», тоже не носил кокарды со свастикой — это был офицер кайзеровского флота, законопослушный и добропорядочный немец старого образца… Да, война идет рука об руку с преступлением, это закон общий, но мы, немцы, всегда как-то слишком уж торопимся его признать, как-то особенно легко подчиняем мораль и право соображениям военной необходимости… как ее понимают наши полководцы, кайзеры, фюреры, кто бы нами ни командовал. Вот это-то качество, боюсь, Гитлер в нас и угадал — и именно на нем построил свою

программу тотального насилия… Прошу извинить — меня, кажется, зовут!

Эрих простился с ним рассеянным кивком. Да, если говорить о чертах национального характера, то вот и еще одна, подумал он. Сначала принимать все или, точнее, ко всему относиться с одинаковым высокомерным безразличием, а потом вдруг спохватиться, опомниться и — в другую крайность, чуть ли не до полного самоуничижения: как мы до этого дошли, мы все варвары, у нас в крови наследственная склонность к преступлению, и пошло и поехало… Какого черта! Он ведь и сам был таким же, так же высокомерно игнорировал «всякую там политику», но он хоть не станет теперь оправдывать себя глубокомысленными историко-филологическими экскурсами. Умный ведь человек этот Петер, а тут, смотрите, какую нашел убийственную аргументацию: все дело, оказывается, в том, что Хаген не по-рыцарски убил Зигфрида, после чего и стал немецким национальным героем. А не случись этого, на эсэсовских кинжалах что было бы вырезано — «Возлюби ближнего своего»? Тогда копал бы уж дальше в глубь веков — этак и у Арминия можно ведь отыскать подходящую подпорку для своего тезиса, у нашего достославного Германа

Херуска… Ну семейство! Дядька убивает фюрера, дабы оставить пример для потомков, племянник считает затею обреченной и ссылается на пример предков. Эрих пожал плечами и вернулся к приемную Ольбрихта.

Здесь было еще более людно и шумно, разобраться в происходящем становилось все труднее. Кто-то сказал, что танкисты охранного батальона поймали пытавшегося удрать Геббельса, начался спор, что делать со зловредным рейхсминистром — держать до суда или расстрелять на месте. Пока спорили, выяснилось, что Колченогий вовсе не арестован, а благополучно пребывает в своей резиденции на Мазурен-аллее, откуда только что говорил по телефону с Ремером — тем самым майором, которому поручено было его арестовать. Начиная с двадцати одного часа «Дойчландсзендер» каждые пятнадцать минут передавал экстренное сообщение о том, что фюрер и Верховный главнокомандующий вооруженными силами Адольф Гитлер, волею Провидения избежавший смерти от рук предателей, в ближайшее время выступит с обращением к немецкому народу.

В малом конференц-зале группа офицеров, отказавшихся примкнуть к путчистам, собралась

у приемника. В ожидании речи неприсоединившиеся отрядили вестовых в буфет и, раздобыв вина, принялись шумно закусывать тут же, по-походному, некоторые из них то и дело куда-то уходили, возвращались, звонили по телефону. За ними никто не следил, никому не пришло в голову их запереть, у них даже не отобрали личного оружия.

А потом начало твориться что-то странное. Ольбрихт едва добился соединения со штабом командующего Западным фронтом; оказалось, что фельдмаршал Клюге не только не отдал приказа открыть фронт перед американцами, но теперь вообще колеблется — стоит ли это делать. Он долго говорил с Беком, уклоняясь от прямого ответа, и все пытался выяснить, действительно ли убит Гитлер; потом положил трубку, внезапно прервав разговор. Невозможно было связаться со штабом группы армий «Север» в Прибалтике, который уже два часа назад получил приказ немедленно начать отводить войска в Восточную Пруссию. Вообще, связь отказывала все чаще и чаще — не было ответов на давно отправленные телеграммы, телефонные линии оказывались прочно занятыми, разговоры прерывались на полуслове и явно подслушивались.

— Кто дежурит на узле связи? — спросил Эрих у Бернардиса, которому никак не удавалось дозвониться до арсенала.

— Если не ошибаюсь, обер-лейтенант Рёрих.

— Но как же так, Рёрих никогда не был с нами!

— А зачем ему быть с нами? Его дело — сидеть там внизу и следить за тем, чтобы блиц-девочки работали, а не сплетничали… Алло! Алло, арсенал? Да что за черт — послушайте, что у вас там творится на коммутаторе?! Фрейлейн, я прошу арсенал! Ар-се-нал, можете вы это понять?

Эрих кликнул двух лейтенантов, и они бегом спустились в лабиринты подвального этажа. Броневая дверь в помещение узла связи была, как положено, заперта; Эрих позвонил, постучал, подергал рукоятку запора — изнутри не отзывались.

— Поищите какой-нибудь инструмент потяжелее, — сказал он лейтенантам, — в подвалах всегда хранятся кирки и ломы на случай бомбежки…

Лейтенанты бегом приволокли большой лом, дверь загудела от ударов, но не поддалась.

— Рёрих, откройте немедленно, это приказ командующего!

Лязгнула откинутая заслонка, и через круглый

глазок высунулся вороненый ствол парабеллума. Под сводами оглушительно раскатился выстрел, за ним второй, третий.

— Что ж, ответ исчерпывающий, — сказал Эрих. — Никто не знает, есть ли другой вход в помещение узла?

Нет, этого лейтенанты не знали, но один предложил все же попробовать воспользоваться этим.

— При караульном помещении есть склад оружия, — объяснил он, — у них имеются даже фаустпатроны. С разрешения господина капитана, я принес бы пару — можно стать за угол и ударить вон оттуда…

— Вы слишком радикально мыслите, лейтенант, — сказал Эрих. — Девчонок-то за что убивать? Да и бессмысленно это, взрыв выведет из строя аппаратуру. Но на склад вы сходите — возьмете себе по автомату и прихватите один для меня. Не забудьте о запасных магазинах. И живо наверх!

Бог ты мой, и это — попытка государственного переворота, думал он, усталыми шагами поднимаясь по лестнице. Не позаботиться даже о такой элементарной вещи, как обеспечение связи! Может быть, действительно Йорк прав со своей

философией…

А наверху уже разыгрывался последний акт драмы. Мерц, которому Эрих доложил обстановку на узле связи, только махнул рукой:

— Пустяки, Дорнбергер, теперь это уже не имеет ровно никакого значения. Дело в том, что Ремер нам изменил — его танки скоро будут здесь. Этот раунд, надо признать, мы проиграли.

— Вы говорите об этом так, — Эрих усмехнулся, — будто рассчитываете на следующий…

Да, теперь было ясно, что следующего раунда не будет. Людей в помещениях штаба стало заметно меньше, новый «глава государства» — Людвиг Бек — с отрешенным видом сидел в углу, всеми забытый, превратившийся за эти несколько часов в дряхлого немощного старика. Гёпнер, в парадном мундире генерала танковых войск, бродил из комнаты в комнату, на его бульдожьем лице было выражение растерянности и страха. Не сдавался один Штауффенберг — возвышаясь во весь свой огромный рост над столом, в расстегнутой тужурке, с прилипшими к потному лбу темными вьющимися волосами, он упрямо продолжал свою «телефонную войну», надеясь еще что-то спасти.

— …Не будьте безумцем, — кричал он в трубку

сорванным голосом, — неужели вы не понимаете, что это последний шанс! Что? Не важно, что происходит в округах, — все решается здесь, в Берлине, поймите вы наконец! Если мы за ночь овладеем положением в столице, утром войска принесут присягу новому правительству!.. Что? Не слышу! Ах, вас беспокоит это! Но неужели вы думаете, предательство спасет вас от ответственности за то, что вы уже сделали? Прислушайтесь хоть к голосу рассудка, если в вас молчит совесть... Что? Да не ради Штауффенберга, старый вы глупец, а ради Германии!!

В приемную ворвался курсант в разорванном мундире без пояса и пилотки, крича, что танки охранного батальона «Великая Германия» приближаются с двух сторон — по Бендлерштрассе со стороны Тиргартена и вдоль Ландверканала по набережной Лютцова. Тем временем вернулись два лейтенанта, которых Эрих посылал за оружием. Автоматы и магазины к ним были новенькие, прямо из ящика, еще покрытые заводской смазкой.

— Йорк, Хефтен! — крикнул Эрих, обтирая пистолет-пулемет коричневой суконной портьерой. — Рекомендую господам вооружиться — лейтенант покажет вам, где находится склад.

И вы, юнкер, перестаньте орать, как истеричная девица, и извольте отправляться за оружием!

— Господин капитан! — отрапортовал лейтенант. — Склад захвачен людьми полковника фон дер Хейде, мы едва успели от них уйти!

— Как — фон дер Хейде? — Эрих бросился в помещение, где находились неприсоединившиеся, — комната была пуста. — Поздравляю, и этих упустили! Ну что ж, попытаемся хотя бы… Юнкер, вы успокоились? Тогда возьмите вот это.

Он вытащил из кобуры свой «вальтер», отдал курсанту и прошел в кабинет Штауффенберга.

— Клаус, прощайте. — Он пожал его изуродованную руку. — Так или иначе — все, что могли, мы сделали…

В сопровождении курсанта и двух лейтенантов Эрих вышел на широкую лестничную площадку.

— Попытаемся отогнать группу фон дер Хейде в подвал, — объяснил он. — Может быть, удастся запереть их там на какое-то время. Сколько их было, лейтенант?

— Человек десять, господин капитан…

— Отлично. Кстати, я никого не принуждаю. Кто-нибудь хочет вернуться? Вы, юнкер? Тоже нет? Тогда пошли.

Теперь все было просто. Огромный комплекс

военных и политических проблем, именовавшийся заговором, перестал существовать, свелся к одному вопросу — кто успеет выстрелить первым. Думать о чем-либо другом было теперь уже ни к чему; расчеты, планы, предположения — все стало ненужным. И Эрих Дорнбергер впервые за сегодняшний день позволил себе подумать о личных делах. Завтра утром приятель Розе опустит в почтовый ящик письмо без обратного адреса. Сутки или двое, пока письмо не дойдет до Шандау, Люси будет еще надеяться, ждать, думать о чуде. Двое суток — это хорошо, это амортизирует удар…

— Господин капитан, они идут!

— Прекрасно. — Эрих зачем-то посмотрел на часы — было двадцать два сорок. — Спокойно, господа, у нас выгодная позиция, весь поворот лестницы находится в секторе обстрела…

Это он сказал, чтобы подбодрить молодежь, на самом деле позиции были совершенно равноценны — просто одним приходилось стрелять сверху, а другим — снизу. От грохота дюжины автоматов, открывших огонь почти одновременно, обрушился, казалось, лестничный пролет. Юнкер упал первым — слишком высунулся, видно по неопытности. Потом уронил автомат один из

лейтенантов — пошатнулся и сел, схватившись за правое предплечье. Второй был молодцом, явно из фронтовиков, он бил на выбор, короткими очередями, но потом Эрих оглянулся и увидел, что тот тоже сползает вниз по ступенькам, раскинув руки.

Эрих выбросил пустой магазин и ударом ладони вогнал на место новый.

— Фон дер Хейде! — крикнул он. — Немедленно прекратить огонь, что за свинство! Прикажите своим людям положить оружие — пусть поднимаются по одному, держа руки на затылке!

Те явно оторопели от такой наглости, потом открыли огонь с удвоенным бешенством. Оскалив зубы в застывшей усмешке, Эрих дал длинную очередь, срезав высокого офицера в черном мундире СС, как вдруг страшный удар в грудь заставил его выронить автомат и — падая — инстинктивным движением вцепиться в кованую решетку перил. Снизу хлестнули огнем еще две очереди, уже ненужных.

Смерть была к нему милосердна. Он не успел ни осознать, ни ощутить ее близости — боль ударила свирепо, наотмашь, сразу погасив сознание; а когда оно вернулось, боли не было, вообще не было уже ничего, его втягивало в какую-то узкую,

бешено вращающуюся воронку, все быстрее и быстрее, он летел, проваливался вдоль оси этого непредставимого сворачиваемого — или уже свернутого? — пространства, а мир в нем и вокруг него угасал как-то странно, угасание шло от окружности внутрь, все как бы сжималось, сбегаясь в одну точку, но эта рушащаяся внутрь себя вселенная так же стремительно разгоралась, накаляясь до невыносимой яркости по мере своего лавинообразного сбегания к центру, к последней — там, впереди, — уже нематериальной точке коллапса, ко всепоглощающей молниеподобной вспышке высвобождения.

Глава 3

Торопясь, подталкивая в спины, их провели коридорами к лестнице запасного выхода. Штауффенберг, раненный в перестрелке при аресте, уже потерял много крови и теперь шел с трудом, опираясь на плечо адъютанта; Хефтена, казалось, заботило лишь состояние полковника, которого он вел, полуобняв; Ольбрихт и Квирнгейм держались невозмутимо, словно происходящее их не касается.

Фромм, только что зачитавший осужденным

приговор якобы состоявшегося военно-полевого суда, нетерпеливо поглядывал на часы — было уже около полуночи, с минуты на минуту здесь могли появиться люди Кальтенбруннера; командующий армией резерва понимал, что он погиб, если главные заговорщики — сотрудники его штаба — живыми попадут в застенки на Принц-Альбрехт.

Внизу, во внутреннем дворе, спрыгивали с грузовика автоматчики карательного взвода. Скомандовав построиться, приехавший с ними лейтенант окликнул водителя и приказал снять с одной фары маскировочный щиток. Слепящий конус в упор высветил четверых офицеров в расстегнутых мундирах без погон и знаков различия, которых конвоиры подталкивали к штабелю мешков с песком, защищающему окна цокольного этажа. Конвоиры отбежали, лейтенант махнул рукой, нестройно протрещали автоматы. Хефтен и Ольбрихт упали первыми; Квирнгейм в последний миг шатнулся к Штауффенбергу, словно пытаясь его заслонить, и тоже рухнул лицом вниз; Штауффенберг, медленно сползая спиной по продырявленным пулями мешкам, успел еще крикнуть что-то — солдаты расслышали лишь «да здравствует» и окончание слова «Германия»;

было еще одно слово в середине фразы, но его заглушили выстрелы.

Фара погасла, тела казненных побросали в кузов, и грузовик, взревывая двигателем, стал медленно пятиться к воротам. Генерал-полковник Фромм, наблюдавший за расстрелом из окна своего кабинета на втором этаже, осторожно поправил штору и снова посмотрел на часы — теперь уже с чувством облегчения. Благодарение богу, успели!

Десятью минутами позже, когда на Бендлерштрассе прибыла группа захвата во главе с оберштурмбанфюрером Скорцени, все радиостанции рейха уже передавали речь Гитлера, оповестившего нацию о своем чудесном избавлении от предателей и злоумышленников.

Тресков и Шлабрендорф слушали этот хриплый, истерично взлаивающий голос, сидя у приемника в реквизированном особняке на окраине какого-то польского городка. Весь день генерал-майор не отходил от телефона, ожидая новых сообщений из Берлина, и сообщения эти делались все более и более тревожными. Пока наконец не стало ясно, что надеяться больше не на что.

— Ну, теперь начнется, — усмехнулся Тресков

и выключил радио. — Воображаю, как только не будут нас называть: «продажные изменники», «клятвопреступники»… Мы, вероятно, многое делали не так, отсюда и неудача, но в главном — я в этом непоколебимо уверен — мы были правы. Когда я предстану перед Всевышним, чтобы рапортовать о моих земных делах, думаю, мне зачтется прежде всего то, что я не был в числе смирившихся. Помните, Фабиан? Бог когда-то пообещал Аврааму пощадить Содом, если найдет там хоть десяток праведников; хватит ли их в этом Содоме, каким стала наша Германия…

Потом генерал сказал, что намерен покончить с собой, инсценировав смерть в бою, и попросил Шлабрендорфа позаботиться о доставке тела на родину. Шлабрендорф попытался его отговорить, но безуспешно.

Утром Тресков приехал в 28-ю дивизию, где в штабе работал его приятель майор Кун — тот самый, что должен был осуществить переход Шуленбурга через линию фронта. Кун тоже принялся его отговаривать, убеждал вместе с ним перебежать на ту сторону — сам он был намерен воспользоваться приготовленной «брешью». Тресков ответил отказом, попрощался с Куном и Шлабрендорфом и, взяв две ручные гранаты и

автомат, вылез из траншейки передового охранения.

Через несколько минут с «ничьей земли» послышались выстрелы, русские ответили пулеметным огнем, хлопнула граната. Когда все стихло, Кун поднял тревогу — генерал-майор, сказал он, решил лично произвести рекогносцировку на местности и, судя по всему, напоролся на вражеский патруль. Вечером поисковая партия доставила уже окоченевший труп генерала с почти оторванной взрывом гранаты головой.

Майор Кун в ту же ночь перешел к русским, а Шлабрендорф, добившись у начальства разрешения отвезти тело покойного в его имение, получил отпуск и повез запаянный гроб в Мекленбург; исполнив печальную обязанность, он вернулся к своему месту службы и с удивлением убедился, что приказа об аресте еще нет.

С ним в эти дни творилось что-то странное. Аресты шли полным ходом, служба безопасности хватала офицеров по первому подозрению, и он прекрасно понимал, что не имеет ни малейшего шанса уцелеть. Все его знакомые, в армии и не только в армии, были уже арестованы; двадцать пятого он позвонил квартирной хозяйке Дорнбергера, и та сказала, что последний раз видела

господина капитана в четверг утром, а в субботу пришли из гестапо, все перерыли в комнате господина капитана и забрали его личные вещи. О том, что Дорнбергер был убит двадцатого в здании военного министерства, он узнал позднее, а тогда подумал, что беднягу арестовали вместе с Йорком, Бернардисом и другими. Естественно, кто-то из них должен был назвать на допросе имя Фабиана фон Шлабрендорфа, если даже допустить (что само по себе было почти невероятно), что гестапо до сих пор не знало о его связи с заговором…

И однако, ему ни разу не пришла в голову мысль о том, чтобы убежать, скрыться. Сделать это было не так просто, уйти к русским он не мог, для него, абверовца, это был не выход, но все же можно было хотя бы попытаться использовать свои обширные связи как внутри страны, так и у нейтралов — шведов, швейцарцев. Попытались же другие! Скрылись братья Хаммерштейны, Людвиг и Кунрат (сыновья того самого генерала, что собирался арестовать Гитлера в Кёльне летом тридцать девятого), скрылся генерал Линдеман, продолжал скрываться исчезнувший еще до покушения Гёрделер — за его голову уже было объявлено вознаграждение в миллион марок.

За Линдемана предлагали вдвое меньше: после двадцатого генералы сильно упали в цене, а уж лейтенанты и подавно; голова Фабиана фон Шлабрендорфа вряд ли была бы оценена в приличную сумму.

Словом, шансы, пусть небольшие, были, но он ничего не предпринимал, пассивно наблюдая, как один за другим исчезают друзья и единомышленники. Не приходило ему в голову и последовать примеру Трескова. Вскрыть себе вены никогда не поздно.

Девятого августа газеты опубликовали приговор «народного трибунала» по делу первой группы участников событий двадцатого июля: обвиняемые фельдмаршал Эрвин фон Вицлебен, генерал-полковник Эрих Гёпнер, генерал-майор Гельмут Штифф, обер-лейтенант Альбрехт фон Хаген, генерал-лейтенант Пауль фон Хазе, подполковник Роберт Бернардис, капитан Фридрих Карл Клаузинг и лейтенант Петер граф Йорк фон Вартенбург — «клятвопреступники и бесчестные честолюбцы» — были признаны виновными в государственной измене и приговорены к смерти; спустя два часа, указывалось в сообщении, приговор был приведен в исполнение через повешение.

О других процессах уже не сообщали — обилие имен высокопоставленных заговорщиков, решил Геббельс, может иметь нежелательное влияние на читательскую массу, — фюрер ведь в своей речи после покушения заявил, что это дело рук «ничтожной кучки предателей и отщепенцев». Поэтому трибуналы «особой комиссии 20/7» продолжали работать, но без огласки. Десятого августа были приговорены к смерти Бертольд Штауффенберг и Фриц фон Шуленбург, пятнадцатого — Кламрот, Тротт цу Зольц, Бернд фон Хефтен — брат адъютанта Клауса Штауффенберга; сотни других участников заговора еще перемалывались безостановочными конвейерами следствия.

Шлабрендорфа арестовали утром семнадцатого. Когда дежурный офицер роты охраны предложил ему сдать оружие, первой мыслью обер-лейтенанта было застрелиться, но он сумел ее подавить, взял себя в руки. Это, подумал он опять, никогда не поздно.

Штаб группы армий «Центр» — вернее, того, что от этой группы осталось, — стоял в местечке Мацков, недалеко от имперской границы. Рядом уже начиналась Восточная Пруссия. Шлабрендорфа отвезли в пустой фольварк, оставили одного, караул был обычный военный, даже не СД. В по-

ложенное время солдат принес обед, потом ужин. Никто, кроме караульных, к нему не приходил, ни о чем не спрашивал. Да и караул был несерьезный: часовой сидел у крыльца, дверь из кухни вообще не охранялась, за нею были поросший бурьяном огород, поле, а еще дальше — опушка леса. Если до ночи отсюда не увезут, подумал Шлабрендорф, бежать проще простого, — даже если сообразят поставить второго часового за домом, можно вылезти в окно. Ну а дальше?

Он и сам не очень хорошо понимал, что' сейчас удерживает его от побега — надежда ли, которая удержала от самоубийства, та неистребимая и нелогичная надежда, что живет в человеке до последнего, несмотря ни на что, или просто усталость. А скорее всего, то и другое вместе. Хотя, казалось бы, эти состояния взаимоисключающие: усталому легче потерять надежду, надеется обычно тот, кто еще полон сил. Но Шлабрендорфом владели сейчас именно эти противоречивые ощущения: он верил, что как-то выкрутится, но сам чувствовал полнейшее бессилие, просто не мог пальцем пошевелить для собственного спасения. Была еще и мысль о близких: в случае его бегства отвечать придется им. Поскольку фюрер требовал беспощадно искоренить изменников, гестапо

взялось даже за их семьи: беременную графиню Штауффенберг арестовали, ее четверых детей роздали по приютам под чужими фамилиями, а недавно были арестованы и вовсе непричастные к заговору Гудрун Корфес и Ингеборг фон Зейдлиц — жены руководителей московского комитета «Свободная Германия»…

Он провел бессонную ночь в этом пустом и практически неохраняемом фольварке (часового у задней двери так и не поставили), а в пять утра за ним пришла машина. Его доставили в восточнопрусский городок Ортельсбург, посадили в вагон берлинского поезда — в одно купе с караулом, все еще военным, состоящим из пожилого капитана и двух унтер-офицеров. Поезд тащился медленно, подолгу стоял в Алленштейне, в Эйлау, в Торне, в Бромберге. В Берлин прибыли уже глубокой ночью, затененный вокзал был забит поездами и воинскими эшелонами, на перронах не протолкаться от солдат и беженцев; оказалось, что никто из сопровождавших Шлабрендорфа не знает столицы и вообще ни разу здесь не бывал, даже проездом. Капитан, начальник конвоя, стал расспрашивать его, откуда можно позвонить на Принц-Альбрехт, чтобы прислали машину.

В сопровождении унтер-офицеров, один из

которых нес чемодан, а другой — шинель арестованного, они отправились разыскивать дежурного вокзальной полиции. Шлабрендорф опять подумал о бегстве — здесь это еще проще, нырнуть сейчас в толпу, Берлин он знает как свои пять пальцев, из друзей наверняка кто-то еще на свободе — и меланхолично вздохнул. Ладно уж, терпеть так терпеть.

Он с любопытством следил, как капитан набирает номер, — это пришлось делать несколько раз подряд, было занято. Номер понравился ему легкостью для запоминания — двенадцать-ноль-ноль-сорок. Прекрасный номер! Не надо даже записывать, сам впечатывается в память: 12–00–40. Не исключено, что это не случайность, что психологи Мюллера продумали и этот момент…

— Алло! — обрадованно заорал капитан, когда на том конце провода наконец ответили. — Алло! Управление имперской безопасности? Высылайте машину, мы тут с задержанным — на вокзале… Какой это, собственно, вокзал? — спросил он у Шлабрендорфа, прикрыв трубку ладонью.

— Штеттинский, — подсказал тот.

— Мы на Штеттинском вокзале! Что? Имя задержанного? А, да — обер-лейтенант Фаб… Что? Слушаюсь! Так точно — предатель Фабиан фон

Шлабрендорф, из штаба «Центр». Так точно, ждем!

Положив трубку, он сочувственно глянул на своего подопечного и протянул ему сигареты.

— Ничего, камрад, не вешайте носа! Наверняка недоразумение, разберутся и отпустят… У этих типов все теперь «предатели». А я, между нами говоря, — он понизил голос, — все никак не могу привыкнуть к их германскому приветствию, сколько лет служу — всегда в армии отдавали честь, как положено по уставу, теперь же изволь вскидывать руку! А если у человека ревматизм в плече?

Ждать пришлось недолго. Не прошло и двадцати минут, как в комнату вошли трое в штатском. Не поздоровавшись, один потребовал сопроводительные документы, другой велел Шлабрендорфу встать и завести руки назад.

— Пожалуйста, — отозвался он светским тоном — и ощутил на запястьях холодок стали. Что-то щелкнуло, он с любопытством пошевелил кистями рук, — да, крепко.

— Давай выходи, — сказал гестаповец, толкнув его в спину.

Шестого сентября профессор нашел в почтовом ящике открытку с аугсбургским штемпелем,

написанную совершенно незнакомой рукой: «Дорогая фрау Ильзе, прошло уже столько времени, а я все никак не могу выполнить Вашу просьбу относительно пряжи. Здесь ее тоже не достать, может быть удастся купить в деревне — конечно, не чисто шерстяную. Если достану, немедленно вышлю. Преданная Вам Гертруда».

Это была единственная хорошая новость за последние полтора месяца: Людхен, стало быть, добралась без помех и едет работать в крестьянское хозяйство. С тех пор как она уехала — еще в конце июля, — Штольницы не переставали тревожиться: как бы добросовестно ни были сделаны ее новые документы, они все же оставались фальшивкой — а сейчас, твердила фрау Ильзе, всюду, наверное, такие строгости с проверкой! В этом она была права, успокаивало лишь одно обстоятельство: охота шла в основном за успевшими скрыться заговорщиками, ловили генералов и полковников, — у молодой женщины было больше шансов избежать подозрений. Самому профессору, вздумай он сейчас податься в бега, пришлось бы в этом смысле куда труднее.

Из Дрездена ей удалось скрыться быстро и незаметно, Райнер под видом больной довез ее машиной до Лейпцига, а там, предъявив уже

новые документы, купил «Гертруде Юргенс» железнодорожный билет и сам посадил в аугсбургский поезд. Но это было почти месяц назад, и с тех пор не пришло ни одной весточки.

Тревога за нее все это время помогала профессору не думать о своем положении — точнее, о положении жены, о том, что будет потом с нею, с Ильзе. Что будет с ним самим, гадать особенно не приходилось. Здесь можно было лишь прикидывать вероятные сроки.

Как ни странно, июльскую катастрофу он воспринял гораздо спокойнее, чем можно было предположить. Это был конец всего, но профессор давно уже внутренне был готов к такому концу. Было лишь безмерно жаль их, молодых, пытавшихся что-то сделать. Гибель Эриха была для него большим горем, но ведь не прошло и года, как они потеряли Эгона, — к таким вещам если и не привыкаешь, то, во всяком случае, начинаешь относиться как-то… проще. Да он и не ждал ничего другого, — такие, как Эрих, в живых не остаются, есть жестокий закон природы: первыми гибнут лучшие.

В том, что заговор ничего не даст, профессор был уверен с самого начала. Он слышал о нем давно, еще до прошлогоднего приезда Эриха, —

слышал и от Райнера, и от своих лейпцигских друзей. Те были преисполнены оптимизма, участие бывшего их обер-бургомистра Гёрделера представлялось им надежной гарантией успеха. Райнер же, напротив, считал все это «генеральской затеей», неминуемо обреченной на провал хотя бы уже потому, что военные к серьезной политике не способны в силу профессиональной ограниченности. А истина, вероятно, лежала где-то посредине: если в лейпцигской группе склонны были переоценивать личность Гёрделера, то Фетшер недооценивал ум и энергию молодых офицеров, еще не обремененных генеральским званием и сопутствующей ему косностью мышления. Короче говоря, заговор, казалось бы, имел приблизительно половинные шансы на успех, и все же профессор Штольниц был убежден, что успеха не будет. По той простой причине, что успех заговорщиков противоречил бы исторической логике.

Систематическое изучение истории вырабатывает привычку — и умение — рассматривать каждое событие в его временном контексте: взятый отдельно, факт ни о чем не говорит, смысл и значение факта можно понять лишь в системе его взаимосвязей с другими, современными,

предшествовавшими или последовавшими ему. Для историка чередование событий никогда не выглядит хаотическим сцеплением случайных факторов. То, что профанам представляется бессмысленной игрой случая, в действительности суть этапы единого целенаправленного процесса. А если так, то истинная оценка любого действия возможна лишь в поляризованном свете его исторической целесообразности.

Применительно к прошлому это легче: Клио дальнозорка, она привыкла глядеть сквозь столетия. Мы без труда разбираемся в сложном переплетении обстоятельств, погубивших Римскую империю, но кто из самых проницательных умов мог предугадать осенью 1923 года, чем чревата для Германии (более того — для Европы, для всего мира!) вздорная попытка путча, предпринятая в Мюнхене сторонниками никому толком не известных Штрассера и Гитлера… Да, Клио подчас просто слепа к тому, что делается рядом.

И все же историку легче определить, насколько разумно то или иное сегодняшнее действие, насколько оно может отвечать не сформулированным еще требованиям завтрашнего дня. Иными словами, насколько вероятен его успех. Ибо историк знает: успех любого общественно-

го начинания — будь то религиозная реформа, политический заговор или военный поход — меньше всего зависит от ума и энергии тех, кто его задумал и выполняет. Успех или неудача определяются тем, насколько смысл задуманного дела соответствует общему смыслу происходящего сегодня в мире. Поэтому общественному деятелю, чтобы действовать успешно, надо прежде всего обладать безошибочным чутьем исторического момента, его требований.

Самое странное, что судьба может с поистине царственным безразличием наделить этим бесценным даром и великого человека, и авантюриста. Лютера, к примеру, — и Адольфа Гитлера. Вспомнить только, как потешались в свое время — после «пивного путча» — над этим нелепым выскочкой, без ложной скромности провозгласившим себя вождем нации! И умнейшие головы Германии еще не понимали, не предвидели того, что успел уловить необразованный провинциал: тогда, в начале двадцатых годов, уже совершался медленный, зловещий поворот европейской цивилизации от обожествления свободы к культу насилия. Именно он, Гитлер, оказался в числе тех немногих, кто первыми заметили близкий закат эры либерализма и сделали для себя практиче-

ские выводы…

Наивно ведь думать, что это они — большие и маленькие диктаторы — сами, своей волей осуществили исторический поворот. Они были лишь исполнителями, всех их вызвал из небытия и облек чудовищной властью дух тотального насилия, рожденный на полях Первой мировой бойни. Дух не насилия вообще, а именно насилия тотального, всеобъемлющего, возведенного в высший государственный принцип.

«Насилия вообще» хватало в любую эпоху, не страдал его недостатком и либеральный девятнадцатый век — ханжескими призывами возлюбить ближнего прикрывалось насилие в колониальной политике, в общественных взаимоотношениях, даже зачастую и в семейных. Но любопытно отметить, что прикрывалось оно всегда, даже злодей считал нужным вслух призывать к добру; существовала всеобщая потребность если не быть, то хотя бы казаться, выглядеть добрым.

А сегодня, когда слово «либеральный» стало бранным, превратилось в синоним никчемной дряблости, — сегодня злодей уже не прячется за елейными фразами о доброте, он кичится творимым злом, требует себе награды. Это не зна-

чит, конечно, что он во всеуслышание заявляет: «Увенчайте меня лаврами, ибо я сотворил зло», — таких слов вообще нет в его лексиконе, «добро», «зло» — это для него пустые понятия. Он верой и правдой служит нации, государству, партии; он убежден, что во имя этих высших ценностей можно творить что угодно, и никаких иных принципов он просто не знает. Существует ли абстрактная мораль? Что это вообще такое? Как можно говорить, например, о гуманности без учета конкретных обстоятельств? Быть гуманным к врагу национал-социализма — это преступление, тут двух мнений быть не может. А мораль? Донос всегда считался действием аморальным, но если ты узнал, что твой знакомый замышляет против фюрера, то высшим проявлением морали (не абстрактной, христианской, а новой, проникнутой национальным духом) будет пойти и донести…

Все это: обожествление неприкрытого насилия, моральный нигилизм, нетерпимость к инакомыслию — все это стало неотъемлемыми чертами построенного Гитлером «нового общества». Но вовсе не потому, что ему удалось переделать Германию, превратить в подлецов целый народ — богато одаренный, уравновешенный, трудолюбивый. Бациллы зла раньше проникли в кровь

немцев, нация была уже больна, хотя болезнь еще и не проявлялась открыто, был период скрытого вызревания недуга — медики называют его инкубационным. И этот больной народ, с уже зараженной кровью, отравленной ложью и насилием, — именно этот больной народ восторженно принял коричневого лжемессию и в припадке безумия вручил ему свою судьбу. Одной финансовой поддержкой крупного капитала событий тридцать второго года не объяснить, золото золотом, но и двенадцать миллионов голосов за Гитлера на последних свободных выборах — это тоже факт, от которого не отмахнешься.

Все дело в том, что Истории понадобился человек, способный логически, до конца, продумать и осуществить давнюю Гоббсову мечту о всемогущем и всепожирающем Левиафане, и под руку подвернулся некто Гитлер. А мог подвернуться Шмидт, Майер — кто угодно: мало ли недоучившихся ницшеанцев донашивало тогда окопные шинельки, мечтая о вседозволенности? Поэтому-то НСДАП и смогла захватить власть, она просто не могла ее не захватить, коль скоро такова была воля Истории. Зачем это понадобилось — вопрос другой. Может быть, Германии суждено было стать наглядным уроком для человечества.

Но если именно поэтому было обречено дело Штауффенберга, если, следуя той же логике, заведомо бесперспективными были все попытки освободить Германию немецкими руками, то не оказались ли правы те, кто проповедовал покорность? Это ведь и был их главный довод: к чему бороться, если все равно ничего не сделаешь…

Нет, правы они не оказались, пассивность перед лицом активного зла не может быть ретроспективно оправдана никаким поворотом событий. Обычно говорят: важно не что ты думал сделать, а что у тебя получилось — результат, а не намерение. Но ведь бывает и наоборот — когда именно мотивами, а не конкретными практическими результатами следует определять цену содеянного. Человек видит тонущего вдали ребенка, бросается в воду, но гибнет сам, не сумев доплыть, а другой — в лодке — случайно оказывается рядом с мальчишкой, хватает его за шиворот и спасает. Чей же поступок ценнее?

Впрочем, дело ведь не в цене, не в оценках, дело во внутренней потребности. У одних эта потребность действовать, продиктованная осознанием непозволительности бездействия, возникла раньше, у других — позже. Как у него самого. В сущности, если бы не смерть Эгона… Да,

он просто захотел каким-то действием — пусть хотя бы символическим жестом — отмежеваться от кобольдов, похитителей и убийц его сына… А ведь еще незадолго до того спорил с Эрихом, доказывая, что для последовательного антинациста естественно желать военного поражения Германии. Он тогда не сказал ему, что пытаться ее спасти изнутри — бессмысленно; пожалуй, он и сам не понимал еще этого в полной мере. Не было четко сформулированной мысли, но ощущение уже было, хотя и неясное, и именно поэтому он с самого начала сомневался в успехе заговора.

Сомневался и Эрих, это чувствовалось. У него однажды вырвалась фраза: «Как бы то ни было, это единственное, что нам остается». Такую точку зрения, вероятно, разделяли многие заговорщики — все те, кто не могли ни примириться с нацизмом, ни избрать путь прямого сотрудничества с противником, логически оправданный, но для офицера во время войны неприемлемый. Действительно, что им еще оставалось?

Он ведь и сам, в сущности, был лишен выбора. Предложение поехать в Швейцарию с самого начала не вызвало у него восторга, за этим угадывалось что-то не то, — но каким другим способом мог он включиться в борьбу? Эрих потом сказал:

«Абверовцы вас просто использовали для чего-то, одурманили красивыми словами и использовали»; возможно, и так, хотя одурманен он не был. Позже ему сказали, что его поездка помогла союзникам разоблачить нашего дипломатического шпиона в одной из нейтральных стран; это тоже звучало несколько фантастически: зачем было посылать еще и его, когда Швейцария и без того нашпигована абверовской агентурой? Но это уж их дело. Действительно ли он помог разоблачить мерзавца, продававшего Кальтенбруннеру переписку британского посла, или смысл поездки заключался в другом, — так или иначе, какой-то смысл был. Абверовцы? Допустим. Что из того? Да он готов помогать кому угодно, даже Канарису, коль скоро Канарис подтачивает режим изнутри.

После возвращения из Швейцарии профессор выполнил еще несколько поручений, связанных с поездками внутри страны — в Берлин, Мюнхен, Гейдельберг. В сущности, он оставался связным, поручения сводились чаще всего к улаживанию вопросов, которые нельзя было доверить ни почте, ни телефону, — так, например, дважды ему пришлось посещать одного помещика, чтобы выяснить — согласен ли он предоставить свою

усадьбу как временное убежище на случай экстренной нужды, сколько человек может он у себя спрятать и как долго смогут они там прожить. Помещик сперва наобещал с три короба, потом, перепугавшись, дал знать условным звонком, чтобы на него вообще не рассчитывали. Пришлось ехать и улаживать дело вторично.

Словом, ощутимых результатов своей «подпольной деятельности» он так и не увидел, единственным было, пожалуй, то, что теперь его могут арестовать в любой день. Так стоила ли игра свеч?

А все-таки стоила! Власть кобольдов держится на страхе, на всеобщей убежденности в том, что любой отдельный человек — ничто перед молохом обожествленного Государства. Большинство народа действительно в этом убеждено, отсюда эта нечеловеческая, муравьиная покорность, терпение, готовность безропотно подчиниться самому наглому произволу, если только его оправдывают ссылкой на «государственную необходимость» или «интересы нации». И если ты не поддался стадному чувству, сумел заявить о своей человеческой — не муравьиной! — сущности, ты уже победитель. Что бы с тобою потом ни сделали. Ибо это как раз тот случай, когда важен

не результат, но мотив.

Профессор прочитал конспиративное письмецо в передней, собираясь выйти на свою ежедневную прогулку. Последнее время ему плохо работалось по утрам, даже не читалось, и он волей-неволей привык к этому довольно бессмысленному, на его взгляд, занятию: бродить по улицам. Положив открытку на самом видном месте, чтобы Ильзе увидела ее, когда вернется с утреннего обхода лавок, он подумал было, не дождаться ли жены, но сообразил, что ожидание может оказаться долгим. Получать продукты по карточкам становилось все более непростым делом.

Выйдя из дому, Штольниц не спеша шел по тротуару, с удовольствием вдыхая прохладный сырой воздух. Ночью прошел дождь, устойчивая жара последних двух месяцев наконец-то отступила. Для начала сентября даже холодновато. Хотя, конечно, тепло еще вернется, до осени пока далеко — здесь, в долине Эльбы, она наступает поздно…

Любопытно все же, на сколько его еще хватит, нашего «тысячелетнего рейха». На Западе мы уже потеряли Бельгию, почти всю Францию, высадившиеся на Кот-д'Азюр французы и американцы

уже в Лионе, Италия освобождена до линии Пиза — Флоренция — Пезаро. А темпы нашего отступления на Востоке и вовсе ошеломляют: русские уже под Сандомиром — это каких-нибудь пятьсот километров отсюда по прямой. Близится конец, даже безоружные поляки подняли восстание у себя в столице и дерутся уже второй месяц.

Да, конец близок. Профессор подумал вдруг, что военные новости с некоторых пор утратили для него интерес. Две недели назад случилось наконец то, о чем он раньше не мог думать без содрогания: вышел из строя радиоприемник, а приглашенный специалист ничего утешительного не сказал. Сгорела очень важная лампа, объяснил он, причем какого-то редкого типа, который применялся только в этой модели «Олимпия», выпущенной малой спецсерией в тридцать шестом году. Он, конечно, поищет, попытается что-нибудь сделать, но обещать не может: помимо всего прочего, это ведь сейчас и крайне опасно — интересоваться радиодеталями… Сначала профессор огорчился, почувствовал наивную обиду на судьбу: не так уж много оставалось у него в жизни хорошего, чтобы теперь понадобилось отнять еще и эту маленькую радость — посидеть вечером у приемника, послу-

шать немного правды; но это тут же улетучилось, он с удивлением понял, что огорчается скорее по привычке: новости перестали быть для него чем-то насущно необходимым.

Может быть, это уже угасал интерес к жизни вообще, а может быть, все объяснялось тем, что ничего по-настоящему нового он больше узнать не мог. В самом деле — главного вопроса, на который он еще два года назад искал ответа в передачах английского радио, вопроса об исходе войны, — этого вопроса более не существовало. История еще раз подтвердила, что справедливость торжествует куда чаще, нежели принято считать. Нацистская империя приговорена к смерти, исполнение приговора теперь — вопрос лишь сроков. Важно, что он окончателен и не подлежит никаким апелляциям; зная это, даже свою собственную обреченность воспринимаешь как-то… спокойнее.

Четко постукивая тростью, Штольниц шел знакомым путем — мимо ренессансного портала Оранжереи, вдоль решетки сада, протянувшейся до углового здания бывшей масонской ложи, — знакомой, исхоженной за двадцать лет улицей. Они поселились здесь, когда он заканчивал работать над Гирландайо. Да, почти двадцать

лет, и ничего не изменилось внешне, только заметно разрослись дубы и акации, гуще стали липы вдоль тротуаров; сколько сменилось здесь жильцов за эти годы, а внешне — все как было: те же фасады, те же чисто протертые стекла, разве что тротуар выметен не так тщательно. И так и останется, и липы каждое лето будут пахнуть так же сладко, будут густеть и разрастаться еще пышнее; а он, пожалуй, в июне в последний раз слышал этот томительный медовый запах. Неужели действительно в последний?

Он увидел на тротуаре опавший лист, поднял голову — да, кроны лип уже начали блекнуть, скоро станут желтеть. Похоже, осень в этом году будет ранняя. Осенью двадцать девятого года — несколько позже, это было уже где-то в начале октября, — он возвращался из академии, и Ильзе встретила его здесь, возле театра, у афишной тумбы, — не могла дождаться, вышла встретить на улицу, чтобы сообщить новость: звонил представитель швейцарского издательства, предлагают подписать договор… Профессор подавил вздох — что ж, вероятно, и в самом деле пора, он испытал все, что может быть дано человеку испытать на этой нещедрой радостями земле.

Подходя к углу Малергассе, у самого театра, он

увидел впереди трамвай второго маршрута и вдруг заторопился к остановке. Вагоновожатая подождала его — с нынешними служащими дрезденского трамвайного управления это случалось редко, и профессор поблагодарил ее поклоном, церемонно приподняв шляпу. Вагон зато вполне соответствовал времени: скрипучий, разболтанный, он, казалось, грозил развалиться на первом же крутом повороте. Раньше по центральным маршрутам ходили трамваи последней довоенной модели, которую дрезденцы называли «щучкой», — у вагонов, если посмотреть сверху, была обтекаемая веретенообразная форма, узкая заостренная кабина вожатого напоминала нос кораблика. Быстрые, бесшумные, с мягкими кожаными сиденьями — одно удовольствие было прокатиться по городу в таком вагоне…

«Двойка» шла во Фридрихштадт. Почему профессор решил вдруг съездить на кладбище — решил внезапно, неожиданно для себя, увидев лишь номер этого маршрута, — он и сам не знал. Словно что-то его толкнуло; возможно, неосознанная мысль о том, что до первого ноября еще почти два месяца — мало ли что может случиться… Не откладывай на завтра того, что можешь сделать сегодня. Покуда жив.

Скрипя и шатаясь, трамвай-инвалид протащился мимо их дома, благополучно повернул на Максштрассе и въехал под железнодорожный мост. На мгновение потемнело, над головой медленно, тяжко громыхал длинный состав. Запахло паровозным дымом. Как это было когда-то приятно — ехать хорошим, комфортабельным поездом дальнего следования, проснуться ночью оттого, что прекратился усыпляющий перестук колес под полом купе, увидеть неподвижный — сквозь щель в неплотно задернутой оконной шторке — свет фонарей на перроне, услышать французскую или итальянскую речь… Собираясь этой зимой в Швейцарию, он заранее порадовался возможности перенестись хоть ненадолго в мирное, благополучное прошлое; но радоваться, оказалось, было нечему — в поездке он чувствовал себя отвратительно…

Последний раз ему довелось быть за границей восемь лет назад, еще до Герники, до аншлюса, до «хрустальной ночи». Происходившее в Германии уже начинало вызывать тогда у соседей некоторое недоумение: костры из книг уже горели и нюрнбергские законы о защите расы были уже приняты, — но это, в конце концов, было внутренним делом немцев, не правда ли, а успех

олимпиады вообще вызвал бурное умиление у многих идиотов по всему миру: как прекрасно все было организовано и какой в Берлине порядок, как предупредительна полиция, а уж о спортивных достижениях национал-социализма и говорить не приходится!

А вот в эту поездку Штольниц полной мерой ощутил, что это такое — оказаться сегодня за границей в качестве подданного Великогерманского рейха. В Швейцарии он не чувствовал себя человеком, не мог отделаться от ощущения, что на него смотрят как на зачумленного. Вероятно, на самом деле это было не так, швейцарцы, скорее всего, давно привыкли попросту не замечать и не различать гостей своей страны, всех этих бесчисленных приезжающих откуда-то и куда-то уезжающих иностранцев; но дело было в его субъективном восприятии — ему так казалось, и этого было достаточно, чтобы отравить ему пребывание там. Уже на границе, отдав паспорт швейцарскому таможеннику, он вдруг ощутил какую-то мучительную неловкость, почти стыд — как человек, пойманный на чем-то неблаговидном. Это ощущение просто пронзило его, когда чиновник, сличая фотографию, скользнул по нему профессиональным равнодушно-внима-

тельным взглядом и глаза их на миг встретились. Швейцарец, естественно, ничего не выразил и вернул паспорт с вежливым полупоклоном, но профессору короткий этот взгляд показался достаточно выразительным, в нем уже было все то, что позже он то и дело видел — или думал, что видит, — во взглядах других людей, с которыми ему пришлось общаться за неделю пребывания в Цюрихе. От немногих довоенных знакомых, кого решился навестить, до горничных и портье в отеле. На него смотрели… не как на зачумленного, нет, тут, пожалуй, было другое — смешанное чувство жалости, сочувствия и отчасти презрения; так исподтишка разглядывают человека, в чьей семье произошло нечто постыдное, — сам он, понятно, не виноват, но все же, знаете…

С такими сложными чувствами, казалось ему, смотрели на него те, кто знали, что он приехал из «третьей империи». На улице, в толпе, было иначе, но не менее тяжко. На улице он просто завидовал всем этим благополучным швейцарцам. Завидовал не их сказочно мирной жизни, не заманчивому витринному изобилию, не общедоступности всех тех простых маленьких радостей, о которых рядом — по ту сторону границы — люди давно уже перестали мечтать. Мучительно,

до боли в сердце, профессор завидовал тому, что самими швейцарцами, надо думать, уже и не ощущалось, настолько было привычным и само собой разумеющимся: завидовал их статусу граждан правового, демократического государства.

Что эта демократия отнюдь не была совершенной и безупречной, он знал. Знал, что в стране немало своих неразрешенных проблем, главным образом социальных, знал, что за блестящим (особенно по контрасту с нынешней Германией) фасадом упрятаны разного рода язвы — коррупция, бедность, безработица, — но главным казалось ему сейчас другое: нерушимый правопорядок, законность, априорно признаваемое за каждым право иметь и высказывать свое мнение независимо от того, совпадает оно с мнением властей или полностью ему противоречит. В этом смысле у любого швейцарского бедняка куда больше человеческого достоинства, нежели у самого высокопоставленного чиновника в рейхе, чье благополучие (а нередко и жизнь) постоянно зависит от умения прятать свои взгляды и мысли, а аплодировать вовремя и достаточно громко…

Профессор чувствовал себя в Цюрихе как арестант, временно выпущенный на поруки. Обстановка вокруг была раем в сравнении с тю-

ремной; но там — «дома» — его окружали такие же, как он сам, узники, все они хорошо понимали друг друга, беда была общей, одинаковой для всех. А здесь он попал в среду свободных людей, находился в ней временно, не принадлежа к их миру. Они при всем желании не могли до конца понять его, а для него было непостижимым это их непонимание того, что происходит в стенах тюрьмы.

Это настолько угнетало его, что он даже испугался: неужели настолько привык к рабству, что уже не способен ощутить радость свободы? Выходит, привык. Возвращаясь домой, он на пограничной станции почувствовал даже некоторое извращенное облегчение — ну вот, наконец-то мы inter pares[20], в своем привычном кругу, наконец-то можно никому не завидовать, никого не стесняться…

— Кто у больницы выходит, пожалуйста! — закричала кондукторша. — Следующая остановка Вальтерштрассе!

За воротами кладбища еще сильнее пахло осенью — наверное, от вянущих на могилах цветов. Профессор тоже купил у входа букетик

---

[20] Notes: 20
Среди равных *(лат.)*.

маков, хотя вообще никогда не приходил сюда с цветами, вид роскошных букетов на кладбище всегда шокировал его, как шокирует всякое показное проявление чувств. Но маки его тронули — хрупкие, быстро осыпающиеся цветы сна, покоя, вечного забвения; и он неловко и бережно нес их мимо кованых оград, крестов, лилий, погребальных урн, опрокинутых факелов и коленопреклоненных ангелов из мрамора, лабрадорита и того серовато-желтого эльбского песчаника, что с давних пор был излюбленным материалом дрезденских камнерезов. Место, где четверть века назад хоронили умерших от эпидемии, находилось в дальнем углу кладбища, «его» участок был совсем крошечный, полтора на три метра — низкая символическая оградка из жесткого, прямоугольно подстриженного, вечнозеленого тиса, коврик газона, и посредине — едва возвышающаяся над уровнем травы черная плита: «Анна Рикарда ф. Штольниц, урожденная Глезе-Вейденбах, 1890–1918. Ее дочь Мария Деодата, 1912–1918. Requiem aeternam dona eis, Domine, et lux perpetua luceat eis»[21].

Опираясь на трость, профессор не без труда

[21] Notes: 21

Вечный покой даруй им, Господи, и да светит им свет незакатный *(лат.)*.

нагнулся, положил маки на угол плиты. Один лепесток — алый, траурно обугленный с узкого конца — тотчас отпал, цветы были уже мертвы. Прости, что пришел к тебе с этим мертвым подарком, сказал он. И прости, что пришел на кладбище. Чтобы попрощаться с тобой в этой жизни — ибо кто знает, встретимся ли в иной, у меня, к сожалению, нет в этом уверенности, — мне следовало бы поехать туда, в Вайцдорф, где нам было так хорошо в то первое лето, помнишь, в тот месяц, в те первые наши дни и ночи. Ничего лучшего у нас с тобой потом уже не было, даже когда родилась Мари. Возможно, впрочем, для тебя — было; возможно, ты чувствовала это по-другому, сильнее, как мать. А я — нет. Я был горд и счастлив, еще бы, но это было уже не то, это было уже совсем другое счастье — пополам с заботой, с немного пугающим сознанием ответственности… Нет, только там, в крошечной деревеньке, затерянной среди лесистых холмов Саксонской Швейцарии, было ему дано пригубить чистого, неразбавленного счастья — как напитка богов из чаши Ганимеда. Только там и только тогда.

Странно, в сущности. Ведь его жизнь — до определенного момента — можно было считать удавшейся, счастливой жизнью: любимая работа,

успех, признание… Поверхностно, да. На первый взгляд, со стороны. На самом же деле «счастливая жизнь» и счастье — вещи совершенно разные. Ибо никакой успех, никакое свершение не могут дать человеку той опьяняющей, неземной радости, какую дает их ожидание, присущая молодости вера в свои силы… Молодость! А тогда, в тот год — тысяча девятьсот десятый, — он не считал уже себя молодым, возраст казался вполне солидным. Друзья попереженились раньше, он один, пожалуй, оставался холостяком до двадцати семи лет. Руди Дорнбергер к тому времени уже обзавелся сыном — вот этим самым, Эрихом, будущим доктором физико-математических наук, капитаном вермахта и участником подпольной группы графа Штауффенберга…

Как ты поторопилась, любимая, сказал он, стоя над черной плитой. Я не жалею, что тебя нет в живых сегодня, — счастливы не увидевшие заката нашей культуры, — но тебе надо было прожить еще пятнадцать лет. О, если бы мы умерли тогда — и вместе, как загадали однажды там, в Вайцдорфе… Я успел бы показать тебе Италию, о которой ты так мечтала, и ты увидела бы изданной на пяти языках книгу, подсказанную и вдохновленную тобой. Ничего мы не успели. Не

обессудь, что все это мне пришлось разделить с другой женщиной, Ильзе стала мне по-настоящему хорошей женой, мне было с ней… покойно. И если правда все, во что ты так верила здесь, помолись там за свою преемницу. Потому что теперь ее ждет самое страшное: одиночество. Без сына и без мужа.

Профессор тростью поправил цветы, передвинул их дальше от края плиты. Шевельнулись и отпали еще два лепестка. Он поклонился и пошел прочь не оглядываясь, держа шляпу в опущенной руке.

За воротами его окликнули, он огляделся и увидел на противоположной стороне улицы, у подъезда больницы, старый «мерседес» доктора Фетшера.

— Ахим, ты оглох? — крикнул тот, высунувшись из приоткрытой дверцы. — Иди сюда, садись, я как раз собирался к вам!

Профессор пересек Фридрихштрассе, пожал руку Райнеру и, обойдя машину спереди, сел рядом.

— Поехали, если к нам. А что это ты в такое неурочное время — свободный день выдался?

— Какой, к черту, свободный! С утра была консультация здесь, а сейчас надо мчаться в

Иоганнштадтскую больницу — я уж не говорю о той ораве симулянтов, которая наверняка подкарауливает меня на Христианштрассе… Ты не представляешь, что делается! Все поющие, пляшущие и лицедействующие занедужили в одночасье, как по команде. Да как! И каждому, ты сам понимаешь, нужна справка.

— Очень хорошо понимаю. — Профессор улыбнулся, в театральном мире и впрямь, наверное, царит паника: неделю назад гауляйтер и имперский наместник Саксонии Мартин Мутшман приказал закрыть в Дрездене все зрелищные предприятия, а лицедеев и плясунов нещадно гнать на военные заводы. — Я ведь и сам уже второй год избавляюсь от трудовой повинности лишь благодаря этим твоим справкам.

— Ты! Тебе, милый мой, уже за шестьдесят, да и здоровье, скажем прямо… Но когда, извини меня, здоровая молодая кобылка разыгрывает обморок от истощения или сорокалетний тенор с вот такой грудной клеткой начинает жаловаться на сердечную недостаточность…

— Да пусть уж лучше симулируют, чем штампуют гранаты.

— Поэтому-то я и выдаю им эти чертовы справки, за которые меня рано или поздно

повесят! — Райнер расхохотался и запустил двигатель. — Поехали, по пути подвезу тебя домой. Я почему хотел заглянуть — вчера пришла открытка от вашей Людхен.

— Ах, и тебе! Мы тоже получили. А что в твоей?

— Текст ужасно конспиративный! Благодарит за лекарства, выражает надежду на полное выздоровление в деревне и просит передать «соседям по палате» сердечный привет. Что я и делаю.

— Благодарю. Наконец-то хоть она в безопасности…

Профессор вынул портсигар, но едва успел достать сигарету, как Райнер выхватил ее у него из пальцев и сунул себе в верхний кармашек пиджака.

— Не в моем присутствии, — сказал он строго. — Угодно тебе продолжать травиться — дело твое, но я, как врач, видеть этого не могу…

— Помилуй, это грабеж, — запротестовал Штольниц, — ты ведь сам ее выкуришь!

— Естественно, выкурю! А что ты хочешь, чтобы я с ней сделал? Но если эту отраву употреблю я, эффект будет не таким разрушительным — мой организм моложе… Кстати, какие у тебя планы на сегодняшний вечер?

— Ровно никаких. Даже радио не могу теперь послушать — приемник сломался.

— Давно пора, а то ты дослушался бы со своим «бум-бум-бум»… Я почему спрашиваю: как раз сегодня вечером у меня никаких срочных дел и есть бутылка отличного «мартеля»… презент от одной дамы из штаба Альвенслебена. Поэтому, если ты не против, мы ее вместе и разопьем. Только скажи Ильзе, чтобы ни о чем не беспокоилась, я привезу и кое-что из еды.

— Мерси, то и другое будет весьма кстати. Хорошего коньяка я не пробовал уже сто лет.

— Вот и отлично, сегодня попробуем… Надеюсь, гестаповские феи ничем его не сдобрили. И кстати, пока мы с глазу на глаз… — Фетшер притормозил на перекрестке и глянул на часы. — При Ильзе мы этой темы касаться не будем, поэтому скажу сейчас…

— Это касается Людхен? — встревоженно спросил Штольниц.

— Это касается тебя. Послушай, Ахим! У меня, конечно, связи довольно обширные… даже, как видишь, в СД. Но не станем обольщаться — все они весьма ненадежны. Я совершенно не уверен, что в случае чего сумею вовремя предупредить об опасности… не говоря уже о какой-то реальной

помощи потом, если, не дай бог, они все-таки до тебя доберутся…

— Помилуй, Райнер, я трезво оцениваю пределы твоих возможностей.

— Прекрасно! Очень рад, что ты разумно подходишь к этому вопросу. Но тогда позволь спросить — какого же ты черта так упорно отказываешься уехать?

— Мы ведь уже об этом говорили, — не сразу отозвался профессор. Машина нырнула под железнодорожный мост и выехала на Максштрассе. — Я не чувствую себя преступником, чтобы бежать, это первое…

— Ты что же, не знаешь случаев, когда честным людям приходится бежать от преступников?

— И потом, — продолжал профессор, пропустив слова друга мимо ушей, — мне действительно трудно отсюда уехать… Я всю жизнь прожил в этом городе, я его люблю, я предпочитаю умереть здесь, чем скитаться бездомным бродягой. Да и куда убежишь… Гёрделера тоже арестовали, ты читал?

— Читал. Интересно, получит ли эта стерва свой миллион.

— Да, и успеет ли истратить. Но главное, Райнер, в другом: я просто устал жить, понимаешь.

Только вот Ильзе… Но она оказалась куда сильнее, чем я думал. Что же до меня, то не вижу смысла прилагать столько усилий. Ради чего? Когда-то я боялся не дожить до конца этой мерзости, а сейчас у меня нет ни малейшего желания присутствовать при конце. Главное, что он уже предрешен…

Глава 4

Она не считала ни дней, ни недель, время текло сплошным серым потоком, она даже утратила привычку смотреть на часы. Да это было и не надо: жизнь в усадьбе подчинялась раз навсегда заведенному рабочему ритму — хозяйка будила их затемно, надо было готовить корм скоту, резать, мешать, запаривать, разносить по яслям и кормушкам, потом чистить стойла, готовить завтрак, после завтрака мыть посуду, готовить к отправке на завод молоко утреннего удоя, мыть бидоны, готовить обед, потом снова мыть — готовить — разносить — убирать — чистить — до самого вечера, когда едва хватало сил добраться до чердачной каморки и спать мертвым сном до новой побудки оглушительным стуком в дверь. Правда, кормили работниц не скупясь, сытно и

вкусно.

Здесь и впрямь никого не интересовало, знает ли она крестьянскую работу, да ее работа и не была, строго говоря, специфически крестьянской, к тому времени, когда «Гертруда Юргенс» приехала в Мариендорф, полевые работы уже в основном завершились, кончали убирать свеклу, но этим были заняты мужчины, два пленных поляка и молодой батрак из местных, не взятый в армию по причине слишком уж явной придурковатости. Работать в поле было бы, наверное, если не легче, то, во всяком случае, приятнее — все-таки на свежем воздухе, а здесь, в упрятанных под общую крышу хозяйственных помещениях, было холодно, сыро от постоянно мокрых цементных и кафельных полов, сквозняками несло запахи хлева и коровника. Словом, каторга. Единственным, за что Людмила была благодарна судьбе, оказалась постоянная усталость, наглухо выключающая мысли и чувства.

Лишь воскресенья оставались вехами, помогающими как-то ориентироваться во времени, но Людмила не помнила точно, сколько их уже здесь прошло — то ли шесть, то ли восемь. Работы по воскресеньям было меньше — пренебрегали послеобеденной уборкой и мытьем посуды, —

правда, все это соответственно увеличивало количество работы в понедельник; Людмила подумала однажды, что отсюда, вероятно, и пошло известное выражение о «тяжелом дне». А воскресенья были тяжелы другим: тоской. Вот когда она познала, что такое настоящее одиночество! В усадьбе, кроме нее, работало еще трое беженок, но они все были из Гамбурга (приехали сюда после прошлогодних бомбежек), держались вместе и на нее смотрели косо — возможно, опасались, что появление еще одной эвакуированной каким-то образом скажется на их собственном положении. Что касается местных крестьянок, то они вообще терпеть не могли «чужаков», в этой злобной неприязни было что-то первобытное, дикое — так, наверное, могли щетиниться на все чуждое обитатели какого-нибудь древнего городища. Если в будни Людмиле приходилось общаться с другими хотя бы по работе, то по воскресеньям она оставалась совершенно одна, и это было самым трудным. Именно в эти свободные и одинокие часы ее одолевали воспоминания настолько мучительные, что она с нетерпением ждала вечера — поскорее бы лечь, закрыть глаза, провалиться в сон, как в небытие…

Она не могла даже читать. Томик Лермонтова

был ее сокровищем, забота о котором доходила порой до мании, — работая, она то и дело ловила себя на мысли, что если вдруг загорится чердак, где были расположены каморки работниц, то можно не успеть добраться до чемоданчика… Но читать даже любимые свои стихи она сейчас не могла: стоило увидеть красный переплет с летящим золотым ангелом, как у нее темнело в глазах и все окружающее исчезало, оставался тот зимний вечер, органное пение из Кройцкирхе, запах снега и призрачный синий свет фонарей-канделябров. Запах рождественского снега, и запах полыни, и долгий, лживый счет кукушки в соснах, истекающих смолой на полуденном солнце, и гудение пчел над изгородью из подстриженной бирючины. Почему она не умерла в тот день, господи, почему не погибли они вдвоем, вместе, висячий мост мог рухнуть под их лягушачье-пятнистым «кюбельвагеном», или они могли потерять управление и разбиться на шоссе — позже, вечером, когда он сообразил, что уже опаздывает на поезд, и гнал вслепую, почти не видя дороги…

Это воскресенье оказалось восьмым, Людмила подсчитала наконец, сопоставив дату своего приезда в Мариендорф со штемпелем на повестке.

Повестку привез на своем облупленном красном велосипеде старик-почтальон Фицке, она была из аугсбургского центра по регистрации и распределению беженцев и составлена в суровых выражениях: «С получением сего Вам надлежит незамедлительно явиться…» — Людмила даже испугалась, но потом сообразила, что текст стандартный и отпечатан в типографии, а от руки вписаны лишь ее имя и дата. Это несколько успокаивало, свидетельствуя о массовости мероприятия, — вряд ли таким образом арестовывают. Скорее всего, спохватились и теперь пошлют куда-нибудь на военный завод. А, какая разница.

Она показала повестку хозяйке, фрау Каспар; та, по обыкновению, проворчала что-то насчет бездельниц, которые жрать жрут, а работать не работают. Строго говоря, можно было и не отпрашиваться, вызов носил явно официальный характер, — но к чему лишние конфликты? Местный поезд проходил здесь после обеда; Людмила решила ехать сегодня же, чтобы переночевать в лагере и завтра с утра выяснить, в чем дело.

В пять вечера она была уже в Аугсбурге. Беженский лагерь находился довольно далеко от станции, на берегу Леха, рядом с хлопкопрядильной фабрикой и газовым заводом, но Людмила

пошла пешком, чтобы отдышаться после переполненного вагона. Лагерь выглядел еще более уныло, чем тогда, в августе; под низким октябрьским небом серые бараки и аккуратно посыпанные шлаком дорожки наводили тоску. У доски объявлений торчал с меланхоличным видом красивый долговязый мальчишка лет семнадцати — некто Гейм, эвакуированный из Берлина сын чешско-австрийского фабриканта. Звали его Ян-Сигизмунд, но сам он представлялся по-английски — Джон.

— Какая приятная неожиданность, — произнес юный красавец, томно поднимая брови. — Рад видеть вас, мадемуазель Юргенс! Как буколическая жизнь на лоне природы?

— Что ж, там хоть не бомбят. И питание нормальное.

— Весьма существенно то и другое, я бы сказал. Как вы наладили отношения с туземцами из племени баюваров?

— Никак. А почему — как ты их назвал — баювары?

— Это не я, Трудхен, это римляне их так назвали. Еще в то время, когда Август Октавиан пытался приобщить эту публику к цивилизации — как оказалось, совершенно безуспешно. Видите ли, я

имел возможность наблюдать жизнь и повадки плебса в нескольких странах Центральной Европы… Вообще, зрелище неприглядное. Но смею вас уверить — хуже всего это выглядит именно здесь, в Баварии.

— Ты думаешь?

— Я знаю, поскольку мог сравнить. Баварский плебей, Трудхен, это ведь не просто плебей, — это плебей в квадрате, в кубе, это квинтэссенция самой идеи плебейства как такового. Ужасно! Между нами говоря, подозреваю, что именно он и является тем самым «недостающим звеном», которое так долго и безуспешно ищут антропологи…

— Недостающим звеном?

— Ну да, между последней обезьяной и первым человеком.

— Ах вот ты о чем. Это, пожалуй, интересная мысль, Джонни. Скажи, а почему ты до сих пор околачиваешься здесь, в лагере?

— Еще два дня, и вы бы меня здесь не застали. Я уже нашел себе комнату в самом центре — на Катариненгассе, рядом с домом Фуггеров. На работу будет совсем близко, через железную дорогу…

— Куда тебя направили?

— На так называемый завод сельскохозяй-

ственных машин — военный, естественно. Отвратительное место. А вас что привело назад, в эту юдоль слез?

— Я получила повестку, — сказала она. — Интересно, что это может быть?

— Понятия не имею, — лениво отозвался он. — Вы же знаете, неисповедимы пути бюрократии. Какая-нибудь проверка, вероятно.

— Ты думаешь? А я так испугалась, что даже не сообразила, что сегодня воскресенье и канцелярия в лагере закрыта. Здесь сейчас есть свободные койки? Мне придется переночевать, не ехать же обратно.

— У нас свободных мест много, а как в женских бараках — не знаю. Однако холодает, пойдемте в кантину, там сейчас никого нет, можно посидеть и поговорить…

В кантине действительно было почти пусто, только в одном углу сидели с вязанием несколько пожилых женщин, а в другом играли в шахматы двое стариков. Здесь по-прежнему держался неистребимый запах эрзац-кофе, дезинфекции и бульонных кубиков «Магги», и те же плакаты пестрели на стенах: «Победа или Сибирь», «Тсс — враг подслушивает», «Свет в окне — бомба на крышу». По обеим сторонам окошка, через кото-

рое с кухни подавали еду, висели инструкция по борьбе с зажигательными бомбами и еще один плакат, где небритый Коленклау в бандитской кепчонке утаскивал мешок наворованного угля, а еще более гнусный с виду Грошендиб, оглянувшись с циничной и явно пораженческой ухмылкой, нелегально включал в электросеть огромную плитку. Словом, и тут все было как прежде.

— Да… вот так и существуем, — философски заметил Гейм. — Европа двадцатого века, докатились… И ведь были благодушные ослы, искренне веровавшие в разум, прогресс и благодетельные плоды просвещения.

— Война скоро кончится, теперь уже недолго.

— Ну и что? Вы чего-нибудь ждете от конца войны? Я — нет. Разве что перестанут убивать так уж открыто, а в остальном… — Он не договорил, пожал плечами. — Весь ужас в том, Трудхен, что к лучшему наш мир уже не изменится, кто бы ни победил в этой бессмысленной потасовке. Все они сто'ят друг друга, поверьте; я теперь так понимаю беднягу Меркуцио — «A plague a both your houses», — помните?

— Вспомню, может быть, если ты скажешь это по-немецки.

— «Чума на оба ваши дома» — вот как это звучит по-немецки. Ладно, я тогда оставлю вас на минутку — пойду разыщу Гудрун, пусть позаботится о ночлеге…

— Разыщешь кого? — не поняла Людмила.

— А я тут завязал полезное знакомство… с одной местной активисткой. Довольно милая девчонка, к сожалению слегка помешанная на почве бомбобоязни, — беженка из Вартегау, в пути потеряла своих, — словом, обычная история. Сейчас я ее приведу, она вам все устроит…

Гейм вышел и скоро вернулся в сопровождении девушки в форменной блузке БДМ[22] и накинутом на плечи военном кителе со споротыми знаками различия. Белокурые косы и удивленно-испуганное выражение глаз придавали ей вид школьницы.

— Добрый вечер, — сказала она робко. — Ян просил узнать насчет койки…

— Да, если можно, на одну ночь.

— Я думаю, это можно устроить, сейчас тут есть свободные места, только не знаю, как с постельным бельем… Я спрошу у кастеляншки. Если вы дадите мне свои документы…

---

[22] Notes: 22

Сокр. от «Bund Deutscher Madel» *(нем.)* — Союз германских девушек.

— Да, пожалуйста. — Людмила расстегнула сумку и достала бумаги. — Я становилась на учет в августе.

— И еще придется сдать на кухню продовольственные карточки, они вам оформят талоны на ужин и на завтрак. Вы дайте их мне, я занесу…

Людмила отдала ей и карточки.

— Вы, кстати, не знаете, зачем меня могли вызвать? Я получила вот такую штуку, посмотрите…

— Вероятно, это по поводу одежды, — сказала Гудрун, прочитав повестку. — Вы зарегистрировались как пострадавшая от бомбежек?

— Не помню точно. — Людмила пожала плечами. — Может быть, и регистрировалась.

— Да, это из эн-эс-фау[23], насчет одежды. Сейчас они выдают пострадавшим обувь и одежду, я вот получила этот китель и ботинки, почти новые…

— Бог ты мой, — сказала Людмила. — И из-за этого мне пришлось тащиться в такую даль? Никогда бы не поехала, если б знала.

— Ах, что вы, как можно! У нас ведь нет обычных карточек на кожу и текстиль, как у местных жителей, а скоро зима. Завтра я вам с утра прине-

---

[23] Notes: 23

Сокр. от «Nationalsozialistische Volkswohlfahrt» *(нем.)* — ведомство социального обеспечения (в гитлеровской Германии).

су формуляры и покажу, как заполнить…

— Формуляры, формуляры, — вздохнул Джонни Гейм. — Я иногда думаю, Трудхен, что едва ли не самое омерзительное в современной войне — это ее гнусная бюрократическая регламентированность. На каждом шагу какие-то ордера, пропуска, разрешения, формуляры, причем каждая из этих бумажек всесильна, наделена поистине сатанинским могуществом… Нет, в самом деле — живешь себе, строишь какие-то планы, и вдруг является ее величество Бумага — повестка, или предписание, или распоряжение, — и ты превращаешься в бесправное ничто, в последнего раба, в илота. Ну что у меня теперь за жизнь, скажите на милость? Каждое утро я поднимаюсь затемно, тащусь через весь город на этот идиотский завод и там до самого вечера подвожу на тележке какие-то грязные металлические предметы к станку, за которым работает совершенно чудовищный плебей; посмотрели бы вы на него, Трудхен, это же истинный морлок. И он на меня еще кричит, если я запаздываю с тележкой! Слов, какими это животное меня обзывает, не сыщешь ни в одном лексиконе… Что же тут смешного, помилуйте? Вообще должен сказать, что такого царства хамов, как эта блистательная «третья

империя», еще никогда не было. Но вы думаете, другая сторона лучше? Единственная страна, еще сохранившая тень старого благородства, — это Англия. А Соединенные Штаты? Вдумайтесь в этот кошмар: какой-нибудь вчерашний фермер, может быть даже негр, не прочитавший за всю свою гнусную жизнь дюжины книг, забирается в кабину «летающей крепости» и одним движением руки превращает в кучу мусора готический собор, который строился триста лет… Кстати, Трудхен, вы ведь не чистокровная немка?

— Так называемая «народная», — объяснила она. Чем-то весь этот разговор начинал ей не нравиться.

— Я не о том, простите. Разумеется, вы «народная немка», если родились не в Германии. Но ваши родители — они оба немцы в самом деле?

— В общем, не совсем.

— Я так и думал, — кивнул Гейм. — У вас глаза не немки.

— Какие же у меня глаза? — Она засмеялась несколько принужденно, все еще не понимая, к чему он клонит.

— Славянские, это сразу видно, я-то знаю — моя мать чистокровная полька.

— Вот как? А я и не знала. И… где же она те-

перь, Ян?

— В Англии. Мы уехали туда в тридцать восьмом, а летом тридцать девятого я вернулся навестить обожаемого родителя — он этого потребовал. Ему-то хорошо — он благополучно погиб в Берлине от бомбежки, а каково мне? Вообразите проблему, Трудхен, не сегодня завтра меня могут призвать в этот идиотский новый «фольксштурм» — слышали, наверное?

Людмила кивнула — да, эту новость она слышала. Неделю назад, в годовщину Битвы народов под Лейпцигом, Гитлер объявил о создании «народного ополчения».

— Вы сами понимаете, в бой я не рвусь, — продолжал Гейм. — Но единственная возможность избежать призыва — это признаться в полуславянском происхождении. Доказать его я смогу: родитель в свое время подделал нужные бумаги, но я ухитрился достать старую свою метрику — еще австрийскую, до аншлюса. Однако объявить себя «недочеловеком»… Они тогда, естественно, спросят, почему же я столько времени прикидывался арийцем? Короче говоря, выбор тут такой: либо фронт — либо кацет. Вот и решай! Конечно, если бы знать, что пошлют на Западный… Там я могу перебежать, вы понимаете. Английским

владею свободно, родственники у меня и в Англии, и в Штатах, так что с этим проблемы не было бы.

— Да, а вдруг на Восточный? — поддела Людмила.

— Не говорите, Трудхен, там уже не перебежишь! Мне только этого не хватает для полноты жизненного опыта: познакомиться еще и с пролетарской диктатурой…

Вернулась Гудрун, отдала талоны на ужин и завтрак, сказала, что с ночлегом все улажено, койку можно занять хоть сейчас — четвертый барак, вторая комната, — в душевой сегодня есть горячая вода, а кино вечером не показывают — будет лекция.

— Спасибо, Гудрун, — сказала Людмила, — я сейчас приду. Четвертый барак, вы сказали?

— Да, первая дверь направо…

— Кино, значит, не показывают, — сказал Гейм с сокрушенным видом, когда Гудрун вышла. — Какая жалость. Единственное, что меня утешает, — это перспектива лекции — воображаю, что это будет за пиршество для ума. Интересно, Трудхен, догадаются ли когда-нибудь издать полное собрание лекций, прочитанных в «третьей империи» в период между тысяча

девятьсот тридцать третьим и тысяча девятьсот сорок таким-то годом… Боюсь, никому это не придет в голову, а жаль — какой был бы памятник эпохи! В кино, кстати, тоже иногда можно увидеть любопытнейшие вещи: вчера у нас показывали «Императорский вальс», но перед этим…

— Как ты сказал?

— Простите?

— Как назывался фильм?

— А-а! «Императорский вальс», но не в нем дело. Показывали последнюю кинохронику — похороны Роммеля. Невероятная пышность, можете себе представить, почти как при похоронах Гейдриха в позапрошлом году, — барабаны, пылающие факелы и все такое. Еще бы, «герой пустыни», любимец самого фюрера. Но знаете, что я слышал? Роммель, говорят, был в заговоре вместе с Вицлебеном и Штауффенбергом.

— Неужели?

— Мне сказал человек, который знает многое. Просто, видите ли, заговорщиков оказалось столько и на таких верхах, что говорить об этом стало политически опасно. Представляете, вдруг бы еще все узнали, что и Роммель тоже отрекся от Гитлера! Поэтому его отравили, а похороны устроили как национальному герою…

— Я все-таки до сих пор не могу понять, — сказала Людмила, помолчав, — столько было людей… и на таких верхах, как ты говоришь, и ничего не смогли сделать. Ничего!

— Ах, Трудхен. — Гейм вздохнул. — Это лишь доказывает бессмысленность подобных акций. Отчасти я могу понять графа Штауффенберга — человеку, в чьих жилах течет кровь крестоносцев, трудно мириться с засильем торжествующего хамства… Но вот стоило ли проявлять свои чувства так шумно — вопрос другой. Разумным это, во всяком случае, не назовешь.

— Разумнее, конечно, ничего не делать. — Людмила горько усмехнулась.

— Увы, это так. Я преклоняюсь перед этими людьми, но ведь их самопожертвование оказалось никому не нужным. Не говоря уж о главном: что они ровно ничего не добились. Но хотя бы признательность современников? Вы приехали сюда позже, а я двадцатого июля был здесь, — надо было видеть, как реагировала вся эта чернь. Собирали какие-то подписи — выражать любовь и восторг по поводу чудесного спасения, многие рыдали: «Представить только, что эти предатели действительно могли Его убить!» Какая-то истеричная баба бегала и кричала, что как сме-

ли просто расстрелять этого вонючего графа и его приспешников, их, дескать, надо было четвертовать, посадить на кол, сварить заживо в кипящем масле. И ради этой сволочи они пошли на смерть?

Ставень раздаточного окна в конце помещения со стуком распахнулся, еще сильнее потянуло кухонными запахами. Две женщины с повязками дежурных принялись расшвыривать по столам коричневые эмалированные миски. Гейм посмотрел на часы и встал.

— Да, сейчас нас прогонят. Вы знаете, где четвертый барак? Идемте, мне тоже в ту сторону…

Они вышли наружу; смеркалось, начал сеяться мелкий ледяной дождь. Угнетающе-безотрадный вид лагеря был нарочитым, как плохая театральная декорация.

— Скажи, Ян, — спросила Людмила, — этот фильм… Ну, ты говорил, видел вчера — «Императорский вальс», кажется… Кто там играет главную женскую роль, не помнишь?

— Боже праведный, откуда мне знать, кто там играет! Я ушел через полчаса, больше не выдержал — это что-то вроде оперетты из венской жизни времен Франца-Иосифа, этакая маргаринно-сиропная стряпня — красивые женщины,

гусары, шампанское…

— Я представляю… — Людмила помолчала. — А героиня действительно красивая?

— Думаете, я помню, кто там героиня… Если та дура, у которой роман с кронпринцем, то ничего. Такая черненькая, немного испанского типа. Итак, Трудхен, вон ваш барак — за углом второй. А я пошел к себе. Встретимся за ужином!

Сразу после ужина Людмила легла, но скоро поняла, что заснуть не удастся. Все обитательницы комнаты ушли на лекцию, было тихо, а сон не приходил. Не надо было слушать всю эту Янову болтовню, — к сожалению, в чем-то он был прав, бывают такие рассуждения — вроде бы в целом и неверные, а оставляют в мыслях занозу. У нее, впрочем, и не было сейчас никаких мыслей, она просто заново переживала тот день, невыносимо знойный, притихший, — все думали, что соберется гроза, но облака после обеда разошлись, осталась лишь какая-то мгла, к вечеру она стала зловещей, тускло-раскаленной над холмами за Эльбой. В доме непрерывно играло радио — фрау Ильзе несколько раз хотела выключить, но профессор говорил: «Не надо, оставь», — он, видимо, знал заранее: накануне к нему приезжали из Дрездена. Радио играло и играло — Вагнера,

Штрауса, какие-то оперетты, вальсы, и раскаленная мгла медленно гасла над холмами, а потом — было уже почти семь часов вечера — радио вдруг поперхнулось, оборвав на полутакте какую-то штраусовскую мелодию, и диктор торопливо заговорил срывающимся от волнения голосом: «Внимание, слушайте экстренное сообщение из ставки фюрера...» И после этого единственной надеждой, которую она могла себе позволить, осталась лишь надежда на то, что Эрих мертв, что он не попал в руки палачей живым; и с этой страшной надеждой она прожила еще неделю.

Но потом пришло письмо. Адрес на конверте был написан его рукой, и новая надежда, ослепительная и невозможная, взорвалась у нее в душе, когда она увидела эти почти квадратные буквы, начертанные четко и твердо, без наклона; поэтому таким немыслимым ужасом ударила ее первая строчка на хрустящем листке, который она неповинующимися пальцами вытащила из разорванного наискось конверта: «Любимая, это письмо ты получишь, когда меня не будет в живых...»

Она лежала сейчас в пустой барачной комнате, пропахшей дезинфекцией и каменноугольным дымом, и продолжала свой безысходный

спор с мертвым. Неужели прав этот циничный мальчишка Гейм? Эрих, ведь ровно ничего не дала твоя гибель, гибель твоих товарищей, ведь действительно бессмысленной оказалась ваша жертва!

«Бессмысленных жертв нет, — возражали ей строчки, начертанные прямым уверенным почерком, — всякая жертва имеет смысл, даже если он не виден современникам. Сейчас, примирившись с мыслью, что завтра я могу умереть и что, более того, нам даже не удастся осуществить задуманное, я не сожалею ни о чем. Кроме горя, которое моя смерть причинит тебе. Прости меня за это, любимая, иначе я не мог…»

Но почему, почему? Боже мой, почему «не мог» — какая в этом логика, какой смысл? Какая, наконец, польза, если всякий раз гибнут лучшие из лучших, оставляя место трусам, приспособленцам, самому ничтожному человеческому отребью! Как могла тебе прийти в голову эта мысль, мой любимый, эта нелепая убежденность, что ты «не можешь» — чего? Жить? Работать? Любить? Ведь этот ужас скоро кончится, Эрих, ну что тебе стоило — еще несколько месяцев, и все будет по-другому, — почему, почему ты не захотел дождаться…

Утром та же неутомимая Гудрун принесла Людмиле несколько формуляров, помогла правильно их заполнить и сказала, что теперь все это нужно отнести к фрау Крумхоф, инспектору эн-эс-фау.

— Может быть, вы могли бы при случае сами их передать? — спросила Людмила, пытаясь избежать лишней встречи с властями. — Мне просто неудобно отнимать у нее время такими пустяками…

— Я бы с удовольствием, — ответила Гудрун, — но фрау инспектор велела, чтобы вы обязательно пришли сами.

— А, ну хорошо, — небрежно сказала Людмила, почувствовав укол беспокойства. — Не совсем понимаю, правда, зачем я ей понадобилась…

Инспектрису Крумхоф она видела мельком три месяца назад, когда впервые приехала в лагерь. Сейчас, стоя в маленьком кабинете с обязательным портретом фюрера над столом, она украдкой посматривала на сидящую под портретом женщину, и фрау инспектор нравилась ей все меньше и меньше. Это была типичная нацистка — немолодая уже, сухопарая особа с гладко зачесанными к затылку седыми волосами, с недобрым тонкогубым ртом и суровым выражением лица. И одета, как нарочно, в дурно сшитый, уныло-серого цвета

форменный жакет с похожим на паука вензелем NSV на рукаве. Ну, эта из фанатичек, решила Людмила, с растущим беспокойством наблюдая, как та придирчиво разглядывает каждую служебную отметку на ее бумагах.

— Na ja, — нехотя сказала наконец фрау инспектор, явно разочарованная тем, что придраться не к чему. Выдвинув ящик стола, она достала два бланка, серый и желтый, не спеша заполнила их и оттиснула на каждом круглую фиолетовую печать с имперским орлом. — Пальто и пара ботинок, больше пока ничего. К концу года, может быть, сможем выдать еще что-нибудь из нижнего белья, но сейчас такой возможности нет. — Она протянула ордера Людмиле. — Получить надо сегодня, до девятнадцати часов. Ты знаешь, где находится наш склад?

Людмила сказала, что не знает, и фрау инспектор с еще более недовольным видом написала адрес на обороте желтого бланка.

— Это в центре, — пояснила она. — Доедешь трамваем до музея, там тебе всякий укажет.

— Благодарю вас, фрау Крумхоф. Я могу идти?

— Нет, мне нужно поговорить с тобой… Люси Земцоф — так, кажется, тебя зовут? Скажи-ка, знала ты некоего доктора Дорнбергера?

До Людмилы не сразу дошел смысл сказанного инспектрисой. Поэтому, наверное, она и не очень даже испугалась, первая реакция была какой-то неосознанной, чисто физиологической — она почувствовала, что у нее пересохло во рту и холодеют щеки и прежде всего подумала именно об этом: плохо, что наш организм настолько неуправляем, настолько нам неподвластен, он ведь сейчас выдает меня тем, что я бледнею, наверное, я совершенно побелела, отсюда этот холод на щеках…

— Почему же ты молчишь, — продолжала фрау Крумхоф, — или тебе непонятен мой вопрос? Я спросила, был ли тебе знаком в Дрездене доктор Дорнбергер?

Глядя мимо нее, Людмила ответила ровным голосом, что врача с такой фамилией не припоминает, в Дрездене никогда не жила, а зовут ее Гертрудой Юргенс — фрау инспектор не может этого не знать, так как сама только что держала в руках ее документы. За окном хмурое октябрьское небо низко висело над мокрыми толевыми крышами бараков, над заводскими трубами и газгольдерами по ту сторону шоссе. Вот и все, подумала она с леденящим сознанием безысходности, действительно от судьбы не убежишь,

стоило ехать из Саксонии в Баварию, чтобы все кончилось так глупо. Наверное, вот-вот пойдет снег… хотя для снега еще рано. Только конец октября? Да, рановато; впрочем, возможно, здесь он выпадает раньше. Господи, ну почему их машина не разбилась в ту жаркую, невообразимо далекую июльскую ночь, когда Эрих бешено гнал по бесконечной Кёнигсбрюккерштрассе, чтобы поспеть к берлинскому поезду, — гнал почти вслепую, так как уличные фонари не горели, а снабженные маскировочными щитками фары «кюбельвагена» едва освещали дорогу призрачным синим светом…

— Знаю, что по документам ты Юргенс, — ворчливо возразила фрау инспектор, — я говорю о настоящем имени. Подойди ближе! Знакома тебе эта штука?

Она достала ее из нагрудного кармана жакета — обыкновенную почтовую карточку с фиолетовой маркой шестипфеннигового достоинства, изображающей Гитлера в профиль. Открытка была старая, порядком уже поистертая, с оторванным уголком. Левым верхним, где пишется адрес отправителя.

— Неужели не вспомнила? — продолжала фрау Крумхоф уже нетерпеливо. — Этот недостающий

клочок должен находиться у тебя. Или ты его выбросила — на всякий случай? Подумала, что слишком опасно таскать с собой такую улику?

Вот так, наверное, всегда и ловят, подумала Людмила в отчаянии. Вопрос за вопросом, и нет времени сообразить, собраться с мыслями… Эрих тогда сказал — «отзыв к паролю», «нечто вроде отзыва» — и больше ничего, или она забыла? Нет, кажется, только это, никаких других условных фраз или вопросов… Да, он еще сказал, что она может верить тому, кто покажет открытку с оторванным уголком; если уголок совпадет, окажется оторванным именно отсюда, тому можно верить, это друг; но почем знать — может, они схватили того, настоящего, и уже все у него выпытали, а теперь… А теперь — что? Если они все узнали, то какой ей смысл запираться? Эриху она ничем повредить не может, а про Штольницев им наверняка известно, раз уж они знают ее настоящее имя…

— Да, уголок у меня, — шепнула она, пытаясь расстегнуть сумочку неповинующимися пальцами. — Могу показать, пожалуйста…

— Только ты успокойся и не суетись, — посоветовала фрау инспектор, — спешить некуда. Если «молния» сломается, новой тебе не достать. Где

и когда ты получила от Дорнбергера уголок от этой открытки?

— Я… он дал ее мне в Дрездене, шестнадцатого июля… — Она сама удивилась, что смогла относительно спокойно выговорить, произнести вслух эти слова — «шестнадцатое июля», «Дрезден»… Сумочка наконец раскрылась, она сунула туда оба «бецугшайна», которые до сих пор держала в руке, серый и желтый, — странно, зачем было выписывать ордера, если ее сейчас арестуют? — и достала из внутреннего кармашка обрывок тонкого желтоватого полукартона с ганноверским адресом некоего господина Плотцке.

Фрау Крумхоф приложила его к открытке, велела удостовериться и Людмиле, потом мелко изорвала и бросила в корзину.

— Я, наверное, немного тебя ошарашила таким внезапным вопросом, возможно даже испугала… Тебе что, нехорошо?

— Нет-нет, ничего, что вы — я… я просто счастлива, я никогда так хорошо себя не… не… — Она закусила губы, чувствуя, что сейчас будет то ли смеяться, то ли рыдать, то ли то и другое вместе, и едва выговорила: — В-в-воды у вас нет?

— Там, в шкафчике, кофейник с кипяченой.

Вода была тепловатая, с неприятным металли-

ческим привкусом. Сделав через силу несколько глотков, Людмила почувствовала подступающую тошноту и обессиленно опустилась на стул, прикрыв глаза.

— Но тебе нехорошо! — повторила фрау Крумхоф.

— Не беспокойтесь… я только посижу минутку. — Она откинула голову, коснулась стены затылком, это давало лишнюю точку опоры, не так все кружилось, и спросила, не открывая глаз: — Вы знаете, как погиб Эрих?

— Какой еще Эрих?

— Доктор Эрих Дорнбергер…

— А-а, Дорнбергер! Мне сказали, что его убили в перестрелке. Там же, в здании ихнего штаба.

— Это правда? Вы меня не обманываете? Он действительно не был арестован?

— Чего это, скажи на милость, я бы тебя обманывала. Я, как ты понимаешь, при его смерти не присутствовала, но в списке тех, кого в ту ночь привезли оттуда на Принц-Альбрехт, его имя не значилось. Это совершенно точно.

— Господи, больше всего я боялась, чтобы его не взяли живым…

Фрау Крумхоф помолчала, потом спросила:

— Ты была его любовницей?

— Я его любила.

— Даже так… Что он, собственно, был за человек?

— Простите, мне… трудно об этом говорить. Вы, наверное, лучше меня знали, какой он был.

— Да откуда мне его знать, твоего доктора. Я в жизни с ним не встречалась!

— Но как же тогда…

— А, ты об этом. Ну, это дошло до меня через других… по цепочке.

— Однако в заговоре вы участвовали?

— В заговоре Гёрделера? Ты с ума сошла, никто из нас не имел к этому никакого отношения. Были кое-какие предварительные контакты с группой Штауффенберга, но это скорее так… взаимное прощупывание. Сам Штауффенберг, насколько я понимаю, стремился к сотрудничеству с нами… или, во всяком случае, приветствовал бы его. Но остальные там были решительно против, да это и понятно — они делали ставку на англо-американцев.

— Простите, фрау Крумхоф, я не очень понимаю. Вы говорите — «сотрудничество с нами», — с кем?

— С гражданским подпольем, подчиняющимся оперативному руководству КПГ.

— КПГ, — растерянно повторила Людмила. — Так что же, выходит, Эрих был коммунистом?

— Если ты про Дорнбергера, то нет, коммунистом он не был. Но он, очевидно, принадлежал к тем, кого это слово не пугало. Во всяком случае, с просьбой относительно тебя он обратился именно к нам. Я думаю, это факт достаточно показательный… особенно если учесть ваши отношения. Ну что, тебе получше?

— Да, спасибо, уже ничего — у меня просто голова закружилась. Но как вы меня напугали своими расспросами…

— Извини, получилось и в самом деле не очень ловко. — По лицу фрау Крумхоф промелькнула несмелая улыбка; Людмила подумала, что улыбаться этой женщине случается не часто. — Собственно, я давно должна была тебя вызвать, но задержались с проверкой. Так вот в чем дело… Доктор, как я сказала, просил наших берлинских товарищей тебе помочь. Он рассказал твою историю и просил позаботиться о тебе до конца войны, чтобы ты смогла благополучно вернуться на родину. Ему обещали, что все возможное будет сделано, и мы можем это сделать. В Мариендорфе ты в безопасности, а война долго не продлится. Мы можем помочь тебе выжить, если

ты хочешь только этого. Но я подумала, что у тебя — советской девушки, комсомолки… ты ведь комсомолка?

— Естественно.

— Ну да, — кивнула фрау Крумхоф. Встав из-за стола, она прошлась по тесному кабинетику, прикрепила кнопкой отогнувшийся угол плаката «Зимней помощи» с изображением солдата в заснеженном окопе и, придвинув стул, села рядом с Людмилой. — Так вот, комсомолка Люси Земцоф. Возможно, у тебя есть желание не только пережить эту войну, но и самой сделать что-то для того, чтобы она кончилась скорее. Возможно, ты хочешь внести и свой вклад в то, за что боремся все мы… и за что погиб человек, которого ты любила. В Дрездене, согласись, ты не испытывала особых тягот, не говорю уж об опасности, и жилось тебе, если сравнить с положением других твоих соотечественниц, довольно благополучно…

— Но, фрау Крумхоф, — горячо заговорила Людмила, перебив инспектрису, — я сама все время — не надо меня уговаривать и стыдить, я уже давно мечтаю только об этом — и не только после гибели Эриха, нет, еще и раньше — в Дрездене, вы правы, я ведь все время сама ощущала, просто вот

чувствовала, насколько это было — аморально, если хотите! — совсем ничего не делать, жить как в мирное время…

— Ну, кое-что сделала и ты, не увлекайся самобичеванием. Переправить лекарства в шталаг — на это, милая моя, тоже не всякая решится.

— Откуда вы знаете про лекарства? — изумилась Людмила.

— Не задавай глупых вопросов. Ты думаешь, я начала бы этот разговор, если бы не знала про тебя все решительно? Словом, вот что. Мне поручено выяснить, можем ли мы рассчитывать на тебя в том случае, если возникнет необходимость. Ты поняла?

— Да, разумеется, я…

Фрау Крумхоф предостерегающим жестом подняла ладонь:

— С ответом спешить не надо. Ты вернешься к себе в Мариендорф и хорошенько все обдумаешь. Возможно, такой необходимости вообще не возникнет. Но может случиться и так, что мы о тебе вспомним, тогда ты получишь телеграмму с каким-нибудь не вызывающим подозрений текстом, где будут указаны адрес и дата. Если к тому времени — через месяц, или два, или три, — если ты твердо решишь, что хочешь нам помогать,

явишься по указанному адресу в указанный день, и тебе скажут, что делать. Если тебя не будет, мы поймем, что ты решила иначе.

— Я уже сейчас могу сказать, что приеду по первому вызову!

— То, что ты можешь сказать сейчас, меня не интересует. Меня интересует, что ты скажешь через месяц, когда поостынешь. Нам нужно решение спокойное, трезвое, тщательно обдуманное и взвешенное с учетом возможностей и обстоятельств. Кстати, по поводу этого твоего головокружения… Ты, насколько я понимаю, была с Дорнбергером близка, — уж не ждешь ли ты ребенка?

Людмила, прикусив губу, отрицательно мотнула головой.

— Хорошо хоть на это хватило ума… Да, вот еще что: телеграмма будет подписана «Агнессой» — это мое имя. Других знакомых Агнесс у тебя нет? А то может получиться путаница. Итак, в принципе, мы договорились?

— Да, фрау Агнесса.

— Очень хорошо. Вопросы ко мне есть?

— Да, я хотела бы спросить… Те люди, у которых я жила в Дрездене, — ну, вы знаете, вероятно, профессор Штольниц и его супруга. Может быть,

вам о них что-нибудь известно? Они мне, естественно, писать не могут, а профессор — он ведь тоже участвовал, я думаю, — во всяком случае, он был в курсе, помог мне бежать сразу же после двадцатого, когда начались аресты…

— Да, я знаю, — прервала ее фрау Агнесса. Она вернулась к своему столу, села, начала перебирать бумаги. — Боюсь, ничего утешительного сообщить не могу, — продолжала она, не глядя на Людмилу. — Профессор Штольниц казнен две недели назад по приговору «народного трибунала» там же, в Дрездене. Я не хотела тебе говорить, Люси Земцоф… Но, пожалуй, надо, чтобы ты знала и об этом.

Глава 5

Надзиратель откинул стальную заслонку глазка, заглянул — обитатель камеры № 25 сидел, как положено, лицом к двери, держа руки на коленях. Когда в тишине послышалось громкое металлическое клацанье вставляемого в замок ключа, он поднялся с табуретки и близоруко прищурился, поддерживая брюки скованными руками.

— Шлабрендорф, на выход! — рявкнул надзиратель, распахнув дверь.

Заключенный вышел из камеры и привычно остановился, пока замок снова запирали двумя ключами. Зачем надо запирать пустую камеру, он не понимал и часто задавал себе этот вопрос, раз даже не утерпел и спросил надзирателя, но ответа не удостоился.

Процедура запирания окончилась, последовала команда идти, он пошел. Соседнюю камеру — № 24 — занимает Дитрих Бонхёфер, крупнейший протестантский богослов Германии. Камеру 23-ю — его превосходительство адмирал Канарис. 22-ю — ближайший помощник адмирала, генерал-майор Ганс Остер. 21-ю — доктор Карл Гёрделер. 20-ю — Ульрих фон Хассель, бывший посол в Риме. Какой, однако, у нас тут подобрался beau-monde[24], меланхолично подумал Шлабрендорф и поддернул сползающие брюки.

Странно, что их всех не изолировали, опять мелькнуло у него в голове. Этому он тоже не переставал удивляться. Формально заключение считается одиночным — каждый сидит в отдельной камере, но дважды в сутки, утром и вечером, всех водят в общую умывальную комнату. Во время умывания с них не спускают глаз, общение

---

[24] Notes: 24
Высший свет *(фр.)*.

между собой строго запрещено и наказуемо, но полностью ему воспрепятствовать конвоиры, естественно, не могут. Десять-двенадцать человек моются одновременно в тесном помещении, где с шумом льется вода и урчат трубы, — в общем-то, всегда есть возможность оказаться рядом с кем нужно и украдкой шепнуть или услышать словечко-другое. Не менее удобное место встреч — бомбоубежище, куда во время налетов загоняют всех заключенных. Какой-то остряк (из него, видно, еще не успели выбить чувство юмора) назвал тюремный бункер «Клубом господ».

Посильную помощь оказывают также тюремные уборщики из уголовных. Есть среди них и осведомители, но те, как правило, известны поименно; обычно же кальфакторы за небольшую мзду, а то и просто из чувства тюремной солидарности охотно сообщают внешние новости, информируют о появлении новых «жильцов», передают устные сообщения из камеры в камеру…

В сопровождении конвоира Шлабрендорф долго шел по коридору, потом был поворот, лестница наверх, опять коридор — уже не такой тихий и потеплее: ближе к поверхности. Холод и могильная тишина на нижних ярусах внутренней тюрьмы Главного управления имперской без-

опасности особенно убийственно действовали на свежего человека: попадая туда, арестованный чувствовал себя уже навсегда отрезанным от мира живых, заживо погребенным. «Оставь надежду, всяк сюда входящий…»

Еще одна лестница — здесь совсем тепло, это уже их царство. Конечно, когда побываешь на допросах с применением второй или третьей степени, возникает как бы обратный рефлекс: тишина и холод там внизу воспринимаются как желанный покой, как отдых, лишь бы дали поспать, набраться сил для следующего раза. И наоборот — комфортная обстановка верхних этажей вызывает страх. Впрочем, последние две недели его оставили в покое — не били, не растягивали на «прокрустовом ложе», даже на пальцы не надевали тисков. Наверное, испугались после того сердечного приступа — не ожидали, да и он сам не ожидал: в тридцать семь лет о сердце еще не думают. Но в данном случае это оказалось весьма кстати.

Перед знакомой дверью конвоир велел стать лицом к стене. Шлабрендорф стал, привычно нашел правильное положение тела. Главное — равномерно распределить тяжесть на обе ступни. Ни в коем случае не переминаться с ноги на ногу,

это обманчивое облегчение, устаешь гораздо скорее. А сколько придется стоять, никогда не знаешь — то ли пять минут, то ли двадцать, то ли четыре часа. Однажды он выстоял около четырех с половиной — это был рекорд; но прождать у двери следователя час-полтора — вещь обычная. Это входит в программу, как предварительная обработка — разрушение воли к сопротивлению. Когда впервые вызывают на допрос, заключенный весь внутренне напрягается, он готов к худшему и настроен на борьбу. Начни его допрашивать в таком состоянии — ничего не скажет, скорее даст себя забить. А нужно, чтобы этот заряд внутренней энергии потихоньку испарился, растаял. Вызванный думает, что его тут же схватят, начнут выкручивать руки, — чепуха, никому он не нужен, пусть-ка постоит, подождет — полчасика, часик, еще столько же. Когда тебя бьют по лицу, возникает яростная ответная реакция, организм внутренне мобилизуется, а когда просто болят ноги — тут никакой мобилизации не происходит, организм медленно изматывается, силы уходят еще до начала схватки.

Той же цели отвечает и излюбленная следовательская практика ночных допросов, так называемых конвейерных — предварительно

подготовив подследственного ожиданием у двери, его допрашивают в течение часа, потом отводят обратно в камеру, дают уснуть и тут же опять будят на допрос — и весь цикл повторяется три-четыре раза за ночь. Следователи, естественно, сменяют друг друга. А днем в камере спать нельзя, запрещено даже прилечь, можно только сидеть или ходить — семь шагов по диагонали…

— Входи! — послышалось у него за спиной, одновременно со звуком отворенной двери.

Шлабрендорф вошел в кабинет с чувством застигнутости врасплох — ждать почти не пришлось, само по себе это хорошо, но может означать и нечто худшее. Окинув комнату быстрым взглядом, он несколько успокоился: лишних людей не было, за столом сидел его следователь, комиссар Хабеккер. И конечно, Герти в своем углу, у столика с пишущей машинкой. При пытках, как правило, присутствует больше народу — вахмистр, криминаль-ассистент, иногда врач. Не исключено, конечно, что они появятся позже.

— Садитесь, Шлабрендорф, — сказал Хабеккер почти добродушным тоном, указывая на прикрепленный к полу стул, в полутора метрах перед столом.

Шлабрендорф сел, положил руки на колени и

украдкой покосился в угол. Может быть, это не Герти? Без очков он видел плохо, — в принципе, это могла быть и другая секретарша, в таком же серо-черном мундирчике СД. Нет, все-таки это она, змееныш, ее поза — сидит нога на ногу, покачивает начищенным сапожком…

Хабеккер долго рылся в бумагах, листал какую-то папку, потом закурил. От запаха табака Шлабрендорф почувствовал головокружение.

— Ну так как, — спросил наконец следователь, — расположены мы сегодня говорить правду?

— Я всегда расположен говорить правду, — с готовностью подтвердил Шлабрендорф и почтительно добавил: — Господин криминалькомиссар.

— Да, да, еще бы. Всегда расположены говорить правду, но почему-то врете на каждом слове, как…

— Как грязная скотина, — ангельским голоском подсказала Герти из своего угла.

— В сущности, да. Увы, Шлабрендорф, это действительно так: вы врете, как грязная скотина. Фрейлейн права. Грубовато сказано, конечно… Вы ведь знаете нынешнюю молодежь, нас с вами воспитывали иначе. Но по сути верно. Сколько

это времени я уже с вами бьюсь? Сентябрь, октябрь, ноябрь — да, почти три месяца. И за эти три месяца вы ничем не помогли следствию, вы его только запутываете, только и знаете что отрицать: там не были, того не видели, с тем не встречались… Вы сами юрист, Шлабрендорф, и должны знать, что столь упорное противодействие органам правосудия ни к чему хорошему не приводит. Если вы рассчитываете облегчить этим свое положение, то могу заверить — ошибаетесь. Вы лишь отягощаете его, Шлабрендорф. Вы уже не раз вынуждали нас прибегнуть к методам допроса, которые я, в принципе, не одобряю…

— И совершенно напрасно, — послышалось из угла.

— Помолчите, Герти. Я действительно этого не хотел, Шлабрендорф, но вы сами своим упорством… Кстати, как ваши руки?

— Уже ничего, господин криминаль-комиссар.

— Покажите.

Шлабрендорф встал и, приблизившись к столу, показал руки. Следователь покачал головой, подошла и Герти, овеяв Шлабрендорфа запахом французских духов. Он попытался вспомнить — «Ланвэн»?

— Шрамов, я думаю, не будет, — сказал Хабек-

кер. — Вы еще легко отделались… пока.

— Пару патефонных иголок под ногти, — деловито посоветовала Герти, — и он подписал бы что угодно.

Шлабрендорф покосился на нее — с виду этакая миловидная белокурая гретхен, пожалуй не старше двадцати. Чего только не увидишь в этом паноптикуме! А ведь он давно считал, что его ничем уже не удивить.

— Герти, займитесь своим делом, — строго сказал следователь. — Найдите протокол последнего допроса Лендорфа. И вы тоже сядьте…

Шлабрендорф вернулся на место.

— Вот и эти наручники, — продолжал Хабеккер, — к чему они вам, скажите на милость, насколько приятнее было бы иметь руки свободными хотя бы на ночь, не правда ли? Поймите, все зависит от вас. Вы, конечно, уже совершили ошибку — огромную ошибку, чуть было не сказал: непоправимую. Вы, человек такого происхождения, связались черт знает с кем…

Шлабрендорф невольно усмехнулся, — можно подумать, Штауффенберг или Эвальд фон Клейст были из батраков…

— То есть, конечно, главные предатели тоже принадлежали к так называемому хорошему

обществу, — поправился Хабеккер, заметив и правильно истолковав его усмешку. — Дело не в этом. Так или иначе, ошибку вы сделали, но я не считаю ее непоправимой. Напротив, я хотел бы дать вам возможность ее исправить. Почему вы отказываетесь мне помочь?

— Господин криминаль-комиссар, — сказал Шлабрендорф, — свои действия я не считаю ошибкой: я действовал в соответствии со своими убеждениями, которые во многом расходятся с идеями и практикой национал-социализма. Как юрист, я понимаю и признаю, что совершил государственное преступление, сознательно нарушая ныне действующие законы германского государства. За эта я готов понести наказание в полной мере. Но не вынуждайте меня клеветать на других людей, доискивайтесь до их вины сами, если они действительно в чем-то виновны. А если я невольно оговорю кого-либо из своих знакомых под пыткой, то это будет вынужденный оговор, не имеющий юридической силы.

— Никто не требует от вас кого-либо оговаривать! Речь идет лишь об установлении истины. Есть факты, которые следствию неясны, и поэтому мне хотелось бы уточнить некоторые обстоятельства.

— Какие именно?

— Ну, в частности, меня интересует ваша встреча с графом Лендорфом, имевшая место в середине июня сего года. Этого факта вы не отрицаете?

— Нет, не отрицаю.

— Где состоялась встреча?

— В имении Штейнорт, в Восточной Пруссии.

— В Восточной Пруссии, — задумчиво повторил Хабеккер. — Не так уж и близко от тогдашней дислокации штаба «Центр», где вы служили. Так, так… А почему, собственно, вам вдруг пришло в голову ехать в гости к Лендорфу?

— Собственно, не мне. К Лендорфу поехал мой непосредственный начальник, генерал-майор фон Тресков. Я сопровождал его в качестве адъютанта.

— Так это что же, была служебная командировка?

— Н-нет, не думаю. Это был частный визит, насколько я понимаю. Дело в том, что Тресков с Лендорфом давно знали друг друга, были в дружеских отношениях…

— А вы? Вы были с ними в дружеских отношениях?

— С генерал-майором — да. Насколько, конеч-

но, позволительно говорить о «дружбе» между генералом и лейтенантом. Хеннинг фон Тресков был к тому же значительно старше.

— А с графом Лендорфом?

— Обычное светское знакомство, господин криминаль-комиссар.

— Не очень близкое?

— Пожалуй, нет.

— Так, так… Все-таки мне не совсем понятна одна деталь: генерал-майор, начальник оперативного отдела штаба группы армий, в разгар боевых действий вдруг отлучается с места службы и едет с «частным визитом», как вы сами это определили. Причем едет довольно далеко — из Белоруссии в Восточную Пруссию ни много ни мало. А ведь обстановка на участке «Центр» была, помнится, весьма и весьма серьезной. А, Шлабрендорф?

— Тогда еще нет, господин криминаль-комиссар. Русское наступление началось в пятницу двадцать третьего, если не ошибаюсь, а тогда наблюдались лишь некоторые тревожные признаки…

— Например?

— Массированные удары с воздуха по нашим аэродромам в Минске, Барановичах, Белостоке,

а также заметная активизация партизанских банд на железных дорогах. Главное, конечно, эти бомбежки. Когда аэродром в Барановичах снова разбомбили через два дня после первого налета, Тресков сказал мне, что русские будут наступать, и очень скоро.

— И все же поехал в гости?

— Мне трудно обсуждать действия начальства, господин криминаль-комиссар, но думаю, что в тот день обстановка позволяла генералу отлучиться. Послужной список Хеннинга фон Трескова свидетельствует, что он никогда не манкировал своими служебными обязанностями.

— Не несите чепуху, Шлабрендорф. Послужной список! Могу вам назвать офицера, чей послужной список можно выставить в Потсдамском музее, настолько он безупречен, — это полковник Штауффенберг. Впрочем, ближе к делу; итак, вы вместе с Тресковом приехали в этот самый, как его… Штейнорт. Граф был дома?

— Так точно.

— Он вас ждал или ваш приезд был для него неожиданностью?

— Не берусь утверждать, — осторожно ответил Шлабрендорф. — Так или иначе, он был дома…

— И ждал гостей. Кстати, был там еще кто-ни-

будь?

— Я никого не видел, кроме домашних Генриха.

— Генриха, вы сказали?

— Я имею в виду графа фон Лендорфа, господин криминаль-комиссар.

— Я понял, кого вы имеете в виду! Не странно ли, что вы называете по имени человека, с которым у вас, как вы утверждаете, светское и не очень близкое знакомство?

— В нашем кругу это принято.

— Ах вот оно что. Ну ладно! При разговоре Лендорфа с Тресковом вы присутствовали?

— Да, разговор шел при мне.

— И о чем же они беседовали?

Шлабрендорф не спешил отвечать. С Генрихом они виделись на прошлой неделе в умывальной, и тот успел шепнуть, что факт совещания в Штейнорте отрицать бессмысленно, но о чем шла речь — гестапо не знает. Жаль, что не было возможности хорошо согласовать версии.

— Вы слышали вопрос?! — заорал Хабеккер.

Это тоже входило в его метод: разговаривать с допрашиваемым спокойно, а потом вдруг срываться на крик. Шлабрендорф это уже знал, и особого воздействия вопли на него не произво-

дили. Чтобы не разочаровывать следователя, однако, он всякий раз разыгрывал испуг.

— Д-да, прошу прощения, господин криминаль-комиссар, — заговорил он торопливо, — я просто пытался вспомнить как можно более добросовестно. Все-таки, вы понимаете, обычный застольный разговор, имевший место полгода назад, — тем более потом такие события! — естественно, не все удержалось в памяти…

— Послушайте, Шлабрендорф, не разыгрывайте идиота! Генерал-майор Тресков не отлучился бы из штаба накануне русского наступления — о котором он сам вас предупреждал! — ради «обычного застольного разговора»! Зачем он ездил к Лендорфу?

— Если у генерал-майора и была какая-то скрытая цель поездки, мне об этом ничего не известно.

— Они уединялись без вас?

— Ни разу, господин криминаль-комиссар.

— Значит, весь разговор — с начала до конца — шел в вашем присутствии? Подумайте хорошо, Шлабрендорф, прежде чем ответить на этот вопрос!

— Естественно, господин криминаль-комиссар, кто же отвечает, не подумав. Я присутствовал

при всем разговоре генерал-майора с графом Лендорфом.

— Скажите на милость! Вы только послушайте, Герти, какая вдруг чопорная официальность; только что он называл его Генрихом, а теперь уже «граф Лендорф»!

— Крутится, как червяк на крючке, — прокомментировала секретарша. — А дерьмовый граф раскололся со второго раза.

— Помолчите, до этого мы еще не дошли. Итак, Шлабрендорф! Вы, вероятно, кажетесь самому себе этаким героем, но зрелище являете самое жалкое. Нет ничего глупее, чем упорствовать в попытках выгородить соучастника, который вас уже давно продал. Да, да, Шлабрендорф, продал со всеми потрохами — и вас, и вашего Трескова! Итак, о чем они говорили?

…Действительно — о чем? Знать бы, что на этот вопрос ответил Лендорф, — впрочем, все равно не поверят, даже если бы ответы более или менее совпали. Да он и сам не рассчитывал, что ему поверят, важно было одно — не делать признаний, которые можно зафиксировать в протоколе…

— Насколько помнится, говорили обо всем понемногу. О хозяйстве — граф жаловался на трудности с рабочей силой… Они с генерал-майо-

ром вспоминали каких-то общих знакомых, еще довоенных, имена мне не запомнились, потому что ни одно из них не было мне известно. Ну и о военном положении, естественно…

— Точнее!

— Больше всего говорили о высадке англо-американцев — что она, в общем, оказалась успешной, но Эйзенхауэр слишком медлит, топчется на месте. Тресков сказал, что еще неясно, можно ли это считать оперативным успехом, или он пока не превышает тактического уровня. Говорили также о разгроме финнов севернее Ленинграда и о том, что Финляндия, вероятно, в скором времени вынуждена будет выйти из войны…

— Понятно. Радовались, так сказать, нашим временным неудачам. Фюрера критиковали?

— Господин криминаль-комиссар, я мог бы сказать «нет», но ведь вы все равно не поверили бы. Методы верховного военного руководства сейчас и в самом деле вызывают у многих… недоумение.

— Конкретнее, Шлабрендорф, конкретнее.

— Я, например, слышал, что утром шестого июня фюрер запретил перебросить в район высадки две танковые дивизии резерва главного

командования, потому что астрологи отсоветовали.

— Астрологи?

— Ну да, вы же знаете — фюрер с ними консультируется. Так вот, они якобы сказали, что высадка в Нормандии носит отвлекающий характер, а главные силы вторжения будут десантированы в районе Кале или Дюнкерка, чтобы через Бельгию выйти к Аахену кратчайшим путем. Поэтому дивизии РГК пошли на север; потом, правда, их вернули, но было уже поздно.

— Я не понимаю! — завизжала Герти. — Господин Хабеккер, почему вы позволяете этому предателю изрыгать в вашем присутствии такую гнусную клевету? Ему надо проколоть язык!

— Ти-ше! — Следователь хлопнул по столу ладонью. — Не устраивайте мне тут истерик! Шлабрендорф, это и в самом деле типичные пораженческие слухи. От кого вы их слышали?

— Вот уж не помню! Возможно, в какой-то компании — в столовой, в казино, где угодно, тогда ведь это было главной темой разговоров…

— Хорошо, вернемся к вашей поездке в Штейнорт. Значит, если я правильно вас понял, разговор за столом носил общий характер и касался главным образом текущих событий. Планы

переворота при этом обсуждались?

— Нет, господин криминаль-комиссар.

— Так уж и нет? Судите сами, Шлабрендорф: вы своего участия в заговоре не отрицаете. Лендорф — тоже. Тресков изобличен совершенно неопровержимо, хотя и in articulo mortis[25]. Итак, трое заговорщиков собрались вместе, беседуют о том о сем, но почему-то не касаются главной темы. Вы ведь, если не ошибаюсь, сказали, что посторонних при этом не было? Следовательно, умолчание из осторожности отпадает. Ну? Правдоподобно ли, что вы вдруг «забыли» о своих гнусных планах?

— Мы действительно их не обсуждали тогда.

— Ложь! Шлабрендорф, вы опять намеренно запутываете следствие! Мне доподлинно известно, что Тресков для того и встречался с подполковником Лендорфом, чтобы проинструктировать его, дать конкретное задание на день переворота! По сигналу «Валькирия» Лендорф должен был явиться к командующему Первым военным округом в Кёнигсберге и убедить того присоединиться к путчистам. Откуда мне это известно? Да из показаний самого Лендорфа, безмозглый вы идиот!

---

[25] Notes: 25
Посмертно *(лат.)*.

Герти, я просил найти протокол, где он?

Герти подошла к столу и положила перед Хабеккером лист бумаги. Тот пробежал его, бормоча себе под нос и водя пальцем по машинописным строчкам, и сунул Шлабрендорфу:

— Подойдите сюда! Читайте сами — вот здесь, где отчеркнуто синим карандашом! И взгляните ниже. Вы узнаёте подпись Генриха фон Лендорфа?

Шлабрендорф, взяв протокол обеими руками, поднес его к самому носу, с трудом разобрал отчеркнутый текст, потом стал разглядывать подпись. Подпись была подделана, и даже не очень искусно.

— Простите, господин криминаль-комиссар, — сказал он с сожалением, — без очков мне трудно утверждать, но подпись выглядит странно — подполковник Лендорф, вероятно, был немного… не в себе, когда это подписывал. Могу я просить об очной ставке?

— Можете, можете, — с угрозой сказал Хабеккер. — Вы у меня допроситесь, наглец вы этакий, я вот распоряжусь надеть на вас еще и ножные кандалы…

Герти выразительно вздохнула, явно поражаясь долготерпению начальства. На столе зазвонил

телефон, Хабеккер снял трубку, послушал.

— Ладно, — буркнул он недовольно и стал выбираться из-за стола. — Я скоро вернусь. Вы пока подумайте, Шлабрендорф, взвесьте, как говорится, все «про» и «контра»…

Шлабрендорф едва удержался, чтобы не попросить — нельзя ли подумать в коридоре: лучше бы простоять три часа носом к стенке, чем провести пятнадцать минут наедине с этой маленькой дрянью. Некоторый опыт у него уже был.

— Вы действительно наглец, — сказала Герти, как только дверь закрылась за Хабеккером. — Что меня удивляет, так это противоестественное сочетание наглости и ничтожества. Вы ведь ничтожество, милый мой Фабиан, гнусная мразь, дерьмо…

Закурив, она прошлась по комнате походкой манекенщицы, держа сигарету на отлете в левой руке, а правую заложив за пояс мундира. Шлабрендорф настороженно следил за нею взглядом, избегая, однако, поворачивать голову. Особенно неуютно он себя чувствовал, когда она оказывалась у него за спиной. А духи все-таки «Ланвэн», их не спутаешь. Появившись снова в поле его зрения, Герти подошла к столу и взяла лист с протоколом допроса Лендорфа.

— Подпись, значит, выглядит странно, — усмехнулась она. — Посмотрим, как будет сегодня выглядеть ваша… если у вас останется чем держать перо… «В нашем кругу это принято», — передразнила она жеманным тоном. — Что это за «ваш круг», а?

— Я имел в виду себя, графа Лендорфа…

— Аристократия, голубая кровь?

— Ну, не такой уж я аристократ… Просто люди определенной среды, воспитания…

— Ах воспитания. — Герти понимающе покивала, подходя ближе. — Воспитание у вас наследственно-аристократическое, еще бы, еще бы! Ведь ваш о'па, если не ошибаюсь, был лейб-медиком этой старой английской шлюхи Виктории, ставил ей клистиры и все такое?

— Прадед, с вашего позволения, — поправил Шлабрендорф. — Барон Штокмар был моим прадедом.

— Тем более. А скажите, разве воспитанному человеку полагается сидеть, когда перед ним стоит дама? — Она вдруг изо всех сил лягнула его по щиколотке. — Встать, выродок!!

Он встал, морщась от боли. И ведь всякий раз найдет самое чувствительное место…

— Мразь, — продолжала Герти, отойдя к сто-

лу. — Рядом с вами противно находиться, вы, наверное, никогда не моетесь…

— Дважды в день, — возразил он. — Но холодной водой, и мыла, конечно, не дают.

— Удивительно! Явный недосмотр хозяйственного отдела, ведь мыла у нас сколько угодно — из одних ваших соплеменников сколько вываривают. Признайтесь, Фаби, вы ведь немножко иудей?

— Нет, насколько мне известно.

— Да вы гляньте в зеркало! При всем «аристократизме» вашей физиономии, дорогой фон Шлабрендорф, — она сделала на «фон» издевательское ударение, — в ней явно проглядывает нечто дегенеративно-семитическое. Скорее всего, ваша мутти побаловалась с каким-нибудь крючконосым. А? Она — даром что внучка барона, как его там, — любила, наверное, этим заниматься, и ей было все равно — где и с кем, верно? Тем более что крючконосые, говорят, как любовники — что-то колоссальное!

— Фрейлейн, — сказал Шлабрендорф, — могу я быть с вами откровенным? Вы вызываете во мне сложное чувство. С одной стороны, вы существо страшное и отвратительное, и в то же время мне вас жаль — когда я подумаю, что ждет таких,

как вы. Вам ведь не так уж долго осталось носить этот элегантный мундирчик — а что потом? Вы будете весь остаток жизни дрожать от страха, что кто-нибудь опознает вас на улице…

Она подошла к нему и плюнула в лицо.

— Ты к тому времени давно сгниешь, вонючий предатель!

Шлабрендорф поднял к лицу скованные руки и обшлагом стер со щеки плевок.

— Надеюсь, что нет, фрейлейн, — ответил он любезно.

За несколько дней до Рождества к нему на свидание впервые пришел его защитник, доктор Боден.

— Коллега, не стану вас обманывать, — сказал он, — мое присутствие в суде — чистая формальность, все дела «двадцать дробь семь» сейчас решаются заранее, с одним и тем же приговором. Говорю об этом прямо, вы человек мужественный — иначе вас бы тут не было. Совершенно не важно, сможет ли суд инкриминировать вам соучастие в действиях Трескова; достаточно, что вы о них знали. Вы знакомы с историей капеллана Верле? Он проходил свидетелем по делу барона Леонрода — того судили еще в августе, вместе с генерал-лейтенантом Тиле и другими

мюнхенцами. Выяснилось, что Леонрод пришел однажды к Верле и поинтересовался, как относится церковь к тираноубийству — в принципе. Фрейслер спросил у свидетеля, был ли вопрос задан на исповеди, а когда капеллан ответил, что нет, это была просто беседа, его обвинили в сокрытии преступного замысла. Он, дескать, обязан был донести, поскольку тайна исповеди его не связывала. На следующем процессе бедняга-капеллан фигурировал уже как обвиняемый, и четырнадцатого сентября его приговорили к смерти вместе с группой графа Юкскюля. Это просто для вашего ознакомления, коллега.

— Благодарю за откровенность. Когда назначено к слушанию мое дело?

— Двадцать первого декабря, если не отложат.

— Вот что, доктор Боден. Хотя исход предрешен заранее — тут вы правы, у меня нет на этот счет никаких иллюзий, — давайте все же попытаемся использовать единственный шанс. Хочу вас предупредить, что на суде я намерен отказаться от всех показаний, сделанных во время следствия.

— Простите, а мотивировка?

— Самая простая: показания сделаны под пыткой, следовательно юридической силы не имеют.

— Вы хотите сказать, что вас пытали?

— Да, несколько раз, и это докажет любая экспертиза. Если угодно, у меня здесь все записано — даты, вид применявшейся пытки, кто присутствовал…

Доктор Боден оглянулся на надзирателя, безучастно сидевшего в другом конце комнаты для свиданий.

— Просуньте листок под сетку… Ну что ж, коллега, я даже не знаю, что сказать. Попытаться, конечно, можно, я, правда, не уверен, что это не ухудшит вашего положения… Скажите, к другим подследственным тоже применяли пытки?

— Насколько мне известно, да. Не знаю, ко всем ли, но про некоторых могу сказать совершенно точно. Мы моемся вместе, я сам видел у них следы побоев и шрамы, которые оставляет «печная труба».

— Печная труба? — переспросил Боден.

— Ну, это я так называю — такая штука вроде печной трубы, ее надевают на ногу, а там внутри шипы, при завинчивании они врезаются в тело.

— Невероятно, коллега. Но… почему никто не заявлял об этом на суде?

— Вероятно, они тоже не были уверены, что это не ухудшит их положения. Это ведь, вы сами

понимаете, крайняя мера. Тут или — или.

— И вы все-таки думаете…

— Это единственный мой шанс, да и что мне терять?

Боден согласился, что терять и в самом деле нечего. Шанс был действительно единственным и последним, если это вообще можно было назвать шансом.

Две недели назад Шлабрендорфа подняли, как обычно, среди ночи, но, вместо того чтобы отвести к следователю, вывели во внутренний дворик, где ждала закрытая машина. Ехали около часа — по асфальтированному шоссе, потом по грунтовой дороге, потом под колесами захрустело — гравий или шлак. Машина стала, ему велели выходить, он вылез и увидел стену барака, а дальше — за обширным пустым плацем — ярко освещенную продольным лучом прожектора ограду из колючей проволоки на бетонных, загнутых внутрь столбах. Он мысленно прикинул — единственным известным ему местом, расположенным так близко от Берлина, был Заксенхаузен.

Его привели в длинное низкое помещение, похожее на тир; торцевая стена была обшита досками, в полу перед ней тянулось углубление вроде широкого желоба, наполненного опил-

ками.

— Не догадываетесь, зачем вас сюда привезли? — с издевательским смешком спросил сопровождавший гестаповец. — Но только перед этим придется исполнить еще одну формальность. Сюда, прошу вас…

Через боковую дверцу они прошли в другое помещение, одну стену которого занимали вмурованные в кирпичную кладку широкие чугунные дверцы — их было несколько, и за одной из них, неплотно прикрытой, гудело и клокотало пламя, бросая на бетонный пол белые пляшущие блики. Под потолком тускло светила единственная лампочка в проволочной сетке, и Шлабрендорф не сразу разглядел длинный темный предмет на полу. Запах он почувствовал раньше. Ему велели подойти ближе — это оказался большой темный гроб, измазанный глинистой землей, с разбитой и оторванной крышкой. Здесь запах был совершенно непереносим, ему стало дурно. Сквозь расщепленные, расколотые ударами кирки дубовые доски был виден полуразложившийся труп в мундире с золотым шитьем на алых петлицах; Шлабрендорфа спросили, опознаёт ли он останки бывшего генерал-майора Хеннинга фон Трескова, он ответил утвердительно — да, опознаёт.

— Еще бы вы не узнали своего соучастника, — сказал гестаповец. — Мерзавец надеялся ускользнуть от расплаты, инсценировав честную солдатскую смерть в бою, но мы не позволим, чтобы гнусная плоть предателя оскверняла немецкую землю. В печку эту падаль!

Откуда-то из темноты появились четверо в круглых шапочках и полосатых куртках, один раскрыл чугунные дверцы топки и длинным крюком вытянул из бушующего белого пламени раскаленную тележку-лоток — она мягко шла по вделанным в пол рельсам, которые сразу задымились. Гроб взвалили на тележку, повалил смрадный дым, но «мертвецкая команда» действовала проворно и со сноровкой — огненная тележка мгновенно исчезла со своей страшной поклажей, дверцы снова захлопнулись. Едва державшегося на ногах Шлабрендорфа вывели наружу, посадили в ту же машину и отвезли обратно. На следующий день Хабеккер объявил ему, что следствие закончено.

— Против вас, милейший, — сказал он на прощание, — столько уже улик, что хватит на десять смертных приговоров.

С тех пор его положение значительно улучшилось — прекратились ночные вызовы на допрос,

наручники с него сняли, разрешили свидания и передачи. Он наконец смог получить костюм, чистое белье — все эти месяцы ему пришлось носить давно превратившийся в грязную тряпку мундир, в котором он был арестован, с кителя только спороли знаки различия — в тот день, когда ему (вскоре после ареста) официально сообщили, что офицерским «судом чести» он изгнан из вермахта. Так было со всеми арестованными военными — эта юридическая хитрость позволяла отдавать офицеров под гражданский суд, которому они без этого были бы неподсудны.

Двадцать первого, как и обещал Боден, утром его побрили, выдали очки и отвезли в хорошо знакомое здание судебной палаты города Берлина, где ему так часто приходилось бывать по делам еще в веймарские времена. «Народный трибунал Великогерманской империи» заседал в большом пленарном зале, судьи разместились за длинным столом: на среднем месте председатель Роланд Фрейслер, справа от него — генерал Рейнеке, слева — заместитель председателя суда, президент сената Гюнтер Небелунг. Генерал был в мундире, Фрейслер и Небелунг — в средневековых судейских шапочках и мантиях цвета бычьей крови, с имперским орлом на груди, остальные сидевшие

за столом были в штатском. За спиною у Фрейслера, на фоне огромного красного полотнища со свастикой в белом круге, высился четырехгранный постамент, увенчанный бюстом Гитлера.

В этот день вместе со Шлабрендорфом должны были рассматриваться дела еще четверых обвиняемых. До обеда успели вынести три смертных приговора. В зале раскатами гремел голос Фрейслера — его манера вести процесс шокировала даже заседателей. Умелый оратор, он не упускал ни малейшей возможности подметить и обыграть любую оговорку или неудачное выражение обвиняемого — то иронизировал, то обрушивался на него с площадной бранью. «Грязное животное, — кричал он, — вы хоть чувствуете себя сломленным тяжестью собственных преступлений?!» — «Видите ли, господин председатель...» — «Никаких „видите ли“» — я вас спрашиваю, чувствуете ли вы себя сломленным, отвечайте прямо — да или нет!» — «Нет!» — «Еще бы! Сломиться может что-то твердое, а вы ведь просто жалкий слизняк!» — так зачастую проходил диалог между ним и обвиняемым. Безнадежно, подумал Шлабрендорф, попробуй тут упомянуть о пытках — он просто не даст договорить, любым способом заткнет рот...

После обеда судебное заседание не возобновилось, и «недосуженных» отвезли обратно во внутреннюю тюрьму. Никакой новой даты не объявили, свидания с Боденом Шлабрендорф добился только через неделю; ничего не поделаешь, сказал тот, это вещь обычная, слушание может откладываться не один раз и без объяснения причин. Скорее всего, трибунал просто перегружен, дела рассматриваются в том порядке, в каком они представляют интерес для Кальтенбруннера, Гиммлера или самого фюрера. Поди узнай, кто их заинтересует завтра!

Заканчивался сорок четвертый год, ничего веселого не сулил и приближающийся сорок пятый. Было ясно, что он станет последним годом «третьей империи», но сколько еще жертв погребет она под своими обломками! Кто-то из кальфакторов принес новость о провале наступления в Арденнах — значит и эта последняя авантюра кончилась ничем. Шлабрендорф чувствовал, что силы его на исходе — голод и погребная сырость в едва отапливаемой камере подтачивали сопротивляемость; иногда ему казалось, что он постепенно теряет способность мыслить, впадает в какое-то отупение. Миновала половина января, на Восточном фронте началось новое

грандиозное наступление советских армий — об этом тоже известили заключенных всезнающие кальфакторы. Двадцатого доктор Боден сообщил Шлабрендорфу, что слушание его дела назначено на третье февраля.

Третьего, едва началось утреннее судебное заседание, взревели сирены. Сначала была объявлена обычная предупредительная тревога; Фрейслер распорядился позвонить в штаб ПВО Берлина, чтобы узнать обстановку, и оттуда ответили, что колоссальная — до полутора тысяч машин — армада американских «крепостей» только что прошла Рур и движется в направлении Ганновер — Магдебург. Через несколько минут сирены взвыли снова, возвещая уже непосредственную угрозу. Под зданием судебной палаты имелись обширные прочные подвалы, приспособленные под бомбоубежища; члены суда и публика спустились вниз, туда же — в отдельное помещение — отвели и подсудимых, надев наручники и ножные кандалы. Началась самая страшная за всю войну дневная бомбежка Берлина. В одиннадцать часов шесть минут тысячекилограммовая фугасная бомба разнесла в щебень левое крыло здания, пробив пять верхних этажей; перекрытия нижних обрушились внутрь, раздавив всех

находившихся в этой части убежища. Среди погибших, как выяснилось позже, оказался и «кровавый судья» Роланд Фрейслер.

А подсудимые в своем закоулке уцелели. Когда бомбежка кончилась, их вывели наверх и по улицам, заваленным догорающими обломками, отвезли обратно на Принц-Альбрехтштрассе. Здание гестапо тоже сильно пострадало, но подземные помещения выдержали, в камерах только не было теперь ни света, ни отопления. Когда сняли наручники, Шлабрендорф сунул озябшие руки в карманы пиджака и вдруг почувствовал под пальцами тоненькую туго скрученную бумажную трубочку, — видимо, кто-то сунул ему в карман там, в убежище. Нащупав знакомую щель в табуретке, он спрятал туда записку. А что, если света не будет несколько дней?

Свет, однако, дали в ту же ночь. Опасливо поглядывая на глазок в двери, Шлабрендорф развернул клочок тончайшей папиросной бумаги и с трудом разобрал бисерные буковки: «Не падайте духом, ваши друзья делают все возможное».

Глава 6

Старик Фицке принес телеграмму утром, Людмила распечатала ее и прежде всего взглянула на подпись — так и есть. Наконец-то! Глубоко вздохнув, словно ей вдруг не хватило воздуха, она внимательно прочитала текст: «Роберт пробудет Мюнхене три дня проездом из лазарета зпт остановился Швабинг Конрадштрассе 10 тчк Агнесса». Людмила прикусила губу, глядя на заснеженную линию гор вдали, под бледно-голубым февральским небом. Что ж, вот и пришел наконец ее час…

Фицке не торопился уезжать — топтался тут же, разглаживая усы, бормоча что-то о холоде и о том, что не худо бы сейчас выпить подогретого пива. Людмила сбегала за кошельком, сунула старику несколько алюминиевых монеток и спросила, ходят ли сегодня поезда на Мюнхен. Почтальон выразил сомнение (путь, кажется, еще не восстановили), но сказал, что если ей непременно надо ехать, то это можно устроить — туда едет кузнец и, пожалуй, сможет прихватить ее с собой.

— Спросите у него, господин Фицке, — сказала Людмила, — мне очень нужно!

Через полчаса красный велосипед снова подкатил к калитке и старик, заметно уже навеселе, крикнул, что пусть Трудль будет готова к двум часам — кузнец обещал заехать.

Людмила быстро собралась, уложила в чемоданчик самое необходимое. Кое-что пришлось оставить, чтобы не возбуждать лишних подозрений, хотя она была почти уверена, что больше сюда не вернется. Нужно было еще отпроситься у хозяйки: беженки, живущие и работающие в крестьянских хозяйствах, по своему правовому положению были приравнены к наемным работницам и свободно располагать собой не могли. Фрау Каспар сначала и слушать не стала — что это она себе воображает, тут столько работы, а ей в Мюнхен понадобилось, но в конце концов сдалась и угрожающе объявила только, что вычтет у нее за все дни прогула.

В половине третьего к воротам подкатил тарахтящий трехколесный грузовичок с пристроенной сбоку черной колонкой газогенератора. Кузнец, круглолицый сорокалетний инвалид в вылинявшем горно-егерском кепи с козырьком, выбрался из кабины и открыл дверцу справа, поправляя что-то на сиденье.

— Полезай, Трудль, — сказал он, — тут я тебе

одеяло подмостил, меньше будет трясти. А то подушки ни к черту. Ну да поедем потихоньку, торопиться некуда…

— Я тоже не спешу, — согласилась Людмила. — Только вы сможете там подвезти меня по адресу?

— Подвезем, — кивнул кузнец, забираясь на место и умащивая между педалей свой протез. — И адрес разыщем, если дом еще стоит. А то ведь может быть и так, что ами наведаются туда раньше нас, э? Ну-ну, не бойся, со мной не пропадешь, я везучий…

Грузовичок долго чихал и сотрясался, прежде чем двинуться с места, потом благополучно выехал на мюнхенское шоссе и прибавил ходу.

— По делам едешь или так? — спросил кузнец.

— Получила телеграмму от знакомой, — сказала Людмила. — Пишет, что ее брат приехал в Мюнхен, — может быть, узнаю что-нибудь о своих. Они были вместе.

— Всех, что ли, растеряла?

— Да, вот так получилось…

— Отыщутся, — сказал кузнец и сунул за щеку коричневую плитку жевательного табака. — У меня вон у жены свояк тоже пропал еще в сорок втором в Африке, а месяц тому пришло письмо

через Красный Крест — в плену сидит. А мы уж и похоронить успели. Может, и твои отыщутся. Если живы, конечно. Траур-то по ком носишь, по отцу?

— Нет, по мужу, — не сразу ответила Людмила.

— Вон что… Я почему подумал — колечка-то нет, вот и не скажешь, что замужем.

Некоторое время ехали молча, потом кузнец спросил:

— Муж твой… в России, верно, остался?

— Нет, он погиб в Берлине.

— Во-он что. Скажи на милость, выходит — кому где судьба… Он что же, служил там?

Людмила молча кивнула. Кузнец пососал табак и сплюнул, высунув голову наружу.

— А меня обкромсали на Восточном. Еще в сорок первом, под Москвой. Я же говорю — я везучий. Нога пропала к свиньям собачьим, это верно, но зато учти — в России я был всего четыре месяца. А другие? Представляешь, проторчать там всю кампанию — и чтоб тебя убило или покалечило под конец… Этого и врагу своему не пожелаешь. А мне повезло. Нога что? Танцевать я свое оттанцевал, а работать можно и так. Даже детишек делать. Младшая-то у меня в прошлом году родилась…

Путь оказался долгим. Грузовичок несколько раз останавливался с заглохшим мотором, кузнец вылезал, ругаясь, возился под капотом или шуровал в топке, подкидывая туда чурок. Правая стенка кабины нагрелась от газогенератора, было душно, Людмила расстегнула пальто. Медлительность путешествия выводила ее из себя; кузнецу она сказала, что не спешит, сказала просто так, решив почему-то, что это более конспиративно — не проявлять нетерпения. Но нетерпение и тревога росли с каждым километром, приближавшим их к Мюнхену. Зачем ее вызвали? Какое задание она получит — настоящее, серьезное или, может быть, просто хотят что-то узнать? Нет, вряд ли стали бы вызывать из-за пустяков… Ну что он, в самом деле, так тащится, лошадьми и то было бы скорее!

Короткий февральский день быстро шел на убыль. К окраинам Мюнхена они подъехали уже в сумерках, движение здесь было более оживленным, стали попадаться велосипедисты с прицепами, военные грузовики, легковые машины с укрепленными на крыше газовыми баллонами; кузнец, опасаясь аварии (все ехали без огней), вел теперь свою колымагу и вовсе черепашьим шагом. Увидев наконец впереди первый трамвай,

Людмила вздохнула с облегчением.

— Знаете, я, пожалуй, здесь сойду, — сказала она торопливо, застегивая пальто. — Я совсем забыла — мне еще в один дом надо зайти, тут совсем близко…

Кузнец свернул к тротуару, затормозил. Людмила расплатилась с ним талонами на табак и вылезла из душной кабины, кузнец достал из кузова ее чемоданчик.

— Ну, счастливо, Трудль, — сказал он, не преминув по своему баварскому обыкновению шлепнуть ее пониже талии. — Эх и добрый же товар! Обратно вместе поедем или как? Я возвращаюсь завтра, так что скажи, куда заехать, если нужно.

— Нет, спасибо, я еще не знаю, надолго ли здесь задержусь…

На трамвайной остановке она расспросила, как проехать в Швабинг, на Конрадштрассе; добираться пришлось долго — это оказалось на другой стороне Изара, возле университета. Было уже около семи, когда она подошла к мрачному особняку, чернеющему в глубине заснеженного сада. На звонок открыла укутанная в шаль старушка.

— Простите, — сказала Людмила, стараясь говорить спокойно, — мне нужен господин Роберт…

— Какой еще господин Роберт?

— Понимаете, я получила телеграмму — здесь указан этот адрес, — телеграмму от Агнессы…

— А, — сказала старушка неприязненно. — Идемте, я провожу…

Не сняв пальто, с чемоданчиком в руке, Людмила последовала за ней. В доме было так холодно, что изо рта шел пар. Они миновали несколько темных комнат, потом дверь открылась в освещенную. Здесь было немного теплее. Возле пристроенной к камину круглой железной печурки сидел в инвалидном кресле на колесах тощий старик в пальто и натянутой на уши вязаной лыжной шапочке с помпоном. Людмила опешила — она представляла себе своего подпольного руководителя совсем иначе.

— Здравствуйте, товарищ Роберт, — сказала она.

— Я никакой не Роберт! — раздраженно провизжал старик. — И никогда не имел чести состоять в «товарищах»! Меня зовут Лангмайер, Гуго Лангмайер! Телеграмма при вас?

Людмила протянула ему телеграмму, ничего не понимая и начиная уже опасаться, нет ли тут ловушки; но если этот нервный господин Лангмайер мало соответствовал ее представлению о

подпольщике, то и на гестаповца, пожалуй, он походил еще меньше.

Старик прочитал телеграмму, скомкал и сунул в печку.

— Садитесь, — разрешил он. — Садитесь и грейтесь. Пальто можете не снимать, все равно собачий холод. И если позволите, я бы хотел видеть ваши документы…

Людмила раскрыла чемоданчик и протянула Лангмайеру конверт со своими бумагами.

— Садитесь же, — повторил тот, изучая ее удостоверение личности. — Так, так… Гертруда Юргенс, стало быть. Марта! Марта! — закричал он пронзительным голосом.

Появилась та же закутанная старушка.

— Знакомьтесь, — сказал хозяин, — моя экономка, фрау Марта…

— Очень рада, — сказала Людмила.

Экономка что-то пробормотала, бросив на гостью неодобрительный взгляд.

— Марта, молодой даме надо согреться. В доме есть спиртное?

— Вы, видать, совсем уже спятили, — ответила фрау Марта.

— Так. А бульонных кубиков не осталось?

— Кубики есть.

— Тогда не откажите приготовить чашку горячего бульона.

Экономка поджала губы.

— Там их всего пять штук, — заявила она непреклонно.

— Спасибо, но я совершенно не голодна, — торопливо сказала Людмила, чувствуя, что краснеет. — И я даже не замерзла совсем, в машине было так тепло…

— Вас не спрашивают! А вы делайте, что приказано, старая вы зловредная ведьма! Хотите, чтобы у меня опять подскочило давление?

Экономка, ворча, удалилась.

— Раньше таких жгли на кострах, ко всеобщему удовольствию, — заметил Лангмайер. — Совершенно книжный персонаж… из «Malleus Maleficarum»…[26] Так вот что, уважаемая! Хочу объяснить ситуацию: я в ваших делах никакого участия не принимаю, но жилище мое, увы, давно превратилось в дом свиданий. То и дело кто-то приезжает, день и ночь таскаются всякие темные личности… ваши «товарищи», надо думать, — добавил он с ехидством. — Вот и вы теперь.

— Я могу уйти. — Людмила пожала плечами.

---

[26] Notes: 26

«Молот ведьм» *(лат.)* — название средневекового трактата о колдуньях.

Куда ее, в самом деле, прислали? Старик явно помешан.

— Сидите уж, раз явились. Сколько вам лет?

— Двадцать один, как и по документам.

— Да, да… Солидный возраст, солидный и, главное, вполне разумный. Но ничего, уважаемая, не огорчайтесь, некая Жанна была моложе. Это просто ассоциация, не примите за намек — только что упомянули о кострах… Ваш Роберт явится завтра. Зачем вы ему понадобились?

— Я сама еще не знаю, господин Лангмайер.

— Ничего, узнаете. Уж они для вас что-нибудь придумают! А на Марту не обращайте внимания, поворчит и перестанет. Только не забудьте, прошу вас, отдать ей завтра свои карточки — она будет выстригать по мере надобности. Неизвестно ведь, сколько вы здесь пробудете.

— О, простите, я не сообразила, сейчас отдам…

— Не важно, это не к спеху. Сейчас она принесет ваш бульон, выпейте и отправляйтесь спать. В комнате не топят, но Марта снабдит вас периной.

— Пожалуйста, не беспокойтесь обо мне, господин Лангмайер, я не замерзну. Вы слушаете Лондон? — спросила она, увидев на каминной полке маленький приемник.

— А что мне прикажете слушать — Берлин?

— Нет, я только хотела спросить, какие новости. В Мариендорфе у меня не было возможности слушать радио, а газеты…

— Что конкретно вас интересует?

— Ну, например, где сейчас Восточный фронт.

— Восточный, вы сказали? Восточный фронт, уважаемая, уже на Одере — под Бреслау и Франкфуртом, на севере он под Кёнигсбергом, на юге — в Будапеште. Такова общая картина. Что еще? Рузвельт и Черчилль прибыли в Крым, на конференцию «большой тройки». Это, пожалуй, главная новость. Любопытно, до чего они там договорятся… Под Бреслау, кстати, Одер русские уже перешли — создали плацдарм на левом берегу. Да что Одер! Жуков и на Изаре будет раньше Эйзенхауэра, да смилуется над всеми нами Господь Бог…

Утром, когда она проснулась, за окном шел мокрый снег, в комнате было очень холодно и пахло нежилой сыростью. Людмила повернула голову — на выцветших обоях висела дешевая репродукция «Сикстинской Мадонны», ниже было прикреплено распятие с чашечкой для святой воды и заткнутой за него веточкой букса. Людмила не отрываясь смотрела на литографию

и вспоминала посещение картинной галереи с профессором в мае или июне сорок второго года. Он долго рассказывал ей тогда про эту картину, она мало что поняла — было много незнакомых выражений, специальных терминов…

Где-то за стеной бормотало радио, Людмила прислушалась: «…на Западном фронте подвижные соединения вермахта в течение ночи на восьмое февраля успешно отражали тяжелые атаки канадских войск, перешедших в наступление на Нижнем Рейне, в секторе Нимвеген — Клеве…» Нехотя выбравшись из-под перины, она умылась ледяной водой, которая едва сочилась из крана. Вошедшая без стука фрау Марта кислым тоном пожелала ей доброго утра и пригласила завтракать.

Лангмайер сидел у печки в том же виде, в пальто и вязаной шапочке; можно было подумать, просидел так всю ночь. Рассеянно поздоровавшись, он протянул руку к стоящему на каминной доске приемнику и усилил звук. «…За саботаж оборонных мероприятий военно-полевым судом приговорены к смертной казни бургомистр Бреслау Шпильгаген, бургомистр Кёнигсберга Флетер, полицай-президент Бромберга Залиш. Приговоры приведены в исполнение. В Бромбер-

ге за пораженческие настроения разжалованы и направлены в исправительный батальон бургомистр Эрнст, советник магистрата Кюн, крейслейтер НСДАП Ромм…»

— Непоколебимый германский дух! — фыркнул Лангмайер, выключая приемник. — Садитесь к столу, Гертруда.

Людмила села, фрау Марта поставила перед нею большую чашку того же «Магги» (запас кубиков, похоже, за ночь увеличился) и тарелку с двумя скупо намазанными маргарином ломтиками серого хлеба. Лангмайер, стащив с головы лыжную шапочку, сложил перед собою ладони, стал беззвучно шептать, опустив морщинистые черепашьи веки. Потом принялись за еду. Людмила с аппетитом выпила горячий бульон, не без сожаления вспомнив обильные завтраки в Мариендорфе. Лангмайер ел не спеша, тщательно пережевывая черствый хлеб.

— Когда должен прийти Роберт? — спросила Людмила.

— Обещал утром. Вам так не терпится? — Лангмайер ехидно улыбнулся. — Успеете, уважаемая. Туда не опаздывают… было бы, как говорится, желание. А вас, вижу, хорошо разагитировали. Что ж, метод не новый. И даже на первый взгляд

эффективный — до определенного, как бы это сказать…

Бормотал он себе под нос, не глядя на гостью; трудно было понять, рассуждает ли он сам с собой или ждет, чтобы разговор был поддержан.

— Какой метод, простите? — переспросила Людмила на всякий случай.

— Ну вот этот. — Лангмайер сделал жест в ее сторону. — Использование инстинкта самопожертвования! Церковь когда-то широко применяла этот метод, но потом отказалась. И знаете почему? Потому что церковь строит на века; а на таком фундаменте ничего по-настоящему прочного не воздвигнуть. Дело в том, что, по сути, это ведь даже не инстинкт. То, что мы называем инстинктом, есть неосознанная биологическая необходимость: лишите живое существо возможности следовать инстинкту, и оно погибнет. Или погибнет род, если говорить об инстинкте его продолжения.

— Боюсь, я не очень понимаю, господин Лангмайер…

— Естественно! Будь вы способны понять, вас тут не было бы. Но когда-нибудь поймете… может быть. Если вам повезет на этот раз! Когда-нибудь вы поймете, что стремление к самопожерт-

вованию — состояние экстатическое, а экстаз выгорает быстро. Это своего рода взрыв психики, поэтому на него нельзя опираться, если хочешь мыслить перспективно. Нацисты попытались основать на этом всю систему отношений между государством и личностью… и когда-то это действовало. О да, еще как действовало! На первых порах. А теперь? Вы же слышали передачу. — Он пренебрежительно кивнул в сторону приемника. — И дело не в том, что они проиграли эту войну; предположим, они ее выиграли — ценой жизни целого поколения, которое пожертвовало собой, с готовностью пошло на смерть. Однако история-то на этом не остановится, значит возможна и следующая война, — а кто же, позвольте спросить, захочет снова жертвовать собой? Захочет ли еще одно поколение? Весьма сомнительно. А третье, уважаемая… — Ланг-майер погрозил Людмиле пальцем, словно она несла ответственность за нарисованную им мрачную картину, — уж третье-то поколение — внуки тех, кто умирал за фюрера под Москвой и Сталинградом, — эти внуки наверняка пошлют всё к черту. Всё решительно пошлют, начиная с самого понятия «государство»… И наверное, будут правы. Потому что государство, которое

использует гигантский аппарат пропаганды для того, чтобы в своих корыстных целях привить оболваненному народу психоз массового самопожертвования, — такое государство ничего иного не заслуживает…

Покончив с завтраком, он отъехал обратно к камину, натянул на уши шапочку и закурил, бережно ввинтив в длинный резной мундштук половинку разломленной сигареты. Фрау Марта начала убирать посуду, Людмила вызвалась ей помочь, но та сказала, что обойдется без помощниц. Едва она успела, составив на поднос пустые чашки и тарелки, выйти из комнаты, как раздался прерывистый тройной звонок.

— А вот и ваш долгожданный товарищ Роберт, — объявил Лангмайер и взялся за ободья своего кресла. — Не откажите в любезности, Гертруда, открыть вон ту дверь… Покорнейше вас благодарю, дорогая. Нет-нет, не надо, я сам!

Хозяин дома выехал. Прикрыв за ним двери, Людмила стояла посреди комнаты, и сердце ее билось так же, как забилось вчера утром при виде подписи «Агнесса» на телеграмме. Наконец-то сейчас она все узнает…

Довольно долго никого не было. Потом дверь без стука раскрылась — другая, не та, через кото-

рую уехал Лангмайер. Мужчина неопределенного возраста, с подколотым английской булавкой пустым левым рукавом, с порога улыбнулся Людмиле.

— Здравствуй, Труде, — сказал он, идя к ней. — Как живешь? Привет тебе от Агнессы…

— Здравствуйте, — прошептала она. — Это вы — Роберт?

— Да, он самый. Гм… вот, оказывается, ты какая…

Он подал ей руку с той же широкой приветливой улыбкой, но глаза его не улыбались — они смотрели оценивающе и настороженно, может быть даже недоверчиво. Людмила под этим взглядом почувствовала себя неловко.

— Какая «такая»? — спросила она, стараясь держаться непринужденно.

— Слишком молодая, пожалуй… Ну ладно, увидим. Телеграмма тебя не испугала?

— Я четыре месяца ждала ее, товарищ Роберт…

— И за это время для тебя ничего не изменилось? Может быть, ты ответила несколько необдуманно тогда, в разговоре с Агнессой?

— Я тогда сказала фрау Крумхоф — у меня было время обдумать этот вопрос задолго до разговора с ней…

— Так, так… — Роберт обернулся, услышав за дверью шаркающие шаги экономки. — Тетушка Марта!

— Ну, чего тебе? — ворчливо спросила та, заглянув в комнату.

— Горячего кофейку не найдется? Я, видишь ли, не успел позавтракать.

— Кофе нету, а «Магги» могу дать.

— Еще лучше! А бутерброды у меня с собой.

Роберт подсел к столу, достал из кармана пакетик в вощеной бумаге.

— Ты уже ела? — спросил он.

— Да, спасибо, мы завтракали…

— Я вот не успел — с утра на ногах. Ну, как тебе здесь?

Людмила пожала плечами.

— Господин Лангмайер странный немного, — сказала она, понизив голос. — Он ведь не коммунист?

— Нет, что ты! Фанатичный католик, мы для него — временные союзники. Но человек очень неглупый… несмотря на вздорные поповские идейки. И главное, честный. Был когда-то судьей, а после принятия «Нюрнбергских законов» сразу подал в отставку…

Фрау Марта принесла большую чашку того

же пахнущего сельдереем бульона — Людмиле начинало уже казаться, что в этом доме ничем, кроме «Магги», не питаются. Роберт развернул свой пакет и принялся за еду.

— Так вот, Труде, какое получается дело, — сказал он. — Как ты насчет того, чтобы вернуться в Дрезден?

Людмила решила, что ослышалась.

— В Дрезден? — переспросила она. — К проф… к фрау Ильзе?

— К кому? А-а… нет, нет. Чего ради? Нам нужен человек на «Заксенверке», на должность переводчика в лагере восточных рабочих. Там, видишь ли, существует организация, но связь ее с нашими товарищами может надежно идти только через переводчика.

— Неужели там никто не знает языка?

— Да нет, дело не в этом! Немцам запрещено общаться с восточными рабочими — ну, естественно, в цеху всегда можно украдкой перекинуться словом-другим, — но речь идет о прочной, постоянной связи. Понимаешь? Только переводчик может иметь постоянное общение и с русскими, и с немцами, поэтому мы всегда стараемся подсовывать на эту должность своих людей, но откуда их взять? Очень немногие из

наших товарищей знают русский, а восточных рабочих на должность переводчиков, как правило, не берут.

— Почему же не берут? Мне предлагали быть переводчицей.

— Когда?

— Еще дома, когда регистрировалась в трудовом управлении, а потом уже здесь, в Германии, в Дрездене. Как только туда привезли — в начале сорок второго года.

— Да, тогда еще брали, позже появились какие-то новые инструкции на этот счет. И потом, другое — из «восточных» мало кто владеет немецким в достаточной степени. Словом, послать туда некого, поэтому и вспомнили о тебе… С кадрами у нас беда, понимаешь. После двадцатого июля так все прочесали…

— Коммунисты ведь, я слышала, не участвовали?

— Что из того? — Роберт пожал плечами. — Там уж не разбирали — кто участвовал, кто не участвовал. Имя Тельмана тебе известно?

— Странный вопрос, товарищ Роберт.

— Ну так вот — он-то уж никак не мог участвовать, поскольку сидел в Бухенвальде уже десять лет, однако и его казнили в августе — заодно,

так сказать.

— Как, разве Тельмана казнили? А я и не знала… — Людмила помолчала, потом спросила: — Товарищ Роберт, я все-таки не очень понимаю — компартия всегда была в Германии такой сильной: как же могло получиться, что немецкие рабочие поверили Гитлеру?

— Положим, поверили ему далеко не все рабочие, — возразил Роберт, шумно прихлебывая бульон. — Но кое-кому он головы заморочил, тут ты права. Что далеко ходить — был у меня братишка младший. Он с детства все авиацией увлекался, просто помешан был на этом деле, и самой его святой мечтой было научиться летать. А тогда, в начале тридцатых, это было не так-то просто сделать. Имелся у нас в городе клуб планерного спорта, да только спорт этот был тогда самым что ни на есть господским — все равно что держать верховую лошадь или ездить в Альпы, чтобы побаловаться слаломом. Бешеных денег это стоило, летать на планере; сама понимаешь, рабочему пареньку оставалось только снизу любоваться… Ну ладно, а потом — Гитлер уже был канцлером — прибегает раз Карл-Гейнц со своей работы, он учеником работал в механической мастерской, и кричит, что его записали

в планерный кружок и это ни пфеннига теперь не стоит, а все оплачивает государство… Соображаешь, какая механика? Словом, занимался он в этом клубе, потом освоил моторное пилотирование, пошел в летное училище, окончил одним из лучших. Присвоили ему офицерское звание: лейтенант люфтваффе. Попробовал бы кто при нем слово сказать против нацистов! Я-то, понятно, пробовал, и не раз, но куда там. Без фюрера, говорит, я так и проторчал бы всю жизнь у верстака, а он дал мне все, о чем только можно было мечтать… С начала войны до сорок второго года мы не виделись, а потом — меня уже демобилизовали в таком вот виде — приезжает он в отпуск, довольный такой, «железку» получил за Крит… Опять у нас с ним разговора не получилось. Теперь, говорит, только вот добьем русских, Англия тогда сама лапки кверху, а с Америкой мы договоримся. Летом сорок второго была у нас с ним эта встреча — его как раз на Восточный перебросили из Африки; и я ему сказал: посмотрим, говорю, как это вы русских будете разбивать, ты-то России еще не нюхал, а я побывал с Готом под Тулой. Да, и через полгода приходит вдруг матери такая бумага: бывший лейтенант Карл-Гейнц Фрелих расстрелян по приговору во-

енно-полевого суда за трусость и пораженческую пропаганду. Ну, трусость — это они пусть другим рассказывают, братишка у меня был отчаянный из отчаянных. А насчет пропаганды дело другое. Конечно, сознательно вряд ли он ее вел; просто, думаю, дошло наконец и до него, что к чему, ну он и высказался где-нибудь… без околичностей. Я позже говорил с одним из его сослуживцев; так они, оказывается, летали в Сталинград — туда возили боеприпасы и продовольствие, а оттуда забирали раненых. Неудивительно, что у Карла в конце концов сорвало резьбу… видеть все это своими глазами — тут и самый осторожный не утерпит, а брат был вообще человек отчаянный, самого черта не боялся.

— Да, — сказала Людмила, помолчав, — трагическая история.

— Таких историй тысячи. Хотя многие, конечно, так и померли, ничего не поняв. А я к чему это вспомнил — ты вот спросила, почему, мол, немецкие рабочие поверили Гитлеру… Много тут было причин, Труде, с ходу не разберешься. Ну ладно! Значит, с этим твоим делом: обсуждали мы твою кандидатуру долго, были довольно веские соображения и против, не скрою. Но все же решили попробовать — если ты, конечно, не

передумала.

— Я уже сказала — нет. Но вы уверены, что я справлюсь?

— Мы на это очень рассчитываем. И верим тебе.

— Спасибо, товарищ Роберт. Только я вот не знаю… Конечно, мне очень хотелось бы вернуться в Дрезден, но я ведь оттуда сбежала, и в трудовом управлении должна была остаться моя карточка…

— Твое досье оттуда изъято, об этом позаботились прежде всего. Кроме того, теперь ты будешь там проходить по совершенно другому отделу — раньше ты была «восточная работница», теперь ты немка. Ничего общего! Ну а если тебя смущает отсутствие опыта такой работы, то ведь каждый из нас когда-то пришел в подполье неопытным, верно? Решать самой тебе ничего не придется — тобой будут руководить люди, которые давно умеют это делать. От тебя потребуется одно: точно выполнять инструкции! Так, ладно… — Роберт посмотрел на часы. — Можно считать, мы договорились?

— Да, конечно! — горячо заверила Людмила. — А когда мне…

— Жди, ты все получишь, как только будет гото-

во. А пока сиди тут, отдыхай, из дому не выходи, с Лангмайером на политические темы лучше не спорь. Это такой казуист, охмурит — сама не заметишь… Есть у тебя еще какие-нибудь вопросы, может быть — просьбы?

— Одна, если можно.

— Выкладывай, — разрешил Роберт, складывая аккуратно разглаженную вощеную бумажку из-под бутербродов.

— Понимаете, это на всякий случай… Я вам напишу один адрес — русскими буквами, разборчиво, — и вы просто сообщите туда после войны, если… со мной что-нибудь случится.

— Ну, девочка, ты совсем, видно, того. — Роберт, глядя на нее сожалеюще, посверлил пальцем свой висок. — Представь, что я вот сейчас выхожу отсюда и меня берут на улице, а потом находят при мне адресок, разборчиво написанный русскими буквами. Соображаешь последствия?

— В самом деле… Простите, я не подумала!

— Вот это тебе прежде всего надо будет освоить: хорошенько думать, и думать вовремя. Иначе с тобой и впрямь «что-нибудь случится». И очень скоро! Ну ладно, ладно, это уж я тебя пугаю, все будет в порядке, не волнуйся. Чей адрес хотела дать — родителей?

— Да, мамин…

— Все будет в порядке, — повторил Роберт. — Ну а если что — война все-таки, мало ли как может обернуться, — мы сообщим… потом. Настоящее твое имя нам известно, откуда тебя привезли в рейх — тоже знаем, так что… Но ты об этом не думай! — Он подмигнул ей ободряюще. — Выше голову, товарищ, в Дрездене тебя все время будут подстраховывать…

Она прождала два дня, а на третий — одиннадцатого февраля — утром явился паренек в серой униформе флакхельфера[27].

— От Роберта, — сказал он, хмурясь от старания выглядеть суровым, и вручил плотный конверт. — Здесь направление на работу, вы сдадите его в отдел кадров «Заксенверке», а также железнодорожные билеты и разрешение на въезд в протекторат.

— Но зачем мне, простите, въезжать в протекторат? Роберт сказал, что я еду в Дрезден!

— Так точно, через Вену и Прагу. Это дольше, но безопаснее — те линии бомбят реже. Ваш поезд — Штутгарт — Вена, сегодня в двадцать

---

[27] Notes: 27

Flakhelfer *(нем.)* — допризывник, проходящий стажировку в частях ПВО.

один тридцать, с вокзала на Орлеанплац. Знаете, как туда доехать? Отсюда любым трамваем до площади Одеон, а там пересядете — вам укажут на какой, налево, через Хофгартен. В Дрездене остановитесь по адресу, который Роберт вам дал. Вы его запомнили?

— Да, да, конечно.

— Вам надо будет сойти с поезда в Штрелене, это последняя остановка перед…

— Спасибо, я очень хорошо знаю Дрезден. Роберт просил что-нибудь передать?

— Нет, только сказал, что желает успеха. И я тоже!

Еще больше нахмурившись, флакхельфер почтительно пожал протянутую Людмилой руку, покраснел до корней волос и вышел.

На вокзал Остбанхоф Людмила приехала заранее. Поезд из Штутгарта опаздывал, в залах ожидания было не протолкнуться, и она сидела на перроне на своем чемоданчике, совершенно окоченев от холода.

— Алло, Трудхен, — раздался рядом простуженный голос. Вздрогнув от неожиданности, Людмила подняла голову — перед ней стоял ее аугсбургский знакомец «Джонни» Гейм.

Вид у юного аристократа был плачевный — ку-

цая не по росту коричневая шинель тодтовца, огромные ботинки и зеленая солдатская пилотка, для тепла отвернутая краями на уши.

— Боже, на что ты похож! — воскликнула Людмила. Она встала и протянула Гейму руку, которую тот поцеловал, элегантно изогнувшись. — Все-таки, значит, ты выбрал это?

— Как видите. — Он вздохнул и показал нашитую на левом рукаве пониже локтя черную полоску с белыми готическими буквами: «Deutscher Volkssturm — Wehrmacht», отдал честь и попытался щелкнуть каблуками своих гигантских штиблет. — Фольксштурмист второго призыва Гейм — по приказанию!.. Вот так-то, моя дорогая. Как говорится, из двух зол… Здесь хоть есть некоторые шансы — нас все-таки отправляют на Западный. А вы куда перебазируетесь? И что вы вообще делаете в Мюнхене?

— Я, вероятно, буду здесь жить… а сейчас еду к одной родственнице — в Вену.

— Ах, Вена, — опять вздохнул Гейм. — Какой это был сказочный город до аншлюса! Однако вы совершенно замерзли, пойдемте, я угощу вас так называемым эрзац-глинтвейном, разумеется безалкогольным.

Он поднял ее чемоданчик и вкрадчивым дви-

жением взял Людмилу под руку.

— Еще вчера я был счастливым обладателем целой бутылки коньяка, — сказал он. — Но перед посадкой в эшелон, во время проверки личного имущества, наш группенфюрер заглянул ко мне в рюкзак и, хотя бутылка была тщательно завернута, все же ее обнаружил. В таких случаях солдату остается только предложить начальству угощение. Словом, коньяка у меня больше нет, а группенфюрер теперь со мной на «ты».

— Но Джонни! Если ты пьешь коньяк с генералами, неужели тебе не могли по знакомству выдать хотя бы приличные сапоги? Потому что штиблеты у тебя совершенно как у Чарли Чаплина.

— Дорогая, вы заблуждаетесь. Группенфюрер в фольксштурме — это отнюдь не то, что в войсках СС. У нас группенфюрером зовется командир группы численностью до девяти человек.

— Ах вот что. Я думала, ты вращаешься в высших сферах.

— Нет, с некоторых пор стараюсь их избегать.

— Это и есть ваш поезд? — спросила она, увидев за немытыми окнами вагона несколько унылых физиономий.

— Да, целый эшелон старичья. Торчим тут уже

пять часов, всем на потеху… Знаете, Трудхен, единственное, что меня отчасти примиряет с баюварами, — это чувство юмора. Берлинцы, конечно, тоже за словом в карман не лезут, но уж если выскажется мюнхенец… Сейчас я вам покажу, как аборигены отреагировали на появление нашего «народного» воинства… выразив заодно и свое отношение к разговорам насчет нового чудо-оружия, с помощью которого доктор Геббельс хочет ко дню рождения фюрера разом покончить с армиями противника как на Западе, так и на Востоке. Сейчас увидите — это, кажется, тот вагон…

Дойдя до следующего вагона, он остановился и сделал приглашающий жест. Людмила не смогла удержаться от смеха: на зеленой стенке были ясно видны следы крупной и плохо стертой надписи мелом: «Statt neue Waffen — alte Affen»[28].

— Ну как? — спросил Гейм. — По-моему, это великолепно — суметь в пяти словах так исчерпывающе охарактеризовать наше положение. И при этом, заметьте, автор ничего не преувеличивает: большинство моих товарищей по оружию начинало свой боевой путь еще под

---

[28] Notes: 28
«Вместо нового оружия — старые обезьяны» *(нем.)*.

Верденом. Видели бы вы этих мафусаилов! Пока я являюсь самой молодой обезьяной в эшелоне, но говорят, что на месте нас усилят пополнением из школьников. И может быть, даже школьниц, что было бы еще приятнее. Согласитесь, только фюреру могла прийти столь гениальная идея — сочетать юную отвагу с мудростью старцев…

— Ты поосторожнее, — негромко сказала Людмила, — у баварцев есть чувство юмора, согласна, но среди шпиков может случайно оказаться и не баварец…

Болтая, они дошли до киоска, где продавали согревающие напитки, и стали в длинную очередь.

— Как поживает Гудрун? — спросила Людмила, вспомнив лагерную приятельницу Гейма.

— Поживает — это не совсем то слово, я бы сказал, — ответил он. — Но вообще, надеюсь, с ней все в порядке. Она ведь даже не успела особенно нагрешить — по нынешним-то масштабам!

— Не понимаю. Где она?

— Кто может сказать это с уверенностью? — Гейм пожал плечами. — В раю, надо полагать. Она погибла в ноябре — ну да, ровно через две недели после вашего визита в лагерь. Вы же слышали, был террористический налет на Аугсбург — потом даже Геббельс приезжал.

— Бедная девочка… Не зря, выходит, она так боялась. Что — весь лагерь разбомбили?

— Нет, лагерь цел. Дело в том, что она в тот вечер была у меня на Катариненгассе и мы пошли в бункер. А бункер получил прямое попадание. Ну, некоторым удалось выбраться наружу, в том числе и нам, и наверху ее убило у меня на глазах…

Они едва успели выпить по стакану «глинтвейна», по вкусу похожего на горячий морс, как радио объявило о прибытии венского поезда, и в толпе ожидающих началось смятение. Гейм подхватил чемоданчик, и они тоже побежали. «Внимание, внимание, — хрипло каркал громкоговоритель под сводами вокзала, — скорый поезд Штутгарт — Вена прибывает на седьмую платформу, отъезжающим приготовить проездные документы…»

Длинные коричневые пульманы уже катились вдоль перрона, плавно замедляя ход. У дверей сразу образовалась свалка.

— Придется подождать, — сказал Гейм, — сейчас вас просто затопчут. Пока попрощаемся, Трудхен.

— Всего доброго, Джонни, — сказала Людмила. — Желаю тебе всего самого доброго и постарайся дожить до конца войны…

— Это, боюсь, будет не так просто, но я поста-

раюсь, — заверил он. — Хотя бы ради того, чтобы уехать из этого сумасшедшего дома, этой проклятой взбесившейся Европы. К счастью, у меня есть родственники в Соединенных Штатах и даже, кажется, в Аргентине. Ну, идемте, я вам помогу забраться в Ноев ковчег…

Очутившись наконец в тамбуре, Людмила помахала Гейму рукой, получила в ответ меланхоличный воздушный поцелуй, и бравый фольксштурмист медленно поплыл назад вместе с перроном. Прижав к груди чемоданчик, Людмила стала пробираться в коридор, со страхом думая о предстоящем путешествии.

Скорым штутгартский поезд был лишь номинально — он то и дело останавливался, иногда подолгу простаивая на перегонах. Пассажиры, в большинстве военные, относились к этому философски, видно было, что они уже давно разучились спешить куда бы то ни было. Они ели, пили, удушливо воняли эрзац-сигаретами, рассказывали бородатые анекдоты про Геббельса. Людмила до полуночи простояла в коридоре, едва держась на ногах от духоты и усталости; потом какой-то подвыпивший артиллерист начал громко поносить своих камрадов, чьи свинячьи зады благополучно нежатся на мягком, тогда как за

дверью купе торчит молодая женщина в трауре — явно вдова солдата. Камрады расчувствовались, освободили место и даже предложили угощение, от которого Людмила отказалась.

Утром была пересадка в Вене. Поезд на Прагу уходил с другого вокзала через несколько часов, Людмила сдала чемоданчик на хранение и вышла пройтись. Было довольно тепло, но пасмурно, как и в Мюнхене; безоблачное небо она в последний раз видела, когда уезжала из Мариендорфа, а все последние дни земля была надежно укрыта низкой облачностью. К счастью, подумала Людмила, а то еще и под бомбежку можно было бы угодить. После мрачного полуразрушенного Мюнхена Вена выглядела почти мирным городом, развалин было мало, толпа казалась беззаботной, война напоминала о себе лишь плакатами. На стенах белели листы с черным распластанным орлом: рейхслейтер Борман призывал германских женщин и девушек вступать в фольксштурм, дабы оборонять священную землю фатерланда. С афишной тумбы, круглой и старомодной, вероятно помнящей «веселую Вену» престарелого короля-кесаря, смотрели героические — крупным планом — лица в киверах наполеоновских времен: рекламировался

новый фильм УФА «Кольберг», недавно впервые показанный на Атлантическом фестивале в осажденной американцами Ла-Рошели. Тут же был расклеен приказ о мобилизации жителей Вены на строительство оборонительных рубежей: русские были в полутораста километрах отсюда, у Эстергома.

Людмила рассчитывала приехать в Дрезден утром тринадцатого, но поезд, вышедший из Вены после обеда, к утру не добрался и до Праги. Здесь еще чаще были остановки, и почти на каждой в вагон входил патруль — начиналась проверка документов. Иногда это была военная полиция, иногда полевая жандармерия, иногда агенты гестапо в штатском — все почему-то в кожаных пальто и офицерских сапогах, в одинаковых тирольских шляпах. Иногда мимо купе проходили военные в незнакомой форме, с бело-красными шашечками на рукаве. Соседка объяснила, что это «глинковцы» — словацкая полиция.

Пассажиров в этом поезде было сравнительно мало, почти исключительно немцы. Безлюдными — если не считать серо-зеленых мундиров — выглядели и пробегавшие мимо станции с чешскими названиями. Протекторат казался вы-

мершим. Интересно, где сейчас Зойка, подумала Людмила.

Севернее Праги снова была зима, пятнами лежал снег на пустынных полях, часовые у мостов кутались в шинельки, приплясывали на месте, поворачиваясь спиной к ветру. На одной из остановок Людмила купила газету — обозреватель туманно писал о «сговоре большевиков и плутократов» в Ялте, заметки сообщали о новых террористических налетах, о тяжелых оборонительных боях за Кюстрин, о беспримерном нордическом мужестве защитников Будапешта. «Когда-то нам с Таней представлялось, каким сплошным праздником будут последние месяцы войны», — подумала Людмила, опустив газету и глядя на безрадостный ландшафт за окном. Что ж, вот они — эти последние месяцы… А для нее все только начинается. Не поздновато ли? Таня, наверное, стала подпольщицей тогда же, сразу… Впрочем, что считаться. Одних война призвала раньше, других позже, дело ведь не в этом. Важно, как ты откликнешься на этот призыв и что сможешь сделать, ведь и в самый последний день войны кто-то совершит подвиг, кто-то погибнет, кто-то окажется трусом…

Глава 7

Замысел родился вскоре после высадки в Нормандии. Трудно сказать, кому принадлежит честь авторства — начальнику ли британского Бомбардировочного командования маршалу Гаррису, или самому Черчиллю, или его ближайшему другу, теоретику воздушного террора, физику Линдмэну. Так или иначе, мысль была высказана и показалась интересной; сводилась она к тому, чтобы в правильно выбранный момент ошеломить противника беспрецедентным по силе и жестокости ударом с воздуха.

Такой удар должен был подорвать у немцев волю к сопротивлению, облегчить задачу союзным экспедиционным армиям. Армии продвигались медленно: после целого месяца боев глубина захваченного плацдарма не превышала еще сорока километров. И это притом, что войска командования «Запад» были отнюдь не самыми боеспособными соединениями — элита вермахта гибла в те дни на Восточном фронте, безуспешно пытаясь сдержать молниеносный шквал русского наступления. Началось оно двадцать третьего июня, а третьего июля уже был освобож-

ден Минск — в двухстах пятидесяти километрах западнее исходного рубежа…

Сравнение напрашивалось само собой, и оно было не в пользу союзников. Замысел «воздушного нокаута» приобретал, таким образом, новый аспект: помимо чисто военных выгод, он сулил и политические. Во-первых, перед всем миром нелишне было рассеять вредное заблуждение, будто главный вклад в дело разгрома нацизма сделали русские. Во-вторых, хотя немцы уже давно испытали на себе, что значит современная воздушная война, урок не мешало повторить — чтобы лучше запомнился. И в-третьих — самое, может быть, главное, — пришло время показать Сталину, что Запад умеет не только производить средства разрушения, но и пользоваться ими.

Идея родилась в британском уме, но американцам пришлась по вкусу. Правда, за океаном ей суждено было вызревать еще целый год, прежде чем она расцвела грибовидным облаком; до этого, однако, ее сумели проверить на европейской земле — может быть, не столь сенсационным, но не менее страшным образом.

Одновременно с возникновением идеи встал и практический вопрос — как и где ее осуществить. Американцы, несколько опережая события, пред-

ложили сразу: только атомный удар, и только по Дрездену. Через лиссабонскую агентуру Герингу намекнули, что в скором времени может последовать официальный ультиматум. Геринг не отреагировал, очевидно не поверив, сочтя за блеф. Отчасти это и было блефом: в Лос-Аламосе обещали создать транспортабельное устройство лишь к весне сорок пятого, никак не ранее.

Атомная бомба, следовательно, пока отпадала. Но были обычные, а с обычными бомбами — если умело ими воспользоваться — можно достичь весьма впечатляющих результатов. Британская промышленность, например, освоила выпуск сверхтяжелых фугасок «большой шлем» весом в шесть тонн; бомбы эти предназначались для разрушения подводнолодочных укрытий, сооруженных немцами в Лориане и Сен-Назере, но появились слишком поздно. Иногда их сбрасывали для устрашения, по одной-две штуки, чудовищные воронки действительно выглядели устрашающе. А если высыпать сразу пять-шесть сотен, да еще хорошо подобрав цель — какой-нибудь старый, плотно застроенный и густонаселенный город, предпочтительно не тронутый до сих пор? Это действительно будет

ошеломительное show[29], поистине гром с ясного неба. Так появилось и кодовое название: операция «Удар грома».

С ней, впрочем, не спешили. Следовало все хорошо обдумать, да и особой срочности пока не было; если видеть главный смысл в психологическом воздействии на русских (а именно этот аспект замысла постепенно приобретал все большее значение), то лучше было провести операцию буквально у них под носом, то есть дождаться, пока они вступят на территорию Германии, и «пульверизировать» какой-нибудь крупный город на пути их наступления, чтобы они вскоре смогли своими глазами увидеть, как это выглядит.

В процессе обдумывания решили отказаться от шеститонных фугасок — консерватизм британского мышления взял верх. «Большой шлем» — это, конечно, эффектно, но эффективнее окажется простая дешевая «зажигалка». Фугасные бомбы дают в среднем полгектара разрушений на тонну сброшенного веса, а зажигательные — до полутора. Да и жертв будет больше: медицинская статистика давно установила, что при

---

[29] Notes: 29
Зрелище, спектакль *(англ.)*.

воздушном налете 15 процентов убитых гибнет от осколков и под развалинами домов, 15 процентов — от ожогов, а большинство — до 70 процентов — от удушья, вызванного нехваткой кислорода. При обработке населенного пункта самыми мощными фугасками достаточно спрятаться в подвал, чтобы иметь реальный шанс выжить, но добавьте к этому хороший пожар, и из нетронутых убежищ придется извлекать одни трупы — целенькие, без следов внешних повреждений. И трупов будет много, очень много. В Гамбурге, после недели следовавших одна за другой бомбежек, их оказалось около шестидесяти тысяч.

А вызвать хороший пожар проще простого, эта техника уже отработана в деталях. Первый эшелон бомбардировщиков сбрасывает фугаски — не обязательно даже тяжелые, достаточно по 250–500 килограммов. Затем на дома, уже лишенные крыш и остекления, второй и третий эшелоны обрушивают град зажигательных бомб, фосфорных и термитных вперемешку. Четырехмоторный «Ланкастер-Х», грузоподъемностью в 6360 килограммов, берет на борт до тысячи штук термитных зажигательных бомб в кассетах; отправьте на цель пятьсот таких машин, и вы получите полмиллиона очагов загорания. Допу-

стим, половина сгорит во дворах и на проезжей части улиц, а половину из упавших на крыши успеют обезвредить дружинники, — все равно более ста тысяч пожаров, разгорающихся одновременно, — этого вполне достаточно.

Тем более что дружинников на крышах после фугасного удара уже не останется и крыш как таковых тоже не будет, будут лишь голые стропила, чердаки с легковоспламеняющимися материалами, а ниже — вскрытые ударной волной этажи без дверей и окон, где сквозняки мгновенно раздуют малейший огонек. А потом сквозняки будут усиливаться и набирать силу, потому что интенсивное горение требует такого же интенсивного притока воздуха, и воздух начнет притекать быстрее и быстрее, уже не сквозняками, а ветром, постепенно переходящим в бурю, в ураган со скоростью до 400 километров в час. Отдельные очаги пожаров очень скоро сливаются в одно сплошное раскаленное горнило, все сильнее раздуваемое со всех сторон, с температурой в центре до тысячи градусов — это смогли установить по оплавленной поверхности кирпичей на руинах Гамбурга. Именно там, при выполнении операции «Гоморра» в июле сорок третьего года, впервые наблюдалось это стихийно возникшее

явление, названное «огненным штормом»; заинтересовавшись им и сразу оценив скрытые в нем возможности, британские специалисты по воздушной войне скоро научились вызывать его в любом заданном масштабе — тремя месяцами позже это было сделано при бомбежке Касселя.

Так, шаг за шагом, замысел становился детально разработанным планом. Тактика была ясна, местом осуществления решили сделать Берлин плюс еще один город в будущей советской зоне оккупации — какой именно, предстояло уточнить в последний момент. Список возможных целей, представленный маршалом Гаррисом начальнику штаба Королевских воздушных сил сэру Чарльзу Порталу, включал в себя Веймар, Эйзенах, Позен, Эрфурт, Хемниц, Лейпциг, Бреслау, Галле, Дрезден и Магдебург.

Что касается даты, то она теперь напрашивалась сама собой. Длившиеся всю осень переговоры о встрече «большой тройки» закончились наконец договоренностью провести конференцию в первых числах февраля в Ялте. Именно к этому событию, решил Черчилль, и надо приурочить «Удар грома», — возможно, Сталин проявит бо'льшую сговорчивость.

Операцию решено было провести в два этапа:

дневной удар американской Восьмой воздушной армии по Берлину и ночной — пятью авиагруппами британского Бомбардировочного командования — по второй (еще не намеченной) цели.

В субботу, третьего февраля, накануне открытия Ялтинской конференции, тысяча четыреста «летающих крепостей» беспрепятственно, почти без потерь, проникли в воздушное пространство внутренних областей рейха. Главный бомбовый поток пошел на Берлин, пока четыреста самолетов осуществляли отвлекающий налет на Магдебург. Разрушения в столице были огромными, но в целом ожидаемого эффекта налет не произвел — Берлин бомбили уже так давно и так часто, что было время привыкнуть. Чтобы поразить мир, теперь уже требовалось нечто другое. Поэтому вечером четвертого из Воронцовского дворца в Алупке в Лондон полетела радиограмма, зашифрованная личным кодом британского премьера: «Удар грома — Дрезден — исполнение немедленное».

Немедленному исполнению, однако, воспрепятствовала погода. Всю эту неделю над Центральной Европой стояла низкая облачность толщиной до трех километров, что делало проведение дальнего ночного рейда практически

неосуществимым. Лишь двенадцатого — когда совещание «большой тройки» уже закончилось — синоптики пообещали на завтра с утра несколько часов хорошей видимости. При дневном свете, как известно, английские тяжелые бомбардировщики не летают; началась заправка машин на аэродромах американцев.

Утром тринадцатого, когда сотни «крепостей» стояли на взлетных полосах в готовности номер один, с залитыми под горловину баками и полным грузом в бомбовых отсеках, погода опять стала портиться. Вылет был отменен. Только около полудня синоптики сообщили, что вечером, между двадцатью одним часом и двумя пополуночи, небо над Дрезденом будет чистым. Тотчас же личному составу 1-й, 3-й, 5-й, 6-й и 8-й авиагрупп Бомбардировочного командования объявили боевую тревогу.

На базе RAF[30] в Конингсби предполетный инструктаж окончился в пятнадцать часов. Лейтенанта Топпера вызвали к командиру вместе с несколькими другими штурманами 627-й эскадрильи, входящей в состав специальной авиагруппы самолетов наведения, так назы-

---

[30] Notes: 30

Сокр. от «Royal Air Force» *(англ.)* — Королевские воздушные силы.

ваемых следопытов, — летали они на легких скоростных бомбардировщиках.

— Я хотел бы еще раз уточнить некоторые детали задания, — сказал комэск, раздернув занавеску перед картой. — Осветители идут по маршруту первого эшелона с десятиминутным опережением. Головная машина взлетает в семнадцать тридцать — значит в двадцать два ноль-ноль они будут над целью. Выведение на цель всех эшелонов производится радионавигационной системой «Лоранс»[31] — штука это новая, по сути дела, мы впервые применяем ее в таком глубоком рейде. Будем надеяться, что наши мудрецы-электронщики не подкачали; если все сойдет успешно, осветители будут над Дрезденом одновременно с вами. Ведущим отряда целеуказания летит лейтенант Топпер.

— Слушаюсь, сэр, — отозвался лейтенант.

— В двадцать два ноль-ноль осветители подвесят парашютные бомбы, в двадцать два ноль пять вы начнете обозначивать точку прицеливания красными целеуказателями типа «карпет», в двадцать два пятнадцать первый эшелон атакует цель. Непосредственно руководить сбрасыва-

[31] Notes: 31

Сокр. от «Long Range Aeronavigational System» *(англ.)* — аэронавигационная система дальнего действия.

нием по сектору будет мастер-бомбардир Пятой авиагруппы. Теперь попрошу внимания. Пожалуйста, сержант, шторы.

— Слушаюсь, сэр!

В комнате стало темно, потом рядом с картой вспыхнул белый прямоугольник освещенного экрана, криво поползла сетка городских кварталов, снятых с воздуха. Изображение выровнялось и установилось, показав в центре вычерченный белым сектор с углом немногим менее 90° и радиусом в 2400 ярдов — эта цифра была аккуратно надписана от руки, так же как и радиусы двух концентрических окружностей вокруг вершины сектора — 250 и 500 ярдов. Снимок был четкий и детально проработанный, несмотря на сильное увеличение проекционного аппарата.

— Как видите, — продолжал командир эскадрильи, — здесь дана одна точка прицеливания вместо обычных двух или трех. Поскольку самолеты выходят на нее с разных боевых курсов, зона поражения образует вот такую веерообразную фигуру… площадью около трех квадратных миль. Фактически она может оказаться несколько большей. Эту тактику мы уже применяли осенью при налете на Бремерхафен, и она дала отличный результат. Здесь только важно не

ошибиться! С аэрофотоснимками Дрездена вы имели возможность детально ознакомиться за эту неделю; точка прицеливания, как видите, находится рядом с линией железной дороги, чуть левее крайнего из четырех мостов через Эльбу. — Комэск подошел к экрану и, стоя сбоку, трогал указкой называемые объекты. — Этот мост — двойной, железнодорожный и для городского транспорта, с другими его не спутаешь. Тем более что здесь отчетливо видна поднятая линия полотна, оно переброшено через улицы по путепроводам. Сооружение, которое вы видите в круге, — это стадион — его тоже ни с чем не спутаешь, разве что с Цвингером — есть у них там такая штука вроде открытого театра, вот она — видите, правее и ниже… Топпер, постарайтесь не промахнуться, первый целеуказатель надо сбросить прямо на середину арены…

Топпер машинально пробормотал: «Постараюсь, сэр». Выбор точки прицеливания казался ему странным. За девять дней он действительно хорошо изучил аэрофотоснимки и план Дрездена, внимательно проштудировал полученную из разведотдела документацию. Дрезден, конечно, с каким-нибудь Эссеном не сравнишь, но все же это шестой по значению промышленный

город Германии, производящий точные приборы, взрывчатые вещества, медикаменты, парашютный шелк, электронное оборудование и многое другое. В Дрездене есть большой арсенал, громадные казарменные комплексы, прекрасно оборудованная сортировочная станция. Все это, естественно, расположено по периметру жилой зоны, а намеченная площадь поражения ограничена центром города и не затрагивает ни одного из объектов, имеющих военную ценность…

— …Чтобы надежнее обеспечить успех операции, — продолжал комэск, выключив проектор и распорядившись поднять шторы, — начиная с двадцати часов будут производиться отвлекающие налеты на Бонн, Дортмунд, Лейпциг и Нюрнберг. Впрочем, это, скорее всего, перестраховка: разведывательный рейд месяц назад показал, что город практически не располагает средствами ПВО. Напомню еще раз: запасной цели на сегодня нет, так что это должен быть Дрезден, и только Дрезден…

Что-то в этом есть странное, опять подумал лейтенант Топпер. Почему именно этот город, если пренебрегают военными объектами? Хорошо было бы спросить, но таких вопросов начальству не задают.

Выходя из комнаты, он все же не удержался и спросил — не командира, правда, а младшего лейтенанта Брукса, который в этот момент оказался с ним рядом. Весельчак Брукс рассмеялся.

— Старина, не ломай себе голову, — ответил он. — Мало ли может быть причин? Представь, например, что в Дрездене с начала войны застряла теща какого-нибудь маршала авиации, — естественно, бедняга хочет обеспечить себе спокойное будущее…

Опоздание нарастало как снежный ком. В Тетшене, у самой границы, поезд простоял несколько часов, пропуская эшелоны из Западной Богемии. В половине шестого прибыли наконец на пограничную станцию — опять началась проверка документов, на этот раз особенно придирчивая. Людмила спокойно протянула очередному гестаповцу свои бумаги — в дороге их проверяли так часто, что она уже перестала опасаться. Сошло и на этот раз: внимательно просмотрев все печати и отметки, гестаповец сложил документы аккуратной пачечкой и вернул Людмиле, буркнув «в порядке». После его ухода она все же перевела дух с облегчением.

Теперь уже было совсем близко, эти места она знала наизусть. Единственная попутчица сошла

на границе, Людмила выключила свет, подняла маскировочную шторку — за холодным стеклом грохотала тьма, прочерченная искрами из паровозной трубы, изредка пробегали тускло освещенные синими фонарями перроны маленьких станций и полустанков: Шмилка, Криппен, Бад-Шандау, Кёнигштейн, Велен… Долгое ее путешествие подходило к концу.

После платформы Дрезден-Рейк Людмила собрала в сумку туалетные принадлежности, достала из багажной сетки свой чемоданчик — на следующей, в Штрелене, ей выходить. Уже застегивая пальто, она вдруг сообразила, что остановок не было ни на одной из пригородных станций — ну конечно, это же поезд дальнего следования! Вот и первый пункт, не предусмотренный инструкцией; не срывать же теперь стоп-кран…

В девятом часу поезд медленно вкатился под высокие гулкие своды вокзала Дрезден-Главный. Вместе с группой навьюченных снаряжением солдат Людмила прошла мимо загнанно сипящего паровоза, у высоких красных колес возился с фонарем смазчик, девчонка в замасленной железнодорожной форме переговаривалась с высунувшимся из окна будки машинистом. «А то

забирайся, поедем вместе в Берлин!» — крикнул он с певучим австрийским акцентом, показывая белые зубы. Неосознанная тревога ударила Людмилу в сердце — она так мечтала поскорее очутиться в Дрездене, а сейчас ей вдруг захотелось вернуться в свое купе и не выходить до самого Берлина. Действительно, почему ей не дали задания туда, где погиб Эрих…

У выхода вниз, на перроны нижнего яруса, шла проверка документов, пассажиры сгрудились кучей, солдаты шумели. Людмила, ожидая, пока очередь рассосется, отошла в сторону. Поразительно, до чего одинаковую картину видишь теперь на всех вокзалах Германии — толчея, давка, одни рвутся куда-то с очумелым видом, другие сидят равнодушно и отрешенно — видно, уже не первый день, расхаживают патрули, настороженно оглядывая лица, у питательных пунктов толкутся военные транзитники. Всюду одно и то же — и в Аугсбурге, и в Мюнхене, и в Вене, а здесь так и вовсе. На соседнем пути — видно, давно уже неисправном и неиспользующемся — расположились беженцы, какие-то солдаты подозрительно распущенного вида, без ремней, в сборном обмундировании. Вечер был холодный, и между рельсов, уже тронутых ржавчиной, горел

костерок, на котором что-то варилось. Людмила вспомнила, каким чистым и вылизанным был этот вокзал три года назад, когда она впервые попала в Дрезден.

Пройдя наконец еще одну проверку, она спустилась вниз, вышла на продуваемую ледяным ветром Винерплац. Площадь поразила ее своим видом: заставленная распряженными фурами, одноколками, телегами с беженским скарбом, она походила сейчас на стойбище кочевников, огромный цыганский табор. Ржали лошади, где-то даже мычала корова, наверное голодная или недоенная, по-деревенски пахло навозом и дымом от разложенных на асфальте костров. Главный поток беженцев из Силезии докатился уже, видно, и до этих мест.

Орава детей в невообразимом тряпье вылетела из-за угла с визгом и воплями, приплясывая и размахивая какими-то предметами. Людмила испуганно замерла от неожиданности, вышедший вместе с ней пожилой пассажир засмеялся.

— Ряженые, — объяснил он, — сегодня ведь фашинг, вот они и шумят. Пускай побегают напоследок…

В самом деле, сегодня последний день карнавала, сообразила она. Когда-то, впервые услышав

от фрау Ильзе слово «фашинг», она решила, что это какой-то фашистский праздник, а оказалось вроде нашей Масленицы…

Человек, к которому она должна была явиться сегодня с приветом от Роберта, жил в Штризене, туда ходил трамвай 10-й или автобус маршрута «С». Стоя на пустой остановке, Людмила с беспокойством думала, что непредвиденное опоздание очень некстати: ее ждали утром, а она так и не явилась. Роберт, правда, обещал дать условную телеграмму, но сообразит ли этот человек справиться о задержке поезда…

Она думала о своей будущей работе, а мысли ее все время возвращались к фрау Ильзе. Обязательно надо ее навестить — узнать хотя бы, как она… Фетшер, если не посажен, о ней позаботится, но едва ли он уцелел, — наверное, тоже добрались и до него. А главная его защита — то, что он лечил высокопоставленных бонз, — после двадцатого июля могла уже и не сработать. Хорошо бы заехать хоть на десять минут, это, конечно, рискованно, но… В конце концов, они не думали о риске, когда помогали ей бежать. Но если это делать, то только сегодня, сейчас, пока не побывала в Штризене. Потом уже будет нельзя…

Ноги у нее совсем закоченели, она поверну-

лась, притопывая, чтобы хоть немного согреться, и увидела «десятку», но идущую в обратном направлении, со стороны Гроссергартена. Людмила вдруг сообразила, что именно этот номер проходит и по Остра-аллее; конечно, отсюда он свернет вправо по Фалькенштрассе, потом будет Анненкирхе, Постплац и поворот налево, мимо театра. Но что же все-таки делать, куда ехать — в Штризен или туда? Главное, как назло, ни автобуса, ни трамвая… В конце концов, что тут такого, она ведь ничем не рискует, кроме самой себя, а если не заехать сейчас к фрау Ильзе, этого она себе никогда не простит. Трамвай уже подходил к остановке, Людмила подхватила чемоданчик и перебежала через площадь.

Дверь открыла сама фрау Ильзе. Видимо, она не сразу узнала гостью — Людмила была в трауре, с опущенной черной вуалеткой, — но потом глаза ее вдруг испуганно округлились, она схватила ее за рукав и втащила в переднюю, приложив палец к губам.

— Гертруда, дорогая, — заговорила она неестественно громко, запирая дверь, — очень рада вас видеть, но боюсь, что из вашего платья ничего не получится, — впрочем, сейчас мы посмотрим вместе, я уже все распорола… Входите, прошу…

Они вошли в профессорский кабинет, беспорядочно загроможденный посторонней мебелью. Фрау Ильзе плотно и тщательно задернула портьеры.

— Люси, ты сошла с ума — вернуться сюда, где тебя может опознать любой сосед! Что случилось? Почему ты не в Баварии?

— Я получила сюда назначение по трудовой мобилизации, на один из заводов. Не беспокойтесь, фрау Ильзе, мои документы прошли уже столько проверок… а что касается соседей, то даже вы меня не сразу узнали, правда? Мне очень хотелось вас повидать, я ведь знаю о… том, что произошло. Примите мое самое глубокое соболезнование, дорогая фрау Ильзе.

— Спасибо, девочка. Спасибо. Но ты все же так неосторожна…

— Ничего, я только на минутку… Почему здесь мебель из других комнат, к вам вселили кого-нибудь?

— Да, целую кучу беженцев, три семьи, я попросила перетащить сюда кое-что из вещей… Но расскажи все же, как ты там жила! Я так за тебя беспокоилась…

— Фрау Ильзе, я беспокоилась за вас больше.

— Ах, что могло случиться со мной. — Фрау

Ильзе вздохнула. — Арест? После смерти Иоахима это меня уже не пугало. Вообще должна тебе сказать, я перенесла все случившееся… почти спокойно. Может быть, потому, что уже давно была к этому готова. Я ведь знала… догадывалась, чем они занимаются. Почти год… И еще, не знаю, поймешь ли ты… Люди ведь гибнут по-разному, смерть сына была для меня вдвойне ужасна своей бессмысленностью, а Иоахим… он и Эрих знали, во имя чего умирают. Это очень много, моя девочка…

— Вы правы, — тихо отозвалась Людмила. — Это главное — знать, во имя чего…

— Да, да. Скажи мне правду, Люси, — твой приезд сюда не связан с… чем-нибудь подобным?

— Нет, фрау Ильзе. Просто в Баварии уже столько беженцев, что нас начали рассылать по другим местам, особенно молодых и одиноких. Это уж просто совпадение, что я попала именно сюда…

— Я вижу, ты прямо с поезда?

— Да, только что. Вена — Берлин, он ужасно опоздал.

— Подумай, как удачно, еще немного — и ты бы меня не застала. Я теперь не так часто здесь бываю, Люси, живу в основном в Шандау… Кстати, может быть, нам поехать переночевать там? —

Фрау Ильзе посмотрела на часы. — На поезд мы еще успеем, а то ведь здесь тебе даже не помыться с дороги — я не хотела бы, чтобы жильцы видели, а то начнутся всякие расспросы… Да и покормить мне сейчас тебя нечем. Правда, поедем?

— Спасибо, фрау Ильзе, но я сегодня вечером должна обязательно зайти по одному адресу — обещала передать письмо. Если вы хотите ехать, выйдем вместе, я вас провожу на вокзал…

— Нет, нет, я тогда тоже останусь. Твой приезд для меня такая радость — бедный Иоахим до самого ареста все волновался, как там наша Людхен… Как раз в последний день пришла твоя открытка — насчет шерсти, мы так смеялись. Удивительно хороший был день, знаешь, никаких предчувствий, ничего; первая весточка от тебя, потом вечером приехал Райнер, мы так приятно провели время… А ночью за ним пришли — в половине третьего, — я проснулась от звонка, сразу посмотрела на часы, а он встал и так спокойно мне говорит: «Прости, Ильзхен, это, вероятно, за мной…» Ну хорошо! Посиди минутку, я хоть кофе сварю — сегодня одна клиентка принесла мне немного настоящего. Ты знаешь, я ведь теперь успешно занимаюсь шитьем.

— Фрау Ильзе, если вам нужны деньги — чест-

ное слово, я ведь свои никуда не тратила…

— Ах, что ты, я зарабатываю вполне достаточно. Много ли мне надо!

— Ну смотрите. А как доктор Фетшер — его не тронули?

— Ты знаешь, нет. Его вызывали тогда, допросили, — кажется, он отсидел два или три дня. Слишком нужный для них человек. Я всегда говорила: Райнер — это просто живой парадокс, он нужен всем решительно. Меня он очень поддержал, я так ему благодарна! Ну, ты посиди тут, девочка, я сейчас…

Фрау Ильзе вышла, прихватив что-то из буфета, — резной буфет из столовой тоже был теперь здесь, его задвинули в угол, где раньше профессор сиживал возле своего огромного приемника. Приемник исчез, на углу письменного стола стоял маленький дешевый аппарат фиксированной настройки на волну службы оповещения ПВО. Людмила протянула руку, нажала рычажок. Приемничек зашипел не сразу, потом прорезался голос: «…кратковременные атаки ограниченными силами в районах Бонн, Золинген, Дортмунд. Небольшая группа скоростных самолетов между Билефельдом и Падерборном, направление юго-восток. Крупные соединения

тяжелых бомбардировщиков в полосе Кёльн — Кассель, направление восток…»

Выключив радио, Людмила обвела комнату взглядом. Боже мой, человека уже нет, а все на месте — книги, карандаши в деревянном стакане, старый массивный «Пеликан» с золотым пером — профессор так к нему привык, что ничем другим писать не мог: возьмешь другую ручку, говорил он, и в голове ни единой мысли… Как может фрау Ильзе жить в окружении всех этих вещей — видеть, вспоминать. А с другой стороны, это и утешение какое-то — все-таки память; разве она сама согласилась бы расстаться с письмом, с веточкой полыни, с томиком Лермонтова…

Вошла фрау Ильзе с кофейником, достала из буфета золоченые мейсенские чашечки.

— Садись, пей и рассказывай все по порядку, как ты там жила. Про Иоахима я тебе сейчас говорить ничего больше не стану, — может быть, когда-нибудь потом… Могу только одно сказать: он до конца был таким молодцом, я видела его… накануне, уже после приговора. Один-единственный раз дали свидание. Мне сообщили, я сразу побежала туда — это где раньше был Земельный суд, знаешь, на Мюнхнерплац. Он был совершенно спокоен, и это было не наигранное, не ради

меня, я бы заметила… Ну хорошо, ты все же мне расскажи!

Людмила стала рассказывать. Когда ударили часы, она спохватилась — было уже половина десятого.

— Фрау Ильзе, мне пора, — сказала она. — Я действительно должна идти, позже будет неудобно…

— Да-да, беги, и спасибо, что навестила. Только ты все-таки не рискуй больше, мало ли что. Лучше позванивай иногда Райнеру, чтобы я знала, что у тебя все в порядке. Телефон помнишь?

— Да, конечно. Я непременно буду звонить ему, фрау Ильзе.

В прихожей, уже отперев дверь, она обняла Людмилу:

— До свидания, Людхен, будь осторожна. Надо потерпеть еще совсем немного, скоро все кончится. Как бы я хотела когда-нибудь познакомиться с твоей матерью! Ну, ступай, дитя, храни тебя Бог…

Восемь скоростных «москито» 627-й эскадрильи АГСН[32] находились в воздухе уже полтора часа. Лейтенант Топпер вылетел из Конингсби в 19:57,

---

[32] Notes: 32
Авиагруппа самолетов наведения.

с двухминутным опозданием по вине дежурного на контроле; к этому времени «ланкастеры» первого эшелона, стартовавшие из Рединга в 17:30, уже прошли Амьен и приближались к Льежу, где им предстояло снова изменить курс — теперь уже на Аахен. В отличие от зигзагообразного маршрута главных сил, отряд наведения шел почти по прямой: покинув Восточное побережье Англии севернее Грейт-Ярмута, он пересек Северное море, Голландию и стрелой вонзился в воздушное пространство Германии между Мюнстером и Оснабрюком. Топпер шел ведущим, за ним следовала машина мастер-бомбардира Пятой авиагруппы майора Смита. К 21:30 они миновали Гёттинген и мчались на юго-восток, косо перерезая путь армаде из двухсот пятидесяти «ланкастеров» и трехсот «галифаксов», которая приближалась с запада.

На всем протяжении полета земля была скрыта облаками. Лишь в 21:50, между Фрейбергом и Хемницем, видимость начала улучшаться. Синоптики не ошиблись — над долиной Эльбы стояло чистое звездное небо, лишь кое-где подернутое легкими слоистыми облачками.

Перед Диппольдисвальде, когда «москито» описывал широкую дугу, выходя на боевой курс,

Топпер увидел далекое зарево по левому борту. Все шло точно по графику: за двадцать минут до атаки главными силами «галифаксы» Четвертой и Шестой групп должны были сбросить бомбы на завод синтетического бензина в Лейпциг-Белене, чтобы отвлечь от Дрездена немецкие ночные истребители. Теперь «Брабаг» уже горел, и горел неплохо — если судить по тому, что зарево видно за сотню километров. Похоже, однако, что предосторожность оказалась излишней и никаких истребителей в этой зоне вообще нет. В 21:55, впервые с момента вылета нарушив радиомолчание, Топпер вызвал головную машину осветителей и дал команду на сбрасывание САБов.

Получив подтверждение, что команда принята, он щелкнул тумблером и окликнул пилота по переговорному устройству.

— Пошли, Дэйв, — сказал он. — Курс пятнадцать, и давай снижайся до тысячи. Хорошо бы пройти точку на высоте футов в восемьсот…

Самолет стал снижаться. Прямо по курсу взорвалась ярчайшая голубая звезда, потом еще две, пять, десяток сразу; к тому моменту, когда «москито» мчался над южными предместьями, Дрезден был уже залит светом, как огромная опе-

рационная. Топпер прильнул к прицелу, внизу бежали черно-серебряные, как на негативе, рельефные ячейки городских кварталов, блеснула разветвляющаяся дуга многоколейных железнодорожных путей — направо к главному вокзалу, вперед и налево к сортировочной, — правее полотна церковный шпиль, четыре дымящих трубы теплоцентрали — а вот и стадион! Когда арена наплыла на перекрестье нитей, Топпер нажал кнопку, и бомба-целеуказатель пошла вниз; одновременно включилась контрольная кинокамера, которая зафиксировала на пленке место и время ее падения. Было ровно двадцать два часа пять минут. Наискось сверкнула широкая полоса воды, «москито» пронесся над Эльбой и с ревом, форсируя двигатели, взмыл в черное февральское небо. Тридцатью секундами позже на арене стадиона вспыхнул ослепительный алый свет, обозначая для бомбардиров вершину сектора поражения.

Пригородный поезд, которым в этот вечер собиралась уехать фрау Штольниц, был задержан на станции Пирна незадолго до десяти часов вечера, когда воздушную тревогу объявили по всей зоне ПВО Большого Дрездена. Удивленные, но не очень встревоженные пассажиры высыпали на

платформу, вдоль вагонов прошел кондуктор, помахивая синим фонариком.

— Спокойствие, дамы и господа, — взывал он, тщетно пытаясь придать административную строгость своему дребезжащему старческому тенорку, — ручной багаж берите с собой, вход в убежище прямо и налево, дам и господ прошу очистить перрон и спуститься в убежище согласно инструкции…

В убежище, однако, никто не пошел. Пассажиры кучками стояли на перроне, закуривали, беззаботно переговаривались, шутили. И вдруг снова неистовым надрывным воем взревели сирены, теперь это был уже «акут-аларм» — сигнал непосредственной опасности. Синие фонари разом погасли, часть пассажиров направилась к спуску в подземный переход, где бледно светилась намалеванная фосфорной краской стрела с большими буквами «L/SR»[33]. Большинство, однако, не трогалось с места. Было очень холодно, пронзительный вьюжный ветерок крутил по платформе, задувал со всех сторон, срывая струи каменноугольного дыма с труб вагонного отопления и порывами донося откуда-то больничные

---

[33] Notes: 33

Сокр. от «Luftschutzraum» *(нем.)* — бомбоубежище.

запахи карболки и лизола. Люди опасливо и недоуменно посматривали на небо — оно было пустым и черным, в мелких озябших звездах.

— Странно, — сказал кто-то в толпе, — сирены орут, а прожекторов не видно…

— Да откуда им взяться, — отозвался другой голос, — если тут вокруг на сто километров нет ни одного зенитчика. Прожектора еще осенью увезли в Берлин, а пушки забрали на фронт. Что им тут делать?

— Смотрите, смотрите! — закричало сразу несколько голосов. — «Елки» зажигают, смотрите!

В толпе послышались возгласы недоумения, испуга, недоверчивые восклицания — в стороне Дрездена действительно один за другим вспыхивали и повисали в небе ослепительно-яркие «елочные огни» — так их называли уже давно, гроздья светящихся авиабомб издали и в самом деле напоминали нарядную рождественскую елку в зажженных свечах. Толпа притихла: слишком многим из стоящих на платформе довелось уже видеть, как вспыхивали эти зловещие магниевые звезды над обреченными городами…

И тишина тоже была зловещей в эти ее последние минуты, она придавала происходящему

оттенок чего-то нереального, бредового — это мертвое молчание, ночь и эти торопливо вспыхивающие, словно сами собой рождающиеся из мрака сгустки искусственного неживого света. Люди смотрели в каком-то оцепенении, и когда наконец началось — никто, пожалуй, в первый момент ничего не заметил; это выглядело совершенно безобидно — отсюда, с расстояния в двадцать километров. Вдруг снизу, навстречу мертвенно-холодному сиянию магния, выплеснулось несколько багровых вспышек, не очень ярких, быстро сменяющихся, словно гасящих одна другую. Они казались живыми, теплыми, резво перебегали с места на место, словно плясали. И лишь потом — с запозданием — до зрителей докатился звук.

Его можно было сравнить только с ревом пробудившегося вулкана — этот чудовищный раскат грома, под непомерной тяжестью которого дрогнули вагоны на рельсах и качнулась бетонная платформа. И он уже не умолк, потому что там — в двадцати километрах отсюда — багровые вспышки наслаивались одна на другую стремительно и безостановочно, распухая огромным колеблющимся заревом.

В окнах вокзала тонко и равномерно звенели

стекла. Какое-то время толпа продолжала стоять тихо, но потом вдруг — отчаянно, как кричат под ножом, — закричала женщина, и сразу заплакали дети, подняли вопль другие женщины, хриплый мужской голос стал сыпать руганью, требуя расступиться и пропустить носилки. Дружинники в комбинезонах и синих шлемах «люфтшутцбунда» начали оттеснять всех ко входу в убежище. Зарево над Дрезденом стало выше и ярче, оно разгоралось, наливаясь огнем и кровью. Магниевые звезды догорали, гасли одна за другой, теперь уже окрестность озарило мрачным багровым отсветом преисподней.

Все вокруг дрожало мелко и безостановочно, как во время землетрясения. Где-то посыпались стекла, черепица соскользнула с крыши и разлетелась обломками по асфальту. Оставшиеся на платформе продолжали смотреть на чудовищный спектакль, все еще отказываясь верить, что там — в жерле этого раскаленного кратера — сгорают живые люди, что целый город, до сих пор пощаженный войной, бессмысленно погибает накануне мира.

Патер с непокрытой головой, стоя на самом краю платформы, торопливо и неразборчиво бормотал латинские слова, сложив ладони пе-

ред грудью, глаза его были широко раскрыты и устремлены в одну точку, лицо казалось окровавленным отблесками пожара.

— Нет, это невероятно, — растерянно сказал голос, — такого даже в Гамбурге не было…

— Обычная английская тактика, — отозвался другой. — Они называют это «бомбовым ковром»…

— Но почему Дрезден?! Что они нашли в Дрездене — сволочи, детоубийцы!! Трусы! Проклятые английские ублюдки!! Нам сказали — мирный тыловой город… что же это такое, а? Я вас спрашиваю!!

Совершенно обезумев, маленький человечек в теплой охотничьей куртке вцепился в патера, чуть не столкнув его с платформы.

— Отвечайте!!! Вы же ему молитесь — своему еврейскому Богу! Он это видит, да? И позволяет?! Всемогущий и милосердный!!

— Успокойтесь, сын мой, успокойтесь, — сдержанно повторял патер, ловя его руки. — Успокойтесь и не кощунствуйте, пути Господни неисповедимы…

— Да я плевал на его пути!! У меня там дочь, понимаете вы это?! Четыре года, преподобный отец… — Его визгливый голос сломался, упал до

исступленного шепота. Человечка оттащили, он стал вырываться. — Ей только четыре года, поймите, она просилась поехать сегодня со мной… Пустите меня!! Что я наделал, о-о-о-у-у!..

Вырвавшись наконец, он упал на колени и пополз к патеру, его снова схватили, поволокли прочь. Подбежали дружинники. С хрустом давя сапогами битое стекло, прошел офицер СС, серебряные черепа и нашивки на его черном мундире светились тускло-красным, как раскаленные.

— Немедленно очистить платформу! — сказал он ломким от бешенства голосом. — Всем в убежище. Быстро!

Оставшиеся пассажиры заторопились ко входу в бункер. Вылетело еще несколько стекол, воздух дрожал и вибрировал от непрекращающихся громовых раскатов. То, что полчаса назад было Дрезденом, теперь клокотало и извергалось, как вулкан, протуберанцами взметывая в багровое небо грибовидные клубы бушующего пламени, на десятки километров вокруг сотрясая землю сейсмическими ударами своих предсмертных конвульсий…

Каждая минута в этом аду казалась вечностью, и время остановилось, и никто не мог впоследствии сказать, как долго длился налет, когда

окончилась первая бомбежка и когда над Дрезденом появились «ланкастеры» второго эшелона, вдвое более мощного.

Наконец отбомбились и они. В окрестностях стало тихо, незаметно пришел тусклый рассвет. К этому времени все дороги были уже забиты беженцами. Город продолжал гореть, туча дыма стояла над ним вполнеба, северо-западный ветер нес вдоль реки удушливый чад, засыпая окрестные деревни странным черным снегом. Это возвращался на землю пепел Дрездена — мельчайшие клочья горелых тряпок и бумаги, взвихренные под самые тучи тягой чудовищного пожара. А через Пирну брели толпы людей в изорванных и обгорелых лохмотьях, брели, одержимые одним стремлением: уйти как можно дальше от страшного места, еще несколько часов назад бывшего для одних родным городом, а для других — спасительной гаванью, в которой они надеялись дожить до близкого конца войны. Они несли детей, вели раненых, толкали перед собой детские коляски со спасенным скарбом и катили навьюченные чемоданами велосипеды. Дюжина полевых кухонь и несколько спешно развернутых пунктов первой помощи не могли обслужить и сотой доли пострадавших, а эвакуи-

ровать их дальше было не на чем. Те, у кого уже не оставалось сил, сидели и лежали на тротуарах, на площади перед ратушей, на платформах железнодорожной станции, на пристани. С дымного неба на них все так же беззвучно и безостановочно продолжал сыпаться черный снег.

Постепенно из окрестных деревень начали пригонять лодки, баржи, прогулочные катера, плоты. Подошел пароход «Велен», притащились два дряхлых буксира. На пристани разыгрывались дикие сцены: беженцы дрались за места, на мостках плавучего дебаркадера, откуда производилась посадка на «Велен», напором толпы снесло перила, люди посыпались в ледяную воду, стали цепляться за борта отплывающих лодок. Одна из них опрокинулась, кого-то раздавило между бортом «Велена» и стенкой. Прошел слух, что утром над Пирной видели американский «лайтнинг» — эти двухфюзеляжные истребители дальнего действия использовались как разведчики, и нередко их появление предвещало бомбежку. «Мы не хотим гореть! — ревела толпа. — Увезите нас отсюда!» Все это были жители дрезденских юго-восточных форштадтов — Зейдница, Лаубегаста, Ной-Остры. О положении в центре они ничего сказать не могли — видели только, что к

западу от Груны и Штризена бушует сплошное море огня. Гасить его было некому. Вчера, после первого налета, в Дрезден сразу прибыли пожарно-спасательные команды из окрестных городков — Козвига, Оттендорфа, Тарандта; они начали действовать около полуночи и все погибли часом позже, при второй бомбежке.

Так что беженцев из центральных кварталов Дрездена попросту не было. Ни одного человека.

Глава 8

Весна пахла смертью и яблоневым цветом. Людмиле казалось, что никогда раньше — ни в прошлом, ни в позапрошлом году — яблони здесь не цвели так буйно и изобильно, от их аромата кружило голову, но к нему неразделимо примешивался этот страшный запах. Возможно, впрочем, он ей только чудился, — может, это уже был не сам запах, а воспоминание о запахе — навязчивое, неотступное, навсегда…

Первое время она лежала в лазарете в Радебурге, а потом — все уже говорили о приближении фронта, советские войска были в восьмидесяти километрах отсюда, под Гёрлицем, — раненых начали эвакуировать за Эльбу. В этом лазарете

все были вперемешку — военные и гражданские, первые преобладали в мужских палатах, но и в женской тоже было несколько военных — связисток, зенитчиц. Всех их вывезли в первую очередь, потом забрали лежачих; Гертруда Юргенс (хорошо еще в бункере она успела переложить документы в карман пальто) числилась уже ходячей, за два дня до эвакуации ей даже сняли гипс с правой руки, так что она могла теперь самостоятельно одеться, поесть. Ее случай — ожоги, переломы и сотрясение мозга — был для пережившей дрезденскую бомбежку сравнительно легким.

Для ходячих — их набралось около тридцати человек — подогнали крытый грузовик с устроенными в кузове сиденьями. Было уже совсем тепло — конец марта; но когда все забрались внутрь, заднее полотнище опустили и наглухо пришнуровали к борту. Те, кто нарочно медлил с посадкой, чтобы занять последние места и в пути подышать воздухом, принялись было протестовать, но сопровождающий группу санитар прикрикнул на них — таков, мол, порядок. Брезент был уже совсем по-летнему прогрет солнцем, и в кузове сразу стало душновато, запахло лизолом и йодоформом. Когда тронулись, под

брезент начало задувать и дезинфекцию вытянуло, но стоило машине остановиться, как опять делалось душно.

А остановки были частыми и долгими, машина больше стояла, чем шла. Сидящие рядом с Людмилой гадали вслух, куда же их везут и каким путем: на левый берег Эльбы из Радебурга можно попасть либо через Мейсен, либо через Дрезден, первая дорога идет на запад, вторая — прямо на юг. Кто-то попытался отогнуть край брезента, но не смог — туго натянутое полотнище было жестким, как фанера.

Лишь когда снова выглянуло солнце, ориентироваться стало легче: все-таки их везли на юг. Был уже шестой час пополудни, солнце просвечивало правую сторону тента, потом опять скрылось за облаками. От Радебурга до северной окраины Дрездена нет и двадцати километров, но шоссе было сплошь забито встречным движением — и едущие в сторону Эльбы продвигались черепашьим шагом: впереди, возможно, тащилась неисправная машина или даже конная упряжка, а обогнать было нельзя. Судя по реву двигателей и железному лязгу гусениц, навстречу шли танки или какая-нибудь другая тяжелая техника; сидящий рядом с Людмилой немолодой солдат сказал,

что это, наверное, войска группы «Шёрнер» перебрасываются из протектората на север.

— Сейчас там опаснее, — добавил он, понизив голос. — Русские уже на этой стороне Одера, — как только возьмут Франкфурт и Кюстрин, их уже никто не задержит до самого… — Он не уточнил докуда — это было понятно и так.

Господи, неужели на самом деле, подумала Людмила. Бои на Берлинском направлении! А когда-то боялись включить радио или развернуть газету, чтобы не прочитать, не услышать в сводке нового направления, которого не было еще вчера, каждое воспринималось как удары набата: Брестское, Винницкое, Житомирское, Смоленское, Киевское… Неужели в действительности, не во сне, неужели не в кошмаре приснились все эти четыре года!

Машина продвигалась на несколько десятков метров, снова останавливалась, заглушив двигатель, потом опять надрывно верещал стартер; Людмила сидела в оцепенении, ничего уже не соображая от усталости, разгипсованную руку начало ломить от локтя до кисти, боль была не резкая, но тянущая, нудная. Хорошо еще сиденья были с дощатыми спинками — можно было прислониться, попробовать устроить плечо как-то

иначе. Встречное движение наконец прекратилось, но машина все равно шла медленно; в одну из очередных остановок, когда заглушили мотор, кто-то сказал: «Вроде на мосту стоим, послушайте-ка…» Да, откуда-то и в самом деле доносился негромкий плеск и журчание воды, обтекающей мостовую опору или какой-нибудь полузатопленный предмет. Начали обсуждать, что это за мост; молчавший до сих пор санитар сказал, что едут через Аугустусбрюкке, остальные закрыты для движения. В кузове стало тихо, — пожалуй, только теперь все поняли, почему их везут в закрытой машине. Хотя зачем тогда вообще этим путем? Опять тронулись, проехали немного, стали; это был уже левый берег, Альтштадт, но в каком месте они теперь стояли, определить было невозможно. Раньше отсюда, с моста, трамваи сворачивали одни направо, к Театральной площади, а другие в узкую Аугустусштрассе налево, за Ландтагом, чтобы через Новый рынок выйти на Ринг. По Театральной площади ходила «семерка» — Людмила обычно пользовалась этим маршрутом, если надо было съездить в Нойштадт, остановка была напротив Зофиенкирхе…

Она вдруг осознала, что снова находится в Дрездене, и тут ее стало трясти. Это был не страх или,

во всяком случае, не страх чего-то реального, конкретного, а скорее какой-то подсознательный ужас — темный, нерассуждающий. Машина стояла, вокруг было необычно тихо — здесь, в центре, никогда не бывало так тихо, даже ночью, если прислушаться, всегда были слышны привычные звуки городской жизни — чьи-то запоздалые шаги, шум проехавшего автомобиля, скрежет трамвайных колес на повороте. А сейчас город был мертв, она знала это, сама видела его гибель, видела и слышала; но знать, видеть и слышать — это одно, а совсем другое — осознать до конца, почувствовать. Тогда, в ту ночь, чувства были отключены, иначе она не выдержала бы и минуты, но сейчас она воспринимала все — и эту могильную тишину, и этот запах.

Запах почувствовался не сразу, но теперь его чувствовали все: Дрезден смердел гарью и трупами.

— Да, запашок, — заметил Людмилин сосед, — вроде как в окопах, в ту войну! Это сейчас все больше с места на место, а в шестнадцатом, помню, во Фландрии мы как закопались в землю, так и просидели чуть ли не до конца. Так вот там тоже — ох и повонявало. Намолотили с обеих сторон — то наши в атаку, то англичане, а убитых

с ничьей земли всех не вытащить…

Здесь ветер, видимо, дул с севера — вот почему на том берегу ничего не было слышно; зато в Альтштадте этот смрад бойни и пожарища сопровождал их до самого конца, пока не остались позади южные пригороды. Впрочем, Людмиле казалось, что он слышится и в Гласхютте, куда эвакуированных привезли уже поздно вечером.

Через две недели лазарет переместили западнее, во Фрейберг, а потом начали беспощадно «чистить» — не хватало коек, медикаментов, обслуживающего персонала, а раненых всё везли и везли — теперь уже из-под Вейсвассера, Мускау, Хойерсверды. Вместе со многими другими выписали и Гертруду Юргенс. Она получила на руки свои чудом сохранившиеся документы, медицинскую справку, временные продовольственные карточки и ордер на получение одежды, по которому уже ничего нельзя было получить: владельцы магазинов и слышать не хотели ни о каких ордерах, ссылаясь на отсутствие товаров. Бои шли в берлинских предместьях — только сумасшедший стал бы теперь разбазаривать по твердой цене дефицитнейшие вещи, которые не сегодня завтра начнут приносить десятикратный барыш в условиях послекапитуляционного хаоса.

Любой торговец еще по опыту восемнадцатого года хорошо знал, как наживаться на поражении.

Из семи женщин, выписанных вместе с Людмилой, лишь у одной были живущие неподалеку родственники, остальным деваться было некуда — это были или эвакуированные из других мест, или оставшиеся без крова жительницы Дрездена. При выписке им посоветовали идти по окрестным деревням, где всегда можно найти работу в крестьянских хозяйствах, — сейчас, весной, там особенно не хватает людей.

Найти работу, однако, оказалось не так просто. В течение всей зимы сюда, к подножию Рудных гор, стекал из-за Эльбы бесконечный поток беженцев из Силезии, потом к ним прибавились беженцы с запада, из Тюрингии, а теперь еще появились и из протектората, где со дня на день могло вспыхнуть восстание, подобное словацкому (а чехов теперь немцы боялись, пожалуй, не меньше, чем русских казаков или американских негров). По всем дорогам и во всех деревнях можно было видеть женщин, детей и стариков с рюкзаками и чемоданами — все они готовы были взяться за любое дело, лишь бы дали поесть и переночевать.

Спать приходилось под открытым небом, каж-

дый свободный амбар или опустевший коровник немедленно захватывали военные; они, казалось, тоже сбрелись сюда со всей Германии. Именно сбрелись, а не съехались, — глядя сейчас на эти жалкие ошметки вермахта, Людмила не могла поверить, что это та самая армия, чья невиданная техническая оснащенность так поражала всех в сорок первом году. Теперь солдата на велосипеде провожали завистливыми взглядами, а в машине можно было увидеть только офицеров или одетых в пятнистые маскировочные комбинезоны парашютистов ударных частей СС; большинство передвигалось пешком или на повозках, да и повозок становилось все меньше, потому что американские истребители с утра до вечера висели над шоссейными дорогами, расстреливая с бреющего полета все живое. Только что убитую лошадь, если рядом случались голодные беженцы, иногда тут же разделывали, отрезая кусок ноги, а остальное сволакивали в кювет.

Убивало, впрочем, не только лошадей. Дни стояли жаркие, и по всей округе дальше и дальше расползался неотступный, прилипчивый трупный смрад. А в садах цвели яблони. Постоянное чередование, смешение этих двух запахов было особенно страшным, каким-то противоестествен-

ным, способным довести до безумия. Людмила с трудом заставляла себя съесть кусок хлеба, потребность вымыть хотя бы руки в каждом ручье, у каждого колодца стала маниакальной; ей казалось уже, что вся одежда пропитана запахом смерти — еще с тех пор, с того вечера, когда их (она до сих пор не понимала зачем) провезли в наглухо закрытой машине через мертвый Дрезден…

После нескольких неудачных попыток она бросила поиски работы и пристанища. Денег на выкуп скудного пайка у нее пока хватало, документы были надежны, да на нее никто и внимания не обращал. Лишь однажды вечером ее и еще двух молодых беженок задержал патруль — солдаты были нетрезвы и, скорее всего, просто хотели развлечься. С одной они столковались сразу, а вторая подняла крик и стала грозить каким-то высокопоставленным родственником, поэтому была отпущена с миром. Отпустили и Людмилу — патрульный осветил ей лицо фонариком, сочувственно поинтересовался, где это ее так, и потом (уже явно для порядка, чтобы оправдать задержание) спросил документы.

— Скажи на милость, — пробормотал он совсем другим тоном, прочитав приложенную к

направлению на «Заксенверке» характеристику, и добавил: — Что ж, не смею задерживать!

Людмила еще раз убедилась в предусмотрительности мюнхенских товарищей, так лестно аттестовавших переводчицу Гертруду Юргенс: «Предана интересам рейха, прошла ускоренный курс национал-политического воспитания при „Напола-IX“[34], имеет ценный опыт работы в лагерях для иностранцев…» Чего ей бояться с этакой охранной грамотой?

Эти два поистершихся уже на сгибах листка бумаги — характеристика и направление в отдел кадров — остались единственным свидетельством ее неудавшейся попытки что-то сделать, оказаться полезной хоть под самый конец. Она иногда разворачивала их, перечитывала с горьким недоумением — неужели все это предполагалось всерьез? Уж в этом судьба могла бы ей не отказать, не так многого она просила…

Вспоминать о задании, которое она так и не смогла выполнить, было тяжело, и Людмиле иной раз хотелось даже уничтожить эти бумаги; останавливала мысль о том, что скоро придут

---

[34] Notes: 34

Сокр. от «Nationalpolitische Erziehunganstalt» *(нем.)* — «политические училища» в нацистской Германии, готовившие пропагандистов и т. п.

наши, и тогда ей надо же будет как-то объяснить свое пребывание здесь, свою жизнь «на свободе», вне какого бы то ни было лагеря, да еще под видом немки. А как объяснишь это без документов, подтверждающих полученное в Мюнхене задание? До прихода же наших бумаги охраняют ее от всяких случайностей — вроде того пьяного патруля.

Впрочем, теперь все больше людей оказывалось как бы выпавшими из сферы действия быстро распадающейся системы страха и насилия. Бездомные беженки никого уже не интересовали, фельджандармы и пятнистые парашютисты охотились лишь за мужчинами в штатском: повсюду был расклеен приказ фельдмаршала Шёрнера: любой заподозренный в дезертирстве подлежал немедленной смертной казни через повешение. И действительно вешали. В одной деревне Людмила сама видела висящего человека в сером мундире люфтваффе, с большим плакатом на груди. Издали было не разобрать, что там написано.

Чтобы не испытывать судьбу, она все же старалась не задерживаться особенно на одном месте. Переночевав где-нибудь, пристраивалась к попутной компании беженцев (те тоже брели, сами не зная куда) или шла сама по себе. Все ее

имущество умещалось в небольшой брезентовой сумке через плечо, найденной среди брошенного военного снаряжения. Пальто, в котором она приехала в Дрезден тринадцатого февраля, прогорело настолько, что его пришлось выбросить, из теплых вещей остался свитер, тоже порядком пострадавший от огня, и шарф, подаренные ей Штольницами еще тогда в августе, при отъезде в Аугсбург.

Она часто думала о фрау Ильзе — и в лазарете, и теперь, бесцельно бродя по дорогам под теплым апрельским солнцем. Конечно, она погубила ее своим посещением — Людмила давно поняла это и уже привыкла относиться к этой мысли почти спокойно. Не приди она тогда — фрау Ильзе успела бы уехать; но даже если бы ей удалось дожить до конца войны — зачем? Чем была бы жизнь для старой, совершенно одинокой женщины, потерявшей все, ради чего стоит жить?

Может быть, судьба не отказала ей хоть в этой последней милости, послав легкую смерть — сразу, от тех первых бомб, свист которых Людмила услышала на лестнице бункера. Или нет, самые первые упали раньше — она еще была на улице…

Выйдя в тот вечер от фрау Ильзе, Людмила

пересекла Герцогингартен и узкими ломаными переулками вышла на Веттинерштрассе. Почти сразу подошел нужный ей трамвай — 21-й; задержись он хоть на четверть часа, тревога застала бы ее в центре. Но трамвай подошел вовремя. Когда объявили «фор-аларм»[35], они уже выехали за Ринг и приближались к Ботаническому саду; по сигналу предварительной тревоги уличное движение не прекращается. А потом сирены взревели снова — Людмиле показалось, что не прошло и десяти минут, трамвай еще шел по Штюбель-аллее, справа мелькали голые деревья Гроссергартена — сирены взревели так дико и истошно, захлебываясь от ужаса, что всеми сразу овладела паника. Вагоновожатая затормозила рывком, пассажиры — к счастью, их было не много — бросились к выходам. Людмила сейчас не могла точно вспомнить, что было потом, когда она вместе с другими выскочила из вагона, — кажется, они куда-то бежали, да еще никто толком и не знал, где ближайший бункер: дрезденцы не привыкли прятаться. В конце концов они его нашли, добежали, но перед этим — за мину-

[35] Notes: 35

Vor-alarm *(нем.)* — предварительный сигнал воздушной тревоги. В немецкой ПВО была принята система трехступенчатого оповещения.

ту или несколько до этого, Людмила не могла припомнить точно — все озарилось вдруг призрачным голубым светом необычайной яркости, словно разом взошла сотня лун. Штюбель-аллее — широкая, длинная и совершенно прямая — нацелена, если смотреть вдоль нее, прямо на центр Альтштадта, чуть левее огромного купола Фрауэнкирхе; именно туда и посмотрела Людмила в ту минуту, испуганная мертвым сиянием светильников, зажженных над городом, чтобы осветить его гибель. И именно там, в конце бульвара, в этот момент полыхнули к небу вспышки разрывов, лишь спустя секунды докатившихся сюда чудовищным обвальным грохотом и швырнувших ее ко входу в бункер. Это был первый фугасный удар по центру, но тогда она даже не успела понять, что происходит; ей просто показалось, что небо раскололось и рушится, а земля встает на дыбы…

Сейчас она с удивлением заметила вдруг, что способна думать о той ночи, пытаться что-то вспомнить: еще недавно не могла, ее сразу начинало колотить дрожью — как тогда, в машине. Странно — слышать обо всем этом от других она могла, в палате только об этом и говорили — что там было правдой, а что домыслом, сказать трудно, но вспоминали и рассказывали

все. А вот думать было невыносимо. Ей были известны подробности, в которых сходились все рассказчики: и о втором налете в ту ночь, вдвое более продолжительном, через три часа после первого; и о двух дневных налетах американцев, четырнадцатого и пятнадцатого; и о том, что горел Дрезден почти неделю — пока было чему гореть. Единственное, чего Людмила не знала и ни от кого не могла узнать, — это каким образом ее спасли. Этого не знал о себе никто из спасенных дрезденцев. В справке, полученной ею при выписке, было сказано, что в радебургский госпиталь она поступила 16.2.45, но из Дрездена ее, надо полагать, вывезли раньше. Возможно, с одной из первых партий раненых — утром четырнадцатого, еще до американского налета: после него оттуда уже вообще никого не вывозили. Где она провела эти двое суток? Спасенных из Штризена сразу увозили на правый берег в Лошвиц и Вайссер-Хирш и там оказывали первую помощь. Одна из сестер говорила, что в госпиталь ее доставили уже в лубках и с наложенными противоожоговыми повязками. Словом, так или иначе спасли — не все ли равно как. Хуже, что у Людмилы не было ответа на второй вопрос: зачем.

Мысль, которая недавно пришла ей в голову

относительно фрау Ильзе — что бывают положения, когда смерть оказывается лучшим выходом, — теперь все чаще возвращалась в отношении ее самой. Людмила все чаще завидовала Эриху. Не может же быть, чтобы фрау Крумхоф обманула ее, сказав, что он убит в перестрелке; в таких случаях не обманывают даже из желания утешить. И если это правда, если он действительно умер от пули, умер как солдат, — какая это прекрасная, завидная смерть, и насколько она предпочтительнее жизни, которая становится непосильным бременем… А жизнь действительно становилась невыносимой именно теперь, под конец, этой последней весной, которая так страшно пахнет цветением и распадом.

Людмила пыталась заставить себя смотреть на все другими глазами, призывала на помощь рассудок — ведь когда-то, раньше, в прежней жизни, там, дома, ее считали рассудительной, даже рассудочной. Но других глаз у нее не было, были те самые, что видели гибель Дрездена, и, возможно, в подробностях, которых (к счастью) не сохранила память, но запечатлело подсознание. Возможно, они там и останутся. Чем же мог ей помочь рассудок? Единственное, на что он сейчас был способен, — это трезво объяснить ей

ее собственное состояние. Бомбежка оказалась для нее едва ли не более сильным потрясением, чем гибель Эриха и казнь профессора Штольница, ибо смерть даже самого близкого человека — это все же естественно, объяснимо, это, увы, в порядке вещей и общей картины мироздания не искажает.

А уничтожение Дрездена перевернуло для Людмилы все ее представления о человеке — и, следовательно, о мире, в котором нам приходится жить. Случившееся потрясло ее своей чудовищной, необъяснимо-бессмысленной жестокостью — бессмысленной, но в то же время обдуманной, хладнокровно рассчитанной. Если нельзя было соображениями «военной необходимости» оправдать — или хотя бы объяснить — оба английских ночных налета, то уж бойня, устроенная американцами на следующий день, вообще не укладывалась в сознании. Четырнадцатого около полудня их «крепости» появились над горящим городом в сопровождении целого роя истребителей, и, пока бомбардировщики волна за волной громили пожарище тяжелыми фугасками, истребители с бреющего полета расстреливали толпы беженцев на всех ведущих из Дрездена дорогах, на мостах, на набережных и в городских

парках, топили лодки и катера на реке. Уж это-то Людмила никак не могла согласовать со своими представлениями о человеке вообще — человек не мог сделать такого. Такое мог бы сделать только убежденный фашист — именно убежденный, идейный, а не просто примкнувший к фашизму из трусости или выгоды ради…

Она теперь боялась одного: чтобы американцы не пришли сюда раньше наших. Никто толком не знал, где находятся фронты, радио почти не передавало сводок верховного командования, ограничиваясь истеричными призывами защищать каждую пядь немецкой земли, превратить в крепость каждый дом; но говорили, что советские войска находятся уже по эту сторону Нейссе, чуть ли не в Шпремберге, а американцы — западнее Хемница, совсем рядом, здесь не было и сорока километров. Мало-помалу хаотичное движение беженского потока начало упорядочиваться, приобретать более определенную ориентацию: на запад. Все-таки, видимо, русских боялись больше. Людмила, ни с кем не делясь своими планами, шла в обратном направлении.

У Диппольдисвальде ей встретилось асфальтированное, совершенно разбитое шоссе. На изрешеченном мелкими осколками указате-

ле можно было разобрать: «ДРЕЗДЕН — 20 км». Господи, мы ведь здесь были однажды с профессором, вспомнила Людмила. Позапрошлым летом он ездил зачем-то в Альтенберг и взял ее с собой — показать Рудные горы. Езды туда было больше часа, ее даже немного укачало — автобус шел быстро, дорога была тогда совсем гладкой…

Сейчас по ней тащился от Дрездена какой-то обоз, похожий скорее на цыганский табор, чем на воинскую часть. Разномастные и разнопородные лошади, армейские фуры на резиновом ходу вперемежку с крестьянскими двухколесными телегами, повозками, чуть ли не прогулочными шарабанами; не лучше выглядели и солдаты, одетые в разрозненные предметы обмундирования всех родов войск. Сидящие на повозках то и дело посматривали вверх — видимо, уже по привычке: сегодня воздух был чист. Накануне похолодало, горы затянуло низкими облаками — американцы в такую погоду не летают.

Указатель, повернутый в сторону Дрездена, стоял на развилке, влево отходила узкая, вымощенная булыжником дорога к Рейхштадту, где Людмила провела прошлую ночь, а рядом была небольшая усадьба, уже основательно пострадавшая. Следов пожара не было видно, но крыши

строений сквозили голыми ребрами стропил, черепица осыпалась, как бывает от удара взрывной волны.

Стал накрапывать дождь, однако зайти в усадьбу Людмила не решилась — еще примут за мародера. На полпути между развилкой и воротами усадьбы валялся вверх колесами грузовик, — возможно, его зацепило теми же бомбами; дверца кабины была оторвана, рядом лежала клеенчатая подушка сиденья. Людмила осмотрела ее — следов крови не было, наверное, водитель успел выскочить раньше — и устроилась под защитой перевернутого капота. Ехавшие в голове обоза остановились у развилки, посовещались и стали сворачивать к усадьбе. Один из солдат, увидев сидящую под опрокинутым грузовиком девушку, направился к ней; Людмила немного испугалась — как знать, не подпадает ли под определение мародерства то, что она взяла подушку.

Солдат, однако, сам оказался мародером. Поздоровавшись, он снял с ремня длинную допотопную винтовку совершенно музейного вида, прислонил ее к борту и, протиснувшись в покореженную взрывом кабину, принялся что-то там ломать и отвинчивать.

— Пригодится, — объяснил он, выбравшись

наружу, спрятал в карман свой трофей и уселся рядом с Людмилой. — Посижу тут покамест, а то снова распрягать заставят. Помоложе меня есть, пускай поработают…

Ему и впрямь давно пора было на отдых — неряшливо заросший седоватой щетиной, с подслеповатыми глазами за узкими стеклышками очков в железной оправе, он выглядел совсем стариком. На солдате был серо-зеленый китель, черные брюки — то ли моряка, то ли танкиста — и выцветшее горно-егерское кепи.

— А я уже наработался, — продолжал он, — с меня хватит. Хоть сейчас бы передохнуть да дожить до конца, а там ведь опять придется. Я-то сам строитель, — добавил он, покосившись на Людмилу, и принялся сворачивать цигарку. — Вот и соображай, выйдет ли мне отдыхать на старости лет…

— Не выйдет, наверное, — согласилась она.

— Ясное дело, нет. Вон, Дрезден, слыхала, что с ним сделали?

— Я была там.

— Во время налета?

— Да.

— Во-он что, — протянул он сочувственно. — А в каком месте?

— Не помню точно, где-то возле парка. Я вообще ничего не помню.

— Понятно. Тебя, значит, в беспамятстве вытащили… Так ты тогда ничего и не видала!

— Слава богу, нет. А вы видели?

— Еще бы, я ведь их там сжигал.

— Сжигали? — не поняла Людмила. — Кого, простите?

— Мертвых, понятно. Три недели собирали и жгли, это только тех, кого сверху было видать. А в подвалах… — Он махнул рукой, долго щелкал зажигалкой, наконец закурил. — Нас туда сразу отправили, как остыло. Кое-где расчистили немного, стали их свозить на площадь. Повозками, конными, потому как машине там было не пройти. А повозка — у ней колея поуже. Вот так и возили три недели. Складывали посреди площади таким штабелем — метра два в высоту — и жгли. Сперва огнеметами, после так просто. Бензин лили и жгли. В противогазах, ясное дело, иначе вообще не подойти.

— Посреди площади, — повторила Людмила, мучительно пытаясь что-то вспомнить. — А куда… на какую площадь их свозили?

— На Альтмаркт и свозили, куда ж еще — как раз посередке, чтобы со всех сторон был подъезд,

со всех улиц. Я, уважаемая, помирать теперь не боюсь, поскольку, думаю, самое плохое мы уже повидали здесь — что там твоя преисподняя… Ты-то сама дрезденка?

— Я жила в Дрездене… некоторое время.

— Пожарный водоем знаешь — тот, что на Альтмаркте позапрошлым летом выкопали? Так вот он — а в ширину там, чтоб не соврать, метров двадцать и в длину вдвое больше, — он был полный утопших. Они в воду кидались — кругом-то огонь, на них уже и одежда горела — а глубина там три метра и стенки ровные, отвесные, гладкий бетон, за что ухватишься? Одни, значит, плавают, чтоб на воде удержаться, а на них сверху прыгают — вот они друг дружку и топили. Которые утопшие, те все больше были сплошь в ожогах, а кто до воды не добрался, те так по площади и лежали — что твои головешки, черные, обугленные…

Людмила слушала его — слушала, в общем, спокойно, за два последних месяца она, похоже, выработала в себе невосприимчивость к чему угодно — и не могла избавиться от странного ощущения уже виденного, словно все это уже было, все это она уже видела: площадь, развалины и то, о чем говорит этот старик. Пожалуй, действительно — в том сне два года назад… если только

не приснилось, что был такой сон, что она рассказывала о нем Эриху. Если не приснился и Эрих. Тогда (во сне или наяву?) они были вечером на Альтмаркте, пахло снегом, и он подарил ей томик Лермонтова — знать бы, верить бы, что это было в действительности, ведь жить можно и памятью! Но как узнаешь теперь, когда не осталось ни следа, когда ничем себя не убедишь, не скажешь себе: да, было, было, вот оно — доказательство…

Солдат докурил свою самокрутку и растер окурок подошвой.

— Табаком мы теперь богатые, — объяснил он такое неслыханное расточительство. — Вчера выдали сразу за две недели, теперь уж мне до конца войны хватит.

— Вы думаете, так скоро?

— А как же иначе, если русские уже в Берлине. А американцы, слышно, уже на той стороне Эльбы. Нас тут вовсе отрезали. А эти засранцы теперь Дрезден объявили крепостью — будем, дескать, защищать до последнего и всеми средствами… На вот, почитай!

Он протянул ей небольшую листовку, напечатанную на тонкой розоватой бумаге, — воззвание Мартина Мутшмана, «гауляйтера и имперского наместника». Наместник призывал не поддавать-

ся слухам, грозил карами вражеским пособникам и выражал уверенность, что все дрезденцы, мужчины и женщины, напрягут силы в борьбе с жестоким врагом — «за честь, свободу и жизнь нашего народа». Сообщалось также, что командующим оборонительным районом Дрездена назначен генерал фон унд цу Гильза (надо же, подумала Людмила, какая опереточная фамилия) и что сам Мутшман остается в городе, дабы и впредь столь же успешно обеспечивать партийное руководство.

— Подписано четырнадцатого апреля, — заметила Людмила. — Почти две недели назад. Может быть, они уже все удрали.

— Вроде бы еще нет. А вообще, удерут, это ты верно говоришь. Они ведь как? Понаприказывают с три короба, стоять, мол, до последнего, священная земля отечества и всякое такое, а у самих уже машины нагружены — в самый последний момент и сматываются. Бывает, конечно, что и не успевают. Вон, в Хойерсверде, рассказывают, ихний крейслейтер тоже не успел — так он застрелил жену, детишек тоже пострелял, сколько их там было, облил дом бензином и поджег. Ну и сам, понятно, застрелился. А может, и не то что не успел, а просто понял, что никуда

им теперь не деться — далеко не убегут, их, гадов, всех по одному повыловят…

Солдат поднялся и, взвалив на плечо свой мушкетон, поплелся к воротам усадьбы. Возможно, и повыловят, подумала Людмила, но всех ли? Да и другие останутся. Останется тот, кто приказал бомбить Дрезден, останутся пилоты «мустангов», которые развлекались, пуская ко дну лодки со спасшимися из огня детьми и женщинами…

Тремя днями позже, добравшись до Фрейталя (она все-таки не оставляла мысли побывать в Дрездене или хотя бы перебраться на ту сторону Эльбы, подальше от американцев), Людмила узнала о смерти Гитлера и капитуляции берлинского гарнизона.

Секретарь шведского посольства Лундберг не сразу узнал человека, явившегося к нему утром пятого мая. Берлинцы в эти дни выглядели непрезентабельно, но этот вообще был чучело чучелом: заросший многодневной щетиной, в резиновых сапогах, облезлой меховой шубе с отрезанными рукавами и вязаном шерстяном подшлемнике. За спиной у страшилища висел рюкзак, шуба была перепоясана обрывком ярко-красного телефонного провода. Обозрев все это, Лундберг поднял брови и вынул изо рта трубку.

— Ну что вы смотрите, — ворчливо сказало чучело, стаскивая с головы подшлемник, — не узнаёте, что ли…

— Господин Пауль Розе, будь я трижды… — едва выговорил швед. — На что вы похожи!

— Посмотрел бы я, на что стали бы похожи вы… доведись вам пережить то, что пережил я.

— Я все понимаю, но… эта шуба, она ведь без рукавов!

— А, черт с ними, так удобнее. Один сгорел, другой я оторвал сам — для симметрии. В сущности, она уже не по сезону, но спать на ней удобно — все-таки ночи еще холодные, а я, знаете ли, подвержен ангинам.

— Мы сейчас подберем для вас какое-нибудь пальто.

— Благодарствую, но любое ваше пальто будет на меня узко и длинно. Нет, с шубой мне расстаться трудно.

— Привычка, я понимаю. Однако, господин Розе, я чертовски рад видеть вас живым и невредимым!

— Представьте, я тоже не устаю этому радоваться. Я просыпаюсь каждое утро и говорю себе: Пауль, старый болван, ты до сих пор ничего не понимал в радостях жизни, тебе всегда была нужна

куча вещей, которые, в сущности, не представляют никакой ценности, а ведь единственное счастье — это вот оно: проснуться — и услышать тишину, и знать, что рядом никого больше не убивают…

— К сожалению, в других местах еще продолжают убивать.

— Но хоть Берлин отмучился! Десять дней сплошного кошмара…

— Да, это было ужасно. А ваша семья?

— Слава богу, их я успел заблаговременно отправить в деревню. Собственно, у меня и у самого было похвальное намерение отсидеться в тиши, но черт попутал вернуться, чтобы забрать архив. У меня ведь там письма Планка, корректурные оттиски с его собственноручными пометками, черновик той статьи Гана и Штрассмана, — словом, сами понимаете. Суета сует, но… Я думал — заберу с собой самое главное или хотя бы спрячу в более надежное место, а тут русские начали обстреливать окраины — правда, с другой стороны, сначала они появились оттуда, с северо-востока. Кто же знал, что через три дня они уже будут у нас в Тельтове! Словом, едва я успел кое-как рассовать свои бумаги, как приносят повестку. Представляете? Я попытался было отвертеться,

но куда там! Победа или Сибирь, говорят, а с трусами и пораженцами у нас разговор короткий. Выдали мне нарукавную повязку, стальной шлем и один фаустпатрон и в таком грозном виде отправили навстречу русским танкам. Начальство наше придумало тактику каких-то «оборонительных звеньев» — из трех человек каждое, со мной было еще двое мальчишек. Один сбежал сразу, но зато другой оказался таким фанатиком! Не стану описывать свои горестные злоключения во всех подробностях, но в конце концов подлый мальчишка затащил меня в чью-то пустую квартиру, и мы с ним заняли огневую позицию в окнах. Я вообще боялся выглянуть, а он что-то там увидел и хотел выстрелить, но его «фауст» не сработал, и он тогда кричит мне: «Стреляй, старая жопа, чего смотришь». Представляете?

— Ужасный ребенок, — сочувственно сказал Лундберг.

— Дитя эпохи, что вы хотите. Ну, я поднял эту штуковину повыше, чтобы и в самом деле не зацепить кого-нибудь там на улице, и произвел выстрел, но огонь почему-то вылетел назад. То есть теперь-то я понимаю — это ведь реактивное устройство, но в тот момент совершенно про это забыл, а позади меня лежали какие-то подушки

или перины, которые мгновенно воспламенились. Квартиру наполнил густейший дым, и это обстоятельство позволило мне бесславно покинуть поле сражения. На лестнице я содрал с рукава повязку, выбросил шлем и проходными дворами постарался уйти как можно дальше, чтобы не встретиться со своим юным и свирепым командиром.

— Господин Розе, — торжественно сказал швед, — вам на редкость повезло. Вы завтракали?

— Да, поесть я поел, а вот от чашечки кофе не откажусь.

— Это мы сейчас устроим. С русскими вам уже общаться случалось?

— О да, и неоднократно. Собственно, при них я и подкармливаюсь.

— Ну и каковы ваши впечатления?

— Пока можно говорить лишь о самых поверхностных, — подумав, сказал Розе. — Главное, пожалуй, что бросается в глаза при первом знакомстве с русскими солдатами, — это то, что в них есть нечто в высшей степени человечное — не знаю, поймете ли вы правильно: они человечны даже в своей дикости. Третьего дня я наблюдал такую сцену: молодой русский солдат вел неболь-

шую группу пленных мимо женщин, стоящих в очереди за водой, — одна вдруг закричала и бросилась к этим пленным и стала обнимать одного из шедших с краю. Как я понял, она увидела своего сына, которого считала убитым. Конвоир сначала хотел ее отогнать, но она была как безумная, и тогда он вдруг взял этого пленного за шиворот и вытолкнул из строя, сделав при этом знак, что она может его увести. Женщина так и сделала, а солдат повел остальных дальше. Но знаете, что произошло потом? Великодушный казак сообразил, что вверенная его попечению группа уменьшилась на одну единицу; недолго думая, он подходит к тротуару, хватает так же за шиворот первого попавшегося прохожего и вталкивает его в колонну. После чего ведет группу дальше, в прежнем численном составе…

Лундберг вынул трубку изо рта и захохотал, откидывая голову. Нахохотавшись, он встал и, открыв дверь, кликнул горничную — попросил приготовить кофе.

— Да, господин Розе, это великолепная маленькая новелла, — сказал он, вернувшись на место. — Просто великолепная!

— Во всяком случае, она отчасти отвечает на ваш вопрос о русских. Они отнюдь не ангелы, о

нет! Я даже затрудняюсь сказать — хорош или плох этот поступок, но он человечен. Понимаете? Вот немец, пожалуй, так бы не поступил. Он не совершил бы беззакония, схватив первого встречного, но не проявил бы и милосердия, отпустив того, первого… Кстати, у вас, случайно, нет сведений о Фабиане?

— Есть, и отнюдь не случайно — судьба вашего приятеля занимает многих. Он пребывает в благополучии… относительном, конечно. Во всяком случае, из Флоссенбюрга его удалось вытащить сразу после казни Канариса, и сейчас он в Дахау.

— Занятные у вас представления о благополучии.

— Да, потому что при пересылке его сопроводительные документы бесследно пропали. Из Дахау он должен был быть отправлен в Инсбрук, там специально подбирается группа заключенных… как бы это сказать — ну, то, что американцы называют ви-ай-пи…

— Важные птицы, стало быть.

— Совершенно верно. Там с ними ваш бывший канцлер Шушниг, какой-то дальний родственник Черчилля, племянник Молотова, пастор Нимёллер, Леон Блюм и еще несколько персон того же ранга. О передаче этой группы американцам уже

имеется договоренность с Вольфом, а что касается Шлабрендорфа, то им очень интересовался Геверниц.

— Геверниц, Геверниц…

— Да, это человек Донована в Берне. Геро фон Геверниц, из отдела стратегических служб. Американец немецкого происхождения.

— Ну, будем надеяться. Если Фабиану удастся выкарабкаться, он будет едва ли не единственным уцелевшим…

— Будьте спокойны, господин Розе, выкарабкаться ему помогут. ОСС, как правило, работает четко. И снимите вы наконец свою чудовищную шкуру, здесь ведь так тепло! Кофе сейчас подадут, а вот помыться не могу вам предложить — сидим без воды.

Розе, отмахнувшись от упоминания о воде (он уже не помнил, когда мылся в последний раз), стащил шубу и, заботливо свернув, положил на подоконник.

— Привычка к чистоплотности, — сказал он, — это самый поверхностный и легко отделимый слой цивилизации. Причем сбрасывается он, я убедился, совершенно безболезненно.

— Вы правы, — подтвердил швед. — Я вот думаю, как там бедняга Шлабрендорф. Он, знаете

ли, совершенно не мог обходиться без лаванды — причем только аткинсоновской, никакой иной. Все время доставляли ему из Стокгольма, всю войну.

— Ничего, наверняка уже научился… Теперь, Свен, у меня к вам такого рода дельце: в этом вот рюкзаке часть моего архива, которую я так и не успел спрятать. Вас не затруднит, если я пока оставлю это здесь? Конечно, на бумаги никто не польстится, но черт его знает, — с другой стороны, те же русские могут подумать, что у меня тут государственные тайны, — заберут, чтобы разобраться, а потом поди разыщи… Да и тяжеловато таскать все это на себе!

— Разумеется, господин Розе, вам надо было сразу доставить сюда весь ваш архив.

— Да вот, сдуру не сообразил…

Розе раскрыл рюкзак и стал выкладывать на пол разноцветные папки, одни поновее, другие совсем выцветшие и истрепанные. Одна, неплотно завязанная, выпала у него из рук, бумаги рассыпались по ковру; укладывая их обратно, он задержался взглядом на тоненькой пачке скрепленных скоросшивателем листов журнального оттиска: «Д-р Пауль Хартек, д-р Эрих Дорнбергер. К вопросу оптимизации методов разделения изо-

топов ксенона». Статья эта была напечатана в его «Естествознании» летом тридцать восьмого года.

Боже мой, думал Розе, держа в руке старый оттиск и глядя в окно, где под ярким утренним солнцем сияла белизной расцветшая в посольском садике яблоня, если бы два года назад я не вспомнил про эту работу и не назвал имя Эриха в разговоре с Фабианом…

А впрочем, что можно знать о вариантах судьбы? Не вытащи его тогда абверовцы из-под Сталинграда, он погиб бы там или в лучшем случае оказался в плену: доктор и капитан Эрих Дорнбергер не принадлежал к людям, которых жизнь склонна баловать. Сейчас, правда, она вообще мало кого балует — разве что совсем уж отъявленных мерзавцев из той несгораемой и непотопляемой породы, что процветает при любых бедствиях. И все-таки даже на таком фоне всеобщего неблагополучия выделяются характеры, в силу какой-то врожденной склонности всегда и во всем избирающие путь наибольшего сопротивления…

Ведь вот и с этим заговором — он, Розе, узнал обо всем раньше Эриха, тоже возлагал поначалу какие-то надежды, но вовремя остыл, одумался. Даже не из осторожности, а просто понял, что

ничего не выйдет. И честно поделился с Эрихом своими соображениями (хотя раньше сам его и вербовал). Но на того трезвые доводы уже не действовали, тот уже избрал путь. Хотя тоже понимал — не мог ведь не понимать! — что выхода тут нет. Просто для него не было никакого другого пути, самозаклание — вот единственное, что ему оставалось…

Дрезденцы, бродившие в эти дни по окрестностям, стали подбираться поближе к городу, как только исчезли заставы на дорогах. Никто толком не знал, действительно ли они сняты, или их просто куда-то переместили, но все в один голос уверяли, что со стороны Фрейталя в Дрезден проникнуть можно и там уже никого не хватают. Говорили, что есть даже люди, побывавшие чуть ли не в самом центре. Слухи были единственным источником информации, поскольку газеты давно уже не выходили, немецкие радиостанции стали умолкать одна за другой еще раньше, а ловить передачи союзников было нечем. Оставались слухи да еще листовки, которыми время от времени американцы засыпали окрестность, чередуя их с ракетами и пулеметными очередями. Листовки эти были какими-то странными. Людмила не могла понять, зачем надо сводки

о продвижении союзных войск перемежать рассказами о том, как в Соединенных Штатах празднуют День благодарения или чем американский футбол отличается от европейского; непонятно было, зачем рядом с сообщением о том, что в концлагере Дахау найдены абажуры из человеческой кожи, помещать фотографию какой-то грудастой красотки, завоевавшей титул «мисс Флорида — 45». Отлично напечатанные на тонкой шелковистой бумаге, листовки эти производили угнетающее впечатление какой-то издевательской, граничащей с кощунством бестактности…

Слухи, во всяком случае, давали информацию более злободневную, хотя, вероятно, и не всегда правдивую. Дрезденских беженцев особенно интересовали всякого рода легенды, относящиеся к февральскому налету. Кто-то «из надежного источника» узнал, что на Бюргервизе, оказывается, жили под чужим именем родственники Черчилля, поэтому город ни разу и не бомбили, а в начале февраля кто-то выдал их гестапо — и немедленно последовала кара. Уверяли, что гауляйтер Мутшман обо всем знал заранее — он, дескать, еще утром тринадцатого перевез семью в вырубленное в сплошной скале засекреченное

убежище. А самой бомбежкой, доверительно сообщал еще кто-то, управляли с земли: в Вайссер-Хирш живет один иностранец, миллионер и родственник шведских Нобелей, — так вот он из своей виллы все это корректировал и показывал сигналами, куда что бросать. За ним пришли — весь чердак забит сложнейшей радиоаппаратурой, а сам хозяин скрылся подземным ходом…

Много говорили и о числе жертв. Этого, естественно, никто толком не знал, но по рукам ходила переписанная копия знаменитого «приказа № 47» — Людмила впервые услышала о нем еще в госпитале. За подписью некоего полковника охранной полиции Гроссе приказ «в опровержение нелепых слухов» приводил выдержку из доклада дрезденскому полицей-президенту: «К вечеру 20.3.1945 извлечено 202 040 трупов, преимущественно женщин и детей». Указанное в приказе как вероятное, общее число жертв в 250 тысяч почти все признавали явно завышенным, хотя почем знать — шестисоттысячное население Дрездена к январю этого года считалось увеличившимся до полутора миллионов за счет беженцев. Кто-то уверял, что под развалинами одной лишь Фрауэнкирхе погибло несколько тысяч человек.

И вот теперь слухи утверждали, что Дрезден чуть ли не объявлен открытым городом. До сих пор входить туда было смертельно опасно: улицы патрулировались озверелыми пьяными парашютистами (без шнапса там никто не выдержал бы и дня) и всякого заподозренного в мародерстве стреляли на месте. Женщины, конечно, имели больше шансов уцелеть, хотя рассказывали случаи, когда застрелили мать, пытавшуюся узнать что-то о своих детях, а какая-то старушка за неимением пальто надела польскую или французскую шинель — ее тоже увидели и, не разобравшись, резанули из автомата. Но вот недавно двое побывали у Бойтлер-парка, возле семинарии, дошли чуть ли не до кронпринцевой виллы — и никто их не остановил, вернулись благополучно…

Людмила и сама не очень хорошо понимала, что ее тянет в Дрезден; она ведь не могла рассчитывать, как другие, найти вдруг надпись мелом на уцелевшем куске стены: мы живы, находимся там-то. Шанс на то, что фрау Ильзе осталась в живых, был меньше одного из тысячи, и все же ей казалось, что она должна, обязана пойти и убедиться. И было еще что-то другое, не связанное уже с домом на Остра-аллее: она чувствовала,

что ей просто нельзя не побывать еще раз в этом городе, нельзя не увидеть всего этого своими глазами, чтобы самой, не с чужих слов, не по рассказам… Зачем — она не понимала еще, но знала, что это нужно.

К тому же последние дни все стали поговаривать о скором приходе американцев — Эльба, мол, будет демаркационной линией, правый берег берут себе русские, а левый — американцы. Пока, правда, они остановились на Мульде, километрах в пятидесяти западнее, но что такое пятьдесят километров? Час езды на машине, если не встретят сопротивления. А сопротивляться американцам никто, похоже, и не думал; судя по всему, не очень-то мощное сопротивление оказывалось и советским войскам, но с севера, из-за Эльбы, все же погромыхивало, и с каждым днем все ближе. Один инвалид сказал Людмиле, что это уже не бомбежка — бьют из орудий. А с запада было тихо, оттуда лишь прилетали самолеты. Правда, после третьего мая они почти уже не стреляли.

Седьмого был день сплошных новостей. Утром сказали, что кто-то видел в Мейсене русские танки — они пришли из Гроссенхайна и повернули влево, на Козвиг. Потом один парнишка, разжив-

шийся хорошим коротковолновым приемником из брошенного «функвагена», дал ей послушать Лондон, и она услышала о подписании предварительного протокола немецкой капитуляции в Реймсе. Видимо, об этом скоро узнали и другие, потому что к вечеру по всему Фрейталю стали вывешивать белые флаги. В каждом доме — из слухового окошка на чердаке, из окна мансарды, а то и просто через форточку — выставлялась палка с полотенцем, наволочкой, обрывком простыни. Людмиле это показалось странным: она помнила, как в августе сорок первого года немцы входили в ее родной город. Он тоже не оборонялся, наши войска оставили его накануне, но разве кому-нибудь могло прийти в голову вывесить белый флаг?..

Ей все еще не верилось, хотя доказательств было вокруг сколько угодно. По-настоящему капитуляция стала для нее фактом лишь после того, как она увидела брошенное оружие — в придорожном кювете валялся раскрытый ящик с минами, похожими на игрушечные авиабомбы, несколько касок, винтовка с отломанным прикладом. Дальше она увидела еще две винтовки, совсем исправные, и черный блестящий пистолет, очень новенький и нарядный на вид. Да, вот

это уж было неопровержимым доказательством! Брошенные винтовки ей случалось видеть и дома, — это оружие громоздкое и неудобное, в таких случаях, наверное, от них избавляются прежде всего. Но чтобы военный выбросил пистолет — и чтобы его не подобрал ни один мальчишка! — для этого люди должны по-настоящему устать от войны…

На следующее утро она решила идти в Дрезден. Может быть, сама она и не отважилась бы, но подобралась целая группа женщин, двое из них жили до бомбежки в Зеефорштадте и сейчас решили пойти посмотреть — нет ли надписей. Когда Людмиле предложили идти вместе, она согласилась не раздумывая. Ночью было тихо, но со стороны Вильсдруффа изредка доносились выстрелы; теперь, когда война практически кончилась, американцы могли явиться сюда в любой момент. Лучше было не рисковать.

Вдоль железной дороги они довольно скоро и беспрепятственно добрались до пригородной станции Дрезден-Плауэн. Тут уже пошли первые разрушенные кварталы, но пока это выглядело обычными развалинами — не страшнее, чем в других местах. И ветер дул с юга, поэтому запаха здесь тоже еще не было.

А вот на Мюнхнерплац Людмиле стало нехорошо. Тут все вместе: и эти руины, квартал за кварталом истолченного и оплавленного кирпича, и смрад — за полтора месяца он нисколько не ослабел, даже, пожалуй, стал еще страшнее, — и мрачные развалины бывшего Земельного суда, бывшего (уже!) гестапо, и сознание, что где-то там, в одном из этих засыпанных щебнем подвалов, профессору Штольницу отрубили голову… Ей действительно было плохо, она уже жалела, что решилась сюда идти, но потом подумалось, что уж это-то она должна, обязана, неужели ее не хватит хотя бы на это — чтобы увидеть и запомнить, потому что когда-нибудь не поверят, когда-нибудь станут пожимать плечами, говорить: «Ну, это уж вряд ли…»

И она вместе с другими упорно шла вперед, перебираясь через завалы, обходя опасно накренившиеся обломки стен, стараясь не дышать или хотя бы не чувствовать; как и все, она обвязала нижнюю часть лица платком, но потом поняла, что это ничего не дает, только еще хуже — какое-то удушье, а запах все равно проникает, вот если бы противогаз…

Без своих спутниц она заблудилась бы: эта часть города вообще была ей малознакома, а

теперь и подавно. Лишь когда из-за наполовину обвалившейся стены впереди показался вдруг пустой каркас перекрытий Главного вокзала, Людмила смогла убедиться, что они идут правильно; вокзал — по крайней мере, издали — выглядел не очень поврежденным, здание более или менее уцелело. Вообще, разрушения располагались прихотливо, посреди совершенно уничтоженного квартала можно было увидеть относительно нетронутый участок, пощаженный огнем и осколками.

Теперь уже недалеко, сказала она себе. Если удастся пройти по Прагерштрассе, а потом мимо крытого рынка и почтамта — только взглянуть, вдруг все-таки дом уцелел… Нет, надежды никакой не было, в той части города погибли даже те, кто прятался в подвалах, об этом ей говорили уже не раз: они просто задохнулись, в зоне пожара выживших не было. Но все равно — она только посмотрит и потом уйдет на ту сторону — в Нойштадт…

Через полчаса, где-то за Винерплац, Людмила встретила доктора Фетшера. С ней были теперь только те две женщины из Зеефорштадта, остальные разбрелись кто куда; выйдя на относительно расчищенный уже от обломков участок, они

увидели группу мужчин в штатском, один стал махать им руками, делая знак не идти дальше. Оказалось, что из соседнего дома стреляли — там, похоже, засели эсэсовцы, и русские могут просто забросать квартал минами. Женщины вместе с Людмилой укрылись в провале между двумя грудами обломков, мужчины подошли ближе, и она узнала Фетшера.

— Бог ты мой, Людхен, — сказал он изумленно, когда она его окликнула. — Ты что здесь делаешь? Как ты вообще очутилась в Дрездене?

— Я приехала как раз перед налетом, в тот же день — успела только побывать у фрау Ильзе. Вы ничего о ней не знаете?

— Ну что ты, если она в тот вечер была дома… — Фетшер развел руками. — Я, в общем, так и предполагал — справлялся в Шандау, туда она не вернулась. А на Остра-аллее все разрушено. Но ты сама…

— Жива, как видите. Только вот… — Она повернула голову, показывая ему левую сторону лица. Фетшер помолчал, потом снял перчатку и осторожно провел пальцами от уха к подбородку.

— Наклони к правому плечу… больше, если можешь. Так… Ну, ерунда, Людхен, это поправимо — поверхностный ожог, сейчас уже настолько

разработана техника пересадки, что следов практически не останется…

— Райнер! — окликнул один из мужчин. — Надо наконец решать, идем мы или не идем? Курт видел русских у Фердинандплац…

— Да-да, идем! — Он опять обернулся к Людмиле. — Я все же не очень хорошо понимаю, что заставило тебя приехать, но об этом после. Мы сейчас пройдем с друзьями немного вперед; там, похоже, где-то уже совсем недалеко твои соотечественники, надо им объяснить ситуацию…

— Я с вами, господин доктор, вы же не сумеете договориться!

— Сумеем, не волнуйся, мой друг говорит по-чешски. Скажи дамам, чтобы не вздумали высовываться, пока мы не вернемся. Вон там слева прячутся эти болваны-эсэсовцы — и наверняка пьяные, с них станется, что опять начнут палить по ком попало… Итак, до скорого!

Он и еще двое перебрались через завал и пошли по середине неширокой расчищенной полосы асфальта вдоль бывшей Прагерштрассе. Доктор нес в поднятой руке трость с привязанной салфеткой. Его убили сразу — не успел он сделать и десяти шагов. Откуда-то из развалин тупо и деловито простучала пулеметная очередь, и он

упал, как падают убитые. Шедший рядом с ним тоже упал, но совсем по-другому, он был жив и сразу принялся трогать и ощупывать Фетшера. Ему помогли оттащить доктора в развалины, но тот действительно был уже мертв, он умер сразу — вся очередь попала прямо в него.

Людмила чувствовала, что теряет всякое ощущение реальности происходящего — так быстро все это случилось, такой чудовищно нелепой оказалась смерть человека, годами рисковавшего жизнью на каждом шагу. Только что — не прошло ведь и пяти минут! — он с нею разговаривал, не вздумайте высовываться, сказал он, это опасно, а мы сейчас вернемся…

Она сидела здесь на развалинах, в этой каменной пустыне, где сам воздух был отравлен смертью, гниением, распадом всего сущего, — сидела совершенно одна, не ощущая уже ничего, кроме безмерной усталости. Каким праздником представлялся нам когда-то конец войны, подумала она опять, какими мы были наивными, как плохо мы ее знали — страшную цену мира…

Ее привел в себя дробный перестук еще одной очереди, она подняла голову — равнодушно, без страха, без любопытства. Стреляли, вероятно, опять те самые эсэсовцы, что убили доктора Фет-

шера. И в ту же секунду воздух оглушительно рвануло сдвоенным громовым ударом, что-то обрушилось, обвалом посыпались обломки. Слева — в той стороне, откуда только что стреляли из пулемета, — рассеивался дым, медленно оседала бурая кирпичная пыль. Из-за поворота улицы медленно выдвинулся танк, замер, рывком крутнувшись на месте, и, словно принюхиваясь, повел вбок длинным стволом пушки.

Один из тех, кто были с доктором, вскарабкался на гребень завала, размахивая тростью с привязанной салфеткой. На башне танка поднялась крышка люка, человек высунулся по пояс, стал осматриваться. Немец с флагом спустился на мостовую, другой подошел к Людмиле.

— Прошу прощения. — Он церемонно приподнял старую бесформенную шляпу. — Райнер говорил, что вы русская и предлагали помощь в переговорах… Может быть, вас действительно не затруднило бы? Дело в том, что наш чешский друг ранен, ему трудно…

— Да-да, конечно… конечно, я ведь сразу хотела…

— Тогда было опасно. Вот и Райнер, увы, тоже поторопился — подожди мы хоть несколько минут… Но сейчас, я понимаю, там в развалинах уже

никого нет. Осторожно — сюда не наступайте, это может обвалиться…

Они спустились с завала, прошли там, где на асфальте еще не просохла кровь доктора Фетшера, — немец с белым флагом, Людмила и ее спутник. Он рассказывал что-то о Райнере, о том, как кто-то сумел предотвратить взрыв какого-то моста, — но Людмила плохо понимала его, она ничего не слышала и почти ничего не видела, все дрожало и расплывалось в ее глазах: тяжкая бронированная глыба поперек смрадного каменного ущелья бывшей Прагерштрассе, люди в комбинезонах и рубчатых черных шлемах и эти развалины вокруг, развалины без конца и края, докуда доставал взор, — мертвая выжженная пустыня, бредовый лес изгрызенных огнем и железом кирпичных сталагмитов в бледном свете несмелого, неяркого еще майского солнца, под безмолвным небом, под этими бегущими облаками…

Всеволожск, 1967–1968, 1980–1983

Ничего кроме надежды

Часть первая
Глава 1

В начале октября 1943 года командование Степного фронта предприняло спешную перегруппировку войск, стягивая в районе Переволочная — Верхнеднепровск мощный ударный кулак для прорыва на Криворожье.

Войска передвигались скрытно. По всей двухсоткилометровой полосе фронта между Черкассами и Днепродзержинском рокадные дороги левобережья, кое-где еще просматривающиеся немецкими наблюдателями с правого берега, днем оставались почти безлюдными, движение по ним не превышало того, что обычно можно увидеть в прифронтовой полосе в период затишья. Но с наступлением темноты местность оживала: массы людей, техники и обозов, переждав день в какой-нибудь рощице или балке, снова заполняли разбитые грейдеры и проселки, устремляясь к юго-востоку — в район сосредоточения.

441-й мотострелковый полк, вместе с другими частями 5-й гвардейской армии снятый накануне

вечером с Кременчугского плацдарма, к рассвету добрался до небольшого села в нескольких километрах выше устья Ворсклы. Не дожидаясь, пока подоспеют кашевары со своим хозяйством, солдаты позавтракали сухим пайком и завалились спать, где кто смог пристроиться — в машинах и под машинами, в хатах, если еще находилось где свободное место, в клунях, в давно пустых катухах, откуда за два года оккупации успел выветриться домовитый запах скотины.

Капитан Дежнев, командир второго батальона, проснулся около полудня. Большинство офицеров, разместившихся вместе с ним, еще спали, только адъютант Лукин с полковым начхимом Богатыренко играли в шахматы, сидя на немецких снарядных ящиках.

— Как там погодка, гроссмейстеры? — спросил Дежнев, зевнув.

— Летная, к сожалению, — рассеянно отозвался адъютант. — Шахец вам, Петро Степаныч. Ворон изволите ловить, а шахматы, между прочим, игра умственная.

— Побачимо, побачимо, — пробасил усатый немолодой начхим. — А вот так не хочешь?

— М-да, — после недолгого молчания отозвался Лукин огорченно. — Скользкий вы человек,

Петро Степаныч, с вами играть — все равно что голыми руками намыленного ужака ловить…

Они опять замолчали. Из-под шинели в углу высунулась взъерошенная голова ротного Ковалева, огляделась непонимающими глазами и снова спряталась.

В осторожно приоткрытую дверь заглянул немолодой солдат с унылым лицом — Федюничев, ординарец комбата-два, всегда безошибочно, каким-то шестым чувством угадывал, что начальство уже проснулось. Перехватив взгляд капитана, Федюничев раскрыл дверь пошире и вошел на цыпочках, неся курящийся паром котелок и завернутые в вафельное полотенце бритвенные принадлежности.

— Чем недовольны сегодня, Федюничев? — поинтересовался комбат, ответив на хмурое приветствие ординарца.

— А чему радоваться, товарищ гвардии капитан. Нас как с того берега сняли, ребята думали, может, на отдых отводят, а что получается? В леске вон танков видимо-невидимо, тоже ночью подошли. Говорят, с-под самого Харькова гнали.

— На вас, Федюничев, не угодишь. Не будь танков, вы бы ворчали, почему их нет. Никогда не случалось идти в атаку без танковой под-

держки?

— Мне, товарищ гвардии капитан, все случалось.

— Вот и мне тоже, — сказал комбат, стягивая гимнастерку. — Поэтому я лучше себя чувствую, когда танки рядом. А если хотите сказать, что вообще предпочли бы не ходить в атаки, то тут я вас понимаю. Мне самому это не очень-то по душе. Знаете, кем надо быть, чтобы находить в этом удовольствие?

— Фашистом, товарищ гвардии капитан, — подумав, ответил ординарец.

— Верно, Федюничев. Все-таки образ мыслей у вас правильный, хотя и мрачный.

— Разрешите идти?

— Пожалуйста. Помыться найдется чем?

— Принесу, тут до берега полкилометра не будет.

— Смотрите, чтоб с той стороны не подстерегли.

— Никак нет, ребята ходили — говорят, там вроде тоже наши.

Федюничев разложил все принесенное на подоконнике и вышел. Подсев к окну на снарядный ящик, Дежнев заправил в бритву новое золингеновское лезвие, задумчиво потер подбородок. Под

пальцами шуршало. Хорошо блондинам — тому же Лукину, бреется через день — и все равно ничего не видно…

— А что, адъютант, — спросил он, — танки действительно из-под Харькова?

— Чего? А, танки… Да, из-под Харькова, из-под Полтавы. Седьмой мехкорпус. И еще, кажется, Восемнадцатый танковый, генерала Труфанова.

— Это что ж, фронтовой резерв пошел?

— Похоже на это.

— То-то Федюничев мой затосковал. — Дежнев усмехнулся, взбивая мыльную пену в алюминиевом стаканчике. — Он наступление мозолями чует, как старуха — ненастье.

— Твой ординарец похож на того солдата, которого Петр Первый приказал выгнать из Преображенского полка «за вид, приводящий весь строй в уныние». Ваш ход, Степаныч.

— Шах, юноша, — объявил начхим. — А заодно и мат, извиняюсь за выражение. Ото, как говорится, не лезь поперед батьки в пекло.

— Постойте, постойте…

— Я и посидеть могу. Да мат, мат, ну чего смотришь?

— Ладно, ваша взяла. — Лукин притворно зевнул, демонстрируя умение проигрывать с

достоинством, и смешал фигуры. — Ну что, еще одну до обеда засадим?

— Нет, пойду. — Богатыренко посмотрел на часы и поднялся. — Данилыч, у тебя в батальоне как с противогазами? Ты скажи ротным, нехай следят. А то ведь сам проверю, хуже будет.

— А нечего и проверять, — сказал Дежнев невнятно, скобля бритвой щеку. — Будто сами не знаете, что солдаты в противогазных сумках носят.

— То-то, что знаю, — вздохнул начхим. — А не дай бог что случится?

— Не дай бог, — согласился Дежнев. — Только на него и надежда.

— Через активированный уголь самогонку хорошо очищать, — мечтательно заметил Лукин. — Почему так, Петро Семеныч?

— Уголек сивушные масла абсорбирует. Еще марганцовка годится, — подумав, добавил начхим. — Она после в осадок выпадет, через ватку можно отфильтровать. Ну ладно, хлопцы, бувайте.

Начали подниматься и другие. Вылез из-под шинели Ковалев — посидел, позевал, потом вдруг, проснувшись окончательно, вскочил, разделся до пояса и побежал на улицу — делать зарядку. Вы-

брившись до младенческой гладкости, Дежнев сполоснул и разобрал бритву и тоже вышел из хаты, в солнечную, пахнущую палым листом прохладу погожего осеннего дня. Федюничев уже ждал его с ведром ледяной даже на вид воды.

— Рысью, что ли, бежали? — спросил комбат, удивленный прытью обычно нерасторопного ординарца.

— Никак нет, товарищ гвардии капитан, тут рядом разжился — у артиллеристов. Они аккурат привезли для кухни, так я и подгадал…

— Хитрец вы, Федюничев. Ну, давайте, — скомандовал капитан и нагнулся, затаив дыхание. — У-у-у, ч-черт!! Холоднее не было? Лейте, чтоб вам пусто было!

— Сами же любите, чтоб пробрало…

— Не до оп-п-пупения же, — отозвался Дежнев сдавленным голосом и заикаясь, так свело челюсти. — У! А! Хорош-ш-шо, Федюничев, зд-д-дорово…

— Привет вам от старшего лейтенанта Игнатьева, — сообщил ординарец, когда комбат кончил мыться и, стуча зубами, принялся растирать спину полотенцем.

— Он что, тоже здесь?

— Я ж говорю, водой вот у них на кухне раз-

жился.

— Нелогично отвечаете, Федюничев. Я уяснил, что воду вы свистнули у артиллеристов… кстати, и ведро тоже? Но из этого совершенно не следует, что вы побывали именно в батарее Игнатьева.

— В ей самой, где ж еще, зря вы сумневаетесь, товарищ гвардии капитан, — твердо ответил ординарец таким тоном, будто ему было обидно высказанное комбатом предположение, что он мог побывать в другой батарее.

— Да, Федюничев, с вами не соскучишься. Что он еще говорил?

— Сказал, что зайдет, хотел вас повидать.

— Ладно, сам к нему схожу. Где они разместились, вы сказали?

— А вон туда, к балочке, там ихние пушки увидите, замаскированные…

Дежнев был рад весточке об Игнатьеве, хотя и подумал с огорчением, что теперь-то уж точно — накрылся отдых; присутствие иптаповцев подтверждает его догадку о предстоящих тяжелых боях. На плацдарме все ждали — сменят, мол, отведут в тыл хоть ненадолго. А тут такая петрушка получается. Он понимал, что ему, как боевому офицеру, положено скорее радоваться тому, что готовится очередная наступательная

операция: она наверняка окажется успешной, после Курска неудачных не было, хотя дерется немец крепко (видно, и в самом деле что-то в войне переломилось, и теперь странно вспомнить, что еще год назад и мечтать не могли ни о каких наступлениях, главным было удержаться в обороне, выстоять, не пустить дальше). Положено было радоваться, поскольку каждый новый удар по противнику приближал мирную жизнь, да и была у капитана Дежнева еще одна, уже личная, причина для бодрого боевого настроя: удар через Днепр, судя по всему, намечался в направлении его, Дежнева, родных мест, а это означало теоретическую возможность побывать в Энске.

Еще год назад! А в сорок первом? Его первый бой был в Белоруссии — командование предприняло попытку контрудара; на рассвете их бросили через речушку со странным местным названием — Збруч, Птичь, что-то в этом роде, — и даже танки поддерживали, но ничего не вышло, к полудню немец так их шибанул обратно, что едва ноги унесли. Так вот тогда, это ему особенно запомнилось, утром — когда только высадились с плотов и пошли вперед — такой был порыв, такой восторг от одного сознания, что наконец-то вперед, а не назад; и ему — вопреки

географической очевидности — представлялось, что там, впереди, за невидимыми еще немецкими позициями, ждут их не припятские болота, а ковыльная днепровская степь, курганы и за ними — Энск с Татарской балкой, с прудами в Казенном лесу, почему-то называемыми по старинке Архиерейскими, с 46-й школой, и Домом комсостава, где жила Таня, и тем домиком на Челюскинской, где жили когда-то он сам, и мама, и Зинка, и Коля — еще живой, еще ничего не знавший ни о Карельском перешейке, ни о дотах линии Маннергейма… Видно, и впрямь год жизни на войне надо считать за три, если так все переменилось в нем и для него самого. Сейчас возможность попасть в родной город и узнать что-нибудь о Тане становилась вполне реальной — но он не испытывал того, что должен был бы испытывать. И что испытал бы тогда, осенью сорок первого, если бы в то страшное время кто-то сказал едва обстрелянному мальчишке-солдату, что ему доведется гнать немца из этих мест.

Сейчас он уже не был рядовым, он был — и чувствовал себя — офицером, командиром батальона, и поэтому, думая о новом наступлении, он прежде всего думал о том, что вот опять предстоят бои, и бои, скорее всего, тяжелые, а люди

в ротах и так уже измотаны до предела. Странно, — казалось бы, воевать теперь не в пример легче, чем, скажем, год назад: и снабжается фронт совсем по-другому, и танков хватает, и артиллерийской поддержки, и в воздухе давно уже нет у хваленой люфтваффе былого превосходства (а точнее сказать, в воздухе мы господствуем — с каждым месяцем увереннее и увереннее) — но вот, поди же ты, что-то никто кругом не замечает, чтобы воевалось «легче». Напротив, на каждом шагу видишь, как все устали. Раньше такого не было, было другое — разное, вплоть до паникерства; но вот этой усталости не наблюдалось. Прошлым летом у всех было ощущение предела, понимание того, что слова «ни шагу назад» — это не просто слова из приказа, но четко сформулированное выражение потребности момента, потребности самой главной, первой и, по существу, единственной, рядом с которой обесценивалось и теряло смысл все другое… И это понимание — или ощущение (не столько умом, сколько сердцем), — овладевшее всеми прошлым летом, когда фронт отходил к Волге и Кавказу, высшего накала достигло в дни Сталинградского сражения и не ослабевало еще долго после того, как Паулюс сдался со своим штабом. Уже нем-

цам пришлось очистить всю территорию между Волгой и Доном, а напряженность сохранялась в полной мере, положение продолжало оставаться не менее тревожным, чем год назад. Только после великой Курской победы все почувствовали: да, вот теперь худшее позади, теперь можно если и не расслабиться, то хотя бы маленько перевести дух. И сразу начало сказываться сверхчеловеческое напряжение, в котором уже два года жили армия, народ, вся страна, — люди позволили себе ощутить усталость…

В этом-то, наверное, все и дело, подумал капитан Дежнев. Раньше бы еще как радовался, а вот теперь никакой реакции. Точнее, реакция есть, но не та. Что же он — забыл, что ли, что там, в Энске, осталась Таня?

Он попытался представить себе — как они сейчас там, в оккупации, жадно читают сводки в немецких газетах, ловят и пересказывают друг другу базарные слухи. Как и в сорок первом, наверное, только тогда приближения фронта боялись, а теперь ждут. Они там ждут — вот, скоро наши вернутся! — а мы не торопимся, недовольны тем, что отдых накрылся.

Двадцать два года, подумал капитан Дежнев, а рассуждаю как старик. Ну пусть один за три,

ладно, тогда — по такому счету — ему выходит под тридцать. Все равно мало для такого равнодушия. Впрочем, не равнодушие это, нет. Неверие какое-то, так точнее. Неверие в то, что — даже если попадет в Энск — найдет там Таню. Такого не бывает в жизни, чтобы два года оккупации — а она там же, в той же квартире… Бамбуковая этажерочка с книгами, письменный столик, глобус, радиола в углу. «Цыган», «Рио-Рита», «Если завтра война, если враг нападет…» («малой кровью», мать вашу за ногу!). Не может быть, нет. А ведь и неверие от той же усталости, раньше верилось…

Неужели всего двадцать два? — удивился он вдруг, словно только сейчас осознав свой возраст. Хотя это не так мало; вон Евгений Онегин к восемнадцати успел пресытиться светской жизнью и удалился в деревню. Учитывая эпоху с ее темпами, нам положено было взрослеть еще скорее — а ведь не взрослели почему-то, жили какими-то недоумками, недорослями, всему верили, ничего не замечали. Только в сорок первом и начали наверстывать упущенное. Хорошо ему, дважды второгоднику, он войну встретил двадцатилетним, а все его одноклассники — Таня, Глушко Володька, какими они были тогда детьми, восемнадцатилетние сорок первого года!

Страшно подумать — таких оставили у немцев, один на один с зондеркомандами, с гауляйтерами и рейхскомиссарами, со всем тем, что обозначалось одним словом — «оккупация». Ему-то повезло! А ведь он — когда подавал заявление в военкомат — думал, что избирает более трудную, более опасную судьбу. Именно для того, чтобы в безопасности была она, Таня…

А что Игнатьев теперь здесь, это хорошо. С ним капитан познакомился недавно, под Кременчугом, и сразу почувствовал симпатию — хотя артиллерист из Ленинграда был лет на восемь старше и поначалу показался слишком «интеллигентом». Потом Дежнев перестал придавать этому слову насмешливый смысл, даже произнося его мысленно. С Игнатьевым было интересно, и не только потому, что он больше знал; прошлым летом, когда Дежнев лежал в госпитале после ранения, его соседом был майор интендантской службы, жуткий трепач, человек феноменальной памяти и начитанности, способный шпарить наизусть по полстраницы из «Золотого теленка» или «Двенадцать стульев» (специально брали в библиотеке, проверяли); при этом он был дурак дураком, треп порой оказывался занятным, слушать майора было легко, но говорить с ним было

не о чем. Игнатьев не давил собеседника цитатами, не стремился поразить начитанностью; разговаривая, он просто делился мыслями, и это всегда было интересно — о какой бы ерунде ни шла речь. Впрочем, в разговорах с ним ерунда отсеивалась сама собой, остающееся же могло показаться пустячком, но раскрывалось вдруг какой-то совершенно неожиданной стороной, и ты видел, что это вовсе не такой пустяк. И еще: с ним было хорошо советоваться. По самым разным вопросам. Дежневу приходилось видеть людей, располагающих к откровенности и умеющих на нее ответить, но это были люди, как правило, в летах. Старший же лейтенант Игнатьев, конечно, не молод — шутка ли, человеку под тридцать! — но ведь это еще не тот почтенный возраст, когда вместе с сединами приходит мудрость. Иногда, видно, это случается и без седин. Пойду навещу, как только вырвусь, решил капитан Дежнев, привычными движениями застегнув ремень и разглаживая под ним гимнастерку.

Вырваться не удалось до самого вечера. После обеда он занимался поднакопившимся батальонным делопроизводством: еще не были составлены сводки потерь и расхода боеприпасов, там, на плацдарме, надо было подписать похоронки,

представления к наградам. Потом было политзанятие — слушали про объявленный московскими строителями месячник помощи освобожденным районам Украины, про ход формирования добровольческих частей из румынских военнопленных, про положение в Италии. А потом командирам батальонов объявили, что сегодня ночного марша не будет.

Настроение у капитана Дежнева, пока он слушал проводившего занятие замполита, стало совсем бодрым. От итальянцев, по правде сказать, Гитлеру было не так уж много помощи, но как-то они ему все же содействовали, и лишиться союзника в такой критический период войны — это, что ни говори, потеря чувствительная. Второй союзник — Румыния — тоже, видно, дышит на ладан, если уже и румынские добровольцы у нас появились. Словом, все шло к тому, что конец если еще и не так близок, то уже просматривается.

Поэтому новость о том, что передвижение войск почему-то приостановлено, сначала подействовала на комбата-два несколько обескураживающе: дождешься тут «конца» с такими темпами! Чего, в самом деле, волынку тянут? Нет хуже вот такого — ни отдых, ни наступление.

Про темпы, впрочем, подумалось сгоряча, уж

на них-то грех жаловаться. Белгород, Харьков, Полтава, Кременчуг — не так мало за два месяца. Хотелось бы, конечно, побыстрее. Но ведь и потери растут пропорционально скорости наступления, а что дороже обойдется — более долгая война с меньшими потерями или короткая, но с большими, — это, наверное, только там, на самых верхах, могут рассчитать. Если вообще рассчитываются такие вещи.

Об этом он и спросил старшего лейтенанта Игнатьева, когда они наконец встретились — уже после ужина. Артиллерист, подумав, сказал, что теоретически такой расчет возможен, но насколько он будет соответствовать реальному положению вещей, сказать трудно. И потом, добавил он, что значит «дороже»? Дороже в чем — в человеческих жизнях? В стоимости потерянной техники, истраченных боеприпасов? В таком исчислении, вероятно, затяжная, «осторожная» война обошлась бы дешевле; но есть и другая сторона дела, есть моральный фактор.

— Видите ли, война всегда нравственно убыточна, — добавил Игнатьев, помолчав. — Всякая война, даже самая справедливая.

— Ну почему же? — удивился Дежнев. — Столько героизма кругом! Война, по-моему, как раз

в человеке все лучшее раскрывает — в мирное время жил себе, ничем не выделялся, а тут вдруг идет на подвиг.

— Бывает, — согласился Игнатьев. — Но бывает и иначе: нормальный человек — и вдруг оказывается шкурником, изменником, убийцей. Тут все сложнее, война не только лучшее раскрывает в человеке, но и худшее тоже, она раскрывает его целиком, выворачивает наружу все, что есть у него в душе. Отдельно взятый человек может, пройдя испытание фронтом, стать лучше, честнее, научиться товариществу, самопожертвованию, это все так. Но в целом, как социальное явление, война не способствует подъему нравственности, и это тем заметнее, чем дольше она длится. В этом смысле затяжная война дороже.

— Мудрите вы что-то, Пал Митрич, — заметил Дежнев, не столько возражая, сколько просто констатируя необычность хода мысли собеседника. С Игнатьевым общепринятое между офицерами приблизительно равного звания обращение на «ты» почему-то не получалось, и они продолжали церемонно именовать друг друга по батюшке. — У вас-то что новенького за эту неделю — в личном плане?

— В личном? Ну, что в личном плане — письмо

получил от сестры, к сожалению неутешительное. Еще в один детский дом съездила, там Димки тоже нет.

— Найдется, раз эвакуировали, — бодро сказал Дежнев, кривя душой. Он прекрасно понимал, что сам факт эвакуации еще ничего не значит, но надо же как-то поддержать человека, у которого жена умерла от голода, а трехлетний сын потерялся. — Их же по всей стране, небось, разбросало!

— Надеюсь, найдется. — Игнатьев бегло улыбнулся, показывая, что моральную поддержку принимает с благодарностью. — У нас в дивизионной газете работает одна моя довоенная знакомая… Вот у нее совсем худо. Молодая женщина, муж был моим сотрудником по кафедре. Он тоже ушел в ополчение и погиб сразу, под Лугой, а она после этого оставила годовалого ребенка на родителей и тоже пошла в армию. Причем без всякой военной специальности, просто машинисткой при штабе. Так вот, прошлой весной ей сообщили, что они умерли все — и старики, и сын.

— Ни хрена себе, — сказал комбат. — Чем же она думала — в такое время ребенка бросать? И где, в Ленинграде!

— В такие моменты, наверное, люди не думают. Да и кто из ленинградцев представлял себе, чем может обернуться блокада? Мне один путеец, работавший в управлении Октябрьской дороги, рассказал вещь совершенно невероятную: в июле и августе, когда уже были потеряны Прибалтика и Белоруссия, шедшие туда эшелоны с продовольствием для фронта переадресовывались на Ленинград, но потом ленинградские власти потребовали это прекратить, поскольку-де в городе все продовольственные склады переполнены[36]. И эшелоны стали разгружать прямо в прифронтовой полосе, под носом у наступавших немцев.

— Чего ж тут невероятного, это по-нашенски, сколько угодно было таких случаев. Мы когда отступали из Белоруссии, у нас на глазах жгли интендантские склады с обмундированием — там миллионы пар сапог, а бойцы многие шли чуть не босиком, так нет того, чтобы раздать хотя бы по паре, все равно же пропадает, — нет, не положено, есть приказ жечь, значит жги. Но эта ваша знакомая… Ну, мамаша! Я бы таких…

— Сейчас ее только пожалеть можно.

---

[36] Notes: 36

По свидетельству А. И. Микояна [Военно-исторический журнал. 1977. № 2. С. 45–46], с просьбой прекратить завоз продовольствия в Ленинград обращался к Сталину А. А. Жданов.

— Пожалеть… Надо бы, наверное, кто же спорит. Но только у меня для матери, которая ребенка могла бросить, жалости нет и не будет. Вы видели, что с детьми война делает? Мы за эти два года такого насмотрелись, что уже, думается, ничем нас не прошибешь; но что для меня всегда как нож по сердцу, так это детишки в освобожденных местах. Я уж не говорю про убитых или раненых, но просто вот эти — сироты ли, потерявшиеся ли, кто их знает, — забьется такое в щель какую-нибудь, сидит, как зайчонок, дышать боится. Ну, это война виновата, тут ведь сколько убитых, столько и сирот, никуда не денешься. Но чтобы мать сама бросила…

— Вы все-таки упрощаете проблему…

— А чего тут усложнять? Все просто — муж погиб, так она мстить решила. Ребенка бы лучше сберегла, дура, мстителей без нее хватает. Я всех этих баб вообще гнал бы из армии в три шеи… кроме медперсонала, конечно! Про этих ничего не скажу — это дело святое. Хотя опять-таки не понимаю, почему у противника хватает мужиков служить санитарами, а у нас раненых из-под огня девчатам таскать приходится. В ротах сплошь санинструкторши, соплюхи эти несчастные… Да я не им в осуждение, им после войны из чистого

золота памятник надо поставить. Я про других говорю, про всех этих штабных бодисток-машинисток, а еще хуже — когда баба за автомат берется или за снайперскую винтовку. Это уж вообще…

— Да, это страшно, — согласился Игнатьев. — Я, кстати, это тоже имел в виду, когда говорил о нравственной убыточности войны.

— Ну, если в этом смысле…

— Конечно, и в этом тоже. Война раздвигает границы допустимого, мы с вами убиваем в каждом бою, хотя и понимаем, что убийство — штука, в общем-то, недопустимая, когда-то даже заповедь особая существовала на этот счет. Но для нас — мужчин, солдат — убийство стало допустимым, естественным делом. После войны, коли будем живы, ни вы, ни я не станем терзаться из-за этого угрызениями совести. Но когда убивает женщина… Пусть она тысячу раз права, речь не об этом… Она, мне думается, убивает что-то в себе, что-то несоизмеримо более важное, чем все требования данного момента. Я, например, не уверен, что женщина, воевавшая с оружием в руках, сможет правильно воспитать своего ребенка. Очень хотел бы ошибиться, но боюсь, что моральные последствия участия женщин в этой

войне начнут ощущаться лет через двадцать.

— Да их, может, и не так уж много воюет, — заметил Дежнев. — По правде сказать, я про этих героинь чаще в «Звездочке» читаю, чем вижу их на передовой своими глазами. Так что, Пал Митрич, может, и не будет никаких последствий.

— Дай бог, как говорится. Хотелось бы верить, что не много… Однако холодает. — Игнатьев остановился (они разговаривали, прогуливаясь взад-вперед по вытоптанному пустому майдану, мимо разрушенной церквушки с наполовину сбитой колоколенкой) и, запрокинув голову, поглядел в темнеющее небо с первыми звездочками, проклюнувшимися над темными очертаниями тополей.

— Октябрь пошел, — сказал Дежнев. — У нас тут в это время ночи уже прохладные.

— Да, ведь вы из этих краев?

— Почти. Туда, чуть южнее. — Дежнев движением головы указал на другую сторону майдана, где небо еще прозрачно розовело медленно гаснущей зарей.

— Может статься, что через Днепр пойдем прямо к вам в гости.

— Это уж как командование…

Глава 2

Визита к крестной Болховитинов побаивался. Как все Ададуевы-Нащокины, нрава старуха была крутого, и мнений своих прятать за обтекаемыми словами не привыкла, резала правду-матку сплеча и наотмашь. Но не пойти было нельзя — давно не видались, в последний свой приезд в Прагу, два года назад, он ее не застал, а на редкие поздравления — с Рождеством, с Пасхой, с днем ангела — она теперь не отвечала. Значит, все-таки осуждает, хотя он тогда в оставленном для нее письме убедительно (как ему казалось) изложил мотивы, побудившие его подписать контракт с Вернике. Как знать, не откажется ли она вообще с ним повидаться.

Нет, не отказалась. Погрузневшая и постаревшая, но все еще сохраняющая осанку выпускницы Смольного института, приняла его в гостиной, тесной от старомодной мебели и бесчисленных фотографий. Снимки — большие и маленькие, в рамках овальных и прямоугольных, серебряных, бархатных, палисандровых — покрывали стены и толпились на ломберном столике, возле которого восседала в креслах Варвара Львовна.

— Хорош, — сказала она, когда Болховитинов, поцеловав ей руку, присел на указанный хозяйкой стул. — Я уж думала, ты в feldgrau[37] ко мне пожалуешь, спасибо, догадался в партикулярное переодеться…

— Зачем же мне переодеваться, — возразил Болховитинов, — отлично знаете, что я не в армии, я ведь писал вам.

— Помилуй бог, какая радость — он не в армии! Выходит, тевтоны тебе пока на длинном поводке дозволяют порезвиться? Ничего, укоротят, дай срок. Нынче с этими тотальными мобилизациями они всех подчистую в солдаты гонят, неужто тебя оставят.

— Иностранцев в армию берут только добровольцами, — объяснил Болховитинов терпеливо, — мне это не грозит.

— Хорошо хоть отец не дожил до этакого срама, — не слушая его, продолжала крестная. — Впрочем, как знать, покойник тоже был сумасбродом… видно, ваша болховитиновская порода такая. То-то он со всем РОВСом перегрызся! Его судом чести хотели, ты небось и не слыхал, а я знаю досконально, просто замяли потом, не

---

[37] Notes: 37
Серо-зеленом *(нем.)*.

стали сор из избы… Помилуй бог — боевой офицер, первопоходник, с Лавром Георгиевичем от Новочеркасска до Екатеринодара прошел — и вдруг подался в большевизаны!

— Да не был отец никаким большевизаном. Он в своих лекциях доказывал простую вещь — что революция в России была неизбежна и что Белое движение было обречено с самого начала, поскольку народ его не поддерживал…

— Вздор, вздор, при чем тут народ. Ты еще скажи, что русский мужик бронштейнов да свердловых поддерживал! А что революция была неизбежна — вот это справедливо, ее и Иоанн Кронштадтский предсказывал, прислушаться надо было… Так ведь полковник Романов фотографией изволил забавляться. Он тебе никого не напоминает?

Болховитинов подумал, пожал плечами.

— Ну как же, — продолжала крестная, — вылитый Louis Seize[38], помилуй! Тому ведь тоже, прости господи, корона шла как корове седло. Этот ночи напролет карточки проявлял, а тот замки сломанные обожал чинить, шкатулочки с секретом мастерил. И обоих бабы сгубили.

---

[38] Notes: 38
Людовик XVI *(фр.)*.

— Вы считаете, государыня действительно была связана с прогерманской партией?

— Да боже упаси, сроду я этому милюковскому вранью не верила! Нарочно ведь клевета была пущена — царица-де и шпионка, и о сепаратном мире хлопочет… Вина ее в другом, хотя и не знаешь, чего тут больше, вины или беды. Распутинщина, срам этот весь — вот что на ее совести. Но ведь и тут надо понять — сам посуди, гемофилия только по женской линии передается, Алиса это знала, — легко ли ей было, не императрице уже, просто матери? Да всякая мать невменяемой станет, коли речь идет о жизни ребенка. Болезнь страшная, неизлечимая, европейские светила ничего не могли сделать, и единственный, кто у Алексея кровь умел заговаривать, это ведь Распутин. Так мудрено ли, что она на этого конокрада молиться стала!

— Конечно, по-человечески понятно, вы правы… Но не надо было конокрада к государственным делам допускать. Отец, помнится, говорил, что Распутин и в руководство войной пытался вмешиваться.

— А я тебе о чем толкую? Матерью она, может, была и хорошей, императрицей стать не сумела. Хотя что значит — хорошей матерью… Все-таки

в конечном счете она их всех погубила, тут ведь глянь какая цепочка вывязалась: не будь распутинщины, может, и революции такой не было бы, и подвала того в Ипатьевском доме…

— Революция все равно была бы, раньше или позже.

— Это-то ясно, просто по-другому бы ее сделали. По-людски, не по-звериному. Большевички твои себя показали, что и говорить. Больного ребенка расстрелять на руках у отца — до такого даже Робеспьеровы санкюлоты не додумались…

— Почему это они «мои»? — возразил Болховитинов.

— Да твои, не спорь, недаром тебя туда потянуло. Кого другого в Совдепию калачом не заманишь, хотя бы и при немецкой власти, а ты, вишь, помчался, задрав хвост. Ну, положа руку на сердце — худо там аль не очень?

— Во время войны всюду худо.

— Да я не про войну, полно дурнем-то прикидываться. До войны, спрашиваю, как наше любезное отечество жило-поживало?

— Трудно жило. По нашим понятиям — невероятно трудно. Но… — Болховитинов помолчал. — Чего-то я, наверное, до конца все-таки понять не сумел. Или увидеть. Потому что у меня сложилось

впечатление, что при всем при этом люди в массе были довольны своей жизнью. Про молодежь и говорить нечего, это понятно, но я познакомился там с одним инженером, немолодым уже человеком, так он с таким увлечением вспоминал о своей работе — видно, был счастлив. И тут же вдруг рассказывает с юмором, как каждую ночь ждал ареста, когда попересажали половину его коллег. Непонятно, в голове не укладывается — как это могло сочетаться… Люди словно какой-то двойной жизнью жили, ночью боялись, а днем радовались.

— Привыкли, стало быть, бояться-то, с восемнадцатого года обучаются. Да, терпелив русский человек, ничего не скажешь! Кому я завидую, так это французам, сантимщикам этим благоразумным, — годика три тогда покуролесили, да и опомнились. А нам с российским нашим размахом и за полвека, боюсь, до термидора не дозреть. Ну, дальше рассказывай. Дома-то побывал?

— Нет, не удалось. Орел немцы объявили крепостью, там вокруг запретная зона была. Я не особенно и стремился, едва ли дом уцелел, да и не помню я его совершенно. Матушка говорила, мы оттуда уехали, когда мне четвертый год шел? Ничего не могу вспомнить, хотя иногда снится…

окно высокое, от самого полу, а за окном зелень и солнце, и еще занавес белый, таким парусом… А больше ничего. Стоило ли пытаться увидеть, как это выглядит теперь?

— Да, ты прав, старые пепелища лучше не посещать. А эти места, где ты работал, — тевтонов оттуда уже выгнали, так я понимаю?

— Пока нет, но, думаю, скоро выгонят. Фирма наша уже свернула все работы на Правобережье.

— Лютовали они там?

— Где как… по-разному. — Подумав, Болховитинов добавил: — В общем, меньше, чем в Польше, я бы сказал. Но я ведь сужу только по степной части Украины, где не было партизан. А в Белоруссии — и вообще севернее, где леса, — там страшные вещи творились, сами немцы этого не скрывают. Жгли, говорят, целые села, жителей расстреливали поголовно.

— Это они умеют. — Крестная кивнула. — У нас вон тут тоже — Лидице, не слыхал? Да что эти, эти-то хоть язычники, эсэсовцы вообще неведомо какой нечистой силе поклоняются, религия у них своя, тайная, а в четырнадцатом году немцы себя вроде бы христианами именовали, а что в Бельгии творили? Да, не надо было тебе на службу к ним идти, нехорошо все-таки — дворянин,

а служит у этих прохвостов. Да хоть и по гражданской части, что с того. Неужто тебе там этого не говорили?

— Говорили. По правде сказать, поначалу смотрели косо. Как только узнавали, что я русский, сразу какое-то отчуждение, настороженность, что ли. Ну, их можно понять, все-таки живой белогвардеец. — Болховитинов усмехнулся, помолчал. — Потом, если ближе знакомились, это уходило… так мне казалось, во всяком случае. Вообще люди там довольно скрытны, раскрываются не сразу. Я как-то иначе себе представлял… знаете, все эти разговоры о «душе нараспашку». По Достоевскому, русский человек вообще только и знал, что либо сам исповедовался перед первым встречным, либо чужие исповеди выслушивал…

— Ну, Достоевский! Он без экзажерации не мог. Да и Россию-то описывал не ту, в которой ты побывал. Марксиды что говорят? — бытие, мол, определяет сознание, так мудрено ли было россиянам скрытными стать за это время. Но все-таки было у тебя ощущение, что ты среди соотечественников, или там вообще уже ничего не осталось?

— Да почему же не осталось, господь с вами, очень много осталось. По правде сказать, я боль-

ше перемен ожидал найти. Когда поездишь по селам… а я ездил, нарочно интересовался, не упускал случаев. В воскресенье, например, да еще если где храм открыт…

— A propos, храмы-то открывать даже Советы нынче пустились, я слыхала, — заметила Варвара Львовна. — Что ж, в чем-чем, а в уме Сталину не откажешь! С церкви, вишь, опала снята, погоны вернули, чинопочитание… понял, видно, что на одном «грабь награбленное» далеко не уедешь. Прости, перебила я тебя — о чем ты говорил-то?

— Я говорил, что в селах атмосфера сохранилась на редкость какая-то… патриархальная, что ли. Посмотришь, скажем, на толпу возле церкви или на базаре, и так и кажется, что это про них Бунин писал. С некоторыми поправками, конечно. Ну, вот хотя бы отсутствие мужчин призывного возраста. Мужчин мало, мальчишки да старики, а в целом — этакое бабье царство.

— И в ту войну то же было, мужика на Руси спокон веку не берегли. Ты-то что не женился при таком раздолье? Год ведь там пробыл, было время приглядеть себе девицу. Иль сам не приглянулся?

— Выходит, не приглянулся, — с натянутой улыбкой ответил Болховитинов.

— Да ты не отшучивайся, я дело спрашиваю! Неужто так никого и не встретил?

— Встретил, да. Но… мне не хотелось бы об этом, — добавил он поспешно и тут же — в противоположность сказанному — почувствовал вдруг, что именно об этом хочется ему сейчас рассказать, во всех подробностях, включая даже совсем уж, наверное, незначительные. — История эта очень невеселая, знаете ли, и… непонятного в ней много, до сих пор не могу разобраться до конца…

— Да я, мой друг, веселые-то истории забыла уже как и выглядят, без малого уж тридцать лет одни невеселые слышу. Но я тебя не неволю, понимаю, что об ином и рассказывать-то язык не поворачивается. Прости, коли печальное напомнила.

— Да нет, не в этом дело, оно ведь все равно ни на минуту… Может быть, даже и лучше, не знаю. Эта барышня, она… служила там у них, в оккупационной администрации, была простой дактило[39]. Немецким владела, поэтому ее туда и взяли, наверное. Она мне, когда познакомились, тоже сказала что-то насчет моей службы у немцев, поэтому я очень удивился, встретив ее в

---

[39] Notes: 39
Машинисткой *(фр.)*.

комиссариате. Позже… когда мы уже знали друг друга лучше… она дала мне понять, что поступила туда по заданию подпольного руководства.

— С ума все посходили, — неодобрительно заметила Варвара Львовна. — Конечно, мужчине иной раз другого ничего и не остается, но девки-то куда лезут? Да и не лежит у меня душа к этим аттентаторам, господи прости, может, и святое дело они делают, а не лежит. Здесь ведь что творилось, когда они протектора-то имперского ухайдакали, думаешь, одной Лидице дело обошлось? Слыхала я, будто всего заложников было казнено десять тысяч душ, так стоила ли овчинка выделки? Ничего ведь к лучшему не изменилось, вместо Гейдриха другого ирода прислали, свято место пусто не бывает. Перебила я тебя, прости. Так барышня эта твоя тоже, говоришь, бомбы подкладывала?

— Нет, нет, что вы, этим они не занимались! Я, понятно, толком не знаю, все-таки она была со мной осторожна… до известной степени. Я понял так, что они молодых людей укрывали от депортации в Германию, выпускали листовки со сводками русского командования, в общем, в таком роде. Но риск был не меньший, по оккупационным законам это каралось наравне с

вооруженной борьбой, так что… — Он помолчал, потом добавил: — Она боялась этим заниматься, у нее были предчувствия.

— Так не лезла бы. Аль силком затянули?

— Да не могла, видно, не полезть… Знаете, бывают ситуации, когда иначе нельзя. Ну вот, а этим летом их группа провалилась. В первых числах июля — как раз началось Орловско-Белгородское сражение, я был в командировке в Виннице… никогда себе не прощу — будь я на месте, когда все это произошло, может, сумел бы как-то… не знаю. В общем, руководителя их застрелили при аресте, а потом другой член группы убил на улице областного комиссара и сам погиб. Я обо всем этом узнал, вернувшись из Винницы; естественно, спросил о Татьяне Викторовне — был там один офицер из остзейцев, он ее знал, — и оказалось, что она просто исчезла, сбежала, но куда и как… — Он пожал плечами. — У меня, впрочем, сложилось впечатление, что барон этот не все сказал, что-то у него в глазах было блудливое… Попытался выяснить через одного сослуживца, он человек порядочный, австрияк… но тоже безрезультатно. Знакомый гестаповец дал ему понять, что в эту историю лучше не лезть, слишком опасно. Дело в том, что юноша,

убивший комиссара, жил в ее доме и был ее одноклассником…

— Как это — одноклассник?

— Да ведь в гимназиях там обучаются совместно.

— Ах да, не сообразила. Но помилуй, ежели она так близко была связана с аттентатором, то, стало быть, ее сразу должны были арестовать?

— Ее и арестовали, — подтвердил Болховитинов. — Но не в городе, потому что накануне она уехала как переводчица с каким-то ревизором из Берлина. Ее арестовали по пути и отправили обратно в город, но она исчезла. Вместе с конвоиром, кстати.

— Экая кавалерист-девица. — Варвара Львовна покачала головой. — Еще и жандарма прихватила! Положим, верно и то, что иной раз со страху-то геройствовать и начинают. Да, друг мой, история невеселая, ты прав, но ведь могло и хуже обернуться? Так хоть надежда есть, да ты нос-то не вороти, я знаю, что говорю! Николенька мой в четырнадцатом году пропал под Гумбиненом, а объявился в двадцать третьем в Софии, вот так-то. Сколько я по нему панихид за эти девять-то лет отслужила, ну-ка? Так что, может, и отыщется твоя Татьяна — как бишь ее по батюшке?

— Викторовна. И не моя она вовсе, у нее жених в действующей армии.

— Ну, жених, — крестная отмахнулась, — жених — не муж венчанный, что о женихах-то говорить. Да еще в военное время! А имя хорошее. Я думала, в Советах-то оно давно вывелось, не в чести, слыхала, как же, — Писарев-то, поганец, как Таню Ларину расшельмовал, а он же у них там в пророках ходит… А вот и Палашка явилась, — сказала она вдруг, прислушиваясь, — слава те господи, она как пойдет по лавкам, так я места себе не нахожу — веришь ли, сколько лет тут со мной по заграницам мыкается, и ни словечка ни на одном языке. С лавочником только по-русски, да еще и коверкает зачем-то — так, говорит, им понятнее. И ведь понимают ее, что ты думаешь. Ну, сейчас кофий пить будем — ежели принесла. Палашка, окаянная, где ты там?

— Иду, иду, — ворчливо послышалось из-за двери. Вошла женщина неопределенного возраста, в темном платье до щиколоток, в шляпке по моде двадцатых годов — таких много можно увидеть каждое воскресенье возле православных храмов и в Праге, и в Париже, и в Брюсселе. Болховитинов, улыбаясь, встал.

— Здравствуйте, Пелагея Васильевна! Не узна-

ете?

— Ну чего уставилась! — прикрикнула Варвара Львовна. — Стыдно, матушка, барин тебя помнит, ты его — нет. Покойного Андрея Кирилловича, полковника Болховитинова, сынок.

— Как же-с, — Пелагея Васильевна заулыбалась, — как не помнить. Только покойник-то постарше были и при усах.

— Экое тонкое наблюдение, что отец сына старше, — заметила крестная, — ума у тебя палата, как я погляжу. Надо было тебе со своими в Совдепии оставаться, глядишь, уже и государством бы нынче управляла.

— Да ить вы, барыня, без меня бы тут пропали, — возразила Пелагея Васильевна, — кому вы тут нужны и на что вы годитесь.

— Ох Палашка, была ты змеей смолоду, в том же естестве и до старости пребываешь. Кофию-то принесла?

— Нету кофию, к завтрему только обещались. Я уж и к другому-то лавочнику заходила, что на Яновой улице.

— Есть у них, у спекуляторов, да, вишь, придерживают — цену набивают. Ну, что делать, суррогатом потчевать тебя не стану, сама не пью этой пакости. Завтра тогда приходи!

— Боюсь, крестная, завтра уже не смогу — отпуск мой на исходе, — соврал неожиданно для самого себя Болховитинов. — Завтра мне придется по разным присутственным местам, высунувши язык, бегать, бумаги выправлять на обратный проезд.

— Ну гляди, а то остался бы, задержался на недельку. Аль строго у вас с этим?

— Еще бы не строго, время-то военное…

Совравши, он почувствовал себя неловко и, поговорив еще с полчаса о том и о сем, с облегчением откланялся. Странно — то вдруг нестерпимо потянуло рассказать о Тане, а потом — так же внезапно — разговор сделался тягостным, мучительным. Словно ждал получить какое-то утешение и не получил… Потому и соврал, что уезжает; крестная и завтра продолжала бы расспрашивать. Лучше держать в себе, как держал все эти месяцы. Но теперь что же — в самом деле уезжать, раз уж сказал?

Придется, видно. У него оставалась еще неделя отпуска, он рассчитывал провести ее здесь, а теперь придется возвращаться в опостылевший Дрезден. Иначе может получиться неловко — встретит кого-нибудь из общих знакомых, а тот потом ляпнет ненароком крестной — видел, мол,

третьего дня Кирилла Болховитинова…

На улице, пока он сидел у Варвары Львовны, похолодало, ветер рвал с каштанов желтые листья, они кружились, словно спеша в последний раз испытать чувство свободы — прежде чем припечататься к мокрому асфальту. Болховитинов поежился, поднял воротник плаща. Черт его тогда надоумил подписать этот проклятый контракт!

Но кто же знал, кто мог предполагать… Тогда, в сорок первом, война выглядела совсем иной (тем более если наблюдать ее, сидя в Париже), немцы казались не столько врагом, сколько обычным противником — ну, как в четырнадцатом. И противником, достойным уважения; разгромив более сильную Францию по-цезарски молниеносно — veni, vidi, vici[40], — они на первых порах вели себя в оккупированной стране вполне корректно (о том, что уже тогда творилось в Польше, стало известно значительно позднее). Ему самому воевать пришлось недолго, всего неделю, но то, чего он насмотрелся перед этим, во время постыдного фарса drole de guerre[41], не могло укрепить

[40] Notes: 40

«Пришел, увидел, победил» *(лат.)* — знаменитое донесение Юлия Цезаря сенату.

[41] Notes: 41

«Странной войны» *(фр.)*.

его симпатий к Третьей республике. Нет, он был к ней лоялен и дрался за нее, надо полагать, не хуже других, но не мог не понимать, что войну она проиграла уже заранее, не сделав еще ни одного выстрела, просто не могла не проиграть — такая, какой стала к тому времени, — кагуляры, аферисты, разные устрики и стависские, а тут еще лавали и даладье, и бездарное военное руководство во главе с маршалом-пораженцем…

А в немцах — так ему тогда казалось — было, напротив, что-то здоровое. Гитлер, понятно, проходимец, да еще и шут гороховый с этими своими римскими жестами, «мистикой крови» и факельными шествиями, — но чем-то он, очевидно, сумел привлечь нацию, коли она за ним пошла… Вообще вести из Германии до войны приходили разные, разобраться было непросто.

Многим из побывавших в Берлине на Олимпийских играх новая немецкая действительность скорее понравилась: прекрасные дороги, порядок, чистота, полиция безупречно предупредительна, на улицах не видно ни безработных, ни нищих. С другой стороны, было известно, что свободомыслие там не в чести: неугодные нацистам книги публично сжигаются на площадях, а за открыто высказанное несогласие с главой госу-

дарства можно угодить и на «перевоспитание», в особый лагерь. Подобные факты аттестовали нацистский режим не с лучшей стороны, но Болховитинов склонен был видеть в этом скорее общую тенденцию, так сказать, дух времени, нежели специфический порок национал-социализма. В Советском Союзе, что ли, позволено возражать Сталину? Да и книги неугодные там тоже давно изъяты из обращения, хотя в Москве никто спектаклей с кострами не устраивал — только и разницы…

А иногда ему вообще казалось, что, может, это и правильно. Государство, если оно хочет быть сильным (а быть слабым государству противопоказано, семнадцатый год доказал это в России, а сороковой — во Франции), не должно, наверное, позволять себе излишней терпимости в вопросах внутренней политики. В принципе, конечно, легальная оппозиция нужна, без нее любой режим рано или поздно вырождается в беззаконие; но где границы разумно-допустимого? У нас при последнем государе поносить правительство мог безнаказанно кто угодно — от депутатов Государственной думы до борзописцев из «Сатирикона». Какой-то юмористический журнальчик — отец, помнится, рассказывал — вышел

однажды с таким рисунком на обложке: голая задница в российской императорской короне. И что же? — полиция конфисковала тираж, издатель отделался штрафом… А Милюков со своей знаменитой речью «Глупость или измена?»…

В этих вопросах путались до войны не только молодые эмигранты, единого мнения не было и среди старших. Одни считали, что Россию погубили Романовы, другие винили либералов, кадетов, вообще «присяжных поверенных». Как ни странно, большевиков винили меньше — с тех, мол, чего взять, недаром в запломбированном вагоне прибыли…

Полковник Болховитинов споры на эту тему считал пустой болтовней: чем бесплодно копаться в прошлом России, считал он, лучше постараться определить свое отношение к ее настоящему. Сам он относился непредвзято, никогда не был «большевизаном», каковым его некоторые считали, но не разделял и махровой непримиримости «зубров». Кирилл Андреевич потом горько жалел, что разлучился с отцом в тридцать четвертом году, вскоре после смерти матери; отец, возможно, помог бы ему лучше разбираться в жизни. Но уехать из Праги тогда пришлось, для него открывалась возможность

поступить в Париже в весьма привилегированное инженерное училище — вообще, туда принимали только французов, но допускался и небольшой процент иностранцев — дети тех, кто имел перед Францией особые заслуги. Поскольку в свое время Болховитинов-старший успел повоевать на Западном фронте в составе русского экспедиционного корпуса и был награжден Большим крестом Почетного легиона, один из его фронтовых друзей, занявший потом при Думерге довольно видный пост в военном министерстве Петена, устроил Кириллу эту протекцию. Пренебречь ею было бы неразумно — уж что-то, а безработица выпускникам Ecole Polytfichnique не грозила.

Они переписывались до самой смерти отца незадолго перед войной, и почти в каждом письме отец делился с ним мыслями о происходящем в России. Оценки, конечно, были приблизительны — вести доходили противоречивые, многое приходилось домысливать; но в целом, считал отец, дела там налаживаются, большевики и впрямь оказались хорошими организаторами. «Может быть, даст Бог, — писал он, — отучат матушку-Русь от исконного нашего разгильдяйства, за одно это многое им можно простить…»

Увидев вывеску знакомой по давним временам корчмы, Болховитинов почувствовал вдруг, что устал и проголодался. Вошел, в маленьком зальце было пусто, через минуту неслышно появился немолодой кельнер. Болховитинов осведомился о здоровье пана Алоиза и, узнав, что пан Алоиз уже два года как преставился, выразил сочувствие и спросил что-нибудь поесть, добавив, что заплатить может рейхсмарками. Кельнер оживился, заговорщицки понизил голос:

— Шпикачки пана устроят? Ну и хорошее пиво, само собой, из ограниченного запаса — для настоящих клиентов…

Болховитинов огляделся: все было как прежде, в давние времена, когда они захаживали сюда с отцом (каникулы он всегда проводил в Праге).

Да, будь тогда жив отец, возможно, он как-то иначе воспринял бы начало войны. Он ни на миг не допускал возможности окончательной победы Германии, это было исключено; но что советский режим рухнет неминуемо, поверил — довольно скоро, уже где-то в середине июля, когда пал Смоленск. Крах сталинской системы казался неизбежным и закономерным: режим, который накануне войны обезглавил армию, казнив всех талантливых военачальников, —

этот режим нес прямую вину за самое страшное военное поражение в истории России. Казалось, какой народ стерпит, не возмутится, не призовет к ответу за миллионы погубленных солдатских жизней… Он был тогда уверен, что это произойдет не сегодня завтра — скорее всего, с падением Москвы. Появится какое-то новое правительство, условия мира наверняка будут тяжелейшими, немцы своего не упустят, но России ли привыкать к трудностям? Сдюжила и татар, и Смутное время, неужто теперь сил не хватит!

С этой мысли, наверное, все и началось. Сил у отечества должно хватить, но понадобятся они все, искони строилась Русь миром, соборно, — значит, теперь как никогда всем русским надо быть вместе, на своей земле, которую придется отстраивать, подымать из руин и пепелищ небывалого разорения…

В Париже многие тогда засобирались, но поразному. Одним просто хотелось поклониться родной земле, другие (их, правда, было мало) всерьез верили в то, что немцы допустят эмиграцию к кормилу власти, и уже завидовали генералам-берлинцам Краснову, Бискупскому, фон Лампе — те ближе, могут и обскакать. Иные спешно переводили на немецкий язык и заве-

ряли у нотариусов полуистлевшие в чемоданах акты на владение и купчие крепости, гадая — цела ли брошенная в семнадцатом году усадьба, не снесен ли большевиками родовой особняк на Пречистенке, не угодит ли бомба или тяжелый снаряд в доходный дом на Каменноостровском…

А ему не терпелось поскорее попасть домой, чтобы работать, и казалось, сама судьба безошибочно ведет его куда надо. Случайно ли было, что в Политехническом он попал на строительное отделение, стал гражданским инженером? А та непредвиденная задержка в Дрездене — тоже «случай»?

Отец умер весной тридцать девятого года, когда в Праге уже были немцы, и возможность посетить могилу представилась Болховитинову лишь в сентябре сорок первого. Ехать пришлось кружным путем, через Берлин, с пересадкой там на венский поезд; десятиминутная стоянка в Дрездене почему-то затягивалась, прошло пятнадцать минут, потом двадцать, пассажиры громко возмущались неслыханным безобразием, наконец в купе заглянул кондуктор и объявил, что отправление поезда задерживается на два с половиной часа. «Военные перевозки», — объяснил он многозначительно, понизив голос, и

посоветовал дамам и господам выйти в город, прогуляться. Сидеть в душном вагоне и впрямь не было смысла, он вышел, спустился вниз и на привокзальной площади нос к носу столкнулся с Димкой Извольским — когда-то учились вместе в пражской русской гимназии.

Димка, оказывается, уехал тогда в Германию сразу после получения «матуры» — думал учиться дальше, но с этим не вышло, окончил коммерческие курсы и теперь работал в одной строительной фирме агентом на процентах. Зашли в пивную там же, на углу Прагерштрассе, обменялись воспоминаниями, а потом, под конец разговора — ему уже пора было возвращаться на вокзал — Димка сказал вдруг, что фирма получила крупный подряд через концерн «Централь-Ост» — будет строить дороги на оккупированных территориях Востока и теперь ищет инженеров, желательно со знанием русского языка.

— Слушай, а почему бы тебе не попробовать, а? — спросил он. — Чего тебе там у лягушатников околачиваться? Меня, честно говоря, в любезное отечество не тянет, но ты ведь, помнится, был из патриотов…

Вот так оно и получилось, понимай как знаешь

— судьба или «его величество случай». Неделей позже, вернувшись из Праги, он подписал контракт, зиму провел в Дрездене, знакомясь с работой и подучивая основательно забытый немецкий, а летом сорок второго был уже на Украине.

Но к тому времени все изменилось, ход войны оказался совсем не таким, как можно было предположить год назад. Сталин не только удержался у власти, но и, судя по всему, укрепил свой авторитет. Видимо, к советскому обществу были уже действительно неприменимы старые мерки, какими еще по привычке пользовались в эмиграции.

В Энске он пытался говорить об этом с некоторыми людьми, но безуспешно, его просто не понимали. Сначала — и это было естественно — с ним боялись откровенничать, как-никак он был из эмигрантов, да еще на службе у немцев, потом недоверие постепенно растаяло, но все равно — общего языка по-настоящему не находилось…

Говорить на эти темы было трудно, боялся быть неправильно понятым, показаться этаким свысока судящим иноземцем. Однажды так оно и получилось, когда он, — вспомнив один довоенный фильм, где будущая война рисовалась в шапко-

закидательских тонах, — выразил недоумение, что подобная ахинея могла восприниматься всерьез. Хозяин дома, похоже, почувствовал себя задетым. Такие фильмы и книги, объяснил он, были нужны и делали полезное дело, все эти годы нам здесь слишком многим приходилось жертвовать, поэтому понятно, что людям нужно было внушать бодрость, веру в свои силы…

Сталина, как ни странно, за катастрофическое начало войны не винил почти никто — говорили о вероломстве Гитлера, о внезапности нападения, это тоже было непонятно: какая «внезапность», какое «вероломство»? Ведь Гитлер с самого начала своей политической карьеры открыто призывал к завоеванию жизненного пространства на Востоке, или советские люди всерьез поверили пакту тридцать девятого года?

Впрочем, особого преклонения перед Сталиным — такого, какое все сильнее ощущалось в радиопередачах из Москвы (он слушал их постоянно), — в оккупированном Энске тоже не было. Не исключено, конечно, что оно скрывалось. «Отца народов» даже поругивали, но больше за прошлое — за раскулачивание, за массовые аресты, хотя и признавали, что кулаки мешали колхозному строительству, а вредителей и

оппозиционеров тоже было много — так что некоторых сажали и за дело…

Да, непросто было общаться с соотечественниками, крестная (до чего проницательная старуха!) не зря задала этот вопрос. А он, отвечая, все-таки покривил душой — в Энске ему то и дело приходилось спотыкаться о барьер некоммуникабельности, возникавший вдруг по самому непредвиденному поводу. Но рассказывать об этом не хотелось, могло сложиться неверное впечатление — будто он осуждает тамошних людей. Он не осуждал их, чувствовал себя не вправе судить, он их порой просто не понимал.

Кельнер принес наконец обещанные колбаски и пиво, подошел к бормочущему едва слышно радиоприемнику и усилил звук. Передавали последние известия, сводку ОКБ: в Северной Атлантике подводные лодки продолжают атаковать обнаруженный вчера конвой, потопив еще пять судов в 76 000 брутто-регистровых тонн, при отражении массированного налета американской авиации на Швейнфурт сбито 62 «летающих крепости», на Восточном фронте войска группы «Юг» ведут тяжелые оборонительные бои в секторе Мелитополь — Запорожье…

Запорожье, подумал Болховитинов, это же

совсем недалеко от Кривого Рога… а в Кривой Рог, помнится, он доезжал часа за три. Да, скоро их попрут и оттуда. Возможно, Таня скрывается где-то в тех местах, в одном из окрестных сел. Если староста — приличный человек (такое бывает, ему часто рассказывали), ей вполне могли обеспечить надежное укрытие на несколько месяцев. Но тогда, выходит, ему тоже лучше было уйти в подполье, остаться в Энске до прихода Красной армии? Вздор, для него этот путь закрыт. Эмигрант, служивший у немцев, — там не стали бы разбираться, в качестве кого. А для Тани, если она действительно там, такое знакомство после освобождения оказалось бы скорее компрометантным.

Как все рухнуло — внезапно, непоправимо… Еще этой весной он был в России, его там приняли, не относились к нему как к чужаку. Танины друзья не отвергли его помощь, а она сама — о, он нисколько не заблуждался на этот счет, с ее стороны не могло быть ничего, кроме короткого увлечения. Когда она попросила не встречаться больше, это не было для него неожиданностью, — в сущности, он давно был готов к такому повороту их отношений; Таня — такая, какая была для него, воплощение чистоты и верности, — она просто не

могла поступить иначе, и в тот памятный вечер он окончательно почувствовал, что жить без нее не может. Нет, он даже не о том думал, что вдруг жених не вернется и тогда, может быть, — нет, ему было достаточно, что она здесь, рядом, и что он сможет хоть иногда, издали увидеть ее, не попадаясь на глаза… Впрочем, к чему хитрить, наверное, была и надежда — а вдруг все переменится? Вот и переменилось.

Если исключить худшее (о Танином аресте так или иначе стало бы известно, скорее всего, ее привезли бы в Энск, с чего бы немцам делать из этого тайну), если она тогда спаслась, то или прячется в тех же местах, или — это более вероятно — постаралась уйти на восток, навстречу фронту. Здесь, во всяком случае, ее искать бессмысленно. Да и как искать? Во вражеской стране, где все под запретом, все засекречено, где и немец не имеет права свободно поехать, куда ему надо по своим делам, — немыслимо, безнадежно, об этом и думать нечего…

Больше шансов найти ее после войны там, в России. Но кто его туда пустит? Разве что изменится политика в отношении «бывших белых» — или их детей хотя бы. Изменилось же там многое за два года войны, крестная права — это все-таки

какое-то примирение с прошлым, известный компромисс. По логике вещей, так оно и должно быть, русский солдат умирать привык за Россию, не за какой-нибудь там Третий Интернационал — не зря Коминтерн нынешним летом разогнали, как раз перед Орловско-Белгородским сражением…

Жаль, что наше поколение так неромантично, подумал он, отец рассказывал о ком-то из Болховитиновых, даже не очень давних, времен Отечественной войны, — тот всю жизнь любил замужнюю женщину, издалека, видевшись с нею дважды в жизни. Первый раз на придворном балу, а второй — десять или пятнадцать лет спустя. Имение ее было в Виленской губернии, он нарочно испросил себе какое-то дипломатическое поручение в Париж — для того лишь, чтобы на обратном пути его коляска сломалась где надо и можно было заехать к ней в усадьбу под не вызывающим подозрений предлогом. Так и не женился, и всю жизнь — говорят — был по-своему счастлив своим безответным обожанием. Будь я таким, как тот мой пра-пра, мне тоже должно было бы довлеть одного сознания, что она есть, она где-то живет… Впрочем, ведь нет и этого, вот что самое ужасное. Знать хотя бы, что она тогда

действительно спаслась!

Глава 3

Уже позднее, на медсанбатовской койке, разорванно вспоминая все случившееся, Дежнев задним числом понял, что иначе случиться и не могло, и он подсознательно, нутром знал, что так оно и будет. Никто, понятно, не мог предположить, что именно под Александровкой немцы нанесут такой мощный удар с фланга, но что они обязательно попытаются контратаковать именно где-то здесь и теперь — было очевидно. Форсирование Днепра прошло быстро и почти без потерь, но на правом берегу завязались тяжелые бои, тут уже потери были большие, а со снабжением становилось все хуже. Погода, так долго стоявшая сухой и солнечной, в середине октября наконец испортилась, пошли затяжные дожди, а места здесь были черноземные — грунтовые дороги развезло так, что даже «студебекеры» увязали намертво, по самый дифер. В войсках сразу же начала ощущаться нехватка боеприпасов, горючего, продовольствия. Немцам — хотя их рассчитанная на асфальты техника и вовсе не справлялась с бездорожьем — все-таки проще бы-

ло обеспечить передовую хотя бы боеприпасами, в обороне это всегда проще.

Капитан Дежнев со своей батальонной колокольни не мог, понятно, судить, право ли было командование, требуя не снижать темпов продвижения, или разумнее было приостановиться, подтянуть тылы, восполнить потери — и двинуть дальше с новыми силами. Но что в этих обстоятельствах наступать практически вслепую было нельзя, это и взводному понятно, да что там взводный — любой солдат сообразит, что лучше не переть на рожон, если не знаешь хотя бы приблизительно, что там впереди делается.

Тут, конечно, было особое обстоятельство — приближались Октябрьские праздники, а к такой дате надо, чтобы было о чем доложить. Как же иначе? Ставка ждет праздничного доклада от фронта, фронт — от армии, армия — от дивизии, и дальше до самого низу, до четырех рот второго батальона 441-го мотострелкового полка. Говорили, что соседнему фронту — 1-му Украинскому, который по старой памяти все еще называли Воронежским, — приказано к 7 Ноября овладеть Киевом; это, само собой, обязывало к чему-то и войска 2-го Украинского.

5-я гвардейская армия после прорыва фронта

отвернула вправо, расширяя проделанную в обороне противника сорокакилометровую брешь и прикрывая фланг главной ударной группировки, брошенной на Кривой Рог. В полосе армии никаких особо важных целей впереди не лежало, здесь можно было отличиться к празднику, только освободив побольше населенных пунктов — пусть хотя бы и никому не известных, разве в этом дело. Поэтому установка была простая: давай жми.

Они, соответственно, и жали. Батальону Дежнева в тот день была поставлена задача овладеть Александровкой — небольшим, ничем не примечательным поселком при железнодорожной станции того же названия, давно уже раздолбанной «кукурузниками» и наверняка не представлявшей для немцев особой ценности. Оборона на подступах была обычная, без признаков усиления, и неожиданностей не предвещала.

Единственное, что тревожило комбата, это погода, с самого утра, как назло, снова летная. Последние дни лило как из ведра, облачность оставалась обложной, низкой, и в воздухе было спокойно — ни немцев, ни своих.

На своих, положим, здесь и не рассчитывали: все наличные силы двух воздушных армий дей-

ствовали севернее, на Киевском направлении, и южнее — на Криворожском.

И предчувствие не обмануло — недаром так гладко все шло с самого начала. Они уже были в Александровке, которую немец, по обыкновению, успел перед отходом подпалить с одного конца, и прочесывали улицу за улицей, подбираясь к станции; было солнечно и холодно, резкий северо-восточный ветер — он-то и разогнал ненастье — нес удушливый едучий дым, клочья горящей соломы, пепел. Дома были пусты, это тоже выглядело привычным, здесь, на Правобережье, при приближении фронта угонялось на запад все местное население, от старых до малых; приказы покинуть прифронтовую полосу можно было видеть на стенах домов почти в каждом освобожденном местечке. Жители оставались лишь там, откуда немцев вышибали так быстро, что у них не оставалось времени провести все запланированные мероприятия. Но чаще они успевали.

Налет ударил, как всегда, внезапно, хотя нельзя сказать, чтобы неожиданно; опрометью выскочив из хаты, куда только что перебрался батальонный КП, Дежнев едва успел подумать — ну вот, с утра чувствовал! — как его оглушило грохотом и накрыло мгновенной ревущей тенью.

Хата вспыхнула сразу, как облитая бензином, — хорошо еще, только с крыши; уже лежа в грязи, он с облегчением увидел, как из окна вместе с обломками рамы вывалился кубарем радист, вроде целый и невредимый, в обнимку со своим «Севером». Командир взвода связи выпрыгнул следом за ним, тем же путем, а начштаба выбежал из двери, на бегу заталкивая за пазуху кое-как свернутую карту.

Головастые «фокке-вульфы» прошли совсем низко, по-над самыми тополями, почти рубя винтами их голые, как метлы, верхушки; тоже научились подкрадываться на малых высотах, бреют не хуже наших Илов. Дежнев заорал связистам, указывая на погребок в стороне от хаты, — туда, мол, туда ныряйте! — и почти сразу, едва успели стихнуть вдали моторы истребителей, послышались гулкие удары танковых пушек. Впрочем, тут в его воспоминаниях четкости не было, возможно, и прошло какое-то время — самолеты заходили на штурмовку еще дважды, пожалуй, все-таки танки появились позже. Радист успел наладить свое хозяйство и уже вызывал полк, когда комбат вылез из погребка и увидел, как скособочился и поехал в сторону, разваливаясь, угол соседней хаты, а из-под осевшей крыши

выдвинулась осыпанная саманным крошевом и соломой корма одного из приданных батальону двух легких Т–70. Танк крутнулся, довершая разрушение, из люка высунулся чумазый башнер и, увидев подбегающего комбата, стал кричать осипшим голосом, что немец за станцией, жмет вдоль полотна, а сколько — хрен его знает, он видел три «пантеры», может, их там и больше, — и на этом для капитана Дежнева все кончилось, он только успел ощутить, как туго и беззвучно ударило сзади волной обжигающего жара, — и очнулся уже неведомо где, ничего не соображая.

Сообразил позже, начав осознавать окружающее — сперва обонянием и на слух. Он был в помещении, рядом кто-то постанывал, кто-то слабым голосом просил пить, еще один бормотал невнятное, видно, в забытьи; а разило в помещении карболкой и йодоформом, вместе с другими, обычно сопутствующими им запахами неоспоримо госпитального свойства.

Вот те, бабушка, и Юрьев день, подумал он тоскливо, боясь еще пошевелиться и разбередить притаившуюся неведомо где боль, а то и — того хуже — обнаружить в себе какую-нибудь недостачу. Отважившись все-таки, с облегчением убедился, что руки-ноги на месте и даже функци-

онируют, хотя и с трудом. Вот голова стала вдруг болеть невыносимо, но не так, как может болеть рана, а по-другому, по-мирному. Да и не было на голове повязки, это он тоже проверил. Выходит, контузия?

Догадка подтвердилась после разговора со строгой майоршей медслужбы, которая сказала, что хотя случай и легкий (так, по крайней мере, выглядит), но лучше бы все же подлечиться в тылу — эти контузии штука коварная, не всегда можно предсказать последствия.

— Вот еще, — возразил Дежнев, — с такой ерундой в тыл, вы уж меня, доктор, не конфузьте.

— Ну, если ты так хорошо разбираешься в медицине, — майорша, не поддержав шутливого тона, пожала плечами, — настаивать не буду, выпишем, и геройствуй на здоровье.

Тоже мне, дуреха, подумал он неуважительно, когда врач ушла. Простых вещей не соображает! При чем тут геройство? Из тылового госпиталя направят в офицерский резерв, оттуда вообще неизвестно куда попадешь — а ему надо вернуться в свой полк. «Геройствовать» все равно придется до самого Берлина, вопрос — с кем? Здесь он всех знает, его знают, в батальоне порядок, с ротными полное взаимопонимание

— притерлись, приработались. А как на новом месте будет? Нет уж, спасибо, от добра добра не ищут…

В начале ноября капитана Дежнева выписали. От сослуживцев, навещавших его в госпитале, он уже знал, что батальон тогда в Александровке трепанули, но не так чтобы очень, могло быть хуже. А вообще дела фронта выглядят не блестяще, немцам удалось восстановить оборону, Кривой Рог все еще в их руках. Танкисты Ротмистрова там, правда, побывали, но лишь наскоком — израсходовали боезапас в уличном бою, а горючего в баках едва хватило, чтобы отойти, снова сдав город противнику. У соседей успехов больше — войска 3-го Украинского освободили Днепропетровск, а под Киевом бои уже на самых подступах. Тем-то будет о чем рапортовать к празднику!

День, когда Дежнев возвращался в полк, был ясный, с крепким уже утренним морозцем. Предъявив на КПП свои документы, он узнал, что машина в нужном ему направлении должна скоро быть, и устроился под навесом, где сидели и покуривали другие, тоже ожидающие попутного транспорта. Знакомых среди них не оказалось, разговоры шли обычные — о вестях из дому,

об ожидающихся к праздникам повышениях и наградах, двое лениво спорили о недавно учрежденном ордене Богдана Хмельницкого — будут ли его давать всем или только участникам боев на Украине. КПП был расположен в редкой дубовой роще, такие же дубы — огромные, кряжисто раскинувшие свои могучие, словно из камня вырубленные, ветви, — встречались и под Энском, в Казенном лесу — говорили, что когда-то он вообще был сплошь дубовым, чуть ли не Петр его насадил для нужд корабельного строения, оттуда и название. Поздней осенью, когда уже давно облетят и тополя, и березы, исполинские эти дубы долго еще — иной год всю зиму напролет — желтели тусклой, словно ржавчиной подернутой упрямой жесткой листвой. Эти вот тоже не облетают, держатся.

Если и дальше пойдем в том же темпе, подумал он, то, может, к Новому году… Подумал так, как привык думать об этом последние месяцы: спокойно, без прежнего замирания сердца. Непонятно — сам ли очерствел настолько, что уже не способен чувствовать в полную силу, или просто выработался тот инстинкт душевного самосохранения, который не дает фронтовику размягчаться воспоминаниями о другой, мирной

жизни. Здесь ведь не только вспоминать нельзя, но нельзя позволять себе даже думать о судьбе близких — иначе конец, не выдержишь, самая крепкая психика сдаст под двойной нагрузкой.

Зимой сорок первого, когда он был под Москвой и со дня на день ждали, что немцы возьмут Тулу, — разве мог он себе позволить думать о матери, о сестре, — что будет с ними, если и они окажутся в оккупации? Нет, тут определенно есть какой-то предохранитель.

Но что война развитию чувствительности не способствует, это тоже верно. Грубеет ли на войне человек, черствеет или закаляется духом, сказать трудно. У всех, наверное, по-разному, а себе диагноза не поставишь. Лестно, конечно, думать, что закалился, хотя на самом деле, может, просто сердце закаменело. Поди разбери!

Наверное, если увидел бы Таню — если суждено им увидеться, — наверное, все прежнее вернулось бы. Ну, возможно, чуть по-другому — но вернулось бы. А пока… Пока и представить себе трудно — настолько все это далеко, настолько не связано с действительностью, настолько уже неправдоподобно.

Его окликнули, Дежнев затоптал окурок, встал, бросил через плечо полупустой вещмешок. Воз-

ле ободранной зисовской трехтонки, стоящей у шлагбаума, старшина с повязкой регулировщика проверял бумаги у девушки с погонами сержанта.

— Вот, товарищ гвардии капитан, и попутчица вам нашлась, — сказал он, возвращая девушке документы, — ей туда же.

— Давай тогда в кабину, сестричка, — отозвался Дежнев и забросил вещмешок в кузов, — а то на ветру нос отморозишь.

— Что вы, товарищ гвардии капитан, — возразила она, — я лучше наверх, вы ведь из госпиталя!

— Давай-давай, не спорь со старшим по званию, — он легонько подтолкнул ее к машине, но было уже поздно — объявился еще один попутчик. Из помещения КПП вышел немолодой тучный майор, спросил у водителя, не в хозяйство ли Прошина едет, и полез в кабину, бесцеремонно оттеснив продолжающих препираться капитана и сержанта.

— Вот вопрос и решен. — Дежнев подмигнул, забрался в кузов и, протянув руку попутчице, помог вскарабкаться и ей. — Другой раз умнее будешь! Может, из кабины он бы тебя не выгнал, если бы уже сидела.

— Выгнал бы. — Она тоже понизила голос,

улыбнулась. — Не задумываясь, выгнал бы, я таких встречала. Не беда, сегодня не так уж холодно и дождя нет, а сесть можно вон на мои газеты. — Она указала на два перевязанных бечевкой тючка в передней части кузова.

— Газеты? А я думал, ты из медперсонала, — сказал Дежнев.

— Нет, я в дивизионке вашей.

— Журналистка, значит.

— Какая там журналистка, на машинке просто стучу. А иногда вроде курьерши, сегодня вот это вызвалась отвезти — все оказались в разгоне, а мне нужно у Прошина в полку побывать, у меня там знакомый…

В кузов между тем погрузили еще несколько ящиков, бросили мешок с почтой, и машина тронулась. Трое бойцов, сопровождающих груз, остались у задней стенки кузова, Дежнев с попутчицей сидели на тючках с газетами у передней, спиной к кабине. Встречного ветра, впрочем, не было, старая трехтонка катила по разбитому грейдеру не спеша, но так при этом лязгала, поскрипывала и шаталась, будто могла развалиться на следующем ухабе.

— Дружок-то твой где, при штабе? — спросил Дежнев немного погодя, просто чтобы не сидеть

молча.

— Что? А, нет-нет. Он артиллерист, командир… батареи, если не ошибаюсь. Я иногда путаю. Но вы, наверное, не так меня поняли, он не «дружок» мне — если вы это в том смысле употребили, как обычно употребляют… Просто хороший знакомый, давний, еще по Ленинграду…

— Так вы тоже оттуда? Я когда ленинградцев встречаю, всегда такое чувство, вроде земляка увидел.

— А вы…

— Да нет, сам-то я никогда там не был! Но к Ленинграду у меня особое отношение, даже не знаю… Началось, может, с того, что у меня там в ваших краях брат погиб. Не в эту войну, а раньше — помните, с белофиннами был конфликт… В Выборге его убили, под самый конец. Ну и потом я после школы к вам туда собирался, учиться там думал.

— Хорошо, что не попали… Впрочем, вы-то там все равно не остались бы. — Попутчица помолчала, подняла воротник шинели — выбравшись на более ровный участок дороги, водитель прибавил скорости, и поверх кабины стало задувать. Потом сказала негромко, словно думая вслух: — Мужчинам вообще легче пришлось… молодым

мужчинам, я хочу сказать. Для ленинградцев, которые ушли на фронт, это было просто спасение… Я и про тех говорю, кто погиб.

— Ну, уж про тех о «спасении» говорить не приходится, — возразил Дежнев. — Вообще на фронте бывает легче, чем в тылу, тут я не спорю. Особенно когда про того подумаешь, кто остался в оккупации. Ну а уж кто погиб, так какая разница — где и как…

— Очень большая разница, на фронте умирают легко и быстро… Я не говорю про какие-то особенно мучительные ранения, это дело другое.

— Насчет того, как умирают на фронте, я мог бы кое-что рассказать, — Дежнев усмехнулся, — опыта у меня, думаю, побольше вашего.

— Не стоит меряться опытом, капитан, у каждого он свой, и со стороны не сравнишь. Вы счастливый человек, если не знаете, что бывают такие… обстоятельства, когда можно завидовать мертвым. Муж мой погиб на фронте в первый месяц войны, а вся его семья… Исключая меня, я тоже к тому времени ушла исполнять «священный долг», и тоже добровольно, как и он… Так вот, семья наша — вся целиком — вымерла от голода в начале сорок второго года. А я жива, как видите. Как по-вашему, кто кому может завидовать?

Дежнев, промолчав, искоса глянул на нее более внимательно — она сидела, прикрыв щеку поднятым воротом шинели, не оборачиваясь к собеседнику. Он увидел теперь, что она старше, чем показалась на первый взгляд, в углу глаза были даже едва заметные — лучиками — морщинки, а он читал где-то, что это безошибочно выдает женщину не первой молодости; возможно, ей было уже и за двадцать пять.

Еще помолчав, он спросил: не Игнатьев ли случайно фамилия ее знакомого артиллериста? Она сразу обернулась к нему.

— Да, Павел Дмитриевич Игнатьев, а вы тоже его знаете? Как вы догадались?

— Ну, просто подумал вдруг — артиллерист, из Ленинграда, бывают же совпадения…

— Да, это он, а вы давно с ним познакомились?

— Их к нам под Кременчугом прислали…

Он сразу, как только она сказала про мужа, вспомнил один разговор с Игнатьевым — тот рассказал о своей знакомой из Ленинграда, бросившей в блокаде грудного ребенка. Ну, не в блокаде, строго говоря, потому что тогда блокады еще не было; но все равно бросила на стариков — и хвост трубой. Так это, значит, она и есть, мать-героиня…

— Мне почему захотелось его увидеть, — продолжала она, — просто порадоваться вместе, поздравить, у него ведь сын нашелся — вы не знаете еще? Ну да, вы же в госпитале лежали, — нашелся его Димочка, он получил письмо от сестры, разыскала-таки, можете себе представить?

— Вот это здорово, — сказал Дежнев, — новость не слыхал, а что сына он разыскивал — это я знал, он мне говорил.

— Да, представьте, отыскала в одном из детдомов для эвакуированных, просто чудо. — Она вздохнула и добавила почти тем же тоном, словно сообщая о чем-то постороннем: — А мои вот так и не смогли эвакуироваться, сначала не хотели, а потом стало уже поздно. Мишеньке нашему было бы теперь уже три с половиной годика.

Дежнев помолчал, потом сказал, глядя на убегающую назад дорогу:

— Мне старший лейтенант Игнатьев вашу историю рассказывал… не называя имени, понятно. И если вас интересует, что я тогда подумал, могу сказать: подумал, что жаль, нельзя за такое под трибунал.

— Несправедливо это было бы, капитан.

— Вы еще о справедливости можете говорить?

— Как раз я-то могу. За такое не под трибунал надо, трибунал самое большее может расстрелять; за такое надо оставлять жить, вот как я живу — в трезвом уме и здравой памяти. Понимаете? Да где вам понять, давайте лучше оставим эту тему.

— Не я ее затронул.

— Знаю, знаю, затронула я, со мной случается.

Некоторое время ехали молча, потом он сказал:

— Вообще-то… вы правы, наверное, понять со стороны нельзя, а поэтому нельзя и судить. Вроде бы так, но с другой стороны…

— И что же с другой?

— Нет, это я не то совсем хотел. Словом, если у меня грубо получилось насчет трибунала, то извините. Я просто сказал, что подумалось — тогда, сразу. Вам-то напрямик не следовало, наверное.

— Ну почему же, меня ваша прямота не задела. Что мне до мнения других? Видите, я откровенна не меньше вашего… Я раньше часто думала: Господи, как глупо, сколько убивают вокруг нужных кому-то людей, остаются сироты, вдовы, матери, а тут и хотела бы, а живешь как заговоренная…

— Наверное, все-таки редакция дивизионной газеты — не самое опасное место службы, — без-

жалостно сказал Дежнев. — Если уж так хочется, можно в снайперскую школу поступить, там шансов больше.

— Опять вы не поняли… Мне ведь не убивать хотелось, а самой умереть, убивать я не хотела и тогда, в сорок первом, может быть, это нелепо звучит, но о мести я не думала, это же бессмысленно — один случайно убивает другого, а за это третий берет и убивает четвертого, тоже случайного, возможно, вообще ни в чем не повинного.

— Выходит, разницы нет — что мы, что они? Договорились, ничего не скажешь! Они на нас напали, мы от них отбиваемся, а разницы, значит никакой — никто не виноват, по-вашему!

— Да не солдаты же, согласитесь. Виноват Гитлер, правительство. Солдат не спрашивают — быть или не быть войне…

— Бросьте, — сказал Дежнев, — это все пустые разговоры. Если так рассуждать, тогда действительно вся вина на одного, может, человека ложится. Ну, или там на десять-двадцать человек, а остальные — вся армия — ни при чем. Это у вас все рассуждения, а в жизни по-другому. Тут счет простой: пошел ты завоевывать чужую землю — значит ты и виноват. И нечего его оправдывать — ему, мол, приказали, он не по своей воле…

— Послушайте, капитан, вы сказали, что ваш брат погиб в Выборге. А это ведь была территория Финляндии. Так вот, этот ваш «простой счет», он, выходит, и к вашему брату применим? В том смысле, что сам виноват, если пошел завоевывать чужую землю?

Гвардии капитан Дежнев едва сдержался, чтобы не выругаться. Помолчав, он сказал сквозь зубы:

— Я не знаю… вы или провокационные разговорчики со мной затеваете… хотя не пойму, на кой вам это надо… или у вас окончательно мозги набекрень. Мы, что ли, на Финляндию нападали?!

— Ну, если вы всерьез верите, что это она на нас напала, то у вас и набекрень-то нечему сворачиваться. С чем и поздравляю, это в самом деле большая удача, когда в голове пусто, — куда проще жить.

Он готов был уже обернуться, заколотить кулаком по крыше кабины, чтобы водитель тормознул, — сойти, ну ее к черту, такую попутчицу; но ему вспомнился один давний, очень давний — еще до войны — разговор с Таниным дядькой, тогда еще полковником, только что вернувшимся с Карельского перешейка. Они в ту зиму часто иг-

рали по вечерам в шахматы — придешь к Тане, а ее нет дома, дядька и усаживает за доску. Игра, конечно, шла не на равных, хотя и он играл неплохо для своего возраста; Александр Семенович, скорее всего, просто не очень знал, о чем можно беседовать с десятиклассником, поэтому предпочитал такой способ общения. Но на вопросы отвечал всерьез и без скидок, и однажды Сергей спросил его: чем все-таки думали эти придурки белофинны, начиная войну против Советского Союза? Полковник помолчал немного, задержав в воздухе поднятую с доски фигуру, и, раздумывая, куда ее поставить, произнес негромко: «Да там, понимаешь, сложно все получилось… Мы иначе тоже не могли, вот что главное, граница была слишком близко, а на мирный обмен территориями они не соглашались…»

Странно — он отлично запомнил сказанное Николаевым, но почему-то не задумался над смыслом того, что услышал, и позже не задумывался, а сейчас вдруг вспомнил опять — и понял. Выходит, начали все-таки мы? Кажется, какие-то инциденты на границе до этого были, кто-то кого-то обстреливал, но военные действия начались вторжением наших войск туда — а не финских на нашу сторону…

— Ладно, ладно, — сказал он примирительно. — Я вам, товарищ сержант, хочу только два замечания сделать. Во-первых, старшего по званию не положено называть в глаза дураком, даже если так оно и есть. Во-вторых, вы с этими своими разговорчиками когда-нибудь нарветесь, но только уже не на дурака, и тогда узнаете, что почем.

— А я уже давно все это знаю.

— Выходит, плохо знаете, если заводите такой треп с первым встречным… Показываете, какая вы храбрая и умная.

— Бог с вами, умной я себя никогда не считала, а насчет храбрости вы правы, наверное, — я с некоторых пор действительно ничего не боюсь. Раньше боялась, как все, а теперь…

Мотор, до этого тянувший ровно, стал вдруг давать перебои, машина пошла рывками, замедляя ход, потом умолкла совсем, сползла на обочину и остановилась. Водитель, сдержанно матюгаясь, вылез и с грохотом откинул створку капота.

— Что там, отец? — спросил Дежнев, встав и перегнувшись через крышу кабины.

— Да ничего, продую сейчас, — ответил тот. — А вы, товарищ капитан, пошлите кого из ребят, пусть за водой сбегают — вон там вроде колодец

есть. А то у меня радиатор худой, текет…

Бойцы спрыгнули на землю, один отправился по воду, другой стал помогать водителю советами. Дорога оставалась пустынной, было тихо, лишь где-то отдаленно погромыхивало — километров за десять, как показалось Дежневу. Попутчица тоже услышала, глянула вопросительно:

— Стреляют?

— Похоже, бомбят. Опять, верно, Знаменку. Ноги размять не хотите, прогуляться?

— Спасибо, не хочется вылезать, я тут угрелась. Холодно все-таки…

— Дело к зиме, она в этих местах суровая. По-разному, конечно, год на год не приходится. В Ленинграде, наверное, климат мягче?

— Более сырой, а вообще тоже по-разному бывает. Первая блокадная зима, говорят, была ужасной… Да и в сороковом тоже — когда были бои на перешейке. Всегда получается как нарочно. Сколько было обмороженных… и в блокаду — если бы не такие морозы — погибло бы вдвое меньше, наверное. Я понимаю, у вас это в голове не укладывается — как могла. Я и сама, теперь уже, когда пытаюсь взглянуть со стороны, не понимаю, отказываюсь понять. Но тогда… у меня было такое чувство, что я просто обязана…

не мстить, нет, об этом я вам уже говорила… а просто быть там, где был он, как-то… ну, помочь, что ли. Я очень его любила, хотя не сразу, это удивительно получилось — он был намного старше, у нас двенадцать лет была разница, и сначала я просто… Ну, у нас получилось почти как у Достоевского с Анной Сниткиной — знаете?

Капитан Дежнев не знал, но кивнул с неопределенным выражением лица — да так, слыхал, мол, в общих чертах.

— Я перед войной, незадолго, осталась без родителей, — продолжала попутчица, — и институт пришлось бросить, я на первом курсе была, ну и стала печатать на машинке — для заработка… Машинка у нас была дома, ее как раз… ну, когда все это случилось… ее один знакомый у нас одолжил, поэтому она и уцелела, и я на ней печатала. А Михаилу Алексеевичу надо было срочно одну работу перепечатать — ему кто-то сказал про меня, мы так и познакомились… Я и не думала, он мне казался таким… ну, не знаю — старше намного, доцент, и вообще… Если откровенно, согласилась выйти за него замуж из страха. Как раз тогда я всего боялась — я вам говорила уже, я была трусихой, особенно после… Знаете, люди часто говорят, что жизнь идет полосами, но у ме-

ня это особенно как-то всегда было: либо светлая, либо совершенно черная, без полутонов. Перед тем как раз все было ужасно — я совершенно одна осталась, из института отчислили, из квартиры выселили…

— Так родителей что — посадили, что ли?

— Ну естественно! Хотя неправда, что полутонов не было, — она улыбнулась, — папин знакомый вернул машинку, мог ведь и не вернуть, другие вообще здороваться перестали… Но это ерунда, а вот тетя Нюра, она у нас еще раньше домработницей служила, причем не долго и не очень даже прижилась, мама с ней не ладила почему-то… Так вот, эта тетя Нюра, когда мне буквально некуда было деваться, она меня поселила у себя в пригороде, я у нее жила как член семьи, хотя, наверное, это и опасно было для них… и у меня сначала даже денег не было ни копейки, это уж я потом стала немного зарабатывать, вносить свою долю хотя бы на питание. Так что грех говорить — было и светлое. Потом я вышла замуж, а летом сорокового родился Мишенька. Я еще думала — как это солидно будет звучать: Сорокин Михал Михалыч. Вот это была светлая полоса, действительно уже без полутонов, я почему-то даже и бояться перестала… Хотя все понимали,

что война вот-вот и по нас ударит… У мужа семья была удивительная, я в нее вошла как-то сразу, вы понимаете, часто ведь отношения бывают непростыми — свекровь, невестка, а тут…

Она замолчала, глядя куда-то мимо собеседника, словно его здесь не было. Да так оно, наверное, и есть, подумал Дежнев, она ведь все это самой себе говорит, зачем ей слушатель. Но тут она все-таки глянула на него, усмехнувшись одними губами.

— А вы мне про трибунал какой-то, — сказала она. — Меня знаете что в жизни держит? Тетя Нюра, у которой я жила, она была верующая — ну, простая деревенская женщина, неудивительно, — так вот, она однажды сказала, что самый большой грех — это, как она выразилась, «руки на себя наложить». Поэтому-то, дескать, самоубийца никогда не встретит там своих близких — ну, если предположить, что есть что-то после смерти…

— А вы предполагаете, есть?

— Нет, конечно. Но я просто рассуждаю: если хоть один шанс из миллиарда — можно ли рисковать?

— Тут, наверное, шансы подсчитывать смешно, — сказал он после паузы, — это уж пускай верующие бабуси их подсчитывают, а что само-

убийство — трусость, вот это точно. Другое дело, когда приходится… Чтобы в плен, например, не попасть. Вас как звать-то, сержант Сорокина? А то неудобно — разговариваем, а вроде и не знакомы. Меня Сергеем зовут, а фамилия — Дежнев.

— Очень приятно. — Она выпростала руку из слишком широкого рукава шинели и протянула ему. — Меня — Елена Петровна. Только вы и отчество свое тогда уж скажите, не могу же я гвардии капитана звать просто Сергеем…

— Ну, Данилович, но это не обязательно. А вы о… родителях так ничего и не знаете с тех пор?

— Мама была в одном из мордовских лагерей, я ей даже одну посылку успела туда отправить, а вторая вернулась без всякого объяснения. И писем больше не было. А о папе я только знаю, что его осудили без права переписки, на десять лет.

— После войны увидитесь, — сказал он уверенно, — полсрока, считайте, уже прошло. Да и амнистия какая-нибудь наверняка будет, когда победу отпразднуем…

Двигатель снова заработал — уже ровно, налаженно. Боец постарше забрался в кузов сбоку, ступив на колесо, другой — помоложе, что ходил за водой, — зашвырнул наверх помятое ведро и лихо вскочил через задний борт, когда маши-

на уже тронулась. Через полчаса они были в большом, богатом и почти не пострадавшем от боев селе, где расположился штаб полка. Дежнев соскочил на землю, помог сойти попутчице, приказал бойцам выгрузить и занести в хату тючки с газетами.

— Ну что же, счастливо, — сказал он, протягивая руку. — Игнатьеву привет от меня, скажите — рад буду повидаться.

Повидаться в этот день не удалось, и до вечера капитан Дежнев не вспоминал больше о своей новой знакомой. А вечером, уже вернувшись «домой» — в расположение батальона, — вдруг вспомнил, и воспоминание было не из приятных. Дорожный разговор со случайной попутчицей оставил какое-то гнетущее впечатление. С одной стороны, сержант Сорокина показала себя редкостной дурой. (Взять хотя бы сказанное ею насчет Выборга; выходит, мы тогда были для финнов такими же агрессорами, как сейчас немцы для нас? Ну ляпнула!) Но в то же время она и жалость вызывает — хотя, логично рассуждая, жалеть вроде не за что. В голове не укладывается, чтобы мать могла вот так ребенка бросить… Но человек она, конечно, несчастный, что и говорить. Да, лучше бы он с ней не встретился, в

самом деле, спокойнее как-то было бы на душе…

Глава 4

Дожди шли уже вторую неделю. Они шли с регулярными перерывами, и в регулярности этой было что-то удручающее — словно даже явления природы подчинялись здесь некоему уныло размеренному «орднунгу». К вечеру дождь иссякал, по ночам над островерхими крышами соседних домов небо было исколото тусклыми озябшими звездами, но каждое утро, когда рабочая колонна строилась посреди превращенного в аппельплац школьного двора, мимо синих фонарей опять сеялась сверху та же ледяная мокрядь.

Поверка продолжалась долго. Переводчица и комендант лагеря Фишер — бывший учитель, который жил при школе и стал временным комендантом, когда здание было реквизировано под лагерь для «восточных рабочих», — предпочитали начинать рабочий день в теплой канцелярии, не высовывая носа наружу, а охранявшие лагерь украинские полицаи были малограмотны и вечно путались в списках. Люди стояли под дождем, переминаясь с ноги на ногу и чувствуя, как проклятая сырость уже пробирается сквозь

тряпье. Мастеровые, которым удалось получить постоянную работу на разного рода мелких предприятиях в Штееле или в самом Эссене, группами выходили за ворота, лагерь постепенно пустел. Наконец выводили и их, «шарашкину команду», занятую на общих работах.

Здесь, конечно, все было относительным. Раньше, когда эти общие работы нередко оказывались подметанием улиц или уборкой сухих листьев в городском парке, им завидовали: пока другим приходилось вкалывать у вагранок или прокатных станов, они дышали свежим воздухом и филонили как хотели, лишь стоило отвернуться надзирателю. Но эта легкая жизнь продолжалась недолго — жители Штееле обратились в бургомистрат с протестом по поводу того, что на улицах и даже в парке слишком часто толкутся гнусного вида унтерменши с бело-синими нашивками «OST», бургомистрат послал соответствующий запрос в трудовое управление в Эссен, и оттуда в лагерь пришло циркулярное письмо, предписывающее ограничить использование «восточников» на работах, связанных с пребыванием на виду у населения. А тут еще зарядило устойчивое осеннее ненастье. «Шарашкину команду», составленную из интеллигентов,

домохозяек и не имеющей специальности молодежи, гоняли то на постройку бомбоубежищ, то на разгрузку товарных вагонов, то на земляные работы за городом. Они теперь возвращались в лагерь позже всех, замерзшие и промокшие до нитки; им уже никто не завидовал. Да, очутиться бы сейчас где-нибудь в цеху, в относительном тепле и с крышей над головой! Колонна, нестройно грохоча деревянными подошвами, медленно брела по улице, в серой мгле раннего ненастного утра. Кончились последние кварталы предместья, по обеим сторонам шоссе потянулись бурые огороды с уже заколоченными на зиму крошечными фанерными домиками, залитые дождем глинистые поля. До электростанции, где рыли котлован, было еще не менее часа ходьбы.

Таня шла в хвосте колонны, глубоко — по самые локти — спрятав руки в рукава драного ватника, и старалась думать о приятном. С утра, когда впереди десять часов работы под дождем, да еще на голодный желудок, особенно важно запастись бодрым настроением, чтобы не раскиснуть. Хотя ничего «приятного», о чем стоило бы подумать, вокруг не видно. Еще и эта собачья погода! Совсем другое дело, когда солнышко выглянет, да что-то редко оно здесь выглядывает. Хорошо хоть ноги

пока сухие — вот уже и есть чему порадоваться. А ватник! Что бы она сейчас делала без этого ватника?

В рейнхаузенский пересыльный лагерь их тогда навезли сразу столько, что даже с хваленой немецкой организованностью получилась какая-то неувязка: запаса продовольствия не хватило, и целую неделю они голодали. Голодали по-настоящему, не так, как здесь, где все-таки подкармливают худо-бедно. К концу той памятной недели она так ослабела, что ее шатало на ходу, и видик, наверное, был соответствующий — иначе чего бы вдруг сжалился над ней тот охранник, что однажды вечером поманил пальцем из-за угла и сунул завернутую в газету буханку хлеба…

А разве не приятно вспомнить, как разумно и предусмотрительно распорядилась она тогда своим неожиданным богатством! Съела только половину — и то понемногу, растянув эти шестьсот граммов на два дня, — а за вторую половину приобрела вот этот самый ватник. Над нею тогда смеялись: во-первых, сказали, она невероятно продешевила, за полбуханки можно было часы получить, а во-вторых, дело было в августе, стояла жара, и ватник действительно казался странным приобретением, как-то очень уж не по сезону.

Лагерники вообще не склонны задумываться над будущим: что там загадывать наперед, дожить бы до конца недели.

А вот она о будущем подумала. Сообразила, что осень не за горами, а климат этой северо-западной части Германии, может, и не такой уж континентальный, чтобы опасаться морозов, но сырости и холода здесь хватит. Между тем в Рейнхаузен бывшая «фрейлейн секретарь-переводчица» имперского советника Ренатуса прибыла в жалких остатках того самого наряда, который был на ней в ночь ареста после торжественного приема в Воронцовском госхозе. Черная шерстяная юбчонка, узкая и короткая по последнему крику предвоенной моды, за месяц скитаний по пересылкам вид приобрела совершенно непотребный, а утратившая первозданную белизну блузка держалась еще только за счет прочности парашютного шелка. И никто не знал, будут ли им вообще выдавать какую-нибудь спецодежду или так и оставят, в чем привезли. Спустя месяц все-таки выдали — но что? Каждая «восточница» получила жуткое халатоподобное платье из древесной ткани синюшного цвета, пару чулок явно из той же древесины и косынку на голову. И ни шиша больше. Хороша бы она

сейчас была в такой экипировке, без верхней одежды и при часах (нужных ей здесь, как кошке мандолина).

Таня с удовольствием поеживается в своем ватнике, уже порядком отсыревшем, но все же теплом. Если Эрика, дочь коменданта, принесет обещанный кусок клеенки и немного ниток, ватник можно будет подлатать и нашить на него что-то вроде кокетки непромокаемой — тогда совсем будет хорошо. Да что говорить, человек с головой не пропадет даже в Германии.

Иметь на плечах голову — это первая заповедь, а вторая — держать себя в руках и не распускаться. Что для этого надо, сразу и не ответишь, тут, наверное, у каждого свой рецепт. Можно, конечно, твердить себе разные громкие слова: что ты советский человек, комсомолка, а не немецкая рабыня, ну и тому подобное. Но это все громкие слова, не более. А чем слова громче, тем меньше поддержки в них находишь.

Как ни удивительно, хорошо поддерживают воспоминания. Это на первый взгляд необъяснимо; казалось бы, когда тебе плохо, надо стараться вообще забыть, что когда-то было лучше. Но это не так. Когда вспоминаешь, возникает странное ощущение: время словно расплывается,

перемешивая прошлое с настоящим, и от этого «разбавления прошлым» настоящее приобретает иное качество, выглядит уже не таким безысходным. Как будто все то, что ты когда-то пережила, остается с тобой — или в тебе — на всю жизнь.

Так оно, наверное, и есть на самом деле. Бывает ведь, что человек, переживший какую-то страшную трагедию, оказывается навсегда сломленным, как бы благополучно ни сложилась потом его дальнейшая жизнь. Почему же не может быть наоборот? Если твоя жизнь долго складывалась благополучно, и не просто благополучно, а даже, можно сказать, счастливо, то разве это не может наложить отпечатка — надолго зарядить бодростью, уверенностью в том, что так будет всегда? И даже если вдруг все меняется к худшему, воспринимаешь это без уныния. Ну что ж, сейчас плохо, но ведь было у меня и другое, а если было, то и осталось. Уж прошлого-то не отнимут!

Самообман? Возможно, но он помогает. Доверие к судьбе — это очень важно, и если до сих пор она была благосклонна, то и будущее представляется не в таком мрачном свете. Разве ей не везло до сих пор? О довоенной жизни нечего и говорить — ведь только летом сорок первого,

когда все полетело в тартарары, она стала жить как все (а может, даже труднее — с непривычки); но и потом судьба словно подсовывала один счастливый билет за другим. Погнали их тогда на регистрацию в «трудовое управление» — она пошла сразу, получила назначение на местные работы; а бедная Люся отправилась на другой день, из-за чего-то повздорила с начальницей и в результате оказалась среди отобранных для отправки в рейх…

С Попандопуло тоже повезло — все-таки быть продавщицей в его дурацком «Трианоне» было легче, чем разбирать развалины или вкалывать на снегоуборке. Вот когда невесть откуда появившийся Леша Кривошеин, он же «господин Федотов», воззвал к ее комсомольской совести и посоветовал устроиться в гебитскомиссариат, она решила, что везению теперь уж точно пришел конец, потому что неизбежный провал всей этой их доморощенной подпольщины предвидела с самого начала, было бы удивительно, если бы они рано или поздно не засыпались.

И в этом она оказалась права, а насчет конца везению ошиблась — судьба продолжала ее хранить (знать бы для чего). Ведь надо же было, чтобы Кранца убили у нее на глазах, в одном

квартале от здания гестапо, а привезший ее из Воронцовки полицай не понимал по-немецки и, когда выскочивший с пистолетом в руке ефрейтор погнал его ловить стрелявшего, не смог объяснить, что сопровождает арестованную, и оставил ее прямо на улице… Правда, на свободе она пробыла минут двадцать, не больше, но на базарной площади ее схватили уже не как опасную государственную преступницу, отправленную в гестапо по личному приказу господина имперского советника, — а просто потому, что в тот день шла облава и хватали всех подряд, у кого не было удостоверения личности. При ней, к счастью, его не было — осталось, наверное, в кармане у полицая.

Конечно, если бы не покушение на Кранца, немцы наверняка стали бы искать ее среди задержанных и нашли в два счета, но в той суматохе было уже не до сбежавшей переводчицы; их всех в ту же ночь и вывезли (правда, только женщин — мужчин оставили, наверное, искали причастных к покушению). При погрузке в эшелон списки составлялись наспех, без предъявления документов, каждая могла назваться кем угодно, так она и превратилась из Николаевой в Дежневу, а здесь при заполнении кеннкарты и эту фамилию пере-

врали в транскрипции, так что теперь сам черт не разберет, кто она такая, — лагерный номер 2316 и ничего больше…

Так что есть все же некоторая надежда, что и тут удастся уцелеть. В конце концов, можно было бы уйти из «шарашкиной команды», поискать что-нибудь полегче. Комендант Фишер — человек неплохой, ему явно не по душе свалившиеся на него полицейские обязанности, и если его попросить, мог бы и перевести на другую работу. Аня Кириенко, например, пристроилась в прислуги к какой-то богатой полоумной старухе и живет припеваючи — по полдня выгуливает в сквернике двух мопсов. Или есть небольшой лагерь в Купфердрее, при пуговичной фабрике, где очень приличные условия. Так что поискать можно было бы; но лишний раз напоминать о себе ни к чему, лучше сидеть не высовываясь. Вот это, пожалуй, третья заповедь — не менее важная, чем две первые.

Ладно, переживем! Где наша не пропадала. Как немчура себя утешает: «Es geht alles vorüber, es geht alles vorbei»[42]. А что, мудрые слова, недаром это сейчас самый любимый их шлягер. И не толь-

---

[42] Notes: 42

«Все на свете минует, все на свете пройдет» *(нем.)*.

ко немцам хочется верить, что рано или поздно все минует; чем еще можно подбодрить себя на третьем году войны?

Ровно в полдень «веркшуц», маячивший с винтовкой на краю котлована, дал свисток — сигнал к обеденному перерыву. Люди, скользя по размокшей глине, стали медленно выбираться наверх. Таня благополучно одолела подъем, устроилась на штабеле приготовленных для опалубки мокрых досок. К ней тут же подошел конопатый парнишка лет шестнадцати. Раньше она его в команде не видела.

— Во льет, зараза, — сказал парнишка и посмотрел на хмурое небо, с которого лить не лило, но продолжала сыпаться нудная дождевая пыль. Потом посмотрел на Таню. — Чего на мокром сидишь, дура, — сказал он снисходительно. — Застудишься, думаешь, они тебя лечить станут?

— Не застужусь, — сказала Таня, разворачивая непромокаемый мешочек из-под противоипритной накидки, в котором хранила хлеб. — Впрочем, если у тебя есть коврик, притащи, я с удовольствием посижу и на коврике.

— Ох и дура, — повторил парнишка. — А ну-к встань! Бери доску с того конца, перевернем.

Вдвоем они перевернули верхнюю доску, с об-

ратной стороны она была сухой.

— Молодец. — Таня посмотрела на парнишку с уважением. — Я бы не догадалась.

— Бабы — они недогадливые, — согласился тот, сел рядом и вытащил из кармана свой хлеб, обвалянный в каком-то мусоре. — Ты давно здесь?

Таня, уже занятая едой, молча выставила два пальца, пошевелив ими в воздухе.

— Два года? — ужаснулся парнишка и присвистнул. — Это что ж, выходит, — с самого начала?

Таня отрицательно помотала головой.

— Месяца, — пробормотала она невнятно.

— Ну, это дело другое. — Парнишка тоже запустил зубы в свою пайку. — А я всего неделю, — сообщил он немного погодя.

— Один?

— Не, с семьей. Мать хворает, верно помрет, а младшие — во такие, одному седьмой, другому девятый. Нас с-под Орла угнали, — добавил он, перехватив ее удивленный взгляд, — там как стали фронт выравнивать — всех подчистую гребли, и старых и малых. До самого Брянска гнали пехом, а там в эшелон, и поехали. С августа месяца по лагерям мотаемся. Мы аж под самым Кенисберком были, — добавил он хвастливо. — Ух там немцы злющие, заразы. Чуть что — сразу по шее.

— Всюду они хороши.

— Не говори, тут вроде получше. Ну, понятно, на кого нарвешься. А лагерфюра[43] у вас ничего, вроде тихий.

— Да, он ничего, — согласилась Таня. Доев свой ломтик хлеба, чуть смазанный маргарином, она слизнула с ладони крошки и стала аккуратно заворачивать второй, предназначенный на ужин.

— Чего прячешь, аль наелась? — насмешливо спросил парнишка. — Небогатый у тебя харч. Ты что, так и живешь на ихние триста граммов?

— У тебя есть возможность получать больше?

— А чего! Я вон вчера почти полкило заработал. Не веришь?

Он полез за пазуху, извлек самодельный, сшитый из клеенки бумажник и осторожно достал из него неразрезанный листок хлебных карточек, похожих на маленькие почтовые марки красного цвета. У Тани широко раскрылись глаза.

— Каким образом?

— Каким! Заработал, говорю. Во, гляди. — Он стал грязным пальцем пересчитывать марки. — Десять штук по пятьдесят граммов — полкило. Это я вчера часть уже отоварил! А образ самый

---

[43] Notes: 43
Испорченное Lagerführer *(нем.)* — комендант лагеря.

простой — уголь скидываю, поняла? Как поведут обратно, я от колонны отстану и смотрю, где чего. Немцы сейчас углем запасаются, зима на носу, а тут как делают — привезут уголь и скинут прямо на улице, возле подвального окошка, вот и надо его туда перекидать. Они после и выносят чего-нибудь. Больше хлебными карточками расплачиваются, а то и из одежи чего дадут. Хошь, на пару сегодня покалымим?

Тане не очень хотелось идти калымить после рабочего дня, но отказаться от возможности заработать хлеба…

— Хорошо, — кивнула она. — Только я не умею отставать от колонны. А если заметят?

— Не дрейфь, не заметят… Ну ладно, я пошел. Меня Валеркой звать, а тебя?

— Таня.

— А-а. У меня сестренка была, двоюродная, тоже Танькой звали, так сдуру подорвалась — пошла по грибы, а лес был сквозь заминированный. Ты сама-то откуда?

— Я? С Украины, — секунду помедлив, сказала Таня. В этот день им повезло — работать после обеда почти не пришлось, в половине второго завыли сирены. Поскольку, согласно инструкции, иностранные рабочие во время воздушной трево-

ги не могли оставаться вне закрытых помещений, «шарашкину команду» загнали в пустой склад и заперли на замок. Там они и просидели до самого отбоя, а отбой дали только к концу рабочего дня. К тому же тревога оказалась ложной, самолеты прошли стороной.

Когда возвращавшаяся в лагерь колонна добралась до Штееле, было уже почти темно. Конопатый орловец, оказавшийся рядом с Таней, дернул ее за рукав; она вышла из рядов и остановилась на тротуаре, делая вид, будто поправляет застежку на ботинке. Пожилой веркшуц с электростанции, сопровождающий колонну, шел впереди и ничего не заметил.

— Я ж тебе говорил, — сказал Валерка, когда последние ряды скрылись за углом, — все будет чин чинарем. Давай пошли!

— А лагерные полицаи? — с сомнением спросила Таня.

— А чего полицаи, они разве помнят, кто где работает. Нам лишь бы до десяти вернуться, покуда ворота не заперли…

— Послушай, так ведь и убежать можно, — сказала Таня, пройдя в молчании квартала два.

— Тоже придумала! Куда тут побежишь? Всю Германию надо проехать, с конца в конец. Без оде-

жи, без документов — да тебя на первой станции сцапают. Это возле польской границы еще можно было попробовать — так там охрана знаешь какая была, будь здорова! Глянь-ка, вон, кажись, уголь лежит…

Действительно, у одного из домов чернела куча угольных брикетов, ссыпанных прямо на тротуар. Валерка, сказав, что все берет на себя, смело подошел к двери и позвонил. Таня осталась в сторонке. Вышел пожилой немец в вязаном жилете, они поговорили и вошли внутрь. Через минуту Валерка вынес две совковые лопаты с длинными изогнутыми черенками.

— Вот и заметано, — подмигнул он Тане, вручая ей одну. — Мы это сейчас в два счета, угля-то всего тонна…

Работа пошла споро. Удобные лопаты легко скользили по мокрому гладкому асфальту, черпая круглые, с куриное яйцо, прессованные брикеты, и бросать было недалеко — почти не надо размахиваться. Поработав, однако, несколько минут, Таня разогнулась и оперлась на лопату, прикрыв глаза.

— Подожди, — сказала она слабым голосом, — давай немного отдохнем… у меня голова что-то закружилась…

— Ладно, — снисходительно отозвался Валерка, не прекращая работы, — передохни, я и без тебя управлюсь. Не жрешь ничего, вот и кружится! Эти гады на электростанции должны нас в обед кормить, поняла? Ты вот спроси кого хошь — где кто ни работает, всюду хозяева в обед кормят. Завтрак и ужин в лагере, а обедать мы должны на производстве, мне один немец точно растолковал. Кто-то на наших харчах руки нагревает, паразит…

Справившись с приступом слабости, Таня заставила себя взяться за работу. Ею вдруг овладел страх, что она опоздает в лагерь к ужину и ей забудут оставить ее порцию. Как всегда к вечеру, сейчас так хотелось есть, что она не могла думать ни о чем другом.

«Странно, — думала она, из последних сил механическими движениями бросая уголь, — я ведь сегодня хорошо пообедала… Целый лишний кусок, в нем было граммов сто, не меньше. А может быть, нельзя было этого делать… желудок привык к определенному режиму, как-то уже приспособился…»

Черная куча на тротуаре быстро уменьшалась. Наконец Валерка разогнулся, лопатой подгреб откатившиеся в сторону брикеты и ловко за-

швырнул в люк.

— Ну, шабаш, — сказал он. — Видала? Давай лопату и сядь вон на приступочек, отдохни. Пойду калым из папаши вытряхать.

Он ушел. Таня присела на ступеньки и опустила лицо в ладони. Обморочная слабость снова охватила ее, перед глазами вертелись какие-то блестящие кольца, и от этого головокружительного вращения звенело в ушах. Опять пошел дождь — мелкий, бесшумный. Завтра с утра опять аппельплац, стук деревяшек по асфальту, котлован, вязкая тяжелая глина на лопате. Сколько еще продлится война? И где этот Валерка, теперь-то они наверняка опоздают к ужину…

Он наконец-то появился, с пакетом под мышкой.

— Прижимистый оказался дедок, — сказал он, — полбуханкой хотел отделаться. А я ему говорю — двое, мол, нас, швестер там сидит, тоже не жравши, давай, говорю, целый. Ну, еще половину дал, старый хрен! На держи!

Он пошуршал бумагой, и в руках у Тани очутился хлеб — тяжелый, с колючей закраинкой на корке, он источал божественный ржаной запах, от которого у Тани сразу свело челюсти голодной судорогой. Тут же, сидя на холодной

каменной ступеньке, она отломила кусочек и стала жевать.

Пока дошли до лагеря, вся корка с одной стороны была общипана. Чувство острого голода исчезло, Таня уже без энтузиазма думала об ожидающей ее миске баланды. В сущности, это просто свиное пойло — с мороженой прошлогодней брюквой, с картофельными очистками. Жира, конечно, опять не будет ни капли. Тоже еда!

Как странно, что люди в мирное время ломают себе голову над всякими блюдами, придумывают что-нибудь повкуснее. По-настоящему человеку нужен только хлеб и еще крепкий чай с сахаром. Подумать только, что те, кому это доступно в любой момент, не осознают своего счастья…

— Ладно, до завтра, — сказал Валерка, когда они вошли в здание. — Ты на каком этаже?

— На третьем, седьмая комната, — сказала Таня. — Твоей маме ничего не нужно помочь?

— Не, там у нас баб хватает…

Она медленно поднималась по широкой лестнице, пропахнувшей специфической лагерной смесью дезинфекции, эрзац-кофе, баланды и грязной сырой одежды. С этой седьмой комнатой ей еще повезло — там подобрались люди тихие и большей частью семейные, но без груд-

ных младенцев. Пожилой киевский бухгалтер с женой, большое семейство коммерсанта-неудачника из Николаева, группа агрономов с Северного Кавказа, прихваченных какой-то виртшафтскомандой во время последнего зимнего отступления. В седьмой поселилась и сама переводчица — фактически второе в лагере лицо после коменданта, — поэтому у них всегда чисто и тихо. В другие штубы просто нельзя войти — вонь, грязь, накурено, между коек сушатся на веревках мокрые пеленки. Да и народу там побольше. В шестой, напротив, живет человек семьдесят сектантов из Белоруссии — целая община. Косматые, страшные, в овчинных тулупах. Электричеством не пользуются — грех, сидят по вечерам в потемках или зажгут огарок свечи и тянут свои песнопения. Просто хованщина какая-то, жуть.

На площадке третьего этажа шумно толпились возле раковины парни из восьмой «холостяцкой» — самой буйной комнаты в лагере, куда не решались заходить даже полицаи. Холостяки были все как один в широких, наподобие лыжных шаровар, бумазейных голубых кальсонах в мелкие цветочки. Роскошные эти кальсоны выдали лагерникам неделю назад; предполагалось,

что их будут использовать по назначению — как исподнее, но обносившиеся до дыр холостяки рассудили иначе и щеголяли в новых кальсонах поверх рваных брюк. В таком живописном виде они ходили и на работу.

— Танечке комсомольский привет! — закричал кто-то. — Чего в гости не заходишь?

Она отшутилась на ходу, увернулась от чьих-то объятий и прошмыгнула к себе.

В седьмой было тихо. За большим столом посередине, под низко опущенной лампой, несколько человек перелистывали журналы, писали письма, один из кубанских агрономов латал рубаху, неумело орудуя иглой. Двухэтажные казарменные койки вдоль стен были составлены где покоем, где глаголем; разгороженные листами светомаскировочной бумаги или цветастыми домашними занавесками, они образовали крошечные семейные отделения, вроде железнодорожных купе.

— Вы бы укоротили нитку, — сказала Таня агроному, сняв ватник и пристраивая его сушиться возле круглой железной печки. — Кто же шьет такой длинной. А что, гемюзу[44] еще не привезли?

---

[44] Notes: 44

Так на лагерном жаргоне называли баланду, сваренную из овощей (от *нем.* Gemüse — овощи).

— Как видите, нет, — желчным голосом отозвался сидящий над журналом тощий интеллигент в очках, — и неизвестно, когда привезут. Хваленая немецкая пунктуальность!

Гемюзу в лагере не готовили, доставляли откуда-то из Эссена.

— Очевидно, это из-за сегодняшней тревоги, — примирительно сказала Таня. — Если отключали ток, могли не успеть сварить.

Она сбросила башмаки, прошла на цыпочках к своей койке и достала из-под нее сшитые из мешковины шлепанцы. Ее место было нижним, верхнее занимала Аня Кириенко — та, что работала при мопсах. Сейчас она лежала лицом в подушку и шмыгала носом.

— Ты плачешь? — Таня приподнялась и тронула ее за плечо. — Что случилось?

Кириенко дернула локтем и всхлипнула еще громче.

— Час уже ревет, — недовольно отозвалась переводчица со своей койки по соседству. — К бауэру ее отправляют, подумаешь, беда какая! А ты что так поздно? Другие уже давно вернулись.

— А меня, Валя, один немец попросил сбросить в подвал уголь, — сказала Таня. — Меня и еще

одного мальчишку. Ведь это не запрещается? Он нам за это дал хлеба, вот, видишь…

Она показала свою добычу. Переводчица, белокурая девушка лет двадцати пяти, безразлично пожала плечами и снова уткнулась в книгу. У ее койки, отделенной от комнаты двумя казенными одеялами, стояла тумбочка с маленькой настольной лампой и лежал на полу яркий лоскутный коврик.

— Тебе, ясно, не беда! — со слезами выкрикнула Аня Кириенко. — Тебе-то что! А я уже была у бауэров, спасибо!

— Ну хватит! — оборвала ее переводчица. — Помолчи, люди с работы пришли — надо им отдохнуть или нет? Я тебя туда не назначала и Фишеру говорила, что ты не хочешь. Чего тебе еще надо? Что я — командую здесь, что ли?

Она раздраженно отбросила книгу и встала, посмотрев на часы.

— Что за черт с этим ужином, в самом деле! Да, вот что, — она обернулась к Тане, — сегодня в рыбной лавке была паста, так я сказала, чтобы взяли на твою долю. Банка у меня в тумбочке, забери ее, а деньги отдашь Трофим Иванычу. Сорок пфеннигов, что ли.

— Ой, спасибо, — обрадованно сказала Таня.

Селедочная паста, которую можно было покупать без карточек, считалась в лагере изысканным лакомством. Немцы ее обычно не брали, но лагерники, как только она появлялась в продаже, расхватывали в два счета. На такую случайную подкормку и уходила в основном вся их зарплата — пять рейхсмарок в месяц.

Вскрыв жестянку, Таня намазала слой серой кашицы на толстый ломоть хлеба и принялась за еду. Ладно, баланду сегодня могут и не привозить, как-нибудь на этот раз обойдемся. После этой пасты, правда, потом очень хочется пить, но зато как вкусно!

В дверь кто-то заглянул, крикнул: «Переводчицу к коменданту, живо!» Валя, пробормотав что-то насчет проклятой должности, вышла из комнаты. Вскоре на лестнице послышались голоса, шум и знакомый лязг металлических баков по ступенькам.

— Наконец-то изволили вспомнить и о нас, — язвительно заявил тощий интеллигент. — С опозданием почти на два часа!

— Седьмая, гемюзу получать! — крикнули из-за двери. Двое мужчин внесли бак-термос с завинченной крышкой — прибыл лагерный ужин.

Таня едва успела проглотить несколько ложек,

заедая баланду своим селедочным бутербродом, как дверь распахнулась и в комнату быстро вошел комендант, явно чем-то расстроенный, а за ним двое в кожаных пальто.

— Mahlzeit, — хмуро сказал Фишер, ни на кого не глядя. — Wo schlaft die Dolmetscherin?[45]

Кажется, только она одна сразу, в первую же секунду поняла, что происходит. Почему — неизвестно. Она никогда не видела, как выглядят они в штатском; тем не менее, при первом же взгляде на этих двоих, на их одинаковые кожаные пальто, сапоги и одинаковые тирольские шляпы она сразу все поняла и замерла, сжалась в комок, охваченная тем самым, старым, почти уже позабытым ужасом. Непонятно, при чем тут переводчица; может быть, дело просто в том, что их койки стоят рядом; сейчас они вызовут ее и спросят фамилию. Настоящую фамилию. Как наивно было думать, что имперский советник Ренатус не сумеет в поисках своей «маленькой Мата Хари» перевернуть вверх дном любой лагерь на территории рейха!

Она не слышала, как кто-то ответил коменданту. Она сидела, сжавшись в комок, понимая,

---

[45] Notes: 45
Приятного аппетита… Где спит переводчица? *(нем.)*

что для нее остается теперь только один выход: при первом же обращенном к ней слове кинуться к окну и выброситься туда, вниз, на мокрый черный асфальт. Лучше так, сразу. Потом она вздрогнула от грохота чего-то упавшего, подняла глаза и увидела, как один в кожаном пальто перетряхивает Валину постель, а другой, присев на корточки, роется в вещах, выпавших из опрокинутой тумбочки. Сорванный занавес из одеял валялся на полу.

Она оглянулась и обвела глазами белые лица сидящих за столом. Теперь поняли и они: эти вошедшие в комнату вместе с комендантом и были Geheime Staatspolizei. Тайная государственная полиция. Гестапо.

Оказывается, им действительно была нужна эта белокурая Валя, переводчица. Они производили обыск тщательно и профессионально, распороли даже тюфяк и наволочку, вывалив истертую солому прямо на пол, прощупали лоскутный коврик, развинтили подставку настольной лампы. Потом ушли, забрав Валино пальто и чемодан. Следом за ними вышел комендант, такой же бледный и растерянный, ни на кого не глядя.

Стояла гнетущая тишина. То, что произошло сейчас на глазах обитателей седьмой комнаты,

было слишком страшно, чтобы говорить об этом вслух. И страшен был вид растерзанной постели, весь этот оставшийся после обыска разгром. Таня не выдержала первой. Вскочив, она подошла к куче соломы и принялась трясущимися руками запихивать ее обратно в тюфяк. «Да помогите же кто-нибудь!» — крикнула она истерично. Вдвоем с Кириенко они наспех привели в порядок постель, покрыли ее одним из валявшихся на полу одеял. Таня подняла и поставила на место тумбочку. Потом взяла щетку и смела к печке соломенную труху.

— Вот вам и переводчица, — сказал кто-то негромко.

И сразу — словно только и ждали этих слов — заговорили все, громко и возбужденно, как обычно говорят люди, только что пережившие сильный испуг. Высказывали разные предположения, вспоминали не совсем обычную историю появления Вали в эшелоне; действительно, тут было много загадочного, просто на это раньше не обратили внимания. Она появилась в вагоне уже на пути сюда, когда их везли из Рейнхаузена, и (кто-то это теперь припомнил) попросила сказать, в случае чего, что была вместе с ними уже в пересыльном лагере. Вероятно, откуда-то бежала

и присоединилась к ним, чтобы замести следы. А может быть, она была разведчицей?

В эту ночь Таня долго лежала без сна. Валю, несомненно, арестовали за какие-то старые грехи: здесь, в лагере, она едва ли занималась чем-либо противозаконным. Теперь стало понятным и ее странное появление, ее всегдашняя замкнутость. Она никогда не рассказывала о себе, и в седьмой комнате, где все знали более или менее всё друг о друге, переводчица была единственным исключением. И еще, разумеется, Таня.

Лагерь, в сущности, оказался западней. Тане почему-то никогда не приходила в голову простая мысль: гестапо не может не проверять постепенно всю эту огромную массу восточных рабочих, скопившуюся в трудовых лагерях. Было бы просто нелепостью, если бы оно этим не занималось! Ведь среди остарбайтеров могут быть и разведчики; сегодня, чтобы заслать человека в Германию, не нужны ухищрения, ему достаточно проникнуть на оккупированную территорию и в первом же городе зарегистрироваться на бирже труда. Когда рабочую силу гонят в рейх эшелон за эшелоном, проверять каждого трудмобилизованного нет никакой возможности; конечно, проверка производится потом, уже по прибытии

на место, — в гестапо получают копии лагерных списков, сличают имена, фотографии на кенн-картах, отпечатки пальцев…

Очевидно, Валю за что-то разыскивали, разыскивали не один месяц, пока не обнаружили здесь, в лагере Шарнхорст-Шуле. Но ведь и ее — бывшую сотрудницу Энского гебитскомиссариата — тоже не могут не разыскивать! Не может быть, чтобы тамошняя служба безопасности, узнав о ее побеге как раз в день отправки эшелона, не сделала соответствующих выводов. Вероятнее всего, начальник кадров гебитскомиссариата давно уже направил куда следует ее личное дело — с фотографиями, описанием особых примет и всем прочим. Значит, вопрос теперь только в сроках.

Из лагеря надо бежать, и бежать немедленно. Но как? Валерка прав — отсюда, из Рура, до польской границы не добраться. Нечего и пробовать. Но и оставаться здесь нельзя.

Аня Кириенко, спящая на верхней койке, заворочалась и пробормотала что-то во сне. Вот уж действительно, у каждого свои заботы! Этой дурище дают возможность покинуть лагерь, а она еще ревет. Деревенская жизнь ей, видите ли, не нравится.

И тут вдруг пришло решение — само по себе

пришло, такое простое, что Таня даже тихонько присвистнула и села на постели, обхватив руками коленки. Как она сразу не догадалась!

Через несколько минут план был обдуман во всех деталях. Надо только, чтобы инициатива исходила не от нее. Совпадение может показаться подозрительным — арест переводчицы и внезапно возникшее у номера 2316 желание убраться из лагеря. Нет, пусть к коменданту идет сама Кириенко. Пусть она скажет, что умолила и упросила одну свою приятельницу ехать вместо нее, что сама она так привязалась к своей старой и беспомощной хозяйке, что не может оставить бедную старушку без привычного ухода. И пусть хорошенько перед ним поревет — она хорошо это умеет, а комендант совершенно не переносит слез. Пусть поревет погромче, и тогда он, по обыкновению, схватится за голову и закричит: «Ну ладно, ладно, делайте что хотите, ну вас всех к черту!» Утром она поговорит с этой любительницей городской жизни — уверена, что та клюнет сразу.

Но утром поговорить с Кириенко не удалось. Та исчезла из лагеря раньше обычного, верно, побежала прощаться к своей старухе, а вечером весь Танин план, так хорошо продуманный, лопнул

как мыльный пузырь. Перед ужином (Кириенко еще не вернулась) в седьмую комнату заглянул парень из соседней, «холостяцкой», нашел взглядом Таню и поманил пальцем. Недоумевая, Таня вышла на лестничную площадку.

— Слышь, сестренка, какое дело, — сказал парень. — Тут ребята просили с тобой поговорить. Ты немецкий хорошо знаешь?

Таня готова была уже сказать, что вовсе не знает немецкого, но что-то ее удержало: очень уж непривычно-серьезным тоном говорил парень из восьмой комнаты, обычно они с ней балагурили, норовили ущипнуть, шлепнуть.

— Немецкий? Да так себе, — ответила она осторожно. — А что?

— Да понимаешь… Валя была хорошая девчонка, а кого теперь пришлют — неизвестно. Среди этих переводчиков такие бывают суки — страшное дело. Мы с ребятами и подумали…

— Что вы подумали?

— Ну, Валя говорила, что ты вроде шпрехаешь по-ихнему. Подойди к коменданту, заговори с ним, может, он сам тебя оформит как переводчицу…

— Зачем это мне? — возразила она испуганно. — Ты что!

— Тебе-то, может, и незачем, — согласился парень. — А лагерю это еще как нужно. Нам всем нужно, могла бы и сама сообразить.

— Мало ли что вам нужно! А мне нужно дожить до конца войны, ясно? Нашли себе козу отпущения!

— Ладно, кончай сопли распускать. Насилуют тебя, что ли? Валя тебе хорошую давала характеристику, поэтому мы и решили. Что ж, ошибочка вышла! Кому ты такая нужна, еще в комсомолках небось ходила…

Глянув на нее с презрением, парень ушел в восьмую комнату, хлопнув дверью. Таня осталась стоять на площадке, прикусив кулак. Да что же это такое в самом деле, до каких пор ей будут навязывать героические роли! Там Леша давил на нее могучим авторитетом комсорга: «Нам позарез нужен свой человек в комиссариате…» И этот в небесных подштанниках теперь туда же! Ну, это дурой надо быть, просто дурой, чтобы вот так — самой — лезть на рожон, подставляться под проверку… И почему обязательно ей? Без нее, что ли, не обойдутся, обходились же до сих пор. До сих пор, правда, была Валя. А если и в самом деле пришлют какого-нибудь фольксдойча? Иной раз от переводчика больше зависит, чем от комен-

данта, в этом они правы…

Таня заметила вдруг, что плачет, поспешно достала платок, вытерла глаза и долго, с отчаянием, сморкалась. Все-таки простыла, наверное, прав был конопатый. Подойдя к двери с цифрой 8, она громко забарабанила в филенку кулаком. Кто-то выглянул, спросил, чего надо.

— Позовите того, который сейчас со мной говорил, — сказала она, — да поживее!

Тот вышел, глянул на нее неприязненно:

— Ну?

— А ты не нукай! — Таня вдруг озлилась. — Вот что: если я стану переводчицей, может получиться так, что в один прекрасный день мне надо будет отсюда смываться. Вы в таком случае поможете?

— Чем?

— Ну, я не знаю — в другой лагерь перебраться хотя бы. Ты сказал: «Мы с ребятами подумали». У вас что, комитет какой-нибудь есть? Значит, и возможности должны быть.

— Там поглядим, если до этого дойдет, — ответил парень неопределенно. — Обещать, сама понимаешь, ничего не можем.

— Да уж понимаю! Обещать никто из вас ничего не может, вы только призывать умеете. Ладно,

завтра поговорю с комендантом…

На следующее утро, когда лагерники не спеша строились на аппельплацу, она подошла к Фишеру. Тот был явно в дурном настроении, с непонимающим видом листал списки и сердито бормотал что-то себе под нос.

— Прошу меня извинить, герр лагерфюрер, — сказала она непринужденным тоном, копируя берлинское произношение своей комиссариатской начальницы фрау Дитрих. — Могу я обратиться с небольшой просьбой?

— Валяй выкладывай, — буркнул тот, не глядя на нее.

— Я была бы вам так признательна, если бы вы сегодня разрешили мне не идти на общие работы. Дело в том, что вчера я растерла ногу, а эти деревянные башмаки…

— Знаю, знаю, кожаные были бы удобнее, согласен. Черт с тобой, иди мыть котлы, кофе сегодня смердит хуже обычного, уж не крысу ли вы там сварили, с вас станется…

Тут он вдруг уставился на нее ошалело, разинув рот.

— Постой, постой! Ты что — говоришь по-немецки?

— О, в весьма ограниченном объеме, герр лагер-

фюрер, — скромно ответила Таня. — Словарный запас, вы понимаете…

— Ничего не понимаю! Как ты здесь очутилась, дочь сатаны? Ты что — народная немка?

— Нет, нет, я русская, но мы в школе учили немецкий…

— Так какого же черта ты до сих пор молчала?! — заорал
Фишер. — Herrgottverdammtkruzifixnochmal![46] Вторые сутки — с тех пор как эти мерзавцы забрали Фалентину — я объясняюсь на пальцах, как глухонемой кретин, а эта ослица разгуливает тут с невинным видом! Словарный запас у нее, видите ли, мал! Я тебе такой словарный запас покажу, что ты неделю не сядешь! Ты что, не знала, что мне нужна переводчица? Марш в контору — в аптечке найдешь лейкопласт, заклей, что там у тебя растерто, — и немедленно обратно! Нам еще надо распределить людей по группам, а уже почти семь. Живее, я сказал!

Глава 5

К исполнению своих новых обязанностей Таня

---

[46] Notes: 46
Проклятье и еще раз проклятье! *(нем.)*

приступила с неохотой и даже страхом. Известные привилегии, на которые она теперь имела право, не компенсировали опасности, неизбежно связанной с положением лагерной переводчицы. Вместо того чтобы оставаться одним из нескольких сотен безликих «номеров», она торчала теперь на самом виду, привлекая к себе общее внимание — только этого ей и не хватало!

Она очень испугалась, когда несколько дней спустя Фишер спросил, печатает ли она на машинке; поспешила ответить, что нет, откуда же, где ей было научиться… «Жаль, — сказал комендант, — у меня тут чертова куча всякой писанины. Ты бы поучилась в свободное время, переводчица должна быть немного секретарем». Таня послушно начала учиться, но показала себя такой неспособной, что коменданту пришлось отказаться от мысли обзавестись секретаршей. Может быть, это было простым совпадением, а не проверкой?

Она была избавлена от физического труда, но свободного времени оставалось даже меньше, чем когда вкалывала в «шарашкиной команде». Приблизительно треть лагерного населения не имела постоянного места работы, и каждый день их направляли то туда, то сюда, в зависимости от

разовых заявок на рабочую силу, а это означало, что Тане приходилось каждый вечер допоздна сидеть над списками и бланками заявок, решая, кого куда послать. Убедившись, что переводчица справляется, комендант вмешиваться в эти дела скоро перестал, и лагерники теперь не давали ей проходу своими жалобами и просьбами — почти всегда обоснованными, но не всегда выполнимыми.

Много хлопот доставляли сектанты из шестой комнаты. Они отказывались ходить в баню, отказывались носить номерные жетоны, отказывались обращаться к врачу в случаях заболеваний, иногда отказывались даже работать — у них был какой-то свой особенный календарь, где определенные дни полагалось проводить в посте и молитве. Никакие попытки договориться ни к чему не приводили — Таня понимала, что кончится это плохо, но была совершенно бессильна что-нибудь сделать.

С середины декабря участились воздушные тревоги. Теперь почти каждый вечер, около десяти часов, по всей округе начинали орать сирены. Одна, какая-то особенно мощная, была установлена на крыше соседнего здания: включаясь, она издавала вначале хриплый, необычайно низкого

тона бычий рев, который повышался по мере того, как набирал обороты ее диск. Раскрутившись, сирена вопила пронзительно и исступленно, так что звенели оконные стекла, потом стихала, потом опять набирала силу. От одного этого воя можно было рехнуться.

Во время воздушной тревоги населению лагеря полагалось находиться в подвале, приспособленном под бомбоубежище; сигнал отбоя давали обычно уже за полночь, и эти три-четыре часа страха и ожидания в плохо вентилируемом, до отказа набитом бункере изматывали людей больше, чем самая тяжелая работа.

Самолеты пролетали, не сбрасывая бомбы. Их цели лежали пока восточнее — Бремен, Ганновер, Магдебург, Берлин. Но этого никто не знал заранее, и каждую ночь можно было ожидать, что бомбы снова посыплются на Рур, как весной этого года. О майских бомбежках лагерные старожилы вспоминали с ужасом, да Таня и сама уже несколько раз побывала в Эссене, своими глазами видела целые кварталы, превращенные в щебень взрывами «воздушных торпед», дотла выжженные фосфором и термитом.

Рур сильно пострадал, но он еще работал, еще дымили бесчисленные трубы, каждую ночь

небо полыхало багровыми заревами мартенов, выдающих плавку за плавкой, круглосуточно вращались колеса шахтных подъемников, работали прокатные, кузнечно-прессовые, инструментальные, сборочные цеха бесчисленных заводов. Но что все это было обречено, понимал всякий. Вопрос был лишь в сроках.

Таня тоже это понимала, но почему-то не испытывала особого страха. Два года назад (неужели прошло только два года?), дома, после той памятной бомбежки, ее бросало в дрожь от одного звука летящего самолета. А сейчас страха почти не было, хотя опасность возросла стократно. Та бомбежка покажется детской забавой в сравнении с тем, что произойдет здесь; в лагере были люди из Гамбурга — его этим летом сожгли за одну неделю, погибших было больше сорока тысяч. Таня думала об этом почти равнодушно. Чему быть — того не миновать.

В один из вечеров, когда тревога застала ее за работой в лагерной канцелярии, она решила не идти в убежище. Проревели и замолкли сирены, затих топот бегущих по лестницам; Таня выключила свет, подняла маскировочную штору и распахнула окно. Промозглая ледяная сырость декабрьской ночи хлынула в комнату.

Зябко обхватив плечи руками, Таня стояла долго, всматриваясь и прислушиваясь. Начали вспыхивать прожектора — она увидела два, потом еще три, потом их стало уже слишком много, чтобы сосчитать; размытые туманом голубоватые световые столбы обшаривали черное небо, качались влево и вправо, перекрещивались, сходились в пучки и расходились. Стало светлее, на фоне их призрачно колеблющегося зарева обозначались угольно-черные ломаные очертания крыш.

Где-то далеко впереди уже мерцали в туманной мгле тусклые короткие вспышки — это вели огонь зенитные батареи западнее Эссена; вспышки приближались, стал слышен далекий еще грохот орудий и почти одновременно — гул самолетов.

Таня почувствовала инстинктивное желание бежать и отступила от окна, но заставила себя остаться на месте. Еще никогда в жизни не слышала она ничего подобного этому чудовищному звуку, заполнившему, казалось, все небо от горизонта до горизонта; тысячи моторов мрачно и торжествующе ревели сейчас у нее над головой, в черной ледяной вышине, исполосованной прожекторами и словно кипящей огненными пузырями зенитных разрывов. На полнеба расплескивая кровавые зарницы, с

резким железным грохотом ударили пушки больших калибров, установленные в окрестностях, у Гельзенкирхена и Ваттеншайда. А англичане летели дальше — теперь уже было ясно, что и в эту ночь на их штурманских картах обозначены другие цели.

Захваченная жутким спектаклем, Таня не услышала, как за ее спиной отворилась дверь. Когда вошедший комендант окликнул ее, она вздрогнула от неожиданности.

— Почему не в бункере?! — крикнул он, подойдя.

— Там очень душно! — ответила Таня, стараясь перекричать всю эту вакханалию звуков. — Я думаю, здесь они не будут бросать! Летят дальше!

Комендант закрыл окно и опустил штору. В комнате стало потише. Не включая света, он присел на край стола и закурил.

— Да, здесь не будут, — сказал он. — Сейчас они бомбят Кассель, а вторая волна пошла дальше — в направлении Лейпциг, Галле.

— Уже было сообщение?

— Только что — «тяжелый террористический налет». Ты, надо полагать, чувствуешь глубокое удовлетворение?

— Нет, — сказала Таня, помолчав. — Я сама

была однажды под бомбежкой, правда, не такой тяжелой.

— Где это было?

— У меня дома, в России.

— Тогда тем более! Своими глазами видишь, как приходит справедливое возмездие, не правда ли?

— Может быть, но ведь умирают не те, кто виноват…

— О, я знаю, у тебя всегда готов ответ. И кто же виноват, по-твоему?

— Я думаю, — убежденно ответила Таня, — что в этой войне виноваты масоны, евреи, всякие плутократы, я хочу сказать.

— Ах, плутократы! Ну-ну. Но может быть, и нам — немцам — тоже хотелось немножко повоевать, а? Может быть, нам действительно не хватало пространства?

Комендант включил настольную лампу и теперь испытующе смотрел на Таню, ожидая ответа. Разговор становился опасным.

— Я не знаю, — сказала Таня, пожав плечами. — Разрешите, я пойду вниз?

— Подожди-ка, — сказал комендант. — Ты мне не ответила! Так как насчет жизненного пространства? По-твоему, это выдуманная проблема

для нас, немцев?

— Но ведь таким путем ее все равно не решить, правда? Жизненного пространства у вас все равно не прибавится, я думаю.

Комендант усмехнулся:

— Это ты думаешь теперь, когда мы проигрываем войну. Год назад, когда мы были на Волге и на Кавказе, ты так не думала. И никто не думал! Это чепуха — все эти разговоры о виновности и невиновности. Не знаю, как насчет плутократов, но в этой стране войны хотел весь народ. Слышишь? Весь без исключения! Партия никогда не скрывала своей программы, она выступила с нею совершенно открыто, она открыто готовила немцев к войне за жизненное пространство. И немцы с радостью готовились! Так что бремя ответственности за случившееся несут все. В том числе и те, кто в эти минуты сгорает живьем от английского фосфора. Единственно, кто действительно не виноват, это дети. Детей жаль. Это страшно, когда маленькие умирают под бомбами, страшнее нет ничего. Но может быть, им все-таки лучше умереть сейчас, чем потом пережить то, на что Германия себя обрекла… Ну что ты смотришь на меня своими загадочными славянскими глазами? Забудь все, что я наговорил,

проверь маскировку и ступай в бункер, нечего здесь торчать. Они могут сбросить остаток бомб на обратном пути.

На немецкое Рождество окончательно установилась зима. Выпал снег, стояли ясные солнечные дни с легким морозцем. Жизнь в лагере Шарнхорст шла без изменений — каждое утро люди вставали по сигналу побудки, дежурные таскали бачки с эрзац-кофе, резали хлеб — буханку на четверых, раздавали «цулагу»[47] — иногда это был маргарин, иногда мармелад, иногда конская колбаса — каждая порция размером с половину спичечной коробки. Позавтракав и намотав на себя все, что можно, лагерники выходили на аппельплац, где в морозном тумане тускло светились синие фонари вдоль опутанного колючей проволокой забора. До вечера здание затихало, только штубендинсты[48] мыли полы, драили лестницы и площадки, разносили по комнатам суточные порции угля. Следить за всем этим тоже входило в Танины обязанности, но она своим правом надзора не злоупотребляла, и днем ей

[47] Notes: 47
Zulage — дополнительный паек *(нем.)*.

[48] Notes: 48
Stubendienst — дневальный *(нем.)*.

иногда удавалось выкроить два-три свободных часа, чтобы постирать или поштопать, а то и почитать что придется. В немецких журналах недостатка не было — почти каждый вечер кто-то из обитателей седьмой комнаты приносил какой-нибудь «Иллюстрирте», кельнский, или берлинский, или мюнхенский. Было в комнате и несколько зачитанных до дыр книг, прихваченных кем-то еще из дома, — «Боги жаждут», «Разгром», несколько старых русских романов и даже изданная в Риге приключенческая повесть некоего Солоневича, густоантисоветская, но довольно занятно написанная. Комендант против чтения вообще не возражал; он только предупредил Таню, что если в лагере будет обнаружена хоть одна советская книга, то ей — переводчице — определенно несдобровать. А то, что лагерники читают Золя, он далее одобрил: «Разгром», по его мнению, надолго прославил прусскую победу под Седаном.

— Содержащиеся в книге выпады против немцев следует отнести за счет шовинистических настроений автора, — разъяснил он. — Было бы странно, напиши француз иначе.

Когда Таня спросила, относится ли к числу запрещенных авторов Анатоль Франс, он помор-

щился.

— Вообще — безусловно, — сказал он. — Но «Боги» пусть остаются, там ярко изображены преступления якобинской революции.

— А почему вообще Франс у вас запрещен?

— Немецкому мировоззрению чужд его ядовитый скептицизм, поэтому нам Франс не нужен.

— Простите, я не поняла, — сказала Таня. — Зачем запрещать то, что чуждо? Если вы перед собакой положите охапку сена, то излишне говорить ей «нельзя», потому что она и без всякого запрещения его не тронет. Другое дело, если это кусок мяса, которого она давно не ела…

— Послушай-ка, переводчица, — сказал комендант. — Я давно заметил, что язычок у тебя хорошо подвешен, но он гораздо длиннее, чем рекомендуется в наше время. Поэтому держи его за зубами, если не хочешь разделить печальную участь твоей предшественницы…

Подошел Новый год. Вечером тридцать первого лагерники получили «праздничный паек» — дополнительный хлеб, колбасу, семейным с маленькими детьми выдали по три штучки какого-то печенья на сахарине; гемюза, привезенная в этот вечер, была вполне съедобна и даже попахивала мясом — очевидно, ее заправили бульонным

экстрактом. После ужина в бывшем актовом зале, убранном еловыми ветвями и гирляндами бумажных флажков, начался небольшой концерт силами лагерной самодеятельности — в программе были украинские и русские народные песни, несколько сольных номеров на губной гармонике, фокусы, показанные бывшим иллюзионистом из какого-то периферийного цирка, подвизающимся сейчас в «шарашкиной команде».

Комендант, против обыкновения принаряженный, в черном костюме с партийным значком на лацкане, сидел в первом ряду рядом с Таней, после каждого номера аплодировал и удовлетворенно говорил: «Schön, schön»[49]. Когда концерт окончился, он поднялся на эстраду, поздравил лагерников с наступающим Новым годом и пожелал всем мира и победы. Чья победа имелась в виду, Фишер не уточнил.

— Зайди потом в канцелярию, — сказал он Тане, когда люди стали расходиться по комнатам.

Когда она зашла в канцелярию, комендант сидел за своим столом под портретом Гитлера, на столе стояла бутылка, две эмалированные кружки. Занят был Фишер обычным делом, за которым

---

[49] Notes: 49
Прекрасно, прекрасно *(нем.)*.

Таня часто его заставала: препарировал очередную порцию принесенных лагерниками окурков. Найти на тротуаре окурок было большой удачей, за ними охотились и немцы из цивильных, но у военных бросить не до конца докуренную сигарету считалось особым шиком, потому улов — хотя и небольшой — был, и некурящие либо выменивали добычу, либо сдавали коменданту. К регулярным своим поставщикам он был особенно благосклонен и обычно назначал на более легкие работы, связанные с пребыванием на свежем воздухе.

Внимательно исследовав окурок, Фишер вскрывал его лезвием безопасной бритвы, осторожно отделял обгоревшие частицы начинки, а сохранившийся табак так же бережно ссыпал в баночку.

— Да, да, это не очень гигиенично, согласен, — сказал он, заметив, с каким отвращением Таня наблюдает за его работой. — Но если куришь в трубке, ничего страшного — при сгорании все обеззараживается… Ладно, доделаю завтра, на сегодня хватит.

Убрав недорезанные окурки в ящик стола, он сжег в пепельнице оставшиеся от выпотрошенных обрывки папиросной бумаги, тщательно

вымыл руки и вернулся к столу.

— А теперь можно и попраздновать. — Он указал на бутылку и уважительно поднял палец: — Шнапс! Настоящий шнапс, понимаешь? Большая ценность по нынешним героическим временам. Сейчас мы с тобой выпьем за Новый, тысяча девятьсот сорок четвертый год, но сначала я хочу сделать тебе маленький презент…

Он полез в карман и достал флакончик духов.

— Держи, переводчица, — сказал он, протягивая ей подарок. — Здесь, в лагере, тебе не до всяких таких штучек-дрючек, но восприми это символически — как залог лучшего будущего. Духи, конечно, дрянь, эрзац какой-нибудь, я не эсэс-группенфюрер, чтобы дарить парижские. Зато от души!

— Спасибо, господин Фишер, я искренне тронута.

— И заметь — без всякой задней мысли. Я ведь не пытался склонить тебя к сожительству?

— Нет, насколько я могла заметить.

— О, уж это ты бы заметила! Фишер был когда-то малый не промах, что верно, то верно. Правда, никогда не позволял себе использовать для этих целей служебное положение. Тем более в данной ситуации! Так что, переводчица, за свою невин-

ность можешь не опасаться. — Он подмигнул и разлил шнапс по кружкам. — Прозит!

Таня, держа флакончик в кулаке, подняла кружку и сделала глоток. Шнапс оказался невероятно противным на вкус, она не удержалась от гримасы. Фишер, спохватившись, достал из стола пакет в вощеной бумаге.

— Совсем забыл — я тут организовал тебе пару бутербродов, съешь, а то станет плохо.

Она взяла, стала жевать — машинально, не разбирая вкуса, шнапс уже ударил в голову, и ей пришлось сделать усилие, чтобы понять то, что говорил Фишер.

— …быть благоразумной и держать язык за зубами — вот все, что от тебя требуется, — говорил он, — иначе ты просто не доживешь до конца этого великогерманского свинства. А оно кончится рано или поздно, надо только уметь дождаться… Ты помнишь, мы как-то говорили о французской революции — ну, ты меня спросила насчет Анатоля Франса. Так вот, был такой аббат именем Сийес, современник Дантона, Робеспьера и прочих умников. Любил побаловаться политикой, был депутатом Национального собрания, даже одно время его президентом, но при терроре вел себя тихо и от гильотины ускользнул… как ни

странно, да. Потом снова ожил, побывал послом у нас, в Берлине, консулом при Бонапарте, ну и так далее. Так я это к чему? Сийеса однажды спросили — что он делал во время террора? Он пожал плечами и ответил: «Я жил». Запомни эти гениальные слова, переводчица. Ибо бывают в истории эпохи, когда от мудрого человека требуется одно — выжить. Хотя я далек от мысли причислять тебя к мудрым людям, ты скорее хитра, это нечто иное, но Бог с тобой, я искренне хотел бы, чтобы ты выжила. И даже готов за это выпить. Прозит!

— Спасибо, — отозвалась она едва слышно, через силу допила шнапс и поставила кружку на стол. — Не наливайте мне больше, я не могу…

— Больше я тебе и не предлагаю, еще чего, остальное выпью сам. А ты ешь, ешь!

Странно, от бутерброда почему-то пахло духами. Ах да, подарок… Флакончик был все еще зажат у нее в кулаке, она поднесла его к носу, понюхала — запах немного походил на «Красную Москву». Таня крепко зажмурилась и, уронив на колени флакончик и недоеденный бутерброд, беззвучно заплакала.

А наутро проснулась совершенно больной — трещала голова, от одной мысли о еде мутило.

К счастью, день был нерабочий, по случаю Нового года лагерников не погнали даже на обычные воскресные работы по разгрузке вагонов. В седьмой комнате было тихо, часть обитателей уехали в Эссен, получив увольнительные до вечера, другие отсыпались.

Таня заставила себя встать, запила таблетку аспирина горьким остывшим кофе и снова легла, задернув занавеску у своей койки, — чтобы никого не видеть и не слышать. Головная боль стала понемногу утихать. Из соседней комнаты — восьмой, «холостяцкой» — слышалось пение под гармошку — хлопцы, видимо изрядно хватившие вчера технического спирту, без зазрения совести горланили советские песни — «Катюшу», «Спят курганы темные». Да ну их, подумала Таня, пусть себе поют, едва ли в такой день может оказаться в лагере какой-нибудь немецкий чин со стороны. А Фишеру на такие дела плевать, его можно не опасаться.

Доорав про парня, который вышел в степь донецкую, хлопцы с еще большим воодушевлением затянули «Любу-Любушку». Таня, постанывая от ломоты в висках, осторожно повернула голову на подушке, увидела рядом давешний флакончик и опять понюхала, закрыв глаза.

«Нет на свете краше нашей Любы» — это лето сорокового года, неутомимые рупоры громкоговорителей на сочинском пляже, горячая шершавая галька и блещущее море до самого горизонта, это непонятные Дядисашины разговоры с соседями по столу — Дюнкерк, Гудерьян (она однажды спросила, кто это, и очень удивилась, как армянин стал немецким генералом), танковые клещи, окружение — все то, что вошло в общеразговорный язык годом позже… А потом грохот колес, мчавших ее домой в Энск, к Сереже, плавное кружение золотых, уставленных скирдами, полей за широким пыльным окном международного вагона, запах духов и паровозного дыма в лакированной, бархатно-зеркальной кабинке купе, и она сама, шестнадцатилетняя, замирающая от ожидания встречи и от мысли, что у нее не хватит денег расплатиться с проводником…

Для нее эта старая простенькая мелодия — тот вечер первого сентября, обрывки музыки с танцплощадки, звезды в вершинах серебряных от луны тополей, и твердое Сережино плечо, и стук его сердца, и их торопливые поцелуи. Это — вся та ночь, промелькнувшая как одна секунда, прохладный голубоватый рассвет на проспекте Фрунзе, пустые трамваи и пустая гулкая лестница

в спящем еще Доме комсостава, тихое, словно замершее в ожидании чуда, первое утро их любви.

А «Катюшу» — точно так же, с такими же рыдающими переборами, — выводила в толпе гармонь там, на сортировочной, в те последние страшные минуты, когда уже не было ни слов, ни мыслей, ничего, кроме леденящего сознания наступившей в мире пустоты. Когда уже никакими поцелуями, никакими объятиями нельзя было удержать его, стоявшего перед нею в солдатской одежде, в пилотке и гимнастерке с коротковатыми, не по росту рукавами. «Выходи-и-ла на берег Катю-у-ша!» — пели в вагонах, а вагоны шли быстрее и быстрее, громыхая на стыках и обгоняя бегущих, и она бежала вместе с другими, спотыкаясь, ослепнув от слез и не видя ничего, кроме огромного закатного зарева впереди, там, куда убегали, обгоняя ее, красные громыхающие вагоны…

Все это было ее прошлым, а прошлое было частью ее самой, оно определяло ее настоящее и, вероятно, ее будущее. Что ей могла дать спасительная «мудрость» аббата Сийеса!

Конопатый орловец Валерка подстерег ее на лестнице поздно вечером, когда она возвращалась к себе из канцелярии.

— Тань, ты в воскресенье сможешь съездить в Эссен? — спросил он вполголоса, поднимаясь вместе с нею. — Там один парень хочет тебя видеть…

Таня остановилась.

— Какой парень? — спросила она, изумленно глядя на своего бывшего сподвижника по «шарашкиной команде», которого ей удалось вытащить оттуда и устроить на постоянную работу в Эссен, в какую-то деревообрабатывающую мастерскую.

— Наш, остовец, — он про тебя спрашивал, это в том лагере, откуда нам гемюзу возят, знаешь?

— Гемюзу нам возят из Фридрихсфельда. А ты что там делал? И почему этот парень обо мне спрашивал?

— Да я почем знаю! Мы там работаем, от мастерской, бараки ремонтируем. С самого Нового года. Он вчерась подошел и спрашивает, с какого мы лагеря. А я говорю: со Штееле. Он говорит: это что в школе или что в бараках? Я говорю: в школе. Он тогда спрашивает, как, мол, у вас зовут переводчицу, не Татьяной ли…

У Тани перехватило дыхание.

— Как он выглядит? — шепнула она, боясь поверить догадке.

— Да так, — Валерка неопределенно пожал плечами, — вроде рыжеватый. А лицо такое корявое, вроде бы от оспы. Ростом невысокий, с меня будет, только пошире.

— Ну хорошо, — сказала Таня разочарованно. — Так зачем я ему понадобилась?

— А он не говорил. Сказал: спроси, мол, у нее, сможет ли взять в воскресенье увольнительную часа в три. Нужно, мол, поговорить. И если сможет, чтоб передала, где будет.

— Я могу, конечно… но только нужно заранее спросить у коменданта, а сейчас он уже ушел. Завтра я спрошу и вечером передам тебе, а ты послезавтра ему скажешь. Сегодня среда? Ну вот, это будет как раз пятница, успеешь…

На следующий день она сказала Фишеру, что хочет в воскресенье съездить в Эссен, и попросила дать увольнительную сразу, чтобы потом не забыл. Тот не стал возражать.

— Только никаких кино! — заявил он, прихлопнув лагерной печатью заполненный бланк. — Попадешься — я тебя выручать не стану.

Таня заверила его, что в кино не пойдет.

— В таком случае переводчица отправляется на свидание? Что ж, война войной, а любовь любовью. Духи, я вижу, пригодились раньше, чем я

предполагал?

— Так точно, господин комендант. — Таня улыбнулась. Вечером она сказала Валерке, что в воскресенье в три часа будет у главного вокзала, где «Дом техники».

— А как он меня узнает? — спросила она. — Ты вот что — скажи, что у меня в левом кармане будет торчать русская газета. «Новое слово» — знаешь?

— Знаю, — снисходительно ответил Валерка. — Читал я эту брехаловку. В левом, говоришь? Ладно, я передам.

По мере того как приближалось воскресенье, ее волнение все росло. Кому и зачем она могла понадобиться? Неужели кто-нибудь из Энска?

Когда пришел долгожданный день, она так торопилась, что не рассчитала времени и приехала на вокзал Эссен-главный почти за час до назначенного срока. Был тусклый январский день, медленный снег беззвучно ложился на мокрый асфальт, тут же превращаясь в слякоть под ногами прохожих. Поглядывая на часы, Таня обошла всю привокзальную площадь до отеля «Хандельсхоф» и назад к виадуку, порассмотрела витрины, постояла у журнальных киосков. Без четверти три она уже стояла на условленном месте, на углу

у многоэтажного, полностью выгоревшего изнутри кирпичного остова с уцелевшими наверху огромными буквами «Haus der Technik».

Она прождала десять минут, двадцать, полчаса — никто не шел. С железнодорожных путей, расположенных, как во всех здешних вокзалах, на втором ярусе, доносился гул проходящих поездов, свистки, удары колокола. Пришел, очевидно, поезд дальнего следования — из вокзального подъезда повалил народ, солдаты-отпускники с винтовками, чемоданами и рюкзаками, прошла шумная толпа бородатых моряков в черных шинелях. Таня, уже порядком озябшая в своем легком пальтишке (тоже подарок коменданта), с любопытством посматривала на прохожих — в лагере отвыкла от новых впечатлений. Словно завороженная, проводила она взглядом нарядную и ослепительно красивую женщину, вышедшую из вокзала с небольшим крокодиловой кожи чемоданчиком в руке. Приезжая была явно иностранкой — темные, красиво причесанные волосы, синее широкое пальто необычного покроя, легкие туфельки на остром французском каблуке — все это сразу выделяло ее из толпы немецких женщин, которые никогда не ходили с непокрытыми головами, одевались в темное

и носили грубую обувь на толстой подошве. Кроме того, на ее лице была косметика — вещь совершенно необычная для Германии сорок четвертого года. Женщина эта прошла как существо из иного мира, где нет ни войны, ни карточек на хлеб и текстиль, где можно следить за своей внешностью, обдумывать прическу и туалеты, путешествовать…

Таня дошла до угла, у выгоревшего изнутри портала сохранилась на стене рекламная эмалированная дощечка «Norddeutsches Lloyd» с изображением белого парохода на фоне какой-то сине-оранжевой экзотики, повернула назад. Было уже половина четвертого. Наверное, никто не придет. Что за дурацкий розыгрыш? Разозлившись, она уже решила, что подождет еще пять минут и уйдет. И тут ее негромко окликнули сзади.

Она обернулась с замершим сердцем — перед ней стоял человек, довольно точно описанный Валеркой, коренастый, с рябым от оспы лицом.

— Татьяна? — спросил он, коснувшись газеты, которая торчала из ее кармана. — Извини, припоздал. Давно ждешь?

— С полчаса, — ответила Таня. Она с удивлением заметила, что на нем нет нашивки «OST»;

и вообще по одежде его нельзя было отличить от немца-рабочего — такая же двубортная поношенная теплая куртка, пестрый вязаный шарф, темно-синяя суконная фуражка-тельманка. — Вы хотели меня видеть?

— Ага. Пойдем-ка поговорим по пути.

— Куда?

— Ну, просто пройдемся, чтобы не стоять. Озябла, небось? Хорошо бы погреться, тут вон напротив есть забегаловка — вроде наших «американок», помнишь? — дают какую-то баланду без карточек, называется «штамгерихт»[50], но только народу там всегда — не протолкнешься. А поговорить надо без посторонних. Так что, может, потом поедим?

— Ничего-ничего, я не замерзла, — соврала Таня.

Они пошли вдоль кирпичной стены путепровода, от площади.

— Послушай, — сказал Танин спутник, — я буду без предисловий. Ребята из вашего лагеря считают, что ты человек надежный, и Валя тоже хорошо про тебя отзывалась…

— Вы знали ее? — спросила Таня, останавли-

---

[50] Notes: 50
Stammgericht *(нем.)* — дежурное блюдо.

ваясь.

— Знал, раз говорю. Идем, идем.

— Что с ней?

— С ней плохо, засыпалась она, сама ведь знаешь. Так вот, слушай, есть к тебе одно небольшое дельце. Сможешь устроить — хорошо, не сможешь — ладно, будем искать в другом месте. Но только в таком случае — молчок. Поняла? Ты меня не видела и со мной не встречалась. Я говорю — для твоей же безопасности. Поняла? Если ты, скажем, сболтнешь кому-то про наш разговор и дойдет это до немцев — до меня они то ли докопаются, то ли нет, но уж тебя-то так просто не отпустят. Ну, ты не маленькая, сама понимаешь.

— Что вы, — обиделась Таня. — Неужели вы считаете меня способной на предательство!

— Считал бы, так мы бы тут с тобой не разговаривали. Короче, Татьяна, дело вот в чем. Хорошо бы в ваш лагерь сунуть одного парня, но так сунуть, чтобы комар носу не подточил. Провести по спискам задним числом, будто он у вас давно. Дело опасное, врать не буду, так что ты подумай хорошенько и прикинь — сумеешь ли это спроворить, чтобы не засыпаться к чертовой матери. Скажем, недельку подумай.

— Я… я не знаю, — сказала Таня со страхом. —

Конечно, можно попробовать, но… ведь лагерные списки есть и в арбайтзамте, и если обнаружится расхождение…

— Это мы понимаем, что списки там есть. Но расхождение обнаружится только в том случае, если будет проверка; поэтому надо сделать так, чтобы им не пришло в голову проверять. В этом и задача! У вас вообще проверки часто бывают? Вот это все ты и выясни. Не выйдет так не выйдет, что ж делать. Тогда будем пытаться в другом месте. Но хорошо, если бы получилось. Это очень нужно, Татьяна. И тянуть с этим нельзя. Ну, скажем — от силы неделя сроку…

Они дошли до угла совершенно разрушенного квартала. Среди запорошенных снегом развалин копошились люди в полосатой одежде кацетников, двое на вершине раскачивающейся пожарной лестницы крепили трос в оконном проеме уцелевшего обломка фасада, торчащего подобно огромному зубу высотой в четыре этажа. Закончив работу, один из них махнул рукой, лестница поползла вниз. Пожарная машина отъехала в сторону, застрекотала лебедка, трос стал медленно натягиваться. Когда натянулся как струна, стрекотание лебедки замедлилось, стало глуше. Обломок фасада дрогнул, начал клониться — сна-

чала едва заметно для глаза, потом быстрее — и наконец рухнул, разваливаясь еще в воздухе.

— Пошли обратно, не надо здесь стоять, — сказал Танин спутник, — возле хефтлингов даже немцам запрещено задерживаться. Так ты подумаешь над этим делом?

— Подумаю. — Таня кивнула. — Я вам через неделю отвечу, ладно?

— Договорились, — сказал рябой. — Ну а теперь пошли поедим. Попробуешь, что у них там за штамгерихт.

В забегаловке оказалось действительно много народу. Взяв у входа два алюминиевых жетона, рябой отдал их Тане.

— Иди вот туда, возьми ложки, я займу очередь к кассе. Бляшки потом сдадим на выходе, иначе не выпустят, скажут, что ложки сперли. У немцев все продумано!

Таня взяла ложки в обмен на свои жетоны, рябой тем временем успел уплатить и получить две порции похлебки. С мисками в руках они потолкались по переполненному помещению, пока не нашли места у одного из высоких круглых столиков. Штамгерихт оказался ненамного лучше лагерной баланды, но он был горячий, и Таня уничтожила свою порцию с аппетитом.

— Кто, собственно, сюда ходит? — поинтересовалась она.

— Больше иностранцы из всяких вольнонаемных, ну и немцы, кто победнее. У них тоже жизнь не масленица. Русских и поляков сюда обычно не пускают, так что ты, если будешь заходить, «ост» не показывай. Гляди, как это делается…

Он расстегнул верхнюю пуговицу на своей куртке и отогнул лацкан — сине-белый лоскут был пришит на другой его стороне.

— Можно и так, и этак, видишь?

— Действительно, до чего удобно! — восхитилась Таня. — А я еще подумала — почему вы без «оста». Но так разве позволяют?

— Мало ли чего не позволяют. В крайнем случае заставят перешить на рукав, долго ли отпороть…

Когда они вышли на улицу, было уже темно.

— Тебе в Штееле? — спросил Рябой. — Идем, провожу до трамвая. Ответ ты тогда передашь через Валерку — скажешь просто: «да» или «нет». Если «да», то встретимся тут же, когда тебе удобнее…

Глава 6

Дрезден был ему глубоко противен. Противна была вся Германия, причем не только эта, нынешняя, погрязшая в национал-социалистической гнусности, но даже и прежняя, всегдашняя, Германия вообще — не меняющаяся от режима к режиму, всегда ordentlich, всегда sehr gemütlich[51], всегда непоколебимо довольная собой и при кайзере, и при фюрере, и при ком угодно; противны были немецкие города, одинаково — что новые, бездушно разлинеенные и однообразные, что старые, маниакально кичащиеся своей древностью, подслеповатыми окнами-бойницами, фахверковыми фасадами в кривых переулочках, угрюмыми шестисотлетними кирками; но из всех немецких городов едва ли не самым противным представлялся Дрезден, напыщенный, весь в пышнозадом барочном купидонстве вперемешку с бидермайером и купеческим модерном начала века, помешанный на своем куртизанском прошлом и культе Августа Саксонского…

И дрезденцы тоже не вызывали симпатии —

---

[51] Notes: 51
Упорядоченная… очень уютная *(нем.)*.

филистеры, сукины дети, патриоты околоточного масштаба: «Цвингер, о-о! Хофкирхе, ах-х!» Может быть, не восторгайся они так своей «Флоренцией на Эльбе», не выражай таких неумеренных восторгов по поводу каждой изваянной Пермозером нимфы и каждого карниза с завитушками, придуманного Бэром или Пеппельманом, и сам Дрезден не вызывал бы раздражения. Ну что, город как город — не Париж, понятно, не Прага, но вообще вполне приличный. Только зачем объявлять его восьмым чудом света?

Ридель вполне разделял его чувства — и к Германии вообще, и к Дрездену в частности. У него была своя классификация городов, лучшим в мире он считал Сингапур, где бордели отвечают самому тонкому вкусу, а в Европе первым шел его родной Инсбрук, за ним Вена, а за нею какой-то никому, кроме самого Риделя, не известный Моршин в Галиции, где он однажды до войны провел незабываемое лето, наслаждаясь любовью совершенно обольстительной польской графини и бимбером домашнего изготовления.

— Всякий город должен вырастать постепенно, как растет лес, — объяснял он Болховитинову, — Дрезден же — это артефакт, он весь выдуман, в нем нет ни грана органичного. Просто, когда

этот коронованный жеребец курфюрст Август стал еще и польским крулем и получил право титуловаться Augustus Rex, слава ударила ему в голову, и он решил переплюнуть французского Людовика с его Версалем, для чего начал возводить Цвингер, строить дворцы для своих шлюх и скупать картины по всей Европе…

— А как тебе нравится теперешняя архитектура, — подхватывал Болховитинов, — одна табачная фабрика возле Веттинского вокзала чего стоит — купол, минареты, обалдеть можно! А Новая Ратуша — это же казарма с башней, ни пропорций, ничего…

— Хе-хе, тут еще не то бывало! На Выставке, возле Музея гигиены, в двадцатые годы вылупился дом-ядро, шар диаметром в пять этажей. Воображаешь? При Адольфе, правда, его сразу снесли, поскольку автором проекта был иудей…

Во всем этом было много эмигрантщины, Болховитинов сам это понимал. Эмигранта ведь медом не корми, а дай позлословить насчет места, куда он в данный момент заброшен судьбой. В Праге русские в своем кругу обожали судачить о том, что чехи — это вообще черт знает что: по крови вроде славяне, а как онемечились — истинными стали колбасниками, к тому же разве не чешские

легионеры продали большевикам Колчака. Того же типа разговоры шли и в парижской колонии, обитатели 15-го аррондисмана вечно перемывали косточки французам — и сантимщики-де они, любой фермер удавится за пять су, и безбожники, недаром Вольтера породили, и войну-то мировую выиграли кровью русского солдата, в благодарность за что и поручили Морису Палеологу состряпать масонский заговор против престола, поддерживая гучковых, керенских и прочую сволочь…

Брюзжали и негодовали не только по поводу национальных качеств того или иного народа, такому же решительному осуждению подвергалось вообще все — где бы эмигрант ни жил, окружающее не могло идти в сравнение с тем, что было там, дома. В Брюсселе слишком дождливо, в Париже зимой слишком сыро, а летом нечем дышать из-за бензиновой вони, где-нибудь в Канне или Ментоне слишком жарко, вместо березок одни пальмы, а уж как мистраль задует — вообще житья нет…

Он, правда, всегда считал эту вздорную эмигрантскую ксенофобию явлением чисто русским — с другими эмигрантами общаться не случалось. А вот теперь нашел ее же и у Риделя — тот

ведь, в сущности, тоже был эмигрантом, хотя Болховитинов не совсем понимал, что заставляет его торчать здесь, в Германии; сам Ридель объяснил это тем, что предпочитает находиться подальше от дома, покуда там хозяйничает мерзавец Гофер, — это же как надо было вызмеиться, отыскать для Тироля гауляйтера с такой фамилией, чтобы все считали его потомком того, казненного в Мантуе![52]

— Мне, конечно, проще было бы смыться прямо в Швейцарию, — сказал он однажды, — в тридцать восьмом это было довольно легко, многие так и сделали; но вот тут я, признаться, попросту спасовал — как представил себе, что ведь уедешь, и потом неизвестно, сможешь ли вообще вернуться, — нет, не смог. Германия дело другое, тут я вроде и в эмиграции, а в то же время и домой съездить могу, коли очень уж потянет…

— Хороша «эмиграция», — заметил на это Болховитинов, — из горшка да на сковородку. Здесь, что ли, не те же гауляйтеры?

— Да на здешних мне плевать, какое мне дело до здешних! Партайгеноссе Мутшман пусть всю свою Саксонию хоть раком поставит, меня это

[52] Notes: 52

Национальный герой Тироля Андреас Гофер в 1809 году возглавил восстание против французов.

не волнует, немцы сами кашу заварили, теперь пусть жрут до отвала…

Неясным каким-то человеком был этот Людвиг Ридель — бабник и выпивоха, вроде бы неглупый и порядочный, а в то же время обыватель, открыто исповедующий самые обывательские взгляды на жизнь и даже ими как бы гордящийся — вот, дескать, ничего из себя не строю, весь на виду, таким меня и принимайте… В этом смысле Болховитинову не повезло с единственным приятелем, которым он обзавелся в Германии; в конце концов, есть же и среди тевтонов люди как люди. Так нет — подвернулся типичнейший бюргер, а по-русски сказать — мещанин, мещанин до мозга костей. Спасибо хоть, что не той породы, кого в теперешней России называют «стукачами» (загадочное словцо, он так и не смог раскопать его этимологию); с тирольцем можно было говорить откровенно о чем угодно, не опасаясь последствий.

Там, на Украине, он с Риделем не откровенничал, а тот делал вид, что ни о чем не догадывается, и даже в своей обычной скабрезной манере одобрял оперативность коллеги, сумевшего заарканить недурственную девчонку из резерва, можно сказать, самого гебитскомиссара. Только

этим летом, когда он вернулся из Винницы и узнал о случившейся беде, Ридель совсем уже другим тоном спросил его, не нужна ли срочная помощь, и сам, первый, сказал, что уже интересовался в гестапо и выяснил, что арестованная переводчица советника Ренатуса действительно бесследно исчезла по пути из Воронцовки в Энск. Он, выходит, давно сообразил, что Таня каким-то образом связана с подпольем, и держал язык за зубами. Болховитинов это оценил.

Теперь здесь, в Дрездене, где он уже не рисковал ничем, кроме собственной головы, прятать от Риделя свои настроения было бы и вовсе ни к чему. Другое дело, что особенного смысла не было и в том, чтобы ими делиться, — нацистов Ридель презирал, но говорить о какой-то «борьбе» с ними считал недостойным мыслящего человека.

— На фронте — пожалуйста, — пояснил он, — будь я помоложе и похрабрее, с превеликим удовольствием перебрался бы на ту сторону и поступил добровольцем… куда — это уже деталь. Я бы не отказался от бомбардировочной авиации! Представляешь, как здорово — подлететь к какой-нибудь огромной куче дерьма типа Берлина или Нюрнберга, хорошенько прицелиться и с высоты трех тысяч метров вывалить на нее сотню

центнеров тротила. Это было бы неплохо, но, увы, терпеть не могу летать, всегда плохо переносил болтанку. Бороться же здесь, сидя в тылу, — это вздор и самообман. И вообще, чего ради? Бороться против нацизма как государственной системы уже бессмысленно, система эта издыхает, а нацизм как система взглядов неистребим: задавят его здесь — завтра он вылезет в другом месте и под другим названием и, скорее всего, кстати, у вас в Москве…

Предаваясь этим своим рассуждениям, Ридель делался непереносим, разговаривать с ним становилось невозможно — ну что можно сказать человеку, который бахвалится перед тобой собственным цинизмом? Начни возражать всерьез, и окажешься в положении дурака, провозглашающего общеизвестные истины; соглашаться для виду — еще глупее, а отшутиться, подхватив разговор в таком же ерническом ключе, язык не поворачивается. Болховитинов понимал к тому же двусмысленность своего собственного положения. Как и Ридель, он служил у немцев, пошел на эту службу сам, обдуманно и сознательно (по каким причинам — вопрос уже другой), и разглагольствовать теперь насчет того, что вот, мол, сидим тихо и мирно, приспособились, стали

коллаборантами, — не выглядит ли это самым настоящим ханжеством? Поэтому разговоры о возможности «что-то делать» были между ними крайне редки, если не считать беглых замечаний по этому поводу. А кроме Риделя, рядом не было вообще ни одного человека, способного хоть как-то избавить его от ужасающего чувства одиночества.

Мысль о том, чтобы обзавестись любовницей, казалась теперь чудовищной, хотя раньше он относился к этому иначе — бывали у него подружки в Париже (француженки; с соотечественницами никогда себе ничего не позволял), и даже здесь в позапрошлом году — до отъезда на Украину — он без особого сопротивления уступил домогательствам сестры одного сослуживца, которая только что проводила на фронт жениха и срочно искала утешения. Сейчас и подумать о таком было немыслимо.

Так худо ему не было еще никогда — впереди полная бесперспективность, глухо, никакого просвета. Появлялась даже мысль уйти к чехам в партизаны, мысль совершенно безумная по многим причинам. Во-первых, в самом Протекторате о партизанах не слыхали, здесь сопротивление, где оно и было, выражалось иначе — промыш-

ленным саботажем на заводах; партизаны, если верить слухам, действовали в Словакии, но там ему делать было нечего, он не знал ни языка, ни людей. Во-вторых, его вряд ли приняли бы в свою среду и чехи. С какой стати они поверили бы ему — выходцу из русско-эмигрантской среды, которую иностранцы левых убеждений всегда считали реакционной, чуть ли не профашистской, да еще заклеймившему себя службой у немцев? Нет, выхода здесь не было, так же как не было его и в том, чтобы вернуться во Францию (об этом он тоже порой подумывал). Для французов — тех, что боролись и могли бы дать ему такую возможность, — он тоже прежде всего оставался бы sale collabo[53], пошедшим на сотрудничество с оккупантами…

Отсидев положенные часы в конторе за какими-то ерундовыми расчетами (даже работы интересной — и той не было), он возвращался к себе домой, в Плауэн, где жил неподалеку от православной церкви на Рейхсштрассе — собственно, из-за этого соседства он там и поселился. В церкви, правда, не служили, но даже пройти мимо было приятно, такой неподдельно родной

[53] Notes: 53
Поганым коллаборантом *(фр.)*.

выглядела она со своими пятью куполами и высокой шатровой колокольней, увенчанной наверху еще одной золоченой луковкой, поменьше. Болховитинов долго считал, что церковь построена каким-то нашим архитектором (в прошлом веке русские любили бывать в Дрездене), но потом, к удивлению своему, выяснил, что строил немец — видно, из добросовестных, дотошно изучивший русскую церковную архитектуру.

По вечерам он обычно никуда не выходил, слушал радио или читал. Благо книг хватало — знакомый старичок-букинист снабжал его французскими, а русские он привозил из Праги, одалживая там у знакомых. Ездить туда приходилось часто, это было единственным преимуществом его работы в «Вернике Штрассенбау»; у фирмы были в Протекторате два филиала (точнее, две бывшие чешско-еврейские фирмы, которые старый Вернике ухитрился «ариизировать» в свою пользу), но бывать там немцы не любили, поездки по железным дорогам становились все опаснее, да еще в оккупированную страну, к этим коварным чехам; на Болховитинова, никогда не отказывавшегося от командировок в Протекторат, смотрели как на избавителя.

В январе сводка ОКБ сообщила об очередном

выравнивании фронта на Востоке, в ходе которого был оставлен Энск. Болховитинов уже знал об этом из сообщений Лондонского радио накануне, но теперь схема «выровненного» участка была помещена в газетах — да, никакой ошибки, черная линия уже проходила западнее. Долго разглядывая схему, он думал о том, что вот теперь все, теперь действительно кончено. Раньше у него хоть появлялись какие-то бредовые мечтания: вдруг фронт там стабилизируется, а ему предложат съездить зачем-нибудь именно туда, и что-то удастся выяснить… А теперь как будто броневая дверь захлопнулась — намертво, навсегда.

Вскоре ему снова пришлось поехать в Прагу. Там уже чувствовалось приближение весны, башенные шпили и колокольни призрачно сквозили в тумане, часто шел мокрый оттепельный снег. Тихим и призрачным казался город, словно погруженный в свое прошлое; молча и торопливо шли прохожие по узким тротуарам, все городские шумы были приглушены, даже трамваи пробегали без обычного звона и скрежета. Неживую тишину пражских улиц нарушало лишь рычание патрульных вездеходов с номерными знаками войск СС.

Болховитинов побывал в нескольких русских

семьях — здесь все было более или менее по-прежнему, колония жила обычной эмигрантской жизнью, только победнее да потише, ходили слухи о том, что немцы собираются в скором времени провозгласить нечто вроде «русского эмигрантского правительства» — именно здесь, в Праге. Называли разные имена, чаще всего генерал-лейтенанта Власова; формируемая им Освободительная армия — РОА — получит якобы прежнюю русскую форму и войдет в состав германских вооруженных сил как одно из «самостоятельных» национальных формирований, наподобие словацких, хорватских и иных частей.

Слушая все эти разговоры, Болховитинов только диву давался. В то, что русская эмиграция сможет когда-нибудь стать реальной политической силой, с которой всерьез считались бы в Лондоне или Париже, он не верил уже давно. Предполагать, что с нею вдруг начнут считаться в Берлине, было еще глупее; даже в сорок первом году, когда создание марионеточного правительства могло быть оправдано пропагандистскими соображениями, этого не случилось. А сейчас, в сорок четвертом? Однако некоторые верили в такую возможность.

— …момент, момент надо учитывать, — уверенно рассуждал старый штаб-ротмистр, от которого Болховитинов, встретив однажды на улице, не смог отделаться. — Что немцы для нас каштаны из огня таскать не собираются — это, батенька, очевидно. Никто этого от них и не ждал. Но вы поймите другое! Немцы сейчас обмишурились по всем статьям; они уже не знают, за какую соломинку хвататься. Вот это мы и должны использовать. Вы говорите — поздно? Не-е-ет, батенька, ошибки исправлять никогда не поздно, не извольте сомневаться! В немецких руках еще половина Малороссии, вся Минская губерния, Крым, Курляндия — это ненамного меньше, чем оставалось у большевиков в девятнадцатом году… ко времени «Московской директивы», ежели помните. Товарищи-то, однако, на этой территории удержались — и еще какую державу отгрохали!

— Простите, не вижу связи, — сказал Болховитинов.

— Связь самая прямая! Совдепы почему устояли, вшивые да голодные, против отборнейших войск? Да потому, что духом были сильнее нас, а дух на войне — великое дело, в конечном счете именно он все и решает. Вот я и говорю, террито-

рия — дело десятое, было бы за что драться. И если немцы сейчас возьмутся за ум, дадут русскому народу ясную программу, дадут вождя — все еще может ох как обернуться!

— Какой это, к черту, «вождь»? Генерал, перешедший на сторону противника, считался и будет считаться изменником при любом режиме, при любом государственном строе и любой форме правления. И выдвигать его в качестве…

— Да я, батенька, не о Власове говорю, не горячитесь, — возразил штаб-ротмистр. — Есть же другой вождь, законный! Вождь, так сказать, Божьей милостью, легитимный наследник престола, его императорское высочество Владимир Кириллович. Что бы вы там ни говорили, а русский народ без царя не может. Все-таки идея помазанника…

— Позвольте с вами не согласиться, — сказал Болховитинов. — В России я не видел монархических настроений… по крайней мере, у молодежи, с которой мне приходилось общаться более тесно. Смею вас уверить — «идея помазанника» не вызовет там сейчас ничего, кроме недоумения. Как это ни печально, советская молодежь вполне довольна существующим строем… хотя и видит все его недостатки. Главное в том, поймите пра-

вильно, что это их строй, они считают его своим, надеются улучшить со временем и не думают ни о каких радикальных переменах. Я уже не говорю о главном — сейчас, на третьем году войны, нелепо даже гадать о том, как встретят в России ту или иную политическую «программу», поддержанную немцами. От чьего бы имени она ни была провозглашена, для русского народа это будет немецкая программа — разработанная врагом…

Подобные разговоры ему уже приходилось вести и раньше, с другими знакомыми. Одни ругали немцев больше, другие меньше, одни делали ставку на Власова, другие — на Черчилля и Рузвельта, третьи уповали на неизбежные перемены в Советском Союзе после победоносного окончания войны и вспоминали декабристов; признаки этих перемен они видели уже сейчас — погоны в Красной армии, совершенно новый тон советской пропаганды, вспомнившей наконец о царях и полководцах, и тому подобное. Люди эти были искренни в своем патриотизме, искренне хотели что-то понять, как-то разобраться в происходящем, — но как безнадежно далеки были они от той, настоящей, сегодняшней России!

Пожалуй, только здесь, снова очутившись среди соотечественников-изгнанников, в привычном

когда-то эмигрантском мирке, Болховитинов полной мерой осознал свою потерю. И дело не в одной Тане, она была воплощением чего-то большего; он только теперь понял, что такое настоящая ностальгия — не те, прежние, туманные и романтические мечты о стране предков, которую он не знал, не помнил и считал своею скорее по традиции, — а вполне реальная, до смертной муки невыносимая тоска по родной земле. Тоска по ее климату, по июльскому зною и январским вьюгам, по ее солнцу, по ветру, по ее снегу и пыльным степным дорогам, по ее истерзанным бомбами городам и ее людям…

Однажды он от нечего делать забрел в кинотеатр возле Малостранской площади. Сеанс только что начался, показывали недельное обозрение — действия подводных лодок в Северной Атлантике, визит Геббельса в один из городов, пострадавших от террористических налетов, бои под Анцио, бои под Черкассами. Когда каменистый итальянский пейзаж внезапно сменился заснеженными приднепровскими полями, Болховитинов ощутил привычную глухую боль в груди. Расплескивались на снегу черные пятна разрывов, вьюжный ветер нес дым пожаров, подразделение штурмовых орудий спешно перебрасывалось к месту

прорыва русских танков — колонна шла на большой скорости, видно было, как на повороте обледенелого грейдера резко заносит в сторону тяжелые гробоподобные корпуса «фердинандов». В зале дико и непривычно звучали названия черкасских сел, произносимых торопливым голосом немецкого диктора. А грейдер — весь в обледенелых, глянцево отсвечивающих на солнце колеях, разъезженный колесами и гусеницами, с высокой насыпью и бегущими вдоль нее покосившимися телеграфными столбами — был точь-в-точь как тот участок Куприяновского шоссе под Энском…

«Wochenschau»[54] окончилось, под разудалый чардаш выпорхнула на экран Марика Рёкк в окружении роя белокурых потаскушек. Болховитинов поднялся и стал молча протискиваться к выходу. Что он здесь делает, в этом душном зале кино — в Праге, в Протекторате, в «Крепости Европа»? Почему он не остался там прошлой осенью, почему не попытался достать фальшивые документы, дождаться русских? Как бы ни сложилась потом его судьба, он не имел права уезжать, он должен был оставаться на земле, в которой похоронены его предки.

---

[54] Notes: 54
Здесь: еженедельный выпуск кинохроники *(нем.)*.

В этот свой приезд сюда он с особой беспощадной ясностью увидел, каким чуждым стал теперь для него привычный когда-то, хотя и вызывавший недовольство и насмешку, но все же родной ему эмигрантский быт. Как он мог раньше дышать этим затхлым воздухом, находить общий язык с выпавшими из времени и реальности людьми? «Вождь Божьей милостью, его императорское высочество», надежды на «национальное возрождение»… Недавно крестная опять сказала ему: «Да ты и вовсе обольшевичился там за этот год, сударь мой, и что это ты, право, назад вернулся — уж оставался бы там, в своей Совдепии, коли так по сердцу пришлась…»

Он вышел на площадь, не спеша побрел к Карлову мосту. Посреди моста остановился, ежась от дующего вдоль Влтавы ледяного ветра, оглянулся на Малостранскую сторону, потом посмотрел на Староградскую. Стобашенная «Золотая Прага» лежала вокруг него на обоих берегах — прекрасный и чужой, бесконечно чужой город. Он смотрел на готические кровли и барочные купола и видел перед собой Энск — старые каштаны среди развалин, заросшие сиренью и акацией переулки, заводские трубы над взорванными корпусами цехов. То, с чем он соприкоснулся в

далеком украинском городе, виделось ему теперь в каком-то совершенно новом свете, в грозном и ослепительном озарении извечной драмы человеческого подвига. Мог ли он сам остаться теперь прежним — он, прикоснувшийся к молнии, хотя бы на одно мгновение ощутивший всем своим существом жар и грозовую свежесть ее испепеляющего разряда?

Вернувшись в Дрезден в воскресенье утром, Болховитинов позвонил Риделю и узнал, что на работе полный бедлам — еще трое десятников получили повестки, фактически фирма остается без среднего технического персонала, старик грозится теперь разогнать по объектам всех инженеров, и пусть все идет в свинячью задницу, начиная от деловой репутации «Вернике Штрассенбау» и до тысячелетнего Великогерманского рейха.

— Если патрон заговорил таким языком, — заметил Болховитинов, — тогда это и в самом деле серьезно.

— А ты сомневался? Завтра сам во всем убедишься. Боюсь, старина, что золотые деньки Аранхуэса для нас миновали, хе-хе…

И в самом деле, в понедельник старый Вернике собрал сотрудников и объявил, что все проектные работы фирма прекращает, а господам инже-

нерам придется отныне взять на себя функции прорабов, десятников и тому подобное — это уж как кому придется, в зависимости от объекта.

— Понимаю, что разумным такой способ использования ваших знаний не назовешь, — добавил он, — но убедить в этом вышестоящие инстанции я не сумел. «Никаких проектов», — было мне сказано, и сказано категорически. Даже в области вооружений фюрер дал указание прекратить все разработки, которые не обещают конкретных результатов в шестимесячный срок…

Далее шеф сказал, что пока еще плохо представляет себе, кого куда можно направить, и предложил сотрудникам представить предварительные соображения на этот счет — может быть, каждый подыщет себе объект, наиболее устраивающий его по тем или иным соображениям. Болховитинов сразу подумал про Остерберг — там пробивали какую-то штольню «промышленного назначения», как было сказано в проектном задании, — вероятно, для расположенного неподалеку оттуда фрейтальского сталелитейного завода. В Остерберге, насколько ему было известно, работали русские, он только не знал — военнопленные или «восточники».

Чтобы не вызывать подозрений, он выждал еще два дня, пока большинство объектов было распределено и страсти вокруг этого поутихли, и пришел к шефу.

— А куда же мы денем вас, дорогой Больхо-фити-нофф? — осведомился тот, по обыкновению произнеся его фамилию так, словно второй ее половиной была немецкая «Фитингоф».

— Да мне, в общем, все равно, — ответил он, — самые удобные места, насколько понимаю, уже разобраны? — Он подошел к плану окрестностей и стал изучать, словно впервые видел. — Конечно, осталось что похуже… Во Фрейталь, держу пари, никто не вызывался. Что у нас там — подземные сооружения? Я мог бы, хотя не совсем мой профиль…

— Остербергская штольня практически готова, теперь туда будут подводить эстакаду, это проще. Вы крайне меня обяжете, если возьмете этот объект, — туда действительно не нашлось желающих, далековато, да и опасность в случае налета…

— Ну, от налета никто и нигде не гарантирован, — беззаботным тоном сказал Болховитинов, — а живу я в той стороне, мне ближе. А что за завод?

— О! — Шеф уважительно поднял палец. — Одно из предприятий концерна «Флик» — легированная сталь и всякие такие штуки. Но к заводу вы не будете иметь никакого отношения, мы лишь субподрядчики, да и территориально это в стороне. Там, кстати, используется иностранная рабочая сила, в том числе русские — вам проще будет объясняться.

Так вопрос и решился. Вечером к Болховитинову пришел Ридель, принес бутылку сливовицы и сказал, что всегда был невысокого мнения о его, Кирилла, умственных способностях, но такой глупости не ожидал даже от него.

— Я уже почти договорился, что вместе пойдем на шоколадную фабрику — там действительно большая работа, они расширяют производство, строится новый цех и складские помещения. Так нет, черт его дернул выспаться на Фрейталь! А ко мне теперь подключили этого кретина Шреде!

— Шреде действительно кретин, я это еще на Украине понял.

— А ты думаешь, ты намного умнее? Ты из тех людей, которые сами усложняют себе жизнь! Ты вообще представляешь себе, что значит во время войны попасть на шоколадное производство? Я уж не говорю о том, что там полно баб!

— Воображаю, разгуляешься.

— Да уж будь спокоен. Но ты все-таки объясни, какая муха тебя укусила?

— Что тут объяснять. — Болховитинов пожал плечами. — Насчет твоих планов я не знал, а другие места были разобраны, вот я и подумал — а почему бы нет. Там русские работают, с ними мне будет проще.

— Ах вот оно что. — Ридель понимающе покивал. — Ну, раз там твои русские, тогда все понятно. Я только тебе вот что скажу: не думай, что если ты легко отделался на Украине, то тебе и здесь все, что угодно, сойдет с рук.

— А что на Украине? Я там ничем противозаконным не занимался.

— Ты-то сам, может, и не занимался, хотя я в этом не уверен, но уж точно занимались твои друзья. Или скажем точнее — подружка. С которой ты, держу пари, так и не удосужился переспать.

— Послушай, Людвиг, — сказал Болховитинов. — Я понимаю, у каждого свои представления о границах хамства, но когда ты говоришь со мной, изволь… сдерживаться. Или забирай свою бутылку и проваливай к черту, чтобы я тебя здесь больше не видел!

— Ладно, ладно, не петушись. У тебя дурное настроение, я понимаю: ты уже сожалеешь об упущенных возможностях. Но утешься, время от времени я буду приносить тебе шоколадку и рассказывать об оргиях в упаковочном цехе. С тебя, мой целомудренный друг, хватит и этого. А сливовица совсем неплоха, верно?

— Югославская лучше.

— Согласен, но попробуй достань! Ее сейчас партизаны попивают. Скажи спасибо, что эту удалось организовать. Но ты все же поделился бы со мной своими планами касательно Фрейталя, вдруг что и подскажу, а?

— Никаких планов у меня нет, просто хотелось бы работать со своими соотечественниками.

— Ты уверен, что они признают тебя своим? Ну-ну. Нет, я отчасти тебя понимаю, что и говорить — мне тоже приятно бывает вдруг взять и встретить своего брата каканца…

— Кого встретить?

— Каканца, в смысле — выходца из доброй старой Какании. Моего, стало быть, земляка. Ты что, — спросил он, встретив непонимающий взгляд Болховитинова, — не читал Музиля?

— Не приходилось, а кто это?

— Ну что ты! Великий наш писатель, создал

колоссальный роман, первый том которого никто не в состоянии одолеть. За других, впрочем, не поручусь; лично я не смог. Но, читая, получал массу удовольствия. Старую Австро-Венгрию он называет Каканией — у нас ведь эти две буквы — ка-ка, от «Король-кесарь», — входили в названия всех официальных учреждений, воинских частей и прочая. Королевско-кесарская почта, Королевско-кесарский Дебреценский полк легких улан — словом, сплошное кака. Музиль обыграл это совершенно гениально, ничего больше можно было уже и не писать. Но, признаюсь тебе, жить в Какании было легко и приятно, сейчас это уже вспоминается как неправдоподобный золотой век. Давай выпьем за прошлое, Кирилл, оно этого заслуживает. Сколько тебе было, когда началась война?

— Двадцать шесть, а что?

— Какие двадцать шесть, я имею в виду ту, первую!

— А-а. Год мне был тогда, так что я этого события не помню.

— Да, не успел ты, значит, пожить. Я-то захватил немного… гимназию, правда, закончил в шестнадцатом, тогда уже было гнусно. Все шло к черту. Но все-таки мирной жизни я немного

попробовал, по-настоящему мирной… потом ведь ее больше не было — двадцатые, тридцатые годы, там уже такое пошло грандиозное похабство! И подумать, что два человека пустили Европу под откос — этот здешний идиот Вильгельм и наш старый пердун, его апостольское королевско-кесарское величество Франц-Иосиф.

— При чем тут они, разве в них было дело, — возразил Болховитинов. — Слишком много действовало факторов.

— Факторы факторами, но войну затеяли эти двое. Если все объяснять закулисными причинами, то можно и Гитлера освободить от ответственности — Версаль, дескать, мировой экономический кризис и тому подобное. Я помню, в Граце, еще студентом…

— В Граце? Ты же говорил, что кончал в Мюнхене.

— Да это уже потом, в Мюнхене я окончил строительный. А в Граце изучал химию — я ведь тебе рассказывал!

— Впервые слышу, что ты еще и химик.

— Неужто не рассказывал? — удивился Ридель. — Нет, я не химик, но собирался им стать. После гимназии уехал в Грац и поступил там в Высшее техническое, проучился два семестра и

был призван в ландштурм — к счастью, слишком поздно, чтобы успеть сложить голову где-нибудь на Изонцо. А когда наша Какания укакалась окончательно и пошел весь этот послевоенный бардак, стало уже не до науки. Работы тоже не было, хорошо, мой бывший профессор посоветовал уехать в Германию, в Людвигсхафен, там при французах было все-таки полегче. А у него имелись связи в «Бадише Анилин», благодаря его протекции я туда и поступил. Решил, что практика не помешает. Ты чего не пьешь?

— Пью, просто за тобой не угнаться. Людвигсхафен был тогда оккупирован французами?

— Естественно, он же стоит на левом берегу. В Мангейме, на правом, их не было. Итак, меня приняли подсобным рабочим на завод искусственных нитратов; это не в самом Людвигсхафене, а рядом, в пяти километрах ниже по течению Рейна. Такое местечко Оппау — не слыхал? Да, верно, ты же не химик! А для любого химика это все равно что Мекка для мусульманина. Мой профессор в Граце с гордостью говорил, что если бы не процесс Габера — Боша, у нас не было бы возможности вести войну…

— Ну, это я знаю — азот из воздуха вместо природной селитры?

— Совершенно верно. Чили-то вон где, с началом войны поставки селитры оттуда прекратились, но завод в Оппау был построен уже за год до этого, и проблема перестала существовать. Итак, прибыл я в это знаменитое место летом двадцать первого года, проработал два месяца… Ты помнишь, когда у меня день рождения?

— В сентябре вроде бы.

— Кирилл, ты настоящий друг! Сейчас мы прикончим эту бутылку, и я спою в твою честь нашу тирольскую застольную. Ты как относишься к йодлю? — потому что некоторые не ценят.

— Я охотно слушаю йодль, но не забудь, что уже поздно и хозяева давно спят.

— Ну и черт с ними, пускай спят, я потихоньку. Хотя нет, потихоньку не получится, тут нужна сила! Ладно, в другой раз. Погоди, о чем это я…

— Ты спросил, когда у тебя день рождения.

— С какой стати я спрашивал у тебя про мой день — а, да! Вспомнил! Оппау, ну конечно же. Совершенно верно — двадцатого сентября мы, стало быть, слегка отпраздновали; перед этим была получка, так что было на что гулять. На следующий день я проспал — можешь себе представить? И проснулся от совершенно чудовищного грохота; будь это теперь, я подумал бы, что рядом

упала шеститонная фугаска, но тогда таких еще не было, и вообще не было никакой войны, поэтому ничего понять было нельзя — грохот, кругом дым, кто-то орет, что-то трещит, рушится — конец света. А оказалось, что именно в то утро — когда я отсыпался после пьянки накануне — знаменитый завод искусственных нитратов компании «БАСФ»[55] попросту взлетел на воздух. Весь без остатка, милый мой, три тысячи жертв! Одних убитых было более пятисот — да и то приблизительно, поди разберись, чьи это там руки-ноги…

— И что вызвало такой взрыв?

Ридель с таинственным видом развел руками.

— Загадка века! До сих пор никто ничего не знает. Нитраты, я должен тебе сказать, вообще коварная штука — есть в них что-то дьявольское, непредсказуемое. Удобрение, которое вдруг становится сильнейшей взрывчаткой, и не поймешь почему. Словом, интерес к азотным соединениям из меня вышибло начисто; когда я увидел, что осталось от этого знаменитого Оппау, я сказал себе: Людвиг, старина, держись подальше от химии, ну ее в задницу…

— Понятно. И после этого, значит, ты поступил

---

[55] Notes: 55

Сокр. от «Badische Anilin– und Soda-Fabrik» *(нем.)* — позднее вошла в концерн «ИГ Фарбен».

на строительный.

— Учиться в двадцать первом году? — ты смеешься. Я записался в Иностранный легион к французам, в Бизерте сбежал, нанялся на Панамский фрейтер и стал плавать. Панамцы, видишь ли, принимали на свои суда любой сброд — без матросских книжек, вообще без документов, можешь себе представить, что это была за банда! А уж потом, поднакопив деньжат, вернулся и стал вести относительно добропорядочный образ жизни. Это уже неинтересно. Так ты завтра с утра во Фрейталь?

— Да, уже завтра с утра. Вообще, мы засиделись…

— Ухожу, ухожу! Кирилл, кроме шуток, — будь осторожен на этой работе. Учти, могут подослать провокатора, поэтому не лезь к людям со всякими такими разговорами, в лучшем случае они примут за провокатора тебя самого. И вообще не переоценивай здешних возможностей «что-то делать», это все ерунда. Ну а я завтра к шоколадницам! Йо-хо-о-о!

Наутро, боясь опоздать, Болховитинов приехал на строительную площадку даже слишком рано. Было еще темно, шел снег с дождем, косо мелькая у синих фонарей вдоль ограды. Предъявив

охраннику пропуск, он прошел через оплетенные колючей проволокой ворота и направился к сборному щитовому домику, на фасаде которого — черным по ярко-оранжевому — было крупно выведено: «WERNICKE Tief– Hoch– und Strassenbau»[56]. Старик-сторож, служивший в фирме с незапамятных времен, был уже на месте и успел разжечь печурку, так что в помещении было тепло.

Бегло просмотрев техническую документацию, Болховитинов спросил у сторожа, в котором часу приводят рабочих и кто они по национальности.

— Не могу знать, господин доктор-инженер, — отрапортовал тот. — У них нашивки на груди, стало быть, иностранцы.

— А какого цвета нашивки — сине-белые или желтые с фиолетовым?

— Никак нет, господин доктор-инженер, желто-фиолетовых не было!

Слава богу, подумал Болховитинов, а то вдруг и в самом деле оказались бы поляки; ему только сегодня ночью пришла в голову мысль, что шеф вполне мог перепутать поляков с русскими — тогда вся затея оказалась бы бессмысленной.

---

[56] Notes: 56

«Прокладка дорог, подземные и высотные сооружения» *(нем.)*.

Рабочая колонна подошла к семи часам. Начальник охраны, приведший ее из лагеря, отдал ведомость — сто семнадцать человек, по наряду полагалось сто двадцать, но трое больны и заменить их не нашлось кем. Болховитинов удивился — и ста семнадцати было более чем достаточно, при сравнительно небольшом фронте работ они и так будут мешать друг другу…

Пока шла выдача инструмента (ею ведал тот же сторож), он пригласил в контору всех пятерых капо. Начальник охраны уже объяснил ему, что русские работают под руководством своих бригадиров, которых здесь называют по-лагерному «капо», хотя никаких полномочий они формально не имеют — просто более опытные рабочие, умеющие к тому же худо-бедно объясняться по-немецки, так что практически все контакты осуществляются через них. Они уж сами смотрят, кого куда поставить, чтобы дело шло.

Пятеро вошли, кучкой стали у дверей — трое пожилых, двое помоложе. Болховитинов хотел было пригласить их садиться, но запоздало сообразил, что в конторе всего три стула.

— Да, — сказал он, выбираясь из-за тесно придвинутого к стене кульмана, — сесть-то, оказывается, негде — этого я не предусмотрел.

Ну ничего! Я ведь просто хотел познакомиться — дело в том, что герр Енке получил повестку, его забирают в армию, так что вместо него теперь буду я. Ну-с, зовут меня Кириллом Андреевичем, по фамилии Болховитинов. Как вы, наверное, уже могли догадаться, я русский — родился в России, на Орловщине, но в детстве по не зависевшим от меня обстоятельствам оказался за границей. А ваши имена-отчества я сейчас запишу — иначе просто не запомнить с первого раза… Прошу вас!

Стоявший с краю пожал плечами, переложил шапку из правой руки в левую.

— Ну, Тимофей я, по батюшке — Кузьмич, — сказал он, кашлянув. — Фамилию тоже говорить?

— Это потом, Тимофей Кузьмич, пока просто для знакомства…

Записав всех на листок настольного календаря, Болховитинов вернулся на середину комнаты и, крепко сцепив за спиной пальцы, обвел взглядом пятерых капо — те стояли с замкнутыми, ничего не выражающими лицами.

— Ну что ж, — сказал он весело, — надеюсь, мы с вами сработаемся без каких-либо конфликтов. Я, со своей стороны, постараюсь сделать все, чтобы облегчить вам… это временное положение. Если есть ко мне какие-нибудь вопросы — прошу вас.

Пятеро молчали отчужденно, потом тот же Тимофей Кузьмич опять кашлянул и переступил с ноги на ногу.

— Вы вот сказали: облегчить постараетесь. Это в каком же примерно смысле? Насчет харчей, что ли, или чтобы работать не по десять часов?

— Боюсь, вы меня не совсем поняли! Произвольно менять общие правила или нормы я не могу, это не в моей власти. Я имел в виду другое — ну, чисто человеческие отношения, что ли! По правде сказать, ничего конкретного мне сейчас в голову не приходит, но я уверен, у нас не может не найтись каких-то общих… точек соприкосновения, что ли. В конце концов, мы ведь русские люди, — простите, вы что-то сказали?

— Я сказал, — капо помоложе, назвавшийся Борисом Васильевичем, смотрел на него враждебно, — что мы люди советские, и нечего тут тень на плетень наводить.

— Естественно, советские, — согласился Болховитинов, — кто же это оспаривает, но разве вы перестали быть русскими? Надеюсь, этого никогда не случится. Ну что ж — вот, собственно, и все, что я хотел сказать… для начала. У нас с вами еще будет много возможностей поговорить о чем угодно, а сейчас давайте тогда пройдем на

площадку — покажете мне, что там с этой эстакадой. Идите, я вас догоню.

Капо вышли, он стал переодеваться в рабочее — натянул принесенный с собой толстый свитер, влез в комбинезон. Защитная каска из армированного бакелита лежала на столе, он посадил ее на голову и задумался, барабаня пальцами. Он был недоволен собой — понятно, первый блин комом, но все же… Как-то иначе надо было, совсем иначе. Но как?

Глава 7

Возможность побывать в Энске представилась Дежневу лишь спустя две недели после освобождения города, когда полк был наконец отведен в тыл для отдыха и восполнения потерь, понесенных в тяжелых боях под Звенигородкой. Приехал он в середине дня, на Челюскинскую заходить не стал, хотя мать в последнем письме и просила его, если доведется, навестить Старый форштадт. А чего там навещать? Скорее всего, матери просто хотелось, чтобы соседки (кто уцелел) убедились, что непутевый Сережка Дежнев «вышел в люди», стал офицером — да еще при погонах, словно старорежимный какой-нибудь дворянин.

Комендатура, где ему отметили командировочное предписание, разместилась на проспекте Фрунзе, неподалеку от парка. Эта часть города выглядела мало пострадавшей, развалины — старые, двухгодичной давности — начались только за площадью Урицкого. Точнее, уже на самой площади, где от громадного здания треста «Электромонтаж» остались одни присыпанные снежком железобетонные торосы. Дежнев давно слышал от встреченного на фронте земляка, что центр города немцы разбомбили еще тогда, в августе сорок первого.

Ночью мело, но сегодня с утра прояснилось, стало морозить, в разрывах между снеговыми тучами льдисто засветилось над развалинами студеное бледно-голубое небо. А развалины высились вокруг в застывшем безмолвии — плоские пустые фасады, за которыми не было ничего, бесформенные холмы, торчащие из-под снега ржавые швеллера, куски внутренних стен с висящими на погнутых трубах батареями отопления. На выщербленном крупными осколками брандмауэре, оставшемся от трех– или четырехэтажного дома, можно еще было прочитать рекламу Госстраха.

Снег был нетронут — в этом районе люди не

жили уже давно. От тишины и безлюдья Дежневу стало не по себе: остановившись и прислушавшись, он машинальным движением протянул руку к пистолету — носил его не по-уставному, а на немецкий манер: на животе слева, рукояткой вперед (а что, так действительно куда сподручнее, у фрицев и это продумано, по части оружия они мастаки, что и говорить) — и только потом, опомнившись, выругался сквозь зубы и пошел дальше, размашисто давя сапогами скрипучий снег. Нервничаешь, капитан, город-то уж две недели как наш… Хотя всякое, конечно, бывает, на этой стороне Днепра уже отмечались случаи нападения в тылу — и не немцы даже нападали, а обычно их пособники, полицаи разные, не успевшие смыться, а то и просто уголовная шпана… Немцы, те в тылу не воюют — попав в окружение малыми группами, стараются на первых порах догнать своих и прорваться, ну а если не вышло — спокойно идут в плен. Разве что, может, эсэсовцы там какие-нибудь из фанатичных…

Он шел, оглядываясь и посматривая по сторонам, с трудом распознавая знакомые когда-то здания и места. Вот здесь вроде был писчебумажный магазин — точно, два окна, он еще покупал здесь тетради в клеточку… Но где же тогда об-

ком? Дальше, обком был дальше — следующий квартал. Потом он увидел и то, что осталось от обкома.

Осталось от него немного, но Дом комсостава напротив стоял почти нетронутый — так, во всяком случае, казалось издали. Подойдя ближе, капитан убедился в своей ошибке. Здание не обрушилось и не сгорело, но его, видно, так тряхануло, что оно едва устояло на фундаменте. Вон, даже оконные рамы к черту повырывало… хотя рамы могли потом и на дрова растащить, это вернее всего. Так или иначе, Дом комсостава был нежилым, и, видно, уже давно. Наверняка с того самого августа.

Дежнев вошел в пустую арку ворот, оглядел двор — посреди лежал на днище раскулаченный, без колес, кузов немецкой легковушки — и направился к знакомому подъезду. Лестница была завалена битым кирпичом, отвалившейся с потолков штукатуркой, перил не было, на площадке валялся высохший, как мумия, труп кошки. Капитан замедлил шаги. Зачем он сюда пришел? Ясно, что Тани здесь быть не может, кто станет жить в таких развалинах! Нечего даже было сюда идти, надо было сразу к кому-нибудь из тех, кто жил не в центре, к Володьке на Подгорный, к Людке

Земцевой на Пушкинскую, к кому еще? Он попытался припомнить адреса других одноклассников — безуспешно, нет, других он так близко не знал, ну, кто там — Инка Вернадская жила, кажется, неподалеку от Земцевых — да к ней, к ней надо было прежде всего, к Людке — кто же еще может знать, как не она…

Потом он вдруг сообразил, что, если Таня в городе, она должна оставить о себе весточку именно здесь, по прежнему адресу. Конечно же, все так делают! Нет, выходит, не зря его сюда потянуло… Он стал торопливо подниматься — еще один марш — окно во двор — и, добравшись до третьей площадки, сразу увидел бледную, полустершуюся надпись углем на уцелевшем куске штукатурки возле зияющего дверного проема: «Николаева живет на Пушкинской, дом 16». Сумеречный свет скупо просачивался на площадку, но он сразу увидел эти слова, выведенные крупным ученическим почерком — как она когда-то писала мелом на доске, и эти едва различимые линии ударили его с такой силой, что ему показалось — пошатнулся дом. А может быть, это он сам пошатнулся. Он стоял и смотрел, потом сделал еще несколько шагов и осторожно коснулся ладонью холодной шершавой штукатурки. Надпись была сделана

давно, очень давно.

— Танюша, — сказал он хрипло, — Танюша моя родная…

И кинулся вниз по лестнице, спотыкаясь и обрушивая сапогами мусор и куски кирпичей.

Он почти бежал всю дорогу. Опять мимо руин обкома, за угол, по Коцюбинского, мимо разрушенной ограды биоинститута и дальше, дальше. Скорей, скорей! Она, наверное, ждет его уже давно, все эти две недели, ну или хотя бы письма от него ждет — интересно, как скоро налаживается почта в освобожденных местах — его-то самого она ждать не может, это понятно, откуда же ей знать, что он оказался здесь, что неправдоподобная удача привела его именно сюда, именно на этот участок фронта… Но все равно скорее! А может быть, она ходит сейчас по улицам, расспрашивает — в каждом освобожденном городе сотни женщин останавливают солдат, хватают за рукава, спрашивают: не видели ли, не слышали, не встречали… Скорее — теперь уже совсем близко!

Он добежал и увидел знакомый забор, ржавую калитку, палисадник. Ворота были распахнуты, снег за ними истоптан, глубоко прочерчен сдвоенной рубчатой колеей «студебекера» — грузовик

загнали правее дома, в изломанные кусты сирени, где когда-то стояла у Земцевых старенькая покосившаяся беседка. Они с Володькой несколько раз обещали Люде ее починить, да так как-то и не собрались…

Он взбежал на крыльцо, без стука рванул дверь в прихожую, потом другую — в коридор. В коридоре было натоптано мокрыми валенками, валялась пустая немецкая катушка от полевого телефона. Перед гудящей печью сидел на корточках солдат, отвернув от жара лицо, заталкивал в дверцу охапку наколотых досок.

— Дверь, дверь зачиняй, какого хрена выхолаживаешь! — закричал он не глядя. Потом оглянулся и торопливо встал: — Извиняюсь, товарищ капитан! Холодно здесь дюже — дом нежилой, рази ж его натопишь…

— Чье хозяйство? — спросил Сергей. Солдат ответил что-то, он уже не слушал. Заглянул в одну комнату, в другую — ни мебели, ничего. В бывшем кабинете Галины Николаевны трое бойцов, весело переругиваясь, расстилали на полу трофейный брезент, оживленные голоса других слышались на кухне.

— Здесь что, никто не жил? — осипшим внезапно голосом спросил он у того, что топил печку.

— Видать, другая часть стояла, мы-то только вот заступили, — ответил солдат. — А гражданских вроде не было никого, товарищ капитан…

Дежнев постоял еще, пытаясь что-то сообразить, повернулся и вышел. Небо тем временем совсем расчистилось, стало еще холоднее, низкое малиновое солнце уже не грело. Нащупав в кармане пачку «Звездочки», он закурил, пощелкав австрийской, не гаснущей на ветру зажигалкой. Спокойно, сказал он себе, только спокойно и без паники. Что дом стоял пустым — ни о чем еще не говорит; в каждом населенном пункте, через который прокатилась война, остаются сотни пустующих домов, и это не обязательно означает, что с жильцами что-то случилось. Могло, конечно, случиться, а могли и просто выселить — те же немцы, когда держали оборону, наверняка загнали в город столько войск, что мест для постоя не хватало, вот и выселяли. Но у кого узнать? Бежать на Подгорный — далеко, Володька-то должен знать, если он здесь, хотя это вряд ли… Парня его возраста немцы и в Германию могли угнать, хотя в любом случае семья или соседи…

Соседи! — ударило его вдруг. Что это он, в самом деле, стоит тут как дурак, растерялся, не знает, что делать. Да вот же они, соседи, живут

ведь в соседних домах — что же они, не знают, что случилось с жильцами этого? Кляня себя за несообразительность, Дежнев швырнул папиросу и побежал через улицу — к домику напротив, где из трубы тоже шел дым. Калитка оказалась на запоре, он дернул ее, нетерпеливо забряцал язычком щеколды.

— Хозяева! — крикнул он громко. — Эй, там, в тринадцатом, есть кто? Хозяева!!

На крыльцо вышла женщина в накинутой на голову шали.

— Занято, занято все! — закричала она плаксиво. — Сколько ж можно, — почитай, человек уже двадцать, ступить в доме некуды!

— Да я не ночевать, — сказал он, — на что мне ваш дом. Идите-ка сюда!

Женщина не тронулась с места.

— А что вам надобно? — спросила она с опаской, вглядываясь в посетителя.

— Откройте, я сказал! — взорвался Дежнев неожиданно для самого себя. — А то расшибу к чертовой матери!

Он и в самом деле грохнул в калитку сапогом — она распахнулась, жалобно звякнув отскочившей щеколдой. Хозяйка уже бежала от крыльца.

— Давно здесь живете? — спросил Дежнев, сту-

пив ей навстречу.

— Давно, давно, — женщина закивала, — почитай, с самой коллективизации, и при немцах тут страдали — горя сколько от иродов натерпелись, это не приведи господь, если б не вы, освободители наши…

В голосе ее снова появились плаксивые нотки, капитан почему-то почувствовал к ней острую неприязнь.

— Ладно вам, — сказал он, — это меня не интересует, насчет страданий газетчикам будете рассказывать. Земцевых вы знали — вон напротив, в шестнадцатом?

— Знала, товарищ командир, знала, как же, оченно даже хорошо знала. — Хозяйка теперь чуть ли не кланялась. — И Галину Николаевну знала — культурная такая была дама, самостоятельная, — и Людочку ихнюю, обеих знала, а как же…

— Где они сейчас?

— Так ведь Галина-то Николаевна эвакуировалась, аккурат как немец бомбить стал. А Людочку, бедную, угнали в Германию вскорости, сразу после ноябрьских.

— Еще жил там кто-нибудь?

— А как же, товарищ командир! Главная ихняя

переводчица жила, Татьяной звали. Ой, до чего ж вредная девка — прямо сказать — потаскуха, служила у них — гордая такая, нос кверху, идет это по улице и не посмотрит, слова не скажет, будто не люди вокруг. А ведь сама с кем только не путалась, то у ей один, то другой, и хлопец этот блондинистый тоже, небось, неспроста…

— Да ты что, — бешеным шепотом сказал Дежнев, когда прошел первый мгновенный шок и его губы снова обрели способность выговаривать слова, — ты что мне врешь, старая дура, ты соображаешь, что говоришь?!

Он схватил ее за плечо и тряхнул так, что она подвизгнула.

— Да истинная же правда, товарищ командир! — завопила она истошно. — Ну хоть кого спросите по соседям — вся улица ее знала, так немецкой подстилкой и называли — провалиться мне, вот те истинный крест! Она ведь сперва в магазине работала, в комиссионке, одежей они тут с одним торговали — ну, известно, народ голодный сидел, так они, значит, и пользовались, наживались на чужой беде. А после в гестапу пошла служить, уж и одеваться стала по-модному, а немцы к ей на машинах так и шастали, так и шастали — и военные, и в гражданском, один

по-русски чисто так говорил, и не скажешь, что из фашистов! Она на машине и уехала — черная такая машина, вся сплошь лаковая, — немец на улице поджидал, она после выходит с чемоданчиком, как принцесса, он еще дверку за ей прикрыл да подергал. Так и укатила, больше ее, срамницу, и не видали! Люди говорили, с самим гебитскомиссаром жила…

До сих пор он почему-то слушал, не прерывая, потом долго не мог понять — что заставило его тогда выслушивать все эти гнусности, не мог же он поверить хотя бы сотой доле — или все-таки было, мелькнуло сомнение хотя бы тенью? — а вдруг… да нет, нет, не было этого, просто второй волной снова ударил по нему тот же болевой шок, словно отключив способность осмыслить и понять до конца; но это сразу прошло — он понял, ужаснулся: «Как же я позволяю — такое — о ней?»

— Брешешь, сволочь! — бешено крикнул капитан. — Я вот тебя сейчас — как собаку!!

Хозяйка, вырываясь, закричала дурным голосом. Хлопнула дверь, забухали с крыльца сапоги. На Дежнева навалились сзади, он вывернулся, потеряв шапку, снова очутился в тисках. «Тише, тише, браток, — уговаривал кто-то, заломив его

локти за спину и дыша водочным перегаром в самое ухо, — ну чего шухер поднял…»

— Пус-с-сти, — хрипел Дежнев, шатаясь под тяжестью навалившихся на него, и пытался дотянуться до пистолета. — Пусти, говорю, я ее сейчас, фашистскую гадину…

— Да бросьте, товарищ капитан, охота вам под трибунал из-за всякого дерьма! Не связывайтесь, тут есть кому фрицевскими прихвостнями заняться, разберутся со всеми…

— Да сыночки! Да милые же! — вопила баба. — Да что ж это делается, что ж он напраслину на меня, я ж ему про переводчицу ихнюю рассказала — вон напротив жила, кто ж ее не знал! — а он меня ж теперь фашисткой и обзывает! Да что ж это, родненькие!

— А ну цыть! — прикрикнул кто-то. — Расшумелась тут, старая зараза!

Хозяйка крысой шмыгнула в дом. Бойцы отпустили Дежнева, расступились, кто-то поднял его ушанку и отряхнул от снега. Он нахлобучил шапку, стоял, ни на кого не глядя, загнанно дыша.

— Спасибо, ребята, — сказал он тихо и пошел к калитке. Потом обернулся: — Бабу-то не трогайте, я про нее ничего не знаю… Дура какая-то малахольная, язык без костей, вот и психанул…

На углу остановился, опять закурил, стал жадно затягиваться, не ощущая вкуса. Зайти еще к кому-то здесь по соседству — зачем? Чтобы еще раз услышать то же самое? Это проклятое бабье если уж кого ославит… Что Таня работала у немцев — это, наверное, факт, такого не придумаешь, если не было. Именно этого он и боялся — давно уже, с той встречи с Николаевым в позапрошлом году, в Москве, когда генерал рассказал ему о дошедших из Энска новостях о каком-то комсомольском подполье; он ведь тогда сразу — как только узнал, что Кривошеин оставлен по заданию, — сразу понял, что Лешка втянет и Таню, не останется она в стороне… Но где она могла работать, неужели и в самом деле хватило ума сунуть ее прямо в гестапо, или это уже домысел? Он понимал, что едва ли сумеет выяснить все сегодня или завтра (срок командировки был двое суток, больше он здесь задерживаться не мог), но в то же время и уехать, не узнавши всего, было немыслимо, он не представлял себе — жить дальше, не зная о сегодняшней Тане ничего, кроме услышанного только что…

Но у кого узнавать, к кому идти прежде всего — к Глушко? Замостная слободка черт-те где, это через весь город бежать, — может, есть кто побли-

же? К Женьке Косыгину? Этот жил в центре, там все разбито. Или к Улагаю? Сашки Лихтенфельда наверняка нет, Дежнев еще в сорок первом слышал, что всех немцев выселили в Среднюю Азию. Если успели, конечно. Были еще девчата — Полещук, Лисиченко, но их адресов он не знал, никогда не интересовался…

Он решил идти к Глушко, уж Володька-то — если в городе — должен знать все точно, но по пути вспомнил вдруг, что гораздо ближе, где-то возле «Ударника», живет Сергей Митрофанович — ну точно, на Карла Либкнехта, он еще один раз книги из школы помогал ему нести!

Номера дома он не помнил, но узнал его сразу — старый трехэтажный дом с башенкой на углу, стоит, как и стоял, только еще более облупленный, да стекла во многих окнах забиты фанеркой. Дежнев без труда отыскал и квартиру, постучал. Долго не открывали, он уже стал бояться, что и здесь никого не найдет, потом наконец послышались за дверью шаги, женский немолодой голос спросил, кто там, он ответил, что к Свиридовым. Дверь не сразу открылась. Сестру Сергея Митрофановича Дежнев узнал сразу, хотя видел ее раньше всего два-три раза.

— Здравствуйте, — сказал он, — вы меня не

помните, наверное, я ученик Сергея Митрофановича — Дежнев Сергей, из десятого «Б», последний выпуск, я был у вас тут один раз…

— Дежнев, — повторила она, — Дежнев, что-то знакомое… Ах, ну конечно же! Дежнев, конечно, брат называл мне вашу фамилию совсем недавно…

— Так Сергей Митрофанович в городе? — спросил он с облегчением.

— В городе, да… Вы проходите, сейчас я вам все объясню. Сюда вот, пожалуйста… и не раздевайтесь, у меня холодно…

Следом за Свиридовой (он не мог вспомнить, как ее зовут, а спросить было неловко) он вошел в ободранную комнату с какой-то нищенской обстановкой — закопченная кастрюлька на покрытом рваной клеенкой столе, фанерный кособокий шифоньер, потолок с обвалившейся штукатуркой, в косой штриховке дранок.

— Дело в том, что брата арестовали на прошлой неделе, — сказала Свиридова, придвигая ему стул. — Садитесь, прошу вас…

— Как арестовали? — спросил Дежнев оторопело. — Наши? За что?

Свиридова пожала плечами:

— Как будто обязательно надо «за что». Но тут

хоть была зацепка — он ведь преподавал в немецкой школе… Да, вы не в курсе, конечно. Немцы здесь в позапрошлом году, осенью, открыли несколько начальных школ; они, правда, не проработали и до середины третьей четверти, но так или иначе… Я ему говорила: зачем тебе это, но вы ведь знали его, он умел быть упрямым… Считал, что лучше свой учитель, чем какой-нибудь немец из колонистов или вообще неизвестно кто. Ну и надо ведь было на что-то жить, об этом тоже не следует забывать, а работы в городе практически не было… Кто помоложе и посильнее, те как-то устраивались, а что мог брат? Мы к тому времени распродали уже все, что имело хоть какую-то ценность в такое время, остались только его книги — на них просто не было спроса, — да и то, как «остались»? — половину сожгли… Впрочем, вам это все неинтересно и не нужно. Вы пришли узнать о друзьях?

— Да, я… только сегодня приехал, пытался тут разыскать кое-кого и вот — вспомнил, что Сергей Митрофанович должен знать…

— Видите, он как в воду глядел. При немцах не говорил мне ни слова — даже после этой истории с Глушко…

— Какой истории?

— Ну как же, Глушко — ваш одноклассник — прошлым летом застрелил здесь какого-то высокопоставленного немца. Ну и сам погиб. Брат мне тогда ничего не сказал. И только вот теперь, как только их прогнали…

— Глушко? Глушко — застрелил немца? — переспросил он оторопело. — И погиб, вы сказали? Володька Глушко?

— Да, да, это была громкая история, его фотографии были расклеены по городу — немцы объявили вознаграждение, если кто назовет родственников или друзей. И только вот две недели назад брат признался, что был отчасти в курсе, и рассказал мне все, что знал. На случай, если кто-нибудь будет спрашивать, сказал он и, в частности, назвал вас. Он прекрасно понимал, что его могут посадить, поэтому рассказал мне…

— Что он говорил о Николаевой, Тане?

— Танечка работала в гебитскомиссариате, это и я знала, это знали многие. Она, боюсь, вела себя не очень осторожно, а впрочем, не знаю, может быть, это ей было нужно…

— Что вы… имеете в виду? — выговорил он через силу.

— Она несколько… афишировала, что ли, свое положение немецкой служащей. На откры-

тии выставки, например… зачем ей надо было стоять на трибуне вместе со всеми этими оккупационными чинами? Стоять у всех на виду, переговариваться с каким-то офицером, улыбаться — не знаю, впрочем, скажу еще раз — не мне судить, вероятно, это действительно было необходимо. Коль скоро она туда пошла…

— Но почему пошла? Почему?

— Ах, ну это понятно! Я и сама подозревала, это было задание подполья, тех же, что и листовки выпускали, у них Алексей Кривошеин был руководителем, но эту деталь я, естественно, узнала только вот теперь, от брата! Танечка ведь раньше работала продавщицей в «Трианоне» — я туда тоже кое-что сдавала иногда на комиссию, — и когда она оттуда уволилась и пошла работать в областное управление, я сразу подумала, что это неспроста… Но это печально, конечно. В городе о ней говорили плохо, ее часто видели с каким-то немцем… Самое странное, конечно, это то, что она исчезла — именно тогда, когда погибли Кривошеин и Глушко… Нет, ее не арестовали, она просто исчезла…

Свиридову позвали из-за двери, она извинилась и вышла. Дежнев навалился локтями на стол, стиснул голову в ладонях. Значит, все-таки

не гестапо — и на том спасибо, что в каком-то там мать-его-комиссариате. Но зачем? Какой был смысл? Кто придумал эту проклятую «подпольную деятельность» в немецком тылу, какой от нее был толк, какая кому польза? Послать девчонку во вражеское кодло, заставить «афишировать» — а что же ей еще оставалось делать, раз она там работала, кричать, что ли, «смерть немецким оккупантам»? Наверняка и улыбалась, попробуй не улыбнись… Что они в самом деле, с ума, что ли, посходили! Ладно на фронте — там не приходится думать, кого на смерть посылаешь, солдат есть солдат, но здесь-то, здесь… Мало того что отступили, бросили, эвакуацию — и ту провести по-человечески не сумели — так нет же, еще мало показалось крови, пошли разжигать всю эту партизанскую героику…

— Почему вы не думаете, что Николаеву немцы арестовали? — спросил он, когда Свиридова вернулась.

— Не знаю, конечно, но об этом стало бы известно… Я скажу больше — они и сами не знали, где она! Тут работал один русский из эмигрантов, не военный, просто инженер, строил что-то. Он знал Танечку и был знаком с братом; так вот, уже после всех этих событий он однажды ему

сказал, что тоже опасался, не арестована ли она, и наводил справки через немцев, но те ничего о ней не знали…

Дежнев почувствовал, что вообще уже перестает что-нибудь понимать — еще и эмигрант какой-то, а этот каким образом сюда затесался? Но большего, видно, все равно пока не узнать. Он дал Свиридовой номер своей полевой почты и сказал, чтобы обратилась к нему в случае, если что понадобится.

— Сергею Митрофановичу, если свидание дадут, большой от меня привет, — сказал он. — Насчет немецких этих школ, что бы там ни было, но до войны я Сергея Митрофановича знал очень хорошо — ну, как ученик может знать учителя — и если будет нужно, напишу и подпишу все, что надо…

Странно как-то все это, думал он потом, выйдя на безлюдный Коминтерновский проспект, вроде и не в свой город вернулся. Два с небольшим года оккупации — а уже люди стали другими, не всегда их поймешь… Чтобы Сергей Митрофанович учительствовал в фашистской школе? «Не было работы», «немцы даром никого не кормили» — выходит, когда работа находилась, люди спокойно шли и работали как ни в чем не бы-

вало? Действительно, а как жили при немцах, каким был повседневный быт, как выглядела оккупация изнутри?

Вот уже больше года капитан Дежнев, как и миллионы его товарищей по оружию, то и дело сталкивался с ее, так сказать, внешней стороной, с ее страшным «фасадом» — в освобожденных местах; начиная от Сталинграда, не раз находили то ров с расстрелянными, то штабели трупов в лагерях военнопленных, — да что год, ведь уже в декабре сорок первого, под Москвой, видел он оставленные врагом пепелища, видел на снегу только что снятое с виселицы тело девушки, чье имя (тогда еще никому не известное) облетело потом весь мир…

Но за этим было и что-то другое — ведь не все в оккупации попадали на виселицы, за колючую проволоку или в противотанковые рвы: с какой бы производительностью ни работала фашистская машина террора, она все равно не могла перемолоть всех, — так вот эти, уцелевшие, дожившие до освобождения, — как жили они все это время?

Об этом Дежнев имел до сих пор, в общем, довольно слабое представление: узнать что-то можно было лишь с чужих слов, а рассказы осво-

божденных бывали обычно сбивчивы и как-то маловразумительны — да и не всему в них верилось, по правде сказать. Странно, но только сейчас, в разговоре со Свиридовой, ему вроде бы что-то приоткрылось…

Надо все-таки сходить в Замостную слободку, решил он. Родных разыскивали, значит, они прятались где-то, а сейчас, возможно, вернулись? Может, помочь чем-то — деньгами хотя бы, деньги у него были (он только сейчас, запоздало, подумал, что надо было предложить и Свиридовой, она ведь наверняка тоже бедствует); отца Володькиного вроде сразу тогда призвали, мать, значит, с двумя пацанами теперь осталась…

Когда добрался до слободки, уже начинало смеркаться. Дежнев прошел из конца в конец весь Подгорный спуск, повернул обратно — и только тут сообразил, что пустырь с давнишней и уже полузасыпанной бомбовой воронкой и есть все, что осталось от усадьбы Глушко. Без следа исчез не только крытый белым этернитом домик, построенный перед самой войной и запомнившийся ему запахами краски и штукатурки и клейкими золотистыми подтеками смолы на свежевыструганных притолоках, исчезло вообще все — сарайчик, летняя кухонька, забор, даже по-

саженные Василием Никодимычем яблоньки и кусты сирени. Это было понятно — за две оккупационные зимы соседи разобрали на топливо все, что могло гореть, — и все же пустырь выглядел таким диким и неправдоподобным, что Сергей, стоя на краю воронки, невольно огляделся в поисках хотя бы одного знакомого ориентира. Да, все правильно — вон тот тополь на соседнем участке… Володька еще говорил, что пользуется им как солнечными часами — даже таблицу поправок составил… Эх, Володька, Володька, вихрастый «романтик», изобретатель, энтузиаст реактивного движения…

Капитан машинально прикинул диаметр воронки, профиль выброса. Фугасная двухсотпятидесятка, и, скорее всего, немецкая, значит, еще тогда… да это и видно, что давнишняя, края уже почти сровнялись. Неужели кто-нибудь из Володькиных…

Он обошел несколько соседних домиков — в двух жили новые люди, поселившиеся здесь год-полтора назад, в третьем дверь открыл какой-то глухой и ничего не соображающий дед, и только в четвертом наконец удалось кое-что узнать. Да, Глушко погибли все — кроме Володи — в ту первую бомбежку, в августе сорок первого;

сам он был где-то в плену, сюда вернулся зимой — нет, не жил, просто приходил один раз, жил он где-то в другом месте. Этим летом, после убийства гебитскомиссара, сюда несколько раз приходили — и из «допомоговой полиции», и немцы какие-то в цивильном — все расспрашивали, интересовались…

Дежневу вдруг захотелось напиться до беспамятства. Он вспомнил, что где-то здесь неподалеку жила еще одна их одноклассница, Ира Лисиченко, можно было бы разыскать, но он чувствовал, что это уже будет выше его сил. Напиться бы в самом деле, да где напьешься, остается одно — обратно в комендатуру, отметить убытие и первой же попуткой уехать. Ну, побывал в родных местах, ничего не скажешь…

Самым ужасным было то, что Танин образ вдруг распался в его душе, в памяти, в представлении; еще вчера она была самой близкой, знакомой до мельчайшей подробности, живой — будто расстались месяц назад. А теперь он вдруг осознал, что той Тани больше нет, что она перестала существовать, исчезла; даже если и физически невредима, даже если ей удалось спастись — все равно это уже не она, она изменилась внутренне, не могла не измениться, не стать совершенно

иной, непохожей на ту, прежнюю, довоенную. Та не могла бы стоять на трибуне с немецкими офицерами, пересмеиваться с ними на виду у всех. Нет, он сейчас нисколько не осуждал эту, теперешнюю, слишком мало о ней знал, чтобы не то что осуждать — вообще судить. Если и было тут кого осуждать, так это тех, кто послал ее на это; но все равно это уже была не та Таня, совсем не та…

Сеню Лившица он встретил, не дойдя до комендатуры, и очень кстати, потому что первыми словами Сени было: «Слушай, откуда ты взялся — пошли, у нас тут небольшой сабантуй», — будто и впрямь судьба подслушала его желание выпить; да и сам Сеня был хороший парень, даром что газетчик, поэтому Дежнев пошел и только потом поинтересовался, по какому поводу сабантуй.

— Странный ты человек, как будто обязательно должен быть повод, — ответил Лившиц, словно телеграмму вслух зачитал. — Но в данном случае повод действительно есть — обмываем высокую правительственную награду — наш главный оторвал орден.

— Это что же, журналистская ваша братия гулять будет?

— Не только, почему же, не все ведь разделяют твои теплые чувства к нашей братии. Ты бы, кста-

ти, объяснил когда-нибудь, чем они вызваны.

— Чем вызваны… — Дежневу не хотелось сейчас затевать спор, но и отмалчиваться счел излишним. — Больно уж правдиво о войне пишете, вот чем.

— Абсурдная претензия, комбат, кому она нужна — твоя правда. Ты, как я понимаю, не наши фронтовые многотиражки имеешь в виду…

— Нет, понятно, с вас какой спрос… вы свое дело делаете, о подвигах рассказываете, боевой опыт распространяете, от вас большего и не требуется. Я выше беру… Ты вот представь себе — лет через пятьдесят решит кто-нибудь об этой войне написать и начнет листать старые подшивки. Что за хреновина, подумает, немцы все сплошь были трусы да кретины, у нас одни герои — по два танка зараз одной поллитровкой поджигали, — непонятно выходит, кто же этих героев гнал аж до самой Волги…

— Наивен ты, как младенец, воюешь уже третий год, а ума не нажил. Газетные статьи не для будущих историков пишутся, а для тех, кто сегодня в тылу ишачит, чтобы вам было чем воевать. Сам подумай, можно ли им говорить все, как оно есть на самом деле. Знаешь поговорку: нигде так не врут, как на войне и после охоты…

— Ладно, тебя не переспорить. А вы что, уже сюда перебазировались?

— Так точно, уже четвертый день со всеми прочими дивизионными тылами. Возможно, кстати, увидишь свою приятельницу Сорокину, она недавно о тебе осведомлялась.

— А-а, — неопределенно откликнулся Дежнев. Назвать сержанта Сорокину его «приятельницей» было, пожалуй, не совсем точно; хотя на фронте кто только не приятель. Им за это время случалось встретиться еще два-три раза, и они даже как-то незаметно перешли на «ты» — так что, может, и в самом деле приятельница; во всяком случае, хорошо, что она сегодня будет, а то там наверняка сплошь народ ему чужой — в полку дело другое, но на уровне дивизии у капитана Дежнева знакомых было немного.

Веселье, когда они пришли, было уже в разгаре, Сеню Лившица встретили шумными приветствиями, пришлось пить штрафную — Дежнев был уверен, что вырубится немедленно, все-таки стакан водки на пустой желудок; но ничего подобного не произошло, он вообще не почувствовал никакого действия.

Сорокина действительно была здесь, он приветственно помахал ей через стол. Потом, когда

несколько пар пошли танцевать под хрипучий и спотыкающийся патефон, он пересел к ней.

— Привет, Леночка, — сказал он, — рад тебя видеть — хоть одно знакомое лицо.

— Я тоже рада, а что ты тут делаешь?

— Командировку себе выбил, это ведь мои родные места, учился здесь, на фронт отсюда ушел…

— Ах вот что, я и не знала. И родные здесь?

— Нет, мать с сестренкой в Тулу перебрались еще до войны. Друзей было много.

— Было?

Дежнев молча кивнул, налил себе; потом, спохватившись, потянулся с бутылкой к ее стакану — она быстро прикрыла его ладонью.

— Не надо, Сережа, не могу.

— А я выпью, мне сегодня так хотелось напиться — не получается, идет как вода…

— Ты, наверное, перенервничал, алкоголь в таких случаях не действует. Узнал что-нибудь… плохое?

— Да уж, наслушался. Ну что, пойдем пофокстротим, тряхнем стариной?

— Не надо, нет. Я вообще думаю скоро уходить. Ты останешься?

— Не знаю, может, и посижу еще. Вообще-то, я не знаю здесь никого, меня ведь Сеня затащил

— хороший парень, я из-за него и пошел.

— Лившиц? Да, он симпатичный, — согласилась Лена.

— Понимаешь, я его на передке видел, потому и говорю. Он ведь не из тех, о ком нашему брату на ка-пэ звонят и сообщают строгим голосом: «К тебе товарищ корреспондент едет, прими там, обеспечь безопасность» — и все такое. Вот тех паразитов видеть не могу… сидел бы уж у себя в Москве, если тебе на фронте безопасность требуется.

— Ну, тут ты не совсем прав, я думаю. Вряд ли сам корреспондент этого требует, скорее местное начальство себя подстраховывает. После того случая со Ставским…

— Не знаю, кто там кого подстраховывает, а все равно противно. И приезжает зачастую молодой амбал вполне призывного возраста — это как? Есть ведь у нас старые писатели, вот пускай бы они и сочинительствовали. Ладно, ну их к черту. Я почему заговорил — вспомнил, как Сеня у меня роту в атаку водил. Ничего, нормальный мужик, за Сеню я выпью. И пойдем, да?

— Куда пойдем?

— Ты ведь уходить собралась, а меня тоже сегодня на веселье не тянет. Схожу в комендатуру,

возьму квартирный талон. Я, как приехал, не взял… Думал, будет где переночевать.

Скоро они ушли вместе — потихоньку, ни с кем не прощаясь. На улице подморозило еще сильнее, воздух сделался обжигающе-колючим, в чистом звездном небе сиял молодой месяц, — будто никакой войны, такая стояла вокруг глубокая, мирная тишина.

— Тебе в какую сторону? — спросил Дежнев.

— Недалеко от комендатуры, пройдемся немного, проветримся, все равно по пути. Я, в общем-то, тоже случайно туда попала… не хотелось оставаться дома, мне в эти дни трудно быть одной…

— В какие «эти дни»? — не понял Дежнев.

— Да просто… мальчик мой умер в это время, — объяснила она спокойно, почти деловым тоном. — Когда — точно не знаю, но где-то вот… конец января, начало февраля. Два года уже, я ведь тебе, кажется, рассказывала… — Она помолчала, потом добавила так же деловито: — Знаешь, я, наверное, долго не выдержу. Говорят, время залечивает — какое там, только страшнее становится.

— Это тебе сейчас так кажется, — тоже помолчав, откликнулся Дежнев. — В конце концов…

— Знаю, знаю. «В конце концов, не у одной тебя

погиб ребенок» — это хотел сказать? Дурак ты, Сережа, извини за прямоту. Впрочем, по-своему ты прав, просто о другом совсем говоришь. Можешь ты себе представить полуторагодовалого ребенка, который умирает от голода в темной ледяной комнате, рядом с трупами двух стариков? Не можешь? Тогда и не говори ничего. А я вот представляю себе это, понимаешь? Не знаю, может, это и не так было, может быть, бабушка была еще жива, и он умер у нее на руках, и она отогревала его дыханием, сказку ему рассказывала, не знаю. Но я вижу это так, поэтому и говорю, что надолго меня не хватит. Извини, впрочем, у тебя сегодня и своего хватает, как я понимаю…

Ему действительно выше головы хватало своего, и он уже пожалел, что пришел на этот дурацкий сабантуй и встретил ее в таком состоянии; но для нее-то это, наверное, лучше — все-таки есть с кем поделиться. Так что, может, и хорошо, что пришел и встретил.

Они уже миновали комендатуру, когда Лена заговорила снова — с той же странной, безжизненно-спокойной интонацией:

— Видишь ли, я погубила их всех, не только Мишеньку, но и Мишиных родителей. Мне недавно рассказали про одну женщину, которая была там

в самое страшное время, в первую зиму, и прокормила всю семью — мать, двух сестер — знаешь как? Очень просто, она стала донором; там, оказывается, можно было сдавать кровь, за это давали дополнительный паек, и вот этим пайком она всех спасла. Худо-бедно, но прокормились. Что на меня нашло, господи, что на меня тогда нашло…

— Война нашла, ясно что, — отозвался Дежнев, — много ли мы тогда, в первое лето, понимали. Кто знал, что оно так обернется…

Говоря это, он думал и о себе — не в том смысле, что мог не пойти в военкомат; не сделать этого он не мог, но он должен был позаботиться о Тане, заставить ее уехать в Москву, в Тулу, куда угодно, надо было списаться с Николаевым, он бы устроил. А так получилось, что и он бросил ее на произвол судьбы, одну совершенно, без единого близкого человека…

— Я иногда просыпаюсь от его голоса, — говорила Лена, — он меня по утрам будил, проснется раньше и «мама, мама»… У него кроватка рядом стояла — такая, знаешь, с сеточками по бокам, вроде как гамак, только помельче, — и он встанет, как обезьянка, и зовет, будит. Он ходить уже начинал, несмело так, а стоял хорошо, иногда даже не держался. Проснешься, а он уже ждет

— смотрит, улыбка во всю рожицу, и в глазенках столько радости, столько… доверия, понимаешь, у маленьких ведь всегда эта доверчивость к…

Она не договорила, обеими руками вцепилась вдруг в рукав его полушубка, уткнулась лицом, вся сотрясаясь от беззвучных рыданий. Он стал молча гладить ее по плечам, не пытаясь даже что-то сказать. Скоро она затихла.

— Ну что, идем? — спросил он. — Где ты квартируешь-то?

— Послушай, Сережа, — сказала она тихо. — Если хочешь, мы никогда больше не увидимся, я тебе обещаю, — но сегодня не оставляй меня одну, прошу тебя, потом я могу хоть на другой фронт перевестись, у меня есть возможности. Я не знаю, что ты сейчас обо мне думаешь, да не все ли равно в конце концов, — иначе я не смогу, не вынесу, мне ведь от тебя совершенно ничего не надо, просто я одна не могу быть с этими своими мыслями, воспоминаниями, не оставляй меня сегодня, Сережа…

Глава 8

Новый комендант появился в лагере неожиданно. Вообще-то, Фишер давно говорил Тане,

что рано или поздно его отсюда уберут, и даже называл сроки; но сроки проходили, кончился январь, миновала половина февраля, а об учителе, застрявшем на посту лагерного коменданта, никто не вспоминал. Фишер клял свою судьбу и начальство, а Таня была довольна. Она уже начала надеяться, что никаких перемен в Шарнхорсте вообще не произойдет.

Но однажды днем, когда она, распределив работы между дежурными, занималась стиркой у себя в комнате, ее вызвали в канцелярию. Явившись туда, Таня увидела человека в форме СА — сапоги, заправленная в бриджи темно-желтая рубаха с продетым под погон ремнем портупеи, заколотый круглым значком со свастикой галстук и большой нож на поясе. Штурмовик был высок и пузат, с подстриженными а-ля фюрер усиками. Он стоял посреди комнаты, расставив ноги и держась обеими руками за широкий поясной ремень. Фишер, морщась от дыма зажатой в губах сигареты, рылся в выдвинутом ящике своего стола.

— Это вот наша переводчица, — сказал он, когда вошла Таня. Потом покосился на нее и добавил: — А это новый комендант, шарфюрер Хакке. Куда, к черту, могли деваться бланки отпускных

свидетельств?

— Они в другом ящике, — сказала Таня. — Разрешите…

Подойдя к столу, она раскрыла левую тумбу и быстро нашла бланки.

— В высшей степени странно, — квакающим голосом заявил шарфюрер. — Переводчица имеет доступ к лагерной документации? Может быть, печать тоже находится у нее?

— Печать я ношу с собой, — сказал Фишер и ощупал свои карманы. — Нет, оставил дома. К печати, разумеется, никто, кроме меня, доступа не имеет.

— Но содержимое вашего стола переводчица знает лучше вас, — продолжал новый комендант тем же мерзким голосом. — Должен сказать, это вопиюще противоречит всем инструкциям.

— А я этих инструкций не помню, — сказал Фишер. — Я, партайгеноссе Хакке, разбираюсь в них приблизительно так же, как вы в педагогике. Двадцать раз я просил убрать меня отсюда куда угодно… хоть на Восточный фронт.

— Не сомневаюсь, что ваше истинно германское желание будет удовлетворено, партайгеноссе Фишер, — проквакал Хакке. — Переводчица может удалиться.

— Jawohl, Herr Lagerführer[57], — отчеканила Таня и сделала четкий поворот налево кругом. Выйдя, она присвистнула изумленно и горестно: ну и фрукт!

Через час к ней зашел Фишер. Видно было, что он расстроен, но старается этого не показывать.

— Н-ну, переводчица, — он усмехнулся, закуривая, — кажется, твоя сладкая жизнь окончилась. Что?

— Зачем вам было отсюда уходить? — сказала Таня с упреком. — Сидели бы тихо — никто о вас не вспомнил бы…

— Не по мне должность. Я все-таки учитель, а не надсмотрщик.

— Но людям с вами хорошо. А теперь прислали этого…

— Да, это экземпляр. — Фишер покрутил головой. — Ладно, проживете и без меня. В сущности, помочь им всем я все равно не мог… Что я мог сделать — увеличить хлебные нормы? Или снять колючую проволоку? Не неси чепуху, переводчица. Лагерь есть лагерь, независимо от личности коменданта. Проживете и с новым. Я только хотел тебя предупредить!

---

[57] Notes: 57
Слушаюсь, господин комендант *(нем.)*.

Он поднял палец, строго глядя на Таню.

— На жизнь лагерников перемена начальства повлияет мало. Но! На твою жизнь она повлиять может. И еще как! Слушай меня внимательно, переводчица. У тебя могло сложиться самое превратное представление о собственной безнаказанности, а также о снисходительности и доверчивости немцев вообще, но ты жестоко ошибаешься, моя милая. Просто тебе посчастливилось напасть на Фишера, который сквозь пальцы смотрел на все твои фокусы!

— Но… я не понимаю… о каких фокусах вы говорите?

— Не спрашивай, переводчица, не спрашивай, я не такой уж дурак, каким тебе показался. Ты думаешь, я не заметил подчищенных списков? Ты думаешь, я не обратил внимание на кляксу, которой не было раньше?

Он замолчал, глядя на нее насмешливо. Таня попыталась что-то сказать, но ничего не придумала.

— Держи себя в руках, черт возьми! — прикрикнул вдруг Фишер. — Нечего соваться в такие дела, если ты не научилась владеть своим лицом! В гестапо ты бы тоже начала вот так бледнеть и краснеть?

Окурок, от которого оставалось уже не более сантиметра, обжег ему пальцы — он загасил его, спрятал в жестяную коробочку и тут же закурил новую сигарету.

— Невиданное свинство, — сказал он, покачивая головой. — За месяц протащить в лагерь двух человек, неизвестно откуда взявшихся. Ты слишком уж расхрабрилась, переводчица! И виноват в этом я. Тебе слишком многое сходило с рук, моя милая Танья, вот ты и решила, что все тебе позволено. А знаешь, что нужно было сделать, когда я в первый раз заметил твои проделки со списком? Нужно было тебя взять, ткнуть носом в эту самую кляксу — гениальная выдумка, надо сказать, просто гениальная! — а потом попросту выпороть. Да, да, моя милая! Это тебя отучило бы от игры в конспирацию. Идиотка, подумай о том, что было бы с тобой, окажись на моем месте другой комендант! Скажем, тот же Хакке, с которым только что имела удовольствие познакомиться. Ты хоть немножко отдаешь себе отчет, в какую игру ввязалась?

Он смотрел на нее, ожидая ответа. Она молчала.

— Кто эти двое? — негромко спросил Фишер. — Откуда они вообще выползли?

— Не знаю, — сказала Таня, глядя в сторону.

— Кто дал тебе указание устроить их в лагере?

— Никто мне не давал никаких указаний…

— Логичный ответ, переводчица. Логичный и вполне убедительный. Такие ответы особенно нравятся следователям. Ты знаешь, что делают в гестапо с такими упрямыми дурами?

Таня посмотрела Фишеру в глаза и снова отвела взгляд.

— Ты даже не позаботилась приготовить хотя бы самое примитивное объяснение, — сказал тот. — Хотя бы на всякий случай! Или ты была так уверена, что ничего не случится? Что под крылышком у Фишера тебе уже ничто не грозит? Слушай-ка, ослиная ты голова! Если это дело вскроется — надеюсь, этого не случится, но будем предполагать худшее, — так вот, если до твоих протеже все-таки докопаются, то имей в виду: ты устроила их за взятку. Это ясно? Шарнхорст до сих пор слыл лагерем довольно либеральным, и неудивительно, что эти двое просто захотели перебраться сюда из лагеря с более строгим режимом. Они предложили тебе взятку — не знаю там, плитку шоколада или пару чулок, — и ты согласилась, не видя в этом ничего особенно преступного. Это не очень убедительное объяснение,

но оно выглядит более или менее правдоподобно, и за это хоть можно зацепиться. Так, может быть, ты еще отделаешься сравнительно легко. А вот за такие ответы, как ты дала мне, за эти твои «не знаю» и «никто» первый же следователь спустит с тебя шкуру. И будет совершенно прав! Поэтому сиди тихо и смирно, а тем, кто подучил тебя подобным фокусам, скажи, что обстановка в лагере изменилась. Ты меня поняла, переводчица?

— Да, господин Фишер…

Опять наступило молчание, Фишер закурил третью сигарету. «Волнуется», — подумала Таня. Обычно он курил редко — экономил скудный табачный рацион.

— Вас действительно могут послать на фронт? — спросила она.

— Почему бы и нет?

— А вы когда-нибудь воевали?

— Да, во Фландрии. Тебя еще не было и в проекте.

— А вы перебегите, — предложила Таня. — Это ведь, наверное, совсем не трудно.

— Спасибо за совет, — буркнул Фишер. — Просто не знаю, что бы я без тебя делал?

— Этот… шарфюрер еще там?

— Убрался. Вступает в должность завтра, так

что держись, переводчица. Первое время он будет особенно ретив, постарайся, чтобы все было в порядке.

— Я постараюсь, — сказала Таня. — А нельзя мне уйти? Уж лучше копать землю…

— Не думаю, что он тебя отпустит. Ты действительно хотела бы отказаться?

— Если бы отпустил…

— Значит, остановка только за этим? А кто же в таком случае стал бы колдовать над списками?

— Ну… — Таня беспомощно пожала плечами. — Вы сами говорите, теперь все равно невозможно — при новом коменданте…

— Это как сказать, — усмехнулся Фишер. — Ведь ты же такая хитрая и находчивая, а? А вдруг тебе в голову придет еще какая-нибудь блестящая идея? Вдруг партайгеноссе Хакке тоже окажется болваном? До сих пор тебе, насколько я знаю, удавалось неплохо обделывать свои делишки. А, переводчица?

— Вы считаете, мне лучше остаться? — после долгого молчания спросила Таня.

— Я ничего не считаю! — Фишер, словно защищаясь, выставил перед собой ладони. — Не хватает еще, чтобы потом ты свалила все на меня: дескать, это Фишер меня подучил. Я просто хочу,

чтобы ты поняла ситуацию: обстановка в лагере часто зависит не столько от коменданта, сколько от переводчика. Ты согласна?

— Ну… может быть, — нерешительно согласилась Таня, подумав.

— А если так, то выкинь из головы глупости и занимайся своим делом.

— Я не понимаю, — сказала Таня. — То вы говорите, что нужно сидеть тихо, то…

— То что? Сидеть тихо, моя милая, вовсе не значит сидеть сложа руки. Что главное в жизни? Долг, долг и еще раз долг! Человек рождается именно для этого, для постоянного и неуклонного выполнения своего долга, каким бы он ни был. Раньше моим долгом было учить детей, а теперь мне снова придется стать солдатом — да, да, это тоже будет выполнением долга, не смотри на меня так! Долг — это не всегда то, что нам нравится. Ты что же думаешь, я не понимаю всей преступности войны? Однако если отечество потребует, чтобы я принял в ней участие, я так и сделаю. Потому что долг есть долг! А твой долг здесь, сейчас — помогать соотечественникам, чем можешь и сколько можешь. Фалентина — ты ее помнишь? — она это понимала.

— А те, что ее увезли, они тоже выполняли

свой долг?

— Естественно! Долг не может быть каким-то универсальным, общим для всех. На фронте немец стреляет в русского, русский стреляет в немца, и каждый при этом выполняет свой долг — так уж устроен мир, никуда не денешься…

Начало царствования шарфюрера Хакке подтвердило справедливость пословицы о новой метле. В первый же день он обошел все комнаты и стал орать, что в лагере грязно, как в иудейской бане. Кроме того, он нашел, что население распределено неравномерно — в одних комнатах народу больше, в других — меньше. Таня объяснила, что вначале все были расселены поровну, но потом люди сами начали переселяться, как им было удобнее; тут есть, например, группа крестьян, вывезенная из-под Орла, — естественно, что они предпочитают держаться вместе. Или, скажем, холостяки — они тоже собрались в одной комнате, потому что жить вместе с семейными неудобно, те и другие будут стеснять друг друга…

— Quatsch[58], — решительно квакнул Хакке. — Это не санаторий, а трудовой лагерь. Чем это они могут друг друга стеснять?

---

[58] Notes: 58
Чепуха *(нем.)*.

— Вы понимаете, у семейных есть дети, а в мужской комнате курят…

— Курят? Почему курят? Кто разрешил курить в лагере? Неслыханное безобразие! Откуда они берут сигареты — попрошайничают на улицах?

— Да нет, просто подбирают окурки. — Таня пожала плечами. Не знает он, что ли, как это делается? Даже многие немцы разгуливают с тросточками, специально приспособленными для сбора окурков, — с острым гвоздиком на конце, чтобы не наклоняться.

— Подбирают окурки! Великолепно! Колоссально! Вместо того чтобы работать, они таскаются по улицам и подбирают окурки! Ну ничего, я наведу порядок в этой синагоге!

Вечером, после ужина, население лагеря выгнали на аппель-плац, тускло освещенный синими фонарями. Комендант держал речь, Таня переводила фразу за фразой.

— Мне стало известно, — выкрикивал шарфюрер, — что некоторые из вас проводят вечера в пивных! Невообразимая наглость! Вас привезли сюда работать, а не пить пиво! Начиная с сегодняшнего дня ворота лагеря будут запираться ровно в девять часов! Пребывание на улицах после этого срока будет рассматриваться как

попытка побега, со всеми вытекающими отсюда последствиями! Кроме того, систематически нарушается инструкция, согласно которой всякое передвижение из лагеря к месту работы и обратно, будь то пешком или любым видом транспорта, должно совершаться только под охраной специальных лиц, выделенных фирмой для этой цели. В ближайшие дни всем предпринимателям, использующим рабочую силу из лагеря, будет разослан соответствующий циркуляр, и после этого ни одна рабочая группа не выйдет за ворота, если сопровождающее лицо не окажется здесь к моменту окончания утренней поверки…

Он говорил еще долго, своим квакающим голосом обрушивая на головы лагерников всевозможные запреты и угрозы, не забыв и про злополучные окурки — отныне в лагере запрещалось курить под угрозой лишения дневного пайка. Нельзя было придумать ничего глупее.

Не умнее было и заявление Хакке относительно хождения на работу под конвоем. В этом смысле у предыдущего коменданта уже был кое-какой опыт; поколебавшись немного, Таня решила сказать об этом новому. В конце концов, если он не окончательный дурак, он поймет, что она хочет ему помочь, а ей важно наладить с ним хотя бы

приличные отношения.

— С вашего позволения, — сказала она ему на следующий день, когда они остались вдвоем в канцелярии, — я хотела бы посоветовать вам не спешить с циркуляром относительно сопровождения рабочих групп.

— Что такое? — неприязненно спросил Хакке. — Почему это не спешить?

— Такой циркуляр мы уже рассылали в конце декабря, — сказала Таня, — он исходил из канцелярии обер-бургомистра Эссена, однако не дал никаких результатов. Основная трудность в том, господин комендант, что у нас более шестидесяти процентов рабочих заняты на мелких предприятиях с ограниченным числом персонала. Когда речь идет о больших группах — фирма может обеспечить сопровождение. Вот, например, на фабрике Лоос в Штееле работают около сорока человек — их водят туда и обратно под охраной…

Она достала из картотеки несколько карточек и разложила их перед комендантом.

— …но возьмите такую фирму, как столярная мастерская Криге. Она находится в самом Эссене, ехать туда около часу, а работают там от нас всего два человека. Очевидно, хозяину трудно каждый день гонять в такую даль своего рабочего, утром

и вечером, только для того, чтобы…

— Чепуха! — прервал ее Хакке. — Трудно или нет — меня не касается. Инструкция должна выполняться! Если господину Криге не нравится ездить в Штееле — пусть берет рабочих из другого лагеря, поближе. Занимайся своим делом и не морочь мне голову. Да, и вот еще что — надо немедленно перераспределить людей по комнатам. Объявишь об этом сегодня перед ужином! Возьми списки и раздели общее количество людей на число комнат, и пусть перебираются сегодня же вечером. Койки в каждой комнате должны стоять в предписанном порядке! Никаких занавесок и перегородок — только порядок! И чистота! Кстати, что за дикая банда гнездится в шестой комнате? Черт знает что! Кто эти недочеловеки?

— Я не знаю, как это объяснить, господин комендант, — сказала Таня. — Это такие — ну, у них такая особенная религия…

— Никаких религий! Здесь трудовой лагерь, а не молитвенный дом! Они заросли бородами, как сионские мудрецы! Передай им, что при следующем посещении бани они все должны пройти санобработку и постричься! Наголо! Под машинку! Я не потерплю у себя в лагере этот

вшивый кагал!

— Да, но… они не ходят в баню, господин комендант.

— Что-о?

— Они говорят, им не позволяет религия…

— Ах так! Я вижу, здесь до сих пор каждый делал что хотел и вел себя как хотел. Ну ничего! Я вам покажу, что такое настоящая германская дисциплина! Что?!

— Я ничего не говорю, господин комендант, — поспешила сказать Таня.

До самого вечера она просидела над списком, пытаясь перераспределить людей по комнатам так, чтобы по возможности меньше нарушить их сложившийся уже быт, чтобы и овцы были целы, и волки сыты. Но как это сделать? Сектантов слишком много для одной комнаты, но никто из них не захочет уйти от своих и жить вместе с «нечестивцами». И потом, эта проблема семейных с детьми… Ну, этих можно не трогать — в конце концов, в каждой комнате есть холостые или, по крайней мере, бездетные. В седьмую придется вселить человек двенадцать, не меньше. Жаль, конечно, но ничего не поделаешь. В общем-то, это даже справедливо.

Для всех перенаселенных комнат Таня соста-

вила на отдельных листках бумаги списки лиц, подлежавших переселению, с указанием — кому куда перебираться. Готовить список для шестой не было никакого смысла: сектанты, кажется, не умеют читать, да и все равно никуда не переселятся. Раздав списки дежурным, она пошла к себе. Приближалось время ужина, и все обитатели седьмой комнаты были уже дома.

— Товарищи, к нам вселяют еще четырнадцать человек, — объявила Таня. — И потом, придется разобрать все «купе». Это приказ коменданта. Койки расставить строго по ранжиру, на определенном расстоянии одна от другой. Занавески он тоже запретил.

В комнате стало тихо.

— Позвольте, — сказал желчный интеллигент, — это же нелепость, по меньшей мере…

— Скажите это коменданту, — посоветовала Таня.

— Да, но вы и сами могли ему объяснить, вы же переводчица! Не понимаю, кому мешают эти занавески?

— Во всяком случае, не мне, — сказала Таня, едва сдерживаясь. — Как вы догадываетесь, я тоже предпочитаю раздеваться не у вас на глазах!

— Каким тоном вы со мной разговариваете? —

истерично взвизгнул интеллигент. — Девчонка!

— Успокойтесь, успокойтесь, — сказал кто-то. — Не хватает еще ссор…

— А я лично считаю, что Леонид Викторович прав, — вмешалась жена николаевского коммерсанта. — Если комендант такое придумал, то уж переводчице молчать нечего! Взяла бы да сказала, чем приходить тут да распоряжаться: это убрать, это расставить! Подумаешь, шишка какая!

Коммерсантша была дура дурой, все это знали, и обижаться на ее слова было глупо, но Таня, и без того уже взвинченная, обиделась так, что у нее перехватило дыхание.

— Потрудитесь мне не указывать! — крикнула она звенящим голосом. — Я сама знаю, что можно сказать коменданту и чего нельзя! Койки должны быть переставлены сегодня же, мужчины займутся этим после ужина. И прекратить разговоры на эту тему!

Ни на кого не глядя, она ушла к себе за занавеску. Действительно собачья должность!

За столом продолжался оживленный разговор — одни собирались идти объясняться к коменданту, другие считали это бессмысленным. Они спорили долго, потом кто-то крикнул:

— Таня, можно вас на минуту?

Она встала.

— В чем дело?

— Вы можете сейчас пойти с нами к коменданту?

— Могу, конечно, если он еще не ушел. Но я не советую к нему идти.

— Почему?

— Потому что он не станет с вами разговаривать. Как вы не понимаете?

— Извиняюсь, это уж наша забота, — сказал желчный интеллигент. — От вас требуется одно: исполнить обязанность переводчицы. Надеюсь, вы от этого не отказываетесь?

— Хорошо, идемте, — сказала Таня, пожав плечами. Они спустились на первый этаж. В канцелярии горел свет. Таня постучалась и услышала из-за двери квакающее: «Herein!»[59]

— Господин комендант, люди из комнаты номер семь просят разрешения с вами поговорить, — сказала она, войдя вместе с двумя делегатами.

— Что случилось? Говорите!

Таня обернулась к желчному интеллигенту:

— Господин комендант вас слушает.

— Мы просим перевести ему следующее, — ска-

---

[59] Notes: 59
Войдите! *(нем.)*

зал тот въедливым тоном. — В седьмой комнате живут интеллигентные люди с семьями, что было принято во внимание прежним комендантом, когда решался вопрос относительно числа жильцов. Сейчас к нам хотят вселить дополнительно четырнадцать человек, среди которых могут оказаться люди, лишенные культурных навыков, шумные, неопрятные…

— Вы не то говорите, Леонид Викторович, — шепнул второй делегат. — Ну при чем тут «шумные»? Вы ему скажите, что мы просим не переставлять койки…

— Вы, пожалуйста, меня не перебивайте, — огрызнулся интеллигент и продолжал, обращаясь к Тане: — Скажите, что мы, в конце концов, имеем право на какие-то элементарные удобства. Не можем же мы жить так, как живут в других комнатах простые колхозники!

— Чего они хотят? — нетерпеливо спросил комендант. Таня перевела. Как по-немецки «интеллигентные», она не знала и сказала просто «специалисты с высшим образованием». Хакке слушал ее, выпучив глаза.

— Итак, господам требуются удобства, — проквакал он, когда Таня кончила. — Может быть, их не устраивает также отсутствие ванных комнат?

Может быть, им нужны номера люкс?

Он осведомился об этом вполне мирным тоном, словно обсуждая реальную возможность, и вдруг обернулся к желчному интеллигенту, еще больше выкатив глаза и побагровев.

— Невиданная наглость! — заорал он диким голосом. — Я тебе покажу «удобства»!! Я тебе покажу «высшее образование»!! Вон отсюда, старая задница!!!

Делегацию вымело за двери в одно мгновение.

— Хамство какое, — с достоинством сказал интеллигент, поднимаясь по лестнице. — Обычная история, произвол местных властей. Уверен, что наверху об этом ничего не знают.

— Ну разумеется, наверху сидят такие добряки, — сказал второй делегат.

— Дело не в доброте, Павел Сергеевич. Немцы прежде всего подходят к каждому вопросу с точки зрения целесообразности. Какой им смысл, скажите на милость, бесцельно озлоблять людей, которых они привезли к себе для работы? Не могу поверить, чтобы существовала такая установка. Что, собственно, сказал этот истерик? — спросил он, обращаясь к Тане.

— Вы уж не спрашивайте, — ответила та сердито. — Я с удовольствием перевела бы вам, что он

сказал, только не хочется повторять.

Она не удержалась и добавила:

— Ну как, побеседовали с новым комендантом?

Они были уже на площадке второго этажа, когда внизу послышался звук отворившейся двери.

— Dolmetscherin hierher![60] — раздался на всю лестницу вопль шарфюрера.

Таня вернулась в канцелярию. Хакке стоял посреди комнаты, расставив ноги в начищенных до блеска сапогах, и держал руки за спиной.

— Zu Befehl, Herr Lagerführer[61], — упавшим голосом сказала Таня, стоя у двери. Она сразу поняла, что дело плохо.

Хакке смерил ее свирепым взглядом.

— Ближе!

Таня несмело приблизилась.

— Так ты что это задумала, красотка? — угрожающе тихим голосом спросил комендант. — Решила организовать коллективный протест?

— Я… я ничего не организовывала, — пролепетала она и отступила на шаг.

— Стоять смирно! — рявкнул Хакке. — Кто

---

[60] Notes: 60
Переводчицу сюда! *(нем.)*

[61] Notes: 61
По вашему приказанию, господин комендант *(нем.)*.

тебе разрешил водить сюда делегации? Это ты посоветовала этим дегенератам явиться ко мне с протестом?

— Я не советовала, — сказала Таня совсем тихо, чувствуя, как холодеют щеки. — Они просили меня перевести — это ведь моя обязанность…

— Твоя обязанность состоит в том, чтобы переводить мои распоряжения, а не белиберду всякого болвана, которому они не нравятся! Твоя обязанность состоит в том, чтобы помогать мне управлять трудовым лагерем — а не ставить палки в колеса! Вот в чем состоит твоя единственная обязанность! А что делаешь ты? Ты лезешь ко мне с непрошеными советами! Ты подговариваешь этих идиотов не выполнять мои приказы! О-о, я сразу понял, что ты за штучка. Я видел, как ты тут вертела задом перед старым слюнтяем Фишером! Неудивительно, что он дал тебе слишком много воли! Но только учти, со мной это не пройдет. Я тебя вышколю, красотка, и очень скоро. Ты у меня будешь ходить по струнке! Что?

— Прошу освободить меня от должности переводчицы, господин комендант, — сказала Таня, снимая с левого рукава повязку. — В лагере есть люди, которые достаточно знают немецкий, чтобы переводить ваши распоряжения.

Хакке смотрел теперь на нее с интересом исследователя, наблюдающего новое явление.

— Вот как, — сказал он. — Ну что ж. Дай-ка сюда!

Таня подошла и протянула ему повязку. Это была полоска плотной, вроде прорезиненной, белой ткани шириной в ладонь и около сорока сантиметров длиной с отпечатанными по ней черными готическими буквами. Хакке взял ее, скрутил в жгут и наотмашь хлестнул Таню по щеке. Она вскрикнула и отшатнулась, схватившись руками за лицо.

— Опусти руки! — крикнул шарфюрер. — Я что сказал? Стоять смирно, когда перед тобой начальник!

Новый удар обжег другую щеку. Потом Хакке швырнул скомканную повязку ей в лицо и, тяжело дыша, отошел к своему столу.

— Надень! — сказал он. — А теперь ступай скажи дежурному шуцману, что я приказал запереть тебя на ночь в угольном бункере и выпустить завтра перед побудкой. Ты думала отделаться от меня так просто? Дрессировка только начинается, мое сокровище!

Глава 9

Обкомовский «виллис» ждал его у аэродромного КПП. Подоткнув полы нового необмятого полушубка, Николаев прихлопнул за собой фанерную самодельную дверцу, вставленное в нее тонкое оконное стекло противно задребезжало.

— Полегше, товарищ генерал, — шофер улыбнулся, запуская двигатель, — как бы не развалилась наша техника. В обком прямо поедем?

— В обком, — коротко ответил Николаев.

«Виллис» развернулся и покатил по накатанной ледяной дороге, стеклянно отсвечивающей в лучах низкого утреннего солнца. Шофер вел лихо, беспрерывно сигналя, крутыми виражами обходя попутные и увертываясь от встречных машин. Оборванные перепутанные провода свисали с телеграфных столбов, в кюветах тут и там валялись не убранные еще остовы немецких грузовиков и легковушек, впереди показались бесформенные очертания взорванных цехов завода оптических приборов.

— Обком теперь аж на том конце, товарищ генерал, может, знаете — где раньше был сельхозтехникум, — сказал шофер. — Через центр

поедем или вкругаля?

— Через центр, — сказал Николаев. — По бульвару Котовского, если есть проезд.

Шофер понимающе кивнул.

Они проехали через центр, по бульвару Котовского, мимо Дома комсостава, мимо руин обкома, через площадь, где когда-то стоял памятник легендарному комбригу. Николаев смотрел на развалины и думал о том, что — как это ни странно — вид разрушений действует иной раз сильнее, чем вид трупов. Уж он-то достаточно видел и того и другого. Может быть, это потому, что в конечном счете даже смерть человека менее противоестественна, чем такое вот неистовое, слепое уничтожение плодов человеческого труда.

И еще он думал о том, что не на полях сражений, а в таких вот растерзанных городах «мирного» тыла можно увидеть истинное лицо этой войны. Что же, солдаты на передовой умирали всегда, но вот только здесь, в так называемом тылу начинаешь понимать весь ужас случившегося.

Шебеко встретил его на пороге кабинета, обнял, похлопал по спине.

— Ну, как вы тут? — поинтересовался Николаев, непослушными пальцами расстегивая полушубок.

— Не спрашивай. Не знаешь, с какого конца за что браться… Долетел благополучно?

— Странный вопрос, ты ведь меня тискал, мог убедиться в материальности… С того света я бы в несколько ином качестве явился. Ты капитана Сарояна не помнишь? — служил тут со мной, и воевать вместе начали, — сгорел у меня на глазах, летом сорок первого. В том самом бою, когда и мне вот физиономию подпалили. — Генерал коснулся пальцами щеки, стянутой страшными сине-багровыми узлами шрамов. — Так вот, понимаешь, приснился недавно, да живо так, прямо как наяву. Будто просыпаюсь, еще фонарик включил — на часы посмотреть, — а он входит, недовольный такой, и начинает жаловаться, что начфин ему полевые не выписал. А сам весь обгорелый, комбинезон хлопьями отваливается… Что же касается меня, то я вполне реален, только замерз как собака — что они там, в «дугласах» этих, не могут отопление какое-то приспособить…

Шебеко позвонил, в кабинет вошла пожилая секретарша.

— Насчет чайку попросите — пусть прямо чайник несут, надо вот товарища генерала отогреть, ну и закусить там чего-нибудь. Я, кстати, и не поздравил еще тебя, — продолжал он, снова обо-

рачиваясь к Николаеву, — ты ведь теперь персона — шутка сказать, командарм, генерал-лейтенант! Этак ты, брат, войну маршалом закончишь.

Буфетчица принесла чай, Шебеко сам налил гостю покрепче, придвинул тарелку с бутербродами.

— Давай заправляйся, грейся, и сразу поговорим о деле. Хотя, боюсь, Александр, не могу пока сказать тебе ничего нового… и ничего утешительного. Я выяснил, где мог и что мог, но все это чертовски запутано. Конечно, рано или поздно прояснится, и все станет на свои места, люди в этом направлении работают. Но пока многое еще неясно. Ты же сам понимаешь, какая сейчас в городе обстановка и как трудно во всем разобраться…

Николаев посмотрел на него, подняв левую бровь.

— В чем именно? — спросил он негромко. — Была ли Татьяна связана с местным подпольем или пошла служить к немцам просто так? Это, что ли, тебе «неясно»?

— Не обо мне речь, — досадливо возразил Шебеко. — Мое личное мнение в данном случае мало что значит. Требуется истина, основанная на фактах, а фактов пока нет. Вернее, факты есть,

но они складываются в картину скорее неблагоприятную. В городе осталось несколько человек из этой группы, но все они называют одни и те же имена: Глушко, Кривошеина, Лисиченко — ну, и друг друга. Глушко погиб, Кривошеин погиб, Лисиченко был арестован и исчез. Гестаповские архивы не сохранились. Ты понимаешь, как все складывается? Глушко проживал вместе с твоей племянницей — это может служить подтверждением того, что они были единомышленниками, — но можно увидеть в этом простой конспиративный прием: парень поселился в доме у своей бывшей одноклассницы, работающей у немцев и, следовательно, надежно застрахованной от всякого рода подозрений…

Николаев молча допил остывший чай. Шебеко подвинул к нему тарелку с бутербродами.

— Ты закуси, позавтракать-то небось не успел.

Николаев сделал отрицательный жест и потянулся за папиросой.

— Вся беда в том, Александр, что они тут слишком уж законспирировались. Организация состояла из маленьких групп, связанных между собой только через центр, члены разных групп друг друга не знали. А Татьяна, очевидно, по характеру своей работы вообще не была связана ни

с кем… кроме, может быть, Глушко, Кривошеина. Если допустить, что ее туда внедрили, то это, понятно, держалось в строжайшем секрете от всех рядовых членов организации.

Зазвонил телефон. Шебеко сорвал трубку, послушал, потом, распаляясь, стал кричать о каких-то фондах, лимитах, о желательности думать головой, а не чем-то другим. Николаев курил, опустив голову, по-солдатски держа папиросу кончиками большого и указательного пальцев — огнем к ладони. «Если допустить»! Что с нами делается, что с нами сделали… Два солидных человека — партийный руководитель области, командующий армией — сидят и всерьез обсуждают, была ли девчонка послана работать у немцев по заданию подполья или пошла сама — да, да, сама, по собственному желанию, по нужде, по необходимости, чтобы не попасть в Германию или наконец просто чтобы не помирать с голоду, не начать торговать собой, отдаваясь тем же немцам за кусок хлеба! Даже если так? Задать бы вот сейчас Петру этот вопрос. Даже если? С кого в таком случае спрос: с этой несчастной девчонки — одной из восьмидесяти миллионов, отданных в руки врага! — или все же с нас, которые это допустили, позволили, сделали возможным? Ин-

тересно, что бы он сказал… что-нибудь в том же роде, наверное, как говорят теперь иные немцы: «Позвольте, а что мы могли, неужели вы всерьез допускаете, герр генераль, что кто-то из нас мог протестовать или что чей-то протест мог бы возыметь действие…»

Да нет, он бы и этого не сказал! Сделал бы вид, что не понял вопроса или воспринял его не всерьез, как чистой воды риторику. Или — в лучшем случае — сказал бы, понизив голос: «Ты мне этого не говорил, я этого не слышал», — по-дружески разделяя таким образом ответственность за высказанную вслух крамолу. И ведь самое забавное — это то, что и он, генерал-лейтенант Николаев, в аналогичной ситуации, на месте секретаря обкома Шебеко, поступил бы точно так же. Оба — коммунисты с двадцатипятилетним партийным стажем. Что же с нами стало? И что вообще стало со страной, с народом? К нему опять — теперь уже в более четкой форме — вернулась мысль, неясно скользнувшая в уме, когда проезжал по разрушенному центру города: мысль о какой-то ненормальной, патологической свирепости этой войны, на первый взгляд совершенно наивная, дикая для немолодого уже человека, давно избравшего войну своей профессией; и все же

— возможно, именно поэтому, потому что он-то знал о своем страшном ремесле все, что можно о нем знать, — мысль не уходила.

Сама по себе война свирепее не стала. Она стала масштабнее, шире, обрела гигантский — «тотальный», как выражаются немцы, — размах, но это категория чисто количественная. Качественно же, если рассматривать любой отдельно взятый момент боя, война не стала более ожесточенной, это уже невозможно. В бою — в любом бою, о какой бы войне ни шла речь, — ожесточенность достигает максимальных значений, поэтому нельзя сказать: под Сталинградом или под Курском солдат дрался ожесточеннее, чем его предок на Багратионовых флешах, или на Куликовом поле, или на Калке. Лицом к лицу с врагом, когда вопрос стоит — кто кого, всякий человек дерется с предельным ожесточением, в полную меру своих сил. В этом смысле все войны одинаково свирепы.

Как ни парадоксально, не ужесточает их и развитие военной техники, появление более совершенных средств уничтожения. Парадокс в том, что сегодняшнее механизированное убийство на расстоянии требует от нормального человека меньшего психологического насилия над собой,

чем прежнее убийство вручную. Куда проще застрелить противника — даже из пистолета, в упор, — чем раскроить ему череп топором или выпустить кишки какой-нибудь там зазубренной алебардой. В этом смысле технический прогресс войну, можно сказать, даже «гуманизирует», создавая для психики бойца более щадящие условия. Верно и то, что это палка о двух концах: убийство может стать делом настолько простым и нравственно необременительным, что люди во вкус войдут.

И все же эта война радикально отличается от всех предшествовавших. От тех, во всяком случае, в которых ему довелось участвовать. Включая, пожалуй, даже гражданскую. Отличается накалом дикого озлобления не только против немцев, но и против всех тех, кто с немцами так или иначе соприкасался, контактировал — и остался жив. К пленным, к побывавшим в оккупации. Озлобление, недоверие, и не просто «недоверие», а прямо-таки убежденность в некоем совершенном уже предательстве, в имевшем место пособничестве врагу, в том, что эти люди уже «не наши»… Откуда это? С каких пор? В любой войне, во время любого вражеского нашествия во власти врага оказывается известная часть гражданского

населения, и население это — совершенно естественно — продолжает как-то жить, работать, заниматься своим делом; нигде и никогда это не считалось преступлением, изменой своей стране и своей власти. Преступлением считалось — и было — активное пособничество врагу, тут двух мнений быть не может. Но просто работа?

— Извини, — сказал Шебеко, закончив наконец телефонный разговор. — Так что, понимаешь, какая со всем этим петрушка… Но ты не падай духом, я уверен, что все разъяснится.

— Будем надеяться. — Николаев раздавил окурок в пепельнице и встал. — Ладно, не буду отрывать тебя от дел.

— Да брось ты. Когда вылетаешь обратно?

— Вечером, если погода не подведет.

— Ты вот что — ты поезжай-ка сейчас ко мне, домработница тебя накормит, и отдыхай пока. Я, если смогу, постараюсь вырваться пораньше. Ну а если не увидимся — обещаю сделать все возможное и держать в курсе дела. Машина до вечера в твоем распоряжении.

— Спасибо. Днем не понадобится, только вот на аэродром.

— Ну, может, решишь съездить посмотреть город.

— Посмотрел уже. — Николаев дернул сожженной щекой. — Что здесь получилось тогда с эвакуацией? — спросил он, надевая полушубок.

— То же, что и всюду.

— «Не паниковать»? — Николаев усмехнулся. Шебеко снял телефонную трубку.

— Вызовите машину, — сказал он и, не дожидаясь ответа, опустил ее на место.

Тот же «виллис» с фанерной будкой доставил генерала на квартиру секретаря обкома. Квартира была пустая, холодная, по-холостяцки неуютная. Пожилая домработница сказала, что обед будет часа через полтора — раньше не управиться, — и предложила пока помыться и отдохнуть. Николаев надеялся вздремнуть, но сон так и не пришел, он лежал на холодном клеенчатом диване, курил, разглядывал трещины и сырые пятна на потолке и старался не думать. Ни о служебных делах, ни о личных. Впрочем, служебные-то сейчас его и не беспокоили — потрепанная в последних боях армия стояла во фронтовом тылу, доукомплектовывалась, ремонтировалась, получала новую технику; уж один день там обойдутся без него. Думать же о личном было просто нельзя, относительно возможной судьбы племянницы лучше было не строить никаких предположений. Но «не

думать вообще» не получалось, в голову лезли все те же нелепые мысли. Они, впрочем, не сегодня родились, посещали иной раз и раньше. Просто он раньше не давал им воли, словно понимая, что ни до чего хорошего тут не додумаешься. Да и времени не было думать о разных отвлеченностях. Время появилось только в госпитале. Не в том, первом, куда его привезли полусгоревшим (тогда тоже было не до мыслей), а вот уже теперь, прошлой осенью. После Курска его зацепило легонько осколком, вполне можно было подлатать на месте, но — генерал, ничего не попишешь! — отправили в роскошный тыловой санаторий, не столько на лечение, в сущности, сколько на отдых. Там он много читал, наверстывая недочитанное за два года. И странное дело — классику не мог совершенно, не шла, а периодика тянула — толстые журналы, даже газеты, — хотелось понять, как прожила страна все эти бесконечные месяцы войны, хотя и понимал, насколько условно, приблизительно все это может быть сейчас отражено и показано.

И вот тогда, помнится, его очень скоро стало раздражать то, что он называл про себя «тыловой кровожадностью», — неумеренность в изображении зверств, чинимых немцами, и

«справедливого возмездия», творимого нашими людьми. Поначалу он и сам не понимал, почему это раздражает. Что же, идет война, патриотические чувства положено разжигать, а если это делается слишком грубо, так не зря же есть старый афоризм: «Когда говорят пушки — молчат музы». Или, скажем так, у войны есть какая-то своя особая, десятая муза — с голосом нарочито грубым и зычным, чтобы его можно было услышать сквозь гром пушек. А что особым рвением в разжигании патриотических чувств спокон веку отличалась именно тыловая пишущая публика, это тоже известно. И в Первую мировую войну было так, даже Игорь Северянин порывался вести «на Берлин» своих поклонниц…

Но тогда все это были плоды индивидуального вдохновения, кустарщина, глупая и в конечном счете безвредная. А теперь работает огромный государственный аппарат пропаганды — работает координированно, продуманно, по единому плану. Для чего? Чтобы убедить народ, что немца надо разбить? Народ и сам это понимает. На фронте — кто хочет драться — дерется без понуканий; не нуждается в таком психологическом подхлестывании и тыл. Там люди работают на пределе возможностей — и не потому, что немцы

зверствуют, а потому, что у каждой женщины и у каждого вставшего к станку мальчишки (сколько он их навидался на Урале!) — у всех есть на фронте муж, или отец, или сын, и этого вполне достаточно, чтобы работали с полной отдачей, не экономя сил…

Так что поначалу все эти истеричные призывы к ненависти и мщению казались ему просто ненужным, пустым словоизвержением, не делающим чести авторам. Он не мог понять, как здоровый мужчина призывного возраста может, оставаясь в тылу, крича во всю глотку: «Убей немца!», торчать в тылу подзащитной редакции. Да если ты всерьез этого хочешь, так не гастролируй по переднему краю с блокнотиком в руках, а бери автомат или садись в танк, убивай своего немца сам — как это давно уже делают твои читатели…

У фронтовиков, кстати сказать, он такую экзальтированную озлобленность встречал редко, попадаются, конечно, отдельные «психованные» — их так и называют; как правило же, на фронте к врагу относятся как к противнику, этого достаточно. Среди прочитанного им в госпитале была одна повесть о танкистах (чем и заинтересовала) — об экипаже оказавшейся в тылу «тридцатьчетверки», о его последнем бое.

Написано это было сильно, и с некоторым даже знанием дела, но местами вещь вызывала чувство, близкое к отвращению. Запомнился эпизод, когда танк, расстреляв весь боезапас, вырывается на шоссе, забитое немецким транспортом, — вот уж где автор дал себе волю! Ни один танкист, которому хоть раз пришлось выполнить приказ «огнем и гусеницами», не станет с таким наслаждением рассказывать о том, как это происходило; надо сидеть в тылу, и сидеть прочно, чтобы позволить себе смаковать убийство — даже самое необходимое, самое справедливое…

То, что эта кампания искусственного разжигания ненависти во всенародном масштабе не просто неразумна (поскольку лишена смысла), но еще и опасна по своим побочным и неизбежным последствиям, открылось ему во время той уральской поездки. Его однажды попросили выступить перед рабочими завода, освоившего выпуск модернизированной серии Т–34/85; он выступил прямо в цеху, поблагодарил за отличные машины, сказал, что с такой техникой армии легче будет выгнать врага с родной земли, освободить наших людей, томящихся в оккупации под фашистским игом, и тут вдруг какая-то работница из стоявших в первом ряду — она хорошо

запомнилась ему, высокая, в замасленном ватнике, с изможденным серым лицом, — закричала кликушеским голосом: «Да вы, товарищ генерал, иродов немецких побыстрее изничтожайте, а с теми, в оккупации, мы сами разберемся — давно наслышаны, как они там томятся, вон сколько полицаев да разных предателей средь ихнего брата расплодилось!» Слова ее были встречены одобрительным шумом, кое-кто даже захлопал…

Нет, тут не просто недомыслие. Атмосфера ненависти нагнетается нарочито, искусственно, с одной целью — ужесточить войну еще больше, довести накал этого ожесточения до всенародной истерии. Но для чего? Режиссура (и очень умелая) просматривается отчетливо, неясен лишь замысел верховного режиссера…

Генерал открыл глаза и снова увидел над собой сырой, в пятнах и трещинах потолок. В соседней комнате негромко звякала посудой домработница — очевидно, накрывала на стол. Он посмотрел на часы — времени оставалось еще много. Скорее бы улететь обратно, прочь из этого испакощенного войной города… А что, если и тут был некий замысел — тогда, в самом начале, — пропустить врага подальше вглубь страны, не из стратегических соображений, а просто чтобы побольше

крови, побольше разрушенных городов, побольше озлобления? Дико себе представить, но ведь факт: когда Кирпонос за неделю до войны приказал выдвинуть войска в предполье, занять гарнизонами хотя бы недостроенные доты — из Москвы немедленно последовал окрик, войска отвели обратно, обнажили границу… А почему бросали неэвакуированное население — времени не было? Угоняли скот, увозили комбайны — на это время нашлось! — а людей оставляли, оставляли женщин, оставляли детей…

— Александр Семеныч, обедать, пожалуйста, — позвали из соседней комнаты.

За столом Николаев разговаривал с домработницей, расспрашивал о жизни в оккупации — все это время она жила недалеко от Энска, в селе работала у немцев в «госхозе».

После обеда решил все же выйти побродить по городу, в его распоряжении было еще около пяти часов. В прихожей, уже одетый, он услышал телефонный звонок.

— Вас, Александр Семеныч, — сказала домработница, приоткрыв дверь. Он вернулся, взял трубку.

— Послушай, какое дело, — раздался на другом конце провода голос Шебеко. — Тут один това-

рищ, который занимается пленными, откопал в лагере занятного типа — служил в здешнем комиссариате, не исключено, что знал твою Татьяну. Может, поговоришь с ним?

— Конечно, если это возможно!

— Добро. Подъезжай сейчас ко мне, я скажу, чтобы доставили…

Через полчаса Николаев снова был в знакомом кабинете. Тут, видимо, только что закончилось какое-то совещание — воздух был прокурен до синевы. Шебеко с усталым видом стоял у открытой форточки, потирая лицо ладонями.

— Сейчас приведут твоего фон-барона, — сказал он, — садись. У Петровны хоть нашлось, чем тебя накормить?

— Нашлось. — Николаев кивнул. — Переводчика не приглашай, мне приходилось беседовать с пленными, справлюсь.

— Да он сам, говорят, по-русски шпарит, как на родном. Остзеец какой-то, что ли.

— Ну, тем лучше…

Зондерфюрер фон Венк уже дважды побывал на допросах и не особенно их боялся. Грехов за ним не числилось — в частях особого назначения не служил, в карательных акциях не участвовал. Однажды составил даже докладную записку, в

которой рекомендовал по возможности воздерживаться от действий, могущих вызвать среди населения нежелательную реакцию и таким образом затруднить выполнение экономических задач, стоящих перед оккупационной администрацией. Он сильно надеялся, что эта бумажка сохранилась где-нибудь в архивах комиссариата и рано или поздно всплывет на поверхность.

Никакого беспокойства не ощутил он и на этот раз, когда его снова вызвали и повели пешком через город. Вообще, за проведенную в плену неделю он успел свыкнуться со своим новым положением. Скверная еда и отсутствие комфорта — это еще не самое страшное; здесь, по крайней мере, он доживет до конца войны. Когда в офицерском бараке распространился ужасный слух, что пленных скоро начнут вывозить в Сибирь, Валентин Карлович совсем приободрился. Он красноречиво описывал своим коллегам красоты этой сказочной земли, пользующейся незаслуженно плохой репутацией, и рассказывал, как роскошно жили там германские и австро-венгерские пленные в годы Первой мировой войны. Какие женщины! Какие пельмени! Нет, уж что-что, а Сибирь его не пугала.

Не пугал и предстоящий допрос. Он бодро

шагал, кутаясь в тощую солдатскую шинельку, которой ему заменили отобранную офицерскую, на меху, и покуривал свернутую конвоиром «козью ножку». Он действительно легко умел налаживать отношения с русскими солдатами — даже тот, первый, который вытащил его из погреба и сгоряча чуть не пристрелил, услышав русскую речь (очевидно, принял за власовца), — даже тот быстро остыл и скоро уже потешался над его акцентом. А уж в куреве ему никогда не отказывали.

На знакомом перекрестке он сам повернул направо и очень удивился, когда конвоир закричал ему идти прямо.

— Но разве мы не идем в контрразведку? — спросил зондерфюрер, обернувшись к конвоиру.

— Куда надо, туда и идем, — ответил тот. — Ты давай топай!

Фон Венк потопал дальше. Шли они долго и наконец пришли к двухэтажному зданию, где, как гласила сделанная на листе фанеры надпись, помещался Энский областной комитет КП(б)У. «О, это уже что-то новое», — подумал фон Венк, почувствовав внезапный укол беспокойства.

Он терялся в догадках, пока часовой у входа внимательно изучал предъявленную конвоиром

бумагу. Почему его привели сюда, в областной комитет? Что это может означать? Так и не успев ничего сообразить, он вошел внутрь и поднялся на второй этаж. В прокуренном коридоре сидели люди, очевидно пришедшие на прием; из двери вышла пожилая женщина и, увидев немца, обратилась к конвоиру:

— Это пленный к товарищу Шебеко? Подождите минутку здесь, товарищ боец, я доложу.

Люди, сидевшие в ожидании у двери, сдержанно зашумели.

— Сегодня уже не примет, — сказал кто-то, достав большие карманные часы. — Генерал у него сидит, теперь вот немчуру еще проведут…

— Какой генерал?

— Откуда ж я знаю — какой! При мне не представлялся.

— Сдается мне, это Николаев, — сказал третий из сидящих в очереди. — Он до войны тут служил, я его раз на партконференции видел. Тогда, правда, шрамов на лице у него не было. Кто из здешних, может, помнят: комбриг Николаев, он еще Героя получил за Халхин-Гол…

Фон Венк, услышав эту фамилию, почувствовал приступ дурноты. «Господи Иисусе Христе, — подумал он (по-русски, как всегда в минуты особых

потрясений), — генерал Николаев, уж не отец ли того рыженького змеенка!» Теперь он уже понял, для чего его доставили сюда, на свидание с генералом, получившим Героя за Халхин-Гол.

Мысль зондерфюрера заработала с сумасшедшей быстротой. Что говорить? Как узнать, что именно им известно? Его заявление было устным, но если русские схватили кого-нибудь из гестапо… скажем, того же Роденштерна… можно, разумеется, сказать, что он передавал распоряжения самого Кранца, — но это ерунда, это шито белыми нитками, с какой стати гебитскомиссар стал бы связываться с гестапо через своего референта, да еще устно! — нет, нет, все отрицать, он ничего плохого о ней не думал, ни в чем не подозревал, — стоит только проговориться, что догадывался о ее связях с подпольем, и они логическим путем раскроют все дальнейшее — они ведь прекрасно понимают, что германский офицер не мог узнать такую вещь и не донести! Как бы там ни сложилось дальше — сейчас надо все отрицать. Он знал, хорошо знал фрейлейн Николаеву, он был с ней в наилучших отношениях — их даже видели вместе, и неоднократно, впрочем, не нужно думать ничего дурного, его отношение к фрейлейн всегда было абсолютно

корректным, это могут подтвердить все… Донос? Абсурд, о каком доносе может идти речь, в чем мог он ее обвинить?

— …по-моему, ты ему ничего не говори о своем родстве с Татьяной, — сказал Шебеко. — Он тебя не знает — черт с ним, пусть думает хотя бы, что ты из Смерша. И вообще, мне кажется, не делай сразу упора на Татьяну.

— Конечно, пусть упомянет о ней сам. — Николаев кивнул. — Ну что ж, давай своего остзейца.

Шебеко подошел к двери и сделал знак секретарше. Через минуту в кабинет вошел высокий немец с узким лошадиным лицом и рыжеватыми волосами, разделенными пробором посредине головы.

— Зондерфюрер фон Венк! — представился он, щелкнув каблуками и держа руки по швам.

— Садитесь, можете снять шинель, здесь тепло.

— Благодарю!

Зондерфюрер снял шинель, нерешительно положил на подоконник и опустился в указанное Николаевым кресло.

— Вы показали на первом допросе, что служили здесь в областном комиссариате, — сказал Николаев, подвигая к нему коробку «Казбека». —

Уточните, в чем состояли ваши обязанности.

— О, они были весьма скромны, господин генерал, — ответил фон Венк и взял предложенную папиросу. — Прошу прощения, у меня нет зажигалки…

— Пожалуйста.

Фон Венк прикурил, склонив голову в знак благодарности.

— Настоящие русские папиросы! — сказал он, с благоговением выдохнув дым. — Не имел удовольствия курить их уже более двадцати лет. Итак, что касается моих служебных обязанностей. Я был референтом при областном комиссариате, господин генерал, а именно по разнообразным вопросам местной политики. Как уроженца России и наполовину русского, меня считали специалистом по психологии цивильного населения. В мои функции входило также делать контакты с представителями местной интеллигенции — печати, гражданского самоуправления и так далее. Иногда комиссар советовался со мной, имея в виду предпринять какую-нибудь акцию.

— Карательного характера?

— О, нет-нет. — Зондерфюрер заулыбался. — Таковыми делами ведало управление безопасности, по иной линии, комиссариат же входил в систе-

му так называемого Восточного министериума, господин генерал. Я говорю о таких акциях, как культурные мероприятия, зрелища, школы и так далее. Разумеется, также разнообразные реквизиции и набор рабочей силы; я бесконечно далек от желания предоставить нашу деятельность здесь как благотворительство. Война есть война, господин генерал.

— Расскажите подробнее о ваших контактах с представителями местной интеллигенции. С кем именно приходилось контактировать?

— О, я знал многих, господин генерал. Главный врач местной больницы, доктор Яновецкий, весьма приятный человек. Не могу сказать того же о редакторе газеты «Висти» Пащенко. Это был типичный, как это говорится, оппортунист. Личность наглая и жадная, к тому же самостийник — как они себя называют. Я не мог верить человеку, который слишком громко кричал о своей преданности идеям Гитлера. Также я близко знал бургомистра, господина Гречаника. Большой любитель взяток. Его расстреляли в июле.

— За взяточничество?

— Простите? Да-да, именно за это. Обвинение было — экономический саботаж и коррупцион.

— О судьбе Пащенко вам что-нибудь известно?

— Никак нет, господин генерал. Он, если я правильно вспомню, эвакуировался со своим штабом в середине декабря.

— Эвакуация города была проведена в декабре?

— Так точно, едва ваши войска переступили Днепр в этом участке.

— Вы говорите, что работали в системе гражданской администрации. Разве ее учреждения не были эвакуированы тогда же?

— Так точно. Но меня, также и многих других офицеров, ранее прикомандированных к разнообразным административным органам, затем снова отчислили в строевые части. Как таковой я принимал участие в обороне города. Это был мой солдатский долг, господин генерал.

— В этом никто вас не упрекает. Итак, комиссариат эвакуировался в декабре. Русские служащие комиссариата уехали тогда же?

— В комиссариате не имелось русских сотрудников, господин генерал. Насколько я знаю, ни одного, поскольку было указание… Впрочем, простите… Ну конечно! — Фон Венк прищелкнул пальцами. — Я просто совершенно запамятовал! Да, разумеется, была одна сотрудница. Совсем юная барышня, занимавшая должность маши-

нистки.

— Фамилия, имя?

— Фамилия… — Фон Венк задумался. — Один момент. Собственно, ее больше называли просто — фрейлейн Татьяна… А фамилия — один момент — такое весьма распространенное русское фамильное имя… Петрова? Николаева? О да, именно так! Татьяна Викторовна Николаева, господин генерал. Я теперь вспомнил очень хорошо.

Генерал долго щелкал зажигалкой, в которой, по-видимому, кончился бензин. Закурив наконец, он встал и отошел к висевшей на стене карте области.

— Расскажите подробнее об этой девушке, — сказал он, не оборачиваясь. — Где она сейчас? Как попала в комиссариат? Почему в отношении ее было нарушено правило, предписывающее набирать административный персонал только из немцев? Прошу обдумать вопросы и отвечать совершенно точно. Вы меня поняли?

Фон Венк вынул из кармана скомканный грязный платок и осторожно промокнул лоб, покосившись на сидевшего за столом Шебеко.

— Я вас понял, господин генерал. Фрейлейн Николаева уехала из Энска в начале июля прошлого года, будучи прикомандирована как переводчица

к прибывшему из Берлина инспектору Восточного министериума советнику Ренатусу.

— Повторите фамилию советника.

— Ренатус, господин генерал!

Генерал, стоя лицом к карте, достал записную книжку и черкнул в ней.

— Дальше.

— После этого она не вернулась, господин генерал. О ее судьбе мне ничего не известно. Касательно вашего второго вопроса я могу сказать, что некоторым образом содействовал тому, что фрейлейн была принята на службу в областной комиссариат. Я имел удовольствие познакомиться с ней, когда она находилась в весьма стеснительных обстоятельствах, будучи занята как продавщица в лавке одного местного торговца…

— Фамилия?

— Один момент… Лавка называлась «Трианон», господин генерал, а владелец… о да, Жорж Попандопуло, несомненно грек. В дальнейшем уехал в Одессу.

Генерал записал и это.

— Продолжайте.

— Лавка торговала одеждой и также разнообразными антикварными изделиями. Будучи

заинтересован в приобретении старого фарфора, я неоднократно посещал «Трианон» и имел удовольствие познакомиться с фрейлейн. В дальнейшем, желая только помочь, я предложил ей поступить на службу в комиссариат и обещал хлопотать, чтобы ее приняли. Как референт Кранца, я имел таковую возможность. По моей рекомендации фрейлейн была зачислена машинисткой, ибо комиссариат испытывал нужду младшего технического персонала. Фрейлейн не очень хорошо печатала на машинке, но говорила по-немецки, и это обстоятельство было — как бы сказать — решительным.

Наступило молчание. За обмерзшими инеем окнами синели сумерки, в комнате было уже почти темно. Шебеко встал из-за стола, опустил маскировочные шторы и зажег настольную керосиновую лампу.

Николаев вернулся на свое место.

— В каком отделе работала эта девушка? К какого рода материалам могла она иметь доступ? Приходилось ли ей, скажем, перепечатывать стенограммы совещаний?

Фон Венк выдержал его взгляд с видом человека, добросовестно роющегося в памяти.

— Если я не ошибаюсь… фрейлейн работала

в общем секретариате, господин генерал. Надо предполагать, к ней попадали материалы из всех отделов… исключая, разумеется, секретных. Каждый шеф отдела имел свою личную стенографистку, которая также имела обязанность печатать на машинке. Мне представляется поэтому весьма маловероятным, что таковая работа попадала к фрейлейн Николаевой.

— Родственники у нее были? Поступая на работу, девушка, очевидно, должна была дать сведения о своей семье. Вам по этому поводу что-нибудь известно?

— Фрейлейн говорила мне однажды, что имеет отца в Красной армии в чине оберста, простите — полковника. Также и жениха, каковой ушел на фронт добровольно в качестве рядового. Я предполагаю, господин генерал, что все это она написала в своей анкете.

— И несмотря на это, была принята на работу?

— Так точно, господин генерал.

— Не было ли признаков того, что гестапо держало ее под особым наблюдением?

Фон Венк подумал:

— Я не могу точно ответить на этот вопрос, господин генерал. Служба безопасности каждого меж нас держала под наблюдением, это была

— как бы сказать? — система работы. Я не думаю, что для фрейлейн Николаевой было сделано исключение. Это весьма маловероятно, господин генерал. Но повода к подозрениям она не давала. Так долго, как фрейлейн работала в комиссариате, она была неизменно лояльна к германским властям, однако не скрывая своих благородных патриотических чувствований. Смею вас уверить, господин генерал, фрейлейн была весьма большая патриотка.

— На основании каких ее поступков или высказываний вы пришли к такому заключению?

— О, это всегда видно, господин генерал. — Фон Венк пожал плечами. — Ничего конкретного, но…

— Ясно. Ну что ж, у меня все. Если вспомните что-либо, о чем забыли упомянуть здесь, или узнаете от других пленных какой-либо новый факт, касающийся судьбы Николаевой, вы обязаны немедленно довести это до сведения коменданта лагеря. Немедленно и неукоснительно. Вы поняли?

— Так точно, господин генерал.

— Можете идти.

Фон Венк сделал отчетливый поворот через правое плечо, по-солдатски грохнув каблуками,

и направился к двери.

— Вы забыли шинель, — окликнул его Николаев. Зондерфюрер замер, словно смысл этих слов не сразу дошел до него, потом пробормотал извинение и взял свернутую шинель с подоконника.

— Кстати, еще один вопрос, — сказал генерал. — Вы сказали, что Николаева уехала в командировку в начале июля, — это было до или после покушения на областного комиссара?

— До покушения, господин генерал, — ответил фон Венк настороженно, стоя навытяжку со свернутой шинелью под мышкой. — Два или три дня ранее.

— Личность стрелявшего была установлена?

— О да, очень скоро. Таковым оказался местный юноша, именем Глушко.

— Вы сказали, если не ошибаюсь, что Николаева не давала поводов к подозрениям. Я правильно вас понял?

— Так точно…

— Может быть, эти поводы все же появились — хотя бы в самый последний момент?

— Никак нет, не знаю, господин генерал.

— А тот факт, что стрелявший в комиссара был прописан на одной квартире с Николаевой?

— Я не знал этого факта, господин генерал. Сра-

зу после того, как областной комиссар Кранц пал — я хочу сказать, был настигнут возмездием, — я уехал в Киев по делам службы. Расследование покушения велось во время моего отсутствия, и, когда я вернулся, на эту тему уже не было разговоров. Я только спросил однажды, где фрейлейн, — мне было отвечено, что она не возвернулась из поездки с советником Ренатусом.

— Можете идти.

Шебеко снял телефонную трубку.

— Анна Васильевна, отметьте пропуск конвоиру, пленный уходит. Много там народу? Скажите, что я сейчас освобожусь.

Когда дверь закрылась за вышедшим зондерфюрером, он устало потер лицо ладонями.

— Да, вот и разберись… А тебе не показалось, что немец что-то темнит?

— Не знаю, — хмуро сказал Николаев, берясь за полушубок. — Теперь я окончательно ничего не понимаю…

Через два часа он уже летел на север, сидя в грузовом отсеке старого бомбардировщика, переоборудованного под транспортник. Тускло освещенный отсек, представляющий собой как бы внутренность трубы эллиптического сечения, распертой вырезными дугами шпан-

гоутов, был завален по всему полу тюками и ящиками, на которых расположились немногие пассажиры. Генерал сидел, откинувшись к стенке, даже сквозь полушубок чувствуя плечом ледяной холод заиндевевшего дюраля. Очень хотелось курить. Он сидел, закрыв глаза, снова и снова перебирал в памяти разговор с пленным зондерфюрером и снова убеждался, что теперь действительно ничего не может понять…

Глава 10

Весна настигла войска 2-го Украинского фронта уже за Прутом и помчала дальше буйным грохочущим половодьем — на запад, на юг, незнакомыми чужими дорогами, убегающими в синие дали Карпат к Бухаресту, Софии, Белграду… Солнечный пар над просыхающей землей, сёла с подслеповатыми мазанками, виноградники по склонам холмов, кипящие вешним цветом сады, крестьяне в высоких бараньих шапках, безлюдные улочки белых провинциальных городков с опущенными шторами витрин под вывесками на чужом языке — незабываемая, расцветавшая предчувствием недалекой уже победы весна сорок четвертого года!

Тридцать три месяца войны лежало за плечами солдат, пришедших в Румынию из-под Сталинграда. Еще чадящая пожарами, опоганенная и разоренная осталась позади Украина, но ни одного живого немца с оружием в руках не было уже на ее многострадальной земле. Кончилось трехлетнее панование оккупантов; как дым, унесенный ветром, как исчезающая с рассветом нечисть, сгинули коменданты, большие и маленькие комиссары, фельджандармы и зондерфюреры, бургомистры и полицаи, все эти еще недавно всемогущие столпы и винтики немецкого «нового порядка». Исчезли, оставив после себя пепелища да развалины, забитые трупами рвы и миллионы безымянных могил…

В последних числах марта 441-й мотострелковый полк форсировал пограничную реку Прут и вышел на румынскую территорию между Яссами и Черновицами. Буднично, почти незаметно произошло знаменательное событие: война отступила за свой исходный рубеж и, не задерживаясь на нем, покатилась дальше на запад. Солдаты второго эшелона уже видели напрочно вкопанные в землю новенькие красно-зеленые полосатые столбы с государственным гербом Советского Союза на тех самых местах, где их

три года назад повалили румынские саперы. На прутских переправах появились пограничные пункты.

Странно и непривычно было наступать по обещанной когда-то чужой территории. Насчет «малой крови» не вышло, но хоть в этом не ошиблись…

А наступление продолжалось, бурное и неудержимое, как апрельское половодье. По раскисшим дорогам к Серету ревущими потоками перли с раскрытыми люками облепленные автоматчиками танки, самоходные «зверобои», бронетранспортеры, выше кабин захлестанные грязью «доджи» и «студебекеры», артиллерийские тягачи — и пехота, пехота собственным ходом, пехота на трофейных повозках и реквизированных «каруцах», пехота на броне, на зарядных ящиках, на орудийных лафетах, в кузовах, на крышах кабин. Когда колеса начинали буксовать, царица полей с веселым матом сыпалась с бортов, выволакивала машину на плечах — и давай жми, давай газуй — вперед, на Карпаты, на Букурешти, в душу и селезенку!

Уже куда легче воевалось этой необычной весной. Румынские части почти не оказывали сопротивления, сдаваясь при первой возмож-

ности; немцы дрались упорно, но их громили с ходу, почти не снижая темпа продвижения. По существу, темп этот ограничивался сейчас лишь состоянием дорог и связанными с этим задержками в снабжении горючим.

Население, встречавшее передовые части испуганно и настороженно, скоро забывало свои страхи и осваивалось с гостями «оттуда»; видно, им самим порядком осточертел и Гитлер, и Антонеску, и вообще вся эта война. Объясняться было трудно, но в каждой хате находился запас крепкой цуйки, так что взаимопонимание налаживалось. Бойцы чувствовали себя не столько победителями на вражеской территории, сколько освободителями — так же, как и в Молдавии, и на Украине.

Одно лишь омрачало для гвардии капитана Дежнева радость этой победной весны: здесь, в Румынии, почти не было земляков, угнанных немцами из родных мест, и, соответственно, не предвиделось шансов разузнать что-либо о Тане. Конечно, такие шансы всегда очень малы, но — мир тесен! — на войне иной раз случаются самые неожиданные встречи. Будь он сейчас на 1-м Украинском, вероятность узнать что-либо о Таниной судьбе была бы гораздо большей:

армии Жукова шли тем самым путем — через Проскуров, на Тарнополь и Львов, — по которому немцы эшелон за эшелоном вывозили с Украины трудмобилизованных. Один корреспондент, побывавший в Проскурове сразу после освобождения, рассказывал Дежневу, что там в помещении немецкого пересыльного лагеря стены от полу до потолка исписаны именами и датами — так оставляли весточку все, кто по пути в неволю прошел этот этап. Впрочем, Таня если и попала в Германию, то едва ли по мобилизации. Да и там ли она вообще?

О своей командировке в Энск он хотел сразу написать Николаеву, у того возможностей узнать правду было куда больше; но не написал — вовремя сообразил, что полевой почтой такое письмо не пошлешь, а оказии не предвиделось. Она, конечно, могла появиться в любой момент, письмо на этот случай лучше было бы иметь наготове — написать заранее и носить при себе. Но опять-таки — вдруг убьют или хотя бы ранят, полевая сумка попадет в чужие руки, тоже не годится…

К тому же он подумал, что сам Николаев не преминет побывать в Энске, и если что узнает, то уж конечно сообщит — генералу легче это сделать.

И не ошибся, от Николаева действительно

пришла весточка: был в Энске, но выяснить удалось только то, что арестована Таня не была; в частично сохранившихся архивах гестапо не обнаружено никаких указаний на то, что она проходила по делу Глушко — Кривошеина.

Письмо это, пересланное через какого-то лейтенантика из бронетанкового училища, он получил под Уманью, во время февральских боев. Обстановка там была тяжелая, немцы подкинули свежие части и жали изо всех сил, пытаясь деблокировать Корсунь-Шевченковский котел. Батальон был в активной обороне и нес большие потери, пополнение шло необстрелянное, плохо обученное — из молодежи, спешно мобилизованной тут же, в только что освобожденных областях. Словом, было трудно.

К тому моменту, когда лейтенант-танкист разыскал штаб батальона, Дежнев не спал уже больше суток и едва держался на ногах от усталости. Они поужинали, выпили по стопке, потом лейтенант уехал, а он стал читать письмо. Дочитал до половины, заснул, а потом перечитывал дважды на своем КП — когда позволяла обстановка.

И всякий раз, читая, не мог избавиться от странного ощущения — он и сам не знал, как это

определить, — ну, как если бы речь шла не о его друзьях, не о его любимой девушке, а о совсем чужих, незнакомых ему людях, об одной из тех полумифических подпольных групп, которые — если верить газетам — действовали в каждом оккупированном фашистами городе. Полумифических, потому что из всех тех городов, где капитану Дежневу довелось побывать сразу после освобождения и поговорить с людьми, пережившими оккупацию, он только в Энске смог лично убедиться в одном хотя бы конкретном эпизоде такой подпольной борьбы. Верно и то, что к рассказам об убийстве фашистского комиссара он мог тоже отнестись без особого доверия — если бы не знал самого Володьку Глушко…

Впрочем, действительно ли он его знал? Того, довоенного, Глушко трудно было, пожалуй, принимать всерьез. Странный это был парень — чудак, фантазер, вечно что-то напутает, забудет по рассеянности. Трусом, конечно, он не был (вспомнить хотя бы тот случай на катке, с которого началась их дружба); порывистый и увлекающийся, в бою он вполне мог бы совершить самый безрассудный подвиг — скажем, шарахнуться со связкой гранат под гусеницы. Это бы Сергея не удивило. Но ведь Глушко со-

вершил свой подвиг не на фронте, у него было время спокойно все обдумать — и потом пойти и застрелить гитлеровского наместника. Днем, на главной улице оккупированного города, прекрасно зная, что о попытке скрыться нечего и думать. «Расстрелял патроны и подорвал себя последней гранатой», — писал в своем письме Николаев. Нет, так обдуманно и хладнокровно не мог действовать тот, прежний Володька-«романтик»; это действительно совсем новый Глушко, и кто знает, много ли общего было у этого нового человека с прежним фантазером, мечтавшим о межпланетных путешествиях…

А Таня? Подпольщица, ловко морочившая головы вражеским офицерам, научившаяся говорить и улыбаться по заданию, — это тоже была новая девушка, совсем не та, которую он знал и любил. Ежедневно подвергавшаяся риску, куда более страшному, чем их привычный солдатский риск на передовой, эта новая Таня была, конечно же, еще более достойна любви и восхищения. Но странно — Дежнев скорее понимал это умом, нежели чувствовал сердцем. Прежняя была ближе и понятнее, и любить ее было проще. Дежнев иногда пытался представить себе их встречу после войны, и раньше это удавалось. В мечтах

он очень ясно видел, что Таня скажет, как она засмеется, какое у нее будет при этом выражение лица. Раньше удавалось. А однажды — уже после Энска, после письма — он снова попытался увидеть ее — и не смог. Теперь он просто не знал, что скажет и что сделает при встрече с ним она — оставшаяся по его вине в немецком тылу. Потому что ее он не знал. Он знал другую — знал девочку, подростка с не сложившимся еще характером, нежную и по-мальчишески проказливую, мечтавшую о подвигах («Ужасно бы хотела поехать в Германию на подпольную работу, правда») — и совершенно беззащитную перед любой житейской трудностью. Такая Таня была ему близка и понятна, именно такая вызвала в нем огромное, ни с чем не сравнимое чувство, озарившее для него последний предвоенный год…

А теперь он понимал, что той Тани больше нет. Она ушла в прошлое безвозвратно и непоправимо, как ушли школьные друзья, как ушла его собственная юность, сгоревшая на переднем крае. Прежней Тани уже не было, как не было и прежнего Сережки — моделиста и второгодника, энтузиаста электротехники, презиравшего девчонок и мечтавшего строить заводы-автоматы. Его тоже не было. О нем теперь лишь изредка, с гру-

стью и недоверием вспоминал гвардии капитан Дежнев, командир мотострелкового батальона, опытный офицер, прошедший огонь и воду, умеющий поднимать солдат в атаку и писать письма их матерям; он врос в войну, научился убивать, познал быстро забывающееся горе утраты боевых друзей и безрадостную, как похмелье, походно-полевую любовь. Он стал мужчиной. И как горько, как мучительно завидовал он иногда беспечному второгоднику Сережке! Хорошо еще, редко он о нем вспоминал. Все реже и реже.

Было и еще одно обстоятельство, неизменно царапавшее всякий раз, когда думал о Тане. Всегда и уже привычно, как маленькая заноза, которую не разглядеть и не вытащить, но которая отзывается легкой болью, стоит невзначай тронуть это место. Такой занозой — непонятно почему — стала навязчивая мысль о том, что где-то в дивизионных тылах существует и стучит на своей машинке сержант Сорокина.

После той ночи в Энске Елена не давала о себе знать, и спросить о ней было не у кого. Игнатьев был в госпитале, а Сеня Лившиц уже после Умани наехал своим «виллисом» на противотанковую мину, которую проморгали саперы. Так что связи оборвались, а спрашивать о ней у посторонних не

хотелось. Почему-то не хотелось, хотя, казалось бы, что тут такого? Что-то во всей этой истории было не так, и каким-то косвенным образом это неопределимое «что-то» затрагивало Таню.

Возможно, он за время войны стал циником, или это был даже и не цинизм, а просто трезвый взгляд на некоторые вещи, но так или иначе Дежнев свои редкие связи с женщинами никогда не воспринимал как предательство по отношению к Тане. Слишком это было в разных планах — настолько разных, настолько не пересекающихся и невообразимо далеких один от другого, что тут кощунственно было даже предположить возможность какой-то взаимосвязи, взаимовлияния. С Игнатьевым у них как-то зашел разговор о декабристах, вообще о пушкинской эпохе и, в частности, о морали того времени, и Дежнев сказал, что какая-то в этом деле есть неувязка: с одной стороны, отношение к женщине было самое рыцарственное, а с другой — тот же Пушкин, скажем, мог на деревенском досуге трахнуть дочь старосты, а потом, когда барская шалость не осталась без последствий, преспокойно услать наскучившую наложницу в дальнюю деревеньку, чтобы не путалась под ногами, не напоминала. С нашей нынешней точки зрения — бесчестный

поступок, паскудство самое настоящее, хотя мы-то уж никак не пример высокой морали…

Артиллерист, помнится, объяснил это тем, что понятие о морали тогда все-таки оставалось глубоко сословным — дворянин не должен был компрометировать замужнюю даму, не говоря уже о том, чтобы соблазнить девушку своего круга и бросить ее; но с женщинами низкого сословия считалось допустимым поступать соответственно низким образом.

После того разговора Дежневу подумалось однажды, что он сам, как ни странно, тоже недалеко ушел от двойной морали тех коалировавших дворян. В том смысле, что по одну сторону была Таня — чистая и недосягаемая, а по другую — все очень и очень досягаемые женщины, с которыми мимолетно, от случая к случаю, сводила его фронтовая (или, точнее, околофронтовая) жизнь. «ППЖ разового употребления», как называл их покойный Сеня Лившиц. Инициативы в этих случаях он никогда не проявлял, ее проявляли боевые подруги; все, начиная от той первой сестрички в ярославском госпитале, чье имя даже не запомнилось, были на удивление предприимчивы. Потом, конечно, это удивлять перестало, привык, но росту особо возвышенных чувств к

прекрасному полу не способствовало. Нелепой казалась сама мысль, что в этих связях можно усмотреть измену их с Таней отношениям…

Так было со всеми — до Елены Сорокиной. А с ней вышло совсем по-другому. Хотя инициативу тоже проявила она, но все, решительно все было другим. И ведь не скажешь, что он с ходу почувствовал к ней что-то особое, напротив — поначалу была активная неприязнь; капитан Дежнев вообще испытывал почти брезгливое чувство к женщинам, которые добровольно впрягались в солдатскую лямку, — кроме медперсонала, понятно. О снайпершах и пулеметчицах, которых так обожают корреспонденты, он вообще слышать не мог. Сержант Сорокина сама не воевала, но достаточно того, что ушла на фронт, бросив беспомощного годовалого пацаненка; ему даже особенно жалко ее не было — кого было жалко, так это стариков, оставленных с внуком на руках в осажденном Ленинграде…

Но это было вначале, а потом как-то подумалось: да ее ли тут вина, не всех ли нас так воспитывали? Забудь обо всем личном, дом, семья, дети — все побоку, если «Родина зовет». А куда только она порой не звала, чего только не требовала… Павлик Морозов, скажем, так

этими высокими требованиями проникся, что на родного батю стукнул куда надо. Юный герой хотя и пострадал через несознательных дядьев, но зато сделался всенародным примером для подражания, потом, небось, сколько октябрят на отцов поглядывали, зубки точили, примериваясь к героической роли, — это тебе не пионер Абросимов у лопнувшего рельса, за такое, может, еще и с Вождем сфотографируют, как счастливицу Мамлакат…

И вот тогда пришла жалость — обычная простая жалость, нерассуждающая, нелогичная, лишенная всяких разумных оснований. Раньше, еще до войны, в нем — тогда еще мальчишке — «неразумная» жалость вызывала раздражение, он не понимал, например, как мать могла жалеть непутевую тетку Лизу — была у них во дворе такая бабенка, вечно по собственной дури попадавшая во всякие истории, дура дурой, и дура к тому же самоуверенная, всегда убежденная в своей правоте, в своем «умении жить». А когда умение в очередной раз подводило — Лизавета бегала по соседкам, ревела, искала утешения. И мать утешала, жалела, вызывая в Сережке справедливое негодование: чего жалеть, коли сама виновата!

Сорокина, конечно, тоже виновата по всем статьям, и вина на ней действительно страшная — не грошовые провинности дуры Лизаветы, от которых никто, кроме нее самой, и не страдал; здесь на совести три погубленные жизни, недаром он, впервые услышав ее историю, искренне пожалел, что неподсудны такие какому-нибудь особому трибуналу. Но тогда он не знал всего, не знал о ее довоенных мытарствах, они ведь тоже многое объясняют. Словом, поторопился с осуждением, и теперь ему было за это стыдно — как мог, не разобравшись, ничего толком не узнав…

Словом, он же еще и виноват оказался — так вот все перевернулось. Его чувство вины (хотя в чем, за что, он ведь даже ни словом ее не обидел, только подумал) как бы заслонило постепенно ее вину, и с этой вины перед ней, с этой жалости все и началось. Но что началось? Этого капитан Дежнев и сам не знал. Он просто чувствовал, что сержант Сорокина (мысленно он все чаще называл ее просто Еленой) вошла в его судьбу, где ей совершенно нечего делать, и более того — каким-то необъяснимым образом вмешалась в его отношения с Таней. Это уж и вовсе была полная нелепость.

Раньше он, бывало, позволял себе помечтать,

вообразить мирное время после победы, как вернется домой, и Таня будет на месте, и мать с Зинкой, и все снова станет как раньше, до войны, только еще лучше. Он сам понимал смехотворную наивность подобных мечтаний, но все-таки иногда позволял себе ими тешиться. Должна им быть хоть какая-то отдушина! Отпусков у нас нет, это гансы к своим фрейлейн и фрау каждый год ездят погостить на недельку (фашисты, что с них взять, все не по-людски), а нам хоть помечтать, когда обстановка позволяет, — и то спасибо. Раньше, бывало, такие «душевные самоволки» в самом деле помогали, хотя пользоваться ими слишком уж часто тоже было нельзя — угадывалась тут определенная опасность: ну, размягчиться, что ли, утратить с таким трудом выращенную на душе корку невосприимчивости к разного рода сантиментам. Потому что на войне от них приходится избавляться прежде всего, иначе конец.

А теперь и этой отдушины не стало, ничего не получалось с мечтаниями — хотя бы и заведомо наивными. Что-то им стало мешать с некоторой поры, а если себя не обманывать — с той самой, когда появилась Елена. Идиллии послевоенные больше не рисовались воображению, может, и

к лучшему.

Благо и времени на это не было. В начале мая полк вывели в армейские тылы на отдых и переформирование.

Днем занятый по службе, вечером Дежнев отсыпался, читал газеты, сразу за несколько дней, или принимал участие в офицерских сабантуях, которые устраивались часто, по всякому поводу, а иногда и без повода. Командир полка Прошин, старый служака, засидевшийся в майорах, не мешал своей молодежи развлекаться, когда позволяла обстановка, но за пьянство спускал три шкуры; поэтому пили обычно легкое местное вино, более крепкие напитки, против армейского обыкновения, не употреблялись.

Командиры рот были ненамного моложе Дежнева, а из комбатов он по-прежнему оставался самым молодым, хотя и чувствовал себя временами гораздо старше других. Многие лейтенанты из последнего пополнения, только что окончившие училища, склонны были относиться к войне легкомысленно, считали ее уже выигранной; они словно забывали, что и выигранную войну надо довести до конца. А где он, этот конец?

Даже если выйдут из игры румыны (уже несколько дней ходили упорные слухи о пред-

ложенном ими сепаратном перемирии), то это пока мало что изменит. Немцы будут драться до последнего, и чем ближе к концу, тем отчаяннее и упорнее. Уж в этом-то можно не сомневаться! Дежнев видел немцев и в наступлении, и в обороне, и в «котлах»; что-что, а драться они умеют. Немецкий солдат не из тех, что поднимает руки при первом же крике «Окружили!»; как правило, он держится в любой обстановке, пока не получит приказа об отходе. Так что успокаиваться пока рановато. Такая война не может выдохнуться, постепенно сойти на нет; ее ожесточенность будет нарастать до самого последнего момента, а самые тяжелые бои начнутся в Германии.

Комбат-два не забывал об этом ни на час и не давал забывать другим. Нигде так не донимали людей боевой подготовкой, как у Дежнева. «Солдатский отдых — это учеба, — говорил он, когда ему указывали на то, что в других подразделениях находят время и для отдыха, — а лежать кверху пузом будем после войны. Пусть лучше с него сегодня семь потов сойдет, чем завтра он погибнет от того, что растеряется под огнем...»

Упражнения из довоенного комплекса ГТО, занятия по рукопашному бою, изучение трофейной техники, отработка действий по преодолению

водных преград и проволочных заграждений, по блокированию и подавлению огневых точек (на простейшем макете дота, сложенном из пустых снарядных ящиков), наступательные и оборонительные действия в уличном бою — эта учебная программа была обязательной для всего личного состава, независимо от срока пребывания в батальоне. Разница была лишь в том, что «ветераны», уже имевшие боевой опыт, не столько учились сами, сколько обучали необстрелянных новичков из пополнения. Не всем офицерам это было по душе, кое-кто из взводных явно считал, что комбат попросту выслуживается. Очевидно, разговоры на эту тему дошли и до начальства, потому что однажды после совещания в штабе полка Прошин велел Дежневу остаться и принялся расспрашивать о делах в батальоне.

— Ты там, того, не перегибаешь со своей учебой? — спросил он вдруг подозрительно, уставясь на него маленькими медвежьими глазками. — А то смотри, народ на тебя обижаться начинает. Я, конечно, понимаю, неустанное повышение боевой и политической подготовки есть священный долг и все такое. Однако людям и отдых нужен, ты как считаешь?

— Солдаты на меня не обижаются, товарищ

гвардии майор, — ответил комбат. — Еще Суворов говорил: «Тяжело в учении — легко в бою».

— Суворов, Суворов, — проворчал Прошин. — Ни шагу теперь без Суворова… А он кто был? Царский генерал, золотопогонник. Солдат в то время двадцать пять лет служил и за человека не считался. Однако насчет учебы Суворов был прав, ничего не скажешь. Ну давай, комбат, действуй, я тебе в этом не препятствую. Толк-то хоть будет из твоих затей?

— Так точно, товарищ гвардии майор, толк будет.

— Тогда валяй, комбат, давай действуй, — повторил майор. — Войне конца-краю не видать…

Вскоре после этого разговора их вернули на передовую — и сразу бросили в бой. Второму батальону досталось полуразрушенное местечко на берегу Серета, откуда никак не могли выбить остатки немецкого воздушно-десантного полка. Прошин, которого явно наскипидарили в дивизии, требовал взять местечко с ходу, матерился в трубку по-страшному, но матом капитана было не напугать. Заверив «первого», что уже атакует, он поднял пальбу, заставив немцев отвечать, до вечера разведал их систему огня, а ночью, использовав поднявшийся от реки туман, пере-

правил две роты на правый берег. Утром — гансы и очухаться не успели — их взяли тепленькими, молниеносным концентрическим ударом с тыла и флангов. Вот тут-то выучка и пригодилась, батальон почти не понес потерь.

Дежнев в это утро — едва ли не впервые за три года войны — испытал вдруг какое-то чувство профессионального удовлетворения: чувство гордости за хорошо сделанное дело. Раньше этого не бывало. Хотя он давно уже привык чувствовать себя командиром, и в этой командирской его жизни вместе с ошибками случались и удачи — хорошо найденное решение, успешно проведенный бой, какое-нибудь неожиданное свидетельство того, что подчиненные относятся к тебе лучше, чем думал, — все это, в общем, не радовало, не могло перекрыть глубокого отвращения, которое вызывала в нем навязанная ему войной профессия убивателя. Слово это придумал он сам, не очень, наверное, удачно, но другого просто не было — не называть же себя и своих товарищей по оружию убийцами. Убийцами были фашисты, да и вообще все немцы, независимо от их партийной принадлежности и отношения к Гитлеру; они начали войну, они — волей или неволей — пришли сюда убивать, следовательно,

были убийцами. А нам пришлось убивать убийц, стать их убивателями — куда денешься, должен же теперь кто-то очистить от них землю…

Понятно, радости это занятие не давало, да и не могло дать, как успешно его ни исполняй. Но сегодня — впервые! — Дежнев понял, что не так уж однозначно плохо быть офицером действующей армии. Простая мысль пришла ему в голову: ведь вот послушайся он вчера этого долдона Прошина (мужик-то майор неплохой, но долдон долдоном, этого у него не отнимешь; в сущности, ему бы ротой командовать, а не полком), исполни дурацкий приказ — скольких из его солдат не было бы уже в живых? До конца войны, понятно, доживут не все из тех, кто уцелел сегодня, но даже если хоть двое-трое вернутся домой благодаря его, Дежнева, умению воевать грамотно…

Местечко, когда его захватили, оказалось не таким уж разбитым, как выглядело вчера в стереотрубу. Выходящая к реке окраина пострадала сильно, а центр уцелел — маленькая площадь, как во всех здешних городках, лавчонки, церковь — все это было не тронуто, если не считать побитых стекол да кое-где осыпавшейся с крыш черепицы. Сейчас на площади разоружали пленных парашютистов.

Капитан смотрел на них с церковной паперти, опустошенно-усталый, но в приподнятом настроении. Немцы принадлежали, очевидно, к какой-то отборной части: одетые в куртки-комбинезоны из пятнистой маскировочной ткани, в особой формы круглых — котелком — касках, они сильно отличались от обычной вермахтовской пехтуры, попадавшей в плен последнее время. Рослые, спортивного вида, парашютисты не выглядели измотанными, да и возраста были самого боеспособного — лет по двадцать пять. Почти его ровесники. В ту далекую весну, когда он готовился к выпускным, они, наверное, уже Крит захватывали. Странно, что до сих пор уцелели.

Он встретился глазами с красивым, чисто выбритым блондином — тот надменно вскинул подбородок, глядя с вызовом. Дежнев поманил его пальцем, сошел навстречу по истертым каменным плитам.

— Bist auf Kreta gewesen? — спросил капитан и уточнил: — Im Mai einundvierzig?[62]

Немец ответил на неведомом наречии (пленные вообще, Дежнев давно это заметил, пользуются, как назло, какими угодно языками, кроме

---

[62] Notes: 62
На Крите был? В мае сорок первого? *(нем.)*

того немецкого, которому его учили в школе), но по утвердительной интонации можно было понять: да, был и на Крите. Потом, продолжая глядеть так же вызывающе, добавил еще что-то, где явственно послышались слова «Холланд», «Роттердам».

— Ясненько, — Дежнев кивнул, — с сорокового, значит, прыгаешь. Что ж, вот и допрыгался! Доброволец еще небось, Freiwilliger?

— Jawohl! — отчеканил немец. — Die deutsche Fallschirmjager sind alle nur Freiwillige![63]

— Ну и дураки. Нашел чем хвастать, бестия белокурая, — сказал капитан и сделал жест, означающий: катись, мол, на фиг.

Проходя мимо «доджа три-четверти», куда бойцы охапками сносили трофейное оружие, он заглянул, поинтересовался — да, часть и точно была не из простых, видно даже по экипировке. Кузов был завален автоматами МКв–42Н, эта новинка начала поступать на вооружение ударных подразделений вермахта только в конце прошлого года, а на этом участке фронта до сих пор не встречалась. Он выдернул из груды один — плоский, тяжелый, с деревянным прикладом

---

[63] Notes: 63
Так точно! Все немецкие парашютисты — только добровольцы! *(нем.)*

и широким изогнутым магазином. Повертев автомат в руках, Дежнев нашел защелку, нажал — магазинная коробка легко отделилась, блеснул латунью патрон — длинный, винтовочного типа. Хороша машинка, из такой можно вести прицельный огонь чуть не на километр, это тебе не старые «шмайсеры»…

…Но как здорово, что именно ему довелось ликвидировать эту группу, помериться силой с такими волками! Последнее время, по правде сказать, больше попадалась всякая шушера — то мальчишки вперемежку со старичьем из «тотального» пополнения, то вообще обозники, саперы, какие-то хозяйственные команды — было даже как-то неловко одерживать над ними победы. А если говорить о настоящих боях, то не всяким ведь боевым успехом можно гордиться, бывало и так, что лучше потом не думать — какой ценой он получен, оставшимся бойцам в глаза стыдно глядеть. А тут все сделано по высшему классу, ни к чему не придерешься — хоть разбирай бой на командирских учениях. Сказать потом Прошину, что приказа не выполнил, или не стоит? Да нет, лучше, пожалуй, не говорить, старики обидчивы — затаит в душе, а когда-нибудь при случае возьмет да припомнит. У немцев, говорят, командиру

без высшего военного образования батальона не получить, а у нас такие вот дремучие долдоны полками командуют — неудивительно, что на одного убитого ганса наших пятеро приходится…

Вместе с незнакомым офицером подошел ротный Мито Барабадзе, чье подразделение первым прорвалось к немецкому штабу.

— Корреспондент к вам, товарищ гвардии капитан, — объявил лейтенант, белозубо улыбаясь и похлопывая себя по бедру свернутым в трубку иллюстрированным журналом.

— Почему ко мне? Ты сегодня именинник, ты и информируй!

— Хорошо бы для начала о всем батальоне что-то сказать. — Газетчик вытащил из полевой сумки блокнот, прицелился карандашом в гвардейский значок на гимнастерке Дежнева. — Как вы оцениваете настроение личного состава?

— Ну как оцениваю, — со скукой в голосе сказал комбат, — хорошее настроение, с чего ему быть плохим. Потерь почти не понесли, для бойца это главное. А вообще, солдаты и офицеры учатся, неустанно повышают уровень боевой и политической подготовки. Сердца их полны, так сказать, решимости поскорее изгнать немецко-фашистских оккупантов с родной земли.

— Так ведь вроде бы уже изгнали, — заметил вполголоса корреспондент, продолжая строчить в блокноте.

— Что? А-а, да, да. Оговорился, виноват. Я хотел сказать, вообще стереть с лица земли. Чтобы, ну… на развод не осталось.

— Понятно… С кем из бойцов советуете поговорить?

— А вы лучше так, без моего совета. В самом деле, подойдите к любому и спрашивайте. Со взводными можно поговорить, вот хотя бы в роте товарища Барабадзе, а если еще вопросы останутся — я отвечу, на какие смогу… Вы из нашей дивизионки? От вас обычно Сеня приезжал, Лившиц. Знали его?

— Еще бы. Отличный был журналист, да и человек хороший, а погиб как-то глупо.

— Глупо? Вы если узнаете, что кто-то умно погиб, непременно в газете своей этот случай опишите — во будет материальчик! Кстати, у вас там машинистка одна служит — Сорокина Елена, сержант, если не ошибаюсь?

— Была такая, но давно уже убыла — вообще на другой фронт, говорили, вроде бы на Ленинградский.

— Ну правильно, она же из тех краев, — рассе-

янно сказал комбат, высматривая кого-то среди бойцов. — Решила, значит, к дому поближе… Вон, возле «доджа» — высокий такой, в кубанке, — видите? Поговорите с ним, парень интересный — разведчик, из приблатненных, сюда прямо из лагеря попал…

— Чего ты его ко мне привел? — напустился комбат на ротного, когда газетчик отошел. — Козловского нашел бы, у него язык подвешен как на кардане, а я всегда дураком себя чувствую, когда приходится такие вот разговоры вести… Спрашивает всякую фигню — «настроение личного состава» его, видите ли, интересует! Да пойди пообщайся с этим составом, вот сам и узнаешь настроение… А ты еще тут с трофейной пропагандой разгуливаешь на виду у бойцов! Сколько раз говорил — не подбирать журналов! Опять похабель какую-нибудь нашел?

— Товарищ капитан! — обиженно закричал Мито. — Ни одной голой девочки — самому жаль, клянусь честью, — специально нес вам показать, тут статья насчет воздушных налетов, со снимками! Похоже, англичане решили наконец повоевать всерьез — смотрите, это репортаж из Рура. Эссен, Дуйсбург — видите, написано: «liegen in Schutt und Asche» — в пепле и развалинах…

— Да хрен с ним, с Эссеном, — отозвался Дежнев, — нам-то от этого, как говорится, ни жарко ни холодно. Хотя, конечно, что бомбят — это хорошо, с доблестных союзничков хоть шерсти клок… Не в службу, а в дружбу — поищи адъютанта, и чтоб он от газетчика ни на шаг, покуда не умотает из батальона. А я, скажи, писаниной тогда сейчас займусь, сводки составлю…

Заниматься отчетностью всегда было для него сущим наказанием (вообще-то, это входило в обязанности старшего лейтенанта Козловского — батальонного адъютанта, или, как он предпочитал себя называть, начальника штаба). А тут еще, как назло, у двух ротных писарей почерк оказался — поди разбери, что они тут накорябали в сводках расхода боеприпасов. Не иначе к трофейному рому успели приложиться, обормоты. Впрочем, все равно цифры наполовину из пальца высосаны, кто там проверит… Нет, но Елена-то, а? Надо же! Хоть бы записку передала, что ли, не могли же ее откомандировать так срочно, что минутки не нашлось. Да и вряд ли дело в откомандировании — с чего бы вдруг, кому могла так срочно понадобиться обыкновенная машинистка, их при каждом штабе хватает… Нет, скорее, это по собственной инициативе, только вот — за-

чем? Почему?

Она сама задавала себе этот вопрос: почему все так получилось, зачем это ей? — задавала и не находила ответа. Но ведь немедленного ответа в подобных случаях быть не может, жизнь если и отвечает, то лишь по прошествии долгого времени, когда вопрос, оставшись в далеком прошлом, выглядит оттуда вовсе уж наивным — до глупости.

Что толку спрашивать? Получилось, потому что так было надо.

Впрочем, недоумение пришло потом; вначале, когда окончательно подтвердилась так испугавшая ее (и именно поэтому показавшаяся такой невозможной, немыслимой) догадка, было просто отчаяние: господи, неужто еще мало, неужто нет пределов этой слепой, не выбирающей целей жестокости, бьющей наугад по правым и виноватым… Да нет, не о ней речь — как раз она-то заслужила все и сполна, не ей жаловаться; но ведь в том и ужас, что речь теперь уже не о ней самой, сама она безропотно примет любой вариант судьбы, и чем хуже, наверное, тем лучше, — но только чтобы одной, одной, не разделяя больше ничьей боли, ничьих страданий, хватит с нее собственных…

Выросшая в семье, традиционно равнодушной к вопросам религии, она ловила себя порой на странной двойственной зависти — почти одинаковой — и к убежденным атеистам, и к тем, кто верит глубоко и смиренно, как верили простые крестьянки. О такой вере можно в наше время только мечтать, но коли уж ее нет — насколько легче, наверное, было бы жить в совершенной уверенности, что там действительно ничего не будет — ни воспоминаний, ни сожалений, ни — главное! — опасности того, что когда-нибудь тебя снова, уже в другой комбинации молекул, ввергнет обратно в этот чудовищный мир «реальности».

Будь она в этом действительно и до конца уверена, насколько легче было бы жить — зная, что всегда есть возможность уйти, никому не причинив урона. Но для нее и этот выход был закрыт, потому что уверенности не было, была как раз неуверенность, тайная (и смешанная с надеждой) боязнь — а вдруг… Все-таки в то, что там что-то есть, миллионы людей верили тысячелетиями, какие-то, значит, основания у них были, и ведь не только дикари, не только примитивные и необразованные — если уже тогда сумели заложить основы сегодняшних точных наук,

рассчитать ход планет, создать целые философские системы… Пусть даже один шанс на тысячу! Категоричность церкви в вопросе самоубийства была непонятна, но не считаться с этим было нельзя: а вдруг? Оставалось смириться, уповая на то, что, может, не такой уж долгой окажется ее никому не нужная жизнь. Все-таки война, мало ли что может случиться. Да и без войны люди, бывает, умирают в самом цветущем возрасте; к сожалению, это чаще случается именно с теми, кому жить надо — есть ради кого и ради чего…

До сих пор она так и существовала, смирившись, и ничего, как-то получалось, приспособилась. Иногда, правда, на нее находило, накатывало — это было страшно, она боялась даже думать, что может сделать в один из таких дней. Хорошо еще, нечастых. Вот в один-то из них ее и бросило к этому чужому ей, в сущности, человеку.

Ведь и знакомы-то были едва-едва. Тогда, в машине, когда она везла в полк газеты, а он возвращался из госпиталя, капитан Дежнев показался ей довольно самоуверенным юным солдафоном — тип распространенный среди молодых офицеров, успевших уже набраться фронтового ухарства, но проглядывало из-под этого наносного и что-то настоящее, не случай-

но она потом спросила о нем у Игнатьева, и ей почему-то было приятно услышать, что догадка не обманула: Игнатьев сказал не колеблясь, что капитан этот, если не убьют, может стать личностью — неглуп, некоторые взгляды изменятся сами, с возрастом, когда поумнеет, а культура и вовсе дело наживное…

Странно, что он ничего не сказал о надежности, ей самой надежность показалась едва ли не главным из качеств, которые угадывались в ее новом знакомом. Она еще подумала как-то, что такого человека хорошо было бы иметь «другом дома» — долго-долго, на всю жизнь, просто чтобы знать, что он где-то есть и что в случае чего можно обратиться за помощью, за советом или хотя бы пожаловаться. Так оно и могло бы быть, наверное, если война его пощадит, но судьба судила иначе — ей пришлось бежать от него, какая невообразимая нелепость! — бежать именно теперь, когда он — еще не успев стать близким по образу мыслей, симпатиям и антипатиям, по вкусам, по всему тому, что обычно сближает хорошо знающих друг друга людей, — стал вдруг близким по крови, близким самой глубинной, самой тесной связью, какая может возникнуть между женщиной и мужчиной.

Бежать, пока он ничего не знает. Ей была невыносима мысль, что у него, если узнает, может хоть на секунду мелькнуть подозрение, что она все подстроила нарочно, многие женщины прибегают к этому способу, чтобы привязать к себе мужчину. И бежать надо было немедля, пока даже сотрудницы ни о чем не догадываются, потому что когда догадаются — будет поздно, новость рано или поздно дойдет и до него. Редактор относился к ней хорошо, всегда помогал, чем мог, и у него были связи в Политуправлении фронта, поэтому устроить перевод труда не составило: все поверили, что ей действительно хочется быть «поближе к дому». Господи, знали бы они, какой ужас вызывала в ней одна мысль о том, чтобы очутиться в Ленинграде!

В апреле сержант Сорокина прибыла к новому месту службы в Невель, в одно из тыловых управлений 2-го Прибалтийского фронта, ведавшее какими-то хозяйственными делами. Здесь весна была запоздалая, по-северному неспешная, ночами еще крепко подмораживало, днем за окошком звенела капель, радужно сверкало солнце в не упавших еще сосульках. Не вникая в смысл, Елена печатала бумаги, которые клали на ее стол, — какие-то акты, ведомости, сводки

— и думала о том, как будет жить дальше. Она нарочно ограничивала эти мысли кругом чисто практических вопросов — работа, жилье и тому подобное, избегая думать о главном. О смысле (зачем?) того, что случилось. Значит, так было надо. У нее еще будет время об этом поразмыслить, а может быть, и не надо будет размышлять, может быть, ответ придет сам по себе, подсказанный жизнью.

А о вопросах практических думать приходилось уже сейчас, заранее, хотя несколько месяцев в запасе еще было. Рожать ей предстояло в ноябре, значит где-то до августа она еще сможет оставаться в армии, потом комиссуют. Уехать бы куда-нибудь за Волгу, к Уралу, где вообще не было войны… И с жильем, наверное, там полегче, эвакуированные уже разъезжаются, кому есть куда. А на работу хорошо бы устроиться в какомнибудь детском учреждении — яслях, детдоме, их ведь много сейчас, и персонала, скорее всего, не хватает. С ребенком ее возьмут, не могут не взять, полагаются же какие-то льготы одиноким матерям? Может быть, война к тому времени уже кончится. Ничего, проживем, думала она, прислушиваясь к тому таинственному, что — пока еще неслышно и неощутимо — уже совершалось

в ней.

Часть вторая
Глава 1

Добравшись до коммутационной камеры, она выпрямилась во весь рост и погасила фонарик. Здесь было уже почти светло — во всяком случае, по сравнению с непроглядным мраком в самом туннеле. Свет падал сверху, из устья колодца, перекрытого рухнувшей железобетонной плитой; плита лежала косо, опираясь одним краем на обломок стены, и образовала над открытым люком нечто вроде козырька, под которым оставалось сантиметров пятьдесят свободного пространства. Эта полуметровая щель, почти незаметная снаружи в хаотическом нагромождении развалин, была единственным выходом из подземелья.

Цепляясь за вделанные в стенку колодца скобы, Таня вскарабкалась наверх и наполовину высунулась из люка. Она прислушалась, приподняв голову и опираясь на локти, — снаружи все было тихо. Впереди, метрах в пяти от нее, жаркий солнечный луч лежал на битых кирпичах, бросая отблеск сюда, в темную и сырую щель.

Она выползла наружу и, быстро осмотревшись,

уселась тут же на солнцепеке, устроив из обломка доски подобие скамеечки. Сидела, обхватив руками поднятые к подбородку колени, и поглядывала по сторонам, готовая юркнуть обратно в нору при малейшей опасности.

Пока все было спокойно в окружавшем ее безмолвном мире. Он был невелик — немногим более обычного городского двора-«колодца». Очевидно, здесь когда-то и был именно такой двор, но теперь более или менее высокие развалины остались лишь сзади и слева, а правая и передняя стороны представляли собой просто груды битого кирпича, из которых торчали погнутые трубы и расщепленные доски. От левой стены уцелел большой кусок этажей в пять высотой, на нем висел погнутый, огромных размеров обруч с вписанными крест-накрест буквами «BAYER» — очевидно, реклама какого-то лекарства, если судить по тому, что этот же знак Таня часто видела в витринах аптек.

Она зажмурилась и подняла лицо к солнцу. Какое наслаждение — живое солнечное тепло и свежий воздух! Конечно, он был не таким уж свежим на этой свалке; за стеной с байеровской рекламой что-то продолжало дымиться уже который день, так что в воздухе была и гарь, и тот

неистребимый химический запах, который долго не выветривается в разбомбленных кварталах, а временами даже явственно и жутко тянуло падалью. Но все равно это был воздух — а не затхлая, спертая атмосфера подземелий.

Сказочный день — тепло, солнечно и не бомбят. Очевидно, уже не будут; обычно они начинают раньше, сейчас солнце перевалило за полдень. Может быть, потом прилетят англичане, но ночью пусть себе. Плохо, когда бомбят днем: нельзя выбраться наверх, погреться и подышать воздухом. А ночь для того и существует, чтобы бомбили.

Да, такой денек — просто подарок судьбы. Таня встала, потягиваясь, сделала несколько гимнастических упражнений, потом достала из кармана пакетик обезвоженного хлеба и принялась лениво жевать, отламывая по кусочку. Гул самолетов заставил ее поднять голову — они шли с востока, очень быстро. Очевидно, возвращаются американские истребители сопровождения. Этих можно не бояться, по ним не стреляют, вот если тем же маршрутом пойдут назад «крепости» — придется убраться под крышу, с зенитными осколками лучше не шутить. Бывает, что и неразорвавшийся снаряд падает.

Впрочем, есть ли смысл прятаться, цепляться за жизнь? Выжить все равно не удастся — они здесь обречены, все до одного. До сих пор ей везло, даже до неправдоподобия (за два месяца пережить гибель трех лагерей и отделаться ушибами да ожогами!) — но ведь всякое везение рано или поздно кончается. В случае чего, из подземелья не спасется ни один человек; для этого даже не обязательно, чтобы рухнула стена слева. Просто от близкого взрыва может сдвинуться бетонный козырек над люком — и тогда конец.

А уйти некуда. Если бы добраться до какого-нибудь уцелевшего лагеря — но где их искать? И вообще, есть ли еще уцелевшие? Говорят, всякого иностранца, обнаруженного среди развалин, расстреливают на месте как мародера. Лучше уж сидеть здесь, будь что будет.

Самолеты пролетели, разлиновав синее майское небо белыми полосами. Те быстро таяли, расплывались, превращаясь в цепочки продолговатых облачков. Таня смотрела на них, закинув голову. Странно, но она теперь почти не испытывала ужаса при виде самолетов; когда-то в Энске, после той бомбежки, ее трясло от одного звука, а теперь ничего. Привычка? Или просто какое-то отупение? Очевидно, страх не может нарастать

бесконечно, стоит ему достичь критического предела, как срабатывает какое-то таинственное защитное устройство, предохраняющее человеческую психику от чрезмерных перегрузок.

Это не значит, конечно, что даже такая допустимая перегрузка проходит бесследно. Нельзя провести два месяца в аду — и остаться прежней. Лагерь Шарнхорст прекратил свое существование сравнительно безболезненно: американские зажигательные бомбы сожгли его вместе с прилегающим кварталом, но случилось это днем, когда все население было на работе, а обслуживающий персонал заблаговременно укрылся в бункере. Во второй раз было хуже.

Их перевели в Эссен, и они прожили там ровно четыре дня, осваиваясь на новом месте, в помещении бывших казарм, а на пятую ночь левое крыло здания разлетелось в щебень от прямого попадания воздушной торпеды. В тот вечер бездействовала система оповещения ПВО, выведенная из строя предыдущим дневным налетом; сигнал «акут-алярм» был передан только по радиотрансляционной сети, к которой еще не успели подключить новый лагерь. Лагерников разбудил гул приближающихся самолетов, но они не слышали привычных сирен и оставались

на своих местах. А многие вообще так и не успели проснуться…

Из левого крыла не спасся никто. В средней части здания погибли все, находившиеся на третьем и четвертом этажах; из нижних удалось кое-кого спасти, но среди них было много раненых. Их хотели укрыть в подвальных помещениях уцелевшего правого крыла, но раненые выли от ужаса и вырывались из рук спасателей — всех их, едва не погибших под рушившимися этажами, словно поразила мгновенная эпидемия клаустрофобии.

Тогда их решили оставить на казарменном дворе — укладывали рядами прямо на асфальте и прикрывали набитыми соломой тюфяками для защиты (хотя бы символической) от зенитных осколков. Там они все и сгорели часом позже, когда последняя волна бомбардировщиков затопила эту часть города ливнем горящего фосфора…

— Эй, ты!

Таня вздрогнула и оглянулась. В пустом оконном проеме стоял мальчишка лет тринадцати, в потрепанной форме гитлер-югенд.

— Что ты тут делаешь? — крикнул мальчишка.

Таня пожала плечами и ничего не ответила.

Вытащив из хрусткого пергаментного пакетика еще один сухарь, она разломила его и продолжала жевать. Мальчишка спрыгнул с подоконника и приблизился к ней, перескакивая с обломка на обломок.

— Тебя разбомбили? — спросил он. Таня молча кивнула.

— И нас тоже, — сообщил мальчишка. — Ничего, скоро Германия получит новое оружие, тогда они нам за все заплатят. Мутти говорит, что каждая разбомбленная семья получит после войны полное возмещение убытков. По списку, понимаешь? Ты подаешь такой список, где указано все, что у тебя сгорело. А кто проверит, верно? У меня был фотоаппарат — дешевка, знаешь, такая коробка, что не надо наводить на фокус, — так он тоже пропал. Я теперь напишу, что у меня был «Фойгтлендерсупер», или «Экзакта», или «Контакс» — докажи, что нет! А платить будут русские и томми. И еще ами. Те заплатят сколько угодно, только бы их не тронули. Там знаешь сколько капиталистов? — и все жиды. Так что мы ничего не потеряем, вот увидишь. А это все нам тоже отстроят, пленные. — Он отшвырнул ногой кирпич и самоуверенно шмыгнул носом. — Сдохнут, а отстроят все до последнего. Ты где жила, в

каком доме?

Таня неопределенно мотнула головой вправо:

— Вон там.

— Я тоже там. — Мальчишка посмотрел на нее подозрительно. — Что-то я тебя никогда не видел. На каком этаже?

— Отстань от меня, — сказала Таня хрипло. Она почти потеряла голос от холода и сырости в подземельях. — Какое тебе дело, где я жила! Проваливай отсюда, ну?

— Ты не немка, — сказал мальчишка угрожающе. — Иностранка, да? А почему без опознавательного знака? Ты сбежала из лагеря!

— Я тебе сказала — проваливай к свиньям собачьим! — крикнула Таня.

Она нагнулась и подхватила обломок кирпича. Мальчишка, вооружившись таким же образом, стал отступать, не спуская с нее глаз. С безопасного расстояния он швырнул камнем — она едва успела увернуться — и пустился наутек. В эту же минуту откуда-то издалека послышались резкие, словно рвущие воздух, частые удары зениток. Таня нырнула в щель и поползла к люку.

Их было здесь человек тридцать — несколько русских, югославы, поляки, венгры и даже двое или трое французов. Точного числа не знал

никто, хотя они были вместе уже больше недели; некоторые жили в помещении котельной, некоторые — в соседних закоулках и коридорах, другие появлялись неизвестно откуда и неизвестно куда исчезали. Среди них было несколько женщин неопределенного возраста, пятеро больных или раненых и один помешанный, который все время бормотал что-то на незнакомом языке, забившись в самый темный угол позади котлов.

Они были из разных лагерей и оказались вместе совершенно случайно. Около десяти дней назад, после особенно жестокого ночного налета, несколько сотен иностранных рабочих были привезены в центр города для расчистных и спасательных работ; все вокруг еще горело и рушилось, и, разумеется, никакой работы организовать не удалось. Их привезли туда около полудня, а в два часа снова взревели сирены, и охваченная паникой толпа разбежалась, не обращая внимания на выстрелы охранников. Никто не думал, пожалуй, о побеге; люди просто спасались от бомб, которые должны были посыпаться сюда через несколько минут.

Группе, в которой оказалась Таня, удалось добраться до полуразваленного входа в какой-то бункер, откуда уже ушли те, кто спасался там

во время ночного налета. Бункер был в плохом состоянии, перекрытие его треснуло и осело, держась теперь только на деревянных крепежных столбах. Снаружи уже бомбили, и людей, сгрудившихся в углу убежища, то и дело окатывало волнами грохота и обдавало едким сухим жаром и пылью, летевшей через вентиляционную шахту. А потом привычные уже звуки бомбежки словно слились в один чудовищный громовой раскат, обрушившийся прямо им на головы, бункер качнулся, как трюм корабля во время шторма, — и стало совсем тихо. И в этой тишине было только слышно, как, не выдерживая страшной нагрузки, трещат балки креплений.

Люди бросились к двери, ведущей к выходу, но за дверью оказался косо упавший потолок, битый кирпич и клубящаяся известковая пыль. К счастью, в бункере нашелся полный набор аварийных инструментов — кирки, ломы, лопаты. Обстучав стены, нашли место и через час проломились в соседнее помещение, узкий бетонный коридор, который вел неизвестно куда.

Бункер обрушился у них за спиной, они это слышали; дороги назад уже не было. Оставалось пробиваться вперед. Их спасло обилие подземных коммуникаций в этой части города и еще то,

что в группе оказался специалист по такого рода сооружениям. Часть группы погибла на второй день от взрыва светильного газа, скопившегося в одном из вскрытых ими подвалов, а остальные добрались сюда.

Это было райское место. Здесь была вода, оставшаяся в трубах котлов, ржавая и затхлая, но все же вода, которую можно было пить. Здесь был относительно чистый воздух. И здесь был выход наружу.

Выход этот нашли не сразу. А когда нашли, то никто им не воспользовался. Наверху бомбили — бомбили свирепо и непрерывно, каждый день и каждую ночь, кто же добровольно полезет за смертью? Кроме того, оставался факт побега: пусть невольно, но получилось, что они сбежали. Теперь, пожалуй, поздновато являться с повинной.

Так и остались они вести эту пещерную жизнь. Дневные бомбежки вскоре прекратились, голод пока не грозил: по пути сюда попался подвал с большими запасами консервов, очевидно принадлежавший владельцам какой-нибудь бакалейной лавчонки, теперь уже стертой с лица земли. Продукты перетаскали в котельную — при экономном расходовании их могло хватить

надолго. Теперь можно было отсиживаться в относительно надежном укрытии и ждать. Но чего — конца войны? Прекращения бомбежек? Или просто смерти от очередного обвала?

В сущности, каждый из них чувствовал себя смертником, не знающим лишь срока исполнения приговора.

Ночью опять был налет, и довольно сильный, продолжавшийся около двух часов. Утром две женщины переругались из-за пропавшего куска мыла. Они долго обкладывали друг дружку самыми грязными ругательствами на трех языках, потом старшая вцепилась в волосы младшей, и их растащили, в назидание надавав по шее одной и другой. А потом сербы принялись бить хорватов, а хорваты — сербов. Этих разнять было труднее, и они долго дрались в темном углу котельной, молча и страшно, как дерутся люди, дошедшие до последней стадии озверения.

Таня едва дождалась раздачи пищи, чтобы удрать наверх. После каждого налета ее мучил страх, что плита над колодцем сдвинулась и выход теперь закрыт. Других это, по-видимому, не особенно беспокоило; охотников совершать вылазки было, кроме нее, всего двое или трое, но в последнее время даже они предпочитали

отсиживаться внизу, а подышать выходили к колодцу, не поднимаясь наверх. Многие обитатели котельной вообще требовали запретить дневные «прогулки», чтобы не демаскировать убежище.

Получив наконец свою дневную порцию — банку каких-то консервов без этикетки и пачку обезвоженного хлеба, Таня спрятала еду в карманы и, помедлив и убедившись, что за нею не следят, ящерицей юркнула в туннель, ведущий к коммутационной камере.

Плита не сдвинулась, и наверху было слепящее майское солнце. То и дело заслоняя его, из-за обломка стены с рекламой «Байера» медленно ползли черные клубы дыма — где-то неподалеку еще горело после ночного налета. Еще сильнее, чем обычно, пахло гарью, развалинами и падалью. Этот трупный запах стал прямо каким-то наваждением — Тане начинало казаться, что иногда она слышит его даже там, в котельной. Ничего удивительного, он вполне мог просачиваться из какого-нибудь нераскопанного бункера по соседству. Через трещины в фундаменте, сколько угодно.

Есть пока не хотелось. Таня по опыту знала, что аппетит придет только после того, как побудешь на свежем воздухе хоть полчаса, и не стала спе-

шить со своим обедом. Она погрелась на солнце, расстегнув куртку и запрокинув лицо с блаженно зажмуренными глазами, потом достала маленькую алюминиевую гребенку и принялась расчесывать волосы. С волосами беда — отросли до плеч, а о том, чтобы хоть раз вымыть голову, можно только мечтать. Хорошо еще, что долгое и тщательное расчесывание в какой-то степени заменяет мытье, надо лишь делать это как можно чаще и как можно дольше, и тогда волосы остаются относительно чистыми. Что ж, тоже занятие.

Таня делала это, пока не устала рука. Покончив с туалетом, она продула гребенку, почистила о рукав и бережно спрятала в карман. Второй не будет, потеряешь эту — и за неделю превратишься в чудище обло.

Вот теперь можно и закусить! Она достала банку, обшарила карманы в поисках ножа, не нашла его и вдруг вспомнила, что еще вчера одолжила нож поляку с обожженной щекой, а тот так и не вернул. Досада такая, не лезть же обратно за ножом…

Таня встала и, перекатывая банку с ладони на ладонь, огляделась в поисках какого-нибудь острого предмета. Поблизости ничего подходящего не оказалось, она отошла дальше, разбрасывая

башмаком куски битого кирпича, подбирая и отбрасывая за непригодностью разные предметы — то ржавый гвоздь, слишком тупой и погнутый, то чугунный обломок, покрытый с одной стороны белой эмалью, очевидно, от ванны или кухонной раковины, то зазубренный осколок бомбы или зенитного снаряда — почти пригодный для вскрытия банки, но слишком острый, чтобы держать его в руке без риска порезаться. Бросив и осколок, Таня сообразила, что можно ведь обернуть его тряпкой или бумагой, и нагнулась, чтобы поднять снова. И в этот момент она почувствовала, что на нее смотрят.

Это был тот самый мальчишка в форме «гитлеровской молодежи», с которым она здесь вчера переругивалась. Но сейчас он был не один — еще двое таких же белобрысых выглядывало из-за обломка стены. Таня бросилась было к спасительному входу в колодец, от которого успела отойти на каких-нибудь полсотни шагов, но тут же поняла, что этот путь для нее отрезан: удрать в щель сейчас значило бы выдать замаскированную под бетонной плитой лазейку.

Она замерла, держа в одной руке банку, а в другой — длинный узкий осколок, похожий на исщербленное лезвие кинжала. Сердце ее

отчаянно колотилось. А почему, собственно, что такого, всего-навсего какие-то мальчишки. Трое щенков лет по четырнадцать, подумаешь…

Потом она увидела, что их не трое, а четверо. Тут же появился и пятый. Они стали заходить по сторонам, еще не зная, куда она побежит и побежит ли вообще. Бежать-то, в общем, было действительно некуда.

А может быть, и незачем? Откуда она взяла, что у них враждебные намерения? Может быть, они просто играют здесь в какую-то свою игру. Вроде «казаков-разбойников». Лучшего места ведь не придумаешь! Если бы они выслеживали ее, то уж наверняка привели бы с собой кого-нибудь из старших. Конечно, это игра…

Не сводя с них настороженного взгляда, она начала медленно отступать к стене. Игра или не игра, а лучше от них подальше, что-то они слишком ею интересуются. Мальчишки подбирались ближе, уже не скрывая своих намерений.

— Слушайте, вы! — крикнула Таня. — Вам что здесь нужно? А ну-ка убирайтесь!

Теперь она хорошо разглядела их всех. Самому младшему было лет двенадцать, старшему — около пятнадцати. Этот являлся, по-видимому, вожаком, его униформа — короткие черные шта-

ны и рубашка песочного цвета — была заметно опрятнее, чем у остальных, и украшена какими-то значками и нашивками. Он носил даже узкий ремешок вроде портупеи, пропущенный под правый погон.

Четверо других, с бледными худыми лицами трущобных подростков, выглядели почти оборванцами, их форменные штаны и рубашки были грязны и местами зашиты кое-как, через край. Впрочем, нарукавные повязки со свастикой, поясные ремни и кинжалы имелись у всех. У младшего, кроме того, висел через плечо — наподобие аксельбантов — моток тонкой бельевой веревки.

Теперь они обступили ее со всех сторон.

— Что у тебя в руках? — резким мальчишеским голосом спросил вожак.

— Это осколок, — сказала Таня, показывая свой инструмент. — Я только что подобрала, хотела открыть банку…

— Брось его!

Таня пожала плечами. Осколок зазвенел, ударившись о торчащий из-под кирпича ржавый швеллер.

— Вот, пожалуйста, — сказала она. — Теперь я безоружна. Это не граната, а просто консервы.

Можете проверить, если у вас есть, чем открыть.

— Положи банку на землю и подними руки, — скомандовал вожак. — Быстро!

Таня подчинилась. Она чувствовали себя очень глупо, стоя с поднятыми руками в кольце настороженно глядящих на нее мальчишек. Не совсем тот возраст, что же поделать. Лет пять назад она испытала бы гораздо больше удовольствия от такой игры.

— Обыскать! — снова скомандовал вожак. Ее обыскали, и очень тщательно. Таня с трудом подавила желание заехать одному из этих сопляков по физиономии. Ничего себе игра! Вся добыча — карманный фонарик, гребенка, пакетик хлеба и несколько алюминиевых пфеннигов — была разложена перед вожаком на плоском обломке бетона, где уже стояла банка консервов, которых ей так и не удалось попробовать. Глупость какая, надо было съесть раньше. Теперь отберут за милую душу.

— Продовольствие конфисковано, — объявил вожак, словно угадав ее мысли. — Фонарь тоже. Гребенку и деньги можешь взять. Где документы?

— Пропали, — сердито ответила Таня, пряча гребенку обратно. — Какие документы? У меня

все сгорело.

Вожак смотрел на нее, широко расставив ноги и держа руки за спиной, явно подражая кому-то этой позой.

— Иностранка?

— Да. Русская!

— Из какого лагеря?

— Шарнхорст, в Штееле…

Вожак шагнул вперед и ударил ее по щеке.

— На допросе говорить правду, — сказал он. — Понятно?

— Не распускай руки, болван! — крикнула Таня. — Я вот тебе сейчас как дам — ты у меня узнаешь «допрос»!

— Свяжите ее, — сказал вожак.

Таня и ахнуть не успела, как на нее накинулись сзади, заламывая локти за спину. Пытаясь вырваться, она метнулась в сторону, но кто-то подставил ей ножку, и она со всего размаха упала на груду битого кирпича, увлекая за собой нападающих. Теперь, наверное, на нее навалились все сразу, потому что она уже не могла пошевелиться и даже не могла поднять головы — кто-то держал ее за волосы, прижимая лицом к колючим обломкам кирпича, а другие тем временем вязали вывернутые назад руки.

Потом ее подняли на ноги и снова подвели к вожаку, который с невозмутимым видом стоял в той же позе.

— Из какого ты лагеря? — снова спросил он. — Шарнхорст сгорел еще в марте. Где ты была все это время? Только говорить правду!

Она, наверное, разбила себе лицо при падении, потому что левую скулу жгло и саднило, а на губах чувствовался сладковатый привкус крови. Еще мучительнее была боль в вывернутых за спину руках — их связали так туго, что локти почти соприкасались.

— Я говорю правду, — с трудом выговорила Таня, кривясь от боли. — В Шарнхорсте никто не погиб, нас перевели в другой лагерь…

— В какой?

— Принц Ойген Казерне… потом его тоже разбомбили. Развяжите руки, мне же больно!

— Будет еще больнее, — успокоил вожак. — Так или иначе, ты сбежала из лагеря. Знаешь, что полагается за побег?

— Я не сбежала, просто нас разбомбили!

— Ты должна была явиться на сборный пункт в установленный срок. Где твой опознавательный знак?

— «Ост» отменили этой весной, а новых нацио-

нальных знаков мы еще не успели получить… Ну что вам от меня нужно — отпустите меня, я же вам ничего не сделала!

— Ты сбежала из лагеря, этого достаточно. Побег из трудового лагеря в военное время приравнивается к дезертирству. Ты этого не знала?

Вожак отвернулся от нее и обвел взглядом своих соратников.

— Что думают господа?

«Господа» разглядывали свою пленницу с жадным и безжалостным любопытством, как дети смотрят на пойманного зверька, придумывая, как бы с ним позабавиться.

— Повесить, — сказал вчерашний Танин знакомец.

— Мне обещали, что следующего буду вешать я, — торопливо заявил младший.

— Она все-таки не оказала сопротивления, — нерешительно заметил третий, шмыгнув носом.

— Ну и что? Она сбежала, а беглецов вешают. Вспомни того поляка!

— У поляка был нож, и он сопротивлялся! А эта не сопротивлялась, выпороть ее, и конец.

— Выпороть, а потом повесить, — снова вмешался младший. — Так делают в штрафлагерях, мне рассказывал дядя Гельмут. Когда поймают

беглеца, его вешают, а перед этим он еще получает хорошую порку.

— Заткнись, кошачье дерьмо, много ты понимаешь со своим вшивым дядей Гельмутом! Эта же не из штрафлагеря, верно? Молчал бы уж, недоносок.

— Когда вешали поляка, мне пообещали, что следующий будет мой, — упрямо заныл «недоносок».

— Тише! — крикнул вожак. — Вилли совершенно прав — она не оказала сопротивления, поэтому повешение на этот раз не состоится. Я бы просто отправил ее на сборный пункт для иностранцев. Германии нужны рабочие руки. Но окончательно судьбу задержанной решит тайное судилище. Короче говоря, сейчас в главную квартиру, там ее допросят по-настоящему. Вилли, ты отвечаешь за доставку задержанной, ясно?

— Так точно, штаммфюрер! — отчеканил Вилли и дернул за конец веревки, которой были связаны Танины руки. — Марш, быстро!

Они пустились в путь, перебираясь с завала на завал. Таня до сих пор не представляла себе, какой неловкой становишься, когда у тебя связаны за спиной руки; два или три раза она падала, оступившись на неустойчиво лежащем обломке,

и тогда конвоиры накидывались на нее с веселым гамом, ставили на ноги и снова тащили вперед.

Она еще не совсем понимала, что с нею произошло, и находилась в каком-то странном состоянии, словно мозг отказывался работать, а чувства были, напротив, обострены до предела. С особой, лихорадочной ясностью воспринимала она сейчас все окружающее: завалы руин, и закопченные обломки стен, торчащие в синее небо, и солнце, и мертвую тишину пустыни, пахнущую гарью и трупами. Ветер утих, было почти жарко, и запах чувствовался еще сильнее.

Они только что перебрались через пролом в покосившейся бетонной ограде и оказались наконец на асфальте; улицу, очевидно, расчистили незадолго перед последним налетом, и проезжая часть оставалась почти свободной, хотя и была замусорена битым стеклом и головешками. Валялась оторванная крышка чемодана, какое-то тряпье и бумаги, чуть подальше стояла, скособочившись, обгорелая детская коляска. Один из мальчишек забежал перед Таней и, заглядывая ей в лицо с тем же выражением жестокого любопытства, весело сказал:

— Ну, теперь уже почти пришли! — и добавил восхищенно: — Ох тебе же сейчас и достанется!

Таня увидела его светлые, без мысли, глаза волчонка и испугалась так, как еще никогда не пугалась, даже стоя перед шарфюрером Хакке, — тот был все-таки человек, а в этих не осталось уже ничего человеческого, это были просто волчата.

Она остановилась и попятилась. Конвоир, шедший сзади, от неожиданности налетел на нее, выругался и поддал коленом.

— Марш! — крикнул он.

— Не пойду, — сказала Таня, затравленно озираясь. — Пустите меня, слышите! Я не пойду!

— Тащите ее, — скомандовал вожак. — Надо спешить, в этом квартале утром были шупо[64]. Быстро!

Они схватили ее, но Таня вывернулась рывком и села на асфальт — вернее, повалилась набок, потому что сесть на землю со скрученными за спиной руками тоже не так просто. Началась возня, мальчишки тащили ее волоком, как куль.

— Помогите! — крикнула она в отчаянии, хотя помощи ждать было неоткуда. — Помогите!

Они волокли ее, дергали за волосы и пинали ногами, она продолжала кричать и вырываться, а потом вдруг бросили — она упала лицом на

---

[64] Notes: 64
Сокр. от Schutzpolizei *(нем.)* — охранная полиция.

асфальт, громко плача от бессилия и унижения.

Полицейские свистки услышала не сразу. Вокруг уже никого не было, она перевернулась на бок и подняла голову — мальчишки удирали, карабкаясь по завалам, а трели свистков доносились откуда-то справа и слева. Потом совсем рядом захрустели тяжелые шаги — кто-то, спотыкаясь, пробирался сюда в подкованных сапогах — и одышливый голос, сердито бормочущий ругательства. Шуцман возник перед ней внезапно, немолодой, тощий, в зеленой суконной каске, похожей на маленький перевернутый вверх дном унитаз.

— А-а! — крикнул он и бросился на Таню, как бросаются на убегающую курицу. — Попалась, дочь сатаны! Эй, Герберт, сюда — одну поймал! Куда они побежали, твои дружки? — Он схватил Таню за волосы. — Отвечай живо, дрянь ты этакая!

— Не дружки, нет! — закричала Таня. — Они хотели меня повесить, у меня же руки связаны — посмотрите!

Она извернулась, показывая шуцману связанные за спиной руки; тот озадаченно хмыкнул, отпустил ее, потом разрезал веревку.

— А ты кто такая и за что они тебя собрались

вешать?

— Я иностранка, господин офицер, русская!

— Русская? — Он опять схватил ее за волосы. — И сбежала из лагеря! Что ты делала в развалинах — грабила?

— Обыщите меня!

Да теперь-то пусть обыскивают, подумалось ей, а вот если бы не произведенная бандой конфискация, она сейчас могла бы и в самом деле здорово влипнуть; возможно, банки консервов было бы достаточно, чтобы пришить ей мародерство, а так — что с нее взять?

— Мы тут работали несколько дней назад, а во время налета нас завалило, я и сама не знаю, как выбралась!

Подошел второй шуцман. Таня попыталась встать, но первый положил резиновую дубинку ей на плечо и нажал, велев не двигаться. Так, сидя между ними на земле и поглядывая то на одного, то на другого, она повторила то же, о чем рассказывала хайотам[65], — про гибель обоих лагерей, про последний дневной налет, заставший их во время работ по расчистке. О подвале с его населением умолчала, сказав, что была с ней еще одна

---

[65] Notes: 65

HJ — сокр. от «Hitler Jugend» *(нем.)* — организация «Гитлеровская молодежь».

женщина, но, видно, заблудилась или пропала.

— В келлере, где нас завалило, было немного еды, — добавила она, чтобы рассказ выглядел правдоподобнее, — поэтому я и уцелела, раскопала дверь и потом вылезла…

— Где, в каком месте?

— Не знаю, господин офицер, клянусь вам, не знаю, уже была ночь, а потом эти гады меня схватили и приволокли сюда — разве я могла запомнить дорогу? Посмотрите, что они со мной сделали, я вся в синяках!

— Синяков у тебя значительно прибавится, это я тебе обещаю, моя милая, если ты не выложишь все, как есть, — объявил второй шуцман, — не очень-то в твоей истории сходятся концы с концами! Ну ничего, сейчас мы тебя отведем в ревир[66], там сразу все вспомнишь. После хорошей лупцовки, а?

Таня опять разревелась в голос — не столько даже от страха, сколько чтобы произвести благоприятное впечатление.

— Да за что же меня лупцевать, — вопила она, — я и так все рассказала, проверьте, когда сгорели казармы «Принц Ойген», когда сгорел Шарнхорст

---

[66] Notes: 66
Revier *(нем.)* — околоток.

в Штееле — там я вообще была переводчицей, меня высоко ценил лагерфюрер господин Хакке!

— Мол-чать! — рявкнул первый. — Ну-ка вставай! И не вздумай убегать, существо из болота!

— Куда мне убегать, сами подумайте, — опять к этим бандитам?

В ревире, как ни странно, все обошлось благополучно — если не считать того, что ее до вечера продержали голодной, а потом, дав миску жуткой — куда хуже лагерной — гемюзы, заперли в камеру к так называемым асо — разного рода воровкам, шлюхам и тому подобной публике. Хорошо еще, их там было много, и новенькую они проигнорировали. Одна, правда, поинтересовалась, нет ли у нее курнуть, и, узнав, что нет, обозвала Таню непотребно; Таня же, чей лексикон за время пещерной жизни в котельной значительно обогатился и стал разнообразнее и красочнее, выдала в ответ еще похлеще, после чего ее оставили в покое. Возможно, признали за свою.

Все было бы хорошо, если бы не страх перед обещанной лупцовкой. Таня не знала, когда здесь допрашивают, днем или по ночам, а спросить у сокамерниц не решалась — боялась, что распознают иностранку, вдруг они еще и шовинистки?

Придушат запросто, и не пикнешь. От страха она долго не могла заснуть, все ждала вызова на допрос, а потом все-таки заснула и проспала до самой побудки. Вызвали ее только вечером — вывели наружу и посадили в «зеленую Минну». Ехали довольно долго, а когда открыли дверцу, рядом была стена барака и кусок ограды с колючей проволокой. В барак она вошла со страхом, ожидая увидеть полосатые платья с номерами, но оказался обычный рабочий лагерь — сюда собрали остарбайтеров из разных мест, из Эссена, из Ботропа, из Гельаснкирхена. Все сплошь погорельцы, выжившие после налетов.

Девушка, наблюдавшая в окно за Таниным прибытием, спросила, чего это ее привезли с полицией.

— Значит, надо было, — ответила она туманно.

— Ото ж тебя били там? — В голосе спрашивающей прозвучало боязливое уважение.

Таня осторожно потрогала подсыхающую ссадину на скуле и собралась было уже ответить, что где же еще, но не захотела возводить напраслину на шуцманов — как-никак они ей ничего плохого не сделали. А признаться, что исколотили и исщипали гаденыши-хайоты, было стыдно.

— Еще неизвестно, кто кого бил, — сказала

она высокомерно. — Меня почему-то посадили к асоциальным, так что сама понимаешь.

— К кому, к кому?

— Ну, к уголовницам. А это еще те штучки, надо видеть. Ничего, я там живо навела порядок! Мне, понятно, тоже досталось, все-таки я была одна, а их вон сколько… Слушай, а что тут за работа?

— Да мы не працюемо, це ж пересылка, «дулаг» по-ихнему. Отправлять будут усих, а куда — неизвестно. Тут и работать нема где, все геть поразбомбили. Кто каже — до дому отпустят…

— Отпустят, держи карман! А хоть кормят?

— Звычайно, як всюду. Гемюза, хлиба триста грамм, утром дают каву.

— Ну! Кормят, на работу не гоняют, еще и кофе по утрам — райская тут у вас жизнь, как я посмотрю. А ты до дому хочешь! На фронте-то что нового — газеты читаете?

— Кажуть, Севастополь наши освободили.

— Про Севастополь я уже слыхала. А больше ничего? Значит, готовятся. Так что держи хвост пистолетом!

В этом дулаге Таня прожила еще два дня, а на третий попала в очередную партию, предназначенную к отправке. После обеда их — с полсотни девушек — вывели за ворота, они долго шли

колонной мимо развалин какого-то большого завода, потом оказались на железнодорожной станции — тоже совершенно разрушенной, от нее остались лишь закопченные стены сгоревших пакгаузов и кладбище искореженных скелетов товарных вагонов, которые так и остались стоять на рельсах. Рельсовых путей здесь было множество — двадцать, а то и больше, кое-где они были разворочены бомбовыми воронками, местами выглядели целыми, но поезда здесь, видно, не ходили уже давно — рельсы были ржавыми, лишь одна колея блестела чистым металлом. Возле этого единственного действующего пути была сооружена дощатая платформа со сборным стандартным бараком в одном конце. Девушкам велели ждать тут, никуда не отлучаясь, — да и куда было отлучиться в этой пустыне исковерканного железа? Хорошо хоть сопровождающий указал, где отхожее место.

Они ждали до самого вечера, вечером пришел товарный состав с прицепленным в хвосте пассажирским вагоном-«сороконожкой» без единого целого стекла в дверях. Некоторые сиденья внутри были сломаны, но места хватило — вагон подали пустым, наверное, специально для них.

Все гадали — в какую же сторону тронется

состав. Тронулся он в ту сторону, где только что село солнце.

— Вот вам и «до дому», — сказала Таня, — теперь вообще за Рейн увезут! Ладно, там хоть не бомбят.

— Ты почем знаешь, бомбят там или не бомбят?

— Что я, за Рейном, что ли, не была?

— Да уж ты всюду была, — ехидно сказала одна из девушек, почему-то невзлюбившая Таню с момента ее появления в лагере. — Тебя послушать, так ты и в Москве была.

— Была, ясно, если я родилась там.

— Подумаешь, москвичка какая нашлась!

— Да уж какая есть, — отозвалась Таня, не глядя на недоброжелательницу. — А ты заткнись, паразитка. Эссенские курвы меня долго будут помнить, вот и ты запомнишь.

— Да ладно вам, чего завелись! Слышь, Тань, а там заводов, что ли, нет, за Рейном? Почему не бомбят?

Есть ли за Рейном заводы, Таня не знала, но уронить свой авторитет не могла.

— Господи, при чем тут заводы? Надо же соображать! Голландия рядом, промахнуться — раз плюнуть. А чего это англичане своих союзников

станут бомбить…

Рейн переехали уже в темноте, видно ничего не было, только долго громыхал бесконечный мост, по которому поезд тащился со скоростью пешехода. Ехали всю ночь — вернее, больше стояли, чем ехали; под утро стало совсем холодно, в выбитые окна тянуло сыростью, Таня проснулась вся окоченевшая. Она встала, прошлась по вагону, зябко кутаясь в свою рабочую куртку, сшитую, как и лагерное платье, из какой-то эрзац-дерюги. Поезд шел по сырой зеленой равнине, над травой низко стелился легкий туман, вид был непривычный — ни одной дымящей трубы; да и пахло здесь совсем иначе, по-деревенски мирно. Странным было отсутствие зениток — вокруг Эссена всюду, куда ни глянь, торчали из-под земли длинные стволы пушек, обнесенные глиняными валами, и стояли уныло-серые, под цвет рурского неба, бараки артиллеристов. Иногда в трамвае, по пути из Штееле, Таня пробовала считать, сколько батарей расположено вдоль этого пятикилометрового маршрута, но всегда сбивалась со счета. А здесь вообще ни одной! Может, это уже Голландия, подумала она с надеждой; впервые за много месяцев мысль о том, что можно еще — если очень повезет — дожить и до конца войны, пришла ей в

голову не как недостижимая мечта, а как вполне реальная возможность.

Вернувшись на свое место, она втиснулась подальше в угол, где не так дуло из окна, и снова задремала, а проснулась, когда поезд уже стоял, ярко светило солнце и кто-то шел вдоль вагона, стуча кулаком в каждую дверь и покрикивая: «Alle raus, schnell, schnell, los!»[67] Заспанные, продрогшие, девушки столпились на перроне, недоверчиво оглядываясь, — чистенькая маленькая станция, все стёкла целы и до блеска вымыты, на асфальте ни соринки, даже цветы растут в прямоугольной клумбочке за цементным бордюром. «Точно, Голландия», — решила Таня, услышав непонятный говор двух прошедших мимо железнодорожников.

Пришел сопровождающий, велел построиться попарно, пересчитал пальцем и сделал знак следовать за ним. Оказалось, что это все-таки еще Германия: расписание на щите, разные указатели и рекламы — все было по-немецки, но говорили люди непонятно, видимо, здесь уже было какое-то смешанное население, полуголландское. Называлась станция Клеве, Таня никогда и не

---

[67] Notes: 67
Всем выходить, быстрее, быстрее! *(нем.)*

слышала о таком городке.

Их привели в пустой пакгауз, опять велели ждать, потом пришел пожилой толстый немец и обратился к ним почти по-русски.

— Ви ест направлены тут работать, — сказал он, — в разнообразны крестьянски, а также домашни хозяйство. Это ест для вас болшой глюк, в эти места попасть, ибо здесь нет воздушны война, и для того ви должны быть всегда прилежны и послушательны. Десять пер-зон, — он, растопырив, поднял пальцы обеих рук, — могут здесь, в Клеве, оставаться как горнишны в отель и санаториум, кто понимает немецки, остальные едут к бауэ-рам. Также здесь близко. Альзо, кто желает быть горнишны, идите сюда.

Желающих стать горничными, к Таниному глубокому возмущению, оказалось больше, чем было нужно, и толстяк отобрал десятерых, лучше знающих язык и более привлекательных. Остальных разобрали быстро — приходили, оглядывали и уводили по одной, по двое. Тане вдруг стало страшно: может, правы решившие остаться в городе? Все-таки на людях, а там куда еще попадешь! Уведет вот так одну, сделает потом, что захочет, и пожаловаться некому.

От души отлегло, когда очередной пришедший

за добычей бауэр — немолодой, кряжистый, с аккуратно подшитым пустым рукавом, — отобрав уже троих девушек, поманил пальцем и Таню. Четверо — это уже коллектив, можно за себя постоять! И оказалось даже, что не четверо, а пятеро, однорукий был, видно, настоящим рабовладельцем, если мог позволить себе приобрести сразу пятерых невольниц.

Подписав бумаги, он вывел их на улицу, где стояла запряженная могучим першероном одноосная телега на высоких, в человеческий рост, колесах, ловко взобрался сам и, протянув сверху руку, помог вскарабкаться девушкам.

— Ну, поехали, — сказал он, когда все устроились — трое рядом с ним на служившей козлами поперечной доске впереди, а Таня с еще одной девушкой — сзади, на бумажных мешках с какой-то химией. Першерон мотнул головой и без усилия стронул с места тяжелую телегу, пошел не спеша, вальяжно перекатывая массивным лоснящимся крупом.

— Куда вы нас везете? — спросила Таня. — Далеко отсюда?

— Не-е, километров двадцать, — отозвался однорукий. — Аппельдорн называется, такая деревня…

Глава 2

Он все еще отказывался признать себя побежденным. Хотя, конечно, нелепо было рассчитывать на то, что отношения вдруг изменятся. Четыре месяца не менялись, с чего бы вдруг теперь?

И все-таки продолжал на что-то надеяться. Скорее всего, на чудо, потому что (и в этом он вполне трезво отдавал себе отчет) только внезапное сошествие благодати могло заставить русских людей в немецком лагере проникнуться вдруг симпатией и доверием к соотечественнику, работающему у немцев по вольному найму.

Как они называют его между собой, он уже знал — доводилось иногда услышать, когда его не видели; подслушивать, естественно, не подслушивал, просто с детства отличался отменным слухом (что подчас ставило его в крайне неловкое положение — не всегда ведь приятно услышать то, что для твоих ушей не предназначалось). Тут, правда, нельзя было отрицать некоторого прогресса: если вначале «с…ка инженер», «фашистский холуй» и «шестерка» были едва ли не самыми мягкими его аттестациями, то в последнее время он стал

просто «придурком», услышав же однажды «наш придурок», Болховитинов и вовсе растрогался. Главное тут заключалось в притяжательном местоимении, само существительное возражений не вызывало, порою он и сам признавал себя придурком. Так что, как говорится, vox populi — vox Dei[68].

Теперь, задним числом, он действительно не мог понять, на что рассчитывал, соглашаясь на эту работу. На что рассчитывал и чего ожидал. И впрямь, лишь придурок мог вообразить себе, будто здесь представится возможность «что-то сделать», а рабочие поверят ему настолько, что кинутся делать это «что-то» по первому его призыву.

Весь замысел выглядел теперь — ретроспективно — такой интеллигентщиной, такой постыдной маниловщиной, что он только диву давался. Но откуда было знать? В Энске все складывалось совершенно по-другому — ему поверили, и там он действительно имел возможность оказать Таниным друзьям реальную помощь. Пусть, правда, только денежную, но и это было немало — в тех условиях. Странно, но суровость оккупационного

---

[68] Notes: 68
Глас народа — глас Божий *(лат.)*.

режима не может справиться с продажностью тех, кто ему служит; это он видел и во Франции, и в России, за марки там можно было достать все решительно — от справки об инвалидности до итальянского пулемета. Возможность эта, к несчастью, появилась слишком поздно, но она все же была.

А здесь никаких возможностей не было. И не потому, что не сложились отношения с персоналом; даже если бы ему верили, ну что тут можно было сделать? Вверенные его попечению лагерники использовались на самых простых работах, не требовавших никакой квалификации и, следовательно, недоступных для саботажа. Если, скажем, шла сборка металлоконструкций, то сварщиками ставили немцев, а русские должны были резать и таскать швеллера, поднимать, поддерживать и тому подобное. Тут, как ни ухитряйся, особенного ущерба промышленному потенциалу рейха не причинишь.

Так что враждебность соотечественников угнетала Болховитинова не потому, что мешала осуществить некое действие. С тем, что действовать здесь невозможно, он уже смирился — до поры до времени, не оставляя надежды на изменение ситуации в более благоприятную его

преступным замыслам сторону. Враждебность эта была прежде всего необъяснима. Он не удивлялся бы ей, продолжай рабочие считать его «фашистским холуем», как считали вначале; но в этом смысле отношение к нему давно изменилось — все-таки он сумел добиться некоторых мелких послаблений режима на работе, и это было замечено. А то, что он служит в немецкой фирме, у них возмущения не вызывало, они, похоже, воспринимали это как должное: война, ясное дело, кому же позволят бездельничать…

Скорее всего, сближению и взаимопониманию мешала просто его принадлежность к эмиграции. Он услышал однажды, как про него сказали: «Да он же из беляков, которые с Врангелем из Крыма утекали»; сказано это было с явным осуждением, и он никак не мог понять, какое значение может иметь теперь, через два десятка лет после окончания Гражданской войны! — этот факт его биографии. Особенно если вспомнить, что ему самому шел тогда восьмой год от роду и «утекал» не столько он, сколько его родители.

В Энске это никого из его знакомых не смущало, но там он больше общался с людьми иного круга. А здесь его окружал простой народ, в большинстве своем типичные городские пролетарии

(колхозников было совсем немного); возможно, этим и объяснялась их склонность к сугубо «классовому» подходу. Но ведь подход-то двадцатилетней давности! Как прочно, однако, сумели большевики вбить в сознание простонародья свои лозунги… Со всякими вопросами по работе обычно обращался к нему пожилой капо Тимофей Кузьмич, не проявляя при этом неприязни. Впрочем, может быть, он был просто хитрее других. (Болховитинов порой с отвращением ловил себя на маниакальной подозрительности — враждебность мерещилась ему даже там, где, как выяснялось позже, ее не было и в помине.) Раз-другой Тимофей Кузьмич поинтересовался нарочито незаинтересованным тоном — что там в газетах пишут и как вообще дела на фронте. Болховитинов без комментариев пересказывал сводки ОКВ, а потом однажды добавил, что картину они, наверное, представляют несколько приукрашенную, если сравнить хотя бы с тем, что сообщает английское радио.

— А вам что ж, — помолчав, спросил Тимофей Кузьмич, — и радио английское дают слушать?

— Что значит «дают»? Я сам слушаю, если удастся поймать, приемник у меня слабенький, старый…

Капо опять помолчал, потом сказал с подковыркой в голосе:

— Слабенький не слабенький, а все ж таки вам его оставили — доверяют, значит…

Болховитинов не понял:

— Кто «доверяет»? Приемник, кстати, не мой, а квартирной хозяйки. Но почему ей не должны были его оставить?

— Ясное дело почему, кто же это во время войны разрешает гражданскому населению пользоваться приемниками?

— Ах вот вы о чем! — Болховитинов вспомнил, как Таня рассказывала о сдаче радиоаппаратуры на второй день войны. — Нет, здесь не отбирали. Просто вышел закон, запрещающий слушание вражеских станций… и, по-моему, каждый владелец аппарата должен был дать подписку, что с этим законом ознакомлен и обязывается его соблюдать.

— Чудно получается, — с недоверием заметил капо. — Подписки-то подписками, а слушать все равно не закажешь… тем более, говорят, у немцев приемник чуть не в каждом доме, вроде как велосипед.

— Ну, это не совсем так. У большинства дешевые ящики для ближнего приема, с ними Лондон

или Москву не услышишь, а мощные аппараты с коротковолновыми диапазонами — штука дорогая, их не так уж многие и приобретали. Немец практичен, он скорее стиральную машину купит…

Пожалуй, все-таки что-то между ними неуловимо менялось. Тимофей Кузьмич чаще стал интересоваться сводками, спросил однажды, берет ли его приемник Москву. Болховитинов сказал, что Москву ни разу поймать не удалось, хотя пробовал, и предложил записывать английские сводки, чтобы в лагере могли потом передавать один другому. Тимофей Кузьмич, сразу насторожившись, отказался наотрез — ни к чему это, мало ли кому в руки попадет, такое дело могут состряпать, что не поздоровится. Болховитинов и сам тут же сообразил, что предложил глупость. Не исключено, что именно после этого разговора он был возведен в ранг «нашего придурка».

С приходом весны жить лагерникам стало полегче — при том же питании и той же продолжительности рабочего дня они хоть не страдали больше от сырости и холода. Монтаж эстакады заканчивался, но Болховитинов через того же Тимофея Кузьмича проинструктировал остальных капо, чтобы не очень-то усердствовали — хорошо

бы провозиться здесь еще с месяц, все-таки на солнце, на свежем воздухе, а то потом загонят опять в какое-нибудь подземелье…

— Действуйте там сами по обстоятельствам, — сказал он, — когда нет никого из немцев поблизости, можно и отдохнуть по очереди, лишь бы врасплох не застали.

— Смотрите, господин инженер, — Тимофей Кузьмич усмехнулся, — темпы снизятся — за это вам и по шее могут надавать, с нас-то спрос какой.

— Кому эти темпы нужны, так или иначе новое производство до конца войны запустить не успеют. Да если бы и запустили, все равно сырья не хватит. А со мной что они могут сделать? Выгонят разве что, так я без работы не останусь.

— Вы разве не по мобилизации у них?

Болховитинов секунду поколебался — можно было, конечно, не откровенничать, а в то же время и врать как-то не пристало…

— Да нет, — сказал он, — сам напросился… еще в сорок первом. Они набирали технический персонал для работ на оккупированных территориях — дороги строили на Украине. Ну, я и подписал контракт… Осуждаете меня? Но мы действительно ничего, кроме дорог, там не строили, никаких

военных объектов.

— Ну, это уж кому другому расскажите. Во время войны дорога — не военный объект?

— Вообще-то, вы правы, конечно. Но я тогда просто не подумал об этом. Очень уж, понимаете, хотелось побывать дома.

— Родные, что ль, там были?

— Нет-нет, родных не было никого, мои родители скончались еще до войны, матушка в Югославии, отец в Праге… Сам я старую Россию практически не помню, увезли ребенком. Но тяга была страшная — приехать, вдохнуть воздух, которым дышали твои предки, прикоснуться к земле, по которой ходили…

— Захотелось, значит, грехи замолить.

— Грехи? — удивленно переспросил Болховитинов. — Какие у меня могли быть грехи?

— Ну, не ваши, так отцовы. Это вот как, знаете, старые люди раньше говорили — ну, которые в Бога веровали, что грех, мол, он и на сынов и на внуков переходит…

Болховитинов подумал, пожал плечами.

— Ну, если подходить к вопросу теологически, каждый из нас несет на себе груз каких-то грехов… начиная с первородного. Но если конкретно — отец никогда не чувствовал себя виноватым

перед родиной. Мы с ним говорили иногда на эту тему. Так что у меня не могло возникнуть никакого комплекса вины, зря вы усложняете.

— Да чего тут усложнять. Чего ж бежал-то тогда, если вины не чувствовал? Невиноватые дома оставались, а кто бежал — было, значит, от чего…

Они сидели в конторе — до конца рабочего дня оставалось около часа, немцы ушли в здание дирекции слушать трансляцию какого-то митинга, можно было поговорить без помех. На всякий случай Болховитинов развернул на столе захватанный, истрепанный по краям лист рабочего чертежа, придавив углы пепельницей и логарифмической линейкой.

— Были которые и после вернулись, — продолжал Тимофей Кузьмич, — генерал Слащев такой, может, слышали? Уж на что против народа злодействовал, хуже зверя на всем врангелевском фронте не было, а ведь вернулся уже из Турции. Осознал, выходит, свою вину.

— Это случай особый, — возразил Болховитинов. Про Слащева отец рассказывал — хорошо его знал, они вместе служили, когда тот еще командовал корпусом у Деникина. — Не знаю, что он «осознал», когда решил вернуться… не исключе-

но, что ему просто скучно стало жить. Скучно и незачем. Слащев вообще странная была личность — человек фантастической храбрости, к тому же кокаинист, любое решение мог принять по внезапному наитию, долго не размышляя. Простят большевики — хорошо, послужу большевикам, а поставят к стенке — ну что ж, двум смертям не бывать… Но я хотел бы возразить на ваши слова — будто бежали из России только те, кто чувствовал вину. Боюсь, вы ошибаетесь. Бежали тогда по разным причинам — и трусы бежали, и шкурники, те в первую очередь. А последними ушли те, кто не принимал большевиков, их идею, их планы государственного устройства. По крайней мере, так было с моим отцом. Он считал Ленина и Троцкого врагами России, поэтому воевал с ними до самого конца. А потом, когда война была проиграна, — что же ему было делать? Идти просить прощения? Но за что? Не вижу, в чем была его вина.

— Вы Ленина-то с Троцким рядом не ставьте…

— Почему? В то время они были вместе. Это уж со Сталиным Троцкий не поладил, при Ленине он…

— …а вина вашего родителя, господин инженер, — продолжал Тимофей Кузьмич, — что он

против своего народа воевал, а это уж такая вина, что больше не бывает.

— Это не вина, это ошибка. Да, эту ошибку он понял и признавал ее открыто. Он считал, что большевики узурпировали власть вопреки воле народа и что народ поддерживает большевиков только из страха. В этом он заблуждался, как заблуждались в то время многие. Отец был кадровый военный, окончил академию Генерального штаба, вы скажете — каста, сословное мировоззрение, но ведь и из разночинной интеллигенции далеко не все понимали тогда, что народ действительно пошел за Лениным, весь и по убеждению…

— Не за Деникиным же ему было идти.

— Согласен, но тогда многое виделось в другом свете. Я допускаю, что представление об эпохе Гражданской войны у меня не совсем объективное, однако есть один неопровержимый факт: большевики с самого начала принялись рушить все то, в чем для русского человека воплощалось понятие отечества. Государственный флаг, герб, воинские символы, даже само название страны — все ведь пошло побоку, вы же знаете; ладно бы там императорский штандарт, Бог с ним, но ведь Андреевский флаг — сколько под ним подвигов

было совершено за двести лет, сколько русской крови пролилось, он же и на кораблях Ушакова развевался, и на «Петропавловске», когда Макаров погиб, и на «Варяге» — он-то кому мешал, почему и его надо было…

— Да что вы о побрякушках толкуете, — прервал Тимофей Кузьмич, — большевики новый мир взялись тогда строить, а вы: «флаги, гербы», двуглавого орла еще вспомните!

— Вот! — закричал Болховитинов, уставив в него палец. — Вот почему отец и не мог принять большевиков — именно потому, что они объявили побрякушками все, что для него было святыней!

— Да не «большевики объявили», а народ сам все это выкинул к чертовой матери. Вы вот по Андреевскому флагу плачетесь — подвиги, мол, адмирал Макаров, «Варяг», — а матросы в семнадцатом году эти флаги кидали за борт, потому что они не про Макарова да Ушакова помнили, а про то, как им под этим флагом офицера в зубы давали за пятнышко на палубе…

— Ну, это не аргумент, — отмахнулся Болховитинов. — И под красным флагом тоже не одни только подвиги совершались. А насчет того, что «народ сам все это выкинул», в этом вы правы.

К сожалению! Но этого предвидеть было нельзя. Этого, честно говоря, я и до сих пор не могу понять.

— Чего ж вы понять не можете? Что народу надоело жить по-старому, под помещиками да капиталистами?

— Да нет, при чем тут помещики… «Под помещиками», кстати, никто уже давно не жил, к моменту революции крепостное право уже полвека как кончилось. Помещики сами разорялись и нищали, почитайте Бунина. Но вообще, что касается нежелания жить по-старому, тут ничего не возразишь; Россия, конечно же, нуждалась в обновлении, кто спорит? Но чтобы вот так, в одночасье, отречься от всего своего, национального, выкинуть, как вы выражаетесь, «к чертовой матери» — не знаю, не знаю…

— То-то и оно, господин инженер, что знать вы не знаете, а судить беретесь…

— Не сужу я вовсе, просто понять пытаюсь!

— А от своего никто не отрекался, что наше, то наше, никто этого не отымет. Тут с месяц назад приходил в лагерь один парень, на радиозаводе работает, так они с ребятами собрали потихоньку приемник — Москву теперь слушают. Говорил, передавали за новые ордена — Нахимова и вот

Ушакова, которого вы помянули. А насчет ордена Кутузова и Суворова уже с год как постановление вышло…

— Знаю, знаю! И что старую русскую форму вернули с золотыми погонами, тоже знаю. Это, Тимофей Кузьмич, война заставила. Когда припёрло, так не только Суворова с Кутузовым, а и святого благоверного великого князя Александра Невского пришлось вспомнить.

— Александра Невского раньше вспомнили, до войны еще картину сняли.

— Видал, как же. Жаль только, эпилога там не хватает: показали бы уж заодно, как революционный народ из Троицкого собора мощи его выкидывал за ненадобностью… или в отместку за классово чуждое происхождение.

— Это после революции? Под горячую руку чего не делалось, время было такое.

— Долго что-то затянулось это время. — Болховитинов помолчал, барабаня пальцами по разостланному чертежу. — Нет, не могу понять! Ну ладно — под горячую руку, говорите. А памятник победителям Наполеона в Москве взорвать — это как? Это уже не сгоряча, не впопыхах…

— Не слыхал я что-то про такой памятник.

— Охотно верю, но он был — храм Христа Спа-

сителя, строился на народные деньги, пятьдесят лет вся Россия собирала по копеечке. Полтонны золота московское купечество пожертвовало на одни купола… А в тридцать уже каком-то году начинили его динамитом и шарахнули — только пыль полетела. Место, говорят, понадобилось под новую застройку, другого места во всей Москве не нашлось…

— Ну, так если это церковь была, — Тимофей Кузьмич развел руками. — Церкви, конечно, многие сломали, такая имелась твердая установка.

— Меня установка не удивляет. Чего не могу понять — это той легкости, с какой у нас в стране стало возможным проводить в жизнь любые «твердые установки»… какие только кому ни придут в голову. Раньше ведь, по-моему, такого не было, народ был скорее консервативен, новшеств не любил, боялся даже… Возьмите Петровские реформы, или хотя бы в наше уже время — столыпинская попытка сломать общинный уклад, насадить в России фермерство. Прав ли был Столыпин — мне, конечно, судить трудно, но, как бы там ни было, система отрубов что-то реальное крестьянину ведь давала — хотя бы возможность избавиться от нужды, — и все-таки ее не приняли! А тут решили Сталин с Кагановичем провести

коллективизацию, раз-два и готово, весь вековой уклад к чертовой бабушке…

— Коллективизацию вы не трожьте, — хмуро сказал Тимофей Кузьмич. — Как ее проводили, вы не видели, чего ж попусту… Со стороны оно, может, и кажется, что «раз-два»…

— Нет-нет, я не в том смысле, что обошлось без трудностей. Кстати, вы напрасно думаете, что со стороны так уж плохо видно, в некоторых вопросах мы здесь были осведомлены гораздо полнее. Я это заметил еще там, на Украине. Многие, с кем приходилось говорить, попросту не знали каких-то самых элементарных вещей. Но дело ведь не в самой коллективизации. Кто-то из наших теоретиков — не помню уж, то ли младороссы, то ли евразийцы — доказывал, что колхозы потому и привились в России, что это та же общинная система по своей сути, только в осовремененном варианте. Возможно, так оно и есть, не знаю. Меня, признаться, больше смущает та легкость, с какой русский народ отказался от религии…

— Грамотными стали люди, вот и отказались. Не темное время, чтобы лбы перед иконами расшибать.

— Ну, Тимофей Кузьмич, вы же умный человек, а доводы приводите на уровне какого-нибудь,

простите, Емельяна Ярославского. Лоб расшибать, кстати, и в самые темные времена не рекомендовалось, на сей счет старая пословица есть. Речь о том, в скольких измерениях бытие воспринимать. Разумеется, чем этих измерений меньше, тем проще, перемещайся по двум осям координат, и никаких проблем. Раньше опять-таки русские люди так жить не умели, им что-то иное требовалось. Не будем вспоминать совсем уж седую старину — раскол, скажем, когда за двоеперстие в огонь кидались…

— С них, что ль, брать пример советуете?

— Нет, зачем же, просто вспомнил — это уж был фанатизм, на грани изуверства. Но верили-то как, а? А в более поздние времена сколько было примеров с нашими солдатами — в турецких войнах, при завоевании какой-нибудь там Хивы, когда попадали в плен и их перед выбором ставили: отречение от православной веры или смерть мученическая. Так ведь не отрекались в большинстве, Тимофей Кузьмич, предпочитали муку принять…

— А что, сейчас таких мало? Только вопрос теперь по-другому ставится: не от веры требуют отречься, а от Родины, это поважнее будет, — сказал Тимофей Кузьмич с вызовом. — Не видали,

как немец в лагерях делает? Выстроят наших пленных, перед тем еще пару дней вообще не кормят, а тут кухню подвезут, повар черпаком мешает, стол тут же стоит: хлеб, колбаса — вот такой горой. Ну и объявляют: кто в РОА запишется, сразу ставим на довольствие, подходи и получай свою законную пайку. Вы что ж думаете — много таких находилось? То-то Власов одну дивизию с грехом пополам наскреб…

Болховитинов сидел, опустив голову, разглаживал чертеж, поменял местами линейку и пепельницу.

— Да, трудно нам друг друга понять, — вздохнул он. — Вроде и на одном языке говорим, одинаковые слова употребляем, но понимаем их как-то… по-разному совершенно. Иной смысл, иное содержание… Меня, знаете, раньше коробило выражение «советский человек» — странно ведь, в самом деле, определять людей по характеру политической системы, в которой они живут. Тогда русский до семнадцатого года должен был бы называться «имперский человек», француз какой-нибудь — «республиканский человек», а сегодняшний немец, он тогда кто же получается — «нацистский человек», что ли? Абсурд, казалось бы, сколько себя помним — с Гостомысла,

как говорится, — были русскими… или, правильнее, россиянами, «русский» — это, конечно, сужено, были ведь и украинцы, и татары, но вместе, по принадлежности к общему отечеству — россияне. «Что делаем, россияне?» — «Петра Великого погребаем…» И вдруг, нате вам, даже имя свое национальное утратили — «советские», нелепость какая! Но я вот все чаще думаю — нет, не такая уж нелепость, советский человек действительно стал совершенно другим, чем был когда-то русский человек. Опять-таки в смысле — россиянин. Действительно, что общего осталось — разве только язык? Культура уже какая-то совсем другая… Я на Украине разговаривал с молодыми людьми, окончившими среднюю школу, — Достоевского знают понаслышке, о Соловьеве, Леонтьеве вообще никакого понятия, про Хомякова слышали только, что был такой реакционный философ, идеолог славянофильства… Нет, я не к тому, что их плохо учили. Возможно, в каких-то других дисциплинах они подготовлены лучше, чем готовила прежняя русская гимназия, но все равно это уже не то, понимаете, совершенно не то! У меня вообще поначалу такое ощущение было, будто в чужую страну попал — только что язык один. Причем

вот что интересно: при поверхностном общении этого не видно, люди как люди, особенно в селах. А начнешь говорить всерьез, высказывать свои мысли, обмениваться мнениями — вот как мы сейчас с вами говорим, — сразу видишь, насколько люди изменились, стали другими… Естественно, я старую Россию вообще не помню, о людях ее могу судить лишь по тем, кого видел в эмиграции… Хотя ведь и по книгам — ну, вся наша классика, тот же Достоевский — понимаете, я вот когда думаю о персонажах Достоевского или Льва Толстого, мне их легче представить себе эмигрантами, чем советскими людьми. Значит, действительно переделался народ, другим каким-то стал? Вот этого никак не могу понять — за каких-то двадцать лет…

— Да и не можете вы этого понимать, — сказал Тимофей Кузьмич, глянув на электрические часы на стене. — Из Парижа или там, я извиняюсь, из Праги какой, ясное дело, ничего не поймешь. Это только так кажется — двадцать лет, вроде бы и не много, а прожить их, самому все это на себе испытать… а, да что там! Пустой это разговор, господин инженер, одно только скажу: со стороны судить оно легче всего.

— Вы превратно истолковали мои слова, —

возразил Болховитинов, — у меня и в мыслях не было — судить. Я говорил, что хочу понять, разобраться в случившемся… потому что с народом нашим, конечно, что-то произошло, но — что именно, к лучшему это или к худшему? Хотя понимаю — вероятно, спрашивать об этом наивно. Потому что кто может ответить на такой вопрос?

— Так нечего и спрашивать. — Тимофей Кузьмич снова глянул на часы и встал. — Ладно, пойду я, инструмент пора сдавать.

— Да-да, конечно…

Оставшись один, Болховитинов убрал в стол бумаги, постоял перед окном, глядя, как лагерники строятся у ворот под присмотром пришедших за ними конвоиров. Тех было двое — один тощий и сутулый, с уныло обвисшими седыми усами, другой багроволицый, упитанный, карикатурно прусского облика — не то Вильгельм II, не то Гинденбург. Пока седоусый стоял у ворот, горбясь под тяжестью своего длинного допотопного «манлихера», другой вышагивал вдоль колонны, проявляя рвение: пересчитывал, тыкая пальцем, распек за что-то одного, другого. Лагерники не обращали внимания, лениво отругивались; надоел, видно, своими придирками хуже горькой редьки.

Болховитинов, вздохнув, отошел от окна и включил радио. Сводку уже начали читать: тяжелые оборонительные бои в Румынии, в Италии на линии Густава и на рубеже Тибра. Опять упомянули о «героических защитниках Монте-Кассино», якобы продолжающих сдерживать противника (хотя о взятии аббатства польской дивизией англичане сообщили уже десять дней назад). В ходе отражения массированных налетов американской авиации на район Мерзебург — Лейна сбито 95 тяжелых бомбардировщиков типа В–17 и В–24. Болховитинов присвистнул — судя по огромной цифре потерь, налеты действительно были необычно сильные, и уже второй раз за две недели. Взялись, что ли, за горючее? Он знал эти места: долина Заале в нижнем ее течении, за Вайсенфельзом, — кромешный ад, сплошное царство химии высоких давлений, там скучена чуть ли не половина всех заводов по переработке лигнита в бензин. Сообразили, видно, наконец! Ридель еще зимой как-то сказал: если эти идиоты англо-американцы всерьез хотят с нами покончить, им надо не жилые кварталы крушить, школы да кирки, а бросить всю авиацию на заводы гидросинтеза — через полгода у нас не тронется с места ни один танк и не взлетит ни один самолет…

Он опять подошел к окну — колонна медленно вытягивалась за ворота. Когда знакомые из эмигрантской среды спрашивали его о том, как он себя чувствовал в Совдепии, не было ли того же ощущения собственной чужеродности, ненужности — всего того, что эмигрант постоянно ощущает в стране своего вынужденного проживания, — Болховитинов кривил душой, заверяя в обратном. Самому себе не хотелось признаться, но было ощущение чужеродности, было, особенно с простыми советскими людьми — такими вот, как эти. И тогда, как и теперь, ему иногда казалось, что дело вовсе не в его службе у немцев, а просто в том, что он — не свой, пришлый, из беляков. Эта стойкая неприязнь к бывшим противникам по Гражданской войне выглядела дико, особенно если вспомнить, что противники-то войну проиграли. Останься тогда победа за Белым движением, окажись большевики жертвами террора победителей (а террор был бы не хуже красного, достаточно вспомнить Шкуро, Семенова и им подобных) — вполне понятно, что симпатии народа были бы сегодня на стороне жертв: за нас, мол, боролись, за счастье простых людей. Но ведь победа досталась красным, а к побежденному врагу русские люди всегда были

скорее сострадательны…

Да, признаваться в этом не хотелось даже самому себе, но идеализированные представления о России не совпали с тем, что довелось увидеть воочию. Откуда взялась эта идеализация — выросла из унаследованной и потому наивной ностальгии? Ею, впрочем, грешили эмигранты и старшего поколения, всякого навидавшиеся за годы российской смуты. Отец, скажем, вообще не был склонен к идиллическим представлениям о чем бы то ни было и часто подтрунивал над дореволюционными мужиковствующими интеллигентами: пятьдесят лет поклонялись лаптю, а потом первыми же стали вопить о «пришествии хама» — как только этим вожделенным лаптем получили пинка под неудобосказуемое место. И все-таки Россия чем дальше, тем явственнее становилась для полковника Болховитинова этаким градом Китежем, канувшим в большевистский омут, но предназначенным рано или поздно снова вознестись во всей славе…

В одном из своих писем — за год до смерти — он по поводу чистки высшего советского командования высказывал убежденность в том, что дыма без огня не бывает и у Тухачевского, скорее всего, действительно были какие-то далеко

идущие планы; помнится, еще в его императорского величества лейб-гвардии Семеновском полку будущий маршал (тогда в чине поручика) обращал на себя внимание двумя качествами — честолюбием и незаурядными способностями. Опасное сочетание! Вполне поэтому возможно, что ошеломительная карьера, сделанная им в Красной армии, могла позднее убедить его в собственной годности на роль нового Бонапарта. «Сталин, — писал отец (это письмо было единственным сохранившимся у Кирилла), — доказал свою государственную мудрость уже тем, что отправил в изгнание мерзавца Троцкого, и трудно предположить, что в столь опасной международной обстановке он рискнул бы обезглавить армию без достаточных на то оснований. Если же сопоставить эту жестокую, но, несомненно, чем-то оправданную меру с предварившей ее „ликвидацией“ зиновьевых, пятаковых и прочей нечисти из сонма ближайших подручных г-на Ульянова, то я думаю, что общая картина дает основание смотреть в будущее с оптимизмом. Россия, несомненно, вступает в полосу политического и морального оздоровления, хотя процесс этот будет долгим и болезненным…»

Да, чего-то отец не понимал. Увидеть признаки

«оздоровления» в грызне среди кремлевских главарей — для этого, конечно, надо быть эмигрантом, напрочь утратившим способность трезво оценивать происходящее дома. Впрочем, тогда многие (особенно после книги Фейхтвангера) восприняли события в Москве вполне одобрительно — одни радовались тому, что Сталин искореняет измену и крепит государственную мощь, другие — тому, что он расправляется с прежними вождями партии. Отец не случайно ведь назвал имена, особенно ненавистные для каждого участника Белого движения: Зиновьев, красный диктатор Петрограда, прославился массовыми казнями офицеров, сдавшихся после поражения Юденича, а Пятаков осенью 1920 года явился в Крым как особоуполномоченный ВЧК — этакий комиссар Конвента, Фуше в Лионе, — с заданием поголовно ликвидировать всех врангелевцев, которые не эвакуировались из Севастополя, поверив объявленной амнистии.

Так что, если вспомнить все это (а можно ли забыть?), то московские казни 1936 и 1937 годов можно рассматривать как запоздалое возмездие: кровь за кровь. Но их-то судили за другое, и судили неправедным судом, это было очевидно. В Энске он специально интересовался мнением

советских людей о тех процессах: у молодежи виновность «врагов народа» сомнений не вызывала, люди постарше считали, что в большинстве случаев обвинения были ложными, а признания подсудимых получили под каким-то гипнозом, если не под пыткой. Не очень-то все это укладывалось в схему утешительной концепции «политического и морального оздоровления».

Отец, конечно, в понятие оздоровления вкладывал свой, сугубо военный смысл: если Сталин укрепляет обороноспособность державы — это уже хорошо. Главное, считал полковник Болховитинов, чтобы страна была неуязвима извне, а все остальное — чепуха, рано или поздно устроится, приладится, войдет в норму.

В конечном счете, возможно, так оно и есть. Но только в самом-самом конечном, только издали — с такой высоты, когда эта «чепуха», эти «мелочи» уже неразличимы. А ведь повседневная жизнь складывается из «мелочей», никуда от них не денешься, и «мелочи» эти определяют слишком многое (в том числе и сознание, тут марксисты не так уж и не правы, вероятно). Не этим ли воздействием мелочей и создан новый характер русского человека?

Вопрос, конечно, насколько он нов. Чтобы от-

ветить на этот вопрос, надо иметь возможность сравнить, а сегодня это уже невозможно, отец еще мог бы сравнивать по памяти, а ему самому уже никакие сравнения недоступны — кроме самых общих. Его, скажем, поражала там какая-то странная общественная инертность людей. Вот хотя бы тот же террор: никто не отрицал, что да, действительно, явление было массовым, люди исчезали каждую ночь, никто не мог быть уверенным, что сегодня не придут за ним самим; но рассказывалось об этом с каким-то странным безразличием, почти уже умиротворением — пронесло, слава богу, чего теперь вспоминать… Однажды он спросил Таню, не затронуло ли «дело Тухачевского» ее дядюшку, она почти весело ответила, что нет, совсем не затронуло, хотя многих соседей тогда посадили — почти на каждой площадке были опечатанные квартиры. А вопрос, что по поводу этих казней говорил сам дядюшка — не мог же он всерьез считать, что все казненные офицеры были германскими или японскими шпионами, — Таню очень удивил: они с дядей никогда об этом не говорили, с чего бы он стал обсуждать с ней такие дела!

Хорошо, если это был просто страх; тот же Танин дядюшка мог, естественно, опасаться того,

что племянница потом примется «обсуждать такие дела» в школе или на улице с подружками. А если страх постепенно перешел в равнодушие? В прежней России студенты бунтовали из солидарности с несправедливо исключенным коллегой, какие-то писатели в знак протеста вышли из академии, когда в нее не приняли Горького, — словом, интеллигенция всегда отличалась скорее повышенной чувствительностью в подобных вопросах. Не только, впрочем, интеллигенция; народ тоже не очень-то был склонен мириться с разного рода утеснениями, хотя и терпел до поры до времени. Как же понимать эту странную ситуацию накануне войны, что это было — терпение? Или в самом деле безразличие? Тогда это страшно… С началом германского нашествия все внутренние проблемы отступили на задний план, это понятно, но до войны — воспринимались ли они как проблемы или действительно все общество (как это утверждали газеты) было единодушно в своей слепой вере, не знающей ни сомнений, ни колебаний?

Странный, непонятный народ… Ведь вот сейчас с Тимофеем Кузьмичом — просто стена какая-то. Хотя прямой враждебности нет, а что толку? Все равно не понять, не договориться…

Печально, сказал себе Болховитинов. Весьма печально. И самое печальное то, что жить без этого непостижимого, такого чуждого родного народа он уже никогда не сможет. Раньше — не побывав там, — вероятно, смог бы, как жили и живут тысячи других эмигрантов. А теперь уже не сможет.

Глава 3

Погрузка войск первого оперативного эшелона началась ночью — и в этом порту, и в других, по всему южному побережью Англии от Фалмута до Брайтона — совершенно открыто, с ярко освещенных, как в мирное время, пирсов. Десантные суда стояли тесно борт о борт, громадные ворота в носовой части каждого были широко распахнуты, и в эти зияющие пасти неторопливыми потоками ползла и катилась по спущенным на берег аппарелям тяжелая боевая техника — орудия, танки обычные, танки-амфибии, танки специального назначения, тральщики с вынесенными вперед барабанами цепных тралов, мостоукладчики, огнеметные танки с прицепами-цистернами для горючей жидкости, мортирные танки для метания мощных бетонобойных зарядов ку-

мулятивного действия, бронетранспортеры, вездеходы…

Пехота тем временем грузилась на обычные транспорты, солдат размещали в трюмах, в каютах, во всех свободных помещениях, прямо на палубе. Приняв на борт положенное по расписанию количество людей, транспорт немедленно отдавал швартовы, буксиры оттаскивали его от стенки, и его место тут же занимал другой.

На следующий день, в воскресенье, четвертого июня, впервые за много месяцев не было побудки. Солдаты проснулись поздно — было серенькое прохладное утро, нерешительно моросил мелкий дождь. Транспорты, отойдя от пирсов, стояли на якорях посреди бухты; мористее, на внешнем рейде, едва различались длинные серые корпуса эсминцев, неподвижно висели над кораблями аэростаты заграждения, и, словно принюхиваясь к опасности, с палуб и мостиков настороженно смотрели в небо стволы зениток.

Впереди был целый день угнетающего безделья. Высадка могла быть произведена только на рассвете, во время прилива, поэтому предстояло тронуться в путь вечером, чтобы за ночь пересечь канал и к назначенному часу прибыть в заданный квадрат у побережья Нормандии.

Время тянулось медленно, еще медленнее, чем в лагере.

К обеду засвежело, поднялся ветер, мокрая палуба словно ожила, стала медленно вздыматься и опадать под ногами. «Еще отложат представление», — подмигнул один из десантников, старательно разжевывая твердую галету. На него закричали со всех сторон — еще и в самом деле накаркает. Но проклятый болтун оказался прав: уже перед вечером им сообщили, что операция откладывается на двадцать четыре часа из-за неблагоприятной метеорологической обстановки.

Солдаты встретили известие свистом, топотом, озлобленной руганью. Не то чтобы им так уж не терпелось ринуться в свой «крестовый поход», просто они были слишком измотаны долгим ожиданием того, что им предстояло сделать. Делать все равно придется, от этого не отвертишься, так уж скорее бы!

Уже больше трех месяцев они сидели в учебно-тренировочных лагерях — с тридцатого апреля вообще в полной изоляции от местного населения, увольнительные были отменены, выход из лагеря приравнен к дезертирству, переписка запрещена; писать можно, сказали им, но

письма будут отправлены только после «дня Д». Все эти меры были понятны: план предстоящей операции, еще недавно доступный лишь самым высшим офицерам штаба Эйзенхауэра, стал теперь известен двумстам восьмидесяти тысячам человек. С начала мая они уже знали практически все: район высадки, расположение отдельных участков, состав сил первого эшелона, схему координации действий родов войск в первые часы операции — пять пехотных дивизий атакуют с моря, три воздушно-десантных — с воздуха, планерами и на парашютах; вся бомбардировочная авиация, какую только можно будет поднять в воздух, блокирует тем временем шоссейные и железные дороги в Бретани, Нормандии и департаменте Нижней Сены, так что по замыслу все вроде бы должно пройти гладко — чертовы крауты и опомниться не успеют. Но ведь планы планами, а на войне случается всякое, на то она и война. Скорее бы все это кончилось, будь что будет.

Далеко не все солдаты разбирались в причинах и истинном характере этой войны, очень немногие понимали свое участие в ней как некую нравственную необходимость. Большинство даже не очень отчетливо помнило, из-за чего вообще все

началось, — вроде бы немцы вместе с русскими напали на поляков, потом Адольф чего-то там не поделил с Дядей Джо и полез на русских, а между делом хапнул и французов; словом, опять те же старые континентальные штучки, из-за которых отцов травили газами под Ипром, а теперь вот и сыновьям приходится отправляться на континент. Эти вшивые наци заслуживают хорошего мордобоя, если хотя бы наполовину правда все то, что о них рассказывают, но все-таки умирать за поляков, или за русских, или за французов… Другое дело, если бы крауты в сороковом — после Дюнкерка — попробовали сунуться в Англию, как грозились.

Впрочем, конечно, не только ради чужих и неясных целей собирались идти в бой английские солдаты, посаженные на транспорты десантного флота. У одних были личные счеты с немцами — мать или жена, погибшие под развалинами во время геринговского блица, брат или отец, не спасенные с торпедированного корабля… Другие воспринимали войну как опасную разновидность спорта, возможность самопроверки и самоутверждения, для третьих участие в ней было просто тяжелой и неизбежной обязанностью, от которой не отвертеться. Разные это были люди, и разные

у них были чувства и мысли, но сейчас почти все были едины в стремлении поскорее добраться до этих чертовых пляжей, фотоснимки которых они уже знали наизусть: здесь — первая линия заграждений, «драконовы зубы» и колючая проволока спиралями, там вторая — проволока на низких, в один фут, колышках, — а там уже и рыбацкая хижина, превращенная в блокгауз…

Но пока приходилось ждать — спать, натянув на голову одеяло, или писать письма, или до одурения резаться в карты. В понедельник погода оставалась такой же прохладной и пасмурной, но ждать стало уже вроде бы полегче — начали обживаться и здесь, солдат быстро привыкает к новому месту. После обеда небо стало светлеть, потеплело, видимость улучшилась, сквозь облака кое-где несмело просвечивало солнце. Никаких сообщений по судовой трансляционной сети больше не передавали, и оставалось только гадать — отложат снова отплытие или не отложат. К вечеру небо на западе совсем очистилось, широкая алая заря долго догорала за низкими холмами Девона, пронзительно и печально пела волынка на соседнем транспорте…

А среди ночи их подняли на ноги свистки сержантов. Первым, что услышал солдат, проснув-

шись, был ритмичный гул судовых машин и шум ветра и моря. Палуба мелко дрожала под ногами, и центр тяжести тела все время перемещался то в одну, то в другую сторону, медленно и неукоснительно, подобно маятнику. Физическое самочувствие было отвратительным — ныла голова, на желудок давила какая-то тяжесть: очевидно, начинала сказываться морская болезнь. Стиснув зубы, он принялся торопливо приводить в порядок свое снаряжение. Винтовка, шанцевый инструмент, плащ, одеяло, ранец с двухсуточным запасом продовольствия, патроны, ручные гранаты, каска, фляга — все это солдатское хозяйство казалось втрое тяжелее обычного. Вдобавок погода опять испортилась, начинало штормить, из непроглядного мрака несло водяной пылью — то ли дождем, то ли срываемой с гребней волн пеной. Уныло и монотонно гудел в такелаже ветер. Транспорт шел, тяжело зарываясь в волны, и палуба то упруго нажимала на подошвы, то снова уходила из-под ног, вызывая тошнотворное ощущение в желудке.

После завтрака десантники почувствовали себя лучше: таблетки гиосцина против морской болезни и щедро подмешанный к чаю ром сделали свое дело. Выстроившись на шлюпочной палубе, они

молча выслушали последние инструкции. Им сообщили, что первая фаза операции развертывается успешно: час назад три воздушно-десантные дивизии высадились в важнейших стратегических пунктах побережья, и со вчерашнего вечера девять тысяч бомбардировщиков непрерывно громят все линии немецких коммуникаций. Слышать это было утешительно, но уверенности не прибавило. То, что три дня назад — на последнем инструктаже в лагере — казалось таким простым и понятным, сейчас оборачивалось совершенно бредовой затеей. Их участок высадки — «Меч», рядом — «Юнона», где будут высаживаться канадцы, потом «Золото», а еще правее — там, где линия побережья загибается на северо-запад, к Шербуру, — участки американцев, «Юта» и «Омаха». Но это все было на карте, пришпиленной к черной классной доске в лекционном бараке. А здесь? Непроглядная темень, мрачный шум штормового моря, непрекращающийся гул авиационных моторов в черном небе. Где-то далеко впереди, прямо по курсу, полыхают багровые зарницы и нарядными гроздьями огоньков висят осветительные бомбы. Плыть туда в хрупкой штурмовой лодке — в этом прямоугольном корыте, склепанном из листового железа? Кому только

в голову могло такое прийти…

— Ты что-нибудь понимаешь? — растерянно спросил десантник.

— Разберемся, — отозвался стоявший рядом. — Лишь бы добраться до берега…

— Разговоры в строю! — крикнул офицер сорванным голосом. — Повторяю: при посадке в лодки строго соблюдать расписание и порядок следования плутонгов в каждой роте. Каждая лодка поднимает ровно тридцать человек. Первой грузится рота «Дог», за нею идут «Чарли», «Бэйкер», «Эйбл». Переход к берегу займет около часа, на берегу немедленно рассыпаться в цепи, не скучиваться, продвижение вести короткими перебежками, первые двести ярдов по возможности не окапываясь. Категорически запрещается задерживаться для оказания помощи раненым, ими займутся санитары.

Транспорты десантного флота медленно приближались к берегам Нормандии. Отсчитывая последние мили, крутились лаги, в тишине штурманских рубок стрекотали самописцы эхолотов, вычерчивая на бумажных лентах постепенно повышающийся профиль дна Английского канала. Десятки тысяч вооруженных людей, которые стояли на залитых водою палубах, торопливо

затягиваясь последними сигаретками, еще не видели берега, но его темная неровная линия, растушеванная непогодой, уже различалась с ходовых мостиков, сквозь оптику морских биноклей и дальномеров. Где-то за тучами по левому борту вставал туманный рассвет — над Европой поднимался новый день, вторник шестого июня тысяча девятьсот сорок четвертого года.

На боевых кораблях, сопровождавших армаду транспортов, в пять часов тридцать минут загремели колокола громкого боя. Побежали к своим постам артиллеристы, зарокотали механизмы элеваторов, поднимая заряды из бомбовых погребов. В пять сорок пять огромное багровое пламя окровавило вспененные волны, выхватив из темноты грузные очертания надстроек и башен со вздыбленными орудийными стволами. Чудовищный грохот залпа главных калибров прокатился над транспортами и обрушился на нормандский берег, протаптывая дорогу десанту.

В шесть часов тридцать минут обстрел побережья был прекращен. Суда начали стопорить машины. Тысячи механиков, машинистов и кочегаров, лихорадочно работающих у своих рычагов и пультов, прислушивались к резким звонкам машинных телеграфов, посматривали на часы и

обменивались быстрыми взглядами. Спрятанные глубоко в недрах судов, они ничего не видели, но уже знали: наступил «час эйч».

Высоко над ними, на палубах, мелькали цветные огоньки сигнальных фонариков, слышались свистки, крики команды и лязг подкованных башмаков. Батальоны первой волны вторжения пересаживались в штурмовые лодки.

Путь к берегу казался нескончаемо длинным. Море разбушевалось не на шутку, и волны, которые почти не ощущались на транспорте, теперь швыряли легкую лодку, как бумажный кораблик. Через несколько минут все промокли до нитки. Рядом взметнулся первый грохочущий столб воды и огня, солдат крепче сжал зубы и еще сильнее вцепился свободной рукою в борт, взлетевший вместе с ним высоко вверх; потом он равнодушно отметил про себя красоту разноцветных пулевых трасс, начавших полосовать мглу над его головой.

Только к концу перехода, начав различать в бледном рассветном сумраке мертвенно-серые и напряженные лица товарищей, он вдруг почти успокоился и начал разбираться в происходящем, готовиться к действию и подсчитывать в уме средства, которыми располагает. Винтовка; руки,

которые ее держат; ноги, которые донесут его до немецкого блокгауза; голова, которая подскажет ему, что делать, — все это находилось в полном его распоряжении. Там, в лагере, он был пешкой, рядовым, не имеющим своей воли и всецело зависящим от начальства, а здесь все зависело от него самого. Им начинал овладевать спортивный азарт. Посмотрим теперь, кто кого! Только бы поскорее добраться до берега, увидеть перед собой первого ублюдка со свастикой…

Утихла качка, стало еще светлее. Теперь уже впереди ясно различалась узкая полоса пляжа, стремительно вырастающая навстречу. Внезапно умолкли моторы, и тут же под железным днищем туго зашипел песок; вылетев с разбега на отмель, лодка замерла, передний борт с лязгом отвалился, и десантники заторопились к выходу, прыгая в воду, достигавшую им до пояса.

Вода, не такая уж холодная, была тяжелой и отвратительно пахла мазутом; обломки дерева, спасательные жилеты и чьи-то размокшие письма качались на ее маслянистой поверхности. Невидимые чайки зловеще орали над головой, обезумев от стрельбы; их стонущие хриплые вопли были слышны даже сквозь дробный треск пулеметов и удары разрывов. Плохо было то,

что вода не позволяла бежать — так бывает в страшном сне, когда ноги становятся бессильными. Подняв винтовки, солдаты брели к берегу, свободной рукой разгребая воду, помогая себе преодолевать ее тугое сопротивление. Немцы понизили прицел, по поверхности воды плясали сотни пулевых фонтанчиков; кто-то выронил винтовку и, взмахнув руками, скрылся под набежавшей волной, почти одновременно с ним так же мгновенно и бесследно исчезли двое других. Шедшие рядом видели это, но гибель товарищей не задерживалась в сознании, сейчас важно было одно — добраться до берега, увидеть перед собой проклятого наци…

Плотность огня все возрастала, но воды было уже совсем немного, теперь можно было бежать, и он побежал, высоко поднимая ноги и разбрасывая фонтаны брызг.

А ведь это Франция, подумал он вдруг с каким-то удивлением, когда под ногами перестала хлюпать вода и остался только песок — вначале рыхлый, засасывающий, а потом все более и более плотный. Франция, черт побери, все-таки они до нее добрались, все-таки они это сделали!

Когда вокруг начали рваться мины, пришлось залечь. Он лежал на холодном и плотном, слов-

но утрамбованном песке, по которому прыгали морские блохи; лежал, вздрагивая от близких разрывов, и для храбрости ругался сквозь зубы самыми замысловатыми и бессмысленными ругательствами. Потом вскочил, сделал еще одну перебежку и кубарем скатился в какую-то неглубокую ямку. Грохот разорвавшейся совсем рядом мины (или снаряда, он еще не научился их различать) заставил его сжаться в комок, тугая волна воздуха ударила колючим вихрем песка и едким запахом сгоревшей взрывчатки.

Еще разрыв, на этот раз подальше. Отплевываясь от хрустящего на зубах песка, он подобрался к краю воронки, осторожно выглянул — впереди торчали косо воткнутые в песок куски рельсов, коряво обросшие морской солью и бурым, словно запекшаяся кровь, лишайником ржавчины, перепутанные такими же ржавыми спиралями колючей проволоки. Проволоки было много, казалось, ее мертвая паутина заплела весь пляж, а за нею виднелись те самые домики, что им показывали на снимке, сделанном с самолета. Три обыкновенных рыбачьих жилища, сложенных из серого дикого камня. Дальше маячили в тумане редкие деревья — правильно, и по плану здесь должна быть рощица. Обнаружившееся наконец

соответствие теории и практики ободрило его. Пожалуй, и в самом деле, пока все идет как надо!

Рыбачьи хижины были превращены немцами в блокгаузы, и их нужно было захватить во что бы то ни стало. «Подавить огневые точки противника, создать предмостное укрепление и обеспечить прикрытие высадке второй волны» — так было сформулировано поставленное им задание. Да, если не подавить сейчас, второй волне придется скверно — ребята будут высаживаться при дневном свете…

Он оглянулся назад и увидел море в легком тумане, бесчисленные суда вдали и плывущие к берегу самоходные танкодесантные баржи. Штурмовые лодки первой волны и подбитые танки чернели на отмелях, обнажившихся с началом отлива. Его удивило количество убитых, лежащих на заметно уже расширившейся полосе пляжа. Лежали и живые, но мертвые лежали иначе — словно разбросанные как попало тряпичные куклы. Двое санитаров в белых, широко перекрещенных ярко-красным касках тащили кого-то, подхватив под мышки и под колени; еще один раненый пытался отползти на руках, вскидывая и то и дело роняя на песок голову. Высадившиеся за полчаса до пехоты саперные танки все еще

были связаны на левом фланге, где продолжала вести огонь немецкая батарея; оттуда слышался раскатистый грохот 88-миллиметровых орудий и частые гулкие удары танковых пушек. А здесь, у трех домиков, немцы били из пулеметов по пляжу и подплывающим баржам, просекая туман тусклыми малиновыми трассами.

Саперы, подобравшись к заграждениям, копошились там, кромсая ножницами проволоку и растаскивая в стороны пружинящие куски ржавых спиралей, потом поползли дальше, толкая перед собой «бангалоры» — длинные трубчатые заряды-детонаторы для подрыва мин. Когда отгремели взрывы и рассеялся дым, свистки скомандовали очередной бросок; солдаты поднимались и бежали пригибаясь, как против сильного ветра. Прикинув расстояние — далековато, но попробовать можно, — он выбрался из воронки и тоже побежал, пригнувшись, перехватив винтовку левой рукой и на бегу отстегивая от пояса гранату…

Так — увиденная глазами одного из трехсот тысяч ее участников — началась едва ли не самая трудная для оценки, вызвавшая среди историков много споров и разногласий, но несомненно одна из важнейших операций Второй мировой войны

— «Оверлорд», высадка союзных экспедиционных сил в Нормандии, в просторечии не совсем точно называемая открытием второго фронта.

Второй после советско-германского фронт в Европе был открыт годом ранее, когда союзники, очистив от противника Северную Африку, высадились на Сицилии, а затем перенесли военные действия в Италию; однако масштабы этих действий были столь незначительны, что итальянский «второй фронт» не оказал за год практически никакого влияния на общий ход войны.

Вторжение на Апеннинский полуостров было, в сущности, большой войсковой игрой, в ходе которой предстояло отработать не столько тактику (определенный боевой опыт к тому времени уже накопился), сколько методы и способы управления, в частности координацию между родами войск при комбинированной — с участием воздушных десантов — крупномасштабной высадке на укрепленное побережье. «Маневры» помогли, и в Нормандии союзному командованию удалось избежать ошибок, которые имели место при высадке на Сицилии, где, к примеру, свои же десантные самолеты подвергались обстрелу корабельной зенитной артиллерией.

В целом «Оверлорд» можно считать образцово спланированной и осуществленной операцией, хотя последующие действия союзных экспедиционных сил были уже не столь успешны и велись зачастую со значительным отставанием от графика продвижения, несмотря на огромное превосходство над противником (двукратное по артиллерии, трехкратное по пехоте и танкам, шестидесятикратное по авиации).

Относительно высокого уровня организации высадки и ее материально-технического обеспечения у военных историков разногласий нет. Спорными представляются другие стороны вопроса: сроки подготовки «Оверлорда» и степень его влияния на общий ход военных действий в Европе. Здесь мнения расходятся.

В Советском Союзе принято считать, что вторжение во Францию было осуществлено лишь тогда, когда дальнейшие отсрочки могли бы повредить уже интересам англоамериканцев. Военное значение второго фронта, утверждаем мы, вообще минимально — Германию разгромила советская военная мощь, и запоздалое вмешательство западных союзников лишь незначительно ускорило неизбежный к тому времени конец Третьего рейха.

Иного взгляда придерживается большинство англо-американских историков. Не следует недооценивать, говорят они, силу и боеспособность немецких войск, находившихся на западе летом сорок четвертого года; хотя и уступая союзникам по численности, эти пятьдесят дивизий — полмиллиона хорошо вооруженных и подготовленных солдат — могли бы оказаться существенным подкреплением для армий, оборонявших восточные рубежи рейха. Кроме того, надо учитывать, что наступавшие с запада англо-американцы захватили более двух третей территории Германии, избавив своего русского союзника от необходимости вести кровопролитные бои от Эльбы до Рейна, — поскольку, не будь Западного фронта, вермахт продолжал бы сражаться и после падения Берлина. Что касается сроков, то они определялись единственно степенью готовности к операции столь широкого масштаба; неудача преждевременной и плохо подготовленной высадки имела бы катастрофические последствия, и союзное командование не считало возможным идти на подобный риск.

Утверждение, что в споре рождается истина, не всегда верно. Гораздо чаще споры ни к чему не приводят, каждый остается при своем мнении,

особенно в тех случаях, когда научный подход к предмету спора искажается эмоциями. Тогда спорящим не до истины — она остается где-то в стороне, равноудаленная от обеих точек зрения.

Это, вероятно, происходит и с противоречиями в трактовке тех или иных событий Второй мировой войны. Бессмысленно отрицать влияние национальных чувств на взгляд историка: как бы искренне ни стремился он к беспристрастности, от определенных симпатий и склонностей ему не избавиться. Вполне беспристрастным можно быть лишь в вопросах, не затрагивающих историю твоего собственного народа, твоей страны.

Если же мы касаемся времени, память о котором еще кровоточит, подняться над пристрастностью трудно, — но это необходимо, здесь нет иной альтернативы, кроме намеренного отказа от истины, пренебрежения исторической правдой.

Во время войны правдой пренебрегают сознательно — ни в одной воюющей стране служба массовой информации не может делать достоянием общественности (а следовательно, и вражеской разведки) истинные сведения о положении в тылу и на фронте. Для поддержания духа приходится преувеличивать значение своих успехов, соответственно замалчивая успехи про-

тивника, это является одним из психологических элементов стратегии.

Лишь когда умолкают пушки, приходит время говорить правду. Но тут сплошь и рядом оказывается, что от нее успели отвыкнуть, одних она страшит, другим неудобна, третьи продолжают видеть в ней угрозу государственным интересам, опасность для международного престижа страны. И в воспоминаниях участников, в специальных исследованиях, в произведениях художественной литературы упорно повторяются оценки и концепции, когда-то выработанные для сиюминутных потребностей войны и совершенно (чего зачастую не понимают авторы) непригодные в дни мира. Так, вольно или невольно, начинается фальсификация истории.

Можно, к примеру, понять, для чего зимой 1941/42 года Геббельсу понадобилось свести все причины неудачи под Москвой к одному лишь метеорологическому фактору, но если миф о «генерале Морозе» спустя десятилетия обыгрывается в трудах западногерманских военных историков — это уже нелепость. Такой же нелепостью представляются сегодня попытки некоторых английских авторов поставить знак равенства между сражением под Эль-Аламейном

и Сталинградской битвой — хотя тогда, осенью 1942 года, «победа в пустыне» стала большим успехом британских вооруженных сил, в сущности, первым после Дюнкерка; и вполне понятно, что поражение непобедимого дотоле Роммеля англичане восприняли чуть ли не как поворотный пункт в войне.

Эмоциями военного времени до сих пор объясняются и многолетние разногласия по поводу «Оверлорда». Эта тема была для нас особенно болезненной — открытия второго фронта мы напрасно ждали летом сорок второго года, отступая к Волге. Именно тогда возникла и утвердилась в сознании армии и народа легенда о нарушенных обещаниях, о вероломстве союзников, оставивших нас без помощи в один из самых критических моментов.

Сегодня справедливость требует разобраться с этим мифом более спокойно. Надежда на открытие второго фронта в самом скором времени появилась у нас в июне, после опубликования двух коммюнике об итогах переговоров, проведенных Молотовым в Вашингтоне и Лондоне. В обоих документах говорилось о «договоренности в отношении неотложных задач создания второго фронта в Европе в 1942 году» — форму-

лировка весьма неопределенная, дающая повод к самым широким толкованиям и рассчитанная главным образом на дезинформацию противника.

Людям в отчаянном положении свойственно верить всему, что укрепляет надежду. А наше положение тем летом было самым отчаянным с начала войны — тяжелее даже, чем в сорок первом, потому что тогда можно было еще говорить о внезапности, о неподготовленности, можно было надеяться на то, что немцы вот-вот выдохнутся; в сорок втором дух армии и народа подвергся еще более свирепому испытанию на прочность. Надо ли удивляться, что вся страна поверила — захотела поверить! — в скорую помощь со стороны союзников…

Ни армия, ни народ не знали того, что на самом деле ни о каком открытии второго фронта в то время не могло быть и речи, и открытия этого никто не обещал ранее сорок третьего года. В памятной записке, врученной Черчиллем Молотову 10 июня (то есть когда переговоры фактически уже закончились — итоговое коммюнике было опубликовано в Москве через два дня), говорилось ясно и недвусмысленно: «…мы концентрируем наши максимальные усилия на

организации и подготовке вторжения на континент Европы английских и американских войск в большом масштабе в 1943 году»[69]. На текущий же год была обещана лишь высадка десанта в августе или сентябре — речь шла о готовившейся тогда десантной операции в Дьеппе, которая и была осуществлена в намеченный срок.

Что касается позиции американцев, то Рузвельт в беседах с Молотовым хотя и выразил надежду на открытие второго фронта в текущем году, но сказал, что этому есть пока много препятствий — в частности, нехватка судов для переброски большого числа войск через кишащую вражескими субмаринами Атлантику. Никакого твердого обещания, стало быть, не было дано и в Вашингтоне.

В Советском же Союзе росла всеобщая уверенность в том, что относительно сроков открытия второго фронта союзники договорились и вторжение на континент произойдет самое позднее этой осенью. Это широко распространенное заблуждение дало Сталину один из главных козырей в международной политической игре

[69] Notes: 69

Переписка председателя Совета Министров СССР с президентами США и премьер-министрами Великобритании во время Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. М., 1957. Т. 1. С. 391.

— не только на все время войны, но и на долгий послевоенный период.

Козырная карта разыгрывается сразу, без промедления. В двух документах на протяжении одного месяца — в послании Черчиллю от 23 июля и в меморандуме, врученном британскому премьеру 13 августа — на следующий день после прибытия англичан в Москву, — Сталин прямо обвиняет его в нарушении якобы имевшей место договоренности о том, что вторжение в Европу будет осуществлено в 1942 году. Обвиняет, отлично зная, что договоренности такой не было.

Мало того, в меморандуме высказывается и еще более странная претензия к союзникам: советское командование, мол, строило план летних операций именно в расчете на то, что второй фронт будет открыт в 1942 году, и отказ правительства Великобритании выполнить свои союзнические обязательства «осложняет положение Красной армии на фронте».

Этот аргумент настолько нелеп, что на первый взгляд вообще непонятно, как он мог быть высказан в серьезной дипломатической переписке на высшем уровне. Советское командование не могло планировать летнюю кампанию в расчете на открытие второго фронта хотя бы по той про-

стой причине, что стратегия этой кампании была разработана в марте, а переговоры с союзниками о втором фронте начались уже летом — Молотов вылетел в Лондон только в конце мая.

Но это нелепость кажущаяся. Адресованный британскому премьеру меморандум от 13 августа написан для будущих историков. Вспомним: накануне, 12-го, состоялась первая встреча Сталина с Черчиллем, они долго обсуждали положение на фронтах, гость рассказал хозяину о планах готовящейся на осень операции «Торч»; Сталин выслушал с интересом и согласился, что высадка в Северной Африке — дело нужное (так, по крайней мере, утверждает Черчилль в своих мемуарах — другими свидетельствами об этой встрече мы не располагаем). Казалось бы, тогда-то и был самый подходящий момент выразить недовольство: а почему, собственно, Африка, а не Франция? Но нет, упрек будет сделан лишь на другой день, и именно в письменном виде, чтобы через много лет приобрести незыблемость документального свидетельства о подлинных причинах катастрофы, разразившейся тем летом на Южном фронте.

Едва ли Сталин дал себе труд прочитать ответ Черчилля. Это было ни к чему, он заранее знал

все, что там могло быть сказано: что союзники никакого обещания не нарушили, поскольку не давали его, и что переговоры с Молотовым никак не могли повлиять на стратегические планы русского Верховного командования; все это он знал, и это действительно было так, кому же не понятно, что план кампании разрабатывается за несколько месяцев до ее начала…

Конечно, и план летней кампании 1942 года был разработан заранее. Но план этот оказался ошибочным: опять, как и год назад, Сталин не поверил разведданным, опять отверг их как дезинформацию и попытался сам определить замысел противника. И опять просчитался — ошибся грубо, постыдно; в результате были потеряны весь Донецкий бассейн, Крым, Северный Кавказ, врага пропустили до самой Волги.

Просчет сорок первого года можно было еще объяснить внезапностью «вероломного нападения», но чем оправдать Изюм-Барвенковскую мясорубку, потерю Севастополя, немецкий прорыв за Дон? Оправдать не перед современниками — их мнение едва ли Сталина беспокоило, — а перед потомками, перед будущими историками? Ведь уже в марте, планируя летнюю кампанию, Ставка располагала сведениями о готовившемся

ударе противника на Юге; и предвидеть это было логично — Германия с ее иссякающими сырьевыми ресурсами остро нуждалась в донецком угле, кубанской пшенице, грозненской и майкопской нефти. Но Сталин упрямо считал, что генерального наступления надо ждать между Тулой и Воронежем — в обход Москвы — и именно там приказал сосредоточить основную массу войск. Силы же, выделенные для защиты Северного Кавказа, почти не превышали тех, что действовали на самом спокойном участке всего театра военных действий — в Карелии.

Немцы не смогли успешно использовать этот грубейший просчет советского командования — мощь вермахта была на исходе, поэтому кавказский поход оказался безрезультатным, а рывок к Волге окончился гибелью 6-й армии. Но это выяснилось позже, а в августе, когда Черчилль прилетел в Москву, — положение было отчаянным, противник вел бои на подступах к Сталинграду, рвался к Тереку, к перевалам Большого Кавказского хребта. Все, казалось, висело на волоске — не помог и свирепый приказ № 227 («Ни шагу назад!»), войска продолжали отступать…

Именно в те дни, оказавшись под угрозой но-

вого военного поражения уже не оперативного, а почти стратегического масштаба — поражения, личную свою вину за которое он не мог не осознавать, — Сталин, вероятно, и ухватился за мысль переложить хотя бы часть этой вины на других. Конечно, в первую очередь виновата была армия — в приказе об этом было сказано недвусмысленно: «Некоторые неумные люди на фронте утешают себя разговорами о том, что мы можем и дальше отступать на восток… Не хватает порядка и дисциплины в ротах, в батальонах, в полках, в дивизиях…» — но с кого же в конечном счете спрос за порядок и дисциплину в армии, если не с Верховного командования; следовательно, требовались и другие виновники создавшегося катастрофического положения.

Всенародная наивная уверенность в том, что второй фронт может быть открыт в ближайшее время, оказалась для Сталина подарком судьбы. Он-то знал, что вторжения в Европу не будет еще по меньшей мере год, — как было не сыграть на напрасных надеждах всей страны? Когда народ увидит, что союзники нас обманули, никто уже не задаст вопроса: а почему же все-таки нам пришлось отступить до самой Волги, кто в этом виноват? Виновник будет у всех на виду, раз-

облаченный и заклейменный перед историей. Аристократ, консерватор по убеждениям, давний недруг Страны Советов — сэр Уинстон Леонард Спенсер Черчилль как никто подходил на роль злого гения антигитлеровской коалиции.

Разумеется, пока шла война, ни о каких прямых и открытых обвинениях в адрес премьер-министра союзной Великобритании не могло быть и речи, но упрек, высказанный келейно, в тайной дипломатической переписке, — дело другое, тем более упрек столь нелепый, что и сам адресат наверняка не примет его всерьез, отмахнется — помилуйте, тут недоразумение, в этом году мы вторжения крупными силами не планировали, — и инцидент будет исчерпан. Зато для историков останется меморандум, документальное свидетельство прямой вины союзников в том, что тяжелейшая обстановка сложилась летом 1942 года на советско-германском фронте…

Часто и грубо ошибавшийся в военных вопросах, как мастер политической игры Сталин не имел себе равных. Насколько безошибочной и дальновидной была импровизация от 13 августа — выявилось лишь много позднее, когда союзники действительно нарушили уговор и вместо обещанного вторжения во Францию

занялись очисткой бассейна Средиземного моря; после войны же, в условиях нарастающего международного кризиса, двоякое — оправдательно-обличительное — значение меморандума сорок второго года стало просто бесценным: оказывается, фултонский поджигатель предавал нас уже тогда, оставив без обещанной помощи во время Сталинградской битвы! Это, естественно, не могло не сказаться как на отношении ко вчерашним союзникам вообще, так и на оценке их вклада в победу над Гитлером. Умело подогретые и направленные эмоции взяли верх, и в советской военной историографии прочно утвердилось мнение, что открытие второго фронта было злонамеренно задержано на два года и что запоздалый «Оверлорд» не оказал уже никакого влияния на ход войны.

Скажем еще раз: крайние точки зрения всегда искажают перспективу. Второй фронт был действительно задержан, хотя и не на два года, а на год (тоже немалый срок по тем временам); среди причин задержки был и циничный расчет политиков, надеявшихся как можно больше ослабить нас в единоборстве с врагом, но были и вполне разумные соображения штабных специалистов, считавших стратегически опасным вторгаться в

Северную Францию, оставляя Средиземное море под контролем противника.

Что касается чисто военного значения «Оверлорда», то его не следует ни преувеличивать, ни преуменьшать. С Восточного фронта англо-американцам не удалось оттянуть ни одной немецкой дивизии, но группу армий «Запад» они перемололи, лишив вермахт главного стратегического резерва. Основной же эффект высадки союзных экспедиционных сил был скорее психологическим, это тоже нельзя списывать со счета.

Пожалуй, как ни странно, лишь в середине сорок четвертого года перед большинством немцев раскрылась перспектива неизбежного поражения. До тех пор страна верила в победу, верила исступленно, вопреки здравому смыслу и очевидности; верила просто потому, что слишком страшной была сама мысль о возможности другого исхода, мысль о том, что напрасными окажутся все жертвы, принесенные немцами ради обещанной фюрером победы…

В победу верили даже после Сталинграда. Даже после того, как провалилось тотальное наступление между Орлом и Белгородом, — все равно немец продолжал верить в конечное торжество германского оружия. Положение было трудным,

это верно, но — говорил себе немец — великие свершения и не бывают легкими; мимоходом, без особого труда можно завоевать какую-нибудь Францию или Польшу, но перед германским солдатом стоят задачи пошире, он должен завоевать полмира — а это не так просто. Тут, ясное дело, не обойтись без трудностей, не избежать временных поражений и неудач.

Словом, пресловутый «дух тыла», о котором так любили писать берлинские журналисты, держался довольно прочно. Если британский маршал авиации Гаррис, собиравшийся выбомбить Германию из войны с помощью четырех тысяч «ланкастеров», надеялся деморализовать немцев воздушным террором, то в целом его расчет не оправдался. Жестокость ночных налетов с применением бесчеловечной тактики неприцельного бомбометания «по площадям» действовала скорее обратным образом, подтверждая ключевой тезис нацистской пропаганды: что союзники поставили перед собой цель истребить весь немецкий народ и что для немцев есть теперь только один путь, один способ выжить — теснее сплотиться вокруг фюрера и стоять до конца. Можно было не читать газет, не верить ни одному слову по радио, но верить своим глазам

приходилось. То, что спасательные команды ежедневно извлекали из-под развалин, выглядело более убедительным аргументом, чем все речи и статьи доктора Геббельса.

Поэтому тыл держался, страхом ли, привычкой ли к повиновению, фанатизмом или мужеством отчаяния — немецкий тыл держался сам и поддерживал мораль фронта, делая для войны все, что было в его силах, продолжая надеяться и верить вопреки всему. Пока впереди маячил мираж победы, можно было работать, стиснув зубы, не обращая внимания на бомбы и голод, привыкнув к повседневной смерти так же, как привыкают к ней в окопах…

Так продолжалось до лета сорок четвертого года. А потом — внезапно и как-то сразу — наступил перелом. Внезапность его была, разумеется, чисто внешняя; в металле, который устает, изменения кристаллической структуры происходят медленно и постепенно — незаметный снаружи, процесс этот проявляется лишь в момент катастрофического своего завершения, когда материал больше не выдерживает.

Два последовавших в июне удара сокрушили дух немецкого тыла — разгром группы армий «Центр» на востоке и, двумя неделями ранее,

успешная высадка англо-американцев на западе. С первых лет войны немцы привыкли рассматривать Францию как самый спокойный и комфортабельный Hinterland[70], неиссякаемый источник выдержанных вин, парфюмерии, шелкового белья и прочего люкса; обовшивевший и глухой от русского артогня панцер-гренадер где-нибудь в Сталинграде или под Черкассами мечтал о Франции так же неистово, как мог мечтать о Валгалле его одетый в волчью шкуру предок — воин Германа Херуска. Со словом «Франция» вообще не совмещалось понятие «опасность».

Со стороны Ла-Манша Франция была надежно прикрыта железобетонным щитом Атлантического вала. Снимки этих циклопических сооружений часто публиковали иллюстрированные журналы, и каждый читатель мог воочию убедиться в том, что выражение «крепость Европа» представляет собой нечто более серьезное, чем простой пропагандистский лозунг. Какая бы угроза ни нависала над Германией с востока, немцы считали себя надежно застрахованными на Западе.

---

[70] Notes: 70
Тыл *(нем.)*.

А 6 июня им сообщили, что армия вторжения высадилась на нормандском побережье. Бои за предмостные укрепления продолжались и на следующий день, и через неделю, и через две; заштрихованное пятно захваченного англо-американцами плацдарма расползалось на газетных картах все шире и шире. Теперь уже не было сомнений: Атлантический вал оказался таким же блефом, как «молниеносный разгром Красной армии», как обещанная Герингом «неуязвимость с воздуха». Блефом оказывалось решительно все.

На Восточном же фронте стояло пока затишье — зловещее затишье перед бурей, сокрушительную ярость которой трудно было даже представить себе во всей ее мощи. Что буря накапливается, понимали все; впервые с начала войны радио и газеты готовили немецкий народ к тому, что предстоящая летняя кампания будет носить оборонительный характер. Это было непривычно и страшно. Предчувствие неминуемого поражения все глубже овладевало немецким обществом, парализуя волю большинства, озлобляя фанатиков и побуждая действовать тех немногих, кто еще надеялся спасти страну от военного разгрома, покончив с режимом своими силами. Именно тогда, в частности, окончательно оформился

план государственного переворота, давно уже задуманного группой высших офицеров в штабе сухопутных сил при поддержке некоторых промышленно-финансовых кругов. Буря разразилась в третью годовщину начала Восточного похода. В четверг, 22 июня, русские провели разведку боем в районе Витебска, а на следующий день ударили по всей группе армий «Центр», силами четырех фронтов перейдя в генеральное наступление на пятисоткилометровой дуге от Полоцка до Мозыря.

У немцев был уже солидный опыт того, что в сводках дипломатично называют «выравниванием линии фронта», но выравниваться такими темпами им еще не приходилось. 26 июня, на третий день русского наступления, пал Витебск, 27-го — Орша, 28-го — Могилев, 29-го — Бобруйск, 30-го — Слуцк. 3 июля, одновременно с двух сторон, русские танки ворвались на южную и восточную окраины Минска.

Весь средний участок Восточного фронта начал разваливаться на куски, и неудержимая лавина сметала обломки все дальше на запад — к близким уже границам Восточной Пруссии.

Глава 4

Рота отступала через Барановичи, Слоним, Волковыск. Точнее, никакой роты уже давно не было — была оставшаяся от нее кучка солдат во главе с гауптфельдфебелем Пфаффендорфом, которую уже раз десять втискивали в какие-то сводные части — то «отряды», то «особые группы». Наспех сколоченное из поскребышей соединение получало командира и боевую задачу, людям выдавали консервы, шнапс и патроны — а потом все снова летело к свиньям собачьим, все исчезало и перемалывалось под гусеницами русских панцеров, под бомбами и пулеметами штурмовиков, под ураганным огнем русских пушек.

Люди Пфаффендорфа, которых после каждой такой импровизации становилось все меньше и меньше, упорно держались друг друга и продолжали называть себя ротой. Не то чтобы именно это подразделение являло собой образец «фронтового братства» — просто каждый боялся остаться брошенным и никому не нужным. В обстановке повального бегства и неразберихи нельзя было рассчитывать на то, что кто-то позаботится о солдате, отставшем от своей части. А если под-

стрелят в темноте — да так, что санитары не заметят? Кто станет тебя искать, если ты один?

Страх перед местными жителями превозмогал в солдатах даже страх плена. Все-таки плен — даже в самых суровых условиях — это какая-то организация. Какой-то порядок. А попасть в руки к этим белорусам, после того как тут три года действовали карательные зондеркоманды…

Их оставалось двадцать восемь человек, считая и самого Пфаффендорфа. Средний возраст — сорок пять лет, социальный состав — смешанный. Почти все были горожанами: рабочие, лишившиеся брони во время прошлогодней тотальной мобилизации, трое служащих, владелец мастерской по производству игрушек, которую закрыли как «предприятие, не работающее на оборону». Словом, бойцы не из отборных. Среди них случайно затесался лишь один, проделавший Восточный поход с самого начала; его почему-то называли «Дерьмовым ветераном», хотя никто не знал происхождения клички.

Сейчас этот ветеран шагал вместе с другими вдоль шоссе, по которому пылили обозы разгромленной под Бобруйском 9-й армии, и на ходу делился с товарищами своими воспоминаниями.

— …мы тогда шли приблизительно в том же

темпе, как теперь идут иваны, но в другую сторону, — говорил он, поминутно отхаркиваясь и отплевываясь, словно легкие у него были забиты пылью. — Но только, будь я проклят, ивану никогда не увидеть того, что видели мы! Иван сейчас идет по выжженной земле, а мы в сорок первом — эх, камрады, мы ведь наступали через цветущий рай! Я был в Семнадцатой армии, на Украине… Может, читали в сводках — Винница, Кременчуг, Полтава — какие там были сады, какие вишни, яблоки, мед, сало, а какие девки! Мы тогда были победителями, будь я проклят, они ложились при одном взгляде — не нужно было уговаривать… Жаль мне вас, вы пропустили самое приятное, просидели дома всю настоящую войну…

— В сорок первом и дома было неплохо, — заметил кто-то.

— Не возражаю, — сказал «Дерьмовый ветеран». — В сорок первом году, и даже в сорок втором, съездить в отпуск было одно удовольствие! Не то что теперь. Но настоящая жизнь была все-таки на фронте, это вам говорит старый боец. Вам просто не понять! В то лето мы были яростны и могучи, как нибелунги. Я помню ночь на двадцать второе июня — наш корпус наносил

удар из-под Перемышля на Лемберг, поздно вечером нас посадили в машины и повезли к границе. Фантастическая была ночь, камрады, никогда ее не забуду, — движение по шоссе было односторонним, только на восток, мы ехали по правой стороне, а на левой стояли танки. От Жешува до Перемышля все было забито войсками! Я начал считать, потом бросил, а потом меня охватил вдруг какой-то трепет — слово чести, камрады, именно трепет! — когда я представил себе, какая огромная страна лежит перед нами, ожидая наших побед. На секунду мне даже стало страшно, но тут же я подумал: «Неужели мы, немцы, не справимся?»

— Справились, зиг-хайль, — прокомментировал один из слушателей, громко издав неприличный звук.

Толстяк Пфаффендорф, который шагал сбоку, положив руки на висящий поперек груди автомат, глянул искоса, но не стал вмешиваться. Он был неглуп и прекрасно понимал, что есть моменты, когда на многое следует закрывать глаза. «Дерьмовый ветеран», напротив, пришел в ярость.

— Ты, еврейская задница! — крикнул он. — Не справились только потому, что слишком много

сволочи предпочитало околачиваться на родине и спать с женами фронтовиков!

— Камрады, будьте свидетелями, как он обозвал, меня, чистокровного арийца…

— Суть в том, что ты задница, понятно? А еврейская или арийская, не так важно.

— Это как же так? Выходит, что арийское или еврейское — одно и то же?

— Идиот, я говорю про задницы! — заорал ветеран.

— Хорошо, разберемся, — не унимался другой. — Если, по-твоему, задницы у арийца и у еврея совершенно равноценны, то…

— Прекратить свинство! — рявкнул Пфаффендорф, резко остановившись и пропуская спорящих мимо себя. — Вы кто, солдаты или пьяное бабье на ярмарке? Подтянуться последним! Шире шаг, Леман, вы тащитесь как беременная вошь по мокрому месту!

Солдаты зашагали быстрее. Мимо, обдавая их клубами удушливой пыли и дизельным перегаром, с ревом проносились теперь пятнистые от камуфляжа и утыканные жухлыми ветками берез колесно-гусеничные тягачи с 88-миллиметровками на прицепе. Пехотинцы завистливыми взглядами провожали артиллеристов, драпаю-

щих с таким комфортом.

— Клистирщики будут ночевать в Белостоке, — сказал маленький Леман. Он вытащил из-за пояса пилотку и подкладкой размазал по лицу грязный пот. — Как сматываться, так они первые… моторизованное дерьмо!

— Если бы не их клистиры, безмозглый ты пустобрех, твои потроха давно бы уже болтались на гусенице русского танка. Мне-то приходилось видеть, как они долбают иванов прямой наводкой. В упор, со ста метров, понял! Еще неизвестно, может они вовсе и не драпают. Может, их перебрасывают на угрожаемый участок.

— Все перебрасываются на колесах, — не унимался Леман. — Одни мы топаем! Сволочная банда, у меня плоскостопие, а они направили меня в пехоту!

— Выходит, п-п-п-плоскостопые должны б-б-были сидеть дома, п-п-пока другие воюют?

— Я и не думал уклоняться! — истерично провизжал Леман. — Но почему меня нужно было послать именно в пехоту, если есть другие рода войск?

— Знаете, куда он метил? — спросил кто-то. — Ему хотелось в «бригаду плоскостопых» — он не так глуп, наш недомерок…

Кругом захохотали. «Бригадой плоскостопых» на солдатском жаргоне назывались женские вспомогательные части — связистки, локаторщицы и тому подобнее; прозвище это появилось давно, в самом начале войны, когда они пополнялись за счет добровольного набора, и туда шли всякие дурнушки, потерявшие надежду на устройство личной жизни иным способом.

— Я бы сейчас не отказался и от плоскостопой, — заявил «Дерьмовый ветеран». — Тем более что сейчас туда по мобилизации попадают такие бутончики…

— Смотрите, он еще может мечтать о женщине!

— Вот именно, мечтать, — опять вмешался обиженный ариец. — А если бы дошло до дела…

— Ты дай мне адрес своей жены, когда я поеду в следующий отпуск, — отпарировал ветеран. — А после спросишь у нее, осталась ли довольна.

— Какой это идиот рассчитывает на отпуск? А, это наш герой, ну-ну…

— Отпуск у тебя будет в Сибири.

— Или на том свете, еще более вероятно…

— Я б сейчас отдал все свои бу-бу-будущие отп-пу-пу-пуска за одну п-п-пачку «Юно»… Этих гадов, инт-т-тен-дантов, нужно п-п-просто уб-б-бивать,

хуже всяких ива-нов, жирные п-п-п-паразиты!

— Интенданты тоже бывают разные…

— Понятно, бывают! В потсдамском военном музее есть даже один честный, лежит под стеклом. С надписью «особо редкий экспланат».

— Не «экспланат», а «экспонат», если уж на то пошло…

— А ты не учи, сам знаю, как правильно!

— Могу спорить. Я тебе после покажу в словаре, у меня в ранце есть немецко-русский.

— Поди подотрись своим словарем, вшивый ты грамотей. Нашел что таскать в ранце!

— А если попадешь в плен? По крайней мере, смогу хоть объясниться…

— Иваны из тебя сделают гуляш по-татарски раньше, чем ты вспомнишь о своем словаре!

— Эти инт-т-тенданты, — не унимался заика, — они ведь п-п-просто издеваются над людьми! В Шт-т-талинграде мы п-п-подыхали с голоду, сто п-п-пятьдесят граммов хлеба в день, к-к-как это вам нравится? Снабжение шло т-т-только п-по воздуху, и то иваны сбивали п-п-половину самолетов. Я был в разгрузочной команде на аэродроме «П-п-питомник» и видел все своими глазами! П-п-про-рывается раз самолет, еле уцелел — иваны гнались за ним до самого аэродрома

— и что же, вы думаете, он п-п-привез? Двадцать ящиков п-п-презервативов! Я, как это увидел…

— Так и стал заикаться, — докончил кто-то. Солдаты заржали. — Еще бы, от такого станешь заикой. А, Карльхен?

— Вам см-м-мешно, — обиделся тот, — а мы там п-п-подыхали от голода и м-м-морозов…

— А, брось! Никто же не смеется над мертвыми, верно?

— Да, а Паулюс-то, оказывается, вовсе не погиб. Помните, писали? Еще был рисунок в «Берлинер Иллюстрирте» — как он отстреливается из «шмайссера», а иваны уже со всех сторон. «Последний бой фельдмаршала» — такая была подпись… Оказывается, он благополучно сидит у русских.

— Не говорите мне про Паулюса, — заявил «Дерьмовый ветеран». — Если этот подлец доживет до конца войны и осмелится вернуться в Германию, вдовы забьют его камнями, как собаку. Командующий, который сдается в плен, погубив свою армию…

— Паулюс несколько раз радировал в Главную квартиру, просил разрешить вывод войск из окружения. Ему сказали «стоять до конца», вот он и стоял. Так что Шестую армию погубил не

Паулюс.

— А кто же, по вашему просвещенному мнению, погубил Шестую армию? — поинтересовался Пфаффендорф, поравнявшись с защитником Паулюса, низкорослым солдатом по фамилии Рашке.

— С вашего позволения — русские, господин гауптфельдфебель!

— А-а, русские. — Пфаффендорф кивнул. — Что ж, это разумный ответ, очень разумный. Надеюсь, господа слышали, что сказал солдат Рашке? И я бы предложил господам заткнуть свои грязные разнузданные глотки, коль скоро вопрос исчерпан. Если услышу, что он возник снова — этот вопрос или какой-нибудь подобный, — то вы еще пожалеете, что попали не к партизанам, а к гауптфельдфебелю Пфаффендорфу. Господам ясно?

Рота поспешила дружно ответить, что все ясно.

— Ну вот и отлично, я предпочитаю жить в мире с окружающими. Эй, учитель!

Пожилой солдат выбрался из задних рядов и стал трусцой догонять начальство, придерживая приклад взятого на ремень карабина.

— Вы меня звали? — спросил он, подбежав к Пфаффендорфу.

— В армии не зовут! — оборвал тот. — В армии

приказывают! Доложитесь как положено!

— Солдат Алоиз Фишер — по приказанию!

Пфаффендорф, стоя перед замершим по стойке «смирно» солдатом, оглядел его, неодобрительно покачивая головой.

— Ах, Фишер, Фишер. Это ведь вторая ваша война, если не ошибаюсь?

— Так точно, господин гауптфельдфебель, вторая.

— А между тем по вашему виду не скажешь, что вы старый солдат. Вас, Фишер, скорее назовешь старым вонючим козлом. Впрочем, на аромат я не в претензии — воняем мы все. Но почему вы небриты? И почему снаряжение висит на вас черт знает как? Посмотрите, где ваш противогаз, где хлебная сумка, где штык, — всё не на своих местах, Фишер, всё болтается, как попало. Скажу со всей откровенностью, более гнусного зрелища я давно уже не видел…

Прошли последние машины, на шоссе стало свободнее. «Оперативная группа Пфаффендорф», как назвал свою часть кто-то из ротных остряков, двигалась по правой стороне, втиснувшись между отрядом белорусской вспомогательной полиции и повозками какого-то хозяйственного управления. Нестройно идущие солдаты раз-

брелись и на левую сторону шоссе, которая по правилам должна оставаться свободной для проезда машин, танков и орудий на механической тяге. Гауптфельдфебель, отчаянно ругаясь, догнал роту, быстро навел порядок и оглянулся в поисках отставшего Фишера. Запыхавшись, подоспел и тот. Его худое небритое лицо под каской лоснилось от пота, верхние пуговицы кителя были расстегнуты, алюминиевый «смертный жетон» болтался на засаленном шнурке поверх грязной сорочки на груди, поросшей седыми волосами. Вид старого солдата Фишера, ветерана Ипра и Соммы, был действительно непригляден.

— Разумеется, сделать из вас настоящих бойцов уже не удастся, — сказал Пфаффендорф. — Не знаю, за какие грехи мне выпало командовать бандой интеллигентов и пораженцев. Однако война еще идет, Фишер, не так ли?

— Так точно, господин гауптфельдфебель.

— Да, и она закончится еще не скоро. Как только наши солдаты окажутся на родной земле, противник еще узнает, что такое Германия, борющаяся за свою жизнь. Битву за русские пространства мы проиграли, Фишер, тут уж приходится считаться с фактами, — но проигранная битва еще не означает проигранной войны! Вероятнее всего,

русские — если у них хватит ума — остановятся на своих старых границах, и я не вижу, почему бы нам тогда не принять их мирные предложения. Нам нужна передышка, Фишер. Через десять лет основной контингент вермахта будут составлять парни тридцать третьего, тридцать четвертого годов рождения. Вы понимаете? То есть именно те, кто с пеленок воспитан в духе национал-социализма и кто сегодня переживает наши неудачи гораздо острее и болезненнее, чем мы сами. Потому что многие из нас устали от войны, от фронта… а мальчишки ничего этого не испытали, для них война по-прежнему окружена ореолом романтики и героизма. Многим из нас, скажем откровенно, уже на все насрать, не так ли?

— Так точно, — охотно подтвердил Фишер.

— Да, мы устали, нельзя этого отрицать. Вот почему идеи реванша обычно поддерживаются не столько вчерашними фронтовиками, сколько теми, кто следил за войной по газетам. Им кажется, что все вышло не так только потому, что их там не было. И они рвутся показать, на что способны.

— Боюсь, вы правы, — опять согласился Фишер. — Это и есть самая большая опасность, господин гауптфельдфебель.

— Не говорите глупостей, Фишер! Это не опас-

ность, это наша главная надежда. Неужели вы думаете, что мы когда-нибудь смиримся с поражением?

— Я учитель, — извиняющимся тоном сказал Фишер. — Мне страшно подумать, что дети, которым я читал Гёте и Гёльдерлина, через десять лет окажутся на бойне.

— Вы хотели бы, чтобы они выросли рабами, безразличными к судьбе своей страны? Это пораженческие рассуждения, солдат Фишер, я должен был бы подать на вас рапорт. Хорош учитель! Разве ваш Гёльдерлин не был истинно германским патриотом? А разве не сказал кто-то из древних: «Сладостно и почетно умереть за отечество»?

— Господин гауптфельдфебель, — сказал Фишер, утирая лицо скомканным и грязным носовым платком, — поэзия Гёльдерлина представляет собой слишком сложное явление, чтобы сводить ее к одному лишь воспеванию германского патриотизма. Что же касается процитированной вами строфы Горация, то поэт имел в виду тех, кто умирает, защищая свою землю, а не пытаясь захватить чужую.

Пфаффендорф громко отхаркался и сплюнул.

— Чепуха, Фишер, все это еврейские выдумки. В наше время нельзя так рассуждать. Если у со-

седней державы имеется достаточно танков и самолетов, то единственный надежный способ защитить себя — это напасть первым. Захватить чужую землю раньше, чем враг успел захватить твою. Что же, по-вашему, — немцы, которые умерли под Сталинградом, не защищали свою страну от большевизма? Если бы сейчас все мы бросили фронт, Германия стала бы русской колонией, Фишер, самой настоящей колонией.

— Что будет теперь, я не знаю, господин гауптфельдфебель. Но я знаю, что русские не собирались делать Германию своей колонией до тех пор, пока мы не захотели колонизировать Россию…

— Вы просто сошли с ума, Фишер! Почему вы вообще решили, что можете открыто проповедовать мне свои нелепые мысли? А если я действительно подам на вас рапорт?

— Мне нечего бояться, господин гауптфельдфебель. Разжаловать меня уже некуда, в концлагерь отсюда не пошлют, расстрелять тоже не расстреляют. У нас не так много остается солдат, согласитесь сами, чтобы расстреливать каждого неблагонадежного. И вообще смешно судить тех, кто уже и так приговорен к смерти. Вы думаете, многие из нас доживут до конца войны?

— Я-то еще собираюсь пожить!

— А я не собираюсь. Для чего? Когда-то я был национал-социалистом, верил в то, что фюрер обновит страну, укажет ей какие-то новые пути… Когда-то у меня была семья, настоящая семья — жена и две дочки, но они пропали в эвакуации, наверняка погибли…

Фишер шагал рядом с Пфаффендорфом, привычно сутулясь под тяжестью снаряжения и чуть запрокинув голову, словно пытаясь разглядеть что-то впереди, в густых тучах пыли, висящих над Белостокским шоссе. Подбородок его, покрытый трехдневной седоватой щетиной, был напряженно выставлен, на тощей шее торчал острый кадык. Казалось, голову солдата оттягивает назад тяжелая облупленная каска.

— Война, Фишер, — сочувственно сказал Пфаффендорф. — Будьте мужчиной, не у вас одного потерялись родные! Может, ваша семья еще найдется. А если нет, то тем больше оснований ненавидеть врага.

— Я знаю, что многие потеряли семьи, и о своей я сказал лишь для того, чтобы вам стало понятно, что мне действительно незачем теперь жить. Что я делал бы, вернувшись живым с этой войны? Снова учить детей, скажете вы; но у меня нет уверенности в своем праве это делать. Если

мы проиграем эту войну — а мы не можем ее не проиграть, мы ее уже проиграли, сколько бы она еще ни продлилась, — так вот, я говорю, после проигранной войны многие ли из нас смогут открыто посмотреть в глаза детям?

— Не преувеличивайте нашей вины за случившееся, Фишер. Может, не все были героями, но долг свой мы так или иначе выполняли, стыдиться нам нечего. Беда в том, Фишер, что немец честен и всегда дерется с открытым забралом, и он в своем честном сердце просто не способен представить себе всей меры вражеского коварства. Нас опутали паутиной иудейского заговора в восемнадцатом году, пытаются опутать и теперь — вы думаете, Соединенные Штаты объявили бы нам войну, если бы там не был президентом вонючий еврей Розенфельд?

Фишер усмехнулся и движением плеч поправил съехавший куда-то ранец.

— Я говорю не об этом, Пфаффендорф, — сказал он, забыв про уставную форму обращения; фраза прозвучала так, словно он произнес: «Вы не усвоили урока, ученик Пфаффендорф». — Я имел в виду не ответственность за поражение… а нашу ответственность за войну вообще, за все то, что случилось после тридцать третьего года. Ведь

это мы привели Германию к тому, что она есть сегодня. Мы — родители, отцы — превратили в ад землю, на которой жить нашим детям. Как же мы теперь посмеем взглянуть им в глаза? Нет, какой из меня учитель… В школе, где я преподавал, в последнее время был лагерь восточных рабочих, и я несколько месяцев исполнял там обязанности коменданта. Символическая смена профессий, я бы сказал… из учителя превратиться в надсмотрщика. Вероятно, такие метаморфозы необратимы, господин гауптфельдфебель.

— Вернитесь в строй, солдат Фишер, — приказал Пфаффендорф. — И постарайтесь выкинуть из головы весь этот бред! Иначе вы очень скоро убедитесь в том, что бывают места и похуже Восточного фронта…

Через два часа, в ободранной и забитой отступающими деревеньке, Пфаффендорф и его люди были задержаны парашютистами войск СС. Их накормили гороховым супом, выдали сухой паек, патроны и даже по пачке болгарских сигарет, но это никого не обрадовало, потому что солдаты на фронте хорошо знают цену такой щедрости. Обстановка здесь была тревожной, с севера слышался орудийный гул; кто-то сказал, что русские уже перерезали железную дорогу севернее Вол-

ковыска.

Маленький Леман чуть не плакал, — может быть, они и успели бы еще проскочить, если бы не эсэсовские «зеленые дьяволы». Парашютисты распоряжались здесь всем — задерживали отступающих, останавливали грузовики.

Когда набралось два десятка исправных машин, их до отказа набили солдатами, и колонна тронулась на север по разбитой проселочной дороге.

Солдат Алоиз Фишер, бывший учитель, бывший комендант лагеря для восточных рабочих Шарнхорст-Шуле, никогда не помышлял о том, чтобы сдаться в плен. Не то чтобы он считал это изменой своим идеалам или своей родине; идеалов, за которые он мог бы сейчас драться, уже давно не осталось, а родина была загублена так или иначе. Просто он считал, что плен — это не выход. Для него лично, по крайней мере.

Собственно, он и не нуждался в каком бы то ни было «выходе». Из той кровавой клоаки, в которую на его глазах погружалась Германия, выхода не было ни для кого. Фишер давно с этим смирился. Еще дома, в Эссене, когда начались первые массированные налеты, он понял, что все кончено. Это было в мае прошлого года, все тогда ожидали летнего наступления на Восточ-

ном фронте, и многие еще верили Геббельсу, обещавшему немцам новые победы, от которых содрогнется мир. А он, Фишер, уже не верил.

И мир действительно не содрогнулся. Содрогнулась Германия, когда — в ответ на провозглашение тотальной войны на земле — она получила тотальную войну с неба. Через год после первого террористического налета на Кёльн настал черед Рура, англичане разбомбили плотины, вызвав затопление огромной территории, потом за одну неделю сожгли Гамбург — город горел так, что зарево было видно из Бремена и Ганновера…

Вот тогда Фишер и понял, что все кончено. Его страна была обречена на гибель собственным безумием, и он был обречен вместе с нею. Жена и дочери потерялись в эвакуации этой весной, глупо было надеяться, что они еще живы. Зачем ему искать для себя какой-то персональный выход? Разве на нем, как на члене НСДАП, не лежит вина за все случившееся?

Обо всем этом он думал ночью, сидя в стрелковой ячейке и осторожно — в кулак — покуривая болгарские сигареты. Табак был хороший, он давно не пробовал такого отличного табака. Сигареты явно предназначались для офицерского довольствия, и только поспешностью

отступления и невозможностью вывезти склады объяснялось то, что это роскошное курево досталось солдатам.

Фишер вспоминал тридцать второй год, выборы в рейхстаг — июльские, триумфальные для нацистов, потом ноябрьские, когда НСДАП потеряла около двух миллионов голосов, но все же сохранила за собой парламентское большинство. Сам он голосовал тогда за социал-демократов — к движению примкнул позднее, когда оно победило. Но не из оппортунизма, нет. Действительно поверил, искренне. Да ведь и многие тогда поверили…

В молодости он ходил скорее в «красных», с фронта вернулся вообще зараженный революционным энтузиазмом, потом поостыл — коммунисты отпугивали слишком узкоклассовым подходом к проблеме социальной справедливости; их послушать, так только один пролетариат имеет право на место под солнцем. Фишеры и сами были происхождения вполне пролетарского — дед Алоиза, старый Алоиз, варил сталь у Круппа. Но он выбился в мастера, стал домовладельцем и сыновьям уже смог дать настоящее образование. Выходит, они теперь превратились в эксплуататоров? Позиция пра-

вых «соци» — Эберта, Шейдемана — выглядела куда более разумной, учитель Фишер попросту не мог представить себе общества, в котором был бы устранен институт частной собственности.

Впрочем, понимал он и всю несостоятельность политики своей партии, лояльно голосуя за нее в последний год веймарского непотребства. Потому что это действительно было непотребство, и когда на митингах коричневорубашечники Рема орали о пресловутых республиканских «свободах» — для одних свобода обжираться у Кемпинского и катать в лимузинах холеных шлюх, а для других свобода обивать пороги еврейских фирм и выстаивать в очередях за миской благотворительной похлебки, — эти парни были не так уж не правы. Тут, кстати, у них не было разногласий с тельмановцами. Разногласия возникали по поводу того, чем это непотребство заменить, какой должна стать новая Германия — когда терпеливому немецкому народу надоест наконец покорно подставлять шею под ярмо капитала.

Коммунисты решали этот вопрос просто: капиталистов к стенке или пусть катятся на все четыре стороны; но Фишер опять-таки не представлял себе, как можно обойтись совсем без

капиталистов — без их опыта, деловой сметки, умения организовать производство. Ему все чаще думалось, что нацисты подходят к вопросу разумнее: бесклассовое общество, говорили они, это утопия, классы будут всегда, потому что всегда одна часть общества будет эксплуатировать другую; надо только ограничить эту эксплуатацию, чтобы закон защищал права трудящихся, и надо принцип классовой борьбы заменить принципом классовой солидарности, чтобы и рабочий, и фабрикант были объединены пониманием общего долга перед отечеством. Капитал может быть и созидательным: рабочий вкладывает свой труд, инженер — свои знания, капиталист — свои деньги, и все вместе работают на благо Германии.

Окончательно же Фишер склонился на сторону нацистской программы, когда из России вернулся шурин, в свое время завербовавшийся туда на строительство тракторного завода. По его словам (а не верить ему не было оснований, Пауль до поездки был без пяти минут коммунист), дела в России шли из рук вон плохо: завод-то построили, и не один, и будут строить еще, за это русские взялись всерьез, — но вообще плохо. Нищета, голод, иностранные специалисты на стройках живут,

как англичане в Индии — отдельные коттеджи, отдельное от русских питание, — а в городах только-только отменили карточную систему, стали хоть свободно продавать черный хлеб (ничего больше нет). Но хуже всего то, что происходит в деревне, этого вообще не понять — даже русские не понимают, а если и понимают, так помалкивают, потому что обсуждать вслух опасно. В деревне всех богатых крестьян теперь арестовывают и целыми семьями ссылают в Сибирь или куда-то на берег Ледовитого океана, а бедных заставляют объединяться в коллективные хозяйства. Но что такое бедный крестьянин в стране, где уже давно нет ни помещиков, ни лавочников, ни каких-либо других эксплуататоров и где земля давно принадлежит трудовому народу? Очевидно, это просто лодырь или пьяница, потому что если за десять лет в таких благоприятных условиях крестьянин не сумел нажить пары лошадей и хотя бы трех-четырех коров, то он никуда не годный хозяин; и что эти согнанные вместе лодыри будут теперь делать в своих «коллективных хозяйствах» — одному Сталину ведомо…

Нет, Пауль явно не выдумывал, рассказывал без злорадства, с недоумением и болью — в России у него осталось много друзей, он полюбил эту

страну. Да Фишер обо всем этом слышал и раньше (поначалу даже не верил, думал — пропаганда). Выходит, не зря все эти теории классовой борьбы вызывали в нем сомнение — если они таким вот образом воплощаются на практике, то о чем вообще можно говорить? Тогда уж действительно лучше прислушаться к нацистам с их «классовым миром».

В том-то и беда, что так рассуждал не он один. Опыт Веймарской республики показал бессилие правой социал-демократии, русский опыт отпугнул многих, ранее склонявшихся влево. А Гитлер обещал все, чего хотела тогдашняя Германия. Голодным — хлеб, безработным — гарантированный заработок, промышленникам — высокие прибыли. Националистически настроенную молодежь, больно переживавшую бесславное поражение в войне, Гитлер увлек посулами реванша, небывалого расцвета Германии и выхода ее в первые ряды мировых держав.

...Вероятно, и в самом деле каждый народ достоин своего правительства. Немцы не могут жаловаться на то, что их обманули; после тридцать третьего года страна действительно не знала ни кризисов, ни безработицы, промышленность работала полным ходом, был наконец смыт и по-

зор Версаля. Кроме господства над миром, Гитлер все свои обещания выполнил. Он не дал немцам лишь одного: свободы. Но разве он ее обещал?

Впрочем, когда-то — в самом начале — о свободе говорилось, лозунг «Свобода и хлеб» до сих пор, по старой памяти, красуется над изображением имперского орла в заголовке «Фелькишер Беобахтер». Но набран он мелким шрифтом, да и кто обращает на него внимание? Такой же бессмысленный анахронизм, как «С нами Бог» на солдатских пряжках.

Да, на обман жаловаться не приходится. К тридцать третьему году ни Гитлер, ни Геббельс, ни Геринг уже не упоминали о свободе в своих речах, это слово вообще как-то исчезло из программы НСДАП, и никто из голосовавших за список № 1 этого не заметил. Не заметили, не обратили внимания на такую мелочь — обещанная чечевичная похлебка заставила забыть обо всем остальном. О том, в частности, что человек жив не хлебом единым, что сытый раб все равно остается рабом.

Не обратили внимания на главное, поверив второстепенному.

Так неужели за свою доверчивость расплачиваемся мы сейчас такой страшной ценой? Нет! Мы

платим за то, что, когда перед нами встал выбор — свобода или сытость, — мы выбрали последнее. Мы платим за измену принципу индивидуальной свободы. Государство сказало нам: «Свобода личности — это выдумка евреев и либералов, это псевдогуманистическое слюнтяйство, обветшалый хлам, мешающий нам строить будущее. И вы построите его, это будущее, только откажитесь от бесполезного бремени свободы, доверьтесь фюреру, который поведет вас по единственно верному пути». Так сказало государство, и мы согласились на его условия.

Мы — сами, без принуждения — отказались от «бесполезного бремени». Потому что, когда принуждения еще не было, каждый мог выбирать между сытостью и свободой. Мы выбрали и теперь за это платим. Именно за это. Кого же нам теперь винить?

Ведь и он сам, Фишер, сделал в свое время тот же выбор. Много ли стоили «свободы» Веймарской республики, сказал он себе, если на деле они сводились к свободе произвола богатых над бедными. Человеку, который уже полгода сидит без работы, не легче от того, что он может — в безуспешных поисках объявлений о найме — читать газеты разных политических направлений; пусть

лучше читает одну-единственную — но по пути на работу или после рабочего дня, возвращаясь домой, где его ждет тепло и сытный ужин…

Да, именно так рассуждал Фишер десять лет назад, еще не зная, что есть вещи куда страшнее, чем безработица. Вероятно, по-своему он был прав. Но ведь другие уже тогда понимали всю опасность сделки, предложенной нацистами, уже тогда были люди, которые спорили, убеждали, напоминали старую истину: тот, кто продает свободу за кусок хлеба, лишится потом и черствой корки.

Так оно и вышло в конечном счете. Призрачное «процветание» национал-социалистической эры оказалось золотом дьявола, которое рано или поздно превращается в золу. И такая трансмутация неизбежна, это действительно старая истина, старая как мир, в фольклоре мотив сделки с нечистой силой кочует из страны в страну. Из века в век, на всех языках народная мудрость остерегает: не садись играть с лукавым, не продавай ему душу — чем щедрее посулы, тем горше будет расплата…

Бывший учитель сидел, привалившисъ спиной к стенке окопа, чувствуя сквозь ткань кителя приятный после дневного зноя холодок не успевшей

прогреться земли. Завтра к полудню она прогреется, подсохнет, начнет понемногу осыпаться. Но он, скорее всего, этого уже не увидит. Русские были в леске километрах в полутора отсюда и, похоже, что-то на завтра готовили — оттуда весь вечер слышался шум моторов.

Сейчас там было тихо. Непривычная тишина стояла над передним краем, под звездным безлунным небом теплой июльской ночи, пахло травами, свежеразрытой землей. Фишер подумал, что единственное преимущество этой войны — в сравнении с Первой мировой — ее маневренность: войска все время перемещаются, не задерживаясь в одном месте, и солдатам удается дышать относительно чистым воздухом. Прошлая война была еще и чудовищно зловонна — огромные армии, скученные на небольших пространствах, месяцами не меняли позиций, сотни тысяч людей жили в грязи и тесноте, ели, испражнялись, умирали и гнили тут же по соседству, в наспех отрытых похоронными командами братских могилах, а то и просто едва присыпанные землей в воронках и развороченных снарядами траншеях; вся Западная Фландрия смердела от Шельды до побережья…

Тогда, после перемирия, ему казалось, что

судьба вытянула для него неправдоподобно счастливый билет — столько было смертей вокруг, а он и в лазарете побывал всего дважды, оба раза недолго. Но наверное, лучше бы не было этого обманчивого «везения». Что хорошего довелось ему увидеть и пережить за подаренные четверть века? Война все эти годы держала его под прицелом — и настигла-таки, не упустила своего, а заодно погубила семью. Семья погибла, он в этом не сомневался; хотя формально они числились эвакуированными, надежды больше не оставалось. Давно уже дали бы о себе знать, останься в живых хоть кто-то. Разве что младшая, Марихен? Да нет, о ней тоже сообщили бы. Но их война погубила, можно сказать, из милосердия к нему: чтобы теперь легче было умереть. Да, вот в этом смысле он все же выиграл. Расстаться с жизнью тогда, двадцатилетним, было бы обидно. Никто ведь и представить себе не мог, каким оно окажется — долгожданное мирное время…

Фишер знал, что завтра умрет, и это не вызывало ни страха, ни горечи. Ему незачем было продолжать жить, его поколение было обречено с самого начала. Здесь, на фронте, он часто ловил себя на мысли, что хорошо бы они все — он и такие же солдаты преклонного возраста — оказались

своего рода искупительной жертвой Беллоне, чтобы она, насытившись, пощадила молодых. Тех, кто сможет построить другую, послевоенную Германию — во что бы ее ни решили превратить победители. Немцев, понятно, не спросят, но строить-то придется все равно немцам. Этого за них никто не сделает. Вот тогда и понадобятся молодые — у кого хватит сил и способности во что-то верить.

Странно, что такие еще находятся среди старших. Сегодня веером, когда после необычно долгой задержки подвезли наконец ужин и патроны, кто-то шепнул, что в Берлине заварушка — было неудачное покушение на фюрера и одновременно несколько генералов пытались захватить штаб сухопутных сил. Никто, впрочем, толком ничего не знал, а Пфаффендорф, когда его спросили, рявкнул: «Не ваше это свинячье дело!» В этом, подумал Фишер, гауптфельдфебель несомненно прав — господа из верховного командования хоть глотки друг другу перегрызут, армии и народу на них плевать. Спохватились, красноподкладочные идиоты, решили под занавес поиграть в тираноборцев! Раньше надо было думать — а не орать «хайль», с увлечением разрабатывая для параноика план за планом и за-

хватывая страну за страной. Если бы не русские, до сих пор бы орали, как попугаи…

Фишер вытянул шею, прислушался — нет, там все было тихо. Утром, наверное, начнут. Хорошо бы его убило сразу, еще при артподготовке, а то потом придется стрелять — в кого, зачем? К русским у него было сложное чувство, в чем-то они заслуживали уважения, в чем-то жалости, пожалуй, отчасти снисходительной — впрочем, не то же ли самое можно сказать о любом народе, и в первую очередь о нас, немцах? Помнится, на французов и англичан — в ту войну — у него действительно была злость, как на врагов, затеявших войну против миролюбивой Германии. Понятно: молод был, глуп, к тому же яростная пропаганда — «Боже, покарай Англию», «француза штыком в пузо»… А вот к русским — нет. Не было тогда, нет и теперь. Какой бы ни была их система, в ней они повинны не более, чем мы — в нацизме. Не нам, пошедшим за Гитлером, судить идущих за Сталиным.

Странный они народ, это точно, в лагере он на них насмотрелся, но определенного впечатления так и не вынес. Публика, так сказать, с большим разбросом по вертикали. Там были эти жуткие сектанты (в их комнату он вообще боялся захо-

дить), были буйные бурши, при виде которых ему всегда вспоминалась песня про знаменитого средневекового разбойника с Волги — то ли Пугачева, то ли Разина, он их всегда путал. Бурши эти нагло разгуливали по городу в кальсонах, и никакие запреты и угрозы на них не действовали. Но были люди вполне приличные, европейского склада. Последняя переводчица, скажем, — с ней всегда было приятно поговорить, она действительно была очень неглупая девчонка. Хотя и занималась тем же, чем и ее предшественница. Тоже, наверное, погибла прошлой весной, но хорошо хоть гестапо до нее не добралось, как до Валентины…

Боже в небесах, подумал Фишер давно забытыми словами, сколько бы глупостей и гадостей я ни наделал в своей жизни — вольно или невольно, в ведении или неведении, — но комендантом я был не из самых худших, и то немногое, что от меня зависело, я делал. И если это чего-то стоит, награди меня завтра скорой и легкой смертью — чтобы не страдать самому и не причинять страданий другим. Пусть бы сразу, при артналете, потому что, когда русские пойдут в атаку, мне придется стрелять, я не могу сидеть, опустив руки, когда рядом будут убивать моих товарищей.

Или, по крайней мере, сделай так, чтобы ни одна моя пуля не попала в цель, не заставила плакать женщину или ребенка…

Глава 5

Здесь, в Аппельдорне, Таня стала впадать в неприличествующий комсомолке идеализм, почти уверовав в существование высших сил. Не то чтобы она наделяла их способностью управлять всей жизнью человека от рождения и до смерти, но некоторые коррективы в нашу судьбу они, похоже, время от времени вносят, что-то подправляя уже, так сказать, по ходу дела. Ну, например, если слишком затягивается полоса трудностей и трудности эти становятся непереносимыми, в самый нужный момент срабатывает очередная «поправка курса» — и можно жить дальше.

В Таниной судьбе, по крайней мере, это происходило дважды: там, дома, когда ее — арестованную уже — совершенно неправдоподобная случайность спасла на самом пороге гестаповского застенка, и вот здесь — в Эссене, после ада зимних бомбежек, после троглодитского существования в развалинах, после того, наконец, как она попалась в лапы гаденышей-хайотов. Опять

та же «случайность». А можно назвать и чудом, это как смотреть.

Теперь высшие силы решили, похоже, дать ей передышку. Просто ли сжалившись или для того, чтобы подготовить к новым испытаниям, — что зря гадать. Она научилась не требовать от судьбы слишком многого, жить наподобие кошки или собаки: в данный момент тепло, не голодно, никто не бьет и не гонит — и будь довольна. А о том, что будет завтра, думать бесполезно, все равно не узнаешь. Поживем — увидим!

Полгода назад она и поверить не могла бы, что в Германии есть еще такие мирные уголки, как этот нижнерейнский округ. В самом Клеве она не была ни разу со дня прибытия, но в другой городок — Калькар — ездила довольно часто, когда надо было привезти что-нибудь с железнодорожной станции. Иногда вместе с хозяином, господином Клоосом, иногда с кем-нибудь из стариков-рабочих; они ее для того и брали с собой, чтобы самим не таскать и не грузить. Впрочем, если было что-то действительно тяжелое — скажем, пятидесятикилограммовый мешок цемента — ей помогали, иногда и сам Клоос своей единственной рукой.

Поездки эти были праздником, даже в дождь.

Дожди здесь шли часто, но не подолгу — не успеешь вымокнуть, и снова солнце. Да и под дождем лучше все-таки ехать в телеге, чем топтаться по раскисшему полю, окучивая картофель или прорежая свеклу. До Калькара было недалеко — полчаса в один конец, — но со всякими задержками на складе или в товарной конторе время набегало, потом еще хозяин (если не очень торопился обратно) заглядывал в пивную, наказав ей далеко не отлучаться, так что почти треть рабочего дня уходила на такую поездку. А брали обычно ее, потому что она лучше других говорила по-немецки — даже научилась немного понимать здешний разговорный platt-deutsch, приводивший девчонок в полное недоумение.

Клеве в тот день всем очень понравился. Вряд ли хозяин повез их через центр, но все равно — городок нарядный, чистенький, много зелени, а главное — все стекла целы, видно, и в самом деле ни разу не бомбили. «А я вам что говорила», — торжествующе сказала Таня, когда кто-то из девчонок заметил это вслух. Калькар был поменьше и победнее, смотреть тут было не на что — несколько магазинчиков, памятник солдатам 1914–18-го, кирка, миленькая гостиница «Zum Ritter». В гостинице работали две сестры, старшая

приблизительно Таниного возраста, обе с Кубани. Они однажды сами заговорили с ней, когда она сидела на своей телеге, поджидая застрявшего в пивной Клооса, — увидели бело-синий знак и окликнули, проходя мимо. Сама она не узнала бы в них соотечественниц — одеты были как немки, с модными прическами и без опознавательных знаков. «Осты», впрочем, мало кто теперь носил, только однорукий требовал неукоснительно — придерживался еще старой инструкции. Девушки рассказали о себе (немцы прихватили их прошлой зимой, во время сталинградского отступления), звали в гости, жилось им здесь вольготно: хозяйка, бестолковая старая дева, свалила на них все дела и ни во что не вмешивалась. «Мы и постояльцев сами регистрируем, — похвастала одна, — и в полицию сведения подаем, нас уже там знают…»

Таня им не позавидовала, самой ей жилось тоже вполне сносно. Работать в поле было, конечно, тяжело — особенно поначалу, — но в остальном грех жаловаться: тишина, свежий воздух, хорошее питание. Им даже кофе давали с молоком — снятым, понятно, и кофе был ячменный, — но без всяких ограничений, хлеб тоже подавался без нормы, намазывать его можно было коричневой

тягучей патокой — «краутер» по-здешнему. В первый день девушки глазам своим не поверили при виде этого изобилия, но уже через месяц некоторые стали ворчать: немцы, мол, небось, и мясо потихоньку трескают, а нам все гороховые супы да картошку с кровяной колбасой, и краутер этот до смерти надоел, неизвестно вообще, что это такое, его, говорят, из гнилых яблок делают — подбирают всякую дрянь и варят…

Однорукий Клоос был, наверное, зажиточным бауэром даже по здешним понятиям: свиньи, дюжина коров, пять лошадей — огромных, могучих, но на вид ужасно ленивых битюгов с мохнатыми внизу ногами. Когда он привез к себе девушек из Рура, у него уже работали двое стариков из местных, молодой придурковатый дояр-голландец и три польки средних лет. Польки ведали кухней и молочным хозяйством, старики обихаживали скотину, одну из новеньких поставили к ним на подмогу, а четверым пришлось работать в поле. Таню это вполне устраивало. До зимы еще далеко, а пока куда приятнее быть на свежем воздухе, чем мыть на кухне котлы или чистить картошку.

Первый блин, правда, оказался комом — они подоспели к посадке свеклы, это и привычному человеку не так-то легко, а с непривычки

и вовсе каторга — к концу рабочего дня Таня едва могла разогнуться. Потом стало полегче, а когда со свекловичного поля перешли на луг, где пора было косить сено, крестьянская работа начала вообще казаться ей синекурой. Она теперь боялась одного: какой-нибудь очередной перетасовки, чтобы не спохватились и не отправили на завод. Опасность, кстати говоря, была не такой уж и надуманной — Клоос потому и взял себе новых девушек, что у него, оказывается, забрали работавших ранее четырех поляков из военнопленных. А куда забрали и зачем — никто не знал. На завод, скорее всего.

О других опасностях здесь как-то не думалось. Ни о бомбежках, хотя армады бомбардировщиков пролетали почти ежедневно, ни о том, главном, чего так боялась еще в Шарнхорсте. Уж теперь-то гестапо до нее не доберется — если и можно было нащупать след в Эссене, то едва ли он сохранился в тех бомбежках и пожарах. Сами немцы теперь месяцами разыскивают родных, разбросанных по стране всякими эвакуациями, что же говорить о какой-то иностранке!

Да, здесь перед нею забрезжила вполне реальная возможность как-то дожить, уцелеть, даже вернуться домой. О последнем, впрочем, она ду-

мать себе запрещала — это было бы уж слишком. Снова оказаться в Энске, увидеть Дядюсашу, Сережу? Нет, нет, это… этого даже вообразить себе нельзя! Нельзя — и ни к чему. Размечтаешься, потом самой же хуже. Довольствоваться надо тем, что имеешь.

Как хозяин однорукий был не из худших — без дела не придирался, хотя за небрежную работу мог наорать, а приставленная к коровам Светка однажды схлопотала и кнутовищем (Клоос увидел, как она валит в бункер корморезки немытую свеклу). Воскресенья были свободны, он не препятствовал ходить в гости и принимать гостей у себя; почти в каждом крестьянском хозяйстве Аппельдорна жили и работали девушки с Украины, были и ребята — хотя и в меньшем числе. У местного помещика, барона Хюльгера, русскими был вообще заселен целый дом на окраине поместья, их там было человек десять. У них обычно и собирались.

Таня сначала опасалась ходить на эти посиделки, чтобы не наткнуться невзначай на кого-нибудь из Энска; опознание было бы совсем ни к чему. Пойдут еще разговоры, а мало ли какие люди есть среди земляков, — возможно, гестапо на всякий случай и сюда подсовывает своих сек-

сотов. Но оказалось, что молодежь в основном из других областей, да и страх этот скоро вообще забылся. После того как союзники высадились наконец во Франции и дела у немцев пошли совсем плохо, она окончательно решила, что Третьему рейху теперь уже не до нее.

Долгожданное открытие второго фронта хюльгеровские хлопцы отметили с размахом — нагнали самогонки, зажарили двух зайцев, изловленных силками в баронском лесу. Их самогонка славилась среди соотечественников на всю округу, гнали ее из баронской же сахарной свеклы, и поставлено было дело широко. Аппарат впечатлял своими размерами — основой его был кормозапарочный котел вместимостью литров на полтораста, холодильный змеевик изготовили из останков английского «ланкастера». Подбитый ночным истребителем, бомбардировщик пытался, видно, дотянуть до голландской территории, но недотянул и сгорел на картофельном поле Хюльгера. Последний километр он шел уже над самым парком, круша деревья и разваливаясь на куски; так что сгорела только носовая часть фюзеляжа и два средних двигателя, а остальное — крылья с уцелевшими моторами, хвост, вырванные из своих гнезд пулеметные турели

— оказалось разбросанным по всему полю.

— …А мы, понимаешь, сразу сориентировались, — рассказывал Тане один из организаторов самогонного производства, — утром пришли — барон бегает, убытки подсчитывает, ферфлюхта, кричит, сколько одной картошки пропало, и липы, дескать, еще его дед сажал в наполеоновские времена — ну, чистый дурак, сказал бы спасибо, что томми на обратном пути гробанулся, без бомб, а то ведь тут пол-Аппельдорна вылетело бы к едреной фене вместе с его картошкой. Ну ладно, после приехал этот ас, который сбил англичанина, сняли его рядом с обломками, и барон нам говорит: «Берите лошадей и стаскивайте все это к шоссе, пусть сами забирают». А это в прошлом сентябре было, мы аккурат сахарную свеклу копать начали; Вася и сообразил — хлопцы, говорит, где какую трубочку увидите, прячьте — самогонный аппарат сделаем, а то больно хороша свекла уродилась, не пропадать же добру. Ну а трубок этих там оказалось — страшное дело, всюду сплошь гидравлика, мы ее всю и раскурочили. После натаскали свеклы центнеров десять, за домом в яму закопали, теперь до конца войны хватит…

Дело, похоже, и впрямь шло к концу — недели

через три хюльгеровские опять прислали приглашение, отметить уже наши успехи в Белоруссии. Таня не пошла — в прошлый раз ребята перепили, стали охальничать, один норовил затащить ее на чердак. Да и не только поэтому. Никто, понятно, не виноват, что одни попали на фронт, а другие — сюда; не по своей же воле ехали; а все-таки выглядит это как-то не очень хорошо. Там люди жизнь отдают, а здесь — «пейте, девчата, чтоб дома не журились!». Нашли повод для веселья!

Взяв «общественный» велосипед, она поехала в Калькар — навестить тех, в гостинице. Велосипеды были у всех членов Клоосова семейства, каждый держал свой под замочком, а один, старый, был общедоступен, но в отличие от персональных на нем были не обычные камеры с покрышками, а так называемая военная резина — свернутые в трубку полосы старого автомобильного протектора, прикрученные к ободу при помощи проволоки. Этим неуклюжим, но надежным изобретением пользовалось сейчас пол-Германии — талон на приобретение велосипедной шины был несбыточной мечтой каждого немца. Добравшись до Калькара, Таня уже жалела, что связалась с эрзац-техникой, легче было бы идти пешком.

Сестры с Кубани встретили ее как родную, обрадовались соотечественнице — у них мало кто бывает, видно, не решаются заходить в гостиницу, да и вообще советских девушек в городке почти нет. Тех, кого привозили, сразу распределяли по окрестным бауэрам.

— А нам отсюда не отлучиться, ну поверишь — ни днем ни ночью нет покою, — жаловалась Анна, старшая. — Вроде и гастхауз малюсенький, а работы полно — всегда все комнаты заняты, и куда их черти носят, ездят и ездят. Больше, правда, военные.

— От них больше всего и хлопот, — добавила младшая. — Гражданские по железной дороге приезжают, тут три поезда всего в день, а эти на машинах, когда хотят. Вдруг среди ночи — только заснешь — опять кто-то в двери колотится… Они там во Франции привыкли, только ночью и ездят, днем ни одна машина на дорогу не сунется…

— Из-за партизан? — спросила Таня.

— Не-е, какие партизаны, самолетов боятся!

— А что вообще рассказывают? Или не говорят ничего?

— Да кто как, больше, конечно, помалкивают. А другой, как выпьет, разговорится — все, мол, капут, шайзе, у них теперь разговор один. А у вас

там чего слыхать?

— Мы-то и вовсе ничего не знаем, — сказала Таня. — Так, слухи всякие. Ну и сводки, конечно, — все-таки из них тоже можно что-то понять. Говорят, в Белоруссии большое наступление.

— Наше?

— Ну не немецкое же!

— А черт их знает, раньше-то они каждое лето наступали. Может, действительно капут им приходит?

— Это давно видно! Здесь вам, наверное, просто не так заметно, потому что не бомбят. А посмотрели бы, что делается в том же Руре.

— Раньше каждую ночь на чердак вылазили и смотрели, окошки как раз на ту сторону выходят.

— Это не с чердака надо видеть и не за пятьдесят километров. — Таня помолчала. — Нас когда первый раз разбомбило… в Штееле еще, ну там никто не погиб — на работе все были… Перевели потом в Эссен, в казармы Принца Евгения. Вот там… никогда не забуду, наверное, до конца жизни… На третью ночь — объявили только фор-алярм, с верхних этажей никто даже спуститься не успел — да, а там еще до нас из других лагерей много было народу, и раненые тоже, все вместе, — так

вот, неожиданно вдруг начали сбрасывать, и одна из первых бомб попала в здание, с угла. Те, кто был там, они хоть погибли сразу, все левое крыло обрушилось, — говорят, это была люфт-торпеда, от нее такая ударная волна, что целый квартал может снести. В общем, света нет, паника, мы раненых этих начали как-то вниз перетаскивать — в убежище не протолкаться с ними, стали их прямо во дворе укладывать — думаем, на открытом месте не завалит, а от зенитных осколков можно соломенными тюфяками прикрыть, хоть какая-то, а защита. Они там все во дворе и сгорели.

— Как так — сгорели? — оторопело спросила Анна.

— Очень просто, как обычно горят. От фосфора. Вы с чердака не видели? Огонь вдруг так вот загорается в ширину, цепочкой, и медленно идет вниз, струйками такими — ну, вот как дети дождик рисуют, только не косо, а прямо вниз…

— Видали, а как же! Еще думаю — чего это, вроде горящее что течет…

— Правильно. Это и есть желтый фосфор, его сбрасывают в таких канистрах, на определенной высоте канистра взрывается, и фосфор летит во все стороны. Его еще в зажигалках применяют,

но бомба — это ладно, ее хоть можно щипцами и в воду, а вот когда сверху, дождиком… Там ведь даже не чистый фосфор, а смесь какая-то, вроде клея, его — если на кожу попадает — и не счистить ничем, и не погасить. Если попало на руку, надо только в воду опустить, тогда гаснет, а вынешь — снова загорается.

— Ой, ну тебя, Танька, рассказываешь такое, что спать не буду сегодня! Не думай ты про это, вырвалась оттуда и ладно — здесь хоть дожить можно до конца. Думаешь, побьют их в этом году?

— Запросто. — Таня пожала плечами. — Второй фронт открыли, куда им теперь деваться.

— Да-а-а… — Анна покачала головой, задумалась, потом спросила, спохватившись: — Может, пива хочешь? Темного привезли — хорошее, сладкое…

— С удовольствием. Жарко сегодня, я еще с велосипедом этим дурацким связалась…

— Сходи, Надь, принеси там похолоднее. А я вот теперь все думаю, — продолжала Анна, когда младшая вышла, — война кончится — с нами-то что будет?

— В каком смысле?

— Чего делать-то будем, вот в каком.

— Странный вопрос. Вернемся домой, учиться будем, работать… Хотя, конечно, поступать куда-нибудь будет трудно, я в университет думала, а теперь? Наверное, все перезабыла…

— Да это… — Анна махнула рукой. — Я за другое беспокоюсь! По головке-то нас, скажи, не погладят, а? Они ведь как смотрят — был у нас один такой в Краснодаре, я его как-то встречаю под ноябрьские, ну как обычно — с наступающим вас, говорю, а он мне: ты-то уж не поздравляла бы, ты у немцев работаешь, другие, небось, праздники справляешь, ихние! А потом еще ехидно так: ничего, говорит, наши скоро вернутся, вот тогда придется ответ держать…

— А ты у немцев работала?

— Ну работала — посуду мыла на кухне! А чего было делать? Папусю нашего еще в сорок первом убило, только взяли, и через месяц похоронка пришла, мамуся все болела, мы с Надькой и крутились, как могли. А даром и советская власть никого не кормила, неужто немцы бы стали? Но напугал он меня тогда, паразит, я прямо не в себе была… Мы ведь через это и в отступление с немцами поехали, — добавила она, поколебавшись. — Сдуру, наверное. А теперь и вовсе!

— Так вы что — добровольно сюда?

— Да нет, сюда-то забрали. С Украины уже, с Первомайска, мы там мамусю нашу похоронили, прошлой весной, а вскорости нас через арбайтзамт замели. Нет, я про то говорю, что мы из дому с ними уехали. Может, они и заставили бы, там не понять было — кого заставляли ехать, а кого нет, по-разному случалось. А с нами как вышло? Они после Нового года засобирались, под Сталинградом уже ихние дела были совсем плохи, мне шеф и говорит: давай, мол, решай, с нами поедешь или будешь ждать красных. А сам смеется, Сталин, дескать, вам капут сделает, он тех не любит, кто в оккупации был, всех за это дело в Сибирь… Я сразу того вспомнила, который мне грозился, и сама не знаю, что делать. Может, если б не мамуся, мы с Надькой и остались бы — вины-то за нами и в самом деле не было, ну потаскали бы да отпустили, что с нас взять! А как подумала, что если нас заберут, то она — больная — одна останется… Короче, испугалась я. Со страху и согласилась, а теперь что будет, не знаю. Соседи-то все видели, как мы грузились… Сами мы потихоньку ушли бы, а мамуся не ходила уже, шеф на грузовике за нами прямо к дому подъехал. И еще солдатам говорит: разгребите, мол, там в кузове, чтобы места немного освободить. Ну, сама понимаешь…

Тебя, Надька, только за смертью и посылать! — прикрикнула она на вернувшуюся с бутылками сестру. — Ты бы еще час провозилась!

— Да там этот длинный уезжает, счет сказал выписать.

— Какой еще длинный?

— Да с Дрездена который, Ридель, что ли.

— А, этот кобель! Уехал? Ну и ладно, надоел он мне… Давай, Тань, пиво хорошее, свежее. Еще бы сюда пару-другую градусов, совсем было б здорово.

— Не напоминай про градусы, меня тут недавно самогоном угощали, брр… — Таня поежилась от омерзения.

— Откуда самогонку-то взяли?

— Варят у нас ребята, там такое производство! Упал английский самолет, а они сделали из него самогонный аппарат.

— Это который в Аппельдорне сбили, в прошлом году? Читала, об этом в местной газете было. Так они его, говоришь, под аппарат приспособили? Ну, мастера! — Анна рассмеялась. — Я тебе точно говорю — советский человек нигде не пропадет. И мы с тобой, Надь, в Сибири бы не пропали, зря все-таки сдрейфили.

— Что теперь говорить…

Ридель, подумала Таня, маленькими глотками отпивая холодное пиво. Ридель, Ридель… Где она могла слышать эту фамилию? Но девчонки бедные влипли. Как их угораздило уехать с отступающими немцами? Теперь действительно могут обвинить в чем угодно. На нее ведь тоже косо все смотрели, соседи в таких случаях первые обвинители… Хорошо хоть многие знают, что она работала по заданию, — Володя, сам Кривошеин, Лисиченко, Сергей Митрофанович тоже наверняка догадывался после того случая, когда Володя застрелил полицая. А то ведь тоже могли бы потом приписать все, вплоть до измены родине. И поди доказывай, что ты не верблюдица. Но что за Ридель, почему…

— У вас ведь немцы недолго были? — спросила она.

— Не, недолго. Они в середине августа пришли, а в январе уже драпать начали. Нас в конце января и вывезли.

Через Ростов ехали, там чего было — не поверишь. Сперва нас в Азов повезли — там вроде ледовая переправа была прямо на Таганрог; приехали, и аккурат оттепель, туман, развезло все — нет, говорят, через залив ехать опасно, давай на Ростов. А как в Батайск въехали — мамочки

родные! Ты те места знаешь?

— Да нет, в общем. Проезжала два раза поездом, перед войной, но не запомнилось.

— Там, как из Батайска на Ростов ехать, дорога идет через пойму, километров с пять, так чтобы дорогу не затапливало, она по дамбе проложена. И поезда тоже, прям рядом с шоссейкой. То есть съехать нельзя ни вправо, ни влево, никакого объезда. И вот въехали мы в Батайск — со стороны Азова, — а там машины сплошь одна к другой впритык, да в три ряда, и все туда, на Ростов. Веришь — час простояли, не совру, пока не втиснули нас в колонну, и так пошло — десять метров проедем — станем, обратно ждем. Минуту едем — полчаса стоим. В Батайске были утром, а в Ростов въехали уже аж ночью, весь день на дамбах этих простояли. Это, ты скажи, еще наше счастье, что оттепель была — а ну как распогодилось бы да мороз ударил? Первым делом мы бы позамерзали все, на кузове даже брезента не было, а главное — это что наши бы там всю геть поразбомбили, если бы погода была ясная. Туда несколько самолетов послать — такого бы нашинковали, куда там!

— Да, это действительно повезло, — рассеянно сказала Таня. — Но вообще, я думаю, вам бояться нечего — ну, объясните, как получилось, расте-

рялись просто, чего тут не понять? В крайнем случае можно сказать, что немцы заставили ехать. Угрожали, и вы за маму испугались, самое простое объяснение! Вам ведь только это и могут в вину поставить, что уехали с ними. А что работали — естественно, а что было делать? Не в полицию же пошли служить.

— Да господь с тобой, какая полиция! При кухне вкалывали, уж это-то все знали.

— Тогда тем более, если есть свидетели.

— Свидетели-то есть. — Анна вздохнула. — Да что толку? Верно у нас до войны говорили — был бы человек, а статья найдется. А теперь-то и вовсе! Кормила, скажут, фашистских оккупантов, а их надо было крысиным ядом травить.

— Брось ты, сама себе какие-то страхи придумываешь…

На обратном пути — она уже доехала до развилки с указателями на Ксантен и Гох — Таню вдруг ужалило: Ридель, ну конечно же! Господи, да уж не тот ли это, что передал тогда письмо от Кирилла Андреевича, или просто совпадение? Но Надя ведь, кажется, сказала — Ридель из Дрездена, если только ей не послышалось… Догадка была так внезапна и ошеломительна, что Таня чуть не свалилась с велосипеда — едва удержалась,

завиляв передним колесом.

Съехав на обочину, она постояла минуту, упираясь в землю ногой. Ну, допустим, это действительно тот самый, — и что тогда? Да не все ли ей равно! Смешно в самом деле — так из-за этого разволноваться… Щеки у нее горели (в такую жару только и ездить на этих дурацких «шинах»), а сердце колотилось так, что дыхание перехватывало… Нет, но все-таки интересно, не может быть, чтобы это действительно оказался тот Ридель! Развернувшись, она погнала громыхающий и подпрыгивающий велосипед обратно в сторону Калькара.

Анна вышла ей навстречу — наверное, увидела в окно.

— Забыла чего? — спросила она. — Или техника отказывает?

— Да нет, нет… Сейчас скажу, дай отдышаться. — Таня перевела дыхание, обмахиваясь растопыренными пальцами. — Слушай, у вас тут — ты сказала — человек один останавливался, сегодня уехал. Просто мне фамилия показалась знакомой — как его — Ридель?

— Ну, был, кобель длинный, с Дрездена.

— Из Дрездена — это точно? Ты не ошиблась?

— Да пойдем, в книге посмотришь, чего я тебе

врать буду? Я по-письменному-то немецкий не очень, так они сами себя вписывают… Идем, покажу!

В прохладном полутемном вестибюле, пахнущем паркетной мастикой и старым сухим деревом, Анна включила свет над конторкой, раскрыла регистрационную книгу и стала водить пальцем по странице.

— А, вот он, гляди.

Она подозвала Таню. Та подошла, затаив дыхание. В указанной строчке было написано четким аккуратным почерком человека, привыкшего иметь дело с чертежами: Dr. Ing. Ludwig Riedel, «Wernicke S/Bau», Dresden.

— Дринг, — фыркнула Анна, — это уж точно — выпивоха еще тот, с-под земли бутылку достанет, ему и карточки нипочем. Знаешь, что ли, его?

— Сама не пойму… Слушай, а что он говорил?

— А не говорил ничего, руки только распускал, паразит. Сперва ко мне начал подкатываться, ну я ему живо мозги вправила, так на другой день смотрю — он уже Надьку за титьки лапает.

— Я понимаю. Но если ты говоришь, что подкатывался, значит какие-то разговоры все-таки были? Что-то же он о себе должен был сказать? Ну, хотя бы — зачем приехал, в отпуск или по

делам? Дрезден ведь далеко, это не то что из какого-нибудь Крефельда сюда заглянуть…

— Погоди. — Анна подумала. — Да, чего-то он сказал такое… не то, мол, строим тут у вас, не то — будем строить. Насчет американцев еще говорил — там, дескать, одни юды и потом эти, как их, ну — плутократы. И надо, мол, крепить против них оборону, чтобы наш могучий рейх еще простоял тысячу лет. Ну, это он, по-моему, дурочку валял — как-то все так, с подковыркой…

— Не говорил, что собирается еще приехать?

— Да не помню уже, вроде не слыхала про это. А вообще-то, если они и всамделе тут стройку задумали, так приедет, ясно. Когда увижу, скажу — фрейлейн тут, мол, одна вами интересовалась, сразу стойку сделает, будь уверена.

— Нет, нет, ты что! Я вот просто думаю… Если приедет — на всякий случай — как бы это устроить, чтобы вы мне дали знать…

— Да чего тут устраивать, Надька прибежит, скажет.

— Да, пожалуй. А ему смотрите не проговоритесь, и Надю предупреди, чтобы не сболтнула…

Снова оседлав велосипед, Таня всю дорогу до Аппельдорна раздумывала, что делать, если Ридель и впрямь появится. Конечно, другой такой

возможности не будет — узнать о Кирилле Андреевиче, о том, что же в конце концов произошло там в тот день, когда ее привезли в гестапо, что за стрельба была возле комиссариата и правда ли, что тогда застрелили Кранца… Но это ведь значит — раскрыть себя! Кто знает, что он за человек, этот Ридель… Кирилл Андреевич, помнится, отзывался о нем хорошо — или это он о ком-то другом говорил? Да нет, вроде о Риделе; это когда она рассказала ему потом, как он позвонил ей насчет письма, а фрау Дитрих возмутилась — почему это ей звонят на службу по личным делам… Да, и он тогда сказал, что этот Ридель… не немец, кстати, а австриец… что он порядочный человек и не питает к нацистам симпатии…

А все-таки страшновато! Был порядочным, но мало ли что могло произойти с тех пор. Страшно еще и потому, что вдруг узнает от него плохое. Что? Да что угодно может узнать! Ведь самый главный вопрос: почему ее тогда вообще арестовали? В Энске должно было что-то случиться, если ночью позвонили Ренатусу; то есть понятно, что она провалилась — Ренатус же сам ей об этом сказал, — но если узнали о ней, значит провалился и кто-то еще… Господи, а что, если и бедный «марсианин» тоже влип! Все они, в конце

концов, знали, на что шли; может, не представляя до конца, она-то сама — это уж точно! — не представляла совершенно; но все же, все же... Кириллу Андреевичу и вовсе в чужом пиру похмелье. И втравила его она. Нет, она должна будет спросить у Риделя. Если, конечно, хватит смелости. Может и не хватить. Никогда она не была героиней. Даже дома. А здесь и подавно! Дома, говорят, стены защищают. Кто и что защитит ее здесь?

На подворье Клооса было по-воскресному тихо, ушедшие в Бутцлар (так называлось поместье Хюльгера) еще не вернулись. Таня без аппетита поела в пустой кухне, помогла Светке накачать воды для коров и неожиданно для самой себя решила тоже пойти в гости к баронским хлопцам. Сегодня она просто не могла оставаться наедине со всем тем, что нахлынуло на нее при известии о Риделе.

Старый крестьянский домишко, где барон поселил своих остарбайтеров, стоял на отшибе, поблизости никто не жил, и воскресные гульбища не привлекали внимания. В усадьбах поменьше работницы жили под одной крышей с хозяевами, как правило — где-нибудь над хлевом или конюшней, поэтому посещения посторон-

ними лицами если и разрешались от случая к случаю, то всегда с кучей запретов и оговорок: не шуметь, не засиживаться позже определенного часа и уж конечно — боже упаси! — не курить. Курение запрещалось всюду самым строжайшим образом, щелястые чердачные помещения в этих столетних постройках были и в самом деле крайне огнеопасны.

А в «общежитии» и пили, и курили — бывший огородик за домом был занят сплошь самосадом, к нему привыкли даже некоторые немцы победнее, и за две-три связки хорошо провяленных на чердаке листьев всегда можно было выменять старые рабочие штаны или пару деревянных башмаков-сабо — «клемпов», как их называли в этих местах. Сегодня здесь было накурено так, что у Тани защипало глаза, едва она вошла.

— Хоть бы окошки пораскрывали, — сказала она, — а то закупорились и сидят как пауки.

— Да мы тут наши песни пели, — объяснил Вася, — все-таки шоссейка рядом проходит, вдруг какие фанатики будут ехать, услышат.

— Нету у них других забот — слушать, что вы тут горланите. — Таня распахнула одно окошко, другое, протиснулась на предложенное место за столом и опять оказалась рядом с давешним

своим ухажером Колькой.

Тот сразу налил полкружки, она храбро зажмурилась и отхлебнула сколько смогла. О Риделе надо было забыть хоть ненадолго.

— Ты закусывай, закусывай, — заторопился Колька, всовывая ей в руку большой теплый огурец, — а то с непривычки…

— Ой, да отстань ты, — едва выговорила она, когда вернулось дыхание, — неужели нельзя эту гадость чем-то разбавить, это же с ума сойти — пить такое…

— Да я уж говорил — может, краутера туда намешать, вроде ликера получится.

— Рвотное это получится, а не ликер, мне уже от одной мысли нехорошо. Девочки, передайте там луку!

Лук перебил мерзкий вкус свекольного самогона, и Таня вдруг почувствовала себя совсем неплохо. Если бы питье не было связано с такими отвратными вкусовыми ощущениями, можно было бы, пожалуй, понять пьющих. В известные моменты, конечно. Когда не хочется думать, это действительно помогает. Или когда думать страшно. А ей было страшно с того момента, когда она — после рассказа Анны — подумала, как хорошо, что есть люди, знающие обстоятельства

ее поступления в энский гебитскомиссариат. Иначе ее положение могло бы оказаться куда хуже, чем у этих двух дурочек.

Мысль была как бы успокоительная, но она же — где-то подспудно — обожгла ее не осознанным еще страхом, потому что подразумевала и альтернативную возможность: что никто из свидетелей до конца войны не доживет и никакого свидетельства не оставит. Если рассуждать трезво, ее провал в Энске просто не мог быть отдельным, лично ее провалом; немцы наверняка именно потому ею и заинтересовались, что до этого провалился кто-то другой, знавший ее. Провалы случались и раньше — одного парня поймали с листовками, засыпался и тот служащий Горуправы, что снабжал их бланками пропусков… Но это ведь было, кажется, еще в мае; а ее арестовали в начале июля, так что едва ли тут есть какая-то связь. Значит, одновременно с ней или чуть раньше — схватили еще кого-то. Но кого?

— Слышь, — Колька подтолкнул ее локтем, — давай на чердак полезем, я тебе чего покажу…

— Спасибо, не горю желанием увидеть.

— Да нет, ты послушай!

— Ты мне с этим чердаком уже прошлый раз надоел, ну сколько можно, — с досадой сказала

Таня. — Что тебе, больше не с кем?

— А может, я с тобой хочу, — упрямо сказал Колька.

— Вот уж обрадовал!

Тут она заметила, что соблазнитель целится налить ей еще, и вовремя успела отдернуть кружку. Самогон пролился на стол, кто-то запротестовал против такого расточительства.

— Это ваш Коленька пытается меня споить, — излишне громко объяснила Таня. — И на чердак зачем-то зовет.

— Не-е-е, — Вася поводил перед собой толстым пальцем, — с ним не ходи! Этот, Тань, не женится, дохлый номер.

— Да дура она! — закричал Колька. — Я ей журналы старые хотел показать — их там целый ящик, еще довоенные, со снимками. Чего-то там и про Испанию, и как Риббентроп в Москву приезжал…

— Ври больше, — сказала Таня.

— Гад буду, — заверил Колька, — не веришь?

Таня отрицательно помотала головой. Предложили танцевать, кто-то стал на губной гармошке наяривать «Розамунду», за столом сделалось свободнее.

— Пошел бы станцевал, — сказала Таня.

— Не умею я, — признался Колька.

— Что тут уметь — фокстрот, двигай ногами в такт, и вся работа. Эх ты, а еще девушек на сеновал заманиваешь. Не стыдно?

— Да ладно тебе.

Колька обиделся, надулся, стал смотреть в сторону. Тане стало его жаль.

— Там что, действительно есть старые журналы?

— Ну гад буду, я же сказал!

— Хорошо, проверим.

Колька взобрался по приставной лестнице первым, сверху подал руку. На чердаке пахло нагревшейся за день черепицей, лежалым сеном и — слабо и терпко — табаком от развешенных листьев прошлогоднего урожая.

— Где же твои журналы? — спросила Таня, оглядывая пронизанную косыми пыльными лучиками полумглу вокруг.

— А вон он, ящик!

— Тащи сюда, там темно…

Таня высунулась в слуховое окошко — небо, разлинеенное бесчисленными белыми полосками, привычно гудело, полоски расширялись и постепенно таяли, но впереди они были четкими и копьевидно-узкими, и — если присмотреться

— на острие каждой можно было разглядеть едва заметный, словно прозрачный, серебристый крестик. Разбросанные беспорядочным роем, «крепости» не спеша плыли на запад.

— Вот и ами уже летят обратно, — сказала Таня. — Тревогу разве объявляли?

— Да с час уже, — отозвался Колька, подтаскивая большую картонную коробку. — Проспала?

— А, здесь как-то на это внимания не обращаешь…

Провожая взглядом самолеты, она с содроганием представила себе, что сейчас творится там, откуда они возвращаются. А через несколько часов, только стемнеет, начнут реветь английские ночные бомбардировщики. Ревут они так, что иной раз не заснуть. То ли моторы у них мощнее, то ли летают ниже. Да, наверное, ночью можно не забираться так высоко…

— Ну, глянь, я тебе чего говорил?

Таня присела на корточки — коробка действительно была набита старыми иллюстрированными журналами, и на развороте лежащего сверху ей сразу бросились в глаза два интересных снимка: Молотов и Риббентроп идут рядом по перрону вдоль поезда, а на другом группа немецких летчиков на приеме у генерала Франко; этого Таня

сразу узнала по сходству с довоенными карикатурами — маленький, толстый, крючконосый — и еще по остроугольной пилотке с кисточкой. У нас, когда стали приезжать испанские дети, такие пилотки тоже вошли в моду — белые, пикейные, с кисточками красного шелка…

— Это кто — Молотов вроде? — спросил Колька над самым ухом. — Где это он?

— В Берлине, по-моему…

Колька, словно этот ответ разрешил все его сомнения, сказал «а, ясно» и, облапив Таню, стал деловито расстегивать на ней платье. Потеряв от неожиданности равновесие, она села на пол.

— Да ты совсем очумел, — сказала она скорее изумленно, чем рассерженно; в сущности, ей было смешно, она едва не рассмеялась, но вовремя сообразила, что он может воспринять это как поощрение. — Отстань, ну!

Колька тут же отстал.

— Просить не буду, — объявил он, помолчав. — Подумаешь, цаца!

— Заткнулся бы, Казанова из Шепетовки. — Таня стала приводить себя в порядок, одной пуговицы не хватало, хорошо еще, нашлась тут же, не закатилась. — Сходи-ка принеси иголку с ниткой!

— А я откуда возьму? — огрызнулся Колька.

— А откуда хочешь. Да не ворчи, не ворчи, не то я тебе так поворчу, что ты вниз головой отсюда спикируешь!

Колька нехотя полез в люк. Таня снова взяла верхний журнал, полистала ломкие от времени страницы. Обложки не было. Какой же это год — тридцать девятый, сороковой? Да, сороковой — вот это снято в Париже, виден флаг со свастикой на каком-то здании, а вдали проступает в тумане Эйфелева башня. Ну правильно, Молотов же ездил в Берлин осенью сорокового — ей это хорошо запомнилось, Сережа все допытывался, что думает по поводу этих переговоров Дядясаша. Откуда ей было знать? Дядясаша никогда не говорил с ней на такие темы…

Уронив журнал на колени, она смотрела в окно. Самолетов было уже немного, и они пролетали ниже. Наверное, поврежденные, отставшие. Одна «крепость» густо дымила обоими левыми моторами, она летела так низко, что можно было различить опознавательный знак на боку фюзеляжа, и другие все время обгоняли ее. Господи, что это было за время — осень сорокового… Чуть больше полугода оставалось до начала войны, а они жили в странном каком-то ослеплении, не

было ни страха, ни предчувствий, беспокоились из-за невыученного урока, бегали в библиотеку, целовались в подъезде. Теперь просто не верится, что можно было так жить, ведь война уже шла рядом! Да и вообще никто никогда не сомневался, что рано или поздно придется воевать против фашистов. А уже на пороге, когда оставалось совсем чуть-чуть, — все вдруг успокоились, поверили…

На страницу капнуло. Таня утерла глаза кулаком с зажатой в нем пуговицей и крепко зажмурилась, но слезы все равно просачивались, текли, обжигая щеки. Она согнулась, почти свернулась клубком, уткнувши лицо в журнал, сцепила зубы, чтобы не разреветься в голос. Она сама не понимала, по ком или по чем плачет — то ли по той осени четыре года назад, по себе, по Сереже, по Дядесаше, то ли по людям в неизвестном городе, которые в эту минуту сходят с ума, задыхаются и горят заживо среди грохота рушащихся стен и рева пожаров, то ли по летчикам в этом горящем самолете, отчаянно пытающимся продержаться, дотянуть до спасения. Или, наверное, просто потому, что так ужасно, так безнадежно было все вокруг нее в этом обезумевшем мире, совершенно безнадежно, несмотря на все ее сегодняшнее «благополучие». Если бы она действительно

могла превратиться в собаку или кошку, чтобы уметь довольствоваться сиюминутным, не представляя себе его сиюминутности, зыбкости, непрочности! Иногда ей думалось, что дело даже не в том, какой в конечном счете окажется на этой войне твоя личная судьба; все, кто жил в эти годы, кто видел то, чего нельзя — недопустимо, непозволительно! — видеть людям, все они уже мечены какой-то печатью. Все одинаково мечены, и теперь уже не важно, кто погибнет, а кто доживет до мира и останется жить дальше. Первым, может быть, даже легче. Когда-нибудь это поймут выжившие, обреченные носить бремя своей страшной памяти, — никогда уже не смогут они воспринимать жизнь так доверчиво и радостно, как воспринимали раньше — до того, как их смыло водоворотом…

Глава 6

События 20 июля не нарушили жизнь Дрездена ни в малейшей степени, даже об арестах не было слышно — хотя, конечно, кого-то наверняка посадили. Дрезденцы уже задним числом узнали о беспорядках в имперской столице, в Вене и даже — верх абсурда! — в Париже, где кто-то из

заговорщиков в штабе командования «Запад» поторопился разоружить часть войск СС и взять под стражу местное гестаповское руководство. Двадцать первого старый Вернике пригласил к себе ведущих сотрудников фирмы и, стоя навытяжку за письменным столом, произнес приличествующую случаю речь, выразив чувство той глубокой радости, которая не могла не вспыхнуть в каждом истинно германском сердце при известии о чудесном спасении фюрера, едва не ставшего жертвой преступного замысла кучки предателей и авантюристов.

— Авантюристы — точное определение, — сказал Ридель, выходя из кабинета шефа, — тут я со стариком полностью согласен.

Болховитинов промолчал, сам он не мог еще разобраться в своем отношении к случившемуся. На первый взгляд — да, героический поступок, особенно того полковника, который осуществил покушение. Вопрос лишь, зачем все это было затеяно? Где эти тираноборцы были раньше, почему только теперь — проиграв войну на всех фронтах — сообразили, что от Гитлера надо избавляться?

Скорее всего, генералы хотели себя обелить, продемонстрировав враждебность нацизму. Хотя напрашивалось и другое объяснение, опи-

рающееся на особенности типично армейской психологии с ее традиционной аполитичностью («Армия вне политики!»): Гитлер был хорош, пока созданная им система обеспечивала безотказную работу военного механизма, но стал помехой, когда система проявила неспособность функционировать и далее так же эффективно. В таком случае, вероятно, сама идея государственного переворота сводилась к тому, чтобы сохранить этот механизм, уберечь от полного уничтожения. Но неужели они могли всерьез надеяться, что после такой войны кто-то сможет мириться с существованием вооруженной Германии?

Так или иначе, заговор был затеей более чем сомнительной. И хорошо, пожалуй, что ничего из этого не вышло, ничего хорошего выйти не могло в любом случае. Сомнительно даже, привело ли бы это к окончанию войны. У Риделя был недавно странный разговор с одним случайным собутыльником, майором инженерной службы; они крепко поддали, вылакав вдвоем литровую бутылку «болса», и майор, узнав, что фирма получила заказ-контракт на строительство оборонительных сооружений в междуречье Ваал — Маас, заявил с таинственным видом, что сооружения эти им, скорее всего, придется

строить совсем с другой стороны — где-нибудь по Висле или Одеру. Очень может быть, сказал он, война в самом скором времени примет совершенно новый оборот — Западный фронт вообще перестанет существовать, все будет решаться на Востоке…

С майором этим они пьянствовали где-то в Голландии, куда Ридель ездил по поводу нового контракта, и он не придал словам собутыльника никакого значения — мало ли что болтают за рюмкой. Но после двадцатого вдруг вспомнил и рассказал Болховитинову — оба они согласились, что майор, видимо, был к чему-то причастен и отчасти знал, что говорил.

— Но ведь тогда это значит, — сказал Ридель, — что их превосходительства просто собирались заключить сепаратное перемирие с англо-американцами и все силы бросить на Восточный фронт! Представляешь, к чему бы это привело? Во-первых, распад коалиции — золотая мечта Адольфа! — а во-вторых, один на один с русскими мы могли бы драться еще и два года, и три, и вообще конца не было бы этому бардаку! Теперь-то хоть дело явно идет к финалу.

Да, дело шло к финалу, события в Берлине показали это особенно наглядно. Думая о прибли-

жающемся конце войны, Болховитинов снова и снова задавал себе вопрос — что же теперь будет с ним самим? Продолжать жить как ни в чем не бывало, где-нибудь в Праге или Париже, представлялось уже немыслимым. Что же тогда — проситься в Советский Союз? Пустят ли, вот вопрос… Куприну позволили репатриироваться еще до войны, потом уехала Цветаева, так и не дождавшись от немецких властей разрешения вернуться в Прагу. А что будет теперь? Участникам Сопротивления (их немало и во Франции, и в Бельгии) советское подданство, скорее всего, предоставят, — а другим? Сомнительно, очень сомнительно. Уж ему-то, работающему у немцев, на что вообще можно рассчитывать?

Останься он тогда в Энске и не случись этого несчастья с группой Кривошеина, все было бы иначе. Сейчас он уже, наверное, воевал бы, носил русскую форму. Как все было бы просто, господи, от какой малости зависит человеческая судьба — случайное стечение обстоятельств…

А теперь уже поздно что-то предпринимать. Во Фрейтале ничего не получилось (да и на что можно было всерьез рассчитывать?), с рабочими отношения под конец как-то наладились, видимо, они ему все-таки стали доверять больше,

Кузьмич на прощание даже зажигалку самодельную подарил, но этим все и кончилось. А он-то размечтался, видел уже в своем воображении чуть ли не целое подполье, связь с другими группами, такую развел маниловщину…

И тут еще — в довершение всего — перспектива угодить в Голландию. Как нарочно! О том, что фирме не отвертеться от военного строительства в прифронтовой зоне, поговаривали уже давно; учитывая географию, логично было бы предположить, что речь пойдет о какой-нибудь Силезии. Старик Вернике, однако, сманеврировал в другую сторону — решил, видимо, на этот раз держаться от русских подальше. Опять незадача, ведь в Силезии можно было бы уйти к полякам!

Начался август. Газеты скупо сообщили о «спровоцированных безответственными элементами» беспорядках в Варшаве, которые успешно подавляются имперскими силами безопасности, опубликовали смертный приговор по делу первой группы заговорщиков, в их числе был один фельдмаршал, а также генерал-танкист Гепнер — тот самый, осенью сорок первого пообещавший фюреру с ходу взять Москву фронтальным ударом.

Придя однажды на работу, Болховитинов услы-

шал, что шеф о нем справлялся и ждет у себя.

— Мой дорогой Больхофитинхоф, — сказал старик, усадив его в кресло и предложив сигару, — у меня для вас прекрасная новость!

— Это насчет Голландии?

— Вы, как всегда, проницательны, я восхищаюсь вашей способностью понимать с полуслова.

— Помилуйте, у нас уже несколько дней только и разговоров, что об этом новом контракте с Организацией Тодта.

— Кстати, секретном! — Вернике поднял палец. — Вот вам пример беспечности, хотя нам с каждой афишной тумбы напоминают, что враг подслушивает. Ах, эти дамы, эти дамы. Так как вы насчет того, чтобы поработать в новой обстановке?

— Почему именно я?

— О! Вы человек молодой, энергичный, не обремененный семьей… И так сказать, в силу обстоятельств вашей биографии, насколько я понимаю, склонный к перемене мест. Чего не скажешь о других наших сотрудниках — тех немногих, которым фирма могла бы поручить эту работу. Дорогой Больхофитинхоф, у нас осталось четверо дипломированных инженеров, но они именно потому и остались, что мало на что

годны, иначе, как вы понимаете, уже давно были бы на фронте. Действуя методом исключения, перст судьбы указывает на вас и господина Риделя — он, хотя и не молод, еще бодр и активен. Говоря по правде, мне не хотелось бы тревожить наших ветеранов — люди они многосемейные, к некоторым еще приехали эвакуированные родственники, им действительно трудно отрываться от семьи в столь тревожное время. Пусть уж спокойно досидят здесь до конца войны.

— Так Ридель тоже едет?

— Вне всякого сомнения, — заверил Вернике. — Господин Ридель, как это ни опечалит некоторых наших сотрудниц, тоже едет.

— Ну что ж, — сказал Болховитинов, — если надо…

— Да, да! Это именно надо, этого настоятельно требуют интересы обороны рейха.

— С таким аргументом не поспоришь, — согласился Болховитинов. — Но каков характер работ, обозначенных в контракте?

— Между нами говоря, — Вернике понизил голос, — работы простейшие. Они именуются «фортификационными», но речь идет о самых обыкновенных земляных работах — противотанковые рвы главным образом.

— И для этого вам надо посылать туда своих инженеров?

— Вы правы, вполне мог бы справиться любой унтер-офицер из саперов. Но либо этих унтер-офицеров тоже не хватает, либо тут просто сработала привычка неукоснительно следовать параграфам инструкций. Так или иначе, контракт предусматривает обеспечение инженерного надзора за ходом работ, поэтому нет смысла пререкаться с могущественным военно-строительным ведомством. Вы сможете выехать через неделю?

— Когда угодно. А какой рабочей силой мы будем располагать?

— Это уже забота тодтовцев! Иностранцы, вероятно, ну и часть местного населения — по краткосрочной трудовой мобилизации. Да это не важно, дорогой мой, в квалифицированных строителях там нужды не будет, это я вам гарантирую…

После утомительной двухсуточной поездки через всю Германию Арнем поразил его чистотой, покоем, какой-то неправдоподобной, почти довоенной ухоженностью. В любом чешском (не говоря уже об украинском) городе приметы войны и оккупации видны на каждом шагу — мусор на улицах, обшарпанные, давно нуждающиеся в

ремонте фасады, угрюмые лица прохожих, настороженные взгляды по сторонам. Голландия тоже была оккупирована уже пятый год, но первое, что увидел Болховитинов, подойдя утром к окну своего номера, оказалась раскрасневшаяся от усердия «фру» в сабо и полосатом переднике, которая надраивала тротуар у дома напротив гостиницы, окуная швабру в покрытое шапкой пены ведро. И это рядом с Германией, где мыло на вес золота!

При более близком знакомстве с городом благополучие оказалось чисто внешним — в лавках было пусто, по карточкам продавалось самое необходимое в микроскопических дозах. Хотя, надо сказать, горожанки и дети (мужчин на улицах было мало) выглядели не слишком истощенными. Но главное — это чистота. Болховитинова каждый день интриговало неукоснительное утреннее мытье тротуаров горячей водой с мылом. Может быть, при этом использовалось какое-нибудь особое техническое мыло, непригодное для обычного употребления?

Представившись новому тодтовскому начальству, он под расписку получил на руки тоненькую папку технической документации и принялся изучать ее в ожидании Риделя — тот из Дрездена отправился в Берлин и должен был приехать

сюда несколькими днями позже. Сооружаемый вдоль границы оборонительный пояс громко именовался «Западным валом», но состоял — Вернике сказал правду — из самых простых сооружений полевой фортификации: траншей, орудийных ложементов (судя по габаритам — для противотанковой артиллерии), разного рода укрытий. Самым трудоемким элементом были противотанковые рвы, один по линии Вестерфоорт — Эльст — Беммель, а другой — его продолжение на левобережье Ваала — через Краненберг до Геннепа. Около пятидесяти километров; противотанковый ров полного профиля, это в среднем десять тысяч кубометров грунта на километр; здесь, стало быть, придется перелопатить полмиллиона кубов. Как говорят в России — мартышкин труд, противотанковые рвы нигде еще никого не останавливали, а здесь и подавно не остановят. Инженерно-технические средства преодоления были разработаны уже в сороковом году — самоходные аппарели, танки-мостоукладчики, наверное, у союзников теперь всего этого хватает. Да и без них можно обойтись, достаточно продольно пробомбить эту нелепую канаву с воздуха, чтобы сделать ее вполне преодолимой…

Скорее всего, и не успеют здесь ничего соору-

дить. События ускорялись с каждым днем, наши войска вышли уже к границе Восточной Пруссии, в вашингтонском пригороде Думбартон-Окс открылась конференция четырех держав по вопросу создания после войны международной организации — похоже, задумано было нечто вроде новой Лиги Наций; в Румынии неожиданно пал режим Антонеску, и новое правительство объявило войну Германии: двадцать пятого, через два дня после приезда в Голландию, Болховитинов вечером настроился на волну Би-би-си и узнал о вступлении в Париж танковых авангардов генерала Леклерка. Он порадовался за французов — молодцы, не стали дожидаться американцев…

Приехал наконец Ридель — еще более исхудавший, небритый и изрыгающий хулу на мироздание, англо-американских воздушных убийц и великий тысячелетний рейх германской нации. В пути, оказывается, он трижды побывал под бомбежками и где-то — не то в Магдебурге, не то в Касселе — ухитрился потерять чемодан с теплыми вещами.

— Я, естественно, сразу заявил об этом в Эн-Эс-Фау! — вопил он. — И что, ты думаешь, сказала мне эта мерзкая баба, эта тощая прусская селедка

с оловянными глазами?

Заявления о возмещении стоимости имущества, утраченного в результате вражеского воздушного налета, принимаются только по месту жительства и только при наличии справки, заверенной блоквартом! Но ведь, тысяча чертей, говорю, где я вам достану эту справку, если мой чемодан разбомбили вместе с поездом?! А она мне: вы с таким же успехом могли все это придумать или, наконец, продать теплые вещи на черном рынке, чтобы теперь вторично получить от рейха их стоимость. Представляешь? Я с трудом удержался, чтобы не разъяснить ей, куда она может засунуть свой рейх; все-таки осторожность восторжествовала. Но какая мерзавка, Кирилл! И что, скажи на милость, я теперь буду делать в этой сырой дождливой Голландии со своим ревматизмом и без свитера?

— Успокойся, купишь на черном рынке, — сказал Болховитинов. — Или пусть тебе выдадут что-нибудь в ОТ, мы ведь теперь у них на довольствии.

— Увы, не на вещевом — я справлялся. И на черном рынке шерсти тут не купишь, это под строжайшим запретом. Вот спиртное — пожалуйста. Я, кстати, организовал пару бутылок

можжевеловой, давай-ка сейчас и продегустируем…

Выпив, Ридель подобрел, забыл о своей утрате и стал рассказывать берлинские новости. Там, сказал он, до сих пор трясутся от страха — после двадцатого хватали направо и налево, в тюрьму угодили многие вообще непричастные, как говорится, ни сном ни духом. Прихватили даже третьего брата Штауффенберга — тот, кажется, историк, вообще никогда не имел дела ни с какой политикой; через неделю, правда, выпустили, но ведь могли сгоряча и прихлопнуть, как Клауса и Бертольда!

— Вообще, конечно, настроение у берлинцев похоронное, — говорил Ридель. — Одни жалеют, что не удалось задуманное сальто-мортале, а другие понимают, что, хотя на этот раз власть удержалась, все равно дело кончено. Раз уж генералы заделались конспираторами! И кто, самое интересное? Ну ладно бы там все эти Вицлебены и Йорки, Мольтке и Юкскюли — аристократия всегда пофыркивала на Адольфа, считала его выскочкой, плебеем… хотя и служила ему, заметь! Но ведь уверяют, что и Роммель был в числе заговорщиков — можешь ты это себе представить? Этот-то был всем обязан нацистам, выбился в

фельдмаршалы из самых что ни на есть низов, и вдруг такой курбет.

— Так он что — тоже арестован?

— Никто ничего толком не знает, но о нем не слышно. Официальная версия — не оправился после ранения…

Когда они приехали на трассу, работы уже начались, но люди продолжали прибывать, и реквизированных помещений для них уже не хватало. Голландская фирма, которая по субконтракту с «Вернике» должна была обеспечить южный участок шанцевым инструментом, прислала три тысячи совковых лопат, но ни одного заступа, а кирки были доставлены без рукоятей: позже рукояти обнаружились на другом конце трассы, где их — не найдя лучшего применения — стали уже использовать в качестве маркировочных кольев при разметке.

Народ был сюда согнан самый разный: подростки из «гитлеровской молодежи», мобилизованные голландцы, «восточники», набранные по трудовой разверстке в крестьянских хозяйствах, беженцы из разрушенных городов и немцы-батраки постарше, до сих пор ухитрявшиеся ускользать от разных мобилизаций и призывов. Все это бестолково топталось туда и сюда, пере-

ругивалось, пыталось объясняться на разных языках и диалектах и кое-как расковыривало лопатами сочные луговые пастбища.

Первое время, пока все налаживалось, Болховитинову с Риделем тоже пришлось побегать; но потом ежедневное их присутствие на трассе стало излишним. Начальство перебазировалось из Арнема в Неймеген, но Риделя этот город не устраивал с того дня, когда у него на глазах в самом центре — на Амстельграахт — ехавший на велосипеде парень вдруг свернул к тротуару, остановился, упершись ногой в поребрик, и в упор застрелил поравнявшегося с ним прохожего — вполне респектабельного господина с портфелем. Застрелил, снова вскочил в седло и скрылся за углом — только его и видели. Ридель после этого решил, что хватит с него голландцев, и стал пропадать на немецкой территории — в Клеве, где склонял к прелюбодеянию жену какого-то крупного бонзы, защищающего интересы рейха то ли в Греции, то ли на Балканах.

Болховитинов снял комнату в Краненберге, очень удобно — как раз на полпути между Неймегеном, где иногда надо было все-таки появляться, и Клеве, куда он ездил за русскими книгами. Дело в том, что Ридель случайно познакомил-

ся там с бывшим чиновником министерства иностранных дел, давно вышедшим в отставку, который когда-то служил в Петербурге, знал язык и — узнав, что с Риделем здесь русский коллега, — выразил готовность познакомиться и показать свою библиотеку. Болховитинов поехал — читать было действительно нечего; экс-дипломат оказался любезным, довольно чопорным старым господином, по профессиональной привычке осторожным в суждениях и высказываниях. По-русски говорил медленно, но правильно, с неплохим словарным запасом. Похоже, когда-то господин Гейслер занимал довольно высокие посты, потому что жил сейчас в большом просторном особняке с одной лишь экономкой, без семьи и без подселенных квартирантов — хотя городок был переполнен беженцами. Русских книг в его обширной библиотеке было довольно много, но странно подобранных — скорее всего, их собирали разные люди. Классика была представлена полно и со знанием дела, и тут же рядом чуть ли не целый шкаф занимали полубульварные рижские издания уже эмигрантского периода. Советских книг не было вовсе. Пользоваться библиотекой Гейслер предложил Болховитинову сам, но с условием: не брать более

двух книг зараз и — «уж не обессудьте, порядок есть порядок» — обязательно записывать взятое в особом журнале.

В Клеве, как и в Неймеген, Болховитинов обычно ездил велосипедом, беря его напрокат у квартирной хозяйки, но в этот день велосипед оказался неисправным, и пришлось ехать поездом. Посидев у Гейслера и обменяв «Соборян» на «Взвихренную Русь», он пришел на вокзал и увидел объявление, что поезд из Крефельда опаздывает на час, а пригородный до Краненберга уже ушел. Делать было нечего, он прошел в полупустой зал вокзального ресторанчика, спросил пива и стал читать. Когда кельнерша принесла заказанное, он полез за портмоне, а раскрытую книгу положил на стол кверху корешком (чего вообще никогда не делал, усвоив еще с детства, что так с книгами обращаются только варвары). И тут же был за это наказан.

— Никак соотечественник, мать честная! — послышалось рядом по-русски.

Болховитинов поднял голову — у столика стоял офицер с погонами обер-лейтенанта.

— Ремизова почитываете? Я к вам подсяду, если не возражаете… — Обер-лейтенант свистнул уже отошедшей кельнерше и движением пальца

велел удвоить заказ. — Надо же, в такой тмутаракани земляка встретить, — продолжал он без тени акцента.

Болховитинов глянул удивленно, но тут «немец» повернулся, чтобы нацепить фуражку на вешалку из рожек косули, — на правом рукаве кителя был нашит сине-красный щиток с голубым андреевским крестом под буквами РОА.

— Или вы, может, кого ждете?

— Да нет, — растерянно отозвался Болховитинов, проклиная собственную неосторожность. Не хватало еще этого — общаться с господином из власовцев… Или встать и уйти? Как-то неудобно вроде.

— Далеко путь держите? — поинтересовался власовец.

— Нет, я… здесь рядом работаю. Четверть часа езды. На пригородный опоздал, приходится дожидаться.

— Ну, я дальше — на побережье. Наши там сейчас под Лейденом службу несут, а я вот на пару деньков вырвался. По личным делам, так сказать. Если уж быть откровенным — баба тут у меня. Тоже, понятно, землячка…

Болховитинов молча пожал плечами, давая понять, что его все эти детали не интересуют.

— Сами-то из каких краев? — словоохотливо продолжал расспрашивать офицер, не заметив отстраняющего движения или намеренно его игнорируя.

— Из Праги, — немного подумав, ответил Болховитинов.

— Ах во-о-от что! Белоэмигрант, значит, понятно, понятно… То-то я смотрю — вроде что-то и в облике не наше, и речь такая… слишком уж правильная, у нас так не говорят. Я-то самый что ни на есть природный русак.

— По мундиру не скажешь.

— А! — Власовец махнул рукой. — Мундир дело десятое.

— Странная точка зрения для офицера, — заметил Болховитинов еще более сдержанным тоном.

— Напротив, — возразил власовец, — точка зрения вполне современная. В былые времена, вы правы, трудно было себе представить, чтобы офицеру российской армии во время войны вздумалось напялить вражеский мундир. Вроде бы не наблюдалось такого явления. Действительно, дичь несусветная — вдруг, вообразите, капитан Тушин под Шенграбеном приказывает своим артиллеристам заклепать пушки и — хенде хох

— к французам! Или Андрей Болконский, оклемавшись после Аустерлица, изъявляет желание послужить под началом какого-нибудь там Нея или Мюрата. А? Да от такого известия, пожалуй, сам Бонапарт окосел бы…

Эта тирада пробудила в Болховитинове некоторый (не лишенный брезгливости) интерес к собеседнику. Те немногие власовцы, с которыми ему до сих пор изредка доводилось общаться, были людьми настолько примитивными, что чисто шкурные мотивы их измены не вызывали сомнений. Да они их и не скрывали. Рассказы «добровольцев» — а он поначалу разговаривал с некоторыми, пытался понять — сводились к одному шаблону: в лагере уже опух с голоду, а тут немцы говорят: давайте, мол, записывайтесь, жрать будете от пуза, а служба легкая — ну, там склад какой стеречь или мост охранять, — сдуру и записался… Этот же, видно, был другого поля ягода.

— Ну а в ту войну, — продолжал обер-лейтенант, — «империалистическую», как ее у нас называют? Тоже ведь, пожалуй, не было случая, чтобы русскому человеку взбрендилось пойти служить кайзеру — э? Пример из еще одного Толстого — Алексей Николаевич, «красный граф»,

уж на что пакостный человечек, любое анальное отверстие готов вылизать, — «Хлеб», кстати, не читали? Оч-чень советую! Так вот, говорю, даже он при всей своей рептильности не решился поклеп возвести на русское офицерство — помните, в «Сестрах», где лагерь военнопленных описан? Можете вы себе представить, чтобы прапорщик Телегин австрийцам служить пошел? Да в любой прежней войне из русских перебежчиков и взвода нельзя было бы наскрести! Наш солдат — не говорю уже про офицеров — если присягал живот положить за веру-царя-отечество, так он его и клал, будьте уверены! На пайку хлеба с куском колбасы в придачу землю отцов не обменивал — как на моих глазах обменивали свою любимую социалистическую родину наши «ворошиловские стрелки», все эти вчерашние «отличники боевой и политической подготовки»…

— Вы, насколько понимаю, сделали то же самое?

— Э-э, нет, я из других побуждений. — Власовец допил пиво, поморщился. — Черт, не могу привыкнуть к этой моче! Покрепче не желаете? У меня с собой имеется.

— Благодарствую, не пью.

— Тем более с изменником, понимаю. Ну, на-

стаивать не буду — была бы, как говорится, честь предложена. А к немцам — чтобы уж ответить на ваш вопрос — я не за кусок хлеба пошел служить.

— Стало быть, из идейных соображений, — не скрывая иронии, сказал Болховитинов.

— Да, если угодно.

— И что же это за идея, если не секрет?

— Да самая простая: большевиков бить. Или вас удивляет, что может у человека быть такое желание?

— Нет, почему. — Болховитинов пожал плечами. — Отец мой целых три года занимался тем же, но не в мундире вражеской армии, это во-первых, а во-вторых — тогда шла Гражданская война.

— А она, по-вашему, окончена? — Власовец засмеялся. — Побеседуйте на эту тему с казачками фон Панвица или с теми же красновскими станичниками! Нам бы, говорят, только дорваться до всей этой комиссарской сволочи, ужо мы им тогда припомним — и расказачивание, и коллективизацию, и каналы эти… Так что, господин эмигрант, немцев они своими союзниками считают за одно то, что те лозунг выкинули «Бей жида-политрука!» и дали оружие, по которому у донцов двадцать лет ладони свербели…

— И вы это одобряете?

— При чем тут мое одобрение или неодобрение? Я вам разъяснить пытаюсь, почему в этой войне — впервые за всю российскую историю! — столько вдруг обнаружилось охотников послужить врагу.

— Ну, не так уж много, я думаю, их обнаружилось.

— Не так много, говорите? Миллион человек не много? Да это, к вашему сведению, половина личного состава РККА мирного времени — в августе тридцать девятого года у нас около двух миллионов числилось под ружьем[71]. Вот так-то, господин хороший! Каждый второй перешел на сторону врага, надел немецкий мундир — и это «не много», по-вашему? Так ведь это я говорю только о тех, у кого хватило смелости за винтовку взяться, — РОА, казачьи формирования, всякие там «остлегионы» из нацменов, вспомогательная полиция в Белоруссии и на Украине, батальоны особого назначения и тому подобное. А так называемое пассивное сотрудничество? Шли наши советские люди в старосты, в бургомист-

[71] Notes: 71

Обе цифры приводятся по отечественным источникам: История Второй мировой войны. М., 1974. Т. 2. С. 199; Аргументы и факты. 1989. № 9. С. 6.

ры? Шли работать в городские управы, в органы самоуправления, в редакции местных газетенок? Шли, шли, не пожимайте плечами. Еще как шли! Так вот — никогда вам не случалось задуматься, с чего бы это вдруг на Руси столько «изменников»? А впрочем, что вам до этого, — власовец ощерился в злой усмешке, — проще ведь избегать неприятных размышлений… особенно если это лично тебя не затрагивает!

— Вы не правы, меня очень затрагивает, и я думал об этом. Тут, мне кажется, большую все-таки роль сыграло обмирщение самого понятия «отечество»…

— Что, говорите, сыграло роль? — не понял власовец.

— Обмирщение. Ну, секуляризация, что ли, чувства патриотизма — скажем так. Раньше верность родине была неотделима от ее религиозной опоры — верности вере отцов, твоей собственной вере…

— Да вы что, верующий, что ли? — опять перебил обер-лейтенант, глядя на него с изумлением. — Православный?

— Кем же мне еще быть — магометанином?

— Поня-а-атно… Так по-вашему, значит, неверующий и патриотом быть не может?

— Нет, ну что вы! Сейчас-то как раз может, сейчас это одно с другим вовсе не связано. А когда-то было неотделимо, понимаете? Соотечественник был прежде всего твоим единоверцем — а уж потом подданным твоего государя. Поэтому изменить — для русского человека, во всяком случае, — означало стать вероотступником, погубить душу. На это, знаете ли, мало кто отваживался, народ к таким вещам относился всерьез…

— Да бросьте вы! Относился бы всерьез, так хрен бы он с такой легкостью свою православную веру на безбожие поменял. Большевикам каких-нибудь пяти лет хватило, чтобы по всей стране с церковью покончить. Крой, Ванька, Бога нет!

— Не покончили, значит, если церковь по сей день существует.

— Существует, верно, и ползают туда ветхие старушонки — а попробуйте хоть одного молодого в храме увидеть. Нет, это уж вы эмигрантщину разводите — у вашего брата, я знаю, принято все безбожием объяснять. А дело обстоит проще! Идут наши люди служить немцам потому, что при Сталине такого натерпелись, что после этого и в Гитлере освободителя увидели…

— Вы тоже?

— Нет, я насчет немцев не заблуждался. А во-

обще приводить для сравнения какие-то исторические примеры — чепуха, никаких аналогий с прошлым тут быть не может. Такого явления, как большевизм, в истории еще не было… насколько мне известно. Чтобы вот так — с таким полнейшим, наплевательским презрением — давить собственный народ? Не знаю, не могу себе представить. Ну, разве что Тамерлан там какой-нибудь совершенно уже сумасшедший… Я в плен попал прошлой весной, под Харьковом. Это когда нашим стратегам моча в голову ударила и захотелось им после Сталинграда одним махом освободить все левобережное Приднепровье! Что в войсках уже ни хрена не было — ни что жрать, ни чем стрелять, ни на чем передвигаться — да кого это волновало? Ни у одной высокопоставленной штабной б…ди не нашлось простого офицерского мужества сказать там в Ставке: да опомнитесь, дайте же армии передышку, пусть подтянут тылы, наладят снабжение, нельзя же наступать дальше, когда и так уже коммуникации на полтыщи километров растянуты, да еще по бездорожью, а в феврале оттепели пошли — вообще все развезло, танки на днище садились… да и сколько там было этих танков, у Лелюшенко в Третьей гвардейской по нескольку машин в

бригаде осталось к этому времени. Раньше правило было — «воюют не числом, а умением», потом к этому еще и техника прибавилась; а мы до сих пор числом давим… Нет, технику использовать научились — когда она есть. Умеем, это ничего не скажу. Под Прохоровкой, на Курской уже дуге, — ребята в плену рассказывали — мы им прикурить дали. Но когда техники под рукой не оказывается и когда умения нет — а мы весной сорок третьего только-только учились, только самые азы оперативного искусства постигали, — чего вы хотите, к началу войны у нас ни одного командира полка не было с высшим военным образованием! — вот тогда мы начинаем воевать числом. Тут нам равных нет! Ставят пехоте задание, а у немца все подступы заминированы, колючка там, ясное дело, ловушки разные, система огня такая, что заяц хрен проскочит.

Без артподготовки, сами понимаете, никуда. А ведь что значит артподготовка? Это надо перебросить орудия на данный участок, подвезти боепитание, а ну как нормы расхода снарядов уже превышены? Но главное — надо доложить наверх, что наступление задерживается, что с ходу-то оборону прорвать не удалось, что теперь надо подавлять ее огневыми средствами — а

наверху подобных докладов не любят, там за это такого могут дать пенделя, что по гроб жизни не забудешь. Да и зачем? Мало, что ли, народу в тылу, мало на фронте штрафников? А значит, нечего и рассусоливать — полстакана водки, и даешь, мать твою перемать, за Родину, за Сталина…

Власовец нагнулся, расстегнул стоявший на полу портфель и достал обшитую сукном флягу.

— Не надумали? — спросил он, отвинчивая пробку. Болховитинов останавливающим жестом приподнял ладонь. Власовец усмехнулся, налил себе в стакан из-под пива и вытянул не спеша.

— О чем я, собственно, начал? А, как в плен попал! Потом уже, в марте, когда нас из Харькова обратно вышибли. Все, думаю, теперь конец! Мы еще зимой, когда от Сталинграда на Донец шли, освободили несколько лагерей с нашими пленными — да что значит «освободили», там уже некого было освобождать — они все штабелями лежали, мерзлые, немцы их и не хоронили уже с начала морозов…

— И это не помешало вам надеть потом немецкий мундир?

— Это меня заставило его надеть; сейчас объясню, не подгоняйте. Пленные в сорок третьем году немцам редко когда доставались, больших

лагерей на территории Украины — как в начале войны — к этому времени уже не было, и нас сразу отправили сюда, на работу. В тех, украинских, лагерях поначалу вообще пленных практически не кормили, в сорок первом, мне рассказывали, там дело до людоедства доходило; ну а нас в Ганновере — я в Ганновер попал — как-то все-таки подкармливали, рабочая сила как-никак. Но конечно, условия жуткие… да что рассказывать, сами, небось, видели наших доходяг. Ну и работали там рядом с нами поляки — тоже пленные. Не то чтобы совсем «рядом», общаться было запрещено, но за всеми не уследишь, какие-то контакты случались. Так вот, поляки в сравнении с нами катались как сыр в масле: во-первых, нормально все одеты. Обмундирование, конечно, сборное — у кого югославское, у кого французское, у кого английское; из своего у поляков только головные уборы оставались — четырехуголки эти, они их конфедератками называют. Ну, обувь у всех хорошая, крепкая. А мы-то все босиком, я еще у ребят спросил зимой, мол, как обходились, а так и обходились, говорят, бумажными мешками ноги оборачивали, там бумага прочная… Но самое-то главное, что поляки эти все были сытыми. Что, думаем, такое — ладно бы там французы или

англичане, к тем всегда отношение было особое, а ведь поляки — вроде у немцев тоже в «унтерменшах» числятся… За что же они их теперь в такой холе содержат?

— Немцы тут ни при чем, — сказал Болховитинов, — польские лагеря военнопленных снабжаются через Международный Красный Крест.

— Совершенно верно! Но мы-то этого не знали; представить себе такого не могли! А каждый пленный, оказывается, через этот Красный Крест ежемесячно получает продовольственную посылку — калории там разные, витамины, а главное — курево, поляки в Ганновере получали по банке английских сигарет в месяц. Круглые такие банки, запаянные, там по сто штук. А это же товар, валюта, сегодня любой немец за две английские сигареты с радостью буханку хлеба отдает…

— Вы не знали, что есть Женевская конвенция о военнопленных?

— Да откуда? Это мне уже в лагере майор один рассказал — он из юристов был, разбирался в этих делах. Да, есть такая конвенция, говорит, от одна тысяча девятьсот двадцать девятого года, но нас она не защищает, поскольку Советский Союз ее не подписал. Как же так, спрашиваю,

ведь в то время у нас уже и о капиталистическом окружении разговоры шли, и о том, что буржуи всего мира на нас зубы точат, а значит, воевать придется рано или поздно; как же можно было не подумать заранее, не подписать конвенцию о пленных? А майор этот мне тогда и сказал: дурак ты, говорит, как раз заранее-то Сталин обо всем и подумал, в двадцать девятом году уже был решен вопрос о сплошной коллективизации — что же он, не понимал, как после этого мужик будет относиться к советской власти? А ведь воевать-то в первую очередь мужику придется — а ну как он в плен к буржуям повалит вместо того, чтобы колхозный рай защищать?

— Любопытная мысль. — Болховитинов покачал головой. — Я, признаться, никогда не задумывался в самом деле, а почему, собственно, не участвуем… Да, но тогда… это уж вообще — сатанизм, никакой Шигалев не додумался бы… Чтобы заранее — сознательно обречь на смерть сотни тысяч своих же пленных? Не знаю, не верится…

— Ну почему же, пленных у нас никаких нет, есть изменники родины, это нам Вождь и Учитель разъяснил вполне авторитетно. А об изменниках чего заботиться? Чем больше их передохнет,

тем лучше. Кстати, тех пленных, которых нам финны в сороковом году после перемирия вернули, — их ведь тогда всех так скопом на Воркуту и отправили, уголек рубать. А вы — «не верится»… Положим, я тоже не сразу поверил. А потом пришлось. Вспоминал, вспоминал разное, ну вот хотя бы как семьи комсостава накануне войны запретили эвакуировать из приграничной зоны. Хотя все знали уже, что немец не сегодня завтра ударит! Многие ведь обращались с этим вопросом, просили разрешить хотя бы женщин с малыми детьми вывезти — так куда там! Настрого запретили, в порядке борьбы с паникерскими настроениями и чтобы наши «заклятые друзья» по ту сторону границы, боже упаси, не обиделись! — Власовец, уже заметно пьяный, ударил кулаком по столу. — Всех их в первый же день «мессера» на дорогах покрошили — нарочно ведь, нарочно все было сделано, чтобы потом «отомстить фашистским извергам!», чтоб злее воевалось, чтоб можно было пацанов безоружных с одними бутылками бросать под танки! Вот все это я и вспоминал, а потом — уже в августе, после Курска, — приехал к нам пропагандист, говорит: Власов, генерал-лейтенант, бывший командующий Второй ударной на Волховском фронте,

формирует Русскую освободительную армию… У, ид-диоты, засранцы безмозглые, доигрались со своим арийским высокомерием, спохватились! На два года раньше надо это было сделать, ведь если бы в сорок первом… а, да что говорить! А у меня все равно выбора другого не было — либо в лагере подохнуть, либо выжить, а после войны еще и от своих срок получить… Уж лучше, думаю, я с вами, гадьем большевистским, еще посчитаюсь — сколько успею. Так ведь и тут ума у немчуры не хватает — держат на задворках!

Я два рапорта подавал, чтобы на Восточный фронт отправили. Сейчас приеду — опять буду проситься, Голландию эту распродолбанную видеть уже не могу…

— Не понимаю я все-таки вашей логики, — задумчиво сказал Болховитинов. — Ну, допустим, сталинский режим действительно так жесток и бесчеловечен. Но ведь на фронте вам придется стрелять в соотечественников — то есть в тех, кто, как вы утверждаете, первым же и страдает от этого режима…

— Да, буду стрелять!! А ваш отец не стрелял в красноармейцев — или они не соотечественники?! Чего молчите? Стрелял, потому что врагами были! А для меня враг — всякий, кто за Сталина

может сегодня на пулеметы идти, — после того, что этот людоед со страной сделал!

— Они не за него идут… Я совершенно уверен — это скорее символ, что ли, и потом пропаганда, все-таки столько лет твердили, что он самый-самый… Меня ведь это тоже давно мучает, не думайте, что если человек живет на чужбине, то он так уж ни в чем не разбирается. Тут, конечно, есть что-то нам непонятное, непостижимое… Вы вот сказали о моем отце — да, он воевал, действительно ему приходилось убивать соотечественников… это страшно, нет ничего страшнее гражданской войны. Но мне сейчас вспомнился один разговор с ним… за год до его смерти… Он сказал примерно так: наша трагическая ошибка — он имел в виду белых вообще, вообще Белое движение, — наша ошибка была не в том, что мы не приняли идей Ленина. Я, сказал отец, их и сейчас не могу принять. Ошибка была в том, что мы сочли эти идеи чуждыми русскому народу, мы не поняли, что народу они были близки и нужны. Отец сказал, что если бы понял это там, дома, то не стал бы драться против большевиков. Смирился бы, если угодно… если бы поверил, что так лучше для России. Независимо от собственных убеждений! Я думаю, что в этом

что-то есть, тут отгадка — или хотя бы намек, подсказка, до конца это понять трудно. Вероятно, это можно сформулировать так: когда народ выбирает свою судьбу, он знает, что делает. То есть не знает в буквальном смысле слова, но скорее провидит, подсознательно чувствует — несмотря ни на что…

— Да бросьте вы философствовать, — грубо прервал власовец, — развели, понимаете, толстовские какие-то сопли — «народ знает», «смириться» — пошли вы все знаете куда со своим смирением, интеллигенты недоделанные! Вас бы в какую-нибудь кубанскую станицу году этак в тридцать втором — вот там бы вы посмотрели, какую судьбу выбрал себе наш народ и многое ли он тогда провидел…

— Это не аргумент, простите. Мученичество тоже не всегда оказывается осознанным и добровольным, но я убежден, что в конечном счете оно никогда не бывает напрасным.

— В попы идите, — посоветовал власовец. — Проповеди старухам читать, самое подходящее для вас занятие.

— Напрасно вы так воспринимаете, это ведь серьезный вопрос, а вы себе не даете труда вдуматься. Впрочем, вина, конечно, моя, мне

изъяснить трудно свою мысль… Вот если бы у меня было настоящее образование! — я ведь очень необразованный человек, наша «русская гимназия» делала, конечно, что могла; но… — Болховитинов с сожалеющей улыбкой пожал плечами. — Не было доступа к нужным библиотекам, ну вы сами понимаете, а между тем история — это самое важное… Хотя и в России ее сейчас тоже плохо знают, я убедился. Тут, вы понимаете, какая странность: мы сплошь и рядом совершенно не умеем понять глубинного смысла того, что происходит у нас на глазах. И обманываемся поэтому, совершенно превратно истолковываем! Петровские реформы всем казались таким уж безусловным благодеянием для России, — нет, я не говорю про раскольников, вообще про народ — те не понимали, боялись, это естественно, но все образованные люди того времени — казалось бы, какие могут быть сомнения? — приобщить отсталую страну к европейской культуре, развить промышленность, международные связи… А что получилось?

— Ну, от обсуждения Петровских реформ вы меня увольте. — Власовец посмотрел на часы, встал и снял с вешалки фуражку. — Сейчас поезд будет, я еще должен маршбефель отметить у

коменданта. Нашли кого вспомнить — Петра! А если вы это к тому клоните, что, мол, неизвестно еще, не благом ли в конечном счете обернутся для России все эти ленинско-сталинские штучки — так я вам одно могу посоветовать: вот кончится война, проситесь домой. Может, и пустят, если хорошо попросите. Будете тогда предаваться размышлениям, получив возможность наблюдать тамошнюю жизнь изнутри — во всех ее, так сказать, благоуханных подробностях. Про кавэжединцев, кстати, слыхать не приходилось?

— Про кого, простите?

— Да про русских из Харбина, что на железной дороге там работали. Часть из них вернулась лет за пять до войны — родина им, как говорится, распахнула объятия. Так вот, их потом всех к известной матери попересажали — сперва мужей, потом жен. Правильно сделали, между нами говоря, иначе лишних дураков бы наплодили. А нам этого добра и своего хватает. Ну, желаю здравствовать!

Он небрежно козырнул, вскинув два пальца к надетой набекрень фуражке, подхватил с полу портфель и пошел к выходу. Глядя ему вслед, Болховитинов подумал, что вот странно: идет вроде немецкий офицер, в хорошо пригнанном

мундире, а по походке сразу видно — русский. Немец и держится как-то совершенно иначе. Трудно, наверное, нашим разведчикам, даже такая мелочь, казалось бы… Конечно, не всякий заметит. Но какой страшный человек, как можно жить с таким мраком в душе, с таким озлоблением беспросветным… Даже если в чем-то он — не то что «прав», нет, тут не подходит, — даже если и были причины стать таким… И какое страшное время, господи…

Выходя на перрон, он оглянулся — не хотелось бы снова оказаться рядом с тягостным собеседником; но того не было видно, потом он показался, торопливо прошел к дальнему вагону в голове состава. Болховитинов облегченно вздохнул, даже двадцать минут до Краненберга было бы нелегко провести в обществе этого несчастного. Но какая страшная судьба, что надо было пережить, чтобы теперь пойти на службу к немцам (которых ненавидит и не скрывает этого), пойти только затем, чтобы дорваться до мщения — кому? Русским мужикам, наверняка пережившим то же самое?

Как многие эмигранты, Болховитинов всегда испытывал внутренний протест против выражения «советский человек» — уродливого словообразования, придуманного для того, чтобы

вытеснить ставшее после революции запретным понятие «русский». Но поездка на оккупированную Украину и общение с остарбайтерами заставили его взглянуть на это совсем по-другому. Какие там русские! Большевикам действительно удалось вырастить новую породу людей, которую иначе как советской и не назовешь. Трудно сказать, лучше или хуже, но они от природы другие, и все у них другое. Взять хотя бы их патриотизм — тоже какой-то не такой, каким обычно бывает это чувство. Никто так много не говорит и не поет о Родине, как советские люди; но почему Таня и ее друзья оставались в своем родном городе никем не поддержанными одиночками?

Надо признать, что лейтенант РОА бесспорно прав в одном: людей, так или иначе смирившихся с немецкой оккупацией, на Украине было куда больше, чем вставших на путь сопротивления. Болховитинов сам мог в этом убедиться. Немцев ругали за безработицу и вызванное ею обнищание, вспоминали с сожалением довоенные времена, когда зарплата была худо-бедно обеспечена каждому, но дальше разговоров дело не шло. В подполье оказалась вовлеченной лишь часть молодежи, наиболее приверженная усвоенным в школе политическим догматам. Что касается

сельского населения, то в степной части Украины его лояльность к оккупационным властям была практически поголовной, и объяснялось это тем, что селяне — в отличие от горожан — были сыты. Немцы обложили «колгоспы» продразверсткой, но в разумных пределах, и взаимных претензий не было ни у той, ни у этой стороны.

Вывод отсюда можно сделать самый неутешительный: видно, и впрямь надломилось или совсем уже пропало что-то очень важное в человеческих душах, если любовь к отечеству перестала быть естественным, живым чувством, превратилась в некое производное от набора внешних случайных обстоятельств — степени приверженности определенной политической доктрине или (еще проще) от того, голоден ты или сыт.

Впрочем, могло ли быть иначе? Таня, Владимир, миллионы их сверстников — сколько лет они вообще не слышали слова «Россия» иначе, чем в каком-либо поносном контексте, сколько лет их приучали к мысли о примате классового над национальным («Коммунизм сметет все границы»), о том, что история наша начинается с 1917 года, а патриотизм может быть только «советским» — иначе это великодержавный шовинизм… И такое

понимание любви к родине прививалось не только молодежи, его вдалбливали всем; но если молодежь (да и то не вся) его восприняла, то люди постарше вместе с понятием «советский» отвергли и понятие «патриотизм», ассоциативно отнеся его к числу других средств закабаления человека государством; отсюда малочисленность молодежных групп Сопротивления (если сравнивать хотя бы с Польшей), отсюда и миллион взявших оружие из рук врага.

Лейтенант так и не понял его мысли об эффекте обмирщения; а ведь иначе просто не объяснить всего случившегося. Только сейчас, похоже, решается давний спор о том, что первичнее — нравственность или религия. Еще сто лет так же тщетно одни доказывали бы, что понятие Бога родилось в человеческом уме из некоего изначально свойственного ему «инстинкта добра», а другие — что только неотъемлемо присущая человеку инстинктивная религиозность позволяет ему вообще различать добро и зло, и распря эта оставалась бы такой же бесплодной, если бы не большевистский опыт упразднения религии в России.

Ведь вроде бы чего еще надо — воссияла истина, как мечталось папеньке Карамазову, дураков

всех обрезонили, тут бы и расцвести лучшим душевным качествам русского человека. А расцвета особенного не видно, хотя уже двадцать лет прошло; есть, напротив, признаки какого-то помрачения духа. Немыслимое в прежней России число перебежчиков и коллаборантов во время жесточайшей войны; повальное доносительство в годы предвоенного террора; наконец, ужасающее спокойствие, с каким теперь про эти доносы рассказывают, — этак между прочим, безо всякого возмущения, словно о чем-то привычном, ставшем естественной нормой поведения…

Какой бы ни была прежняя Россия (идеализировать ее ни к чему), все-таки ничего подобного раньше не было — до революции, до упразднения религии. А теперь есть. Выходит, что-то сдвинулось, пошатнулось в самой структуре души народа, лишенного вдруг вековых нравственных ориентиров. Какая-то образовалась трещинка. А если пойдет вглубь? Дай бог, чтобы я ошибался, подумал Болховитинов со сжавшимся сердцем.

Глава 7

Елена приехала в Ленинград в конце августа. До последнего момента не помышляла о возвраще-

нии в этот город, но потом все стали в один голос твердить, что она сошла с ума, как можно терять ленинградскую прописку — тысячи эвакуированных месяцами тщетно добиваются вызова, а она ведь имеет право как демобилизованная, и подумала ли она о ребенке — что же, легче ей будет растить его где-нибудь в глуши?

Насчет того, где будет «легче», она как раз и не думала; но трезвая мысль о ленинградской прописке (для него, потом) в конце концов перевесила страх перед возвращением. Да, наверное, надо пройти и через это, надо решиться, как решается человек на тяжелую, мучительную операцию. Взять себя в руки, заставить преодолеть страх, вытерпеть боль; возможно, потом наступит облегчение. Не может не наступить, должно, иначе она просто сойдет с ума…

Смириться помогло то, что все свои действия и переживания Елена старалась теперь согласовывать с одним-единственным требованием: чтобы это не повредило ребенку. Так испугавшая ее вначале, приведшая в такое смятение мысль о будущем материнстве становилась теперь стержнем существования, осью, вокруг которой вращалось все остальное. И — как ось, как центральный стержень — осознание себя будущей

матерью делалось опорой, давало устойчивость, уверенность в своих силах, своей способности перенести все, что ни пошлет судьба.

Но все это была теория, а вот как получится на практике? Уже все оформив и покончив счеты с армией, Елена не спешила уезжать, благо оставались еще какие-то сложности с пропуском и железнодорожным литером. С оказией и совершенно наугад, не зная вообще, жива ли она, написала соседке — с той были до войны очень хорошие отношения, и Елена надеялась, что найдется хоть одна живая душа, с которой можно будет войти в квартиру, сделать этот первый, самый страшный шаг…

Стало вдруг жаль расставаться с армейскими приятельницами, хотя на новом месте она не прослужила и полугода. Раньше не все были ей симпатичны, некоторые раздражали — эта своей манерой непрошено откровенничать, делиться разными бабьими проблемами, та — склонностью к категорическим суждениям; но на самом деле все они были неплохие женщины, почти каждая — с каким-то своим горем. И своими слабостями, конечно, со своими недостатками, но, господи, у кого их нет, и уж кому-кому, а не ей судить.

Проводили ее хорошо, устроили на прощание девичник, медички притащили целый чемодан тряпочек для детского приданого, накроенных из списанного госпитального белья. Это было кстати — только получив этот подарок, Елена сообразила: едва ли теперь можно купить хотя бы те же пеленки. Что я буду за мать, подумала она, даже об этом сама не позаботилась…

По крохам накопленной решимости едва хватило до Ленинграда. Ехать пришлось долго, почти сутки, хотя расстояние через Псков было не больше, чем от Москвы, — часов девять для довоенных скорых. Утром она проснулась, был серенький ненастный день, вагон скрипел и шатался, содрогаясь на каждом стыке наспех восстановленного пути, за треснувшим, немытым с начала войны стеклом ползла невыносимо унылая, тундрообразная равнина — воронки, вровень с краями залитые водой, остатки заграждений, колья в обрывках ржавой колючки, протащился обгорелый и выщербленный осколками кирпичный остов какой-то станционной постройки. Смертная тоска и страх охватили Елену — не просто страх, а слепой панический ужас: куда я еду, зачем, что я наделала… Армия представлялась ей сейчас теплым уютным домом; три года жила она в этом

простом, четко разграфленном мире, где все было ясно определено, где не было никаких забот, никаких проблем, где от человека требовалось единственное: делать то, что ему приказывают, не утруждая себя никакими вопросами. Главное — не было ответственности ни за что, кроме той крошечной частички общего дела, которая тебе поручена. А теперь?

Родной город она увидела безлюдным, непривычно тихим — и чистым. Это была какая-то странная чистота, совсем непохожая на прежнюю, довоенную ухоженность; сейчас Ленинград безжизненной опрятностью своих улиц жутковато напоминал квартиру, только что прибранную после похорон, — когда уже все разошлись, и вымечены затоптанные лепестки цветов и еловые веточки, и комнаты стоят светлые, проветренные и опустевшие. Такой была площадь Восстания, такими были Невский и Адмиралтейский проспекты, площадь Труда. Трамвай шел полупустым, она сидела боком на длинной продольной скамье, вплотную приблизив лицо к стеклу, и смотрела, смотрела — жадно, не отрываясь, не замечая текущих по щекам слез. Разрушений было мало, гораздо меньше, чем она ожидала увидеть, собственно, их вообще не было видно

— лишь кое-где по наглухо заделанным оконным проемам можно было догадаться, что за этим фасадом ничего нет, или дом выгорел изнутри, или обрушились перекрытия; снаружи все выглядело благополучно. Кони на Аничковом были уже на месте, ей вспомнился детский, радостно ужасавший своей неприличностью стишок: «На изумление Европы Клодт водрузил четыре попы», и Медный всадник освободился из-под мешков с песком — город начинал возвращаться к жизни, это тоже чувствовалось, но каким он стал… другим, непохожим на себя!

Трудно было, впрочем, сказать, действительно ли Ленинград так изменился или это ей только казалось от того, что на зрительные впечатления накладывалось все, что она знала о его недавнем прошлом. А знала она многое, хотя, возможно, не все было достоверным. Знание складывалось из рассказов самих очевидцев, переживших блокаду, и рассказов людей, общавшихся с очевидцами, и разного рода слухов, и совсем уже фантастических историй, каждая из которых тоже, надо полагать, все-таки основывалась на какой-то крупице правды. Сколько уже раз Елена зарекалась говорить об этом, но стоило ей встретить кого-то из эвакуированных ленинградцев или хотя бы из

побывавших там после прорыва блокады, и она с маниакальным упорством снова принималась расспрашивать, допытываться. Эвакуированных, впрочем, встречала мало — их всех увозили туда, к Уралу, в Среднюю Азию, лишь два раза попались женщины, ушедшие в армию уже из эвакуации, и иногда случалось поговорить с каким-нибудь пареньком, которого вывезли, чтобы призвать. Эти, кстати, вообще почти ничего не рассказывали, но их нежелание вспоминать само по себе говорило о многом. Больше удавалось узнать от военных, воевавших под Ленинградом.

Поэтому сейчас, глядя из окна идущего привычным маршрутом вагона на безлюдные, чисто выметенные тротуары, на пустые витрины под уцелевшими еще кое-где довоенными вывесками «Галантерея», «Канцелярские товары», «Соки — воды», она видела город таким, каким он был тогда, два с половиной года назад, — тропки между сугробами, заметенные по крышу троллейбусы, вмерзшие в лед трупы, оцепенелые очереди у булочных, мрак, холод — и мертвый стук метронома, днем и ночью оглашающий все это гигантское кладбище живых и мертвых — от Гавани до Пороховых, от Удельной до Автова… И они, они — чье отсутствие так страшно

населяет сейчас эти пустые чистые улицы — дети, старики, женщины, умиравшие тогда за каждым из этих потускневших окон, до сих пор перекрещенных белыми бумажными крестами, погибавшие во мраке и беспредельном отчаянии… Неужели никто так и не ответит за этот город?

Самым непостижимым казалось Елене именно то, что ни один из ленинградцев, с кем довелось ей говорить о блокаде, не задавал себе этого вопроса. Когда она допытывалась — но как, как могло получиться, что не прошло и полугода после начала войны, а Ленинград остался уже без продовольствия и угля? — они отвечали недоуменными взглядами — странный, мол, вопрос, фашисты же перерезали дорогу, хотели уморить нас голодом. Единственными виновниками оказывались фашисты, поскольку они начали войну, пришли, окружили, установили блокаду. И никто другой!

Может, так и надо думать — если так думают все? Но Елена ничего не могла с собой поделать, она думала по-другому. Иногда ей даже казалось, что блокадники просто выработали в себе способность закрывать на что-то глаза, боясь — даже в мыслях — касаться каких-то запретных тем.

Возможно, и с нею было бы то же, проведи она блокаду здесь, в Ленинграде, возможно, она и сама оказалась бы тогда во власти этого «блокадного психоза». Но судьба распорядилась иначе, и Елена, напротив, не могла заставить себя не видеть того очевидного, чего умели не видеть другие. Хотя это было бы, вероятно, куда проще.

Проще, конечно, было видеть в немцах не только главных, но и единственных виновников ленинградской трагедии. Но тогда пришлось бы согласиться с тем, что во всех связанных с войной преступлениях, которые были совершены у нас после 22 июня 1941 года, тоже виноваты одни только немцы и никто другой — поскольку, не будь войны, не было бы и этих преступлений. Разве это так?

Война войной, в ней виноваты немцы, но на войне одни совершают подвиги, а другие проявляют трусость или преступную халатность, одним дают ордена, а других расстреливают, и частную вину этих последних нисколько не заслоняет и не оправдывает общая вина начавших войну немцев. Года полтора назад, когда Елена еще работала в дивизионной газете, был случай, когда офицер, посланный с приказом на отход в один из полков, которому грозило окру-

жение, приказа этого не доставил — говорил, что заблудился и не успел, но, скорее всего, просто струсил. Полк едва ушел из окружения, понеся огромные потери; кто же был виновен в гибели более половины личного состава? В общем смысле — немцы, поскольку убивали именно они, но прямым виновником был все же трус-связной, и, когда трибунал приговорил его к расстрелу, все нашли приговор справедливым…

В подобных случаях разницу между виной общей и виной частной, прямой и непосредственной видят и понимают все; невидимой и несуществующей разница эта становится, лишь когда речь заходит о Ленинграде. Единственным из ленинградцев, кто ее понимал, был Игнатьев — тоже, кстати, не бывший здесь во время блокады и поэтому сохранивший способность к трезвым оценкам.

Трамвай между тем уже съезжал с моста Лейтенанта Шмидта. Елена посмотрела направо, налево — Академия художеств была на месте, купола церкви за памятником Крузенштерну — тоже, разрушений не было видно и здесь. Все-таки, видно, не так уж сильно пострадал Ленинград от бомбежек и артобстрелов, и если бы не голод, не холод первой зимы, блокада не обер-

нулась бы таким кошмаром. Если бы, если бы… Если бы хоть кто-то подумал о том, о чем надо было думать тогда, в самом начале!

Елена взяла свои вещи и, пошатываясь — трамвай дергало из стороны в сторону, — направилась к площадке. Ее уже начало трясти от мысли, что вот сейчас она увидит свой перекресток, и дом, заметный среди других домов линии полукруглыми эркерами, и скамейку на бульварчике вдоль Большого, куда она обычно вывозила Мишеньку на прогулку — катала от угла до угла, а когда засыпал, садилась здесь и читала, время от времени слегка покачивая коляску — от долгой неподвижности он почему-то начинал беспокоиться, кряхтел, мог проснуться. Как будто уже тогда жил в его не успевшем пробудиться младенческом сознании страх перед неизбежной и еще никому, кроме него, неведомой разлукой. Покачивание было сигналом благополучия — все в порядке, мама здесь, рядом, никуда не ушла…

Господи, смятенно подумала она, когда трамвай заскрежетал тормозами, пусть не окажется этого дома, пусть я ничего не увижу на его месте — я ведь все равно не смогу, не вынесу, мне туда не войти — пусть лучше пустырь, ровное место, чтобы ни стен, ни напоминаний, ничего!

Но дом оказался на месте, она увидела его, как только отошел заслонявший вид трамвай, — стоял как ни в чем не бывало, серый, с полукруглыми эркерами и извивающейся стеблями кувшинки лепниной в стиле модерн, которая всегда напоминала ей тиснение на переплетах Гамсуна из отцовской библиотеки. На месте была и скамейка — неизвестно, правда, та ли самая, скорее всего нет, ту, наверное, сожгли, истопили во времянке — тогда ведь жгли все, мебель, книги. Елена перешла проспект, села, бросив рядом вещмешок и поставив чемодан у ног. Может быть, в ней действительно есть что-то не совсем нормальное, не такое, как у всех; или так бывает со всеми? Как объяснить эту странную, извращенную какую-то шкалу привязанностей: казалось бы, она должна была сейчас больше горевать по мужу, любимому и любившему ее, но с той утратой она давно смирилась, хотя и понимала, что такого в ее жизни никогда больше не будет. Смирилась и с утратой собственных родителей — впрочем, тогда и не было иного выхода; не смирившись, она просто не смогла бы жить. Но все равно — не слишком ли легко смирилась, ведь ей было уже девятнадцать, когда арестовали отца, потом мать… Или тогда так бывало со всеми — смирилась, чтобы выжить,

словно срабатывал какой-то предохранительный механизм?

С чем она смириться не могла (и чувствовала, что никогда, наверное, не сможет) — это со смертью сына и со смертью свекра и свекрови — людей, которые заменили ей родителей и которых она предала в самый тяжкий час. Предав, таким образом, и память мужа — хотя убеждала себя, что уходит на фронт именно ради его памяти. Страшно себе представить, что она сделала: из любви к мужу обрекла на смерть его родителей и его ребенка.

Ребенка, главное — ребенка (старикам, в конце концов, может быть, и не так уж много оставалось жить), своего Мишеньку — такого беззащитного, смотревшего на нее по утрам с таким радостным ожиданием…

Что ж, теперь ей осталось одно — пытаться искупить все сделанное. Хоть в этом судьба оказалась к ней милосердной, хоть это послала: возможность искупления. Сейчас она пока совершенно не представляет себе, как будет жить, на что, как теперь с ребенком на руках сумеет освоить какую-то специальность. На зарплату машинистки вдвоем не прожить, хотя глупости, что значит не прожить, стыдно так думать в этом

городе, где еще недавно человеческая жизнь не перевешивала ста двадцати пяти грамм целлюлозного хлеба. Теперь-то проживешь, сказала она себе, и сама проживешь, и его выкормишь… Она сунула руку под шинель и осторожно положила на заметно уже выпуклый и отвердевший живот. В последние дни ей иногда казалось, что оно подает признаки жизни, начинает толкаться — едва ощутимо, словно просыпающийся мотылек. Елена сама не знала, кого больше хочет, дочь или сына. Все-таки сына, наверное, хотя и становилось иногда страшно — сумеет ли любить так же, как любила (или, во всяком случае, думала, что любит) бедного Мишеньку, не слишком ли мучительным окажется постоянное напоминание… Как знать? А вдруг наоборот — вдруг в этом втором сыне для нее воскреснет первый? Господи, если бы… Если будет мальчик, я назову его Богданом, сказала себе Елена.

Со стороны рынка по бульвару шли две девушки, о чем-то оживленно секретничая, обе в беретиках, с противогазными сумками через плечо — очевидно, дружинницы. Когда поравнялись, Елена их окликнула, они с готовностью подбежали.

— Девочки, вы не очень торопитесь? — спро-

сила она.

— Нет, что вы, мы уже отдежурили, домой идем! Вам помочь что-нибудь? Давайте вещи поднесем, а?

— Нет, спасибо, только сбегайте, если можно, в тот вон дом — серый, видите, номер шестнадцать. Третий этаж, в восьмой квартире спросите Веру Панкратьевну Усову. Если ее нет, ничего говорить не надо, а если дома — скажите, что приехала Лена Сорокина, пусть она ко мне выйдет сюда, хорошо?

— Жень, сбегай, — деловито распорядилась одна из девушек, видно, старшая или привыкшая командовать. — Квартира восемь, Усова Вера Панкратьевна — поняла? Беги, я здесь побуду. А вы с фронта?

— Из армии, — уточнила Елена. — Демобилизовалась вот… по состоянию здоровья.

— Ясненько. — Дружинница оглядела ее и спросила: — А на каком месяце теперь комиссуют?

На секунду смешавшись, Елена ответила, что ее комиссовали на шестом, потом поинтересовалась, откуда, собственно, она…

— Так видно ж! У вас вон и пигментация уже чуток пошла. — Дружинница мазнула себя пальцем возле носа. — А чего, нормальное дело, у нас

некоторые девчонки нарочно для этого в армию уходили. Здесь разве дождешься? Да и от кого — здесь, в тылу-то, кто теперь кантуется — или начальство, или доходяги, или ловчилы разные. Хорошие парни все на фронте! Ну а как там вообще — концы фрицам приходят, верно?

— Приходят, — подтвердила Елена.

— У нас тут недавно тоже пленных прогоняли — месяц назад в Москве, помните? — я в хронике видала, ну что вы, там их тысячи и тысячи гнали! Здесь, конечно, поменьше, но тоже интересно. Идут, смирные такие, по сторонам посматривают. Смотрите теперь, думаю, смотрите, гады фашистские, не вышло вам сломить крепость на Неве, колыбель революции…

— Вы здесь были в блокаду? — спросила Елена.

— А то где ж! Год себе прибавила, пошла на фабрику — рукавицы для фронта шили, тем и спаслась. Все ж таки рабочая карточка…

Прибежала другая, сказала, что Вера Панкратьевна дома, но выйти не может — ноги чего-то расхворались.

— Сказала, чтобы мы вас туда отвели, идемте, с вещами поможем…

Девчонки проводили ее до самой двери, пожелали хорошего сына и затопотали вниз по

лестнице. Елена приглашала зайти, попить хоть чайку с армейскими карамельками — нет, не захотели, застеснялись, видно, чтобы не подумала, что помогли из корыстных соображений.

— Год назад, конечно, мы б не отказались, — засмеялась командирша, — верно, Жень? Спасибочки, но некогда — дома еще делов навалом…

Только на следующий день, сдав в милицию документы для прописки и до усталости находившись по улицам, она за ужином спросила наконец — как это все было.

— Ну что тебе сказать, Ленуся. — Вера Панкратьевна вздохнула. — Мишенька умер в стационаре, как мне потом сказала сестра — от воспаления легких. Застудили, видно, это еще перед Новым годом было… а много ли маленькому надо, они ведь там все были такие ослабленные, ну да ты и сама понимаешь, что такое дистрофия в младенческом возрасте. Хотя за ними и уход там был, какой возможно, и как-то питание ухитрялись — соевое молоко, киселики разные…

Елена встала, прошлась по кухне, зябко обхватив себя за плечи.

— А… Алексей Сергеевич, Анна Дмитриевна — они когда?

— Сергеича нашего не стало в январе. Он долго

не сдавался, все ходил, ходил, то досочку откуда-то принесет, раз ветку притащил — большой такой сук, в руку толщиной, чтоб не соврать. Осколком, видно, срубило, там, на Большом, ночью была бомбежка, а он утром пошел и притащил. Мы его распилили, высушили, много получилось дров… Да, а потом вдруг слег. Опухать уже стал, так что я сразу поняла — не жилец. Да он и сам понимал. Я накануне шрота немного выменяла…

— Чего выменяли?

— Шрот, это жмыхи такие соевые, тоже варить можно было. Ну, сварила, принесла ему, а он мне тихо-тихо так: не надо, говорит, поделите лучше с Аней, мне уж ни к чему, финис. Все-таки поел немного, уговорили, а утром смотрю — он уже окоченевший. А вот как с Митревной получилось, этого я, Ленуся, не знаю. Пропала она просто, недели через три, наверное, точно и не припомнить, сама я уже плоха была, почти и не вставала. Она за хлебом пошла и не вернулась. Может, отдохнуть присела да замерзла, а может, и карточки выхватили — а у нее ведь сердце слабое было, ты же помнишь. Едва отходили, когда на Мишу похоронная пришла. Господи, ну что это за народ такой, немцы эти, — ведь всю семью, подумай, всю семью!

— При чем тут немцы, — сказала Елена. — Немцы убили Мишу, достаточно и этого. За остальное своих надо благодарить.

— Бог с тобой, Ленуся, — испугалась Вера Панкратьевна, — что ты говоришь такое…

— Говорю то, что есть! Мужа у меня убили немцы. А сына… — Голос у нее прервался, она поднесла руку к горлу и продолжала с усилием: — Сына убили те мерзавцы, которые за месяц до войны гнали в Германию эшелоны с хлебом и углем — вместо того, чтобы сделать запасы в Ленинграде!

— Да ведь кто знал…

— Кому надо — знали! У нас заводы когда начали вывозить? В конце июня на Пролетарском уже демонтировали станки — вспомните, Петя ваш приходил, рассказывал. Понимали, значит, что Ленинград не сегодня завтра может оказаться в кольце! А позаботились хотя бы запасы сделать?

— С этим, конечно, промашка вышла, кто не ошибается? Нет, Ленуся, ты таких разговоров не слушай, и боже тебя упаси их пересказывать — сейчас знаешь, как с этим строго…

— Что, опять? — Елена усмехнулась. — До войны, значит, план не выполнили, не успели. Ничего, теперь наверстают! Вера Панкратьевна…

я все-таки схожу посмотрю, а?

Вчера она так и не смогла заставить себя войти в те комнаты, переночевала на раскладушке у Веры Панкратьевны. Но надо было решиться.

— Зайди, конечно, Ленуся, когда-то ж все равно… Может, хочешь вместе?

— Я сама, нет…

Вера Панкратьевна с трудом встала и, тяжело опираясь на палку, подошла к Елене, положила руку на плечо.

— Ленуся, я… кроватку Мишенькину убрала оттуда и коляску тоже — подумала, тебе тяжело будет. Или не надо было? Уж и сама не знаю.

Елена, зажмурившись, часто-часто закивала.

— Нет, хорошо, правильно, что убрали. Спасибо, — прошептала она и, поцеловав руку на своем плече, быстро вышла.

Хорошо, что она не пришла сюда вчера, а осваивалась с квартирой поэтапно, перебарывая одну боль за другой. Кухня с его любимым местом в углу, где она по утрам, пока еще спали родители, готовила ему завтрак, а он просматривал газеты, рассеянно отвечая на ее вопросы; туалетная со старинной медной колонкой и высокой чугунной ванной на львиных лапах, которую он называл саркофагом; длинный темный коридор, где на

антресолях пылились чемоданы и в стену были вбиты крюки для вешания велосипедов… Войти вот так, сразу, в их комнату — нет, это было бы слишком.

А теперь она вошла бестрепетно, не испытывая ни страха, ни боли, ничего, кроме бесконечной печали. Господи, почему так безжалостно долговечны вещи, зачем суждено им переживать своих хозяев? Вот и велосипеды обнаружились тут же. Вера Панкратьевна просто убрала их из коридора, оба целы и невредимы — допотопный дамский «Дукс», старомодно-элегантный в своей местами чуть облупившейся вишневой эмали и с шелковой сеточкой на заднем колесе («…на этой машине, Леночка, — да, да, в те времена машинами именовались велосипеды, а про машины в нашем сегодняшнем понимании говорили „авто“ или „мотор“. Помните — „пролетает, брызнув в ночь огнями, та-та-та, какой-то там мотор“ — ну вот, уже и Блока стал забывать, — да, так о чем это я? А, про велосипед! Так вот-с, на этой машине Анна Дмитриевна соблазняла вашего покорного слугу вскоре после Русско-японской войны, и соблазняла, я должен признать, весьма успешно…») и новый мужской, черный, марки «Украина» — Мишина премия, не вспомнить уже, за что, когда

он еще был студентом…

В то незабываемое лето тридцать девятого года они почти каждый выходной уезжали на велосипедах на целый день — куда-нибудь по Приморскому шоссе, или за Стрельну по Петергофскому, в Мартышкино, в Ораниенбаум — Меншиковский дворец, Катальная горка… Неужели всего одно лето? Да, конечно, одно, в сороковом уже родился Мишенька, значит это было только в тридцать девятом — но почему оно осталось в памяти таким бесконечно долгим, таким некончавшимся — черемуха в Верхнем парке, пруд возле Китайского дворца и белые ночи, возвращение последним поездом, а потом — пустынный Лермонтовский, набережные Фонтанки, Крюкова, Круштейна, через площадь Труда — наперегонки, чтобы успеть до развода мостов…

Как все же странно мы устроены, подумала она, утирая слезы, я ведь была совершенно счастлива тогда, в июне тридцать девятого — каких-то полтора года спустя…

Так скоро утешиться после потери родителей? И ведь не просто «потери», они ведь не умерли вместе от какой-нибудь заразной болезни, не попали в крушение, их участь оказалась страш-

нее — а я смогла так скоро утешиться только потому, что вдруг устроилась моя личная судьба, еще недавно казавшаяся беспросветной. Что это — эгоизм молодости, инстинкт самосохранения? И если бы не любила родителей, была далека от них, так нет же — любила, не представляла себе жизни без них и была близка — особенно, конечно, с мамой, отец был слишком погружен в свою науку, известную отчужденность это невольно создавало… Но все равно — поехав впервые в жизни в пионерлагерь, уже тринадцатилетняя, тосковала, писала отчаянные письма, пока не приехали и не забрали…

Да, странно, но иначе и невозможно, пожалуй, иначе нельзя было бы жить — если бы не эта способность забыть даже самое страшное, смириться с потерей самого дорогого, войти в новый отрезок жизни — как входят в новый, не обжитой еще дом — налегке, оставив за порогом все прежнее…

Елена прошлась по комнатам — две, да еще такие большие, зачем ей столько, может, обменять? Но жалко расставаться с Верой Панкратьевной, да и потом — когда оно вырастет — лишняя площадь пригодится, для зятя ли, для невестки… Ладно, рано об этом думать. Мебели осталось больше, чем можно было предполагать, сожгли

только стол, несколько стульев, что еще? Да, секретер здесь стоял — тоже исчез. И уж совсем удивительно, что сохранилась даже часть книг. Немного, правда, а все же! Книгами-то можно было пожертвовать в первую очередь — но бедный старик предпочитал ходить разыскивать какие-то досочки, сучья… Да, вот этого я забыть не смогу, подумала она, ни забыть, ни простить себе этого — во веки веков. Господи, если Ты есть, если Ты видишь все, что здесь делается, — пошли мне возможность самой искупить свою вину, не перекладывая хотя бы частицы ее на невиновных…

— Тебе когда рожать-то? — поинтересовалась Вера Панкратьевна, когда Елена вернулась в кухню.

— В ноябре, если доношу.

— Да ну, типун тебе на язык! Чего же не доносить, скажи на милость, — молодая, здоровая, придумаешь тоже… Ленуся, ты меня извини, я из письма твоего как-то не поняла — ты что же там, замуж вышла?

— Нет, конечно. Как я могла бы не написать вам, если бы вышла замуж?

— А-а, ну-ну… Да оно, может, и к лучшему. После войны семью начать ладить — это как-то… надежнее. А дитя — это хорошо, Ленуся, это ты

хорошо придумала, легче тебе с ним будет. То есть, конечно, оно и тяжелее, кто же спорит; но в главном — легче, это тебе такую даст… силу! — Вера Панкратьевна сжала кулачок и потрясла над столом, показывая, какую силу дает материнство. — Ты вот сама почувствуешь!

— Да, я… пожалуй, уже сейчас чувствую, — согласилась Елена. — Без этого… не было бы, понимаете, ради чего… Вера Панкратьевна, это правда, что Мишенька умер в стационаре?

— Господь с тобой, Ленуся, — испуганно ахнула соседка, — да неужто я в таком бы тебе солгала!

— Да, простите, я просто… — Она присела к столу, запрокинула голову, закрыв глаза. — Понимаете, у меня все время стояло перед глазами — как он остался здесь после… после них и… умирал один совершенно, брошенный, забытый, понимаете…

— Что ты, что ты, опомнись, не могло такого быть, да если бы нам всем вовсе уж худо стало — неужто не позаботились бы, да хоть дружинниц бы кликнули, деток-то подбирали, ходили нарочно по квартирам девчушки вот вроде той, что тебя встретила. Деток многих так спасли. А Мишеньку в декабре еще в стационар забрали, там все ж таки хоть чуть, а протапливали как-то, а

здесь ведь вовсе был холод… Хорошо, у нас управдом еще до холодов воду из отопления догадался спустить, а то и батареи бы все полопались, как в других домах. Хороший человек был, царствие ему небесное, тоже не пережил первой зимы…

Елена долго молчала, потом спросила:

— Вера Панкратьевна, вы в Бога верите?

— В Бога? Да нет, Ленуся, пожалуй, что и не верую больше. В молодости вроде веровала… давно, когда жизнь была благополучная. А потом ушла моя вера. Не могла я этого понять, если Он такой всевидящий и милосердный, как батюшки говорили, как же Он терпит и позволяет то, что люди с собой делают…

— Ну да, это… труднее всего понять. И все-таки… Мне кажется, не верить ни во что можно как раз наоборот — только если живешь совершенно благополучно. А так — вообще полная бессмыслица, да что я говорю «бессмыслица», это уже безумие какое-то предельное — допустить, что всему этому нет какого-то высшего оправдания… Я тоже — не знаю совершенно, но этого допустить не могу, это ни в какие ворота, понимаете, нас ведь учили, что все в мире разумно, даже в природе все разумно устроено, но тогда человеческая жизнь — жизнь общества — тоже

должна быть устроена разумно. А что получается? Ну где эта «разумность», где этот «мировой порядок»? Я, когда родителей забрали, жила одно время за городом… из квартиры выселили, из института отчислили, спасибо, нашлась наша бывшая домработница — приютила. Так вот, она — а она была верующая, мне тогда тоже странным это казалось, — она очень как-то спокойно на все смотрела. Не то чтобы равнодушно, нет, равнодушная не взяла бы к себе дочь «врага народа» — от меня ведь давние наши знакомые на улице шарахались, проходили мимо, не узнавая… У нее действительно покой и мир были в душе, понимаете, она говорила, что все это одна видимость, надо лишь перетерпеть, а потом каждому воздастся — и за то зло, что он причинял другим, и за страдания, которые сам принял. Конечно, я не могла тогда этого понять, я и сейчас не могу сказать, что… ну, поняла, приняла до конца! Но вы понимаете, это действительно придает смысл всему, смысл, оправдание, разумность. А иначе…

— Ох, Ленуся. — Вера Панкратьевна покачала головой. — Ох, Ленуся, страшно мне за тебя. Ну что вот ты говоришь? Ведь это если кому другому так сболтнешь, если не дай бог кто услышит, да еще и отец с матерью у тебя репрессирован-

ные, — ну хоть дите пожалела бы, если на себя махнула рукой!

— Вовсе я не махнула на себя рукой, и за него не беспокойтесь, не такая уж я дура, чтобы не понимать… с кем можно, а с кем нельзя.

— Да лучше вообще ни с кем, в привычку себе надо взять — никогда и никому! И самой лучше про такое не думать, оно надежнее будет…

— Конечно, лучше не думать, кто же спорит. Вера Панкратьевна, а почта здесь как теперь работает?

— Да нормально вроде, не жалуемся. А что?

— Съезжу завтра на Кирочную, узнаю… Я тогда оставляла заявление на переадресовку, но вдруг оно за это время потерялось? Наверняка потерялось, а письма могли приходить…

— У матери-то когда срок кончался?

— В прошлом году еще кончился, но мне говорили, что на время войны их все равно там оставляют, уже как вольнонаемных…

Поход на Кирочную, как она и боялась, ничего не дал. Поговорив с дворничихой — новой, не знавшей ничего о довоенных жильцах, — Елена вышла на асфальтированный пятачок двора, где когда-то прыгала «классики», посмотрела на окна четвертого этажа. Спокойно, не испытывая уже

ничего, кроме отрешенной печали. Этот пласт ее жизни погрузился в такие глубины прошлого, что воспринимался не как личное воспоминание — так можно припоминать давно читанную книгу, полузабытый фильм. На всякий случай она зашла на почту, написала еще одно заявление.

Обратно шла пешком по улице Чернышевского, по набережным — Робеспьера, Кутузова. Дойдя до Летнего сада, почувствовала вдруг, что устала, и села на первую же скамейку лицом к решетке. День был теплый, почти безветренный, солнце неярко просвечивало сквозь редкую кисею облаков, а в северной стороне небо было и вовсе чистым. Она вспомнила, как Сергей однажды расспрашивал ее про эту решетку — что в ней такого особенного. На снимках я видел, сказал он, красиво, конечно, но ничего выдающегося — наверное, надо самому увидеть, тут же размер играет роль, пропорции… Елена нечасто вспоминала о капитане Дежневе, но всегда с благодарностью, с теплым чувством — у него хороший отец, что-то в этом мальчике есть чистое и надежное. Мысленно она почему-то так его и называла — мальчиком, хотя не такой уж он для нее «мальчик», моложе — да, но он из тех юношей, которые на войне сразу стали зрелыми

мужчинами…

Она подумала, что не исключено, что когда-нибудь они здесь встретятся, он ведь говорил, что собирался учиться в Ленинграде. Забавно может получиться: вдруг нос к носу — а она с ребенком. Встреча фронтовых друзей. Неужели мужчина может смотреть на собственное дитя — и не догадаться, не узнать? Дитя словно услышало, что о нем думают, — шевельнулось в ответ, теперь уже совершенно ощутимо. Елена положила руку, оно тут же затихло, затаившись. Улыбаясь, она смотрела на решетку, четко врезанную в яркую эмалевую синеву неба над крепостью, и думала, что все-таки правильно распорядилась судьба, против воли вернув ее в этот непохожий ни на какие другие, страшный и пленительный город…

Глава 8

Когда в конце сентября полк снова оказался на 2-м Украинском, капитан Дежнев почувствовал странное облегчение от того, что кончилось наконец это выматывающее душу затишье. Спешная переброска дивизий обратно на юг могла означать только одно: там готовится что-то серьезное. Похоже было, что командование решило долба-

нуть по Венгрии.

Если бы еще год назад ему сказали, что на фронте можно устать от затишья, он решил бы, что перед ним или трепло, или необстрелянный лопух, ни разу еще не побывавший на передке и знающий войну по выпускам «Боевых киносборников». А теперь капитан и сам почувствовал: да, действительно, можно устать и от тишины.

Он почувствовал это там, в Белоруссии, когда закончились июльские победоносные бои и фронт остановился на пороге Германии. Казалось, еще один рывок — и вот она, Восточная Пруссия, Кёнигсберг, выход на побережье Балтики к Данцигу; но тут кампания была окончена, все затихло, замерло на месте. Поначалу радости нечастого солдатского отдыха заглушили досаду от того, что откладывается долгожданный час вторжения на проклятую немецкую землю. А потом отдыхать стало тягостно.

Теперь, когда до победы — как все были уверены — оставались считаные месяцы, особенно трудно становилось ждать. И хотя победу они добывали сами, своим ратным трудом, кровью и потом, — все равно ими начинала овладевать какая-то особая психологическая усталость.

Солдаты смертельно устали от войны. Устали

уже давно, но они просто не могли позволить себе поддаваться усталости раньше, в те страшные месяцы, когда судьба отечества решалась в развалинах Сталинграда и на перепаханных огнем и железом курских полях, когда любой бронебойщик понимал, что его наспех отрытый окоп — это сейчас последний рубеж России.

А потом положение изменилось. Отечество было спасено, уже никто более не сомневался в исходе единоборства. Победа стала лишь вопросом времени.

И постепенно наступила реакция. Характер ее нельзя даже было определить сразу, это была какая-то едва уловимая перемена в самом отношении человека к войне. Раньше война властвовала над ним полностью и безраздельно, не оставляя места ни для чего личного, ни для чего с нею не связанного, она была всеобъемлющей — как система мироздания. Теперь же ее начинали воспринимать под иным углом — все очевиднее становилась ее преходящесть, война была просто временным препятствием на пути к миру. К миру, о котором еще недавно даже и не думалось — таким он был далеким, нереальным, недостижимым; а теперь он стал конкретной, ясно видимой впереди целью.

Солдаты становились осторожнее (вдвойне страшно погибнуть под конец), и в то же время ими все больше овладевало нетерпение — скорее бы уж, скорее! Зимняя, весенняя и летняя кампании сорок четвертого года ознаменовались крупными успехами: изгнанием оккупантов с Правобережной Украины, вторжением в Румынию, ураганным шквалом «Багратиона» в июле, когда ошметки сорока немецких дивизий одним ударом смело к нашей государственной границе — к той самой роковой черте, где три года назад вермахт начал кровавый отсчет своих пирровых побед; а потом вдруг настала тишина. И тишина эта показалась солдатам невыносимой.

Невыносимой казалась теперь мысль о каждом лишнем месяце войны. В конце четвертого военного лета психологическая боеготовность нашего солдата была высокой как никогда — не потому, что каждый сделался вдруг похож на тех придуманных газетчиками героев, что черпают отвагу в высоких мыслях о Родине, о Партии, о любимом Вожде; прежде всего солдаты думали о тех, кто ждет их дома, и именно потому рвались в бой, что не было иного, более безопасного пути к родному порогу. Рвались в бой, чтобы покончить с боями вообще.

Было, правда, и другое, совсем другое отношение к войне. Оно тоже было новым, капитан Дежнев впервые заметил его уже здесь, в Трансильвании, у только что прибывших в полк молодых офицеров. Молодых! Черт возьми, ему самому всего двадцать два; но каким старым казался он иногда сам себе, глядя на этих девятнадцатилетних взводных с одной звездочкой на погонах…

Подражая бывалым фронтовикам, свежеиспеченные младшие лейтенанты тоже ругали войну, любили поговорить о планах послевоенной жизни и на сабантуях лихо выпивали «за скорейшую победу», — но чувствовалось, что они совсем не прочь повоевать еще годик-другой. Во всяком случае, у многих то и дело прорывалось сожаление, что они «опоздали на войну».

Дежнев понимал этих ребят. Сам он, ясное дело, так чувствовать не мог — ни он, ни кто другой из его сверстников, пришедших на фронт в сорок первом и такого хлебнувших за эти годы, что на три жизни хватит. Но понимать он их понимал. Вчерашние курсанты, только что надевшие новенькие лейтенантские погоны, первый, самый страшный период войны провели в тылу, не зная о ней ни капли правды. Правду знали те, кому

довелось воевать с самого начала, кто пережил два великих отступления: первое — до Москвы, Ладоги и Харькова, второе — до Волги и Эльбруса; кто видел, как гибли в «котлах» по три-четыре армии сразу, как оставляли на танкоопасных направлениях безоружных мальчишек из военных спецшкол, вместо винтовки дав каждому «смертный медальон» да поллитровку с бензином; как потом учились наступать — без танковой или воздушной поддержки, без артподготовки, «на ура», невообразимыми, не укладывающимися в сознании потерями оплачивая дурь и трусость бездарного начальства, слишком легко усвоившего подлую мыслишку, что «война все спишет». Подумаешь, сотней тысяч больше или меньше! — дело идет о защите социалистической Родины, до арифметики ли тут, а баб в стране много — еще нарожают…

Всего этого из тыла было не разглядеть. Для ребят предпризывного возраста фронт даже в самые тяжелые месяцы оставался манящей ареной славы и подвигов. Они читали о героях, видели их на экране — веселых, неунывающих, непобедимых, — слышали о них по радио — а вокруг были безрадостные тыловые будни, обезмужичевшие колхозы и переполненные эвакуированными

города, очереди, голод, повестки да похоронки…

Будь ребята постарше, они поняли бы, что героические дела совершаются не только на фронте и что неприметное будничное подвижничество их матерей заслуживает едва ли не большего преклонения, чем боевые подвиги отцов и старших братьев. Но они действительно были очень молоды и поэтому ровно ничего героического в жизни и работе тыла не видели — в тылу им было попросту неинтересно, они жили мечтой о фронте, о том самом переднем крае, про который столько написано книг, сложено песен и снято фильмов. И вот теперь их мечта наконец исполнилась!

Им повезло — младшим лейтенантам, прибывшим в полк осенью сорок четвертого года, к началу нашего большого наступления в Венгрии. Война теперь была не та, какой начиналась, да и выглядела совсем по-другому — словно сама природа позаботилась о роскошных декорациях для здешнего «театра военных действий». Сказочно прекрасны были Трансильванские Альпы, одетые в золото и багрянец осенних лесов, и грозно, победно и торжествующе перекатывались по горным долинам орудийные громы, возвещая начало великого освободительного похода в Европу. Сколько неведомых стран лежало там,

за этими перевалами, сколько людей с надеждой прислушивалось сейчас к рокоту советских пушек, ожидая скорого уже избавления от долгого ига! Казалось, сбываются самые дерзкие мечты, самые прекрасные сны становятся явью. Мальчики в новеньких лейтенантских погонах жалели лишь об одном: что второй фронт все же открылся и им не придется закончить поход на берегах Атлантики.

Она казалась им прекрасной, эта заграничная война сорок четвертого, и лейтенанты с сожалением думали о том, что хватит ее ненадолго — самое большее, на полгода; но пока она шла, и вертелся грохочущий калейдоскоп стремительного наступления — улицы чужих городов, зажмурившиеся гофрированными шторами закрытых витрин, непонятные вывески, горящие «тигры» да «пантеры» и ползущие навстречу вереницы пленных, придорожные распятия и мимолетные обжигающие взоры чернооких мадьярок, крестьянские дома, парки, прочерченные аллеями вековых буков, и замки магнатов, где со стен смотрели из тускло мерцающих золотых рам надменные усачи в венгерках и лихо заломленных меховых шапках с соколиными перьями.

На офицерских пирушках по поводу чьей-нибудь очередной награды лейтенанты пили коллекционный токай из подвалов Андраши и Эстерхази, хором пели «Много верст в походах пройдено», читали лихие стихи вроде «Мы не от старости умрем, от старых ран умрем, так разливай по кружкам ром, трофейный рыжий ром»; они чувствовали себя чуть ли не гусарами той, первой Отечественной, гусарами-победителями накануне вступления в завоеванную столицу Буонапарта…

А потом они поднимали в атаку свои взводы, мальчишескими голосами крича: «Вперед! За Родину!!» — и умирали на холодной венгерской земле, в театральном великолепии трансильванской осени. Потому что война, даже такая романтичная с виду, не была игрой, в сорок четвертом году пули и осколки обладали той же убойной силой, что и в сорок первом.

В середине октября дивизия, в состав которой входил 441-й гвардейский мотострелковый полк, оказалась на главном направлении контрудара эсэсовских панцер-гренадеров, предпринявших отчаянную попытку задержать наше наступление между Дебреценом и Ньиредьхазой.

Взрывная волна, хотя и ослабленная расстояни-

ем, настигла комбата у самого входа в блиндаж, и по ступенькам он не сбежал, а скатился; оглушенный падением, еще сидел на полу, когда кто-то обхватил его сзади под мышки, помогая подняться.

— Вы живой, товарищ капитан?

— Убитый, не видишь, что ли! — зло ответил Дежнев, выведенный из себя дурацким вопросом. — Чем спрашивать хреновину, давай связь со второй ротой!

— Нема связи, — виновато сказал телефонист. — Верно, опять порвало…

— Так что? — еще злее спросил комбат. — Мне, может, на линию идти?

Телефонист с новой энергией завертел ручку индуктора, крича в трубку отчаянно и безнадежно: «Але, але!» От нового взрыва поблизости блиндаж снова тряхнуло, сквозь разошедшуюся обшивку на потолке посыпалась земля. Немцы, словно догадываясь о расположении командного пункта батальона, лупили по высотке тяжелыми реактивными минами.

— Товарищ капитан, отвечает вторая! — радостно заорал телефонист, протягивая ему трубку.

Дежнев, превозмогая опять накатившую волну слабости, судорожно стиснул в кулаке скользкий

от пота эбонит.

— Мито! — крикнул он, не сразу расслышав голос Барабадзе. — Мить, что там у тебя? Ты меня слышишь? Обстановка какая, спрашиваю, мне тут ни хрена не видно — из-за дыма никакой видимости…

— Атакует «пантерами»… — по-комариному пропищал голос командира второй роты, едва слышный, с трудом пробивающийся по перерубленному в нескольких местах и наспех сращенному проводу. — Бронебойщики… штук подбили, но… не хватает, понимаешь…

— Ты держись, слышишь! — кричал Дежнев. — Я тебе пару взводов из третьей роты перебрасываю сейчас, у них есть пэтээры — слышишь меня? Я говорю — держись, подкину что могу, я чувствую, он главный удар нацеливает через тебя, ты его к бетонке не подпускай, чтоб он бетонку не оседлал, понял?

Он обернулся к телефонистам и крикнул:

— Третью, живо!

— С третьей связи нет, товарищ капитан, там двое сейчас на линии, ищут разрыв…

— Послушай, Дежнев, я бы не стал трогать третью роту, — сказал начштаба. — У нас и так слабовато на правом фланге, и если…

— Что «если»? — огрызнулся комбат. — На, погляди! — Придерживая трубку плечом, он сунул через стол притрушенную землей двухкилометровку. — Не видишь, что ему надо? На правом фланге как там еще будет, неизвестно, а вторую он уже давит! Давай пиши, посылай связного — пусть оставят заслон и все остальное гонят к Барабадзе, бронебойщиков всех туда, это главное… Мито! — снова закричал он в трубку. — Мито, слушай меня!

— …слушаю, только мешают, — пропищал комариный голос. — Никакого, понимаешь, уважения, — человек говорит с большим начальством, а они над самым ухом… термитными, просто хулиганы…

Дежнев усмехнулся и почувствовал, как опять лопнула кожица на обветренных губах.

— Я вижу, духом не падаешь, это хорошо! — крикнул он. — Пэтээров тебе подкинут, но учти — не удержишь бетонку, пропустишь его к мосту — нехорошо нам будет, ясно?

Барабадзе ответил что-то, но тут новый громовой раскат рванул землю вместе с блиндажом, и линия окончательно умолкла. Радист в углу, согнувшись над своим зеленым облупленным ящиком, пытался связаться с полком, бубня нудно

и монотонно: «Волга, Волга, я Кама, Волга, Волга, я Кама…» Начальник штаба, старший лейтенант со щегольскими английскими усиками, торопливо дописывал приказ на вырванном из полевой книжки листке, спеша отдать его связному, который стоял тут же с унылым видом. Дежнев мельком глянул на незнакомого низкорослого солдата и пошел к выходу, застегивая ремешок каски. Понаприсылали черт-те каких хмырей…

— Напиши, чтобы дали сведения о потерях, пока хоть приблизительные, — сказал он, задержавшись возле начштаба. — А пэтээры все до одного — во вторую. Правый фланг усилим минометами, если понадобится…

— У Барабадзе сейчас — самое танкоопасное направление, — добавил он, когда Козловский промолчал, выражая, как ему показалось, несогласие. — Соображать надо!

Связной выбрался из блиндажа следом за ним. Дежнев взял солдата за рукав шинели.

— Давно на фронте?

— С самого начала, товарищ гвардии капитан! — бодро ответил связной.

Там, в блиндаже, он показался недотепой, но сейчас комбат подумал, что первое неблагоприятное впечатление было ошибочным.

— Против танков стоять приходилось?

— А как же. — Солдат ухмыльнулся. — Первое время только тем и занимались — когда не бегали.

— Тогда сам должен понимать, как сейчас приходится второй роте, — сказал Дежнев. — Они без поддержки долго не продержатся, а дать немцам захватить мост — значит всем угодить в окружение. Ясно?

— Так точно, товарищ гвардии капитан, — сказал солдат, немного подумав, словно мысленно представив себе обстановку во всех угрожающих подробностях. — Рази ж я не понимаю!

— Добро, давай тогда жми, — сказал комбат, подтолкнув его в спину. — И быстро назад!

Связной, пригнувшись, убежал по аккуратно обшитому досками ходу сообщения. Ход был коротким — дальше солдату придется бежать под огнем. Пока они разговаривали, было короткое затишье — разноголосые звуки боя словно отхлынули от высотки и сконцентрировались в дымном мглистом отдалении там, впереди, где был участок второй роты. Потом немцы снова ударили по склону холма. Их система огня была сегодня какой-то непривычной, странной, словно они били вслепую, наугад — куда попадет. Может

быть, просто прощупывали оборону…

А может, и не «просто». Может, у них свой план — не такой ясный, как подумалось ему вначале. До этой минуты он был уверен, что немцы будут стремиться оседлать шоссе и захватить мост раньше, чем успеют подойти наши танки; но сейчас он снова мысленно увидел перед собой карту, пестро разрисованную дужками и заштрихованными овалами, — словно шахматную доску, на которой еще не проступили контуры замысла противника. Мост как главный объект? Слишком очевидно, слишком на поверхности; что, если это просто отвлекающий маневр, а на самом деле они, сковав основные силы батальона на участке Барабадзе, ударят по левому соседу…

— Федюничев! — позвал Дежнев, не оборачиваясь, лежа грудью на бруствере и обшаривая в бинокль хмурую лощину, затянутую дымом от горящей в двух километрах усадьбы. Да, черт возьми, когда-то мы радовались нелетной погоде, а теперь ею пользуются немцы. Если бы не этот паскудный туман, Илы их бы сейчас так долбанули… — Федюничев, твою мать!!!

— Ну, здеся я, — не сразу отозвался ординарец невнятным голосом, явно что-то дожевывая.

— Кушай, кушай, я подожду, — ехидно сказал

Дежнев. — А как кончишь, попроси ко мне старшего лейтенанта Козловского. И карту, скажи, пусть с собой захватит.

Козловский появился незамедлительно, скрипя сшитыми на заказ у какого-то мадьяра хромовыми сапожками. Сапожки, усики, еще и фамилия такая — неудивительно, что девчата всего полка сохли по начальнику штаба второго батальона. Комбат этих восторгов пока не разделял, ему трудно было забыть погибшего в Белоруссии Звонарева. Тот был начштаба — лучшего не пожелаешь; а этот, похожий на Э. Идена щеголь, пока ничем себя не проявил.

— Связь с полком есть? — спросил Дежнев.

— Так точно, установлена связь. Да у него просто антенну сбило, сразу надо было проверить.

— Лопух он, а не радист. Тут, старшой, вот какое дело… — Грохот близкого разрыва смел комбата со снарядного ящика, служившего ему приступкой, он нырнул на дно траншеи рядом с Козловским, и оба замерли, сидя на корточках. Еще две мины рванули рядом почти одновременно. Когда сверху перестала сыпаться земля, комбат и начштаба с облегчением выругались одними словами, как по команде.

— Почему без каски ходишь? — спросил Деж-

нев. — Ты этот тыловой форс давай бросай! Нашел место — в фуражечке щеголять. На передке храбрость в другом проявляется, понял?

На этот раз старший лейтенант не обиделся.

— Чудак, я же не думаю форсить! — ответил он, стараясь перекричать грохот. — Просто нам говорили, что офицер не должен проявлять перед солдатами излишнюю осторожность!

— Дурак сказал, а ты и уши развесил! Влупит тебе осколком по черепу, тогда узнаешь, излишняя она или нет! Слушай — надо запросить полк, обещали же прислать танки…

— Я уже запросил. — Козловский кивнул. Вокруг опять стало потише. — Танков уже не обещают, но к четырнадцати часам должны подойти самоходки, они сейчас заправляются и берут боезапас.

— Тоже неплохо. Карту принес? Давай-ка сюда, у меня тут одно соображение возникло, давай подумаем…

Козловский развернул карту на снарядном ящике.

— Смотри, старшой, — сказал Дежнев, помолчав над картой. — Допустим, самоходки будут здесь в четырнадцать ноль-ноль. Если они ударят с этого рубежа, им тут придется вбивать клин

между нашими немцами и теми, что действуют против левого соседа. Темнеет сейчас рано, а за ночь обстановка может измениться. Я подумал такую штуку… — Он снова замолчал, машинально вытащил из кармана шинели мятую папиросную пачку, не глядя протянул Козловскому и закурил сам. — Смотри сюда. Вот — эта группировка, что слева от нас. А вот — «наша», которую сейчас сдерживает Барабадзе. Левая почему-то жмет вяло, у меня такое впечатление, что они выжидают…

— Чего?

— Ну, скажем, пока будет обеспечено прикрытие со стороны моста. Они рассчитывают, что наши танки, скорее всего, пойдут этим путем, это в общем логично. А потом — вот увидишь! — они навалятся именно сюда, ударят по стыку между нами и Бовкуном…

Углом зажигалки комбат прочертил по карте прямую линию от фронта соседнего первого батальона — наискось через высоту, где располагался командный пункт второго.

— Обрати внимание, — добавил он, — они с утра держат под обстрелом именно эту полосу…

— И что ты предлагаешь? — подумав, спросил Козловский.

— Бери сейчас «виллис» и жми в полк. Встретишь самоходки — заворачивай их, веди этой дорогой — вот сюда — видишь? Когда будете на подходе — радируешь мне, я отвожу Барабадзе, пропускаю «пантеры» на бетонку, пусть катятся за мост. Мы его порвем у них за спиной, понял? Пусть они там покрутятся, все равно далеко не уйдут. А подойдут самоходки — посадим ребят на броню и ударим прямо по — как его? — Шегедьвар, ну и название, язык сломаешь. Вот по этому Шегедьвару мы стукнем — заходя, таким образом, в тыл их фланговой группировке и расчленяя их надвое. Может, и Бовкун поддержит, постараюсь уговорить. А когда расчленим, поодиночке с каждой и управимся. Уверен, со стороны Шегедьвара они нас не ждут. Ну, что молчишь?

— План разумный, мне думается, но… Надо ведь с полком согласовать? Нам не ставили задачи овладеть Шегедьваром.

— А как ты понимаешь задачу «держать активную оборону»? Я же не на Будапешт предлагаю рвануть! А расчленить наступающего противника контрударом, — по-моему, это и есть активная оборона. Знаешь, если каждый свой шаг с полком согласовывать…

— Да нет, я не против.

— Да и как теперь согласуешь — по радио, открытым текстом? А если связного посылать, так пока он доберется, пока Прошин свой мыслительный аппарат раскочегарит. — Комбат махнул рукой. — Лучше уж возьму ответственность на себя. А Бовкун, я думаю, поддержать не откажется. Ну, давай, старшой, давай поезжай! «Виллис» возьми лучше мой, Ахмедулин парень надежный, проскочите…

Теперь, когда решение было принято, Дежнев сразу успокоился, почувствовал себя лучше. Злобная раздражительность, владевшая им с утра, вдруг исчезла, уступив место спокойной уверенности в том, что все идет как надо. Сидеть в обороне было тягостно (успели уже отвыкнуть!), а еще тягостнее было чувствовать, как нависает над батальоном неразгаданный замысел противника. Такое было ощущение, будто дерешься вслепую, тыча кулаками наугад. А как только замысел оказался разгадан — капитан уже не сомневался, что разгадал его, — сразу возник контрплан, успокаивающий своей логикой.

Не успел уехать Козловский, как вернулся тот маленький связной, что ходил в третью роту. Там все было в порядке, бронебойщики уже отправились во вторую. Комбат одобрительно похлопал

связного по плечу и мельком глянул в присланную ротным сводку потерь — их почти не было, правый фланг был действительно сегодня самым спокойным, это подтверждало справедливость его догадки.

Следующие два часа он невылазно просидел в блиндаже, не выпуская из рук телефонных трубок. Из второй роты вернулся его замполит Кравченко — узнав о плане комбата, тоже с ним согласился, сказав, что подобное приходило на ум и ему. Барабадзе, сказал он, пока держится, но потери у него большие — может быть, учитывая новый план, есть смысл вообще перебросить туда третью роту; в том маловероятном случае, если немцы предпримут что-нибудь на правом фланге, всегда можно будет заткнуть брешь, перебросив часть сил с левого. После этого Кравченко уехал к Бовкуну — согласовать совместные действия.

Времени оставалось не так много — в кратчайший срок, под огнем, пришлось на ходу перестраивать всю систему обороны, менять минометные позиции, перебрасывать на новые места противотанковые семидесятипятимиллиметровки. Хорошо еще, что вышколенные телефонисты не ударили в грязь лицом — все линии работали как надо, и если где-нибудь происходил обрыв,

то повреждение устранялось незамедлительно. В тринадцать часов сорок две минуты радист установил связь с командиром соединения самоходной артиллерии — орудия были уже на марше и меньше чем через час должны были прибыть в заданный квадрат. «Ваш порученец со мной, мы всё согласовали», — добавил пушкарь.

Дежнев заставил себя выждать еще пятнадцать нескончаемых минут. Командир подрывной группы, посланной на мост, доложил тем временем, что объект к взрыву подготовлен.

— Добро, — сказал комбат. — Как только пройдут — рви к чертовой матери. Только не торопись! Мне нужно, чтобы они все были на той стороне, понял? Об исполнении доложишь немедленно, а если к тому времени откажет связь — дашь три красные ракеты в нашу сторону, авось разглядим и в тумане…

Туман к этому времени стал гуще, видимость сократилась до какого-нибудь полукилометра — от силы. Вообще атаковать в тумане комбат не любил, без визуальной связи с подразделениями он чувствовал себя слепым, но сейчас, пожалуй, это обстоятельство оказывалось на руку: план строился на неожиданности, и чем позже немцы спохватятся, тем лучше.

— Давай вторую роту, — сказал он телефонисту.

— Вторая на проводе, товарищ капитан! — через пять минут доложил тот.

Дежнев взял трубку.

— Мито, слушай меня…

— Старший лейтенант Барабадзе убит, — пропищало в трубке, — ротой командует лейтенант Голованов…

— Убит Барабадзе?! — крикнул Дежнев и горестно выругался. — Голованов, слушай, Голованов, ты мой голос узнаёшь?

— Так точно, товарищ капитан, слушаю вас…

— Голованов, давай быстро отводи роту! Отходите на эту сторону бетонки, пропускай их на мост — ты меня понял? Налево по бетонке не пускай, слышишь? Нет, ни в коем случае! Левый фланг укрепи всеми противотанковыми средствами, какие у тебя остались, а правый и центр отводи к высоте двести восемь! Ты понял?

— Понял, товарищ капитан, укрепить только левый, пропускать к мосту…

— Давай действуй, лейтенант, действуй оперативно, мне нужно, чтобы через полчаса «пантеры» были по ту сторону моста! Обстановку докладывай каждые десять минут, я буду на

проводе…

Бросив трубку, он выругался еще раз, вспомнив о Мито Барабадзе. Убитый на Курской дуге Мишка Званцев верно говорил, что на фронте хоть не заводи друзей, не успеют двое подружиться — обязательно одного не станет. Бедный Мишка, накаркал ведь себе, как в воду глядел! Погиб и Звонарев, а теперь вот и Мито — года вместе не провоевали, эх, черт…

Нетерпеливо поглядывая на смолкшие до времени ящички телефонов, капитан побарабанил пальцами по каске, которую держал на коленях, закурил и тут же бросил папиросу — во рту было горько. Он вспомнил, что с утра ничего не ел, от злости не было аппетита.

— Федюничев! — позвал он. — Дай-ка пожевать чего-нибудь, не будь жлобом. С таким ординарцем с голоду подохнешь, если сам не напомнишь…

— Завтракать надо было, когда давал, — с обидой отозвался тот. — Иде я вам тут сейчас готовить буду?

— Да кто тебя просит готовить — сухарь в кармане найдется?

Федюничев, продолжая занудливо ворчать, повозился в своем сидоре, поставил рядом с те-

лефоном вскрытую банку тушенки и положил краюху хлеба. Комбат стал есть, выковыривая мясо складным ножом. «Везучий я какой-то, — думал он равнодушно, со странным безразличием к самому себе. — Ребят вокруг так и косит, а я как заговоренный… Верно, под самый конец и накроюсь, с везучими всегда так…»

Заныл зуммер, он торопливо дожевал кусок. Голованов испуганным каким-то голосом доложил, что «пантеры» выходят на бетонку.

— Добро, — сказал Дежнев. — Это то, что надо. Ты, лейтенант, не сомневайся, я ведь слышу, что сомневаешься. Смотри только, чтобы они на мост пошли, левый фланг держи в кулаке.

Зазуммерил второй телефон, комбат бросил трубку, схватил другую.

— Гансы уже тут, — лаконично сообщил командир подрывников.

— Проводка у тебя надежная, проверял?

— Цепь дублирована, сработает без осечки.

— Смотри. Только не торопись, не спеши! Рванешь раньше времени — испортишь мне всю обедню…

— Я понимаю. Пропустим всех, не беспокойтесь…

— Добро. Радист!

— Слушаю, товарищ капитан!

— Запроси командира самоходок, где они там чикаются…

— Отставить, — пробасил сзади незнакомый голос.

Дежнев оглянулся — в дверях блиндажа стоял плотный невысокий офицер в черном замасленном комбинезоне, из-за его плеча выглядывало лицо Козловского.

— Чего нервничаешь, капитан, воевать надо спокойно, — сказал офицер, подходя к нему, — а ты трепыхаешься, как старая дева перед брачной ночью. Ну, будем знакомы — майор Верзилин.

Комбат встал.

— Извините, товарищ майор, я…

— Да ладно, что я — не понимаю? А задержались не по своей вине, у нас…

На столе у телефонистов запели одновременно два или три зуммера — Дежнев, не дослушав майора, кинулся к телефонам.

— Первый на проводе! Что? Уже? Ясно, давай сматывай свое хозяйство и гони сюда. Алло — вторая? Голованов, слушай меня — бронебойщиков выдвигай дальше вдоль шоссе, слышишь, до самого поворота — пусть занимают позицию фронтом на юго-запад… Карта у тебя есть? Карта,

спрашиваю, под рукой? Так вот, займи участок от поворота шоссе — нашел? — до мельницы, дальше не нужно, не растягивай…

Он положил трубку и обернулся к Верзилину, сдвинув в сторону телефоны и смахивая с карты хлебные крошки.

— Ну что, товарищ майор, уточним план действий? Козловский, начинай погрузку десанта…

Через час он, стоя с биноклем в руках и шлемофоном на голове в открытом бронекорпусе легкой САУ–76, ловил в поминутно запотевающие стекла серые фигурки своих мотострелков, которые бежали, падали, вскакивали и снова бежали, короткими перебежками подбираясь к окраинным домам Шегедьвара. Местечко горело, и горели раскиданные по бурому осеннему полю темные бесформенные туши десятка «пантер», оказавшихся на пути наших тяжелых «зверобоев». Бой продолжался несколько минут — Дежнев вспомнил, как когда-то приходилось отбиваться от немецких танков сорокапятимиллиметровыми пукалками; а теперь тяжелые гаубицы — сто пятьдесят два миллиметра — используются как ПТО, лупят в упор прямой наводкой. Их даже новые «королевские тигры» не выдерживают, куда уж «пантерам»…

ИСУ–152 сбросили десант, проутюжили узкие улочки Шегедьвара и ушли дальше, теперь звуки танкового боя — точнее, побоища — доносились издалека, заглушаемые туманом. Здесь слышалась более привычная ему слитная трескотня автоматического стрелкового оружия и уханье минометов. Воздух от дыма и тумана казался каким-то сгущенным, неразличимые голоса пищали в наушниках радиошлема. Комбат, чувствуя себя ряженым в этом непривычном танкистском убранстве, поправил на горле контакты ларингофона и громко заговорил:

— Кама-вторая, Кама-третья, всем подразделениям продвигаться в направлении костела, Кама-вторая и Кама-третья, как меня слышите, повторяю: всем подразделениям усилить нажим к центру…

Глава 9

Из очередной поездки в Арнем Ридель вернулся в коричнево-черной форме тодтовца и, ввалившись к Болховитинову, бросил ему на кровать перевязанный шпагатом тючок той же расцветки.

— А это тебе, — заявил он, — переодевайся и

цени мою заботу.

— Ты что, совсем спятил? — спросил Болховитинов. — Нам сейчас только мундиры напялить не хватает!

— Это ты спятил. Именно сейчас нам следует напялить мундиры, потому что не пройдет и месяца, как тут начнут хватать за шиворот любого мужчину в штатском. Дезертиров уже ловят по всем закоулкам! А человек в мундире — дело совсем другое, даже если он и не имеет права его носить. Строго говоря, мы не имеем; но мне удалось разжалобить этого старого идиота, сказав, что мы совершенно обносились на службе рейху, и подкрепив жалобы дополнительной аргументацией в виде двух бутылок корна; так что одну ты мне должен. Дурень, помимо всего прочего — это ведь действительно одежда, полученная даром и без текстильных талонов. А парижский твой пиджачок еще пригодится после войны, так что давай, давай! Примерь, и, если окажется не впору, можно поехать обменять.

Болховитинов, пожав плечами, развязал сверток, от которого затхло разило цейхгаузом, надел слежавшийся по складкам китель, прикинул по длине брюки.

— Ну! — восхитился Ридель. — Что значит гла-

зомер! Ты в мундире просто неотразим, Кирилл, я бы поостерегся знакомить тебя со своей вдовушкой…

— С какой еще вдовушкой?

— Ну с той, в Клеве. А, я тебе не говорил? Ее муженька, бонзу, наконец-то ухлопали. Кстати, услуга за услугу: раз уж я организовал тебе эту роскошную униформу, съезди вместо меня в Вагенинген — там надо получить цемент.

— Цемент? Зачем нам цемент?

— О, тут сложная операция. Одна местная фирма — нет, бесполезно, ты все равно не поймешь! Словом, они закрывают нам наряд за якобы выполненные для них — опять-таки по субконтракту с той же ОТ — земляные работы, мы за это получаем от них известный бонус в денежном выражении, а они от нас — в натуре — якобы использованный нами цемент…

— Эту «операцию» раскроет любой дурак, — усомнился Болховитинов. — Где это, интересно, мы здесь могли использовать цемент?

— Да не здесь! Совсем в другом месте, и вообще не «мы». Не бойся, тут участвует слишком много влиятельных людей, и никто не заинтересован в огласке. Короче — сможешь поехать? Честно говоря, жаль покидать вдову — она, бедняжка,

так переживает.

— Да пожалуйста. Людей для погрузки возьмем отсюда?

— Разумеется, откуда же еще! Возьми человек шесть, машина будет завтра с утра…

Это поручение решало неожиданно возникшую проблему — Риделю он не мог сейчас о ней сказать, решил, что скажет позже, если все сойдет удачно. Не из недоверия, а просто на всякий случай: береженого, как говорится, Бог бережет. Два дня назад к нему на работе подошел молодой голландец и по-немецки, явно волнуясь, негромко попросил разрешения задать вопрос. Вопрос оказался неожиданным: правда ли, что он, господин инженер, не немец, а русский.

— Да, я русский, — подтвердил Болховитинов удивленно. — А что?

— Действительно настоящий русский? Я хочу сказать — родились там, в Советском Союзе?

— Мне тридцать лет, — объяснил Болховитинов, — и когда я родился, Советского Союза еще не было. Но я действительно родился в России, которую потом стали называть Советским Союзом. Однако в чем дело, я не понимаю…

— Мне, видите ли, надо отсюда исчезнуть как можно скорее. — Юноша помолчал, потом до-

бавил: — Конечно, я вас не знаю, но… другого выхода все равно нет.

— Исчезайте, кто вам мешает? Рабочий лагерь практически не охраняется.

— А документы? Когда нас взяли сюда, у нас отобрали удостоверения личности, а вместо них выдали вот такие бумажки…

Болховитинов мельком взглянул на розовый листок с типографским текстом и вписанной от руки фамилией: «Приказом гауляйтера и имперского комиссара обороны, Вы… являетесь краткосрочно-трудмобилизованным и поступаете в распоряжение…» — эти бумажки он уже видел, они были у каждого работающего на трассе.

— Понимаете, — продолжал голландец, — с этим меня задержит первый же дорожный патруль — почему отлучился с места работ?

— Канцелярия, к сожалению, не в моем ведении.

— Нет, я не к тому. Проблема в том, чтобы выбраться отсюда, из этой зоны. Просто здесь на дорогах усиленная охрана — патрули с собаками, рядом граница. С этим мне не пройти. А в любом городе там, — он указал в сторону запада, — мне сделают документы.

Болховитинов хотел уже спросить — связан ли парень с Сопротивлением, — в конце концов, откровенность предполагала быть откровенным до конца — но не спросил, это было понятно и так. Ясно, что не уголовник. Но действительно, что он мог для него сделать?

— Вот если бы вы могли меня куда-то послать с каким-то поручением, не знаю… А там я просто бы не вернулся, — предложил юноша.

— Не совсем представляю себе, куда можно вас послать, — сказал Болховитинов. — Куда и зачем. Во всяком случае, подумаю…

Подумав, он так ничего и не нашел и решил посоветоваться с Риделем, когда тот вернется. А теперь эта поездка оказывалась как нельзя более кстати — Болховитинов хотел помочь молодому голландцу, хотя он ничего ровно о нем не знал, это могло быть даже провокацией. Хотелось, и все тут — вопреки рассудку; почему еще он не стал пока ничего говорить Риделю — тот наверняка высмеял бы его, сказав, что он дурак и сует голову в петлю. Ладно, увидим.

Утром все сошло гладко. Наблюдая за раздачей инструмента, Болховитинов высмотрел своего парнишку и сделал ему знак подойти.

— Вагенинген вас устроит? — спросил он тихо,

когда тот подошел. — Будьте у меня на виду, сейчас подойдет машина, я отберу шестерых…

Парнишка был прав: дороги в этой части Голландии охранялись усиленно, их останавливали несколько раз. Протягивая патрульным путевой лист, Болховитинов поначалу нервничал — вдруг что-то не так; но бумага была выписана по всем правилам, а имена рабочих вообще не проставили, написали просто — «грузчики — 6 (шесть) чел.». Патрульные пересчитывали их, тыкая пальцем, и давали знак проезжать.

Ехали долго — мотор допотопного французского «берлье» с уродливо присобаченным за кабиной газогенератором несколько раз принимался барахлить, чихал, переставал тянуть. На окраине Вагенингена Болховитинов велел остановиться у ресторанчика, сказав, что зайдет купить сигарет.

— А вы пока разомните ноги, — сказал он сидевшим в кузове. — Или, может, кому клозет надо навестить?

Рабочие попрыгали через борт, парнишка незаметно сунул Болховитинову в руку сложенную бумажку.

— Адрес моей матери, — шепнул он, идя рядом с ним к дверям ресторанчика. — Это там рядом

— под Неймегеном, я сейчас туда не могу, но если потом вам что-нибудь понадобится…

Болховитинов, не оборачиваясь, молча кивнул.

Немецкие талоны на табак здесь не принимали, пришлось выложить десять марок за пачку какой-то местной дряни. Чтобы протянуть время, Болховитинов спросил еще пива, украдкой развернул на стойке полученный от парнишки обрывок бумаги — почерк, как и следовало ожидать, принадлежал человеку явно культурному, привыкшему иметь дело с пером. Студент, наверное. Скатав бумажку в тугой стерженек, он уже нацелился щелчком отправить его в плевательницу, но что-то остановило — подумав, пожал плечами и сунул скрученную записку в нагрудный карман кителя.

Вернувшись к машине, он велел рабочим поторопить еще не вернувшихся, забрался в кабину и закурил, предложив сигарету и водителю. Тот тоже согласился, что десять марок за такое дерьмо — цена несусветная.

— Лучше уж покупать никотиновый экстракт, — сказал он. — Травки насушишь, пропитаешь — и вроде на что-то похоже. Хотя некоторые не могут, сразу тянет блевать.

— Тоже ведь, наверное, эрзац, — сказал Болховитинов. — Откуда взяться настоящему никотину? Что-нибудь синтезировали похожее… — Он открыл дверцу, высунулся: — Ну что, все на месте?

— Виллема еще нет, господин инженер!

— Понос, что ли, его схватил? А ну-ка сбегайте позовите!

— Да нету его там, звали уже.

— Ладно, поехали, на обратном пути подберем…

Погрузив цемент, они вернулись к этому же ресторанчику, Болховитинов послал одного из рабочих спросить, не видели ли где отставшего, и со спокойной совестью велел трогаться.

Когда вернулись на трассу (по пути свалив мешки цемента в риге какой-то крестьянской усадьбы), рабочий день уже кончался. Протягивая дежурному охраннику путевой лист, Болховитинов сказал, что в пути случилась неприятность: пропал один из рабочих.

— Ну и черт с ним, — ответил дежурный. — Одним бездельником меньше, вон их сколько нагнали — только мешают друг другу. Это не работа, а невообразимое свинство, господин инженер, такое можно увидеть только в Польше!

Риделю он рассказал обо всем этом лишь

несколькими днями позже. Как и следовало ожидать, тот его не одобрил.

— Если парня поймают, они из него все выколотят — как бежал, с чьей помощью. Зачем это тебе?

— Он явно участник Сопротивления.

— Да тебе-то что? Любой из этих участников, встретив тебя или меня в темном переулке, застрелит не задумываясь! Я тебе рассказывал? В Арнеме, на моих глазах…

— Рассказывал, рассказывал. Так что же они, по-твоему, не правы?

— Правы, наверное, — со своей точки зрения. Но мне какое дело до их правоты? У меня есть своя!

— Какая же это, интересно? — Болховитинов уже стал терять терпение. — Вообще стать на сторону нацистов?

— Выжить, идиот! Вот какая у меня правота!

— Я тоже хочу выжить! Но человеком выжить, а не трусливой рептилией!

— Ну еще бы, ты же у нас маркиз де Поза. А я вот, видишь, рептилия, которая почему-то не желает расставаться со своей старой потертой шкурой. Рептилии вообще мудрая публика, Кирилл, — ты когда-нибудь пробовал посмотреть в

глаза змеи? Сколько в них ума — сдержанного, снисходительного, ироничного… А вообще я голландцев не люблю — колонизаторы были из самых свирепых, Ява, Суматра — посмотрел бы ты, что там делалось. Я-то видел! Лучше своим соотечественникам помогай, это хоть логично.

— Соотечественников моих здесь нет, ты знаешь.

— Да, верно, что-то их здесь не видно. Между прочим, в Калькаре — городишко такой, туда, в сторону Ксантена, — там я познакомился с двумя черкешенками…

— С кем?

— Во всяком случае, они говорят, что с Кавказа, черт их там разберет, черкешенки, грузинки, поди узнай! Возможно, врут, набивают себе цену. Сестры, я бы сказал, — довольно аппетитные, черт побери, но старшая — истинный цербер. Я попробовал проявить немного внимания по отношению к младшей и сам был не рад. Давай съездим, возможно, тебе повезет больше. А? Раз уж ты так тоскуешь по соотечественникам?

— Спасибо, кавказские женщины не в моем вкусе, — отшутился Болховитинов.

— На вид, кстати, не такие уж они «кавказские», практически не отличаются от украинок. Девки

феноменально деловые — живут в отеле, числятся там горничными, но давно все прибрали к рукам, хозяйка ни во что не вмешивается. Старшая выписывает счета постояльцам и, думаю, не без пользы для себя. Меня-то она обсчитала, вне всякого сомнения.

— Считай, что это за приставание к сестре.

— Да помилуй, где же такое видано — ничего не позволить, а потом еще слупить бакшиш!

Новость об устроившихся где-то неподалеку предприимчивых сестренках Болховитинова не заинтересовала, и скоро он вообще про них забыл. Но потом среди работающих на трассе все-таки встретил несколько русских ребят — их, оказалось, забрали от бауэров тут неподалеку. Организованную Риделем униформу тодтовца он носить избегал, обычно ходил в штатском, и ребята относились к нему по-свойски — даже не стали особенно интересоваться, почему он тут вроде как бы руководит. Не вдаваясь в объяснения, сам он сказал просто, что сюда его тоже направили по трудповинности.

Так вот, название этого городка — Калькар — снова всплыло однажды в разговоре, когда он поинтересовался, много ли наших было там, где они работали раньше, и были ли среди них

девушки. Девчат, сказали ему, тут вагон и маленькая тележка — работают во всех кулацких дворах, где по три-четыре, а где и побольше.

— С дому-то брали всех одинаково, не разбирали, — добавил один хлопец, — а тут, конечно, распределять стали по-разному. Нас больше гнали на производство, ну а девчат все-таки куда полегче — в прислуги многих взяли, а других по бауэрам.

— На производстве они бы сразу концы поотдавали, — подтвердил другой. — Я в литейном цеху работал — чуть не сдох, хорошо, разбомбить успели, а иначе…

— Возле Калькара, во где этих девок навалом! Ходили мы туда раз в выходной, не помню, как село называется.

— Калькар? — переспросил Болховитинов. — Там, мне говорили, в гостинице какие-то две грузинки — сестры, что ли. Не знаете?

— Это которая возле железной дороги? Ну, знаю, «Цум Риттер», там эти — как их — Анька и… как же меньшую-то…

— Только не грузинки они вовсе, — перебил другой, — с Краснодара обе, ну точно тебе говорю!

Тут разговор прервался — в нескольких местах

вдоль трассы одновременно начали завывать маленькие ручные сирены, люди побежали, прыгая кто в канаву, кто в достаточно уже заглубленные участки рва. Расчет установленного рядом четырехствольного двадцатимиллиметрового автомата — мальчишки в серых мундирах зенитчиков с повязками «Гитлерюгенд» на рукаве — засуетились вокруг своей пушчонки, разворачивая ее навстречу стремительно, над самой землей приближающемуся самолету. Но не успели — тот проревел над головами, показав сине-белую звезду на одном крыле и большие черные буквы USAF[72] на другом, и круто пошел вверх. Мальчишек-зенитчиков рабочие боялись больше, чем американских «мустангов»; те наведывались каждый день, но пока мирно, а что будет, если по ним откроют огонь, предсказать было трудно. К счастью, флакхельферы никогда не успевали изготовиться к бою (а может, и они тоже были не такие дураки).

А в Калькар все-таки надо будет съездить, подумал Болховитинов. Почем знать? Если там в округе много девушек работает у крестьян, наверняка все уже друг друга знают — может быть,

[72] Notes: 72
Сокр. от United States Air Force — ВВС США *(англ.)*.

что-то слышали… Бывают ведь самые невероятные случайности!

Но выкроить время на поездку — хотя и недальнюю — все не удавалось. С ухудшением общей обстановки в этом секторе Западного фронта оборонительные работы приказано было вести форсированными темпами, чуть ли не каждый день приезжало какое-то начальство, то военное, то партийные «золотые фазаны», и хотя толку от этих посещений не было никакого, оказаться не на месте во время очередной инспекции было бы, конечно, нежелательно. Риделю намекнули, что не исключен визит самого гаулейтера Тербовена — причем явиться он может даже инкогнито.

А обстановка на фронте действительно становилась для немцев все более угрожающей. Почти вся Бельгия была уже в руках союзников; англичане, без единого выстрела освободив Брюссель, подступали к Антверпену и кое-где — по слухам — вклинились уже на территорию Нидерландов.

Немцы в ответ усилили «атаки возмездия» по Лондону. Пусковые установки были размещены за Рейном, и косые столбы белого дыма то и дело вырастали на горизонте — по одному, по два, иногда по нескольку сразу. «Фау» взлетали под углом градусов в сорок пять, потом, разогнав-

шись, переставали дымить и — если удавалось проследить взглядом — становились похожими на обычный самолет. Как-то одна из них, разладившись сразу после запуска, стала быстро терять высоту, пролетела довольно низко над трассой работ — остроносая сигара с короткими прямыми крыльями и какой-то горизонтальной трубой на хвостовом стабилизаторе, она издавала громкий пульсирующий звук, напоминающий работу двухтактного мотора без глушителя. Километрах в полутора «чудо-оружие» приземлилось на открытом пастбище, пропахав фюзеляжем длинную темную борозду; кое-кто из любопытных собрался было туда — смотреть, но там вдруг рвануло так, что земля ощутимо качнулась под ногами. Пожилой немец, стоявший рядом с Болховитиновым, уважительно поднял палец.

— О! — сказал он. — Не меньше тонны! Теперь томми сами получают на голову такие подарки — жаль, что не долетел этот. Но сейчас есть и еще более мощные, «Фау-два», это нечто совсем другое!

Да, газеты писали и о второй модели «оружия возмездия», против которой бессильна любая противовоздушная оборона («Фау–1» англичане научились сбивать довольно успешно, истреби-

тели встречали и просто расстреливали их над Северным морем). Новая ракета якобы летит с фантастической скоростью и поражает цель вертикально из стратосферы. Дьявольская, видно, штука; хорошо, что немцы раньше ее не придумали, теперь-то едва ли успеют воспользоваться своим изобретением в полную силу.

В субботу, 16 сентября, опять была очередная инспекция, народу понаехало много — ходили, разглядывали груды разрытой глины с таким сосредоточенным видом, будто здесь возводилась по меньшей мере линия Зигфрида. Непонятно было, действительно ли они верят, что англичан можно будет задержать с помощью подобных «укреплений», или все это уже превращалось в явный блеф, имитацию некоей полезной деятельности. Ридель был убежден, что именно так дело и обстоит.

— В чем главная слабость нацистской системы? — рассуждал он. — Их мнимое «единомыслие» порождено страхом каждого, что твоя мысль — если ты ее выскажешь — может не понравиться наверху. Война давно проиграна, но кто из фельдмаршалов отважится заявить об этом прямо и открыто? Так и с этим нашим землеройством, ни у кого не хватит духу сказать, что

все это чушь собачья и напрасная затрата труда. Напротив, все делают вид, что не покладая рук обеспечивают обороноспособность рейха! Кстати, если ты хотел навестить черкесских красоток, советую сделать это завтра. В воскресенье, да еще после сегодняшней генеральной инспекции, точно уж никто не явится. Я тогда побуду здесь, отдохну от любвеобильной вдовы; честно говоря, она мне уже становится не под силу, видно, я свое отблудил…

На следующий день Болховитинов отправился в Калькар. Поезд пришел туда около полудня, он без труда отыскал двухэтажное здание гостиницы и в вестибюле сразу увидел одну из сестер — одетая и причесанная вполне по-немецки, она бойко болтала с двумя военными, почти без акцента, но с некоторой неточностью произношения, характерной для людей, не изучавших чужой язык, а освоивших его чисто практически, на слух. Проводив военных до двери, она вопросительно глянула на Болховитинова и с профессиональной улыбкой прощебетала нечто вроде «битташон?».

— Здравствуйте, — сказал он по-русски. — Аня, я не ошибся?

— Ой, — отозвалась она нараспев, — а я вас за немца посчитала, ну надо же! Земляк, что ль?

— Соотечественник, так будет точнее.

— А тут где работаете? Чего-то я вас вроде и не видала!

— Я, Аня, недавно здесь — на окопы прислали, работаем в Голландии, по ту сторону границы. А про вас мне знакомый немец рассказывал — Ридель такой, не помните? Инженер, из Дрездена.

— Тю, да кто ж его, кобелину, не знает! — воскликнула Анна. И когда Болховитинов кончил смеяться, добавила: — Подружка моя тоже тут недавно как услыхала про него, так прям вся и всполохнулась — неужто, говорит, Ридель из Дрездена, ты, говорит, не путаешь? А чего мне путать, говорю, вон он у меня и в книгу записанный, возьми да и проверь…

— Ваша подруга спрашивала о Риделе из Дрездена? Именно в таких словах?

— Да уж не скажу точно, в каких таких словах, но только я раз говорю ей: вот, мол, какие постояльцы бывают — а он тут руки стал распускать, ну я ему мозги с ходу вправила, — и назвала его, Риделем, дескать, зовут, а она вдруг и спрашивает — а он, случаем, не с Дрездена? Я-то сама и не запомнила, откудова он; а поглядели в книге — точно, «Дрезден» написано…

— Кто она, эта ваша подруга?

— Ну, Танька такая, у бауэра работает тут недалеко. Не так чтобы давно, с мая месяца, их тогда несколько девчат с Эссена привезли — может, помните, налеты были сильные, так вот после налетов. А так-то она с Украины откуда-то, только разговор у ней не наш, не южный, это я сразу подметила…

Они разговаривали, стоя возле конторки, за которой висел на стене телефон. Телефон вдруг залился оглушительным звонком, Аня, не оборачиваясь, протянула руку и, приподняв рычаг с трубкой, снова опустила его.

— Так что, может, это она только говорит, что с Украины, — продолжала она, — ну, мне какое дело…

Болховитинов, все еще не смея поверить, достал бумажник — руки у него дрожали — и, вынув из внутреннего карманчика снимок, показал Ане. Снимок этот он сделал прошлой весной, получилось немного не в фокусе, а потом он еще попросил отпечатать только ее лицо, и при большом увеличении портрет получился совсем как бы размытым, словно сквозь туман; но так, пожалуй, было даже лучше.

— Посмотрите внимательно — это не она?

— А и смотреть нечего — Танька, ясно. Только у

ней волос сейчас подлиннее. Чего это она — под пацана, что ли, носила прическу? Не-е, с длинными лучше! А так — точно, она, ну курносая…

— Где, вы сказали, она работает? Адрес у вас есть?

— Работает в Аппельдорне, а адрес — какие в селе адреса, хозяина ее все знают, однорукий такой…

Телефон опять залился, и Аня опять досадливым жестом оборвала звонок, приподняв и снова нацепив трубку на рычаг.

— …Только сегодня вы ее не застанете, — продолжала она, — они с девчатами с утра в Клеве поехали, кино смотреть. Я ее на неделе видела, — говорит, в воскресенье культпоход у нас, сто лет в кино не была. Сейчас-то с этим проще, «осты» носить не надо, а раньше еще и не всюду пустят… Да чи они там сбесились сегодня, чтоб им повылазило!

Сорвав трубку снова зазвеневшего телефона, она на этот раз приложила ее к уху и стала слушать. Лицо ее приняло недоуменное выражение, она вопросительно покосилась на Болховитинова.

— Ферштей нихьт, вер воллен зи шпрехен? Руссише инженер? — Она опять обернулась к нему

и прикрыла микрофон ладонью. — Какого-то русского инженера спрашивают — не вас ли?

Болховитинов, пожав недоуменно плечами, взял трубку.

— Да, — сказал он. — Ты, Людвиг? Что случилось?

— Что случилось, что случилось! У вас еще ничего не сообщили? Здесь идет высадка!

— А что должны были сообщить? Какая высадка, о чем ты?

— Высадка с воздуха, вот какая! Десант!!! Над Арнемом все небо в парашютах, в стороне Неймегена та же картина, их не сосчитать — тысячи! Немедленно возвращайся, надо организовать вывод людей; если начнут бомбить — сам представляешь, что тут будет!

— Хорошо, хорошо, я только не знаю, когда поезд…

— Какой поезд, идиот, уже объявлена боевая тревога! Добирайся чем сможешь!

— А чем я смогу — пешком? Или велосипед украсть?

— Погоди, давай подумаем вместе… Это ведь Анна мне ответила?

— Да, она здесь.

— Документы все при тебе?

— Как всегда.

— Хорошо. Значит, так — у Анны там есть знакомый в полиции, немедленно к нему, и покажи бумагу на бланке ОТ, где местным властям предписывается оказывать содействие. Ты понял? Скажи, что тебе надо срочно вернуться к месту службы — военная необходимость и тому подобное. Если шупо начнут ныть, что у них нет транспорта, — а его, скорее всего, действительно нет, они сами ездят на велосипедах, — пусть обратятся к местному партийному руководству, не знаю, кто у них там ортслейтер, но он должен что-то организовать! Пусть реквизирует транспорт у кого угодно, понял?

Болховитинов совершенно растерялся. Нашедшаяся вдруг Татьяна — он все еще не мог поверить в это, не мог до конца осознать — отправилась в какой-то нелепый «культпоход», в Клеве ее не разыскать, там не одно синема, по всем, что ли, бегать? А с другой стороны — если только Ридель не допился до белой горячки и англичане действительно высаживаются в Арнеме — ему надо быть на трассе, помочь организовать эвакуацию, вывести людей в безопасное место…

По дороге в полицию ему снова пришло в голову, что если и в самом деле старому алкоголику

прибредилось это «небо в парашютах», то его, Болховитинова, сейчас схватят за распространение панических слухов — в последнее время газеты и радио особенно ретиво призывали население разоблачать паникеров и сеятелей пораженческих настроений. Но опасения не оправдались — шупо уже были в курсе и даже успели вооружиться карабинами и сменить свои нелепые высокие кепи на армейские стальные шлемы; видимо, так им полагалось по боевой тревоге.

Представив Болховитинова толстому вахмистру, Анна убежала, сказав, что не может отлучаться из отеля надолго. Вахмистр долго читал его бумаги, потом подумал и сказал, что транспорта у них, к сожалению, нет — так что он совершенно не представляет себе, чем может помочь господину инженеру.

— Нам рекомендуют в подобных случаях обращаться к местному партийному руководству, — сказал Болховитинов. — Считаю, что это удобнее сделать вам… ну, хотя бы для того, чтобы ваша пассивность не была потом истолкована как-нибудь превратно.

Вахмистр подумал еще и согласился, что да, пожалуй, есть смысл обратиться к партайгеноссе Хуземану.

— Конечно, позвоните ему!

— Нет, нет; господин Хуземан не любит, когда его беспокоят по телефону. Я лучше схожу сам, это рядом…

Он вышел, забрав с собой предписание на бланке ОТ. Болховитинов остался сидеть в помещении полицейского ревира; он не мог не отметить, что странным образом, какую бы страну ни взять, в этих учреждениях всегда держится почти один и тот же одинаковый запах — сургуча, старых бумаг, сапожной ваксы и еще чего-то неопределимого. В то, что Таня где-то здесь, до сих пор не верилось, он запрещал себе думать об этом, потому что невыносимо было сидеть тут вместо того, чтобы ехать сейчас же в Клеве и попытаться разыскать ее там, — или хотя бы в этот Апфельдорн или Апельдорф, чтобы дождаться ее возвращения, — и еще невыносимее было сознание, что все-таки можно было найти время и раньше, чтобы побывать в Калькаре, но кто же мог предполагать, как можно было всерьез допустить такое невероятное, фантастическое совпадение — что все это время, больше месяца, они находились так близко друг от друга! Но и не сидеть здесь, не ждать вахмистра было тоже нельзя, ему действительно необходимо вернуть-

ся на работу, Ридель прав, тут исключены какие бы то ни было варианты…

Вахмистр наконец вернулся, запыхавшийся и довольный собой.

— Партайгеноссе все устроил, — объявил он, сняв каску и утирая лоб клетчатым платком. — Он позвонил жене колбасника — тот должен вернуться с минуты на минуту — и сказал, чтобы ее муж доставил вас куда нужно.

— На чем?

— О, у него есть машина и даже, — вахмистр подмигнул, — есть бензин, да-да! Что вы хотите, — он понизил голос, — большой человек по нынешним временам. Вы понимаете, что я хочу сказать; пару кило колбас — тому, пол-окорока — другому, и у вас все в полном порядке, все бумаги оформлены, и к вам не подступиться ни с какими реквизициями. Но разумеется, подобные отношения предполагают определенную зависимость человека, получающего незаконные льготы, от тех, кто эти льготы предоставляет. Вот почему я не думаю, чтобы колбасник отказался исполнить просьбу партайгеноссе Хуземана. Рюккерт!

— Слушаю, господин вахмистр!

— Сходи узнай, вернулся ли Клауверт. Если нет — пусть пришлют мальчишку, как только

вернется. Из округа не звонили?

— Телефонограмму я положил на ваш стол, господин вахмистр.

— Что там еще?

— Это насчет иностранных рабочих, господин вахмистр: в течение сорока восьми часов подготовить их отправку на тот берег.

— За Рейн, что ли? Всех?

— Насчет голландцев и французов ничего не говорится, господин вахмистр. Иностранцы с Востока — поляки, югославы, русские.

— Этой еще заботы не хватало, — проворчал вахмистр. — Ладно, ступай!

Дьявольщина, подумал Болховитинов, вот дьявольщина! Час от часу не легче — как нарочно, все сразу… Впрочем, спокойно, не надо впадать в панику; сорок восемь часов — это не так мало, можно что-то придумать. Но что придумаешь? Что? Если бы на трассе работали не одни мужчины — не было бы никаких проблем, Таню спрятали бы там, и попробуй найди. А впрочем, глупость, всех работающих тоже наверняка отправят на правый берег — разве что оставят какую-то часть… Как он сказал — всех, кроме голландцев и французов? Да, но она не говорит по-французски, этот номер тоже не пройдет…

Посланный к колбаснику полицейский вернулся с известием, что господин Клауверт уже вернулся, вахмистр тяжело поднялся из-за стола и нацепил стальной шлем с таким воинственным видом, будто ему предстояло сейчас выйти из блиндажа под обстрел.

— Идемте, — сказал он Болховитинову. — А где ваши вещи?

— Никаких вещей, все там — я ведь отлучился ненадолго, сегодня воскресенье…

Колбасник обманул ожидания обоих. Болховитинов почему-то ожидал увидеть благодушного толстяка-фламандца, а увидел тощего желтого человечка со злобной мордочкой хорька; и «хорек» этот, вопреки ожиданиям вахмистра, вовсе не изъявил готовности выполнить просьбу партайгеноссе Хуземана.

— Вы шутите! — завизжал он. — Ехать через границу сейчас, когда там такое творится? И не подумаю!

Болховитинов усмехнулся, — похоже, хитрец успел сообразить, что время всех этих партайгеноссен уже на исходе. Так же, вероятно, истолковал это и вахмистр.

— Знаете, Клауверт, — сказал он угрожающе, — не стоит опережать события. Если томми

высадились в Голландии, то здесь мы еще находимся на территории рейха, к тому же в зоне, где на данный момент действует состояние боевой тревоги…

— Здесь не действует! Боевая тревога объявлена только в приграничной полосе, я сам слушал радио!

— Вы не радио слушайте, умник вы этакий, — вахмистр уже начал багроветь, — а слушайте, что вам говорит представитель власти! Вы сейчас отвезете господина инженера, куда он вам скажет. Это приказ, если не понимаете другого языка! Да, да, знаю, формально вы имеете право не подчиниться; но у меня есть формальное право заинтересоваться, откуда это на вашем «адлере» новая резина. — Он пнул переднее колесо маленького открытого автомобиля. — И не рассчитывайте больше на помощь партайгеноссе Хуземана — теперь, когда мы убедились, что он не может рассчитывать на вашу!

«Хорек», видно, сообразил, что зашел слишком далеко. Присмирев, он заверил, что господин вахмистр не так его понял, что он не отказывается — просто это оказалось настолько неожиданным, а у него сегодня столько дел…

— Успеете, — заверил вахмистр и посмотрел на

Болховитинова: — Сколько до вас езды?

— Час, полтора — не знаю, ни разу не ездил сюда машиной. Около этого, я думаю.

— Чепуха, Клауверт, до вечера успеете.

— Ну хорошо, — сдался «хорек», — садитесь, я сейчас…

Вахмистр ушел. Болховитинов сидел в машине, нетерпеливо посматривая на часы. Как назло, на улице не было ни одного таксофона — надо бы позвонить в отель, предупредить Анну о готовящейся высылке иностранцев, это ведь и ее касается; жаль, что нельзя было позвонить из участка — не станешь же говорить при полицейском по-русски. Разве что сказать «хорьку», чтобы заехал в отель? Нет, не по пути, ну его к черту — связываться еще, он лучше позвонит ей оттуда, сразу по приезде… И чего этот сукин сын копается?

«Хорек» наконец появился, с недовольным видом сел за руль. Тут же оказалось, что мотор не хочет заводиться. Нажав на стартер раз и другой, Клауверт озабоченно хмыкнул и распахнул дверцу. Болховитинов негромко, сквозь зубы, выругался — колбасник глянул на него недоуменно, подняв брови.

— Нет, нет, это я не вам, — пробормотал Болхо-

витинов. — Помочь?

— Не надо, там, наверное, контакт, сейчас посмотрю…

Покопавшись в моторе, он опустил створку капота и вернулся за руль; на этот раз мотор завелся. До Клеве доехали за двадцать минут. В городе было спокойно, никаких признаков тревоги; Болховитинов вглядывался в немногочисленных по-воскресному прохожих — а вдруг еще одно совпадение! — но безрезультатно. На выезде промелькнул указатель: «Краненберг — 18 км».

— Видите, это не так далеко, — сказал он примирительно. — От Краненберга там уже совсем ерунда, через пару часов будете дома…

Клауверт не ответил, опять покосился на него со странным выражением.

Военный патруль остановил их уже за Краненбергом, когда подъезжали к границе. Солдат в пятнистом комбинезоне сделал отмашку красным диском, показал на обочину. Болховитинов спокойно полез в карман за документами и вдруг чуть не расшиб себе голову о ветровое стекло — Клауверт рывком затормозил прямо на проезжей части, вырвал ключ зажигания и, выскочив из едва успевшей остановиться машины, сломя голову бросился к перегородившим шоссе авто-

матчикам.

— На помощь!! — орал он благим матом. — Хватайте его — это русский разведчик! На помощь!! Помогите!

— Послушайте, — сказал Болховитинов, тоже выйдя, — я…

— Молчать! — крикнул один из пятнистых, подходя с наставленным в живот автоматом. — Руки за голову!

Подошли еще двое, «хорек» продолжал истерично визжать:

— Уверяю вас — это разведчик, он при мне выругался по-русски, думал, я не услышу, не пойму — а я знаю их ругательства, у меня жил русский рабочий!

— Да я не отрицаю, что русский, но взгляните на мои бумаги! — Болховитинов, забыв о приказе держать руки за головой, снова полез в карман, но стоящий рядом солдат сбил его с ног боксерским ударом кулака в лицо. На миг он даже вроде потерял сознание, но тут же услышал крик «встать!» и поднялся не без труда, цепляясь за бампер и облицовку радиатора. Его обыскали, он послушно поворачивался, сцепив пальцы на затылке, и осторожными движениями челюсти пытался определить — не сломана ли. Слава богу,

вроде бы нет. Но так влипнуть — из-за какого-то вонючего хорька, черт его надоумил связаться…

«Хорек» между тем все говорил и говорил, визжа и жестикулируя, потом, получив разрешение ехать, залез в машину, торопливо развернул ее и умчался обратно.

Болховитинову позволили сесть на обочине и опустить руки. Один из патрульных зашел в фанерную будку, было слышно, как он крутил ручку полевого телефона, долго что-то объяснял. Прошло не меньше часа — часы остановились, когда он упал, — потом со стороны Краненберга послышался шум мотора, подкатил пятнистый «кюбель» с номерными знаками войск СС. Вышли двое, третий оставался за рулем.

— Ну, так что у вас тут за птица попалась! — спросил приехавший и, не дожидаясь ответа, взял у патрульного бумаги Болховитинова. — В машину его, чего ждете…

Ему приказали встать, указали на заднее сиденье вездехода. Он забрался, сел. Второй из приехавших взял его правую руку, щелкнул стальным браслетом, цепочка оказалась приклепана к железной скобе под сиденьем. Сопровождающий устроился рядом, Болховитинов покосился и увидел на рукаве мундира черный ромб Службы

безопасности. Да, вот это влип, подумал он снова и в первый раз испугался по-настоящему.

Глава 10

План захвата стратегических мостов в бассейне Маас — Нижний Рейн, разработанный ШЭЙФом[73] под кодовым наименованием «Маркет-Гарден», был задуман как самая крупная за всю войну операция подобного рода, и она же оказалась самой неудачной.

Возможно, здесь сыграла роль торопливость. Решение выбросить десанты в районах Граве, Неймегена и Арнема было принято на брюссельской встрече между Эйзенхауэром и Монтгомери 10 сентября — а неделю спустя, семнадцатого, воздушная армада уже поднималась с английских аэродромов. Полторы тысячи бомбардировщиков должны были подавить наземную оборону в полосе выброса, около двух тысяч транспортных самолетов и планеров доставили к цели две американские воздушно-десантные дивизии и одну английскую, усиленную польской парашютной

[73] Notes: 73

SHAEF — сокр. от Supreme Headquarters Allied Expeditionary Force *(англ.)* — Верховное командование Союзных экспедиционных сил.

бригадой, — всего 35 000 бойцов.

Десантникам была поставлена задача — захватить главные мосты через Маас, Ваал, Нижний Рейн и канал Вильгельмины, предотвратить их разрушение и удержать до подхода наземных сил, наносящих одновременный удар с юга, вдоль магистрали Эйндховен — Граве.

Первую часть своей задачи парашютисты выполнили, из одиннадцати мостов десять попало в их руки неповрежденными. Но дальше начались неудачи. В районе десантирования оказалось больше немецких войск, чем доносила разведка; особенно тяжелая обстановка сложилась в районе Арнема, где «красные береты» — поляки и англичане — сразу попали под огонь немецких танков, которых, согласно разведданным, там не было.

Проглядела разведка и присутствие крупных немецких сил южнее Мааса, которые мощным ударом с фланга сумели остановить наступление на Неймеген. Войскам 21-й группы армий пришлось ввязаться в затяжные бои на северной границе Бельгии, в сотне километров от намеченной цели. Оборонительная фаза поставленной парашютистам задачи — удержание мостов — была рассчитана на двое суток, а им пришлось

драться в окружении больше недели. В конце концов южный район выброски, который удерживали американцы, удалось деблокировать; северная же группа была уничтожена почти полностью, Арнем снова попал в руки немцев, и лишь малой части англичан и поляков (около двух тысяч человек) удалось прорваться к своим через Маас.

Бесполезным в конечном счете оказался и захват моста в Неймегене — позднее его среднюю опору взорвали немецкие подводные диверсанты.

Единственным выигрышем в результате столь дорого обошедшейся операции было некоторое расширение освобожденной части голландской территории: к исходу сентября, когда бои в этом секторе утихли, фронт установился по Маасу — правый берег был в немецких руках, на левом закрепились англичане. Так ему и суждено было простоять до самой весны.

Болховитинов изрядно струхнул, пока ехал в гестаповской машине с прикованной к сиденью правой рукой. Никаких конкретных обвинений ему, пожалуй, предъявить не могли, но это если станут разбираться. А если не станут? Время военное, граница в двух шагах, а тут еще эти

парашютисты… вот уж некстати! Прихлопнут к чертовой матери, не разбираясь, или в лучшем случае переломают кости. Потом, может, и извинятся — по ошибке, мол, поторопились, кто же думал…

Чтобы заглушить страх, он злился. На идиота Клауверта, на Риделя, которому понадобилось позвонить именно в этот момент, а больше всего на себя — за то, что только сегодня удосужился съездить в Калькар. Черт побери, ведь уже неделю, две недели назад он мог бы узнать о Тане, мог бы уже с нею встретиться, забрать ее куда-то в безопасное место. Ридель придумал бы что-нибудь. А теперь? Сколько времени его там продержат — а если и в самом деле здесь начнут эвакуировать иностранцев за Рейн? Где ее потом снова искать по всей Германии?

На окраине Клеве машина остановилась у ворот неприметного двухэтажного дома, посигналила. Ворота медленно раскрылись, за ними был маленький асфальтированный дворик, зарешеченные окна. С Болховитинова сняли наручник, велели выходить из машины, подтолкнули к двери. Потом он долго ждал, пока его наконец не привели в другую комнату, где за столом сидел немолодой толстяк в штатском. На столе перед

толстяком лежали отобранные у Болховитинова бумаги, он глянул на него мельком и указал на привинченный к полу стул.

— Ну, рассказывайте, — буркнул он, когда Болховитинов сел.

— О чем рассказывать?

— Все, все, без утайки. Кто такой, что здесь делаете, откуда появились. Ну, живее.

— Все вы можете прочитать в моих бумагах, они перед вами.

— Не указывайте, что я могу и чего я не могу. В этом я разберусь сам. Сейчас я хочу услышать, что скажете вы.

— Как угодно, но только я не очень свободно говорю по-немецки.

— Вы что же, действительно русский? — толстяк глянул на него исподлобья.

— Так точно.

— Но ведь не тот русский?

— Не тот, — согласился Болховитинов.

— Рассказывайте, я жду.

Пока Болховитинов рассказывал, гестаповец слушал молча, курил, сопел все более недовольно. Потом махнул рукой.

— Ладно, хватит! Или вы наглый лгун, и тогда вам не поздоровится, или здесь в управлении

собралась самая безмозглая банда идиотов, которая когда-нибудь собиралась под одной крышей. Ступайте, я проверю то, что вы тут наговорили…

Болховитинов рассчитывал, что его могут выпустить уже к вечеру (проверить-то и в самом деле было проще простого), но его не выпустили и на следующий день. Лишь во вторник утром, когда он совсем уже решил, что о нем забыли, дверь камеры вдруг распахнулась, и ему велено было выходить; в комнатке с барьером, похожей на полицейский участок, он расписался в получении документов, часов и денег, после чего оказался на улице.

Первое, что он увидел, был знакомый бежевый «адлер», за рулем которого сидел Ридель.

— Да-а, — сказал Ридель, — тебе сейчас только в кино сниматься, Пабст обожал такие бандитские типажи. И физиономию, я вижу, уже успели подпортить…

— Да нет, это еще там, при задержании, — объяснил Болховитинов, забираясь в машину. — Откуда у тебя этот фаэтон?

— Поразительное дело, — Ридель запустил двигатель, — бывают люди, которые умеют выйти невредимыми из любой переделки… Таков я, скажу без ложной скромности. Но бывают и такие,

которые ухитряются извлечь самые катастрофические последствия из любого пустяка. Ты ничего умнее не мог придумать, как обратиться к этой вонючке Клауверту?

— Меня к нему полицейский привел, — огрызнулся Болховитинов. — Ты же сам тогда посоветовал: «Беги в полицию, они всё устроят!» Вот и устроили. Что там делается на трассе? А что с десантом?

— Десант, похоже, накрылся, людей мы вывели, шанцевый инструмент побросали… теперь тодтовское начальство грозится снять за это голову, только не знает с кого.

— Ты был в Калькаре, в отеле?

— О да, и пухленькая черкешенка рассказала мне про твою находку. Но следует поторопиться, их ведь сегодня угоняют.

— Как, уже?!

— Уже, уже. Сейчас заедем в Калькар, прихватим с собой Анхен… Дело в том, что если мы не увидим твою Татьяну, то могут найтись какие-то ее знакомые, знающие, где она. Анхен поможет нам сориентироваться в море славянских лиц, я не берусь… Да, ты спрашивал насчет машины — ты прав, это та самая. Часть репарации, взятой мною с господина Клауверта… а остальное

там. — Он ткнул большим пальцем через плечо, указывая на заднее сиденье. — Два кило копченого шпига, да, да, мой милый, два кило… Если уж Людвиг Ридель за что берется, он доводит дело до конца. Два кило шпига и право пользования машиной в случаях крайней военной необходимости. С его бензином, естественно.

— Пожалуйста, давай побыстрее. Как тебе это удалось?

— Сначала я хотел уничтожить его морально, но потом сообразил, что едва ли это осуществимо в отношении человека, не знающего, что такое мораль. Меня, например, морально не уничтожишь. Ну и тогда я — уже имея на руках бумагу из ОТ с просьбой освободить задержанного по ложному обвинению ценного специалиста, эт цетера, эт цетера, — пришел с этой бумагой к нему. И дал прочитать. И сказал, что из-за того, что по вине пораженца и саботажника Клауверта ценный специалист не смог прибыть к месту службы, военно-инженерное ведомство понесло громадный материальный ущерб, размер коего устанавливается следственной комиссией… Ну, остальное понятно. Ты что, спал там, не раздеваясь? И, как я догадываюсь, не мылся. Ничего, сейчас в отеле приведешь себя в порядок…

— Еще чего. Сначала съездим туда, их же действительно могут угнать на правый берег!

— Думаю, что нет. Я утром побывал в Аппельдорне, сборный пункт там, а оттуда их поведут на Реес, где переправа. Местный шупо сказал, что раньше трех-четырех часов всех не соберут.

Болховитинов поглядывал на небо — не хватало только, чтобы какой-нибудь ковбой решил за ними поохотиться. Самолеты раза два пролетали, но довольно высоко, не обратив внимания на одинокую машину; до Калькара доехали без приключений.

— Ой, Кирилл Андреич! — Анна, вышедшая из дверей им навстречу, замерла на месте. — Да что же это с вами такое?

Ридель, догадавшись по интонации о смысле сказанного, закивал головой.

— Вот-вот, скажи ему сама! Можно ли ему ехать с нами в таком похабном виде? Небритый, немытый, глаз подбит, костюм словно коровы жевали, — ты хоть подумай о том, что мне, возможно, придется иметь дело с полицией, чтобы вытащить твою подружку. Как это будет выглядеть? Элегантный, внушающий доверие господин в полувоенной форме — это я — и рядом гнусная личность, явно из притона. Ты можешь

все испортить, пойми!

— Верно он говорит, Кирилл Андреич, — поддержала Анна. — Вы сейчас помойтесь, побрейтесь. Надька пиджак вам погладит, рубашку даст чистую, а мы съездим. Найдем, не переживайте вы, — куда денется?

Болховитинов нехотя согласился. Пожалуй, его присутствие и впрямь ничему там не поможет, Ридель справится лучше. Только бы успели…

Они успели. Как потом рассказывала Анна, все оказалось проще простого. Когда приехали в Аппельдорн, колонна уже была в пути; они догнали ее на реесском шоссе, несколько сот человек с чемоданами и перевязанными веревкой картонными коробками брели не спеша, позади шли с велосипедами в руках двое полицейских. Ридель повел машину совсем медленно, Анна с заднего сиденья высматривала знакомых. Увидев аппельдорнских, она окликнула их, спросила — не видали ли где Таньку, те махнули куда-то вперед. Там она и оказалась. Забрав ее в машину, развернулись и поехали обратно. Вот и все. Когда проезжали мимо замыкающих, те даже не посмотрели.

Вернулись они в Калькар гораздо скорее, чем ожидали, не прошло и часа. Болховитинов, едва

успевший привести себя в приличный вид, высматривал машину из окна второго этажа и уже издали увидел, что в ней трое; когда подъехали ближе и он безошибочно узнал Таню — у кого еще мог быть медно-рыжий оттенок волос? — у него вдруг так сжало грудь, что он даже испугался — сжало совершенно явственной физической болью, как будто куда-то туда, за солнечное сплетение, вдвинули тупую давящую тяжесть. Уже бросившись к двери, он вынужден был остановиться, осторожно перевести дыхание, потом спустился вниз, в полутемный вестибюль, как раз в тот момент, когда она входила, четким силуэтом обрисовавшись в солнечном прямоугольнике распахнутой на улицу двери.

— Татьяна Викторовна, — сказал он дрогнувшим голосом, — Танечка…

Она шагнула к нему, всматриваясь, словно не веря своим глазам.

— Кирилл Андреевич, — шепнула она едва слышно, — вы? Боже мой…

Он поймал ее руки, стал целовать пальцы, ладони — совсем незнакомые, крепкие и шершавые, с затвердениями мозолей, совсем не такие, какими были ее руки год назад в Энске — неужели действительно всего год, ну полтора, — а ведь

кажется, будто несколько лет прошло с того весеннего вечера…

Они не могли наговориться, он не мог насмотреться; Таня смотреть на него — ему показалось — избегала, только иногда он ловил на себе быстрый, короткий взгляд; она словно присматривалась к нему, изучала, боясь делать это открыто. После обеда они остались одни. Анна с Надей занялись своим хозяйством, Ридель поехал обратно в Краненберг за вещами Болховитинова. Им столько надо было рассказать друг другу!

О событиях в Энске Таня уже знала — недавно встретила девушек, которых забрали позже нее, уже осенью, они и рассказали обо всем: как погиб Леша Кривошеин, как потом по городу были расклеены плакаты с увеличенным паспортным снимком Володи Глушко и обещанием награды в тысячу марок тому, кто укажет родственников или друзей «красного террориста»…

— Знаете, Татьяна Викторовна, что меня мучило все это время? — сказал Болховитинов. — Я, кстати, верил, что вы спаслись… не мог совершенно представить себе — как, но был уверен. Так вот, меня все время преследовала мысль, что вы могли связать со мной провал группы…

— Ну что вы, я ни на секунду…

— Нет, ну какая-то хотя бы тень сомнения не могла не появиться, я ведь прекрасно знаю, что друзья ваши относились ко мне настороженно, да это и понятно, на их месте я тоже, наверное, не мог бы не опасаться — действительно, что они обо мне знали? — мало того что эмигрант, то есть человек, по советским представлениям, отказавшийся от родины, так еще и у немцев служит…

— Ну, — Таня улыбнулась, — ваша служба у немцев поначалу и меня насторожила! А потом — помните — вы меня встретили в комиссариате, я шла с какими-то бумагами, так что вы сразу же должны были догадаться, что я там работаю; вот тогда я и подумала: да ведь я в таком же положении, что и он, мне ли осуждать?

— Вы другое дело, вы по заданию пошли.

— А вы что — ради заработка? Или чтобы выслужиться перед ними? Вы тоже пошли потому, что совесть подсказала… если считали, что другого пути нет. Я не знаю, правы ли вы были, наверное, нет, были и другие какие-то… возможности, но это уж… Господи, кто из нас не ошибался, не делал что-то не так! Я к чему — честное слово, у меня и в мыслях никогда не было! Я никогда не искала ответа на этот вопрос — почему провалились; я знала, что мы провалимся, чувствовала это еще

с весны, когда начались аресты…

— А разве были аресты? Я ничего не знал.

— Вам не говорили. Сначала попался один из горуправы, он нам доставал бланки для пропусков, просто жулик, делал это за деньги; а потом схватили одного нашего мальчика, который листовки расклеивал. Я так и думала, что рано или поздно он заговорит… он долго держался, не помню уже — с месяц, наверное. А потом, видимо, они его все-таки раскололи. А мог, конечно, и Завада выдать — тот, из горуправы… Он хотя и не знал ничего, но Кривошеина-то он знал, он же Кривошеину передавал бланки и деньги от него получал, так что… Да нет, для меня это никогда не было загадкой! А о вас я совсем другое думала — я как раз боялась, что они и вас взяли, меня совесть ужасно мучила, это ведь я вас втравила в эту историю. Вы говорите — верили, что я спаслась, а у меня наоборот было, я все время думала: «Это из-за меня, это из-за меня…» Но сегодня — господи, когда я вас увидела, у меня ноги подкосились, я просто…

— Но вы же уже знали, что я здесь!

— Да не знала я ничего, в том-то и дело, Анька эта — ну, змеища! — она же мне ничего не сказала. Я сначала вообще ничего не поняла! Идем

мы по шоссе, настроение у меня жуткое, вот — думаю — опять туда, в хинтерланд, а там на завод какой-нибудь, под бомбы… Я так надеялась, что досидим здесь до конца! Совсем духом пала, честное слово. Вдруг слышу, окликают, вижу — Анька в шикарной открытой машине, за рулем немец какой-то…

— Вы разве Риделя не узнали? Вы ведь встречались в Энске.

— Господи, один раз, и то пять минут, а потом он тогда был в штатском, а сейчас в мундире этом коричневом — он разве в СА?

— Нет, это тодтовская форма, военные строители.

— А-а! Нет, я его совсем не узнала, да он и не смотрел в мою сторону, сидел отвернувшись; а Анька кричит: «Давай сюда, скорее»; ну я и села в машину. В чем дело, спрашиваю, а она мне: «Ты что, за Рейн захотела? А нет, так сиди и не спрашивай, сейчас сама все узнаешь…» Это она, паразитка, сюрприз мне приготовила, — чему вы улыбаетесь?

— Да так просто. Вы, Татьяна Викторовна, изменились.

— Я думаю! Полтора года как-никак, ну и потом еще волосы…

— Нет, я не о внешности. Манеры, язык…

— Ох, наверное, вы правы, я и сама иногда чувствую! Сегодня, пока мы там ждали, пристал ко мне один — ну, из наших ребят, тоже работал там, — а они все ужасно за это время стали распущенные, такое себе позволяют… Ну и вот, сижу я, настроение жуткое, а он лезет и лезет — так я не выдержала, в такую его послала светлую даль, что сама испугалась. Господи, думаю, что это со мной делается… Это лагеря, там как-то невольно начинаешь… — Таня пожала плечами, сделала беспомощный жест. — Ну, приспосабливаться к общему уровню, что ли, я не знаю…

— Понимаю вас, — сказал Болховитинов. — Это, вероятно, неизбежно, вы правы. Ничего, скоро вернется нормальная жизнь.

— Вы думаете? Сегодня идем там по шоссе, и все на небо посматривают — парашютистов ждут. Вот, думаю, выбросили бы сюда еще один десант — что им стоит? Сразу бы все кончилось.

— Ну, от одного десанта не кончилось бы. Под Неймегеном идут бои, неизвестно, как там все обернется. Но вообще война подходит к концу… Нам бы только дождаться здесь англичан, тогда все станет по-другому.

— Что-то они не очень торопятся!

— Да, они воюют… обстоятельно. Не знаю, впрочем, так ли уж это плохо, что берегут своих солдат. Тут ведь, понимаете, два аспекта: интересы данной армии, данной страны и интересы тех, кого эта армия освобождает. С точки зрения нашей с вами или тех же голландцев, конечно, было бы лучше, если бы англичане воевали смелее. Но с точки зрения английской, разумнее, наверное, не спешить.

— Ну конечно, — с жаром возразила Таня, — лучше, чтобы другие спешили, а самим отсидеться!

— Спешить, я думаю, не следует вообще никому. Мы вот привыкли гордиться нашей манерой воевать, но… — не знаю, так ли уж она похвальна. Мне еще отец рассказывал — о той войне, Первой мировой. Гвардию тогда уложили в Восточной Пруссии почти целиком, глупо, преступно погубили цвет армии… Боюсь, и сейчас осталась эта манера воевать числом и нахрапом… Русская армия всегда, к сожалению, ставила печальные рекорды по числу потерь…

В дверь постучали, вошел Ридель с чемоданом и перекинутой через руку коричневой шинелью.

— Вот твое добро, — сказал он, — китель я затолкал в чемодан, так что попроси молодую даму

погладить.

— Меня уже отутюжили. — Болховитинов оттянул лацкан пиджака.

— Я говорю про китель! Китель, форменные брюки — словом, всю амуницию. Тебе надо переодеться, в полицию лучше идти в форме — это на них действует. Помнишь «Капитана из Кепеника»?

— Зачем мне в полицию?

— Тебе-то, может, и не нужно. А ей? — Он бесцеремонно показал пальцем на Таню. — Как ты теперь представляешь себе ее статус? При первой же проверке спросят, кто она такая, что здесь делает и вообще откуда она взялась? Ну? Что она ответит? Как «восточная работница» она уже не существует, ее здесь нет, она эвакуирована за Рейн — согласно приказу гауляйтера. Мадам, не смотрите на меня, разинув рот, как овца на Деву Марию, а сходите за утюгом и делайте, что вам сказано! Есть у вас при себе хоть одна бумажка, удостоверяющая вашу личность?

— Нет, мы ведь тогда все сдали хозяину…

— Ну вот, пожалуйста! Человек без удостоверения личности — это вообще ничто, пустое место, математическая точка в пространстве. Ступайте за утюгом, я сказал! Или забирайте все это и по-

гладьте там.

Когда Таня ушла с вещами, Болховитинов спросил:

— И чем же тут поможет полиция — выдаст новое удостоверение? А на каком основании?

— Просто так выдать удостоверение личности полиция не может — даже по знакомству и даже если господин вахмистр пользовался благосклонностью нашей Анхен. Но полиция — внимание! — Ридель поднял палец, — полиция может удостоверить, что к ней обратилась личность, утратившая документы в силу чрезвычайных обстоятельств военного времени. Конечно, тут желательны свидетели. Но свидетели есть — это я, хороший знакомый потерпевшей, и ты — ее муж.

— Кто, кто? — ошеломленно переспросил Болховитинов.

— Муж, говорю. Муж! Легенда такова: вы недавно поженились — по доверенности, теперь это делается, — жена ехала к тебе, не доезжая Везеля, машину обстреляли с бреющего, все сгорело. Осталась вот как есть — без денег, без документов, без ничего; сюда добралась попутными. Правдоподобно?

— Ну… в общем, да. Если ничего не прове-

рять…

— Проверять ничего не станут! Я не случайно сказал — «не доезжая Везеля», то есть на той стороне Рейна, в другом административном округе. А машины горят каждый день — поди проверь, где какая. Ну что? Чем еще недоволен?

— Нет-нет, я просто думаю… согласится ли она?

— Это уж ваше дело. — Ридель развел руками. — Свои отношения выясняйте сами, а я пока поеду верну «адлер» этому идиоту… Хорошая штучка, кстати; может, конфискуем?

— Да ну, все равно бензина нет.

— Вот разве что…

Ридель ушел. Болховитинов постоял у окна, задумчиво теребя мочку уха, потом вздохнул и пошел вниз. В прачечной комнате Таня доглаживала черные форменные брюки.

— Сейчас заканчиваю и возьмусь за китель. Он не так уж и помялся, немного рукава, лацканы… Так мы вместе пойдем в полицию?

— Да, дело в том… понимаете, Ридель говорит, что нам придется объявить себя — ну, мужем и женой, иначе…

Таня расхохоталась, продолжая гладить.

— Какая прелесть! Видно, не судьба мне уйти от

фиктивного брака, еще Попандопуло предлагал — помните, я рассказывала?

— Но… Татьяна Викторовна, — если у вас есть какие-то возражения…

— Нет, что вы! Это ведь нас ни к чему не обязывает, правда?

— Разумеется! — заверил, смутившись, Болховитинов. — Разумеется!

— Ну и прекрасно. Мне не придется изображать немку?

— Это мы все уточним с Риделем, но думаю, что не придется.

— А то немку я бы не смогла — все-таки акцент, да и вообще… — Повесив на спинку стула отутюженные брюки, Таня взяла китель и, встряхнув, принялась укладывать на гладильной доске. — В карманах ничего?

— Простите?

— Я говорю — в карманах у вас тут ничего нет?

— Думаю, что нет… проверьте на всякий случай.

Таня проверила карманы, вынула из нагрудного туго скрученную бумажную трубочку и протянула Болховитинову.

— Какая-то любовная записочка, вы неосторожны!

— А, это не нужно… — Он прошелся по комнате, думая о своем, машинально затолкал трубочку в щель рассохшейся двери. — Действительно, Татьяна Викторовна, за кого вам себя выдать? Если сказать, что русская, он может насторожиться…

— Ладно, — беззаботно сказала Таня, — посмотрим! Только знаете что — не называйте вы меня Татьяной Викторовной, это звучит как-то ужасно церемонно. Мы так давно знакомы, что могли бы просто по имени…

Болховитинов покраснел.

— Мысленно я всегда называю вас только по имени, — признался он.

— Называли бы и вслух.

— Но… вы меня называете по имени-отчеству, и…

— Да я тоже могу по имени! Вот возьму и скажу Кирилл. Кирилл, как поживаете? Как настроение, Кирилл? — Она почему-то тоже покраснела и рассмеялась немного делано, чтобы скрыть смущение.

— Спасибо, Танечка, какое же у меня может быть настроение в такой день? Самое превосходное. Одну минутку, простите — там, кажется, Ридель вернулся…

Риделя никакого не было, просто он почув-

ствовал, что должен немедленно уйти из этой маленькой жаркой от послеобеденного солнца комнаты, наполненной ее голосом, ее смехом, ее присутствием; в полутемном вестибюле он походил от конторки к дверям, сосчитал висящие на доске ключи и сел в кресло, опершись подбородком на сплетенные пальцы. Что он делает? Хоть бы подумал — что потом будет. Как он сможет жить потом?

Так он просидел до возвращения Риделя. Войдя, тот стал кричать, что времени нет, погнал его переодеваться. Анне велел отрезать половину «репарационного» шпига и упаковать как-нибудь поэлегантнее. По пути в ревир он предупредил их, что говорить будет сам — они должны только слушать и поддакивать, не проявляя никакой инициативы.

— Кстати, — он обернулся к Тане, — вы когда-нибудь имели дело со здешней полицией?

— Нет, никогда.

— И в Аппельдорн к вам никто из них не приезжал? Может быть, просто на улице приходилось встречаться?

Таня подумала, покачала головой:

— Нет… Там у нас был свой, один на всю деревню, его мы знали. А здесь я ведь не так часто

бывала и… нет, не припомню, чтобы встречалась. Сегодня утром, конечно, там полиции было много, но я не думаю, чтобы они запоминали лица, в этой суматохе.

— Будем надеяться.

Принял их тот же толстый вахмистр — сочувственно хмыкнул, здороваясь с Болховитиновым, и сказал, что рад благополучному исходу дурацкой истории.

— Да, — подхватил Ридель, — моему коллеге везет на истории: выпутался из одной — влип в другую. Он ведь недавно женился, вот можете убедиться — фрау Болховитинов…

Таня, покраснев, сделала почему-то книксен — решив, что именно так должна вести себя новоиспеченная фрау. Вахмистр поклонился ей, поздравил Болховитинова и, предложив садиться, вопросительно уставился на Риделя.

— Как вы знаете, — продолжал тот, — коллега работал все это время здесь и долго хлопотал, чтобы жену отпустили к нему хотя бы ненадолго. И вообразите себе — вчера, когда фрау Татиана уже подъезжала к Везелю…

— Уважаемая фрау — немка? — перебил вахмистр.

— Нет, нет! Господин доктор-инженер Болхови-

тинов — русский, вы же знаете. Что и послужило причиной испуга господина Клауверта… Кстати! — Ридель полез в портфель и достал пакет, аккуратно упакованный в пергаментную бумагу. — Господин Клауверт был сам так расстроен случившимся, что пожелал как-то возместить… Ну и коллега подумал, что половина законнейшим образом принадлежит вам…

— Ах нет! — Вахмистр даже ладони перед собой выставил. — С какой стати, помилуйте!

— Не спорьте, господин вахмистр, это из самых дружеских чувств. — Ридель, привстав, сунул пакет через весь стол — прямо в выдвинутый немного ящик, который тут же задвинулся обратно.

— Ну не знаю, разве что из дружеских, — сдался вахмистр. — Премного благодарен, господин доктор-инженер. Продолжайте, я слушаю…

Ридель сжато изложил суть дела. Вахмистр выслушал молча, помолчал, побарабанил пальцами.

— Да, — сказал он наконец. — История и впрямь затруднительная. Молодой даме следует вернуться к месту жительства, чтобы выправить копии документов…

— Но как? — подхватил Ридель. — Кто же сейчас

может ездить взад-вперед, не имея на руках ни единой бумажки? Тем более что фрау — иностранка, тоже русская, как и ее супруг, это осложняет дело. Хотя она родилась в эмиграции, ее дед — генерал, приближенный к Санкт-Петербургскому двору, — был замучен большевиками, — все равно, вы понимаете — русское имя, сегодня в Германии это не самая лучшая рекомендация…

— Да, — задумчиво повторил вахмистр. — Я понимаю. Ну что ж, можно выдать такую справку… она, разумеется, не имеет юридической силы документа и действительна на ограниченный срок, но…

— Это именно то, что надо! — горячо заверил Ридель.

— Подождите здесь, я сейчас…

Отсутствовал он минут десять, потом вернулся с бланком и сел его заполнять.

— Имя и фамилия дамы?

— Я лучше напишу на бумажке, — сказал Ридель, — это трудно воспринимается на слух…

— Тати-ана Больхо-ви-тинофф, — медленно прочитал вахмистр и, покрутив головой, стал буква за буквой переписывать на бланк. — Действительна в течение двух недель, — предупредил он. — Побудете здесь с супругом — недели, на-

деюсь, вам хватит, э? — и неделя на обратную дорогу.

— Да, конечно, спасибо, — прошептала Таня. Провожая их до двери, вахмистр придержал Риделя за локоть, попросил задержаться. Они уже дошли до отеля, когда Ридель их догнал.

— Да, — сказал он, — он не такой дурак, этот шупо! Прекрасно все понял.

— Как? — спросил Болховитинов.

— Да так. Даму он несколько раз видел, когда она восседала на фуре какого-то однорукого — не знаю, о ком речь. Хозяин ваш, что ли?

Таня закивала, испуганно прижав руку к губам.

— Я же вас спрашивал, — упрекнул Ридель. — Мало того что на фуре, он видел вас сегодня в колонне, которая уходила из Аппельдорна. А вы его и там не заметили?

— Но почему же он все-таки выдал справку? — перебил Болховитинов.

— Почему, почему… Кило шпига по нынешним временам — это, милый мой, аргумент!

— Ну, с его-то возможностями…

— А какие у него «возможности»? Очень ограниченные, уверяю тебя. Как представитель власти, он не может прийти к крестьянину и

спросить, не продаст ли тот мяса или сала; это служебное преступление, за которое можно в один миг вылететь отсюда на Восточный фронт. А просто так ему никто не предложит, крестьяне всегда и везде недолюбливают полицию. Так что клаувертовский шпиг сработал без осечки — я еще раз убедился в своих организационных способностях. Но было, я думаю, и другое соображение: зачем ему, скажи на милость, проявлять служебное рвение в канун разгрома? Я не уверен, что он оказался бы таким же снисходительным еще год назад…

— Не понимаю только, зачем он тебе все это сказал? Ну, догадался и догадался, держал бы свою догадку при себе.

— Очень просто: он меня предупредил, что даме следует отсюда исчезнуть, и чем скорее, тем лучше. Если бы не десант, все было бы проще, но в связи с близостью боевой зоны здесь наверняка начнутся особые строгости.

— Как же мне теперь быть, — упавшим голосом сказала Таня, — куда я могу исчезнуть? Лучше уж, наверное, было бы вообще к нему не ходить… По крайней мере, не привлекла бы к себе внимания, а теперь он будет нарочно следить, уехала я или не уехала…

— Ничего, ничего, — успокоил Ридель, — бумага получена, это уже кое-что, остальное додумаем. Ладно, я вас пока покину, мне пора. Новобрачным желаю приятно и не без пользы провести время, а завтра я позвоню в отель. Счастливо, дети мои!

— Славный он, этот ваш Ридель, — сказала Таня, когда он удалился.

— Да, он… настоящий друг. Черт возьми, но что ж делать теперь, экое дурацкое создалось положение!

— Может, действительно придумает что-нибудь…

Анна встретила их вопросом, все ли в порядке.

— Если бы! — сказала Таня. — Справку он дал, но сказал, что мне надо прятаться. А где?

— Тю! — жизнерадостно воскликнула Анна. — Да у нас в погребе! Сдохнут — не найдут.

— Нет, это… несерьезно, — возразил Болховитинов. — В погребе можно день-другой, а потом что?

— Да, может, придут наконец эти паразиты англичане!

— А если нет? Среди немцев у вас никого нет тут надежных знакомых?

— Не-е, откуда! Хозяйка только, так что она может? Она только мне с Надькой выхлопота-

ла разрешение остаться, у нее там знакомый какой-то важная шишка. А так… Я с немцами, вообще-то, не очень, ну вот полицая этого толстого знаю, а больше и никого. Голландка одна ходит оттуда, хорошая девка, на железной дороге работает, при ресторане. С ней, может, поговорить?

— Ну что толку, — сказала Таня, — чем она может помочь, не спрячусь же я в Голландии! Голландцы сами все запуганы, чего они будут из-за меня рисковать…

Они разговаривали в кухне, Анна лущила стручковую фасоль, Таня с убитым видом подсела к ней, стала помогать.

— Голландия, — сказал вдруг Болховитинов. — Гм! Кто, вы говорите, оттуда ходит?

— Да работает тут одна, хорошая такая девчонка. Забежит иногда, все про нас расспрашивает — я, говорит, русских люблю…

— У нее что же, пропуск?

— Да, постоянный, тут есть которые живут там, а работают здесь, у них постоянные пропуска.

Болховитинов посидел с отсутствующим видом, потом вдруг вскочил, вышел и через минуту вернулся, раскручивая в пальцах бумажную трубочку.

— Аннушка, — сказал он, — как бы мне с этой

голландкой увидеться?

— А сейчас узнаем — работает ли, она не каждый день… Надь! А Надь! Слетай-ка до Марты, нехай, скажи, зайдет, как пошабашит. А если нема ее, так спроси, когда будет!

Надя слетала и, вернувшись, крикнула, что Марта сейчас придет. Скоро пришла и Марта — молодая женщина с выпуклым лбом и светлыми бровями и ресницами, спокойным и приветливым видом напоминающая женские лица на полотнах Вермеера. Поздоровавшись, она тотчас тоже села лущить фасоль, как будто для этого и пришла.

— Марта, — сказала Анна, — с тобой господин инженер хотел поговорить. Он тоже русский, на форму ты не смотри, это так, для виду.

— Да, я слушаю, господин инженер?

— Фрейлейн Марта, вы — я так понял — живете недалеко от границы. Посмотрите, пожалуйста, этот адрес — это не в ваших краях? Если нет, то где это может быть? Я понял, что где-то в районе Неймегена…

Марта прочитала написанное на бумажке, подумала, наморщив лоб, и медленно сказала, что да, это не очень далеко. Она знает эту усадьбу. И знает хозяев. Две сестры, мать и сын, кото-

рый где-то прячется, а старый господин умер до войны, он был немножко… — Она покрутила пальцем у виска, показывая, что старый господин был немного сумасшедшим.

— О, его так и называли — «рехнувшийся барон», — добавила она.

— Барон? — удивился Болховитинов.

— Да, но это… как сказать — они очень давно бароны, и совсем бедные. Две коровы, одна лошадь — очень старая, худая — и одна карета. Старая госпожа по воскресеньям ездит в церковь в карете.

— Она тоже сумасшедшая?

— О нет! Она умная женщина и добрая — я так думаю.

Болховитинов нерешительно посмотрел на Таню.

— Что это вы затеваете? — тихо спросила она по-русски.

— Погодите. — Он помолчал, потом снова обратился к Марте: — Скажите, вы не могли бы побывать в этой усадьбе? Старой госпоже надо отдать записку — это рука ее сына, она узнает…

— Виллема? — с удивлением спросила Марта.

— Я не знаю, как его звали. Возможно, Виллем, если у него нет брата. Так вот: вы отдадите ей

эту записку и скажете, что человек, который помог Виллему бежать, хочет обратиться к ней с просьбой.

— Так, я поняла. Но она спросит: с какой просьбой?

— Моей жене, — он положил руку Тане на плечо, — надо пожить там, в усадьбе, некоторое время. Но чтобы немцы не знали.

— А-а! — Марта понимающе кивнула. — Я скажу, да.

— Я не спросил главного: там нет сейчас боев?

— Нет, нет, парашютисты опустились дальше. Там спокойно пока, — заверила Марта.

— И еще один вопрос: если старая госпожа согласится, сможете ли вы провести жену через границу?

Марта подумала, кивнула:

— Я думаю, да, это возможно. Раньше — до войны — граница была закрыта, но, когда началась оккупация, там всё сняли. Посты только на дорогах, но если знать, где пройти, — это можно. Я знаю места.

Когда Марта ушла, Таня с удивлением посмотрела на Болховитинова:

— Вы хоть бы меня спросили, хочу ли я к этим сумасшедшим баронам! Что я там буду делать?

— Танечка, но вы же видите, как обстоят дела! Здесь вам оставаться опасно, вглубь Германии тоже теперь не уехать — в справке написано, что вы из Ганновера, значит ни в какой другой город вам ехать нельзя, а в Ганновере что вы будете делать с этой липой?

— Да ясное дело, — вмешалась Анна, — ничего лучше не придумать! Эту неделю поживешь с нами, а после Марта тебя на ту сторону переведет, и ладно. А сейчас давайте-ка поужинаем, я из хозяйкиного погреба по такому случаю бутылку белого свистнула… Ну, день сегодня какой-то чумовой!

День действительно был «чумовой». Только выпив вина, Таня как-то расслабилась и вдруг осознала все сегодняшние события вместе, в совокупности. Сейчас трудно было поверить, что еще утром она укладывала в коробку из-под «Магги» свои пожитки, едва удерживаясь от слез и боясь даже представить себе, что ждет их там, за Рейном. И вдруг такое! Прошло несколько часов — и она уже отделена от всех, с кем прожила это лето, и опять на каком-то полулегальном положении и даже — мало того! — чуть ли не замужем…

— Мы что, действительно теперь муж и жена? — спросила она, искоса глянув на Болхови-

тинова.

— Ну… некоторым образом да, — признал тот.

— Чего там «некоторым образом», — Анна засмеялась, — сейчас расстелю вам наверху, и идите.

— Аннушка, — укоризненно сказал Болховитинов, — что у вас за шутки!

— Шутки у нее, как у того боцмана в анекдоте, — сказала Таня. — А вообще забавно — второй раз меняю фамилию, это уже третья.

— А вторая?

— Я сюда приехала как Дежнева — назвалась Сережиной фамилией в Энске, когда попала в облаву. Понимаете? В комиссариате-то меня знали как Николаеву!

— А, ну разумеется…

Болховитинов притих, перестал принимать участие в разговоре, потом встал и сказал, что выйдет подышать — голова разболелась.

— Вы мне найдете там какую-нибудь свободную комнатенку? — спросил он у Анны.

— Да уж ладно, найду, если с женушкой не хотите.

— Анька! — Таня, вспыхнув, ударила ладонью по столу. — Хватит, в самом деле! Ни в чем меры не знаешь!

Он медленно шел по улице, вечер был прохладный — уже чувствовалось приближение осени. Глупость получилась, и как-то запутывается все это больше и больше, хотя почему, собственно? Если разобраться хладнокровно — пустая формальность, это ведь его отношение к Тане придает ситуации двусмысленную окраску, а если бы не это… Если бы, если бы!

Они за ужином порядочно выпили, после той бутылки мозельвейна Анна притащила еще две, и сейчас голова у него немного кружилась, но мысли были ясными и четкими. Надо просто уехать, да. Завтра ему все равно на работу, Ридель сказал, что новую трассу размечают между Краненбергом и Клеве, первое время придется повозиться. Если бы только Марта не подвела! Там Тане будет безопаснее, чем здесь. Да, правильно, а он просто уедет, будет звонить, узнавать. Какое счастье, что можно позвонить и услышать в трубке ее голос, мог ли он мечтать об этом год назад!

Когда вернулся в отель, все уже спали. Дремавшая за конторкой Надя — была ее очередь дежурить ночью — отдала ему ключ, он поднялся на второй этаж и заснул как убитый. Утром уехал в Клеве первым поездом. На трассе они с Риделем поселились в сборном домике, где еще не было

телефона; лишь на четвертый день он смог вырваться в город позвонить. Анна сказала ему, что все в полном порядке: вчера Марта повела Таню через границу, а сегодня вернулась, так что Таня уже на месте — у родственников Виллема.

Он еще раз успел побывать в Калькаре, поговорил с Мартой и получил записку от Тани. А потом — двадцать шестого сентября — англичане предприняли новую попытку наступления. За два дня довольно вялых боев они потеснили немцев до берега Мааса и немецко-голландской границы, где и установилась новая линия фронта. Таня была теперь по ту сторону — на освобожденной территории.

Часть третья
Глава 1

С Игнатьевым давно уже им не доводилось встречаться, хотя воевали в одной дивизии и всегда находились не так уж далеко друг от друга. А тут вдруг встретились — после боев под Дебреценом, когда дивизия была наконец выведена в армейские тылы на отдых и доукомплектование. Игнатьев после Белоруссии получил капитана, так что в звании они теперь сравнялись; Дежнев про себя удивлялся: по его мнению, Паша давно уже заслуживал двух просветов. Умнейшая голова, математик, офицер с боевым опытом — мог бы командовать чем-то побольше батареи.

Артиллерист предложил поселиться вместе, Дежнев согласился охотно — сказать по правде, он со своими однополчанами не всегда находил вне службы общий язык. Хорошие они были ребята, некоторые даже начитанные, взять того же Козловского — сколько стихов знает наизусть, страшное дело; но все же поговорить с ними так, как он, бывало, разговаривал с Игнатьевым, почему-то не получалось. Понятно, впрочем, почему!

Они были моложе, с меньшим жизненным опытом, а главное — не привыкшие рассуждать на разные отвлеченные темы, не имеющие прямого отношения к войне, службе, женщинам. Сам Дежнев, приблизительно того же возраста, все чаще с досадой чувствовал, что у него этот обычный лейтенантский треп уже в печенках. Хотелось чего-то другого, хотя он прекрасно понимал, что время для этого «другого» настанет после войны, а сейчас надо просто воевать. Как говорится, не мудрствуя.

Поселившись вместе, Дежнев и Игнатьев общаться могли по вечерам. Днем оба были заняты по службе, это ведь только так называется — отдых, а на самом деле колготни на этом «отдыхе» больше, чем на передке в моменты затишья. Батальонные занятия, политбеседы, командирская учеба, проверки, инспекции, и всюду надо успеть, для всего выкроить время. У артиллеристов тем более, иптаповцы начали получать новую технику, противотанковые пушки БС–3 — чудища калибром 100 миллиметров со стволом шестиметровой длины, их надо было теперь срочно изучить и освоить.

— Да, нам бы в сорок первом такую матчасть, — заметил Дежнев, когда Игнатьев однажды

рассказывал о новых орудиях. — А то, помню, «сорокапятки» эти, вот уж горе, сколько мы с ними намучались — их пехоте придадут, а везти не на чем, так вручную и катим.

— «Сорокапятка» не такая уж плохая была пушечка, — возразил Игнатьев, — зря ты на нее. Я бы вообще не сказал, что нас тогда матчасть подводила. С танками была беда, покуда «тридцатьчетверка» не появилась, и самолеты были никуда не годные, а в артиллерии — ничего подобного, мы немцев по всем статьям превосходили. Правда, нехватка снарядов резала… Но опять-таки — не потому, что не было их, от снарядов где-то в тылах склады ломились, а просто подвезти вовремя не умели или подвозили не те, что надо. Словом, обычный российский бардак.

— Это ты, Паша, верно заметил, бардак у нас продолжался аж до самого Сталинграда.

— Дольше, пожалуй. Собственно, только после Курска изменилось по-настоящему.

— Да-а, — задумчиво сказал Дежнев, — сейчас вспомнишь, как начинали, — не верится, что это та же самая армия, та же самая война…

— А война, если она долгая, обычно и не остается «той же самой». Каждый ее период не похож на предыдущие… А с тех пор, как мы перешли

границу, — ты заметил? — вообще все как-то по-другому ощущается.

— Ясное дело, иначе и быть не могло. Когда твоя берет, все ощущается совсем иначе.

— Дело не только в том, что «наша берет»… Тут еще и другое: люди стали спокойнее, нет того озлобления, что было раньше, когда шли по Украине. Психологически это объяснимо, там все было слишком свое, слишком наболевшее…

— Да, там злости было больше, здесь все-таки чувствуешь себя как бы на нейтралке — вот мы, вот немцы, а земля вокруг какая-то и не своя, и не чужая. Поэтому и душой за нее не болеешь, не то чувство. Там — дома — увидишь деревню сожженную, — и сердце сжимается, а здесь тебя это не так затрагивает. Да и нет таких разрушений… Но там эта злость помогала воевать, так что кстати была.

— Помогала? — задумчиво переспросил Игнатьев. — Не знаю, не уверен. Злость помогает в рукопашном бою, там чем злее, тем лучше. А когда командуешь людьми, когда надо принимать решения — пусть самые простые, — тут не злость нужна, а хладнокровие, умение владеть собой. Со злостью это как раз несовместимо, озлобленный человек невменяем. А у нас, к сожалению, с

самого начала войны вся ставка была на злость. Никогда не забуду одного разговора… Весной сорок третьего — уже после харьковских боев — я возвращался из госпиталя, — и там мы в одном местечке застряли — распутица, ни пройти ни проехать, а был с нами один какой-то… то ли журналист военный, то ли политработник, я так и не понял. Словом, сидим мы с ним вдвоем в хате, у него водка была с собой, выпили, разговорились… Как раз в газетах было о том, что немцы под Харьковом захватили наш полевой госпиталь и перебили весь медперсонал. Я и говорю: вообще-то, не совсем понятно, зачем мы вооружаем наших врачей и медсестер, толку от этого никакого, а немцы свирепеют, поскольку по международным военным законам медперсонал не входит в категорию комбатантов и, значит, не имеет права носить оружие. А этот товарищ мне в ответ такую вещь сказал, что я до сих пор забыть не могу. Знаете, говорит, к тому, что рядом мужиков убивают, к этому солдат привык, и обостренной ненависти к врагу это уже вызвать не может: ну что ж, война есть война. А вот когда он увидит изнасилованную санинструкторшу, которой еще и штык в живот всадили, — вот тут он на немца обозлится по-настоящему…

— Сволочь он был, твой журналист, — сказал Дежнев. — Что ж, выходит, мы нарочно это делаем, чтобы злость в людях вызывать?

— Не знаю. — Игнатьев пожал плечами. — Как говорится, за что купил, за то и продаю, а выводы делай сам.

Дежнев помолчал.

— А что, немецкие врачи оружия не носят?

— Нет, насколько мне известно.

— Вон оно что… Нет, ну наши-то я не думаю чтобы нарочно! Другое дело — могли не подумать, не принять во внимание…

— Могли, конечно, — согласился Игнатьев. — А могли и подумать. Что мы делали ставку на разжигание ненависти к врагу любыми средствами, это факт…

— Да как же можно иначе? Чудак ты, Паша, кто же во время войны проповедует любовь к врагу?

— О любви речь и не идет, я другое хочу сказать. Во время войны ненависть к врагу возникает стихийно, как пожар. Для того, кто любит свою страну, всякий на эту страну посягнувший — враг и поэтому подлежит уничтожению. Это аксиома. А когда я читаю Эренбурга… впрочем, прости за риторический оборот, как раз его-то я не читаю; не хватает еще, чтобы мне — русскому офицеру

— этот коммивояжер объяснял, как я должен любить Россию, какие немцы выродки и как их поэтому надо беспощадно истреблять. Да не нужны мне его объяснения! Я немцев истребляю потому, что они пришли на мою землю, пришли убивать моих соотечественников, и этого достаточно, а выродки они или нет — об этом я не думаю, я не имею права думать об этом, когда веду огонь. Если мне удалось поджечь «тигр», я не хочу думать о его экипаже. Это могут быть выродки, а могут быть и вполне приличные люди, которых призвали, обучили и отправили сюда — раздавить мою батарею или погибнуть самим…

— Ну хорошо, хорошо, — прервал Дежнев, — тебе, допустим, объяснения не нужны — ты интеллигент и сам разбираешься…

— Да при чем тут интеллигентность! Культура, что ли, делает человека патриотом?

— Я не в том смысле сказал, погоди. Согласен — дело не в интеллигентности, и все-таки — есть люди сознательные, а ведь есть несознательные, — что же у нас, дезертиров не было, что ли?

— А на дезертиров все эти словоизвержения не рассчитаны! Человек, который решил дезертировать, все равно сделает это при первой возможности. Среди них многие родную нашу

советскую власть ненавидят больше, чем немцев, они вообще не верят ни одному слову ни по радио, ни в газетах — их, что ли, перевоспитывать всеми этими «Науками ненависти»? На кого это рассчитано и на кого, к сожалению, действует — это основной контингент армии, наш среднестатистический русский Ваня… чьи отцы, деды и прапрадеды землю свою оборонять умели еще на Куликовом поле, и безо всяких подсказок!

— Ну допустим, — сказал Дежнев, — излишнее усердие проявляют газетчики, их тоже можно понять: перышком скрипеть — оно ведь проще, чем по передку ползать, вот и отрабатывают. Беды-то в этом нет.

— Нет, есть беда! Если человека действительно научить ненавидеть — хотя бы это была и оправданная ненависть, пойми, — не знаю, сможет ли этот человек когда-нибудь вернуться к нормальному душевному состоянию. Есть болезни, которые бесследно не проходят, — вроде бы и выздоровел, а какой-то внутренний надлом в организме остался и рано или поздно обязательно проявится. А наш народ ненавидеть научился, в целом пропаганда действует — и чем грубее, чем примитивнее, тем более эффективно. Это закон. Мы-то с тобой можем знать цену всей этой ахи-

нее… вроде «письма, найденного в кармане Курта Б., убитого в бою за населенный пункт А.»: «Дорогая женушка, посылаю для Эльзхен платьице, как раз впору для пяти лет, оно немного испачкано, но это ничего, кровь легко отстирывается»… или «записной книжки обер-лейтенанта Ганса В., найденной в блиндаже на Энском участке фронта»: «Вчера к нам привели красивую молодую женщину, у которой муж в Красной армии, мы хорошо с ней позабавились, жаль, что потом пришлось пристрелить»…

— А я, например, цену этой «ахинее» не знаю, — запальчиво возразил Дежнев. — Ты думаешь, не могло быть таких случаев?

— Могло быть все, что угодно. Наверное, даже геббельсовские пропагандисты — когда начинают живописать «большевистские зверства» — не в силах выдумать ничего такого, чего, в принципе, не могло бы быть. В принципе, среди немцев вполне могут найтись любители поучаствовать в коллективном изнасиловании, почему бы и нет? Они и среди нас находятся, почему же им не быть среди немцев. Я говорю не о теоретической возможности того или иного события, я просто не верю во все эти «письма» и «дневники», и не верю по той простой причине, что никто в здравом уме

— даже будучи последним подонком и дегенератом — не станет писать что-либо подобное на фронте, где всегда есть опасность того, что тебя с этой твоей писаниной заберут в плен раньше, чем ты успеешь от нее избавиться. Это первое соображение! Второе: кем угодно можно быть, но все-таки чтобы вот так взять и домашним своим прислать в подарок окровавленную детскую одежду — ну, извини, это уж вообще… И наконец, третье. Мы вот уже полгода воюем на чужой территории; своими глазами повидали, так сказать, буржуазную действительность. Как тебе здешний уровень жизни в сравнении с нашим довоенным? Не обращал внимания, как здесь люди одеты, как у них квартиры обставлены?

— Ну! Богато, обормоты, живут, что и говорить.

— Так ты что же думаешь — Германия до войны была беднее какой-нибудь Румынии или Венгрии? Такой была нищей, что любой немец только и мечтал дорваться до нашего советского изобилия и разжиться хотя бы детским барахлишком? Чушь это все собачья, рассчитанная на простаков, все эти «трофейные документы» сочиняются в наших редакциях, и сочиняются кретинами, которые не понимают, что делают. О результатах подобной пропаганды не думают!

А результаты, между прочим, уже сказываются. Возьми случаи убийства пленных; да, это запрещено, но это случается или нет?

— Ну, бывает. — Дежнев пожал плечами. — У меня в батальоне не случалось, но слыхать слыхал. Трибунал за это положен.

— Я знаю, что трибунал. Только вот знать бы, кого этот трибунал в таких случаях должен судить! Простого солдата, который начитался про четвертованных младенцев да повешенных старух, а потом получает приказ отвести пленного — и не выполняет этого приказа, не может выполнить, потому что болен ненавистью! — или того сукиного сына, который привил ему эту заразу, не задумываясь о последствиях? Ты пойми — я ведь говорю о ненависти к народу, к людям, а не о ненависти к фашизму как системе. Это вещи разные, наша пропаганда должна была бы четко разграничить два понятия: власть и народ… а не валить все в одну кучу, вместе с ненавистью к режиму разжигая и ненависть к народу. Мне страшно себе представить, что будет, когда мы — подготовленные таким образом — войдем в Германию. Хорошо, что приходится пройти сначала через эту своего рода буферную зону, есть время поостыть, а мы ведь народ отходчивый…

Если и в этом нас не переделали, — добавил Игнатьев после паузы.

— В каком смысле?

— В смысле способности прощать. Когда воевали с Наполеоном, озлобление в народе тоже было большое — разумеется, масштабы я не сравниваю, тогда война затронула лишь малую часть населения… тех, кто оказался в полосе военных действий. Но озлобление было, недаром мужики самодеятельно брались за вилы, начинали партизанить. Наверняка бывали такие случаи, что в горячке и в плен не брали. А потом — очень скоро — на французов никто уже не смотрел как на заклятых врагов, и в Париж наши войска вступили в самом дружественном расположении духа — не столько победители, сколько освободители…

— Сравнивать тут, конечно, смешно, — сказал Дежнев. — Наполеон тысячной доли того не натворил, что Гитлер.

— Если мерить нашими сегодняшними мерками — да. Но для своего времени?

— Интересно получается — наше время, выходит, более жестокое… Тогда ведь и крепостное право было, и солдатская служба двадцать пять лет продолжалась, и сквозь строй прогоняли…

— Салтычиху еще вспомни. Тебе когда-нибудь

с колхозниками приходилось общаться?

— Еще бы мне не приходилось. Я в пехоте воюю, больше половины личного состава из сельской местности.

— Ну, в армии им, я думаю, довоенная жизнь в розовом свете вспоминается, да и откровенничать не станут, пожалуй. Разве что с земляком. Я знанием деревни не могу похвастать, но кое-что слышал… нарочно интересовался, меня этот вопрос занимал. Так вот, фактически крестьяне у нас прикреплены к земле так же, как были прикреплены до шестьдесят первого года. Разница в том лишь, что тогда земля принадлежала помещикам, а теперь принадлежит государству…

— Народу принадлежит земля, — поправил Дежнев.

— Это казуистика, земля у нас принадлежит государству. Народу она принадлежала в послереформенной России. И если сосчитать всех умученных за триста лет крепостного права, то получится, я думаю, один процент от числа погибших в последнюю четверть века… О военных потерях я не говорю, тут счет особый.

— Это верно, — согласился Дежнев. — У нас тоже эти репрессии перед войной… Мы еще, помню, с ребятами спорили… в десятом классе, я-то

постарше был, дважды второгодник как-никак. Был такой Володька… отличный парень, погиб потом в оккупации, и геройски погиб. Так вот он, помню, оправдывал все это… чисто теоретически, конечно, мол, капиталистическое окружение, агентура, то, другое. А мне всегда казалось, что что-то здесь не так, какие-то перегибы допускаются, не могло быть столько шпионов — и ведь на самых верхах…

— Это вы в школе такие разговоры вели? — удивился Игнатьев. — Либеральная у вас там, я смотрю, была атмосфера.

— Да нет, ну что ты, кто же в школе про такое трепался! Нет, это мы выбрались как-то на природу — у нас там такие пруды были, Архиерейские назывались до революции, мы туда купаться ходили. Своей только компанией — трое ребят, девушки, кого было бояться… А вообще, может, и прав ты — насчет жестокости.. Мы привыкли думать, что раньше все было хуже, но если разобраться… Я как-то про декабристов вспомнил… Говорят, Николай Первый был самым жестоким из царей — в Новое время, с Иваном Грозным сравнивать нечего, — и приводят в пример расправу с декабристами. Но я вот подумал: а если бы сейчас армия вот так открыто взбунтова-

лась — неужто пятью смертными приговорами обошлось бы? Да тут бы целыми полками расстреливали, из пулеметов.

— Ну, картечь Николай тоже применил, — сказал Игнатьев, — но его жестокость проявилась скорее в злопамятности, он еще тридцать лет процарствовал и до самой смерти держал в Сибири сосланных декабристов. Вот это действительно было бесчеловечно. А казнь тех пятерых — что ж, те же Пестель, Каховский — они открыто призывали к цареубийству, было бы странно ожидать, что царь их помилует. Впрочем, сравнивать эпохи вообще трудно. Раньше больше было жестокости в каждом отдельном человеке, или точнее — больше было возможностей проявить эту жестокость… Ну в самом деле, те же помещики при крепостном праве — пусть большинство были людьми обычными, но все-таки бывали и такие, как тот граф из «Тупейного художника» — помнишь? Сейчас такое невозможно, но общество в целом стало более терпимым к злу и жестокости в масштабах государственных. Тут, мне думается, церковь играла смягчающую роль…

— Ничего себе, «смягчающую», — возразил Дежнев, — а инквизиция?

— Я о России говорю, у нас инквизиции не было. Да нет, я церковь не идеализирую, особенно послепетровскую… Но понимаешь, призывы к милосердию все же какое-то влияние оказывали. Или, скажем, так: церковь, может быть, и не могла удержать людей от жестоких поступков, но она хотя бы вложила в них понимание греховности того, что они делают. Ну и приучала делать что-то доброе — пусть в микроскопических дозах. Подавать милостыню нищим, выставлять за окно хлеб для бродяг… в Сибири, я читал, так делали. Каторжник беглый иной раз в избу постучаться боялся, так для него еду оставляли снаружи. Понимаю, можно это рассматривать как корыстную сделку — я, дескать, сейчас сделаю что-то хорошее, а на том свете мне за это воздастся; лучше, конечно, чтобы человек делал добро бескорыстно, не веря ни в какой «тот свет». Но ведь не получается этого, согласись.

— Чего не получается? Что же, по-твоему, сейчас никто ничего хорошего не делает?

— «Хорошее» — это понятие растяжимое, одно и то же действие может оказаться и хорошим, и плохим, это уж как на него взглянуть. Я говорю конкретно: о делании добра.

— Это нищим, что ли, подавать?

— Да хотя бы! Много ты видел до войны, чтобы люди помоложе подавали?

— А я и сам не всегда подавал, — сказал Дежнев, — иногда действительно видишь, просит какая-нибудь старушонка — ей дашь, если есть в кармане мелочь. А то ведь бывает — такой бугай, что на нем пахать можно, а он придуривается, трясучку изображает…

— А если не придуривается? Если у него действительно какая-нибудь болезнь Паркинсона? Или он должен справку предъявить, чтобы получить твой гривенник?

— Да черт побери, не в гривеннике же дело! — закричал Дежнев. — Какой смысл поощрять жулика, вот чего я не могу понять!

— В том-то и беда, что не можешь. А раньше простая баба понимала, что лучше десять раз «поощрить» жулика, чем отказать в помощи одному больному, и отдавала свой грош, не задумываясь, разумно то или не разумно. Мы невероятно очерствели, понимаешь? Не знаю, стали ли жестче; пожалуй, нет, сами — не стали; но мы равнодушно принимаем жестокость государственную, которая становится нормой жизни. Поэтому я и думаю все время о нравственных последствиях этой войны, для меня это

главное. Черствые уже и без того, вдобавок еще и озлобленные — не важно на кого: на немцев, на собственных предателей или на тех, кто в тылу отсиживается, пока мы тут воюем, — мы можем после войны превратиться в совершенно бесчеловечное общество, превратиться постепенно, потому что это ведь как наследственные изменения в организме — у черствых и озлобленных родителей дети будут хуже в квадрате, а внуки — в кубе… Потому что нас война если ожесточила — в массе, — то она же и научила другому: чувству товарищества, пониманию смысла жертвенности, все-таки страдания в известной степени очищают, это не пустые слова… А у тех — не страдавших — вообще ничего за душой не будет, кроме эгоизма и жестокости.

— Ну тебя к черту, Паша, с твоими прогнозами, — сказал Дежнев. — Все, наоборот, верят, что жизнь после войны будет совсем другая, в смысле — лучшая…

— Какая будет жизнь после войны, я не знаю. Лучшая — в каком смысле? Что больше будет продуктов и промтоваров? Наверное, больше. А в другом… не знаю. И у меня это не прогнозы. Боже упаси, как говорится, а просто опасения. Не совсем безосновательные, мне думается.

— Поживем — увидим, — задумчиво сказал Дежнев.

— Я — вряд ли, — отозвался Игнатьев. — Да и не испытываю любопытства. Хотелось бы, конечно, увидеть, что из Димки получится… а остальное, признаться, меня интересует меньше. Вот сына оставлять жаль.

— Ладно, Паша, кончай, такими вещами шутить не годится. Предчувствия при себе надо держать.

— А это не предчувствия, Серж, я почти знаю. У нас, понимаешь, семейная традиция такая дурацкая… Дед погиб на Шипке, когда отцу было три года, отца убили в Брусиловском наступлении, в шестнадцатом, — мне, стало быть, было четыре. Димке, боюсь, тоже в этом же возрасте предстоит осиротеть, так вот получается. Глупо, конечно, да куда денешься…

Капитан Игнатьев погиб через три дня после этого разговора, погиб из-за нелепой случайности — как, впрочем, гибнут на войне многие. Иначе как нелепостью нельзя было счесть внезапное появление одинокого немецкого самолета здесь, среди бела дня, в относительно спокойном армейском тылу. Случайно ли он сюда залетел, или это был какой-то рехнувшийся ас, с перепою ре-

шивший сделать лихую вылазку, — но он — как потом выяснилось — на бреющем проскочил линию фронта, никем не замеченный долетел до местечка и — пока его, спохватившись, расстреляли зенитчики — успел обработать несколько улиц пулеметным огнем и мелкими осколочными бомбами.

Дежнев весь день провел в ротах, знакомясь с пополнением. Когда ему сказали, что в городке днем был небольшой шухер, он не обратил внимания; а на квартире его встретил ординарец Игнатьева с таким видом, что он — еще не связав этого с дневным происшествием — сразу понял, что случилась беда.

— …и надо же такое, — рассказывал ординарец, — всего и раненых-то оказалось пять человек, несерьезные все ранения, а его наповал, и осколочек — сказали — вот такой махонький, в полногтя. Может, в другое место куда ударил бы, так и ничего бы не было, а тут аккурат в затылок, навылет…

Дежнев, оглушенный случившимся, прошел к себе и повалился на койку, не сняв сапог. Четвертый год привыкаешь, а привыкнуть нельзя; и из всех фронтовых друзей, кого потерял за последнее время, эта потеря казалась ему сейчас

самой невосполнимой. Потом-то, конечно, восполнится и забудется, так уж мы устроены, но сейчас — представить себе нельзя, что из-за дурацкой случайности не стало такого человека… Восточная притча вспомнилась вдруг ему — как мудрец загадывал царю загадку: положил на чашу весов маленький обломочек потемневшей кости, а на другую сколько ни валили золота, оружия — кость весила больше; а потом мудрец положил на нее щепотку пыли, и чаша с костью взлетела кверху; и мудрец объяснил, что это обломок человеческого черепа и в нем заключалась целая вселенная, а когда его засыпали прахом — вселенной не стало…

Утром Игнатьева хоронили. День был мглистый, холодный, совсем уже предзимний. В городке давно стоял наш госпиталь, и на кладбище — чуть в стороне — образовался целый участок, уставленный красными пирамидками.

У некоторых лежали хризантемы — приносили мадьярки, кто знает из каких чувств, искренно ли или желая проявить лояльность к новой власти. Когда гроб опускали в могилу, нестройно протрещали автоматы и сразу — словно сотрясением воздуха прорвало низкие облака — пошел редкий сырой снег. Стоя у самого края, Дежнев

смотрел, как крышка постепенно скрывается под глухо стучащими о доски комьями мокрого суглинка. Многих уже довелось ему хоронить, но еще никогда не ощущал он с такой пронизывающей горечью, с неподвластным разуму чувством внутреннего протеста всю нелепость, противоестественность страшного парадокса смерти, не знающей различия между человеком и животным. Собака или лошадь не носят в себе никаких вселенных, а их жизнь точно так же зависит от любой случайности. Против этого — если задуматься — восстают все чувства: сходные физиологически, человек и животное при жизни столь несоизмеримо различны в главном, что невольно возникает мысль о неизбежности сохранения этого различия и в смерти. Не отсюда ли идея загробного существования, бессмертия души?

Лишь когда продолговатый холмик был насыпан, выровнен и обхлопан лопатами, Дежнев надел фуражку и вместе с другими пошел прочь. У ворот кладбища его окликнул незнакомый артиллерист, представившийся помощником начальника штаба полка, где служил Игнатьев.

— Должен вам передать, — сказал он, достав из полевой сумки конверт, — это от него…

— От кого? — не понял Дежнев.

— От капитана Игнатьева, — сказал помначштаба, и это прозвучало так дико, что он тут же поторопился объяснить: — Понимаете, Павел Дмитриевич с месяц назад отдал мне это с просьбой вручить или переслать вам, если с ним что случится. Многие ведь так делают — адресами обмениваются на всякий случай, мол, если что, так напиши как-нибудь не по-казенному… Что-нибудь в этом роде, я думаю. Словом, волю покойного, как говорится, я выполнил…

Если бы не мокрый снег, который тем временем пошел лепить еще гуще, Дежнев вскрыл бы конверт прямо здесь. Ладно, подумал он, прочитаю дома. О сыне, наверное, пишет. Да, осиротел пацан, хорошо хоть возраст такой — ничего еще не сообразит, да и вообще вряд ли помнит отца. Позже начнет о нем думать — у других, дескать, отцы есть… Хотя и то верно, что таких, как он, будут миллионы. Но от этого не легче.

— Федюничев, — сказал он, вернувшись домой, — ставлю тебе задачу достать водки. Где — меня не интересует; если не столкуешься со старшиной, купи у мадьяр, деньги возьми в планшете. И Савельева позовешь, помянуть надо капитана Игнатьева.

— Без вас не додумался бы, — проворчал Федюничев. — Все уж готово.

Войдя в комнату, он лишний раз убедился в догадливости своего ординарца — на столе, рядом со вскрытой банкой тушенки, обшитой сукном немецкой флягой и его, дежневской, вороненой стопкой из пламегасителя, стояли две алюминиевые кружки — значит, и насчет Савельева сам сообразил…

— Ну что, славяне, — сказал он, когда пришли оба ординарца, — помянем Пал Митрича, да будет ему земля пухом. Вот был человек, такому жить бы и жить…

Он сам не мог определить странного чувства, мешающего ему поскорее вскрыть письмо, которое — он ни на секунду об этом не забывал — все еще лежало нераспечатанным в кармане гимнастерки. По правде сказать, было просто жутковато: письмо от мертвого. Хотя, конечно, он поступил бы точно так же, наверное, будь у него сын, о котором «в случае чего» некому позаботиться. Тоже оставил бы другу просьбу-завещание.

Когда ординарцы удалились, он позволил себе налить еще стопочку — помянуть уже персонально; постоял, опустив голову, пробормотал вслух:

«Эх, Паша, Паша…» — и выпил, крепко зажмурившись. Потом полез в карман.

«Действующая армия, 6.10.44

Уважаемый Сергей Данилович!

Письмо это ты получишь, как говорится в подобных случаях, когда меня уже не будет. Не сразу решился написать, т. к. это означает нарушить обещание, которое я опрометчиво дал. Давать его не следовало, я это понял уже задним числом, и тогда же решил нарушить — после войны, когда у тебя будет время подумать о личных делах. Сейчас, понимаю, лишние головоломки тебе ни к чему. Но все мы на фронте, как известно, под Богом ходим, поэтому в порядке предусмотрительности пришел к мысли изложить дело в письменном виде. Если письмо до тебя дойдет, значит предусмотрительность оказалась не лишней.

Дело касается нашей общей знакомой — Елены С. Касается ли оно также тебя — не уверен, и эта неуверенность объясняет, почему я колебался. Но раз уж решился, буду говорить прямо и открыто, без околичностей; если предположение мое ошибочно — можешь сжечь это письмо, не дочитав.

Ты однажды спросил меня, куда исчезла Е. и чем объясняется ее исчезновение. Я не ответил

тогда тебе на оба вопроса, потому что был связан обещанием. Сейчас отвечаю: Е. попросила о переводе на другой фронт после того, как узнала про свою беременность. Она не хотела, чтобы про это узнали другие, и в первую очередь ты. Об этом она мне сказала прямо, и я так же прямо спросил ее (ты уж извини), не твой ли это ребенок. Она заверила, что нет, и объяснила свою просьбу (скрыть от тебя) просто тем, что не хочет, чтобы ты думал о ней плохо. Ну знаешь, как иногда думают в нашей среде о женщинах-военнослужащих, попадающих в такое положение.

Я ей поверил, но потом засомневался опять. Почему — сам не знаю. Пожалуй, после того, как она написала уже из Ленинграда, что рожать будет в ноябре, и я вдруг вспомнил, как она однажды сказала, что зимой виделась с тобой в твоем родном городе, где тогда стояли наши дивизионные тылы и куда ты приезжал на пару дней то ли в отпуск, то ли в командировку…»

Дежнев опустил руку с письмом, глядя в окно остановившимся взглядом, — октябрь, сентябрь, август, июль, июнь, май, апрель, март… Он громко присвистнул.

— Февраль, елки-палки! — вырвалось у него совсем по-мальчишески. — Ну влип!

Он вскочил, пробежался по комнате, ероша волосы, потом выпил еще стопку и сел дочитывать. Хотя что там читать, все ясно и так. Конечно же, февраль! — еще Сеня Лившиц предложил выпить авансом за приближающийся День Красной армии…

«…Может быть, — скажу еще раз — все это мне примерещилось. Но если нет, тебе следует об этом знать, даже против желания Е. все скрыть. Думаю, что я не очень плохо поступил, нарушив свое обещание, т. к. в конечном счете речь идет не столько о тебе или даже самой Е., сколько о судьбе ребенка. Своим письмом я ставлю перед тобой трудную дилемму, но что же теперь делать. Обдумай все, хорошо взвесь и поступай так, как подскажет совесть и разум.

Ну вот, Сергей Данилович, и все. Относительно моего Димки просьбами и поручениями обременять тебя не стану, о нем, к счастью, есть кому позаботиться. Прощай и постарайся дожить до мира.

Твой друг — П. Игнатьев».

Глава 2

Командир полка, как Дежнев и ожидал, встретил его просьбу в штыки. Сначала вообще не хотел слушать никаких доводов. «Разлакомились, душа с тебя вон! — орал он, наливаясь кровью. — Какие еще к боговой маме могут быть во время войны „личные дела“?! Во время войны офицеру врага положено бить, а не женихаться!» Гвардии капитан стоял навытяжку и преданно ел глазами начальство, дожидаясь, пока оно отбушует.

— Товарищ подполковник, — сказал он, улучив минуту, — одни сутки всего, а? Ну, на дорогу еще двое-трое суток, если с фельдсвязью получится — у редактора дивизионки знакомый в управлении воздушных перевозок, — долететь до Москвы, а там с Ленинградом сообщение вполне уже нормальное, мне говорили, «Стрела» даже ходит…

— Все пять суток и наберутся, а если тем временем приказ выступить на передовую? Ты что, не видишь, что фронт на Будапешт пошел!

— Да не будет нам приказа, товарищ подполковник, мы же месяц из боев не вылезали, пополнение только сейчас начали принимать — куда нас теперь на передок? Да и догоню я

в случае чего, маленький, что ли…

— Выходит, маленький, если ума хватило такой безобразный рапорт подать. Нашел, понимаешь, время! Хватит, и слушать тебя не хочу, вот кончится война — женись хоть на трех сразу, как татарин. А покудова делом надо заниматься, а не котовать!

— Пока война кончится, убить могут, — возразил Дежнев, — я ведь только из этих соображений. Ребенка жалко, товарищ подполковник, в случае чего останется безотцовщиной, так хоть фамилию мою мог бы носить…

— А вот об нем раньше надо было думать! — Прошин снова стал свирепеть. — Раньше, покуда не заделали! Ну, чего молчишь? Думал ты об нем раньше, когда блудил?

— Никак нет, товарищ подполковник!

— То-то, что нет. И ты не думал, и она не думала, мамаша новоиспеченная… У-у-у! — Прошин потряс кулаком. — Недаром я этого бабья в армии на дух не переношу… Знаю, зачем они сюда лезут, блудливые вертихвостки!

— Товарищ подполковник, — выговорил сквозь зубы Дежнев, — рапорт мой вы можете порвать, но оскорблять жену свою я вам запрещаю…

— Что-о-о?! Ты в своем уме, капитан? Как это

ты мне запрещать что-то можешь, а? Хотел бы я увидеть, как ты запретишь своему командиру!

— Ну так увидите! — уже не помня себя, пообещал Дежнев, пальцами подбираясь к кобуре. — Скажите еще слово и увидите!

— Мальчишка! — взревел Прошин. — Ты на кого хвост задираешь? Хочешь, чтобы я автоматчиков сейчас вызвал? Ну, совсем рехнулся — за пистоль уже хватается, гляньте вы на него. Нале-во кру-гом! Уйди с глаз, котяра бешеный!..

Черт, все испортил, все, повторял про себя капитан, сбегая по лестнице. Хорошо, если закатает под арест, а то ведь и хуже может быть… Черт, как не удержался, надо же, сам все испортил!

Одевшись, он нахлобучил фуражку и выскочил на улицу, не застегивая шинели. Было холодно, слякотно, выпавший два дня назад снег давно растаял, на душе было не то что мрачно — беспросветно. Строго говоря, конечно, в чем-то старик прав, можно было бы подождать до конца войны; можно было бы, но он чувствовал, что ему ждать нельзя. Боялся передумать, что ли? Нет, не то, не то… Паша написал «трудная дилемма», а она, в общем-то, не такой уж трудной оказалась — да какая тут вообще «дилемма», есть, что ли, другой выход? Другого выхода нет и быть не может,

он это понял сразу, точно так же не было его и тогда, в июне сорок первого. Когда понимаешь, что надо, выбора нет и быть не может. Какой же выбор сейчас? Ну допустим, сделал бы вид, что не было этого письма, что он ничего не знает, ни о чем не догадывается, — и что же? Дождаться конца войны, разыскать Таню, жениться — и жить-поживать, добра наживать? Зная, что где-то мыкается Елена с его сыном (может оказаться и дочка, но он почему-то уже уверил себя, что сын), — черт, да этого же врагу своему не пожелаешь, не то что себе…

…Можно, конечно, послать ей заверенное полковой печатью заявление в загс — вроде бы кто-то говорил, что есть сейчас и такая форма регистрации брака. Но ведь она, получивши такую бумагу без всяких объяснений, попросту ее порвет, а объяснять — нет, нечего и думать, письма у него никогда не получались, тем более когда дело такое тонкое. Что тут напишешь? Она, ясное дело, боится, чтобы он не подумал, что ребенком этим захотела его поймать; это как дважды два, иначе не скрывала бы. Как напишешь, чтобы поняла правильно? Не выйдет, и думать нечего, здесь надо приехать и поговорить. И то, можно сказать заранее, не сразу еще и согласится. Если согласит-

ся вообще. Да нет, вообще-то, должна, вообще-то, это ведь не только ее личное дело. А ребенок? О ребенке она думает? Его вдруг обожгло: а сам-то он подумал — о Тане? Не о себе, оказавшемся перед таким выбором, а о ней; ведь тут и Танина судьба решается, а не только его собственная, Елены и ребенка. Чем вся эта история обернется для Тани? «У-у, кобель», — простонал он.

Набегавшись по улицам, Дежнев вернулся на квартиру, почти уверенный, что за ним уже пришли. Федюничев сказал, однако, что нет, никто не приходил.

— А кто должен был прийти, товарищ гвардии капитан?

— Из комендатуры, патруль. На губе, похоже, придется мне посидеть… если не хуже!

Федюничев, не выразив удивления, поинтересовался, за что же на губу, а когда узнал, что капитан повздорил с полковым командиром, заметил глубокомысленно, что с начальством ссориться — все равно что против ветра малую нужду справлять.

— Раньше бы подсказал, философ, — огрызнулся Дежнев. — Водки там не осталось? Выдай мне сто грамм, и буду спать, пока не придут…

До вечера за ним так и не пришли, а утром при-

бежал писарек из полковой канцелярии — сказал, чтобы приходил за отпускным свидетельством и проездными документами.

На его счастье, погода была летная по всей Украине. «Дуглас» фельдсвязи, пристроиться на который помогли в редакции, за три часа долетел до Киева, там заправился и около семи вечера пошел на посадку в Москве, на Центральном аэродроме. Контроль был таким придирчивым и долгим, что Дежнев уже начал опасаться, успеет ли выехать сегодня, но ничего, успел — нашлась и попутка, так что уже в десять он был на Каланчевской площади, с достаточным запасом времени, чтобы отстоять еще небольшую очередь у воинских касс Ленинградского вокзала.

За все время пути он ни разу не пытался продумать предстоящий разговор, прекрасно понимая, что такие попытки ни к чему. Это можно делать, если хорошо знаешь будущего собеседника и можешь предвидеть его реакцию, а он Елену не знал или знал недостаточно, совершенно недостаточно для того, чтобы предвидеть — как она отнесется к его появлению и к тому, что он намерен ей сказать. В конце концов, не исключен ведь и такой вариант, что Паша ошибся с самого начала и он действительно здесь ни при чем. Но

тогда выходит что же — что она была тогда не только с ним? Да ну, этого быть не может, как ему только в голову могло такое прийти…

В Ленинграде была уже зима, самая настоящая, со снегом, привокзальная площадь — после московской затолпленной и галдящей Каланчевки — удивила тишиной, малолюдством, каким-то почти нерусским порядком. Он спросил, как проехать на Васильевский остров, сказали, что можно трамваем, четвертым номером; старичок оказался словоохотливый, припомнил по этому поводу частушку времен военного коммунизма: «Шел трамвай четвертый номер, на площадке кто-то помер, тянут, тянут мертвеца, ламца-дрица, лам-цаца» — и пояснил, что маршрут этот связывает два кладбища, Волково и Смоленское, отсюда и упоминание о мертвеце…

Трамвая долго не было, и Дежнев, промаявшись на остановке, подцепил попутную полуторку, сговорившись с водительницей за банку «второго фронта». Потом только подумал, что, наверное, не стоило этого делать, лучше было бы оставить лишние калории Елене — тыл (он это успел заметить) живет голодно, а ей надо сейчас усиленно питаться. Да, не сообразил, упрекнул он себя, живешь еще прежними холостяцкими пред-

ставлениями, а пора перестраиваться, думать о семье…

…Медленно, держась за перила, поднимался он по широкой, богатой когда-то, а теперь донельзя обшарпанной и замызганной лестнице, пропахшей котами и вареной капустой, решетка перил была узорная, словно сплетенная из длинных водорослей или кувшинок, но деревянный поручень поверху отсутствовал, а железная планка, к которой он крепился, местами была погнута и носила следы ударов топора — в блокаду, наверное, выламывали… Он вспомнил вдруг, как — года еще не прошло! — поднимался по другой лестнице, в энском Доме комсостава; и это воспоминание заставило его остановиться на площадке между этажами, охваченного внезапным смятением — что же он делает? Продумал ли все, взвесил, как советовал Паша, понял ли до конца, что делает? Вот сейчас он поднимется еще на один марш, отсчитает еще пятнадцать ступенек, и ходу назад не будет; а потом найдется Таня (он был теперь уверен, знал совершенно точно, что найдется), и они встретятся, и она скажет: как же ты мог, я так тебе верила? — или даже не скажет ничего, а просто посмотрит — и как тогда жить дальше? А вот так и жить, сказал он себе,

вдруг озлившись, так и жить — как велит судьба, а не как хотелось бы! Мало ли чего кому хочется, думал он, глядя во двор сквозь сто лет немытые цветные стекла огромного, от потолка до полу, закругленного наверху окна, слишком легко было бы жить, получайся все по нашему хотению; да и была ли бы это жизнь? Наверное, нет, не жизнь была бы — человеческая жизнь, — а какое-то птичье беззаботное существование: порхай, где хочешь, склевывай, что увидишь, и никаких тебе проблем… Действительно, какая тогда была бы разница — человек, птица, собака?

Дежнев еще раз глянул на витраж — тоже ведь, наверное, о совсем другой жизни думали те, кто строил этот дом, этакую представляли себе разлюли малину, ишь финтифлюшек навертели, — и, поправив на плече лямку вещмешка, двинулся дальше. На третьем этаже он сразу увидел дверь с литой медной табличкой «№ 8» и, уже не помедлив, позвонил. Открыли не сразу, вышла, опираясь на палку, немолодая полная женщина, глянула на него вопросительно.

— Я извиняюсь. — Дежнев приложил пальцы к козырьку, — Сорокина Елена не здесь проживает?

— Здесь, где же ей еще проживать, — отозва-

лась женщина, продолжая разглядывать его с повышенным уже интересом.

— А… дома она сейчас? Или, может, позже зайти? — добавил он поспешно, подумав, что мало ли чем она сейчас может быть занята — кормит там или купает, а он приперся.

— Да, Леночка дома, я сейчас ей скажу. — Женщина посторонилась, пропуская его в квартиру.

Он вошел, снял фуражку, сбросил с плеча вещмешок.

— Раздевайтесь, шинель вот сюда можно… и проходите пока на кухню, сейчас она выйдет…

Дежнев, ступая почему-то осторожно, словно разбудить кого-то боялся, вошел в кухню. Над плитой висели на веревке пеленки, он ухмыльнулся, глядя на них, и почувствовал себя увереннее: в этих тряпочках была какая-то самоутверждающаяся реальность, зримое и осязаемое доказательство правоты принятого им решения. Он даже протянул было руку — потрогать, убедиться, — но в коридоре послышались быстрые шаги, Дежнев обернулся и увидел Елену.

Она так изменилась, что он почти не узнал ее в первый миг — вместо привычной гимнастерки на ней было темное бумазейное платьице какого-то детдомовского вида, оно и уродовало ее, и

в то же время молодило, делало непохожей на взрослую женщину, мать и вдову. Она сильно похудела, он сейчас впервые обратил внимание, какие у нее большие глаза, и глаза эти смотрели на него с каким-то недоверчивым недоумением, почти испугом.

— Здравствуйте, Сережа, — сказала она негромко. — Какими судьбами? Вы что — после ранения?

— Типун тебе на язык! Привет, Лен. А чего это ты на «вы» вдруг со мной, а? Вернулась в свой Питер и сразу стала гранд-дамой, ты бы еще реверанс сделала, сержант Сорокина! Ну, ты вообще учудила — затаилась, в подполье ушла, я такие новости должен от других узнавать…

— От кого? — спросила она настороженно.

— Слухом земля полнится…

Он говорил что-то не то и сам понимал это, но не находил других, нужных и правильных в этой ситуации слов. Он не продумал заранее этого разговора — несколько раз пытался еще в пути, но ничего не получалось, и тогда вообще перестал пытаться, положившись на авось: ладно, начнем говорить, а там само получится… Но «само» не получалось, слов не было, и не было их потому, что не было четких мыслей, которые

следовало высказать этими словами. Не было ни четких мыслей, ни определенного чувства, кроме одного ощущения: иначе он поступить не может и не должен. Именно потому не может, что не должен.

— Ну как, входишь в роль мамаши? — спросил он и снова запоздало сообразил, что вопрос глупый, его можно было бы задать женщине, которая только что обзавелась первым ребенком; окончательно смешавшись, он пальцем указал на висящие пеленки: — Твои?

— Мои, чьи же еще.

— Показала бы, раз уж не удалось в тайне сохранить!

— Покажу, конечно, только он спит сейчас.

— Он, ты сказала? Пацан, что ли?

Она кивнула, слабо улыбнувшись.

— Совсем здорово! — воскликнул он, действительно испытав вдруг неожиданную радость от того, что у него есть сын. — Нет, я не в том смысле, что девчонки хуже, но сама понимаешь — это все-таки по-другому как-то… для отца, я хочу сказать.

— Наверное, — согласилась Елена.

— А ты сама кого больше хотела?

— Мальчика.

— Видишь, значит, и для матери тоже!

— Нет, дело не в этом…

— Ну пойдем, все-таки посмотрю на него. Да не разбудим, не бойся! Идем, идем…

Она, секунду поколебавшись, пошла к двери и поманила его за собой.

— Только не топай, хорошо? А то он в это время не очень крепко спит…

— Я тихонько. Как назвала-то?

— Богданом…

— Ну-у! — Дежнев удивился. — В честь Хмельницкого, что ли? А, ничего, я его Борькой звать буду!

Богдан, он же Борька, спал на большой кровати в гнезде, устроенном из книг и скатанного валиком одеяла, лицо его удивило капитана Дежнева размерами — не больше кулака — и хмурым выражением, словно младенец был уже чем-то озабочен или недоволен. Сначала он показался ему некрасивым, но потом капитан нашел, что сын не так плох. Особенно когда разглядел крошечную родинку возле угла брюзгливо поджатого ротика; оглянувшись, он подошел к зеркальному шифоньеру и поглядел на себя, выставив подбородок и скривив губы, как делал, когда брился.

— Точно! — объявил он очень довольным то-

ном. — Такая же точно и на том самом месте — только у меня справа, а у него слева. Во наследственность!

— У тебя тоже слева, — сказала Елена.

— Ну как же. — Он поднял руку, чтобы удостовериться, и рассмеялся. — Ну ясно — зеркало же, а я и не сообразил!

— Тише, разбудишь…

— Да, да, — он понизил голос до шепота: — А потрогать его можно?

— Потом, потом. Идем пока…

Они вышли, Елена осторожно прикрыла дверь и без улыбки глянула на Дежнева.

— Но ты как все-таки сюда вырвался? Командировка какая-нибудь? Надолго?

— Завтрашний день смогу пробыть — хорошо еще, с транспортом повезло, ни одной задержки, а то пришлось бы сегодня и уезжать. Отпуск мне дали, хочешь верь, хочешь не верь. Целых пять суток! Сначала, конечно, Носорог наш ни в какую, мы даже слегка с ним поцапались, а потом ничего — сменил гнев на милость. В общем-то, он хороший мужик. Тут, главное, еще и сложилось удачно — мы ведь сейчас на отдыхе, в армейских тылах околачиваемся, а иначе, понятно, и заикнуться было бы нельзя. С передка

кого же отпустят! Но вообще это расскажи — не поверят, чтобы офицеру могли дать отпуск по такой причине…

— По какой?

— Я думал, ты и сама поняла! Я ведь расписаться с тобой приехал.

— Расписаться — со мной? — ошеломленно спросила Елена.

— Ну а с кем же еще?

— Ничего не понимаю. Как тебе это вообще в голову могло прийти?

— Да очень просто, тут и понимать нечего! По-моему, этот товарищ, — Дежнев кивнул на дверь, — все уже за нас решил. Разве не так?

— Кроме него, есть еще и я! Наверное, все-таки сначала надо было меня спросить…

— Когда? Я узнал-то обо всем этом неделю назад! И как было спросить, если ты адреса не оставила? Ну хорошо, спрашиваю сейчас. Или — так, наверное, будет правильнее — предлагаю тебе руку и сердце!

— Спасибо, Сережа, — тихо сказала Елена, — но не надо об этом. Я ведь вообще не хотела, чтобы ты знал про Данечку… Хотя, наверное, была не права, и раз уж так получилось, то оно и к лучшему. Если со мной что случится, обещай мне не

оставить его; вот об этом я тебя прошу. А насчет брака — не надо, несерьезно это, ты же и сам должен понимать…

— Да почему несерьезно? Несерьезно бывает, если встретились, приглянулись друг другу — и давай в загс. Вот это действительно может оказаться несерьезно… хотя и тут бывает по-разному. А уж нас с тобой такое связало, что серьезнее не бывает.

— Нас с тобой, Сережа, связал случай.

— Допустим, — согласился он. — Назови так, если хочешь. Только ведь от «случаев» этих вся наша жизнь зависит, кто же на фронте этого не знает? Вон, Паша Игнатьев если бы не оказался случайно на улице, когда этот псих…

Он осекся, вспомнив вдруг, что решил не говорить ей пока о гибели Игнатьева; но было уже поздно — Елена, услышав фамилию, быстро оглянулась.

— А что такое? — спросила она встревоженно. — Игнатьев? С ним что-нибудь…

— Да убили его. Не хотел тебе сегодня говорить, хотя что уж там…

Елена вся как-то сжалась, опустила лицо в ладони.

— Господи, — проговорила она глухо, — еще

и он… Как будто последнюю ниточку оборвало… Когда это случилось?

— Неделю назад. Он легко умер, сразу.

Она долго молчала, потом спросила, не поднимая головы:

— Это ты от него узнал… про меня?

— Да. Он… письмо оставил с твоим адресом. В штабе оставил на мое имя, на случай, если убьют.

— Господи, бедный Димка — только нашелся, и уже сирота…

— Там вроде есть кто-то?

— Да, родственницы есть, но тетка ведь отца не заменит…

— Правильно, — сказал Дежнев. — Сама понимаешь, что без отца мальчишке расти не годится.

Елена сидела оглушенная всем свалившимся на нее так внезапно — и это странное сватовство, и известие о гибели Павла Дмитриевича, все сразу, обвалом… Собственно, кто он ей был? — просто хороший знакомый, давний Мишин приятель, — но почему-то смерть его действительно восприняла сейчас ею как окончательный разрыв всех — призрачных хотя бы — связей с прошлым. Не стало последнего человека из тех, кто бывал в

этом доме, когда все были еще живы, кто помнил их довоенную жизнь, с кем у нее было столько общих воспоминаний… Не стало человека, на чью поддержку она могла бы рассчитывать после войны. Об этом она тоже подумала, не могла не подумать. Просто потому, что, когда Мишу убили, Игнатьев сам ей написал — что всегда, что бы ни случилось, она может рассчитывать на него, пока он жив…

И еще ей подумалось, что после войны, возможно, Павел Дмитриевич сделал бы ей предложение. Она нравилась ему, безошибочным женским чутьем чувствовала, что нравится; хотя сам он ни разу, ни одним намеком этого не показал, и брак его (Надя Игнатьева умерла в ту же зиму сорок второго) казался вполне благополучным, — все же чутье не обманывало, в этом она была уверена. Она была почти уверена и в том, что к появлению Данечки он отнесся с пониманием; но даже если бы и осудил ее за второго ребенка и отказался от мысли о женитьбе — все равно остался бы другом, в этом Елена не сомневалась. Думая о том, как жить дальше, как растить ребенка после войны, она нередко ловила себя на успокоительной мысли, что, если окажется очень уж невмоготу, всегда где-то неподалеку будет

Павел Дмитриевич Игнатьев…

И теперь — вдруг, обвалом на голову — вот этот, совсем другой вариант. Она, прикусив губы, вскользь глянула на Дежнева, тот сидел, согнувшись, опираясь локтями на колени, хмуро разглядывал носок сапога. Тоже, наверное, хороший, честный человек. Человек долга. О, это уж точно! Узнал о своем отцовстве и тут же является с предложением руки и сердца. Впрочем, о сердце мог бы не упоминать, это уж вырвалось привычным расхожим (и книжным к тому же) штампом, просто балагурством прозвучало. Этим-то он себя и выдал — когда всерьез, когда действительно сердце предлагают, то не балагурят. Хотя что значит «выдал»? Он и не пытался ей лгать, не стал кривить душой, подыскивать другие, вымученные под правдоподобие слова. Сказал ясно и четко: без отца мальчишке не годится, в этом все дело. Ни в чем другом.

Осознав вдруг, что уже, в сущности, рассматривает полученное предложение вполне всерьез, и рассматривает лишь в свете практической для себя пользы на будущее — потому что никак иначе рассматривать его нельзя, — Елена испытала острое чувство стыда, какого-то жалкого, унизительного. Как можно «всерьез», ведь не любит

же она этого человека! Не любит и никогда не любила, относится с симпатией, с доверием — это несомненно, он ей не неприятен, иначе бы не случилось того, что случилось. Но чтобы выйти замуж? Безумие, безумие, с какой стороны ни посмотри… Кроме одной: речь-то ведь идет об отце твоего ребенка. О Данечкином отце. Да девять женщин из десяти сказали бы: дура, ну чего тут раздумывать? Но как же не раздумывать, если он-то ведь тоже не любит, а делает это из чувства долга — не перед ней даже, а перед ребенком. Она в данном случае просто привесок, будь это возможно, он ограничился бы усыновлением, но ведь не оторвешь ребенка от матери…

Предложение попросту унизительное, она это понимает. Как понимает и то, что принять его ей придется. Не ради себя — ради Данечки. Какой, однако, страшный закон тут действует: один раз ошибешься, преступишь — и зло идет кругами, все расширяясь и расширяясь. Круг за кругом. Погубила Мишеньку, погубила стариков, теперь сломает жизнь еще двоим… Наверное, сломает. Если та девушка — как ее, Таня? — если она жива, если уцелеет и вернется после войны… Да ведь и Сергей ее любит, она это поняла в тот вечер в Энске. Любит, хотя и поверил отчасти тому, что

о ней услышал.

Поверил, не мог не поверить — она ведь оставалась с немцами, разве этого не достаточно? На каждом политзанятии вдалбливают: не доверять побывавшим в оккупации, все они или уже предали, или готовы предать в любой момент (сама наслушалась призывов к «большевистской бдительности», когда работала в дивизионной газете). Он, наверное, потому и остался с нею в ту ночь, чтобы заглушить главное, чтобы не думать; ему просто не справиться было с этим подсознательным конфликтом — между любовью и недоверием, готовностью допустить, что любимая в чем-то виновна. Поэтому теперь и женится на нелюбимой, на случайной.

А она — случайная, ненужная и сознающая свою ненужность, она не может отказаться, потому что дело не в ней, не в ее женском самолюбии (какое уж там самолюбие), а дело в Данечке, которого она действительно не имеет права оставить без отца…

Дежнев тем временем продолжал ругать себя за то, что не сумел правильно повести разговор, все сказал не так. Теперь она, наверное, прогонит его и будет права. Чтобы не сидел тут и не молчал, женишок. Но что, что он мог сказать — «Лена, я

тебя люблю, давай поженимся, не могу без тебя»? Нет, что угодно, только не врать. Он ее не любил. Жалел — да; тогда пожалел, да и сейчас сердце сжималось от жалости, когда он смотрел на нее, такую неухоженную и усталую на вид, в этом приютском платье, когда представлял себе ее трудную одинокую жизнь. Хотя, конечно, если рассудить беспристрастно, сегодня жалость эта отчасти и надуманна. Все-таки она с мальчонкой, значит не так уж одинока, находится в тылу живая и здоровая, руки-ноги на месте, а что до трудностей — так кому теперь легко?

Но судить совсем беспристрастно он тоже не мог, это ведь мать его сына! Вроде бы уже что-то свое, родное. Поэтому и приехал — закрепить, узаконить это родство, а иначе зачем бы? Только вот ей, похоже, не очень-то это надо, другая бы обрадовалась… но Елена не «другая», и это хорошо, что она не такая, как прочие. Об этом он тоже думал с того момента, как узнал, и это помогло его решению. Но что его решение? Теперь решать надо было ей.

Он поймал себя на мысли, что — если честно — все же надеется на отказ. Все может еще устроиться; вдруг она скажет, что у нее кто-то есть и этот «кто-то» готов взять ее с ребенком, — все

останется по-старому, можно будет опять думать о Тане. Он ведь запретил себе думать о ней в тот день, когда прочитал Пашино письмо, думать и вспоминать о ней стало нельзя, иначе он просто не смог бы ничего решить…

Ну ладно, теперь уже от него ничего не зависит. Если ему сейчас скажут «нет», можно будет опять думать о Тане. Но тогда нельзя будет вспоминать о Борьке: ну как он там сейчас, как растет, не болеет ли, как учится, хорошо ли ему с тем, кого он зовет батей, и не найдется ли потом какая-нибудь стерва-соседка (они обычно находятся), которая сообщит ему, что папка-то, дескать, у тебя совсем не тот… Да, умеет судьба подшутить, ничего не скажешь…

— Ну, что же ты молчишь? — спросил он охрипшим голосом. — А, Лен? Понимаешь ведь, что иначе нам нельзя…

— Не знаю, Сережа, — отозвалась она не сразу. — У меня нет уверенности, что это лучший выход.

— А в чем можно быть уверенным во время войны? Будешь ли завтра жив, и то неизвестно. Я ведь еще и из этих соображений… В случае чего, Борька ведь даже без фамилии отцовской окажется. Я уж не говорю про пенсию, о таких

вещах тоже приходится думать.

— Не надо сейчас «о таких вещах», — умоляюще сказала Елена, — ни думать не надо, ни говорить, ты не представляешь, какой я последнее время стала суеверной…

— Все мы теперь суеверные. В одной роте, не поверишь, у комсорга в медальоне псалом какой-то нашли — меленько так от руки переписан, еле удалось замять дело… А говорить и думать приходится, — повторил он, — и тебе в первую очередь, если ты мать. Дело-то в нем, понимаешь, не в нас с тобой…

Елена горько усмехнулась. Если ты мать! Риторический оборот речи, употребленный им сейчас без всякой задней мысли, прозвучал для нее безжалостным напоминанием. Вот именно — «если». В первый раз она матерью стать не сумела, провалилась страшно и преступно, пожертвовав ребенком в угоду своему личному, не материнскому — женскому… Теперь-то — умом — понимает: если ты мать, откажись от всего своего, эгоистичного, забудь, что у тебя в жизни вообще может быть что-то иное, кроме интересов ребенка. Умом — да; а сердцем?

В сущности, он прав, конечно. Дело не в нас, не в наших чувствах. Что чувства! Однажды она

им уже поддалась, закрыла глаза на все — лишь бы поступить по зову сердца. И ведь без тени позерства, чего не было, того не было, была лишь святая убежденность в том, что теперь ее место только там, на фронте, не важно в качестве кого. Как будто Мише это могло чем-то помочь!

Так какое у нее теперь право раздумывать, колебаться… Данечке, конечно же, нужен отец — или хотя бы память об отце, если война не пощадит и его. Нужен, чего же тут не понять. Если бы еще можно было и почувствовать!

Глава 3

Клеве американцы разбомбили в середине октября. Был теплый осенний день с неярким солнцем, Болховитинов только что разметил два очередных орудийных окопа у гребня невысокого травянистого холма, и его рабочая команда взялась за лопаты. Команда состояла из полусотни пригнанных на оборонные работы «хайотов», которых Ридель называл «койоты», и называл метко — юные гитлеровцы и впрямь смахивали на шакалов, были такие же тощие и проворные, к тому же грызлись между собой постоянно, по любому поводу. Но работали споро, в этом смысле

с ними было легко.

На большом крестьянском поле у подножия холма — как раз в секторе обстрела сооружаемой здесь противотанковой позиции — шла уборка картофеля. Запряженный битюгами копатель медленно двигался вдоль рядков, фонтанчиком выбрасывая сзади землю и клубни, за ним брели согнувшись люди с корзинами, время от времени относя наполненные к высокой двухколесной фуре. Картина была на редкость мирной, напоминала старый фламандский пейзаж — что-то в духе «мужицкого» Брейгеля.

«Койоты» вдруг загалдели, Болховитинов обернулся, ожидая увидеть опять драку — дрались не далее как вчера, после того как тюрингенцы долго изводили местных, называя их голландскими недоделками, которые и говорят-то не по-немецки, а на обезьяньем наречии, словно унтерменши. Разнимать он их не стал, а просто дождался, пока какому-то «югендфюреру» раскровенили нос, а двух других бросили в канаву с жидкой грязью, после чего скомандовал построение и объявил, что, если они, пораженческое отродье, еще раз позволят себе что-либо подобное — вместо того чтобы честно выполнять порученное им дело, оборудуя позиции для доблестного

вермахта, — то они еще увидят. Что именно могут они увидеть, он уточнять не стал, поскольку не знал сам; но угроза подействовала, тюрингенские присмирели. Сейчас они не дрались, а столпились в кучу, показывая на что-то и глядя в одну сторону. Посмотрев туда же, Болховитинов увидел на горизонте плоскую тучу дыма и выше — неторопливо проплывающий справа налево рой едва различимых отсюда самолетиков. Только потом он сообразил, что именно там, за низким лесистым пригорком, расположен Клеве.

Туча вспухала и расплывалась на глазах, а рой все кружился и кружился — самолеты заходили с северо-запада и, описав широкую петлю над целью, уходили на юго-запад. В грязном дыму время от времени коротко просвечивали тускло-красные зарницы, но вообще огня не было видно, и лишь иногда доносилось глухое ворчанье, как отдаленные раскаты грома. Ветер дул с востока, поэтому бомбежка на таком расстоянии выглядела бесшумной.

Услышав что-то вроде сдавленного вскрика, Болховитинов оглянулся — стоявший с краю парнишка прижимал ко рту кулаки. «Разнюнился, — пренебрежительно объяснил другой, — мутти у него там, подумаешь! У меня вон отец в Польше

погиб, а два брата — в России, и то я сопли не распускаю…» Болховитинов, поколебавшись, подошел, положил руку на худое мальчишеское плечо, вздрагивающее под выцветшей форменной рубахой с погончиком.

— Ладно, малыш, — сказал он. — Будь мужчиной, ничего ведь еще не известно! Налет дневной, наверняка успели дать предупредительное оповещение. Давайте продолжайте работать…

Бомбежка продолжалась минут двадцать, хотя и пяти хватило бы, чтобы не оставить там камня на камне — с таким количеством самолетов. Через два часа туча на горизонте стояла уже в полнеба. К концу рабочего дня приехал на велосипеде Ридель — из Эммериха, куда недавно перебазировалась местная служба ОТ.

— Клеве больше нет, — объявил он. — Не понимаю, что им — бомбы некуда девать? Городишко, в котором вообще не было ни одной фабрики, только госпитали. По ту сторону, похоже, сидят в штабах такие же психопаты, вспомни, что я тебе говорил. Да, бедная вдова, недолго ей довелось наслаждаться свободой…

— Какая еще вдова?

— Ну какая, та самая! Вдова доблестно павшего партайгеноссе. Я все ее утешал. Соединяя, так

сказать, приятное с полезным.

— Что, много жертв?

— А как ты думаешь? Хорошо еще, кое-кто успел уже уехать — после Арнема многие думали, что томми не сегодня завтра ударят прямо сюда. Явно переоценивали боевой пыл британцев.

— Какие указания нам?

— Продолжайте пока здесь, потом видно будет. Возможно, привлекут позже для расчистки, но сейчас там запретная зона — воинская часть занимается спасательными работами. Говорят, много неразорвавшихся бомб — не исключено, что замедленного действия. Не гнать же туда мальчишек!

Их погнали туда через неделю — расчищать подъездные пути, помогать выносить из полуразрушенных домов уцелевшее имущество. Клеве бомбили неприцельно, по площади, поэтому городок превратился в груды щебня — весь и полностью, кроме некоторых окраинных кварталов; там-то и работали, а в самом центре делать было уже нечего, к тому же он стал попросту недоступен без помощи специальной техники. Многие жившие в относительно уцелевших кварталах имели родственников среди окрестных бауэров и теперь переселялись в крестьянские усадьбы

со всем спасенным добром. Те, у кого такой возможности не было, уезжали вглубь Германии налегке, взяв лишь чемоданы с самым необходимым; «койоты» помогали и этим, на велосипедах и ручных тележках перевозя их вещи на временную железнодорожную станцию, оборудованную в трех километрах от бывшего города.

Расчистка продолжалась еще и в ноябре, когда окончательно установилось осеннее ненастье, потом трудмобилизованных снова перебросили на оборонные работы — под проливными дождями они рыли окопы для противотанковых пушек, индивидуальные ячейки-укрытия; вдоль дорог сооружались заглубленные в землю крытые капониры, куда могла бы съехать застигнутая налетом машина. Школьников распустили наконец по домам, их место заняли армейские саперы, а тодтовцев отправили валить лес во главе рабочей команды из интернированных (или уже пленных — никто толком не разбирался в их статусе) итальянцев. В декабре ударила зима — самая настоящая, снежная, с необычными для здешних мест десятиградусными морозами. Итальянцы, и ранее не отличавшиеся бравым видом, окончательно деградировали и впали в ничтожество — в оборванных темно-зеленых шинельках,

по-бабьи укрученные поверх пилоток грязными полотенцами, с обмотанными бумажной рогожей ногами, обвешанные какими-то сумками, торбами и сделанными из консервных банок котелками, они походили теперь на последних обозников Великой армии где-нибудь между Березиной и Вильной.

Свалив очередную сосну, итальянцы обрубали сучья и разводили костер, а отогревшись, начинали петь. В их способности быстро переходить от шумного отчаяния к веселью было что-то детское. Ридель подсаживался к ним — давняя служба в Иностранном легионе одарила его знанием того международного средиземноморского жаргона, который одинаково понятен и в Марселе, и в Неаполе, и где-нибудь в Боке Которской, и начинал с жаром ораторствовать. Рассказы его, судя по жестам, носили характер преимущественно эротический и пользовались у слушателей большим успехом. Болховитинов, по незнанию языка лишенный возможности такого общения, расхаживал по участку вырубки, посматривая, чтобы не нагрянуло проверяющее начальство, и думал о своих невеселых делах.

А дела действительно были невеселые. Он почти каждый день звонил в Калькар, но у Анны

никаких сведений не было, голландка больше не появлялась — да и откуда ей было появиться? Фронт, такой неопределенный в сентябре, за это время стабилизировался, оброс заграждениями, проникнуть на ту сторону было теперь практически невозможно. Как он ругал себя, что отправил Таню одну, не ушел вместе с ней! Хотя, конечно, идти было опасно; девушкам легче миновать контрольные посты, а за мужчинами охотились, и если бы задержали его, то заодно с ним попалась бы и она, это несомненно. Так что, пожалуй, они тогда все-таки решили правильно. Но что делать теперь?

Бездействие англичан на северном участке представлялось совершенно необъяснимым — американцы южнее хоть вели какие-то бои в Хюртгенском лесу под Ахеном, а здесь вообще царила тишина. Насколько можно было видеть, Клевский выступ не являлся неприступной позицией, немецких войск было здесь немного и не самого высокого качества. Лишь в середине декабря в округе появились вооруженные новыми штурмовыми винтовками и свирепые на вид парашютисты СС, но побыли недолго и вскоре опять исчезли. Единственное, что, по мнению Болховитинова, было хорошо в этом неестественном

затишье, это что прифронтовая полоса с другой стороны тоже была спокойна и, следовательно, Таня (если ей удалось там остаться) не подвергалась особой опасности.

Что ей могло грозить, стало известно перед Рождеством, когда берлинское радио под давно уже не раздававшееся пение победных фанфар известило о начале «решающего наступления» на люксембургском участке. В первый же день танковые дивизии СС проломили американскую оборону и сквозь заснеженные Арденны лавиной пошли на Льеж и Намюр. Разглядывая карту, Болховитинов думал, что ведь это могло произойти и здесь — отсюда, через плоскую равнину Северного Брабанта, было бы, пожалуй, проще осуществить прорыв к устью Шельды, явной цели наступления. В этом случае Таня оказалась бы в самом пекле.

Из последней попытки немцев перехватить боевую инициативу ничего, впрочем, не получилось. На первых порах дело шло успешно, в американских тылах началась паника, были брошены и попали в руки наступающих огромные склады боеприпасов и, главное, бензина, сразу давшего свободу маневрирования моторизованным частям вермахта, давно испытывающим

острейшую нехватку горючего. Союзники к тому же не могли из-за нелетной погоды воспользоваться главным своим козырем: более чем двадцатикратным превосходством в воздухе.

Перелом наступил 23 декабря, когда впервые за последние десять дней на безоблачном небе засверкало солнце. Все наличные силы тактической авиации, более трех тысяч истребителей и легких бомбардировщиков, были брошены на штурмовку немецких колонн, уже достигших Бастони и окруживших там 101-ю воздушно-десантную дивизию США; парализующим ударом с воздуха стали подвергаться и все линии коммуникаций вплоть до глубокого тыла. С этого дня операция «Стража на Рейне» была обречена — немецкое продвижение прекратилось, блокировавшие Бастонь силы сами оказались в окружении и в начале января вынуждены были сложить оружие.

В тот самый день, когда стало известно о капитуляции остатков ударной группировки Рундштедта, Ридель пришел с новостью: кому-то надо возвращаться в Дрезден.

— Боюсь показаться свиньей и эгоистом, — сказал он, — но все-таки, наверное, ехать лучше мне.

— При чем тут свинство и эгоизм, — возразил Болховитинов, — мне уезжать отсюда нельзя, и ты знаешь почему.

— Именно об этом я и подумал. Хотя, конечно, оставлять тебя здесь в канун большого наступления союзников… Дрезден сейчас, похоже, единственное безопасное место во всей Германии, и я невольно испытываю не свойственные мне вообще колебания нравственного порядка.

— Пусть твоя совесть будет спокойна, русские дойдут до Дрездена раньше, чем англичане до Калькара. Я вообще не верю, что они когда-нибудь начнут наступать.

— Увидишь, начнут, и начнут именно из-за русских, — сказал Ридель. — Все очень просто: скоро придет время делить пирог, который называется «Германия»; пирог, правда, с душком и довольно червивый, но уж какой есть. И тут-то союзники постараются не отстать, можешь быть уверен! Сейчас даже французы закопошились, наверное, хотят отгрызть кусочек и себе…

— Ты еще скажи, что они не имеют на это права. — Болховитинов почувствовал себя уязвленным. — Насколько помнится, это пруссаки отгрызли у них Эльзас и Лотарингию!

— Не знаю, не люблю лягушатников, — при-

знался Ридель. — Капралы в Легионе у нас были такие, что им на петлицы только свастики и не хватало. Ну ладно, ближе к делу — наших берсальеров куда-то увозят, поэтому надо срочно найти какое-то занятие, которое бы тебя легализовало здесь на ближайшее время, но не слишком на виду. Мало ли кому что в башку взбредет! Словом, я что-нибудь придумаю…

Когда Ридель обещал «что-нибудь придумать», он обычно придумывал. Так было и на этот раз. Болховитинов получил предписание возглавить некую ремонтно-восстановительную команду, и вместе с должностью принял ответственность за исправное состояние шоссейных дорог и мостов в западной части административного округа Клеве.

Сначала Болховитинов решил, что речь идет о синекуре, поскольку дороги в округе были хорошие, асфальтированные и обсаженные старыми ивами, а мосты представляли собой обычные бетонные мостики — там через узкий канал, там через ручей; поддерживать все это в исправном состоянии не требовало, казалось бы, вообще никаких усилий — разве что время от времени освежать белую предупреждающую окраску на стволах придорожных ив.

Оказалось, не совсем так. После Арденнского сражения штурмовая авиация союзников начала свирепствовать во всей прифронтовой полосе. «Мустанги» осами крутились в воздухе с раннего утра до заката, действуя в режиме свободной охоты: стоило показаться на шоссе грузовой или даже легковой машине, как тут же охотник ястребом кидался вниз, расстреливал добычу из пулеметов и для верности сбрасывал серию легких бомбочек. Воронки от них получались мелкие, диаметром с метр, но поскольку бомбы ложились прямо вдоль шоссе, то дорожное полотно оказывалось изуродованным на большом протяжении; тут-то и полагалось оперативно действовать ремонтно-восстановительной команде.

«Мустангов» было много, а команда — одна, и состояла она из шести стариков на велосипедах и запряженной гнедым мерином фуры со щебнем. Болховитинов, в своей черно-коричневой форме тодтовца, ехал обычно на фуре рядом с ездовым — велосипеда у него не было, да и удобнее было сверху наблюдать за воздухом. До сих пор гужевой транспорт не трогали, но опасность все же была: последнее время вермахт стал практиковать временные реквизиции — забирали какого-нибудь крестьянина прямо с поля, загру-

жали телегу снарядами, притрушивали сверху сеном и заставляли ехать куда прикажут. А если разведка союзников пронюхает о таком способе военных перевозок? Неудивительно, что всякий низко летящий самолет вызывал опасения.

Работа сама по себе была легкой. Обнаружив поврежденный участок, старики доставали с фуры совковые лопаты и трамбовки, не спеша забивали щебнем каждую воронку и, перекурив, трогались дальше. Болховитинов обратил внимание, что раньше у немцев вообще не было в обычае устраивать перекуры. А теперь они то ли у остарбайтеров научились, то ли наконец поняли, что тут уж работай не работай, толку все равно не будет. Возня с засыпкой воронок, к примеру, была делом совершенно безнадежным — все равно что чайной ложкой вычерпывать воду из продырявленной лодки.

Болховитинов чувствовал, что начинает дуреть от бесцельной работы, от бессмысленной отчетности, требующей ежедневных рапортов с идиотически подробным указанием местонахождения засыпанных воронок, количества затраченного труда в человеко-часах, количества использованного материала (щебня) в кубометрах, и самое главное — от бесплодного ожидания,

когда же наконец начнет что-то происходить на этом участке фронта. На востоке оборона рейха трещала по всем швам, русские всей мощью ломили к Одеру, выходя уже прямо на Берлинское направление. А здесь американцы после затяжных боев овладели развалинами Ахена, подошли к Юлиху и Дюрену, еще южнее 1-я французская армия, отразив новогоднее контрнаступление Бласковица в Эльзасе, собирала силы для удара на Мюлуз, Кольмар, Страсбург. Англичане же сидели на достигнутых еще в сентябре рубежах, не проявляя признаков жизни.

В один из последних дней января, поздно вечером, к Болховитинову пришел незнакомый парень и с голландским акцентом объявил, что его зовут Яан и что он от Виллема.

— От Виллема? — переспросил Болховитинов, сразу насторожившись. Доверия парень почему-то не внушал.

— Виллем, да. Он сказал, что хорошо вас знает.

— Может быть, но я не помню человека с таким именем.

— Он сказал, вы тоже его знаете. Должны помнить, он сказал, однажды помогли ему добраться до Вагенингена.

— Ах тот! — Болховитинов, была не была, ре-

шил довериться. — Парень с противотанкового рва? Да, был такой, очень спешил уехать. Не могу сказать, что я его знаю — откуда было узнать, мы разговаривали всего два раза, но случай тот помню. Он тогда благополучно скрылся?

— О да, все благополучно.

— А… что с девушкой? Вы ведь с той стороны?

— Никакой девушки я не знаю, — сказал Яан, не отвечая на второй вопрос. — Виллем говорит, что вам можно доверять. Это так?

— Ну… надеюсь! Хотел бы, во всяком случае, чтобы доверяли.

— Хорошо. Вы здесь занимаетесь дорогами?

— Латаю дырки, да. Медленнее, чем их делают.

Парень достал из-за пазухи и развернул на столе потрепанный лист крупномасштабной карты, изданной (как можно было понять из надпечатки в углу) картографическим управлением Нидерландской королевской армии.

— Посмотрите сюда, — сказал он. — Через неделю… карандаш есть? Спасибо. Через неделю в этих вот местах — смотрите… здесь… здесь… и здесь, видите? — дороги должны стать непроезжими.

— Каким образом?

— Здесь мосты, смотрите.

— Какие мосты? Обычные мостики через канавы!

— Не совсем канавы — четыре-пять метров ширины, глубина до полутора. Если мосты уничтожить…

— Можно объехать стороной.

— Объехать сможет только гусеничная машина, но не колесная. Здесь все будет затоплено.

— Затоплено?

— Да, это нетрудно сделать — шлюзы. А по затопленному грунту не пройдет даже гусеничный транспорт.

Болховитинов подумал, пожал плечами:

— Ну, допустим. Так чего вы хотите от меня?

— Я же сказал. Вам все передадут, сумеете заложить заряды?

— Никогда этим не занимался, хотя у нас был специальный курс подрывных работ. Что ж, попытаюсь вспомнить, если надо.

А вдруг все-таки провокатор, подумал он. А, семь бед…

— Нет, «пытаться» нельзя, — возразил Яан, — надо делать, и делать хорошо. Сколько человек в вашей команде?

— Вообще шесть — пятеро дорожников и еще один при лошади, но он сейчас болеет. Весна, сы-

рость, его ревматизм скрючил. Так что лошадью правлю я.

— Это очень кстати. Тогда слушайте внимательно…

Утром мальчишка из усадьбы, где была реквизирована фура с гнедым мерином, как обычно в восемь часов привел упряжку к дому, где квартировал Болховитинов. Один за другим стали подъезжать на велосипедах и старики.

— Господа, у меня для вас хорошая новость, — объявил он, когда все пятеро были в сборе. — Записываю вам полный рабочий день, и можете быть свободны. Мне тут надо съездить кое-что привезти, так что вы мне сегодня не понадобитесь.

Старики обрадованно зашушукались — погода была собачья, ранняя весна пришла на Нижний Рейн дождями, ледяными ветрами с побережья, пронизывающий холод ощущался сильнее, чем в декабре при минусовой температуре. Питер, бывший в команде за старшего, спросил, не разгрузить ли фуру — в ней оставалось еще полкузова щебня — и не понадобится ли господину инженеру кто-нибудь на подмогу, чтобы погрузить-разгрузить.

— Нет, там все сделают, — ответил Болховити-

нов. — И щебень пусть остается, к чему завтра делать лишнюю работу — грузить его обратно. Я ничего громоздкого везти не буду, места хватит.

Старики, довольные, разъехались, Болховитинов забрался на козлы, поднял воротник шинели, поглубже натянул на уши отвороты форменного черно-коричневого кепи.

— Н-но! — крикнул он, шевельнув вожжами, и тронул хворостиной массивный гнедой круп: — Пошел, холера!

Через полчаса он подъехал к обычной с виду крестьянской усадьбе из небогатых. В воротах, скособочившись и посасывая трубочку, стоял человек; завидев упряжку, поднял руку, показал жестом — заезжайте, и сам похромал в ворота. Болховитинов заехал, вошел в дом, его провели в жарко натопленную кухню. Яан сидел у стола.

— Привет, — сказал он. — Холодно?

— Собачья погода.

— Это хорошо, меньше шансов встретить какого-нибудь знакомого…

Он полез в шкаф, поставил на стол глиняную бутылку, стаканчик.

— Выпейте, вам надо согреться…

— С удовольствием. А себе?

— Мне еще работать, — сказал Яан. — Грейтесь, я скажу, когда будет готово…

Болховитинов вытянул стаканчик обжигающей можжевеловой водки. Согреться и в самом деле желательно, не хватает только подцепить простуду. Он посмотрел в окошко — Яан вместе с тем кривобоким возились у фуры, зарывали что-то в щебень. Хорошо, что проявил предусмотрительность — еще сегодня утром подумал, что щебень пригодится. Если бы эти европейцы к водке догадались предложить хотя бы кусок хлеба с салом, совсем было бы неплохо. Но ничего не поделаешь, в каждом монастыре свой устав.

— Мы готовы, — сказал Яан, заглянув в дверь.

— Поехали, — ответил Болховитинов.

Тем временем подоспели еще трое на велосипедах. По виду их было не отличить от работавших с Болховитиновым стариков, на этих тоже была обычная для здешних мест рабочая одежда — деревянные сабо, толстые брюки в заплатах, вылинявшая от стирки синяя саржевая куртка, надетая поверх фуфайки или свитера, пестроклетчатый шарф вокруг шеи, а на голове — кепка или потерявшая форму шляпа. Выехали за ворота, Болховитинов оглянулся на велосипедистов и подумал, что сейчас никто, встретив команду

дорожников, не заметил бы перемен в ее личном составе.

За весь день, впрочем, никто из знакомых им не встретился. Чтобы не вызвать подозрений, они засыпали несколько небольших воронок по пути к первому из обозначенных на схеме мест; у мостика Яан попросил остановиться, Болховитинов натянул вожжи и крикнул «хальт!» (реагировать на русское «тпру» мерин упрямо отказывался). Сзади захрустела разгребаемая щебенка, потом двое полезли под мост с каким-то свертком и возились там минут двадцать, звякая и постукивая.

— Вот и готово, — сказал Яан, — осталось еще три.

Болховитинов скептически хмыкнул.

— Вы думаете, это чему-то поможет?

— Что значит — поможет? Вызовет задержку, хотя бы на пару часов. Иногда и один час играет роль.

— Но кто все это будет взрывать — здесь и в других местах? Вы же провода отсюда не потянете…

— Зачем провода, эта штука приводится в действие по радио.

— Ах вот что… Поехали дальше?

Без помех заминировали и второй мост. С тре-

тьим получилась заминка — поодаль стояло два военных грузовика, солдат копался под раскрытым капотом, другие помогали советами. Хорошо, участок шоссе за мостиком был поврежден, Яан с друзьями достали из фуры лопаты и принялись за работу; когда военные наконец уехали, прицепив неисправную машину на буксир, заложили и третью мину.

Интересно, действительно ли они снабжены радиовзрывателями, подумал Болховитинов, или Яан просто из осторожности не захотел делиться своими планами? О радиоуправляемых фугасах было известно еще до войны, в Ecole с ними знакомились на специальном курсе, но они считались тогда дорогими и не очень надежными. Возможно, конечно, техника за эти годы так усовершенствовалась, что англичане могут себе позволить тратить такие сложные устройства на столь незначительную цель. А может, она не столь уж и незначительна, как кажется. При затоплении объезды тут и в самом деле станут невозможны, так что какая-то задержка произойдет…

На ферму кривобокого вернулись уже в сумерках. Яан предложил зайти поужинать — это было кстати, Болховитинов так замерз, что у него уже

зуб на зуб не попадал. В той же кухне молчаливая неприветливая женщина подала им пивной суп, картофель с кровяной колбасой и подливкой из красной капусты; Яан опять выставил глиняную бутылку.

— С вашего позволения, — сказал Болховитинов, — я выпью не после, а до. Мы привыкли действовать в таком порядке.

— Мы? — переспросил Яан.

— Я ведь русский.

— А-а! Я не знал. Казак, значит.

— Нет, из Центральной России.

— Какая разница, все русские — казаки, — сказал Яан и, обращаясь к кривобокому, который молча работал ложкой, произнес какую-то длинную фразу по-голландски. Тот покосился на Болховитинова, кивнул.

Дохлебав суп, он глянул еще раз и, неожиданно осклабившись, спросил:

— Распутин?

— Он самый, — подтвердил Болховитинов и налил себе еще. — Послушай-ка, Яан, когда все это взлетит на воздух — немцы сразу сделают мне капут, я ведь отвечаю за состояние дорог…

— Конечно, сделают, — согласился Яан. — А вы что, на Рыцарский крест рассчитывали?

— Так как же мне теперь?

— Спрячетесь, мы постараемся вас предупредить.

— Где конкретно я могу спрятаться? И за кого себя выдать? Я ведь даже не говорю на платт-дойч.

— Что-нибудь придумаем, — пообещал Яан. — Пока оставайтесь на месте, убежище вам подыщут.

— Хорошо бы не забыли, — с сомнением сказал Болховитинов. Все это, конечно, очень осложняло положение. Его спрячут, а Таня будет думать, что он здесь, так ведь и потерять друг друга недолго… — Скажите, вы не знаете, где живет мать Виллема?

— Зачем она вам?

— В сентябре я отправил туда одну девушку, ее надо было спрятать. Если бы можно было потом как-то с ней связаться, просто сообщить, что со мной…

— Если будет возможность, сообщим.

Прошло еще четыре дня. Болховитинов со своей командой таскался по осточертевшим дорогам, засыпал свежие выбоины и воронки, хотя теперь эта работа потеряла вообще всякий смысл — в Голландию, на Арнем, почти каждую ночь шла тяжелая техника, и покрытие размолотило до

такой степени, что асфальт отлетал целыми пластами — особенно на поворотах шоссе, где танкам приходилось притормаживать одной гусеницей.

Пятый день пришелся на воскресенье. Накануне старики жаловались, что давно уже не имели выходных, даже в кирку сходить не удается, и он дал им день отдыха. Утром в дверь постучали. Отворив, он увидел давешнюю неприветливую женщину, что кормила их на ферме.

— Меня Яан послал, — сказала она, глядя в сторону. — Велел сказать, чтобы к вечеру были готовы.

— Сегодня вечером?

— Ага, как стемнеет…

Одеваясь и укладывая в чемоданчик свои пожитки, он торопился, как будто времени оставалось в обрез, лишь потом спохватился — впереди-то целый день! Он позавтракал, сходил на почту и позвонил в Калькар сказать, что уезжает по делам службы и неизвестно, надолго ли; от Тани, как и следовало думать, никаких вестей не было.

— Анечка, — сказал Болховитинов, — вы-то сами никуда не собираетесь?

— Да что вы, Кирилл Андреич! Боже упаси!

— Ну а если фронт приблизится?

— Тю, — жизнерадостно воскликнула Анна, — что нам этот фронт! Не-е, мы тут будем.

— Тогда я вас вот о чем попрошу: после перемены власти — вы понимаете, что я хочу сказать?

— Если англичане придут? А нехай приходят, мы и при немцах жили, а уж при англичанах подавно проживем!

— Так вот, Таня после этого может дать о себе знать. Если меня еще не будет — скажите, чтобы ехала к вам и ждала меня. Понимаете? Пусть без меня никуда не трогается.

Анна заверила, что никуда ее не отпустит. Отчасти успокоенный на этот счет, Болховитинов вернулся домой. Время тянулось медленно, он перечитал Волошина — наследство господина Гейслера; дом его в Клеве был разрушен до основания, а что стало с ним самим, выяснить не удалось. Потом пообедал, поспал и проснулся уже в сумерках. Вскоре приехал кривобокий — влез в дверь без стука, дружелюбно ухмыляясь, снова назвал Распутиным и поманил за собой.

В легкой рессорной одноколке они долго ехали узкими проселочными дорогами, между огороженными туго натянутой проволокой выпасами — вайдами. Взошла низкая большая луна, на траве поблескивали станиолевые полоски —

Болховитинову кто-то рассказывал, что два года назад, когда англичане впервые начали их применять, население было в панике, решив, что это какое-то новое оружие, средство травить скот и людей, полоски собирали щипцами, боясь дотронуться, только потом было властями разъяснено, что бояться нечего, своими конфетными бумажками томми пытаются мешать работе новых немецких средств дальнего обнаружения вражеских самолетов…

Болховитинов думал, что кривобокий везет его к себе, только почему-то кружным путем, но усадьба, куда они наконец приехали, была совсем не та — поменьше и без надворных построек. Кривобокий поманил за собой и, посвечивая фонариком, повел в кромешной тьме куда-то вверх по скрипучей лестнице; потом отворил дверь, пошарил рукой по стене. Тусклая лампочка осветила крошечную чердачную каморку — прогнувшаяся железная койка, столик, стул с плетеным из камыша сиденьем. Кривобокий бросил на койку чемодан, выставил кверху большой палец и одобрительно перекосил рожу: убежище, мол, первый сорт, надежнее не бывает!

Утром Болховитинов обнаружил в доме двух полуглухих стариков, которые кормили его на

кухне, но явно ничего не понимали, когда он пытался заговорить. Да, подумал он, тут и спятить недолго, если прожить недельку-другую; неужто британцы так и не раскачаются?

Опасения оказались напрасными — британцы раскачались. На третью ночь его разбудил дикий грохот — врезанное в скошенный потолок окно полыхало красным, он вскочил, поднял раму и высунулся. Впереди — расстояние трудно было определить — разгорался огромный пожар, частыми вспышками слепили разрывы, а прямо над пожарищем — совсем низко, как ему показалось, чуть ли не на бреющем полете пронесся с чудовищным ревом четырехмоторный бомбардировщик. Огненно освещенный снизу, он казался горящим, Болховитинов так и подумал — сбит, падает, но за ним пролетел еще один, и еще, и еще; оказывается, они просто бомбили что-то с малой высоты, он еще в жизни такого не видал, чтобы эти громадные «ланкастеры» действовали как самолеты тактической авиации. Но удивляться было некогда, он опрометью кинулся вниз по лестнице — чем черт не шутит, если вторая волна заберет чуть правее… Хозяева уже сидели в погребе, с опаской посматривая на потолок — там что-то скрипело, потрескивало,

сыпалась пыль. Спрятали, называется, подумал Болховитинов, сунули прямо в самое пекло… Бомбежка, впрочем, скоро прекратилась, стало тихо. Он собрался уже было выбраться наружу и полюбопытствовать, что там делается, как вдруг где-то неподалеку часто забухала скорострельная пушка. Похоже, что зенитка, но самолетов не было слышно, по ком же она стреляет? И звук был странный, что-то напоминал — потом Болховитинов сообразил: у французов в сороковом были такие автоматические «бофорсы» шведского производства. Похоже, да. Но у немцев он их не видел… Разве что трофейная какая-нибудь?

Постреляв, загадочная пушка умолкла, потом заработала снова: «дуб-дуб-дуб-дуб-дуб» — но уже дальше, видимо, сменила позицию. На самоходном лафете, вероятно, но знать бы — чья… Вся эта кутерьма продолжалась довольно долго, к сожалению, он забыл наверху свои часы. Стреляли, потом мимо дома с шумом прошли какие-то машины — шум тоже был непривычный, непохожий на звук двигателей немецких грузовиков, на танки тоже было непохоже, те ревут куда громче. Стало тихо. Старики, сморенные ночными страхами, уже спали, Болховитинов тоже стал дремать, сидя на ящике с картофелем. Наверху

послышались голоса, вниз ударил ослепительный луч света, лестница тяжело заскрипела под чьими-то настороженными шагами. В луче фонаря угрожающе высунулся вороненый ствол автомата в круглом дырчатом кожухе — у немцев таких не было.

Подвал освещался ацетиленовым велосипедным фонариком, но карбид был на исходе, горелка едва светила, и разглядеть вошедшего было нельзя — тем более что его фонарь сразу ослепил Болховитинова. Обладатель фонаря спросил что-то, явно не по-немецки. Болховитинов порылся в памяти и сказал: No Germans here, I mean — no soldiers. Civilians only![74]

Англичанин ответил невнятным междометием, обвел лучом все углы, осветив проснувшихся стариков, потом подошел к Болховитинову вплотную и что-то скомандовал, ткнув стволом ему в живот.

— Please, — светским тоном сказал Болховитинов и поднял руки. Обыскав его, англичанин буркнул еще что-то и стал подниматься по лестнице.

Выждав еще несколько минут, Болховитинов

---

[74] Notes: 74
Немцев здесь нет, в смысле — солдат. Только гражданские! *(англ.)*

тоже вылез из подвала. На дворе было свежее весеннее утро, пахнущее дождем и гарью. Перед домом, въехав прямо на газон, стояли три маленькие открытые танкетки, солдаты в обмундировании цвета хаки и плоских шлемах, обтянутых маскировочными сетками, вносили в дом какие-то ящики, оружие, ранцы с пристегнутыми скатками одеял; у крыльца присел на сошках ручной пулемет, его торчащий вверх, изогнутый магазин походил на собачий хвост. Двое солдат, стоя в кузове танкетки, рылись в поклаже, один брился, пристроив зеркальце на борту.

У некоторых поверх коротких, вроде лыжных, курточек были надеты коричневые кожаные безрукавки. Подкатил с треском мотоциклист в такой же кожанке, но на нем были бриджи, высокие, шнурованные до колен ботинки и шлем другой формы, поглубже. Спросив что-то, он махнул рукой и, круто развернувшись, умчался к шоссе, по которому вереницей шли десантные амфибии.

Вот и дождались, подумал Болховитинов. Он вошел в дом — солдаты, занятые на кухне стряпней, не обратили на него никакого внимания, — поднялся к себе в мансарду. В чемодане, похоже, порылись, томик Волошина валялся на полу,

оставленные на столе часы исчезли. Часов было жаль: подарок отца. Как это сказала Анна? — жили при немцах, проживем и при англичанах. Правь, Британия! Если бы еще часов не крали, совсем было бы хорошо. Он усмехнулся, посмотрел на календарь — было восьмое февраля, четверг.

Глава 4

Британскую оккупацию прежде всего характеризовало то, что властям не было никакого дела до местного населения. Это казалось странным. Болховитинов не присутствовал при вступлении немцев в Париж (сидел уже в плену), но, судя по рассказам очевидцев, немецкая оккупация всюду начиналась с появления огромного количества расклеиваемых по улицам приказов, оповещений и предписаний — новая власть с первого дня спешила установить свои порядки, регламентированные дотошно и пунктуально.

Англичане до этого не снисходили. Нескольких немцев-военнослужащих, обнаруженных в деревушке, они забрали и увезли, а у остальных даже не проверяли документов. В крестьянских домах солдаты его величества устраивались по-хозяйски, немцев на это время попросту

выпроваживали вон, если места не хватало, а если хватало — сосуществовали рядом, никак не общаясь. Похоже, сказывалась еще старая колониальная школа: все небританское было слишком ничтожным, чтобы его замечать.

Запреты, впрочем, существовали — хотя и необъявленные. Так, например, было запрещено передвигаться из одного населенного пункта в другой. Болховитинов после трехдневного напрасного ожидания кого-нибудь из голландцев решил пуститься в путь на свой риск и страх; не терпелось добраться до Калькара, узнать адрес Марты и — через нее — родственников этого самого Виллема. Старики с грехом пополам растолковали ему, какая дорога ведет в Калькар, но не успел он выбраться из деревни, как был незамедлительно остановлен английским патрулем; его ни о чем не спросили, не проверили документов, но просто велели идти назад. Он попытался объяснить, почему ему надо именно туда, а не обратно; солдат выслушал со вниманием, потом взял его за шиворот, повернул лицом к деревне и поддал сзади коленом, показывая разрешенное направление движения.

К концу недели он окончательно освирепел — на освободителей, с которыми найти общий язык

было не легче, чем если бы это были уэллсовские марсиане, и еще больше — на своих голландцев, которые, похоже, совсем о нем забыли. Он не представлял себе, сколько еще придется торчать в этой дыре — недалеко от Тани, но не имея возможности хотя бы что-то о ней узнать. Он уже подумывал о том, чтобы уйти ночью, хотя это было опасно — уж в темноте-то запросто могут пристрелить. И тут вдруг приехал кривобокий.

— Здорово, Распутин, — осклабился он, — ты еще живой? Яан тебя велел отвезти, только не сказал куда.

— Да, да, в Голландию! Где мать Виллема — знаешь?

— Э, вот это не выйдет — граница, — сказал кривобокий и добавил, что он к тому же не знает ни Виллема, ни его матери.

— Ну, в Калькар тогда.

— Это можно.

— А пропуск у тебя есть какой-нибудь? Меня тут задержали недавно, я сам хотел уйти.

— Да, пропуск в порядке, можно ехать…

Действительно, из деревни их выпустили беспрепятственно. Скоро началась зона затопления — или наводнения, вызванного весенним паводком, Болховитинов так и не сумел выяснить это у

кривобокого. Дорога, как все асфальтированные дороги в этих местах, проходила по невысокой насыпи, вода подступала к самым обочинам — мутная, стоячая, с торчащими из нее кольями разделяющих пастбища проволочных оград и опрокинутыми отражениями ракит, цепочками которых были обозначены затопленные проселки. Болховитинов подумал, что минирование тех мостиков было не такой уж вздорной затеей, как тогда ему показалось.

Когда выехали на другую дорогу, более широкую, он узнал шоссе, по которому ехал с Риделем из Клеве в Калькар после кратковременной отсидки в гестапо. Сейчас здесь шла техника — не виданная им, обильная и разнообразная. Впрочем, двухместные английские танкетки были знакомы еще по сороковому году, но за это время появилась и масса нового, особенно много было здесь разного рода амфибий — маленькие лодки-автомобильчики размерами не крупнее немецкого «кюбеля», и огромные трехосные корыта, и еще более громоздкие корыта на гусеничном ходу, и плавающие танки с какими-то странными брезентовыми сооружениями вокруг башни и торчащими вверх трубами воздухозаборников, а вперемежку с ними — бензозаправщики, артил-

лерийские тягачи, походные мастерские и кухни, понтонные парки, штабные фургоны и пулеметные «джипы» с триплексными щитками вместо ветрового стекла — все это ревело, скрежетало, дымило, непрерывно сигналило разноголосыми клаксонами и, облепленное солдатами и навьюченное всяким военным снаряжением, валом валило в одну сторону — на восток, к Рейну.

Калькар, еще недавно тихий и сонный, почти безлюдный, был сплошь забит войсками и техникой, тесно — впритык — стоящей по обеим сторонам улиц. Городок, видно, тоже пробомбили, но разрушений оказалось не так много; «Цум Риттер», во всяком случае, уцелел. И Анна оказалась на месте — она уже бойко объяснялась с рыжеусым офицером, кокетливо стреляя глазками и повторяя «йес, йес». Болховитинов, войдя в вестибюль, оказался единственным штатским среди одетых в хаки постояльцев.

— Кирилл Андреич, ну наконец-то! — воскликнула Анна, отделавшись наконец от рыжего британца. — Я уж так переживала, и, главное, от Таньки тоже ничего нету…

— Рано еще, пожалуй, — сказал Болховитинов, — сама она побоится сюда ехать, да и не пустили бы ее, скорее всего. Все-таки здесь при-

фронтовая полоса. А послать весточку, возможно, не с кем. Марта так и не появлялась?

— Не, не было ее с тех пор. Как бои тогда начались, она и пропала. Да это ничего, вот станет потише, тогда их и разыщем!

— Да, Аннушка, скоро теперь домой поедете, — сказал Болховитинов.

— Куда это? Я и так дома!

— Да нет, я говорю — совсем домой, в Россию.

— Тю-у, — протянула Анна, — чего я там не видала, в этой России! Еще были б кто из родичей живы, да и то сказать… Не-е, мы с Надькой никуда отсюда не тронемся, от добра добра не ищут. Да и хозяйка не отпускает — оставайтесь, говорит, тут, а помру я — все ваше будет, и гастхауз на тебя отпишу… А чего? Я ей верю, главное дело — у ней тоже никого из своих не осталось, была замужняя сестра, так их в Гамбурге убило, а племянники обое на Восточном фронте пропали. То есть не пропали, а точно убитые, похоронки на них были. Так что почему бы ей и не отписать? Она и удочерить вроде согласная, чтобы потом никаких не было придирок по закону…

— Деловая вы женщина, Аня. — Болховитинов покачал головой.

— Так ведь, Кирилл Андреич, пропадешь в

наше время, коли деловой не будешь. Мне уж вахмистер наш — помните? — и бумаги так переписал, что будто мы с Надькой не советские вовсе, а полячки.

— Помилуйте, а это еще зачем?

— Ну как же! Тут англичанин один был — ну вот, сразу, как пришли они, — хорошо по-немецки говорил, ну, мы с ним покалякали, он и говорит тоже, ну вот как вы сказали, что скоро, мол, «нах фатерлянд». Я говорю — нет, мы не поедем, а он: а вас, говорит, и спрашивать никто не будет, Сталин уже с Черчиллем и Рузвельтом договорился, чтобы всех советских сразу домой. А если кто не захочет, спрашиваю, а он усмехнулся так: что ж, говорит, мы из-за них отношения с союзниками будем портить? Это он же мне после и подсказал, чтобы полячкой записаться. Тех вроде принуждать не будут…

— Ох, Аня, Аня, пожалеете когда-нибудь, — сказал Болховитинов, — от родины ведь отказываетесь, не от пары туфель.

— А чего мне жалеть! — закричала Анна с неожиданным озлоблением. — Чего я хорошего на этой вашей родине видала? Как себя помню, и жизни-то сытой было, может, года четыре — уж перед самой войной! А в тридцать третьем году

у нас мертвяки по улицам валялись — в школу бежишь, бывало, а навстречу дядька с грабаркой, оттуда руки-ноги торчат, каждое утро ездили, подбирали. После, как карточки отменили, продукты появились, так из одежи ничего было не достать, за парой галош по трое суток в очередях стояли, платья нам с Надькой мамуся знаете с чего шила? — карты географические покупали, они на миткаль наклеены, вот их отстирывали, а с миткаля шили — многие так делали, так еще попробуй карту эту купи, все умные стали! Я, может, только здесь, в Германии, и человеком-то себя почувствовала! Ну чего, чего вы меня уговариваете, чего вы вообще в нашей жизни-то понимаете?

— Я далек от мысли вас уговаривать, — возразил Болховитинов, — но просто хотел бы предостеречь… Все-таки некоторое представление о жизни в Советском Союзе я имею, хотя бы по рассказам, а вы эмигрантской жизни не знаете совершенно и даже представить ее себе не можете…

Уговаривать ее, конечно, было бы совершенно бессмысленно, ему вспомнился давний разговор с офицером-власовцем, подсевшим к нему в ресторане, — у того тоже было свое, весьма нетра-

диционное отношение к теме родины. Можно ли было переубедить такого человека? Можно ли сейчас внушить этой глупой девчонке, что не только категориями благополучия, сытости и комфорта исчерпывается то, что получаем мы от своего отечества, как раз этим-то Россия никогда не была склонна широко одаривать своих детей… Даже и в этом ему трудно найти с соотечественниками общий язык, так же трудно было достичь взаимопонимания с рабочими во Фрейтале — хотя те были люди совершенно иного склада, их-то нельзя было упрекнуть в недостатке патриотизма…

Но, не понимая, не имея общей точки зрения — или, точнее, какой-то общей системы нравственных координат, — можно ли судить, можно ли осуждать? Или надо осуждать условия, которые размыли эту координатную сетку, сделав возможным появление подобного рода взглядов — не очень-то, пожалуй, характерных для прежнего типа русского человека?

А впрочем, что он — изгой — знает об этом «прежнем типе»… Да, были капитаны Тушины, был матрос Кошка, но были и московские студенты, отправившие японскому микадо поздравительную телеграмму по поводу Цусимы,

были пораженцы и после четырнадцатого года. Конечно, существенная разница заключается в том, что тогда подобными настроениями были затронуты лишь определенные круги образованного общества, в народе их не наблюдалось; теперешние же власовцы или разного рода каратели и полицаи — это все идет из самой что ни на есть гущи народной…

Несмотря на перенаселенность отеля военными постояльцами, Анна нашла ему комнатку и даже притащила хозяйкин приемник — та все равно им не пользовалась. Это оказалось кстати, у прятавших его стариков радио не было, и он потерял всякое представление о том, что где происходит. Впрочем, о том, что происходило уже окончательное крушение «тысячелетнего рейха», можно было догадаться, и не слушая сводок.

А если говорить о деталях, то новостей накопилось много, но все они касались Восточного фронта. Советские войска овладели Будапештом, вышли к Моравской Остраве, вели бои под Кенигсбергом и на рубеже Одера; в Крыму завершилась конференция Большой тройки; немецкое радио сказало по этому поводу, что теперь плутократы окончательно договорились с большевиками об уничтожении Германии и

насильственном переселении всех немцев в Сибирь и на Ближний Восток. На Западном же фронте опять установилось затишье, в Италии союзники застряли на линии Пиза — Равенна. Дожидались, похоже, пока Лигурию и Пьемонт освободят партизаны.

Однажды Болховитинов услышал о тяжелом налете на Дрезден, но не придал этому значения — вряд ли кому могло прийти в голову всерьез бомбить такой город, скорее всего, обычная геббельсовская пропаганда. Но на следующий день было еще одно сообщение, снова говорившее о беспрецедентной жестокости налетов — их было два или три, последовавших один за другим. В тот же вечер передали корреспонденцию, начала которой Болховитинов не услышал, поэтому не сразу даже понял, о каком городе идет речь.

— …Невозможно даже приблизительно определить пока меру ущерба и количество жертв, — говорил комментатор, — потому что еще сегодня — спустя четыре дня — вся историческая часть Альтштадта представляет собой бушующее море пламени. Наблюдатели могли только разглядеть, что через сутки после первого налета в огне обрушился гигантский купол Фрауэнкирхе, в течение двухсот лет служивший главной отличитель-

ной деталью панорамы прекрасного города на Эльбе…

На Эльбе? Болховитинов нахмурился, усилил звук и повернул ручку настройки, чтобы добиться более чистого приема. Фрауэнкирхе — это еще ни о чем не говорит, церковь Богоматери есть в каждом немецком городе, но Эльба… Дрезден часто так и называли: «город на Эльбе», неужели… И Ридель, подумать только, вот тебе и безопасное место, поистине не знает человек своего часа…

— Разрушив эту сокровищницу германского искусства, — продолжал диктор, — англо-американцы лишний раз доказали варварский характер войны, которую они ведут против нашего народа в союзе с дикарями из азиатских степей. Дрездена больше нет! Отсюда, с Лошвицкого холма, можно видеть лишь гигантскую тучу дыма над восточными предместьями, Блазевицем и Штризеном. Мы встретились сегодня с живущим здесь знаменитым драматургом Герхардом Гауптманом — старейший из немецких авторов сказал: «Даже те, у кого не осталось уже слез, плачут сегодня, глядя на гибель Дрездена»…

Дослушав передачу, Болховитинов выключил приемник и долго сидел, глядя на погасшую шкалу. Вот тебе и «рыцари демократии»… Да

чему удивляться, не задумались же они стереть с лица земли Клеве, где вообще не было ничего, кроме лазаретов да санаториев. В Дрездене хоть есть военные заводы, но разве это оправдание? Город-музей (ему он не нравился, это дело другое, не все любят музеи), к тому же переполненный беженцами, уже летом там их было полно, можно себе представить, сколько понаехало за это время из Силезии, из Вартегау… К сожалению, бедняга Ридель был прав, когда говорил, что хрен редьки не слаще — такие же там маньяки и убийцы. Неужели попал под ту бомбежку? Не обязательно, конечно, мог быть и в отлучке, вообще-то он из везучих — в таких бывал переделках, что другой бы не выкарабкался… Дай бог!

Было ли в прежних войнах столько взаимной жестокости? Немцы, надо сказать, отличались всегда — «Лузитания», казни заложников в Бельгии, применение газов; но ни мы, ни державы Согласия все-таки ничего подобного себе не позволяли. Сегодня же получается странная картина: в ответ на зверства нацистской политической системы англо-американцы — поборники права и демократии — позволяют зверствовать своим вооруженным силам. Точнее говоря, авиации. Сколько было в свое время возмущения по поводу

бомбежки Герники, Роттердама, потом Ковентри, а кончилось тем, что те же англичане фактически узаконили массовые убийства гражданского населения…

Зашевелился наконец и Западный фронт — двадцать третьего американцы перешли в наступление с линии Юлих — Дюрен, нацеливаясь на Кёльн. Началось какое-то движение и на здешнем участке, от пальбы расположившихся рядом гаубиц в «Цум Риттере» вылетели последние стекла, и Болховитинов полдня помогал Наде заделывать окна игелитом. По ком палят, было совершенно непонятно, потому что с той стороны давно уже никто не отвечал — за все эти дни в Калькаре не разорвалось ни одного немецкого снаряда; но канадские артиллеристы с таким азартом суетились вокруг своих двадцатипятифунтовок на круглых поддонах, будто отбивали атаку полусотни «пантер»…

Через два дня стало потише. Лейтенант из Монреаля, с которым Болховитинов успел познакомиться здесь, в гостинице, сказал, что все идет formidablement bien[75], разведывательные авангарды уже вышли к самому Ксантену и находятся

---

[75] Notes: 75
Потрясающе хорошо *(фр.)*.

не так далеко от Форт-Блюхера, а это значит, что скоро можно будет осуществить «большой прыжок» через… — тут Лапорт приложил палец к губам, а другой рукой изобразил в воздухе букву «Р».

Как-то сразу и неожиданно пришла настоящая весна — солнечная, безоблачная, с теплым южным ветром, от которого ломило в висках и сохли губы. Деревья еще стояли голые, и по ночам бывало холодно, но луг, где недавно располагалась канадская батарея, ярко зазеленел перезимовавшей травой. Вечерами лейтенант Лапорт зазывал Болховитинова в бар и дотошно расспрашивал о злачных местах Парижа — самым его большим огорчением за эту войну было то, что он выгрузился с транспорта в Антверпене и до сих пор не смог ступить на священную землю Галлии — родины своих предков. «Судите сами, mon vieux[76], вернуться домой из такого крестового похода, не переспавши хотя бы раз с парижанкой, — это даже как-то неприлично…»

У Болховитинова на обуянного сексуальной ностальгией лейтенанта были свои виды, поэтому он добросовестно напрягал фантазию, живописуя

---

[76] Notes: 76
Старина *(фр.)*.

нравы площади Пигаль.

— Да-а, — сказал однажды Лапорт, выслушав «воспоминание» об очередной оргии, — все-таки что ни говори, а настоящую культуру, утонченность можно найти только в Европе, у нас там ничего подобного…

— Дойдете, — утешил Болховитинов.

— Но когда? Послушай, в Париж нам надо непременно будет поехать вместе!

— Хорошо, я не против. Но учти, что сейчас ничего этого, скорее всего, там нет, я ведь тебе рассказывал о довоенных временах.

— Ну, что-нибудь да осталось же! Скажи, а это правда, что парижские «курочки» участвовали в Сопротивлении?

— Поголовно, а ты что думал? В Париже мы с тобой непременно побываем, — сказал Болховитинов, — но у меня сейчас другая проблема, более актуальная. Понимаешь, жена застряла еще с осени в Голландии — поехала к родным, а теперь никак оттуда не выбраться. Ты не мог бы как-нибудь посодействовать? Может, посадишь на машину, которая идет в ту сторону?

Лейтенант задумался, пощипывая усики.

— С этим довольно сложно, — сказал он, — у нас постоянно издаются приказы с запретами

возить гражданских лиц на армейских средствах передвижения… тем более там ведь граница! Но я подумаю, старина, я подумаю.

После этого он два дня в гостинице не появлялся и не давал о себе знать; Болховитинов решил уже, что канадец забыл о своем обещании подумать, и мысленно обозвал его треплом. Но оказалось, обозвал несправедливо.

Вечером, когда он у себя в комнате слушал радио (Берлин сообщил, что, по предварительной оценке, в Дрездене погибло около шестидесяти тысяч человек), Анна заглянула в дверь и сказала, что лейтенант сидит в баре и спрашивал про него.

— Помнишь, ты интересовался насчет поездки в Голландию, — сказал Лапорт, протягивая ему банку американского консервированного пива. — Тебе в один конец или туда и обратно?

— Зависит от того, смогу ли я найти там жену. Вдруг разминемся? Я поеду туда, а она тем временем вернется.

— Сейчас это маловероятно. Из Голландии — сюда? Не думаю. — Лапорт покачал головой. — Но дело вот в чем: ты знаешь такой город — Гок?

— Да, только по-немецки это Гох.

— Черт с ним. Его все равно больше нет, оста-

лась куча мусора, но там монастырь, где сейчас собирают иностранцев для отправки в Голландию. Я проезжал сегодня, все узнал. Самый простой вариант — я тебя отвезу в этот самый Гок, и ты присоединишься к перемещенным…

— К кому?

— Так сейчас называют: «перемещенные лица», то есть все иностранцы, депортированные сюда нацистами. Их будут отсылать домой, но пока собирают в специальные лагеря — регистрация, учет и тому подобное. Насколько я понимаю, никаких документов там ни у кого не спрашивают, человек приходит и говорит, как его звать и из какой он страны, и его просто заносят в списки… Единственное, что проверяют — нет ли татуировки группы крови. Эсэс, понимаешь? Из Гока их по мере накопления перевозят в Голландию.

— Слушай, это было бы отлично! И ты можешь меня туда отвезти? Хотя Гох — это близко, пешком мог бы дотопать.

— Зачем пешком, завтра отвезу…

Утром Болховитинов распрощался с сестрами, пообещав непременно заглянуть на обратном пути вместе с Таней, если будет такая возможность.

— Так вы все-таки твердо решили остаться

здесь? — спросил он.

— Ой, да куда ж нам теперь деваться!

В голосе Анны на этот раз не чувствовалось прежней уверенности, и Болховитинов чуть было не сказал, что, может быть, есть все-таки смысл еще подумать? Но что-то остановило его, и это было не только сомнение в своих способностях убеждать. Он подумал вдруг, что даже если бы ему удалось сейчас переубедить сестер, он не взял бы на себя такой ответственности. Бог с ними, раз уж решили оставаться — пусть остаются.

Лапорт оказался точен — подкатил на «джипе» ровно в одиннадцать, как обещал. Через час они были уже в Гохе, от которого действительно ничего не осталось, такого тотального разрушения Болховитинов и представить себе не мог — городок словно пропустили через камнедробилку. Расположенный чуть в стороне монастырь, однако, оказался цел. Его трехэтажное современное здание с большими широкими окнами скорее напоминало больницу, обширный двор был полон народу, стоял разноязычный гам, в стороне молча жались перепуганные немки с детьми и чемоданами — видно, сюда же привезли и эвакуированных. Канадец уехал, повторив пожелание вместе вкусить парижских тайн.

Болховитинов неприкаянно бродил по двору, поглядывая — не встретится ли знакомое лицо. Подойдя к группе соотечественников, спросил, была ли уже какая-то регистрация и что вообще собираются с ними делать дальше. Ему ответили, что пока никого не переписывали, сделают это после, уже в лагере, а лагерь где-то в Голландии — один транспорт туда уже ушел, следующий обещают отправить после обеда.

Монастырь, хотя и не пострадавший от бомб и снарядов, носил все же следы разорения — видно, здесь успели похозяйничать военные постои. В саду прямо под открытым небом были грудой свалены книги, выброшенные сюда неизвестно зачем. Болховитинов с сожалением порылся в этой свалке, листая отлично изданные тома — большей частью труды по географии, на немецком, голландском и английском языках. Тут же валялись небольшие деревянные ящики, из одного — с расколотой крышкой — серебристой кучкой высыпались на землю какие-то значки. Он нагнулся, поднял — это была алюминиевая медалька в форме заостренного эллипса, на одной стороне было изображено пылающее сердце в терниях, на другой — моление в Гефсиманском саду, коленопреклоненный Иисус с надписью

вокруг: «Bleibet hier und wachet mit Mir»...[77]

В толпе «перемещенных» обозначилось некое согласованное движение, послышался шум моторов. В ворота въезжали грузовики — тупорылые канадские «форды» с упрятанным в кабину мотором. Через полчаса Болховитинов уже сидел в кузове; и началась круговерть, от которой в памяти остались потом лишь какие-то отдельные несвязные картины и сценки. Забитые разнообразной военной техникой дороги с белеющими вдоль обочин широкими матерчатыми лентами, которыми английские саперы обычно метят границу разминированного участка; местами почему-то дымовая завеса над затопленной равниной; мотоциклисты в тех же кожаных безрукавках и шнурованных до колен ботинках, лихо обгоняющие колонну на бешено ревущих «энфилдах»; развалины, голые решетки стропил, с которых снесло черепицу, уродливые, в щепу изодранные осколками огрызки древесных стволов, почти вертикально торчащий посреди затопленного луга обгорелый фюзеляж, груды искореженного железного лома и снова развалины, развалины... К вечеру колонна прибыла

---

[77] Notes: 77

«Побудьте здесь и бодрствуйте со Мной» *(нем.)* — Мф.: 26, 38.

в Неймеген, лагерь — или какой-то эвакопункт — размещался в школе, украшенной флагами держав-победительниц и тремя огромными портретами: посередине Сталин в маршальской форме, а справа и слева — чуть ниже и наклонно, в виде римской пятерки — Рузвельт и Черчилль. Сразу повели в столовую, ужин был непривычно обильный, и даже кофе оказался настоящим бразильским, какого Болховитинов не пробовал с довоенных времен. Все думали, что теперь покажут, где можно поспать, но пришлось еще идти на санобработку и медосмотр. Санобработка состояла в том, что санитар с каким-то приспособлением вроде огромного шприца вдувал в рукава и за пояс брюк едко пахнущий порошок. При медосмотре опять смотрели — нет ли эсэсовской татуировки.

Утром не было никакой побудки, вставали, кто когда хотел, шли в столовую — на завтрак дали те же консервированные сосиски, яичницу из порошка, белоснежный и почти безвкусный хлеб, апельсиновый джем, кофе. Странно было, что никого ни о чем не спрашивали, не составляли никаких списков, не заставляли ничего заполнять.

Персонал, полностью из военных в английской

форме, был с «перемещенными» вежливо-равнодушен, но действовал споро, без суеты.

Потом их перевезли в другой лагерь. Этот тоже размещался в школе, среди персонала было больше женщин-военнослужащих, сухопарых и строгих на вид; в коридоре висел плакат — сильно увеличенная фотография человека с усиками и шрамом через щеку, с Рыцарским крестом между отворотами эсэсовского мундира. Надпись на пяти языках призывала немедленно сообщить военным властям малейшие сведения о возможном местонахождении СС-оберштурмбаннфюрера Отто Скорцени.

Здесь «перемещенных» рассортировали по национальной принадлежности, пока лишь приблизительно, отделив голландцев от бельгийцев с французами и от всех восточноевропейцев. Первых оставили, остальных наутро снова посадили в машины. Эта часть Голландии почти не пострадала от военных действий, пастбища были ухожены так, будто по ним ежедневно проходились граблями. Деревни радовали глаз той же неправдоподобной чистотой, что поразила Болховитинова полгода назад в Арнеме — первом увиденном им голландском городе. Таким же чистеньким и вылощенным оказался и Тилбург,

куда их привезли во второй половине солнечного, совсем уже по-летнему теплого мартовского дня.

Новый лагерь сильно отличался от других. Разместили его в каком-то фабрично-складском помещении, впрочем, безукоризненно чистом и светлом из-за стеклянных крыш — как ни странно, целых; но главное отличие состояло в том, что персонал здесь был уже полностью гражданский, все делали местные добровольцы — скауты старших возрастов, медсестры, несколько монахов-францисканцев в коричневых рясах, молодых и жизнерадостных. Жизнерадостны и как-то по-особому приветливы были и медсестры, и скауты, это особенно замечалось после английских военных лагерей; голландцы прямо светились радостью — еще бы, весна освобождения! — и готовы были разделить ее с каждым. Радио не умолкало ни на минуту — песенки Шевалье и Пиаф, мелодии Гленна Миллера, солдатские песни разных союзных армий — «Типперери», «Маржолен», «Выходила на берег Катюша»… В кантине, украшенной гирляндами флажков и военными плакатами, по столам были разложены газеты, разного рода информационные бюллетени, образцы листовок, сбрасываемых в эти дни на Германию («Немецкий солдат,

бросай оружие, фронт рушится от Эммериха до Карлсруэ…»), изданные Канцелярией его величества иллюстрированные брошюры типа «Война и Британское содружество». Когда наступало время еды, литература убиралась и скауты с медсестрами проворно расставляли приборы. Ели они вместе с «перемещенными». Все это было хорошо, но неясным оставалось главное: как отсюда выбраться, чтобы разыскать Таню. Лагерь, похоже, открыт для всех желающих, но что делать без документов в чужой стране, да еще не зная языка, — этого Болховитинов пока себе не представлял.

На второй день пребывания в Тилбурге он сидел за столом, разглядывая надоевший уже плакат, где истребитель с голландскими опознавательными знаками пикировал на пальмы, а внизу пламенели слова «Indie bevrijden!», и безуспешно пытался понять, от кого надо освобождать Индию и почему эта проблема беспокоит именно голландцев.

Францисканец, в пышной — несмотря на молодость — каштановой бороде, подошел к нему и по-французски спросил, не бельгиец ли он, и если да, то из каких мест.

— Я вчера слышал, как вы разговаривали с

моими соотечественниками, — пояснил он и сел рядом, источая благоволение.

— Нет, я учился в Париже, но я русский.

— О-о! — Улыбка францисканца стала еще лучезарнее. — Великая страна, великий народ! Печально, что русские сейчас так разобщены. Вы ведь эмигрант?

Болховитинов пожал плечами:

— Эмигрантами были мои родители, относительно же себя я…

— Да, это затруднительно. Но думаю, сын мой, эта война многое изменит. Война и та роль, которую суждено было сыграть в ней вашему народу.

— Будем надеяться… Послушайте, я никак не могу понять — почему голландцев так беспокоит положение индусов?

Он указал на плакат, монах расхохотался, показывая превосходные зубы.

— Не бойтесь за единство союзников, речь идет о другой Индии. — Он успокаивающим жестом положил руку на плечо Болховитинову. — Нидерландская Ост-Индия, понимаете? Суматра, Ява, Борнео, там ведь сейчас японцы.

— Ах вот что! А я и не сообразил…

— Вы чем-то озабочены?

— Да, я действительно… в некотором затруд-

нении, — сказал Болховитинов. — В свое время один голландец, с которым я познакомился… при не совсем обычных обстоятельствах, дал мне адрес своей матери — на случай, если вдруг что понадобится. Осенью я отправил туда жену, ей надо было срочно покинуть Германию, и вот до сих пор…

— Я понял, — сказал монах. — Напишите адрес, мы найдем способ связаться. В какой это части страны?

— Где-то неподалеку от Неймегена, мне говорили, — сказал Болховитинов, роясь в бумажнике. — А, вот! Пожалуйста.

Монах прочитал и сделал озабоченную мину.

— Гельдерланд! Не очень благополучное место, там шли бои… Но будем уповать на милосердие Господа нашего, я сегодня же сделаю запрос.

— Почта уже работает?

— Вообще да, но думаю, не очень еще надежно. Проще сделать это через нарочных — как в старину. Скауты в таких делах незаменимы. На велосипедах от деревни к деревне, получается очень быстро. У нас ведь маленькая страна! Вас, наверное, должны удивлять здешние масштабы?

— Иногда мне думается, что в маленьких странах людям жить куда легче, — сказал Бол-

ховитинов. — Представьте себе, насколько иной была бы судьба немцев… а теперь уже приходится говорить о судьбе всей Европы… если бы Германия так и осталась в своем добисмарковском состоянии.

— Вы высказали очень верную мысль, — согласился францисканец. — Церковь всегда, еще со времен гвельфов и гибеллинов, боролась против чрезмерного усиления светского государственного аппарата, хотя в этой борьбе — смиренно признаем это — ею подчас руководили не самые высокие соображения. Может быть, она просто провидела опасность тоталитарного этатизма, когда государство становится ненасытным Молохом, требующим кровавых жертвоприношений…

— Ну, едва ли она была так дальнозорка, — заметил Болховитинов.

— Не скажите! Всю меру ее дальнозоркости мы начинаем постигать лишь сейчас. Почему, вы думаете, церковь в эпоху Возрождения столь рьяно оспаривала естественно-научные открытия того времени? Причем оспаривала заведомо безуспешно, прекрасно понимая, что теряет авторитет в образованных кругах общества. Сами князья церкви, кстати говоря, в большинстве

своем получали совсем не плохое по тем временам образование; что же, по-вашему, они всерьез верили, что Земля неподвижна и Солнце бегает вокруг нас? Это при их-то знании астрономии! Вздор, сын мой, в небесной механике они разбирались не хуже Галилея, Николай Кузанский опередил Коперника на добрую сотню лет[78]. Но безудержный процесс эмпирического познания мира их пугал, ибо уже тогда они представляли себе, к чему это познание может привести в конечном счете. Вы, простите, кто по образованию?

— Инженер, строитель.

— Стало быть, тоже имеете отношение к точным наукам. Я говорю «тоже», потому что после богословского факультета учился на физико-математическом, в Лувэне. Вы слышали что-нибудь о предвоенных работах по расщеплению атомного ядра?

— Помню, что расщепляли, но кто и когда… — Болховитинов развел руками.

— А известно вам, что в Германии занимались проблемой военного использования ядерного распада?

---

[78] Notes: 78

Николай Кузанский (1401–1464) — философ, математик, кардинал Римско-католической церкви.

— Первый раз слышу. А что, это… возможно?

— В принципе, да. Так вот, попробуйте представить себе, что было бы, успей немецкие физики довести исследования до практической фазы. Поэтому не стоит смеяться над средневековыми богословами, усматривавшими некую связь между знанием и дьяволом. Что касается вашей мысли о том, насколько положительным можно считать — с точки зрения интересов человека, личности, — процесс срастания небольших государственных образований в огромные сверхдержавы, тут я с вами согласен. В конечном итоге это процесс вредный, он не только создает гоббсовых Левиафанов, но и калечит сознание людей, делает их агрессивными.

Подданные сверхдержавы постепенно сами проникаются сознанием собственной исключительности, сознанием того, что их стране позволено больше, нежели всем прочим. Это то, что древние обозначали термином hybris, а мы называем гордыней. Одним из семи смертных грехов, — добавил он с улыбкой, вставая. — Рад был побеседовать, а насчет поисков вашей жены не волнуйтесь, мы сделаем, что сможем…

Они действительно сделали, и очень быстро: Таня приехала на другой же день.

Болховитинов услышал ее, прежде чем увидеть. Радио только что сообщило о захвате моста в Ремагене одним из передовых подразделений 1-й американской армии, потом Шарль Трене начал было медовым тенором хвалиться, что у него есть солнце, молодость и любовь, а больше ему ничего от жизни не надо; не допев первого куплета, он поперхнулся и умолк, и — Болховитинов решил, что это звуковая галлюцинация, — Танин голос назвал его фамилию, имя и отчество, по-русски оповестив весь лагерь о том, что его просят зайти в административный корпус, в комнату… — тут в микрофоне зашуршало, видимо Таня прикрыла его ладонью, спрашивая в сторону, и добавила: «В комнату номер четыре».

Это, несомненно, был ее голос, ее манера говорить — чуть распевно на «а», слегка грассируя, что — по его мнению — придавало выговору этому какое-то особое очарование; конечно, это она, если только он не рехнулся окончательно и не спит наяву…

А потом он ее увидел — когда ворвался в комнату номер четыре — и узнал в первый миг только по волосам, потому что она стояла спиной к двери, разговаривая с Виллемом. Виллема узнал сразу, хотя тот был в английской военной фор-

ме, а Таню — только по цвету волос, она тоже была в чем-то военном, в брюках и мешковатой американской штормовке с подвернутыми до локтя рукавами; огромное, во всю стену от пола до потолка, окно выходило на юг, комната была затоплена солнцем, и в этом ливне слепящего сияния волосы ее горели начищенной медью. Услышав, как он распахнул дверь, Таня оглянулась и вся просияла, словно озарившись изнутри тем же ликующим весенним светом. Бросив своего собеседника, она кинулась к нему и повисла у него на шее.

— Господи, как я рада вас видеть, Кирилл! Хотя мне уже вчера сказали, что вы здесь и у вас все хорошо, но увидеть вот так…

— Танечка, а я ведь ничего ровно о вас не знал, и вдруг такой шок — представляете, услышать вдруг ваш голос, — я решил, что схожу с ума.

Таня расхохоталась.

— Ну да, я так и знала, что вы удивитесь! Нарочно так придумала — мы с Вилли приехали, он говорит: «Сейчас будем искать, лагерь большой, надо будет объявить по радио», ну я и решила сама сказать! А то ведь, думаю, переврут так, что вы свою собственную фамилию не распознаете, где уж им произнести правильно. Кирилл, мне

просто не верится — ну расскажите, как вы все это время…

— Сейчас, минутку… — Болховитинов отошел поздороваться с Виллемом, тот, улыбаясь, протянул руку.

— Рад видеть, господин инженер, — сказал он по-немецки, — я надеялся на такую встречу.

— Спасибо вам за жену.

— Это вам спасибо — если бы не вы тогда… С этого все и началось.

— Да, кто бы мог подумать. Дома у вас благополучно? В тех местах, кажется, шли бои.

— Оказалось немного в стороне. Ну, не буду сейчас вам мешать, мы еще поговорим.

— Да, да, непременно…

— Вилли! — окликнула Таня, когда он уже выходил из комнаты. — Ты не забудешь про бумагу?

— Не беспокойся, все будет сделано, — ответил Виллем.

— Главное, чтобы побольше подписей и печатей, понимаешь?

— Да, я понял. Ну, счастливо!

— Вы с ним, я вижу, уже на «ты», — сказал Болховитинов, ощутив вдруг укол ревности.

— Еще бы, вместе прятались! С вами, кстати, нам тоже давно пора бы уже перейти на «ты» —

скоро будет три года, как мы знакомы, к тому же вы как-никак мой муж. Не смейтесь, я так часто, говоря о вас, повторяла «мой муж, мой муж», что сама в это поверила. Может быть, рискнем?

— Ну… давай! — храбро сказал Болховитинов.

— Какой ты у меня послушный! — Таня, привстав на цыпочки, чмокнула его в щеку. — Нет, мне и в самом деле трудно было последнее время говорить тебе «вы».

— Какое последнее время — в Энске?

— Нет, вот теперь. Я ведь часто с тобой разговаривала — мысленно. А ты не слышал?

— Боюсь, что нет, — признался он честно.

— Ну, это просто мы еще не на одной волне. Но расскажи, как там у вас все было! Говорят, бомбили страшно. Что в Калькаре?

— Анна и Надежда живы-здоровы, кланяются тебе. Потом расскажу. Ты-то как все это перенесла?

— Я? — Таня пожала плечами. — Просидела как у Христа за пазухой, они все там обо мне так заботились — вообще, семейство удивительное, совершенно какое-то книжное. Молодые баронессы эти, сестры Виллема, — одна моя ровесница, другая старше — они за всю жизнь ни разу не выезжали никуда, ничего не видели, на

меня смотрели вот такими глазами — ты, говорят, такая счастливая, столько всего повидала, у тебя такая интересная жизнь! Еще бы, говорю, особенно интересно было в Эссене… С младшей, Вильгельминой, чистим мы раз коровник…

— С баронессой?

— А что, мы там всё сами делали! У них нет ни одного работника, они ведь жутко бедные, сестры от приданого отказались, чтобы брата послать в университет…

— Кстати — о какой бумаге ты ему напоминала?

— Ну, это насчет тебя. Насчет твоего участия в Сопротивлении!

— Какого еще «моего участия»? Что ты придумала?

— Ничего я не придумала! Вилли рассказал, как ты устроил ему побег и как потом помогал минировать какие-то дороги…

— Это ты считаешь участием в Сопротивлении?

— Да, считаю, — с вызовом сказала Таня, — и хочу, чтобы другие тоже считали!

— Да как ты не понимаешь, что уже одной просьбой — насчет бумаги — поставила меня в идиотское, постыдное положение!

— В какое это, интересно, положение?

— В положение человека, который примазывается к чужой победе, вот в какое! Тебе это непонятно?

— Нет, мне непонятно! Ты что хочешь делать после войны — сидеть у себя в эмиграции или ехать домой?

— Ты прекрасно знаешь, что я намерен ехать домой.

— А кто тебя туда пустит — об этом ты подумал? Эмигранта, который служил у немцев!

— Не служил, а работал, это все-таки разница.

— В органах попробуешь ее объяснить, эту разницу! Да пойми же, тебе необходимо какое-то подтверждение того, что ты был здесь связан с антифашистами! И это никакая не ложь, ты ведь был связан — ты еще в Энске нам помогал, правда, я не знаю, сможет ли теперь хоть кто-то — кроме меня — это подтвердить, и здесь тоже помогал голландцам — не все ли равно чем, в какой форме, важно, что помогал! Так что ты со мной не спорь, я знаю, что делаю. Я уже все выяснила, я ведь побывала в нескольких лагерях — как только их начали создавать, все искала тебя! Так вот, здесь нам оставаться нет смысла! Отсюда всех отправляют в Бельгию или во Францию, там

уже будут наши советские представители, а они с тобой просто разговаривать не станут — эмигрант, и кончено дело, катитесь отсюда…

— Но что же тогда делать? — упавшим голосом спросил Болховитинов.

— Меня слушать, это прежде всего! Надо как-то переждать в этих краях, а потом — когда союзники войдут подальше в Германию — пробираться на восток, самим пробираться, понимаешь? Там уже совсем будет другое дело, среди своих — да, может, я и Дядюсашу разыщу, почем знать? А через Германию мы проберемся, там теперь такая будет неразбериха, начнут возвращаться беженцы, эвакуированные, неужели не проскочим? Но конечно, документы какие-то необходимы, я почему и сказала Вилли насчет этой бумаги!

Она убеждала его с таким жаром, что вся раскраснелась. Оглянувшись, схватила со стола графин с водой, жадно напилась прямо из горлышка, потом стащила с себя куртку и осталась в такого же защитного цвета гимнастерке, тоже не по росту широкой.

— Где это тебя экипировали? — улыбаясь, спросил Болховитинов.

— Вилли устроил — я так вся обносилась, ужас, и нигде ведь ничего не достанешь, а тут

американцы открыли какой-то пункт помощи беженцам — нас теперь «ди-пи» называют, — выдавали одежду, обувь…

— Он что, в армии?

— Да, в своей, просто у них сейчас обмундирование английское. Ой, ну я так рада, Кирилл, ты просто не можешь себе представить! До сих пор кажется, что это все во сне, я ужасно соскучилась по тебе за эти полгода — подумай, ведь полгода уже прошло, а кажется, будто все это совсем недавно было — когда Анна с Риделем меня на шоссе похитили… Он тоже там, в Калькаре?

— Нет, уехал в Дрезден, и я боюсь, что с ним плохо.

— Почему?

— Дрезден ведь разбомбили в прошлом месяце, он уже был там.

— Бедняга, — сказала Таня, — надо же — под самый конец! Хотя мог и уцелеть, не все же погибают. А что сестрички-лисички?

— Ты не поверишь, они решили не возвращаться. Вообще хотят жить в Германии.

Таня удивления не выразила.

— А это многие теперь, — сказала она, — я разговаривала в лагерях, примерно половина не хочет ехать. Боятся! А я вот ничего не боюсь, —

объявила она беззаботно. — Главное, мы теперь вместе, выкрутимся как-нибудь… Ой, ну я так по тебе соскучилась! А ты вспоминал обо мне хоть немножко?

— Таня, — сказал Болховитинов. — Неужели ты… до сих пор ничего не заметила? Я ведь люблю тебя — с самого первого дня, и я думал, что ты еще там, в Энске, это поняла…

Она придвинулась к нему совсем близко и, опять привстав на носки, тронула его губами где-то возле уха.

— Я все поняла и все знаю, — шепнула она, — только не надо об этом, милый…

Глава 5

Нет, не суждено было сестричкам-лисичкам остаться в Калькаре наследницами так полюбившегося им гастхауза. Через два дня после того, как уехал Болховитинов, по городку расклеили приказ, обязывающий всех иностранцев, прибывших в Германию после сентября 1939 года, в недельный срок явиться на сборные пункты, откуда Союзническая администрация помощи беженцам будет осуществлять организованную их отправку по местам довоенного проживания.

Анна, прочитав это, почувствовала слабость в коленках. Она представила себе возвращение в Краснодар, змеищ-соседок, злобно завидовавших ей с Надькой за «непыльную» работу на немецкой кухне, вспомнила, как два года назад мглистым ростепельным деньком торопливо закидывала узлы с пожитками на высокий борт вермахтовского грузовика, а змеищи глазели изо всех окошек… Хотя какой там Краснодар? Кто их теперь туда пропишет, на какую такую жилплощадь? Хорошо еще, если дадут прописку где в райцентре, а скорее всего, и туда не пустят, а загонят в какую-нибудь станицу подальше, в самый нищий, задрипанный совхоз, и будут они жить в саманном катухе, вкалывать в полеводческой бригаде или на винограднике, без прав и без паспорта…

В гостинице в этот день было пусто, Надька повезла хозяйку к соседнему бауэру по каким-то меняльным делам, постояльцев не было — накануне выехала последняя орава канадцев, а новых еще черти не принесли. Анна вдоволь наревелась у себя в комнате, потом отчаяние сменилось злостью: ладно, поглядим еще, много вас тут таких начальничков! Раскомандовались, паразиты заморские, кому куда ехать и где кому

проживать…

Выбрав в кладовке хороший окорок из тех, до которых еще не добрались заморские паразиты, она затолкала его в сумку и побежала к своему дружку вахмистру. Тот, однако, сразу замахал руками — нет, нет, он тут ничего сделать не может, достаточно того, что в свое время записал их полячками, совершив тем самым прямое служебное преступление. Сейчас он совершенно бессилен, мало того — неизвестно еще, что будет с ним самим, относительно статуса охранной полиции нет пока никаких инструкций; как знать, не отнесут ли ее оккупационные власти к категории подлежащих роспуску нацистских организаций — хотя коричневых среди шупо было мало, даже он, вахмистр, никогда не принадлежал к этим «партайгеноссен». Чего не было, того не было.

Окорок он, впрочем, взял — в обмен на ценный совет. Не надо падать духом, сказал он, и нечего заранее впадать в панику. Тут им сейчас ничего не добиться, страна оккупирована, и нарушать приказы новой власти слишком опасно. Другое дело в Голландии, куда всех вывозят, — там нет оккупационного режима, восстановлена довоенная гражданская администрация, и удрать из сборного лагеря наверняка не составит труда.

Попросту улизнуть и устроиться работать в любом крестьянском хозяйстве! Рабочих рук сейчас не хватает повсюду, а весенние полевые работы ждать не будут.

Совет был хорош, но оказался не очень-то выполним на деле. Скоро, после слезного прощания с хозяйкой, взявшей с них слово вернуться при первой возможности, сестры очутились в Голландии — но без бумаг, без знания языка (если не считать дюжины-другой словечек на нижнерейнском диалекте) и, главное, без малейшего представления о том, как действовать дальше. Хотя Анна считала себя ловкой и предприимчивой, да в какой-то степени такой и была, но качества эти проявлялись больше по мелочам, а к действиям серьезным, требовавшим обдуманного подхода, она не была приучена совершенно.

Им с Надькой до сих пор мало что приходилось решать самим. Решали за них или обстоятельства, или — чаще всего — просто другие люди, обладавшие властью. Единственный случай, когда выбор зависел от них, был там, в Краснодаре, с устройством на работу в столовку, да и то сказать, невелик был тот выбор — прислуживать немцам или голодать с больной матерью на руках… Ну а потом, в эвакуации и дальше в Германии, они

лишь выполняли то, что было приказано. Это уж им просто повезло, что попали в калькарскую гостиницу, могли ведь и на военный завод послать.

А теперь, в этих английских лагерях (они скоро потеряли им счет, переезжая из одного в другой), надо было решать свою судьбу самим, и решать быстро. А что тут решишь? Попытались было пристроиться к полякам (у тех, говорили, есть в Лондоне какое-то свое правительство и оно разрешило всем желающим остаться на Западе), но из польского сектора их турнули сразу — единственное, что Анна знала по-польски, было «ясна холера» и «вшистко едно война». А соотечественники ничем помочь не могли, сами были в таком же аховом положении.

Вчерашние остарбайтеры, освободившись, сразу сделались какими-то другими — пришибленными, осторожными, боялись лишнее слово сказать. Из них, правда, сразу выделилась группка активистов — те, наоборот, шумели, вызывающе громко распевали «Широка страна моя родная», требовали, чтобы каждый советский человек носил красную повязку на рукаве или вырезанную из жести звезду, и готовили уже какое-то культурное мероприятие — отметить День Парижской

коммуны. В одном из лагерей оказался портрет товарища Сталина в парадном маршальском мундире; активисты решили, что необходимо установить круглосуточное дежурство, а то мало ли какую могут устроить провокацию, небось, скрытых врагов хватает. Отказаться никто, ясное дело, не посмел — стояли у портрета вождя попарно, вроде как в почетном карауле, сменяясь каждые полчаса. Англичане посматривали с недоумением, но препятствий не чинили, один только нашелся явный злопыхатель — всякий раз, проходя мимо, ржал с обидным выражением и сверлил пальцем висок.

Эти же активисты поговаривали угрожающе, что не все в фашистском рабстве вели себя как подобало советским людям и комсомольцам и теперь кой-кому придется держать ответ перед Родиной.

Там уж перед Родиной или перед кем, но что ответ держать придется, Анна не сомневалась. Может, горлопаны эти потому и проявляют столько сознательности, что у самих душа не на месте — заранее хотят выслужиться. Да только этим у нас хрен выслужишься, думала она злорадно, спрос теперь будет со всех один… Сама она боялась до обмирания, хорошо хоть Надька не

ныла, подбадривала — ладно, мол, выкрутимся как-нибудь. Что с нее взять, с дуры лупоглазой, привыкла, что за старшей сестрой не пропадешь. А как тут теперь не пропасть?

Кроме страха за будущее, Анне еще и вид окружающей действительности надрывал сердце. Перевозили их из лагеря в лагерь открытыми армейскими грузовиками, вся страна была напоказ — сказка, а не страна. Люди, что ли, здесь какие-то из другого теста? У нас ли дома не работали, только и слыхать было про стахановские рекорды да трудовые победы, а из грязи и нищеты не вылезали. Германия, конечно, тоже удивила всех богатством и чистотой, но немцы, известное дело, всю Европу ограбили, потому и живут в достатке; а кого грабили голландцы? В школе, правда, Анна учила что-то про колониальную систему, только ведь на колониях все-таки, наверное, больше купцы да плантаторы наживались, а не эти трудяги с лоскутными полосочками полей и огородных грядок. Нет, тут колониализмом было не объяснить, голландские единоличники ишачили на своих лоскутах сами, без помощи негров или малайцев, — вкалывали с раннего утра до позднего вечера, благо весна была дружная, ранняя. А хаты у всех — загляденье, та кирпичная, та

штукатуренная, в темном переплете брусьев на немецкий манер, под красной, чисто промытой черепицей (здесь, казалось, и пыли-то обычной нет), все в подстриженной по шнуру зелени. Рай, не земля! Анна на любую работу была готова, лишь бы остаться тут, никуда не уезжать.

Кое с кем она все-таки постепенно сошлась поближе, те тоже не рвались домой — никто там не ждал. В одном из лагерей начальница-англичанка, немолодая и с лошадиным лицом, понимала по-немецки, и они решились наконец спросить: будут ли отправлять домой всех подчистую или только кто хочет. Англичанка долго не могла ничего понять, потом наконец до нее дошло — показав устрашающие зубы, она замотала головой, нет, нет, конечно, насильно никого отправлять не будут, свобода выбирать место проживания есть право каждого человека, это демократия, за это и сражались против Гитлера… Анна и другие девчата воспряли духом.

А наутро они нашли свои имена в вывешенном у канцелярии очередном списке отъезжающих (куда и зачем везут, не сообщалось). В путь тронулись около полудня, несколько часов колонна катила теми же ухоженными краями — крошечные поля, каналы, ветряные мельницы, кое-где

помещичьи усадьбы в уже подернутых редким зеленым дымком молодой листвы парках, тесно скученные городки, переходящие один в другой. Какой-то оказавшийся в их машине грамотей сказал, что это уже вроде и не Голландия вовсе — недавно бельгийскую границу переехали.

Под вечер стала заметна близость большого города, пошли задымленные фабриками предместья, заводские трубы, эстакады, решетчатые мачты электропередач. Скучные, без зелени, застроенные одинаковыми красно-кирпичными домами улицы постепенно расширялись, становились наряднее, просторнее, под стрижеными деревьями гуляли с собачками сытые, чисто одетые буржуи. На тенистом бульваре — солнце было уже совсем низко — машины стали тормозить у чугунной невысокой ограды, за которой по зеркалу неподвижной воды плыла, как на картине, пара белоснежных лебедей. Анна загляделась на них, разинув рот, и не заметила, как с другой стороны подошел к грузовику офицер в незнакомой форме, с широкими, как дощечки, золотыми погонами на плечах.

— Здррасте, товарищи! — гаркнул он веселым строевым голосом. — От имени командования поздравляю с освобождением из фашистской

неволи и с благополучным прибытием на родную землю! Это, конечно, так-скать, не совсем еще наша советская земля, но раз данное место временно выделено советской репатриационной миссии в Брюсселе, то это, так-скать, все равно что территория нашего посольства. Так что освобождайте транспорт, вещи с собой, и организованно, культурненько заходьте до помещения. Будьте как дома, товарищи!

«Родная земля» оказалась обширным двором, отделенным от бульвара кованой узорной решеткой, с красивым трехэтажным зданием в глубине — вроде школы. Внутри было чисто, слегка пахло дезинфекцией, из просторного вестибюля широкая лестница вела наверх, в актовый зал, большие светлые классные комнаты были уставлены новенькими деревянными койками в два этажа. В актовом зале размещалась столовая, после ужина велели не расходиться — будет политзанятие.

Пришел лектор, в таких же — дощечками — погонах. Коротко обрисовав общую обстановку на фронтах, он тоже поздравил всех с освобождением, а потом сказал, что в неволе некоторым пришлось пробыть долго, чуть ли не всю войну, и не исключено, что за это время кое-кто мог

подпасть под влияние вражеской пропаганды, усвоить чуждые, не наши взгляды, каждого такого надо сразу выявить для его же собственной пользы — чтобы помочь поскорее перестроиться, снова стать полноценным советским гражданином. Один активист, родом из Ворошиловграда, выскочил с почином, предложил начать запись добровольцев для восстановления донецкой промышленности, порушенной фашистскими гадами. Все бурно зааплодировали, но лектор успокаивающим жестом поднял руку. Этого пока не надо, сказал он, все вопросы, связанные с трудоустройством репатриантов, будут решаться на местах — там виднее, кого куда направить…

Сестры в эту ночь не сомкнули глаз от страха (даже дуру Надьку наконец проняло, ревела потихоньку в подушку) — все гадали, заложила их вчерашняя стерва-англичанка или не заложила. Могла ведь, кобылища зубастая, и сопроводиловку какую-нибудь с ними прислать — допытывались, мол, не позволят ли остаться на Западе…

Похоже все-таки, что сопроводиловка не пришла. В последующие два дня их ничем не выделяли из остальных, никуда не вызывали для отдельного разговора и даже вместе с другими

выдали пропуска для выхода в город — если кто захочет прогуляться, ознакомиться с бельгийской столицей. Столица эта интересовала сестер как прошлогоднее дерьмо; но к решетке школьной ограды то и дело подходили немолодые граждане, по-русски заговаривая с освобожденными соотечественниками, белогвардейцев в них было видать за версту, они-то и оставались теперь единственной надеждой — это Анна смекнула сразу.

Конечно, нарваться можно было на кого угодно, но теперь выбирать уж не приходилось. Высмотрев пару чистеньких старичков, которые расспрашивали, нет ли здесь кого из Петербурга, Анна отозвала их в сторонку. Автобиографию она для пущей убедительности слегка подправила: папусю, мол, сперва раскулачили, а в тридцать седьмом и вовсе посадили, следом забрали мамусю, хорошо еще, им с Надькой удалось бежать из детприемника — такого натерпелись, что не приведи господь.

Старички поужасались, поахали, назвали милочкой и бедняжкой и сказали, что постараются что-нибудь придумать. И действительно, за неделю все устроилось. Нажитое в Калькаре барахлишко сестры незаметно, мало-помалу

вынесли из лагеря, а в одно прекрасное утро ушли знакомиться с бельгийской столицей и в школьное здание на прудах уже не вернулись. Старички поселили их в мансардной комнатушке на другом конце Брюсселя, еще один белогвардеец — помоложе — свозил в полицию, где они получили временные (на три месяца) «разрешения на проживание»; что временные, объяснил он, так это ерунда, чистая формальность, они продлеваются автоматически, а потом выдадут шестимесячные — с теми еще проще. Уладилось и с работой. Анну взяли в монастырскую школу-интернат нянечкой при младших воспитанницах, пообещав быстро научить языку. Они и Надьку соглашались взять, но та не захотела, побоялась — монастырь все-таки, еще возьмут да постригут насильно в монашки, в одной книжке было про такое.

Поэтому она предпочла место прислуги в богатой бельгийской семье, где говорили по-немецки. И предпочла себе на беду. Не проработав и месяца, она в один из своих выходных дней решила еще раз сходить в большой универмаг, где недавно побывала с хозяйкой, и сразу заблудилась в путаных кривых улочках старого центра города. Перепугавшись, потеряв голову, Надька

обратилась к какой-то женщине, та отвела ее к полицейскому, тот тоже ничего не понял, повел с собой. В помещении участка она сидела и ждала, пока не увидела в дверях офицера в советской форме.

— Что, еще одна? — спросил он. — И куда вас носит, чего бегаете, как малахольные, все равно ведь никого тут не оставят. Американцы-то хотели бы, ясное дело, им рабы на плантациях во как нужны… Ладно, ладно, нечего реветь, скажи спасибо, что нашлась! Ты что ж думаешь, советская власть о своих гражданах не позаботится? Мы этим союзничкам вполне авторитетно заявили: будете препятствовать репатриации, силой удерживать тут советских людей, так от нас тоже ни один ваш пленный домой не вернется. А мы-то их много уже освободили, чуть не пол-Германии прошли. Вон, сводка была — войска Первого Украинского преодолели речку Шпрею, слыхала? А Шпрея, она ведь через самое логово протекает, так что капут теперь гадам, скоро домой поедешь. Ну, идем, я тут с машиной…

Глава 6

В этот день на наблюдательный пункт генерал-полковника Николаева, выдвинутый к самой переправе, прибыл командующий фронтом. Командарм, с красными от бессонницы глазами, одетый в защитный комбинезон без знаков различия, немногословно доложил обстановку. Впрочем, отсюда она была видна и без пояснений, вся как на ящике с песком в штабной игре. Корпуса 7-й гвардейской танковой армии пошли через Шпрее сразу после полудня, форсировав ее с ходу и вброд. Был солнечный безветренный день, слегка мглистый от дыма горящих лесов, и сизый газойлевый чад стоял над неширокой — в полсотни метров — мирно поблескивающей под солнцем рекой. Леса горели и там впереди, за Шпрее, и сзади — где вчера танковые дивизии СС «Богемия» и «Лейбштандарте» пытались задержать нашу ударную группировку, проломившую Лаузитц-Нейсенский оборонительный рубеж.

Пытались, но не смогли. Два с половиной часа артподготовки и непрерывные удары штурмовой авиации вывели из строя всю систему управления и нарушили запланированный противником

поэтапный ввод оперативных резервов; лишившись единого руководства, оборона распалась на разрозненные очаги сопротивления; уже к вечеру первого дня операции вся тактическая полоса «Позиции Матильда» была взломана на ширину тридцати километров. И сегодня здесь, на Шпрее, дело шло на удивление гладко.

Стреляли с левого берега как-то необычно для немцев, вяло и бессистемно, а потом огонь и вовсе прекратился — как только туда добрались первые наши танки. Т–34 шли через реку не задерживаясь, взметывая из-под гусениц сверкающие сдвоенные фонтаны и волоча за собой синеватые шлейфы выхлопа. Через два часа после начала переправы понтонеры навели первый тридцатитонный мост, и по нему уже катили грузовики и бронетранспортеры; рядом спешно достраивался другой, шестидесятитонный, для тяжелых танков и самоходной артиллерии.

— Ну что ж, Александр Семеныч, — сказал маршал, не оборачиваясь к стоящему за его плечом командарму, — у тебя, я вижу, тут порядок… Только гляди, не слишком ли твои орлы жадничают. — Он указал подбородком на ожидающие переправы танки, громоздко навьюченные разным походным скарбом — бревнами, фашинами,

свертками брезентов, двухсотлитровыми бочками с горючим. — Цыгане, а не танковая бригада! А вон тот — ты глянь, глянь! — еще и канистрами весь обвесился, ну куркуль… До самой Эльбы, что ли, решил больше не заправляться?

— Армия идет в глубокий рейд, товарищ маршал, — ответил Николаев, — тут приходится быть запасливым…

Пробыв недолго, командующий фронтом уехал. Переправа продолжала действовать налаженно, и Николаев тоже решил вернуться в штаб — делать здесь было пока нечего. Он попрощался с командирами корпусов и пошел к своему «виллису»; позади взревел, тяжело взбираясь по песчаному откосу, бронетранспортер с автоматчиками охраны. Скоро машины достигли места вчерашних боев — кое-где еще горел редкий сосняк, вернее, оставшиеся от него уродливые, посеченные осколками огрызки стволов, между которыми тут и там чернели сожженные, в копоти и окалине, или развороченные взрывом туши «ягд-пантер» и «тридцатьчетверок», каркасы грузовиков, раздавленные противотанковые пушки, запрокинувшийся в воронке колесно-гусеничный тягач, днище и вывороченный вперед неправдоподобной толщины

лист лобовой брони «фердинанда» с огромным хоботом орудия, зарывшегося в землю дульным тормозом. И дымный воздух над этим местом побоища, над свалкой железной падали, содрогался сейчас от рева и лязга другой техники, живой и победоносной. Навстречу «виллису» командарма по разбитой лесной дороге перли на полной скорости танки и самоходки, грузовики с понтонами и ящиками снарядов, бензозаправщики и громоздкие автофургоны походно-ремонтных мастерских — сквозь проделанную вчера брешь в прорыв вводились войска второго эшелона, техника и живая сила. Последняя, еще по-зимнему в ватниках и ушанках, ехала в заваленных воинской поклажей кузовах «студебекеров», сидела на броне, упершись ногами в прикрученные вдоль борта бревна, — кто покуривал в кулак, кто деловито шуровал ложкой в котелке, усатый немолодой автоматчик с удалью рвал мехи баяна, пристроившись на крыше зарядного отделения самоходки.

Николаев тронул водителя за плечо — «виллис» послушно юркнул на обочину, затормозил. Адъютант вопросительно глянул на командарма, но тот ничего не сказал, вышел из машины и, прихрамывая, поднялся на невысокий пригорок.

Здесь дорога была видна до самого поворота. Грузовики выезжали оттуда, неторопливо переваливаясь на колдобинах; потом опять пошли «зверобои», новые СУ–100. Одна за другой, через одинаковые интервалы, установки с ревом вырывались из-за поворота, притормаживали, рывком крутнувшись на правой гусенице, — так, что из-под левой хлестало песком и камнями, — и снова, раскатисто взревев на перегазовке, устремлялись вперед уже по прямой, окутанные синим туманом дизельного перегара, ныряя на ухабах, тяжко и угрожающе раскачивая поднятыми на предельный угол возвышения, словно занесенными для удара, длинными стволами пушек. Это было пополнение 2-го мехкорпуса — тускло отсвечивающие свежей заводской краской брони, еще без язвин от осколков и электросварочных шрамов, что отличают побывавшую в боях технику, установки эти всего какую-нибудь неделю назад вышли из сборочных цехов где-то за Уралом; и потом — сутки за сутками без остановки — гремели по рельсам колеса тяжелых четырехосных платформ, и гулким железным громом взрывались под ними пролетающие мосты, и зеленые семафорные огни летели навстречу как трассеры, и проносились мимо полустанки и уз-

ловые станции с отведенными на запасные пути пассажирскими составами, кружились вокруг пустынные приволжские степи, клочья паровозного дыма оседали в зеленеющих уже березовых перелесках Подмосковья; а литерные эшелоны летели с воем и грохотом все дальше и дальше — через Смоленщину, через Белоруссию, через Польшу — и сейчас, здесь, на размолоченной гусеницами и колесами фронтовой дороге между Нейсе и Шпрее, каждую из этих боевых машин продолжала гнать вперед инерция движения, накопленная ими за весь этот трехтысячеверстный путь на запад…

Вернувшись в штаб армии, расположившийся в поместьице какого-то заблаговременно сбежавшего барона, Николаев еще раз связался с командирами корпусов: две передовые бригады продвинулись уже на одиннадцать километров, так и не войдя в соприкосновение с противником. Это настораживало. Впрочем, вчера на «Матильде» немцы не только израсходовали свои оперативные резервы, но и — судя по показаниям пленных — бросили в бой даже часть резерва Главного командования. Возможно, у них уже просто не осталось свободных сил в этом секторе, и теперь все боеспособные части отводились на

южный фас Берлинского укрепленного района. Это же предположение высказал и командир шестого корпуса.

— Будем надеяться, — сказал Николаев, — но действовать надо осмотрительно. Что там в этих чертовых лесах, авиаразведка выяснить не смогла, и я к тому же не уверен, что это действительно пожар. Противник мог поставить дымы. Словом, Василий Романович, договоримся так: продвигаться осмотрительно, но не снижая темпов. Как-никак до Виттенберга еще больше ста километров.

— У нас в деревне говорили: хорошему кобелю сто верст не крюк, — сказал комкор–6. — Через неделю будем пить виски в штабе генерала Бредли.

— Ну, это уж вы сами братайтесь с союзниками, коли такой храбрый, а пока позаботьтесь о том, чтобы завтра в середине дня ваши бригады вышли к Финстервальде…

Поговорив еще с начальником оперативного отдела, Николаев решил часок отдохнуть — пока есть возможность. Две последние ночи он спал по три-четыре часа и сейчас чувствовал себя совершенно измочаленным. К тому же и нога проклятая разболелась — впору хоть палку

заводить… Прихрамывая, он добрался до своей комнаты, где была приготовлена постель, но тут за окном протрещала короткая автоматная очередь, послышались крики, поднялась беготня. Николаев вызвал адъютанта и сердито спросил, какому идиоту понадобилось стрелять под самыми окнами.

— Ничего серьезного, товарищ командующий, — успокоил адъютант, — вы отдыхайте. Вервольфа там ловили, чуть было снова не удрал…

— Передайте мои поздравления начальнику охраны. Следующего он вытащит у меня из-под койки?

— Никак нет, вервольф был задержан не на территории штаба, а в лесу. Когда его доставили сюда, пытался бежать, и конвоир дал предупредительную очередь. Собственно, это не совсем вервольф, а скорее… ну, вервольфиха, что ли!

Николаев вскинул левую бровь.

— Женщина?

— Совсем девчонка, — пренебрежительно сказал адъютант. — Ну, вы отдыхайте, я вас разбужу, если что.

— Минутку. — Николаев задумался, потирая шрам на подбородке. — Прикажите-ка привести

ее сюда.

— Товарищ командующий! Неужели, кроме вас, некому ею заняться? Вы же прошлую ночь совсем не спали!

— Успею. Любопытно взглянуть, что это за «оборотень».

«Оборотня» привели. Действительно, оказалась девчонка лет шестнадцати, белокурая, круглолицая, в маскировочной куртке парашютиста и таких же брюках, заправленных в низкие брезентовые краги. На скуле у девчонки краснела едва поджившая ссадина, в растрепанных косах запутались сухие иголки хвои. Войдя, она метнула по сторонам затравленный взгляд и, вызывающе уставившись на Николаева, вскинула правую руку.

— Хайль Гитлер! — крикнула она простуженным детским голосом.

Командарм с любопытством смотрел на нее, разминая папиросу. Потом обернулся к протянувшему зажигалку адъютанту:

— Она что, была вооружена?

— Так точно — четыре гранаты, «вальтер».

Николаев снова посмотрел на девчонку.

— Ты имела при себе оружие. Пострелять захотелось? Прекрасное занятие, особенно в твоем

возрасте. Где родители?

— Отец пал на Восточном фронте, мама с младшей сестрой эвакуировались, когда иваны подходили.

— Откуда эвакуировались?

Девчонка, помолчав, назвала маленький городок к юго-востоку от Вейсвассера. Николаев глянул на разостланную по столу карту, поводил над ней дымящейся папиросой.

— Есть такой. А ты, значит, осталась мстить за отца. В какой организации состоишь?

— «Союз германских девушек».

— Не делай вид, будто не понимаешь, о чем я спрашиваю. Ты член «Вервольфа»? Много вас тут, таких «мстителей»?

— На этот вопрос я отвечать отказываюсь!

— И все-таки ответить тебе придется. Не здесь, так в другом месте. Мы не можем… — Николаев запнулся, подыскивая немецкое слово, и продолжал медленно: — Не можем позволить, чтобы в нашем тылу бродили стаи ошалевших волчат… вроде тебя. Которых твой обожаемый фюрер посылает на смерть — за неимением более подходящего пушечного мяса. Ты до сих пор не поняла, что Германия проиграла войну?

У девчонки задрожали пухлые обветренные

губы, глаза налились слезами.

— Вы… вы еще увидите — в Берлине, как мы ее «проиграли»! — выкрикнула она с ненавистью. — Мы вам покажем!

— Вероятно, — согласился Николаев. — Еще как покажете. Немецкий солдат умеет драться до конца, кто же этого не знает. Но ведь в Берлине вместе с русскими… с иванами, как ты нас называешь, погибнет и много фрицев. Это тебя тоже радует? Ступай! И послушайся моего совета — когда тебя будут допрашивать, не выгораживай мерзавцев, которые посылают вас шляться по лесу с гранатами в карманах…

Адъютант приоткрыл дверь, распорядился увести.

— Вот что, — сказал Николаев, — надо будет отправить ее обратно, в этот… как его — Ритшен, что ли. Пусть там с ней потолкуют, на месте видней, фашисты, в принципе, могли создать разветвленную сеть…

Не успев лечь, он уже почувствовал, что заснуть не удастся. Девчонка-«оборотень» так и стояла перед глазами — взъерошенная, перепуганная, пытающаяся скрыть страх за этими своими «хайль Гитлер» и «мы вам еще покажем». А рядом с ней стояла Таня, и это уже было совсем

ни к чему.

Думать о судьбе племянницы он не имел права, в его положении это было непозволительно. Запретность, недопустимость этих мыслей стала ему ясна после прошлогодней поездки в освобожденный Энск, откуда он — пообщавшись с Шебеко и пленным остзейцем — вернулся в совершенно неработоспособном состоянии.

Есть вещи, которые нельзя себе позволять, если тебе приходится руководить войсками на оперативном уровне и слишком многое зависит от того, четко ли в нужный момент сработает голова, не сдадут ли нервы…

Благо спасительным этим умением — четко отличать дозволенные мысли от запретных — он овладел давно, еще за десяток лет до войны поняв: иначе просто нельзя. Международная обстановка была в то время относительно спокойной, но газеты без умолку твердили о капиталистическом окружении, о зловещих замыслах империалистов, и свой долг профессионального военного он видел в том, чтобы нести службу как можно исправнее, делать для повышения боеспособности армии все, что было в его силах. Да, на многое приходилось закрывать глаза; в начале тридцатых он, к счастью, служил в Средней Азии

и происходившего на Украине не видел. Слыхать, впрочем, слыхал. Но что толку раздумывать над тем, чего не можешь изменить?

Этот же безотказный механизм отсечения ненужных мыслей обычно действовал и применительно к судьбе племянницы. Терзать себя заведомо безответными вопросами — что с Таней, где она, жива ли вообще — было глупо; единственное, что он мог для нее сделать (если она жива), это в меру своих сил содействовать скорейшему окончанию войны. Остальное выходило за пределы его возможностей, поэтому и не должно было становиться предметом бесполезных раздумий, подлежало отсечению. Сегодня, однако, это не получалось, механизм не срабатывал.

Если бы обитатели поместья не сбежали, проще всего было бы отдать задержанную им под надзор, пока не найдутся мать и сестра. При эвакуации должны же были им сообщить пункт назначения — хотя бы приблизительно. Но пристроить вервольфиху здесь не к кому, так что правильно он сделал, распорядившись отправить ее домой. Да и выяснить, конечно, не лишне, почему все-таки она оказалась здесь, для чего, кто снабдил ее оружием. А ведь на вид этакая гретхен…

…Да, эвакуацию они всегда проводят органи-

зованно, позавидуешь и тут их «орднунгу». Мы даже этого не умели. Хотя нельзя сказать, что немцы продвигались тогда быстрее, чем мы сейчас. Бывали, конечно, и глубокие прорывы, но в августе под Энском (он потом разузнал досконально) события развивались даже, можно сказать, несколько вяло — непривычно для того лета. Одиннадцатого была оставлена Куприяновка, фактически фронт оказался прорванным, но противник этим сразу не воспользовался. Возможно, перегруппировывался, подтягивал силы для удара к Днепру; Энск он занял только двадцатого. Девять дней было у стервецов, целых девять суток! И ведь все оставили немцам, всех жителей, всю промышленность… Киев можно эвакуировать за такой срок, не то что областной городишко. Только и сумели, что взорвать, уже убегая, несколько уцелевших от бомбежки цехов. В тот приезд не удержался, спросил у Петра — как все-таки могло такое получиться; так ведь не ответил ни слова, промолчал. Да и что мог ответить? Что пуще огня не того боялся, чтобы упустить время, опоздать с эвакуацией, а чтобы его — товарища Шебеко, возглавлявшего тогда военный отдел обкома КП(б)У, — не обвинили в паникерстве, в пораженческих настроениях. Да.

А в гражданскую ведь, говорят, отличным себя проявлял организатором — смелым, инициативным… Перековали, ничего не скажешь. Если бы его одного!

Нет, все равно не заснуть. Проворочавшись на койке с полчаса, Николаев встал и спустился на первый этаж, где работал оперотдел. Общая картина обстановки оставалась прежней: передовые подразделения продолжали продвигаться в направлении Дребкау, противник оказывал сопротивление только на флангах — правом, южнее Котбуса, и левом, на северном оборонительном обводе Шпремберга. Командарм долго стоял над картой, поигрывая циркулем. Немного настораживало отсутствие каких бы то ни было заслонов впереди, по оси главного удара, но это могло объясняться просто нехваткой у противника оперативных резервов. В целом же пока все шло без помех, и, однако, его не покидало тревожное ощущение какой-то неопределенности. Как ни странно, появилось оно еще днем, когда приехал маршал; хотя в самом факте приезда командующего фронтом ничего необычного не было…

Он попросил заварить чаю покрепче, снова вызвал по рации командира шестого корпуса

— его танки забирали сейчас вправо, нацеливаясь перерубить железнодорожную линию между Котбусом и Финстервальде, — и спросил, нет ли на том участке чего-либо нового. Никак нет, ответил комкор, признаков оживления противника не наблюдается; можно сказать, и противник-то сам хрен его знает куда девался. Именно это мне не нравится, ответил командарм.

Адъютант принес чай, Николаев машинально посмотрел на часы — было уже около двадцати трех. Не успел он допить первого стакана, как позвонил командующий. Трубку аппарата ВЧ Николаев взял в полной уверенности, что вот сейчас-то предчувствие и оправдается, преподнесет начальство какой-нибудь сюрпризец. И действительно, не ошибся.

— Вот что, Александр Семеныч, — неторопливо сказал маршал и сделал весомую паузу. — Я тут, понимаешь, только что говорил с Верховным. Жуков, похоже, крепко увяз на тех высотках. — В голосе Конева прозвучало нескрываемое удовлетворение. — Вторые сутки шурует, а толку с гулькин нос… тактическая зона еще не пройдена! А у него там артиллерийская плотность до трехсот стволов на километр фронта, это ж, понимаешь, неслыханное дело — чтобы с такой

огневой поддержкой двое суток на одном месте дрочиться… Как там у тебя, кстати?

— Изменений в обстановке нет, товарищ маршал, армия выходит в оперативное пространство.

— Добро, добро… Значит, такое дело: все-таки с юга Берлин будем брать мы.

Николаев долго молчал.

— Ну, чего притих, — ворчливо сказал комфронта, — недоволен, что ли? Или не ожидал, что выпадет и твоим орлам такая, понимаешь, высокая честь — добить зверюгу в его логове?

Ожидать-то ожидал, именно этого и опасался; но все же была надежда, что не пойдут на это, что здравый смысл возобладает. Хотя какой у нас, к черту, в таких делах «здравый смысл»…

— Нет-нет, я просто подумал, — торопливо отозвался Николаев и сказал первое пришедшее в голову: — Мы ведь таким образом вторгаемся в полосу соседа?

— Никуда мы не вторгаемся, не бойся. Разграничительная линия сам знаешь докуда была доведена — западнее Люббена ее нет, вопрос, так сказать, остался открытым…

Да, Конев две недели назад не удержался, похвастал — добился-таки своего: на совещании

в Ставке разграничительную линию между 1-м Белорусским и 1-м Украинским Верховный собственноручно исправил, оборвав ее юго-восточнее Берлина и тем самым как бы признав возможность взаимодействия обоих фронтов в предстоящей операции. Коневу только это и надо было, ему уже с января месяца не давала покоя мысль, что всю славу перехватит Жуков. Но маршальские амбиции — ладно, дело житейское. Хуже было другое: участие 1-го Украинского имело смысл только в одном случае, если Берлин решат брать в кольцо. А говорят — не надо верить предчувствиям. Весь день было не по себе…

— Так точно, товарищ маршал, — сказал он. — Что ж, поздравляю вас с доверием Ставки, это действительно высокая честь для войск фронта. Но Жукова Зееловский рубеж надолго не задержит, от силы еще сутки, следовательно, чтобы нам поспеть не к шапочному разбору, армию придется повернуть немедленно, сегодня же ночью…

— Не «повернуть», а только «довернуть», — поправил командующий. — Ты сейчас куда нацелен? Глянь-ка на карту — на Виттенберг, верно? А вместо этого пойдешь на Лукенвальде — Барут — Бухгольц, доворот-то всего… каких-

нибудь пятьдесят градусов. Неужто не поспеешь к утру? Уж в Седьмой-то танковой со связью и управлением всегда был полный ажур, я вон тебя даже в пример другим ставлю! Думаю, генерал-полковник, ты и на этот раз окажешься на высоте. Словом, давай связывайся немедля с корпусами, директиву получите через три часа — уже готовят. А времени действительно мало, я-то понимаю, что значит повернуть такую махину в наступлении, да еще ночью… Теперь главное! График, значит, у тебя будет такой: девятнадцатого ты должен быть в Баруте, двадцатого — в Цоссене и выйти на рубеж Тельтов-канала; и двадцать первого — ни днем позже! — в самом Берлине. А завтра уже восемнадцатое — хотя какое «завтра», можно сказать, сегодня уже, время-то к полуночи… Значит, жми изо всех сил! Бригады разворачивай веером — и жми, о флангах не думай, это не твоя забота. Узлы сопротивления обтекай, их будут ликвидировать общевойсковые армии, а тебе — вперед и только вперед! Главное, чтобы через трое суток ворваться в Берлин…

Положив трубку, командарм шепотом выругался длинно, витиевато и для себя непривычно (к помощи российской изящной словесности он прибегал лишь в крайних случаях, когда уж

совсем подпирало). Ему вспомнился давешний лихой усач с баяном на крыше самоходки и еще другой, молоденький, совсем мальчик, в съехавшей набок большой не по размеру каске, который трясся на борту «тридцатьчетверки», неловко вцепившись в приваренную к броне скобу и придерживая на груди автомат. Он еще подумал тогда: ну, эти-то, бог даст, и вернутся домой; до Эльбы рукой подать, а когда соединимся с американцами и стратегический фронт противника окажется рассечен надвое — не исключено, что он и пардону запросит, дальнейшее сопротивление потеряет всякий смысл…

А теперь, значит, их всех напоследок в мясорубку — и баяниста, и мальчонку в каске, и того, что по-крестьянски сосредоточенно хлебал из котелка, примостив его в коленях, и многих, многих других. Всех, кто могли бы вернуться домой, но теперь не вернутся, потому что Конев не хочет делиться славой с Жуковым, а Сталин — с Эйзенхауэром, и поэтому эндшпиль решено разыграть самым испытанным из всех возможных способов: чтобы побольше крови. Просто, надежно, а главное — освящено, так сказать, традицией…

Что вокруг Берлина затевается какая-то нечистая игра, он стал догадываться неделю назад,

когда американцы остановились на Эльбе севернее Магдебурга — менее чем в сотне километров от западных предместий столицы. Дошли туда практически без боев, оставив позади окруженную в Руре группировку Моделя, и остановились. Почему? Была, значит, соответствующая договоренность на высшем уровне? 1-й Белорусский фронт в это время заканчивал приготовления к решающему удару с Одера; расстояние до Берлина было примерно то же, до начала операции оставалось четыре дня — достаточно, чтобы согласовать действия с американцами, ударить сразу отсюда и оттуда. А если бы времени и не хватило, если бы оказалось, что к шестнадцатому союзники не успеют создать на Эльбе ударную группировку нужной силы, — так почему именно шестнадцатого, что мешало отсрочке на неделю, да хотя бы и на две? Какие военные соображения могли этому препятствовать? Как раз в чисто военном аспекте такое решение было бы самым верным: вынужденный обороняться против нас под Зееловом и против американцев под Бранденбургом, берлинский гарнизон попросту растаял бы, сдаваясь в плен союзникам…

— Стратеги, вашу мать, — пробормотал командарм и залпом допил остывший чай. Кон-

центрический штурм «логова» обернется кровопусканием, какого не было со времени Курской битвы, — там ведь собрана последняя элита вермахта и СС — в окружении они будут драться до конца, как смертники… Зато мы окажемся первыми и единственными, зато к Первому мая будет чем порадовать советских людей, шарахнув над Кремлем какой-нибудь не виданный доселе салют и разослав по стране лишнюю сотню тысяч похоронок…

Он вызвал начальника штаба, начальника оперативного отдела, сообщил новость. Оба помолчали, потом начштаба сказал:

— Ну что ж, это, конечно, почетное для нас задание… Выходит — так я понимаю — Берлин будем окружать?

— Правильно понимаете, — кивнул Николаев. — Но окружать его будут другие, общевойсковые армии, а наше… почетное, как вы изволили выразиться… задание состоит в том, чтобы проломить южный фас берлинской обороны через Тельтов-канал.

— М-да… Вообще-то, не очень это разумно — перекрыть им пути отхода в западном направлении. Все-таки гарнизон в двести тысяч…

— Я думаю, — сухо сказал командарм, — что

еще неразумнее обсуждать решения Ставки. Да еще вслух. Итак, попрошу срочно вызвать командиров корпусов — это первое. Второе — всем подразделениям, действующим… — он нагнулся к разложенной по столу двухкилометровке, водя над ней сомкнутыми ножками циркуля, — …действующим к северу от линии… Ренсдорф, Грайфенхайн, Притцен, немедленно радировать «стоп». Паузу использовать для проверки матчасти, дозаправки, пополнения боезапаса. Тем, что действуют южнее указанной линии, предельно ускорить темп продвижения и не позднее пяти тридцати выйти в район Альтдоберн — Липтен. В шесть ноль-ноль всем подразделениям армии радировать приказ «Вперед, на Барут»…

К трем часам ночи, когда в войсках была получена новая директива фронта, сложнейший маневр поворота огромной танковой армады уже начал осуществляться. Экипажи двух бригад шестого корпуса, вырвавшихся далеко вперед и внезапно остановленных на линии Котбус — Дребкау, над причиной задержки не задумывались. Стали подходить груженные бочками и ящиками «студебекеры», поступил приказ взять дополнительное — сверх комплекта — боепитание, пополнить запас горючего, погрузить в

танки продовольствие из расчета трех суточных выдач. Ладно, стоять так стоять, заправляться так заправляться; устало перешучиваясь и по привычке кроя бронебойным гвардейским матом всех на свете, начиная от кровавого гада Адольфа и кончая чмошниками-интендантами, танкисты из рук в руки — по цепочке — перекидывали тяжелые скользкие цилиндры 85-миллиметровых унитаров, пулеметные диски и коробки лент, под завязку набивали вещмешки хлебом и консервами, бережно рассовывали по укромным местечкам внутри машин фляги с трофейным вермутом, полученным в качестве спецдоппайка. Перемазанные солидолом механики, посвечивая переносками, копались в раскрытых люках моторных и трансмиссионных отделений, подтягивали, смазывали, регулировали, заливали газойлем запасные баки, проверяли натяжение гусениц…

А южнее — там, где, подгоняемые нетерпеливыми радиоприказами, выходили в район перенацеливания батальоны и бригады двух других корпусов, — одурелые от бессонницы офицеры связи тряслись в «виллисах» по разбитым лесным дорогам, надрывно выли перегруженными моторами вязнущие в песке автоколонны,

и танки со включенными фарами врывались в узкие улочки брошенных жителями городков. Слепящие конусы света вспышками вырывали из мрака памятник посреди тесно обставленной домами площади, засыпанные стеклянным крошевом пустые витрины, ярко белеющий лист какого-то воззвания с простершим крылья черным имперским орлом в заголовке, намалеванный аршинными буквами на красной кирпичной стене лозунг «Sieg oder Sibirien»[79], брошенную со сломанным колесом повозку. Безлюдный городок сразу окутывался чадным сизым туманом, от неистового рева дизелей и бешеного железного грохота гусениц по булыжнику дрожали стены и неслышно звенели уцелевшие еще оконные стекла, а мусор на мостовых — свидетельство поспешного бегства — обрывки газет, солома, письма и фотографии из семейных архивов, перинный пух, листовки, пепел сожженных в последнюю минуту документов — взвихривался и крутился за проносящимися, как торпеды, «тридцатьчетверками». Потом опять становилось тихо, медленно рассеивался дым, оседала пыль, и где-то в ночи постепенно смолкал шум двигателей

---

[79] Notes: 79
«Победа или Сибирь» *(нем.)*.

— там, на западе, в сторону Альтдоберна…

А громыхающие стальные коробки танков продолжало бросать и раскачивать по исковырянному мелкими воронками асфальту, по мягким проселкам, по ухабам лесных дорог. Незадолго до рассвета прошел небольшой дождь, посвежело, пахнущий сыростью и древесной гарью ветер врывался в распахнутые люки. Механики-водители со слезящимися от напряжения глазами, держа натруженные руки на рычагах фрикционов, гнали машины чуть ли не вслепую, ориентируясь лишь на тусклые в дыму кормовые огни впереди идущего. Экипажи были измотаны до предела, но сейчас они держались уже словно на втором дыхании — какая-то бесшабашная лихость овладевала в эту ночь людьми, уже третьи сутки не выходившими из боев. Вчера на Нейсенском рубеже они дрались с «ягд-пантерами» элитной дивизии СС из персональной охраны фюрера — а сейчас, не видя противника, осуществляли этот странный марш-бросок через пустоту, глубже и глубже вгоняя танковый клин в неразведанное пространство. Через несколько часов им предстояло повернуть свои машины на север — на направление главного удара.

В баронском поместье, где только вчера рас-

положился было штаб армии, уже шла обычная предотъездная суета. Связисты снимали провода, упаковывали аппаратуру, офицеры укладывали в железные ящики папки и карты, солдаты, чертыхаясь вполголоса, заносили в двери опрокинутые набок столы, таскали брезентовые складные койки и пишущие машинки. Эрика Фишер не спала в маленькой, без окон, пустой каморке, куда ее заперли после разговора с командующим. Она сидела на полу, обхватив руками колени, перебирала в уме этот разговор и задним числом не могла простить себе, что не догадалась тогда о высоком ранге говорившего с нею русского офицера. Несомненно, это было какое-то важное лицо — может быть, даже генерал; она поняла это только теперь, вспомнив, каким почтительным тоном обратился к нему другой русский, помоложе, что привел ее в ту комнату. К тому же на старшем не было ни погон, ни орденов, и одет он был как-то непривычно — в застегнутом на «молнию» оливкового цвета комбинезоне. Обычно только важное начальство позволяет себе одеваться так просто и не по форме. О, если бы она только догадалась в тот момент! Она повернула голову в темноте и прислушалась к шагам и непонятному разговору за дверью, где тащили по

коридору что-то тяжелое; потом потрогала ногу возле щиколотки, потуже застегнув ремешок брезентовой краги, в которую была заправлена штанина. Сквозь ткань брюк успокоительно прощупывался небольшой тяжелый предмет цилиндрической формы; хорошо, что брюки широкие и жесткие, снаружи ничего не заметно. Вечером там, в лесу, услышав приближающиеся голоса русских — прятаться было уже поздно, — она по какому-то внезапному наитию решила спрятать одну из гранат, быстрым движением оттянула пояс брюк и опустила ее туда. Остальные четыре остались в карманах — небольшие, без рукояток, похожие на бочоночки М–34 с ударным взрывателем мгновенного действия. Их русские отобрали сразу, как и пистолет. Найдя оружие, они покачали головами, один сказал: «Ай-яй-яй, никс гут фрейлейн, шлехт». Она очень боялась, что ее заставят раздеться, но русские только обшарили карманы, потрогали и похлопали тут и там. На куртке тоже вывернули карманы, прощупали швы. Потом один из солдат сказал «ком, давай» и показал куда-то стволом маленького ручного пулемета с диском посередине. Если бы только она догадалась, кто был этот вражеский офицер в комбинезоне со страшными шрамами

ожогов на лице! Они бы ничего не успели сделать — достаточно было просто выдернуть штанину из краги и быстро нагнуться…

Шестнадцатилетняя Эрика Фишер смотрела перед собой в темноту широко раскрытыми сухими глазами, и сердце ее готово было разорваться от отчаяния. У нее в душе вообще уже не осталось ничего, кроме отчаяния и ненависти. Ненависти к русским, которые убили папу (а он еще жалел их там, в лагере!), которые убили маму с Марихен, ненависти к американцам, которые сожгли их дом и заставили приехать сюда, а больше всего — ненависти к своим же немцам, трусам, пораженцам и дезертирам, проигравшим так хорошо начатую фюрером войну. Никаким членом «Вервольфа» она не была, девушек в эту организацию не принимали; да она и не верила, что вервольфы смогут что-то делать. Если ничего не смог сделать даже вермахт, даже люфтваффе!

Последние три месяца Эрика не училась, а работала — помещение гимназии заняли под лазарет, мальчиков забрали в «фольксштурм» или вспомогательные части зенитной артиллерии, а девочек объявили трудмобилизованными. Вместе с одноклассницами она копала противотанковые рвы и орудийные капониры, ухаживала за ранеными,

чистила картофель на кухне эвакопункта, развозила на велосипеде повестки. А потом началась эвакуация, для них — год назад вывезенных из разбомбленного Эссена — уже вторая.

С матерью и семилетней сестрой, которая как нарочно заболела скарлатиной, ей удалось получить места в последнем уходившем из Ритшена эшелоне. Им сказали, что они поедут в Котбус, а оттуда — в Магдебург; но паровоз был совсем старый, и набитый беженцами длинный тяжелый состав еле полз. На перегоне между Вейсвассером и Шпрембергом русские штурмовики расстреляли его термитными и осколочными ракетами.

Это случилось позавчера, уже под вечер. Что было потом — в ту первую ночь — Эрика не помнила совершенно, а утром ее где-то в лесу подобрала армейская автоколонна. Они то ехали, то подолгу стояли в узких просеках, а низко пролетающие самолеты с красными звездами на крыльях бомбили лес, и на востоке — там, где, по ее представлению, должна была остаться Нейсе, — словно бушевала чудовищная гроза, заставляя землю дрожать от непрекращающихся громовых раскатов. А потом — до этого они около часа спокойно ехали по хорошему шоссе, и даже стало как будто немного тише, — колонна

наткнулась прямо на русских.

Эрика сначала ничего не сообразила, не успела даже испугаться — грузовик вдруг вильнул к левой обочине и затормозил так резко, что все в кузове попадали друг на друга, солдаты, что-то крича, стали прыгать с бортов и убегать в лес, и она тоже спрыгнула, и побежала, и скатилась в яму под комлем вывороченной с корнями сосны. Она сидела там, сжавшись, все еще ничего не понимая, а с шоссе доносился странный шум — стремительно нарастающий слитный железный рокот, не похожий ни на гул самолетов, ни на знакомый ей звук немецких танковых двигателей. Рокот быстро приближался, становился все громче и оглушительнее, потом — совсем близко — раздался какой-то трескучий удар. Эрика выглянула из своего укрытия и увидела, как, теряя чемоданы, опрокинулась на обочину открытая машина, в которой ехали впереди какие-то офицеры; и в ту же секунду низкий, непривычной формы танк с грохотом протаранил перегородивший шоссе огромный трехосный «бюссинг» — тот рухнул набок, разваливаясь на куски, и сразу вспыхнул, а танк вздыбился, с неожиданной для такой махины легкостью перемахнул через груду пылающих обломков и понесся даль-

ше, ныряя и раскачиваясь, как лодка. Второму такому же попался на пути отброшенный на обочину легковой «мерседес», он ударил его, зацепил и поволок перед собой, ломая и корежа, пока исковерканная машина не перевернулась, зацепившись за что-то, и сплющилась под гусеницами, как пустая яичная скорлупа. Один за другим танки проносились с оглушительным ревом — окрашенные в тусклый зеленовато-коричневый цвет, с какими-то белыми цифрами и буквами на конической формы башнях, с низко скошенной лобовой броней, они словно распластывались от неправдоподобной скорости своего движения. Один, не замедляя хода, повел вбок башенным орудием, качнул им вверх-вниз и выстрелил по уже съехавшему с шоссе грузовику, который пытался укрыться в поперечной просеке. Грузовик взорвался, горящие обломки, крутясь, полетели в разные стороны, по желтой прошлогодней хвое побежали дымные огоньки. А танки крушили и таранили дальше, и, когда они наконец исчезли — так же внезапно, как и появились, — автоколонны уже не было, и только пылали груды бесформенного исковерканного железа, раскиданного по шоссе на протяжении двух километров. Догорали обрывки брезента

на покореженных каркасах, жарко полыхал растекающийся по бетону бензин, и еще что-то трещало и взрывалось тут и там, расшвыривая сгустки огня. Удушливо пахло горящей резиной. И дикие, нечеловеческие вопли неслись из этого пылающего месива — так же страшно кричали люди накануне, когда реактивные снаряды Илов разносили в клочья вагоны беженского поезда… Эрика выскочила из своей ямы и, зажав уши руками, кинулась бежать, сама не зная куда.

В тот же вечер, несколькими часами позже, ее изнасиловал пьяный дезертир из учебно-танковой дивизии «Богемия». Она встретилась с ним, едва держась на ногах, и он накормил ее и предложил вместе пробираться на запад — за Шпрее и потом на Эльбу, к американцам. Все кончено к свиньям собачьим, сказал он, иваны щелкают наши «тигры» как вшей, и вообще эта сволочь Адольф засадил нас в дерьмо по самые уши, лично с него хватит… Эрика к этому времени уже так отупела, что почти ничего не соображала — даже не возмутилась тем, что он сказал про фюрера. Они поели, отдохнули и до самого вечера шли, ориентируясь по грохоту артиллерии справа и слева. Вечером он предложил устроить привал, заботливо наломал для нее сосновых веток и

расстелил плащ-палатку. Эрика легла и сразу уснула, а потом проснулась от того, что дезертир, навалившись в темноте, задирал ей юбку. Она закричала, вцепилась ногтями ему в лицо, он стал наотмашь хлестать ее по щекам. «Дрянь, — хрипел он, — бережешь себя для иванов...» Когда он наконец заснул, Эрика встала и, захлебываясь слезами, побрела дальше. Ей уже было все равно куда идти — на запад или на восток, за Шпрее или за Нейсе. Всюду был один и тот же кошмар.

Она проблуждала по лесу всю ночь, а утром нашла брошенную машину. В кузове, куда она забралась в надежде найти что-нибудь съестное, валялись предметы обмундирования, несколько карабинов, стоял вскрытый ящик с ручными гранатами. Все на ней было изорвано, она сбросила платье, выбрала брюки размером поменьше, пятнистую куртку парашютного егеря. Пять гранат рассовала по карманам — на случай встречи с русскими, она не сомневалась, что они будут делать с ней то же, что сделал дезертир, — потом в кабине нашла кобуру с офицерским «вальтером»...

И вот теперь она сидела здесь взаперти, ожидая самого худшего. Генерал разговаривал с нею вполне прилично, но она не так глупа, чтобы

поверить вежливому тону. Впрочем, он и сам сказал: «Когда тебя будут допрашивать…» Конечно, они уверены, что она член «Вервольфа», ее ведь задержали с оружием. Русские подвергают пленных пыткам, а для женщин придумывают самые страшные, с восточной изощренностью; руководительница местной организации БДМ рассказывала об этом девушкам очень подробно, показывала фотографии, от которых делалось нехорошо… Какое счастье, что у нее осталась эта последняя граната!

А штаб армии между тем продолжал сворачивать свое хозяйство. Адъютант командующего давно уже уехал вместе с ним — генерал-полковник Николаев во время наступления, как правило, предпочитал находиться в боевых порядках первого эшелона. Перед отъездом, однако, адъютант вспомнил о поручении, касающемся пойманной «вервольфихи», и дал соответствующее указание командиру роты охраны; но тому вовсе не хотелось лишаться, хотя бы на время, одного из своих солдат — мало ли что может случиться во время передислокации штаба, да еще в такой сложной обстановке, когда вокруг по лесам полно недобитых фашистских окруженцев. Поэтому он разыскал командира хозяйственного

взвода и приказал ему выделить какого-нибудь обозника для сопровождения в тыл задержанной вчера диверсантки. Хозяйственник ругнулся, почесал в затылке — только этой заботы ему и не хватало — и потом вспомнил про «папашу» Еремеева. Этот, пожалуй, только для подобных дел и годится — возить девок. Благо и им нечего опасаться с таким конвоиром…

— Вот что, Еремеев, — сказал он, вызвав к себе «папашу», — диверсантку тут вчера задержали, слыхал?

— Слыхал, товарищ старший лейтенант, — ответил солдат, — видал даже, как вели. Только сомнительно мне, точно ли она эта самая… ну, диверсанка. Девчонка совсем еще сопливая, глаза перепуганные…

— Это, Еремеев, не нашего с тобой ума дело, кто она такая, — строго сказал старший лейтенант. — Разберутся без нас, а твое дело — доставить ее теперь в… — он прочитал надпись на пакете, полученном от начальника охраны, — …в населенный пункт Ритшен, в нашу комендатуру. Такое тебе дается ответственное задание. Значит, так, транспортного средства выделить не могу, сам понимаешь, поэтому дотопаешь с ней до бетонки, там на попутной доедете до первого

капэпэ, а уж оттуда вас отправят куда следует. Все ясно, Еремеев?

— Ясно, товарищ старший лейтенант. Уж на капэпэ там разберутся, небось, в обратную сторону куды не посодят.

— На этот счет можешь не беспокоиться. — Довольный тем, что так просто уладилось все с этим делом, старший лейтенант сделал строгое лицо и погрозил пальцем: — Смотри только, Еремеев, чтобы с девкой ни-ни! А то я тебя знаю — заберешься там с ней на попутке под брезент…

«Папаша», тоже довольный полученным заданием, широко улыбнулся. Толк в обхождении он понимал — если высокое начальство шутит, то можно в ответ пошутить и самому. Поэтому он разгладил усы и с лихостью ответил в том смысле, что старый, мол, конь борозды не испортит, расписался в получении сопроводительного пакета и вышел.

Пятидесятишестилетний солдат Еремеев, бывший колхозный конюх из Воронежской области, считал себя человеком на редкость удачливым. И женился он хорошо, хотя и поздновато немного, и дочки росли хорошие — пять душ, одна другой краше. Сынов, правда, не было, но по нынешнему военному времени даже и это обернулось к

лучшему. Так что воевал он один за всю семью, воевал с сорок второго года, и тоже удачно — ну, конечно, царапало раз-другой, на войне не без этого, но дальше медсанбата попадать ему не доводилось. За семью он был спокоен: немец до ихнего района не дошел. Теперь же, попав наконец в хозяйственный взвод, Еремеев и вовсе успокоился — вернется живым, не придется бабе голосить, получив похоронку, и дочки вырастут не сиротами…

Предстоящая поездка обрадовала его, как радовали, бывало, до войны нечастые поездки в районный центр. Человек он был любознательный, охочий до новых впечатлений, и — хотя много уже чего повидал на войне — возможность посмотреть новые места и поговорить в дороге с новыми людьми привела его, вообще от природы общительного и добродушного, в еще лучшее расположение духа.

Он тщательно направил на ремне бритву, не спеша побрился, подшил чистый подворотничок, потом достал из вещмешка узелок с медалями — «За оборону Сталинграда» и две «За отвагу», — почистил и прицепил к гимнастерке. В будни он не носил их, считая это не совсем уместным в его возрасте бахвальством; но покрасоваться

в дороге — дело другое, мало ли кого доведется встретить…

Уже рассветало. Недолгий ночной дождь кончился, и утро вставало свежее и ясное, хотя и в дымке от горящих в округе лесов. На юге и на севере продолжало громыхать — тяжелая артиллерия добивала не сложившие оружия гарнизоны Форста и Мускау. Еремеев позавтракал с товарищами по взводу, рассказал о полученном задании, сдержанно гордясь нешуточным доверием начальства. Пора было и в путь. На кухне, получая сухой паек, он подумал о девчонке, которая с вечера сидит, небось, некормленная — да и допреж того неизвестно когда ела, — и попросил повара отлить в котелок вчерашнего разогретого борща с куском мяса. «Я ее сюды приведу, — сказал он, поставив котелок на угол плиты, — пущай поест по-человечески». Потом, одернув гимнастерку, он отправился к командиру охраны и попросил ключ от комнаты, куда заперли диверсантку.

Замок открылся не сразу. Еремеев возился с ключом, вставляя его и так и этак, а Эрика Фишер слушала эти звякающие металлические звуки и леденела от страха — она даже не думала, что еще способна так чего-то бояться. Вчера, разго-

варивая с генералом, она совсем не боялась, а сейчас в ней не осталось ничего, кроме слепого нерассуждающего ужаса…

Вскочив на ноги, Эрика стала пятиться от двери, пока не уперлась спиной в стену. Дальше отступать было некуда. Тогда, быстро нагнувшись, она выдернула из краги правую штанину брюк и поймала выкатившийся на ладонь тяжелый стальной бочоночек. Как обращаться с гранатами этого типа, она знала; зимой, когда Мартин Борман призвал девушек вступать в «фольксштурм», старшеклассницы прошли военное обучение. Вспомнив инструкцию, Эрика сжала гранату в правой руке, продела в кольцо предохранителя указательный палец левой и, резко крутнув, выдернула кольцо вместе с чекой.

Замок наконец открылся. «Ишь ведь, — довольным тоном проворчал Еремеев, — вставить-то, выходит, надо было поглубше, всего и делов…» Он отворил скрипнувшую дверь и посветил фонариком — белокурая, чем-то похожая на его Маняшку девчонка в пятнистой маскировочной куртке стояла, прижавшись спиной к стене, с белым неподвижным лицом.

— Ком, дочка, — сказал Еремеев, входя, — я там щец тебе расстарался. В дорогу-то поесть надо,

ферштейн? А там и тронемся потихоньку. Да ты не бойся, все будет алес гут…

Эрика, словно поняв его слова, сделала неуверенный шаг к двери и пошатнулась. «Ну, вовсе девка сомлела», — с жалостью подумал Еремеев и протянул руку, чтобы ее поддержать. И в этот миг — он ничего не успел ни разглядеть, ни понять, ни почувствовать — она со всего размаха швырнула гранату себе под ноги.

График наступления поломался через двое суток, когда передовые отряды шестого корпуса, после полуторачасового боя овладев Барутом, вышли под Вюнсдорфом на внешний обвод Цоссенского укрепленного района. Точнее, не вышли, а вырвались — и стали.

Местность была труднопроходимой для танков — лесисто-болотистая, изобилующая озерами; в узких дефилеях противник успел создать глубоко эшелонированную систему обороны, до предела насыщенную противотанковыми средствами. Протаранить ее с ходу не удалось, пришлось взламывать шаг за шагом, ценою больших потерь в людях и технике, а своевременная доставка подкреплений становилась проблемой — разрыв между ушедшей далеко вперед танковой армией и следовавшими за

нею общевойсковыми достигал уже пятидесяти, семидесяти, а то и ста километров.

Цельной линии фронта давно не существовало. Обстановка в треугольнике между Форстом, Финстервальде и Цоссеном могла поставить в тупик самого опытного оперативника, так здесь перепутались и перемешались глубоко вбитые во вражескую оборону танковые клинья, бродящие по лесам группы окруженцев из разгромленных немецких дивизий, наши коммуникации и гарнизоны противника, продолжающие удерживать отдельные опорные пункты.

Как и предусматривалось директивой, армия Николаева пошла в глубокий прорыв без обеспечения с флангов, имея справа и слева от себя две мощные группировки противника — одну юго-западнее Потсдама, а другую между Бухгольцем и Бесковом. Обе они могли в любую минуту нанести двойной отсечный удар на Луккенвальде, и тогда 7-я армия оказалась бы отрезанной от основных сил фронта. До сих пор это Николаева не тревожило: пусть отрезают, если ему тем временем удастся достичь южных окраин Берлина. Но непредвиденная задержка под Цоссеном существенно меняла дело.

Угроза окружения быстро продвигающейся впе-

ред армии опасности не представляла. Опасность представляла угроза двустороннего флангового удара по армии неподвижной, скованной на дотах и железобетонных надолбах этого проклятого укрепрайона; по армии, лишенной свободы маневра. Поэтому Цоссенский рубеж надо было проломить раньше, чем противник успеет воспользоваться изменением обстановки. Но рубеж стоял прочно.

Николаев по этому поводу получил грандиозный разнос от командующего фронтом. «Ты что, генерал-полковник, воевать разучился? — кричал маршал. — Тянешься, понимаешь, кишкой — одна бригада дерется, другие в очереди дожидаются — по принципу „кто крайний“… Да что ты мне про болота толкуешь — сам знаю, что болота, карту читать и мы обучены! Через болота дороги надо прокладывать — по нескольким маршрутам сразу, — а не топтаться на месте, сбившись в кучу…» Командарм выслушивал все это, стиснув зубы. Инженерные войска и так уже делают что могут, и продвижение задерживается не только из-за плохих дорог; вообще, назвать действия 7-й армии «топтанием на месте» было по меньшей мере несправедливо — Николаев едва сдержался, чтобы не ответить маршалу резкостью. Весь еще

под впечатлением этого разговора, он приехал на командный пункт одиннадцатого мехкорпуса, в полосе которого дела обстояли особенно неблагополучно. Увидев рыжий от кирпичной пыли бронетранспортер командарма, часовые сделали знак остановиться и подошли с автоматами на изготовку. Николаев распахнул тяжелую броневую дверцу, высунулся наружу. «Командира корпуса ко мне», — сказал он подошедшему с часовыми офицеру, тот побежал, придерживая полевую сумку. Командарм вышел, закурил, посмотрел на часы. Через минуту появился командир корпуса, тучный немолодой генерал-майор. Он начал вслепую докладывать обстановку, командарм слушал молча, с непроницаемым лицом. «Карту», — не оборачиваясь бросил он выскочившему следом за ним адъютанту, тот щелкнул замками портфеля и развернул лист на скошенном борту транспортера, придерживая за углы.

— Прошу сюда, комкор, — сказал Николаев ледяным голосом. — Почему здесь еще немцы? Утром я понял из вашего донесения, что дорога на Шюнов вами перерезана. Теперь ее опять контролирует противник. Что это значит?

Генерал-майор снял фуражку и вытер бритую голову скомканным носовым платком.

— Разрешите объяснить, товарищ командующий…

— Мне ваши объяснения не нужны, — прервал командарм, повышая голос. — Мне действия ваши нужны, а не объяснения! Мне нужен Дабендорф, которым вы еще вчера обязаны были овладеть! — Он кулаком ударил по броне с такой силой, что лопнула перчатка. — Вы что, ведете наступательный бой или танцуете контрданс? У вас нет гибкости тактического мышления, — это же абсурд — долбить оборону танками, если видите, что танки не проходят! Где вас этому учили? Пускайте вперед пехоту, ей проще справляться с фаустниками, пускайте саперов — подрывать заграждения! Неужели мне здесь, под Берлином, читать своим командирам лекции по тактике? Сколько машин вы уже потеряли от фаустпатронов, это вам ни о чем не говорит?

— Товарищ командующий, — оскорбленно сказал командир корпуса, — если вы считаете, что я не соответствую занимаемой должности…

— Если бы я так считал, — отрезал Николаев, — вы бы ее не занимали. А пока занимаете — извольте соответствовать! Не сегодня завтра Венк ударит по нашему левому флангу, а справа подоспеют Буссе вместе с небезызвестным вам

Грезером, которому после «Матильды» не терпится сделать ответный ход… Вы что, не понимаете, чем это может обернуться? Впрочем, за резкость приношу мои извинения. Виноват. А теперь давайте подумаем вместе, что тут можно сделать. Кстати, свяжите-ка меня с начальником эрбээс…

Они спустились в подвал, где работал штаб корпуса, обсудили план действий по скорейшему прорыву укрепленной полосы. Адъютант подал Николаеву телефонную трубку:

— Товарищ генерал-полковник, начальник ремонтно-бронетанковой службы на проводе!

— Благодарю. — Командарм взял трубку, продолжая разглядывать схему укрепрайона. — Георгий Павлович, я сейчас у Стеценко. Вам известно, что в его хозяйстве еще ни один танк не снабжен противофаустными экранами? Приказ начать работы по экранированию я отдал еще позавчера… Что? Нет материала? А вам какой, собственно, требуется материал — легированный хромо-ванадий? На станции Рехаген стоят четыре платформы, груженные котельным железом; немедленно гоните туда машины и газорезчиков, пусть раскраивают листы на месте, и готовые экраны тут же отправляйте на походно-ремонтные пункты. Ответственность за сроки

исполнения возлагаю лично на вас, экранировать танки в Берлине будет поздно!

Бросив трубку, Николаев попрощался с командиром корпуса и работниками штаба и пошел к выходу.

— В шестой теперь поехали, — сказал он водителю, забравшись в душное, пропахшее бензином и горячим металлом нутро бронетранспортера, и обернулся к седевшему сзади адъютанту: — Набросайте-ка пока две радиограммы… Первая — в штаб истребительного авиакорпуса. Сегодня… не позднее шестнадцати ноль-ноль… провести всеми наличными силами массированную штурмовку… позиций противника в полосе эм-ка одиннадцать. Координаты и время согласовать с оперотделом штабарма. Написали? Теперь вторую — в штаб фронта. Настоятельно прошу… о временном переподчинении мне… Десятого артиллерийского корпуса прорыва… Двадцать пятой артиллерийской дивизии прорыва… Двадцать третьей зенитно-артиллерийской дивизии…

— Товарищ генерал! — позвал сзади радист. — От командующего фронтом!

Командарм взял бланк, надел очки и дважды перечитал неровные, скачущие вверх

и вниз карандашные строчки: «ЛИЧНО ТОВАРИЩУ НИКОЛАЕВУ. ПРИКАЗЫВАЮ СЕГОДНЯ НОЧЬЮ ОБЯЗАТЕЛЬНО ВОРВАТЬСЯ В БЕРЛИН. ИСПОЛНЕНИЕ ДОНЕСТИ. 13.50. 21.4.1945. КОНЕВ».

Эк его разбирает, подумал он, медленно комкая бумагу; небось, от Верховного влетело? Что ж, сам напросился…

На следующий день, к вечеру, передовые отряды всех трех корпусов 7-й танковой армии почти одновременно вышли на южный берег Тельтов-канала.

В ночь на двадцать четвертое апреля генерал-полковник Николаев, его начальник штаба, член Военного совета и еще несколько офицеров стояли на плоской крыше восьмиэтажного фабричного здания в Тельтове. Отсюда почти весь Берлин был виден как на ладони — вернее, был бы виден днем. Сейчас он только угадывался во мраке своей огромной протяженностью, багрово озаренной пожарищами. На их раскаленном фоне тут и там черными силуэтами просматривались отдельные здания покрупнее, фабричные трубы окраин, обглоданные бомбами шпили кирок, рваные очертания руин, правее Тиргартена что-то горело позади высокого многоэтажного фасада, его пустые оконные проемы светились рядами

ярких квадратиков — словно дом был праздничнo освещен изнутри. Особенно много пожаров было в северо-восточных и центральных районах города, оттуда непрерывными раскатами тяжкого обвального грохота доносился гул канонады — дальнобойная артиллерия 1-го Белорусского уже вторые сутки громила правительственные кварталы.

Офицеры на крыше молчали, смотрели, слушали. Николаев, держа руки в карманах кожаного реглана — ночь была холодной, и здесь, на высоте, дул резкий северный ветер, пахнущий гарью и тлением, — вышел вперед к самому парапету. Внизу, в редких случайных отсветах, тускло поблескивала черная вода канала. Фабричные корпуса на том берегу (он долго и подробно рассматривал их днем) казались мертвыми и покинутыми, но это впечатление было обманчиво. Все выходящие на канал окна были замурованы, заложены мешками с песком, заделаны броневыми щитами, — и из каждой смотровой щели, из каждой амбразуры глаза невидимых наблюдателей следили за южным берегом. Вся эта заводская окраина Берлина была заблаговременно превращена в сплошную крепость — прочные, старой добротной постройки

кирпичные здания, сложная сеть подземных коммуникаций, установленные на перекрестках бронеколпаки или снятые с танков орудийные башни — да, нетрудно себе представить, во что обойдется прогрызание такой обороны…

Командарм смотрел на мрачную, фантасмагорическую картину огромного горящего города, и ему как-то не верилось, что перед ними действительно Берлин, что они действительно дошли сюда, доломали эту войну. Тьфу, тьфу, не сглазить бы… Да нет, уже доломали, хотя еще поогрызается, попьет еще кровушки.

Безумное, преступное дело этот штурм. Хотя, наверное, все тут закономерно. Вся война была настолько преступной и безумной, что и не могла завершиться ничем иным. Как чума, заразительны безумство и преступление, и этого тоже, видно, было не избежать. Такое время! Если применить старые критерии — обе стороны оказались зачумленными, каждая в своем роде. Те, кто руководил войной, все в конечном счете сравнялись в бесчеловечной жестокости, просто одни зверствовали над чужими народами, а другие — над своим собственным; кому что по душе.

Да, Великая Отечественная… Надолго теперь, на десятки и десятки лет, суждено ей остаться

самой засекреченной войной нашей истории. Хотя ни о какой другой не напишут столько. И все будет лживо, приблизительно, все будет не то, писать то просто нельзя — и не потому даже, что никогда не разрешат, не напечатают (это само собой разумеется). Главное другое: правда об этой войне долго еще будет ненужной, вредной, взрывоопасной. Сегодня правда непосильна даже нам, видевшим ее настолько близко, что теперь остается только одно: поскорее забыть, заслониться придуманным, более приемлемым, лестным; но полную правду об этих четырех годах не примет, не сможет — не захочет — принять и второе поколение, сегодняшние военные сироты, уже воспитанные (к счастью для себя) в святой убежденности, что отцы отдали жизнь за победу Добра над Злом…

Командарм непроизвольным движением снял фуражку.

Ночной ветер над Берлином, отравленный запахами войны — трупным смрадом, пылью истолченного снарядами кирпича и бетона, едким перегаром тротила, — доносил сюда ее звуки: отдаленный грохот непрекращающейся канонады, рычание моторов и осторожный скрежет и лязг гусениц по брусчатке здесь, внизу, где

на набережной уже занимала огневые позиции самоходная артиллерия и танки первой штурмовой волны накапливались в поперечных каналу улицах.

Картина двухлетней давности вспомнилась вдруг ему: закат жаркого июльского дня, когда он летел на «кукурузнике» вдоль грейдера, по которому его части шли на соединение с бригадами Ротмистрова — под Прохоровку. С высоты, хотя и небольшой, движение растянувшейся на километры колонны казалось неторопливым, и лишь присмотревшись, разглядев, как на неровностях почвы за левым кюветом быстро изламываются вытянутые горбатые тени танков, можно было определить, что водители газуют километров под шестьдесят, не меньше. Перегнувшись через борт, в хлещущий мимо исцарапанного целлулоидного козырька горячий ветер, и глядя на вереницу красновато-бурых от закатного уже солнца коробочек, он представил себе тех там, внизу, на брезентовых сиденьицах в дымной громыхающей полутьме боевого отсека, пропахшего газойлем, потом, оружейной смазкой и близкой уже смертью, неминуемой для многих. Он знал, что их — обреченных — много, знал даже (приблизительно) их число, вероятностный

анализ потерь в предстоящей операции ему доложили еще накануне, и цифры эти ужаснули даже его, давно отвыкшего ужасаться чему бы то ни было…

Но потери потерям рознь. Те, тогдашние, были необходимы; сложившаяся к тому времени обстановка на южном фасе Курской дуги обусловила инвариантность оперативных решений, не оставила никакого выбора. Таранный удар панцерных корпусов Гота, ринувшихся на северо-восток в обход Обояни, требовалось остановить любой ценой, слишком многое было поставлено на карту. Судьбе не только Курска предстояло решиться там, на шестикилометровом пятачке между Пселом и линией железной дороги Марьино — Беленихино. И наверное, это понимали не только в Ставке, не только командующие фронтами и армиями; наверное, тогда это понимал — нутром чувствовал! — каждый механик-водитель, каждый башнер.

Поэтому у него, командарма, совесть в тот день была чиста. Он мог бы приземлиться там, в степи, и, остановив колонну на марше, поговорить с любым экипажем — из тех, что по его приказу шли на смерть. В тот день у него нашлось бы что сказать своим чумазым ребятам в замасленных

комбинезонах, с черными от пыли лицами. Всегда находилось, и его всегда понимали, он это чувствовал; поняли бы и тогда, накануне побоища 12 июля.

…А вот сейчас он не смог бы заставить себя говорить с экипажами. Не отважился бы. И не потому, что боится услышать вопрос, на который не будет ответа, — это исключено, в армии хорошо знают, о чем можно и о чем нельзя спрашивать генералов. Более того, никакие такие вопросы — как ни странно, пожалуй, — и не возникают сейчас у тех, кому скоро предстоит умереть здесь, на пороге Берлина, накануне мира. Они не спрашивают себя, действительно ли это нужно, считают это неизбежным, правильным. Как тогда под Прохоровкой. Многие, наверное, даже искренне воодушевлены, гордятся своей «почетной» ролью участников битвы за вражескую столицу. Может, так оно и лучше. Конечно, лучше. Куда труднее было бы им сейчас, знай они, какую грязную политическую игру решено оплатить здесь их жизнями…

Глава 7

Гвардии майор Дежнев проводил последние дни войны в мирных трудах.

Если чему-то и научил его долгий фронтовой опыт, так это тому, что судьбу-злодейку не перехитришь: так иной раз распорядится человеком, что нарочно не придумаешь. И все-таки, предскажи ему раньше какая-нибудь цыганка, что он — командир батальона, кавалер четырех боевых орденов — будет под занавес исполнять обязанности коменданта в захолустном австрийском городишке… Чему угодно поверил бы, только не этому! Однако случилось именно так; и он, по правде сказать, ни досады, ни разочарования от этого не испытывал.

После тяжелых зимних боев в Венгрии войска 2-го и 3-го Украинских фронтов вышли на австрийскую территорию, и к концу апреля наступление достигло финишного рубежа Линц — Клагенфурт. С запада туда уже подходили без особой спешки американцы.

В тот самый день, когда стало известно о самоубийстве Гитлера, в горах на правом берегу Дуная окончился боевой путь 441-го гвардейского

мотострелкового полка. Честолюбивые лейтенанты, которые до последнего дня еще надеялись, что их перебросят на какое-нибудь решающее направление, чувствовали себя обокраденными — так буднично, где-то в глуши, закончить эту великую войну, не повидав развалин Рейхстага, не снявшись перед Бранденбургскими воротами! Они жадно перечитывали каждое сообщение о ходе боев за Берлин, а вокруг была тишина, безоблачное небо сияло над цветущими яблонями, и на лугах мирно позвякивали колокольчиками до неправдоподобия ухоженные коровы.

Майор Дежнев этих лейтенантских переживаний не разделял, ему самому тишина казалась вполне заслуженной. Ведь ради нее они и воевали все эти долгих четыре года — ради тишины и мира, ради неба, на которое можно смотреть без опаски, ради того, чтобы земля пахла свежей травой, а не кровью и горелым железом…

Сложили оружие остатки берлинского гарнизона, армии поворачивали на юг, чтобы добить в Чехословакии группировку Шернера, а здесь, в Терезиентале, распускались каштаны, ворковали голуби на островерхих черепичных кровлях, и в коридоре ратуши чинно сидели принаряженные бюргеры, записавшиеся на прием к русскому

коменданту.

Обязанности его были необременительны. Поначалу, правда, пугало разнообразие головоломных порой вопросов, с какими обращались к новым властям обыватели Терезиенталя. То являлся владелец сыроваренного заводика, желая узнать, можно ли ему будет и впредь использовать на своем предприятии наемную рабочую силу, то приезжал управляющий из имения сбежавшего к американцам барона, спрашивая, как быть с инвентарем, долго ли будут жить в замке эвакуированные и по скольку моргенов земли следует раздать батракам, уже начавшим самовольно делить баронские пастбища; то приходил пастор, желавший выяснить, не будет ли «герр комендант» возражать против воскресных богослужений в кирке, а также против того, чтобы приходский совет и впредь занимался своей скромной благотворительной деятельностью. К «герр коммандату» приходили женщины в черном, чтобы справиться о судьбе мужа или сына, пропавшего без вести на Восточном фронте, приходили представители только что организованного профсоюза, чтобы согласовать кандидатуры членов местного комитета, приходил директор школы с вопросом,

можно ли продолжать занятия и разрешено ли пользоваться пока старыми нацистскими учебниками. И приходилось или отвечать самому на все эти вопросы, или спешно находить инстанции, которые могли бы на них ответить.

Впрочем, потом стало полегче. В крошечном городке с шеститысячным населением возникало не так уж много сложных проблем, а когда был утвержден временный состав муниципального совета, все местные дела перешли в его ведение и функции коменданта ограничились лишь общим руководством и контролем; непривычная должность уже не казалась Дежневу такой трудной, он чувствовал, что начинает с нею справляться. Во всяком случае, ставший начальником гарнизона полковник Прошин был доволен своим комендантом и благодушно принимал его ежедневные доклады.

Пятого мая восстала Прага; трое лейтенантов по этому поводу зверски напились и кричали, чуть не рыдая, что их — боевых офицеров! — маринуют здесь хрен знает зачем, в то время как рядом гибнут братья-славяне! Сергей приказал отправить разбушевавшихся «гусаров» на гауптвахту, но на этот раз он им сочувствовал. Граница проходила в каких-нибудь пятидесяти километ-

рах отсюда, и невыносимо было думать, что там, на чешской земле, еще косят людей эсэсовские автоматы. Восьмого Дежнев вместе с Козловским не отходили от приемника — в кабинете у коменданта стоял роскошный, огромный, как комод, «Блаупункт». Козловский, знающий английский язык, крутил ручки настройки, переходя с одного диапазона на другой.

— Ничего не понимаю, — говорил он. — Все западные станции сообщают о капитуляции Германии. Приснилось им, что ли? Говорят, капитуляция подписана в Реймсе, вчера в два пятнадцать утра…

Подумав, Дежнев позвонил начальнику гарнизона.

— Я тебе что-нибудь сообщал? — строго спросил Прошин. — Нет? Значит, ничего и не было. Сейчас, знаешь, всякие провокации могут иметь место. Понимать надо, майор!

— Чертовщина какая-то, — сказал майор, положив трубку. — А ну, давай снова Москву…

Но Москва о капитуляции молчала, сообщалось лишь о ликвидации бреславльской группировки, о взятии Дрездена, о салюте по этому поводу, об освобождении Оломоуца, о действиях отдельных частей 1-го и 4-го Украинских фронтов. Война,

похоже, продолжалась. Дежнев ничего не мог понять — сепаратный мир, что ли, заключили немцы с западными союзниками?

Неизвестно какими путями новость распространилась и среди бойцов — те поверили ей сразу, начали собираться группами, кто-то совсем рядом с комендатурой засадил в воздух автоматную очередь. Никаких официальных сообщений с нашей стороны все еще не было. Лишь поздно вечером коменданту сказали, что полковник Прошин вызывает к себе всех офицеров гарнизона.

Когда явились к полковнику, там уже был накрыт стол. Прошин, при всем параде, сияя орденами и ослепительно выбритой головой, сообщил им, что сегодня в полночь вступает в силу Акт о безусловной капитуляции всех вооруженных сил Германии, церемония подписания которого происходит сейчас в Карлсхорсте под Берлином.

— Товарищи офицеры, — сказал он сиплым и задушенным от волнения голосом, — поздравляю вас с победоносным окончанием Великой Отечественной войны. Ура!

Сказанное полковником не было неожиданностью ни для кого, все ждали этого, и все догадывались, для чего вызвал их к себе началь-

ник гарнизона; и все же после слов Прошина, на секунду-другую, в комнате стало очень тихо. Просто никто не смог сразу освоиться с мыслью, что это действительно произошло, что Победа стала реальностью и что после сорока шести месяцев войны действительно наступил мир.

Потом все закричали «ура». Полковник, стоя навытяжку во главе стола, поднял налитый до краев фужер.

— Выпьем же, товарищи офицеры, за тех, кого сегодня нет с нами, — сказал он тем же сдавленным голосом. — За тех, кто не дошел, кто остался там — под Москвой, и под Сталинградом, и под Курском… За тех, кто ратными своими трудами добыл победу и не увидел ее, за всех наших павших боевых товарищей. Вечная им память, и да будет им… земля… пухом…

Он плакал теперь, это все видели. Грубый, считавшийся бесчувственным служака, которого молодые лейтенанты называли Носорогом, Прошин едва договорил свой тост и теперь стоял перед ними, как на смотру выпятив увешанную орденами грудь, выдвинув подбородок и крепко зажмурившись, и слезы медленно выдавливались у него из-под век и сбегали по щекам к выскобленному до красноты подбородку. Он

вытянул водку неторопливо и истово, грузно опустился на стул и оттолкнул подсунутый кем-то бутерброд, не поднимая головы.

Так начался мир.

Дежнев плохо представлял себе его. Пока он еще не мог освоиться с ним настолько, чтобы начать строить планы мирной жизни.

Одиннадцатого мая восточнее Праги прекратили сопротивление остатки группировки Шернера. Теперь всюду в Европе стало тихо, война продолжалась лишь на Дальнем Востоке — англичане освобождали Бирму, американская морская пехота огнеметами выжигала последние опорные пункты японцев в джунглях Лусона и Окинавы. Советско-японский договор о нейтралитете Москва денонсировала месяц назад, и первые воинские эшелоны уже потянулись из Германии на Дальний Восток — без огласки, но и не особо засекреченно.

Так что, пожалуй, планировать свою гражданскую жизнь было пока и преждевременно; но думать о ней мешало не только суеверное опасение, что вот только размечтаешься, а тут тебя по боевой тревоге, и давай куда-нибудь к Тихому океану. Больше мешало другое: он — муж, отец — совершенно не представлял себе, как будет

жить с женой и сыном. Сын еще мал, а жена…

Что ж, он трезво, без иллюзий, признавался себе в том, что Елена для него, в сущности, незнакомка. Наверное, так начинается всякий брак, даже если знакомы были давно, да хоть и вместе росли (расти вместе — одно дело, а вот вместе строить семью — это уж задачка посложнее); но тут уж и вовсе. Не то чтобы он сомневался в каких-то человеческих качествах, этого не было. И от той неприязни, которую он испытал при первом знакомстве, давно уже не осталось и следа. Его доверие к ней было полным.

Уже одно то, как она тогда исчезла, скрыв от него беременность, говорит само за себя — ведь если бы не письмо покойного Игнатьева, он до сих пор не знал бы, что у него растет сын! И все же, все же…

Насколько было бы все проще, будь в живых мать. Поселились бы они все вместе и, пока он еще в армии, успели бы притереться друг к другу, уже образовалась бы семья, а потом и ему легче было бы в нее войти. Теперь надо хоть Зину к ней отправить. Так и Елене проще будет справляться с Борькой, да и Зине лучше учиться в Ленинграде, чем сидеть в Туле у тетки. Если захочет, конечно. Мать писала как-то, что становится Зинка упря-

мой и своевольной, так что может и не захотеть: привыкла, тетка человек добрый, к тому же всю войну прожили вместе, такое сближает. Да, сестренку теперь, пожалуй, и не узнать вовсе…

Словом, будущее представлялось весьма туманным. Единственное, в чем Дежнев был почему-то совершенно уверен, — это что не сегодня завтра отыщется Таня. Теперь, когда уже слишком поздно, непременно возьмет и отыщется.

А жизнь в Терезиентале шла своим чередом. В комендатуре появились новые офицеры, специалисты по экономике и сельскому хозяйству, в компетенции коменданта оставались теперь вопросы гарнизонной службы и охраны порядка, но порядок обычно не нарушался, а служба шла как положено. Служба, как известно, идет, даже когда солдат спит.

Двадцать шестого мая, поздно вечером, позвонил Николаев. Генерал-полковник поздравил его с окончанием войны, сказал, что находится в Вене, и пригласил приехать позавтракать с ним завтра утром. Следующий день был воскресеньем, комендатура не работала. Дежнев доложился начальнику гарнизона, получил разрешение и в половине девятого выехал в Вену на своем «опель-капитане».

Утро было солнечное, тихое, дорога — отличная, на лугах уже начинался сенокос, и встречный ветер овевал лицо сладким ароматом свежескошенных трав. Гнать не хотелось, он вел машину одной рукой, выставив левый локоть в открытое окошко. Скорее всего, подумал он, у Александра Семеновича новости о Тане, и новости хорошие, потому что голос генерала звучал по телефону весело и жизнерадостно, странно только, что он сразу не сказал ему, в чем дело. А может быть, эта жизнерадостность звучала немного наигранно?

Ему вдруг захотелось отдалить момент свидания с Николаевым. Впрочем, было еще рано, они договорились на одиннадцать. Майор остановил машину на обочине, заглушил мотор и вышел. Возможно, ему не показалось, что наигранно. Почему бы нет? Почем знать, как восприняла Таня известие о его женитьбе; в ней за это время могло все перегореть, а ведь могло и сохраниться…

Но тут уж ничего не поделаешь. Кысмет, как говорил Ахмедулин, когда у него посреди дороги кончался бензин или запаска оказывалась спущенной. Кысмет, судьба, рок. Значит, и впрямь не суждено им было, мать как в воду глядела: «Чует мое сердце, сынок, не будет у тебя с Танечкой счастья». Она-то другую причину имела в виду,

считала, что Таня вообще ему не пара — избалована, легкомысленна… Трудно сказать, конечно, как сложилась бы у них жизнь, если бы не война; но нет, он верил, что никакие трудности, никакие осложнения не могли бы заслонить и испортить главное. Но тут уж вмешалось другое, что толку теперь гадать. «Чего же ты наделала, проклятая война…»

Ровно за пять минут до назначенного времени Дежнев подкатил к большому отелю, реквизированному военной администрацией. Лифт не работал, и он взбежал на четвертый этаж одним духом, прыгая через ступени. Перед дверью номера остановился, переводя дыхание, поправил фуражку, одернул китель.

На звонок изнутри ответил знакомый голос, приглашающий входить.

Николаев обнял его, похлопывая по спине.

— Да, брат, — сказал он, — все-таки мы ее доломали, эту войну, а? И дожили ведь, чтобы увидеть своими глазами, вот что самое удивительное… Ну, дай хоть взгляну на тебя — сколько времени не виделись, — ну, герой, орденов-то, орденов, батюшки…

Майор смутился — у самого генерала на кителе не было ничего, кроме Золотой Звезды Героя и

радужной полоски узких разноцветных ленточек — такие ему случалось видеть и на офицерах союзных армий, в английской и американской зонах Вены; у нас такая манера носить награды была не распространена, он даже вообще не знал, что она разрешается.

— Да я, понимаете, решил вот — при всем параде, так сказать…

— И правильно сделал, боевыми наградами гордиться надо, ты не в штабе их выслужил, а на меня не гляди, это я просто по старости не люблю бряцать регалиями, да и проще так — легче. Я, кстати, тебя и со вторым просветом еще не поздравил, — словом, прошу к столу, у меня, как видишь, тут уже полная боеготовность, сейчас за все сразу и выпьем. Прошу!

— Слушаю, товарищ генерал! — шутливо отчеканил Дежнев.

— Да, подумать только — майор. — Николаев покачал головой, разворачивая жестко накрахмаленную салфетку. — Вспоминаю первую нашу встречу на фронте — в Белоруссии, в августе сорок первого… Ты тогда таким общипанным был птенцом, как сейчас вижу… Да, под огнем люди растут быстро. В армии мирного времени, брат, тебе до майора ох как долго пришлось бы лямку

тянуть… Ну что ж!

Они выпили, закусили, еще выпили. Николаев позвонил, белокурая горничная в крахмальной наколке вкатила столик на колесиках, уставленный судками и блюдами под крышками. Почуяв вкусные запахи, Дежнев ощутил голод — перекусить в Терезиентале он не успел.

— Тебе, кстати, еще один человек шлет поздравления, — сказал Николаев, когда начали есть. — Поздравления, всяческие приветы и вообще. Догадайся кто, думай, а я пока налью. За это тоже следует выпить.

Дежнев ждал этого, был почти уверен, и все-таки его оглушило. Он помедлил с вилкой в руке, потом, не поднимая головы, спросил негромко:

— Вы нашли Таню?

— Сама нашлась! Явилась откуда-то оттуда, с Запада. Последнее время, кажется, была чуть ли не в Нидерландах — поверить нельзя, тысяча и одна ночь…

— Я рад, Александр Семенович, — так же тихо сказал Дежнев. — Поздравляю вас, и Таню тоже поздравляю… с возвращением.

— Спасибо, брат. Ее поздравления я тебе уже передал — с миром, с женитьбой. Она тебе желает много счастья.

— Вы… сказали ей?

— Ну естественно, что же тут скрывать! Тем более что она ведь тоже — некоторым образом — замужем.

— Некоторым образом?

— Да, там история совершенно фантастическая, я тебе говорю — никакой Шехерезаде не выдумать… Вкратце изложу, только ты ешь, ешь энергичнее, а то смотри — захмелеешь, коньяк высокооктановый…

Дежнев ел, не разбирая вкуса, и слушал, не веря своим ушам. Впрочем, почему не верить? На войне действительно случается самое невероятное. Странно — он совершенно не ощущал хмеля, хотя выпил уже порядочно, а коньяк и в самом деле был силен. Эмигрант еще какой-то… А ведь про эмигранта он от кого-то слышал. Но от кого мог? В Энске… да, точно, в Энске, где же еще, а сказала о нем сестра Сергея Митрофановича…

— Ну, так а сейчас-то что с ним? — спросил он.

— Сидит пока…

— Сидит?

— Увы… тут уж я бессилен. — Николаев развел руками. — Попытался, но мне дали понять, что ничье вмешательство ни к чему не приведет. Разберемся, сказали.

— Они разберутся, — сказал Дежнев с неопределенным выражением. — Но он, конечно, тоже хорош… Нашел путь возвращаться на родину — вместе с фашистами. А Таня что же… любит его?

Николаев хмыкнул, снова взялся за бутылку.

— Сам не пойму, — сказал он не сразу, грея в ладони пузатую коньячную рюмку. — Тут сложное, наверное, чувство… Как-никак он ее спас. А с другой стороны… Брак-то, она говорит, все-таки фиктивный, значит что-то помешало? Не пойму, — повторил он и, махнув рукой, выпил. — Да, жаль… что у тебя в жизни такой получился оборот. Я, честно говоря, когда получил от тебя письмо с этой новостью… Ну, что делать. Но жаль! Сейчас все было бы по-другому.

Дежнев долго молчал, потом произнес негромко:

— Я… поеду, наверное. Разрешите быть свободным, товарищ генерал-полковник?

— Не разрешаю, майор. Обиделся, что ли? Поверь, у меня и в мыслях нет тебя упрекать. Я просто… по-человечески сожалею о случившемся, в свое время привык ведь думать о тебе почти как о… родственнике. Но дело не во мне, дело в Татьяне… Не знаю, что с ней делать. Собственно, Сергей, я хотел просить тебя о помощи.

— Вы — меня? — изумленно переспросил Дежнев.

— Да. Мог бы ты с ней встретиться?

— Конечно, — ответил Дежнев не сразу. — Конечно, я приеду, надо только это как-то устроить…

— Зачем же. У тебя служба, а она человек свободный, ей проще будет приехать к тебе.

— Прямо сейчас?

— Нет, когда пройдет все эти комиссии. Сейчас она путешествовать не может — нет документов.

— Я рад буду, если Таня приедет. Наверное, нам действительно надо поговорить.

— Не о том, о чем ты думаешь. Вряд ли она захочет говорить о твоей женитьбе… Впрочем, не знаю, может, и захочет. Но тут другое еще дело…

Майор подождал продолжения, не дождался и спросил:

— А как она вообще… отнеслась к этому, когда вы ей сказали?

Николаев пожал плечами:

— Ну, как… Спокойнее, чем я боялся, но… Боюсь, все-таки это оказалось для нее неожиданностью.

— Понятно… Так о чем вы хотите, чтобы я с ней поговорил?

— Я не знаю — убедить как-то… образумить!

Дело в том, что я для нее уже — да, да, я это чувствую! — не то чтобы не авторитет, но… мы просто не можем говорить на одном языке, у нас не получается, я лучше понимал ее, когда она была ребенком. Сейчас я в чем-то не понимаю ее, а она не понимает — или не хочет понять — меня. Я не знаю, что это — проблема «отцов и детей» в современном варианте или… или что-то глубже и… страшнее, да, страшнее! Она на все смотрит теперь какими-то не теми глазами или не то видит, что видим мы все. Она мне недавно знаешь что сказала? — Генерал-полковник понизил голос. — Если, говорит, Кирилла вышлют обратно, я убегу в американскую зону…

— Какого Кирилла? — ошеломленно переспросил Дежнев.

— Ну, этого ее… супруга!

— А куда его могут выслать и почему?

— Он ведь не советский гражданин, и тут два варианта: либо ему дают срок за сотрудничество с врагом, либо — если повезет — высылают по месту довоенного проживания.

— Елки зеленые… Куда же она раньше смотрела?

— При чем тут «раньше», — досадливо сказал Николаев. — Никуда не смотрела — случайно по-

знакомились, случайно потом оказались вместе в Германии… Куда она смотрит сейчас, вот что меня пугает. Я поэтому и подумал — возможно, вам легче будет найти общий язык. Со мной у нее этого общего языка не находится, понимаешь! Как будто от нас хоть в какой-то степени зависит… ну, я имею в виду все эти фильтрационные комиссии и прочее. Да и потом надо же понимать — вообще без проверки действительно нельзя, ведь это сотни тысяч, миллионы людей оттуда, совершенно никому не известных, мало ли кто может среди них оказаться! Я понимаю — да, недоверие обижает, но нельзя же с закрытыми глазами доверять всем без разбора! Попробуй с ней поговорить, у меня уже не получается. Я для нее — я чувствую это — вообще уже какой-то недосягаемый для простых смертных небожитель, она мне уже недавно автоматчиков чуть ли не в вину поставила, которые охраняют виллу. Я-то тут при чем, мне, что ли, они нужны? Никто из вас, говорит, и понятия не имеет, что внизу делается… Это я-то «понятия не имею», представляешь? Ладно, давай выпьем.

— Насчет того, чтобы… к американцам уйти, это она не всерьез сказала, я думаю, — сказал Дежнев. — Так, сгоряча сболтнула.

— А ты знаешь, я не уверен. То есть, нет, конечно, всерьез у нее таких планов быть не может, но под влиянием этого своего супруга… Я, впрочем, к нему несправедлив, он-то как раз в обратную сторону стремился, дурень. Но то, что его арестовали, на Татьяну подействовало ужасным образом. Хотя чего иного они могли ждать — в данной ситуации? Поэтому я и опасаюсь, как бы она сгоряча чего не выкинула. Вплоть до побега… благо они там все эти зоны вдоль и поперек успели уже исколесить.

— Домой бы вам ее поскорее отправить.

— Я уже думал. Но, во-первых, до полного окончания фильтрации никуда ее не пустят, да и потом куда ей ехать, к кому… Здесь она все-таки при мне, а там? Там она с ее нынешним настроением такого может натворить, что…

— Я попробую с ней поговорить, Александр Семенович, — сказал Дежнев.

— Попробуй, да. Хотя не уверен, что из этого что-то получится. Ты не узнаешь ее, Сергей.

— Что, сильно изменилась?

— Не внешне, нет. Внутренне это совсем не тот уже человек… хотя тогда она еще и не была по-настоящему человеком, я думаю.

— Ну почему же. В семнадцать лет? Я Таню вос-

принимал как совершенно взрослого человека.

— В общем, да, ты прав. Взрослый человек тоже ведь не окаменелость, каждые десять лет оглядываешься на себя самого и думаешь: странно, каким был дураком… У тебя-то самого какие теперь планы?

— Пока никаких, служу вот…

— Семью думаешь выписывать?

— А что, разве есть такая возможность?

— Да, офицерам оккупационных войск можно будет жить с семьями, это уже решено. Надо только будет подумать, где тебе лучше будет — здесь продолжать или, может быть, в Германию лучше перебраться.

— Да мне все равно, — сказал Дежнев. — Хотя, если так подумать, здесь все-таки лучше, наверное… народ другой. Они-то во время войны были вместе, в вермахт не разбирали кого призывать — немец там или австриец, но сейчас это уже чувствуется… Не упускают случая подчеркнуть, что Австрия, мол, была аннексирована, мы тоже подневольными оказались. А как, интересно, немцы к нам относятся в самой Германии?

— Мне, признаться, редко приходится с ними контактировать. Но когда случается — все происходит весьма корректно, а что там у них на

сердце… поди угадай. Тоже, надо полагать, по-разному. Ты прав, здесь психологическая обстановка несколько иная, мне здешние товарищи об этом говорили. В Австрию мы все-таки с несколько иными чувствами входили, чем туда. Там ведь, знаешь, на границе плакаты можно было увидеть: «Вот она, проклятая Германия»…

— Александр Семенович, а правда это, что первые наши части успели там порезвиться? Это ведь не только на плакатах было, каждый солдат, наверное, про себя только и твердил…

— Всякое случалось, — нехотя ответил Николаев. — Но с этим порядок навели сразу, там уже не миндальничали — герой не герой, но если факт установлен, трибунал без разговоров. Жестоко это, может быть, иной всю войну прошел и тут сорвался… но иначе было нельзя, с безобразиями надо кончать сразу. Нам, как ты понимаешь, мало было уничтожить вражеское государство, теперь задача в том, чтобы создать новое, дружественное. Значит, и политика с ними должна быть соответствующая.

— Получится, вы думаете?

— Создать дружественную нам Германию? А почему же нет. Немцы народ послушный, дисциплинированный, да и какой у них выбор? Всю

Германию мы союзникам не отдадим, они и так уже две трети оттяпали… практически не воевавши. Так что в нашей зоне придется уж фрицам строить социализм безо всяких там приставок типа «националь». Наш, ленинско-сталинский. Мы им помогаем уже, в Дрезден недавно Микоян приезжал — вместе с Коневым встретился с тамошним обер-бургомистром, обсуждали вопросы восстановления города, завоза продовольствия, так что дело уже идет…

На столике в углу зазвонил телефон, Николаев подошел, снял трубку.

— Не сейчас, нет, — сказал он, послушав. — Минут через двадцать перезвоните, сейчас я занят.

Дежнев, тоже встав из-за стола, украдкой посмотрел на часы.

— Сиди, ничего срочного, — сказал генерал. — Четверть часа у нас еще есть. Так договорились? Присылать к тебе Татьяну?

— Ну… «присылать», может быть, не стоит, но если она сама захочет приехать, я буду рад… повидаться.

— Естественно, сама, под конвоем я ее отправлять не собираюсь. Послушай, Сергей, я вот думаю: ты все-таки выпил — может, отдохнешь здесь у меня? Или дам тебе водителя, назад его

попуткой отправишь.

— Нет, спасибо, и отдыхать не буду, и без водителя обойдусь, я и не чувствую уже, что пил. Александр Семенович, а как же все-таки там, в Энске, так все и осталось невыясненным?

— Где? А-а, в Энске! Нет, там выяснилось. Часть гестаповского архива была потом найдена в Ровно, в том числе копия докладной записки того чиновника из Берлина, с которым Татьяна ездила, когда ее арестовали. В записке он подтверждает, что сам отправил в Энск арестованную переводчицу в сопровождении украинского полицейского. Кстати, нашелся и человек, из-за которого провалилась группа Кривошеина. Если помнишь, у Татьяны перед войной были неприятности по комсомольской линии — что-то она там не то своим пионерам говорила…

— Ну-ну, как же!

— Так вот, тот бдительный товарищ, который тогда ее «разоблачал», — он и выдал.

— Шибалин — из горкома? Ах, сволочь, — ошеломленно сказал Дежнев. — Ведь каким идейным прикидывался… Так он что — нарочно остался сотрудничать?

— Я, брат, с подробностями незнаком. Кажется, он в свое время тоже не успел эвакуироваться,

скрывался где-то в селе, а летом сорок третьего до него добрались. Ну, остальное можно себе представить…

За рулем майор если не трезвел, то, во всяком случае, умел загнать хмель куда-то внутрь, подавить его усилием воли. Так было и на этот раз. Выбравшись из Вены и благополучно миновав контрольно-пропускные пункты, он выжал педаль акселератора до упора и гнал так минут двадцать. Потом поставил машину на обочине, перепрыгнул через кювет и побрел от шоссе. Свежая трава шелестела под сапогами, было жарко, в солнечной дымке высились на юге зубчатые горы, пестрые, словно в ломаных линиях камуфляжной раскраски, — сиреневые, коричнево-зеленые, лиловые. Где-то в небе пел невидимый жаворонок. Немецкая каска, уже тронутая ржавчиной, зазвенела и откатилась в сторону — еще месяц назад здесь шли бои.

Дежнев бросился в траву и закрыл глаза, так и не обнаружив продолжающего заливаться жаворонка. С ним творилось что-то странное — было ощущение, что именно сегодня он окончательно потерял Таню. Оттого, что она нашлась? Бред какой-то, и тем не менее это так. Как будто не найдись она, останься одним лишь бесплотным

воспоминанием — она осталась бы с ним навсегда и неотъемлемо, независимо ни от каких поворотов его судьбы в этом реальном, ощутимом мире. Нелепо, но тем не менее. Иначе откуда ощущение потери?

Лучше бы не приезжала. Но ведь не может он сказать: не надо, не хочу, боюсь. В атаки не боялся, а тут боишься? Или наоборот, лучше все-таки повидаться, поговорить, может быть, так и надо — чтобы уж до конца, сразу, без остатка. Раз и навсегда.

Но как с ней теперь говорить? Если родной дядька общего языка не нашел, то ему-то и подавно будет трудно.

Наверное, она действительно стала другим человеком. Надо додуматься — сбегу, говорит, к американцам…

Это вообще не укладывалось у него в голове, как можно сказать такую вещь — пусть даже не всерьез (конечно же, не всерьез!), а просто как необдуманную угрозу. К американцам сбегали, такие случаи имели место, но кто сбегал? Подонки, какой-то старшина проворовавшийся, или был случай — здесь, в Вене, — одного морально неустойчивого заманили в свою зону, напоили, повели к бабам. А там и щелкнули исподтишка:

в непотребном виде, но в кителе с капитанскими погонами. Это их методы, так и вербуют, сколько раз об этом на политзанятиях предупреждали. Но чтобы Таня? Немыслимо. Не то страшно, что и в самом деле сбежит (ерунда это, понятно), а что такая мысль могла прийти ей в голову, что она могла произнести такие слова…

Ну что ж, наверное, и впрямь изменилась. Хотя для него все равно останется прежней — даже такая. Побывавшая на Западе, побывавшая в оккупации, многому научившаяся: улыбаться вражеским офицерам, вступать в фиктивные браки с эмигрантами. А, черт, что это я несу, что со мной делается, коньяк, что ли, начинает действовать. Высокооктановый, замедленного действия. Нет, «сразу и без остатка» все равно не получится, не выйдет. Воспоминания все равно останутся. Уж этого-то у него отнять не смогли и никогда не смогут, это будет всегда. С ним, здесь.

Он сцепил зубы, крепко зажмурился, но слезы все равно просачивались из-под век, обжигающе стекали куда-то к вискам. Всегда это будет с ним, до конца, — осень тридцать девятого года, и сентябрь сорокового, и весна сорок первого. Та ночь в парке, и голубой рассвет на проспекте Урицкого, и долгие зимние вечера в библиоте-

ке, и та проклятая во веки веков ночь — самая короткая в году, — когда серые граненые танки уже выходили на исходные рубежи, и пылили к границе машины с мотопехотой, и «юнкерсы» заправлялись на полевых аэродромах, — а они, ни о чем не догадываясь, бежали, взявшись за руки, по безлюдному предрассветному бульвару, и целовались, прячась в подворотнях, и с хохотом бежали дальше — все дальше и дальше, прямо в войну, до которой оставались считаные минуты…

Глава 8

Со следователем ему просто не повезло. Болховитинов не был уверен, впрочем, что этот человек действительно следователь, так же как и не имел ясного представления — относительно самого себя, — находится ли под следствием или просто проходит какую-то затянувшуюся проверку. Все это было неясно, но в конечном счете и несущественно, хуже было то, что с человеком, которому эта проверка (или следствие) была поручена, ему оказывалось все труднее найти общий язык. Следователю, наверное, тоже с ним было непросто — Болховитинов это признавал.

Начать хотя бы с того, что следователь явно не знал, как к нему обращаться. Из советских книг Болховитинов знал, что там в подобной ситуации принято говорить «гражданин», но ведь он не был для следователя никаким гражданином, а называть подследственного «господином таким-то» ему, надо полагать, мешала гордость представителя народа, избавившегося от всяких господ уже четверть века назад. Поэтому он либо вообще обходился без обращения, либо обращался примерно так: «Ну что, фашистская проститутка, ничего больше не вспомнил?».

Этот же привычный вопрос задал он и сегодня, заменив лишь эпитет более кратким и выразительным, отечественного происхождения. Болховитинов, не обижаясь, спросил в ответ, каких, собственно, воспоминаний от него ждут.

— А это ты сам должен знать, — сказал следователь, роясь в папке. — Мне, что ли, тебе подсказывать? Я твоих дел не знаю, ты ими занимался, ты и вспоминай. Когда с немцами-то первый раз снюхался?

— В каком смысле?

— В контакт, говорю, когда с ними вступил?

— В мае сорокового года, — подумав, ответил Болховитинов. — Под Аррасом. Мы отходили от

самой границы, вообще не видя немцев, а под Аррасом они нас догнали. Ну, это только так говорится — «контакт с противником»; нам и дня продержаться не удалось.

— Воевал, что ли? У французов?

— Да какое там «воевал», разве это война была. Потом вообще попал в плен, очень скоро.

— Ясно, — с удовлетворением сказал следователь. — И по этой линии, выходит, оказываешься изменником Родины. А еще бывший дворянин!

— Почему «бывший»? — Болховитинов пожал плечами. — Дворянство не должность, не имущественное состояние, конфисковать его нельзя, сместить с него — тоже.

— Упразднить зато можно. Дворянство мы в семнадцатом году упразднили, не слыхал до сих пор?

— Ну, это так просто не делается, — возразил Болховитинов. — Если завтра вам придет в голову декретом упразднить псовые породы, то все равно дворняги останутся дворнягами и борзые — борзыми…

— Поговори, поговори мне еще! Ты передо мной хуже самой поганой дворняжки, поскольку ты есть немецкая овчарка. И не заговаривай мне зубы насчет того, как и когда ты с ними воевал.

Я тебя спросил, когда ты к ним служить пошел!

— Вот это уже конкретно. Служить к ним я пошел осенью сорок первого года.

— Выбрал же момент, паскуда. Небось, ждал, что задавит он нас, да?

— Ждал — нет; я этого боялся. Я не думал, что Красная армия выдержит, но дело не в этом. Просто для меня это была возможность попасть в Россию… и я ею воспользовался. Согласен, это было не очень разумно, но я не жалею.

— Ну и что же они тебе поручили делать? Давай, давай, не тяни резину, рассказывай!

— Вы имеете в виду мою работу у Вернике? Но я ведь много раз об этом и говорил, и писал, все решительно — что строили, где и когда строили…

— Что и где ты строил, — перебил следователь, — на это я, знаешь, ложил с прибором. Это меня не интересует. Что меня интересует узнать, так это где, когда и от кого ты получил задание завербовать генерал-полковника Николаева. И я это узнаю, даже если мне с тобой еще месяц тут придется чикаться. Не бойся, не таких раскалывал!

— Позвольте, — пробормотал Болховитинов, когда к нему вернулся дар речи. — Вы сказали — завербовать? Николаева? Помилуйте, да я только

здесь, на этой уже стороне Эльбы, узнал, что есть такой генерал-полковник! Или нет, нет, погодите — если уж быть точным: об этом человеке я знал и раньше, но…

— Видишь, сам ведь врешь, путаешься на каждом шагу. От кого узнал, когда?

— От его племянницы, Татьяны Викторовны, примерно три года назад. Да, летом сорок второго.

— При каких обстоятельствах познакомился с Николаевой Татьяной Викторовной?

— Понимаете, это получилось совершенно случайно! Энск был первым русским городом, который я увидел, ну и, естественно, мне захотелось взять на память несколько фото — сохранившиеся церкви, просто виды улиц, а центр был сильно разбит, и я тоже снимал развалины, зашел во двор одного полуразрушенного дома… там был такой проход, знаете, под аркой, такой типично русский, этого, кроме России, нигде не увидишь. Ну, я фотографировал этот двор, и тут она вышла из одного из подъездов — я, по правде сказать, почувствовал себя неловко, я думал, что в доме никого нет, иначе не стал бы фотографировать — ну, вы понимаете, снимать в чужом дворе — не спросив разрешения…

— Понимаю, понимаю, — сказал следователь. — А вот понимаешь ли ты, как выглядит теперь твое утверждение, будто знакомство с Николаевой было случайным. Ты в каком доме с ней встретился?

— Ну, это — как я узнал позже — был дом, в котором она жила до войны. Точнее, до бомбардировки, когда центр города был разрушен.

— Правильно ты узнал. — Следователь кивнул. — Только узнал ты это не позже, а раньше, и именно потому туда и пришел — следил за ней, подождал, пока она войдет в дом, а тогда зашел во двор и разыграл это представление со съемками.

— Все, что вы говорите, — самый дикий вздор, какой только можно придумать. Я утверждаю и прошу записать это в протокол, что до того дня в июне сорок второго года не знал о существовании генерала Николаева и его племянницы.

— Так-таки и не знал?

— Так и не знал.

— И ни от кого не слышал эту фамилию?

Болховитинов помолчал, пытаясь вспомнить, не было ли каких-нибудь Николаевых среди его пражских знакомых. Или, может быть, в Париже?

— Ну что, молчишь? Прищемили тебе, скорпи-

ону, хвост?

— Нет, просто хочу ответить как можно точнее. Не исключено, что я мог слышать эту фамилию в Париже, в Праге, в Югославии еще… Она не такая редкая, но… нет, не могу припомнить среди моих эмигрантских знакомых никакого Николаева.

— При чем тут твои… эмигрантские знакомые?! — заорал следователь. — Что ты мне хреновину прешь? Делаешь вид, что не понимаешь, о каком Николаеве тебя спрашивают?

— Про генерала Николаева и его племянницу я до июня сорок второго года ничего не слышал и слышать не мог. Общих приятелей у нас, как вы понимаете, не было.

— Это мы еще увидим! Ты с какого времени в Дрездене кантовался?

— С октября сорок первого года.

— И до…

— До мая сорок второго. В мае я уже выехал в Энск вместе с другими служащими фирмы.

— Та-ак, — с удовлетворением протянул следователь, разглядывая грани карандаша. — Зиму, выходит, провел там?

— Совершенно верно, зиму я провел в Дрездене.

— И с кем же встречался? Из русских, я имею

в виду.

— По правде сказать, почти ни с кем. В Дрездене было всего несколько человек, и… не знаю, возможно, я был не прав, но у меня предубеждение к тамошней колонии. Общался я — тоже не очень регулярно — с бывшим одноклассником Дмитрием Извольским, но потом он из Дрездена уехал…

— А из советских граждан, угнанных фашистами, многих знал?

— В ту зиму — никого. Потом, уже весной сорок четвертого, у нас работала группа советских граждан, во Фрейтале, я об этом рассказывал.

— Меня интересует сейчас не весна сорок четвертого, а зима сорок второго. Точнее — период с января по май. С кем из советских граждан, находившихся тогда в Дрездене, ты встречался в указанный период времени?

— Насколько помню — ни с кем. Может быть, какая-то случайная встреча на улице, которая даже не запомнилась? Да нет, я бы запомнил, я ведь интересовался соотечественниками, очень, но просто возможностей общения не было — они жили в специальных лагерях, никаких строительных работ в самом Дрездене наша фирма тогда не вела, так что общаться с остарбайтерами мне просто не случалось.

— Не все советские граждане в лагерях жили, и ты это не хуже меня знаешь. Ну ладно, мы к этому еще вернемся. Кого из немцев знал в ту первую зиму?

— Ну, это… надо подумать. Если вам нужен поименный список, могу припомнить, написать. Хотя, конечно, сейчас это уже немного затруднительно — три года прошло, а были ведь и такие немцы, с которыми встречался раз-другой по какому-то делу, могли и выпасть из памяти…

— Пусть лучше не выпадают, а то вправлять придется, — сказал следователь и через стол сунул ему лист бумаги и карандаш. — Давай вспоминай, пиши, и чтобы все тут были. Полчаса хватит?

Взяв с собой папку, он вышел. Болховитинов озадаченно смотрел на чистый лист — поди их всех вспомни! Ну хорошо, Ридель, Вернике, первая квартирная хозяйка, это четко. Но уже сослуживцы, персонал фирмы — да черт их теперь знает, кто там тогда работал! Была ведь большая — как это называют в России? — да, текучесть кадров; после каждой очередной мобилизации кто-то исчезал, на его месте появлялся какой-нибудь пенсионер… Ладно, написать можно побольше (жаль, нет под рукой дрезденской

телефонной книги), а потом пусть этот фантазер сам разбирается, что к чему. «Завербовать генерал-полковника Николаева» — такого и в белой горячке не выдумаешь!

К возвращению следователя на листе выросла солидная колонка немецких фамилий. Он взял лист, стал изучать, водя карандашом вдоль столбца, потом заглянул в свою папку и еще раз перечитал список.

— Штольница не вижу, — сказал он. — Куда Штольница девал?

— Какого Штольница?

— Сам знаешь какого. Иначе чего бы ты его скрыл, если бы не знал?

— Среди знакомых мне немцев человека по фамилии Штольниц не было.

— Был, был.

— Нет, не было. — Болховитинов повысил голос, уже начиная терять терпение.

— А я говорю — был! — закричал следователь, грохнув по столу кулаком. — Долго ты еще юлить будешь, б…дь ты белогвардейская, или с тобой другой язык нужен?!

— Вы уж хотя бы для себя решили, какая я б…дь — фашистская или белогвардейская, — сказал Болховитинов. — Все-таки разные вещи.

— Один хрен. Вон, Краснова вашего поймали, генерала, кто ж он такой, если не фашист?

— В отношении Краснова вы правы, — признал Болховитинов.

— Я во всем прав, и чем скорее ты это поймешь, тем лучше для тебя. Помнишь в Дрездене такой адрес: Остраалле, дом семнадцать?

— Остраалле? — Болховитинов подумал, пожал плечами. — Нет, не помню такого. Улицу я знаю, часто там проезжал — трамваем, это прямо мимо главного входа в Цвингер. Но дом семнадцать? Нет, этот адрес ничего мне не говорит.

— Ясно. Такой, значит, ты избрал себе метод защиты — от всего отнекиваться, ничего не признавать. Так ведь метод-то старый, давно известный, поначалу все за него хватаются. А что толку? Ты что же, всерьез думаешь, что этими вот своими «нет», «не знаю», «не помню», вот этим трусливым увиливанием действительно кому-то голову можешь задурить? Да тут такие абверовские волки кололись — не тебе, говнюку, чета! А тоже ведь умными себя считали, легенда у каждого была — будь спок, ниоткудова не подкопаешься. И все равно как ни крутили, как ни петляли, а все равно раскалывались как миленькие, и ты у меня тоже расколешься. Это я

тебе вполне авторитетно заявляю. Другой гладкий со всех сторон, как пуля, то есть просто не за что ухватиться, а тебя ведь даже не знаешь, с какой стороны начать разматывать — всюду незаделанные концы торчат. — В голосе следователя прозвучало даже некоторое недовольство простотой предстоящей работы — как если бы краснодеревщику высокой квалификации заказали кухонный табурет. — Ну вот что ты тут написал насчет пребывания в гестапо? Голова у тебя на плечах есть?

— В каком смысле?

— В том, что макитра у тебя на плечах, а не голова. Когда тебя гестапо арестовало?

— Шестнадцатого сентября прошлого года, я запомнил день — англичане тогда высадили десант на Нижнем Рейне. Хочу только уточнить: меня не гестапо арестовало, я был задержан военным патрулем. А уже они отвезли в гестапо.

— Не важно, кто и почему задержал, а важно то, что в гестапо ты был. И сколько же времени ты там просидел?

— Два дня, если не ошибаюсь. Шестнадцатого было воскресенье, а выпустили меня во вторник.

— Ну и кто ж тебе после этого поверит, что ты не дал подписки? Других эти изверги насмерть

забивали, а тут через два дня — пожалте на солнышко, извиняемся, что доставили неудобства…

— Какую еще подписку я должен был дать?

— А вот ту самую, что дал! В том, что сотрудничать будешь!

— Послушайте, — Болховитинов уже чувствовал, что сам перестает понимать что бы то ни было, — вы хоть разберитесь во всей этой галиматье! Зачем я в сентябре прошлого года должен был соглашаться на сотрудничество с гестапо, если, по-вашему, гестапо мне уже зимой сорок второго дало задание найти в Энске племянницу генерала Николаева и познакомиться с ней…

— Это не от гестапо было задание.

— А от кого же? От Второго бюро?!

— Нет, вы гляньте на эту гниду — он же меня еще и спрашивает, от кого имел задание. — Следователь покрутил головой, вздохнул. — Задание это ты имел от абвера. В списке, кстати, еще одно лицо отсутствует. Почему Юргенс не записал, а?

— Какой еще Юргенс?

— Не какой, а какая! Юргенс Гертруда, агент абвера, которая вывела тебя на Николаеву! Ну что, вспомнил? Так вот, абвер твой в начале сорок четвертого накрылся, а гестапо ихнюю агентуру начало прибирать к рукам. В сентябре, стало

быть, и до тебя дошла очередь — понятное дело, быстро это не провернешь, проверки там разные, то, другое. Я тебе сейчас, так сказать, карты свои приоткрываю — чтобы ты, значит, сам убедился. А теперь иди и подумай, стоит ли тебе и дальше вилять и изворачиваться…

На подобные собеседования уходила обычно чуть ли не половина ночи, заснуть после этого удавалось не сразу, а только заснешь — уже сигнал побудки. Хорошо хоть водили на работу, это помогало не думать, иначе вообще можно было бы рехнуться. Работа, правда, тоже была абсурдной, под стать фантазиям следователя: демонтировали какой-то завод, надо полагать — в порядке репарации, потому что оборудование тут же увозилось на станцию железной дороги, но в каком виде! Если заржавевшая гайка не поддавалась ключу, пускали в ход кувалду, заржавевший анкерный болт могли срезать автогеном вместе с проушиной станины. Разрозненные части станков заколачивались в ящики без всякой маркировки, и никто не задумывался — как потом будут разбираться в этом хаосе там, на месте назначения. Контрольные приборы сдирали со стен ломом или — еще проще — сшибали той же кувалдой. Руководившие работой

военные требовали одного: темпов, поскорее, давай-давай! Кое-кто объяснял, что идут споры между нашими и англо-американцами — кому, мол, что достанется; вот и торопятся успеть демонтировать как можно больше, пока нет четкой договоренности…

Болховитинова дикий метод демонтажа поначалу удивил, но потом он перестал удивляться чему бы то ни было — даже узнав, что ему было дано задание «завербовать генерал-полковника Николаева». Куда завербовать? Для каких целей? От чьего имени? Да не все ли равно. Все это было настолько бредовым, что даже изумляться было бессмысленно. Еще и какой-то адрес на Остра-аллее… Сама вздорность обвинений мешала воспринимать их всерьез, и Болховитинов больше тревожился за Таню, чем за себя. При таком подходе, при такой маниакальной подозрительности — могут ли ей не поставить в вину ее работу в гебитскомиссариате? А почему бы не сделать ее соучастницей в плане вербовки собственного дядюшки? Вполне логично — по их сумасшедшей логике. Но даже если не обвиняют ни в чем, то достаточно и того, что она вернулась вместе с ним и (тоже немаловажная деталь) официально как его жена. Хотя этого они, кажется,

не признают.

С тем, что ему придется какое-то время отсидеть, он уже внутренне смирился и не находил это несправедливым. Дело ведь не в том, насколько справедливо подозревают его все эти люди, явно помешавшиеся на кознях западных разведок; высший смысл происходящего был ему совершенно ясен, в час национального испытания он — вольно или невольно — оказался не со своим народом, и это теперь предстояло искупить. А все эти вздорные обвинения — ну что с них взять, с этих «следователей», они такой же продукт времени и среды, как и тот власовец в Клеве… Если бы не страх за Танину судьбу, он был бы сейчас почти спокоен. Тюрьма в России никогда не считалась позорным местом, недаром народ говорил: «От сумы и от тюрьмы не зарекайся» — понимая, что это может случиться с каждым, вовсе не обязательно злодеем. В сущности, это даже не лишено интереса, ведь сколькими мыслями обогатило Достоевского пребывание в «Мертвом доме»!

Несколько ночей его никуда не вызывали, он отоспался, приободрился еще больше. Потом вдруг опять вызвали. Следователь был уже другой, постарше и почти интеллигентного вида. Он

опять стал расспрашивать о Дрездене — кого там знал, с кем общался. Болховитинова это стало уже интриговать. С кем, в самом деле, мог он там встречаться? Может быть, сам забыл — виделся когда-то и забыл, но с кем?

Так он сказал следователю и на этот раз; припомнить не может, но в принципе, конечно, не может и с абсолютной уверенностью отрицать возможность того, что забыл.

— Если речь идет о какой-то случайной встрече, — добавил он. — Мало ли какие бывают провалы в памяти! Но если речь идет о маломальски длительном общении — этого точно не было, нет.

— Хорошо, — сказал следователь. — Вам будет устроена очная ставка, может быть, это поможет…

Подняв трубку настольного телефона, он негромко что-то спросил, потом встал и сделал знак Болховитинову. Они прошли по коридору, у одной из дверей следователь остановился и сделал приглашающий жест, посторонившись. Болховитинов вошел, в пустой комнате сидела перед канцелярским столом молодая женщина в форменном, со споротыми нашивками, кителе эсэсовки. Женщина, очень красивая и — как по-

казалось Болховитинову — отдаленно ему кого-то напомнившая, сидела боком к двери совершенно неподвижно и даже не повернула головы, когда они вошли.

— Сядьте вон там, — сказал следователь и указал на стул по другую сторону широкого стола.

Когда Болховитинов сел, он обратился к женщине по-русски:

— Посмотрите внимательно. Где, когда, при каких обстоятельствах вы видели этого человека?

Эсэсовка с полминуты смотрела на Болховитинова отрешенно и безнадежно, потом шевельнула спекшимися словно от жара губами и ответила тоже по-русски, совершенно без акцента:

— Этого человека я никогда не видела.

— Посмотрите хорошо, подумайте. Речь может идти о встрече, имевшей место два-три года назад.

— Нет, я не знаю этого человека. Ошибиться я не могу, у меня хорошая память на лица. Не знаю и никогда не видела.

— Вы, — следователь обернулся к Болховитинову. — Посмотрите внимательно и постарайтесь вспомнить, где и когда могли видеть эту женщину.

— Н-нет, — отозвался тот не совсем уверенно. —

Не припоминаю…

Неуверенность появилась от этого странного ощущения: все-таки она кого-то напоминала, очень отдаленно, едва уловимо, но кого? Видеть ее вот так прямо он никогда не видел и уж, конечно, никогда с ней не разговаривал, но… действительно, откуда же тогда это едва ощутимое — как прикосновение паутинки, — но совершенно отчетливое чувство deja vu[80].

Он еще раз глянул на нее — анфас она была так же хороша, хотя левую сторону лица уродовал шрам ожога, идущий от уха к шее и, видимо, заставляющий ее держать голову чуть наклоненной к плечу. Взгляды их опять встретились, и он тут же отвел свой — столько опустошенности и безнадежности было в ее глазах.

— Вы, похоже, не уверены, — безошибочно уловил следователь.

— Нет, я просто… пытался припомнить, — сказал Болховитинов. — У меня как раз память на лица не очень… Но нет, нет!

— Ну, нет так нет, — согласился следователь. — Тогда идемте.

Они вернулись в тот, первый кабинет. Не

---

[80] Notes: 80
Уже виденного *(фр.)*.

спрашивая больше о загадочной женщине, следователь дал Болховитинову лист бумаги и велел снова подробно написать, какие именно фортификационные работы проводились в округе Клеве с августа сорок четвертого по февраль сорок пятого года.

— Я ведь уже составлял такой перечень, — сказал Болховитинов.

— Ничего, составьте еще раз. Только поподробнее и не опуская технических данных. Если возводились железобетонные сооружения, укажите марки цемента и спецификации арматурной стали.

— Нет, не было там железобетона, я об этом тоже писал. Но когда мне все это сделать? Днем я на работе, ночью меня таскают на эти допросы, или собеседования, не знаю уж как назвать; сейчас я, например, ничего вам написать не могу — голова гудит.

— Это не срочно, — сказал следователь, — напишете потом, когда отдохнете. Я скажу, чтобы вас не беспокоили.

Беспокоить его и в самом деле перестали, ночные вызовы прекратились. Сосед по бараку, человек бывалый и с небольшим зэковским стажем еще довоенных времен, сказал, что, скорее

всего, следствие по его делу окончено и теперь его или освободят, или будут судить.

— Ну, как «судить», — добавил он, — это ведь только называется, что суд. Тебя и вызывать не станут, без тебя все решат, приляпают срок, и хорош…

Срок так срок, подумал Болховитинов, куда теперь денешься… коли назвался груздем. Своя судьба его как-то не волновала, но все тревожнее делалось за Таню: что, если и ей додумаются что-нибудь инкриминировать? Он теперь видел, что с этим здесь просто — «пришить», как выражался сосед-зэк, могут все, что угодно. Страх за Таню почему-то (хотя никакой логической связи тут не было) усугублялся воспоминанием о странной очной ставке; он не мог забыть глаза той несчастной, мысленно только так ее и называл, хотя, конечно, кем угодно могла быть русская в униформе СС — шпионкой, осведомительницей гестапо, наконец секретаршей какого-нибудь бонзы из КОНРа[81]. Во всяком случае, на рядовую гестаповку она никак не походила, ее речь свидетельствовала о принадлежности к интеллигентным кругам. Но это было несущественно,

[81] Notes: 81

«Комитет освобождения народов России», созданный немцами в Праге в ноябре 1944 года.

стоило ему вспомнить ее глаза — а забыть такое невозможно, — и вопрос вчерашней виновности как-то терял смысл, потому что сейчас это были глаза страдающего человека, низвергнутого на самое дно отчаяния — самого глухого, самого последнего, когда уже не остается ни надежды, ни желания ее обрести.

Кто была эта несчастная, какова ее действительная или мнимая вина, что привело ее в такое состояние — он понимал, что никогда этого не узнает, и лучше всего было бы поскорее ее забыть; но он знал уже, что забыть не сможет, что эта короткая встреча останется в его памяти как одно из самых тяжелых воспоминаний…

А время шло, население в бараке менялось, одни уезжали, вместо них появлялись новые — большинство прямо с Запада, только что переданные союзными властями нашим репатриационным миссиям. Однажды — уже шел июнь — Болховитинова на работе послали отрезать муфту в кабельном туннеле. Муфта капут, а кабель еще сгодится, объяснил солдат, вручив ему ножовку, поэтому надо отрезать здесь, а потом с того конца, где щит.

— Бандаж только наложи, где резать будешь, — предупредил он, — а то размотается вся эта

хреновина — намучаешься после с ней, как вытаскивать будем.

— Бандаж-то я наложу, — сказал Болховитинов, оглядываясь в поисках подходящего куска проволоки, — только пришли сразу кого-нибудь с паяльной лампой, чтоб запаять свинец.

— Да чего его паять, возьми вон мешок бумажный, замотаешь там потуже, и лады.

— Чудак, здесь изоляция в масляной пропитке. Вытечет масло — куда этот кабель будет годиться, его же пробьет потом под нагрузкой.

— Ну и хрен с ним, пусть пробивает, это уж не наша забота…

Болховитинов пожал плечами, нашел проволоку, наложил бандаж и стал, не торопясь, резать кабель. Торопиться было некуда, солдат сказал, что другой работы до обеда не будет. Не допилив и до половины, он услышал чьи-то бегущие шаги, обернулся и в слабо освещенной редкими пыльными лампочками перспективе туннеля увидел Таню.

Первой его реакцией было изумление от того, что она всегда появляется внезапно и неправдоподобно, как галлюцинация, и не сразу веришь, что это на самом деле. Он и сейчас не мог поверить, прижимал к себе ее вздрагивающие

плечи, пытался успокоить какими-то пустыми словами, — и ему казалось, что это во сне, а она продолжала плакать отчаянно и беззвучно, уже насквозь промочив слезами его рубаху.

— Ну не надо, ну что ты, — повторял он, — ну ничего же не случилось, видишь — оба мы живы-здоровы, все будет хорошо… Ты как вообще сюда попала?

— Через дырку какую-то, — она всхлипнула и шмыгнула носом у него под ухом, — я со знакомым сержантом договорилась, он сказал — лезь сюда, и потом прямо по туннелю, там увидишь… Еще боялась, что куда-нибудь не туда залезу. Ой, Кирилл, ну как ты тут, что они, собственно, от тебя хотят, я ничего не понимаю, сколько ни спрашивала — никто ничего толком не говорит. Ладно, это не важно уже! Я почему пришла — тебе нужно бежать, понимаешь, и не тянуть с этим, я все уже продумала…

— Помилуй, куда бежать, о чем ты? Расскажи лучше о себе — у тебя-то все в порядке, с тобой все выяснили?

— Да не знаю, ну их к черту, с ними разве поймешь? Сейчас не во мне дело! Здесь есть лагерь французов, понимаешь, освобожденных французов, и их скоро будут всех отправлять домой. Ты

должен попасть в этот лагерь, это можно устроить, и выдать себя за француза, понимаешь?

— И что же, уехать с ними во Францию?

— Ну конечно же!

— Ну, знаешь, — ошеломленно сказал Болховитинов. — Из Голландии было ближе, тебе не кажется?

— Согласна, да, ну не сообразили, кто же мог думать, что так все получится, что же теперь делать! Я тебе говорю — это единственный выход! Тебя если не отдадут под суд, то все равно вышлют, но даже на это трудно рассчитывать, Дядесаше говорили, он сказал: «Ты должна четко представлять себе обстановку»… Тебе надо бежать, и бежать немедленно, а я перейду межзональную границу в Берлине, там это легче…

— Ты что же, решила эмигрировать?

— Почему «эмигрировать» — просто уехать на время, переждать, пока они здесь не опомнятся…

Болховитинов невесело усмехнулся.

— Наши эмигранты еще в Константинополе твердили: «Это ненадолго, должны же большевики образумиться». Не надо иллюзий, Таня, твой дядюшка прав — обстановку лучше представлять себе такой, как она есть. Если эта власть не образумилась за двадцать пять лет…

— О чем ты, я не понимаю тебя, при чем тут эмигранты, при чем тут большевики? Кто не образумился за двадцать пять лет?

— По-твоему, такое отношение к нашему брату — это просто дурь местного начальства?

— Ну ты еще скажи, что это товарищ Сталин приказал подозревать в измене каждого!

— Это меня, знаешь, мало волнует, кто лично приказал — товарищ ли Сталин, или товарищ Молотов, или товарищ Берия…

— Берия, кстати, — перебила Таня запальчиво, — перед войной массу военных выпустил, которых посадили при Ежове!

— Да, да, я слышал. Возможно, он и прекрасный человек, это в данном случае несущественно. Существенно то, что у большевиков всегда действовал совершенно определенный принцип: любой подозрительный является потенциальным врагом, а значит, и обращаться с ним надо соответственно. Это уже в Гражданскую войну так было, так что ожидать, что они вдруг «опомнятся»…

— Да ты… ты просто начитался в свое время всякой белогвардейщины!

— Вот уж нет. — Болховитинов покачал головой. — Никогда меня не тянуло к такого рода

литературе, теперь даже начинаю жалеть. Больше ведь случая не представится, а какие мемуары были интересные — Деникина, Шульгина… Ну а беллетристика — нет, я еще гимназистом, помню, генерала Краснова с трудом осилил. Есть у него такой толстенный роман — «От двуглавого орла к красному знамени» — ну, там революция, Гражданская война, зверства чекистов и тому подобное. Все красные — мерзавцы и садисты, все белые — рыцари без страха и упрека, словом, та же схема, что в любом советском романе. Наизнанку, понятно. Так что «белогвардейщина» на меня никогда не влияла в таком смысле, до войны я был, скорее, не склонен верить тому, что писали о Советах… Но когда побывал дома и поговорил с людьми, когда реально представил, как вы жили перед войной — вся эта нищета, бессмысленные аресты… Мне рассказывали, люди каждую ночь ждали — придут за ними или не придут. Не знаю, конечно, возможно, кое-кто и преувеличивал… Но если и наполовину правда — такого даже здесь при Гитлере не было. Я только когда вот этой зимой с голландскими резистантами спутался, стал немного опасаться, что вдруг гестапо пронюхает, а раньше все-таки три года проработал у Вернике, в принципе, тоже в чем угодно могли подозревать

— русский как-никак! — и ничего, дико даже было подумать, что могут взять и посадить ни с того ни с сего… Евреи, правда… Но их ведь лишили гражданских прав, понимаешь, так же, как у нас после революции сделали «лишенцами» дворян, священников. В любом государстве… ну, скажем, такого типа… всегда есть бесправная категория людей, с которыми власть может сделать что угодно — отнять имущество, выслать куда-то, бросить в лагерь… А по каким признакам эта категория определяется — по социальному или по расовому, — это уже несущественно…

— Нас здесь не могут подслушать? — быстро, понизив голос, спросила Таня.

— Нет, если кто войдет в туннель, услышим издалека.

— Хорошо, тогда вот что мне скажи! Потому что я уже просто ничего не понимаю — ты что же, против советской власти?

— Да нет, конечно. Быть против — значит бороться, а у меня и в мыслях этого не было. Бороться против советской власти бессмысленно, раз народ ее принял и поддерживает. Именно поэтому я ее тоже принимаю как неизбежность, если угодно.

— Но если ты считаешь, что Гитлер был луч-

ше!..

— Что значит — лучше, хуже… Обычным, рядовым немцам при Гитлере жилось благополучнее, чем нашим людям — при Сталине. Если тебя обидело это сравнение — прости; я понимаю, такое тяжело слышать. В Энске я, если помнишь, вообще никогда не говорил с тобой на эти темы… хотя сказать мог бы очень многое.

— Но как же ты тогда можешь!

— Что — как могу?

— Как ты можешь хотеть жить в Советском Союзе, если так относишься к нашему строю? Ты ведь не любишь советскую власть!

— Да на черта мне ее любить! — закричал Болховитинов. — Почему я вообще должен «любить власть»? Я Россию люблю — страну люблю, народ, хотя и не понимаю его во многом, и чем дальше, тем меньше он мне понятен. Взять хотя бы этот идиотский демонтаж; казалось бы, радоваться должны — полстраны надо отстраивать, там, я себе представляю, каждый гвоздь сейчас на счету. А мы что делаем! Вместо исправного промышленного оборудования отправляем домой черт знает что, брикабрак[82] какой-то — и всем наплевать!

---

[82] Notes: 82
Bric-a-brac *(фр.)* — здесь: хлам.

Я вот только что солдату этому говорю — нельзя так обращаться с кабелем, он потом выйдет из строя, где-то будет авария, остановятся машины… А он мне в ответ: «Нам-то что!» Ты можешь себе представить, чтобы немец так ответил? Или англичанин, или француз? Хотя жить я не хочу ни среди англичан, ни среди французов, — а вот к русским тянет. Иной раз и сам не понимаешь, за что нас можно любить; черт его знает — свое, вот и любишь! А власть — да какое мне до нее дело? Какое мне дело до того, что Россия сейчас называется Советским Союзом, Германия вот какое-то время называлась Третьим рейхом, ну и что? Не скажу, что от подобных переименований временно не меняется характер страны, но убежден, что главное — вечное — остается неизменным и рано или поздно восстанавливается… Поэтому, если мне разрешат вернуться, я буду вполне лояльным гражданином, законов постараюсь не нарушать, а никакой «любви к власти» от меня требовать не надо. Кстати, это и не в наших национальных традициях, насколько мне известно…

— Ладно, Кирилл, не будем отвлекаться. Сейчас надо решать, и решать быстро. Я бы еще поняла, если бы ты сказал: «Я без советской власти дня не смогу прожить», но если…

— Да без нее-то проживу, пропади она пропадом, — перебил Болховитинов, — мне без России не прожить! Что же делать, если так получилось, что их теперь не разделить, сам народ себя от власти не отделяет, вот что самое нелепое.

— Да ни в какую Россию тебя сейчас никто не пустит, пойми ты наконец, какое им дело — можешь ты без нее прожить или не можешь! Ты для них в лучшем случае немецкий пособник, а в худшем — агент гестапо или я уж не знаю там чей, американский, французский, черта, дьявола! Если даже самому Дядесаше намекнули, что в твое дело ему лучше не вмешиваться, — неужели тебе это ни о чем не говорит? Уж будь уверен, найдут, в чем обвинить! Поэтому я и говорю — давай уедем пока, сбежим, Дядясаша слышал в Москве, что эмигрантам будут возвращать советское гражданство — тогда пожалуйста, но сейчас-то зачем тебе подставлять голову?

— Танечка, ты действительно чего-то не понимаешь. Ну подумай сама — предположим, я сейчас сбегу. Ведь это значит — признать справедливыми все обвинения в свой адрес!

— Ну и что?

— Как это ну и что? Хорошенькое дело — взять и обесчестить себя!

— Перед кем? Перед этим хамьем, которое вообще не знает, что такое честь?

— Но мы-то с тобой знаем, — спокойно возразил Болховитинов. — Бесчестный поступок остается бесчестным независимо от того, перед кем он совершен.

— Да что же тут бесчестного — уйти от незаслуженного наказания?

— Видишь ли, все зависит от обстоятельств. В данном случае обстоятельства таковы, что уйти мне нельзя. Хотя бы потому, что они после этого скажут: вот, мы были правы, и вообще всякий, кто приходит оттуда, действительно в чем-то виноват. Ну что ты, глупышка…

— Что, что! — выкрикнула она сквозь слезы. — Ты хоть понимаешь, что тебя могут засадить надолго!

— Если очень надолго, ты меня ждать не будешь, вот и все.

— Не говори ерунды! Прекрасно знаешь ведь, что буду ждать, сколько надо, мне непонятно только — как ты можешь так спокойно ко всему этому относиться!

— Иначе нельзя, я думаю, — помедлив, отозвался Болховитинов. — Ты помнишь, я однажды пытался объяснить тебе разницу в мироощу-

щении человека верующего и… не придающего значения этим вопросам. Главное различие в том, как понимать жизнь… Или это путь, не ведущий никуда, и надо только постараться прожить его мирно, не причиняя никому зла, и чтобы зла не причиняли тебе… ни зла, ни особых неудобств. Или это все-таки путь постоянного нравственного труда — и тогда все эти неудобства… зло, всякие утеснения, которым тебя подвергают… все это, понимаешь, второстепенно. Важно только одно: как ты сам на это отзываешься, как все это влияет на твою душу. И тут, мне кажется, очень важно не озлобиться, устоять перед соблазном ответного зла. Не устоишь, озлобишься — значит ты испытания не выдержал. Конечно… заранее про себя сказать трудно — выдержишь, не выдержишь…

— Да ты-то выдержишь! — Таня с отчаянием высморкалась. — А мне что делать? Обо мне ты подумал?

— О тебе? Да я только о тебе и думаю, о ком же мне теперь думать, — сказал Болховитинов.

— Гос-с-споди, — она замотала головой, зажмурившись и сжав руками виски, — и угораздило же тебя тогда приехать, сидел бы сейчас спокойно в своем Париже…

— Страшно подумать. — Он улыбнулся. — Тебя сюда надолго пустили?

— Сюда? — не поняла Таня.

— Ну, этот твой сержант — он будет ждать, чтобы проводить тебя обратно?

— А-а! Нет-нет, он просто показал, куда идти. Сказал — будешь вылезать, оглядись, чтобы рядом никого не было, и чеши вон туда. Я так поняла, что вас тут не очень строго охраняют.

— Да, скорее формально. Без бумаг все равно далеко не уйти.

— Но это может измениться в любой день! Бежать надо сейчас, пока еще есть возможность…

— Опять ты за свое, — сказал Болховитинов. — Бежать сейчас значило бы лишить смысла все, что я делал до сих пор, а это… противоестественно, понимаешь? Это была бы полная бессмыслица, в жизни так не бывает.

— В жизни не бывает бессмыслицы? — Таня посмотрела на него удивленно. — Да сколько угодно кругом бессмыслицы, на каждом шагу!

— Да нет… это только так кажется. Смысл есть всегда, просто он не всегда… различим с первого взгляда. Обычно остается невидим, долго остается, и лишь потом вдруг понимаешь… рано или поздно приходит понимание смысла происшед-

ших событий.

— Это уж смотря какие события. Интересно, когда придет твое «понимание», если человеку свалился на голову кирпич и убил на месте.

— Как раз в этом случае, — Болховитинов рассмеялся, — очень скоро придет, гораздо раньше, чем ты думаешь. Кстати, — он порылся в кармане гимнастерки и протянул Тане маленькую алюминиевую медальку. — Возьми это себе. У меня сразу все отобрали, и нательный крестик, и отцовский знак первопоходника — я тебе показывал, помнишь, меч в терновом венце… А это завалилось за подкладку, я сам только потом нашел.

— А что это? — Таня поднесла медальку ближе к тусклой электрической лампочке. — Иконка какая-то?

— Да, католическая, Иисус в Гефсиманском саду. Моление о чаше. Это я в одном монастыре подобрал, по пути из Калькара. Там много их было, целый ящик рассыпался… И такое странное совпадение, посмотри, что тут написано: «Побудьте здесь и бодрствуйте со Мною»…

— «Побудьте здесь»? — задумчиво переспросила Таня, продолжая разглядывать медальку. — «Bleibet» точнее перевести как «останьтесь», «оставайтесь»…

— Пожалуй, но в русском тексте Евангелия говорится «побудьте», поэтому я так и перевел.

— Да… забавно. Это ты только теперь прочитал?

— Ну почему же, прочитал сразу, но как-то не обратил внимания на смысл. Вернее, на… двусмысленность, если позволительно так выразиться.

— Какая уж тут «двусмысленность»… Выходит, судьба все-таки нас предостерегала, — сказала Таня делано-шутливым тоном. — Может быть, ты хоть теперь прислушаешься?

— Судьба предлагала нам остаться, — в тон ей отозвался Болховитинов, — но ничего не сказала о возвращении, это разные вещи. В общем, договоримся так: бежать я никуда не намерен, поэтому успокойся и не строй, пожалуйста, никаких монтекристовских планов. Александр Семенович пусть ничего не предпринимает, ему ничего не удастся сделать…

— Так он уже и сказал, что не удалось.

— Естественно, нечего было и пытаться. За меня не переживай, у меня хватит и сил, и терпения, я ни о чем не жалею. Хотя нет, «ни о чем» — это неправда. Жалею, что наш брак остался фиктивным, — наверное, я был дураком там,

в Голландии…

— При чем тут ты, — тихо сказала Таня. — В таких делах решает женщина. Но тогда я… не могла, я ведь не знала, что Сергей женат, и это… нехорошо было бы, понимаешь. А сейчас я тоже жалею. Не надо только говорить, что брак фиктивный, я твоя жена и буду ждать, что бы ни случилось. А что у нас с тобой ничего не было, так разве это главное… И потом, по твоей теории, какой-то смысл должен быть и тут?

Она обняла его, прижавшись лицом к груди, он стал осторожно гладить ее плечи, медленно, несмело провел пальцами по ложбинке вдоль позвоночника; и страшное, безысходное отчаяние охватило его вдруг от сознания неизбежности разлуки, от внезапной мысли — не мысли даже, а неосознанной до конца догадки, сомнения, вопроса — не сделал ли он какой-то ошибки в главном, не принес ли в жертву надуманной химере неповторимый и не заслуженный им подарок судьбы. Ведь можно было быть по-обыкновенному, по-человечески счастливым, можно было сделать счастливой Таню, наверняка он смог бы, сумел, надо было только отказаться от порожденных ностальгией мифов, преодолеть маниакальную убежденность в том, что человек может жить

только среди своих единоплеменников, что все на чужбине достойно лишь хулы и насмешки, а все в отчем краю благостно и осиянно…

А впрочем, как знать, действительно ли сумел бы. Переделать сознание не так просто, надо перестать быть самим собой, уметь довольствоваться простой, обыденной данностью. Но этого мы никогда не умели. К несчастью, вероятно. Не умели, не умеем и едва ли когда-нибудь научимся, поэтому остается одно: быть тем, что мы есть, продолжать верить в давно не существующий Китеж, верить, несмотря ни на что, несмотря на очевидность — позорную, страшную, не оставляющую места надежде.

— Я буду тебя ждать, — шептала Таня, — буду ждать, сколько придется, что бы они с тобой ни сделали, ты только верь, что я жду, верь…

Глава 9

Она приехала через три недели, в середине июня. Дежнев возвращался из гарнизонной столовой, когда услышал позади легкие торопливые шаги и женский голос окликнул его по-русски:

— Простите, вы не скажете, как пройти в комендатуру?

Он остановился и замер, потому что сразу узнал ее по этому особенному, по-московски акающему и слегка картавому выговору, из-за которого ее поддразнивали еще в десятом «Б». Потом медленно обернулся и увидел перед собой молоденькую женщину с чемоданчиком в руке, в сандалиях на босу ногу, в американской гимнастерке с большими накладными карманами и подвернутыми выше локтя рукавами, заправленной в перетянутую английским брезентовым ремнем защитную юбку, какие носят наши регулировщицы и связистки. Он увидел ее лицо — чуть мальчишеского склада, сильно загорелое, с коротким носом и редкой россыпью веснушек на переносице и под глазами, и это лицо стало вдруг бледнеть, а глаза потемнели и сделались еще больше.

— Ну здравствуй, — сказал он. — Я уж думал, ты решила не приезжать.

Она ахнула и выронила чемоданчик. Крышка от удара отскочила, на плитчатый тротуар выпал сверточек в вафельном полотенце, банка консервов, мыльница, круглый целлулоидный футлярчик для зубной щетки; Дежнев опустился на колено и стал подбирать вещи.

— Ой, я сама, не надо! — Таня, присев рядом, схватила сверток, мыльницу, руки их соприкос-

нулись — она отдернула свою и быстро, искоса, глянула на Дежнева. — Господи, не могу поверить, что это в самом деле ты…

— Да, действительно… неожиданно как-то получилось, хотя и…

— Почему ты решил, что я не приеду?

— Я не то что решил, а просто — ожидал раньше, а тут прошла неделя, две, тебя нет, ну я и подумал — может, тебе не очень приятно меня видеть.

— Господи, что за глупости, как ты мог…

Он защелкнул замочек чемоданчика, встал и подал ей руку, помогая подняться.

— Ты долго здесь пробудешь? Можно остановиться у меня, я узнавал — у хозяйки есть свободная комната. Или по соседству где-нибудь, с жильем тут проблем нет.

— Спасибо, я только переночую…

— Что так? — Он улыбнулся через силу. — Служба не пускает?

— Мне послезавтра опять являться в комиссию, так что…

— Я со слов генерал-полковника понял, что у тебя с этим уже все в порядке?

— Да, в основном — да, но они иногда еще вызывают, задают разные дополнительные вопросы, фотографии показывают… «знаете ли кого-ни-

будь из этих лиц, где встречались, при каких обстоятельствах», ну, сам понимаешь…

— Ладно, идем пока ко мне, скажу хозяйке, чтобы приготовила чего-нибудь. Или в нашу столовку сходим? Я-то уже обедал.

— Нет-нет, пожалуйста, никаких столовок! И готовить ничего не надо, у меня консервы с собой, пусть просто разогреет…

Дежнев квартировал рядом — за углом. Войдя в комнату, Таня огляделась настороженно, прикусив губу; но семейных фотографий не обнаружила (и сама не поняла, чего было больше — облегчения или разочарования, все-таки интересно бы взглянуть, что она собой представляет, Сережина боевая подруга). Простота обстановки выглядела даже чуточку нарочитой: узкая железная койка, застланная серым казарменным одеялом, небольшой платяной шкаф, радиоприемник на столике, простой письменный стол с вращающимся креслом. Широкое окно-эркер, перед которым стоял стол, было голым, без штор и излюбленных немцами занавесочек. Впечатление пустоты и необжитости усиливалось блеском тщательно натертого светлого паркета. Таня подошла к письменному столу — на нем был такой же порядок, справа стоял телефон,

слева настольная лампа с зеленым стеклянным абажуром, вместо чернильного прибора лежал плоский, с изогнутым горлышком флакон чернил для авторучки, книги были сложены аккуратной стопкой: самоучитель немецкого языка, немецкая грамматика, путеводитель по Австрии, три книги по истории Австро-Венгерской империи и Австрийской республики, том Клаузевица и «Будденброки» — все на немецком языке.

— Сейчас все будет, — объявил Дежнев, входя в комнату. — Как доехала-то, без происшествий?

— Нормально доехала. Дядясаша дал машину до Вены, а здесь уж попуткой. Красивые места у вас, и главное — никаких разрушений, будто и войны не было.

— Здесь уже не воевали по-настоящему. Так, кое-где…

Наступило неловкое молчание. Он пробормотал что-то насчет хорошей погоды и поинтересовался, как погода в Германии. Она сказала, что погода тоже хорошая, жарко; потом выразила соболезнование по поводу смерти Настасьи Ильиничны.

— Да, вот так вышло… не дождалась мать. Но хорошо хоть не пришлось ей вторую похоронку получить…

— Как — вторую?

— Ну как… Первая на Колю пришла — в сороковом еще. Не помнишь?

Таня прикусила губу.

— Ах, ну конечно… Бога ради, прости, я совсем…

— Чего там, дело давнее. Мне самому довоенные времена вспоминаются, как… чужая чья-то жизнь, вроде и не с тобой все это было — такая даль.

— А с кем Зина? — помолчав, спросила Таня.

— Там же пока, у тетки в Туле. Семилетку в этом году закончила, небось, уже записочки получает.

— Господи, я ее такой девчушкой помню… А сын твой как?

— Ну, чего сын? Растет, надо полагать.

— Сколько ему?

— Восьмой месяц пошел, он в ноябре родился. С Еленой… это моя жена, ее Еленой зовут… я встретился в феврале прошлого года. В Энске. Приехал разузнать что-нибудь о тебе…

В дверь деликатно постучали — вошла немолодая фрау чопорного вида, накрыла скатеркой столик, откуда Дежнев убрал радио, быстро расставила приборы и удалилась, пожелав «герр коммандантy» и «фроляйн оффицир» приятного

аппетита.

— Ну, давай подзаправься. — Дежнев придвинул к столику кресло, сделал приглашающий жест. — Водки выпьешь?

— Грех было бы отказаться в такой день.

Он достал из шкафа бутылку и черный стаканчик, доверху налил принесенную хозяйкой хрустальную рюмку.

— О, даже «Московская особая», — заметила Таня, — щедрый у тебя интендант. А что это за стопочка такая мрачная — из чего она, металл какой-то?

— Обычная вороненая сталь. Это деталь от пулемета, пламегаситель. Навинчивается на конец ствола.

— Нашел из чего пить. Не горчит водочка? Ты бы еще корпус от «эф-один» приспособил, там насечка — в руке удобно держать.

— Не мое изобретение. Это мне подарили… в Москве, осенью сорок второго, я тогда ехал под Сталинград. Ну что ж, за встречу…

Выпили не чокаясь. Таня перевела дыхание, закусила посоленной корочкой и нехотя принялась за еду.

— А знаешь, — сказала она, усмехнувшись, — я ведь знала, что ты там был. Нет, не от Дядисаши,

потом, а уже тогда знала. Где-то в конце июля… а может, в августе, не помню точно… один немец пригласил меня в «Метрополь» — они там офицерское казино устроили, — забавный такой тип, из остзейских баронов… А через город тогда шла немецкая техника — они сами говорили, что туда, «нах Вольга». Сутками напролет гнали. И как раз в тот вечер… Танцуем мы с этим Валентином Карловичем, а на улице грохот от танковых моторов такой, что стекла звенят. И я вдруг подумала: а ведь Сережа сейчас там, куда едут эти…

— В августе? На Донской фронт я прибыл позже. Не совсем понимаю, зачем ты мне такое рассказываешь.

— Зачем… — Таня пожала плечами. — Не знаю, так просто. Для полноты информации. Вспомнилось к слову, вот и рассказала. Прости, если шокировала откровенностью.

— Тебе что, — помолчав, спросил Дежнев, — часто приходилось… ну, общаться с ними вот так — во внеслужебной обстановке?

— К счастью, нет. В казино раза два всего была, фон Венк приглашал, а отказываться по некоторым причинам было неудобно. Он, кстати, ничего себе не позволял, вполне платонический оказался поклонник. В плену теперь сидит, Дя-

дясаша виделся с ним, когда был в Энске после освобождения.

— Да, он мне писал насчет какого-то фон-барона, который вроде знал там тебя… Так я не очень все-таки уяснил — это у тебя прямое было задание по комсомольской линии идти к ним работать? Кривошеин тебе приказал?

— Что значит «приказал»… Сказал просто, что это нужно, что хорошо бы иметь там своего человека… В общем, да, я восприняла это почти как приказ. Да что мы тогда соображали? Сколько людей погибло из-за этой проклятой подпольщины, бессмысленной, никому не нужной…

— Извини, я позвоню, — сказал Дежнев, — забыл совсем…

Встав, он подошел к письменному столу, набрал номер.

— Комендатуру мне… Козловский? Да, это я. Ну что там, никаких чепэ? Слушай, я не приду сегодня — дома буду, тут ко мне приехали… Да нет, старая знакомая. Одноклассница моя, говорю, учились вместе. В общем, если что — я здесь. Что? Буду, ясно, куда деваться… добро, передам. Ну до вечера…

— Ты прямо с корабля на бал, — сказал он, положив трубку, — тут у нас сегодня небольшой

сабантуй…

— Небольшой что?

— Сабантуй, говорю, вечеринка, по случаю дня рождения одного из наших офицеров. Старик будет, командир полка, увидишь — интереснейшая личность. Прост, как мычание, за всю жизнь одолел две книги: «Краткий курс» и «Боевой устав пехоты», зато обе знает наизусть. И при всем при том отличный мужик. Солдат жалеет, вот что главное, у нас это нечасто. Ну что, еще по рюмке?

— С удовольствием.

— Ты только ешь, приканчивай свой энзэ.

— Пригодился все-таки, видишь. Это я по своей бродяжьей привычке захватила, в дорогу — как же без еды…

— Да, Александр Семенович вкратце рассказал, как вы сюда пробирались. Через всю Германию, значит?

— Угу… Из английской зоны через американскую. Твое здоровье, Сережа.

— Тогда уж твое — сначала пьют за здоровье дам.

— Хорошо, поделим, ты за меня выпьешь, а я за тебя. Поднимем, как говорится, бокалы, содвинем их разом…

Стекло звякнуло о вороненую сталь. Таня, расплескивая налитую вровень с краями рюмку, поднесла ее к губам и выпила одним духом, по-мужски.

— Ты, я вижу, тоже напрактиковалась, — одобрительно заметил Дежнев. — Слушай, ну а что они все-таки собой представляют при ближайшем рассмотрении, эти наши союзнички?

— Да как тебе сказать. — Таня пожала плечами. — Англичане… ну, или канадцы, я никогда не умела отличить, обмундирование у них одинаковое… англичане мне показались очень замкнутыми, недоверчивыми. Какая-то в них неприветливость. Не знаю, может, попадались такие. А вот американцы совсем другие. Они гораздо общительнее, добрее, пожалуй… Точнее, так: щедрее. Американцы народ более открытый. Хотя среди них масса хулиганья, пьют много, вечно драки какие-то… Вот американцев я боялась. Англичан — нет; когда мимо тебя проходит англичанин — особенно офицер, они еще любят с такими коротенькими тросточками ходить, вот так их под мышкой держат, — такое ощущение, что ты для него просто не существуешь, он тебя не видит. А американец — ну что ты, всю оглядит еще издалека, начнет свистеть, подмигивать,

обязательно скажет что-нибудь — наверняка что-нибудь такое, знаешь, это ведь по выражению лица видно. И никогда не знаешь, пройдет мимо или облапит. Их я боялась.

— Ну, не так уж, видно, если собралась к ним обратно, — с улыбкой сказал Дежнев, решив воспользоваться ее словами для перехода к обещанному разговору.

Таня вскинула брови:

— Обратно?

— Александр Семенович говорил, что ты вроде так ему сказала. В случае чего, мол, уйду в американскую зону.

— Ах это. Нет, теперь поздно, Кирилла уже увезли куда-то.

— Поздно? Неужели ты действительно смогла бы?

— Не задумываясь, — сказала Таня. — Только не надо проводить со мной политико-воспитательной работы, хорошо? Я ведь и сама могу провести с тобой такую, что ты не будешь знать, куда деваться.

— Ого, — сказал Дежнев, сохраняя на лице ту же улыбку, теперь уже немного натянутую. — Ну что ж, валяй, если есть что сказать.

— Не будем портить встречу. Сказать я мо-

гу очень многое, но майору Дежневу это не понравится так же, как не нравится генерал-полковнику Николаеву.

— Таня, ну зачем ты так?

— Для ясности, Сережа. Дядясаша что, просил на меня повлиять?

— Ну… в некотором роде, — признался Дежнев, подумав, что скрывать тут нечего. — Ясно, что он обеспокоен… твоими настроениями, с какими ты оттуда вернулась.

— Оттуда? — с нажимом переспросила Таня. — Оттуда, Сереженька, я вернулась с другими совсем настроениями. Первого красноармейца, который нас задержал на этом берегу Эльбы, я — ты не поверишь — я просто повисла у него на шее, и ревела, как дура, и целовала, обливая слезами, — он, бедный, не знал, что делать… Небритый, помню, щетинистый, немолодой. Настроение у меня тогда было такое, что если бы мне сказали: нельзя, ступай обратно, сюда мы тебя не пустим, — я бы скорее утопилась, чем вернулась на ту сторону. Так что нынешние мои настроения — это уж они здесь вызрели, под ласковым родным солнышком… Господи, какая дура, какая идиотка беспросветная, — простонала она, запустив пальцы в волосы, — как я могла не под-

сказать, не посоветовать, надо было хоть полгода выждать, должно же это наконец прекратиться… Да что там, разве он послушал бы!

Хозяйка, снова деликатно стукнув по стеклу ноготками, заглянула в дверь и осведомилась, будут ли господа пить кофе — конечно, увы, эрзац! От эрзац-кофе господа отказались, Таня спросила, не найдется ли таблетки аспирина, но фрау Зайдель сожалеюще развела руками.

— Что, голова болит? — спросил Дежнев. — Сейчас позвоню, принесут из санчасти.

— Не стоит, пройдет и так. Налей лучше еще, на вечеринку я с тобой не пойду, так что допраздную здесь.

— Почему не пойдешь? Устала? Так успеешь отдохнуть, поспать даже, до вечера еще далеко.

— Нет, просто… не хочется. Посидим с тобой, а потом ты иди. Я глупо себя чувствую в таких компаниях, Дядясаша тоже пытался поначалу ввести меня в общество своих офицеров. Там ведь и молодых много, я пошла раз-другой, но… Всегда такое ощущение, понимаешь… будто по недоразумению попала в гости к чужим. Все друг друга знают, у всех какие-то общие дела, общие воспоминания, все понимают друг друга с полуслова — а ты сидишь, как дура, и вежливо улыбаешься,

показывая, как тебе весело и интересно. А самой реветь хочется.

— Но почему, Таня? Почему?

— Ну не знаю, потому что чувствуешь себя чужой, пришлой какой-то, не такой, как все! Если тебя приглашают танцевать, так наверняка знаешь, что, скорее всего, из вежливости — как-никак племянница командарма — или из любопытства… Приглядеться, что же это за особа оттуда! Я уже не говорю о том, как на меня посматривают все эти ваши… боевые подруги. Болталась там неизвестно где, а теперь явилась — не запылилась. И сколько во взгляде иронии, сколько осуждения! Как будто я сама, черт бы их всех драл, добровольно осталась в оккупации или по своей воле поехала в Германию! Единственное, что сделала по своей воле, это вернулась сюда — чтобы потом какой-то свинорылый хам день за днем заставлял меня по десять раз переписывать одно и то же, надеясь поймать на ошибке!

— Тише, тише, ну чего ты, Тань…

— А вот подумай сам, «чего я»! Да если бы не Дядясаша — точнее, не его звание и должность, — то меня дофильтровали бы до того, что я сама уже начала бы вспоминать, какие задания получала от гестапо, какие от американской разведки, а

какие от английской! Странно, что не приплели еще и голландскую! У меня хватило ума написать в анкете, что полгода была переводчицей в Шарнхорсте, — дура, конечно, что решила с этими гадами откровенничать, — честность, видите ли, одолела! Так они такое вокруг этого развели, в такой меня грязи вываляли… один все требовал, чтобы я созналась, что спала с комендантом, чтобы получить эту должность, будь она проклята! Ну, они пусть, — Таня, словно защищаясь, выставила перед собой ладони, — в конце концов, на их работе, наверное, других и не бывает. Но остальные-то? Откуда у всех вас эта — подозрительность, что ли, не знаю даже, как это определить! — настороженность, неприязнь ко всем, кто был в оккупации и в Германии?

— Почему «у всех нас», — пробормотал Дежнев.

— Да у всех, у всех! Как будто я не вижу. — Таня махнула рукой, допила свою рюмку. — Я старые газеты просматривала — ну, там за март, за февраль, — так, по заголовкам судя, война чуть ли не ради нас только и велась: «Освободим наших сестер и невест из фашистской неволи» — прямо не было другой цели! А потом этих самых невест и сестер — сразу за проволоку, чтобы, не дай бог,

по домам не разбежались… Я уж про пленных наших не говорю — тех вообще эшелон за эшелоном на Колыму гонят без пересадки, и все считают это нормальным, в Хемнице при мне один мерзавец в полковничьих погонах знаешь что заявил? Сами, говорит, виноваты, не надо было в плену отсиживаться, другие воевали честно. Там были еще офицеры — ни один даже не возразил, услышали такое — и ничего, ни слова! Значит, не один он так думает? Я едва удержалась, чтобы не подойти к нему и не залепить пощечину — так, знаешь, на весь зал, чтобы все не только увидели, но и услышали… Может, и залепила бы, если бы не Дядясаша… меня только мысль о нем и остановила. И это офицеры, Сережа, да что же такое с вами со всеми происходит, что с вами сделали? Во что вас тут превратили? Ты бы видел, как в других армиях относятся к своим пленным, которых сейчас вот освобождали, как о них заботятся, какие им создают условия… А ведь все они тысячной доли не испытали того, что перенесли наши!

— Ну, это не только про пленных можно сказать, — перебил Дежнев. — Все эти «другие армии», о которых ты говоришь, они тоже не испытали тысячной доли того, что испытали мы. Наверное, у нас с ними по этой самой причине и

подход ко многому очень разный. Легко американцам «создавать условия», когда на их земле ни одна бомба не упала, ни один снаряд не разорвался…

— Да разве я об этом, Сережа? Разве я тем возмущаюсь, что у нас нет столько госпиталей, или столько машин, или снабжение хуже? Я о человеческом отношении говорю!

— Понял, понял. — Он успокаивающим жестом протянул над столом руку. — А теперь попробуй понять ты. Могла не ожесточить людей такая война, какую — в отличие от американцев — видели и вели мы? Ты помнишь, сколько у нас в классе было ребят?

— Ну… половина примерно.

— Да, почти. Семнадцать человек. А знаешь, сколько осталось в живых? — Он поднял два пальца, раздвинув их римской пятеркой: — Двое! Ты понимаешь, что это значит? Я и еще Володька Бердников — Он в прошлом году вчистую демобилизовался, без правой ноги. Я от него недавно письмо получил, пишет о некоторых. Гнатюк и Никодимов убиты под Сталинградом, Сашку Лихтенфельда сбили над Кубанью весной сорок третьего — не представляю, как ему удалось поступить, немцев ведь тогда уже не брали ни

в одно военное училище, — но поступил как-то, окончил, и в первый боевой вылет его сбили. Косыгин Женька сгорел в танке под Прохоровкой, мы с ним, оказывается, совсем рядом были тогда…

Таня слушала, не поднимая глаз. Зачем он рассказывает ей об этом? Хочет доказать, какой жестокой была война? Не надо доказывать очевидного, она сама видела эту войну. Но ей всегда казалось, что люди, пройдя через такие испытания, пережив все это, должны стать бережнее друг к другу. Добрее, что ли, жалостливее — если вспомнить это старинное и давно вышедшее из употребления слово. «Жалость унижает человека» — кто это сказал, не Горький ли. Уж что-что, а это усвоено крепко! «Сами виноваты, не надо было попадать в плен». Виноваты, что оказались в плену, что остались в оккупации, что угодили в Германию, что уцелели там под бомбами, что выжили, что вернулись…

— Да, недаром мне не хотелось начинать этот разговор, — сказала она тихо, — ты просто не понимаешь меня… Как и я, наверное, тебя не могу понять, оно ведь двустороннее — наше непонимание… Действительно, наверное, все дело в разности опыта… Может быть, поэтому

нас так и… не любят, боятся, не доверяют. Просто, понимаешь, у нас зрение теперь другое, в этом все дело. Что после армии-то собираешься делать, Сережа? То есть я понимаю — будешь учиться, но там же, где и думал? Благо теперь у тебя и прописка будет ленинградская.

— Да нет, учиться не выйдет пока. Какая там учеба, я, наверное, в кадрах останусь. Мне теперь семью кормить надо, — сказал он наигранно-шутливым тоном, — трое иждивенцев, шутка ли. Что я смогу заработать без специальности? Ну, или освоив какую-нибудь попроще — скажем, слесаря. Это рублей восемьсот, ну пусть до тысячи, а знаешь, какие там сейчас на базаре цены? Литр молока — семьдесят рублей, кило масла — шестьсот, кило картошки — тридцать. Вот такие пироги!

— Да, это тяжело, — согласилась Таня. — Пожалуй, тебе и в самом деле лучше пока не демобилизовываться.

— Сейчас и захотел бы, так не демобилизуют. Насчет Японии ничего у вас там не слышно, в высших сферах?

— А я туда не вхожа, в эти «высшие сферы». Япония, говоришь? Нам только этого не хватало — еще одной войны.

— Ну какая это будет «война». Самураев мы с американцами разделаем, как бог черепаху, это теперь для нас не противник. Но повоевать, возможно, еще придется, поэтому я пока никаких планов не строю. Если на Дальний Восток не ушлют, выпишу сюда своих, — говорят, скоро будет разрешено…

Таня помолчала.

— Сережа, я… хотела бы спросить одну вещь, только обещай, что ответишь правду.

— Ну, обещаю, ясно. Чего бы мне тебе врать.

— Ты сказал, что с женой своей познакомился в Энске…

— Не «познакомился», а встретился, знакомы мы были раньше, но так… не близко.

— Я понимаю. Значит, встретился в Энске, когда приехал узнать обо мне. Ты был на Пушкинской?

— Был, конечно, я в Доме комсостава увидел твою надпись на стене, возле двери.

— И ты там с кем-нибудь из соседей разговаривал — на Пушкинской, я имею в виду?

— Да, там… была одна бабка, напротив, — нехотя сказал Дежнев.

— Прямо через улицу? О, это тебе повезло. — Таня усмехнулась. — И что же она про меня

говорила?

— Говорила плохое, если тебе нужна правда. Конкретно пересказывать не стану.

— Конкретно не надо. Сережа, мне вот что хотелось бы знать… То, что ты там обо мне услышал, — это в какой-то мере повлияло на… встречу, как ты говоришь, с твоей женой?

Дежнев медленно покачал головой, глядя ей в глаза.

— Нет, Таня. Это не повлияло. Тут совсем другие обстоятельства сошлись, а это не повлияло. Потому что я ничему этому не поверил, даю слово.

Таня, зажмурившись, часто закивала головой, спрятала лицо в ладони.

— Спасибо, Сережа, — проговорила она глухо, не поднимая головы. — Я больше всего боялась именно этого… что ты услышишь обо мне плохое и…

— Нет, — сказал Дежнев. Ему очень хотелось сейчас рассказать про «другие обстоятельства», про Борькиного покойного братишку, про то, что вначале была жалость, ничего больше, остальное пришло потом, — но рассказывать об этом ей было нельзя, об этом он мог бы рассказать другу, но не ей, сейчас это было бы не по-мужски, было бы как попытка оправдаться, переложить на Елену

всю вину за случившееся.

Таня продолжала сидеть опустив голову, он протянул руку — коснуться ее волос, плеча, — но не донес, отдернул, встал и прошелся по комнате, поскрипывая сапогами.

— Не знаю, впрочем, — сказала она вдруг, не глядя на него. — Может быть, совсем наоборот, так было бы легче… понятнее, во всяком случае.

— Что было бы понятнее?

— Ну, если бы ты там… поверил хоть на день, хоть на час! По крайней мере, хоть какое-то объяснение, а так… — Она шмыгнула носом, по-девчоночьи утерев его тыльной стороной руки, и отвернулась совсем, чтобы он не видел ее лица.

— Объяснение есть, — сказал Дежнев, — я могу все рассказать, если ты считаешь…

— Нет-нет, не надо! — Таня затрясла над плечом растопыренными пальцами. — Я ведь в общих чертах знаю — от Дядисаши. Одинокая женщина, вдова, потеряла единственного ребенка, конечно, трагическая история, кто же спорит. Но меня, Сережа, ты все-таки предал, будем уж называть вещи своими именами.

Дежнев медленно обернулся от окна, оттягивая пальцем ставший вдруг тесным воротник кителя.

— Предал? — переспросил он тихо. — Насколько понимаю, мы в равном положении, тебе не кажется?

— О нет. — Она тоже повернула голову и теперь смотрела ему в глаза. — Не совсем в равном, Сережа, у меня нет ребенка от Кирилла, нет и не могло быть, потому что я — представь себе — не была с ним близка. И вообще ни с кем, понимаешь? Потому что я иначе понимала то, что было у нас с тобой. Впрочем, ты не помнишь, конечно! Стоит ли таскать в памяти всякие глупости — например, как сидели тогда до утра в парке — если я чего-то не путаю, я еще сбежала в тот день с уроков, а ты спрашивал меня о шиповнике над могилой Изольды, — смешно, правда?

— Откуда в тебе столько жестокости, — едва проговорил он побелевшими губами, — я все эти годы…

— Ах, конечно! Все эти годы ты был Тристаном, только обо мне и думал — «жди меня, и я вернусь», — боже, как трогательно. Он шептал ее имя за минуту до атаки! Ну а то, другое, получилось как-то так, развлекся на досуге; с кем не бывало… а потом уж ничего не поделаешь — все-таки гвардии офицер, еще бы, у вас судов чести еще не ввели? Нет, ты не подумай, что я тебя осуждаю,

нет-нет, все правильно, ты так и должен был поступить. Мне просто понять хочется — я-то куда для тебя девалась на это время?

Он подошел ближе — ей показалось, что сейчас он ее ударит, она поняла вдруг, что ждет этого, жаждет, но глаза его вдруг приняли какое-то затравленное выражение, он сел и опустил голову на скрещенные руки. И тогда она сорвалась с места и, обхватив его плечи, стала исступленно целовать в затылок, повторяя сквозь слезы:

— Сереженька, милый, я не хотела — прости меня бога ради, — я не то совсем хотела сказать, ну что ты, родной мой…

Утром он отвез ее в Вену. В пути барахлил мотор, они подзадержались, и, когда приехали на КПП военно-автомобильной дороги, машина на Прагу и Дрезден уже была готова к отправке. Так что они и попрощаться толком не успели — обнялись, постояли молча, понимая, что неизвестно когда и где теперь увидятся, и он подсадил ее через борт. «Студебекер» раскатисто рыкнул мотором и тронулся, словно только и дожидался этой пассажирки.

Стоя в кузове, держась за дугу каркаса, Таня смотрела на Сергея, смаргивая слезы, пока могла еще различить его среди других офицеров. Уже

набрав ходу, грузовик вдруг резко тормознул, и она, не удержавшись на ногах, потеряла равновесие и с размаху села на что-то твердое и угловатое.

— Полегше, подруга, — тут же сделали ей замечание. — Разбомбишь мне инструмент — снова чинить придется…

Голос показался знакомым, Таня оглянулась — и не поверила своим глазам.

— Надежда? — спросила она ошеломленно. — Ты что здесь делаешь?

— Танька, нехай я лопну! А ведь еще издаля посмотрела — вроде, думаю, похожа, да нет, откудова ей взяться…

Калькарская Надька, тоже одетая в военное, в ладно пригнанной по фигуре солдатской, без погон, гимнастерочке, перелезла через поклажу и облапила Таню, удушая ароматом дешевой парфюмерии.

— …Скажи, как родную кого увидала, чесслово!

— Вы разве не там остались? — Таня все еще не могла прийти в себя от удивления. — Кирилл Андреевич говорил, что не думали уезжать…

— Ясное дело, не думали! Так ведь заставили, паразиты, наших оттудова геть всех повывозили до лагерей, это рассказать — сдохнешь, не

поверишь, чего там было! Ты-то как? А Кирилл Андреич где?

— Тоже здесь. Наверное, судить будут.

Надька жалостливо охнула, взявшись за щеку, потом махнула рукой.

— А может, еще и обойдется! Сама-то прошла фильтрацию?

— Прошла, как видишь, если без конвоира еду.

— Тоже в Прагу?

— Нет, дальше. В Хемниц.

— А я до Праги только, гастроль у нас там. Я ведь с ансамблем тут кантуюсь, в гарнизонах наших давали представления, теперь вот в Прагу поехали. Меня аккордеон оставили забрать — поломался, а он трофейный, наши чинить не взялись, отдали австрияку. Тот в срок не управился. Лев Борисыч мне и говорит: ты, говорит, оставайся, заберешь и догоняй на попутке…

— Это ты, что ли, на аккордеоне играешь?

— Тю, да откуда! Я там если сплясать чего, в заднем ряду, или в хоре подтянуть — ну, сама понимаешь, на подхвате.

— И Аня с тобой?

— Ты что! — Надька сделала большие глаза. — Ее ж беляки в Брюсселе похитили и монашкам продали за большие деньги…

— Какие беляки, какие монашки? Ты что, Надежда, с похмелья?

— Не веришь, так почитай, на вот — у меня газета с собой…

Надька расстегнула офицерский планшет и достала многократно сложенную, изрядно уже потертую на сгибах газету. Осторожно, удерживая от ветра, Таня развернула лист на коленях и сразу увидела крупный заголовок «Верните мою сестру!». В статье рассказывалась история двух сестер-комсомолок, угнанных фашистами из родных мест. Испив в неволе всю меру унижений и издевательств (злобная хозяйка-немка за малейшую провинность заставляла часами стоять на коленях перед портретом Гитлера), сестры были освобождены войсками союзников, но напрасны оказались их надежды на скорое возвращение домой: в лагере для «перемещенных лиц» от девушек стали требовать отречься от любимой Родины, подписать заявление о нежелании репатриироваться. Но, даже брошенные в карцер, отважные комсомолки оставались непреклонны и в конце концов были переданы представителям советской репатриационной миссии в Брюсселе. Враг, однако, не отступался. С помощью белоэмигрантского отребья была организована

подлая провокация, сестер схватили прямо на улице, и старшая бесследно исчезла в мрачных подземельях католического монастыря. Лишь чудом удалось спастись младшей… «Я гневно требую от бельгийских властей и их англо-американских покровителей: верните Родине ее дочь, мою сестру Анну!» — так заканчивалась статья, подписанная Надей Харченко.

— Ну, Надежда, теперь тебе только романы писать, — сказала Таня, возвращая газету. — На самом-то деле что там у вас получилось?

— Что, что! В Брюсселе мы из лагеря умотали — беляки эти и подсобили, душевные такие старички… Дура я, надо мне было с Анькой в монастырь устроиться, там и работы-то всего за дитями приглядывать, а я не пошла, охота была в городе пожить. Не была в Брюсселе?

— Нет, мы прямо из Голландии сюда.

— Сами, что ль? — Надька недоверчиво уставилась на нее, разинув рот, потом расхохоталась во всю глотку. — Ей-бо, придурки, кто б другой сказал — не поверила б, чесслово! Я хоть Брюссель этот успела повидать, ну город, ну красотища, сдохнуть можно… Вот и долюбовалась, пока не сцапали. Нас там человек десять таких набралось, выловленных. Кого по местожительству

выследили, кого так, на улице, взяли — наших-то ни с кем не спутать, по одной ряшке за километр видать, что из советских. А были, которых бельгийцы-коммунисты выдали, им такая установка дана, говорят, по партийной линии. Словом, набралось! Но обращение было ничего, неплохое, врать не буду. После перевезли нас с Брюсселя в другой лагерь, в сельской местности, там с месяц пожили — оттудова уж не выпускали, стерегли крепко. А как война кончилась, посадили на машины — и сюда. Отправляли — ну чисто свадьба, машины все в зелени, разукрашены, через населенные пункты проезжаем — люди кричат, флажками машут. Советских там любят, ничего не скажу, красные флаги всюду, а портретов товарища Сталина так больше, чем ихнего этого, толстомордого, ну что с сигарой. А как Эльбу переехали, тут уж нас сразу за проволоку, и давай выкладывай — где была, чем занималась, как Родину продавала… Да тебе-то что рассказывать!

— Да, в этом у нас опыт одинаковый, я думаю. А как с газетой получилось?

— Ой, Тань, ну это мне так повезло — то есть не поверишь просто! Они ж меня до того там замакитрили с этой фильтрацией, что я под конец вовсе как дурная стала, ничего уже сообразить

не могу. Анька еще у голландцев в одном лагере ходила по начальству, узнать хотела — всех будут отправлять домой или только кто сам захочет, я, дура, про это и ляпни. А там еще один сидел, слушал все, — симпатичный такой мужчина, чернявый, то ли армяшка, то ли еврей… Видный из себя, только носяра — во, как у того попугая. Он вдруг и говорит: «Девушка, а вы, случаем, не путаете? Трудно поверить, чтобы комсомолка не хотела ехать на Родину, может, это она не сама пошла к лагерному начальству, а ее вызвали и затеяли провокационный разговор?» Да, может, и так, говорю, наверное, кто ж их знает… А он тут и пошел говорить, и пошел, и так все поворачивает, что уже выходит, будто в Брюсселе они нас из лагеря сманули. Тут только до меня, дуры, и дошло! Так он же, думаю, подсказывает, чтоб мне помочь, по-другому то есть все повернуть…

— Да, Надежда, тебе и впрямь повезло.

— Не говори! Мне то есть за этого носатого по гроб жизни Богу надо молиться, чесслово… Цельный день мы вот так с ним просидели, энкавэдэшник мой ушел — ладно, — говорит, без меня тут пока разбирайтесь, а этот носатый, уже когда мы с ним все это дело по полочкам разложили, сам насчет газеты предложение выдвинул.

Почему бы, мол, тебе в печати не выступить, рассказать, как они там над советскими людьми измываются, какие себе зверства позволяют… Тю, говорю, да какая с меня писательница, я по сочинениям сроду больше «пос» не получала! Он посмеялся, это уж, говорит, не твоя забота. И точно, сам все написал, я его после даже ни разу больше и не видала. А у меня, конечно, как газета вышла, все сразу по-другому обернулось. Перед бойцами приходилось выступать, очень все за Аньку переживают! А после вот в ансамбль взяли, обещают учиться послать, в это — как его — ну, культпросветучилище…

— В какое училище?

— Культпросвет, это потом завклубом можно стать. Ну, не сразу, ясное дело! А на такой работе, сама понимаешь, и мышь коту не позавидует. Я вот думаю — может, вам с Кирилл Андреичем тоже надо было чего написать? Уж он-то человек культурный, образованный, языков сколько знает…

— Что делать. В голову как-то не пришло, а никого умного рядом не оказалось — посоветовать.

— Ну ничего, не журись, все будет тип-топ, — утешила Надька. — Если уж у меня обошлось! — мне-то поначалу вообще измену Родине шили, а

это, знаешь… Теперь одна забота — не подзалететь бы, а то все прахом пойдет, сразу из ансамбля попрут.

— В каком смысле — не подзалететь?

— В том самом, подруга. — Надька хохотнула. — Не понимаешь, что ли, первый раз замужем?

— А-а…

— То-то, что «а»! Ты, часом, рецепта какого не знаешь?

— Веди себя прилично, вот и весь рецепт.

— Легко сказать… Тань, я что — такая из себя неотразимая, да?

— Фигура у тебя хорошая, лицо — сама в зеркале видишь, не дурнушка ведь.

— Я к тому, что ко мне уже и в Калькаре фрицы липли, да там Анька глаз не спускала… Ридель этот, помнишь, приятель Кирилл Андреича, — чего с ним, не знаешь?

— Похоже, погиб в Дрездене.

— Ай-яй-яй! — Надька соболезнующе покачала головой. — Вот уж не повезло человеку… Так Ридель этот, помню, раз меня в колидоре прижал, и аккурат тут Анька выходит — что ты, чуть его с лестницы не спустила! А мне спокойно так говорит — идем, белье с прачечной надо принесть. Прачечная у нас помнишь где была? В подвале,

аж в самый конец, там кричи — не докричишься. Зашли, а она, змеища, дверь на ключ и мокрой веревкой так меня по голой заднице выстрочила — на другой день еще присесть не могла, чесслово!

Таня посмеялась:

— Запомнить бы тебе, Надюша, такой урок.

— Запомнить-то запомнила, да что толку? Торчишь тут, как жердела при дороге… кто захотел, тот и полакомился. Да нет, ты не думай, я, конечно, не то чтобы с кем попало… Может, перекусим, а? У меня вермута есть бутылка, хороший, итальянский.

Таня достала полученный от фрау Зайдель пакет бутербродов, и они перекусили, прямо из горлышка — чтобы не оплескаться — запивая еду горьковато-сладким вином. Незаметно опустошили всю бутылку. Остальные трое попутчиков давно спали в дальнем конце кузова, у кабины; Надька вытащила откуда-то плащ-палатку и немного уже заплетающимся языком предложила тоже покемарить.

— Прагу бы только не проспать, — сказала она озабоченно, — а то таскайся после с этим долбаным аккордеоном…

— Разбудят, если у тебя путевка до Праги. Слу-

шай, а когда вы попали в Брюссель?

— Не помню — апрель вроде уже был. Или в конце марта? Не, в апреле, точно… Ладно, давай спи.

Она заснула сразу, а к Тане сон не шел. Свернувшись под плащ-палаткой, вспоминала она тот неповторимый апрель — весна шла с Атлантического побережья на восток, следом за ними, солнце сияло над забитыми военной техникой и толпами людей автобанами, зацветали яблоневые сады, и мокрая от коротких пробегающих дождей броня «шерманов» была облеплена бело-розовыми лепестками. Танки американцев мчались к Эльбе с раскрытыми люками — хотя война еще свирепствовала на Восточном фронте, на Западном уже не воевал никто, навстречу союзным армиям брели в тыл бесконечные колонны сдавшихся немцев, шли толпы освобожденных — одни на восток, другие на запад, и вместе с ними шли в поисках крова и пристанища жители разрушенных городов…

Это был какой-то сплошной Вавилон, великое переселение народов, все гражданские выглядели одинаково, полосатой одеждой и особой степенью изможденности выделялись хефтлинги из кацетов, а так немцев от иностранцев

отличало лишь общее настроение каждой толпы — немцы шли молча, иностранцы шумели и распевали свои песни, размахивая национальными флагами. Пробраться вслед за наступающими армиями до советской зоны оказалось проще, чем они думали, до самой Эльбы у них, помнится, вообще ни разу не спросили никаких документов.

Зато потом началось! Сейчас, задним числом, Таня сама удивлялась, почему была так спокойна в те, первые дни, когда исчез Кирилл, почему так безмятежно верила, что все обойдется, хотя ее и убеждали в обратном. «Ты что же, — говорили ей, — рассчитываешь так и отделаться байками? Нам доказательства нужны, понимаешь, до-каза-тельства!» А доказательств не было никаких — кроме той, полученной от Виллема бумаги, которая сразу же была расценена как филькина грамота и вообще липа. Таня, однако, упрямо продолжала напоминать о ней на каждом допросе. И с тем же упрямством требовала каждый раз, чтобы о них с Кириллом сообщили генерал-полковнику Николаеву (что Дядясаша жив и командует армией, она уже знала). Это особенно возмущало одного из следователей, в конце концов он наорал на нее. «Наглая дрянь! — кричал он, стуча по столу кулаком. — Сама там с какими

только абверами не путалась, так еще и советского генерала хочешь втянуть?!» Она обычно на допросах старалась держать себя в руках, но тут не выдержала, тоже стала кричать что-то, захлебываясь слезами…

Для нее-то (пока!) все кончилось благополучно — достаточно было вмешательства могущественного командарма, которому все-таки сообщили. Но ведь Дядисаши давно уже могло не быть в живых — что тогда? Или если бы он командовал не армией, а каким-нибудь полком? Кириллу он ничем не смог помочь даже сейчас, при своем высоком положении…

Что же это получается, подумала она с горечью и чувством безнадежной усталости, как будто все сделано для удобства тех, кому ничего не стоит соврать, изловчиться… Везде, что ли, так? Наверное, в какой-то степени; но у нас особенно. С дурехи Надьки что взять, это же одноклеточное, да и запугали ее до полусмерти; а «носатый», возможно, просто хотел помочь попавшей в беду девчонке; но как бы то ни было — состряпали подлое беспардонное вранье, глупое, наглое — и пожалуйста, сразу награда, сразу все устраивается наилучшим образом. И все довольны! А если человек честен, если у него свои твердые

убеждения, принципы — с ним теперь вообще неизвестно что будет. Именно потому, что тверд, принципиален, не умеет кривить душой. Как будто на каждом шагу фильтры какие-то понаставлены… чтобы проскальзывал тот, кто половчее да поизвилистее. Да уж, естественный отбор — лучше не придумаешь…

Глава 10

Генерал-полковник был не в духе и не считал нужным это скрывать. День выдался трудный, помимо прочего, пришлось разбираться с кляузным персональным делом одного офицера, запутавшегося в дурно пахнущих махинациях с трофейным имуществом, и точило беспокойство за племянницу — необъяснимое, казалось бы, — что могло с ней случиться? Дороги спокойны, это не Польша, вервольфы (если где и были) давно угомонились… Да, все это так, но на душе было неспокойно, Николаев уже жалел, что отпустил ее одну в такую даль. Хотя после всех ее приключений…

Он уже собрался ехать домой, когда его настиг неприятный телефонный звонок. В высшей степени неприятный. Звонивший — у него

был негромкий, бесцветный какой-то голос — представился майором, назвал место службы и попросил быть вечером дома, он-де заедет выяснить один вопрос. Не спросил разрешения приехать, не осведомился даже — хотя бы приличия ради — удобно ли именно сегодня; нет, просто поставил в известность, как будто разговаривал с подчиненным. И еще одна деталь: майору этому, естественно, следовало бы обращаться к нему либо по званию — «товарищ генерал-полковник», либо по должности — «товарищ командующий», но он сказал просто «Александр Семенович», явно подчеркивая этим, что для них там все должности и звания совершенно несущественны. Так оно, несомненно, и есть. Учреждение вроде бы всем хорошо знакомое и в то же время совершенно загадочное, загадочное вплоть до своего официального, смахивающего на мрачный каламбур наименования, относительно которого так толком и неизвестно, из каких, собственно, слов сия аббревиатура образована.

Майор явился в назначенный час и разговор начал с предупреждения о строгой его конфиденциальности.

— Этого можно было не уточнять, — сказал Николаев сухо, — я не имею обыкновения посвя-

щать посторонних в мои служебные дела.

— Разумеется, — согласился майор бесцветным своим голосом. Он говорил совершенно без интонаций, негромко и невыразительно; он весь был какой-то невыразительный, неопределимый, и это, пожалуй, делало общение с ним особенно тягостным, Николаев любил иметь дело с людьми, поддающимися классификации. — Я предупредил о нежелательности разглашения этого разговора именно потому, что он не имеет отношения к вашим служебным делам и вы могли бы случайно, не отступая от своего обыкновения, кому-нибудь что-то сказать. Об этом не следует говорить никому, включая Татьяну Викторовну.

Николаев задрал левую бровь:

— Это имеет отношение к моей племяннице?

— Самое косвенное, Александр Семенович, а возможно, и вообще никакого…

Майор классификации не поддавался, он был весь какой-то усредненный, словно безликий и ненастоящий; или, точнее, не соответствующий внешнему обличью — начиная с общевойсковой эмблемы на малиновых петлицах, явно не соответствующей его, если можно так выразиться, роду оружия.

— Слушаю вас, майор.

— Дело в следующем, Александр Семенович. В начале мая сего года, в полосе армии генерала Жадова органами Смерш была задержана некая Гертруда Юргенс — по документам немка, родившаяся в Советском Союзе, одна тысяча девятьсот двадцать третьего года рождения, член нацистской партии, окончившая специальную школу пропагандистов и работавшая в лагерях для вывезенных в Германию советских граждан…

— Так, — без интереса уронил Николаев. Он сидел, откинувшись в повернутом боком кресле, положив ногу на ногу, и легкими щелчками заставлял свои очки крутиться на зеленом сукне письменного стола. — Двадцать третьего года, говорите? Хм, когда же это она все успела. Активная, похоже, девица.

— На первом же допросе, — продолжал майор без выражения, словно протокол зачитывал, — Юргенс показала, что документы у нее фальшивые, а на самом деле она — Земцева Людмила Алексеевна…

— Кто, кто? — переспросил генерал, подавшись вперед всем корпусом. — Земцева, вы сказали? Людмила?

— Земцева Людмила Алексеевна, русская, уроженка города Энск, вывезенная на работу в

Германию в порядке принудительного призыва осенью одна тысяча девятьсот сорок первого года. Вам знакомо это имя?

— Еще бы, это одноклассница и подруга моей племянницы, я при вступлении наших войск на территорию Германии обратился в соответствующие органы с просьбой выяснить судьбу обеих! Но племянница нашлась сама, а теперь, значит, и Люда? Ну, я рад, майор!

— Александр Семенович, здесь все очень непросто. В показаниях задержанной слишком много противоречий. Так, например: на вопрос, для чего ей понадобились документы на имя немки, да еще нацистки, она сказала, что в Дрезден приехала из Баварии, по указанию тамошнего представителя оперативного руководства КПГ, для того чтобы устроиться на одно из дрезденских предприятий в качестве переводчицы и осуществлять связь между коммунистами в городе и лагерным подпольем. Там же, в Мюнхене, ей вместе с направлением на работу якобы выдали и другие документы — о том, что она кончила спецшколу, всякие характеристики и тому подобное…

— Это правдоподобно, — сказал Николаев, — если ее направили на такую опасную работу

— естественно, что должны были как-то подстраховать.

— Послушайте дальше. Экспертиза установила, что удостоверение личности задержанной изготовлено в той же спецтипографии абвера, где печатались и другие документы для их агентуры. Выходит, они и коммунистическое подполье снабжали своей продукцией? Когда задержанной было указано на это несоответствие, она «вспомнила», что летом прошлого года вступила в половую связь с офицером вермахта, участником событий двадцатого июля…

— Что это за «события двадцатого июля»?

— Неудавшееся покушение на Гитлера в его ставке в Растенбурге и попытка путча в Берлине.

— Ах это. В прошлом году? Да, припоминаю.

— Так вот, — продолжал майор, — якобы этот ее любовник заранее снабдил ее комплектом фальшивых документов на случай провала заговора…

— Так кто участвовал в заговоре — он или она? — Николаев действительно переставал уже что-либо понимать. — Почему в случае провала ей должны были понадобиться фальшивые документы?

— В Дрездене она жила прислугой в доме другого участника заговора, и в случае его ареста

могли бы прихватить и ее.

— Позвольте — вы сказали, что в Дрезден она приехала уже с фальшивыми документами.

— Это уже потом. С фальшивыми бумагами она в Дрезден вернулась якобы по указанию подполья, а тогда, прошлой осенью, она бежала из Дрездена в Баварию.

— Странно, что ее направили именно туда, откуда она бежала, — заметил Николаев.

— Да, в этом деле вообще много странного. Скажем, личность ее любовника. На первый взгляд ничего особенного, обыкновенный капитан инженерных войск, но что под этим? Оказывается, он был физиком, в одна тысяча девятьсот тридцать девятом году добровольно ушел в армию, имея ученую степень доктора. Ну, это примерно соответствует нашему кандидату. Принимал участие во французской и североафриканской кампаниях, затем на Восточном фронте попал в окружение под Сталинградом, откуда был по требованию абвера эвакуирован одним из последних воздушных рейсов. Подчеркиваю — одним из последних, когда гитлеровцы вывозили уже только высший командный состав.

— А как было обосновано требование абвера?

— Это была рекомендация отозвать такого-то

из действующей армии для исследовательской работы в области новейших видов вооружения. Вас тут ничто не настораживает?

— Что ж, он действительно мог быть ценным для них специалистом. У нас тоже в некоторых случаях отзывали. Не совсем, правда, понятно, почему о нем хлопотал абвер, а не сами вооруженцы.

— В том-то и дело. Налицо заинтересованность совсем другого ведомства. Смотрим далее: вернувшись с фронта, капитан этот никакой исследовательской работой не занимается, а сразу получает назначение в Главное командование сухопутных сил, то есть прямо в штаб заговорщиков.

— Странно, — повторил Николаев. — А что с ним-то самим?

— По имеющимся сведениям, погиб во время путча.

— Ну действительно… тайны мадридского двора!

— Совершенно верно. И Земцева Людмила Алексеевна — если задержанная действительно она — запутана в этих тайнах, как говорится, выше головы.

— Вы сомневаетесь, что это действительно

Люда Земцева?

— Мы обязаны сомневаться во всем решительно, тем более если речь идет о таком неординарном случае.

— Но установить личность проще простого — у нее есть мать, устройте им свидание, и…

— Земцева Галина Николаевна умерла три года назад. Но дело, в конце концов, не в установлении личности, — вероятно, речь действительно идет о Земцевой Людмиле Алексеевне.

— Что же вас тогда смущает? И чем я могу быть полезен в вашем… расследовании?

— Смущает нас, Александр Семенович, очень многое. В дополнение к вышеизложенному могу добавить, скажем, еще такой факт. В последние дни войны гитлеровские власти вывезли в Швейцарию и передали американцам небольшую группу заключенных из концлагеря Флоссенбюрг, среди которых находился один из участников заговора двадцатого июля, вплоть до этой даты тесно связанный с любовником Земцевой-Юргенс, а следовательно — можно предположить — и с ней самой. Сейчас, как стало известно, этот человек живет в Берне на вилле одного из немецких сотрудников американского Отдела стратегических служб. Или, попросту говоря, их

военной разведки. Как видите, слишком уж много «совпадений» завязано вокруг этой молодой, но — как вы справедливо заметили — не по возрасту активной особы… чтобы можно было рассматривать этот случай не заслуживающим особого и самого пристального внимания. Ну а к вам мы позволили себе обратиться вот почему…

Николаев смотрел на майора и думал о том, что человек этот не так уж, в сущности, «неопределим» и труден для классификации; просто отнести его приходится к очень странному классу — или виду, или семейству — существ в высшей степени загадочных, словно бы ночного или подземного образа жизни, которых на поверхности да еще при дневном свете можно встретить лишь мельком и случайно. Удовольствия, надо сказать, такие встречи не доставляют. Он с неприязнью покосился на руки майора, обхватившие верхний край немецкой кожаной, на «молнии», папки, которую тот держал, поставив ребром, у себя на коленях. Руки, как и лицо, были неестественной белизны, словно их никогда не касалось солнце.

— Хотелось бы знать ваше личное мнение о бывшей однокласснице и подруге Татьяны Викторовны, — продолжал майор своим ровным негромким голосом. — Она говорит, что до

войны часто бывала у вас дома, следовательно, какое-то впечатление о ней у вас должно было сложиться?

— Ну, видите ли, — Николаев развел руками, — это было давно! Я не так уж часто ее встречал, больше знал со слов племянницы, та отзывалась… положительно. Люда прекрасно училась, была активной комсомолкой, и вообще — ну, такая, знаете ли, примерная девочка из интеллигентной семьи. Я, пожалуй, даже больше знал ее мать — общались на партконференциях, иногда у общих знакомых… Кстати, при каких обстоятельствах умерла Галина Николаевна?

— В эвакуации, инфаркт миокарда. Александр Семенович, вы вот сказали — «девочка из интеллигентной семьи». Семья действительно потомственно-интеллигентная. К сожалению, опыт показывает, что именно в таких семьях нередко сохраняются… не совсем правильные взгляды на окружающее, не четко классовый подход к тем или иным проблемам — ну, вы меня понимаете…

— Нет, не понимаю, — сказал генерал. — Я, увы, тоже не совсем пролетарского происхождения, вам-то это известно. Однако взглядов на окружающее придерживаюсь, смею думать, вполне

правильных.

— Александр Семенович, речь сейчас не о вас, — мягко, но с нажимом возразил майор, причем слово «сейчас» прозвучало у него почти как «пока». — От Земцевой Галины Николаевны вам никогда не приходилось слышать каких-либо высказываний, которые дали бы основание предполагать, что она могла внушить дочери не совсем правильные, не совсем наши взгляды? Может быть, в ее рассказах о том периоде, когда она работала за границей?

— Нет, — сухо сказал Николаев и щелкнул по лежащим на сукне очкам так, что они завертелись пропеллером. — О своей работе в Германии в двадцатые годы мне она не рассказывала, а я не расспрашивал — не было общих интересов.

Экая наглость, в самом деле, думал он с тягостным ощущением скованности, почти бессилия, пришел, сидит и ведет форменный допрос. Можно, конечно, выставить, да что толку? От них ведь так просто не отделаешься, в следующий раз пригласит к себе…

— Но согласитесь, Александр Семенович, что человек, у которого мать проходила в Германии научную стажировку, а дед в той же Германии окончил университет, — у такого человека с само-

го начала могло быть к немцам несколько иное отношение, чем присущее большинству наших людей инстинктивное, классовое отталкивание от всего несоветского. Я не утверждаю сейчас, что оно было; но могло быть?

— В принципе — могло, — согласился Николаев. — Но что так было у Люды Земцевой — не думаю.

— Не думаете, что было? Или уверены, что не было и не могло быть?

— Не думаю, — повторил генерал. — Я только никак не могу понять — в чем конкретно ее обвиняют? Если даже представить себе, что она кем-то завербована, то не проще ли ей было уничтожить все эти фальшивые документы и явиться к нам под своим настоящим именем?

— Ее пока ни в чем не обвиняют. Мы лишь пытаемся разобраться в очень необычном случае, когда советская гражданка, будучи насильственно вывезена в Германию, попадает там в какие-то совершенно особые привилегированные условия, ее чуть ли не удочеряет семья немецкого искусствоведа, а затем она вообще оказывается в центре крайне запутанного клубка, откуда тянутся нити — судите сами — к оппозиции внутри гитлеровской военной верхушки; к абверу;

к военно-исследовательскому ведомству рейха; и наконец, что самое серьезное, — через ее любовника и его так заботливо спасенного союзниками друга — к американской военной разведке.

— М-да, действительно…

— Поэтому мы хотим знать о Земцевой все. Включая отзывы тех, кто ее знал до войны. Спрашивать Татьяну Викторовну, по некоторым соображениям, нецелесообразно, поэтому решили обратиться к вам, поскольку вы имели возможность общаться к тому же и с ее матерью…

Николаев и сам не мог понять, почему во всем этом деле ему почувствовалась вдруг какая-то ловушка. Такая же непонятная, впрочем, как и все «дело» Люды Земцевой. Непонятно, зачем им его мнение, они все равно будут основываться на своем собственном; тут что-то другое, их не так интересует судьба Земцевой (скорее всего, она уже решена), сколько его высказывания. Но почему? Так бывало на фронте, когда в ходе операции, разворачивающейся, казалось бы, вполне по плану, противник обнаруживал вдруг свой контрзамысел, непредвиденный и не принятый во внимание, и все вдруг повисало в неопределенности: исход операции, судьбы десятков тысяч ее участников начинали зависеть от того,

успеешь ли разгадать хитрость противника, скорректировать свой план, пока не поздно, пока не случилось непоправимого…

— Александр Семенович, поставим вопрос в такой форме: позволяет ли тот объем информации, которым вы располагаете в отношении Земцевой Людмилы Алексеевны, утверждать, со всей уверенностью, что она, находясь в Германии, не могла совершить каких-либо действий, наносящих прямой или косвенный ущерб интересам нашей Родины? Иными словами, ручаетесь ли вы за нее в этом смысле. Или же — в принципе допускаете, что таковые действия могли быть ею совершены. Согласитесь, тут ведь либо одно — либо другое…

…Да, непоправимого, непоправимого и бессмысленного, потому что помочь ей он все равно уже не поможет, что бы ни сказал. Да и — строго говоря — что он действительно знает? Люди во время войны так меняются, попадают в такие переделки, что уверенным, конечно, нельзя быть ни в чем. Абсолютно уверенным. Тем более что донкихотство может обойтись слишком дорого. Не ему, а той же Татьяне, тому же Болховитинову, которого все равно придется вытаскивать, а кто сможет вытащить, если не он…

Николаев рывком крутнул кресло, встал и, выйдя из-за письменного стола, пересек комнату по диагонали.

— Ручаться, естественно, я за Земцеву не могу, — сказал он, не глядя на майора. — Нужным для этого объемом информации никогда не располагал. Думаю, однако, что…

— Благодарю вас, Александр Семенович. — Тот тоже встал, держа папку перед грудью. — Не будем больше отнимать вашего времени, — сказал он с каким-то полупоклоном, и этот полупоклон и писарским жестом прижатая к груди папочка — после того, что майор так бесцеремонно прервал генерал-полковника, не дав себе труда дослушать фразу, — показались Николаеву почти глумливыми; бледная поганка, подумал он, вот самое точное для него определение.

— Всего доброго, — сухо сказал он. — Будете проходить через приемную — пошлите ко мне порученца, он там сидит.

Майор вышел, тотчас вошел порученец, молодой подполковник Силантьев.

— Простите, что задержал вас, — сказал Николаев, — ступайте отдыхать. Татьяна Викторовна не звонила еще?

— Так точно, с контрольно-пропускного в

Пирне, товарищ генерал-полковник.

— Встретили ее там, все в порядке?

— Встретили, так точно, скоро будут здесь. Я сказал, чтобы ехали через Фрейталь и Вильсдруф, там дорога лучше.

— Спасибо, Силантьев, можете быть свободны…

Еще год назад такое было бы невозможно. Не посмели бы. Да, это уже что-то новое. Не такое уж новое, впрочем. Скорее — хорошо забытое старое. Ничего, теперь напомнят…

Подойдя к шкафу, он достал початую бутылку и, налив полстакана, вытянул не отрываясь. Захотелось вдруг напиться до беспамятства, чтобы до утра мертвым сном; он так и сделал бы, если бы не племянница. Надо ведь встретить, спросить, как прошло свидание. Теперь придется постоянно врать, она время от времени напоминает — неужели до сих пор ничего не удалось выяснить насчет Люси. Не удалось и не удастся, глупо спрашивать, людей или нашли сразу, или они не найдутся никогда. Пропали, исчезли, нет их больше! Мало ли наших бесследно пропало здесь во время бомбежек или ушло на Запад, осталось там. Люсенька Земцева, подумать только. Он брезгливо дернул щекой, вспомнив слова майора

— «вступила в половую связь с офицером вермахта», — и торопливо налил себе еще, словно пытаясь коньяком смыть привкус омерзения. Такая была примерная девочка, еще Татьяне обычно ставил ее в пример…

…Аккуратненькая всегда, миловидная, косы этак коронкой — вокруг головы. Помнится, в пионерском галстуке еще приходила. Черт знает что. Немецкий капитан какой-то, герр гауптман, то ли физик, то ли шпион, еще и с путчистами этими путался… подозрительнейший тип, неудивительно что Смерш сделал стойку. И Людмила Земцева. Тьфу, мерзость… Может, наврал белесый майор? Да нет, какой смысл придумывать такое…

Да, год назад бледная погань держала бы себя иначе. Особенно-то они и тогда не стеснялись; вспомнился идиотский вопрос какого-то щелкопера на недавнем приеме: «Ощущаете ли вы, господин генерал, что армия теперь пользуется у партийного руководства большим доверием, чем в предвоенные годы?» (Переведите господину корреспонденту, что вопрос считаю в высшей степени некорректным; Красная армия неотделима от народа, от партии и, естественно, всегда пользовалась у руководства полнейшим доверием. Фигляр, тебе не в газете работать, а проявлять

резвость мысли где-нибудь на подмостках.) Не стеснялись и во время войны, но все же по пустякам не усердствовали сверх меры. Ну а теперь-то уж чего стесняться! Теперь на повестке дня опять бдительность, не утратил же силу пресловутый закон обострения классовой борьбы по мере роста успехов.

Напиться бы, подумал он с тоской и убрал бутылку в шкаф. До беспамятства, чтобы сразу долой из головы все — и белесый майор, и примерная девочка Люся, вступившая в половую связь с офицером вермахта, и генерал-полковник Николаев. Он-то в первую очередь. И нечего себя обманывать насчет того, откуда этот привкус омерзения; а ведь пытаешься, делаешь вид, будто омерзение от рассказанного майором. Люда Земцева тут ни при чем. Вступила так вступила, вопрос сугубо личного характера, весьма интимный, постороннему об этом судить нельзя. А если любила? Не в Люсе дело. И не в майоре, конечно, мало ли он повидал этой погани, пора было привыкнуть, да он и привык. К себе не привыкнешь, вот что худо. К себе — каким стал, каким тебя сделали…

Покойный брат был человек редкостного везения, Татьяниному отцу везло во всем, даже

умереть сумел в удобный момент — в тридцать шестом (на самом пороге: годом позже, по всей вероятности, главный инженер «Востсибмаша» уже не удостоился бы некролога в «Социндустрии», мог фигурировать в публикациях совершенно иного рода). И со стороны — если не вникать — может показаться, что везение это он унаследовал от Виктора вместе с племянницей. От «ежовых рукавиц» его спасло то, что слишком долго засиделся в майорах; как говорят, не было бы счастья, да несчастье помогло. Командующий его невзлюбил (за «интеллихэнтность», скорее всего), действительно не давал ходу, и в определенный момент это неожиданно сработало в его пользу. Шло уже великое «оздоровление кадров», Дом комсостава опустел на одну треть (мог бы и наполовину, да начальство рангом повыше обитало в других домах), а ему вдруг дали бригаду, наградили медалью «XX лет РККА», потом послали в Монголию — везение продолжалось. Так это выглядело со стороны, если не вникать.

А если вникнуть, то была и другая сторона. Даже получив Героя, он не обольщался относительно прочности своего положения, в случае чего, Золотая Звезда защитой не оказалась бы, других не защитили и маршальские. Поэтому

— положение обязывает! — приходилось соответствовать. Приходилось оправдывать доверие. Где-то проголосовать «за», где-то промолчать, где-то, наоборот, выступить — все это, как правило, вопреки тому, что думал. Да, да, и вопреки совести, если называть вещи своими именами. А была ли возможность поступать иначе?

Возможность-то, положим, была; не было смысла. Ведь ни в одном случае — поступи он иначе — ничто не изменилось бы ни на йоту, а погубил бы он не только себя. Что сталось бы с Татьяной? А на бригаду поставили бы очередного болвана из выдвиженцев, неспособного командовать ротой. Как раз в те годы именно этот тип «командиров» стремительно попер на верха, словно прокисшее тесто из квашни…

Словом, оправданий — вполне логичных, ни с какой стороны не возразишь — всегда находилось предостаточно. Потом и нужда в них отпала, стало немыслимым даже представить себе, что вообще возможна иная линия поведения. Привыкли? А остаточное чувство стыда, если оно порой и ощущалось, всегда можно было нейтрализовать этаким легким цинизмом — что ж, если армию и называют «школой мужества», то ведь отнюдь не гражданское имеется при этом в

виду. Есть к тому же старое мудрейшее правило: коли угораздило попасть в волчью стаю, учись подвывать не хуже других.

Так почему тогда взыграло вдруг самолюбие, откуда эта гадливость к самому себе? Аналогичное тому, что он сделал сейчас, приходилось делать и раньше, тут ничего принципиально нового; сейчас тоже ничего не изменилось, никакое его ручательство не могло бы изменить к лучшему судьбу Людмилы Земцевой. Точно так же проголосовал он когда-то за исключение из партии комдива Иващенко, отлично зная, что выдвинутое против Иващенко обвинение в национализме — высосанный из пальца вздор, исключение из партии было пустой формальностью перед арестом, это он тоже знал, судьба комдива была решена, что изменилось бы, проголосуй один какой-то майор «против»... Да, но это было перед войной. До войны это было, вот в чем дело.

За четыре года все-таки поотвыкли. Не то чтобы вообще не приходилось поступать против совести, против чувства долга, против здравого смысла, наконец; но внутренний конфликт возникал, как правило, по вопросам чисто военным, это куда проще. Ведь приказы не обсуждаются, получил — выполни, а про себя можешь проте-

стовать сколько душе угодно. Совесть все равно остается чиста: поступил по уставу. В армии так было спокон веку, так есть, так будет всегда. На то она и армия.

Да, на войне было легче. Николаев постоял перед шкафом, раскрыл дверцу, налил еще с четверть стакана, выпил и снова запер бутылку — теперь уже на ключ. На войне было, в общем… хорошо. Легче, проще. Погани было меньше. Правда, воевали не всегда так, как хотелось бы (и как могли бы), но что делать! Если война есть продолжение политики, то именно политика будет всегда определять конечное решение любой военной проблемы. Это логично. В конце концов, не исключено, что даже берлинская бойня — совершенно бессмысленная с точки зрения чисто военной — была и впрямь нужна как элемент некой политической стратегии. Возможно, и так. А воевалось все-таки хорошо, подумал он с тоской. Хорошо воевалось, особенно под конец. Прорыв под Цоссеном, например, — он видел его своими глазами, находясь в боевых порядках одиннадцатого мехкорпуса; наблюдательный пункт был оборудован на полусбитой снарядами колокольне и давал отличный обзор. Экипажи действовали превосходно, и такая безупречная

слаженность была во всем ходе штурма, в четком взаимодействии родов войск, что он тогда (странная аналогия!) почувствовал себя вдруг дирижером, управляющим всем этим гигантским, великолепно сыгравшимся оркестром — артиллерией поддержки, идущими за огневым валом танками с мотострелками на броне, Илами, которые точно по графику, минута в минуту, возникали откуда-то сзади и прямо над головой, туго ударив звенящим ревом, уносились в косо освещенную закатом дымную даль, прожигая ее тусклыми короткими молниями ракетных трасс…

Устало поскрипывая сапогами, генерал-полковник пересек просторный кабинет, отдернул портьеру, визгнув кольцами по медному пруту, рванул створку застекленной от самого пола двери. В саду было темно и тихо, пахло дождем, мокрой зеленью, какими-то незнакомыми цветами. Цветы, тишина, мир — все было незнакомо и непривычно, настораживало, таило в себе угрозу. Да, подумал он, на войне было легче. Кощунственная мысль, но что толку обманывать самого себя? Мы все будем еще вспоминать эти четыре года как лучшее, что было когда-нибудь в нашей жизни.

Глава 11

В Энск поезд пришел холодным октябрьским утром. Было воскресенье, на привокзальной площади галдела и орала патефонными голосами барахолка, пыльный ветер рвал выгоревшее кумачовое полотнище «Слава воинам-победителям», рупоры на столбе ликующе громыхали маршем Дунаевского. Люди толпились и на трамвайной остановке — значит, трамваи уже ходят? Таню это удивило, она никак не ожидала увидеть трамвай, бегущий по улицам разбитого, разрушенного Энска. Трамвай был приметой довоенного благополучия, чего-то мирного, почти сказочного…

Неужели это возможно — опять войти в желто-зеленый вагончик, постоять на задней площадке, может быть, даже прижаться носом к холодному стеклу, чтобы совсем почувствовать себя там, в юности, в сороковом или тридцать девятом… А потом потрогать рукой шершавые стволы акаций на Пушкинской, раскрыть калитку… Вдруг Люся вернулась? Да нет, вряд ли, давно бы уж написала. Но все-таки почем знать, пойти надо в любом случае…

Охваченная нерешительностью, Таня замедлила шаги у углового полуразрушенного дома. От здания остался один нижний этаж, внутри заваленный рухнувшими перекрытиями двух верхних, но веранда, на которой когда-то стояли столики (здесь было кафе-мороженое) уцелела, была даже расчищена для каких-то целей, и на ней стояла притащенная неведомо зачем облезлая садовая скамейка. Таня поднялась по ступенькам, села, поставив у ног чемодан. Пыльный смерч пересек трамвайные пути, закручивая вихорьком мусор и обрывки газет. Было необычно холодно для начала октября, но она сейчас не ощущала холода, ей было жарко от волнения — все-таки она дома, все-таки вернулась, видит наяву эту площадь, так часто снившуюся ей в Эссене, а потом в Аппельдорне… Она не могла понять логики этих снов — ей никогда не снился ни Дом комсостава, ни Пушкинская, и школа ни разу не приснилась. Всегда почему-то эта площадь — иногда похожая на довоенную, иногда не имеющая с ней ничего общего, но даже в этом случае она всегда знала, что это привокзальная площадь в Энске; хотя как раз с этим местом не было связано у нее никаких воспоминаний — разве что одно-единственное, тот ее приезд из Москвы, де-

вять лет назад. Тогда был вечер, блестел мокрый асфальт, она стояла возле машины, куда водитель в черном танкистском бушлате засовывал чемоданы, и пахло бензином и прорезиненным Дядисашиным плащом, и дождь косо летел мимо белых молочных фонарей, и было детство. Все было тогда впереди, все, и знакомство с Сергеем в энергетической лаборатории Дворца пионеров, и тот вечер первого сентября, и ушедший с сортировочной станции эшелон, и немцы, и Кирилл, фотографировавший развалины…

Молодой инвалид в защитной стеганке, с заткнутым за пояс пустым рукавом, остановился у веранды, окликнул Таню:

— Гвардейский привет боевой подруге! Из логова?

Таня кивнула.

— Ну как там фрицы, дышат еще? Теперь, небось, тихими стали, оглоеды! А дружка моего уже после Дня Победы вервольфы подстерегли. Кёнигсберг вместе брали, поняла? Только я оттуда в госпиталь — во, гляди, левую верхнюю конечность отдал за Родину! — а дружок дальше пошел, добивать фашистского зверя… Чего привезла-то? Отрезы хорошие есть?

— Нет, — ответила она, — вот насчет отрезов

не сообразила.

— Ладно, не строй дурочку. — Инвалид подмигнул, оценивающе глянул на ее чемодан. — Вообще-то, багаж у тебя малогабаритный. Что — часы? Беру. Иголки тоже беру, патефонные, швейные, какие хошь. Кремни есть? Зажигалки?

— Тебе какие — термитные, фосфорные? Могу еще с десяток гранат уступить, по дешевке. А «вальтер» офицерский не нужен?

Инвалид испуганно оглянулся, постучал кулаком по лбу.

— Ты соображай, дура, чем шутить можно! Психованная, что ли, ну тебя на фиг… С какого фронта демобилизовалась-то?

— С Первого Украинского, — ответила Таня; она давно уже поняла, что так проще. Не объяснять же каждому!

— А я на Третьем Белорусском отвоевался, — сообщил инвалид. — Под городом-крепостью Кёнигсбергом — слыхали про такой? Ну бывай, сестренка! Да не трепись чего не надо, это тебе не передок.

Инвалид, еще дальше сбив на затылок фуражку, побежал к трамвайной остановке, куда только что подошел вагон — облезлый, в проплешинах ржавчины, с заделанными фанерой окнами.

Таня смотрела на эту толпу, на развалины, на гнущиеся под ветром полуголые уже деревья и вспоминала, как они с Люсей говорили однажды о том, какой праздничной будет послевоенная жизнь, как преобразится мир, когда наступит в нем тишина. «Праздничной» они представляли себе жизнь после войны не в смысле изобилия, до такого их наивность все же не простиралась; разруху, трудности восстановления — все это они себе представляли хотя бы по аналогии с периодом Гражданской войны, еще недавним в памяти старших. Чего они не могли предвидеть совершенно, так это той душевной разрухи, которая останется после войны… И которая будет страшней материальных развалин.

А разве можно было предвидеть странное чувство, овладевшее ею сейчас при виде этих улиц? Это была тоска по недавнему прошлому — не по довоенному, то как раз было давним, слишком давним, чтобы восприниматься как живая реальность; нет, сейчас она вспоминала гораздо более близкие годы — сорок второй, сорок третий, когда чужой был врагом, а свой — другом, когда сама жизнь безошибочно отделяла предателей от честных людей, когда добро и зло были четко размежеваны и надо было только сделать выбор.

Когда и представить себе было нельзя, что люди, еще вчера служившие одному — казалось бы — делу, завтра начнут ненавидеть друг друга, словно обезумев в липкой отравленной паутине страха и подозрительности…

Володя, Леша Кривошеин, тысячи им подобных — какой чистой была их жизнь, какой завидной оказалась смерть. Может, и лучше, что вы не дожили, не узнали, не увидели… Леше пришлось бы отвечать, почему только он один уцелел из всего подпольного руководства, так ли уж «случайно» отлучился в тот день из города. Про Володю и говорить нечего — в армию призван не был, а в плен попал, выходит, сам напросился. А разве не поставили бы им в вину методы подпольной работы? Ей прямо сказали, что это было чистой воды очковтирательство, по сути — скрытая форма пособничества врагу. «Листовочки они печатали, — издевательски говорила сотрудница, которая беседовала с Таней чаще других, — а почему не убивали фашистов, почему не жгли ихние машины, почему не выполняли прямое указание товарища Сталина?» Хорошо еще, хоть сам факт признали, что подполье действовало…

На трамвайной остановке что-то случилось, загалдели и загомонили еще громче, баба истошно

заорала «ой лышечке, тримайтэ його!». Пробежал милиционер, бухая сапогами и пронзительно вереща в свисток. Признали, горько подумала Таня, глядя перед собой невидящими глазами. Может быть, только потому и признали, что речь все-таки шла о племяннице человека, который через две недели после Победы был в Москве на правительственном приеме — вместе с другими командармами и командующими фронтами. Да никто и не считал нужным скрывать, что судьба ее могла бы оказаться совсем иной: та же особа, что говорила о «листовочках», однажды схватила ее за волосы и, отгибая голову назад, прошипела прямо в глаза: «Сучка ты, а не комсомолка, я бы с тобой по-другому поговорила…» Это был единственный случай, вообще следователи ничего такого себе не позволяли; но он запомнился. Куда больнее и унизительнее запомнился, чем тот день, когда ее хлестал по щекам шарфюрер Хакке…

Может быть, это же косвенно повлияло и на приговор Кириллу? Все говорят, что пять лет — это вообще не срок, до войны «пятаки» давали женам просто за то, что была женой. Она как раз успеет окончить институт к его возвращению, а может быть, его выпустят и раньше, всякое ведь

бывает. Ведь даже кое-кто из тех, что в тридцать седьмом исчезали из Дома комсостава, вернулись чуть позже — в сороковом, а один даже и в тридцать девятом. Если действительно выйдет указ о возвращении гражданства бывшим подданным Российской империи, то в связи с этим может быть объявлена частичная амнистия таким, как Кирилл, — уже получившим свое «советское гражданство» по суду…

Как здесь холодно, а ведь только начало осени — до войны, помнится, октябрь был еще совсем теплым месяцем, осень начинала чувствоваться только перед ноябрьскими. Возможно, кратковременное похолодание. А там, наверное, уже настоящая зима. Господи, хоть бы не в Магадан, есть же лагеря ближе, где-то в Коми, есть и в Средней Азии, там вообще, наверное, совсем хорошо — тепло и нет лесоповала… Но где они тогда там работают? Ей вдруг припомнились школьные уроки экономической географии: Балхаш, Коунрад, Караганда… Рудники, догадалась она с замиранием сердца, — может быть, все-таки в лесу здоровее?

Никогда себе этого не простит — что не остановила вовремя, не сумела убедить там, в туннеле, что не нашлось тогда ни слов, ни доводов, они

ведь в таком изобилии запоздало приходили на ум уже потом, когда все стало окончательным и непоправимым? Да нет, для него это были бы не доводы, он знал, что делал, и делал это сознательно. В Голландии, когда все еще было так безоблачно, он однажды прочитал ей из книжечки, которую постоянно носил в кармане: «…может быть, такой же жребий выну, горькая детоубийца Русь, но твоей Голгофы не покину, от могил твоих не отрекусь…» — что же он, предчувствовал что-то, или это просто одно из тех зловещих совпадений, какие иногда случаются? Как там было дальше… «пусть в кровавой луже поскользнусь, иль на дне твоих подвалов сгину…»[83]. Господи, если Ты есть, спаси его, пусть у меня в жизни не будет больше ничего хорошего, лишь бы для него прошли побыстрее эти пять лет!

Странно, что она уже научилась думать о судьбе Кирилла не то чтобы спокойно, но без надрыва первых недель, по-будничному привычно и деловито — как думают об окончательном и непоправимом уже повороте в собственной жизни и судьбе. Их судьбы теперь слиты воедино, и надо принимать действительность такою, какой она

---

[83] Notes: 83
Стихотворение М. Волошина «На дне преисподней» (1922).

оказалась. Это сознание единства, слиянности судеб помогло справиться, устоять, она чувствовала, что должна — обязана! — в стойкости, в мужестве, в терпении если не сравняться с ним, то хотя бы приблизиться, не оказаться слабой и недостойной.

Мысли о Кирилле давно уже не мешали другим заботам, другим мыслям, эти два потока текли рядом, не смешиваясь и не мешая один другому. Она просто ощущала его в себе, постоянно, как второе Я. Как привычную боль, от которой не избавиться, но к которой притерпелся настолько, что она уже не отвлекает от повседневных дел. Впрочем, теперь все это было настолько взаимосвязано…

Где бы Кирилл ни оказался, писать он — если разрешат переписку — будет сюда, до востребования, как договаривались. Значит, нужно поскорее получить паспорт, прописку, окончательно здесь устроиться. И прежде всего надо побывать на Пушкинской — а вдруг… Найти там Люсю она не рассчитывала, но, может быть, соседи хоть что-то знают. Надо, хотя страшно, потому что если окажется, что никаких вестей нет, то продолжать надеяться уже бессмысленно. Вообще-то, конечно, если и Дядесаше ничего не

удалось узнать о Люсиной судьбе, то, скорее всего, ее давно нет в живых. Сама Таня провела в Германии каких-нибудь полтора года и то сколько раз была на волосок от гибели; а Люсю ведь забрали еще осенью сорок первого, шансов уцелеть вдвое меньше, а с ее характером (такая ведь была идейная комсомолка!) она вполне могла попасть в один из этих кацетов, «лагерей уничтожения», о которых тогда толком никто ничего не знал, ходили только всякие слухи…

Идти на Пушкинскую не только страшно, но и противно — из-за той мерзкой бабы напротив, с которой Сергея угораздило тогда встретиться. Можно себе представить, что она про нее наговорила; а впрочем, какое ей дело до этой дуры, это даже и лучше, если ее увидят — пусть воочию убедятся, что «гебитскомиссарова подстилка» вернулась не под конвоем. Да и не все там соседки такие зловредные, Катерина Ивановна, например, — тоже, конечно, и посплетничать была не прочь, и гусей каких-то откармливала на продажу, — но женщина добрая и никогда про нее дурного не говорила… Вот у нее и можно будет спросить, Катерина Ивановна всегда все знает.

Но не тащиться же туда с чемоданом, сначала надо устроиться с жильем. Хоть с этим пока

проблемы не было — один из Дядисашиных офицеров, тоже отсюда, выписывал семью к себе в Эрфурт, и они договорились, что Таня поживет пока в их здешней квартире. Первое время придется вместе с ними, но у них, кажется, все документы уже оформлены, так что скоро уедут…

Адрес Таня помнила — это было недалеко, на Коминтерновском. Она шла медленно, время от времени перебрасывая чемодан из руки в руку, поглядывала по сторонам, находя то знакомый дом, то запомнившееся когда-то место — перекресток с огромной старой акацией, трансформаторную будку на углу, мостик у входа на стадион. Она смотрела, и у нее сжималось сердце — таким все выглядело бедным, обшарпанным, убогим… Сколько же понадобится лет, чтобы город обрел свой прежний, довоенный вид? Или он всегда был таким, просто тогда не замечалось?

Харитоновы встретили ее хорошо, объяснять ничего не пришлось — подполковник успел предупредить, так что они и комнату уже приготовили. Крошечную, чуть больше вагонного купе (сразу вспомнилась Сережина, там, на Челюскинской), но много ли ей надо, а потом можно будет пользоваться и второй, побольше. Хозяйка, вся в волнении от предстоящего переезда в загадочную

и жутковатую Германию, усадила Таню завтракать, засыпала вопросами — а как там с жильем, ведь небось все разрушено, и как с продуктами, и как ведут себя немцы — правда ли, что много недобитых фашистов и после темноты на улицу лучше не выходить… Удовлетворив наконец ее любопытство, успокоив и насчет квартирных условий нашего офицерского состава, и насчет вервольфов, Таня ушла «к себе», вытянулась на койке и долго лежала с закрытыми глазами. Надо было встать, идти на Пушкинскую, но страшная усталость навалилась вдруг на нее. Усталость и несвойственная ей апатия, упадок душевных сил. Пройдет, утешала она себя. Должно пройти, это просто так… временно. Господи, каким безоблачным было все тогда в Голландии, как все казалось просто, достижимо… И какими наивными слепцами мы оказались!

Кирилл, впрочем, слепцом не был. Наверное, до конца не представлял себе, чем все это может кончиться, но он, в общем, знал, на что идет. Вряд ли он действительно не задумался тогда над смыслом надписи на подобранной по пути иконке, не обратил на нее внимания; наверняка обратил, но решил все равно по-своему: «от могил твоих не отрекусь»…

Она расстегнула платье, вытянула за цепочку и привычным движением поднесла к губам невесомый алюминиевый медальон. Господи, если бы только я могла верить так же непоколебимо, если бы только у меня была хоть сотая доля его крепости!

Ничего, сказала она себе, ничего. Пять лет пройдут быстро. Набраться сил, терпения — это сейчас главное. Терпения, мужества. Кто бы мог подумать, что столько мужества понадобится после войны, что именно теперь наступит час главного испытания…

Если бы только не этот холод. Почему здесь так холодно? Она все-таки заставила себя встать, оделась. Харитонова поинтересовалась, где она шила пальто и как вообще с этим, и была приятно удивлена, узнав, что с этим в Германии сейчас очень просто — масса первоклассных портных сидит без работы и без заказов, в Эрфурте ей сразу все покажут — где, что…

Как Таня и боялась, на Пушкинской о Люсе ничего не знали. Даже всезнающая Катерина Ивановна, которая всплакнула при встрече — от души, как показалось Тане. И о Галине Николаевне ничего не слышно, сказала она, может, решила не возвращаться из эвакуации, при-

жилась там, на новом месте? Дом-то ихний под приют сдали, выходит, не ждут, что хозяева вернутся…

Таня постояла у ограды — той самой, ржавой, не крашенной, наверное, с тысяча девятьсот четырнадцатого года. Странно, что до сих пор не забрали на утиль… а впрочем, металлолома теперь хватает — от Дона до Эльбы поля засеяны отгремевшим железом. Но как хорошо, что догадались отдать дом для маленьких; жаль было бы, разместись тут какой-нибудь «Химсбыт» или «Заготскот»; стриженые головенки маячили в окнах кабинета Галины Николаевны, Таня смотрела с умилением, удивляясь, почему не гуляют, потом поняла: холодно, а с одежонкой-то у них, наверное, не очень…

Она вдруг сообразила, что Галина Николаевна и впрямь могла остаться жить в Средней Азии или куда их тогда эвакуировали. Кстати, этому может быть самое простое объяснение: институт не так просто перевезти на прежнее место, у них ведь там всякая аппаратура, — скорее всего, его действительно оставили там, а уж с лабораторией своей Галина Николаевна, ясное дело, ни за какие коврижки не расстанется! Но если она там, то и Люся, конечно, поехала туда. Так что

нечего строить всякие мрачные предположения, надо просто узнать, где институт, и написать туда. В горисполкоме должны знать — вопрос использования этого дома они, надо думать, согласовали же как-то с владелицей. Если Галина Николаевна действительно в Средней Азии — и если окажется, что и Кирилл там, — может быть, ей поехать туда, дают же иногда свидания…

С Пушкинской Таня отправилась на улицу Либкнехта, навестить Сергея Митрофановича. Дядясаша говорил, что после освобождения города у него были какие-то неприятности в связи с начальной школой, которую немцы открыли было в конце сорок второго и где он проучительствовал два или три месяца. Интересно, преподает ли он сейчас — учебный год ведь уже больше месяца как начался… На стук открыла незнакомая женщина.

— Какие Свиридовы? — неприязненно спросила она. — Свиридовы уже год как здесь не живут!

— А куда они переехали, вы не знаете?

— Под землю Свиридов переехал, вот куда. Помер он! Посадили его, как наши вернулись, там и помер вскорости.

— Господи, — ошеломленно сказала Таня. — А… Ольга Митрофановна?

— А она выписалась и уехала, куда — не знаю…

Вот и навестила, повторяла про себя Таня, спускаясь по лестнице, вот и навестила… Бедный старик, зачем он связался с этой немецкой школой, ведь еще и Леша предупреждал, что опасно. И несчастная Ольга Митрофановна, для нее вся жизнь была в брате, куда она теперь? Какие-то океаны горя вокруг, и если бы только от пуль и от бомб…

Слезы жгли ей глаза, она не хотела уже никого больше видеть, никуда идти — кроме одного только места, только одного. Она долго стояла у афиш «Ударника» — «Свинарка и пастух», «Леди Гамильтон», открыта предварительная продажа билетов — и не могла заставить себя двинуться с места. Потом все-таки заставила. На бульваре Котовского работали пленные немцы, расчищали площадку на месте здания обкома, выкладывая из битого кирпича аккуратные штабельки. Как в Дрездене. Там тоже эти штабельки — в море обгорелых руин. Дом комсостава высился такой же ободранной полуразвалиной, зияя пустыми оконными проемами; до него очередь еще не дошла, хотя два дома поодаль уже стояли в лесах. Помедлив, Таня вошла под арку ворот — двор

тоже был меньше, чем представлялся в воспоминаниях, весь уже зарос бурьяном, посреди валялась перевернутая легковая машина — пустая ржавая скорлупа, с которой сняли все, что можно было отвинтить. «Ханомаг», определила Таня, за последние месяцы перезнакомившаяся со всеми марками немецких машин. Такая же малолитражка была у Кирилла летом сорок второго, однажды они вместе проехали по трассе дорожного строительства… А вдруг та самая? Кирилл, наверное, смог бы определить. Об этом никому не скажешь, но в ее памяти то лето осталось чуть ли не как счастливая пора… Кажется, если переписку не разрешают, то это специально оговаривается в приговоре: «столько-то лет без права переписки», у Кирилла этого вроде не было…

Она вдруг сообразила, что уже поздно, базар мог и закрыться — неизвестно, до какого часа теперь там торгуют. Да и есть ли цветы, хоть какие-нибудь? Все-таки октябрь… Она так спешила, что даже согрелась, пока прибежала на базар. Торговля еще шла, и цветы нашлись у одной бабуси — мелкие озябшие астры из самых, видно, последних. Таня забрала все, от них едва уловимо веяло горьковато-сладким запахом тления — сорванные утром, они уже успели привять даже в

такой холодный день.

Проспект Фрунзе, бывшая Герингштрассе — главная улица при немцах, центр оккупационного «сеттльмента». Она и сейчас тихая, безлюдная — по старой памяти, что ли, продолжают горожане избегать этих мест? Впрочем, может быть, тут размещены в основном учреждения, а сегодня воскресенье, выходной, поэтому никого и нет. Все-таки что-то осталось от деятельности фирмы «Вернике Штрассенбау» — асфальт, разделительная полоса с газоном, елочки — заметно подросшие за два года…

Не оглянувшись на выгоревшую изнутри коробку бывшего гебитскомиссариата, бывшего Дворца пионеров, бывшего Дворянского собрания, Таня медленно поднялась по широким гранитным ступеням. Сквер как сквер — флагштока нет, крестов нет, посередине обыкновенная клумба, вокруг скамейки, низкая каменная ограда. Володя стрелял вот отсюда — ей потом описали это во всех подробностях, по показаниям одного пленного немца. Со ступеней, почти в упор, двумя очередями сжег «мерседес» Кранца, а потом засел за этим гранитным кубом и отстреливался, покуда хватило патронов и гранат. Последнюю приберег для себя.

Таня осторожно положила цветы к подножию квадратной глыбы, опустилась рядом и закрыла глаза. Володя, здравствуй…

Не открывая глаз, она приложила ладони к холодному граниту, прижалась к нему щекой. Какой ледяной холод, какая навеки недвижимая тяжесть… Ах, мальчики из десятых классов, выпускники сорок первого года, как же расточительно, с какой безжалостной и бездумной щедростью распорядилась вами родина… «Горькая детоубийца Русь», неужто не нашлось у тебя другой защиты, неужто и впрямь понадобилось выбить цвет целого поколения, пожертвовать лучшими из лучших, от кого не останется теперь ни следа, ни памяти, ни потомства…

Она долго сидела так, прижавшись к камню, потом поднялась и, не оглядываясь, стала спускаться по ступеням. Из-за облаков нерешительно проглянуло бледное, не греющее уже осеннее солнце, ветер раскачивал верхушки пирамидальных тополей, охапками срывая с них последние листья. Жизнь, какая ни есть, продолжалась, и надо было продолжать жить — ждать, верить, надеяться.

Всеволожск, 1966–1988

О Юрии Григорьевиче Слепухине – на добрую память!

Вот и перевернута последняя страница эпопеи Юрия Слепухина о Второй мировой войне:

«Какие-то океаны горя вокруг, и если бы только от пуль и от бомб… ⟨…⟩ Жизнь, какая ни есть, продолжалась, и надо было продолжать жить — ждать, верить, надеяться».

И подпись: *Всеволожск, 1966–1988.*

Как же случилось, что южанин, уроженец города Шахты Ростовской области, из рода донских казаков, более трех десятилетий прожил на Северо-Западе России и именно здесь написал бóльшую часть своих произведений, в которых не только отразил свое время, но и описал события и судьбы людей на разных континентах и в разных странах.

Когда в 1964 году семья Слепухиных поселилась во Всеволожске, в деревянном доме на улице Достоевского, за плечами у них была история жизни очень необычной. Глава семьи, Григорий Пантелеймонович, — донской казак, участник Первой мировой войны, затем крупный хозяйственный

деятель — в начале 1940-х годов был главным агрономом Северного Кавказа; мать, Валентина Ивановна, — наследница старинного польского шляхетского рода, полностью посвятившая себя семье; дети: Юрий — 1926 года рождения и Ирина — 1934-го. Все они в канун Великой Отечественной войны жили в Ставрополе, тогда еще Ворошиловске.

До захвата немцами Ставрополя семья не успела эвакуироваться и осталась в оккупированном городе. В 1943-м все четверо были угнаны на принудительные работы в Германию и попали в немецкие трудовые лагеря в качестве остарбайтеров. Мужчины работали вначале на заводах в Руре, затем попали на сельскохозяйственные работы в помещичью усадьбу в деревне Аппельдорн (Северный Рейн-Вестфалия). Освобожденные войсками союзников и перевезенные в Бельгию, не имея возможности сразу вернуться на родину, Слепухины два года жили в Брюсселе, где тесно общались с русскими эмигрантами. Отец и Юрий работали, чтобы прокормить семью, параллельно Юрий занимался самообразованием, а в 1947-м Слепухины приняли решение уехать в Аргентину, где задержались на долгие 10 лет. В 1957 году они вернулись в СССР — сначала жили в Вороне-

же, потом перебрались в Ленинградскую область, в Ломоносов, а затем во Всеволожск. Он и стал для них последним приютом.

Слепухин вернулся на Родину уже зрелым человеком после 14 лет вынужденного пребывания вне Отечества. В своем творчестве он стремился рассказать обо всем, что пережил вместе со своими соотечественниками, и о том, что наблюдал как бы со стороны, отстраненно, потому что все годы вынужденной эмиграции Юрий Григорьевич не менял гражданства и ощущал себя русским человеком, а позднее — и русским писателем. Он считал, что миссия писателя — изобразить человека на фоне катаклизмов истории, рассказав о его бесстрашии и мужестве, жестокости и цинизме, любви и ненависти, которые в равной мере могут быть ему присущи и в период трудных испытаний ставят его перед тяжелым нравственным выбором, определяющим дальнейший путь и судьбу.

Судьба самого Слепухина, вынужденного эмигранта, помогла ему понять трагедию человека, для которого бесконечная тоска по Родине стала главным вектором душевных переживаний.

Первые страницы своего первого романа «Перекресток» он написал еще в Аргентине: «Мои

первые (курсив мой. — *Н. С.*) литературные попытки относятся к концу сороковых годов, когда я, переехав из Брюсселя в Буэнос-Айрес, начал работать над романом «Перекресток». Романом, впрочем, это стало потом; вначале я совершенно не представлял себе, что, собственно, намерен написать. Знал лишь о чем; это должен был быть рассказ о моих школьных друзьях, о неповторимой обстановке последнего предвоенного года, о небольшом городе на юге России, где я тогда жил. Словом, весь замысел — совершенно еще неясный мне самому — был, как нетрудно догадаться, продиктован ностальгией»[84].

«Перекресток» станет и *первым* романом тетралогии писателя о Великой Отечественной войне, но последующие: «Тьма в полдень», «Сладостно и почетно», «Ничего кроме надежды» он напишет уже во Всеволожске, и хотя датой окончания работы значится 1988 год, она растянется практически до конца его земной жизни, параллельно с работой над другими книгами.

На волне хрущевской «оттепели» его произведения, открывающие Южноамериканский континент («У черты заката», «Ступи за ограду»,

[84] Notes: 84

Юрий Слепухин: XX век. Судьба. Творчество: сб. ст. и материалов. СПб., 2012. С. 393–394.

«Джоанна Аларика») и правдиво рассказывающие о предвоенной жизни и войне («Перекресток», «Тьма в полдень»), охотно публикуют журналы и центральные издательства; в библиотеках на его книги очереди, он получает сотни восторженных писем от читателей, становится популярным и любимым для многих писателем.

Но наступил 1968 год, и после событий в Чехословакии вновь стали «закручивать гайки». Рукопись заключительного романа «Час мужества», отправленная в Лениздат, стала настоящей ареной идеологической борьбы: Слепухина обвиняли в абстрактном гуманизме, искажении истории, создании образов антигероев: «Ведь дело не только в том, что героини Вашего романа — русские девушки, угнанные в Германию, влюбляются в офицеров гитлеровской армии, получают поддержку от тех классов, которые породили гитлеризм, *а также русской эмиграции* (курсив мой. — *Н. С.*). Главный порок романа в том, что под все это подведена философия всепрощенчества, абстрактного гуманизма…»[85]

«Мы не можем согласиться и с философской концепцией автора, концепцией абстрактного

[85] Notes: 85

Письмо Лениздата № 4/471 от 1 августа 1969 года, подписанное директором Л. В. Поповым. — *Здесь и далее цит. по архиву Ю. Г. Слепухина.*

общечеловеческого гуманизма, с позиций которого написана 3-я часть романа. ⟨…⟩ Психология советского человека, силы, двигавшие его поступками в годы войны, искажены в рукописи…»[86]

К редакционному заключению прилагалась рецензия Всеволода Воеводина: «Если Таня просто „рядовая“, самая обыкновенная советская девушка, не нравственный урод, не отщепенка, она просто не могла бы полюбить чужака (речь о Кирилле Болховитинове. — *Н. С.*), пособника врага… и еще довериться ему. За такую любовь расстреливали, не доискиваясь особых психологических глубин. *(И правильно делали)*»[87] (курсив мой. — *Н. С.*).

Стоит ли удивляться, что после таких заключений и рецензий доступ к читателю был Слепухину закрыт на десятилетие! Через пять лет, вновь предложив значительно доработанную рукопись романа «Час мужества» Лениздату, Слепухин получил письмо, в котором говорилось, что роман

---

[86] Notes: 86

Редакционное заключение Лениздата от 7 июня 1969 года, подписанное зав. редакцией Копытиным [П. Ф.] и ст. редактором Л. [А.] Плотниковой.

[87] Notes: 87

Воеводин Всев. О романе Юрия Слепухина «Час мужества». 14 июля 1969 года.

не может быть принят к изданию[88], к письму прилагалась разгромная рецензия почти на 30 страниц (!) из Росглавиздата, подписанная А. А. Богдановым. Там говорилось: «Это не героиня (Татьяна Николаева. — *Н. С.*), а скорее антигероиня. Ее подлинная суть… это суть маленькой обывательницы с предельно узеньким, мещанским кругозором и чувствами, начисто лишенной подлинной гражданственности и патриотизма».

Воистину, название романа «Час мужества» стало определяющим и для писателя. Лишенный возможности печататься, а следовательно, и иметь средства к существованию, он не отказался от своей позиции «общечеловеческого гуманизма», а доработал трилогию о войне, превратив ее в тетралогию. «Час мужества» он разделил на две книги: «Сладостно и почетно» и «Ничего кроме надежды». Это дало возможность еще более подробно написать правду о судьбах фронтовиков, о жизни наших соотечественников, угнанных в Германию, о русской эмиграции, об антифашистском сопротивлении внутри Германии, о союзниках, о цене Победы.

И если роман «Сладостно и почетно» впослед-

[88] Notes: 88

Письмо Лениздата № 4/183 от 16 апреля 1974 года, подписанное директором Л. В. Поповым.

ствии был напечатан в 1985 году, то заключительный, «Ничего кроме надежды», увидел свет только в 2000-м, после смерти автора, благодаря усилиям наследников, а также поддержке, которую оказали издателям книги руководители Ленинградской области и Всеволожского района.

Всего Ю. Г. Слепухин успел написать 3 повести, 10 романов. Жаль, что последний — «Не подводя итогов» — остался незавершенным.

Сегодня Юрий Слепухин — один из самых востребованных современным поколением писателей, его романы выдержали несколько переизданий, переведены на иностранные языки, присутствуют в электронном и аудиоформате на популярных книжных платформах; реализовано и первое сценическое воплощение «Перекрестка» Государственным академическим театром имени Евгения Вахтангова. В его честь названы улица во Всеволожске и Всеволожская межпоселенческая библиотека.

1 августа 2026 года — 100-летие со дня рождения Юрия Григорьевича Слепухина. Помянем его в этот день добрым словом и расскажем об этом большом русском писателе и его книгах следующему поколению!

Наталья Слепухина